12

М.Е.
САЛТЫКОВ-
ЩЕДРИН

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В двадцати томах

*

Издание осуществляется
совместно с Институтом русской литературы
(Пушкинский дом) Академии наук СССР

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1971

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Том двенадцатый

*

В СРЕДЕ УМЕРЕННОСТИ И АККУРАТНОСТИ

1874—1877

КУЛЬТУРНЫЕ ЛЮДИ

1875—1876

СБОРНИК

1875—1879

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1971

Р1
С16

Подготовка текста

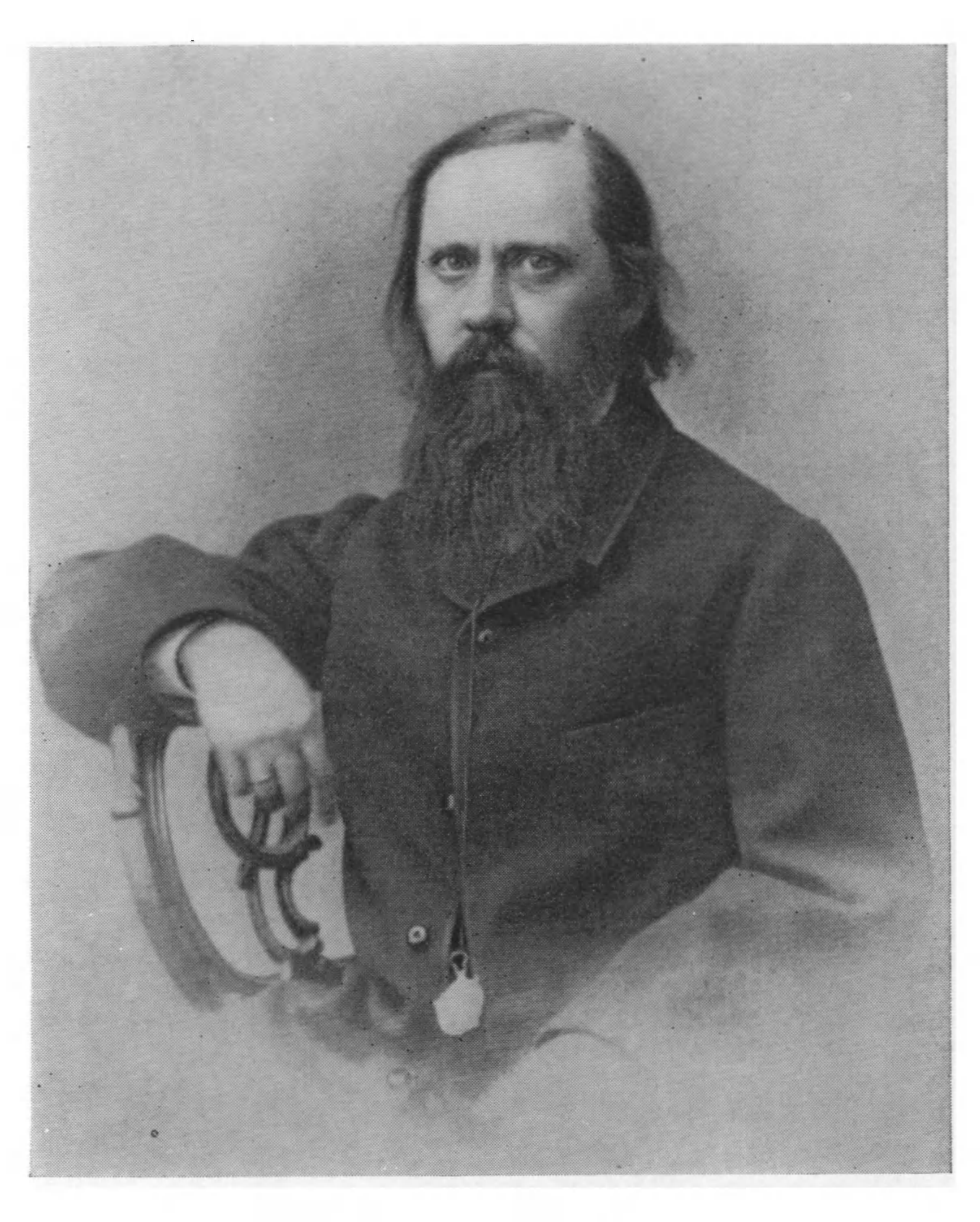
В. Н. Баскакова («В среде умеренности и аккуратности», «Культурные люди») и *Д. М. Климовой* («Сборник»).

Примечания

А. С. Бушмина и *Н. И. Соколова* («В среде умеренности и аккуратности»), *А. С. Бушмина* и *В. Н. Баскакова* («Культурные люди»), *А. С. Бушмина и Д. М. Климовой* («Сборник»).

Оформление художника
И. Жихарева

7—3—1
Подп. изд.



М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

Фотография 1870-х гг.

В СРЕДЕ УМЕРЕННОСТИ И АККУРАТНОСТИ

ГОСПОДА МОЛЧАЛИНЫ

ГЛАВА I

Бывают такие минуты затишья в истории человеческой общественности, когда человеку ничего другого не остается желать, кроме тишины и безвестности. Это минуты, когда деятельная, здоровая жизнь словно засыпает, а на ее место вступает в права жизнь призраков, миражей и трепетов, когда общество не только не заявляет ни о каких потребностях или интересах, но даже, по-видимому, утрачивает самую способность чем-либо интересоваться и что-либо желать; когда всякий думает только о себе, а в соседе своем видит ненавистника; когда подозрительность становится общим законом, управляющим человеческими действиями; когда лучшие умы обуреваются одним страстным желанием: бежать, скрыться, исчезнуть.

В такие минуты слишком выдающаяся известность может очень серьезно компрометировать. Одних — в глазах современников, других — в глазах потомства. Первое дает себя чувствовать непосредственно и отравляет жизнь неосторожно прославившегося человека в настоящем; второе хотя и не сказывается осязательно в настоящем, но нужно быть или совсем безумным, или совсем бессовестным, чтоб не понимать, что попасть в историю с нехорошим прозвищем — все-таки вещь далеко не лестная.

Примеров громкой известности первой категории я указывать не стану. Для нас покамест это еще дело новое, хотя в людях, которых жизнь представляет сплошную борьбу с квартальными надзирателями, и у нас недостатка нет. Из репутаций второй категории укажу на известного английского судью Джеффриза, который был настолько бессовестен, что совсем позабыл о существовании истории и ее суда. Однако история

вспомнила о нем и заклеймила его имя неувядаемым позором, в том, конечно, расчете, что пример этого чудовища послужит спасительным предостережением для воспитанников средних учебных заведений. У нас подобных блестящих репутаций до сих пор не было; тем не менее фамилия тайного советника Шешковского в свое время пользовалась настолько громкою известностью, что быть приглашенным к нему считалось честью не совсем безопасною. И что же! Даже наша скромная история, олицетворяемая «Русскою стариною» и «Русским архивом», уклоняется от выдачи похвального аттестата его громкой деятельности!

Я уверен, что если бы Шешковский мог провидеть, что на страницах «Русской старины» будут от времени до времени появляться анекдоты об его подвигах, то он от многого воздержался бы. С этой точки зрения воспитательное значение «Русской старины» не может подлежать никакому сомнению, и остается только сожалеть, что действие его возымело начало так недавно. Имей Шешковский хотя смутное представление о силе исторических обличений, он сказал бы себе: «черт возьми! у меня есть сын (этот сын, действительно, существовал, но невдолге бесследно исчез), у меня могут быть внуки и правнуки — каково им будет читать в «Русской старине» рассказы о «малороссийском борще» (деликатная замена слова «розги») или об особой конструкции кресле, в которое я, для пользы службы (то есть для наказания на теле), имею обыкновение сажать своих пациентов! Ведь я думал, что все это останется шито и крыто, и вдруг... Нет! лучше практику эту оставить!» И мы ничего не знали бы ни о малороссийском борще, ни о кресле особого устройства, ни даже о самом Шешковском. Да, и о Шешковском ничего не знали бы, ибо что такое Шешковский, отрешенный от борща, кресла и других атрибутов его достославной специальности? — Это Иванов, Сидоров, Федоров, Пафнутьев — словом, одна из тех личностей, которых Грибоедов возвел в перл создания в лице Молчалина и которых и современники и потомство разумеют под темным наименованием «и другие». Настигнуть этих «и других», обличить их в чем бы то ни было— ни «Русский архив», ни «Русская старина» не в состоянии Это люди до того безанекдотные, что упоминание имен их произвело бы на читателя то же самое действие, как, например, перепечатка ревизских сказок.

И Шешковский поступил бы, несомненно, благоразумно, если бы, не настаивая на том, чтоб быть тем знаменитым Шешковским, каким мы его знаем, прямо погрузился бы в пучину «и других». Это было бы с его стороны актом мудрой предусмотрительности, потому что, в сущности, эти «и другие», эти

Молчалины, и суть «излюбленные люди» тех исторических моментов, о которых идет речь. Они полнейшие выразители современной им действительности; они деятельнейшие, хотя, быть может, и не вполне сознательные созидатели тех сумерек, благодаря которым настоящий, заправский человек не может сделать шага, чтоб не раскроить себе лба. Они одни сохраняют среди этих сумерек остроту зрения, одни видят и различают. Что различают? — различают ту счастливую область умеренности и аккуратности, под сенью которой зиждется человеческое благополучие, скромное, но прочное, не сопровождаемое трубными звуками, ни блеском апофеоз, но взамен того вполне удовлетворившееся и успокоившееся в самом себе. И что всего важнее — благополучие, до которого нет дела ни современникам, ни истории.

О, счастливые, о, стократ блаженные Молчалины! Они бесшумно, не торопясь переползают из одного периода истории в другой, никому не бросивши слова участия, но и никого не вздернувши на дыбу (то есть, быть может, кого-нибудь и вздернули, но, ей-богу, не сами собой)! Никто ими не интересуется, никто не хочет знать, делают ли они что-нибудь или просто сидят и бьют в баклуши, никто не трепещет и не благоговеет перед ними... какой прекрасный, блаженный удел! И зато они во веки веков не перестанут быть «и другими»; зато детям их нечего будет стыдиться, все равно как бы они родились без отцов; зато сами они имеют право каждодневно засыпать с сладкой уверенностью, что ни полиция современности, ни полиция будущего не предъявит к ним ни малейшего иска... И им никогда, никогда не будет надобности обращаться к помощи адвоката Легкомысленного, дабы исходатайствовать для себя у суда увеличивающих вину обстоятельств! Зачем? какой суд в целом мире найдет хотя единую вину за человеком, которому имя «и другие»?

Ужели это не блаженство? — спрашиваю я всех и каждого, кто хоть мало-мальски ревнует о целости своей шкуры.

Я вовсе не намерен характеризовать здесь признаки тех исторических моментов, в продолжении которых умеренность и аккуратность представляют счастливейшее условие и надежнейшую ограду человеческого существования. Подобным моментам дают очень разнообразные клички, которые, однако ж, все более или менее группируются около одной, резюмирующейся в выражении «переходные эпохи». Но я, с своей стороны, нахожу, что все усилия оправдать жизненный сумбур какими-то таинственными переездами из одной исторической области (известной) в другую (неизвестную) — по малой мере бесплодны. Такие оправдания могли бы быть допущены,

если бы впереди предстояло непременно нечто лучшее и более утешительное; но куда же они годны, если мы вместо лучшего фаталистически осуждены встречаться лицом к лицу с пословицей «из куля в рогожу»?

Поэтому я с некоторою подозрительностью отношусь к подобным объяснениям и совершенно серьезно думаю, что они скрывают за собой великое множество ложных надежд и самых вредных успокоений. Человек любит успокоиваться в ожидании будущих благ, даже если бы последние были и не совсем для него ясны. Он слишком склонен утешать себя тем, что зло есть плод переходных порядков и что, вот погодите, не нынче, так завтра — все установится прочно на своих местах, и тогда добродетель предстанет во всем сиянии торжества. Но вот проходят годы, десятки лет, столетия; добродетель давно уже воссияла, а толку все нет. В ушах все с тою же назойливостью жужжит бесконечная, за душу тянущая песня: «вот погодите, не нынче, так завтра»... Где ручательство, что она не будет жужжать и впредь десятки и сотни лет? Нет, видно, есть в божьем мире уголки, где все времена — переходные, и где человек, одаренный практическим смыслом и имеющий попечение о своей шкуре, должен начать с того, чтоб, отказавшись от всяких запутанных объяснений, прямо сказать себе: живем хорошо, ожидаем лучше. И затем... успокоиться навсегда.

Вот в этих-то мирных уголках, где идиллия счастливым образом совпадает с правилами устава о пресечении и предупреждении проступков и преступлений, умеренность и аккуратность и представляют счастливейший удел человеческого существования. Быть Молчалиным, укрываться в серой массе «и других» — это целая эпопея блаженства! Тут все: и цертификат местного квартала о благонадежности, и свобода от приговоров истории и потомства. Квартал, нимало не сумнясь, запишет в своей истории живота: *Молчалин* живет на Песках (или в Москве, под Донским) — *ни в чем не замечен.* История, в лице «Русской старины», отметит: *Молчалины* многочисленное племя, рассеянное по лицу вселенной,— *ни в чем не замечены.* Аттестация, конечно, стоящая немногим больше ломаного гроша, но неужели она хуже следующей: *Живодеров* (имярек) — заклеймил себя неувядаемым позором во время и т. д.

Не забывайте: история не терпит послаблений в своих приговорах. Даже к Сенекам и Галилеям относится она с некоторою придирчивостью, а сообразите-ка, много ли Галилеев найдется у нас, например, в Колтовской?

Не надобно, однако ж, думать, что Молчалины до такой степени погружены в тину безвестности, что самое существо-

вание их вследствие того делается равносильным небытию. Нет, они пользуются лишь условною безвестностью, которая отнюдь не мешает им подчиняться обычным законам, управляющим органическим миром вообще. И они ходят друг к другу в гости, ссорятся, мирятся, сплетничают, лгут, пустословят, женятся, рождают детей; и они имеют свои удачи и невзгоды, и они около чего-то копошатся и что-то создают. Мало того: некоторые из них, более терпеливые и настойчивые, даже достигают своего рода известности...

Повторяю: их безвестность неполная и условная. Полною и безусловною неизвестностью пользуется только человек лебеды, и уж, конечно, едва ли найдется субъект достаточно наивный, чтоб назвать этот удел блаженным. Молчалины очень хорошо понимают, что бытие лучше небытия, и потому равно сторонятся и от безусловной безвестности человека лебеды и от громкой известности какого-нибудь Галилея, которая, на их глаза, может привести лишь к неприятным столкновениям с полицией...

Начать с того, что в словах «ни в чем не замечен» уже заключается целая репутация, которая никак не позволит человеку бесследно погрузиться в пучину абсолютной безвестности. Ни в чем не замечен — это значит: послушлив, благонадежен, исполнителен и, стало быть, может быть пристроен к какому угодно делу. А коль скоро человек «пристроен к делу», коль скоро он надел на себя вещественный знак этого пристройства (чиновничий вицмундир или приказчичью чуйку — это все равно), так тотчас же он сделался человеком «нужным», а следовательно, и известным. Но это именно та безобидная, тихая, почти безвестная известность, которая никого не затрогивает, никому не бьет в глаза, не прибегает к «малороссийскому борщу», но и не огорчает начальства, утверждая, что земля вертится. Одним словом, известность, которая освещает и согревает кротким своим светом только существование своего скромного обладателя, известность, не переступающая пределы той устричной скалы, к которой прикреплены раковины, скрывающие Молчалиных... Я знаю, есть люди из категории «беспокойных», которые, быть может, сочли бы себя оскорбленными, если бы им предложили такого рода известность, но думаю, что в этом случае прозорливость и благоразумие не на их стороне, а на стороне Молчалиных. Только последние вполне ясно понимают, что вместе с безвестной известностью открывается целый мир не блестящих, но прочных благополучий, которые в глазах солидного человека гораздо ценнее всяких апофеоз. Тут все: и верный кусок пирога, и благосклонная улыбка «нужного человека», и спокойный послеобеденный сон,

и чувство обеспеченности от риска сломать себе шею, провалиться сквозь землю или иным образом пропасть... Чего еще надобно!

Божий мир кишит такими безвестными известностями, но даже и это служит им на пользу. Благодаря тому, что их много, на них не обращают должного внимания. Думается, что все это образы без лиц, тени, на которых достаточно дунуть, чтобы они исчезли без следа. Однако в этом взгляде на Молчалиных кроется значительное недоразумение. Вглядевшись пристальнее в жизненный круговорот, мы без труда убедимся, что все в этом круговороте создается руками именно тех «и других», от которых мы так самонадеянно отворачиваемся. Джеффризы потому бросаются в глаза, что они как-то уж слишком блестяще злы; Молчалины, напротив того, скромны и податливы и вследствие того остаются незамеченными. Но не забудем, что Джеффризы ничего не могли бы, если бы у них под руками не существовало бесчисленных легионов Молчалиных. Одного этого соображения, по мнению моему, вполне достаточно, чтоб не проходить мимо последних с тем обидным равнодушием, которое для всех Молчалиных отводит место где-то далеко, за пределами истории.

Для большей вразумительности приведу пример. Поздним вечером вы идете по улице и вдруг натыкаетесь на здание, сплошь горящее огнями. Это здание — храм, в котором от начала мира священнодействуют «и другие». Они день и ночь изнемогают здесь, копаясь в некоем месиве, в котором и сами ничего другого не разберут, кроме того, что тут когда-нибудь черт ногу сломит. Тем не менее, благодаря обыденности зрелища, мы так мало обращаем на него внимания, что проходим мимо, не остановив на нем даже мысли своей. И что ж! не успели вы сделать несколько шагов, как вас настигает стрела. Вы озираетесь, ищете... не трудитесь искать! Знайте вперед, что стрела пущена вам вдогонку верною и опытною рукой одного из «и других»... Что нужды, что, пуская стрелу, он и сам не сознавал неключимости своего действия,— все-таки он пустил ее, и она настигла вас!

Я видел однажды Молчалина, который, возвратившись домой с обагренными бессознательным преступлением руками, преспокойно принялся этими самыми руками разрезывать пирог с капустой.

— Алексей Степаныч! — воскликнул я в ужасе,— вспомните, ведь у вас руки...

— Я вымыл-с,— ответил он мне совсем просто, доканчивая разрезывать пирог...

Вот каковы эти «и другие», эти чистые сердцем, эти доволь-

ствующиеся малым Молчалины, которых игнорирует история, над благодушием которых умиляются современники и которым квартал беспрепятственно выдает аттестацию: *ни в чем не замечены!..*

Это «я вымыл-с» — чем оно хуже знаменитого «qu'il mourût»? [1]

Я вовсе не желаю, однако ж, чтоб читатель заключил из этого, что Молчалины люди отпетые и закоренелые; я хочу только сказать, что они совсем не тени, не призраки, а составные и притом очень деятельные части того громадного собирательного, которое, под разными формами и наименованиями, оказывает очень решительное тяготение над общим строем жизни.

Дело в том, что Молчалины не инициаторы, а только исполнители, не знающие собственных внушений. Вот что спасает их и от завистливых подыскиваний современников, и от строгостей истории. И потому их обеспеченность, солидность и уместность растут по мере того, как умаляется, так сказать, истаивает в них сознательность.

«Изба моя с краю, ничего не знаю» — вот девиз каждого Молчалина. И чем ярче горит этот девиз на лбу его, тем прочнее и защищеннее делается его существование. С этим девизом он благополучно проползет между всевозможными Сциллами и Харибдами и в урочный час, не раньше и не позже, придет к вожделенной пристани. «Кто идет?» — кликнет его у пристани дозорщик. «Я, Молчалин!» — будет ответ. «Вали его в общую яму!»

И со временем из Молчалина выйдет бесподобное удобрение, хотя история даже и этой заслуги за ним не признает. Просто, говорит, пропадет, даже не произведя удобрения... о, стократ счастливый Молчалин!

Как достигает Молчалин своего благополучия? Достается ли оно ему задаром, как нечто врожденное, или же требуется известная сумма усилий, чтоб добраться до него, усилий, которые и в чашу блаженства примешивают значительную дозу горечи?

Казалось бы, проще всего разрешить вопрос в первом смысле, так как нет ничего законнее и естественнее, как совпадение ничтожества и безвестности. Все ратует в пользу такого совпадения: и духовное бессилие Молчалиных, и отсутствие

[1] Ему следовало умереть!

инициативы, и забитость, и убожество обстановки; все толкает человека в самую глубь сумерек. Для него не требуется ни усилий, ни решимости потонуть: сама почва, на которой он стоит, одарена непреоборимо втягивающими свойствами. Человек сам собой неслышно погружается на дно, и там над ним постепенно происходит процесс увядания, на которое он фаталистически осужден.

Тем не менее такое решение было бы справедливо лишь в том случае, если бы речь шла о той абсолютной безвестности, которою пользуется человек лебеды и при которой, действительно, бытие равняется небытию. Но Молчалин не хочет такой безвестности и не соглашается умереть. Его претензию составляет область умеренности и аккуратности, которая не только не исключает живучести, но даже деятельным образом поддерживает ее. Понятное дело, что существование подобной претензии не может обойтись без усилий и жертв и что в этом виде задача Молчалина уже принимает размеры сложного и вовсе не шуточного предприятия.

Бессилие, забитость, приниженность и робость — плохие помощники в деле жизнестроительства, но они в замечательной степени изощряют в человеке одну способность: исключительно, почти болезненно сосредоточиваться на мелочах своего личного *я*. Это маленькое, вечно ноющее *я*, окрепнувшее в суровой школе угнетения, делается для своего обладателя центром, к которому приурочивается жизнь целой вселенной. Пускай кровь льется потоками, пусть человечество погрязает в пучине духовной и нравственной нищеты — ни до чего нет дела этому *я*, до тех пор, пока привычная обстановка остается неприкосновенною, пока не затронуты те интересы, которых совокупность составляет область умеренности и аккуратности. Это интересы серенькие, но необыкновенно цепкие. Дешевизна или дороговизна квартир, съестных припасов и других незатейливых жизненных удобств, возможность или невозможность оставаться при однажды принятом образе жизни и привычках — вот обыкновенная их канва. Но в них заключено все внутреннее содержание забитого человека, и потому в его глазах они представляют единственное мерило для оценки великих и малых событий, совершающихся на всемирной арене. Для защиты их неприкосновенности считаются возможными и законными все средства: унижение, злоба, предательство, месть...

Вот этим-то ноющим *я* в высшей степени обладает Молчалин.

Я очень хорошо знаю, что подобное отношение к жизни безнравственно и что, кроме того, оно очень вредно действует на

общий ход ее развития, но в данном случае оно оказывает услугу очень существенную. Оно помогает забитому человеку сглаживать те мелкие шероховатости, которыми усеян его жизненный путь; оно сообщает ему терпкость, почти жестокость, без которых он был бы не в силах ухитить и защитить свое гнездо.

Молчалин является на арену жизни безоружный, почти обнаженный. Во всем его организме нет места, которого нельзя было бы уязвить. Он — заурядный человек толпы, один из тех встречных-поперечных, которые массами во всякое время снуют по улицам. В нем нет ничего выдающегося, самоопределяющегося, что давало бы ему право на место в жизненном пире, на что он мог бы опереться, как на исходный пункт для дальнейшего странствования. Понятно, что он должен искать этой недостающей опоры вне своего личного *я*.

И вот он начинает искать. Но, как человек неразвитый, идущий наугад, он, во-первых, представляет себе искомую опору не иначе, как в форме «нужного человека», а во-вторых, он ищет ее где-то в пространстве, среди таких же встречных и поперечных, как и он сам, но поставленных в более счастливые условия относительно карьеры. Вот тут-то именно и начинается страдальческая эпопея его похождений.

Да, это целая эпопея, и мы, которые видим Молчалина, уже устроившегося своим домком на Песках или в Колтовской и режущего в праздничный день обагренными преступлением руками пирог с капустою, мы, которые завидуем блаженному выражению его лица и невозмутимости его обстановки,— мы не должны забывать, что этот человек имел свой мартиролог, разоблачение которого может заставить вздрогнуть даже заправского героя.

Итак, перед нами Молчалин, безоружный, лишенный внутренней опоры, ищущий ее в безграничном пространстве, на одном из пунктов которого должен найтись «нужный субъект». Этот субъект введет его в область умеренности и аккуратности; он осветит и согреет его скромное существование; он поможет ему не пропасть от холода и голода... только не пропасть!

Где ж этот «субъект» и что надо совершить, чтоб обрести его?

Прежде всего, даже не приступив еще к процессу искания, Молчалин уже обязан поступиться некоторыми признаками, составляющими принадлежность образа и подобия божия. Он не знает, в чью пользу он приносит эту жертву; он знает только, что встречные и поперечные, сознающие себя «нужными людьми», на этот счет очень строги. Они понимают, что в образе

и подобии божием есть какой-то намек или укор, какая-то «критика», и потому безусловно не допускают его. Они подозрительно осматривают Молчалина с ног до головы, нет ли в нем чего, хоть искры какой-нибудь. Но Молчалин уже предвидел этот осмотр и успел наскоро, одним плевком, потушить всю небольшую сумму искр, которыми он обладал... Он в порядке..

Эту первую жертву Молчалин выносит, впрочем, довольно легко. Во-первых, он сам иногда не подозревает, что носит на себе образ и подобие божие; во-вторых, он смутно чувствует, что впереди ему предстоит нечто такое, в сравнении с чем пожертвование образом и подобием божиим составляет сущие пустяки.

А именно, ему предстоит такая задача: среди целой массы бродяг и не помнящих родства людей наметить такого полезного и счастливого бродягу, прикосновение к которому оградило бы от хищнических вторжений в ту тихую обстановку умеренности и аккуратности, под сенью которой он мечтает устроить гнездо свое.

Чтоб достигнуть этого, требуется не только громадная смётка, громадный труд, но и громадная удача. Исторические эпохи, о которых идет речь, чреваты изумительными, почти необъяснимыми превращениями. С необычайною легкостью бродяги перескакивают с места на место, со ступени на ступень, то возносясь на самую вершину лестницы, то низвергаясь стремглав к ее подножию. Сколько ни вглядывайтесь в процесс этого перескакивания, вы ни под каким видом не применитесь к нему, не угадаете ни побудительных причин, ни руководящей мысли его. Перед вашими глазами масса бродяг, колеблемых ветром случайности и удачи,— и только. Никакой особой приметы у этих бродяг нет, ни малейшего отличительного признака, ни даже «печати гения на челе». Все на одно лицо, у всех только одна общая отметка: легки на ходу. Вопрос ставится трудно и круто: угадай, которому из этих бродяг удастся прежде других добежать до столба и от которого следует тебе ожидать покровительства и наибольшей суммы полезных приспособлений?

Это самый опасный камень преткновения, который встречают Молчалины на пути своих умеренно-аккуратных затей; до того опасный, что нередко на нем обрушивается главная масса этих затей, не успев ни расцвесть, ни развиться. Громадное большинство Молчалиных погибает тут навсегда, и вот, быть может, почему чаще случается встречать Молчалиных, малодушно спившихся с круга, небритых, влачащих существование в вонючих, обшарпанных одеждах, нежели Молчалиных

солидных, с тщательно выбритыми, лоснящимися щеками и в чистеньких вицмундирах, пиджаках и поддевках.

Я не знаю, насколько существенно может помочь в этом деле смётка, но, поможет она или не поможет, Молчалин во всяком случае должен пустить в ход всю свою сообразительность, чтоб не потратить времени по-пустому и не напасть на такого «субъекта», который ничего ему не даст, кроме паскудства и надругательства. И вот, чтоб хоть сколько-нибудь ориентироваться среди бесконечного однообразия мелькающих перед ним бродячих типов, он прежде всего приступает к рассортировке их на категории, в надежде, что этот труд окажет хоть ту пользу, что даст ему возможность сосредоточить внимание на меньшей массе предметов.

Труд утомительный, непосильный; труд, совершение которого возможно именно только при настойчивости того вечно ноющего *я*, которым обладает Молчалин и которое делает его нечувствительным к оскорблениям. Потребно тонкое зрение, наблюдательный ум, привычка к микроскопическому исследованию и очень большой запас небрезгливости. Долго, очень долго вглядывается и вдумывается Молчалин, пока наконец начинает различать. Но как только он уже достиг возможности различать, то ни Линней, ни Бюффон не превзойдут его в этой работе. Сначала его умственному взору представляется масса бродяг с одним родовым признаком: отсутствием содержания; но мало-помалу терпение и усидчивость открывают в этом общем родовом признаке целый мир второстепенных признаков, хотя и не изменяющих существа дела, но доказывающих, что во всяком случае у каждого бродяги имеется свое личное, ему одному принадлежащее отношение к собственной бессодержательности. Таким образом, он различит легкомысленного бродягу от упорного, веселого от угрюмого, добродушного от злого, болтливого от сосредоточенного и т. д. Но и этого недостаточно: в каждой из найденных категорий он прозрит новые оттенки (иногда очень тонкие), вследствие которых у него образуются подкатегории бродяг, семейства и, наконец, особи. Так, например, мало знать, что такой-то бродяга болтлив; необходимо, кроме того, дознаться, общая ли это болтливость или частная; ежели частная, то какой ее излюбленный предмет; натыкается ли она, хотя временно, на знаки препинания, или же она совсем безвыходная, отчаянная; конфузливая ли это болтливость или наглая; изворотливая или дурацкая. Все это очень важно и требует замечательной остроты ума...

Покончив с рассортировкою, Молчалин хотя и чувствует себя значительно облегченным, но очень хорошо понимает, что

до конца ему еще далеко. Теперь ему предстоит обозреть умственным оком базар житейской суеты, прислушаться к его говору и сообразить, на какой из видов бродяжнической бессодержательности существует в данную минуту наибольший запрос.

Тут главнейшая трудность заключается в том, чтоб не увлекаться теми базарными настроениями, которые иногда ставят запрос на фальшивую почву. Таковы, например, все так называемые либеральные настроения, о которых следует раз навсегда сказать себе, что это настроения скоропреходящие, не стоящие ломаного гроша.

Должно, однако ж, сознаться, что и в этом случае требуется очень большая опытность и стойкость. Иногда либеральные настроения проявляют себя с такою живостью и яркостью, что не успеет человек оглянуться, как уже по̀ уши погряз в самую глубь либерального омута. А вслед за тем, не успел в другой раз оглянуться, как уже вытащен из омута и помещен где-то далеко, за пределами цивилизации. Истинный Молчалин обязывается провидеть все подобные перевороты. Он должен понимать, что увлечения несвойственны солидным людям, что действительную прочность в сей юдоли плача имеет только полная бессодержательность и что, следовательно, лишь между категориями сей последней должен колебаться его выбор.

Но базарные настроения, даже относительно самых несомненных категорий бессодержательности, до такой степени изменчивы, что требуется замечательное чутье, чтоб угодить в надлежащую точку. Сейчас самый бойкий запрос направлен на бессодержательность легкомысленную, забавную, а через минуту она уже летит вверх тормашками и уступает место бессодержательности угрюмой и сосредоточенной. Как тут угадать? И действительно, в точности угадывают лишь избранные, большинство же Молчалиных ограничивается тем, что в общих чертах определяет для себя так называемый средний базарный запрос, то есть старается по возможности уяснить, какой тип бродяжничества имеет шансы на успех в продолжение более значительного периода времени, хотя бы и с некоторыми перерывами. Это — самый основательный образ действий, и я, с своей стороны, могу посоветовать еще одно: по возможности избегать типов легкомысленных, болтливых, веселых и добродушных, как наиболее подходящих к либеральному (иногда они даже смешиваются с последним), и придерживаться типов сосредоточенных, упорных и угрюмых, как самых прочных. А еще лучше: найти такой средний путь, который не препятствовал бы всех и каждого «просить принять уверение в совершенном почтении и преданности» и в то же время представлял

бы некоторые лазейки, в которые, при случае, можно было бы юркнуть. И, наконец, еще того лучше: выбрать разом несколько представителей базарных запросов и всем им одинаково угодить.

Как видите, это уже не просто смётка, но пронырство, предательство, почти дипломатия.

Итак, благодаря упорному труду и смётке Молчалина, мы имеем: во-первых, оконченную работу классификации типов бродячей бессодержательности и, во-вторых, не менее важную работу классификации разнообразных базарных запросов на эти типы. Другой, менее устойчивый организм изнемог бы под тяжестью этой работы, но Молчалин знает, что ему утомляться не разрешается, и потому, нимало не медля, идет далее.

Увы! он очень отчетливо понимает, что путь его еще долго будет путем скорбей и тревог, что долго еще не придется ему успокоиться на лоне умеренности и аккуратности... да и придется ли еще? Кто знает, быть может, в самом апогее его усилий, какая-нибудь шаловливая парка, курам на смех, возьмет да и порвет нитку, привязывающую его к жизни! И разлетится прахом все его многодумное предприятие, и распадется гнездо его, и никто не внемлет жалобному воплю птенцов его!

Едва успел Молчалин, при помощи сейчас названных классификаций (чаще же просто при помощи удачи), наметить себе полезного субъекта, как уже ему предстоит работа приручнения обретенного субъекта.

В большей части случаев этот субъект выбирается из категории мрачных (наиболее прочный тип). Это человек норова и непредвиденных движений души. Кроме того, это человек надутый постигшим его счастием и совершенно невежественный, что лишает его возможности рассчитать, какие последствия может иметь то или другое человеческое действие. Даже Молчалин имеет в этом случае превосходство над ним, потому что хотя он и не менее свободен от наук, но все-таки ощущал на себе известные жизненные толчки, которые оставили в нем некоторые смутные представления о размерах и свойствах вещей. Он же, человек норова, ни размеров, ни свойств не знает и знать не желает.

Остановимся же на сейчас названных свойствах субъекта и попробуем указать, что требуется, чтоб смягчить их и придать им по возможности безопасный характер. Начнем с непредвиденных движений души.

Человек, обуреваемый непредвиденными движениями души, может быть уподоблен грозной и неприступной крепости, без надобности поставленной в такой местности, где царствует полная тишина и безмятежное спокойствие, где никто

слыхом не слыхал ни о внешних ни о внутренних врагах и где, следовательно, необходимости в стрельбе не настоит. Но так как крепость выстроена и вооружена пушками, то весьма естественно, что она обязана выполнить свое назначение. И вот она стрельнет и опять замолчит, потом опять стрельнет и опять замолчит, и опять, и опять. Без порядка, без системы, без руководящей мысли, потому что сама крепость непутевая, построенная, так сказать, в забвении чувств, как бы для того единственно, чтоб напоминать миру, что человек смертен.

Понятно, что если подобные сооружения существуют во множестве, то совокупное их действие может иметь в результате народное бедствие. Положим, что орудие в действительности никого не убивает, но непрерывным гулом своим оно все-таки производит известное болезненное раздражение, которое тоже немало способствует умалению обывательского благополучия. Чтоб освободиться от этого раздражения, окрестным обывателям ничего другого не остается, как выбрать из своей среды излюбленного ходока (рискуя даже быть обвиненными в «скопе» и «измене»), которому поручить утруждать высшее начальство нижайшею просьбой: 1) дабы во множестве настроенные в благополучных местах крепости стреляли лишь холостыми зарядами или же пускали свои снаряды в твердь небесную, так как последняя, от такого немилостивого стреляния, ни расколоться, ниже закоптеть не может; и 2) а так как сие их ходатайство, всеконечно, имеет быть признано непомерным и затейливым, то распорядиться, по крайней мере, чтоб стрельба с упомянутых выше крепостей производилась в определенные часы, в продолжение которых вольно было бы обывателям избегать опасной ходьбы мимо крепостей и тем избавлять себя от безвинного и немилостивого расстреляния.

И так как начальство благодушно и просвещенно, то несомненно, что оно благоприятным оком взглянет на подобную просьбу и даже не посадит излюбленного ходока в острог. А последствием такого снисходительного мероприятия будет: а) что крепости останутся на своих местах, по-прежнему внушая страх, но уже никого не пугая; б) что в определенные часы небесная твердь будет неупустительно расстреливаема, но без малейшего для нее вреда; и в) что обывательские животы будут навсегда обеспечены от напрасной смерти или внезапного членовредительства, при твердой, однако ж, уверенности, что таковая обеспеченность во всякое время может быть обращена в необеспеченность.

Вот эту-то самую роль, которую должен бы был играть воображаемый ходок относительно воображаемых крепостей,— играет Молчалин относительно человека норова и непредви-

денных движений души. А именно: он обязывается устроить так, чтоб человек этот палил в небо, а обывателям внушал лишь страх, но членовредительств не причинял.

Вопрос: как достигнуть этого?

На днях привелось мне встретиться на Невском с одним из Молчалиных, о котором я знал, что он только что наметил себе полезного субъекта и предпринял его приручение. Бледный и изнуренный, вследствие непомерных утренних трудов, брел он к себе на Пески, полный сладкой надежды, что там, в своем гнезде, за тарелкой горячих щей и куском пирога, он отдохнет наконец от треволнений затеянного предприятия.

— Ну что, как ваш субъект? — остановил я его.

— Швыряется!

— Как так «швыряется»?

— Да так: схватит, что под руку попадет, и швырнет.

— Послушайте! да ведь этак он может и убить кого-нибудь!

— До сих пор бог миловал!

— Ну, а вы собственно как?

— Ничего... оглаживаем!

— То есть как же это... оглаживаете?

— Очень просто: он швыряется, а я стою сзади и оглаживаю его. «Тпру, милый, тпру!» Оглаживаешь-оглаживаешь — ну, оно у него и отойдет маленько, только вот руку продолжает словно судорогой сводить. А иной раз и оглаживанием ничего не поделаешь — тогда уж смотри в оба! как только он этот самый камень пустит, так ты на лету его и хватай!

— И надеетесь?

— Бог милостив!

Он постоял несколько минут, вздохнул (мне показалось даже, что вздрогнул) и прибавил:

— Да, сударь, не легко на свете прожить! за тарелку щей да за кусок пирога — вот и все наши радости-то — сколько одних надругательств примешь! Смотришь, это, смотришь иной раз на него — совсем отчаянный! А ты все-таки стой и смотри, потому у тебя дети... гнездо-с!.. Только на милость божию и надеемся!

Через четверть часа, смотрю — другой Молчалин навстречу. Этот бежит, ничего не видит перед собою, весь запыхался.

— Как дела? — останавливаю я его.

Но он даже не ответил, а как-то странно взглянул на меня, словно только сейчас опомнился. И вдруг, через мгновение, лицо его исказилось и начало подергиваться.

— Дети! — вскричал он почти неестественным голосом,— ах, если бы не дети!..

И, махнув рукой, стрелой побежал от меня прочь.

Думаю, этих двух примеров вполне достаточно, чтоб получить приблизительное понятие о непосильном подвиге, который Молчалин не убоялся взвалить на свои плечи. Тем не менее вы можете быть уверены, что он не только доведет этот подвиг до конца, но даже, с помощью сноровки и некоторых приемов ловкости, сделает его ежели не приятным, то вполне для себя безопасным. А там придет на помощь привычка,— и дело пойдет как по маслу. Смотришь, через неделю он жалуется меньше, через две — еще меньше, а через месяц — уже начал похваливать. Это значит, что желанный момент наступил, тот момент, когда подвиг приручнения, следуя естественному ходу развития, превратился уже в подвиг оседлания...

Я сейчас упомянул вскользь о некоторых приемах сноровки и ловкости, необходимых в видах успешнейшего приручнения; но предмет этот настолько интересен, что нелишнее будет остановиться на нем несколько долее.

В деле непредвиденных движений души главная задача состоит совсем не в том, чтоб устранять или предугадывать (это, быть может, придет со временем, в самом конце предприятия), а в том, чтоб принять эти движения открытою грудью, как некогда грудью же принимал Раппо падающие с высоты чугунные ядра. Молчалин обязывается устроить так, чтоб все кирпичи, швыряемые «субъектом», обрушивались лично на нем, не задевая никого из прохожих, так как в противном случае может произойти смертоубийство, которое строго воспрещается законом. Малейшая в этом случае оплошность приводит к уголовщине, которая, в свою очередь, влечет за собою не только гибель нужного Молчалину субъекта, но и гибель самого Молчалина, в качестве придаточного к нему лица. Понятное дело, что последний должен все способности своего ума направить к тому, чтоб изобрести такую комбинацию, которая, с одной стороны, обеспечивала бы свободу швыряния, а с другой — не попустила бы ему, Молчалину, погибнуть напрасной смертью. И вот он думает, соображает и наконец додумывается. Вы видите в некотором роде чудо: кирпичи сыплются на Молчалина градом, а он все-таки остается неуязвим. Каким образом он проделывает этот изумительный tour de force[1] — это тайна между ним и небом; но позволяю себе догадываться, что дело не обходится здесь без некоторой с его стороны стратагемы.

По-видимому, вся штука в том, что камни и кирпичи, которыми «субъект» имеет обыкновение швыряться, приготовля-

---

[1] ловкий трюк.

ются не другим кем-нибудь, а все тем же Молчалиным. Он должен не только принять удар, но и все приготовить, что требуется для его выполнения.

— Я, братец, может быть, искалечить тебя захочу,— говорит ему «субъект»,— так ты уж распорядись, приготовь!

Можно ли удивляться, что Молчалин воспользуется этим, чтоб устроить для себя некоторые льготы и облегчения, что он, например, сделает кирпичи по возможности легковесные, а относительно прочего вооружится броней, известной в просторечии под названием «брань на вороту не виснет»?

Я знаю, что строгие моралисты скажут: стратагема Молчалина основана на подлоге и потому не может быть названа честною; но я еще лучше знаю, что желание не быть изувеченным до того законно, что самой двусмысленной стратагеме, придуманной с этою целью, должно быть предоставлено право на широкое снисхождение.

Как бы то ни было, но плоды этой стратагемы прежде всего и непосредственно отражаются на самом «субъекте», который, благодаря ей, избавляется от уголовщины, а потом уже на Молчалине. Но и тут последний может воспользоваться ими лишь с помощью новой стратагемы, цель которой устроить так, чтоб субъект понял наконец всю трудность молчалинского подвига и приучился ценить этот подвиг. В этих видах пускаются в ход страшные рассказы о других «субъектах», тоже страдающих непредвиденными движениями души, но не имеющих под руками самоотверженных и ловких Молчалиных и потому сплошь и рядом попадающих впросак. Такой-то субъект раскроил череп, такой-то учинил членовредительство, такой-то наступил на закон. Правда, до уголовщины дело покуда не дошло, но еще один шаг в том же направлении — и вдали уже виднеется прокурор.

— А прокуроры ныне строгие,— прибавляет Молчалин для пущего устрашения.

«Субъект» относится к этим рассказам сначала с нетерпением, потом прислушивается к ним одним ухом, потом двумя, а под конец в нем уже является желание проверить их сторонними слухами. Последние, однако ж, не только подтверждают рассказы Молчалина, но еще прибавляют к ним новые подробности. Все было: и раскроение черепа, и членовредительство, и бунт против закона, и все это «со взломом», и появление прокурора... И вот в душу «субъекта» мало-помалу закрадывается сомнение, хотя он все-таки не может понять: что же тут такого? Но являются люди доброжелательные, которые удостоверяют, что опасность действительно есть.

— Берегитесь!— предостерегают они,— не следуйте по стопам такого-то и такого-то! Потому что не ровен час...

— Не беспокойтесь! — отвечает он,— я запасся на этот случай Молчалиным! Это такой Молчалин! такой Молчалин!

И с этого момента он начинает вглядываться в своего Молчалина и ценить его. В одну из добрых минут (в массе душевных непредвиденностей встречаются и такие) он даже открывается ему.

— А ведь я тебя, Алексей Степаныч, намеднись порядком-таки огрел!

— И до сих пор печенки болят!

— Какие печенки? где печенки?

— Вот здесь. Немножко пошибче бы потрафить — и дух вон!

— Гм... а слыхал ты, что NN. такой же вот «субъект», как и я... прохожего на днях разразил?

— Как не слыхать! Об чем другом, а об этих-то подвигах с трубами повествуют! Да чего NN.! Если бы в ту пору я не подвернулся да на себя бы не принял, так и у нас бы хорошего мало было!

— Благодарю!

— Потому что ведь тут большая тоже сноровка нужна. Немножко не в то место попади кирпич — ну, и капут!

— Довольно. Благодарю!

— Эти кирпичи-то надо умеючи принимать!

— Молчать! Благодарю!

Молчалин стихает, но он счастлив, ибо его уже ценят. В нем видят безответное существо, на котором можно вполне безопасно срывать какую угодно дурость и которому ради этого не грех простить некоторые грубо-откровенные выходки. Мало-помалу Молчалин становится в ряды необходимой домашней челяди и делается одним из самых видных членов ее. Перед ним нет ничего заветного, постыдного и скрытного; в его глазах беззастенчиво разоблачаются все ахиллесовы пяты, все душевные убожества. Сколько нужно иметь геройства, чтоб преодолеть тошноты, возбуждаемые видом обнаженного «субъекта»! Сколько самоотверженности — чтобы быть постоянным слушателем его душевных излияний! Но Молчалин все преодолеет, ибо его ни на минуту не покидает идеал умеренности и аккуратности, к которому он изначала стремится! И не только преодолеет, но постепенно сроднится с своею ролью и будет смаковать ее, найдет в ней новые, непредвиденные прежде приспособления. Предаваясь процессу ежеминутного оглаживания, он со временем нащупает в оглаживаемом «субъекте» такую седлистую впадину, на которую можно, с божиею

помощью, очень ловко засесть. И вот он постепенно, день за днем, начинает поднимать свою ногу, выше, выше...

В одно прекрасное утро он уже там, он в седле. Он до мозга костей изучил своего «субъекта»; он дошел, относительно его, до такого ясновидения, что заранее угадывает все его норовы, все душевные непредвиденности. Теперь он может ездить на нем сколько угодно и как угодно направлять его швыряния. Но осторожно, Алексей Степаныч! — осторожно! Вы можете ездить и гарцевать, но так, чтоб не только сам «субъект» этого не почувствовал, но чтоб никто из целой массы Молчалиных, с завистью следящих за вашими успехами, не имел повода шепнуть оседланному: а славно-таки Алексей Степаныч вас обучил под седлом-то ходить!

И все это ради тарелки щей и куска пирога!

Второе свойство «субъекта» — напыщенность собственным величием.

Если непредвиденность душевных движений угрожает жизни Молчалина, то напыщенность и чванство заживо подвергают его нравственному разложению. От первой можно спастись с помощью ловкости и стратагем; от второго — спасение немыслимо. Это до такой степени верно, что сам Молчалин заранее, как я уже имел случай заметить, поступается своим образом и подобием божиим. Он понимает, что это развяжет ему руки и поможет бодрее пройти сквозь строй предстоящих унижений.

Напыщенность собственным величием вселяет идею о всемогуществе, вездесущии и всезнании, но даже не в сверхъестественном значении этих слов, а в каком-то наругательном, которому трудно подыскать сколько-нибудь подходящее толкование. «Субъект», опьяневший от постигшего его счастия, говорит: «Я бродяга — и всемогущ; я никуда не выхожу из своей норы — и вездесущ; я ничего не знаю — и всеведущ! И ты и все прочие Молчалины можете думать обо мне что угодно, но обязываетесь непрестанно взывать ко мне: о, всемогущий! о, вездесущий! о, всеведущий!» Одним словом, это не дерзкое ликование сильного существа, которому дым собственной славы отуманил голову, а бесстыдное наругательство захмелевшего холопа.

Всякий «субъект», прежде всего, выделяет себя из общей массы смертных. У него кровь — алая, кость — белая; он — солнце, освещающее и согревающее своими лучами темную и холодную низменность, в которой кишат Молчалины. И при этом ум его так жалок, сердце так дрябло, что в его отношения к низменному миру не может войти ничего, кроме презрения и нетерпимости. Тупой и жестокий, он понимает одно: что

согрел и осветил Молчалину путь. И взамен того он требует неперестающего трепета и несмолкающего славословия. Получив эту дань, он обливает своего данника целым ливнем милостивого презрения.

Чтоб удержаться в подобном положении, нужно окончательно засорить в себе все человеческие чувства. Не слышать, не видеть, не обонять, не осязать. А чтоб вынести из сего полезный результат в смысле жизнестроительства, необходимо не только не представлять безумию субъекта каких-либо возражений, но, напротив того, всячески поощрять и поддерживать это безумие. Только тогда субъект делается способным смягчаться и понимать, что перед ним стоит некто, чающий подачки.

Процесс этого рода оглаживания — бесконечно длинный. Чем больше поражается обоняние куревом фимиамов, тем оно больше их требует. Чем грубее сегодняшняя лесть, тем грубейшею должна быть лесть завтрашняя. Это бездонный сосуд, который может наполнить только такая неутомимо преданная изобретательность, какою обладает Молчалин.

— Красавец! — восклицает сегодня Молчалин в благоговейном исступлении.

— Будто?

— Полубог!

— Вот тебе двугривенный!

Назавтра этот разговор уже видоизменяется.

— Полубог! — восклицает Молчалин в том же исступлении благоговения.

— Будто?

— Юпитер!

— Вот тебе четвертак!

Сколько нужно двугривенных и четвертаков, чтоб из них составить обеспеченную тарелку щей и кусок пирога!

Третье качество субъекта: невежественность.

Это качество тем важно, что оно препятствует своему обладателю соображать размеры и последствия того или другого действия.

Про одного путешественника повествуют, что он требовал, чтоб его в летнее время везли зимним прямиком; про другого — что он был вне себя от гнева, узнав, что где-то в Царевококшайске имеется свой собственный меридиан, совсем другой, нежели в Петербурге...

— В Царевококшайске! — гремел он в неизреченном изумлении,— здесь, в этой чувашской дыре... свой собственный меридиан! Не может быть!

Вот обыкновенные последствия невежественности.

Молчалины обязываются выслушивать все эти требования и восклицания и даже не шелохнуться, не улыбнуться при этом. Этого мало: они должны устранять и предупреждать вредные их последствия. Единственное средство спасения в этом случае — обман. Провезти путешественника обыкновенным трактом и уверить, что это-то и есть тот зимний прямик, по которому обыкновенные смертные ни пройти, ни проехать не могут; уверить, что Царевококшайск в действительности своего меридиана не имеет, а существует лишь прискорбное по сему предмету недоразумение, допущенное, с одобрения цензуры, в географии,— вот задача, которая предстоит Молчалину. Сколько должен он претерпеть страхов, чтоб кто-нибудь нечаянно не уличил его! сколько употребить изворотливости, чтоб толковать о меридиане, не имея никакого понятия о том, что такое меридиан! Поймите: ведь он сам только сейчас узнал от другого такого же Молчалина, что существуют на свете какие-то меридианы, а этот другой Молчалин слыхал об этом от третьего Молчалина; третий же Молчалин слышал, как говорили на улице...

И все это ради тарелки щей и куска пирога!

Но довольно. Я не стану рассматривать других многочисленных свойств, которыми может обладать бродячий субъект, как, например: болтливостью, веселонравием и проч. Мне кажется, что и того, что сказано выше, вполне достаточно. Затем перехожу к вопросу: каков этот кусок пирога, ради которого пускаются в ход и обман, и изворотливость, и предательство, и даже готовность принять смертный бой...

Чтоб разрешить этот вопрос, необходимо взглянуть на Молчалина в его домашнем быту.

ГЛАВА II

Итак, взглянем на Молчалина счастливого, на Молчалина, с честью выдержавшего свой длинный мартиролог и с помощью его завоевавшего себе: в настоящем — тепло и сытость, в будущем — безответственность перед судом истории. Познакомимся с ним в домашнем его быту, в частной беседе о предметах, доступных его пониманию, в той интимной обстановке, в которой затрогиваются не вицмундирные, а человеческие струны сердца, где он является отцом семейства, мужем, преданным другом, гостеприимным и заботливым хозяином и т. д.

Я давно знаю того Молчалина, с которым намереваюсь познакомить читателя. Когда-то мы служили с ним в одной кан-

целярии. В то время это был уж человек пожилой, хотя все еще занимавший незавидную должность помощника экзекутора. Сознаюсь в своем неразумии: как чиновник молодой и самонадеянный, я смотрел тогда на Молчалина довольно свысока. Я не понимал ни трагизма его положения, ни той изумительной самоотверженности, с которою он спасал нас всех от начальственного натиска, первый подставляя свою грудь под удары. Молодой, обеспеченный и жестокий, я думал, что такова уже провиденциальная роль Молчалиных, чтоб за всех трепетать и за всех принимать удары. Смешно мне было, весело.

Я помню, начальник у нас в то время был необыкновенно деятельный. Это был какой-то дервиш в вицмундире, который с утра до ночи кружился и что-то выкрикивал. Всякая входящая бумага получала в его глазах характер вопиющего преступления, которое надлежало преследовать немедленно, по горячим следам. Каждая была испещрена его надписями: «нужное», «весьма нужное», «самонужнейшее», «завтра же», «сегодня же», «сейчас же». На каждую он как бы роптал, что она попала к нему в руки сегодня, а не вчера, не месяц, не год тому назад. Это было что-то ужасное. В урочный час начиналось судорожное слоняние из угла в угол, и горе, бывало, тому чиновнику, который попадался на этом скорбном пути. Мы, молодежь, знали это и заранее забивались в одну из боковых комнат и уже оттуда прислушивались к стонам. Но Молчалину спрятаться было невозможно и некуда. Его должность именно в том и состояла, чтоб всегда находиться на самом скорбном пути и, так сказать, на лету уловлять малейшую судорогу восторженного дервиша. Красный как рак, он мелькал в пространстве, выполняя сыплющиеся дождем на его голову приказания, перелетая из комнаты в комнату, рассылая сторожей, курьеров, кого-то отыскивая, нюхая, роясь, взывая и т. д. А мы, молодежь, тупым оком взирали на эти мелькания и думали, что Молчалин даже не понимает, что может существовать иная жизнь, свободная от мельканий...

Потом обстоятельства так сложились, что я вынужден был несколько лет прожить в провинции, где познакомился с Сквозником-Дмухановским и Держимордою, Молчалина же совершенно утерял из вида. Когда я возвратился в Петербург, Алексей Степаныч служил уже в другом ведомстве, и не по экзекуторской части, а в так называемой действующей бюрократии, которая уже признается способною писать отношения, предписания и даже соображения. Очевидно, он свое выстрадал и сумел сделаться настолько необходимым, что ему, преимущественно перед другими, поручались щекотливые дела о

выеденном яйце. Он уже не мелькал, как прежде, а как-то неслышно и ловко устремлялся, скользя на камергерский манер по паркету канцелярии. Ему не кричали из-за тридевять земель: Молчалин! но называли Алексеем Степанычем. В самой внешности его произошла выгодная перемена: прежде он был поджар, сутоловат и глядел понурившись; теперь — он нагулял себе изрядное брюшко и голову держал не только прямо, но почти наоборот. Даже в присутствии начальства он не сгибался в три погибели, а только почтительно вытягивал шею, как бы прислушиваясь и не желая проронить. Прежде жест у него был беспокойный, угловатый, разорванный; теперь — это был жест спокойный, плавный, круглый. Прежде он читал только афиши, и то на тот лишь случай, что, может быть, начальству угодно будет знать, что делается в балетном мире; теперь — он сам сознавался, что от времени до времени почитывает «Сын отечества». «Да-с, почитываем-таки!» — прямо говорит он.

Искушенный опытом, я, разумеется, прежде всего поспешил возобновить прерванное знакомство и был принят с тем приветливым, почти сострадательным благодушием, которое характеризует человека, выстрадавшего свое право быть сытым, и которого вы никогда не встретите у ликующего холопа, сознавшего себя силою. Тогда как прежние товарищи по школе и по службе, при встрече со мной, делали вид, как будто что-то припоминают, Алексей Степаныч сразу ободрил и, так сказать, обогрел меня своим приветом.

— Ну что, опять в наши палестины вход получил? — встретил он меня, протянув обе руки.

— Опять, Алексей Степаныч.

— То-то! Напроказничал в ту пору... вперед, чай, не будешь?

— Надо полагать, что не буду.

— Ну да, потому власть... ведь она, голубчик, от бога! Это еще покойный Павел Афанасьич [1] внушал мне... только смех с ним, бывало! Начнет, это: несть власть... а дальше — «аще» да «аще»... и не знает!

— Ну, а все-таки, Алексей Степаныч, хоть и надо полагать, что я *не буду,* а на всякий случай...

— Опять что-нибудь затеваешь... проказу какую-нибудь? Видно, хмель-то из тебя еще не вышибло! Ну, да уж бог с тобой! приходи в ту пору, как проштрафишься... только смотри, тихо чтоб! Никому! ни гугу!

---

[1] Фамусов. *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

И действительно, немного прошло времени, как до меня долетели слухи, что я опять проштрафился. Мучимый вечно присущим мне представлением о Макаре и его телятах, я, разумеется, сейчас же ударился к Молчалину.

— Так и так, Алексей Степаныч, правда ли?

Он с минуту как бы припоминал.

— Да... так точно... есть что-то! Да мне, признаться, невдомек... Да! да! точно, есть... есть! И именно об тебе... да! Только я, представь себе, думал, что это просто так, пустяки... мероприятие!

— Какое к черту мероприятие! ведь ежели...

— Постой! постой! не в том штука, а надо как-нибудь этому делу помочь!.. Извини, брат, не знал! Право, думал, что мероприятие — и больше ничего! Ахти, беда какая!

— Помогите, пожалуйста.

— Не проси — сам знаю! Сам, батенька, детей имею! Нынче с детьми-то тоже напасть... смотри в оба!.. Да! да! есть что-то, есть об тебе... Ну, да мы это дело как-нибудь повернем, а ежели повернуть будет нельзя, так обстановочку придумаем... Ничего! ступай с богом! Только помни: никому! ни гугу!

Мы расстались. Целых две недели после этого свидания я стоял между страхом и надеждой, но Молчалин сдержал-таки свое слово. Он именно нашел «обстановочку», которая с виду даже не изменяла в сущности дела, но с помощью которой весь яд, предназначавшийся для меня, вдруг словно испарился. Он не сфальшивил, не учинил никакого подлога, а просто огладил и направил! И когда все это было выполнено, сам зашел ко мне сообщить о результате.

— Хорошо, что вы вовремя надоумили! — сказал он мне,— а то быть бы бычку на веревочке. Ведь уж и исполнение написано было!

— Как же вы сделали, чтоб остановить?

— Да так и сделал: выбрал час и доложил. Ведь с ним говорить можно, с Сахаром-то Медовичем нашим, только нужно час знать Трудненько этот час подметить, а все-таки, при внимании, достичь можно... Так вот и теперь было. Заслышал я это, что он по кабинету ходит да романс насвистывает,— ну, вошел и доложил: не много ли, мол, будет? «А тебе, говорит, какая печаль?» «А та, мол, и печаль, что человек хороший, знакомый!» «Гм!.. стало быть, *сам* к тебе прибегал? струсил?» «Как, мол, не струсить! человек ведь... понимает!» «Ну, черт с ним, устрой какую-нибудь обстановочку, но только предупреди его, что ежели в другой раз...» Впрочем, это уж не суть важно... Главное, что *теперь-то* благополучно кончилось, а напредки — что бог даст!

— Алексей Степаныч! голубчик!

— Чего «голубчик»! не благодари! сам знаю! у самого дети есть! Сын у меня старший нынче осенью в Медицинскую академию на первый курс поступил, и представь себе, как он меня на днях офрапировал. Прибегает, это, весь взволнованный и первым словом: а ведь человек-то, папаша, от обезьяны происходит! Я просто руками всплеснул! «Во-первых, говорю, это ты врешь, что человек от обезьяны происходит, а во-вторых, ну, ежели тебя, глупенького, кто-нибудь услышит!»

— Что ж он?

— Да что, сударь! Храбрость в них какая-то нынче завелась! В наше время, бывало, все потихоньку да умненько, чтоб не заметил никто, а нынче он знай себе твердит: пострадать хочу!

— Отчего же вы его по классической части не пустили? Там бы ему и в голову не пришло, что человек от обезьяны происходит!

— Знаю я и сам, что по классической лучше: сам, батюшка, классик. Да ведь и то подумал: врач будет — хлеба достанет! Не с тобой первым об этом деле разговаривать приходится... с самим Сахаром Медовичем беседу имел! И он, знаешь, как пронюхал, что я сына к медицине приспособить хочу: что, говорит, вам вздумалось? — А то, говорю, и вздумалось, ваше превосходительство, что нашему брату не гранпасьянс раскладывать, а хлеб добывать нужно!

— Однако вы, Алексей Степаныч, тово... откровенно-таки!

— Я, батенька, нынче напрямки! Потерпел-таки! покланялся! Будет. Разумеется, час выбираешь — нельзя без того! И что ж бы вы думали? Выслушал он мой ответ — и ведь согласился-таки со мной! «Да, говорит, Алексей Степаныч, это так! вы — правы! должно, говорит, сознаться, что классическое образование — оно для «нас» хорошо! А для «вас»... медицина!»

— Помнится, у вас и дочь, Алексей Степаныч, есть?

— Как же! в гимназии, в старшем классе учится... невеста! Только тоже... Не говорит она этого прямо, а все, знаете, с братом об чем-то шушукается. Ходят, это, вдвоем по зале и смеются. Подойдешь к ним: об чем, мол? «Нет, папаша, мы так! об учителях вспомнили!» Боюсь я за них! Боюсь! Особенно с тех пор, как господин Катков эту травлю поднял! Не люблю я, батенька, этого человека — грешен. Вот и благонамеренный, а, кажется, нет его для родительского сердца постылее!

Молчалин вздохнул и смолк. С минуту длилось между нами это неловкое молчание, так что он уже начал выказывать

намерение уйти, хотя, по видимостям, спешить ему было некуда.

— Посидите, Алексей Степаныч! — начал я,— побеседуем! Ведь я вам так благодарен! так благодарен!

— Что за благодарность! А вот прикажите-ка чашку кофею подать — вот и благодарность! Я, признаться, в это время (был второй час пополудни) имею привычку к Вольфу заходить, кофейком побаловаться, а нонче вот к вам поспешил! Думаю, надо ободрить человека! — ну, и не зашел к Вольфу!

Подали кофей, мы разговорились опять.

— Скажите, пожалуйста, как вы к Павлу Афанасьичу[1] попали? — спросил я.

— Очень просто: оба родом мы из Пронскова города. Отец мой был мелкопоместный — и посейчас у меня там с сестрой имение есть. Пять душ временнообязанных да двадцать пять десятин земли... за наделом! Мне тринадцать четырнадцатых из этого имения приходится, а сестре-девице одна четырнадцатая часть — вот я и отписал ей: владей всем!

— Так вы, значит...

— Дворянин, сударь, как же! Только горевые мы, сударь, дворяне! Не знаю, как теперь, а в старину нас «прончатами» называли! Бывало, как время к выборам близится, ну, тузы-то, которые в предводители попасть норовят, и увиваются за «прончатами». Соберут, это, «уполномоченных», рассадят их на подводы, и — марш в губернию. А там их по постоялым дворам разберут да на свой счет и содержат: поят, кормят, по картузу купят, иному сюртук, другому полушубок соорудят. Все, значит, покуда баллотировки нет. А как кончится баллотировка, да наклали ему шаров направо — он и милости свои сейчас прекратил. Папенька-то покойный сколько раз, бывало, из Рязани в Пронск пешком прохаживал!

— Стало быть, Фамусов вашим соседом был?

— Да, у него в Пронском пятьсот душ было да в других губерниях вдвое, ежели не втрое. Ну, и взглянул он на наше убожество.

— Ну, а скажите-ка откровенно, хороший он человек был?

— Павел-то Афанасьич! такой человек! такой человек! Мухи не обидел — вот что я вам скажу! Конечно, своего не упускал — ну, да ведь наше дело сторона! А уж как обходителен был! прост! Чтоб обругать, это, или оборвать — ни-ни! Чуточку бы «понятия» ему прибавить — далеко бы он ушел!

---

[1] Фамусову. (*Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.*)

— Гм... а не пристрастны ли вы, Алексей Степаныч? Помнится, ведь вы с Софьей-то Павловной...

— И ни-ни! боже вас сохрани! Софья Павловна, как была, так и осталась... во всех смыслах девица! Разумеется, я в то время на флейте игрывал — ну, Софья Павловна и приглашала меня собственно на предмет аккомпанемента... Однажды точно что, после игры, ручку изволили дать мне поцеловать; однако я так благороден на этот счет был, что тогда же им доложил, что в ихнем звании и милости следует расточать с рассуждением... Нет, уж вы, сделайте милость, и не думайте!

— А как же, однако, помните сцену после бала?.. когда она вас еще с Лизой застала?

— Тут, батенька, я сам кругом виноват был! Забылся-с. Ну, след ли мне был — в чьем доме! в вельможном! — шашни заводить! Само собой, что Софье-то Павловне обидно показалось! Барышня, можно сказать, в страхе божием воспитана была... завсегда у мадам Розье на глазах... и вдруг с ее фрейлиной и возле самых ее апартаментов — такой пассаж! тьфу!

— Скромничаете вы, Алексей Степаныч!

— Чего скромничать! Сам Александр Андреевич[1] впоследствии сознался, что погорячился немного. Ведь он таки женился на Софье-то Павловне, да и как еще доволен-то был! Даже доднесь они мне благодетельствуют, а Софья Павловна и детей у меня всех до единого от купели воспринимала. Как только жене родить срок приходит, так я сейчас и отписываю. И ни разу не случалось, чтоб проманкировала. Приедет, знаете, прифрантится, всех детей (у меня ведь, кроме старших, еще мелюзги пропасть!) перецелует, скажет: а помнишь, Алексей Степаныч, как ты на флейте игрывал? какой ты тогда чудак был! — и новорожденному крестнику непременно двадцать пять полуимпериалов на зубок подарит. А я, не будь прост, сейчас к Юнкеру да внутреннего займа с выигрышами билетец-с! Может быть, когда-нибудь на наше счастие тысчонок двадцать пять — об двухстах-то мы уж не думаем — и выпадет! Да, голубчик, развратили и меня с этими внутренними выигрышами! Сидишь-сидишь, да и вздумаешь: а ну как... тьфу! прости, господи!

— Как же это вы с Павлом Афанасьичем расстались?

— Да что! Как попали они в ту пору под суд...

— Так он и под судом был?

— То-то, что был. В то время к нему в канцелярию Чичиков

---

[1] Чацкий. *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

Павел Иваныч поступил — такая ли продувная бестия! Первым делом, он Павла Афанасьича себе поработил; вторым делом, для Софьи Павловны из таможни какой-то огуречной воды для лица достал. Словом сказать, всех очаровал. Вот однажды и подсунул он Павлу Афанасьичу бумажку (я в то время не мог уж советовать: в загоне был), а тот и подмахнул. Смотрим — ан через три месяца к нам ревизия, а там немного погодя и суд...

— Огорчился, чай, Павел Афанасьич?

— Только две недели и жил после того. А умер-то как! именно только праведники так умирать могут! На последних минутах даже дар прозорливости получил: увидишь, говорит, Алексей Степаныч, что явится человек, который за меня, невинно пострадавшего, злодею Чичикову отомстит! И точно: слышим потом — Гоголь выискался! И как он его, шельму, расписал! Читали, чай?

— Читал-таки. Ну, а вы как после смерти Павла Афанасьича?

— С месяц после того я без места шатался, а затем Александр Андреич в Петербург меня перетащил. И вот тогда-то он и повинился передо мной. «Я, говорит, и невесть что про тебя, Алексей Степаныч, думал, даже целую историю из-за тебя тогда поднял, а ведь ты и в самом деле только на флейте играл... чудак!»

— Что же вы у Чацкого делали?

— В то время департамент «Государственных Умопомрачений» учрежден был, а Александр Андреич туда директором назначение получил. Ну, и меня заодно помощником экзекутора определил.

— Христос с вами, Алексей Степаныч! да разве существовал такой департамент?

— У нас, сударь, и не такие департаменты бывали! А этот департамент Александр Андреич даже сам для себя и проектировал. Ведь он, после того как из Москвы-то уехал — в историю попал, в узах года с полтора высидел, а как выпустили его потом на все четыре стороны, он этот департамент и надумал. У нас, говорит, доселе по простоте просвещали: возьмут заведут школу, дадут в руки указку — и просвещают. Толку-то и мало выходит. А я, говорит, так надумал: просвещать посредством умопомрачений. Сперва помрачить, а потом просветить.

— И успешно у него это дело шло?

— Как сказать! настоящего-то успеху пожалуй что и не достиг. Последовательности в нем не было, строгости этой. То вдруг велит науки прекратить, а молодых людей исключитель-

но с одними сонниками знакомить, а потом, смотришь, сонники в печку полетели, а науки опять в чести сделались. Все, знаете, старинное московское вольнодумство в нем отрыгалось. Ну, и вышло, что ни просветил, ни помрачил!

— И долго у вас эта канитель тянулась?

— Нет, не долго. Всего годков с десять директором посидел. А под конец даже опустился совсем. «Опротивело!» — говорит. Придешь, это, бывало, с докладом, а он: «Ах, говорит, как все мне противно!» Или вдруг монолог: «Уйду, говорит, искать по свету, где оскорбленному есть чувству уголок!» И что ж бы вы думали! — на одиннадцатом году подал-таки в отставку!

— Жив он еще?

— В имении своем, в веневском, живет. И Софья Павловна с ним. И посейчас как голубки живут. Жаль, детей у них нет — все имение Антону Антонычу Загорецкому останется. Он Чацкому-то внучатным братом приходится.

— Помилуйте! — да ведь и Чацкому теперь, поди, за семьдесят — сколько же лет Антону Антонычу?

— Ему под девяносто, да он, сударь, и до ста шутя проживет. Вы его теперь и не узнаете: нисколько в нем прежнего вертопрашества не осталось, даже лгать перестал. Донос он в ту пору неосновательный на Репетилова написал — ну, его и пре́зрили! С тех пор остепенился, стал в карты играть, обобрал молодого Горича да и начал деньги в проценты отдавать. Теперь деньжищ у него — страсть сколько! Поселился в старинном горичевском имении, всю округу под свою державу привел! Однако, как бы вы думали? — от доносов все-таки не отстал! Нет-нет да и пустит! Даже на Александра Андреича сколько раз доносил!

— Неужто ж Чацкий с ним после этого видится?

— Как не видеться? Родня-с. У Александра Андреича, с тех пор как он в узах-то высидел, и насчет родни все понятия изменились. Прежде он и слышать не хотел об Антоне Антоныче, а теперь — не знает, где и усадить-то его!

— Ну-с, а когда Александр Андреич в отставку вышел — после как?

— А после Александр Андреич Репетилова на свое место рекомендовал. Тот тоже лет с пяток повластвовал. Не притеснял и этот — нечего сказать.

— Скажите пожалуйста! И Репетилов начальником был! Ведь это почти сказка из «Тысячи одной ночи»!

— Все было! — да и чем Репетилов хуже других! Еще лучше-с. Послужите с наше — будете и Репетиловых ценить!

— Позвольте однако! Я себе даже представить не могу... ну, что мог Репетилов в департаменте делать, хотя бы и по части умопомрачений?

— А что ему делать! Пришел — и с первого же абцуга сказал нам речь: вы, говорит, меня не беспокойте, и я вас беспокоить не стану!

— Гм... а что вы думаете! — ведь это недурно!

— Прямо нужно сказать: хорошо! Потому, ежели никто никого не беспокоит — значит, всякий при своем деле находится; ни шуму, значит, ни гаму, ни светопреставления. Домашние театры он у нас в департаменте устраивал, свои собственные водевили ставил. Бывало, к нему начальник отделения с докладом придет, а он в самой середине доклада — вдруг куплетец!

— И прекрасно. Право, хорошо!

— Однако годков через пяток и он не выдержал. Не раз он и прежде проговаривался: «Слушай, говорит, Алексей Степаныч! — сам ты видишь, какой я человек! «Способностями бог меня не наградил», однако, как раздумаюсь, что и я когда-то... что у меня Удушьев приятелем был — ну, поверишь ли, так мне сделается противно... так противно! так противно!»

— Ему-то отчего ж?

— А Христос его знает! Сказывают, что прежде-то он в масонах был, а тут, как нарочно, строгий приказ вышел, чтоб те, кто в масонах был — напредь об масонстве чтоб ни гугу! Ну, он подписку-то дал да с тех пор и затосковал.

— Гм... стало быть, и в нем этот дух-то был?

— Настоящего духу не было, а душок — это точно! И представь себе, странность какая! Ведь я и до сих пор не знаю, как этого Репетилова по имени и по отчеству звать. Как прежде в Москве, бывало: Репетилов да Репетилов, так и после... Даже в формуляре значилось: Репетилов, действительный статский советник, а об имени и отчестве — ни гугу!

Этим заканчивалась первая половина молчалинской поэмы. Рассказывая об ней, Алексей Степаныч словно расцветал. Да и мне, слушая его, иногда казалось: что ж! — право, молчалинское житье-бытье вовсе еще не так дурно, как я полагал! Вот хоть бы Алексей Степаныч: он и на флейте играл, и у Чацких домашним человеком был, и с Репетиловым вместе водевили ставил... отлично! Конечно, образ и подобие божии у него, говоря биржевым языком, и доднесь находятся в *слабом настроении,* однако все лучше хоть и без образа и подобия божия, да в тепле сидеть и на флейте играть, нежели... Да-с, лучше-с! Покойнее-с! Вон он, поди, тысячи две рублей жалованья получает, да дом у него на Песках свой, да у каждого

ребенка по билету внутреннего с выигрышами займа... И вдруг он двести тысяч выиграет? Уйдет он *оттуда* или останется *там?*

Покуда я все это раздумывал, Алексей Степаныч пристально вглядывался в меня и словно угадывал мои мысли.

— Ты об моих выигрышных билетах, что ли, думаешь? — спросил он меня полушутя.

— Нет... с какой же стати!

— Полно, брат, не хитри! Чай, думаешь: вот, выиграет этот человек двести тысяч — что он с ними делать будет?

— А в самом деле, что бы вы сделали?

— Откровенно тебе скажу: теперь хоть озолоти меня, я все тем же Молчалиным останусь, каким до сих пор был. Потому что для меня всякая перемена — мат! Я вот сорок почти лет на службе состою, а не помню дня, чтоб когда-нибудь проманкировал. Ежели даже болен, и то, хоть перемогусь, а все-таки иду, потому что знаю: не пересиль я себя,— совсем слягу! Поверишь ли: придет, это, праздник, так день-то длинный-раздлинный кажется! И к обедне сходишь, и спать ляжешь, и у окошка сядешь, и самовар раза три поставить велишь — и все никак его доконать не можешь!

— Да, привычка — большое дело. А впрочем, из того, что я до сих пор от вас слышал, право, еще нельзя заключить, чтоб вам худо жилось!

— Ну, со всячинкой тоже, а временами так и очень со всячинкой. Те времена, об которых я до сих пор рассказывал, были простые: и с нас меньше требовали, да и сами мы носов не задирали. Тогда, действительно, жить было можно. Одно только неудобство было — это встоячку жизнь проводить!

— Как так «встоячку»?

— А так, просто на своих ногах. Я ведь не по письменной, а по экзекуторской части больше служил,— значит, все у начальства в глазах. Ну, а как ты, позволь тебя спросить, в виду начальника сядешь?

— Стало быть, и перед Репетиловым стояли?

— Да, и перед Репетиловым. Впрочем, в то время, батенька, это не то чтоб жестокость была, а так, в голову начальству не приходило, чтоб предложить подчиненному сесть. Эти «милости просим» да «садитесь, пожалуйста» — уж гораздо позднее в обыкновение вошли.

— И то слава богу. Лучше поздно, чем никогда.

— Бог знает, лучше ли. На словах-то он «садитесь, пожалуйста», а на деле такими иголками тебе сидение-то нашпигует, что лучше бы напрямки, без вывертов, крикнул: руки по швам!

— Нуте, рассказывайте, Алексей Степаныч, что же с вами дальше было?

— А дальше — хуже. Как вышел, это, Репетилов, остался я совсем без благодетелей. До тех пор, хоть и не больно красно жилось, а все будто в своей семье был. А тут стали поговаривать, что и департамент-то наш, за вольный дух, совсем закрыть следует. И точно, целых три месяца к нам даже и директора не назначали; с часу на час мы ждали: вот-вот распустят,— как вдруг приказ: назначается к нам директор генерал-майор Отчаянный.

— Это тот самый Отчаянный, который впоследствии департаментом «Побед и Одолений» управлял?

— Тот самый... небось помнишь, как вместе горе тяпали! Ну, да в то время, как ты-то его узнал — это что! агнец божий, в сравнении, был! Вот ты бы тогда с ним поговорил, как он с воли, прямо из полка прибежал. Страсть! того гляди, взглядом убьет! Влетел он к нам, словно озаренный; чиновник один на дороге попался — так и скосил! Собрал нас и говорит: «Вы, говорит, может быть, думаете, что я в масонах служил? — нет, говорит, я служил не в масонах, а в апшеронском полку! Или, говорит, мечтаете, что я пришел вашим развратным гнездом управлять? — нет, я развратное ваше гнездо разорить пришел! Вон — все!» Как сказал он это — у всех так и захолонуло! Не знаем, как это слово «вон!» понять: из департамента ли совсем вон бежать или только по своим местам разойтись? Решили, однако, разойтись по своим местам. И пошел он нами вертеть. Сидит у себя в кабинете и все во звонок звонит. То есть, была ли минута одна, чтоб он не звонил! То того подай, то другого! то жарко, то холодно! Звон да гам! Гам да звон! Веришь ли, домой, бывало, после присутствия прибежишь — все этот звон слышишь! Бросишься, это, перед иконой богоматери: заступница!

Молчалин остановился, словно бы поперхнулся. Мне и самому совестно было, что я вызвал его на эти изумительные воспоминания. Однако через минуту он отдышался и продолжал:

— И представь себе, не успеешь дома ложку щей проглотить — смотришь: курьер! требуют! Прискачешь, это, к нему, а он: нет, теперь не надобно! А через четверть часа и опять, и опять! Так покуда эта раскассировка шла, я никуда, кроме департамента, и со двора не ходил, даже спать не раздевавшись ложился!

— И долго это тянулось?

— Да год с лишним. Наконец резолюция вышла: четверть департамента под суд отдать, половину по дальним городам разослать — сочти, много ли уцелело?

— Вы-то, однако, уцелели?

— Что я! Я в ихних вольномыслиях участия не принимал! Я по экзекуторской части был! Ко мне, сударь, он даже привык. Когда его в департамент «Побед и Одолений» перевели, он и меня с собою взял... Там-то мы с вами познакомились, батенька!

Сказав это, Алексей Степаныч протянул мне руку, как бы давая этим понять, что знакомство со мною для него было не неприятно.

— А знаешь ли,— продолжал он,— ведь чиновники-то наши потом его усмирили!

— Как так?

— Да самым простым способом. Сказываться не стали. Пришел он однажды в департамент и начал звонить. Ну, покуда побежали, покуда что — он не утерпел, сам на розыски побежал. Приходит в одно отделение — и вдруг все чиновники врассыпную; приходит в другое — и тут все вон; в третье — та же история. Только я один, бедный Макар, и остался. Остановился он тут против меня, глаза большие, дух занимается, не может слова вымолвить, только рот разевает... И все нутро у него даже гудит... у-у, а-а-а...

— Что ж, и подействовало?

— Стал потише. По отделениям бродить перестал, только звонить еще больше начал!

— А страшно, я думаю, было, как он с вами в то время лицом к лицу стал, когда чиновники-то с ним эту штуку сыграли?

— Уж чего еще! Однако я тебе скажу, и во мне один раз это мужество проявилось! Говорит он мне однажды: позвать! говорит.— Кого, говорю, позвать прикажете? — Позвать! говорит.— Кого же, ваше превосходительство, позвать прикажете? — Он в третий раз: позвать! говорит. Ну тут я, признаться, не выдержал, возвысил, это, голос да как ляпну: да кого же, ваше превосходительство, позвать изволите приказать? — Да, было-таки и у меня! был и со мной такой случай!

— Ну, а он что?

— Да! почесал-таки переносицу! понял!

— Повысил ли он вас, по крайней мере, за вашу службу? наградил ли?

— Представь себе, какой ирод! Десять лет я при нем состоял, и все десять лет у нас экзекутора вакансия была — ну что бы, кажется, стоило! И как бы ты думал? — ведь так и не сделал меня экзекутором! В помощниках все десять лет так-таки и выдержал!

— Как же вы оттуда выбрались?

— Видишь ли: в пятидесятых годах, в половине, сделалось везде, в прочих местах, куда против прежнего легче. Ну, и стал я подумывать, как бы в другое место улизнуть. А тут кстати департамент «Распределения богатств» открылся, и назначили туда командиром Рудина...

— Как, Рудина? Того, который в Дрездене...

— Того самого. Да неужто не помнишь? Как департамент-то его открыли, помещики в то время так перетрусились, что многие даже имения бросились продавать: Пугачев, говорят, воскрес. Ну, да ведь оно и точно... было тут намереньице... Коли по правде-то говорить, так ведь Рудина-то именно для того и выписали из Дрездена, чтоб он, значит, эти идеи применил. Вот он и переманил меня к себе: он ведь Репетилову-то родным племянником приходится.

— Вот вы у него бы и спросили, как Репетилова-то зовут?

— Представь себе: спрашивал — не знает! Сам даже сконфузился. Припоминал-припоминал: «Фу! — говорит, да просто зовут Репетиловым!»

— Хорошо вам при Рудине было?

— При нем — очень хорошо. Даже дела совсем никакого не было. Придет, бывало, в департамент, спросит: когда же мы, господа, богатства распределять начнем? посмеется, между прочим, двугривенничек у кого-нибудь займет — и след простыл!

— Кстати: что это у него за страсть была у всех двугривенные занимать?

— Так это по рассеянности делалось, а может быть, и просто по непонятию. Он на деньги как-то особенно глядел. Все равно как их нет. Сейчас, это, возьмет у тебя и тут же, при тебе, другому, кто у него попросит, отдаст. В этом отношении он почти что божий человек был.

— И долго он служил?

— Нет, скучно стало. Годика три промаячил, а потом и затосковал. «Противно»,— говорит. Взял да в Дрезден опять ушел. А тут, кстати, и наш департамент переформировали: из департамента «Распределения богатств» — департамент «Предотвращений и Пресечений» сделали. Спокойнее, мол.

— Ну, тут как?

— Поначалу — ничего было. Старичка посадили — тоже Молчалиным по фамилии прозывался — хорошо обходился! А тут в скором времени на стариков-то мода проходить стала — его и сменили. А уж после него... вот тут-то я самую муку и принял!

— Это при нынешнем-то? неужто хуже, чем при Отчаянном?

— Хуже. Потому Отчаянный только звонками донимал, а этот прямо по карману бьет, кусок у тебя отнимает. Только и слов у него: в отставку извольте подавать! Ни резонов, ни разговоров... Ну, сам ты посуди! подай я теперь в отставку — что ж я завтра есть-то буду? Вот этого-то он и не понимает! Даже прямо нужно сказать: ни капли ума у него на этот счет нет!

— Ах, Алексей Степаныч, Алексей Степаныч! хороший вы человек!

— Страстотерпец я — вот что! Ведь ты знаешь, нынче у нас кто начальником-то? — Князь Тугоуховский... ну, сын того князя Тугоуховского, который еще к покойному Павлу Афанасьичу на балы езжал.

— А! да! помню! помню!

— Вот, как назначили его, я, признаться, даже обрадовался. Все, думаю, свой человек — вспомнит! И что ж, сударь! приехал он к нам в департамент, а я с дураков-то и ляпни: «Я, говорю, ваше сиятельство, от вашего родителя обласкан был, а ваше, мол, сиятельство даже на руках маленьким нашивал».— Сказал, это, да и сам не рад. Вижу, что у него даже лицо перекосило: то в меня глаза уставит, то по сторонам озирается, словно спрашивает: куда, мол, это я попал? «Ну-с?» — говорит.— Извините, говорю, ежели я ваше сиятельство обидел! «Обидеть, говорит, вы меня никоим образом не можете, а на будущее время прошу вас держаться следующего правила: отвечать только на вопросы, а о посторонних вещах со мною не разговаривать!» Это на общем приеме-то так обжег! При всех!

— Фуй!

— Да, так-таки с первого раза с грязью меня и смешал! И долго после того у нас таким манером шло: он слово — и я слово, он два — и я два. Придешь к нему, по приглашению, в кабинет, а он там взад и вперед словно на выводке ходит. Слова порядком не вымолвит — все сквозь зубы... изволь понимать! Стоишь, это, да только одно в мыслях и держишь: а ну, как он в отставку подать велит! У меня же в это время детки подрастать стали — сам посуди, каково родительскому-то сердцу такую тревогу ежечасно испытывать!

— Пронесло, однако ж?

— Пронесло... разумеется! Стал я по времени за ним примечать... Придет; вижу, что фыркает,— я и к сторонке! Или внезапность какую-нибудь придумаю: бумажку приятную приберегу да тут ее и подам. Смотришь, ан направление-то у него

и переменилось! А иногда и сам от себя веселый придет... и это бывает! Бывает с ними... все с ними, голубчик, бывает!

— И вы пользуетесь этим, чтоб...— прервал я, желая при этом случае благодарно напомнить об услуге, которую я только что испытал на себе.

— Ну-ну, что тут! — скромно прервал он.— Конечно, добрым людям услугу не грех оказать... не велик еще подвиг! А впрочем, счастие наше, мой друг, что они дела не знают, молодые-то. А кабы знали — только бы и видела матушка-Русь православная! Да ведь и впрямь: до дела ли ему? ему, молодому, с девушками поиграть хочется, а его начальство за дело усаживает! Вот он и ходит сам не свой. Метресса ему там изменила — а он эту измену на департаменте вымещает. И рвет и мечет. «В отставку!», «Под суд!», «Куда Макар телят не гонял!» — так и сыплет! Ах! тоже ведь и с ними... и их пожалеть надо, мой друг!

— Помилуйте, Алексей Степаныч! Ему метресса изменила, а я из-за этого должен с Макаровыми телятами знакомство сводить! На что похоже!

— А как бы ты думал! в свете-то ведь и все так. Иной раз слышишь: шум, гам, светопреставление... думаешь, что случилось? — ан просто: он не той ногой с постели встал! Вот, стало быть, и нужно за ним примечать. Коли он в духе — значит, докладывай; коли не в духе — поберегись! Тогда и будет все ладно!

— Однако ж какой громадный это труд!

— Без труда, мой друг, нашему брату шагу нельзя сделать. Опять-таки говорю: наше счастие, что они, молодые-то люди, дела не знают. Ежели бы не это — нам бы совсем от них мат пришел. Давно бы они нас расточили. Реформы у них одни в голове, а дела — и звания нет. Ни рассказать, ни съютить, ни изложить... Ну вот, он попрыгает-попрыгает, да к тебе же и придет с повинной. Так-то.

— Стало быть, вам он и в отставку ни разу подавать не предлагал?

— Нет, бог миловал. Однажды, поначалу, заикнулся было: «Лучше бы, говорит, вам...» — да тут сторож записку ему от метрессы подал — он и позабыл. А недавно так даже сам со мной разговор начал: «Действительно, говорит, я теперь припоминаю: Москва... господин Фамусов... дом на Собачьей площадке... только вас вот... ну, хоть убейте, не помню!» Где, чай, припомнить!

Сказавши это, Алексей Степаныч взглянул на часы и всполошился:

— Господи, никак, я у тебя засиделся! Смотри-ка, три

часа! Чай, и Сахар Медович уж в департаменте!

— Да посидите, Алексей Степаныч! Я с вами об внутренней политике поговорить хотел. Все лучше, как знаешь, чего держаться. А не знавши-то, чего доброго, и опять впросак попадешь!

— А ты не попадайся! Своим умом доходи! Нынче у нас так: сказывать не сказывают, а ты все-таки старайся! Впрочем, ведь я не таков. Я, пожалуй, не прочь добрый совет дать. Только не нынче, а в другой раз.

ГЛАВА III

Прошел месяц, в продолжение которого я не видал Молчалина. В начале сентября, идя по Невскому, я почувствовал, что кто-то сзади прикоснулся к моему плечу. Оглядываюсь — Алексей Степаныч.

— Забыли? грешно, сударь! — молвил он,— а не худо бы проведать старого сослуживца!

— И то сколько раз собирался к вам в департамент зайти, да совестно: все думается, как бы вас от занятий не оторвать! — оправдывался я.

— Как будто только и света в окне, что департамент! чай, и квартира у нас есть. Свой дом, батюшка! На Песках, в Четвертой улице! Хорошо у нас там — тихо. И в Коломне тихо живут, да та беда — место низкое, того гляди, наводнение в гости пожалует. Пятнадцатый год домовладельцем и прихожанином в своем месте состою... ничего! ни в чем не замечен!

— Непременно! непременно! как-нибудь утром в праздник...

— Зачем утром! прямо к обеду в будущее воскресенье милости прошу! По воскресеньям мы в три часа обедаем. В прочие дни к седьмому часу вряд по службе исправиться, а в воскресенье — мой день!

— Неужели вы каждый день в департаменте до седьмого часа сидите?

— А то как же! Вот теперь половина двенадцатого, а я только еще на службу ползу, да и тут, пожалуй, разве писарька какого-нибудь заблудящего на месте застану. Это ведь прежде водилось, что чиновники в департамент с девяти часов забирались и всем, бывало, дело найдется. А нонче, велика ли птица столоначальник, а и того раньше половины первого не жди, а не то так и ровно в час. Идет, это, каблучками стучит, портфель под мышкой несет, всем корпусом вперед подался... Ну, ни дать ни взять либо сам директор, либо его курьер!

— Удивительно, как они дело делать успевают!

— Чего «удивительно»! Коли по совести-то говорить, так ежели бы он и в три часа пожаловал, хуже бы не было!

— Что так?

— Да так. Дел совсем нет. Обегать нас как-то стали. Кажется, кабы сами мы дел не придумывали, а жили бы себе полегоньку, так и в департамент совсем бы ходить незачем!

— А что вы думаете! ведь не худо бы это было!

— Чего лучше!.. небось ты первый обрадовался бы! А знаешь пословицу: бодливой корове бог рог не дает? Нельзя, сударь, этого! потому чиновнику тоже пить-есть надо! Ты сообрази, сколько в Петербурге чиновников-то — и вдруг всю эту ораву, за неимением дел, упразднить! нет, пусть лучше хоть и без дела, а в департамент похаживают!

— Да для чего же?

— Бога пусть помнят, от страха не отвыкают!

— Чем же вы занимаетесь, ежели дела так мало?

— Я-то найду чем заняться. Нет дела — газету почитаю, перья починю, все как следует приготовлю... А там, смотришь, бумажонка какая ни на есть наклевалась. Покуда ее сообразишь да пометишь, да к исполнению передашь — ан через полчаса она и опять к тебе с исполнением воротится! Ну, и опять сообразишь, поправишь, переделать отдашь — смотришь, и к Вольфу пора кофей пить. Да я всегда дело найду, а вот молодежь, хоть бы господа столоначальники — те совсем заниматься перестали!

— Что ж они делают?

— Что ему делать! Придет в первом часу — с полчаса очнуться не может: потягивается да позевывает, потом папироску закуривает, спичками чиркает; потом на стол сядет, ногами болтает; потом свистать начнет... Прежде, бывало, из «Елены Прекрасной», а нонче «Мадам Анго» откуда-то проявилась. Покуда он все это проделает, глядишь, уж четвертый час: скоро и «чадушке» время прийти. Ну, тут он действительно на часок присядет да что-нибудь и поскребет пером.

— А «чадушко» рано ли приходит?

— Неровно. Иногда в пятом в исходе, а иногда и в шестом в половине. Ну, и пойдет тут у нас беготня. Сильно он нас, стариков, этим подъедает. Веришь ли, хоть и дела нет, а домой придешь весь словно изломанный! Так как же? до воскресенья, что ли?

Я дал слово, и мы расстались.

В следующее воскресенье, ровно в три часа, я уже был у Молчалина. Деревянный одноэтажный домик Алексея Степаныча снаружи казался очень приличным и поместительным.

Приветливо глядел он своими светлыми семью окнами и трехоконным мезонином на улицу, словно приглашая взойти на чисто выметенное крыльцо и дернуть за ручку звонка. Сбоку, у крыльца, находились запертые ворота с неизбежною калиткой; поверх ворот виднелось пять-шесть дерев, свидетельствовавших, что в глубине двора существует какая-то садовая затея.

Из передней я вошел прямо в зал, где уж был накрыт большой стол человек на двенадцать. Тут же находился и Алексей Степаныч, хлопотавший около стола с закуской.

— Вот и отлично! — встретил он меня, подавая обе руки,— три часа ровнехонько. Аккуратность — вежливость царей, как говаривал покойный Александр Андреич;[1] ну, а мы хоть с коронованными особами знакомства не водим, но и между своими простыми знакомыми аккуратность за лишнее не почитаем!

— Позвольте вас перебить, Алексей Степаныч. Вы сказали: «покойный Александр Андреич» — разве он скончался?

— Скончался, мой друг! Пять дней тому назад от Софьи Павловны телеграмму получил: «Отлетел наш ангел»! А сегодня по ранней машине и нарочный от нее с письмом приехал. Представь себе! и недели не прошло, а уж Загорецкий процесс против нее затевает!

— По какому случаю?

— Да просто по тому случаю, что подлец. Это настоящая причина, а обстановку он, конечно, другую отыскал. Вот видишь ли, Александр-то Андреич хоть и умный был, а тоже простыня-человек. Всю жизнь он мучился, как бы Софья Павловна, по смерти его, на бобах не осталась — ну, и распорядился так: все имение ей в пожизненное владение отдал, а уж по ее смерти оно должно в его род поступить, то есть к Антону Антонычу. Только вот в чем беда: сам-то он законов не знал, да и с адвокатами не посоветовался. Ну, и написал он в завещании-то: «а имение мое родовое предоставляю другу моему Сонечке по смерть ее»... Теперь Загорецкий-то и спрашивает: какой такой «мой друг Сонечка»?

— Гм... а ведь дело-то ее, пожалуй, плохо!

— То-то, что некрасиво. И ведь какие чудные эти господа филантропы! Вот хоть бы Александр Андреич — это Софья Павловна мне пишет,— и умирая, все твердил:

Будь, человек, благороден!
Будь сострадателен, добр! —

---

[1] Чацкий. *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

да и ей, жене-то, не переставаючи говорил: «Верь людям, друг мой Сонечка! Человек — венец созданий божиих!» С тем и умер. А самого простого дела сделать не сумел! «Другу моему Сонечке» — на что похоже? Теперь над ней самый ледащий адвокатишко — и тот измываться будет. «Так это вы, скажет, друг мой Сонечка!.. Очень приятно с вами познакомиться, друг мой Сонечка!» Каково ей будет при всей публике эти издевки-то слушать? А ведь они, адвокаты-то, нынче за деньги какие хочешь представления дают. Читал, чай, процесс игуменьи Митрофании?

— Читал-таки.

— Да, удивительное это дело, мой друг. Вот нас, чиновников, упрекают, что мы, по приказанию начальства, можем в исступление приходить... Нет, вот ты тут подивись! Чиновнику-то начальство приказывает — так ведь оно, мой друг, и ушибить может, коли приказания его не исполнишь! А тут баба приказывает! — баба! А как он вцепился из-за нее — кажется, железом зубов-то ему не разжать. На Синай всходил! каких-то «разбитых людей вопль» поминал! Скажи ты мне на милость, как это в них делается, что он вдруг весь, за чужой счет, словно порох вспыхнет?

— Не знаю, право; одни говорят, что тут происходит психологический процесс, другие — что процесс физиологический.

— А я так, признаться, думаю, что они себя дома исподволь к этому подготовляют. Изнурительное что-нибудь делают. Вот я намеднись в театре господина Хлестакова видел, так он тоже разжигался: то будто он директор, то будто министр! И ведь в таком азарте по сцене ходит, что никак ты не разберешь: понимает ли он, что лжет, или взаправду чертики у него в глазах ходят! Должно быть, и тут так, в адвокатском этом ремесле!

— Да; какая-нибудь тайна тут есть...

— Знаешь ли что! я бы такую штуку сделал: я бы присяжным заседателям предоставил: о подсудимом — само собой, а об обвинителях — само собой мнение высказывать. Подсудимый, мол, виновен, а обвинителя, за публичное оскорбление подсудимого, сослать в места не столь отдаленные!

— Да, это поостепенило бы!

— Еще как бы остепенило-то! А то вот мы часто присяжных заседателей обвиняем, что они явных преступников оправдывают! А как ты его обвинишь? Иной присяжный и понимает, что подсудимый кругом виноват, да как вспомнит, как его на судоговорении-то кастили — ну и скажет себе: будет с него! — невиновен. Как ты полагаешь?

— Да, недурно бы подсудимому эту льготу предоставить!

— А покуда этого нет, я за Софью-то Павловну и опасаюсь. Думаю: выпустит плут Загорецкий на нее целую ораву оскорбителей, а они и начнут на ее счет почтеннейшую публику утешать.

— Что же вы предполагаете делать?

— Клин клином выбивать надо — адвоката ищу. Пишет ко мне Софья-то Павловна, со слезами просит: ради Христа, адвоката! Не знаете ли кого?

— Есть-то есть один, да чудак он...

— А как, например?

— Да так вот: придет к нему клиент — он его выслушать выслушает, а потом сейчас за звонок: «гони его в шею!»

— Ну нет, нам таких не надо! Нам дошлого нужно! Дошлых у тебя нет?

— Нет; я ведь, Алексей Степаныч, боюсь!

— Денег, верно, накопил; боишься, чтоб не отняли?

— Нет, не то, а вообще к гражданскому судопроизводству вкуса не имею. А ведь и я смолоду баловался, даже диссертацию написал «О правах седьмой воды на киселе в порядке наследования по закону». Да забраковали — с тех пор я и баста. Да у вас у самих-то неужто нет знакомого из адвокатов?

— Как не быть — целых двое. Только люди-то... У одного я даже сегодня был: в десять часов утра к нему забрался, а его уж и след простыл! Ну, оставил записку, просил откушать приехать, жду вот... Да нет, не надеюсь я на него!

— Кто он таков?

— Балалайкин, а по имени и по отчеству как звать — не умею сказать. И на дверях у него просто написано: Балалайкин, адвокат. Ведь он Репетилова сын побочный; помнишь, Стешка-цыганка была — так от нее... Да не пойму я его: не то он выжига, не то пустослов!

— А может быть, и то и другое вместе?

— Нет, скорее, думаю, пустослов, потому отец его все на водевильных куплетах воспитывал. Ну, и цыганская кровь эта... хвастуны ведь они, цыгане эти! А другой адвокат — Подковырник-Клещ, Иван Павлыч, Павла Иваныча Чичикова сын.

— Побочный тоже?

— Да. Помнишь, Чичиков у Коробочки-то ночевал? Ну вот, после того она и поприпухла... А впрочем, я этого Клеща и сам боюсь. Отец — пройдоха, мать дотошница; какому уж тут плоду быть!

— Да, и по моему мнению, лучше уж Балалайкина попробовать!

— Я так и решил. А если уж на этом основаться нельзя, пойду по Надеждинской либо по переулкам, стану на окна поглядывать, не заманивает ли кто. Однако четвертого половина, а Балалайкина нет как нет. Чуяло мое сердце, что заставит он меня лишний час прождать! Что делать — надо для Софьи Павловны потерпеть! Сегодня и обед, ради него, особенный приготовил, и за вином сам к Елисееву ходил, клубничный пирог у Лабутина купил... Ведь он, пожалуй, простых кушаньев-то есть не станет!

— Разве он у вас прежде не бывал?

— Нет, бывал, да все по большим праздникам. Забежит, поцелует у Анфисы Ивановны руку — и был таков. А однажды, сударь, он меня на обед к себе зазвал, так вот, доложу вам, чудес-то я насмотрелся! В марте месяце — клянусь честью! — земляники фунтов пять скормил! Груши — по кулаку! спаржа — наипристойнейшая! Вина! сигары! ликеры!

— Верно, большое общество было?

— Нет; я да еще двое шематонов каких-то. Наелся я, мой друг, да и наслушался же! Такие разговоры тут происходили, что, кажется, лучше бы я в сортире все время просидел! Все про конкурсы, да про дутые векселя, да про дисконты... А потом пошли про камелий... Один говорит: я двадцать пять тысяч на нее просадил, зато знаю, что она мне верна! А другой говорит: а хочешъ, говорит, я тебе скажу, где у нее родимое пятнышко есть? Чувствую я, знаешь, что они врут, а остановить или уличить не могу — потому не знаю. Шестьдесят пять лет мне стукнуло, а я между ними, между молокососами, ровно младенец сижу! Однако я легонько-таки пригрозил им тут: быть, говорю, вам, господа, в местах не столь отдаленных!

— А они что?

— Смеются. Да скажи ты мне, пожалуйста, неужто и взаправду такие девушки есть, на которых в один месяц двадцать пять тысяч ухлопать можно?

— Говорят, будто есть. В театре однажды даже показывали мне.

— Я и у сына, у Павлика моего, тоже спрашивал, только он, вместо ответа: «охота, говорит, вам, папенька, к шалопаям на обеды ездить!»

Алексей Степаныч взглянул на часы: сорок минут четвертого.

— Наверное еще с полчаса проморит! — пробрюзжал он.— Да и мои куда-то запропастились: верно, в саду аппетит нагуливают перед хорошим обедом. Да, мой друг! не роскошно я устроился, а ничего — жить можно. А главное — садик есть...

Немудрящий, а для детей — полезная штука. Летом у нас здесь смехи да крики — соседям, может быть, и скучно покажется, а родительскому-то сердцу как ведь приятно! Своих у меня шестеро, да товарищей приведут — и пустятся взапуски! Сидишь, это, в сторонке, чтоб им не помешать, и думаешь: и с чего только господин Катков тревогу поднял? Молодежь как молодежь! Ну точно, есть в них... есть этот душок... вот хоть бы насчет прародителей-то наших... Так ведь не всяко же лыко в строку!

— Ну, бог милостив!

— Знаю, что велика божья милость, а все-таки не раз и не два подумаешь! Ну, как он, Павел-то Алексеич мой, что ни на есть сболтнет? Ну, как да у меня его за это отнимут? Неужто ж и плакать-то мне об нем нельзя?

Алексей Степаныч вдруг как-то съежился и отвернулся к окну. Через минуту он, однако ж, вновь овладел собой.

— Впрочем, утро вечера мудренее,— сказал он голосом, еще не утихшим от волнения,— еще накличешь, пожалуй! Лучше пойдем-ка, я тебе, в ожидании Балалайкина, логово свое покажу, а потом и в сад зайдем, жене представлю. Только ты смотри: насчет Фамусовых будь осторожен. Жена-то у меня Анфисы Ниловны Хлестовой воспитанница была — в честь ее и Анфисочкой названа,— так и до сих пор за Фамусовых горой стоит. Обидела ее старуха Хлестова: обещала пять тысяч на приданое, а отъехала на двух. Однако жена зла на ней не помнит!

Мы прошлись по всем комнатам: везде было опрятно, светло, хотя несколько голо. Старинная, прочная, но не совсем удобная мебель расставлена была в симметрическом порядке и ровно в таком количестве, чтоб комнаты не казались пустыми. Полы — крашеные, с узенькой полоской дешевенького ковра вдоль всех комнат; на окнах — простые белые сторы и никакого признака драпри или портьер. Из всей анфилады так называемых парадных комнат только в кабинете Алексея Степаныча замечалось некоторое поползновение к баловству, выразившееся в виде мягкого дивана и двух таких же кресел. Главное удобство квартиры заключалось, по-видимому, в том, что у каждого члена семьи был свой угол, чему много способствовал мезонин, в котором было три комнаты. Наконец мы вошли в узенькую комнату, из которой створчатая стеклянная дверь вела в садик.

— А вот и наши! — сказал Алексей Степаныч, указывая на отворенную дверь,— в этой комнате мы обедаем запросто, а летом, в хорошую погоду, и в садик трапезовать переходим. Да милости просим! не хотите ли на мою молодежь взглянуть?

Мы сошли несколько ступенек и очутились в крошечном огороженном пространстве, не больше двадцати пяти — тридцати квадратных сажен. Две клумбы, засаженные георгинами, резедой и душистым горошком, большой куст сирени и пять-шесть тополей, ютившихся около забора,— вот все, что давало этому пространству право на наименование сада. Сентябрьская свежесть воздуха давала себя чувствовать здесь довольно сильно, потому что садик был совершенно затенен домом, а лучи солнца, казалось, никогда сюда не проникали. Но молчалинская молодежь, по-видимому, была совершенно довольна, сознавая себя на вольном воздухе, среди живой, хотя и тощей, растительности. Кроме детей Алексея Степаныча, тут было еще двое товарищей их: один — студент-медик, другой — гимназист. Лица молодежи не отличались ни красивостью, ни здоровьем, но не были лишены той симпатичности, которую придает лицу присутствие мысли. На противоположной стороне садика, там, где кончалась тень, бросаемая домом, и где там и сям по деревянному забору прорывались полосами робкие, словно колеблющиеся лучи солнца, сидела на зеленой скамейке Анфиса Ивановна, закутанная в старинную приданую шаль.

Последовало обычное представление.

Насколько Алексей Степаныч был сановит и внушителен, настолько же скромно и просто выглядела Анфиса Ивановна. Это была коротенькая, чистенькая пятидесятилетняя женщина с кротко светящимися голубыми глазками, с румяными щеками и с бесконечно добродушным выражением в лице. Из-под приданой шали виднелась светло-лиловая тафтяная блуза с полосками, вероятно, подарок Алексея Степаныча в момент рождения его первенца; на голове был старинный чепец, из-под которого выбивались на лоб две серебряные букольки. Она смотрела мягко и душевно, говорила тихо, почти неохотно. Казалось, она совсем прижилась к этому месту и вполне удовлетворилась теми радостями, которые обрела тут. Иногда мне чудилось, как будто на лице ее нет-нет да и промелькнет: «Вот у Хлестовой, в пронском имении... ах, какой был парк!» — но ежели эта мысль и появлялась, то она мгновенно и исчезала, чтоб вновь сосредоточиться на скромной действительности, которая всецело поглощала ее сердце. Она смотрела на детей, но не вмешивалась ни в разговоры, ни в игры их, а только наслаждалась ими. Такого рода женщины неохотно видят появление посторонних лиц в их семье, но они понимают, что ни любимый муж, ни любимые дети не могут довольствоваться замкнутою жизнью, что для них необходимы связи с внешним миром, в виде друзей, нужных людей и даже посторонних посе-

тителей. Анфиса Ивановна никого не любила, кроме семьи, но понимала, что на ней лежала обязанность не затруднять, а сглаживать существование любимых людей, и потому всегда и со всеми была приветлива. Всем одинаково она, по старинной московской привычке, подавала руку горбиком, как для поцелуя. Разумеется, я с удовольствием поспешил исполнить этот невинный обряд.

Старший сын Молчалиных, Павел (в честь Павла Афанасьевича Фамусова), был несколько бледноват и худощав. Мне показалось, что он как-то неохотно подошел к нам на голос отца, посмотрел на меня исподлобья, небрежно взял мою протянутую руку и, почти не пожав ее, сейчас же воротился к своему товарищу-студенту. Еще меньше приветливости высказала Соня (в честь Софьи Павловны Чацкой): она подбежала, сделала издали книксен и мгновенно исчезла в глубь садика, где расхаживали молодые гости ее брата.

— Неприветливы они у меня,— выразился Алексей Степаныч по поводу этого представления — бирючками смотрят. Не то что в хороших домах: придут дети, ножкой шаркнут и смотрят в глаза: не угодно ли, мол, приказать, я сейчас «Попрыгунью Стрекозу» прочту. А впрочем, и у меня ребята добрые, только молоды очень. А в молодости, знаете, это бывает. Ни до кого человеку дела нет; самого себя ему довольно, да вот еще с товарищем он радуется, с которым у него сердце одно!

— Со всяким это, мой друг, было! — вздохнула Анфиса Ивановна, не отрывая глаз от детей.

— Знаю, что было, и не в укор это говорю. Я просто говорю: бывает это. Бывает, что молодому ни до кого и ни до чего, кроме себя и присных по духу, дела нет! Знаю тоже, что многим из стариков обидно это кажется, и за грубость почитают, что молодые люди не ищут их общества, а я говорю: никакой грубости тут нет, а просто молодое сердце играет! Не так ли, сударь?

— Конечно, так. И по моему мнению, роль стариков, в особенности же близких, именно в том и состоит, чтоб как можно осторожнее относиться к этому молодому эгоизму и не раздражать его.

— Вот это так! вот с этим я согласна! — живо отозвалась Анфиса Ивановна и так хорошо взглянула при этом на меня, что я сразу почувствовал себя в числе ее друзей.

Сильный звонок, раздавшийся в эту минуту, прервал наш разговор.

— А вот и Балалайка явилась! — воскликнул Алексей Степаныч,— ишь ведь, как нагло звонит! Ну-с, идемте обедать!

Господа молодежь! обедать милости просим! — хлопнул он в ладоши.

Действительно, Балалайкин уже расхаживал по столовой в ожидании нас. Это был молодой человек среднего роста, но уже несколько тучный, с наружностью, которая могла бы быть названа приятною, если бы ее не портило томно-самодовольное выражение лица и какая-то минодирующая женственность во всех движениях. Одет он был в легкую коричневую жакетку и в светлые панталоны; подбородок был тщательно выбрит, волосы на голове расчесаны удивительно; в одном глазу был вставлен монокль, другой — прищуривался с легким оттенком презрения; ходил он с развалкою, напевая себе под нос французский куплет и поматывая головой из стороны в сторону, как будто чего-то ища.

— А я к вам на минутку, многоуважаемый! — приветствовал он Алексея Степаныча.

— Как так! а обедать?

— Не могу, милейший! дело есть!

— Да ведь и у меня есть дело! Я, собственно, за этим и приглашал! Знаю, что вам, молодым, неинтересно со стариками.

— Не могу, мой ангел! Впрочем, если у вас есть до меня дело, то я имею перед собой...

Он вынул из кармана великолепный хронометр, неизвестно для чего заставил его прозвонить, затем открыл крышку, взглянул на циферблат и сказал:

— Да, именно; я имею перед собой четверть часа... да, так! четверть часа! На эти четверть часа я к вашим услугам!

— Ну, Христос с тобой! Коли у тебя больше четверти часа нет свободного времени, так идем в кабинет... Эй! Кто там! скажите, чтоб погодили подавать на стол! — крикнул он в переднюю.

— Но я вас не стесняю! Пожалуйста, без церемоний; мы и во время обеда переговорить можем!

— Нет, сударь. Не люблю я при праздных свидетелях есть. Все кажется, что ты на юру сидишь и что в рот тебе смотрят.

Мы перешли в кабинет.

— Вот видишь ли, господин Балалайкин, зачем я к тебе приезжал,— начал Алексей Степаныч.— Софью Павловну Чацкую помнишь?

— Да, помню.

— Так вот с ней случился пассаж...

Молчалин в кратких словах рассказал сущность дела и вопросительно взглянул на Балалайкина. Последний некоторое время молчал и напевал себе под нос.

— Вы, конечно, желаете, милейший, чтоб я этим делом занялся? — наконец произнес он.

— Ну да, сам займись или на кого-нибудь укажи!

— И вы намерены употребить на это дело...

Балалайкин остановился и томно посмотрел в глаза Молчалину. Но тот не понимал и таращил глаза.

— Я говорю о сумме вознаграждения за труд по ведению дела,— объяснил Балалайкин.— Извините, голубчик, что я так прямо... Time is money [1], говорит хорошая пословица, а для адвоката — в особенности. Я уж сказал вам, что имею перед собой только четверть часа; следовательно...

Он снова вынул из кармана хронометр, опять позвонил и положил на ладони перед собой, очевидно намереваясь следить за ходом минутной стрелки.

— Да ты прежде обдумал бы, возможное ли это дело или невозможное!

— На этот счет я должен сказать вам следующее: в современной адвокатской практике выработалось такое убеждение, что невозможных дел не существует. Вот почему адвокаты редко останавливаются на соображениях этого рода, но прямо приступают к вопросу о вознаграждении.

— Ну, насчет вознаграждения она ничего не пишет... Полагаю, что не оставит... Поймет, чай, что с твоей стороны беспокойство было...

— Гм... да... «не оставит»! А знаете ли, мой милейший, что выражения вроде «не оставит», «беспокойство» и так далее несколько запоздали для нашего просвещенного времени? Во времена крепостного права, действительно, бывали такие ходатаи, которые «беспокоились» и относительно которых можно было без риска употребить выражение: «Ты уж побеспокойся, мой друг, а я тебя не оставлю». Но мы совсем другое дело. Мы не «беспокоимся», а ведем дело в пределах законности; нас нельзя ни «оставить», ни «не оставить», потому что закон дает нам право на вознаграждение...

— Ну, извини, мой друг! я не хотел тебя обидеть! я ведь новых ваших порядков не знаю... Так как же бы ты думал насчет вознаграждения-то!

— А как велика ценность имения?

— Да тысяч на полтораста, на двести будет!

— Положим, полтораста. В современной адвокатской практике выработалось убеждение, что норма вознаграждения за ведение дела, без обременения для клиента, может быть определена в размере десяти процентов с цены иска. Следователь-

[1] Время — деньги.

но, в настоящем случае надлежало бы принять цифру в пятнадцать тысяч рублей, как вполне обеспечивающую интересы обеих сторон: и доверителя, и доверенного. Но, принимая во внимание, что имение отыскивается госпожою Чацкою не в собственность, но лишь в пожизненное владение, я нахожу справедливым и возможным остановиться на следующих цифрах: в случае выигрыша — восемь тысяч, в случае проигрыша — две тысячи.

— Да ты выспался ли?

— Я не только выспался, почтеннейший Алексей Степаныч, но уже в десяти местах успел быть сегодня утром. Да-с, дело адвоката — дело не легкое-с. Надобно походить около тех двадцати пяти — тридцати тысяч, которые составляют мой годовой бюджет! Их надо достать-с.

Балалайкин произнес эти слова так убедительно и глаза его блестели при этом таким холодным блеском, что я как-то инстинктивно приложил руку к левой стороне сюртука, как бы ощупывая, тут ли мой бумажник. По-видимому, подобное же чувство испытывал и Алексей Степаныч, потому что он вдруг забегал глазами по комнате, очевидно высматривая, не лежит ли что-нибудь плохо.

— Ну, да Христос с тобой, доставай, похаживай! никто тебе не препятствует,— сказал он голосом, в котором еще слышались изумление и испуг,— а все-таки не мешало бы и об том подумать, что Софья-то Павловна ведь не чужая тебе! хоть с левой стороны...

— Эти левые и правые стороны уместны в банке и в ландскнехте, а в гражданских делах они только запутывают... Однако позвольте! четверть часа, которую я имел к вашим услугам, уже истекла... Извините, милейший! ей-богу, ни одной минуты дольше оставаться не могу!

— Да бог с тобой! Уходи, сделай милость, если так уж тебе приспичило!

— Прекрасно-с. Но в заключение я хочу сказать еще одно слово. Шесть тысяч — в случае выигрыша, полторы — в случае проигрыша. C'est à prendre ou à laisser [1].

— За что ж в случае проигрыша-то?

— За труд-с, почтеннейший Алексей Степаныч! за труд-с!

— Какой тут труд, сделай милость! Ты с утра до вечера рыскаешь да языком отбиваешь, так для тебя даже лучше, если за дело малость присядешь! Может, язык-то у тебя и поостепенится маленько!

— Это уж мое дело. Штука не в том, велик или мал мой

[1] Хочешь — бери, хочешь — нет.

труд, а в том, что на него существует требование. Я вчера два дела взял, сегодня утром одно наклюнулось; кроме того, у меня на руках два конкурса, да в десяти коммерческих домах я юрисконсультом состою... стало быть, мой труд ценится-с! Однако pardon [1], я заболтался. До обеда мне еще в пяти местах побывать нужно. Ежели надумаете — пожалуйте. Каждый день утром, кроме праздников, у меня от десяти до двенадцати прием. Au revoir [2].

Он подал Молчалину руку ладонью вверх, почти неприметно кивнул мне головой и поплелся развальцем в переднюю. Алексей Степаныч последовал за ним, и я слышал, как на прощание он сказал ему:

— Говорил я тебе, Балалай Балалаевич, что быть тебе в местах не столь отдаленных... и будешь!

Я взглянул в окно: у подъезда стояла великолепная пара серых, запряженная в коляску. Балалайкин вскочил в экипаж, разлегся на подушках и помчался.

— Каков? — обратился ко мне Алексей Степаныч.

— Недурен. Но воля ваша, он на Репетилова не похож!

— А кто их знает, мой друг. Говорили, будто тут и Удушьев вкладчиком был... Ведь и в наше время бабочки-то слабеньки бывали! Да это еще что! Это больше по части легкомыслия! А вот ты бы на Клеща взглянул! Того я — боюсь!

— А что?

— Да то, что вот хоть бы в настоящем случае; уж он бы не уехал, как Балалайка! Он бы *заставил* с собой покончить!

— Как так «заставил» бы?

— Да так вот: глаза бы отвел. Тот и обедать остался бы, и у Анфисы Ивановны руку поцеловал бы, и с Павлинькой насчет «родов и видов» поговорил бы, и Леночке табакерку с музыкой подарил бы, да и насчет вознаграждения не стал бы спорить...

— Так что ж вы! — обратитесь к нему!

— То-то и есть, что он взять-то дело возьмет, да сейчас же с ним — к Загорецкому! Тот у него Софью-то Павловну и купит!

— Ах, боже мой!

— Да, мой друг, в распутное времечко пришлось нам век доживать. Ходишь, это, по белу свету ровно оплеванный. По улице идешь — к сторонке жмешься, в общество попадешь — в уголку на стульце сядешь. И смотрят на тебя все как-то дико, словно совсем ты не туда попал, где тебе быть надлежит.

---

[1] простите.
[2] До свиданья.

А впрочем, ведь нам с тобой людей не исправить, а жаркое, пожалуй, и подгорит, коли дольше болтать будем. Обедать! — крикнул он в дверь.

Через пять минут мы уже сидели за обедом. За едой дурное впечатление, произведенное Балалайкиным, изгладилось совершенно. За столом было шумно, свободно и весело. Алексей Степаныч ел очень исправно, что не мешало ему, однако, и беседу вести; дети тоже кушали с большим аппетитом, но при этом ни одной минуты не сидели смирно: шептались друг с другом, делали друг другу таинственные знаки и громко-громко смеялись. Разговор сначала вертелся около хозяйственных вопросов, а потом мало-помалу перешел и на почву современности.

— А помните, Алексей Степаныч, вы обещались вразумить меня насчет современного направления? — напомнил я.

— Вразумить — отчего не вразумить! Только я, признаться, и сам в нынешних делах мало понимаю!

— Что ж так?

— Да так уж... Ведь ты писатель?

— Гм... что это вам вздумалось напомнить?

— А отчего бы и не напомнить! Стыда тут нет. В наше время в писателях-то даже славу отечества видели... Помнишь Грибоедова, Александра Сергеича,— ведь тоже писатель был! Конечно, не всякому Грибоедовым быть, а все-таки... Впрочем, я не к тому веду речь, чтоб тебе о твоем писательстве напомнить, а вот к чему: знаешь ты, что такое «период»?

— Конечно, знаю.

— Ну, так вот я тебе что скажу. Коли затеял ты период написать, то, конечно, так уж и пригоняешь, чтоб его как следует в конце закруглить. Начнешь, например, с «так как» — дальше у тебя непременно будет «то»; начнешь с «хотя» — дальше будет «но». Так ли, сударь?

— Кажется, что так...

— Ну, вот видишь ли! А в современном-то нынешнем направлении вот этого именно и нет. «Так как» и «хотя» — в полной силе состоят, а «то» и «но» — в умалении, а не то так и совсем в отсутствии!

Определение это, на первый взгляд, показалось мне настолько остроумным, что я и сам поддался ему. А ведь и в самом деле, и «то» и «но» в умалении! невольно подумалось мне. Однако, вникнув в дело ближе, я нашел, что в мнении Алексея Степаныча кроется известная доля односторонности, которую я и решился исправить.

— Ваше замечание очень метко,— сказал я,— но едва ли оно исчерпывает предмет вполне. Я, по крайней мере, имею

основание полагать, что в некоторых случаях даже лучше, ежели периоды не имеют полной синтаксической округленности.

— Ну, уж это странный вкус у вас, сударь!

— Нет, это не личный мой вкус к синтаксической безурядице, а просто инстинкт самосохранения.

— Самосохранение-то как же тут попало?

— Очень просто. Помните, в тот раз, как мне приходилось туго и вы пришли мне на помощь — чем вы меня из беды вызволили?

— Чем, например?

— А тем именно и вызволили, что начатой период без округления оставили. Согласитесь, что если бы в ту пору Сахар Медович период-то свой округлил,— вряд ли бы мне сегодня у вас обедать!

— Да! так ты вот об чем? случай-то этот вспомнил?

— Нет, я не об одном этом случае говорю, а вообще... Вспомните-ка, Алексей Степаныч, один ли такой казус с вами был, где вы, вместо округлений, «обстановочки» разные придумывали?

— Мало ли со мной случаев было — и не перечтешь! Вот даже намеднись — призывает он меня к себе и говорит: «Так как, говорит, наблюдения за современным настроением умов обнаруживают, что превратные толкования»... Да, к счастию, на самом этом месте курьер с письмом от метрески подоспел... ну, он и бросил период без округления!

— А как вы думаете, если бы не случилось этого письма, в каком бы смысле ваш Сахар Медович свой период округлил?

— Поход бы, вероятно, против обывателей объявил. Да, мой друг, есть в твоих словах правда! есть! Оно, конечно, странно начала без концов слушать, а как подумаешь...

— Не наоборот ли, Алексей Степаныч? не правильнее ли будет сказать, что нам чаще концы без начал выслушивать приходится? По крайней мере, что до меня, то мне именно сдается, что в тех «периодах», о которых мы с вами повели речь, совсем не «то» и «но» в отсутствии, а именно «так как» и «хотя».

Вместо ответа Алексей Степаныч взял меня за локоть и крепко пожал его, как бы заявляя о своем сочувствии.

— Знаете ли что! — продолжал я, поощренный этим вниманием,— вот вы прошлый раз, встретясь со мной, на молодых чиновников жаловались, что они к «делу» не прилежны, больше тем занимаются, что папиросы курят да из «Мадам Анго» мотивы насвистывают. Конечно, с точки зрения производительности труда, они поступают неправильно. Но ведь, с другой стороны, представьте себе, что вдруг, по мановению

волшебного жезла, эти люди перестают курить и свистать и все разом присаживаются вплотную за дело... ведь это что ж такое будет!

— Да, да, да! Вот и сами они то же говорят! Подойдешь, это, к ним иногда: шалберничаете, мол, вы, господа молодежь! А они: да разве лучше будет, коли мы вписываться-то начнем?

— Вот видите ли! Положим, что они не серьезно это говорят, а больше лень свою оправдывают, однако и в этой лени есть что-то такое... провиденциальное!.. — Сообразите же теперь! в одном месте лень, в другом — метреска, в третьем — еще случайность какая-нибудь — смотришь, ан «периоды»-то и остаются без округления!

— Однако, не любишь ты этих «периодов»! Ну, а вы, молодые люди, какого на этот счет мнения? Ты, Павел Алексеич! как ты об этих периодах полагаешь?

Я заметил, что, покуда мы вели эту беседу, молчалинская молодежь не обращала на нас никакого внимания. Даже взрослые молодые люди, как Павел и Соня,— и те держали себя особнячком, не только не вмешиваясь в разговоры старших, но даже и не прислушиваясь к ним.

— Что такое? Об чем вы, папенька, спрашиваете? — отозвался Павел Алексеич, застигнутый врасплох.

— А ты бы, мой друг, и прислушался иногда! Ведь старшие-то не всё одни пустяки говорят!

— Ах, папенька! вы ведь знаете, что я не интересуюсь этим!

— Чем «этим»-то?

— Да вот... внутреннею политикой этой... мероприятиями...

Павел Алексеич как-то загадочно улыбнулся и, обратясь к сестре, начал шептаться с нею, как бы возвращаясь к прерванному разговору. Алексей Степаныч укоризненно покачал на него головой.

— Вот они, молодые-то люди наши! — сказал он,— никакого в них к жизни внимания нет, все где-то витают, в эмпиреях каких-то!

— Вот уж извините! — обиделась Софья Алексеевна,— это вы в эмпиреях живете, а мы признаем только действительность, или, лучше сказать...

— Знаю я, сударыня, про какую ты действительность говоришь! А ты бы лучше сказала, как ты на нашу-то, на настоящую-то действительность смотришь? Так, мол, мистерия какая-то... представление балетное!.. Поверите ли, сударь,— обратился он ко мне,— даже об истории говорят, что совсем, мол, это не история, а затмение! Мимо идоша и се не бе! А вот оно

когда-нибудь укусит тебя, «затмение»-то, так ты не то, стрекоза, заговоришь!

— Уж оставил бы ты их, Алексей Степаныч! не трогают они тебя! — вступилась Анфиса Ивановна.

— Ведь и я не в укор, сударыня, а для их же пользы говорю. Ведь им жить посреди этой мистерии-то придется!

— Проживем как-нибудь! — отозвался Павел Алексеич.

— Нет, не проживешь, мой друг. Потому, хоть оно и через пень колоду на свете идет, а все же не затмение происходит. Вот он, городовой-то, на углу стоит! Городовой, сударь, а не мистерия!

— Я очень хорошо это понимаю.

— А понимаешь ли ты, в чем состоят его права и обязанности, вот этого самого городового?

— Права его состоят в том, что он может остановить и отправить в участок всякого, кто ему под силу; обязанности — в том, чтоб делать кому следует под козырек.

— Ан вот и соврал. Таких прав у него нет, чтоб всякого хватать. А ежели он это сделал, так у него начальство есть, которому жалобу на него принести можно. Начальство, сударь!

— Нет, уж я лучше предпочитаю не ходить по той улице, где завижу городового. Покойнее.

— Да ведь таким образом тебе на тот свет уйти придется, потому что на этом-то свете нет вершка земли, на котором бы ты с городовым не встретился!

Павел Алексеич даже не возразил на это. Для меня очевидно было, что разговор этот начался не сегодня и ведется без всякого результата для обеих сторон.

— Недоумение нынче какое-то,— продолжал Алексей Степаныч,— никакого общего разговора в семействе нет. Сидим мы, бывало, при покойном батюшке за столом — и все у нас разговоры простые, для всех понятные: и для родителей, и для детей. Ну, и с Павлом Афанасьичем тоже: он, бывало, говорит — я понимаю, я говорю — он понимает. Уж на что Александр Андреич мудрен был — и того, бывало, понимаешь. Потому, хоть слова и разные, да сюжет-то один. А нынче словно на две половины раскололося: один — свое, другие — тоже свое.

— Мы, папенька, вас любим... и мы вам очень благодарны... неужто вы сомневаетесь? — отозвался Павел Алексеич.

— Знаю, мой друг, и не сомневаюсь! Вот только в мыслях у нас согласия нет!

— Да что же будет проку, ежели я, по наружности, буду соглашаться с вами, а внутренно нет?

— А ты сначала наружно согласись, а там, может быть,

и внутреннее согласие придет. А то вон хоть бы намедни: получил я от Софьи Павловны письмо, да и угоразди меня ее благодетельницей назвать — так какой они содом из-за этого подняли!

— Какая же она благодетельница ваша? Вы в Чацких нуждались, Чацкие — в вас. Это взаимный обмен услуг. И уж, конечно, вы больше одолжений им сделали, нежели они вам!

— Молод ты! — вот что, мой друг! Взаимный обмен услуг! А знаешь ли ты, что мои-то услуги на рынке грош стоят, а ихние услуги — милостями называются! Вы как об этом думаете? — обратился Алексей Степаныч ко мне.

— Я думаю, что в ваши отношения к Чацким замешалось совершенно особенное чувство, о котором люди современного молодого поколения не имеют да и не могут иметь ясного представления. В старину жизнь сопровождалась известными осложнениями, которые в настоящее время могут иметь место только в исключительных случаях. Вспомните о крепостном праве, около которого вертелись все прочие жизненные явления. Кто из наших детей поверит, что когда-то существовал такой жизненный строй, в котором все человеческие чувства являлись до такой степени спутанными, что нельзя было даже приблизительно сказать, где кончалась преданность и где начиналась ненависть. То же должно сказать и о другом явлении того же порядка: о покровителях и благодетелях. Как бы ни почтенно было благодеяние само по себе, но оно непременно порождает в благодетельствуемых известное нравственное раздвоение, с которым может примирить человека лишь очень продолжительная привычка. Поэтому весьма естественно, что когда руководящим началом человеческих действий выступает чувство личной ответственности, то представление о «благодеяниях» как-то невольно отступает на задний план.

Каюсь: произнося эту рацею, я преимущественно имел в виду поразить молодого Молчалина либерализмом моих взглядов. Но я горько ошибся. Молодой человек воспользовался моим вмешательством единственно для того, чтоб отделаться от вопросов отца и беспрепятственно возобновить разговор с соседями.

— Может быть! — может быть! — отвечал Алексей Степаныч в раздумье,— точно, что прежде случалось что-то похожее. Вот хоть бы эта самая Лиза — помните, что у Софьи Павловны во фрейлинах была? — сколько раз она мне говаривала: уж так мне эта барышня ненавистна! — кажется, в целом свете постылее ее человека нет! — Что ты, глупенькая! — начнешь ты ее, бывало, урезонивать,— какой еще тебе барышни лучше! Два-три раза платье наденет — и тебе от-

дает! — Нет, говорит, Алексей Степаныч! Верите ли, говорит, как начну я ее утром обувать — она в постели лежит, а мне ножку протянет — ну, так она мне ненавистна! — так ненавистна!.. И что ж бы вы, сударь, думали! Как объявили, этта, волю — ни она, ни Петр-буфетчик так-таки ни минуты у Чацких и не остались! И не забудьте, ему под шестьдесят, да и ей тоже под эту цифру в это время было!

— Может быть, капиталец скопили?

— Как не скопить — был капиталец! Да чего! Из Венева-то явились сюда, мелочную лавочку здесь сняли, а через год и в трубу вылетели! После уж к нам наниматься приходила; да я, признаться, побоялся нанять, а к Софье Павловне отписал: так, мол, и так, не пожелаете ли обратно заблудшую овцу взять?

— Что ж Софья Павловна?

— Ничего. Зла, говорит, я не помню, а прощать только бог может, и я каждый день и на утренней, и на вечерней молитве его о том прошу, чтоб он сей ужасный ее грех простил.

— Однако строгонька-таки Софья Павловна!

— Человек, сударь,— слабости свои имеет. Да ведь и обработала же их меньшая братия-то! Александр-то Андреич, чай, сами знаете, всегда либералом был, а тут, как комитеты-то эти в пятьдесят восьмом году открыли,— он и еще припустил. Тогда, впрочем, везде эти либеральные лавочки завелись. И что ж бы вы думали! — как только рескрипт пришел, на другой же день у Александра Андреича ни одной души из дворни не осталось! Ну вот, он и нашелся в фальшивом положении: с одной стороны, по закону, два года имеет право безмездно услугой пользоваться, а с другой стороны — либерализм примешался...

— Как же он выпутался?

— Победствовал-таки, а после того, однако ж, задумываться стал: «хороша, говорит, свобода, но во благовремении».

В эту минуту в среде молодых людей раздался взрыв сдержанного смеха.

— Вы чему, господа, смеетесь? — полюбопытствовал Алексей Степаныч.

— Ах, папенька, неужто ж нам посмеяться между собой нельзя! — вскликнула Соня.

— Отчего не посмеяться! да отцу-то отчего не открыть?

— Разве вам интересно? Ну, мы об учителях вспомнили!

— Вот она так всегда мне отвечает! С Павлом Алексеичем хоть целый день шушукаться готова, а перед отцом — молчок! И об чем только вы шушукаетесь? Верно, он и тебя нашпиговал, что человек от обезьяны происходит?

— Вы, папенька, в таком странном виде это представляете, как будто я говорю, что это вчера или третьего дня произошло,— вступился Павел Алексеич.

— Что вчера, что за шесть тысяч лет,— это все равно, мой друг! Все-таки оно неправильно. Потому сказано: Адам, Ева... и притом в шестый день... Как же ты после этого об Адаме и Еве полагаешь?

— А так и полагаю, что ничего не полагаю!

— Нельзя не полагать, мой друг! велено полагать! По-твоему, и мир не в семь дней сотворен, и от сотворения мира до Рождества Христова не 5508 лет протекло, а несколько десятков тысяч столетий — так, что ли?

— Ах, папенька! вы со мной точно участковый надзиратель разговариваете!

— Для твоего добра, мой друг! Ведь ты и при посторонних людях чепуху-то эту несешь, а нынче, слава богу, гаду-то этого довольно-таки развелось! А ты умненько себя, голубчик, держи! Ты линию-то свою веди, да так, чтоб комар носу не мог подточить!

— Слушайте-ка, Алексей Степаныч! — вступился я,— а помните, что вы сами давеча насчет молодых-то людей говорили?

— Что же такое?

— А вот, что молодым людям и самих себя довольно, что не правы те старики, которые претендуют, что молодые люди не ищут их общества.

— Так-то так, да ведь родительское сердце — загадка, сударь. Ежели рассудить по справедливости, так оно и действительно так: какие же у нас с детьми общие разговоры могут быть? Баловать их, жалеть, радоваться на них — вот настоящая задача! Ну, а как коснется до дела — тут и спасуешь! Все думаешь, как бы поближе да потеснее, да как бы за свою любовь-то благодарность получить!

Сказавши это, Алексей Степаныч так нежно и любовно погладил по голове маленькую Леночку, сидевшую около него по правую руку, что та сейчас же расшалилась и опрокинула к нему все свое светящееся личико.

— Следовательно,— продолжал он,— всякому свое. И старикам, и молодым. Мы — будем об нынешнем направлении рассуждать, а молодежь — пусть сама для себя сюжеты выискивает!

Обед кончился; мы встали из-за стола и, в ожидании кофея, приютились с Алексеем Степанычем в его кабинете.

— Я такого об нынешнем направлении мнения,— начал он,— что к тому, видимо, все клонится, чтоб не рассуждать.

Совсем чтоб это оставить! И ежели ты на этой линии стоишь твердо, то никто, значит, тебя и не потревожит!

— Гм... а ведь это, Алексей Степаныч, тоже своего рода «период»... и даже довольно округленный!

— Настоящего «периода» покамест еще нет, а из отрывочков, действительно, можно это самое заключить.

— Стало быть, по вашему мнению, если хочешь прожить мирно, то стоит только не рассуждать? — резюмировал я в раздумье.

— Верно!

— Что ж! Я думаю, что так-то даже легче. Вот только в литературе... ведь она, пожалуй, одним рассуждением и живет!

— А в литературе — рассуждай о нерассуждении!

— Да? стало быть, существует особенный вид рассуждения: рассуждение о нерассуждении?

— Именно. На днях я в одной газете целую передовую статью о нерассуждении прочел — бойко написано!

— Гм... надо об этом подумать!

— И так, сударь, он, сочинитель этот, ловко эту материю обставил, что даже ни одним словом прямо не проговорился: не рассуждай, мол! А говорит: рассуждай — но в пределах!

— Да ведь в том-то и штука, Алексей Степаныч, как пределы-то эти отыскать?

— И об этом он говорит. У всякого, говорит, свой предел есть. Ты сапожник — рассуждай об сапоге; ты медик — рассуждай о пользе касторового масла, как, в какой мере и в каких случаях оно должно быть употреблено; ты адвокат — рассуждай о правах единокровных и единоутробных...

— А ежели, например, философ?

— А такого звания, кажется, у нас не полагается!

— Ну, не философ, а публицист, поэт, романист?

— Ежели публицист — пиши о нерассуждении; ежели поэт — пой:

Я лиру томно строю,
Петь грусть, объявшу дух:
Приди грустить со мною,
Луна, печальных друг!

Ежели романист — пиши сказание о том, как Ванька Таньку полюбил, как родители их полагали этой любви препятствия и какая из этого вышла кутерьма! Словом сказать, все ремесла, все отрасли человеческой деятельности сочинитель этот перебрал — и везде у него вышло, что без рассуждения не только безопаснее, но даже художественнее выходит!

— Да; надобно, надобно об этом подумать, и ежели действительно есть возможность...

— Подумай, мой друг! А еще лучше, коли не думавши! Знаю я эти думанья! Сначала только думаешь, а потом, смотришь, и рассуждение пришло!

— Ну, а вы сами как, Алексей Степаныч? Пробовали ли вы без рассуждения жить?

— Я, мой друг, всю жизнь без рассуждения прожил. Мне покойный Павел Афанасьич раз навсегда сказал: «Ты, Молчалин, ежели захочется тебе рассуждать, перекрестись и прочитай трижды: да воскреснет бог и расточатся врази его! — и расточатся!» С тех пор я и не рассуждаю, или, лучше сказать, рассуждаю, но в пределах. Вот изложить что-нибудь, исполнить — это мой предел!

— Однако вы — начальник отделения. В этом качестве вы мнения высказываете, заключения сочиняете!

— И все-таки в пределах, мой друг. Коли спросят — я готов. Скромненько, потихоньку да полегоньку — ну, и выскажешься. А так, что называется, зря я с мнениями выскакивать опасаюсь!

— А разве, несмотря на эту осторожность, вас не тревожили?

— Кому меня тревожить! Живу, сударь. Видишь, каким домком обзавелся.

— Да, домик хорош. А генерал-майор Отчаянный? А молодой князь Тугоуховский? А эта беспрестанная боязнь, что вот-вот сейчас велят в отставку подать?

— Ну, это, мой друг, не тревога. Это уж такая жизнь!

Я ничего не сказал на это. Замечание Алексея Степаныча заставило меня задуматься. Молчалин прав, думалось мне, он не вполне сознательно, но очень метко определил положение. Действительно, тревоги нет там, где есть «такая жизнь». Он ошибается только в том, что полагает, что «такая жизнь» есть личный удел его и ему подобных. Нет, это удел очень многих, начиная с так называемого «непомнящего», ночующего в стогах сена, и кончая так называемым «деятелем», тщетно отыскивающим себе местожительство в кустах. Ежели эти люди еще не убедились, что все их существование есть не что иное, как «такая жизнь», ежели некоторые из них, кроме того, ждут и еще какой-то тревоги, ими не испытанной и не предвиденной, то это означает только, что они не вполне покорились, что хотя они и говорят о тревогах, но собственно ждут от жизни не тревог, а благостынь. Вот Молчалин прямо сказал себе: для меня нет тревог! для меня существует только «такая жизнь»! — и благо ему! Это сознание дает ему силу не только перенести «такую жизнь», но даже, по силе возможности, и украсить ее. У него есть угол, есть семья; он не ночует в стогах сена и не

прячется в кусты. Не благоразумнее ли было бы и со стороны всех «непомнящих» и «деятелей», если бы и они последовали примеру Молчалина? Подумайте об этом, милостивые государи! Потому что ведь ежели Алексей Степаныч и говорит, что настоящего «периода» нет, то он же присовокупляет, что и из «отрывочков» достаточно заключить можно...

Я взглянул на Алексея Степаныча: он был так светло спокоен, он с таким блаженным добродушием попыхивал свою сигару, дым которой отзывался не то печеными раками, не то паленым бараньим полушубком, что я вдруг смутился. Одну минуту мне даже показалось, что передо мной сидит своего рода эпикуреец той «такой жизни», все элементы которой так искусно сложились, что даже устранили всякое представление о «тревоге». «Да! это оно... оно самое!» — твердил я себе, совершенно явственно ощущая, как я все ниже и ниже опускаюсь на самое дно колодца. Я уже хотел перекреститься и трикраты прочитать: «Да воскреснет бог и расточатся...» — как вдруг мне пришло на мысль, что есть и еще два сомнения, которые мне необходимо разъяснить.

— Прекрасно,— сказал я,— в принципе я совершенно согласен, что ежели человек не рассуждает, то тревожить его нет причины. Это великий принцип современной жизни, это ее палладиум, это безопаснейший ночлежный приют для всех «непомнящих». Но меня тревожит, во-первых, следующее соображение: ведь человек носит на себе образ и подобие божие! Вы христианин, Алексей Степаныч! Подумайте, как же с этим-то быть? как отказаться от образа и подобия божия? как не рассуждать, когда дар рассуждения есть главная характеристическая черта этого образа и подобия?

— Ну, мой друг, по нынешнему времени эти уподобления-то оставить надо!

— Как! оставить! да ведь это кощунство!

— А как бы вам сказать... Вот автор-то статьи, об которой я упоминал, совсем напротив говорит. Не тот, говорит, кощунствует, кто, не рассуждая, исполняет предначертанное, а тот, кто рассуждает — во вред. Вот, говорит, где истинное и действительное оскорбление образа и подобия божия!..

— Стало быть, вообще-то говоря, рассуждать не возбраняется, но только нужно, чтоб эта способность проявлялась, во-первых, в пределах и, во-вторых, не во вред? Так, что ли?

— Да, мой друг!

— И, стало быть, ежели не умеешь отыскать «пределов» или не можешь отличить, что вредно и что полезно, то...

— То лучше не рассуждать!

Мы на минуту умолкли и смотрели друг на друга не то в изумлении, не то как будто нам самим было совестно, что мы пришли к таким результатам. Но я решился выпить чашу до дна и первый прервал молчание.

— Прекрасно, но что вы скажете насчет следующего соображения? Вот мы имеем порох, книгопечатание, пар, железные дороги, шасспо̀, голубиную почту, аэростаты... Мы, наконец, едим печеный хлеб, а не питаемся сырыми зернами ржи... Не правда ли, что все это приобретения очень и очень полезные? Как вы, однако ж, думаете: если бы люди не рассуждали, обладали ли бы мы всеми этими благами?

— И насчет этого в статье говорится. «Правда, говорит, что есть вещи, которых польза признана всеми и осуществление которых было бы невозможно без некоторого полета ума, но и на этот случай существует известная комбинация, при помощи которой могут быть удовлетворены все интересы. Пусть те, которые имеют склонность к умственным полетам, прибегают к оным под личною за сие ответственностью! пусть изумляют они мир величием и смелостью своих открытий и изобретений! пусть воспользуются за оные сладчайшею в мире наградою — славой! Но разве это мешает нам, избегающим упомянутых полетов, ради ответственности, с ними сопрягаемой, пользоваться плодами оных? — Отнюдь!» Да, мой друг! нужно только терпение, а прочая вся приложатся! Есть и без нас кому выдумывать и мозгами шевелить! Пускай их! Ведь оно, выдуманное-то, и без того в свое время до нас дойдет — тогда мы и попользуемся!

— Следовательно, как ни кинь, а в результате все выходит: не рассуждать?

— Ежели по тому судить, что в статье говорится, то видимое дело, что оно к тому клонится.

— Попробуем, Алексей Степаныч! попробуем!

— Попробуй, мой друг!

Сказавши это, Алексей Степаныч словно оживился весь. Он даже переменил свое спокойное положение на диване и всем корпусом потянулся ко мне, чтоб еще крепче меня убедить.

— И совсем это не так трудно, как ты себе представляешь, мой друг! Нам вот, чиновникам, не только рассуждать не полагается, да еще чужие рассуждения переносить приходится — и то живы! А от тебя только одно требуется: находись в пределах! — и то ты ропщешь!

— Не ропщу, а не знаю... пределов найти не могу, Алексей Степаныч!

— Ну, бог милостив!.. вместе как-нибудь... общими силами... найдем!!

Алексей Степаныч сказал эти слова несколько вяло. Мне показалось, что при последнем слове он даже зевнул.

— Извините, пожалуйста! — встрепенулся я,— ведь у меня совсем из головы вон, что вы, кажется, имеете привычку отдохнуть после обеда?

— Есть тот грех, мой друг!

— Ну, так вот что, Алексей Степаныч! наставления ваши я постараюсь исполнить; но только, если бы паче чаяния — ведь плоть-то немощна! — вы ведь не откажетесь все-таки в мою пользу «обстановочку» сделать?

— Сделаю, мой друг! с удовольствием сделаю!

— А ежели так, то выходит, что сегодняшний разговор привел нас к следующему результату. Три главных признака имеет современное направление: во-первых, отсутствие округленности в «периодах»; во-вторых, стремление к нерассуждению, и в-третьих, возможность «обстановочек». Воля ваша, а последний признак мне гораздо больше нравится, нежели, например, второй!

— Губа-то у тебя не дура!

— Равным образом, я ничего не могу сказать и против отсутствия округленности в «периодах» — бог с нею, с этою округленностью! Пожалуй, как округлять-то навострятся,— того гляди, так округлят, что и навек болваном останешься! Вот только с нерассуждением трудненько будет сладить!

— Бог милостив!

— Да, надо будет! надо! Потому что в наши годы и вдруг...

— Что ты! еще что вздумал! Про «обстановочку»-то забыл? А мы вот тут-то ее и пустим!

С этими словами мы пожали друг другу руки и расстались.

ГЛАВА IV

Как я уже не раз говорил, Молчалины отнюдь не представляют исключительной особенности чиновничества. Они кишат везде, где существует забитость, приниженность, везде, где чувствуется невозможность скоротать жизнь без содействия «обстановки». Русские матери (да и никакие в целом мире) не обязываются рождать героев, а потому масса сынов человеческих невольным образом придерживается в жизни той руководящей нити, которая выражается пословицей: «Лбом стены не прошибешь». И так как пословица эта, сверх того, в практической жизни подтверждается восклицанием: «В бараний рог согну!» — применение которого сопряжено с очень солидною болью, то понятно, что в известные исторические моменты

Молчалины должны во всех профессиях составлять не очень яркий, но тем не менее несомненно преобладающий элемент.

По-видимому, литературе, по самому характеру ее образовательного призвания, должен бы быть чужд элемент, а между тем мы видим, что молчалинство не только проникло в нее, но и в значительной мере прижилось. В особенности же угрожающие размеры приняло развитие литературного молчалинства с тех пор, как, по условиям времени, главные роли в литературном деле заняли не литераторы, а менялы и прохвосты...

С литературным Молчалиным меня познакомил тот же самый Алексей Степаныч, о котором я уже беседовал с читателем. В одну из минут откровенности, излагая мартиролог Молчалиных-чиновников, он сказал в заключение:

— Да это еще что! мы, можно сказать, еще счастливчики! А вот бы вы посмотрели на мученика, так уж подлинно — мученик! Я, например, по крайности, знаю своего преследователя, вижу его, почти руками осязаю — ну, стало быть, какова пора ни мера, и оборониться от него могу. А он, мученик-то, об котором я говорю, даже и преследователя-то своего настоящим манером назвать не может, а так, перед невидимым каким-то духом трепещет.

— Кто ж это такой?

— Да тезка мой, тоже из роду Молчалиных (так расплодился, уж так расплодился нынче наш род!) и Алексеем же Степанычем прозывается. Только я — чиновник, а он — журналист, газету «Чего изволите?» издает. Да, на беду, и газету-то либеральную. Так ведь он день и ночь словно в котле кипит: все старается, как бы ему в мысль попасть, а кому в мысль и в какую мысль — и сам того не ведает.

— Да, это не совсем ловкое положение. Что ж это, однако, за Молчалин? Я что-то не слыхал о таком имени в русской литературе. Литератор он, что ли?

— Литератор не литератор, а в военно-учебном заведении воспитывался, так там вкус к правописанию получил. И в литературу недавно поступил — вот как волю-то объявили. Прежде он просто табачную лавку содержал, накопил деньжонок да и посадил их в газету. Теперь за них и боится.

— Воля ваша, а я про такого газетчика не слыхал.

— Что мудреного, что не слыхал! Говорю тебе: они нынче все из золотарей. Придет, яко тать в нощи, посидит месяц-другой, оберет подписку — и пропал. А иному и посчастливится, как будто даже корни пустит. Вот хоть бы мой Молчалин, например: третий год потихоньку в своей лавочке торгует — ничего, сходит с рук!

— А шибко он боится?

— Так боится, так боится, что, можно сказать, вся его жизнь — лихорадка одна. Впал он, грешным делом, в либерализм, да и сам не рад. Каждый раз, как встретит меня: уймите, говорит, моих передовиков! А что я сделать могу?

— Да, передовики, особенно наши, это — я вам скажу, народ!.. начнет об новом способе вывоза нечистот писать — того гляди, в Сибирь сошлют!

— Да если бы еще его одного сослали — куда бы ни шло. А то сколько посторонних через него попадет — вот ты что сообрази! Сообщники, да попустители, да укрыватели — сколько наименований-то есть! Ах, мой друг! не ровен час! все мы под богом ходим! Да, не хотите ли, я познакомлю вас с ним?

— Что ж, пожалуй!..

— И не бесполезно будет, я вам скажу. Может быть, грешным делом, фельетончик настрочите — он ведь за строчку-то по четыре копеечки платит! Сотню строчек шутя напишете — ан на табак и будет!

Мы условились, что в следующее же воскресенье, в первом часу утра, я зайду к Алексею Степанычу, и затем мы вместе отправимся к его тезке.

В условленный час мы были уж в квартире Молчалина 2-го.

Нас встретил пожилой господин, на лице которого действительно ничего не было написано, кроме неудержимой страсти к правописанию. Он принял нас в просторном кабинете, посередине которого стоял большой стол, весь усеянный корректурными листами. По стенам расположены были шкафы с выдвижными ящиками, на которых читались надписи: «безобразия свияжские», «безобразия красноуфимские», «безобразия малоархангельские» и проч. Ко мне Молчалин 2-й отнесся так радушно, что я без труда прочитал в его глазах: пять копеек за строчку — без обмана! — и будь мой навсегда! К Алексею Степанычу он обратился со словами:

— Да уйми ты, сделай милость, моих передовиков!

— Бунтуют?

— Республики, братец, просят!

— А ты бы их заверил, что республики не дадут!

— Смеются. Это, говорят,— уж ваше дело. Мы, дескать, люди мысли, мы свое дело делаем, а вы — свое делайте!

— Да неужто ж им, в самом деле, республики хочется?

— Брюхом, братец! вот как!

— А я так позволяю себе думать,— вмешался я,— что они собственно только так... Знают, что вам самим эта форма правления нравится,— вот и пишут.

Молчалин 2-й приосанился.

— Ну да, конечно,— сказал он,— разумеется, я... Само

собой, что, по мнению моему, республика... И в случае, например, если бы покойный Луи-Филипп... Однако согласитесь, что не при всех же обстоятельствах... Да и народы притом не все... Не все, говорю я, народы...

— Та-та-та! стой, братец,— прервал Алексей Степаныч,— сам-то ты нетвердо говоришь — вот они и не понимают. Народы да обстоятельства... Какие такие «народы»? Води их почаще на Большую Садовую гулять да указывай на Управу Благочиния: вот, мол, она!

— Так-то так, Алексей Степаныч! — счел долгом заступиться я,— да ведь нельзя редактору так просто выражаться. Редактор — ведь он гражданское мужество должен иметь. А между тем оно и без того понятно, что ежели есть «народы, которые», то очевидно, что это — те самые народы... Впрочем, я уверен, что и сотрудники газеты «Чего изволите?» очень хорошо понимают, чем тут пахнет, но только, для своего удобства, предпочитают, чтоб господин редактор сам делал в их статьях соответствующие изменения.

Молчалин 2-й горько усмехнулся.

— Да-с, предпочитают-с,— сказал он,— да сверх того, на всех перекрестках ренегатом ругают!

— Так что, с одной стороны, ругают сотрудники, а с другой — угрожает начальство? — подсмеялся Алексей Степаныч.— Да, брат, это, я тебе скажу,— положение!

Молчалин 2-й на минуту потупился, словно бы перед глазами его внезапно пронесся дурной сон.

— Такое это положение! такое положение! — наконец воскликнул он,— поверите ли, всего три года я в этой переделке нахожусь, а уж болезнь сердца нажил! Каждый день слышать ругательства и каждый же день ждать беды! Ах!

— И, как мне сказывал Алексей Степаныч, неприятность вашего положения осложняется еще тем, что вы боитесь, сами не зная кого и чего?

— И не знаю! ну, вот, ей-богу, не знаю! Еще вчера, например, писал об каком-нибудь предмете, писал бесстрашно — и ничего, сошло! Сегодня опять тот же предмет, с тем же бесстрашием тронул — хлоп! А я почем знал?

— «А я почем знал»! — передразнил Алексей Степаныч,— а нос у тебя на что? А сердце-вещун для чего? Коли ты — благонамеренный, так ведь сердце-то на всяк час должно тебя остерегать!

— Рассказывай! Тебе хорошо, ты *своего* проник — ну, и объездил! А вот худо, как и объездить некого! Поди угадывай, откуда гроза бежит!

— Да неужто ж нет способов? — вмешался я,— во-первых,

как сказал Алексей Степаныч, у вас есть сердце-вещун, которое должно вас остерегать; а во-вторых, ведь и писать можно приноровиться... ну, аллегориями, что ли!

— То-то и есть, что на аллегории нынче мастеров нет. Были мастера, да сплыли. Нынче все пишут сплеча, периодов не округляют, даже к знакам препинания холодность какая-то видится. Да вот, позвольте, я прочту, что мне тут один передовик напутал. Кстати, вместе обсудим, да тут же и исправим. А то я уж с утра мучусь, да понимание, что ли, во мне притупилось: просто, никакой аллегории придумать не могу.

Мы согласились. Молчалин 2-й взял со стола корректурный лист и начал:

— «С.-Петербург, 24-го июля.

На этот раз мы вновь возвращаемся к вопросу, который уже не однажды занимал нас. Пусть, впрочем, читатель не сетует за частые повторения: это — вопрос животрепещущий, вопрос жизни и смерти, вопрос, от правильной постановки которого зависит честь и спокойствие всех граждан. Одним словом, это — вопрос о распространении на все селения империи прав и преимуществ, изложенных в уставе о предупреждении и пресечении преступлений, вопрос, по-видимому, скромный, но, в сущности, проникающий в сердце нашей жизни гораздо глубже, нежели можно с первого взгляда предположить...»

— Гм... кажется, это можно?

— По моему мнению, не только можно, но и... ах, боже мой! да самая мысль, что честь и спокойствие граждан зависят от распространения прав и преимуществ, изложенных в уставе о предупреждении и пресечении преступлений... Помилуйте! я сам сколько раз порывался... сколько раз сам думал: от чего бы это, в самом деле, зависело?.. и вдруг такой ясный и вполне определенный ответ! — восклицал я в восхищении.

— А по-моему, так и тут есть изъянец,— расхолодил мой восторг Алексей Степаныч,— кажется, и всего-то одно словечко подпущено: «граждан», а сообразите-ка — чем оно пахнет! Какие такие, скажут, «граждане»? Откуда такое звание взялось? У нас, батюшка, всякий — сам по себе! Ты — сам по себе, я — сам по себе! А то «граждане»! Что за новое слово такое? Да и конец, признаюсь, мне не нравится: «проникающий гораздо глубже, нежели можно с первого взгляда предположить»!.. Какой такой «первый взгляд»? И что тут еще «предполагать»? Припахивает, братец, припахивает!

— Чем же бы, ты, однако ж, заменил слово «граждан»?

— А «обыватели» на что! И для тебя спокойно, и особенно гнусного ничего нет. «Честь и спокойствие обывателей» — чем худо?

— Гм... да... вы как думаете? — обратился Молчалин 2-й ко мне.

— По-моему, «граждане» возвышеннее; но коль скоро общественная безопасность этого требует, то отчего же не припустить и «обывателей»!..

— Так уж я...

Он помуслил карандаш, поскреб им на полях корректурного листа и продолжал:

— «Что селениям нашим необходимо предоставить те же благодеяния полицейского надзора, которыми уже пользуются их старшие собратья по табели о рангах, то есть города и местечки — насчет этого наша печать единодушна. Если не ошибаемся, до сих пор еще никто и никогда не позволил себе проводить в русской печати мысль, что полиция вредна. Да и мудрено проводить что-нибудь подобное, во-первых, потому, что это противоречило бы историческому опыту всех народов, а во-вторых, и потому, что, с принципиальной точки зрения, само начальство высказалось насчет пользы, приносимой полицией, настолько твердо и решительно, что сразу поставило этот вопрос вне всяких пререканий».

— Хорошо! очень хорошо! только я бы, знаешь, усугубил: вместо «вне всяких пререканий», написал бы: «вне всяких *неуместных* пререканий». Вернее! — посоветовал Алексей Степаныч.

— Можно и усугубить! Ну-с, далее!

«Стало быть, если в нашей печати и существуют по этому предмету разномыслия, то они касаются не решенного уже начальством вопроса о пользе полиции, но лишь практических его применений. «Полицейское воздействие безусловно полезно и необходимо,— в один голос вопиют все органы русской литературы,— следовательно, оставим этот вопрос в стороне, а будем спорить лишь о том, в какой форме должно выразиться полицейское воздействие, дабы иметь силу действительную, а не мнимую». И действительно, спорят; спорят горячо, с увлечением, почти с жгучестью... Так что многим приходит на мысль: уж не потому ли так шумят наши народные витии, что, за невозможностью обсуждать дело по существу, они хотят отыграться на подробностях?»

— Ничего... это? — как-то робко спросил нас Молчалин 2-й.

— Ничего-то ничего, а ты вникни, однако, что он тут нагородил, передовик-то твой!

Молчалин 2-й вопросительно взглянул на меня, как бы призывая в свидетели своей невинности.

— Нечего, нечего лебезить... Лиса Патрикеевна! — безжалостно оборвал его Алексей Степаныч,— словно и не пони-

мает, в чем тут суть! Ишь ты! сначала как и путный: «нельзя, говорит, не быть согласным насчет существа», а потом и пошел «невольным образом отыгрываются» да «за невозможностью»! «За бесполезностью», сударь! «за бесполезностью»! Вот как следует говорить!

Новый вопросительный взгляд на меня со стороны Молчалина 2-го, на этот раз уже положительно требующий моего вмешательства.

— К сожалению, я и сам не могу не согласиться с Алексеем Степанычем,— поспешил откликнуться я,— конечно, ни один из обыкновенных читателей не найдет во всей прочитанной вами тираде ничего, что бы свидетельствовало о неблаговидных поступках ее автора. Но *запах* — все-таки есть! И читатель *необыкновенный,* читатель, который следит за статьей, так сказать, с карандашом в руках... не знаю! Право, даже угадать не могу, что он найдет и чего не найдет в указанных Алексеем Степанычем словах! Можно и ничего не найти, но можно и *все* найти, потому что тут есть какая-то неискренность, есть экивок. Я сам люблю экивоки, но ведь экивок — это что такое? Пройдет он — хорошо! а не пройдет — тогда что? Вот почему я полагал бы, что, с точки зрения безопасности, надежнее было бы, если бы всю фразу, начиная со слов: «так что многим» выкинуть совсем.

— И так можно! — согласился Алексей Степаныч.

— Потому что слово — серебро, а молчание — золото! — присовокупил я.

— Да, если бы можно было этим золотом на рынке расплачиваться — богат бы я был! — вздохнул Молчалин 2-й и как-то задумчиво уперся карандашом в корректуру, как бы решаясь и не решаясь исполнить мое замечание.

— Стойте! нашел! — воскликнул он наконец,— вместо того чтоб совсем выкидывать фразу, я заменю ее следующею:

«Так бывает всегда, когда печать становится лицом к лицу с настоящим, реальным делом, а не с пустою и бессодержательною идеологией»... Ладно?

— Прекрасно! прекрасно! прекрасно! — похвалил Алексей Степаныч,— похеривай и продолжай.

— «Положение наших селений исключительное. Полиция в них, можно сказать, не существует вовсе. Вотчинная полиция упразднена; мировые посредники, в обязанности которых отчасти входили атрибуты вотчинной полиции, тоже сочтены излишними; волостные правления и суды ведают лишь дела крестьян; сотские и десятские — но кто же не знает, что такое наши сотские и десятские? Мировые судьи или больны, или находятся в отпуску, занятые приискиванием других, лучших

мест, и притом рассеяны по лицу земли в таких гомеопатических порциях, что бесполезно даже рассчитывать на их защиту. Так что ежели у вас пропал грош, то вам некому даже попечалиться об этом. Понятно, что такое двусмысленное положение, затрогивающее коренные основы, на которых зиждется общество, должно было встревожить нашу печать».

— Печальная картина! — вздохнул Молчалин 2-й и как-то нелепо пригорюнился.

— Смотри не заплачь! Нечего тут! Валяй! валяй дальше! — поощрил его Алексей Степаныч.

— «Но раз занявшись им, она должна была встретиться с множеством вопросов, которые существенно на него влияют и которые, следовательно, предлежало разрешить во что бы то ни стало. Что полиция не существует — это ясно; что ее следует восстановить, возродить, создать — это тоже ясно; но каким образом, из каких материалов и с помощью каких сил предстоит воздвигнуть величественное ее здание — вот что неясно и что требует неотложного разрешения. В ком, то есть в каких лицах, должна найти воплощение идея, выражаемая уставом о пресечении и предупреждении преступлений, в применении ее к селениям? Кто наиболее заинтересован как в назначении сих лиц, так и в наблюдении за правильностью их действий? В каком количестве должны быть назначаемы эти лица и каких желательно ожидать от них качеств? Какие необходимо им присвоить права как по прохождению службы, так и по мундиру и пенсии? В каких пределах должна быть заключена их власть, а равным образом в чем должны состоять их обязанности по наблюдению, дабы кутузка, сохраняя свою общедоступность, с одной стороны — не принимала характера увеселительного заведения, а с другой — не служила угрозою для выполнения прихотливых требований и не отвлекала граждан от их обычных занятий и невинных забав?

Все это, как видит читатель,— вопросы нешуточные; и потому совершенно понятно, что они волнуют в настоящее время лучшие умы в русском обществе и в русской литературе».

— Прекрасно! — продолжай, братец, продолжай! «Граждан»-то, «граждан»-то только похерь!

— «Одним из самых рьяных противников нашей газеты по всем этим вопросам является газета «И шило бреет», которая, в одном из последних своих нумеров, даже посвятила нам по этому случаю обширную статью. По своему обыкновению, почтенная газета находится в веселом расположении духа. Она заигрывает с нами, она охотно извращает наши слова и мысли и, разумеется, прибегает к отборнейшим выражениям своего

полемического жаргона, чтоб выставить нас, в глазах своих неприхотливых читателей, в самом уморительном виде. Нас самих она называет «недоумками», «тупицами» и «барскими прихвостнями», а газету нашу «гнойным нарывом», в котором нашли себе последнее убежище паскудные остатки отживающего русского холопства».

— Однако, брат! — как-то испуганно воззрился Алексей Степаныч при последних словах.

— Да, братец! — подтвердительно ответил Молчалин 2-й, но, как малый уже поседелый в литературных боях, только махнул рукою и продолжал:

— «Мы не последуем за уважаемой газетой в ее полемических приемах. Мы едва ли не с бо́льшим основанием могли бы назвать ее сотрудников «паршивыми либералами», а ее саму — «гниющим продуктом современного общественного разложения», но не делаем этого, ибо знаем, что с словом следует обращаться честно. И, конечно, не оголтелые казаки «Бреющего шила» заставят нас отступиться от этого правила...»

— Однако, брат! — вновь изумился Алексей Степаныч.

Но Молчалин 2-й даже не ответил на этот перерыв, а только машинально отмахнулся рукой, как бы отгоняя надоедливую муху.

— «Действительно, разница между нашими воззрениями и пустопорожними разглагольствованиями «Бреющего шила» до такой степени существенна, что ничего нет удивительного, ежели почтенная газета выходит из себя и доводит свою полемику до крайних пределов неприличия. Она понимает, что в порыве прапорщичьего экстаза зашла в трущобу, и сердится на нас уже не за то, что мы расходимся с нею, а за то, что мы не подаем ей руку помощи и не делаем ни малейшей уступки, которая позволила бы ей прилично и без позора отступиться от легкомысленно высказанных ею мнений. Сделай мы это — и она давно бы простерла нам свои объятия, если бы, впрочем, не воспользовалась этим обстоятельством, чтоб обвинить нас же в малодушии и непоследовательности. Но потому-то именно мы и не сделаем ничего в этом смысле; мы ни в каком случае не подадим «Бреющему шилу» требуемой им руки помощи и не поступимся ни одним золотником, ни одним скрупулом из своих убеждений. Мы не сделаем этого, во-первых, потому, что ведем свое дело начистоту, а во-вторых, и потому, что поставили себе задачей во что бы то ни стало раскрыть публике глаза и выставить перед нею в надлежащем свете истинные достоинства того гнилого либерализма, которым щеголяет «Бреющее шило».

— Ничего? — остановился Молчалин 2-й.

— Ничего, братец! цапайтесь, подсиживайте друг дружку! С точки зрения благоустройства, это даже лучше!

— «Прежде всего, мы выходим из принципов диаметрально противоположных. «Бреющее шило» исходною точкой для своих разглагольствий ставит нагое единоначалие; мы же, как читателям это достаточно известно, не имея ничего против единоначалия, как принципа дисциплинирующего и дающего нашей жизни правильный устой, с своей стороны, в виде корректива, присовокупляем к нему излюбленное и вполне почтительное народосодействие. Вот это-то, с одной стороны, благосклонно-внимательное, а с другой — почтительно-любовное взаимодействие двух взаимно друг друга оплодотворяющих сил, которое, по нашему мнению, составляет основу нашей общественной жизни, вот оно-то и служит поводом для полемики. И ежели «Бреющее шило» ведет ее с нахальством и даже ненавистью, то тем хуже для него; мы же никогда до этого не унизимся, а будем на все обвинения и инсинуации отвечать с спокойствием и достоинством, полными презрения».

— Вот «единоначалие»... ужасно меня это слово беспокоит! — задумался Молчалин 2-й.

— Что ж, слово... ничего! — разуверил его Алексей Степаныч,— коли у места, так даже украшением служит! Ведь ты «против единоначалия ничего не имеешь» — ну, и Христос с тобой! А что касается до «народосодействия», так и закон, братец, не препятствует... Содействуйте, батюшки, содействуйте!

— Так-то так, а все-таки... Все как будто против единоначалия... Тогда как, видит бог, я...

— Ну-ну! ничего! не слишком уж робей! И на начальство, брат, тоже надеяться надо: поймет! Читай дальше.

— «Как ни непререкаем принцип единоначалия, какие бы заслуги он ни считал за собой в прошедшем и в настоящем, тем не менее нельзя отрицать, что, отрешенный от народосодействия, он скоро извращает свой благодетельный характер и в самом даже благоприятном случае является как бы вращающимся в пустоте. Лишенный здоровой известительной пищи, которою только народосодействие и может снабжать его, он скоро не будет знать и сам, над чем ему единоначальствовать предстоит, а так как единоначальствовать все-таки необходимо, то будет удовлетворять этой потребности, истощая свои силы в единоначальствовании над самим собою. Поручики будут без надобности угнетать корнетов, штабс-ротмистры — поручиков, ротмистры — штабс-ротмистров и т. д. Вот почему мы думаем, что единоначалие, предоставленное одним своим силам, не только ничего не достигает, но нередко приводит на край гибели, да и само при сем погибает жертвою непризна-

ния иных руководящих начал, кроме собственного критериума, ограничиваемого лишь внезапностью. Это — общее правило, которое...»

— Ого! — прервал чтение Алексей Степаныч,— ну, этого, брат, сам Мак-Магон и тот к обнародованию не одобрит!

— А! что! Я вам говорил! — почти криком крикнул Молчалин 2-й,— всегда они у меня так! начнут о бляхах городовых, а сведут на единоначалие!

— Я бы, на твоем месте, всю эту тираду похерил, а вместо нее легонькую бы похвалу начальникам края пустил!

— Как так?

— Да так вот. Известно, мол, что в подобных делах многое зависит от начальников края, которые, дескать, просвещенным вниманием... А потому: обращаем взоры наши! В надежде, мол, что скромные наши заметки будут приняты не яко замечания, но яко дань... Словом сказать, замеси, защипни, помасли, положи по вкусу соли да и ставь в легкий дух, благословясь!

— И я вполне разделяю это мнение,— сказал я,— только одно бы я в редакции Алексея Степаныча изменил. Он говорит: *многое* зависит от начальников края, а я бы сказал: *все!*

— А что вы думаете! Мысль-то ведь недурна! Потому что хоть и пыжатся господа наши передовики: единоначалие да единоначалие! а чего, например, каких результатов они в пресловутой своей Франции достигли?! Тогда как у нас...

Он не договорил и быстро начал бегать карандашом по корректуре.

— Ну, слушайте, как оно у меня теперь вышло:

«Бесспорно, что принцип единоначалия непререкаем; бесспорно, что власть единоличная, коль скоро она вручена лицам просвещенным и согреваемым святою ревностью к общественному благу (а кто же, кроме бесшабашных писак «Бреющего шила», может отрицать, что именно эти качества всегда в совершенстве характеризовали наших начальников края, в особенности же тех, кои удостоились этого назначения в последнее время?), не только не приводит государств на край гибели, но даже полагает основание их несокрушимости. Но это нимало не должно охлаждать наше рвение в смысле содейственном, ибо сам закон требует от граждан содействия и в противном случае даже угрожает карою, как за попустительство. Вот что мы имели в виду, настаивая на совместном действии принципа единоначалия с принципом любовного и почтительного народосодействия, и вот почему мы и ныне еще раз решаемся посвятить наши столбцы всестороннему обсуждению вопроса о распространении на селения империи тех

прав и преимуществ полицейского надзора, которыми уже пользуются города. Мы делаем это не в видах поучения, ниже совета, а лишь в форме скромного и благопочтительного мнения, принять или не принять которое будет, конечно, зависеть от усмотрения. Примется наше мнение — мы будем польщены; не примется — мы и на это сетовать не станем!»

— Хорошо, что ли, так будет?

— Уж так-то хорошо, что даже я не ожидал,— похвалил Алексей Степаныч,— и подлости прямой нет — потому, ты никого не назвал, а между тем в нос ведь, братец, бросится!

— Ну, а вы что скажете? — обратился ко мне Молчалин 2-й.

— Хорошо, даже очень хорошо; но, признаюсь, я имею сделать небольшое замечаньице, которое, по мнению моему, нелишнее будет принять к сведению. В новую редакцию вы перенесли из прежней слова: «не только не приводит государств на край гибели»... Конечно, я понимаю, что вы это сделали единственно ради того, чтоб по возможности сохранить труд наборщика; но людям, не посвященным в тайны корректуры, эта фраза может показаться сомнительною. Могут спросить себя: с чего это вдруг пришли ему на ум «государства, приводимые на край гибели»? Нет ли иронии тут какой-нибудь,— иронии, которую наружная восторженность похвалы делает еще более едкою и чувствительною?

— А ведь замечание-то справедливое! — согласился со мною и Алексей Степаныч.

Молчалин 2-й задумался.

— Справедливое-то справедливое,— произнес он наконец,— а жаль! Фраза-то уж больно ловка!

— Стой! Я придумал! — нашелся Алексей Степаныч,— фразу оставить можно, только дополнить ее надо. И дополнить так: «как думают некоторые распространители превратных идей» — вот и все.

— Отлично! — согласился Молчалин 2-й и тут же, сделав надлежащее исправление, продолжал:

— «Токвиль говорит: единоначальники, доводящие свое властолюбие...»

— Марай! — вскричал Алексей Степаныч,— и читать дальше не нужно! Марай!

Молчалин 2-й, даже не возражая, провел крест на корректурном листе.

— «Гнейст, подтверждая это мнение, с своей стороны, присовокупляет: «Единоначальник, который...»

— То — Гнейст, а то — русская газета «Чего изволите?»! Марай, любезный, марай!

— «Людовик XVI недаром со слезами на глазах собствен-

норучно набирал знаменательные слова Тюрго: pauvre France! pauvre roi! [1] Этот добродушный самодержец инстинктивно чувствовал, что он — последний прирожденный король Франции и Наварры и что отныне имя Бурбонов всецело перейдет на главы тех русских офицеров, которые выслужились из кантонистов и сдаточных».

Молчалин 2-й умолкнул. Мы тоже молчали. Никто из нас ничего не понимал, но все мы находились под гнетом какой-то неожиданности.

— Марай! марай! марай! — первый опомнился Алексей Степаныч.

Но, к изумлению, Молчалин 2-й заупрямился.

— Позволь, однако, тезка! — сказал он,— ведь ежели все-то марать, так, пожалуй, и обстановки никакой у статьи не будет. Все эти ссылки и анекдоты, конечно, не стоят ломаного гроша; однако попробуй без них статью выпустить — голо будет!

Он вопросительно взглянул на меня.

— Если вы желаете знать мое мнение,— сказал я,— то оно резюмируется в одном слове: марайте! Конечно, анекдот об Людовике Шестнадцатом очень хорош, но ведь, собственно говоря, при тех переменах, которые вами сделаны выше, он уж как-то и не подходит.

— Гм... да, вот это так. Действительно, оно... Но согласитесь, что это тяжело. И каждый ведь день, каждый день мы должны приносить эти жертвы!

Он вздрогнул, но взял карандаш и твердою рукой начертал крест на корректурном листе. Затем он продолжал: «Все это мы припоминаем здесь с тою целью, чтоб читатель понял нашу мысль вполне. Мы — не только не противники единоначалия, но именно потому и присовокупляем к нему, в виде придатка, народосодействие, что последнее нимало не подрывает первого, а, напротив того, действуя с ним вкупе, даже подкрепляет его. Святая песнь спрашивает недаром: «се что красно, что добро?» и отвечает: «воеже жити, братие, вкупе». Этого же и мы желаем. Мы говорим обществу: остерегись! стань само на страже своих интересов! спроси себя, можешь ли ты остаться равнодушным к таким вопросам, как, например: от кого должно зависеть заготовление провианта и обмундирования для полицейских чинов в селениях? какой системы следует держаться при организации так называемых чижовок? и проч. И ежели ты ответишь на этот вопрос отрицательно, то есть отнесешься к делу хладнокровно, то пеняй уже на себя, а не на нас! Пе-

[1] Бедная Франция! Бедный король!

няй на себя, ежели ты впоследствии увидишь себя под гнетом морально-полицейского давления! Пеняй на себя, если ты сам выпустишь из рук такие плодотворные статьи, как, например, расходы по обмундированию нижних чинов и по содержанию в исправности чижовок!»

— Однако дались ему чижовки! — не воздержался заметить Алексей Степаныч.

— Ну, это уж я сам,— молвил Молчалин 2-й и, тут же исправив, прочитал: — «Все это... Святая песнь»... ну, и так далее, по-старому... «Мы говорим обществу: доверься, но доводи до сведения! Предоставь, но смотри в оба! Не для того, чтоб неуместною критикой произвести замешательство в единоначальственных распоряжениях, а для того, чтоб оправдать почивающие на тебе надежды и упования! Начальство воодушевлено наилучшими намерениями, но оно, ежели позволительно так выразиться, не всевидяще! И хотя известный куплет:

Il voit tout,
Il sait tout,
Et il fourre son nez partout! [1] —

замечательно хорошо выражает положение вещей, но безусловно верен все-таки лишь последний его стих. Начальство желает всем угодить, но иногда — мы говорим это со скорбию — не угождает никому! Поэтому, о, общество! ежели ты пренебрежешь предстоящими тебе в сем случае обязанностями, то пеняй уже на себя, а не на нас! Пеняй на себя, если начальство, после тщетных ожиданий твоей известительной инициативы, наконец воскликнет: валяй по всем по трем! Пеняй на себя, ежели чижовки, в которых ты от времени до времени будешь проводить свои досуги, окажутся наполненными клопами и ежели вопрос об устранении сего недостатка будет передан на обсуждение особой комиссии, которая сочтет за нужное издать по этому поводу сто один том «трудов», дабы и затем не прийти ни к какому заключению».

— Ну, как теперь?

— Что и говорить! уж коли ты захочешь, так разутешишь.

— Вот насчет «сто одного тома трудов»... Это как?

— Ничего, с богом! Душок, правда, есть, ну, да ведь и то сказать: газета-то у тебя либеральная, нельзя же без того, чтоб немножко и тово...

Но я, я не был согласен.

— Позвольте,— сказал я,— это превосходно, нечего и говорить! И отвага есть, и горячее, от души вылившееся слово,

---

[1] Оно все видит, оно все знает, оно повсюду нос сует!

и даже... стойкость! Но, во-первых, нужно выпустить куплет: это — conditio sine qua non [1]. Такой серьезный предмет — и вдруг воспоминание о «Чайном цветке»! Как хотите, а это обидно! Во-вторых, необходимо уничтожить и заменить выражение «валяй по всем по трем!» как тривиальное, а по отношению к высшему начальству даже и непочтительное. В-третьих, наконец, вы говорите: «доверься, но доводи до сведения!», «предоставь, но смотри в оба!». Но не превосходнее ли было бы, если бы вы сказали: «доводи до сведения, но — доверься! смотри в оба, но — предоставь!» Дайте-ка фразе этот оборот — и вы увидите, что тогда, действительно, не останется уж и тени недоверия к начальству, а потребность в почтительных извещениях выступит вперед с еще большею яркостью!

— Справедливо! — воскликнул Алексей Степаныч,— хоть и строгонько, но... справедливо.

Замечание мое было выполнено; Молчалин 2-й продолжал:

— «Не следует упускать из вида, что у общества имеются свои собственные органы и что эти последние существуют с надлежащего разрешения и пользуются законною организацией, а отнюдь не представляют собой сборища узурпаторов или случайно сошедшихся людей, как это инсинуируют борзописцы «Бреющего шила». Что означает существование этих органов? Оно означает потребность в них, потребность не только коренящуюся в глубинах общества, но сознаваемую и самим начальством. Органы эти созданы не для того, чтоб покоиться, но для того, чтоб действовать, то есть усматривать и делать соответствующие представления. Будут уважены эти представления — хорошо; не будут — не прогневайся! Но, во всяком случае, право представлять существует, и было бы величайшим малодушием не пользоваться им, хотя бы от сего и не предвиделось никаких последствий. Права не даются даром; даже прыщ на носу — и тот даром не вскочит, но сначала почешется. Поэтому мы не имеем основания пренебрегать никаким правом, хотя бы оно, на первый взгляд, казалось нам ничтожным и даже плёвым. Сперва одно плёвое право, затем другое, тоже плёвое, но уже в меньшей степени. И так далее, в разумной постепенности, доходя до выеденного яйца. Почему наши земства представляются вялыми и действующими как бы впросонках? Почему члены управ приходят в движение лишь в конце месяца, когда предвидится получение присвоенных им окладов? А потому именно, что и земства, и их управы совершенно упускают из вида сейчас высказанную нами истину. Почему, в свою очередь, они дозволяют себе подобное

[1] Непременное условие.

неряшливое отношение к своим обязанностям? А потому, что само общество, которому надлежало бы поощрять и воодушевлять удостоенных доверием его лиц, коснеет в равнодушии к своим собственным интересам. Это — круговая порука апатии и лености, в результате которой не может быть ничего иного, кроме мерзости запустения. Что скажет о нас потомство? Оно скажет: это были люди, по милости которых мы до сих пор занимаемся толчением воды, тогда как мы были бы уже в самом центре пирога, если бы предварительная работа была ими исполнена своевременно и неуклонно. Что скажут иностранцы о таком обществе и таких органах? Они скажут: вот общество, которому ничего не было дано и которое поэтому ничем и не воспользовалось. Ужели они будут правы?»

Молчалин 2-й прочел эту тираду одним духом, весело, ходко, почти шаловливо, но при последней фразе об иностранцах вдруг поперхнулся и оцепенел.

— Вот тебе раз! — невольно воскликнул я.

— Постой, брат, я окошко отворю да караул закричу! — в свою очередь, присовокупил Алексей Степаныч.

Мы сидели и все в такт покачивали головами.

— Ах-ах-ах! — вздохнул Алексей Степаныч,— правил ты, правил — и вся твоя работа втуне! уж этого-то, брат, не исправишь!

— Этого-то! — с какою-то надменною отвагой вызвался Молчалин 2-й,— а вот сейчас увидишь!

Он мгновенно воспрянул духом и бодро принялся за работу. Не прошло и несколько минут, как он уже читал нам:

— «Не следует упускать из вида, что у общества имеются свои собственные органы, которые существуют с надлежащего разрешения и пользуются законною организацией, а отнюдь не представляют собой сборища узурпаторов или случайно сошедшихся людей, как это инсинуируют борзописцы «Бреющего шила». Существование этих органов означает ежели не настоятельную в них потребность, то, по крайней мере, благосклонное относительно их благосоизволение. Положим, что непосредственного и деятельного участия в управлении им не предоставлено, но начальство никогда не отказывалось и не отказывается получать от них почтительные, в надлежащих границах, представления. А это очень важно. Возможность утруждать начальство представлениями еще не есть, конечно, право, но это — больше, нежели право: это — обязанность. Во всяком случае, такая возможность существует (и притом в самых широких размерах), и было бы крайне нерасчетливо и даже бессовестно не пользоваться ею, хотя бы от сего и не предвиделось никаких последствий. Мы не имеем права увле-

каться исключительно утилитарными целями; мы должны поменьше думать о правах, и побольше — об обязанностях. Терпение и самоотверженность — вот задача, которую должно преследовать современное поколение общественных деятелей, все же остальное — предоставить потомству. Наши земства это поняли. Они представляют обо всем, представляют неупустительно, хотя и без всяких последствий. Нередко начальство, в своей мудрости, оставляет их представления даже совсем без ответа, но они не обескураживаются этим и представляют вновь, и общественное мнение им несомненно в этом сочувствует. Вот каким трудным и, так сказать, широко постепенным путем достигается наш прогресс. Что скажет о нас потомство? — оно скажет: это были люди самоотверженные, которые, проводя время в ожидании разрешений, тем самым расчищали для нас пути! Что скажут иностранцы? — они скажут: вот общество, которое с благоразумием и мудрою постепенностью пользуется предоставленными ему возможностями! И потомство, и иностранцы — будут правы!»

Алексей Степаныч, не говоря ни слова, подошел к Молчалину 2-му и поцеловал его в лоб.

— Отлично! отлично! — произнес он в волнении (у старика даже слезы на глазах показались).

— Отлично,— согласился и я,— но позволю себе одно только и притом самое маленькое замечание...

— Нет уж-с! — сухо и даже несколько нахально прервал меня Молчалин 2-й,— на этот раз, любезный коллега, прошу уволить! Я знаю, что вы хотите сказать. Вам, наверное, не нравится, что я несколько раз и притом не без намерения настаиваю на том, что возможность делать представления не всегда приносит желаемые плоды. Но этим я уже поступиться не могу. Моя газета либеральная, и самим начальством признается за таковую; следовательно, в ней полное однообразие тона не только неуместно, но могло бы показаться даже предумышленным. Я не всегда глажу по шерстке, но я искренен — и в этом моя заслуга! Вообще, положение либерального органа печати я резюмирую в следующих немногих словах: «Мы готовы прийти к вам,— говорю я,— но укажите нам пути и сохраните нам нашу независимость!»

Это поучение было высказано таким твердым и даже строгим тоном, что мне оставалось только прикусить язык. Сам Алексей Степаныч — и тот не заступился за меня. В самом деле, я показал себя уж чересчур придирчивым. Как часто случается нам встречать в печати выражения прямо бунтовские, вроде: «осмеливаемся высказать» или «позволяем себе думать» — что ж! начальство не только не взыскивает, но даже

положительно не видит в этом ничего, могущего подорвать его авторитет! Вероятно, тут есть какая-нибудь секретная конвенция, а может быть, и просто внутренняя политика. Что «независимые голоса» не бесполезны — это, с легкой руки Бисмарка, уже признано всеми. Даже оппозиция — и та считается не вредною, если она не вредит. Следовательно, отчего же бы и нам не воспользоваться этим общепризнанным фактом... ну, конечно, умненько? Недаром же в штатах департамента этимологии и правописания значится: «независимых голосов столько-то». Вот это-то и есть «политика». Интересно бы только знать, присвоено ли этим голосам соответствующее содержание, или же они обязываются распевать, памятуя изречение: *из чести лишь одной я в доме сем служу?*

Между тем как я таким образом рассуждал, Молчалин 2-й продолжал читать дальше:

— «Такова наша мысль, таково наше глубокое внутреннее убеждение. Убеждение не только интимное (conviction spontanée) [1], но и пропущенное сквозь горнило знания; убеждение, не избегающее благосклонной похвалы, но и не боящееся угроз. Как же поступило «Бреющее шило», чтоб дискредитировать нас перед публикой? — да очень просто! По своему обыкновению, оно смазурничало, то есть на место одного выражения поставило другое, не имеющее с первым ничего общего. Мы говорили о «народосодействии», а оно — заставляет нас употребить выражение «народоправство». А мы даже и не понимаем этого выражения! Но вы, читатель! понимаете ли вы, какая масса гнусного предательства заключается в этом мошенническом сопоставлении принципа единоначалия (вполне нами признаваемого и чтимого) с принципом какого-то фантастического (и притом нами непонимаемого) народоправства?»

Молчалин 2-й остановился и на этот раз окинул нас уже совершенно безбоязненным взором. Вступая на почву так называемой полемики, он, очевидно, чувствовал себя как дома. Он понимал, что здесь ему опасаться нечего, и потому даже слегка отодвинул корректуру, как бы для того, чтоб издали полюбоваться ею.

«Бреющее шило»,— продолжал он,— желало одним выстрелом убить двух зайцев: и дискредитировать нашу газету в глазах читающей публики, и произвести своим доносом переполох в известных сферах. Первого, конечно, оно не добилось, второго — достигло лишь в некоторой степени. Действительно, переполох был произведен, но, к счастию для нас, он повлек

---

[1] непосредственное убеждение.

за собой не *осуждение,* а *исследование,* за которым, конечно, не замедлило последовать и *оправдание.* Прошли те времена, когда змеиное жало доноса держало печать в постоянной тревоге; исчезла навсегда легкая возможность обвинять, *не представляя вполне ясных и удовлетворительных доказательств.* Да, прошел и исчез этот дурной сон. Отныне — путь клеветы усеян своего рода терниями. Нам стоило только указать на подлинные нумера нашей газеты, даже не подкрепляя этого указания ссылкой на типографские корректуры, чтоб явиться сразу чистыми от всякого подозрения в сочувствии к даже непонимаемым нами народоправствам. И мы сделали это с тем бо́льшим удовольствием, что это дало нам случай представить новые и убедительнейшие доказательства чистоты наших намерений, которую нимало не могут омрачить стойкость и колебимость наших убеждений. И таким образом «Бреющее шило», желая сделать нам вред, в действительности оказало услугу, само же, по всем вероятиям, попало на замечание».

— Ну-с?! — самодовольно обратился к нам Молчалин 2-й.

— Чего еще лучше! Словно красным яичком подарил. Такими, брат, статьями христосоваться с начальством можно! — поощрил его Алексей Степаныч.

Я, с своей стороны, не сказал ничего; я только радовался и думал: вот кабы все-то так!

Молчалин 2-й продолжал:

— «Но довольно. Мы исполнили одну из самых омерзительнейших обязанностей наших перед публикой: обязанность иметь дело с противниками прямо бесчестными. Теперь же будем спокойно рассуждать о предмете, успешное и правильное развитие которого для нас, конечно, дороже, нежели те два-три подписчика, которых «Бреющее шило» изо всех сил старается переманить у нас. Ах, если бы это от нас зависело, мы уступили бы почтенной газете не один и не два десятка, а целую сотню подписчиков, лишь бы водворить мир в взволнованных душах ее редакторов и издателей! Но подписчики — люди свободные, и мы не властны распорядиться ими, как французы распорядились ниццарами, а немцы в последнее время эльзас-лотарингцами. Пускай «Бреющее шило» примет это в соображение и не обвиняет нас в недостатке доброй воли помочь ему.

Итак, к делу, к делу, к делу.

В начале настоящей статьи мы высказали мысль, что полемические пререкания, выражаемые нашею печатью по вопросу об отдаче селений всех наименований под надзор полиции, главным образом касаются не принципиальной его стороны, а практических применений. И действительно, как только мы вступаем на практическую почву, так тотчас же видим себя

опутанными целою сетью вопросов, вопросцев и даже подвопросцев, из коих каждый, будучи сам по себе бездельным...»

— Бездельным? — воскликнули мы в один голос с Алексеем Степанычем.

— Да, смотрите! так прямо и написал!

— Об чем же ты думаешь! Похеривай, братец, похеривай!

— Погоди, дай же хоть фразу-то кончить...

«...бездельным, представляется, однако ж, одним из действующих рычагов, созидающих гнетущее целое...»

— Ну, это — шалишь, брат! — произнес Молчалин 2-й и вслед за сим, нимало не затрудняясь, исправил: «из коих каждый, не будучи и сам по себе бездельным, приобретает тем большую важность, что служит на практике одним из действующих рычагов величественного целого».

— Вот этак-то лучше. Ну, а теперь и конец уж близко! Сейчас, господа, сейчас!

— «Вопросы эти, которые мы отчасти уже перечислили выше, суть следующие: 1) какое наименование необходимо присвоить местам и чинам, на коих возложено будет содержание под полицейским надзором сел и деревень Российской империи? 2) из какого сословия имеют быть преимущественно избираемы эти лица и от кого будет зависеть их назначение и увольнение? 3) в каком количестве должны быть избираемы или назначаемы эти чины и какими они обязываются обладать качествами? 4) в чем будут состоять их права и преимущества как по прохождению службы вообще, так и по мундиру и пенсии в особенности? 5) возможно ли с точностью определить как пределы их власти, так и обязанности, ежели последние признано будет не излишним возложить на них? и 6) каким образом оградить значение и достоинство кутузки, с тем чтоб она, с одной стороны, не приняла, вследствие послаблений, характера увеселительного заведения, а с другой — чтоб, вследствие чрезмерной строгости, не послужила поводом для преступных вымогательств?

При обсуждении всех этих вопросов мы вновь встретимся с «Бреющим шилом» и надеемся, с поличным в руках, убедить читателей, что все роды и степени наглости, бесстыдства и даже мошенничества равно доступны этой интересной газете и с одинаковым успехом практикуются ею.

Но так как пределы нашей статьи вышли и без того чересчур обширны, то мы отлагаем нашу беседу по сейчас исчисленным вопросам до одного из ближайших нумеров».

— Вот и все; а там — еще Улита едет, когда-то будет... в «одном из ближайших-то нумеров»! — закончил Молчалин 2-й.

— А любопытно было бы, очень даже любопытно знать, как он там дальше путать будет! — заметил Алексей Степаныч.

— По секрету... только вы уж, пожалуйста!.. он, брат, suffrage universel[1] для выбора сотских потребовать хочет! — таинственным шепотом сообщил нам Молчалин 2-й.

— Затейщики вы! только как же он это напечатает?

— А он, братец, обстановочку такую придумал. Во-первых, говорит, можно доказывать, что теперь все жалобы на бездействие полицейских властей относятся прямо к начальству, а тогда оно явится уже чистым от нареканий; во-вторых, говорит, остроумно и даже небезынтересно будет видеть, как, например, селение собственным движением будет отдавать само себя под надзор полиции; а в-третьих, говорит, можно перспективы разные насчет suffrage universel припустить: усилить, например, на время выборов власть становых приставов, разрешить им телесные упражнения и тому подобное. Обстановка-то ведь, коли хотите, не глупа!

— Не глупа-то не глупа и даже не безосновательна в некоторых отношениях, а все-таки...

— Ну, да это когда-то еще будет! Тогда я и опять вас созову, а теперь, господа, я попрошу у вас еще часок-другой терпения! Есть у меня статейка; эта, я вам доложу, похитрее будет!

— «С.-Петербург, 27 июля.

Материалистические учения, которые в настоящую минуту увлекают за собою современное русское молодое поколение, имеют многое, с чем, по справедливости, не согласиться нельзя. Одна материя вечна, хотя, конечно, было бы странно оспаривать и то, что вместе с материей вечно и ее содержимое. Видоизменяется материя (именно только видоизменяется, а не умирает), и вместе с нею видоизменяется и ее содержимое....»

— Нет, вы скажите, каков сюжет выбрал! — с горечью воскликнул Молчалин 2-й,— и это в виду теперешних, можно сказать, обстоятельств!

— Брось — вот и все! — прямо решил Алексей Степаныч.

— А вот, все-таки попытаемся прежде... Ну-тко, благослови, господи!

Молчалин 2-й на минуту задумался и затем вдруг порывисто начал бегать пером по корректуре. Через две-три минуты он уже читал:

— «Материалистические учения, которые увлекли в свои

[1] всеобщее голосование.

сети современное русское молодое поколение, начинают наконец выступать перед нами во всей своей постыдной наготе. Нам говорят: материя вечна, и доказывают это фактами, по-видимому, неотразимыми. Но разве дух не вечен? спросим и мы с своей стороны. Кто тот смельчак, который позволит себе утверждать противное? Материя вечна! Прекрасно! Но все-таки она хоть видоизменяется (этого и противники наши отвергнуть не могут), дух же — никогда! Вот в чем заключается преимущество духа и вот где следует искать причины, почему дух всегда торжествовал и будет торжествовать над материей, если только у человека есть хоть малейшая охота способствовать этому торжеству».

— Ладно?

— А ежели нет охоты способствовать — тогда что? — спросил я.

— Ну, как это нет охоты! Придирчивы вы уж очень, дорогой коллега! Тезка! по-твоему, как? ладно?

— Ладно-то ладно, а все-таки из статьи проку не будет! — упорствовал в своем скептицизме Алексей Степаныч.— Сюжет, братец, такой! От этих сюжетов, как от чумы, бегать нужно!

Но Молчалин 2-й не смутился этим замечанием и продолжал:

— «Вся наша беда в том, что человечество, несмотря ни на уроки истории, ни на свидетельства разума, не убедилось в этой истине. Отсюда — вечная и бесплодная борьба между духом и плотью, борьба, совершающаяся, впрочем, больше на бумаге, чем на деле, но тем не менее разливающая по всем венам общественного организма гангрену лицемерия. Нет того общественного органа, который не был бы заражен этою разъедающею болью, нет человека, который не метался бы на прокрустовом ложе под игом ее...»

— Брось! — повторил Алексей Степаныч решительно.

Молчалин 2-й вопросительно взглянул на меня.

— Как бы вам сказать? — поспешил ответить я,— во всяком случае, автор статьи высказал свою идею настолько ясно, что *исправить* ее будет довольно мудрено. Конечно, если бы покойный Памфил Юркевич мог встать из гроба или, по крайней мере, господин Струве...

— Ну, нет-с, слуга покорный! До сих пор от обскурантов бог миловал!

— То-то вот и есть! с одной стороны, вы — либерал, а с другой — боитесь: ужасно как трудно это согласить!

— Однако, как видите, мы только этим и занимаемся!

— Знаю; знаю даже, что вы достигаете некоторых резуль-

татов — вот хоть бы вроде того, которого мы сейчас достигли по передовой статье, имеющей появиться завтра. Но стоит ли хлопотать из-за таких результатов — вот в чем вопрос? Стоит ли лукавить по таким вопросам, как вопрос об отдаче селений под надзор полиции?

— Ну, нет-с, этого вы не скажите! вопрос о сотских тут только так, сбоку, а в самом-то деле статья — куда далеко метит!

— Да ведь вы то, что — «метит»-то,— *исправили!*

— Что ж, и исправил! Конечно, исправил, коли тут черт знает что ждет впереди! Ах, если бы публика знала! Но она нынче даже между строками читать разучилась!.. У меня, батюшка, в портфелях редакции такие диковинки есть... Да вот хоть бы эта самая статья о материализме — ведь в нос бросится, кабы напечатать! Сколько новых подписчиков прибавилось бы из-за одного того, что слово «материализм» упомянуто без аккомпанемента непечатных слов! А я должен оставить ее, должен жертвовать и интересом газеты, и собственной выгодой! Я уж чуть не в тридцатый раз набираю ее. Наберут — просмотрим и опять разобрать велим... Да-с, тяжеленька-таки наша служба публике! Тяжела-с! А награда!..

Он схватился обеими руками за голову, и мне показалось, что внутри его нечто слегка зарычало. И вдруг припомнилось мне, что именно так поступает на Александринском театре актер Нильский, когда видит себя в интересном положении.

— Я, знаете, все его спрашиваю,— пошутил Алексей Степаныч,— а что, мол, коли ежели что — пойдешь ты на баррикады?

— Ну, тезка, не до шуток теперь! ты дело говори, а шутки оставь! — рассердился Молчалин 2-й.

— Да что же — покуда бог еще милостив! только вот о портфелях-то своих ты уж заботу оставь! Что там есть, то там и останется. Давай-ка лучше статью эту бросим, а нет ли у тебя фельетонцу послушать?

— Есть и фельетонцу; только читать ли уж?

— Разве отчаянный?

— Нет, и не отчаянный, а скука берет возиться... Каждый день! каждый день! Право, когда-нибудь возьму да и сбегу!

— А сбежишь, так и изловят; если же при сем подписные деньги невзначай с собою унесешь, то и под суд отдадут. Добро, читай-ка! Нечего жеманиться!

Молчалин 2-й отыскал корректуру и начал:

«Сейчас должна начаться моя еженедельная обязательная беседа с тобой, благосклонный читатель. Я знаю это, я чувствую приближение роковой минуты и, увы! с ужасом сознаю, что в голове моей нет ни одной мысли!

Ни признака мысли, ни тени мысли, ни единой крупицы ее! Понимаешь ли ты, читатель, сколько трагизма заключается в этих немногих словах! Ни одной мысли! Я убит, уничтожен, подавлен, и за всем тем должен сознаться, что это — совершеннейшая истина! У меня в руках перо, передо мною лист белой бумаги; я обмакиваю перо в чернильницу, я начинаю водить им по бумаге, вожу, вожу... и чувствую, что у меня нет в голове ни одной мысли!»

— Что ж! Это ведь недурно! — похвалил Алексей Степаныч,— главное, написано легко!

— Да слушай! не прерывай!

«Но что важнее всего: не у одного меня нет мысли, а нет ее вообще нигде в целом мире! Мысль сбежала, милостивые государи, мысль оставила пределы цивилизованного мира и очутилась... где бы вы думали? У патагонцев? Как бы не так! Вы удивляетесь? Вы думаете про себя: какой, однако ж, он городит вздор! Увы! Я и сам не знаю, дело ли я пишу или вздор горожу, но в оправдание свое могу сказать одно: у меня нет мысли!»

— Очень, очень легко! — опять похвалил Алексей Степаныч.

— Легко-то легко,— отозвался я,— а ведь и в самом деле мысли-то у него, кажется, нет! Что-то уж слишком он долго на одном месте топчется!

— Нет, мысль у него есть,— возразил Молчалин 2-й,— а это он только для шику жеманится; сейчас вот увидите, куда он загнет. Давайте-ка лучше продолжать:

«Однако надо же найти эту интересную беглянку, надо найти мысль во что бы ни стало; иначе у меня не будет фельетона, столбцы газеты останутся ненаполненными, а ты, читатель, лишишься возможности наслаждаться назидательной беседой, которую я в урочное время имею обыкновение вести с тобою. Итак, будем искать.

Начинаю искать и отыскиваю. Отыскиваю, во-первых, потому, что это — моя обязанность перед редакцией газеты, а во-вторых, и потому, что отыскать потребную для фельетона мысль вовсе уж не так трудно, как это может показаться с первого взгляда.

Читатель, пойми меня! нельзя отыскать хорошую, *настоящую* мысль; но та мысль, которою я имею право тебя продовольствовать, есть мысль дешевая, дрянная, валяющаяся на полу в сору. Первое попавшееся на глаза отребье, обрывок, обгрызок может послужить темой для какой угодно печатной беседы. И не только может, но иначе и не должно быть. Хороших мыслей для нас не полагается, ибо мы еще рылом для них не вышли. Да если бы у нас и были хорошие, серьезные мысли — кто же нас пустит их публиковать?»

— Вот тебе и раз! хорошо-хорошо говорил, да вдруг и подгадил! — отозвался Алексей Степаныч,— а я было и уши развесил!

Молчалин 2-й задумался.

— Я полагаю,— сказал он,— окончание со слов: «и не только может» — следует похерить!

— Позвольте! — вступился я,— нельзя ли его чем-нибудь заменить? Например, в следующем роде: «Да это и не удивительно, потому что мы сами с вами, читатель,— не что иное, как сор, из которого, натурально, кроме сора, ничего и произойти не может. Мы ничего не знаем, хотя обо всем говорим; сегодня наша мысль раздражается в одном направлении, завтра — в другом. Мы даже, собственно говоря, и сказать-то ничего не намереваемся, а просто водим пером по бумаге, в надежде — не выйдет ли из этого чего-нибудь? И, разумеется, ничего не выходит». Кажется, этак будет хорошо?

— Хорошо-то хорошо, только как бы он не обиделся, фельетонист-то,— затруднился Молчалин 2-й.

— А что на него смотреть! Поправляй — и дело с концом! — высказался Алексей Степаныч.

Мнение мое было принято.

— «Итак, мы фаталистически...»

— «...и по собственной вине»,— прервал я,— не мешает даже курсивом эти слова набрать.

«...фаталистически *и по собственной вине* осуждены копаться в сору и ветоши и там искать предметов для наших бесед. Будем же копаться и посмотрим, не найдется ли в нашем общественном навозе чего-нибудь такого, что могло бы пробудить дремлющую мысль. Ба! мысль первая: о погоде. Погода у нас, читатель, по обыкновению, была отвратительная, и дачники наши заплатили обильную дань катару и флюсам. По всей Черной речке нельзя было усмотреть ни одного чиновника, который не ходил бы с подвязанной щекой. Несмотря на это, петербургский житель все-таки упорствует думать, что у него есть лето и что это лето всего приличнее провести с флюсом на щеке. Более благоразумные, впрочем, серьезно

намеревались перебраться в город, в виду дождей, холода и сырости; но чиновницы, нашившие себе летних платьев, не допустили до этого. И действительно, стоит посетить наши Лесные, Старые и Новые Деревни, Каболовки и проч., чтоб увидеть целые свиты чиновниц, храбро шлепающих по грязи и удивляющих мир непреклонностью веры в прелести петербургского климата. О, если бы все наши верования были столь же непоколебимы! Как далеко ушли бы мы вперед!»

— Вот и опять пошло легко! — отозвался Алексей Степаныч.

— «Можно себе представить после этого, какую мерзость запустения представляли нынешним летом наши минерашки и демидроны! Сырость, холод и ко всему этому безголосые певицы! По-видимому, Москва серьезно вознамерилась победить Петербург. Она уже переманила у нас и незабвенную Кадуджу, и прелестную Нордэ, а в недалеком будущем, вероятно, уловит в свои гостеприимные сени и обаятельную Жюдик. Впрочем, это уж не первая победа, которую «порфироносная вдова» одерживает над не совсем, впрочем, «юною царицей». Известно, например, что в гастрономическом отношении Москва представляет нечто сказочное и что обедам в трактирах Тестова и Лопашова позавидовал бы сам Лукулл».

— Хорошо, очень хорошо!

— «Кстати, о Лукулле: навряд ли, однако ж, в нынешнее строго классическое время его пустили бы баловаться по Тестовым и Лопашовым. Вероятнее всего, его засадили бы в Катковский лицей изучать латинскую грамматику, ибо хотя он и римлянин (был), а все-таки проэкзаменовать его по части склонений — не лишнее. Припомните, читатель, как экзаменовал «Русский вестник» профессора римского права, Никиту Крылова, по поводу «Ordo equestris» [1] и «Ordo equester» [2]. Припомните, как агитировал он учащуюся молодежь, назойливо доказывая, что поучающий ее профессор аза в глаза не смыслит! Не помню, вышел ли из этой агитации какой-нибудь бунт, но ежели и не было бунта, то, очевидно, не по недостатку усилий со стороны «Русского вестника», а только потому, что бог спас. Во всяком случае, Никита Крылов вынужден был умолкнуть... сам Никита Крылов!! Что ж после этого значит какой-нибудь Лукулл, о степени грамотности которого даже сведений не имеется! В ликей его, в ликей! пусть лучше над глаголами корпит, чем московскими поросятами желудок себе набивать! Конечно, он был римский вельможа; но мало ли мы

---

[1] Конный строй.
[2] Конский порядок.

знаем вельмож, которые писывали «штоп», вместо «чтоб», «абвахта», вместо — «гауптвахта»!»

— Знаете ли что! — сказал я,— на вашем бы месте я всю эту тираду выключил.

— Что так?

— Да так; не знаю и сам, а внутреннее чувство мне подсказывает... Ликей... «Русский вестник»... Катков... и эта странная агитация по поводу «Ordo equestris»... Есть, знаете, предметы, которых лучше не касаться... Оставьте!

— А ведь он, братец, прав! — поддержал меня Алексей Степаныч.

— Ну, нет, господа! — взволновался Молчалин 2-й,— уж этим я вам не поступлюсь! «Московские ведомости»! да знаете ли вы, что *он* на *меня* чуть не каждый день донос в своей паскудной газете срочит!

— Ну, а вы старайтесь *делами* своими отвечать! Вот, мол, мои *дела* — пусть всякий судит! Скрытного нет у меня ничего.

— Хорошо вам говорить: «делами»! дела тоже — делам рознь!

— Ах, не говорите этого! Ведь, в сущности, тут и дѐл никаких нет, а есть только так называемая полемика! Он говорит: Ordo equester, а вы говорите: Ordo equestris — вот и все. Ну, и продолжайте эту полемику, оживляйте столбцы, употребляйте как можно больше аттической соли, ссылайтесь на Цицерона, на лексиконы, одним словом, устраивайте обстановку... Но за живое... понимаете, за живое-то не задевайте!

— Прав, братец, он! — вновь поддержал меня Алексей Степаныч.

— Нет, воля ваша, а этого господина я щадить не намерен! Помилуйте! он чуть не в глаза мне каждый день плюет!

— А вы оставьте! Вот, мол, мои дела — и кончен бал! На вашем бы месте, знаете ли, как бы я поступил? Я просто бы игнорировал — да-с. Так бы и устроил, чтоб кругом *его* пустое пространство образовалось. Ну, и пусть плюет на пусто, коли есть охота плевать!

— Прав он! прав, прав, прав!

Молчалин 2-й подумал с минуту, потом порывистым движением взялся за карандаш и перечеркнул инкриминированное место крест-накрест.

— Ну-с, довольны ли вы? — обратился он ко мне иронически.— Дальше-с.

«Впрочем, в том, что москвичи побеждают нас по части Кадудж и обжорства,— ничего удивительного нет. Москва есть по преимуществу город широких русских натур, которые,

как известно, любят не столько наслаждаться, сколько разбрасывать божье добро зря, под стол. Нам пишут, например, что одна из таких широких натур, усмотрев в ресторане «Славянского базара» сажалки с плавающими в них стерлядями, вдруг изъявила желание выкупаться в одной из этих сажалок и за удовлетворение этого несколько дурацкого желания заплатила довольно крупную сумму. Уж эти мне широкие русские натуры! Платит человек громадные деньги за удовольствие пугать в сажалках стерлядей, а нет того, чтоб плодотворным образом эти деньги употребить! Вот хоть бы, например, на усовершенствование русского мореходства в Черном море? Ах, господа безобразники, господа безобразники! пора бы, кажется, подумать вам о том, что ведь Черное-то море с самого севастопольского погрома и до сих пор все продолжает сиротеть!..»

— Прекрасно! — воскликнул Алексей Степаныч,— но я бы весь конец, начиная со слов: «вот хоть бы, например» — выкинул! Не наше, брат, дело об этом судить.

— А в особенности подстрекать каких-то безобразников! — прибавил я.

— Позвольте, господа! дело — совсем не в безобразниках, а в том, чтоб послать кому следует косвенный укол,— объяснил Молчалин 2-й,— сегодня укол, завтра укол,— ан, смотришь, газета-то и с репутацией!

— Да, но все-таки уколы должны иметь в основании своем известную степень достоверности,— возразил я,— но этого-то именно качества в настоящем случае и недостает. Ибо что же мы, в самом деле, знаем о Черном море? Вы пишете: сиротеет Черное море! — а может быть, оно и не «сиротеет»! Может быть, там и невесть что затевается!

— Гм... да... Впрочем, ведь оно и действительно... Сиротеет ли Черное море или не сиротеет — нам-то что за печаль?

— Какая же тут печаль!

— Разумеется, никакой печали нет!

— Ведь мне, собственно говоря, подписчик нужен!

— Вот-вот-вот! Следовательно...

Молчалин 2-й, махнув рукой, похерил, что следует, и продолжал:

— «У нас в Петербурге, конечно, нет безобразников, плавающих в рыбных сажалках, но взамен того мы имеем действительных статских кокодесов, которые по вечерам наполняют наши кафешантаны и в них, по-видимому, воспитывают себя для дальнейших подвигов по административной части. Это — совсем особенный сорт людей, находящихся в большой дружбе с татарами петербургских ресторанов и в большой вражде

с русской литературой. Везде, где метет пол или аллею шлейф паскудной кокотки, везде, будьте в том уверены, встретите вы и трущегося около нее действительного статского кокодеса».

— Стой! это что же такое? кого же он под действительными-то статскими кокодесами разумеет? — изумился Алексей Степаныч.

— Вероятно, это — наши молодые действительные статские советники,— скромно объяснил я,— названные так ради игры слов. Молоды они,— ну и трутся в свободное от занятий время.

— Ну, брат, это нельзя! Помилуй! государственный чин — и такое вдруг поругание! — возмутился Алексей Степаныч.

— Я полагал бы, вместо «действительных статских кокодесов», употребить выражение «нигилисты»,— предложил я.

— То есть действительные статские нигилисты?

— Нет, просто «нигилисты», потому что ежели сказать «действительные статские нигилисты», то ведь и это, пожалуй, за намек примут.

— Но как же согласить: с одной стороны «нигилисты», а с другой — «воспитывают себя для дальнейших подвигов по административной части»?

— И эти слова можно изменить. Например, сказать: «воспитывают себя для подвигов постыдного пропагандистского искусства».

— Прекрасно! Исправляй и читай дальше!

— «Вы можете узнать действительного статского кокодеса по следующим характеристическим признакам: он молод, но уже слегка расслаблен; лицо у него испитое, и потому он позволяет себе подрумяниваться; усы проведены в нитку; борода тщательно выбрита; походка переваливающаяся, свидетельствующая о бурно проведенном в казенном заведении детстве; разговора ни о чем вести не может, кроме как о милой безделице и ее свойствах; но на этой почве остроумен, находчив и неистощим. Некоторые из этих господчиков должны значительные суммы не только содержателям петербургских ресторанов, но и служащим в них касимовским князьям. Нам рассказывали такой случай (за достоверность которого, впрочем, не ручаемся), что на днях целая стая действительных статских кокодесов забралась ночью к одной известной кокотке, послала к Борелю за ужином и вином и, насладившись вполне лукулловским пиршеством, исчезла, предоставив «погибшему, но милому созданию» уплатить по счету».

— А ну-ка братец, прикинь, как оно будет, ежели вместо действительных-то статских кокодесов поставить нигилистов? — спохватился Алексей Степаныч.

Молчалин 2-й вновь пробежал глазами по корректуре, пошептал про себя и воскликнул:

— Нет! не годится!

— То-то и мне показалось, что не ко двору нигилистам эти кокотки,— сказал Алексей Степаныч,— насчет чего другого, а уж насчет кокоток... кажется, этого греха за ними не водится?

— Как же тут быть? Офицеров, что ли...

— И ни-ни! И не думай! — испугался Алексей Степаныч.

Начали совещаться, чем бы заменить нигилистов, и долгое время не могли прийти ни к какому результату. Наконец меня осенила счастливая мысль.

— Послушайте! — сказал я,— да об чем же мы говорим! Поставьте «адвокаты» — будет и правдоподобно, и без риску!

— Ах, бог ты мой! А мы-то разговариваем! Ну, батюшка, исполать вам! Представьте себе: ведь я уж давно догадался, что есть тут какая-то неловкость, и все время, покуда корректуру правил,— все думал: чем бы этих нигилистов заменить? И что ж! всякие должности так и вертятся на языке: и нотариусы, и мировые судьи, и гласные городской думы, и даже члены трактирной депутации, и, наконец, офицеры, а самого-то главного, самого-то подходящего звания — так ведь и не пришло на ум! Адвокаты! Ну, они! они и есть! Теперь у нас все как по маслу пойдет!

— «Рассказывают еще другой случай: один действительный статский кокодес (то есть адвокат) явился вечером в демидрон, держа на руке какое-то шерстяное одеяние, которое все приняли за плед. По обыкновению, он уселся в обществе «этих дам» и в продолжение некоторого времени вел себя довольно прилично. Но потом вдруг развернул предполагаемый плед — и что же оказалось? — что у него, вместо пледа, очутились в руках штаны, которые он будто бы второпях захватил (о, милая, наивная находчивость в объяснениях!). Можно себе представить восторг этих дам при виде столь знакомой им принадлежности мужского туалета! Хохот и взвизгивания не умолкали в продолжение целого часа, и — что любопытнее всего — в довершение спектакля милейший petit-crevé [1] — по требованию погибших, но милых созданий, имел обязательность пройти по всем аллеям ликующего демидрона, держа на плечах этот новоизобретенный плед. Скандальная хроника ничего не говорит о том, делали ли во время этого оригинального шествия дежурные городовые под козырек».

---

[1] щеголь.

— А ведь это, кажется — истинное происшествие рассказано? — прервал я.

— Чего «кажется»! С нашим и было! — объяснил Алексей Степаныч,— на другой день, при докладе, сам мне рассказывал! Представьте, говорит, какое недоразумение вчера со мной вышло! А я себе молчу да думаю: рассказывай «недоразумение»! чай, нарочно всю штуку проделал, чтоб своей Альфонсинке удовольствие доставить!

— Но ловко ли, в таком случае, будет предавать это происшествие гласности? — усомнился Молчалин 2-й.

— Небось! Не обидится! Еще лестно будет, как на всю-то Россию репутацию любезного молодого человека приобретет! Вот если бы ты напечатал, что он «Историю Государства Российского» сочинил — ну, тогда не знаю: может быть, и обиделся бы. Да и то по неведению. Подозрительны они нонче, мой друг! Ведь другой с самой школьной скамьи книги-то в глаза не видал, да и напуган к тому,— ну и думает, что все — прокламации!

— «Таким образом, обещание мое исполнено: «мысль» найдена, и притом не простая «мысль», но сопровождаемая анекдотами вполне современного характера. По-настоящему, следовало бы на этом и остановиться, но я с ужасом замечаю, что все до сих пор мною написанное займет отнюдь не больше шести газетных столбцов, тогда как я во что бы то ни стало должен написать таковых двенадцать. Двенадцать столбцов убористой печати — это жестоко! Тяжело положение почтовой лошади, обязанной пробегать от сорока до пятидесяти верст в сутки, но в пользу ее все-таки существует смягчающее обстоятельство: она не имеет надобности *выдумывать* этой ежедневной порции в сорок — пятьдесят верст. Эти версты даны ей независимо от ее выбора; она — на то лошадь, то есть существо несвободное и неразумное, чтоб по первому требованию бежать куда глаза глядят. Напротив того, фельетонист по природе своей предполагается одаренным свободою выбора и не рожденным для ремесла почтовой лошади. Но в том-то и дело, что природа — сама по себе, а условия жизни — сами по себе. Эти последние большею частью так горько складываются, что человек собственным умом доходит до убеждения, что он — не человек, а лошадь. И, раз придя к этому убеждению, он *свóбодно* избирает себе ремесло фельетониста, то есть обязывается раз или два в неделю (смотря по требованиям аппетита) пробегать, в виду читателя, известное число верст. Но и этого еще мало: он обязывается населить эти версты призраками своей фантазии, и не такими, какие ему по душе, а такими, которые по душе другим и притом благовре-

менны. И когда он вздумает пожаловаться читателям на безнадежность этой карьеры, ему говорят: *сам* виноват! *сам* выбрал себе ремесло — ну, и скачи, куда глаза глядят!

Итак, вперед. Оседлаю я коня быстролетного, запрягу я его в саночки-самокаточки и поведу к нему такую речь: конь мой, конь ретивой! сослужи ты мне службу верную, понеси меня через долы, через горы, через поля и луга, понеси за моря-окианы, за синюю даль, в один миг облети степи-поля неохватные, леса-долины неоглядные! Пусть прольется передо мной море бездонное, немереное, море горького русского гореваньица, море бесконечно льющихся русских слез! Одним словом, помоги мне написать фельетон, в котором было бы ровно двенадцать столбцов и который одинаково понравился бы и читателям, и цензурному ведомству.

Но стоит мой конь как вкопанный; стоит ретивой — не шелохнется, стоит — не бежит, ушми прядет, копытами землю роет. Га! или зачуял ты зверя лютого, зверя лютого-ненасытного?»

Молчалин 2-й прочитал эти строки скандуя и с большим чувством. Я тоже, признаться, был тронут.

— Это — подражание «Слову о полку Игореве»,— сказал он,— и я должен сознаться, что мой фельетонист имеет на этот счет особенное какое-то чутье.

Но Алексей Степаныч самым добродушным образом расхолодил наши восторги.

— То-то вот и есть! — сказал он,— нас, чиновников, пустозвонами зовут; говорят, якобы мы из пустого в порожнее переливаем, а попробуй я, например, в докладе сряду и оседлать коня, и запрячь его в саночки-самокаточки,— ведь директор-то, поди, в отставку велит мне подать!

— Чудак ты, братец! ведь это уж размер старинных русских песен таков! — попробовал выгородить своего сотрудника Молчалин 2-й.

— Все же, мой друг! Конечно, не всякое лыко в строку, а все-таки поостеречись не мешает. Ну, да ведь нецензурного тут нет — стало быть, продолжай! Посмотрим, какого еще там зверя лютого конь твоего фельетониста зачуял? Господи! и коня-то никакого у него нет, на извозчике, чай, как и мы, грешные, ездит — а тоже: конь мой, конь ретивой!.. Проказники вы, господа литераторы!

— «Ах, зачуял ты того зверя ненасытного, что сосет-грызет нашу нужду народную, горьким горем по земле русской порскает, над мужицкою беднотой посмеиваючись, мужицкими слезьми упиваючись! В деревню тот зверь зайдет — огнем-полымем деревня загорается; в поле заглянет — засыхают

злаки добрые; в стадо прибежит — падают-мрут бедные коровушки!»

Молчалин 2-й не выдержал и заплакал.

— Ты чего, спрошу тебя, рюмишь? — обратился к нему Алексей Степаныч.

— Так, братец! взгрустнулось! невеселую ведь картину представляет наша бедная Русь православная!

Он закручинился, склонил голову набок и как-то нелепо запел:

Тихие долины,
Плоские равнины,
Барские руины,
Гнусные картины!..

— Вона! вон что загородил! — засмеялся Алексей Степаныч, — то-то сейчас видно, что давно ты предостережениев не получал. Небось мужичка жалко стало! Сидишь ты здесь в тепле да в холе, а вот запели перед тобой Лазаря — ты и раскис! Уж не думаешь ли ты, что фельетониста твоего похвалят за причитание-то?

— Что ж? кажется, тут ничего такого...

— Знаете ли что? — перебил я,— коли сказать по правде, так я и сам думаю, что эта тирада не совсем удобна для опубликования. Слишком уж горько; краски густы; светотеней нет... Поэтому я вот что придумал: похеримте-ка «зверя лютого» да и заменим его «светлым ангелом»!

— Вот это дельно! — воскликнул Алексей Степаныч.

— Помилуйте! да каким же образом? — смутился Молчалин 2-й.

— Очень просто. В предыдущей тираде, вместо: «Га! или зачуял ты зверя лютого, зверя лютого-ненасытного?» — скажем: «или зачуял ты ангела светлого, ангела светлого-богоданного?»

— Ну, а дальше?

— И дальше тем же порядком: «Ах, зачуял ты того ангела светлого, нашу нужду народную крылом своим осеняющего, утешеньицем по земле русской тихо летающего, в беленькую рубашечку русского мужичка одевающего! Уж как тот ли светлый ангел на пожар прилетит — вырастают кругом его трубы пожарные, со бочками, со баграми, со крючьями! Уж как тот ли светлый ангел про бескормицу услышит — вырастают кругом его закромы полные, выдают из них хлеб члены земских управушек! Уж как тот ли светлый ангел на коровий падеж взглянет-поглядит — вырастают кругом его врачи ветеринарные!»

— Ведь, в сущности, это все одно,— прибавил я,— и по-

жары, и бескормица, и падежи — все ведь остается; только закон о светотенях соблюден.

— Верно! — поддерживал меня и Алексей Степаныч,— ну, брат, нечего кобениться! Исправляй да и читай дальше!

На этот раз Молчалин 2-й взялся за карандаш с видимым усилием: ясно было, что ему жаль первоначальной редакции. Тем не менее он исправил и продолжал:

— «Нет, кроме шуток, известия из губерний очень непривлекательны: пожар в Моршанске, пожар в Брянске, пожар в Пултуске. Это — крупные, отдавшие в жертву пламени десятки миллионов рублей. А сколько погибло в пламени безвестных Загибаловок, Заманиловок, Таракановок, Клоповок, в которых живет население, насголько беззащитное против угроз стихий, что если бы мы не знали, что эти люди все-таки ходят в рубищах, а не нагишом, и едят хлеб из ржаных отрубей пополам с древесной корой, а не божией росой насыщаются (и Христос их знает, как они ухитряются устроить это!), то имели бы полное право сказать: зачем искать золотого века позади нас? Он здесь, он у нас перед глазами,— вот в этих самых Клоповках, Таракановках, где люди с таким блаженным равнодушием относятся и к жилищам, и к одежде, и к питанию. Жилища и одежды истреблены пожарами, а пища... Но стоит только прочитать газетные корреспонденции, чтоб сказать себе, что отныне вся наша надежда на пресловутое: «бог подаст!»

— Не уйти ли нам за добро-ума отсюда? — безжалостно обратился ко мне Алексей Степаныч,— видно, здесь чем дальше в лес, тем больше дров.

Молчалин 2-й сидел понурив голову, словно чувствовал себя кругом виноватым.

— Извините, господа,— сказал он,— я и сам уж вижу, что только по-пустому задерживаю вас...

— Нет, эдак нельзя! — вступился я с горячностью,— уж если мы взялись помогать, так уходить не следует; надо выполнить нашу задачу до конца! Послушайте, господин редактор! Теперь вы сами видите, что издавать русскую газету несколько труднее, нежели вы предполагали, сгорая в кадетском корпусе страстью к правописанию. Тем не менее ваше дело далеко еще не безнадежно. Я думаю, что даже сейчас вами прочитанное — и то может быть оставлено в первобытном виде... да, оставлено *в первобытном виде* — я утверждаю это!.. но с одним непременным условием...

Молчалин 2-й почтительно воззрился на меня.

— А именно: зачеркните конец от слов: «но стоит только прочитать газетные корреспонденции» и до слов: «бог подаст»

включительно, а вместо них прикажите набрать следующее: «А всему виною наша славянская распущенность, наша непростительная и легкомысленная неряшливость, наше чересчур развязное отношение к своим собственным интересам. Спросите у любого русского мужичка: есть ли у него в деревне приличный пожарный обоз? — ведь он рот разинет от удивления, словно бы вы говорили с ним на тарабарском языке! А вопрос об ирригации полей? а вопрос о прививании скоту чумы? О, земство, русское земство! Что сделало ты в течение целого десятилетия! Увы! все тяготы самоуправления попрежнему продолжают тяжелым бременем лежать на начальстве! Оно одно простирает нам руку помощи, оно одно не остается равнодушным зрителем постигающих нас бедствий! Оно же, разумеется, явилось благодетельным посредником и в данных случаях. По крайней мере, мы из достоверных источников можем сообщить, что все надлежащие по сему предмету распоряжения уже сделаны».

— Ну, тезка, как? — обратился Молчалин 2-й к Алексею Степанычу.

— Не знаю, братец! признаться, у меня уж и голова кругом пошла! Вот он посвежее — стало быть, ему и книги в руки.

Молчалин 2-й покорно взял в руки карандаш и принялся за корректуру.

— Ну-с, дальше,— сказал он,— продолжение все той же материи. «В южных губерниях засуха истребила...» «В Пензенской губернии необыкновенного вида червь...» «В Ярославской губернии, вследствие продолжительных холодов...» «Из Починков (Нижегородской губернии) пишут, что на скоте появилась какая-то особенная болезнь, которую никто не может определить...» «В Кирилловском уезде (Новгородской губернии) сибирская язва, по-видимому, обещает акклиматизироваться навсегда...» «В Изюме (Харьковской губернии), в подгородной слободе, не осталось ни одной овцы... Сначала некоторое время чихают, потом начинают чесаться, потом паршивеют и наконец...» И так далее, и так далее. Так уж, с вашего позволения, я все это оставлю в неприкосновенности да в конце и присовокуплю: соответствующие по сему предмету распоряжения сделаны?

— Да, непременно, непременно присовокупите. Да вот еще, чтоб уж совсем оттенить, я и еще одну штучку придумал. Пропечатавши все, что вы сейчас прочитали, возьмите да и хватите в заключение: «Не следует, мол, однако, забывать, что это — только одна сторона медали, которая отнюдь не должна подавать нам повода отчаиваться насчет будущего; ибо

ежели есть местности, посещенные бескормицей, пожарами и скотскими падежами, то ведь есть и другие местности, в которых не было ни пожаров, ни неурожаев, ни скотских эпидемий. Конечно, будущее и относительно этих других местностей — в руце божией, но все-таки *покамест* существование их не подлежит сомнению. Вот об чем слишком охотно забывают наши господа радикалы и об чем мы считаем своим долгом во всеуслышание напомнить им».

— Вот это прекрасно! Браво, друг мой, браво! — воскликнул Алексей Степаныч,— кажется, и всего три-четыре строки, а каков, с божьею помощью, оборот!

Молчалин 2-й вздохнул, словно гора свалилась у него с плеч. Похвала Алексея Степаныча до того ободрила его, что он, так сказать, уж не правил корректуру, но весело шалил по ней карандашом.

— Да, прекрасно, прекрасно, прекрасно! — продолжал между тем Алексей Степаныч,— а вот вы, оглашенные либералы, сидите да пыжитесь; там пожар, там голод, там эпидемия, а вот мы взяли да и поправили: сколько, мол, таких мест есть, в которых нет ни пожаров, ни эпидемий, ни голода! Ведь и читателю-то лестнее слышать, что у него везде, куда ни оглянись,— везде тишь да гладь да божья благодать! Ну-тко ты, либерал прожженный! Много ли до конца-то еще осталось?

— Сейчас. Дальше пойдет уж заключение: штандарт скачет, андроны едут, дважды два — стеариновая свечка и прочее. Словом сказать, все двенадцать столбцов в исправности налицо. Это уже я сам.

— А больше ничего нет?

— Есть корреспонденции, да те, кажется, и так пустить можно.

— Ой ли?

— Да вот, например: «*Норовчат.* Мы думали, что безобразия нашего земства уже в прошлом году достигли своего апогея, но оказывается, что в нынешнем году оно решилось превзойти самого себя...»

— С богом! Спускай на машину! И читать дальше не нужно!

— А вот и еще: «*Краснослободск.* Давно уже было замечено нами, что наши суды присяжных далеко не удовлетворяют своему назначению...»

— С богом!

— Пожалуй, есть и еще: «*Пенза.* Хотя и пишут об нас похвалы в газетах, что мы якобы собственным движением приговоры об уничтожении кабаков составляем, но пьянство не только...»

— Стой! — прервал Алексей Степаныч,— вот тут-то и закорючка! Ты знаешь ли, кто эти «пишут»-то?

— Полагаю, что в газетах...

— То-то «полагаю»! а ты не полагай, а достоверно разузнай! Ни-ни! говорю тебе, и боже тебя сохрани! Брось, чтоб и духу у тебя этой корреспонденции не пахло!

— Зачем же бросать? — вступился я,— поставьте вместо Пензы Алапаевск — вот и все.

— И отлично. Ну, а теперь только выкройки из разных газет остались. Спасибо вам, господа! Ободрили вы меня! вот какое вам за это спасибо!

Молчалин 2-й встал и поклонился нам, коснувшись рукою до земли.

— Что ты! что ты! — сконфузился Алексей Степаныч,— мы и сами рады, что на что-нибудь пригодились. Только ты уж, брат, помни. Коли газета твоя «Чего изволите?» называется, так ты уж тово... так эту линию и веди!

Был уже час четвертый в исходе, когда мы вышли из редакции газеты «Чего изволите?». Я был значительно утомлен, но все-таки шел бодро и даже весело. Мне было лестно и радостно, что я, во-первых, успел оказать услугу человеку в затруднении, а во-вторых, и себя при этом сумел показать в выгодном свете. Какое-то внутреннее чувство нашептывало мне: способный ты! способный! способный! Я возобновлял в своей памяти все подробности этого утра, припоминал, какие пустяки заставляли иногда задумываться Молчалина 2-го, как я легко и сразу их разрешал, как он радовался моей находчивости, как весело при этом карандаш его попрыгивал по корректурным листам, как он однажды даже запел... При этих воспоминаниях я сам начинал семенить ногами по тротуару и напевать, а тайный голос все пуще и пуще твердил: способный! способный! способный!

И вдруг эти праздничные мечты изменились. В самом разгаре ликований польщенного самолюбия мой слух был внезапно поражен словами простого прохожего, который, идя нам навстречу, говорил:

— Преспособная, братец, бестия! Помани его только пальцем...

При этом возгласе я словно проснулся. Тоскливо мне сделалось, почти тошно. Какую, в самом деле, я роль сыграл в это паскудное утро? Я, человек солидный, почти старик — что такое я делал?! Мне даже показалось, что воздух наполняется

миазмами и что какой-то особенно отвратительный запах начинает специально преследовать меня. Долгое время я не мог разобрать, что это за запах, но наконец понял.

— А знаете ли что? — сказал я Алексею Степанычу,— ведь мне все кажется, словно я эти два-три часа в помойной яме просидел!

Но Алексей Степаныч с обычным своим добродушием поспешил разуверить меня.

— С непривычки это, мой друг! Такие ли помойные ямы бывают! Вот я бы тебе помойные ямы показал, так те уже полтораста лет чистят, да и еще, пожалуй, на полтораста же лет чистить осталось!

ГЛАВА V

Когда я по временам раздумываю о моих отношениях к Алексею Степанычу Молчалину, то невольно прихожу к заключению, что в них есть что-то ненормальное, и это довольно больно щекотит мою совесть. Или, выражаясь точнее, я должен сознаться перед самим собой, что отношения эти ставят меня в какой-то нелепый тупик, род порочного круга, из которого, по-видимому, нет ничего легче вывернуться, да вот подика, вывернись.

Профессия Алексея Степаныча не внушает мне особенной симпатии, но в то же время личное его добродушие является для меня фактом, стоящим вне всякого сомнения. По-видимому, два существования — казенное и свое собственное — идут рядом в этом человеке; но идут особняком, не сливаясь, а ежели по временам и влияют друг на друга, то скорее в ущерб первому, нежели последнему. Вот это-то хроническое двоегласие жизни и сбивает с толку, делая возможными самые невозможные отношения.

Я знавал одну не очень знаменитую, но все-таки пользовавшуюся хорошей репутацией танцовщицу, женщину уже пожилую, совершенно добродетельную (она была вдова какого-то экзекутора, за которого ее высватал директор департамента, и оставалась неизменно верною памяти своего покойного мужа) и отличную мать семейства. День она всецело посвящала семье и воспитанию детей в страхе божием (разве на какой-нибудь час запиралась в спальной перед зеркалом и упражнялась в стоянии на носках ног и в биении ножкой об ножку), вечером — уезжала в театр и проделывала там антраша. Даже звалась она не Земфирой и не Аспиччией, а просто Ариной Ивановной. Она не отказывалась от антраша, во-первых, по-

тому что они составляли профессию, с которой она сжилась, и, во-вторых, потому что при помощи этих антраша она доставала обеспеченный кусок ее семейству. Тем не менее, когда она вечером надевала трико и принималась, стоя на одной ноге и подняв другую до уровня плеч, выделывать перед почтеннейшей публикой круги,— ей было не совсем ловко. Поэтому она пуще всего боялась, чтоб кто-нибудь из ее детей не зашел в театр и не *увидел* ее (может быть, это-то и было причиной, почему она так усиленно старалась о внушении им «страха божьего»). Но вот, в один прекрасный вечер, сын ее, гимназист, соблазненный запретным плодом, урвался тайком в театр, и когда взвился занавес, то увидел следующее: какая-то роскошная женщина, впереди всех, на самом юру, покрытая, вместо платья, прозрачной тряпочкой, совсем-совсем нагая, стоит на одной ноге, а другою, протянутою до уровня плеча, медленно-медленно выделывает круг. Затем, вглядываясь в эту женщину пристально, он узнал в ней свою мать...

Вот наглядный пример того, что двоегласие в жизни нисколько не препятствует правильному ее течению, даже с таким аккомпанементом, как периодически-обязательное переодевание в трико. И не примешайся тут неуместное любопытство юного гимназиста, приведшее его в театр, Арина Ивановна и доднесь, в кругу своего семейства, продолжала бы пользоваться наименованием маменьки Арины Ивановны, причем никто бы и не подозревал, что с этим именем связывается понятие о какой-то Аспиччии.

Положение Алексея Степаныча сходно с положением этой женщины в том отношении, что оба они устраивают свою личную жизнь по возможности независимо от профессии. Но во всех других отношениях Молчалин поставлен даже выгоднее. Во-первых, Арине Ивановне все-таки приходилось надевать трико, а Алексей Степаныч трико не надевает, всенародно своих атуров не показывает и антраша не выделывает; во-вторых, Молчалин свободен и от опасения (и тоже опять потому, что место трико у него занимает вицмундир), что дети его узнают об его профессии и устыдятся ее. Конечно, может быть, настанет время, когда и он поймет и дети его поймут, что, собственно говоря, и вицмундир и трико... Тогда положение его, разумеется, значительно усложнится; но ведь когда-то еще это время настанет, а покуда...

Покуда Алексей Степаныч — только «нужный человек», сношения с которым в значительной степени облегчаются его благодушием, а еще в большей степени упрощаются таким же двоегласием, которому не чуждо и существование лиц, имеющих до него дело.

Бывают совершенно безумные условия, при которых жизнь складывается тревожно, тоскливо, унизительно,— такие условия, когда человек, под гнетом смутного ожидания чего-то непредвиденного, приходит к сознанию, что существование его не имеет ничего ясного, определенного, что оно только терпимо, но и то лишь под условием беспрерывных, ничем не мотивированных оглядок.

Подобные неясные существования встречаются на свете чаще, нежели можно предполагать, и, говоря по совести, они мучительнее самой суровой ясности. Насколько ответствен в этом тот или другой человек персонально — этот вопрос всегда казался для меня сомнительным; но, во всяком случае, нельзя объяснить его одною приверженностью интересам собственного мамона или чересчур исключительным преобладанием чувства самосохранения. Скорее всего тут кроется целая тина мелочей, очень цепких, которая извращает все мотивы человеческой деятельности, да и самой потребности самозащиты сообщает характер изнурительной изворотливости.

Барахтаясь в этой тине, гонимый угрозой чего-то, ежели не подлинно страшного, то непредвиденного и застающего врасплох, я тем охотнее обращаюсь к Алексею Степанычу, что сквозь наносную кору молчалинства мне удается угадывать в нем черты подлинного человеческого образа. При этом я, конечно, сознаю, что наша связь основана на недоразумении, и что не будь этого последнего, то и самому Алексею Степанычу вряд ли пришло бы в голову поддерживать эту связь последовательно и по собственному интимному влечению; в то же время — не скрою этого — я очень рад, если успеваю додуматься до чего-нибудь вроде апофеоза молчалинства, лишь бы обойти недоразумения и оправдать себя в своих собственных глазах.

По временам эта связь формулируется для меня в виде следующего вопроса: ежели общественное значение Алексея Степаныча исчерпывается носимою им фамилией Молчалиных, то твою, человече, роль в сношениях с ним — каким именем следует ее характеризовать?

Неприятны и щекотливы подобные вопросы — этого отрицать нельзя. До того щекотливы, что при упорном преследовании могут победить самое упорное чувство самосохранения. Но щекотливость эту в значительной мере охлаждает и развлекает безалаберная и неклейная сутолока жизненной обстановки. Покуда человек щекотится и раздумывает над собой, на него со всех сторон с такой быстротой надвигаются волны всевозможных жизненных мелочей, что в одно мгновение захлестывают и его самого, и все его вопросы. Счастие это или

несчастие — судить не берусь; но могу засвидетельствовать, что те же самые мелочи, которые возбуждают мысль, они же и притупляют ее или, лучше сказать, представляют ей всегда готовое мерзкое ложе для успокоения. Повторяю: это — порочный круг, где один и тот же мотив служит поводом для бесконечно-блудной игры, в которой раздражение и успокоение сменяют друг друга без всякой надежды на просвет.

На днях я получил от Алексея Степаныча записку, которая порядком-таки взбудоражила меня. Записка гласила следующее:

«Любезный тезка! (Алексей Степаныч любит, при случае, подразнить меня «тезкою»: вы, дескать, хоть и рядитесь в костюм Чацких, а копни-ка вас — такими же Молчалиными, как и мы, грешные, окажетесь). Получил я от одного человека, служащего в департаменте «Возмездий и Воздаяний», цидулу, в которой идет речь об вас. Пишет, что вы, мой друг, проштрафились, и, должно полагать, штраф предстоит с вас немалый, потому что дело об ваших провинностях передано в отделение «Воздаяний по Преимуществу». А туда поступают лишь такие казусы, по которым следует ожидать, по малой мере, повреждения. Да и то, говорит, только по нынешнему снисходительному времени, а прежде — строже бывало. Однако вы не очень-то унывайте, потому что «человек» тут же присовокупляет: «так пусть приятель твой постарается сию неприятную для него будущность предотвратить; мы же, для времени продолжения, заведем по сему предмету со всеми местами Российской империи переписку». Следовательно, вы так и поступите; не откладывая дела в долгий ящик, отправляйтесь-ка около полден в департамент, подайте вид, как будто имеете дело к самому директору, и в ожидании заведите с молодыми чиновниками разговор, не предвидится ли, мол, новых реформ каких. Они — народ ветреный, очень охотно о сем говорят да, слово за словом, и об той реформе объявят, которая и для вас прописана. Тогда вы прямо и просите, чтоб вам пути указали, каким образом ту реформу устранить».

Прочитавши это известие, я призадумался. Что Алексей Степаныч не с ветру предупреждает меня о предстоящем членовредительстве — в этом я ни на минуту не сомневался. Но я так давно не был в департаменте «Возмездий и Воздаяний» (более двадцати лет), что становилось жутко при одной мысли о предстоящем путешествии, хотя мне и сказывали, что, благодаря либеральным веяниям, департамент этот в последнее

время сделался почти что департаментом «Утех». Сверх того, мне показалась несколько досадною та чрезмерная уклончивость, с которою было высказано обязательное предостережение Молчалина. Извещения о повреждении имеют слишком острый характер, чтоб не действовать на человека возбуждающим образом. Они не только порождают в его уме целую свиту вопросов, вроде: за что? в какой форме проектировано возвещаемое повреждение? и т. д., но и заставляют искать немедленного их разрешения. А записка об этом-то именно и умалчивала. Я согласен, что это — вопросы не особенно лестные для человеческого самолюбия и что в известном возрасте (доживши до седых волос) даже несколько конфузно предлагать их себе, но ежели жизнь так складывается, что обмен мыслей представляется возможным только на почве «виноват» и «помилуйте!», то, как ни гоните от себя нелестные вопросы, они все-таки вторгнутся в ваше существование и не дадут покоя, пока вы не сыщете для них разрешения, хотя бы даже мнимого.

Но, независимо от всего этого, разрешение упомянутых вопросов необходимо было и потому, что относительно повреждений практика выработала целую систему или, лучше сказать, философию, обходить которую — тоже дело рискованное.

Мне нужно знать: за что? — совсем не ради праздного уяснения себе состава и характера содеянного преступления, а для того, чтобы составить план кампании и определить со всею точностью, какие я обязываюсь приносить оправдания. С тех пор, как я живу на свете, мне так часто приводилось выслушивать восклицания (даже от людей положительно мне благожелательных), вроде: «ах, да как это вы!» или: «подумайте, что вас ожидает за это!» — что я и сам уж пришел к убеждению, что вся моя жизнь есть не что иное, как непрерывная цепь чего-то неключимого, и что, стало быть, я не в том, так в другом — виноват. Но дело не в том, что я виноват, а в том, что, несмотря на «темную свиту преступлений» — я все-таки жив. Жив бог и жива душа моя! благодарно восклицаю я, и, как мне кажется, восклицаю именно благодаря довольно сложной и отлично соображенной системе оправданий, которую я успел себе выработать. В оправданиях этих я, конечно, уже понаторел, но все-таки, прежде нежели приносить их, я должен сообразить их размеры с размерами содеянного преступления. Быть может, я виноват только в том, что, идя по улице, ввел в соблазн городового,— в таком случае я могу отделаться только искренним раскаянием. Но ежели, введя в соблазн городового, я еще позволил себе «рассуждать» — тог-

да вина моя уже сильнее, и, вместе с искренним раскаянием, я должен представить еще ручательство в непременном, на будущее время, «нерассуждении». Наконец, ежели бы я... но нет! со мною *этого* случиться не может!.. Однако ж, паче чаяния, если бы даже я и не сделал *этого,* но так показалось бы... о, тогда! представьте себе сами, каковы должны быть *тогда* размеры моего оправдания!

Что же касается до вопроса о форме предстоящего повреждения, то и его разрешение необходимо совсем не ради удовлетворения праздного любомудрия, а для того, чтоб не выказать неуместной щепетильности, не зарекомендовать себя беспокойным человеком, не утруждать по пустякам. Конечно, начальство вообще снисходительно выслушивает оправдания; но мы, в качестве подсудимых, все-таки должны пользоваться этой прерогативой с осмотрительностью, то есть утруждать только в виду повреждений несомненно тяжких. Повреждения же средние принимать с доверием и безропотно.

Такова, милостивые государи, теория оправданий, сама собой выработавшаяся на почве «виноват».

Поэтому едва ли покажется удивительным, что, прежде нежели выполнить совет Алексея Степаныча буквально, я решился заявить ему о возникших во мне сомнениях. Но, к удивлению, он выслушал мои заявления не только без обычного ему благодушия, но даже почти рассердился на меня.

— Очень уж вы набалованы, мой друг,— сказал он,— оттого вам и думается, что тут диалог какой-то произойдет: вы вопросы будете предлагать, а вам будут ответы давать. Ничего не будет — вот что! Да и какая, скажите, корысть для вас знать: за что? Ведь ежели не в том, так в другом — все-таки вы виноваты. Следовательно, что уж тут! А между тем начальство не любит вопросов, закоренелость в них видит, неспособность к исправлению. Вместо того чтоб искренно, благородно: виноват, ваше превосходительство! — а вы все с азартом да наступя на горло!

— Помилуйте, Алексей Степаныч! человек хлопочет только об том, чтоб как-нибудь поумнее предстоящее ему повреждение устранить, а вы какие-то азарты да «наступя на горло» тут припутываете!

— Ну, положим... ну, не так я выразился! А все-таки... Прежде всего, я и сам ничего не могу на ваши вопросы ответить, кроме: «не знаю!» Знаю, что нехорошо пахнет — вот и все, и будет с вас! Да и у тех, которым доподлинно известно, что и как,— и у них осведомляться вам не советую. Пользы нет — вот в чем главное. Во-первых, на ваш вопрос вы рискуете получить в ответ: здорово живешь! — будете ли вы этим

удовлетворены? Во-вторых, если даже и снизойдут к вашей немощи — лучше ли вам будет, если свиток-то этот перед вами развернут, в котором, как в требнике, против всех заповедей все грехопадения записаны, да скажут: читай! Да каяться велят да приговаривать станут: ежели не действием, так словом, а не словом — так помышлением? Да в заключение спросят: а теперь, мол, сказывайте сами, какому вы за сие возмездию подлежать должны?

— Полноте! этого нынче уж не бывает! ведь ежели и вас по требнику экзаменовать начать, так и для вас, пожалуй, на каторге места не найдется!

— Так-то так: кто богу не грешен, царю не виноват, а все-таки и эту случайность предусмотреть не мешает. Не бывает, не бывает, а вдруг и вот он-он! Прихоти-то, мой друг, оставить нужно да проще на дело смотреть!

— Так, по-вашему, лучше не любопытствовать?

— Не любопытствуй, мой друг!

— Ну, хорошо. Стало быть, и вопрос о форме повреждения тоже праздный... прекрасно! Но согласитесь, что с моей стороны все-таки никакого «наступя на горло» в этом случае не было, и что в тех условиях, в которых я нахожусь, не только позволительно, но и вполне естественно...

— В том-то и дело, голубчик, что об естественности-то об этой забыть надо. Все естественно знать: и за что, и что за сие ожидает? да сдерживать себя надо, потому что естественность-то наша строптивостью называется. А вы просто, без естественности... доверьтесь! К тому же, вы сами видите, что и начало «обстановочки» уж сделано: со всеми местами Российской империи переписка заведена. Покуда справки да ответы идут, а потом пойдут выборки да соображения — смотришь, человек-то и жив! Может, и оправданий совсем приносить не придется — так, измором все дело кончится, а вы себя загодя сомнениями да вопросами изнуряете!

— Хорошо; но как же все-таки сделать? ведь я ни одного знакомого лица в департаменте «Возмездий и Воздаяний» не имею — с какого повода, как и к кому я туда явлюсь?

— А это уж и совсем просто. Нынче, мой друг, везде свободно: всякий может прийти, даже просто с прогулки. Прийти, выкурить папиросу и уйти. Вы, как придете, спросите у сторожа, скоро ли директор будет — этого и довольно. Затем, хотите — в приемной сидите, хотите — по коридору ходите; папироску закурите — сторож и спичку даст. Покуда вы курите, около вас молодежь тамошняя соберется — сейчас и разговор промеж вас пойдет. Сколько, мол, реформ мы уже видели, а сколько таковых еще под сукном состоит! Слово за слово —

и сами не заметите, как вам и об вашей реформе объявят. Да кстати и уму-разуму научат; и не просите — научат!

Советы Алексея Степаныча были настолько ясны и определительны, что на этот раз я решился последовать им слепо. На другой же день, часов около одиннадцати утра, я забрался под арку к площади и стал ожидать чиновничьего хода. Передо мною расстилалась неоглядная пустыня, обрамленная всякого рода присутственными местами, которые как-то хмуро, почти свирепо глядели на меня зияющими отверстиями своих бесчисленных окон, дверей и ворот. При взгляде на эти черные пятна, похожие на выколотые глаза, в душе невольно рождалось ощущение какой-то упраздненности. Казалось, что тут витают не люди, а только тени людей. Да и те не постоянно прижились, а налетают урывками: появятся, произведут какой-то таинственный шелест, помечутся в бесцельной тоске и и опять исчезнут, предоставив упраздненное место в жертву оргии архивных крыс, экзекуторов и сторожей.

Чиновничий ход начался только через полчаса. Сперва повалили гольцы, пискари и плотва, повалили такою плотною массой, что улица, дотоле казавшаяся пустою, вдруг ожила. Гольцы и пискари шли резво, играючи; плотва брела сонно, словно уверенная, что крючка ей не миновать. Потом движение перемежилось, и уже в одиночку потянулись головли, караси, лини и прочая чиновничья бель. Воображение мое было так возбуждено, что я намеренно вглядывался в эти физиономии, думая уловить в них какие-либо неизгладимые черты, свидетельствующие о страсти к повреждениям. Но, к удивлению, я встретил только самую обыкновенную затасканность, сквозь которую едва-едва просачивалось озабоченное праздномыслие. Точно передо мной прошел ряд швабр, которыми уж так давно трут полы, что они утратили даже характер швабр и получили форму тощих и совершенно нецелесообразных мочалок.

Когда для меня сделалось ясным, что административная машина пущена в ход, я тоже юркнул в одну из зияющих дверей серого здания — и пропал. Но и тут воображение обмануло меня. Я думал, что и стены, и лестница, и передняя — все будет «вопиять». Ничуть не бывало! На лестнице чувствовался сильный запах упраздненности — и только; в департаментской передней пахло отчасти сторожами, отчасти бумажной червоточиной, острый запах которой проникал сюда из канцелярии.

Сторожа приняли меня как родного. Их было двое, и, по-видимому, жилось им тут отлично. Не только предупредительно, но почти с ликованием бросились они снимать с меня

пальто, и глаза их смотрели при этом так ясно, как будто говорили: сейчас-с! пожалуйте! будьте знакомы! Пока я освобождался от верхнего платья, мимо меня бойко проследовал курьер его превосходительства, молодой малый, который тоже смотрел отлично. Он отнюдь не давил высокомерным сознанием своей высокопоставленности, но весело поигрывал серебряной цепочкой, пропущенной сквозь пуговицы его темно-зеленого казакина, и с какою-то чрезвычайно милою загадочностью, казалось, говорил: сегодня его превосходительство изволили утром меня спрашивать — угадайте, об чем?

— Его превосходительство...— начал было я, но один из сторожей, помоложе, даже не дал мне продолжать.

— Пожалуйте! сейчас-с! сейчас они будут! — заторопился он, словно боялся упустить меня,— уж и курьер с портфелем приехал. Полчаса, много час... А покуда не угодно ли посидеть,— продолжал он, широко растворяя передо мной дверь в приемную,— вот здесь, на диванчике... здесь покойно будет!

Новое разочарование! Я думал, что на меня со всех сторон налетят сбиры, как в «Лукреции Борджиа», а меня принимал в свои объятия добродушный русский солдатик, который даже шпицрутеном хлестнуть не может без того, чтоб не произнести предварительно: «господи-владычица! Успленья-матушка!»

Я встал у окна и от нечего делать начал смотреть на площадь. Налево от меня была затворенная дверь, ведущая в кабинет его превосходительства, направо — отворенная дверь, через которую виднелась обширная анфилада комнат, занимаемых канцелярией. Кабинет сурово безмолвствовал, словно боялся выдать тайну; напротив, из канцелярии доносился до меня непрерывный шум — вестник начинавшейся, но еще не установившейся канцелярской деятельности. Слышалось шарканье, хлопанье дверьми, щелканье замков, выдвигание ящиков, чирканье спичками; в нескольких местах раздавалось имя Надежды Ивановны (я вспомнил, что накануне Надежды были именинницы). Словом сказать, происходило все то, что обыкновенно происходит во всех публичных местах, вроде кофеен, трактиров, кафешантанов и проч. в те неясные минуты дня, когда «деятели» уж проснулись и принялись за чистку, но настоящая торговля еще не началась. Но ни малейшего намека ни на то, что «здесь стригут, бреют и кровь отворяют», ни на «бараний рог», ни на «Макара, телят не гоняющего» — ничего! Тихо, мило, благородно. Площадь из окна четвертого этажа представлялась какою-то нелепою пустынею, на поверхности которой там и сям двигались, словно на одном месте топтались, крохотные черные точки; по ту сторону площади, на под-

оконниках казенного здания, токовала несметная масса голубей, как будто понимали умные пернатые, что нужно же какое-нибудь развлечение этому стаду праздномыслящих людей, тоскливо выглядывающих из окон всех четырех этажей.

— Покурить не желаете ли? — спросил меня тот самый сторож, который отворил мне дверь в приемную.

— А можно?

— Даже мы курим... сторожа! Может, у вас огоньку нет? И огоньку достать можно (он чиркнул спичкой об обшлаг своего рукава и дал мне закурить). Курите с богом. А через час, много через полтора, и «они» будут... это беспременно. Вы просить об чем-нибудь?

— Да, придется, может быть...

— Так вы, когда они приедут, в канцелярию схоронитесь. Я вам в то время шепну... можно ли, значит...

Сделавши это наставление и снабдив меня на всякий случай еще двумя спичками (он даже показал, как нужно чиркать ими о подоконник), сторож оставил меня. Я сел у окна, взяв со стола старый лист газеты, и, в ожидании событий, начал читать. В газете описывалось открытие сезона в театре Берга, причем выражалось мнение, что, пригласив г-жу Бекка́ («а не Бе́ка, как пишут в некоторых газетах»), г. Берг тем самым доказал, что относится к своей задаче серьезно. Через минуту в дверях канцелярии показался один чиновник, разлетелся до половины комнаты, потом вдруг встал как вкопанный, словно об чем-то вспомнил, искоса взглянул на меня и возвратился вспять. Вслед за ним разлетелся другой чиновник и повторил тот же маневр. Наконец появился третий чиновник, который неслышными шагами, как будто у него сапоги на суконных подошвах были, проскользнул уже прямо в кабинет. Впрочем, он пробыл там лишь несколько секунд, пошуршал бумагами и, возвращаясь через приемную, остановился против меня. Я было думал, что он вынесет из кабинета, по крайней мере, хоть одно оторванное ухо, но и тут действительность не оправдала моих ожиданий.

— Вы — по делу? — услышал я обращенный ко мне вопрос.

Передо мной стоял небольшого роста человек, еще не старый, но уже поблекший и как будто надорванный. Голос у него был мягкий, слегка надтреснутый, грудь почти совсем пропала, большие карие глаза отливали какою-то грустною ласковостью. Болезненная потребность «послушания» виднелась в них — потребность, не обусловленная никаким корыстным побуждением и не отступающая даже перед загнанностью. Наверное, этот человек и побежит куда следует, и дело в одну

минуту разыщет, и в отсутствие других делопроизводителей бумажку (разумеется, не очень сложную) напишет. Его и из-за обеда внезапно вытащить можно, и ночью разбудить, и он никогда даже внутренно не поропщет. Это — тоже Молчалин, но Молчалин-аскет, Молчалин, окончательно освободившийся и от всяких расчетов преднамеренной угодливости и пламенеющий наголо и беззаветно. Казалось, в нем где-то далеко теплится какое-то очень отвлеченное убеждение, не имеющее ничего общего с его ежедневною деятельностью, но дающее ему силу усмирять в себе всякий позыв на протест. Убеждение вроде того, например, что земля есть юдоль скорбей, в которой люди должны «терпеть». Оно подкралось к нему, по-видимому, очень давно, когда еще он не понимал себя, и оттого не получило даже ясной формулы, а просто являлось естественным законом его жизни. Такие личности всего чаще встречаются в монастырях, но попадаются и в чиновничьем быту, где спрос на загнанность и беззаветность еще далеко не перестал существовать. Они неслышно, как тени, снуют по всем направлениям укрепленного лагеря, в котором им предназначено бодрствовать, разговаривают с мирянами ласково, но почти с состраданием, и глядят как-то чудно́, словно взор их глаз уходит дальше видимого предмета, стоящего перед ними. Игумены-начальники дорожат подобными подчиненными, но не дают им сильного хода, а отделываются так называемыми знаками доверия. Не потому, чтоб они были неспособны, а потому, что нет в них ни настоящей чиновничьей цепкости, ни той веселонравной готовности во всякое время сочинять проекты о всеобщем обездолении, которая в многообещающих личностях уже с молодых лет позволяет провидеть будущую «способнейшую бестию».

— Да, по делу и, кажется, довольно неприятному,— ответил я.

— Все дела не особенно приятны,— вздохнул он с видимым сочувствием ко мне,— но не следует отчаиваться. Так вы уж потрудитесь подождать: через час они будут. Папироску, может быть, желаете выкурить... от скуки? — прибавил он, как бы желая побаловать меня.

— Благодарю вас, я сейчас курил.

— А еще? посидите, покурите. Или вот газету... Пишут, Бéку какую-то привезли (лицо его осветилось при этом улыбкой, вероятно, ради доставления мне удовольствия мирским разговором)... Так потрудитесь уж подождать,— прибавил он, поощряя меня ласковым взглядом и делая движение, чтоб удалиться.

Но я вспомнил совет Алексея Степаныча, что нужно об

реформах завести разговор, и решился остановить ласкового чиновника.

— А у вас, кажется, довольно-таки дела? — приступил я стороною.

— Нельзя сказать. Вот у его превосходительства — точно что много дела. Ведь от них все исходит и к ним же опять все возвращается. Ну, а у нас... нынче начальство у нас снисходительное: сверх сил не требует!

— Однако ж все-таки... Помилуйте! сколько реформ мы уж видели, а скольких еще не видали... то есть несомненно увидим в ближайшем будущем!

— Теперь — мы отдыхаем; внутрь обратились. Внутри разбираемся,— сказал он, вовсе, по-видимому, не стыдясь и не желая делать тайны из временной приостановки реформаторской деятельности.— Так вы уж будьте так добры, подождите!

Высказавши это, маленький человек тою же неслышною поступью удалился от меня. Начиналась таинственность. Вот я и об реформах заговорил, думалось мне, а он даже внимания не обратил! — видно, не так-то легко в этом месте завязываются разговоры об реформах, как предсказывал мне Алексей Степаныч. Что ж я, однако ж, буду делать? Неужто ж так-таки прямо и попаду во чрево кита? А ну, как он (не этот, а уж настоящий *он, он самый*), вместо того чтоб входить со мной в объяснения, прямо огорошит меня вопросом: а позвольте, скажет, узнать, каким образом вы *об этом* проведали? Что я отвечу ему? Отвечу ли, что самая совесть моя подсказала мне, что я *заслужил,* или же, просто-напросто, запутаюсь в противоречивых разъяснениях? И я с беспокойством следил глазами, как маленький человечек скользил по анфиладе, постепенно умаляясь в пространстве, и наконец совсем исчез, смешавшись с другими черными точками, мелькавшими в отдалении.

— Это — экзекутор! — сказал мне, вновь появляясь, прежний сторож, покуда я таким образом размышлял.

— Кто? вот этот чиновник, который сейчас со мной говорил?

— Да; генерал их страсть как любят!

И сторож опять исчез, оставив меня одного с газетою. «Г-жа Бекка́,— читал я в газете,— внесла совершенно новый элемент в исполнение французских шансонеток. Она не поет их, а передает говорком, сопровождая эту передачу гримасами, не лишенными своеобразной грации...» Но в эту самую минуту, когда я вместе с автором приступил к сравнительной оценке достоинств г-ж Бекка́ и Жюдик, в передней послыша-

лось движение, и вслед за тем в приемной комнате появилось новое лицо. Это был Молчалин-жуир, мужчина замечательно большого роста, утробистый, сильный, с веселым и крупным лицом и с раскатистым голосом, валившим из него, как из протодьякона. Совершенно круглые и чересчур выпуклые глаза показывали, что он не чуждается даров Вакха, но что последним не легко достается победа над ним. Одним словом, это была одна из тех замечательных и ныне уж исчезающих личностей, которые когда-то проводили дни за делами, а ночи в беспробудных кутежах и о которых во времена о́ны складывались в канцелярском мире целые легенды, переходившие от одного поколения коллежских регистраторов к другому. Проходя мимо, он, как мне показалось, внимательно взглянул на меня и остановился.

— К директору? — спросил он у меня.

— По делу... тут дело есть у меня.

— На цугундер потянули... ха-ха!

— То-то, что не знаю...

— И знать не нужно. Знаете, как Кузькину мать зовут — и довольно с вас! — ха-ха!

— Однако ж все-таки...

— Ступайте в курительную комнату — там видно будет! А здесь вам дожидаться нечего. Вы от Алексея Степаныча?

— Да, я знаю его.

— Так ступайте в курительную — теперь некогда. Сейчас наше зелье приедет, так с докладом еще разобраться надо... Стойте! А ну, как я возьму да и доложу ваше дело теперь же... ха-ха!

— А вы не докладывайте!

— Не докладывать... ха-ха! Бедокуры вы, господа! Начуделесите там, а для вас обстановочки придумывай... ха-ха! Ну, с богом!

Напутствовавши меня таким образом, он сделал быстрый полуоборот и, грузно ступая, направился к анфиладе, на всем протяжении которой, покуда он шел, раздавался шум отодвигаемых стульев.

— Да у вас где дело-то, у кого в отделении? — раздалось над самым моим ухом.

Я обернулся: около меня стоял тот же сторож, который, по-видимому, решился быть моим ангелом-хранителем.

— В отделении «Воздаяний по Преимуществу», кажется...

— Так это они самые и есть.

— Кто «они»?

— Иван Семеныч. У них ваше дело.

— Гм... он мне в курительную советовал идти.

— Так что же... и с богом! в курительной, позвольте вам сказать, даже поваднее будет. Там и прочие просители собрались... пожалуйте!

Курительная кишела народом. Это была небольшая и до крайности неопрятная комната, с закоптелыми стенами и потолками, с заплеванным и усеянным папиросными окурками полом, сверху донизу наполненная густым облаком дыма, сквозь которое трудно было различать предметы. Когда я очутился там, мне показалось, что меня втолкнули в арестантскую, и мне вдруг сделалось до крайности неловко всех этих незнакомых людей. Мне казалось, что ко мне подойдут и спросят: вы что украли? и что я тоже, когда «обойдусь», то буду предлагать такие же вопросы. Разумеется, это были предположения совершенно безалаберные и неосновательные; тем не менее впечатление, производимое обстановкою комнаты, было именно арестантское. Мебели в комнате было чрезвычайно мало: четыре-пять стульев сомнительной прочности, разбросанных там и сям, и диван, на котором наверное отдыхали сторожа — до такой степени он был замаслен, оборван и скомкан. Человек с десять в вицмундирах стояло отдельной группой посредине; остальные курильщики размещались на диване и по углам. Посторонних посетителей было трое, и все они принадлежали к числу *своих*. Во-первых, дама, которая держала себя до того уже просто, что ее скорее можно было счесть за приятную собеседницу, нежели за просительницу (после оказалось, что это была сама вчерашняя именинница, Надежда Ивановна, имя которой не раз доходило до моих ушей, покуда я сидел в приемной). Во-вторых, господин в военной форме, что-то вроде приехавшего из провинции капитан-исправника, который уже откланялся по начальству, но еще оставался в Петербурге и продолжал посещать департамент не ради дела, а для того, чтобы проникнуться духом и направлением учреждения. В-третьих, статский господин, с совершенно распутною физиономией, имеющий все наружные формы ростовщика или содержателя увеселительного заведения, который, по-видимому, был уже окончательно «решен», но все еще изворачивался, как бы уклониться от этого решения. Словом сказать: и чиновники и просители составляли одну семью, что в наших присутственных местах случается нередко. Бывают просители (особенно из провинциалов), которые до того сживаются с своей ролью просителей, что даже не очень настаивают на течении своих дел. Они приходят в подлежащее место почти ежедневно, как в клуб, и нередко ни одним словом не напоминают об официальном предмете своих посещений, а курят, балагурят, разузнают о похождениях начальни-

ков, разговаривают о совершенно посторонних предметах и даже о своих семейных делах. Некоторые из них, начав знакомство с чиновниками в качестве просителей, продолжают его уже в качестве друзей, то есть втираются в чиновничьи дома и у себя устраивают для чиновников вечеринки и пироги.

То же арестантское чувство, которое испытал я при входе в курительную, по-видимому, ощутили, при моем появлении, и прочие бывшие тут. Как старые арестанты, давно обжившиеся за железными запорами и решетками, обглядывают новичка и, покуда он конфузливо обдергивается, спрашивают себя: какую-то новую струю внесет этот новый субъект в их старое, уже сложившееся сожительство? — так точно обглядели здесь и меня. Даже разговор моментально стих, точно перерезался, и только спустя минуту или две возобновился опять.

— Да ты икру-то ел ли? (разговор шел, очевидно, о вчерашних именинах),— спрашивала Надежда Ивановна одного из трех кавалеров, составлявших ее компанию.

Это была довольно красивая женщина, хотя уже не первой молодости и значительно подержанная. Одета она была по-домашнему, в блузу, и сидела на диване, тоже совсем по-домашнему, несколько сгорбившись и положив ногу на ногу, причем курила папироску за папироской.

— Ел... как же! удивительная, бесподобная икра! Уж у вас, Надежда Ивановна, коли захотите угостить...

— Будет удивительная, как два с полтинкой за фунтик заплатишь! — жеманилась Надежда Ивановна,— сама в Чернышевом покупала, а у Елисеевых да у Эрберов этих меньше трех рубликов к такой икре — и не подступайся!

— Что говорить! и кулебяка и икра — одним словом — все...

— Нет, нет, нет! Икра сама по себе — об ней после,— прервал другой кавалер, которого, по-видимому, интересовали вопросы совсем иного свойства,— а вы скажите-ка нам, барыня, в силу каких данных вы утверждаете, что все мужчины — подлецы?

— Всех вас, пакостников, на одной осине повесить надо! — бойко пошутила в ответ Надежда Ивановна, пуская кольца дыма.

— Стало быть, в жизни вашей бывали такие случаи, вследствие которых вы убедились, что на мужчин надежда плоха?

— Бывали-таки со мной случаи... много! Как в Бессарабии мы с полком стояли, так молдаване эти... вот мерзавцы-то! Турки, я тебе скажу, — и те лучше! Совестливее!

— Гм... однако ж! должно быть, строго поступали с вами господа молдаване!

— Оттого-то я и говорю, что всех вас на одной осине повесить надо! А тебе, Лодырь Семеныч, небось завидно? Да ты что меня за коленки-то хватаешь? Отстань, говорю! Ну, а ты, Петр Петрович, отчего вчера до ужина убежал? Я смотрю, где он, а он уж и лыжи навострил!

— Признаться сказать, не мог... Во-первых, своя именинница дома была, а во-вторых... Надежда Ивановна! голубушка! расскажите, что такое молдаване... что они такое могли... ну, одним словом...

— «Одним словом» — и будет с тебя! Ну вас! и не рада, что с вами связалась! Кабы, кажется, не дело мое, давно бы я вас, распостылых...

В углу, около печки, шел другого рода разговор: молодой и очень шустрый чиновник прижал к стене штатского человека с распутной физиономией и допрашивал его:

— Ты зачем, позволь тебя, господин Расплюев, спросить, к нам шляешься? подслушивать? а?

— Помилуйте, Иван Павлыч, побойтесь бога! Этакое дело... в двадцать четыре часа... Как же тут не хлопотать!

— Тебя не только в двадцать четыре часа, тебя на свет родиться не следовало допускать! Скажите пожалуйста!.. в двадцать четыре часа! И он удивляется! Это он-то, он-то удивляется! Да ты смотрелся ли в зеркало-то когда-нибудь? видел ли, что за монумент у тебя на плечах-то болтается! В двадцать четыре часа! это *он* говорит! Он!!

— За всем тем, Иван Павлыч, позвольте вам доложить...

— Нечего «позвольте вам доложить»! Ты мне скажи, сколько времени эти двадцать четыре часа для тебя продолжаются? а? Тебе срок указан, а ты не только существуешь, да еще сюда свою рожу непотребную показывать смеешь! Брысь!

— Так уж я, Иван Павлыч, буду в надежде-с!..

— Брысь, говорят! И если ты еще раз... В двадцать четыре часа! Это ему не нравится — скажите, нежный какой! Вот покажись-ка ты у меня еще раз сюда — узна́ешь, как без прогонов в три шеи с четвертого этажа летают! Брысь!

В другом углу приезжий военный человек выслушивал наставления теоретического свойства.

— Цель нашего учреждения, — ораторствовал солидный молодой человек, — заключается не столько в пресечении, сколько в предупреждении. Никого не утесняя, всех ограждать — вот наш девиз! или, лучше сказать, никому не давая чувствовать, вести дело так, чтоб тем не менее все почувствовали! Поэтому и вы должны таким же образом поступать!

Военный человек, вместо ответа, закатил глаза в знак того, что понял и намерен следовать неуклонно.

— Итак, повторяю: мы не жертв ищем! — продолжал чиновник. — Жертвы — они принадлежат ведомству департамента Вздохов, в пределы действий которого мы вторгаться не имеем права! А мы — мы должны сосредоточить все внимание, всю деятельность нашу только на том, чтоб подлежащие лица не оставались без воздаяний! Понимаете! не оставались *без воздаяний!*

В средней и самой многочисленной группе предметом разговора опять служила пресловутая Надежда Ивановна и вчерашний именинный фестиваль.

— В три часа пирог подали, потом ростбиф, рыбу, жареную индейку, — словом, полный обед. Потом сели мы за зеленое поле да так до трех часов утра и пропутались!

— Ай да Надежда Ивановна! Ура Надежде Ивановне! Господа! давайте покачаемте Надежду Ивановну на руках!

Во время этого панегирика Надежда Ивановна, сидя на диване, блаженно вскидывала глазами на говорящих, постукивая в такт ногою, и жеманно приговаривала:

— Ну уж! нашли что! эка невидаль!

— Так и Иван Семеныч, вы говорите, был?

— Еще бы! да и как еще удивил всех! Ну, вы меня знаете? Ну, люблю, кажется, я в картишки поиграть? Так он и меня за пояс заткнул! В третьем уж часу — мне даже спину всю разломило — а он: сыграем да сыграем еще одну пулечку! Ну, потешили старика, сыграли, да на двадцать целковеньких он нас и наказал! Это — в шестьдесят-то пять лет!

— Крепкий старик!

— И заметьте: играет, а около него бутылка хересу стоит. По рюмочке да по рюмочке — никак, бутылки с три он в течение вечера переменил! И хоть бы в одном глазе!

— Н-да; вчера в ночь три бутылки хересу, кроме прочих напитков, выкушал, а нынче — на службе! Поди, догадайся, как он ночь провел!

— И докладывает!

— Не только докладывает, а всех нас, молодых, передоложит! С ним, я вам скажу, такой случай однажды был. Заложил он с вечера, да, должно быть, уж так достаточно, что встал утром да ничего и не помнит, только спрашивает себя: есмь аз или не есмь? Однако, по привычке, побежал в департамент, подошел к своему столу, да так и ахнул. На столе — вот этакая груда бумаг, да все нужные, все к докладу. И доклад-то — сейчас. Что ж бы, вы думали, он сделал? Видит, что читать бумаги уж некогда, присел за стол да в четверть часа и навалял! Приходит, это, к директору: вы говорит, вашество, изволили

приказать написать доклад о том, какие чувства надлежит признавать в обывателе добрыми и что от таковых чувств для блага отечества ожидать предстоит? Ну, тот хоть и не приказывал ничего, а тут сделал вид; что вспомнил: читайте, говорит. И начал он читать. И по писаному-то читает, и от себя тут же импровизирует... словом сказать, генерал не вытерпел: встал и тут же его в лоб поцеловал! Прекрасно, говорит, это именно моя мысль была! Велите, говорит, поскорее циркуляр заготовить да прикажите всем департаментским чиновникам этот доклад наизусть выучить, дабы они могли во всякое время и на всяком месте на вопрос: что такое добрые чувства? — надлежащий ответ дать! А прочие дела мы до завтра отложим!

— Ай да Иван Семеныч!

И вдруг вся курительная, словно под влиянием волшебного мания, загудела:

«Добрые чувства суть те, кои, будучи при рождении самим богом в нас вложены и впоследствии воспитанием в казенных заведениях развиваемы и утверждаемы» и т. д.

— И бог его знает, как он это делает! И дела у него кипят, и за галстук он закладывать успевает, и стихи пишет! Читали ли вы последнюю его вещь, как он «Спаси, господи» в стихи переложил?

— Превосходно! Бесподобно!

— Спаси, говорит, нас и от того и от того: и от непрошеных советчиков, и от материалистов, и от нигилистов, и от стриженых девок, и от лекций Сеченова... Да, перечисливши-то все, вдруг как выпалит: «По-бе-е-ды!!»

— И это — после трех-то бутылок хересу!

— Пьет херес — и пишет! потом коньяку, для разнообразия, спросит — и опять стихи пишет!

Наконец, уже совсем подле меня, двое чиновников беседовали:

— Да воротился. Мы-то думали, что ему совсем капут, а он еще прочнее прежнего засел!

— Тсс... а помните, как за границу-то он отправлялся?

— Да, многие в то время... Михал Михалыч даже проводить его за нужное не счел, а теперь и тужит!

— Так вы говорите, что прием хороший был?

— Помилуйте! чего лучше! — Идите, говорит, и действуйте!

— Н-да; так Михал Михалыч... пожалуй, что Михал Михалыч-то и прогадал!..

— Чего хуже! и неблагодарность и недальновидность — все выказал! Ну, как было не предвидеть! Ну, кем его заменить? Где у нас люди-то? люди-то у нас где?

— Главное — неблагодарность! Ведь он его из грязи вытащил! Тогда он, садясь в вагон, даже со слезами это высказал! Из грязи, говорит, я его вытащил... ммерзавца! Зато теперь он ему это выпоет! Все, скажет, можно простить, но неблагодарности — никогда!

— Вы думаете, значит, Михал Михалычу вчистую придется подать?

— Нет, до этого, вероятно, не дойдет, потому что ведь и Михаил Михалыч также... ну, кем его заменить? Где у нас люди-то? люди-то у нас где?

Словом сказать, сколько я ни прислушивался к происходившим кругом меня разговорам, ничего членовредительного уловить не мог. Это были обыкновенные житейские разговоры, характеризовавшие людей, быть может, не особенно умных, но и отнюдь не злых. Замечательнее всего, что мне не удалось услышать ни одного анекдота из сферы Воздаяний, ни малейшего примера сколько-нибудь оригинального Возмездия! Как будто все эти анекдоты и примеры были раз навсегда погребены в каком-то «Полном собрании анекдотов», и нет никому до них дела, и останутся они в забвении до тех пор, пока М. И. Семевский (лет через сотню) не откроет их и не украсит ими страниц «Русской старины».

Однако на меня все-таки никто не обращал внимания, и я уже начинал опасаться, что предполагаемого разговора о реформах так-таки и не удастся мне завести, как вдруг неожиданное обстоятельство вывело меня из затруднения. Покуда я сокрушался и роптал, в комнате появилось новое лицо. Я взглянул на вошедшего — и сердце у меня так и захолонуло: это был... Тугаринов! Тугаринов, мой товарищ по школе, с которым я, правда, никогда не был особенно близок, а лет двадцать тому назад даже совсем потерял из вида, но которого все-таки я никак не ожидал встретить *здесь*, в эту минуту! Несмотря на то что самые черты этого человека почти изгладились в моей памяти, мне сделалось почти жутко, когда я увидел его. С своей стороны, и он узнал меня, и ему тоже, повидимому, сделалось жутко. Он влетел в комнату, с разбега, бойко и весело, даже кому-то крикнул: Петр Егорыч! а что же дело о... и вдруг осекся! Лицо его покрылось красными пятнами, руки уставились врозь, папироска, которую он намеревался сейчас закурить, не дрожала, а как-то плясала между указательным и третьим пальцами.

— Тугаринов! — начал я первый,— вы... ты...

— Ах, да! ведь ты у нас тут еще не бывал? — откликнулся он как-то ни к селу ни к городу, совсем смешавшись.

— Да, то есть лет двадцать пять тому назад...

— Ах, так ты теперь совсем-совсем нашего департамента не узнаешь,— заторопился он,— пойдем, пойдем ко мне в отделение, я тебе покажу!

Он как-то неуклюже, почти насильно взял меня под руку и повел вон из курительной комнаты.

— Ты совсем нашего департамента не узнаешь! — взволнованно и спеша объяснял он мне, покуда мы пробирались рядом комнат до его отделения, — теперь, брат, у нас совсем не то, что было двадцать пять лет назад! теперь наша служба, благодаря богу, получила совсем-совсем другое направление!

Он пододвинул мне кресло, усадил меня и сам сел.

— Ну, как тебе жилось? Говори! рассказывай... ссстарррый товарищ! — начал он, взяв меня за руку и крепко сжимая ее.

Он опять покраснел и как-то нелепо стиснул зубы, как бы сдерживая сладкое волнение, произведенное свиданием со мной.

— Да нечего, признаться, рассказывать. Главное, вероятно, тебе известно, а затем едва ли стоит говорить об частностях.

— Как же! как же! знаю! читал, мой друг! читал! Почитываем мы тебя... почитываем! Резконько, голубчик! очень даже резконько!

— То-то вот! одни говорят: резконько, другие — мяконько... как тут быть! Одно могу сказать с уверенностью: ни ты, ни другой не найдете у меня и следа злоумышлений!

— Что ты! что ты! кто же об этом даже в мыслях держать может! Напротив, *все* — это я с уверенностью могу сказать — *все* отдают тебе в этом отношении справедливость! И все-таки, голубчик, резконько! Тени слишком густы, свету нет! Немножко бы... чуточку! А впрочем, что ж я! Я-то об чем хлопочу! Напротив, я не только с удовольствием, но даже с наслаждением... Особливо последнее... как бишь! Так так-то, брат! Пописываешь? — прибавил он, дружески похлопывая меня по коленке.

— Да, пишу... что ж!

— Помилуй! да ты, никак, думаешь, что я... да сохрани меня бог! Ты к нам по делу, вероятно? Пустяки! я тебе в одну минуту все обхлопочу! У кого твое дело?

— Говорили, что в отделении «Воздаяний по Преимуществу», а, впрочем, достоверно не знаю.

— Это у Ивана Семеныча! ну, стало быть, твое дело — в добрых руках! Это, брат, — человек! Мы все здесь — его ученики! Это — человек убежденный и в то же время не односторонний! Нет, не односторонний!

— То есть как же не односторонний? мне кажется, что самое дело, которое он делает, довольно односторонне... Ведь он только исполнитель...

— Да, это — одна точка зрения. Но ведь служба, мой друг, не исчерпывается одним исполнением служебного долга... напротив! Мы, конечно, прежде всего сознаем свои обязанности перед службой, но это не освобождает нас и от другой, высшей обязанности: обязанности быть человечными и относиться к заблуждению с снисходительностью и без озлобления! О, в этом отношении очень-очень много в последнее время сделано, и ты не узнаешь нашего департамента, когда ближе познакомишься с ним!

Затем он рассказал мне, какой Иван Семеныч — прекрасный сын, как он любит и холит свою старушку-мать, как много помогает родным и ближним. А сверх того, он — музыкант и поэт.

— Да, и поэт. У него литературные вечера бывают. На днях он нам переложение тропаря «Спаси, господи» прочитал... н-да-а, с кваском-с! не всех по шерстке погладил! многим даже и очень не по вку́су пришлось! Сатира, да еще и какая... разумеется, в благонамеренном тоне!

— Какие же литераторы у него на вечерах бывают?

— Свои, мой друг, департаментские да вот из департамента Вздохов еще... Иногда, впрочем, тень Булгарина заходит... Иван Семеныч даже журнал хочет свой основать... у него для первого нумера трагедия Баркова в портфёлях хранится — вот, кабы ты знал! только вряд ли цензура... Ах, душа моя! ведь и за нами в тысячу глаз смотрят! да еще как смотрят!

Он вздохнул, помолчал с минуту, но так как я, с своей стороны, ничего не говорил, то начал опять:

— Да! давненько! давненько-таки! Много с тех пор воды утекло! Вот и у нас в департаменте... Конечно, существует предубеждение... но, право, ежели посмотреть на дело свободно...

Он взглянул на меня, как бы прося, чтоб я хоть на минуту «взглянул свободно», в видах рассеяния предубеждения.

— Да, свобода взгляда — это... на что уж свободнее! — ответил я, сдаваясь на его немую просьбу.

— Ну, вот видишь, ты сам это говоришь! — и мы то же самое утверждаем! Прежде — это так! Прежде чиновничество стояло как-то особняком, взаперти, и, разумеется, не могло внушать к себе доверия, но нынче... Если сообразить, что сделано в этом смысле в последнее время — так даже страшно, именно страшно становится! На последнем литературном ве-

чере один приезжий исправник читал нам статью «Двадцать лет реформ», так это даже удивительно, как мы все это выдержали! Ведь это только так кажется, что немного, а ты только подумай! А вы, господа, все недовольны! то есть не ты собственно, а вообще...

— Помилуй! я даже очень доволен! — поспешил я выгородить себя.

— Ты — я знаю; а другие?.. А между тем начать хоть с нашего департамента... Сравни-ка нынешнюю процедуру с той, которая существовала двадцать, двадцать пять лет назад... голова, мой друг, закружится!

— Да, с этой точки... разумеется, прогресс несомненный! Революции... то бишь реформы... — путался я, стараясь придать моему лицу благодарное и даже умиленное выражение. Но он, к счастью, уже закусил удила и не слушал меня.

— Всеобщая апатия — вот главное и неисправимое зло нашей общественной жизни! вот наша рана! вот что разъедает нас! Никто ни о чем не думает, а следовательно, никто не может и оценить... А возьмем между тем хоть настоящий случай — с тобою! Ты имеешь до нас дело... положим, даже неприятное... но какая, однако ж, разница между тем, как пошло бы это дело при прежних порядках и как оно идет теперь! Во-первых, в прежнее время объект воздаяний не выслушивался, не приносил оправданий, чаще всего даже не знал, что об нем идет речь. Он разрабатывался исключительно с отвлеченной точки зрения. Дело начиналось, созревало и округлялось само собой, независимо от объекта и без всякого внимания к тому, что он должен был ощущать вследствие этого созревания и округления. Наблюдалось, чтоб все ответы были получены, все справки собраны, и когда являлась уверенность, что надлежащее округление достигнуто... фюить!.. Все происходило, как в сонном видении... не так ли? правду ли я говорю, что все это именно было... и, к счастью нашему — прошло?

— Правда, — согласился я, — все это именно так было, как ты говоришь!

— Теперь будем продолжать. Если таковы были отношения «объекта» к вопросу о предстоящем ему воздаянии, — продолжал Тугаринов, — то не меньшею фантастичностью отличались и отношения самих делопроизводителей к принятым ими на себя обязанностям по сему предмету. Они исполняли эти обязанности без всякой руководящей нити, почти автоматически. Они не понимали, что может быть и *очень* больно, и *умеренно* больно, и *просто* больно; что хотя все это — стадии одного и того же принципа воздаяния, но стадии, находящиеся

в значительном друг от друга отдалении и потому требующие очень осторожного, очень тонкого применения. Они не различали бытия от небытия, и потому с неуместною расточительностью прописывали небытие даже в тех случаях, когда достаточно было удовлетвориться лишь более или менее легким ограничением бытия. Прописать небытие казалось легче, проще — вот они и прописывали. Словом сказать: их отношение к делу было столь же неосмысленно, как и отношение самого объекта. И первый и последний являлись орудиями и жертвой мрачного канцелярского фатума, который несся, как смерч, одинаково давя на пути своем и орудия и жертву. Не так ли? ведь правда? правду я говорю?

— Да, но ты забываешь, что орудия все-таки получали присвоенное им штатами содержание, тогда как «объект» пользовался только правами и преимуществами, проистекающими из слова «фюить»!

— Об этом — когда-нибудь после. Когда-нибудь на свободе мы поговорим с тобою, и ты убедишься, что пользование присвоенными окладами не всегда представляет усладу... но об этом после, после! Теперь же будем продолжать. Итак, объяснив, какой процедуре подверглось бы твое дело при существовании прежних порядков, обратимся к тому, в каком положении оно находится ныне. Я, конечно, не буду утверждать, что теперь ты уже полный распорядитель своего дела,— нет, этого еще нет! (Но это *будет* и притом в самом непродолжительном времени — в этом тебе я ручаюсь... *я!* — прибавил он в скобках и при этом ударил ладонью по столу, как бы говоря: вот *она* тут, в этом самом ящике... рррефорррма!!) Однако ж разница все-таки несомненная и громадная! Во-первых, ты уже *извещен!* Правда, ты извещен негласным и, так сказать, не вполне легальным путем, но ведь легальность, мой друг, бывает двоякая: легальность официальная и легальность, хотя и неофициальная, но *допускаемая,* и тебе, я полагаю, все равно, от той или от другой ты вкушаешь плоды... Согласись, что это — уже победа, благодаря которой перед тобой освещается целый путь. И вот ты идешь по этому пути, идешь не в потемках, не ощупью, а по прямому направлению к самому источнику. Ты приходишь к нам, не заходя ни в департамент Преуспеяний и Препон, ни в департамент Устранения и Порождения Недоразумений, хотя последние, вероятно, тоже ведут обширную переписку об тебе и — кто знает? — переписку, быть может, даже близкую к окончанию!

При этом неожиданном откровении я даже привскочил на месте от удивления.

— Как! — вскрикнул я,— так, стало быть, и еще в двух

департаментах могут находиться в производстве дела обо мне... А может быть, и еще в трех-четырех?

— Я не утверждаю этого наверное, но не могу утверждать и противного. Я должен сознаться, что относительно распределения занятий у нас остается желать еще очень многого, и я первый сознаю, что, например, департамент Преуспеяний и Препон мог бы быть присоединен к нашему без особенных затруднений. Есть, конечно, черты очень существенные, касающиеся круга действий, пределов власти и тому подобное; но, по моему мнению, в видах доставления публике удобств, не мешает иногда жертвовать и существенным. Почему, например, абонемент на итальянскую оперу объявляется иногда в дирекции императорских театров, а иногда в кассе императорского двора? Конечно, и тут, вероятно, есть основания, и даже очень веские; но, повторяю, в видах удобств публики, лучше было бы остановиться на театральной дирекции, как находящейся в центральном месте столицы и притом помещенной в первом этаже, а не под крышей. Утешаюсь, однако ж, тем, что это — вопрос времени, точно так же как вопрос времени — окончательная смерть «больного человека».

— Да, но, в ожидании этого времени, у болгар...

— Успокойся, мой друг, у нас еще до этого не дошло. А чтоб помочь тебе окончательно выяснить твое положение, я обещаюсь тебе во всех департаментах навести справки (он взял карандаш и для памяти черкнул несколько слов на листе бумаги). Черт возьми! надо помогать друг другу, особливо после стольких лет, проведенных рядом на школьной скамье... сстаррый товарищ!

Он опять стиснул губы, в знак сдерживаемого волнения, и протянул мне руку, которую я и пожал.

— Итак, ты приходишь к нам,— продолжал он,— и с первого же шага убеждаешься, что мы, с своей стороны, принимаем тебя с распростертыми объятиями. У нас — ты совершенно свободен. Ты можешь и в приемной сидеть, и ходить по коридору, и зайти в курительную — делай, как хочешь! Захотелось тебе покурить — кури! Захотелось почитать — к услугам твоим листок газеты! Затем, если тебя интересует знать, имеется ли в производстве дело об тебе,— ты обращаешься к подлежащему чиновнику, и он тебе прямо и без утайки говорит: есть. Мало того, он скажет тебе, в каком периоде оно находится: в периоде ли округления или уже приближается к созреванию. Сообразно с этим ты получаешь возможность делать соответствующие распоряжения. Конечно, если ты захочешь знать, за что? и что именно тебя ждет? — этого тебе покуда не откроют, но и это опять-таки вопрос

времени. Принципиально неудобства канцелярской тайны уже осуждены, и ты увидишь, что не пройдет и двадцати лет, как от нее не останется и следа.

— Однако... двадцать лет! — изумился я.

— Что делать, мой друг! человечество идет к совершенству медленными, но зато верными шагами, и мы можем только содействовать ему на пути развития, но отнюдь не побуждать к тому насильственными мерами. Я понимаю, что соблюдение канцелярской тайны может возбудить досаду, но людям нетерпеливым могу сказать одно: господа! имейте терпение! вы видите, что делается все, что можно! Сравните прежнюю процедуру с теперешнею — и сознайтесь, что разница громадная! Не просите! не просите! Все будет сделано — в свое время! Но теперь — нельзя-с!

Покуда он говорил, я смотрел на него. В нем уже не оставалось и тени того стыда, который он выказал при встрече со мною. Лицо его уже не отливало багровыми пятнами, но было прилично бледно и смотрело солидно и отчасти сурово. Голос не колебался, но звучал ровно и твердо. Речь не путалась, но лилась плавно, словно была выхвачена целиком из докладной записки об историческом развитии форм воздаяний и возмездий, которою, быть может, еще недавно он щегольнул перед начальством. А так как мне никогда не приходило на ум рассматривать вопрос о воздаяниях и возмездиях в пространстве и во времени, ибо для меня совершенно достаточно и тех воздаяний, которые уготованы для меня *теперь*, то, признаюсь, мне делалось даже неловко выслушивать эту плавно-пустопорожнюю речь, стремившуюся заставить меня восчувствовать, что в доисторические времена формы воздаяний были не в пример солиднее, нежели в наше время, когда... В первый раз с той минуты, как я вступил под сень департамента, на меня пахнуло скрытым членовредительством. В первый раз я почувствовал, что хотя теория и смягчается практикой, но она все-таки не изгибла и, в случае надобности, может быть выдвинута вперед без малейших затруднений.

— Как бы то ни было,— продолжал он,— а сделано все, чтоб устранить испуг и возбудить в объекте воздаяний надежду на более светлое будущее. Как хочешь, а это — значительный шаг вперед, особливо если взять его в связи с теми предположениями, которые уже стоят на очереди и отчасти уже приняты в принципе, отчасти же, по несвоевременности, хотя и отвергнуты, но именно только по несвоевременности! Но этого мало: некоторые из этих предположений практикуются уже и теперь, благодаря системе негласных ходатайств, которой хотя и не присвоено еще характера строгой, действи-

тельной легальности, но которая, вследствие несомненного смягчения начальственных нравов, уже пользуется всеми правами легальной допускаемости. А это прямо приводит меня к рассмотрению другой стороны вопроса, а именно...

— Извини, сделай милость, что я на минуту тебя перерву. Ты сказал сейчас, что существует система негласных ходатайств, которая хотя и не вполне легальна, но уже пользуется допускаемостью... Так нельзя ли как-нибудь применить эту систему...

— В том деле, которое привело тебя сюда? Конечно, мой друг! о, без сомнения! без сомнения! Но извини меня и ты в свою очередь! позволь мне развить до конца начатый мною очерк современного направления нашего департамента. Признаюсь тебе, у меня так много накипело на душе, и мне так отрадно было бы сообщить все это тебе... сстаррый товарищ!

Новое выражение едва сдерживаемых чувств и новое пожатие руки.

— До сих пор я объяснил тебе только ту перемену, которая произошла в объекте воздаяний. Но веяние времени коснулось не его одного; оно коснулось и нас, скромных служителей принципа воздаяния. Оно морализировало нас, оно раскрыло наши сердца и просветило наши умы. Прежде чиновник был угрюм, теперь — он сообщителен; прежде чиновник хранил канцелярскую тайну, быть может, отчасти и потому, что не понимал ее, теперь — он относится к этой тайне критически и готов, при удобном случае, щегольнуть ею даже в трактирном заведении. Это, конечно, уже крайность, увлечение, но увлечение — знаменательное! С тех пор, как начались реформы, а особливо с тех пор, как разрешено в департаментах курение табаку,— чиновник сделался неузнаваем. В прежние времена твое появление в нашем департаменте было бы немыслимо иначе, как в «сопровождении». Ты стоял бы, как зачумленный, где-нибудь в углу, и никто не подумал бы приблизиться к тебе. Теперь ты приходишь сам, и не только никто не отвращается от тебя, но всякий наперерыв спешит подать тебе руку. Ты перестал быть «объектом», ты сделался — человеком! И ежели это в значительной мере развязывает тебе руки, то это же самое делает величайшую честь тем, которые успели настолько поднять свой уровень, чтобы сделать себя доступными человечности! Это — прогресс, это — победа, это — почти переворот! Это до такой степени переворот, что, случись он в другой стране, например в Англии или во Франции,— в нос бы бросилось, друг мой! А у нас — кого тронул у нас этот переворот? кто обратил на него внимание?

Он поник головой, как бы подавленный неблагодарностью, а может быть, и неразвитостью сограждан. Минуты с две мы молчали: он — потому, что собирался с мыслями, я — потому, что чувствовал себя в положении человека, посаженного в крапиву.

— Говорят, что Россия есть страна переворотов мирных,— продолжал он,— что у нас мероприятия возбуждают не эфемерный энтузиазм, но более прочное повиновение. Может быть, что это и так! Может быть, может быть... может быть! Но согласись, что это горько! что от этого «повиновения» веет холодом! что есть минуты, когда чувствуется потребность, когда к сердцу подступает... одним словом... ну, да что об этом! Так-то вот, ты и у нас, в нашем департаменте... сстаррый, добррый товарищ!

Он наклонился ко мне, и я уже видел минуту, что он поцелует меня. Но вместо того чтоб облобызать меня, он вдруг покраснел, откинулся на спинку кресла и зажмурил глаза. Очевидно, ему показалось, что я отнесся к нему слишком уж сдержанно. А так как в мои расчеты вовсе не входило производить такого рода впечатления, то я, в свою очередь, встревожился.

— Послушай,— начал я,— так как же? собственно о *моем*-то деле... как же ты полагаешь?

Он вновь открыл глаза и на этот раз посмотрел на меня, как мне показалось, довольно иронически.

— Н-да? ты хочешь, конечно, чтоб я тебя с Иваном Семенычем свел? — сказал он,— охотно, мой друг! с величайшим удовольствием! Но подожди минутку: я сейчас велю узнать, воротился ли он от доклада!

Он взялся за звонок; но Иван Семеныч был легок на помине, и едва успели мы произнести его имя, как он персонально явился перед нами.

— А! писатель! — вскричал он,— я его ищу, а он вот где! Что, батюшка! к Исусу потянули? трясутся поджилки-то? ха-ха!

— Нет, не поджилки, а вообще...

— Во всем, значит, теле трясение... ха-ха! Знаю, батюшка! знаю! Сам, грешным делом, пописываю... знаю! ха-ха!

— Вот и я говорил, что вы литературой занимаетесь,— молвил Тугаринов,— и что по пятницам...

— То есть я, собственно, не литературой, а поэзией... ха-ха! Бряцаю при случае... ха-ха!

— Мы ведь с ним, Иван Семеныч,— товарищи! — пояснил Тугаринов,— как же! в школе... рядом... Старый товарищ!

Тугаринов протянул мне руку, примеру его последовал и Иван Семеныч, сказав:

— Очень рад! очень рад! а что касается до пятниц, так милости просим! милости просим... ежели не побрезгуете... ха-ха!

— У Ивана Семеныча, мой друг, очень многие бывают, а между прочим и такие люди, с которыми тебе очень и очень не мешало бы познакомиться!

— Бывают, бывают... ха-ха! Фаддей иногда с Волкова заходит... к закуске... ха-ха! впрочем, с Волкова ли? не со Смоленского ли?.. нынче ведь могил-то этих не помнят... ха-ха! Я и сам, признаться, забыл... В ту пору мы с Кукольником на похоронах-то были... или то бишь не с Булгариным ли мы у Кукольника на похоронах были... ха-ха!

— А может быть, и у Греча? — пошутил Тугаринов.

— А что вы думаете — и в самом деле у Греча! ха-ха! Да, все перемерли... литераторы! То есть, хоть и остались еще литераторы — только не те... ха-ха!

— А знаешь ли ты, что на последнем вечере у Ивана Семеныча и твою вещь читали? Как бишь ее?

— Как же! читали... ха-ха! И как только вас земля носит... ха-ха! Да, почитываем мы вас... ха-ха!

— Так знаешь ли, как мы сделаем,— обратился ко мне Тугаринов,— в следующую пятницу я заеду за тобой — мы вместе и отправимся к Ивану Семенычу... без церемоний!

— Какие церемонии... ха-ха! Очень рад, очень рад! Да вы не опасайтесь: мы не одною департаментскою поэзией вас угостим! мы не только читаем, но и вкушаем... ха-ха!

— Да еще как вкушаем-то!

И Тугаринов, и Иван Семеныч посмотрели на меня такими радостными глазами, точно им удалось «обрящить».

— А ведь я к вам по делу, Иван Семеныч! — рискнул напомнить я.

— Есть и дельце... ха-ха! вот в пятницу пожалуйте... тогда и рассмотрим вкупе... ха-ха!

— Нельзя ли теперь?

— Загорелось... ха-ха! Да просто залучить вас сюда хотел, посмотреть на вас — ну, и написал Алексею Степанычу цидулу! вот вам и дельце... ха-ха!

— Нет! вы шутите!

— А впрочем, есть и дельце, коли хотите, да не стоит об нем говорить! Словцо там одно... ха-ха! Не бойтесь, мы его кругом пальца обвернем, дельце ваше! Сам, батюшка, литератор... хотя и не нынешний, а знаю... ха-ха!

— Но в чем же, однако, дело? — настаивал я.

— Говорю вам: не стоит тратить слов... залучить вас хотелось, и успел в том... ха-ха!

Мне вдруг сделалось ужасно неловко, почти стыдно. Я и сам не мог дать себе отчета, почему стыдно; но какое-то непреодолимое желание «уйти» охватило все мое существо.

— Так, стало быть, к генералу... не надо? — лепетал я, не понимая, что я говорю.

— К какому генералу? Вот в пятницу приедете — и генерала увидите... ха-ха! Он будет даже рад... Почитываем мы вас, батюшка, почитываем... ха-ха! Познакомитесь, поговорите, а между тем и дельце ваше... ха-ха!

Затем я просидел еще с пять минут, и уже не помню, что происходило со мной. Помню только, что и я пожимал руки, и мне пожимали руки, и что когда наконец, почти шатаясь, я направился через анфиладу к выходу, то во всех комнатах меня сторожили любопытные, в глазах которых я явственно читал:

«Почитываем мы вас! да, почитываем!»

ГЛАВА VI

Таким образом, благодаря «уступочкам» — с одной стороны, и «обстановочкам» — с другой, молчалинская жизнь кое-как налаживается. Жизнь смурая, спутанная, сама себе не дающая отчета в том, почему она называет себя жизнью, а не смертью.

Среди этих сумерек Молчалин, их главный устроитель, чувствует себя вполне хорошо. Он не только счастлив сам лично, но убежден, что и другие должны быть счастливы; что сумерки именно и представляют ту идеальную норму человеческого существования, которая должна всех удовлетворять и за пределами которой начинается уже прихоть. Ухитивши свое гнездо, завоевавши себе: в настоящем — тепло и сытость, в будущем — завидную историческую безответственность, он с истинно молчалинским благодушием предает забвению свой недавний мартиролог, окончательно успокоивается, разнеживается и даже позволяет себе слегка помечтать.

Мечты его имеют тот же детски-непритязательный характер, которым отличается и вся его жизнь. Он видит себя в отставке, почившим от дел, сытым, благодаря получаемой пенсии, благодарным, свободным от угрызений совести, почтенным от соседей и начальства и ни в чем не замеченным. А главное, он видит себя окруженным взрослыми Молчалины-ми-детьми, прямо и без особенных усилий утвердившимися на

той же молчалинской колее, которую он с таким неслыханным самоотвержением для них проложил.

Но тут-то именно и надвигается на Молчалина из-за угла совершенно новый и притом отнюдь не предвиденный им мартиролог.

Истинно больное место существования Молчалиных — совсем не там, где они сами его видят, совсем не в их прошлом, хотя это прошлое и до краев переполнено лишениями, обидами и унижениями. Не назади, а впереди ждет их настоящая казнь, которая будет тем жесточе, что ее предстоит принять беспрекословно, не вдаваясь, даже втихомолку, в разыскание законности или незаконности поводов, обусловивших ее появление. И эту казнь им принесут Молчалины-дети.

Эта новая казнь заставит на́ново перечувствовать все казни прошлого и к старым обостренным истязаниям прибавит новое, неслыханно жгучее истязание.

Как отнесутся Молчалины-дети к деятельности Молчалиных-отцов? Отвернутся ли от нее с суровой неумолимостью бесповоротного убеждения или же, более мягкосердечные, подарят ей смягчающие обстоятельства... только смягчающие обстоятельства? В том или другом случае разве это не казнь?

Но и помимо этой неизбежной казни, предвидится еще другая, не менее неизбежная. Дети... ах, эти дети! Хорошо, как они по наторенной молчалинской дорожке пойдут, а вдруг очутятся совсем не там? Как их старческими-то руками удержать? как старческими думами уследить за ними? как старческими словами урезонить их?

— А ну, как Павел-то Алексеич мой как ни на есть недоглядит за собой? — сказал мне однажды Алексей Степаныч, и, по моему мнению, в этих немногих словах он очертил целый трагический сценарий.

Современность приучила нас к целому ряду явлений, которые мы легко угадываем с первого же намека. Домашний очаг потух; семья или разорвалась, или сделалась ареной какой-то сплошной трагедии, разъяснения которой мы можем отыскивать по временам лишь в стенографических отчетах судебных заседаний. Но стенографические отчеты обстоятельны только по наружности; полного же внутреннего смысла развивающихся трагедий они уже по тому одному не могут передать, что очень компактная масса действующих лиц остается совершенно вне пределов их кругозора. Эту компактную массу составляют Молчалины — отцы и матери. Они изнывают, мечутся, истекают слезами и кровью и тем с большею болью отзываются на удары судьбы, что последние падают на организмы, уже обессиленные прежними жизненными ударами.

Да, я не раз задумывался над финалом, которым должно разрешиться молчалинское существование, и, признаюсь, невольно бледнел при мысли об ожидающих его жгучих болях. Что бы ни произошло: отвернется ли Молчалин-сын от Молчалина-отца, или же он попросту, как выразился Алексей Степаныч, «недоглядит за собою» — результат для Молчалина-отца во всяком случае будет один. Больно везде: мозг горит, сердце колотится в груди, спину переломило. Надо куда-то бежать, о чем-то взывать, надо шаг за шагом перебрать свою прежнюю жизнь, надо каяться, отрицать самого себя, просить, умолять... И все это в такие минуты, когда рассудок отказывается действовать, когда колеблющиеся ноги не могут выносить тяжести вдруг осевшего тела, когда с каждым шагом так и кажется, что сейчас провалишься в бездну, когда ничего не понимаешь, ничего не сознаешь, когда и «в мыслях», и на языке одно только слово: «Дети! Дети!»

Вот «больное место» беззащитного, беспомощного молчалинства. По мнению моему, оно представляет поистине неистощимый родник для размышлений, да и для художественного воспроизведения в нем чуется весьма небезынтересная канва. Я даже думаю, что тут, именно тут и таится зерно той заправской русской драмы, которой доднесь никак не могла выродить из себя русская жизнь... Итак, настоящая, захватывающая дух драма найдена!

Но кто же воспроизведет ее? и когда?

ОТГОЛОСКИ

I. ДЕНЬ ПРОШЕЛ — И СЛАВА БОГУ!

Это было утром; я сидел за чаем и читал только что принесенную газету. Ужас, что там было: мужчинам режут носы, уши, живых сжигают, сажают на кол, женщин насилуют и стадами продают в гаремы, детей бросают вверх и принимают на штыки... Это в газетах так, а какова должна быть действительность! Каково тут быть, видеть! Представьте только себе, летит с высоты ребенок и падает на подставленные штыки...

Я закрыл глаза — как будто это ужасное зрелище, произошло передо мной въяве. Я видел этого ребенка, я чувствовал себя отцом его. Все внутренности во мне жгло и рвало. *Мой* ребенок... в моих глазах... Тот самый, на которого я не знал, как налюбоваться, не знал, как его приголубить... он!! Тот самый, который, с минуты своего рождения, взял у меня сердце, внутренности — все... Нет! это — безумие! Еще момент — и я готов был метаться. Бессильно, безнадежно, как мечутся люди в предсмертной тоске.

Не знаю, каким образом разрешился бы для меня этот неслыханный кошмар, если бы, к моему облегчению, в эту минуту не раздался в передней звонок.

Мы, люди культурного слоя, возбуждаемся очень легко. Художественные инстинкты до такой степени в нас развиты и выхолены, что самые чудовищные образы воспроизводятся нами мгновенно и во всех подробностях. Мы поражаемся быстро, сильно и даже искренно, но увы! как-то уж чересчур беззаветно. Как будто не понимаем и не хотим понимать, что и для инстинктов художественности нужно какое-нибудь практическое разрешение. К каким практическим результатам мог бы привести меня *мой* порыв? — я решительно ничего не могу ответить на этот вопрос. Быть может, у меня заболела бы голова, я был бы вынужден лечь в постель, и затем все прошло

бы сном. Быть может, в том же роде исход представила бы мне какая-нибудь другая, чисто внешняя случайность: пришел бы портной примерить платье или «бедная кузина» вытурила бы из квартиры хлопотать об месте для ее мужа... Достоверно известно одно: что подобные порывы не отличаются особенной устойчивостью и что как бы ни богата была сила художественной воспроизводительности, но она, слава богу, редко кого из культурных людей доводила до коренных решений.

По силе удара звонка я догадался, что пришел друг мой Глумов — и это был действительно он. Покуда он снимал в передней пальто, я уже чувствовал, что мой кошмар мало-помалу тает; тем не менее первым моим движением, при его появлении, было наскочить на него и воскликнуть:

— Ну, на! ну, читай! Читай вот... читай!

Но он даже не взглянул прямо, а как-то искоса посмотрел на мои ноги, как будто хотел сказать: эк тебя подмывает! и при этом легонько отвел меня от себя рукой.

— Читал,— ответил он сквозь зубы.

— Ну, и что ж?

— Читал,— вот и все,— повторил он с возрастающею загадочностью.

Но для меня этого было недостаточно. Хотя художественная картина № 1-й, изображавшая обугленных людей и детей, принимаемых на штыки, уже в значительной мере побледнела, но при виде Глумова, с его загадочностью, нервы мои вновь поднялись, и новый мотив вдруг переполнил все мое существо. Сейчас же вынырнула художественная картина № 2-й: позор! позор! позор!

— Но ведь это — позор! — опять наскочил я на Глумова,— пойми наконец: позор! позор! позор!

— А тебе что? — процедил он, бросая на меня косой, почти злобный взгляд.

— Как «что»! Но понимаешь ли... ведь это наконец — ужас! Целый ад там... сатана там... понимаешь ли: сатана!

Я задыхался; картина № 1-й, совсем было исчезнувшая, опять засветилась; сатана, с его немыслящим, искони потухшим взором, так и надвигался на меня из глубины...

— Кому — «ужас», а ты — живи в свое удовольствие! — угрюмо проговорил Глумов, делая рукой нетерпеливое движение.

Ясно, что с его стороны было что-то преднамеренное. Не то чтоб он не интересовался *этим,* но он не хотел почему-то говорить, и именно *со мной* не хотел говорить. Картина № 2-й исчезла в свою очередь; на ее месте явилась картина № 3-й с надписью: «Оскорбленное самолюбие».

— Ты это что говоришь?
— Говорю: живи в свое удовольствие!
— Ты это, конечно, затем говоришь, что *для меня* и такого разрешения достаточно?
— Не для тебя одного, а вообще... Живите, говорю, в свое удовольствие — вот и все!
Я вспыхнул.
— Тут совсем жить нельзя, а он об какой-то жизни в свое удовольствие твердит! — воскликнул я,— нельзя жить, нельзя! Мерзко! противно! подло!
— А коли тебя так мутит, так пошли в «дамский кружок» три целковых — может, и полѐгчит!
Старинная товарищеская привязанность к Глумову в значительной степени помогает мне выносить его выходки, несмотря на то что по временам они бывают обидны. Но на этот раз поведение его показалось мне даже не обидным, а просто нелепым.
— А знаешь ли,— сказал я,— с твоей стороны, это даже глупо!
— Что же особенно глупого?
— А все, весь твой разговор. Глядишь ты глубокомысленно; слово скажешь — словно рублем подарить хочешь... Ну, сообрази в самом деле: что такое ты сейчас нагородил?
— Изволь, я и другое что-нибудь скажу. Например: познай самого себя!
— Ну-с, дальше-с!
— А дальше: и сообразно с сим распорядись. То есть опять-таки: вынимай три целковых и отправляй их в «дамский кружок»!
Сердце во мне так и кипело. Но меня в особенности поразило, что он двукратно и, конечно, не без намерения указал на «дамский кружок». Как будто бы я...
— Ха-ха! но почему же именно в «дамский кружок»?
— А потому, что ты — художник, ну, а там дамочки... Помнишь, как у Толстого в «Анне Карениной»: дамочки, бутылочки, рюмочки...
И он точно так же вкусно потянул в себя воздух, как и Стива (в «Анне Карениной»), проснувшись на другой день после грехопадения.
— А ведь ты, Глумов, и сам... художник! — не удержался, сказал я.
— Знаю.
— И что ж?
— Я и себе давным-давно сказал: познай самого себя, то

есть неси три целковых, и понимай, что это — единственный подвиг, который довлеет тебе.

— Но ведь это — срам!

— Срам и есть.

— И ничего дальше?

— Дальше опять то же: отправивши, куда следует, три целковых — живи в свое удовольствие!

Обида была несколько смягчена. Своим признанием Глумов ставил себя на один уровень со мною — это все-таки был уже выигрыш... Но я не удовольствовался смирением, косвенно высказанным Глумовым, и продолжал:

— Однако неужто ты и в самом деле считаешь... ну, например, хотя меня или себя... неужто мы не способны ни на какую другую жертву, кроме трех целковых?

— Нет, мы и добровольцами можем быть... Хотя... какой же, например, ты доброволец!

Я инстинктивно взглянул на себя в зеркало и должен был убедиться, что, действительно, добровольцем быть не могу. Затем разговор наш как-то круто оборвался. Глумов, тяжело ступая и смотря в землю, ходил по комнате; по временам он что-то напевал, но как-то капризно, своеобразно: то тихо, словно про себя, мурлычит, то вдруг выкатит колено по-протодьяконски и при этом даже кулак покажет. Я молча следовал за ним, словно выжидал, не явится ли на выручку художественная картина № 4-й, вместо исчезнувших трех.

И действительно, вдруг словно облако остановилось у меня перед глазами. Сначала оно было темное, тусклое, но по мере того, как я в него вглядывался, оно постепенно бледнело, таяло и наконец сделалось совсем прозрачным. И вот — картина!

— А помнишь ли, Глумов, самарский голод? — спросил я, причем начало вопроса вышло у меня как-то нерешительно, но зато конец звучал уже почти восторженно.

— Помню.

— Что ж, и тогда... разве и тогда ты относился к народному бедствию с таким же безучастием, можно даже сказать, бессердечием, как относишься теперь к страданиям наших собратий по крови?

Глумов как-то гадливо сморщился при этом вопросе; ему показалась до крайности назойливою моя претензия во что бы то ни стало запустить ему иглу в живое мясо.

— Надоел ты,— начал было он, но, впрочем, сдержался и продолжал: — Гм... да... так ты о самарцах спрашиваешь? Что ж! я и тогда говорил: живи в свое удовольствие!

— Но ведь это безнравственно!

— Разумеется, безнравственно.

— Как же это, однако ж! Ты говоришь: «безнравственно», и в то же время сам...

— Это я тебе частным образом говорю: безнравственно. Может быть, что я даже и сознаю это... тоже частным образом. Но ведь из моего личного сознания шубы не сошьешь, если оно никаких обязанностей на меня не налагает,— вот что!

— Как так?

— Не хотелось мне об этом говорить, да и шел я к тебе совсем не с тем... Ну, да уж если ты настаиваешь,— давай, будем разговаривать. Только поскорей. Вот, изволишь ли видеть, правильно ли, нет ли, а я думаю так: покуда шкура на мне толста и прочна (может быть, она и не так уж прочна, как я полагаю, да ведь поди-ка убеди меня в противном!) — до тех пор я все буду сидеть в ней, словно в крепости. Сидеть и приговаривать: живи в свое удовольствие!

— Но ведь есть же сознание безнравственности, бесчестности такого сидения в собственной шкуре! Что же ты с этим сознанием-то сделаешь?

— Посмакую это сознание, может быть, даже умилюсь над ним. А матерью всех моих сознаний все-таки останется сознание толстоты собственной шкуры. Пока оно сидит во мне прочно — все прочие сознания или стушуются перед ним, или явятся в виде предмета умственной гастрономии. Начитавшись газет или книжек, я, смотря по обстоятельствам, или умилюсь, или вознегодую, но в конце концов все-таки скажу: а ведь хорошо, что шкура-то у меня толста!

— Воля твоя, а это — паскудство! совесть ведь вопиет! стыд!

— Бестолковый ты человек! Говорю тебе, что я лично, коли хочешь, уж давным-давно со стыда пропадаю, да толку-то в этом нет! Не в том дело, что я стыжусь, а в том, что эта способность стыдиться есть мое личное, ни до кого не относящееся качество! Я стыжусь — хорошо! но если бы я *не* стыдился — от этого я был бы только цветнее и крупичатее. Самарцы голодали — эка штука! ведь отголодали же как-нибудь! Так точно и теперь с болгарами, сербами и прочее. Когда же нибудь и как-нибудь и эта кончится, а я между тем буду жить в свое удовольствие!

— Что ж это за рецепт такой: живи в свое удовольствие?

— Ну, жри! Надоест жрать — пей! Надоест пить — дамочки есть!

— Хорошо, коли кто вместить такую доктрину может! А другого, пожалуй, и стошнит с нее.

— Небось не стошнит! Вот мы с тобой — художники; стало быть, всякую штуку живьем себе представить можем; да и то,

пойдем сейчас к Борелю завтракать, да разве по случаю пищеварения вздохнем об герцеговинцах... А представь себе, у кого и художественности-то этой нет — ведь этакому-то субъекту, будь хоть рассамарцы, хоть разболгаре — во всякое время не жизнь, а масленица.

Картина № 5-й. Просторная комната у Бореля, с накрытым посредине столом. Белоснежная скатерть, фарфор, хрусталь, серебро — все так и блестит. Татары суетятся около закуски; метрдотель глубокомысленно и обстоятельно обсуждает меню; соммелье застыл у дверей, с картой в руках, в выжидающей позе... Все *они* тут: и Петька, и Сережа, и Левушка, и Володя. Желудки томятся и сладко ноют в ожидании чего-то прелестного. Из соседней комнаты доносятся женские голоса. Там — тоже свои Петька, Сережа, Левушка, Володя... И во всех комнатах одна и та же неизбежная девица Сюзетта... А в кухне, на плите, что-то пыхтит и подрумянивается, а в погребе, из мрака, затканного паутиной, бережно, словно новорожденный младенец, выносится на божий свет таинственная бутылка... Ах, что-то на дне у нее, у этой бутылки?

Нет, Глумов не прав. Не толста шкура у тех, которые с такой ясностью могут вырабатывать в один момент какие угодно художественные картины! захотят — неистовства турок в Болгарии воспроизведут, захотят — неистовства русских «гарсонов» в ресторане Бореля изобразят!

— Что ж, едем, что ли? — круто прервал Глумов мои сладкие размышления.

— Куда?

— Разумеется, к Борелю. Славяне — славянами, а завтракать надо. Тюрбо, братец, привезли... sauce normande [1] — это что ж такое! Наши будут, Левушку Коленцова сегодня поздравляют: верную надежду, говорит, получил.

— Левушка! Куда же? в провинцию? Не может быть!

— Верное слово, хвалится. Говорит: в газетах на днях увидите. Законы, говорит, сочинять буду... хохочет — веселый такой!

Картина № 6-й. Левушка — в Семиозерске; сидит в своем кабинете и обдумывает, какой бы ему закон сочинить. Он весел и здоров. Тело у него крупичатое, щеки розовые, уста алые, подернутые улыбкой, лоб гладкий, плечи жирные, грудь колесом, брюшко круглое, посадка женская, ящичком. Он беспримерно, «до сих пор», счастлив. Счастлив и тем, что местный клуб втрое больше против прежнего посещается,— значит, развивается общественность! и тем, что на углу Дворянской и

[1] соус по-нормандски.

Московской улиц купец Фурсиков открыл новый бакалейный магазин,— значит, развивается промышленность; и тем, что содержатель гостиницы «Синоп» выписал из Москвы хор цыган,— значит, зарождается вкус к изяществу; и тем, что купец Лапотников отлил новый колокол для приходской церкви,— значит, и благочестие не оскудевает. Словом сказать, счастлив.

— Что я им буду писать? — мысленно спрашивает он себя,— зачем?

В его уме пробегают всевозможные: «воспрещается» и «разрешается», но прежде нежели мысль успевает выработать, что именно воспрещается или разрешается, является вопрос: зачем? — и сразу подрывает кропотливые усилия мысли.

— Напишу что-нибудь легонькое! — наконец решается он.

Перо его с минуту играючи бегает по листу бумаги. Выходит:

«Дозволяется, при встречах с начальством, вежливыми и почтительными телодвижениями выражать испытываемое при сем удовольствие».

— «При сем»... гм... что такое: «при сем»?..— шепчет Левушка, как бы сам удивляясь вылившейся из-под его пера неуклюжей фразе.— Нет, лучше уж я так сделаю: пойду сегодня в клуб и спрошу *их:* какой, господа, хотите, чтоб я вам закон написал? я с нашим удовольствием... ха-ха!

Левушка с минуту хохочет, сам не подозревая, как он в эту минуту добр и разумен; потом на мгновение задумывается; наконец решительным движением руки схватывает лист, по которому только что играючи резвилась его рука, и разрывает его на мелкие клочки.

— А ведь Левушка... славный! — обратился я к Глумову, очевидно, под впечатлением только что воспроизведенной мною картины.

— Чего лучше! парень — первый сорт! настоящий «правитель»! Идем, что ли?

Говоря по совести, мне очень хотелось идти. Черт возьми! не Зеноны мы, в самом деле, чтобы ради политических каких-то невзгод забывать о требованиях жизни! Славяне! Ведь отголодали же самарцы — и ничего, как с гуся вода! И хлеб, поди, теперь едят, и подати платят! Главное — подати, а прочая вся приложатся! Ну, и тут как-нибудь со славянами... Помаленьку да полегоньку, да с божьею помощью... Пройдет время,— обрезанные носы и уши заживут; на месте живьем обугленных и посаженных на кол поколений народятся другие... Ах, эти поколения! Как ни стараются об их истреблении, а они, словно вино из «неистощимой бутылки», льются да льются на божью ниву: вот, мол, и еще материал для обугливания... орудуйте!

Картина № 7-й. Славяне, умиротворенные, успокоенные, мирно предаются невинным занятиям, под сенью «административной автономии». Веселое солнце желтыми лучами обливает и кипящие млеком и медом села, и возделанные нивы, и тучные стада, и храброго добровольца Живновского, за неимением средств к возвращению на родину застрявшего в Сербии. Живновский остепенился и уже не употребляет очищенной; голова его побелела; лицо, правда, несколько осунулось, но зато смотрит сдержанно, даже почтенно; он скромно сидит в углу хаты и качает на руках сербского ребенка, между тем как красавица сербинка, мать ребенка, вынимает из печки горячие хлебы. «Эх, ущипнул бы я тебя!» — думает Живновский, взглядывая на стройные, словно вычеканенные формы молодой женщины; но так как у него нет под рукой очищенного, которое некогда возбуждало в нем предприимчивость, то он мысленно прибавляет: «Ущипнул бы — да не теперь!! теперь, брат,— ау!» И в довершение картины, где-то вдали (может быть, в Петербурге, на Минерашках) хор господина Славянского отхватывает: «иде домув муй...»

Самое теперь время ехать к Борелю завтракать! Ах, Левушка, Левушка! Каков-то он теперь? Чай, светлый, сияющий, бодрый, весь с ног до головы ликующий! Вот ему только еще пообещали, а уж из всех пор его так и прыщет: хочешь, сейчас устав сочиню! А на лице в это время играет вызванная избытком ликования разуверительная улыбка, которая говорит: что! испугался! ничего, голубчик! это я пошутил! живи... без уставов!

Стало быть, ехать — так ехать. Но, с другой стороны, после тех обид, которыми, ни дай, ни вынеси за что, наградил меня Глумов, мне было как-то неловко уступить так просто: взял шляпу да и поехал. Как у всякого культурного человека, у меня есть самолюбие, которое заставляет меня сначала слегка покобениться, а потом уж ринуться туда, куда зовут меня мои собственные, излюбленные инстинкты.

— Знаешь, брат! — сказал я,— вот я, как за границей был, так мне там говорили: мы вас, казаков, за Волгу оттесним! в Саратов, говорят, туда, где «véritable Astrakhan» [1] выделывают!

— Ну, так что ж?

— Как что! — обидно, душа моя! Признаюсь, немало-таки это отравляло мне мое путешествие! Всем хорошо: и дешево, и удобно, и тепло, а вот как начнут об Саратове да об «véritable Astrakhan» говорить — так вот и закипит все внутри.

---

[1] настоящий каракуль.

— А тебе бы сказать: нам и в Саратове хорошо будет!

— Ну, нет, любезный! это уж — аттáнде! Порохом, братец, запахнет, порохом!

Картина № 8-й: сражение под Саратовом...

— Что так? Ведь итальянскую-то оперу и в Саратов переведут; Жюдик — тоже в Саратов приедет... Поляков, Варшавский, Кронеберг, Малкиель... Гляди, и Борель с своими татарами живо следом за нами сберется... А икра там какая! При тебе, в твоих глазах, живому осетру брюхо распорют — сливки!

— Ах, Глумов, Глумов! Балагуришь ты, голубчик мой! все-то ты балагуришь!

— Известно, балагурю! — а то — что же?

— Знаешь ли ты, однако, что ведь и для балагурства есть мера и что без этого условия балагурство... может раздражать?

— А коли раздражает, так не трогай меня! Не трогай меня... слышишь! Не разговаривай со мной о вещах, которые... тоже раздражают! Баста. Идем к Борелю или нет? Ежели не идешь, так прощай: я отправлюсь один.

Я покорился этому ультиматуму довольно охотно. Повторяю: меня самого уже тяготил затеянный разговор, а в особенности то множество разнообразных художественных картин, которые, по мере его развития, как-то сами собой зарождались в моем воображении.

Когда мы вышли на Невский, Глумов угрюмо шепнул мне:

— Уж сделай ты для меня милость: придержи язык за зубами! Теперь ведь многие около славян-то прохаживаются! Скажешь слово не по шерсти — разорвут!

Невский кипел пешеходами и экипажами. Магазины и рестораны, по обыкновению, весело, лучезарно выглядывали на улицу своими цельными окнами; банкирские конторы поминутно распахивали настежь свои гостеприимные двери, как бы поддразнивая человеческую алчность дешевизною своих продуктов; только книжные лавки смотрели уныло, почти выморочно: очевидно, что публика, обрадованная, что славянский вопрос освобождает ее от обязанности читать что-либо, кроме газет, позабыла даже дорогу к ним... Зато у Пассажа целая толпа собралась около газетных разносчиков и требовала газет. Один из газетчиков добродушно выхваливал свой товар:

— Измена фельетониста Тряпичкина описывается... купите, господин!

Мы уже почти достигли цели, то есть Большой Морской, как из ресторана Доминика, словно привидение, вынырнул поручик Живновский и остановился наверху лестницы. Слегка

пошатываясь и расставив граблевидные руки, с явным намерением разорвать пополам, он медленно поводил зрачками своих глаз и вдруг уперся ими в меня.

— Га! писатель! либер-ралл! — гаркнул он зычным голосом в упор мне.

Я инстинктивно бросился к извозчику, увлекая за собой и Глумова, но тут нас ожидало такое зрелище, к которому мы уж совсем не были приготовлены. На пути нашего отступления бесшумно скользило по тротуару что-то ослизлое, студенистое, разлагающееся, но все еще живое. То был Булгарин! В руках его дрожал листок газеты, который он, очевидно, торопился положить на могилу Шешковского вместо цветов. Смесь запаха живого извещения с запахом извещения, задохшегося в могиле, шла за ним по пятам и заражала атмосферу...

— Пришел порадоваться на потомков своих! — донесся до моих ушей таинственный шепот...

Насилу мы уехали.

— Вот,— говорил мне дорогой Глумов,— ты, грешным делом, статейки в журналах пописываешь; так я и в этом отношении хотел тебя предупредить: помалчивай, друг! Спокойнее!

— Помилуй, душа моя! ведь я же сочувствую!

— Сочувствуешь-то ты сочувствуешь, даже сны наяву видишь — знаю я это! Да время нехорошо для печатного изображения чувств. Одно слово переложил, другого не доложил — сейчас: измена! Старые-то литературные предания и без того не в авантаже обретались, а нынче, ввиду несомненного заполучения подписчика, да ежели при сем и продажа распивочно и навынос успешно идет... Так уж ты сделай милость, голубчик, поостерегись!

У Бореля все обстояло так, как я уже заранее нарисовал в картине № 5-й. Посредине просторной комнаты был накрыт стол: белоснежная скатерть, фарфор, хрусталь, серебро — все блестело. Татары во фраках шныряли взад и вперед, принося и расставляя всевозможные водки и закуски; метрдотель почтительно, но с достоинством принимал из уст самого Левушки заказ; соммелье, с картою вин в руках, выжидал своей очереди. Сережа Преженцов, Володя Культяпкин и Петька Долгоухов, в ожидании земных благ, расхаживали взад и вперед и весело делились друг с другом впечатлениями, в которых покамест не было ничего «славянского».

Нас приняли с распростертыми объятиями; даже Левушка поспешил с последними приказаниями насчет меню, чтоб приветствовать нас.

— Читал? — обратился он ко мне,— ах, мегзавцы! (Левушка слегка грессейировал, что очень к нему шло.)

Меня так и ожгло. Я не знаю, поймет ли меня читатель, но мне показалось, что неожиданно распахнулись двери дома терпимости и вынеслось оттуда слово, о котором там совсем и в помине не должно бы быть. Давно ли я говорил, в сущности, то же самое, что сейчас сказал Коленцов, и негодовал на Глумова за то, что он встал ко мне по этому поводу в учительные отношения,— и вот не прошло и часа, как я уже и сам был готов разыграть ту же нелепо-учительную роль. Да, неслыханные вещи творятся на белом свете, говорил я себе, но какое же до всего этого дело Левушке? Зачем он оторвался от соммелье... чтоб произнести слово «меггзавцы»? Ах, это слово!

— Да, да,— поспешил я вильнуть в кусты,— так что же мы будем есть?

— Все уж условлено и заказано. Но скажи: ведь ты читал? не правда ли, какие меггзавцы? N'est-ce pas? [1]

Вопрос был поставлен двукратно, и не было никакого ручательства, что он не будет предложен и в третий раз. К счастью, Глумов выручил меня.

— Мерзавцы,— сказал он кротко.

— Этот ребенок... parole d'honneur, j'en ai rêvé toute la nuit! [2] И эти штыки... Этот «штык-молодец», comme le disait le grand Souvoroff... [3] употребляемый — для чего? Les coquins! [4]

Все сгруппировались вокруг Коленцова, и все искренно заявляли о своем сочувствии. Даже Петька Долгоухов, малый отнюдь не сентиментальный, и тот нервно вздрагивал, искоса, впрочем, поглядывая на жирную, совсем оранжевую семгу, пластом лежавшую на металлическом блюде.

— Ну, а теперь можно, кажется, поздравить тебя?..— начал было я.

— Благодарю тебя, но позволь еще одну минуту. Господа! прежде нежели приступить к нашему дружескому завтраку, ознаменуемте эту торжественную минуту добрым... патриотическим делом!

Левушка взял тарелку и обошел с нею присутствующих, говоря:

— Во имя братьев! Пусть каждый даст, что может! А потом мы отошлем нашу посильную лепту... в «дамский кружок»!

Все руки разом заторопились, и через мгновение на тарелке лежало пять зелененьких. Петька Долгоухов (шестая зелененькая) обратился к одному из татар и сказал:

---

[1] Не правда ли?
[2] честное слово, мне это грезилось всю ночь!
[3] как говорил великий Суворов...
[4] Мерзавцы!

— Поди за буфет, вели записать на меня три целковых и принеси сюда!

Затем Левушка вложил собранные деньги в конверт, сделал надпись: «от счастливых, за бокалом вина» — и отправил по принадлежности.

— А теперь, господа, приступим! — весело сказал он,— не знаю, как вам, а у меня как-то теплее, покойнее на сердце становится, когда я сознаю, что выполнил долг. А ведь это — священный долг... это *наш* долг, господа! N'est-ce pas? [1]

— Еще бы! à qui le dis-tu? [2] — раздалось со всех сторон.

— Собственно говоря, это даже — не *долг,* а душевное дело... Это, так сказать,— наша подоплека!

— Браво! — вырвалось у Глумова.

— Браво, браво! — захлопали в ладоши остальные.

— Ну-с, так приступим. Завтрак я заказал умеренный; вина тоже не много будет — предупреждаю вас. Я нахожу, что бывают обстоятельства, при которых умеренность становится обязательною. А чтоб испытать вас, я даже не открою вам содержание моего меню. Будем довольны, чем бог послал!

Как истинные герои, мы поспешили согласиться. Один Долгоухов казался огорченным. В качестве истинного pique-assiette'a [3] он любил не только сладко поесть, но и заранее предрасположить себя к предстоящим вкушениям.

Тем не менее завтрак удался как нельзя больше. Было шумно и весело. Поздравляли Левушку, подшучивали над Долгоуховым, сочиняли циркуляры. Один декламировал «устав о печении пирогов»; другой импровизировал «правила о переводе в разряд полезных животных тех из волков, кои добрыми нравами и примерным поведением признаны будут заслуживающими сего отличия». Каждая импровизация сопровождалась громкими «браво!» и обращениями к Левушке, который сквозь зубы ворчал: «Шуты!» и в то же время благосклонно улыбался. Словом сказать, все очутились в обычной атмосфере, из которой никто и никогда не чувствовал ни малейшей потребности выходить. Как вдруг дверь дома терпимости распахнулась опять.

— Да, господа, я оставляю вас... оставляю! — сказал Левушка, обращаясь к нам,— в принципе, мой отъезд в Семиозерск уже решен. Надежды, которые вы все возлагаете на меня — я уверен, что оправдаю их. Я — ваш товарищ, и это

---

[1] Не правда ли?

[2] кому ты это говоришь?

[3] прихлебатель.

одно налагает на меня святые обязанности. Я буду тверд, но без непреклонности; буду снисходителен, но без потворства. Преступных страстей — не потерплю! Но не скрою от вас, как не скрываю и от самого себя, что предстоящая мне задача, и без того трудная, в значительной степени усложняется современным политическим положением. Эти славяне, с обрезанными носами и ушами, эти обугленные трупы сожженных живьем людей, наконец этот ребенок, которого сначала бросают вверх и потом принимают на штыки,— все это не выходит у меня из головы и, конечно, войдет в программу моих будущих действий. Надо положить предел этому. Господа! я предлагаю тост за освобождение славян!! И не только на Балканском полуострове, но и... Я никого не называю по имени, но каждый из вас, конечно, уже назвал страну, которая в годину наших испытаний удивила мир своею неблагодарностью!

Этот тонкий намек на коварную Австрию привел нас в восторг. С криками «ура!», «живио!» мы бросились обнимать Левушку, который, и с своей стороны, весь сиял восторгом и решимостью.

— А теперь, господа, выпьем за здоровье княгини Наталии! — как нельзя более кстати воскликнул Сережа Преженцов.

— Королевы, mon cher [1], королевы! В глазах дипломатии она — княгиня, но в наших в «русских» глазах — королева! — наставительно поправил Левушка.

Выпили за королеву Наталию, но не забыли и княгиню Милену. Потом вынули еще по три целковых, вложили в конверт, с надписью: *от счастливых, за третьей здравицей,* и опять послали в «дамский кружок».

Здравицы следовали за здравицами, так что под конец произошло уже нечто вроде пронунсиаменто. Милана сменили и на место его провозгласили генерала Черняева королем Сербии и соединенной с ней Болгарии. Генералу Новоселову приискали местечко в Боснии. Герцеговину присоединили к Черногории, «гирла» оставили за собой; княгине Наталии, яко «дамочке», назначили пенсию в миллион дукатов. Наконец, в половине четвертого, под мотив долетавшей из соседнего кабинета (где тоже, вероятно, происходило своего рода пронунсиаменто) песенки:

A Provins,
Trou-la-la,
L'on recolte des roses
Et du jasmin,

---

[1] мой милый.

Trou-la-la,
Et beaucoup d'autres choses...[1] —

вышли на улицу и разбрелись в разные стороны.

— Кто бы подумал,— сказал Глумов, усаживаясь вместе со мною в извозчичьи сани,— что в этом паскудном трактире сейчас произошло великое таинство проявления русско-культурного патриотизма.

Я ничего не ответил на эту выходку и, говоря по совести, даже не совсем сознавал, что происходило во мне. Одно только было для меня вполне ясно: что Глумов стесняет меня! Гадливость, которую я часа полтора тому назад ощутил при слове «мерзавцы», вылетевшем из уст Левушки Коленцова, именно была плодом моей утренней беседы с этим человеком. Не будь его, я легко и свободно отдался бы веселым впечатлениям товарищеской беседы и изящно сервированного завтрака, а в то же время не упустил бы и поскорбеть. Между прочим вздохнул бы о славянах, между прочим выпил бы за здоровье королевы Наталии, между прочим вынул бы из кармана три целковых и с удовольствием увидел бы, что они отосланы... в «дамский кружок». Но мысль, что Глумов все это провидел заранъше и даже снабдил не совсем лестными комментариями, заставляла меня ощущать некоторую неловкость. В самом деле, эти три целковых... Неужели, думалось мне, русская культура не выработала из себя никакого жизненного факта, кроме бесшабашного гвалта, на дне которого лежат три целковых, никакого жизненного требования, кроме дикой потребности пользоваться всяким удобным случаем, чтоб кому-то зажать рот, перервать горло, согнуть в бараний рог?

Я гнал эту мысль от себя, потому что она положительно мне мешала. Я говорил себе: если даже все это и правда, то для чего мне эта правда, ежели я не могу изменить в ней ни одной йоты? Мы так беспомощны, так безнадежны, что сознание правды не вперед нас толкает, а заставляет только опускать руки. Покуда мы бесшабашны, хоть наши целковые играют какую-то роль, а отнимите у нас это качество — что останется? Останется бесцельное шатание по белу свету, останется скука, апатия и блудливые погони за каким-то несознанным делом, которое, дразня нас в перспективе — на практике самым обидным образом оставляет на бобах.

Да наконец и сам Глумов — лучше ли он других? Надевать на себя маску ментора, подсмеиваться над бесшабашностью

---

[1] В Провене, тру-ля-ля, собирают розы и жасмин, тру-ля-ля, и еще много кое-чего другого...

русской культуры, указывать на три целковых, как на единственный ясный результат общекультурного возбуждения, и в то же время самому по уши погрязать в той же бесшабашности и, хихикая исподтишка, вынимать такие же три целковых для отправления в «дамский кружок» — разве это тоже не своего рода русско-культурная черта? О, Глумов, с каким презрением ты говорил давеча: «Жри, а не хочешь жрать — пей!» — и с каким наслаждением ты выполнил эту программу, вслед за тем, на практике. Да, и ты не больше, как продукт той же культуры! и даже не простой, а сугубый продукт! И ты — раб с головы до ног, раб, выполняющий свое рабское дело с безупречной исправностью и в то же время старающийся, с помощью целой системы показываемых в кармане кукишей, обратить свое рабство в шутку!

Мне большого труда стоило, чтоб воздержаться и не бросить этих соображений в лицо Глумову. Однако я понял, что всякий дальнейший разговор на тему о современном общественном возбуждении был бы праздным переливанием из пустого в порожнее. Тут чувствовалась какая-то путаница, в которой в одно и то же время сквозила и насмешка над тремя целковыми, и косвенное поощрение нести их в общую кассу. В чем же, однако ж, тут дело? Ежели только в том, чтоб, вынимая свою зелененькую, не кричать, не галдеть, а сохранять чувство собственного достоинства, так ведь это — задача далеко не лестная да и не легкая, господа! Помилуйте! я — живой человек, я хочу, я чувствую потребность шуметь и кричать! Я столько времени молчал и столько горького, почти свирепого, накопилось внутри меня за время этой молчанки, что я с жадностью цепляюсь за первый попавшийся повод, чтоб облегчить свою грудь. И ежели у меня нет личного дела, по случаю которого я мог бы свободно поведать миру о своей живучести, то я хватаюсь за дело чужое, чтоб хоть на время, хотя в своих собственных глазах, восстановить свое право на жизненную отзывчивость!

— Куда же мы едем? — обратился я наконец к Глумову.

— А кто ж его знает? Куда-нибудь! Не заехать ли, например, к Поликсене Ивановне? там бы кстати и отобедали! Извозчик! в Разъезжую!

Поликсена Ивановна — очень добрая и милая особа, у которой я бываю довольно часто. Муж ее, Павел Ермолаич Положилов, наш общий товарищ по школе, считался в молодости передовым и крайним, и в свое время даже потерпел за свои мнения. Потерпел он не особенно много, но испугался настолько, что и доныне вздрагивает и оглядывается, когда в его присутствии произносится какая-нибудь резкость. С тех пор

он женился и повел жизнь совершенно уединенную, как будто на совесть его легло нечто такое, что мешает открытому общению с людьми. В настоящее время он занимает довольно солидное место в одном из министерств и души не чает в Поликсене Ивановне, которая, с своей стороны, инстинктом преданного женского сердца поняла, что Павлу Ермолаичу ничего не требуется, кроме покоя, и сообразно с этим устроила для него домашнюю обстановку. Обстановка эта — строго старозаветная. Утром Павел Ермолаич уезжает в департамент, а Поликсена Ивановна сидит дома и заботится, чтоб Павлу Ермолаичу, по возвращении из департамента, было хорошо. По вечерам оба сидят дома, любуются на детей, *в гости* совсем не выезжают, но всегда очень рады, когда кто-нибудь из ограниченного числа друзей посетит их. Даже квартира у них старозаветная: в каменном доме с толстейшими стенами, без швейцара, с крашеными полами вместо паркета. Кроме казенного жалованья, составляющего фундамент, на котором зиждется благосостояние семьи (у Положиловых шесть человек детей), у Павла Ермолаича есть еще усадьбица в Лугском уезде. Туда семья укрывается на лето и оттуда получает на зиму запасы, в виде живности, отварных рыжиков и всевозможных сортов варений. Эта скромная деревенская субсидия помогает Положиловым жить настолько гостеприимно, что за столом их никогда не бывает недостатка в лишнем куске для приятеля. Вообще, несмотря на явный диссонанс с общим тоном петербургской жизни, дом Положиловых был бы очень приятен, если бы в нем на каждом шагу (особливо в присутствии Павла Ермолаича) не чувствовалась боязнь сказать лишнее слово, которое должно об чем-то напомнить и нечто разбередить. На этом основании никаких «резкостей» на дружеских собеседованиях не допускается, а ежели таковые и прорываются случайно, то Поликсена Ивановна с изумительным мастерством умеет их сглаживать и заминать. Разговоры ведутся чинно, смирно, держась по преимуществу около фактов, допуская «справедливую критику» их, но не вдаваясь ни в утопии, ни в радикализм. Тем не менее уже и то одно производит хорошее впечатление, что никто в этом доме не грозит очами воображаемым внутренним врагам, не предается дешевому глумлению «над стрижеными девками» и не кричит, что авторитеты попраны и собственность потрясена.

— А в газетах-то... ужасти! — были первые слова Поликсены Ивановны после краткого взаимного приветствия.

— Вот и он тоже... тревожится! — с легкой иронией цыркнул Глумов, указывая на меня.

— Да как же не тревожиться! Ведь читаешь — даже кровь

холодеет! Павел Ермолаич чуть давеча болен не сделался — так это его расстроило!

— Пользы мало от этих тревог, Поликсена Ивановна!

— Какая польза — ведь это природное! Польза пользой, а и чувство тоже девать некуда. Для пользы Павел Ермолаич два процента из жалованья жертвует, а кроме того, и чувствует. Неужто же, по-вашему, не так выходит?

— Не знаю, Поликсена Ивановна. Все так спуталось, что иногда даже самому себе отчет хочешь дать — и ничего не выходит. Чувствуешь, что нужно бы слово какое-то сказать, пробуешь его вымолвить — и не вымолвишь!

— А по-моему, так совсем ничего не спуталось. Помогать надо — вот и все. Гляди на прочих, и мы у себя кружку завели, не официально, а так... Может быть, кто из знакомых и пожелает... по силе возможности.

Это было косвенное приглашение к пожертвованию, на которое мы и поспешили, конечно, ответить.

— Вот видите,— продолжала Поликсена Ивановна,— вы положили, другой, третий положит — смотришь, а в результате и помощь будет. Что же тут такого... спутанного?

— В этом-то, разумеется, ничего спутанного нет. А Павел Ермолаич где? по обыкновению, в департаменте?

— Да, уехал. Генерал ихний из-за границы воротился, так представиться поехал. Да вы не отлынивайте! скажите: в чем, по-вашему, путаница?

— Да начать хоть с того, что никто не знает, из-за чего он хлопочет.

— Ах, боже мой! да просто из-за того, чтоб помочь!

— То есть сотворить милостыню? а дальше что?

— И дальше — то же. Неужто это худо?

— Что худого! Вот я давеча утром к нему пришел — тоже чуть не в слезах застал... И с первого же слова посоветовал: вынимай, говорю, три целковых, посылай в «дамский кружок»,— все болести как рукою снимет!

Поликсена Ивановна недоумело взглянула на своего собеседника. Не любила она глумовских подтруниваний, боялась, как бы они не напомнили чего Павлу Ермолаичу, не «расстроили» его.

— Не понимаю я что-то,— сказала она несколько сухо,— да и вообще... не понимаю! Вот Павел Ермолаич — тот иногда любит эти иносказания, особливо когда ему по службе свободно... А по мне...

— А по-вашему, так Глумов хоть бы и совсем уволил ваш дом от посещений? так, что ли?

— Нет, не то... какой вы, однако ж, занозистый! всякое

слово ребром ставите... Не понимаю я, именно не понимаю! Не то вы смеетесь, не то правду хотите сказать!

— Это у него манера такая выработалась... езоповская,— отозвался я,— он статейки инкогнито в журналах тискает, так все цензуру объехать хочет!

— Да, так вот как! А нуте-ка серьезно: скажите-ка, что же делать-то нам?

— То самое и делайте, что делаете. Вот Павел Ермолаич два процента из жалованья жертвует; вы — кружку завели, в которую тоже, поди, процентик-другой из столовых денег откладываете. Отлично. Ведь и я, с час тому назад, вместе с прочими, своих кровных две зелененьких на блюдце положил. Тоже от других не отстанем.

— Нет, это — не то. Не то вы говорите, что думаете. Вот и Павел Ермолаич, когда я ему о своем намерении завести кружку открылась: ничего, говорит, займись! я сам два процента из жалованья жертвовать буду! И так-то ласково да мило, по наружности, сказал, а как вдумаешься, так настоящая-то у него мысль такая: забавляйся, мол, коли это тебе удовольствие может доставить!

— У Павла Ермолаича с Глумовым насчет этого «идеи» особенные есть,— попытался я уязвить.

— А ты думаешь, что так, без идей,— с одними художественными инстинктами лучше? — огрызнулся на меня Глумов.

— Нет, я не насчет идей,— вступилась Поликсена Ивановна,— идеи — что же! Это даже хорошо! Резкостей допускать не надо — это вот действительно... Но опять и то сказать: не всякий их понимает... идеи-то эти, а помочь между тем хочется. Сколько на свете маленьких людей есть, у которых просто, без идей, сердце болит — так неужто ж вся их роль в том только и состоять должна, чтоб сложа руки сидеть или фыркать?

Поликсена Ивановна умилилась. В ней, действительно, было это естественное предрасположение к сердечной боли, о которой она сейчас упомянула и которая в некоторых личностях является чертой настолько характеристичною, что составляет содержание всего их существования. Объяснять причины, обусловливающие эту боль, стараться отыскивать, сколько в ней есть сознательности или бессознательности,—было бы совершенно напрасно. Довольно и того, что она существует вполне ясно и несомненно и что, исходя из нее одной и ею одной сильный, человек, сознательно или бессознательно, находит в себе энергию практически отзываться на все жизненные явления, в незримой глубине которых лежит недуг или

немощь. Очень часто эта своеобразная сила достигает далеко не тех результатов, которые были в ее намерениях, а еще чаще растрачивается совсем задаром, но, во всяком случае, она — потому уже благо, что ввиду ее обыкновенное культурное фырканье представляется чем-то мизерным, почти непозволительным.

— А ведь, по-вашему, это почти что так выходит,— кончила Поликсена Ивановна, обращаясь к Глумову.

— Нет, не так.

— А то как же? Смеетесь вы над простотой, явное дело, смеетесь!

— Смех, это — форма, а в сущности, я вникнуть прошу. Хорошо и благородно — болеть сердцем, как вы болеете, да ведь и способность рассуждать не бог знает как провинилась, чтоб ее в ссылку ссылать. Не станете же вы, подобно вашему духовнику, отцу Арсению, утверждать: чувство — первее всего, а ум, яко слуга, и на запятках постоять может!

— Это вы насчет «идей», что ли? зачем их в ссылку ссылать — божьи ведь и они! Только не ко двору они у нас — это я верное слово вам говорю. Не бодрость они придают, а еще пуще в уныние вводят. Пример-то у меня на глазах: нет-нет да и заскучает мой Павел Ермолаич. Не́любо с идеями-то в департамент ходить, а приходится.

— Приходится — вот это так, это правильно вы сказали. Я и сам нынче этой веры стал, хоть все еще от старой привычки отделаться не могу. Не от практики старой, которой у нас не бывало, а от лучей-то этих, которые смолоду, еще со школьной скамьи, бог весть откуда заползли в голову. Хоть и не так уж слепят эти лучи, как в былые годы, а все-таки нет-нет да и приведут в изумление. Идешь иногда, даже ходко идешь, в то самое место, «куда приходится», и вдруг словно скосит тебя. По какому, мол, человече, случаю ты в путь-дорогу собрался? с чем собрался? Скажите, что я ответить на эти вопросы могу?

— Собрался — потому что сердечное влечение есть; с чем собрался? — с чем бог послал!

— Поэзия это, Поликсена Ивановна! А вы мне лучше вот что скажите: почему у нас всякое бедствие словно шабаш какой-то в российских сердцах производит? Вся мразь, все отпетое вдруг оживает и, пользуясь сим случаем, принимается старые счеты сводить. Об здравом смысле, о свободе суждения — нет и в помине. На всех языках — угроза, во всех взглядах — намерение горло перекусить. Вон давеча поручик Живновский встретился, так и тот, чего уж отпетее: «Писат-тель! кричит, либерра-ал!» Булгарин из гроба встал: на потомков, говорит,

полюбоваться пришел! Как вы полагаете: не позорно при этом «воскресении мертвых» присутствовать?

— Да не преувеличиваете ли вы?

— Не только не преувеличиваю, а говорю прямо: всякое бедствие застает наши лучшие силы врасплох и делается поводом для возбуждения каких-то непонятных старых счетов. И что всего ужаснее: люди вполне хорошие до того теряются при этом, что сами себя головой выдать готовы. Иной прямо говорит: виноваты! другой — подлейшим образом вторит в тон господам ташкентцам или хоронится. Вот вы, и ничего не видя (сидите вы в Разъезжей, за семью замками, и видеть-то ничего вам нельзя), сердцем болеете, а кабы вы настоящую-то вакханалию видели — так ли бы у вас оно заболело! Да-с, не вымерли еще господа ташкентцы и долго не вымрут! Если мне не верите — у Павла Ермолаича спросите: он подтвердит!

Поликсена Ивановна ничего не сказала на это. При ссылке на Павла Ермолаича она как-то съежилась и даже слегка побледнела. Вероятно, не в первый раз ей приходилось эти речи выслушивать: недаром же она упомянула, что нѐлюбо с «идеями» в департамент ходить. Как ни скромен Павел Ермолаич, а невозможно, чтоб он не проговорился.

— Вот вы давеча сказали: резкостей допускать не надо,— продолжал Глумов, не унимаясь,— а ведь в переводе на обыкновенный язык это значит: держи язык за зубами! За что же, помилуйте! За что я должен вечно смотреть на себя, как на...

— Ах, оставьте это... не говорите! — не выдержала, наконец, Поликсена Ивановна.

На этом разговор оборвался. Очень вероятно, нам пришлось бы безвременно покинуть мирный приют в Разъезжей улице, если бы в эту минуту не раздался звонок, возвещавший появление хозяина.

— Это — Павла Ермолаича звонок,— шепнула Поликсена Ивановна,— пожалуйста! прошу вас! не возобновляйте этого разговора при нем!

Вопреки обыкновению, Павел Ермолаич предстал перед нами ясный и лучезарный. Лицо его, выбритое до зеркальности, сияло удовольствием; глаза блестели; даже в ямочке, украшавшей его бороду, замечалась радостная игра.

— Сегодня у нас, по случаю приема, заседание кончилось раньше обыкновенного,— сказал он, целуя Поликсену Ивановну и затем подавая нам руки.

— Ну что, принял? — спросила Поликсена Ивановна, которая, видя сияние на лице мужа, тоже воссияла.

— Принял.

— Здоров?

— Совершенно.

— Расспрашивал?

— И расспрашивал.

— Ах, какой ты! ты сядь, расскажи, как и что... по порядку.

— Ну, вот, собрались мы, ждем... Та̀к я стою, та̀к Петр Иваныч, а та̀к Николай Павлыч...— начал Павел Ермолаич свое повествование, но начало это, видимо, не удовлетворило Поликсену Ивановну.

— Ты все шутишь,— сказала она,— а ведь мне интересно! Впрочем, я уж и тем довольна, что ты-то весел!

— Чего «шутишь»! Знаю я, что тебе хочется! хочется, чтоб я сказал, что генерал меня поцеловал — так не могу солгать: не поцеловал! Вот Николай Павлович — тот, после общего представления, особенно в кабинет ходил и весь оттуда в слезах вышел: поцеловал, говорит! А курьер сказывает: нахлобучку задал!

Через полчаса мы сидели за обедом. Поликсена Ивановна, окруженная всех возрастов малолетками,— на одном конце, мы по обе стороны хозяина — на другом. Павел Ермолаич сначала новости из служебной сферы рассказывал; но так как и они в настоящую минуту вертелись по преимуществу около славянского движения, то весьма естественно, что последнее не замедлило сделаться главной темой разговора.

— И у нас что-то затевается,— сказал Положилов.

— А что?

— Есть что-то. Сегодня на приеме его превосходительство... не то чтоб прямо, а стороной... Сначала об делах говорил, а в заключение и дал понять, что русское воинство всегда было победоносно, а потому и впредь ожидать следует...

— И мне тоже сдается,— отозвался Глумов,— вчера ко мне совсем неожиданно с «нашей стороны» Иван Парамоныч пожаловал — купец такой есть, сапожным товаром торгует — наведаться, значит, в Петербург приехал. А это — верный признак, потому что у этих шакалов насчет «кровопролитиев» особенное чутье есть. Разузнавать я от него ничего не разузнавал, а стороной, грешный человек, поддразнил: а что, говорю, Иван Парамоныч, кабы тебе поставку сапогов для армии и флотов предоставили, угобзил бы ты, чай, солдатиков? Так у него даже нутро заколыхалось в ответ: вот как перед истинным! говорит.

— Да, теперь ихний черед наступил! только вот что неладно: покуда эти Парамонычи, вкупе с Шмулями да с Лейбами, армии и флоты угобжают, а ты сиди да смотри на них!

— Что так? разве строгие времена пришли?

— Да не без того... Не всяко касаться можно, особливо ежели в связи-с...

Положилов случайно взглянул на Поликсену Ивановну и прочитал в ее глазах неодобрение.

— А впрочем, не наше это дело,— сказал он.— Поликсена Ивановна это лучше знает — вон как грозно на меня посмотрела.

— Совсем не грозно, говори, коли хочешь! А вообще я... Сверху виднее, мой друг! а мы — что мы можем в таких делах видеть?

— Разумеется, разумеется! с нас и наших личных маленьких дел довольно! Вот, например, солонину мы едим — это я могу... Ишь она, солонина какая — масло!

— Да, брат, это... со-лло-ни-на! — восторженно отозвался Глумов.— А он вот обижается, что за границей, за табльдотами, немцы болтают: вас, мол, казаков, за Волгу надо, в Саратов! А по мне — так и в Саратове солонина от нас не уйдет!

— А насчет икры так даже лучше!

— Ах, господа, господа! — укоризненно промолвила Поликсена Ивановна, покачивая головой.

— Ну, баста! Не наше дело. А для того чтоб уж совсем все в порядке было, чтоб даже разговаривать некогда было — знаете, господа, что мы сделаем? Засядемте-ка после обеда в сибирку с болваном!

— И отлично!

— Я нынче все в сибирку упражняюсь. Ни для ума, ни для сердца — ничего! А между тем алчность является — смотришь, время-то и без внутренних вопросов летит!

Так мы и сделали. С шести часов до одиннадцати проиграли в сибирку, причем Положилов обоих нас обыграл на три рубля (и не удивительно, потому что подле него, для счастья, с левой стороны сидела Поликсена Ивановна) и сейчас же положил их в копилку, в «пользу страждущих братьев». Затем подали закусить опять ту же солонину, но уже холодную, причем Положилов совершенно основательно заметил, что этот кусок — от огузка, а потому в холодном виде много теряет, а вот край или филей, так тот в холодном виде, пожалуй, даже лучше, нежели в горячем. Поликсена же Ивановна, с своей стороны, присовокупила, что, когда она с маменькой в Вятке жила (отец ее на службе там был), так там учили в кадочку солонины языков говяжьих с пяток припустить — вот это так солонина бывает!

В первом часу ночи мы вышли от Положиловых. Дорогой я начал припоминать проведенный день, и — клянусь — мне сделалось стыдно.

— Как странно, однако ж, мы проводим наши дни! — сказал я, обращаясь к Глумову.

— Что же тут странного?

— Помилуй! утро в кабаке провели, вечер — в сибирку играли, об солонине разговаривали... ведь это, наконец, неприлично!

— А по-моему, так мы именно самым приличным образом по-русски время провели. Наелись, напились, наигрались — чего больше! А теперь вот придем домой, ляжем спать и скажем себе: день прошел — и слава богу!

II. НА ДОСУГЕ

I

Наконец тучи скопились. В обычное течение жизни врывается несомненно чуждый элемент, который заметным образом спутывает и замедляет его; вся деятельность ума и чувства стягивается исключительно к одному предмету, к которому с судорожным напряжением устремлены помыслы всех. Тоскливо до боли. Чувствуется, что эти тревожные минуты не пройдут даром, что они и на дальнейшее существование человека положат неизгладимые отметки. Нет личных утрат, нет личных опасений, ничего такого, что заставляло бы страшиться лично за себя, но есть суеверное предчувствие какой-то громадной угрозы, которую даже не можешь назвать по имени. Точно стоишь перед необъятной ставкой, и эта ставка вот-вот унесет все дорогое, все любезное сердцу — все.

И в то же время слышишь, как кругом раздаются возгласы, ликования. Ликуют посетители ресторанов и трактиров, ликуют гранители мостовых, ликуют досужие русские барыни. Газетчики, наперерыв друг перед другом, стараются показать, до каких геркулесовых столбов может дойти всероссийское долгоязычие. Одни ликуют с умыслом, другие сами не понимая, что заставляет их ликовать. Так принято — вот и все. Гулящий человек убежден, что он выкажет отсутствие патриотизма, ежели не воспользуется случаем, чтоб дать волю долгоязычию.

Я не принадлежу к породе людей ликующих, но понимаю, что в ликовании толпы заключается своего рода обаяние. Когда передо мною мечется и плещет руками толпа, я знаю, что она находится под тяготением могущественного инстинкта,

который даст ей силу нечто совершить. Очень возможно, что это — инстинкт неясный и даже неверный, но он может заключать в себе зерно самоотверженности, может развиться в подвиг, и этого одного достаточно, чтоб не относиться к нему легко. Толпа имеет право даже заблуждаться в своих увлечениях, потому что она же несет на своих плечах и все последствия этих увлечений.

Совсем другое дело — ликование культурное. В культурных сферах источником побуждающей силы предполагаются уже не инстинкты, не смутные чаяния, а ясное сознание цели и средств к ее достижению. Это в значительной степени осложняет поводы для ликования и, во всяком случае, отнимает у последнего тот характер искренности и непосредственности, который в сущности и составляет всю ценность его. Сверх того, есть и еще причина для воздержания: культурный слой стоит в стороне от русла народной жизни и, следовательно, лишь в слабой степени чувствует на себе отражение ее трудностей и невзгод. Чтоб получить право ликовать в виду предстоящего подвига, необходимо сознавать себя материально привлеченным к его выполнению и материально же обязанным нести на себе все его последствия. А это для большинства культурных людей почти недоступно.

Поэтому, когда посетители ресторанов, гранители мостовых, газетчики и проч. начинают ликовать, то невольно возникает вопрос: справедливо ли поступают эти люди, принимая деятельное участие в легчайшей части подвига, то есть в ликовании по его поводу, и не сознавая себя в то же время материально ответственными за его последствия? Не знаю, ошибаюсь ли я, но думаю, что самого слабого проблеска совести достаточно, чтоб ответить на этот вопрос отрицательно.

Что касается до меня лично, то я знаю одно: я не имею той непосредственности и свежести чувства, которое давало бы мне повод возбуждаться неясными чаяниями, волнующими толпу, но в то же время нет у меня и той развязности, которая дозволяла бы сказать: да, я ликую, потому что заранее могу определить ход и результат событий. Поэтому, в такие исторические минуты, когда затрагиваются самые дорогие и самые существенные струны народной жизни, я считаю воздержанность более нежели когда-либо для себя обязательною. Более нежели когда-либо я сознаю в себе присутствие той совестливости, которая подсказывает, что в данном случае мои подстрекательства или сдерживания не только не необходимы, но и не совсем уместны, и что вот эта самая ликующая толпа имеет полное право остановить мою назойливость словами:

сиди в своем углу и втихомолку радуйся или скорби в виду имеющих развиваться событий.

Я не один в своем роде. Прошлое завещало довольно большое количество людей, которых единственное занятие (а быть может, и единственная заслуга) заключается в том, что они сторонятся от деятельного участия в жизни. Занятие непроизводительное и даже, можно сказать, тунеядное, но ведь надо же наконец понять, что мы — дети того времени, когда прикасаться к жизни можно было лишь при посредстве самых непривлекательных, почти отвратительных ее сторон, и что вследствие этого устранение от жизненных торжеств (опять-таки повторяю: *в то время)* составляло своего рода заслугу...

Я помню очень многое, и между прочим 1853—1855 годы. Помню ликующих жуликов, помню людей, одолеваемых простым долгоязычием, и людей, пользовавшихся долгоязычием, как подходящим средством, чтоб запускать руку в карман ближнего или казны. Мало того: я помню, что этих людей называли тогда благонамеренными, несмотря на то что их лганье было шито белыми нитками. И что всего ужаснее: не только не представлялось возможности обличить их, но даже устраниться, уйти от них было нельзя. Надо было выслушивать их, соглашаться, вторить им, лгать...

С тех пор, правда, многое изменилось, и изменилось, конечно, к лучшему. Признание относительной свободы мнений настолько умалило страх, внушаемый подыскивающимся долгоязычием, что человек, высказывающий, в учтивой и богобоязненной форме, свое суждение о тех или других явлениях современности, уже может, до известной степени, считать себя от следствия и суда свободным. Вследствие этого у многих даже блеснула мысль, будто Булгарин, Шешковский и проч. исчезли, не оставив потомства... И вот одного серьезного момента достаточно, чтоб ветхий культурный человек всплыл на поверхность во всеоружии. Да! он все тот же! с одной стороны — долгоязычный, наянливо примазывающийся к чужому ликованию, с другой — робкий и устраняющийся. Я знаю, что оба эти отношения к вещам современности одинаково неестественны, но так как первое из них, сверх того, отмечено явною печатью нахальства, то понятно, что люди, успевшие сохранить некоторую стыдливость — а я имею слабость считать себя в числе этих людей,— предпочитают держать себя в стороне.

Независимо от этого, есть у меня и еще один очень веский довод в пользу воздержания: я с детских лет воспитывался в системе строжайшего нейтралитета и вдобавок совершенно невооруженного. Весь кодекс деятельной поры моей жизни

исчерпывался словами: ни порицания, ни похвалы, так как в то время и то и другое одинаково рассматривалось, как позыв к непрошеному вмешательству. Жить с таким кодексом в руках было чрезвычайно легко и, коли хотите, даже приятно, но все-таки нельзя сказать, чтоб такое житье представлялось хорошей школой для общественной или иной деятельности. Между тем годы шли; жизнь мало-помалу изменялась и пополнялась, и, наконец, двери в область ликования отворились настежь... Но увы! — я уже оробел! Ярмо старой дисциплины настолько придавило меня, что хоть я и понимаю, что отныне ликовать никому не воспрещается, но все-таки не могу отделаться от преследующей меня мысли: а что, если мое ликование вдруг возымеет вид вмешательства?

Да и действительно ведь это — вмешательство. Даже беспутное газетное ликование — и то имеет побудительный характер.

Каждое утро, покуда я сижу за чаем, в ушах моих раздается один и тот же неизменный вопль: а нуте, голубчики! еще немножко, и Константинополь — наш! На что похоже! Во-первых, быть может, это не в намерениях мудрой политики, а во-вторых, ежели вам непременно нужно, чтоб Константинополь был наш — идите и берите его! Что же касается до меня, то я решительно никого понуждать не берусь! Помилуйте! я пью чай и кофе, не торопясь обедаю, завтракаю, сплю на мягкой постели, занимаюсь своими будничными делами, пишу статейки по стольку-то копеек за строчку, словом, живу себе помаленьку, как всегда жил,— к лицу ли, при таком-то житье, понуждать людей, которые и без того глядят в лицо смерти! Нет, лучше я вспомню старую дисциплину и останусь в своем углу. С меня достаточно и того, что я верю в силу и жизненность русского народа и верю в испытанную самоотверженность русского солдата. Зачем я буду кричать: молодцы! не выдавай! — когда и без моих подстрекательств все исполнено сознания своего долга? Какое значение может иметь моя безответственная, хотя бы и восторженная болтовня, в виду трудностей предстоящего подвига! Подумайте: ведь это наконец — назойливость, которая не только претит нравственно, но и материально мешает, разбивая на мелочи силу в тот самый момент, когда она требует наибольшей сосредоточенности. Ведь это назойливость, о которой каждый из этих людей, так серьезно и просто смотрящих в лицо подвигу, имеет полное и законное основание отмахнуться, как от чего-то не только бесполезного, но и совсем несносного...

Вот причины, по которым я держусь в стороне и удерживаюсь от всяких неуместных заявлений. Смутная тревога до

того овладела моим существом, что ни мысль, ни чувство не могут отыскать для себя вполне ясного выражения. Кажется, будто завеса упала, и вся природа наполнилась стоном и хаосом. Я боюсь радоваться успеху, потому что в самом успехе представляется столько выстраданного и притом неверного, невыясненного, что в невольном страхе закрываешь глаза, чтоб отогнать от себя выдвигающуюся на заднем плане картину, которую торжествующая смерть сверху донизу наполнила бесконечною свитою жертв. Я боюсь отчаиваться и роптать, потому что самый неуспех сопровождается здесь таким очевидным искуплением, перед которым должны умолкнуть и праздный ропот, и бесплодное отчаяние.

Все праздно, все бесплодно! Одна бесконечная сердечная боль заявляет себя настолько живуче, что лишь благодаря ей чувствуешь себя живым свидетелем чего-то не имеющего определенных очертаний, но полного загадочных угроз...

Прошло лето, проведенное мною на благословенных берегах Карповки, среди дождей, ветров и других буйств природы. В конце августа я не вытерпел и перекочевал в город. Как человек совершенно досужий, то есть не обязанный службой, я, разумеется, бросился разузнавать, кто из знакомых воротился на зимние квартиры, и с удовольствием удостоверился, что Положиловы уже в Петербурге.

По воскресеньям я, предпочтительно перед другими днями, посещаю Положиловых. Во-первых, в этой гостеприимной семье еще не утратилась старинная традиция обязательности воскресного пирога, а во-вторых, у Павла Ермолаича почти наверно встретишь на этот день «гостя», который не откажется после обеда засесть за табельку или в сибирку. Таким образом, день проходит сытно, занятно и непредосудительно, что для людей, устраняющих себя от политических и стратегических соображений, очень удобно.

На этот раз я как-то особенно ходко шел по направлению к Разъезжей. Утром я наглотался в газетах столько пыли, что в горле першило. Иронизировали насчет англичанина и без церемоний называли его торгашом; пускались в тонкие соображения по вопросу о проливах и обращались к начальству с просьбой обратить на этот предмет серьезное внимание; полемизировали со своими литературными и политическими противниками и укоряли друг друга в неимении надлежащей теплоты чувств; взывали к пожертвованиям и тут же кстати обличали такую-то думу или такое-то земство в своекорыстии,

отсутствии патриотизма, узости взглядов и т. д. Одним словом, из каждого листка выглядывала зияющая пасть, которая кого-то неведомо в чем обличала и в то же время вопрошала читателя: а ну-тко, сказывай — во сколько рублей ты оцениваешь свой патриотизм?

Было пять часов, когда я вошел в гостиную Положиловых. Обыкновенно я никогда не задерживался в этой комнате, да и сами хозяева, по-видимому, не особенно жаловали ее. Расположена и меблирована она была по-старинному: неудобно, парадно-симметрично, то есть именно так, как следует для «дорогих гостей», которых нелишнее через четверть часа спровадить. У стены, против входа, стоял вальяжный красного дерева диван, обитый синим штофом, с вырезными ручками в виде французских эссов и с прямой спинкой, верх которой был увенчан наклейной резьбой; против дивана находился осьмиугольный стол с поставленным на нем карселем, который издавал дребезжащий звук всякий раз, как около стола происходило движение; по обе стороны стола, от дивана по направлению к входной двери, тянулось два ряда кресел (тоже с ручками в форме эссов), по три в каждом, один против другого, так что когда в них сидели гости, то они обязывались смотреть своему визави в лицо и косить глазами, когда нужно было обратиться к сидящим на диване. Остальная мебель, в виде стульев с деревянными спинками, тоже увенчанными резьбой, расставлена была ранжиром по стенам и около окон. Вообще в этой гостиной как-то не сиделось и не говорилось, а иногда даже казалось, что она не топлена, хотя Положиловы, как люди старозаветные, любили жить тепло. И я приметил, что когда прислуга возвещала, что приехал такой-то, а Павел Ермолаич приказывал «просить в гостиную», то это наверное означало, что пожаловал гость, которому предстояло устроить времяпровождение по возможности неудобное и скоропреходящее.

На этот раз, однако, мне пришлось расположиться именно в гостиной, потому что у Положиловых были «гости». На диване сидела, впрочем, не Поликсена Ивановна, как обыкновенно бывало в таких парадных случаях, а какая-то посторонняя гостья, по-видимому, очень уж важная, потому что хозяйка примостилась около нее на ближайшем боковом кресле, а визави с Поликсеной Ивановной, из-за лампы, выглядывал Павел Ермолаич. Кроме этих лиц, в гостиной было еще двое. Рядом с Поликсеной Ивановной ютился Simon Рогаткин, подчиненный Положилова, весьма прилично одетый и очень почтительный молодой человек, на лице которого было написано, что он несомненно оправдает доверие начальства. Несколько

наискосок, через кресло от хозяина, держась обеими руками за ручки кресла, помещался Терентий Галактионыч Дрыгалов, земляк Павла Ермолаича, к — ский купец, который, очевидно, только на днях прибыл в столицу из «своего места», потому что дорожный загар не успел еще слететь с его лица.

При входе моем Положилов поспешил ко мне навстречу и и шепнул на ухо:

— Генеральша... сама!

Затем последовало представление. Генеральша приятно изумилась, узнав, что я — литератор (очевидно, ей именно меня, то есть литератора, и недоставало в эту минуту), и очень благосклонно произнесла:

— А от вас, господа литераторы, мы ждем очень, очень большой услуги: вам предстоит поддерживать в обществе тот святой пламень, который в настоящее время согревает все сердца! N'est-ce pas, chère [1] Поликсена Ивановна?

Поликсена Ивановна помяла в ответ губами; я же поспешил ответить глубоким поклоном в знак совершенной готовности выполнить приказание ее превосходительства, вполне, впрочем, согласное и с настроением моих собственных чувств.

Вообще «дорогая гостья» держала себя благосклонно, хотя и с достоинством. Это была дамочка лет двадцати пяти, с весьма красивой головкой, хорошенькой грудкой и прелестными ручками. Темно-лиловое шелковое платье сидело на ней обворожительно, а на голову было кинуто какое-то je ne sais quoi [2], до такой степени легкое и изящное, что можно было только изумиться совместимости этого легкого и изящного с вопросом о проливах и гирлах. Тем не менее вопрос этот, очевидно, ее озабочивал, потому что прелестные глазки ее смотрели устало, а розы на щечках сменились лилиями. Говорила она мягко и плавно, причем в одно и то же время выказывала и рассудительность, почерпнутую из «Leçons de morale et de littérature» [3], и резвость, почерпнутую из вчерашней causerie [4] с изящными молодыми людьми. Она с откровенностью, достойной лучшей участи, развивала перед нами свои планы, знакомила нас с ходом и с сущностью своих занятий, а иногда даже спрашивала нашего мнения, но так, что всякий чувствовал, что все уже у нее заранее решено и что нам ничего другого не остается, как с удовольствием согласиться. Сперва расскажет, как все это «у нас» устроено, а потом обратится с вопросом: не правда ли, хорошо?

---

[1] Не правда ли, милая.
[2] нечто.
[3] «Уроков морали и литературы».
[4] болтовня.

— Теперь,— говорила она, возобновляя начатый разговор,— нам необходимо содействие всех патриотов, потому что — вы понимаете? — без этого что же мы можем? О должностных лицах (взгляд в сторону Павла Ермолаича, у которого лицо моментально покрывается глянцем удовольствия) я уже не говорю — это само собой! но и другие все... Молодые люди (взгляд в сторону Рогаткина) могут исполнять поручения, устраивать спектакли, собирать пожертвования; господа литераторы (взгляд в мою сторону) — поддерживать святой огонь патриотизма; messieurs les négociants[1] (взгляд почти умильный на Дрыгалова) — уделять от избытков... Mais n'est-ce pas, chère[2] Поликсена Ивановна?

— Уж это само собой! при таких обстоятельствах, ежели даже жизнь потребуется, то и ею стыдно дорожить! — ответила Поликсена Ивановна.

— Для нас, ваше превосходительство, нужно только, чтоб вы почин взяли, а затем только свистнуть извольте — у нас *ящичек* всегда налицо! Ключиком отпереть — и вся хитрость тут! — сочувственно отозвался и купец Дрыгалов.

Хотя выражение «свистнуть», в применении к ее превосходительству, было несколько рискованно (Павел Ермолаич даже повернул лицо к Дрыгалову с немым укором: экой ты, братец, какой), тем не менее генеральша сумела скрыть свое изумление под благосклонной улыбкой.

— Ну да, мы и не сомневаемся, что почтенное наше купечество...— сказала она солидно,— Минины, Погребовы, Королевы — ces noms appartiennent à l'histoire[3]. Et Овсянников dons[4]. Но и мы, женщины, с своей стороны, должны... Я, например, до сих пор ботинки у Auclaire заказывала, а теперь, вы понимаете, уж нельзя! Пришлось обратиться к Дорохову... Только от милой Andrieux отказаться никак не могу, потому что все эти Розановы, Маришины, Соловьевы... Так вот и выходит... о чем, однако ж, я говорить начала?.. ах да! Так я говорю: мужчины пускай воюют, распоряжаются, ведут переговоры, а мы должны поддерживать в них этот дух, и в то же время содействовать... Именно содействовать — c'est le mot![5] Есть множество подробностей — n'est-ce pas? — в которых мужчины теряются и в которых женщина является доброю и заботливою хозяйкою... La charpie, les onguents, les draps de

---

[1] господа негоцианты.
[2] Ну, не правда ли, милая.
[3] эти имена принадлежат истории.
[4] И, наконец, Овсянников.
[5] вот настоящее слово!

lit...[1] тысячи маленьких вещей, которые могут понадобиться и которых мужчины не могут предусмотреть! Не правда ли, вы разделяете мое мнение, добрейшая Поликсена Ивановна?

Поликсена Ивановна рассудительно покачала головой, как бы говоря: чего ж еще лучше!

— Вы только представьте себе, как будет приятно храброму воину, после жаркого дела, отдохнуть на чистой постели, покрытой свежим бельем! Конечно, мы не можем обещать, что у всякого будет свой эдредон[2], mais enfin... à la guerre comme à la guerre![3] ведь и в мирное время ça laisse à desirer — n'est-ce pas?[4]

Поликсена Ивановна продолжала сочувственно покачивать головой, как бы избавляя себя этим от необходимости соглашаться или возражать; но купец Дрыгалов даже глаза закатил, покуда генеральша рассказывала об удовольствиях, предстоящих храброму воину, успокоившемуся после жаркого дела в чистой постели.

— Вот, по-моему, где истинное назначение женщины в настоящее трудное время! — заключила генеральша, вздохнув тем детским всхлипывающим вздохом, каким вздыхает человек, чувствующий, что у него гора с плеч сползла.

Все даже руками развели, как бы удивляясь, как это им никому в голову не пришла такая простая мысль. Но Положилов на этот раз счел долгом предложить поправку к мнению ее превосходительства.

— А мне так кажется, что ваше превосходительство слишком уж умаляете роль женщины в сфере общественной деятельности,— спридворничал он (при этом у него даже ямочка на бороде радостно заиграла),— по-моему, главное назначение женщины состоит не в одних мелочах,— впрочем, бесспорно полезных и необходимых,— о которых вы сейчас изволили упомянуть, а в том, и даже преимущественно в том, чтоб служить одухотворяющим началом общественной деятельности и в то же время соединяющим звеном. И ваше превосходительство собственным примером изволите несомненно доказывать...

— Ну да, это само собой... Конечно, я стараюсь... Устроить какой-нибудь комитет, собрать, соединить... enfin organiser quelque-chose...[5] Вот мы хотим на днях базар устроить... Это —

---

[1] Корпия, мази, простыни...
[2] пуховая перина.
[3] но, наконец... на войне, как на войне!
[4] это мечта — не правда ли?
[5] наконец организовать что-нибудь...

так! Я в четырех комитетах участвую, в одном даже председательницей — и, право, нахожу, что это совсем не так тяжело! Le gros du travail appartient certainement aux messieurs[1], а мы... наше дело — дать идею, организовать... и, разумеется, содействовать! А знаете ли вы, Поликсена Ивановна, что ваш муж очень, очень помогает нам в наших заботах?

— И это тем приятнее слышать, что Павел Ермолаич, действительно, не только с готовностью, но и с радостью исполняет приказания вашего превосходительства! — поспешила ответить Поликсена Ивановна, желая закрепить за своим мужем репутацию усердного исполнителя предначертаний.

— Да, он даже балует нас. Ваш муж — это именно, как говорится,— un coeur d'or[2]. И надобно удивляться, как он находит время для всего этого. Мы с мужем — а вы знаете, как Грегуар взыскателен относительно своих подчиненных! — иначе не называем его, как l'homme au coeur d'or![3] Об службе уж нечего и говорить. Грегуар прямо выражается: это — моя правая рука. Но, кроме службы, сколько комитетов, комиссий, советов — право, даже голова кружится! Я всего в четырех комитетах участвую, и то иногда... je n'en peux plus[4]. А он... в скольких комитетах вы участвуете, Павел Ермолаич?

— В семи-с,— ответил Положилов скромно, но, очевидно, уже под влиянием яда лести,— в трех состою делопроизводителем, в четырех — просто членом...

— Ну, да, «просто членом»... nous en savons quelque-chose![5] То есть, на вас же лежит все главное! Нет, вы представьте себе, Поликсена Ивановна! вот хоть бы в том комитете, где я служу председательницей: что бы я ни спросила у Павла Ермолаича... ну, там статистику, цифру какую-нибудь... les onguents, la charpie...[6] всегда, всегда сейчас же готов ответ! Просто невероятно. Сколько раз мы убеждали его: Павел Ермолаич, возьмите себе помощника! Потому что это наконец невозможно! — не правда ли, ведь это положительно невозможно? — и слышать не хочет! Я даже себя предлагала — ведь я, вы знаете, в Смольном с шифром вышла — и мне отказал! Такой нелюбезный!

— Это не нелюбезность,— поспешила Поликсена Ивановна оправдать своего мужа,— а, вероятно, он бережет здоровье ва-

---

[1] Тяжесть работы ложится, конечно, на мужчин.
[2] золотое сердце.
[3] человек с золотым сердцем!
[4] я больше не могу.
[5] мы кое-что знаем об этом!
[6] мази, корпия...

шего превосходительства, не желает, чтобы вы утруждали себя из-за него!

— Au reste[1], это немножко правда! все эти бумаги, счеты — я ничего в них не понимаю. Еще маленькие счеты — это я могу; но у них, представьте, счеты в четыре столбца! А он — у него все это сейчас как на ладони! И даже деньги — да! я сама ревизовала... внезапно, вдруг! Сговорились мы с Петром Иванычем и Анной Константиновной — и нагрянули! и представьте,— все, все как есть, все налицо! la charpie, les onguents — все до последнего золотника! И даже деньги все налицо — а вы знаете, как это трудно! И все нам сейчас показал!

— Но ведь это — его долг, ваше превосходительство! — сентенциозно проговорила Поликсена Ивановна,— этим даже хвалиться нельзя!

— Вы говорите: долг? ах, chère[2] Поликсена Ивановна! Но разве многие из нас серьезно относятся к своему долгу? Вы знаете Грегуара — уже если есть человек à cheval sur son devoir[3], так это именно он! — ну-с, так даже он на днях мне сказал: долг, мой друг, есть тот прекрасный на вид плод, который пользуется в начальственных сферах очень солидною репутациею, но вкушение от которого предоставляется, по преимуществу, нижним чинам, да и те вкушают оный лишь под страхом отрешения от должности! Вот что такое наш долг!

Безнадежность этого своеобразного толкования на минуту огорчила присутствующих; но все опять встрепенулись (а купец Дрыгалов даже лукаво подмигнул по направлению к ее превосходительству), когда Положилов возразил:

— Но ваше превосходительство своим примером, собственною, так сказать, особою доказываете...

— Что я! Это уж моя роль такая, мое назначение! Я *не могу* не исполнить моего долга — et me voila lancée![4] Но даже и я иногда тягощусь! Очень, очень! Я знаю, что это нехорошо, что в настоящее время это — наша святая обязанность, mais que voulez-vous?[5] иногда это невольно! И опять-таки повторяю, если бы у меня не было такой прелестной помощницы, как Анна Константиновна, и такого казначея, как Павел Ермолаич,— я не знаю... Право, мне кажется, я бы взбунтовалась! Представьте себе: в четыре столбца! Иногда мне и хотелось бы понять, и я стараюсь... Но вы знаете наше воспитание... Нас воспитывали, чтоб из нас вышли des bonnes épouses, d'excel-

---

[1] В конце концов.
[2] милая.
[3] долга.
[4] вот я и взялась за дело!
[5] но что вы хотите?

lantes mères de famille [1], чтоб мы умели себя держать прилично в обществе, могли занять гостей, поддержать разговор! но счеты, бухгалтерия... кто же мог предвидеть, что это когда-нибудь понадобится?..

— Не извольте огорчаться! Бог даст, ваше превосходительство со временем и эту науку произойдете... А покудова потрудитесь только приказать — для вас Павел Ермолаич всякие счеты сведут! — счел долгом утешить разогорченную генеральшу купец Дрыгалов.

При этих словах глазки генеральши выразили почти беспокойство; очевидно, в ее уме блеснула мысль: а что, если этот негоциант встанет и, в знак своего расположения, погладит ее по головке? Павел Ермолаич тоже сконфузился и вопросительно глядел на Дрыгалова, словно выжидая, не скажет ли он чего-нибудь еще? Даже Simon Рогаткин — и тот застыдился. Натурально, Поликсена Ивановна поспешила прекратить общее недоумение.

— Как это, однако, приятно видеть, что ваше превосходительство, молодые такие, а об одном только и беспокоитесь, как бы ближнему на помощь прийти да на общеполезное дело потрудиться! Вот хоть бы теперь: весело даже посмотреть, какая вы заботливая, деятельная...

— А главное, дельная! — присовокупил, с своей стороны, Павел Ермолаич,— хлопотать можно всячески; но дельно хлопотать, так, чтоб через эти хлопоты достигалась благая цель,— это доступно не всякому!

Одним словом, благодаря находчивости хозяев, дело приняло такой оборот, что «дорогая гостья» не только оправилась от беспокойства, но даже грудка ее слегка заволновалась от похвал.

— Ах, нет... ну, да, то есть, коли хотите, я, конечно... вот только счеты эти... И еще, сознаюсь вам по секрету: вопрос о проливах... никак не могу я ориентироваться в нем... То есть, вот видите, мне-то кажется, что они должны принадлежать *нам*... Не правда ли, ведь это так? Они должны принадлежать — нам? да?

— Но какое же может быть в этом сомнение, ваше превосходительство! — даже изумился в ответ Положилов.

— Ну, вот видите! И Анна Константиновна, и Ольга Павловна, et tous les messieurs de notre comité [2] — все так говорят; а вот Грегуар... Представьте себе, на днях он мне прямо сказал: желания ваши насчет проливов, как патриот, я, конечно,

---

[1] хорошие жены, прекрасные матери семейства.
[2] и все мужчины нашего комитета.

вполне одобряю, но опасаюсь одного: едва ли вопрос сей получит то решение, которое вполне удовлетворит Анну Константиновну!

— Но, может быть, это не насчет проливов, а насчет гирл его превосходительство изволил так выразиться? — робко попробовал Положилов устроить лазейку.

— Нет, именно насчет проливов! Гирла,— сказал он,— это само по себе. *Но... и проливы!..*

Ввиду столь ясно выраженного мнения высшего начальства, и Павел Ермолаич и Поликсена Ивановна, очевидно, затруднились, какой бы придумать компромисс, который бы обе стороны обелил. Павел Ермолаич даже уж начал: «Конечно, ваше превосходительство, с одной стороны...» Но Дрыгалов дал делу совершенно неожиданный оборот, воскликнув:

— Бог милостив, ваше превосходительство! может, и в нашу пользу решат! А нет, так ведь мы и подождать можем!

Этот исход всех примирил. Поликсена Ивановна сочувственно подмигнула, Павел Ермолаич почесал у себя за ухом, Simon Рогаткин сложил губы сердечком, а генеральша даже вздохнула, словно бремя свалилось у нее с души.

— Да, но все-таки...— сказала она весело,— впрочем, только это одно и затрудняет нас... А во всем остальном... право, вовсе *это* не так трудно, как казалось, когда мы приступали к делу. Знаете ли что? Я замечаю, что это даже для здоровья моего хорошо... Прежде, покуда меня *это* не занимало, я чувствовала, что начинаю толстеть. И лень какая-то явилась: в два, три магазина съездишь — и домой! А теперь, при этом постоянном движении, я такая проворная сделалась, что могу десять — пятнадцать визитов в утро сделать — и ничего. А вечером опять!

Все сочувственно покачали головой, как бы дивясь божьему произволению, укрепляющему скудельный сосуд сей.

— А все-таки до Павла Ермолаича мне далеко,— продолжала генеральша,— Павел Ермолаич, это — такой человек! такой человек! это именно, как говорит Грегуар,— un coeur d'or! [1] Представьте себе: les onguents, la charpie, les draps de lit... [2] все, все у него на руках! И... деньги! Ах, это очень, очень трудно!

— Ваше превосходительство слишком уж милостивы к нему!

— Нет, как хотите! Я когда была в Смольном, то и тогда уже кастелянше удивлялась, как это она целый день все счи-

---

[1] золотое сердце!

[2] мази, корпия, простыни...

тает и не потеряется, а теперь... это даже поразительно! И отчего вы не возьмете себе помощника, Павел Ермолаич? ведь вы устали? ведь да? Посмотрите на него, Поликсена Ивановна! ведь он устал... да?

Павел Ермолаич только кланялся в знак признательности; но видно было, что ему уж начинает подступать к горлу.

— Устал и не хочет, чтоб ему помогли! — продолжала упорствовать «дорогая гостья»,— я этого, как хотите, не понимаю! По-моему, это — уж упрямство! Знаете ли, ведь и Грегуар в вас это заметил! Не далее как вчера была об вас речь, и он сказал: Положилов — золотой человек, но в нем есть один недостаток: упрямство! Не правда ли, он упрям, Поликсена Ивановна?

Отзыв Грегуара, как непосредственного начальника, несколько огорчил Поликсену Ивановну, но, делать нечего, она все-таки постаралась улыбнуться в ответ.

— Да, есть-таки грешок! — сказала она.

— И как еще есть! Скажите, Павел Ермолаич, вы всегда были упрямы? Мсье! вы его товарищ — скажите, он всегда был упрям? — обратилась генеральша ко мне и, не выждав ответа, продолжала: — Устал — и не хочет, чтоб ему помогли! Отчего вы не хотите нам удовольствие сделать... отчего? Мы вас просим: возьмите помощника! — скажите, отчего вы не хотите исполнить нашу просьбу?

Наконец к Павлу Ермолаичу подступило.

— Коли угодно, вот Семен Николаич охотится,— сказал он, указывая на Рогаткина.

— Вот и прекрасно! и незачем это дело откладывать! Так вы, мсье... мсье... мсье...

Генеральша затруднилась; Simon поспешил подсказать:

— Рогаткин-с.

— Так вы, мсье... ah, pardon![1] Так вот что, мсье... Вы завтра утром, около часу, пожалуйте ко мне, и я посвящу вас во все наши дела... я вам все расскажу... tout... tout! Les onguents, la charpie...[2] все, все! Вы, кажется, тоже у Грегуара служите в ведомстве?

Simon слегка отделился от кресла, но был так еще неопытен в сношениях с дамами высшего полета, что недоумевал — следует ли ему встать или продолжать сидеть.

— Он у меня, в нашем же ведомстве,— выручил его Павел Ермолаич.

---

[1] ах, простите!

[2] все... все! Мази, корпия...

— И отлично. Значит, мы будем en famille[1]. Ну, а вы, мсье? — вдруг обратилась она ко мне,— как товарищ мсье Положилова, вы, может быть, тоже пожелали бы...

Это было так неожиданно, что я с первого раза не понял и осмотрелся по сторонам, ища, не вошел ли еще кто-нибудь, к кому бы мог быть обращен вопрос ее превосходительства. К счастью, Положилов поспешил ко мне на помощь.

— Нет, уж его вы, ваше превосходительство, не тревожьте! — сказал он,— он — человек больной... да притом же, как вы сами изволили выразиться, и пламень этот должен поддерживать.

— Да, да, это тоже необходимо... ведь я и забыла, что вы литератор! ведь вы — литератор... да? Как же! как же! Грегуар еще на днях об вас говорил: этот литератор...

Но тут она вдруг как бы вспомнила что-то и не договорила... Даже лилии сменились на ее щеках розами, и она как-то тоскливо взглянула по сторонам, словно ожидая, не выручит ли ее кто-нибудь. Но так как на этот раз никто не нашелся, то она взглянула на часы и заторопилась.

— Уж половина шестого! — воскликнула она, шумно поднимаясь с дивана,— скажите, как я у вас засиделась! Так, стало быть, c'est convenu:[2] с завтрашнего дня, chère[3] Поликсена Ивановна, вы — наша?

Она взяла Поликсену Ивановну за обе руки и с минуту смотрела ей в глаза так любовно, как будто ее участь была в руках этой милой женщины. С своей стороны, и Поликсена Ивановна умышленно медлила ответом, как будто, с одной стороны, ее пугала трудность подвига, а с другой — не было той жертвы, которой бы она не принесла в пользу «дорогой гостьи».

— Ваша! — выговорила наконец Поликсена Ивановна твердо.

— Ну, так до свидания! Завтра вечером у нас первое заседание... увидимся! И, право, у нас совсем не так скучно! On cause, on rit...[4] а между тем и дело... До свидания, Павел Ермолаич! вот вы и с помощником... очень, очень рада за вас, а еще больше за себя, потому что я не хочу — слышите, не хочу! — чтоб вы уставали!

Через секунду от нее осталась только благоухающая струя.

Я стоял и потягивался, точно бремя с души у меня спало. Дрыгалов закрыл глаза, очевидно стараясь воспроизве-

---

[1] в своем кружке.
[2] это решено.
[3] милая.
[4] Болтают, смеются...

сти и *навсегда запечатлеть* мелькнувшее перед ним видение. Simon Рогаткин, в устремленной позе, приковал взоры к двери передней, куда скрылась его очаровательная начальница.

И вдруг меня словно ударило: Грегуар сказал: «этот литератор...» Ну-с, а дальше? Что такое он дальше сказал? Отчего она не договорила и зарумянилась? «Этот литератор...» разве это определение? Дальше-то, дальше-то что он сказал? А может быть, он и действительно ничего не сказал, а только ковырнул пальцем в воздухе... Любопытно! очень бы любопытно узнать, в каком смысле совершилось это ковыряние! Означает ли оно: *читал с удовольствием* или напротив... «Гм... этот литератор...» О, черт побери!

Удивительно это, однако ж. Если бы мне сказали, что Дрыгалов или Рогаткин, или даже сам Положилов, разговаривая обо мне, ковырнули пальцем в воздухе, я решительно нимало не озаботился бы этим. А вот Грегуар ковырнул, и у меня моментально кошки на сердце заскребли! Поймите: ведь это тот самый Грегуар, которого даже богобоязненный Положилов, в минуты откровенности, называет «сивым мерином», и вот он, в один момент, какого переполоху во всех моих внутренностях наделал! Ковырнул пальцем... да, наверное, он ковырнул! Что ж такое случилось? Какие такие поступки я совершил, чтоб заслужить это ковырянье? и что мне *за это* будет? Потому, что ведь этот сивый мерин... то бишь, этот Грегуар — ведь он...

Эти странные мысли точно сверлом сверлили меня, покуда Положилов раскланивался с «дорогой гостьей». Я уж начал помаленьку перебирать в уме свое прошлое, с целью сначала уразуметь и внимательно обсудить свои «вины», а потом уже перейти и к определению мер взыскания, как говор в передней утих, и Павел Ермолаич почти вприскочку подбежал ко мне.

— Вот оно, братец! — воскликнул он, беря меня за обе руки и, весь красный, смотря мне в глаза.

Как ни приятно было благоухание, распространяемое дорогою гостьей, однако с отъездом ее сделалось заметно легче. Даже у осторожной Поликсены Ивановны появилась на лице улыбка освобождения, и только купец Дрыгалов счел долгом воздать должное отъехавшей, воскликнув: «Вот так дамочка! отдай все, да и мало!»

Подобные ощущения внезапного облегчения случаются нередко, особливо когда имеешь дело с дамочками. Посмотреть на нее — только, кажется, дунь, и вся она, со всем кружевным и шелковым скарбом, рассеется, как дым; а посиди да поговори с нею — тяжелее мономаховой шапки скажется. Голова заболит от одного учтивого напряжения что-нибудь уловить в бесконечном журчании слов. Это журчание, несмотря на свои ласкающие формы, представляет, в сущности, очень страшное орудие, с помощью которого маленькое, слабенькое, почти прозрачное существо может в короткое время не только осилить самого солидного человека, но и свести его с ума, подвинуть на множество глупых и бесчестных дел, заставить метаться и проч. Мало того: с помощью словесного журчания дамочка может поставить в тупик целое общество здравомыслящих людей, в один момент смоет все их умственные построения, порвет всякую связь между мыслями и взамен заключения заставит выпучить глаза.

Известно, однако ж, что существует целый общественный слой, в котором подобные журчания представляют единственное орудие для обмена мыслей и в котором, за всем тем, никто не ощущает ни головных болей, ни поползновения метаться. По-видимому, люди этого мира, отбросив всякую мысль о необходимости понимать друг друга, довольствуются во взаимных сношениях тем, что одному журчанию противопоставляют равносильное встречное журчание. И хотя в результате, разумеется, оказывается путаница, но, к удивлению, жизнь не только не терпит ущерба от нее, но даже приобретает известную внешнюю пестроту. Благодаря этой последней завязываются между действующими лицами отношения, столкновения, даже целые романы, с довольно сложными перипетиями, являются проблески радости, горя, отчаяния и проч. Одним словом, с внешней стороны все происходит совсем так, как бы и в настоящем человеческом обществе, вследствие чего некоторые не особенно прозорливые наблюдатели (например, романисты) легко впадают в ошибку и, изображая эту призрачную жизнь, в которой нет ни одного ясного мотива, кроме амуров, щегольства и гастрономических увлечений, выдают ее за человеческую...

Да, много еще тайн хранит природа в недрах своих, и что всего замечательнее: чем дряннее тайна, тем труднее распутать те бесконечные паутинные наслоения, которыми она закутывает себя со всех сторон.

Итак, мы повеселели. К тому же явилась и еще приятная неожиданность, которая окончательно возвратила нам хорошее расположение духа. Едва Положилов успел посетовать,

что между нами нет Глумова, как в столовой раздался его голос. Разумеется, мы сейчас же устремились туда и застали нашего друга совместно с Поликсеной Ивановной сетующим, что бог огурцов прошлым летом совсем не уродил.

— Этакая снедь прекраснейшая, а мы, яко христиане, даже роптать не смеем, что на целый год ее лишены! — жаловался он.

— И грибы только уж к сентябрю пошли. Полакомиться ими — полакомились, а впрок заготовить не успели! — вторила ему Поликсена Ивановна.

— И на это роптать не смеем. Каждый год у нас чего-нибудь либо мало, либо совсем нет; каждый год с весны мы надеемся, а осенью видим наши надежды разрушенными; но и за всем тем не ропщем, потому что вновь впредь надеемся. Вот хоть бы по части огурцов... если бы не помешали военные обстоятельства, непременно вышло бы какое-нибудь мероприятие, дабы, с одной стороны, предотвратить непомерные урожаи, вследствие которых возделывание сего полезного продукта представляется не токмо безвыгодным, но и убыточным, а с другой...

На этом месте разговор был прерван нашим появлением. Последовали взаимные горячие объятия, вопросы: какими судьбами? откуда? когда?

— Сегодня утром из деревни и уж с полчаса сижу в кабинете. Вижу, что у подъезда карета стоит, спрашиваю: кто? говорят: международная дамочка в гостях сидит... Ну, я и притаился. А занятная дамочка! я, признаться, в щелку заглянул, как она проходила: грудочка, плечики... именно все, что для утешения рода человеческого нужно — все налицо! На букет, что ли, для поднесения пленным туркам, с подпиской приезжала?

Собственно, нас с Положиловым вопрос этот нимало не удивил, так как мы достаточно знали страсть Глумова озадачивать людей неожиданными предположениями, однако, видя, что Поликсена Ивановна поморщилась, мы сочли своим долгом по мере сил вступиться за дорогую гостью.

— Ну, любезный, ты этого говорить не моги! — сказал Положилов,— во-первых, эта дама — супруга моего начальника, во-вторых... что, бишь, во-вторых?.. да! вот и насчет патриотизма... Не только к туркам пристрастия не имеет, но даже о проливах заботится... Очень, очень старается, чтоб проливы за нами остались...

— И, бог даст, старания ее увенчаются успехом,— присовокупил и я с своей стороны,— хотя, к сожалению, Грегуар и сомневается в том.

К удивлению, однако ж, Поликсена Ивановна не только не утешилась этими похвалами, но, напротив того, покачивала головой и приговаривала:

— Ах, господа, господа!

Наконец сели обедать, и, разумеется, беседа началась с вопроса, обращенного к Глумову: как в «своем месте» нашел?

— Как везде, так и у нас в Соломенном Городище. У всех и на уме и на языке одно: война!

— Что говорят? как относятся?

— Да как сказать... прилично! Интеллигенция, то есть... ей-богу, очень даже прилично! Молебны, панихиды — всегда полон собор мундиров. Предводители — те так-таки прямо говорят: «Доколе ненавистное имя Турции существует на карте Европы, дотоле не положим оружия!» Так что губернатор, на всякий случай, даже вынуждается деликатным образом сдерживать их. А разговоры какие в клубах происходят — просто хоть куда!

— Чай, и дамы в движении участие принимают?

— Как же, и дамы... Генеральши сами корпию щиплют, пикники, лотереи-аллегри в пользу раненых воинов устраивают... Намедни поезд с ранеными на станцию приехал, так все соломенные дамочки туда устремились и все, как на подбор, прехорошенькие! Одна генеральша раны перевязывает, другая чаем с блюдечка поит, третья со слов солдатиков письма в деревню пишет... А грации да прекрасных манер сколько было по этому случаю в одночасье выказано, так, уверяю, в Александринке с самого ее основания не было столько потрачено!

— Не все же, чай, грация да прекрасные манеры; вероятно, что-нибудь и другое найдется!

— По временам и скандалы бывают. Прислали, например, к нам на жительство майорину турецкого; только видят: жрать майорина без бутылки шампанского за стол не садится! Стали разузнавать — и что ж оказалось! — что это наши соломенные интернациональные дамочки ему в складчину каждый день по бутылке посылают! А он, в благодарность, русским скверным словам выучился — все гуртом так и чешет! Это уж наши соломенные интернациональные жён-жаны научили.

— Неужели все это правда? неужто и теперь подобные факты случаться могут? — удивилась Поликсена Ивановна, прискорбно покачивая головой.

— Не лгу-с.

— И ничего? так-таки о сю пору и хлещет турка шампанское?

— Нет, сторонкой дали дамочкам знать, что нехорошо, мол, врага религии ублажать, ну, перестали. Теперь майорина при одном сквернословии остался.

— Гм... так вот ты какие вести привез! пикники, мундиры, грация и, для оттенения картины, майорина, пьющий шампанское, приобретаемое иждивением русских дам! Si non é vero é ben trovato! [1] — усомнился Положилов.

— А если не веришь, так и не верь!

— Нет, это даже очень возможно-с! — вступился за Глумова Дрыгалов.— У нас, доложу вам, Павел Ермолаич, в тысяча восемьсот пятьдесят четвертом году какой случай был. Прислали, этта, одного пленного англичанина к нам на житье — ну, одна дамочка, промежду танцев, и скажи ему: «Сколь много мы были бы довольны, ежели бы господа англичане до нашего города дошли!» Так один господин услыхал эти слова да плюху ей и закатил!

— Так-таки и закатил?

— Вот как перед истинным. И супруг ейный видел и не вступился: полностью, говорит, заслужила!

— Какие, однако ж, странные и отчасти прискорбные факты вы приводите, господа! — сентиментально воскликнул Положилов, тут же, впрочем, спохватившись, что выразился слишком уж по-бумажному.

— А ты... каким ты странным и отчасти прискорбным языком говоришь! — передразнил его Глумов,— точно отношение от равного к равному пишешь! Милый ты человек! ведь не в том дело, что мы прискорбные факты передаем, а в том, что этих фактов отрицать нельзя. Существуют они.

— Положим. И грация, и скандалы — все это подмечено верно. Но, во-первых, глупые и пошлые личности возможны во всяком обществе, а во-вторых...

— Во-вторых, не все, мол, таковы?.. разумеется, не все! Я с того ведь и начал, что в общем все очень прилично. При молебствиях присутствуют, благословениями напутствуют — чего еще надо? Есть, братец, даже и такие личности, которые всякого за горло готовы ухватить не только при сомнении насчет будущих успехов, но и при малейшем упоминании о неуспехах прошедших... Так разве это что-нибудь доказывает?

— Доказывает, что люди везде люди и что каждый из них выражает свое отношение к делу, как может. Ты вот в смешном виде грацию представляешь; но, во-первых, дамочек-то пора бы и в стороне оставить, потому что не в них дело, а во-

---

[1] Если это и неправда, то хорошо придумано.

вторых, что ж им делать, этим несчастным, когда они с колыбели грацией исковерканы?

— А между тем и им свое сочувствие чем-нибудь выразить хочется! — поддержала мужа Поликсена Ивановна.

— Я разве запрещаю? Я говорю только: смотреть противно!

— Намеднись, доложу вам, я, вместе с прочими, на вокзале при приемке раненых был,— отозвался Дрыгалов,— так одна барынька к служивенькому привязалась: где у тебя, воин, болит? — Не могу сказать, ваше благородие! говорит.— Нет, ты скажи! теперь такое время, что мы все можем знать! — Не могу, говорит, сказать, нехорошо у меня болит! Нет-таки, не отстает: скажи да скажи! Ну, он и сказал.

— Да неужто же вы не понимаете, господа, что все это анекдоты одни? — слегка рассердился Положилов,— положим, Дрыгалов спроста анекдоты рассказывает, ну, а ты, Глумов... подумай, нет ли у тебя предвзятого предубеждения в этом случае? Помнится, ты когда-то говаривал, что для нашей интеллигенции все равно, если нас, русских, и за Волгу загонят...

— Ну, да, то есть доходы получать — конечно, все равно. Я нашу так называемую интеллигенцию даже и сравнить ни с чем другим не умею, кроме как с ветхой печкой, у которой нутро выгорело. Хоть целый лес там спали — ничем ты ее не разожжешь!

— Почему же нибудь, однако, она живет и даже заявляет о своем существовании?

— Живет — на остатки от выкупных свидетельств; заявляет о своем существовании — тем, что превратные идеи разыскивает да строчки в книжках подчеркивает. Даже и теперь — кажется, время не шуточное! — эти занятия на первом плане. Сосед у меня по деревне, штатский генерал, есть, так приезжаю я на днях к нему: так и так, говорю, мои две коровы в овсах у вашего превосходительства пойманы, так прикажите штраф получить, а скотину отпустить... Ну, разумеется, вознегодовал. Помилуйте, говорит, такое ли теперь время чтоб пустяками заниматься... Эй, сейчас же отпустить коров господина Глумова да сказать там, чтоб впредь подобных глупостей не допускали! А мы, говорит, с вами об нынешних делах побеседуем! И начал, и начал... И сердце-то у него изболело, и не раз-то он предсказывал, что война до добра не доведет, и проливов-то ему хочется, и Константинополь... Отчего, говорит, они прямо туда не идут? По-моему, говорит, сначала на Филиппополь, потом на Адрианополь, а оттуда — уж рукой подать! Только беседовал это, беседовал да вдруг

как брякнет: а знаете ли, говорит, все-таки настоящая язва наша не здесь! внешних-то врагов мы, с божьей помощью, рано или поздно победим, а вот внутренние враги... о!!

— И это опять-таки анекдот!

— Ах, любезный, да ежели вся жизнь из анекдотов состоит? На выдумки, что ли, пускаться прикажешь, чтоб тебя не огорчать?

— Выдумывать, конечно, незачем, а воздерживаться — пожалуй, не лишнее!

— То есть рапортовать, что все сословия, в одном общем чувстве умиления, воссылали теплые мольбы... так, что ли?

— Нет, и не так. Скажу тебе откровенно: и сам даже не знаю как; но знаю наверное, что от всех этих анекдотов фальшью отдает. И еще знаю, что и в среде интеллигенции найдется довольно людей, которые совсем не так легкомысленно относятся к делу... ты, например?

Вопрос был поставлен не без ехидства, и я, признаюсь, ожидал, что Глумов смутится или, по малой мере, прибегнет к одному из множества истрепанных оправданий, вроде: «я — человек искалеченный», или: «моя песня спета» и т. д. Но он, по-видимому, решился не смущаться ни перед какими вопросами.

— Я-то! — воскликнул он совершенно просто,— а ты почему думаешь, что я к чему бы то ни было и как бы то ни было относиться должен?

— Однако!

— Разве я что-нибудь знаю? разве я когда-нибудь за свой счет думал? разве мне не твердили с пеленок, что я — ничего более, как пятое колесо в колеснице? Нет, государь мой, от «отношений» к чему бы то ни было прошу меня раз навсегда уволить! Не мое дело — вот единственный ответ, который я могу на все вопросы дать и за который наверное получу полный балл у своего соломенского исправника. И все, к чему я сознаю себя нравственно обязанным, это — не кобениться, не глубокомысленничать насчет проливов и не науськивать. А по прочему по всему я такой же культурный человек, как и все.

Возражать на этот новый глумовский парадокс было, конечно, не мудрено (у меня даже целый ряд живых картин по этому случаю в голове мелькнул); но скользко было следовать за ним по этому пути, и потому мы благоразумно смолчали.

— Ну, хорошо,— начал опять Положилов,— оставим интеллигенцию в стороне. В народе что говорят?

— В народе, любезный друг, не хвастаются, не долгоязыч-

ничают и даже ничего не знают о проливах, а просто несут свои головы. Только вою очень уж много.

— Гм... да?

— Да, есть-таки. Ехал я нынче из деревни до железной дороги, так и до сих пор в ушах звенит. Все двадцать верст, как нарочно, партии ратников тянулись, а за ними толпами бабы... всю жизнь этих звуков не позабыть!

Глумов умолк на минуту, словно почувствовал неловкость.

— Мы этих картин не видим,— продолжал он,— а потому даже лучшие из нас представляют себе народ в виде громадного и упругого кокона, от которого отскакивают всякие бедствия или, по крайней мере, не так мучительно вонзаются. Так это неправда. Никакого кокона нет, а есть мириады отдельных единиц, из которых каждая за свой собственный счет страдает и стонет. И даже больше, нежели, например, мы, потому что ей, этой безвестной единице, приходится прямо кровь проливать и голову нести, а не морально только изнывать. Да, господа, коли издали слушать, так и стон в общей массе не поразителен, даже гармонию своеобразную представляет, а вот как выхватить из этой массы отдельный вопль... ужасно! ужасно! ужасно!

— Позвольте вам, сударь, доложить, что вой этот собственно...— попробовал было вмешаться Дрыгалов, но Глумов даже не обратил внимания на его перерыв.

— Да,— продолжал он,— народ и теперь, как всегда, ведет себя сдержанно и степенно. Он всякую тяжесть выдержит на своих плечах, из всякой беды грудью вынесет! Теперь мы и сами готовы признать, что народ, в самом деле, есть нечто, имеющее собственную физиономию, а не просто объект для экономических и административных построений; а давно ли...

— Позвольте, однако, вам доложить, что собственно бабы эти...— опять рискнул Дрыгалов, но Глумов и на этот раз не дал ему высказаться.

— Знаю, Терентий Галактионыч, что ты хочешь сказать, и заранее говорю: умолкни! Умолкни, потому что, если ты выскажешь то, что у тебя на языке вертится,— тебе же стыдно будет! Да, господа, стыдно! Стыдно разговаривать, стыдно проводить время... даже жить в иные минуты чувствуется неловко!

— А жить все-таки нужно! — задумчиво отозвалась Поликсена Ивановна.

— Жить нужно для сродственников, для знакомых... вообще для всех нужно жить! — сентенциозно поддержал ее

Дрыгалов.— Иван Николаич люди одинокие — вот им и сподручно панафиды-то эти петь!

— Панихиды, а не панафиды,— поправил его Глумов,— который год ты первую гильдию платишь, а по-благородному все-таки говорить не умеешь! А впрочем, ты прав: именно панафиды — весь этот разговор наш. И охота тебе, Павел Ермолаич, об таких материях речь заводить! Сидели бы да зубами щелкали — право, с нашего брата предостаточно.

— Ничего, сударь, в канпании отчего ж и не поговорить! — рассудил Дрыгалов,— кабы за нами дело какое стояло — ну, тогда точно что не до разговоров! а то делов никаких нет, время праздничное — никто не забранит, ежели, между прочим, и слово перекинем.

— Так ты и перекидывай, ежели у тебя язык чешется!

— Нет уж, сделайте ваше одолжение, извольте продолжать! всех вы отрекомендовали, так уж и нам, купечеству, аттестат пожалуйте!

— Посмотри на свое пузо — вот тебе и аттестат!

— Пузо, сударь, от пищи, а пища от бога. Нет, вы нам вот что доложите: неужто в нашем купечестве этого духу мало?

— Какого духу?

— А вот хоть бы насчет этих самых обстоятельств.

— А кто от ратничества всеми правдами и неправдами откупается?

— Так ведь это по человечеству-с. Нешто приятно теперича, в самое, можно сказать, горячее время, свой интерес бросать? Или, например, нешто приятно отцу воображать, как над его дитёй свиное ухо надругательство будет делать?

— Дальше!

— А вы насчет пожертвованьев Павлу Ермолаичу доложите. Пожертвования откуда идут?

— Откуда? — из ящичка!

— Да, да, да! — вспомнил и Положилов,— и ты ведь, Терентий Галактионыч, давеча об «ящичке» поминал... Сказывай, что за штука такая?

— Просто общественные деньги, земские, городские — вот они ими и жертвуют,— пояснил за Дрыгалова Глумов.

— Так что ж что общественные! чай, и наших частичка тут есть!

— Ни шелега. Частичку, об которой ты говоришь, совсем не на этот предмет ты внес. Не пожертвовал, а именно внес, потому, что если бы ты по окладному листу не уплатил, так у тебя имущества на соответствующую сумму описали бы. Понимаешь?

— Понимаю, и все-таки...

— Гм... так вот оно что! — молвил Положилов,— а я было на тебя, степенный гражданин, по части одеяльцев для нашего комитета надежды возлагал!

— На этот счет будьте спокойны, Павел Ермолаич. Всем достанет! ежели даже целую армию пожелаете прикрыть — предоставим в лучшем виде!

— Из ящичка?

— Уж там из ящичка ли, из своих ли — будет доставлено!

— То-то, ты у меня смотри: я уж и генеральше пообещал. Ну, и она не прочь походатайствовать за тебя... Только вот не знаю, не испортил ли ты дела тем, что сневежничал давеча.

— Помилуйте! что же я такое сделал? — испугался Дрыгалов.

— А помнишь: «только свистните, ваше превосходительство»? а? Разве с высокопоставленными дамами так разговаривают?

— Да, друг, проштрафился ты! «только свистните»! — шутка сказать! — поддразнил и Глумов.— Ты на какой ленте-то ожидал?

— Все бы хоша с черными полосками...

— А теперь и с белыми полосками за глаза довольно. Ах! господа, господа! так вот вы какими средствиями патриотические-то огни поддерживаете!

Восклицание это заставило Положилова на минуту смешаться, но он сейчас же, впрочем, поправился.

— Любезный друг,— сказал он,— в настоящее время надо практических результатов достигать, а не миндальничать. Задача предстоит такая: раненым необходимы одеяла — не был ли бы комитет чересчур уж наивен, если бы дожидался, пока одеяла с неба спадут?

— Да, да, одеяла... понятно, это — вещь полезная,— согласился Глумов.— Так уж ты вот что, Терентий Галактионыч! как будешь одеяла-то готовить, так помни твердо, что солдатик — святой человек, и сделай милость, уж не сфальшивь! Пожертвуй настоящие одеяла, а не то чтоб звание одно. А впрочем, знаешь ли, что я тебе скажу? — вдруг прибавил он, по обыкновению, совсем неожиданно,— ежели действительно тебя почести взманили, так обкорми ты армии и флоты гнилыми сухарями — по гроб жизни счастлив будешь!

— Ах, это ужасно! — нервно откликнулась Поликсена Ивановна.

— За этакие дела, чай, нашего брата не похвалят! — скромно оговорился и Дрыгалов.

— Попробуй! Сказано: солдатик — святой человек, а святые люди разве обижаются? Нынче как на этот предмет глядят? — Святой человек — глупый человек! вот какой нынче разговор просвещенные люди имеют! Всякие злодейства за злодейства признаются: и убийства, и истязания, и грабежи... только вот о промышленных злодействах что-то не слыхать... Следовательно... Ах, да давайте же, господа, об чем-нибудь другом говорить! — вдруг крикнул он надтреснутым, болезненным криком,— ну, об чем? об чем, например? Ведь говаривали же мы об чем-нибудь до войны?

Но мы молчали. Я рылся в воспоминаниях и спрашивал себя: о чем, в самом деле, мы до войны говорили? Говорили о короле Луи-Филиппе, о процессах, ознаменовавших его царствование, о Гизо, Тьере; говорили о том, что такое tiers-état [1], и переходили к Мирабо, Робеспьеру, Дантону и к декларации прав человека. Но больше всего говорили о самих себе, о каких-то надеждах, разлетевшихся в прах и оставивших нас между двух стульев. Бесспорно, это были темы очень благодарные, но для того, чтобы развивать их не торопясь, необходимо, чтоб окрест царствовал глубокий мир, чтоб процветала промышленность, чтоб курс на Париж был не ниже 360 сантимов, и чтоб «превратные идеи» появлялись лишь в умеренном количестве, единственно как материал для подновления слишком истрепавшейся разговорной канвы. В настоящую же минуту сюжеты эти оказывались решительно непригодными. Мысль была всецело поглощена одною, специальною темою и решительно отказывалась работать на общечеловеческой почве.

— Вот и Тьер умер! — рискнул наконец кто-то.

— Да, да, да! жил-жил старичина — и помер!

— Теперь у них, пожалуй, на чистоту Мак-Магония пойдет!

— Мак-Магония... Тьер... да! Много старичина в свою жизнь непотребств совершил, а вот какое жестокое время приспело, что и об нем приходится слезы лить!

И опять все смолкли.

— Вот вам, Иван Николаич, известно,— буркнул вдруг Дрыгалов, обращаясь к Глумову,— господин Мак-Магон и господин Базин — одно ли и то же это лицо?

— Ну да; то есть почти... Только один убежал, а другой — остался...

— Так-с. А у нас в городу непременный заседатель в полицейском управлении есть, Базиным прозывается, так он сказы-

---

[1] третье сословие.

вает, что этому самому Базину двоюродным племянником приходится... чай, хвастает?

Но вопрос Дрыгалова так и остался без ответа. Увы! даже смерть Тьера не выгорела! Сколько бы в другое время мы по ее поводу разговоров наговорили! а теперь вот сказали два-три слова — и словно законопатило! Чудятся: Плевна, Ловча, Шипкинский проход; слышатся выстрелы, лязг штыков, бряцание сабель и стоны, стоны без конца! Мрет русский мужик, мужик, одевшийся в солдатскую форму, мрет поилец-кормилец русской земли! Не долгоязычничает, сидя на печи, не критикует, не побуждает, а прямо несет свою голову навстречу смерти!

Можно ли «разговаривать», когда сердце истекает кровью? Да и об чем? Разве мы что-нибудь знаем? разве мы что-нибудь можем? какую связь мы имеем с этой беспримерной трагедией, которая длится, длится без конца? Откуда вдруг налетел шквал? каким образом составился сценарий трагедии? что его питает и долго ли будет питать? разве мы что-нибудь знаем?

Как знать, может быть, в ту самую минуту, когда мы на досуге судачим, где-нибудь там, под Казанлыком, под Ени-Загрой, разыгрывается... ах, страшно даже представить себе, что такое там разыгрывается! Когда занавес остается бессменно поднятым, когда со сцены ни на мгновение не сходит единственное действующее лицо — смерть, можно ли мыслить, можно ли даже ощущать что-нибудь иное, кроме щемящей боли, пронизывающей все существо, убивающей мысль, сдавливающей в горле вопль, готовый вылететь из груди?

— Вот и Гамбетта на три месяца в кутузку засажен...— опять было начал кто-то.

И все окончательно смолкло.

К счастию, обед приходил к концу: атмосфера столовой слишком уж обострилась; ощущалась настоятельная потребность переменить ее.

Но и в кабинете Положилова, куда мы перешли, чувствовалось не легче. Мы расселись по углам и молчали, словно какая-то тупая враждебность овладела всеми. Только Рогаткин и Дрыгалов — первый в качестве будущего исполнителя предначертаний, второй в качестве жертвователя — вполголоса толковали о том, какие должны быть одеяла.

— Я думаю, аршина два длины достаточно будет? — робко выпытывал Дрыгалов, в надежде, что молодой человек, по неопытности, не заметил его жертвовательской проделки.

— Непременно еще пол-аршина прикинь! — крикнул ему Глумов и, обратясь к Рогаткину, прибавил: — Вы, молодой человек, шаг за шагом за ним следите, а то как раз...

Дольше оставаться было незачем.

Таким образом, обычная воскресная программа осталась невыполненною, и, что всего прискорбнее, трудно было и в будущем предвидеть какие-либо отрадные улучшения в этом смысле. Карты не радовали, разговоры пресеклись. В таком сером настроении пройдет, вероятно, целая длинная зима. На дворе уже становится жутко от холода, с шести часов начинаются сумерки, дождь льет с утра до вечера — как будем мы коротать бесконечные осенние вечера? Придется ходить из угла в угол и думать... об чем думать? об том, что нам и думать-то не об чем! Какая, однако ж, странная, почти страшная вещь!

Да, Глумов так-таки и утверждает, что нам думать и незачем, и не об чем. Он уверяет, что ни сочувствие, ни несочувствие наше, ни критики, ни панегирики — ничто не идет в счет, что все наши суждения и речи — кимвал бряцающий, что мы не можем быть ни искренними, ни правдивыми, что всякая наша попытка отнестись критически к злобе дня отзывается или самохвальством, или ложью, что, наконец, у нас нутро выгорело, как у старой печки, отслужившей свой век... Положим, что он, по обыкновению своему, преувеличивает; но ежели есть даже частичка правды в его словах — разве это не ужасно? Разве не ужасно уже и то, что человеку может *казаться* подобная безотрадная картина?

А частичка правды наверное есть. В самом деле, кому нужны не только мнения наши, но даже сочувствие и панегирики? Ни силы не слышится в них, ни опоры они никому не могут дать — какая же надобность видеть в них что-нибудь иное, кроме назойливого желания подслужиться или, много-много, оградить себя от каких-то загадочных угроз? Никто наших сочувствий не ищет, никто не утешается ими; что же касается до наших критик, то всему миру известно, что мы такую особенную манеру протестовать и критиковать выработали, которая бросается в нос крепче всякого панегирика.

Празднословие, празднощатательство, амуры и погоня за наживой — вот единственные жизненные основы, которые завещаны нам прошлым и которые мы можем назвать вполне своими, вполне конкретными. Спрашивается: прочны ли они? Очень возможно, что если бы они могли длиться без конца, то мы сочли бы себя вполне удовлетворенными; но в том-то и дело, что на бесконечность срывания цветов удовольствия даже самые легкомысленные из нас нынче уж не рассчитывают... Поэтому, хотя люди и продолжают следовать по завещанной колее, но делают это поневоле, потому что идти больше некуда, и в то же время отлично сознают, что это — жизнь,

висящая на волоске, и что *пользоваться* подобным существованием, жуировать, может только тот, кто упорно закрывает глаза всякий раз, как промелькнет перед ним призрак будущего. А призрак этот начинает мелькать как-то особенно назойливо.

С каждым днем, все больше и больше погружаясь в пучину отчужденности, мы мало-помалу доходим до положения эмигрантов, у которых нет ничего, кроме местожительства да ревнивого полицейского надзора. Нет у нас ни белого, ни черного труда, нет ничего побуждающего к деятельности, напоминающего о кровном, *своем* деле... Есть только интересы мелких удобств, да и те не от нас зависят, а от разных учреждений и лиц, с которыми мы ничем внутренно не связаны. Ничего нет, кроме массы праздного времени. А жить между тем надобно. Ужели только «для сродственников и знакомых», как объяснял давеча купец Дрыгалов?

Такова, как мне кажется, внутренняя сущность давешних глумовских речей. Говоря по совести, лично я даже не имею ни малейшего основания что-либо возражать против них. В самом деле, что такое вся моя собственная жизнь, как не приличное прозябание, с обязательным аккомпанементом систематического воздержания от жизни? Всегда мы шли с Глумовым об руку по одной и той же колее, с унынием относясь к прошлому, с брезгливостью — к настоящему, с недоумением — к будущему. Что нами руководило при этом совершенно искреннее сознание полнейшей безнадежности каких бы то ни было усилий, что мы не рисовались, не кобенились — в этом может служить порукою хоть бы то, что мы, после долгого странствования по прозябательному рецепту, все-таки пришли к тому самому пункту, из которого и отправились, то есть к унынию. Да, не весело-таки нам живется, господа! право, не весело!

Итак, с личной точки зрения, мы правы, и даже, может быть, и не с личной только, но и с точки зрения действительного положения вещей. Но правы ли мы, обобщая заключения, вынесенные нами из жизненных наблюдений? правы ли мы, выводя из этих наблюдений такие практические применения, которые даже самому упорному индифферентизму вынести не в силах и которые, стало быть, и практическими, в строгом смысле, названы быть не могут? По обыкновению, я и на этот вопрос не мог ответить категорическим да или нет, но, под влиянием впечатлений дня, что-то хоть смутно, но подсказывало мне: нет, мы не правы...

Как ни забит человек, как ни ясно для него самого, что он и бесполезен, и бессилен, и беззащитен, все-таки остается еще

убедить его, что самая приличная для него форма существования — это прозябание. Но тут-то именно и окажутся бессильными все логические доказательства. Никакая забитость, никакое сознание собственного бессилия не убедит человека, что он должен отказаться от прирожденного ему права быть судьей среды, в которой он живет, и дел, которые совершаются перед его глазами. Допустим, что в данном случае отказ и действительно был бы очень *приличен,* но что же такое вопрос о приличиях там, где решающее слово принадлежит самой природе человека?

Да, и в тюрьме есть доступ в область общечеловеческой мысли и в область общечеловеческого чувства! и в тюрьме трепещет мысль, горит сердце, кипит кровь! Даже там, где в силу всевозможных уставов и правил жизнь уже прекращает свое действие, где, по-видимому, уже нет ничего *своего,* оно все-таки есть, это *свое,* и никакие запреты не сильны сказать ему: остановись! не иди дальше этой двери! Это *свое* неотступно идет за человеком, куда бы ни бросила его неумолимая судьба; оно разделяет с ним и узы, и заключение, оно освещает для него смрадный каменный мешок, в котором он осужден нести иго жизни...

Сознавать свое существование лишним, видеть себя навсегда осужденным, стоять перед замкнутой дверью — конечно, ужасно; но и это не исключает ни законности, ни возможности волнений негодования и любви. Что нужды, что порывы мысли и чувства бесследно пропадут в какой-то бессмысленной пропасти,— человек все-таки будет негодовать и любить ради самого себя, ради того, что этого требует сама природа его. Есть много простых и честных натур, которых судьба с жестокою последовательностью отметает от жизни и которые, несмотря на бесчисленные удары, все-таки льнут к ней. И льнут не во имя благ, которыми она так обильна, а во имя страданий, которых у нее тоже непочатый край. И кто же знает — быть может, когда-нибудь они и прильнут?.. Как требовать от этих людей какой-то *приличной* сдержанности, какого-то благородного прозябания, во имя того только, что эта сдержанность и прозябание заключают в себе косвенный протест против неправильностей жизни?

Даже и мы, теоретики приличного прозябания, разве мы не волнуемся, не негодуем, не любим, несмотря на теории, несмотря даже на неопровержимые свидетельства фактов?

Таковы были мысли, которые невольно шевелились во мне, покуда я шел вместе с Глумовым от Положиловых. Несмотря на сравнительно ранний час, Разъезжая была совсем пу-

стынна, так что если бы судить по ней, то можно было бы думать, что город совсем брошен. Масса серых облаков, казалось, висела над самыми крышами домов и без перерыва сеяла мелкий дождь. Бесконечное ненастье давило; глаза искали просвета и не находили. Везде все заперто, заколочено, как и в этой постылой жизни, в которой, как ни стучись, как ни зови, нигде ни до чего не достучишься и не дозовешься...

— А ты не совсем-таки прав! — сказал я наконец Глумову после довольно продолжительного молчания.

— Не только не совсем, а даже и совсем не прав,— ответил он мне.

— Ты не принял в соображение многих обстоятельств. Так, например...

— И примеры знаю.

— Нельзя рекомендовать людям прозябание, как приличнейшую форму существования, даже в тех случаях, когда они и подлинно сознают, что всякий деятельный порыв с их стороны бесполезен?

— Нельзя.

— Нельзя сказать человеку: не негодуй, не люби, когда сама природа вырывает из его груди слова негодования и любви?

— Нельзя.

— Что же сей сон значит?

— А то и значит, что мы живем среди четырех глухих стен, в которых нет ни двери, чтоб выйти, ни окна, чтоб выброситься на мостовую. В этом тесном пространстве всякий прав и всякий не прав... за собственный счет. Как можно требовать от мысли, чтоб она работала правильно, когда кругом царит кромешная тьма? Когда нельзя отличить надежды от отчаяния, лекарства от отравы? Я знаю, что заставить человека не мыслить, не волноваться, не негодовать, не любить — нельзя; но я знаю также, что рядом с этим «нельзя» стоит отрава, гласящая: бесплодно! Стоя между этими двумя одинаково конкретными фактами, как я могу быть правым или неправым?

— Но ведь если ты хочешь, чтоб общество развивалось, то уж, конечно, не с помощью теории приличного прозябания ты достигнешь...

— Знаю и это. Но слушай! будь друг! прекратим этот разговор! До крови больно — человек ведь и я! Я соглашаюсь, что всякий имеет право волноваться, любить, негодовать и вообще поступать по-человечески... Но трудно это, голубчик, ах, как трудно! Ведь по-человечески-то поступать только за свой счет можно, а много ли таких храбрецов! Большинство-то

ведь только кобенится да грацию показывает — ужели и это тоже «право»? Или же двоедушничает — вот как наш друг Павел Ермолаич. Я ведь до сих пор думал, что душа-то у него человеческая, ан она, выходит, куриная. Беден он, семейством угнетен — пусть так; но неужто же нельзя вести себя прилично, неужто нельзя без семи комитетов обойтись? Баста! с нынешнего дня я ни об чем другом не говорю, кроме как о Гамбетте. Как ты думаешь, будет во Франции переворот?

Вопрос этот был сделан при повороте на Вознесенский проспект, как вдруг из-за угла на нас что-то стремительно наскочило. Вглядываемся: сам Балалайкин собственной персоной!

— Куда? Зачем?

— На войну, господа, еду!

Я, признаюсь, хотел было поздравить его с таким благородным решением, думая, что вот и Балалайку, стало быть, за живое зацепило, коль скоро кровь проливать идет; но Глумов оказался и тут проницательнее меня.

— Гешефт нашел? — спросил он кратко.

— Наши там... сухари... галеты... по сту тысяч в сутки зарабатывают... зовут!

— То-то ты так и запыхался — бежишь... курицын сын!

Но Балалайкин не слыхал, или притворился, что не слыхал этой апострофы, и продолжал бормотать:

— Сухари... галеты... а притом и народ мрет... Наследства открываются: по закону, по завещанию... всех сортов... Опять же и долговые обязательства... охранение имущества... прòпасть дела, прòпасть! Только поспевай!

II

Едва еще было девять часов утра, как я был пробужден сильным звонком, раздавшимся в передней. Вслед за тем до слуха моего донеслись переговоры и пререкания, а через минуту я уже знал, что господин Балалайкин настоятельно требует видеть меня по крайне нужному делу.

— Свободные деньги есть? — так-таки прямо и оборвал он меня, как только я вошел в кабинет.

Он расположился у меня как свой человек, то есть забрался на кушетку с ногами и с невыразимою наглостью покуривал сигару, осыпая пеплом ковер и обивку мебели.

Вопрос о деньгах, признаюсь, несколько смутил меня. Капитал у меня хоть и небольшой, но есть. Как истинно культурный русский человек, я давно понял, что всякие недвижи-

мости, до которых, под прикрытием крепостного права, так падки были наши отцы, могут, на будущее время, служить лишь к обременению, и потому довольно ходко совершил ликвидацию суходолов и мокрых мест, составлявших совокупность полученного мною отцовского наследия. Результатом этой ликвидации был капитал, часть которого я, в свою очередь, тоже ликвидировал в увеселительных заведениях обеих столиц, но, на мое счастие, нашлись добрые люди, которые вовремя остановили меня от дальнейшей ликвидации. С тех пор я окончательно сосчитался с собой, спрятал остатки капитала в надежное место и... ожесточился. Вздрагиваю всякий раз, когда кто-нибудь при мне начинает разговаривать об отсутствии в русских духа предприимчивости, и невольно бледнею при мысли: а что, ежели явится обольститель и отнимет у меня мои деньги?

Да и денег-то ведь немного... ах, как немного! именно в обрез, столько, сколько нужно, чтоб обеспечить человеку возможность жить, раскладывая гранпасьянс и не трепеща от ужаса при мысли о завтрашнем дне. Все у меня рассчитано заранее: сколько можно истратить в день на извозчика, на еду, на папиросы, на прачку и проч. Следовательно, унеси у меня сегодня кто-нибудь тысячу рублей, то я *немедленно завтра же почувствую,* что в моем годовом бюджете последовала убыль в пятьдесят — шестьдесят рублей. А как только унесли тысячу, то за нею непременно последует другая, третья, четвертая — это уж я знаю по опыту. Стоит только раз сойти со стези непреклонности, а затем — пиши пропало! Поэтому я даже другу моему, Глумову, никогда о капиталах моих не говорю — все думаю: а вдруг попросит! И он мне о своих капиталах не говорит,— тоже, конечно, думает: а вдруг попросит! Молчок — святое дело. Ибо ежели, с одной стороны, в человеке нет решимости сделаться червонным валетом, а с другой стороны — не предвидится и иных путей для «получений», то понятное дело, что вся его мысль исключительно поглощается одним предметом: охранением тайны существования наследственных четвертаков и пятиалтынных от нескромной любознательности посторонних лиц. Подумайте! ведь на этих пятиалтынных зиждется все благополучие современного культурного русского человека! ведь человек этот все еще не утратил вкуса к жизни, хотя и не может дать себе отчета, чего ему от нее надобно.

— Деньги? какие же могут быть у меня деньги? — отвечал я, усиливаясь придать моему голосу тон непринужденности, но в то же время чувствуя, что внутри у меня все дрожит.

— Рассказывайте! живете же чем-нибудь!

— Конечно, живу... Какой вы, однако, наглый, Балалайкин! Вам недостаточно знать, что человек живет — нет, вы непременно хотите доискаться, на чей счет он живет, сколько тратит, делает ли долги или, напротив, откладывает сбережения для приобретения бумаг, дающих небольшой, но зато верный доход.

— Совсем я этого знать не желаю; я просто спрашиваю: есть ли у вас свободные деньги, потому что мне нужно.

— Нужно! — а это разве не наглость! Вам — нужно, а мне, может, совсем не нужно, чтоб вы знали. Нет, это уж такая привычка у вас пошлая: не можете вы мимо человека пройти, чтоб не заглянуть, что у него в кармане! Нужно, изволите видеть, ему знать... нужно!

— Да уверяю вас: нужно!

Настойчивость эта рассердила меня еще пуще. Не говоря ни слова, я присел к письменному столу с твердою решимостью оставаться глухим к каким бы то ни было обольщениям.

— А я бы хороший процент дал! — продолжал Балалайкин, располагаясь на кушетке как можно комфортабельнее и даже потягиваясь.

Я молчу.

— Например, два процента в месяц... и с гарантией, что в этом размере течение процентов будет продолжаться не менее года.

Прежнее молчание с моей стороны — и выжидательный зевок со стороны Балалайкина.

— А возможно и так: половина всех прибылей предприятия с гарантией минимума, например, в размере двадцати четырех процентов.

В таком вкусе длятся краткие монологи минут десять. Приносят два стакана чаю: для меня и для Балалайкина. Я беру свой стакан и отсылаю другой, говоря, что Балалайкин может и без чаю остаться. Но он и этим не пронимается.

— А я бы стакан выпил,— говорит он,— впрочем... Так вот что, голубчик: три процента в месяц с учетом вперед за целый год. C'est à prendre ou à laisser! [1]

— Слушайте, Балалайкин! — не выдерживаю я,— ежели вы не прекратите этого разговора — клянусь, я пошлю за городовым!

— Что же, и городовой всякий скажет, что мое предприятие верное. И не только верное, но и... патриотическое... да!

---

[1] Хочешь — бери, хочешь — нет!

— Вы — патриот! — вскрикиваю я вне себя от гнева и боли,— вы, Балалайкин... вы! Вы — побочный сын не то Репетилова, не то Удушьева... Вы — поставщик самых достоверных лжесвидетелей... ах!

— И все-таки я повторяю: предприятие мое не только верное, но и патриотическое... да! А обстоятельство, что я — побочный сын, не имеет к делу никакого отношения, и я даже удивляюсь, что человек образованный и в некотором роде даже либерал... Впрочем, я не желаю оставаться на почве инкриминаций, а повторяю: мое предприятие верное и патриотическое... да! И я охотно предложил бы на выбор: или принять непосредственное участие в деле, или ссудить меня деньгами за хороший процент!

Я смотрел и не верил глазам. Поток брани, который я вгорячах вылил на него (я даже сам упрекал себя: с какой стати я об Репетилове и Удушьеве напомнил), не только не заставил его покраснеть или поколебаться, но, по-видимому, даже оказал на него как бы укрепляющее действие.

— Я уже был по этому делу сегодня с визитом у господина Глумова,— продолжал он совершенно спокойно.

— Врете вы! уж одно то, что только теперь бьет девять часов, доказывает...

— Был-с. И даже входил в соглашение...

— Которое, конечно, кончилось тем, что Глумов предложил вам оставить его квартиру...

— Нет-с, господин Глумов обещал подумать...

Я в волнении ходил по комнате.

Вот тварь,— думалось мне,— которая впилась в мое существование и от которой я ни под каким видом отцепиться не могу! Какой-то фатализм тяготеет надо мной относительно Балалайкина — фатализм, восприявший начало еще в то время, когда я верил в искренность и либерализм Ипполита Маркелыча Удушьева. Я помню: это было лет двадцать тому назад. Я сгорал жаждой подвига, который, по тогдашнему времени, заключался в том, чтоб такую статейку тиснуть, в которой бы не только цензура, но и сам черт ногу переломил. Но прежде нежели приступить к выполнению подвига, нужно было, чтоб кто-нибудь из старых воробьев благословил на него. В то время всех благословлял Удушьев. Его только что откуда-то возвратили, и Москва, в которой он поселился, с благоговейным вниманием прислушивалась к его речениям. Я нарочно поехал в Москву из Петербурга и не без труда добился доступа к Удушьеву. Он принял меня важно: в халате и полулежа в длинном кресле. Это был старик бодрый, громадного роста, несколько тучный и румяный; масса седых кудрей вен-

чала его словно ореолом. В его глазах беспрерывно вспыхивал огонь («я старый крамольник,— говорил он,— хотя сознаюсь, что в настоящее время для крамольничества нет пищи!»), а говорил он плавно, размеренно, начав собеседование важным дактилем и незаметно перейдя в игривый анапест. Часто ссылался на свой «Взгляд и нечто» и, чтоб сделать эти ссылки более доступными, подкреплял их цитатами из водевилей Репетилова. Теперь я понимаю, что в речах его ничего не было, кроме смеси самого обыкновенного риторического лганья с водевильным легкомыслием; но тогда казалось, что это именно и есть язык, приличествующий глубокому убеждению, смягченному привычками благовоспитанности. Странная вещь! этот человек довольно-таки вытерпел, многое видел в жизни, многое мог лично наблюсти — и за всем тем был до того полон отрывками из «Взгляда и нечто», что десятки лет, казалось, прошли мимо, не изменивши ни одной строки в этом загадочном profession de foi [1]. По-видимому, он интересовался и новой русской литературой, но преимущественно театром, причем — такова жизненность репетиловских преданий! — одобрял Ленского и Кони и сдержанно относился к Островскому.

— Островский интересен! — отозвался он,— да... это несомненно: он интересен! но мой почтеннейший друг Михайло Семеныч (актер Щепкин) недаром говорит, что со времени его появления русская сцена пропахла овчинным полушубком!

Одною из особенностей этого свидания было то, что покуда Удушьев на тысячу ладов перефразировал передо мной свой «Взгляд и нечто», в комнате наянливо копошился не совсем опрятный, но вороватый мальчишка, который делал мне тысячи надоедливых пакостей: с разбегу кидался мне в ноги, карабкался на спинку кресла, в котором я сидел, теребил меня сзади за волосы и проч. И вот, когда началось «благословение», Удушьев, возложив обе руки на мою голову, подозвал к себе и вороватого мальчишку.

— Балалайкин! преклони колена! — сказал он, торжественно указывая на меня,— запомни черты этого многообещающего юноши, ибо он — мой продолжатель! А вы,— продолжал он, обращаясь ко мне,— рукоположите, в свою очередь, этого отрока. Он будет — *вашим* продолжателем!

Затем он слегка приподнялся в кресле, дрожащим голосом пропел куплет из «Стряпчего под столом» — и церемониал

---

[1] программа.

был выполнен. Но когда я откланивался, то на прощание он счел долгом вновь напомнить мне о Балалайкине.

— Поберегите его! — сказал он мне,— бог знает, долго ли я проживу, а между тем... Балалайкин — это последний отпрыск единственного человека, который в совершенстве понимал меня! Он — побочный сын Репетилова и Стешки... знаменитой Стешки... ах, бестия, как она заливалась в «Настасье»! Ее голос — покрывал весь хор!

Разумеется, я должен был обещать, и вот с этих-то пор Балалайкин впился в мое существование. Изгнанный из лицея Каткова за крамольно-легкомысленное отношение к латинской грамматике, он явился в Петербург юношей полным надежд и самым бесцеремонным образом потребовал, чтоб я его поддержал. Я отнесся к нему очень приветливо и тотчас же определил в департамент «Напрасных Тревог»; а когда ему там не понравилось, то в течение одного года последовательно переводил его в четыре другие департамента, из коих последним был департамент «Возбуждения вопросов и Оставления таковых без разрешения». Но он нигде не уживался, ленился, манкировал, не мог путно двух строк написать и, что всего важнее, однажды, во время доклада, во всеуслышание пропел «La chose» [1] и тем произвел волнение среди департаментских чиновников, которые, с вице-директором во главе, бросив занятия, начали ему подпевать. С тех пор он окончательно повис у меня на шее, и сколько двугривенных и четвертаков передавал я ему — так и теперь встают дыбом волосы, когда я вспоминаю об этом! Я не говорю, чтоб я смиренно переносил его нахальство — нет: очень часто я даже объяснялся с ним на самом чистейшем русском диалекте, но он не только не смущался этим, но даже с каждым подобным объяснением как бы усугублял свою привязанность ко мне. Придет, бывало, дернет во всю мочь за звонок, устранит слугу, ежели последний вздумает попрепятствовать ему войти в переднюю, и ворвется.

— Прикажите-ка, папенька-крестный,— скажет,— извозчику за меня заплатить, да кстати уж каминчик бы затопить, да котлеточку... Иззяб и проголодался... смерть!

Только тогда я вздохнул свободно, когда был объявлен скорый и правый суд. Найдя в нем приют в качестве адвоката, Балалайкин, с свойственною легкомыслию неблагодарностью, тотчас прекратил свои посещения ко мне, чем я, впрочем, не только не опечалился, но даже втайне ласкал себя надеждой, что теперь-то уж непременно сошлют его на поселение, ибо

---

[1] «Вот это вещь».

в противном случае какое же значение имел бы милостивый суд?

И вдруг этот человек снова становится на моем пути и требует у меня — чего? — уж не просто двугривенного или пятиалтынного, чтоб заплатить за извозчика, а... капитала!!

— Все-то вы врете! — сказал я,— никогда Глумов не обещал, да и не мог обещать вам подумать. На вас достаточно взглянуть, чтоб сейчас же дать ответ на всякий вопрос, который вы предложите!

— Будто уж у меня такая открытая физиономия?

— У вас физиономия... у вас, я вам скажу, такая физиономия...

— Не продолжайте. И все-таки я вам говорю правду: господин Глумов не только обещал подумать, но даже прямо выразился: «предприятие ваше несомненно выгодное, но прежде все-таки надо сообразить, какого сорта вознаграждения следует за него ожидать».

— Ну, да... конечно, так! то есть, дивиденда или трёпки!

— А я, напротив, уверен, что господин Глумов хотел сказать совсем другое, а именно: так как предприятие хотя и несомненно выгодно, но все-таки сопряжено с риском, то сообразно с этим должно быть определено и вознаграждение. Как человек осмотрительный, он не бросился в предприятие сразу, но пожелал предварительно сообразить размер процента, основательно взвесивши все шансы pro и contra...[1]

Ответ этот заставил меня несколько поколебаться. Конечно, я понимал, что Балалайкин лжет, но ссылка на осмотрительность и сообразительность Глумова все-таки заключала в себе некоторое правдоподобие. Действительно, я и Глумов (а может быть, и большинство наших сверстников вообще) не имеем недостатка ни в осмотрительности, ни в сообразительности, чему наглядным доказательством служит уже одно то, что мы, несмотря на крамольный дух, находимся только на замечании, но живота не лишены. Конечно, мы кассы гласных ссуд не откроем, но что касается до того, чтоб получить хороший процент, и ежели притом благородно и для всех безобидно...

— Да что ж это за предприятие наконец? — спросил я, значительно смягчаясь.

— Отбивать не будете?

— Балалайкин! вы сошли с ума!

— Хорошо, я вам верю. Итак, вот что: на днях я очень дешево присмотрел партию килек...

---

[1] «за» и «против».

Он пристально взглянул на меня, словно наслаждаясь чувством недоумения, которое выразило мое лицо.

— Кильки ревельские, настоящие,— продолжал он,— с запашко́м, правда — ну, да ведь à la guerre comme à la guerre [1].

— Ну?

— Присмотрел я партию в сто тысяч банок. Мы покупаем здесь, в лавках, банку по восьмидесяти копеек, а мне один из моих клиентов уступает банку по пятнадцати копеек, то есть, собственно говоря, возвращает себе лишь ценность стекла.

— Черт знает, что вы городите!

— Делает он такую значительную уступку, разумеется, преимущественно потому, что, как я уже сказал, кильки выдержаны, с запашко́м. Но, во-первых, ежели продавать кильки в банках, то и в мирное время этот недостаток будет заметен лишь по откупорке, а, во-вторых, на поле битвы, когда люди едят урывками, воин, конечно...

— Ах, да уйдите вы от меня, Христа ради!

— Выслушайте, прошу вас, до конца. Когда мне было сделано предложение о покупке упомянутой партии килек, то у меня, натурально, сейчас же блеснула в голове мысль, что килька должна сыграть на Дунае большую роль. В настоящее время, как это подтверждают корреспонденты всех русских газет, в нашей армии ни в чем не ощущается такого существенного недостатка, как в закусках. Подметив этот факт, я прежде всего остановил свой взор на сардинке; но покуда я входил в сношения по этому предмету, всю свободную сардинку уже скупил Новосельский, который уже недреманным оком следил за газетными корреспонденциями. Затем я долгое время блуждал между икрой, балыком и сыром, покуда счастливая случайность не натолкнула меня на кильку. Как вы думаете, сколько килек заключается в каждой банке?

— Не считал, не знаю.

— А я считал: ровно сто шестьдесят три. Тогда как в коробке сардинок, стоящей столько же, сколько и целая банка килек, помещается не больше пятнадцати рыбок. Теперь резюмируем нашу мысль. Получив единственный в своем роде случай приобрести за ничто громадную партию килек, мы имеем возможность не только конкурировать с сардиной Новосельского, но и положительнейшим образом убить ее. Как ни велик патриотизм Новосельского, но он, как ни вертись, не может отпустить свою сардину дешевле, как по шести копеек за штуку, тогда как мы, даже принимая за норму цены, существующие на кильку в петербургских лавках, имеем полную воз-

---

[1] на войне, как на войне.

можность за копейку предложить потребителю две штуки отличнейшей в мире закуски! Ясно, что *нашу* закуску с удовольствием купит даже солдат, тогда как над закуской Новосельского по временам задумается и армейский офицер. Но я иду дальше; рядом неопровержимых доводов я докажу вам, что *нашу* закуску, преимущественно перед закуской Новосельского, приобретет не только недостаточный чин армии и флотов, но и баловень фортуны, гвардейский офицер. И не потому только, что она *дешевле,* а потому, что она *лучше.* Делая в течение десяти дней самые тщательные опыты над сардинкой и килькой, как с точки зрения вкусового ощущения, доставляемого этими рыбами, так и со стороны сравнительного влияния их на физический и духовный организм человека, я пришел к следующим неопровержимым выводам. Сардинка, будучи приготовлена на масле, имеет вкус пресный и потому скоро приедается, тогда как килька, сдобренная перцем и лавровым листом,— никогда! В военное время это очень важно! На войне, господа судьи (Балалайкин вдруг встал и простер руки, вообразив, что он произносит на суде защитительную речь), разнообразие закусок — вещь очень желательная, но достижимая ли — это еще вопрос. Это — идеал, к которому будут вечно устремляться все помыслы заботливых военачальников, но идеал, которому, смело могу сказать, никогда не суждено осуществиться. Под градом пуль и гранат, в виду устремляющейся со всех сторон смерти, не столько важно разнообразие закуски, сколько неприедаемость ее. На этой незыблемой основе покоится изобретение гороховой колбасы, и этим же свойством в высшей степени обладает — килька!! Она имеет ту же манность, как и сардинка, но вместе с тем обладает задержкою, в виде продольной кости, которая положительно препятствует переходу манности в приторность. Мало того: килька не притупляет вкусовых органов, как сардинка, но действует на них возбуждающим и, так сказать, развивающим образом. Съешьте одну сардинку — и с вас достаточно; съешьте кильку — и вам захочется съесть еще пять, десять, сто, тысячу килек! Таковы, милостивые государи, результаты моих наблюдений с точки зрения непосредственно вкусовой. Что же касается до сравнительного влияния сардинки и кильки на физический и духовный организм человека, то наблюдения мои могут быть выражены в следующих немногих, но решительных выводах: 1) сардинка, даже при умеренном употреблении, производит отяжеление в желудке, тогда как килька подстрекает желудок к новой и новой деятельности; 2) производя отяжеление физическое, сардинка сообщает вялость и умственным отправлениям человека, вливает яд сомнения и нерешительности

в его действия, тогда как килька — веселит и одушевляет человека жаждою славы и подвигов... Вот, милостивые государи, не фантастические, но вполне осязательные основания, которые заставляют меня прозревать в недалеком будущем несомненную победу кильки над сардинкой, несмотря на патриотические усилия г. Новосельского сделать последнюю обязательною закуской русских воинов на все время достославной борьбы за независимость единоверных и единокровных нам славян. Представьте же себе теперь...

Он вдруг поперхнулся и выпучил глаза. Ни судей, ни присяжных, ни публики — никого перед ним не было. Несколько минут он стоял в изумлении, припоминая, каким образом он очутился в моей квартире и что собственно заставило его произнести вдохновенную речь в защиту кильки. Наконец он припомнил.

— Я, кажется, увлекся,— сказал он,— но все равно. Высказанные мной сейчас основания настолько верны, что едва ли вы найдете возможным опровергнуть их. Теперь остается доказать самое существенное: то есть определить ожидаемую от предприятия прибыль. По-моему, это очень просто. Употребивши на приобретение ста тысяч банок килек пятнадцать тысяч рублей, предприятие, в каких-нибудь два-три месяца, учетверяет свой капитал... где, спрашиваю я вас, в какой стране возможно столь быстрое и притом ни с чем несообразное накопление богатств?

Он обратил на меня взор, полный легкомысленной уверенности, что нарисованная им перспектива заставит меня немедленно вынуть из кармана ключ. Но увы! я уже охладел...

— Быть может, вам недостаточно этих соображений, и вы ожидаете от меня дальнейших,— вновь начал он,— извольте, есть и дальнейшие. Во-первых, не следует упускать из вида, что в настоящий момент на Дунае все расплаты производятся не кредитными рублями, а на звонкую монету. Следовательно, покупая банку килек за восемь гривенников, воин, собственно говоря, уплатит нам не восемь гривенников, а рубль двадцать копеек, что делает будущность, ожидающую предприятие, еще более блестящею. Во-вторых, учетверив в течение двух-трех месяцев свой первоначальный фонд, предприятие может продолжать операцию дальше, то есть не только наводнить килькою поля битв, но и накормить ею болгар, герцеговинцев, черногорцев и вообще всех борющихся за святое дело свободы и независимости. В-третьих, предприятие, независимо от громадных материальных выгод, наверное будет пользоваться в глазах начальства и патриотическою окраской. Конечно, мы приобретаем кильку почти задаром, но ведь это известно только

нам; в глазах же целого мира будет стоять тот непререкаемый факт, что мы банку килек, стòящую в Петербурге (то есть почти в самом месте ее производства) восемьдесят копеек, за те же восемьдесят копеек продаем на Дунае! И пространство, и время, и даже законные проценты на затраченный капитал — все принесено нами на алтарь любви к отечеству! Ужели это не величественное зрелище! И заметьте: мы ничего не просим; мы не выговариваем в свою пользу даже тех десяти процентов, которые получают Коган, Горвиц, Грегер и компания; мы потребуем только одного: дайте простор нашей кильке, не стесняйте естественное распространение ее в среде русских воинов! Разумеется, если Новосельский примет явно насильственные меры, чтоб подчинить нашу вкусную и вполне приспособленную к военным обстоятельствам закуску своей нецелесообразной и вредно действующей на дух войск сардинке — тогда... ну, тогда окажите нам защиту... но только защиту! Ужели и этого много?

Он вновь обратил ко мне молящие взоры; но я продолжал оставаться безучастным и холодным. Мало того: я решился сразу и окончательно высказаться.

— Послушайте, Балалайкин,— сказал я,— я одному удивляюсь, как это вам не приходит в голову: а что, если меня за такие проекты возьмут да повесят?

— Этот вопрос уже был мне предложен господином Глумовым,— ответил он,— да, впрочем, я и сам имел его в виду, когда обсуждал шансы предприятия.

— Вот видите! стало быть, вы уж и сами догадывались, что предприятие ваше совсем не такое патриотическое, каким вы его хотите представить теперь.

— Нет, я не догадывался, а просто рассчитывал и соображал. Так как в военное время возможны всякого рода недоразумения, то весьма естественно, что я принимал во внимание и шанс быть повешенным.

— И, разумеется, по строгом размышлении, пришли к убеждению...

— Что вешать решительно не за что. Вот если бы я распространял превратные идеи — ну, тогда не спорю... Но килька и притом по такой дешевой цене...

— Балалайкин! вы слишком снисходительны к себе! Подумайте, ведь вы сами только что выразились — и, по-моему, чересчур даже деликатно,— что ваши кильки с запашкòм, а на деле-то они должны быть просто-нàпросто протухлые. Я не спорю, ваш проект основан на такой мизерной частности, что назвать его злодейством, в строгом смысле, нельзя; но ежели вы и не заслуживаете названия злодея, то совсем не потому,

чтобы у вас не было доброй воли сделаться им, а потому, что на изобретение настоящего злодейства у вас не хватит ни смелости, ни воображения. Переступите одну черту, только одну черту — и вы единогласно приговорены! Ведь вы уж примирились с мыслью, что воины «второпях» могут гнилые кильки глотать (на этой «мысли» вертится весь наш проект): отчего же не примириться и с тем, например, что те же воины «второпях» могут гнилыми сухарями довольствоваться? Вы скажете, быть может, что эта мысль уже предвосхищена и по мере возможности приводится в исполнение. Прекрасно! На это я могу ответить вам следующее: изобретатели гнилых сухарей, конечно, в более или менее близком будущем не избегнут должного возмездия — по крайней мере, вся образованная Россия с надеждой ожидает этого,— но и вам, злодею мелкому, все-таки следует отнестись к себе строже и спросить себя: не будет ли виселица лишь слабым вознаграждением за вашу прожектерскую деятельность?

Балалайкин на минуту задумался и даже инстинктивно потер рукою шею, словно ощущая на ней присутствие веревки. Но сейчас же вслед за этим он уже смотрел по-прежнему бодро.

— Итак, вы возбуждаете вопрос об уголовном возмездии...

— Я, собственно, ничего не возбуждаю; но думаю, что вопрос этот возникает сам собою, силою вещей, как возникло, например, дело московского учетного банка.

— И кончилось тем, что Струсберг *препровожден* за границу, а Ландау сам туда бежал... Моралист! — пошутил он уж совсем весело.

— Моралист — пожалуй. И даже неудачный — согласен и на это. Но вот в чем дело. Давеча у меня сорвалось с языка напоминание о том, что вы — сын Репетилова. Что я поступил в этом случае более нежели опрометчиво — в этом я сознаюсь вполне искренно. Но теперь я даже вдвойне сознаю свою опрометчивость, потому что Репетилов — ведь это что же такое? Репетилов, это — идеал душевной опрятности; Репетилов, это — человек без упрека... разумеется, говоря не абсолютно, а сравнительно. Репетилов легкомыслен, назойлив и даже, пожалуй, противен, но все-таки вряд ли кому-либо из его сверстников могло прийти на мысль сказать при взгляде на него: вот человек, которого настоятельно нужно повесить. Подобный приговор был бы и жесток и несправедлив, потому что преступления, совершаемые Репетиловыми, таковы, что щелчок в нос служит вполне достаточною для них оценкою. Теперь сравните же... но нет! Ах, Балалайкин! если бы вы могли сделаться

Репетиловым *вполне* — как бы это было хорошо, и как бы я был счастлив за вас!

Покуда я отчеканивал эту предику, Балалайкин смотрел на меня пристально, но совершенно безучастно. Вряд ли даже он слышал что-нибудь из высказанного мною; скорее всего, в его голове копошились в это время новые промышленные проекты, потому что, как только утих мой голос, он сейчас же, как ни в чем не бывало, опять возвратился к своему предмету.

— Итак, мое предприятие с килькой кажется вам недостаточно выгодным? — спросил он меня совершенно спокойно.

— Нет, не невыгодным, а... Ах, Балалайкин, Балалайкин! какой вы наглый человек! именно наглый, наглый, наглый! Совсем не невыгодным нахожу я ваше предприятие, а именно...

— Позвольте. Допустим, что только невыгодным — зачем искать других определений? Ведь не бог же знает, какое блаженство вы ощутите, ежели замените эпитет «невыгодный» каким-нибудь бурмицким зерном из словаря Полторацкого кабака. Итак, мое предприятие кажется вам невыгодным... хотя... В два-три месяца возможность учетверить капитал — желал бы я знать, какое предприятие, кроме, разумеется, горвицевского, может принести такой дивиденд? И где же, наконец, предел человеческим желаниям?

— Оставимте этот разговор, Балалайкин! вы — наглый! вас не урезонишь! оставимте!

— Прекрасно. Забудем о кильках. Но в таком случае у меня имеется к вашим услугам другая, ежели не более, то отнюдь не менее выгодная операция.

И, заметив на моем лице испуг, он, чтоб не дать мне возможности возражать, поспешно продолжал:

— Вот в чем дело, голубчик. На днях мне предложили приобрести партию махорки по баснословно дешевой цене... что-то вроде шести гривен за пуд...

— Это еще что?

— Махорка — это табак, род опиума самого скверного сорта. Мы с вами, конечно, не будем его курить, ну и господа офицеры... Но для солдат это — лучшее лакомство и вместе с тем прекраснейшее возбудительное средство, какого только можно желать!

— И, конечно, ваша махорка будет тоже гнилая?

— Гнилая — нет, подмоченная — да. Но я уж имею в виду средство: сто̀ит только подмоченные листы вновь подмочить — и они будут опять совсем как свежие.

— Ну да, на вид, а в сущности все-таки гнилые?

— Моралист! но разве в пылу битв есть возможность отличить свежий табак от... подмоченного?

Это было ужасно. Битых два часа он неуставаючи мучил меня, и я до того отупел под гнетом его приставаний, что даже утратил всякую изобретательную энергию. Несколько раз спрашивал я себя: как бы поступил на моем месте, например, француз, немец, англичанин? но нет, *там* подобного случая даже быть не может! Там всякий свое место знает: Балалайкины — между собою разговоры водят, Глумовы — между собою. Явился Балалайкин-немец к Глумову-немцу с предложением о кильке — Глумов повернулся к нему спиной,— и дело с концом. А у нас, словно на дне запущенного пруда, сплелось что-то до такой степени дивное, что хоть железный лом в ход пускай — и тем не раздерешь. Пришел Балалайкин «посидеть» — и будет сидеть, сколько ему бог на душу положит. Ни за городовым послать, ни отвернуться от него — даже в голову не придет. А почему так? — да потому именно, что тут есть невообразимое сплетение. Сзади есть Удушьев, есть Репетилов — все люди, которые и из могил кричат: плоть от плоти! кость от костей! И кричат не только Балалайкину, но и мне, и Глумову, и всем.

— Эх вы! — продолжал между тем Балалайкин,— и капитал у вас есть, и даже хороший — это я достоверно знаю,— а вы сидите на нем да по пяти копеечек с рубля получаете! Подумайте! время-то ведь летит! Ведь нынче человек, у которого нет денег — это что такое? ведь это — презренный, это больше чем презренный, это — каналья, которая наверное ворует и которая, следовательно, рано или поздно непременно попадет на скамью подсудимых! Какую вы себе старость готовите!!

Ужасно, ужасно, ужасно! Я сидел как на угольях и безнадежно смотрел на часы. Мне казалось: вот-вот сейчас раздастся звонок, и Глумов освободит меня от этого распутного юноши.

— Вы всю жизнь спустя рукава прожили, всю жизнь по верхам глазели! — гудел в моих ушах голос Балалайкина,— так хоть один-то раз взгляните на дело серьезно! Ведь я кому пользы желаю — все вам же! Потому что я сам... мне зачем? с меня и практики моей адвокатской по горло будет! Вот я, не дальше как вчера, одну дамочку с мужем разлучил... штучка, я вам доложу... пальчики оближешь! Десять тысяч чистоганчиком за хлопоты вручила, да *приложение*... у Огюста в отдельном кабинете! Всю ночь до поздних петухов мы с ней прохороводились — я потом татарам двадцать пять рублей на водку дал! А какой ужин! фрукты какие! вино! Я было заплатить хотел — не допустила! Сама за все рассчиталась, а татарам, с своей стороны, радужную выкинула! Так вот какую я

жизнь веду! А вы... об чем, бишь, впрочем, я говорить начал?.. да, об махорке! Слушайте: ведь это — какой проект! ведь я не на офицеров рассчитываю, а на солдат, на массы — понимаете? Махорку всякий курит, без махорки воину обойтись нельзя! Он на редут лезет, а трубка у него в зубах! А ежели и этого вам мало, так можно *нашу* махорку и обязательною сделать... у меня и насчет этого ходы есть... По рукам, что ли?

Но я продолжал молчать и не сводил глаз с часов.

— Но вам, может быть, и то не нравится, что я насчет ходо̀в упомянул... моралист? так я вам доложу, что без этого нашему брату — мат. Конечно, можно дураком и перед открытою дверью стоять, да ведь дураки потому и называются дураками, что они рот разевают, а умные в это время куски глотают. Нет, вот как я тут позолочу да там посеребрю, а ежели и это не помогает, так где ползком, а где и на задних лапках... так-то, папенька-крестный!

Говоря это, он дружески хлопал меня по коленке, и увы! я не оказал никакого противодействия его ласкам! Я только старался окаменеть в ожидании чуда. Вдруг звонок! Я бросился навстречу к Глумову и, буквально дрожа всем телом, крикнул:

— Ах, как он мне надоел! как надоел!

— Так я и знал! предвидел я, братец, что он к тебе пойдет! Ах, Балалайка бесструнная! Мало тебе того, что я тебя с лестницы спустил?

— Помилуй, он хвастается, что ты выслушал его проекты и обещал подумать,— сосплетничал я.

— Я тебе обещал? я?

Голос Глумова звучал так сурово, вид его был так грозен, что Балалайкин невольно смутился.

— Молись богу! твой час наступил! Я тебя предупреждал давеча, что добром тебе не кончить! — продолжал Глумов и прекраснейшим basso profondo [1] пропел:

Твой сме-ертный час! Твой гро-озный час!

— Душа моя, надо его повесить! — обратился он ко мне,— он, впрочем, уж знает об этом, я и веревку с собой захватил.

Действительно, Глумов вынул из кармана совсем новую веревку и поднес ее к носу Балалайкина. Балалайкин старался улыбнуться, но от наблюдательности моей не укрылось, что физиономия его заметно поблекла, в виду решимости, с которою Глумов произнес свой приговор.

---

[1] низким басом.

— А вот и гвоздь — молись, Балалайкин! Мало того, что ты людей до истерики своими приставаниями доводишь — ты, заодно с турками, возмечтал русскую армию истребить! Знаешь ли, чем это пахнет? Молись и снимай галстук!

Балалайкин, желая обратить дело в шутку, охотно развязал галстук, расстегнул воротник рубашки и даже шею подставил; я, с своей стороны, в качестве любителя юмористических представлений, не менее охотно помогал Глумову надевать петлю. И вдруг Глумов схватил Балалайкина в охапку и самым серьезным образом потащил его к гвоздю.

— Послушайте! это наконец уж выходит из пределов шутки! — протестовал на ходу Балалайкин.

Я тоже порядочно испугался.

— Что ты делаешь, душа моя! — взмолился я,— ведь нас за это... Не лучше ли отправить его в участок?

— Чтоб его оттуда выпустили... Оставь меня! я знаю, что делаю! Так ты, Балалайка, думал, что с тобой шутки шутят... а? Нет, мой друг! ты меня так огорчил, так огорчил... даже до глубины души! Государственную измену затеял... а?! Полезай, полезай! барахтаться нечего!

И он в один момент его вздернул, до такой степени вздернул, что Балалайкин сейчас же и язык высунул.

— Теперь пойдем к Палкину завтракать! — обратился ко мне Глумов,— а он покуда пускай повисит!

— Помилуй! да ведь он, того гляди, умрет!

— Не умрет — не бойся! Ты думаешь, он язык-то высунул — это он лжет! Лжешь, Балалайка?

Балалайкин не ответил, а только еще больше высунул язык.

— Вот и прекрасно. Повиси тут, а мы пойдем!

Я должен сказать, что Глумов увлек меня к Палкину почти насильно. Я шел за ним, подчиняясь его авторитету, но в то же время беспрестанно оглядываясь назад, как будто Балалайкин с высунутым языком гнался за мной по пятам. Глумов с обычною ласковостью успокоивал меня.

— Я — человек не жестокий,— говорил он,— но думаю, что в настоящее время спасительный намек необходим. Так уж эти негодяи нынче расходились и столько их развелось... Помилуй! кровь пьют, обворовывают, а наконец и начисто морить собрались!.. Надо же намек сделать, чтоб хоть немножко поостепенились, мерзавцы!

— Действительно, это нелишнее; но все-таки прошу тебя иметь в виду, что Балалайкин уж язык высунул. Дай мне слово, что пробудешь у Палкина недолго.

— Пробуду столько, сколько требуется, чтоб аппетит удовлетворить. Говорю тебе, что он лжет и, по всем вероятиям, в эту минуту уж лыжи навострил и бежит сломя голову еще кого-нибудь своими проектами соблазнять. Но ежели он и поколеет — неужто же суд не поймет, что иначе в данном случае нельзя было поступить? И неужто ты-то не благодарен мне, что я тебя выручил? Оставим, мой друг, этот разговор.

И точно: Глумов, не торопясь, съел котлетку, выпил бутылку пива и вступил со мною в душевную беседу.

— Столько нынче по городу анекдотов про этих христопродавцев ходит,— говорил он,— что другой, наслушавшись, невольно скажет: какая, однако ж, распутная страна!

— Да, голубчик! даже уж и говорят!

— Завелась эта шайка проходимцев да девиц международного поведения, впились, сосут... Осыпала сетью наши Заманиловки, Погореловки, Проплёванные; бьются там люди, словно рыба в мотне, ничего не понимают, только чувствуют, что их сейчас жрать будут... Бьются — и только! как будто в этом одном и состоит их провиденциальное назначение. Кто отомстит-то за это — вот ты мне что скажи!

— История после все разберет.

— Нет, не разберет, потому что история только верхоглядничает. Ей даже и узнать неоткуда, что в Заманиловках честные люди живут. Струсберги, да Овсянниковы, да жидовствующая братия — вот материал, который она разрабатывает. Блеск ей нужен, герои нужны!

— Что ж, ведь, с одной стороны, это и не худо. По крайней мере, от компрометирующей солидарности заманиловцы ускользнут.

— Вряд ли. Это в прежнее время бывало, что заладит историк: Мстислав да Ростислав, а из партикулярных людей Добрыня да Блуд. А нынче историк вороват сделался: хоть и те же Добрыни да Блуды у него под руками, а он так-таки и нахальничает: я, говорит, знать не хочу, что на Васильевском острову да на Английской набережной происходило; я, говорит, народ имею в виду, народ призываю к суду истории! Вот и потянут проплёвановцев на цугундер...

— Но какой же может быть суд, ежели о них, как ты сам сейчас выразился, и сказать-то нечего?

— То-то что солжет что-нибудь. А впрочем, голубчик, если бы и удалось заманиловцам от солидарности ускользнуть, так ведь и тут барыш не велик. Солидарности-то не будет, да, пожалуй, и *совсем ничего* не будет — вот что нелестно! жили, мол, да были не помнящие родства — хорошо разве этак-то?

— Однако мы видим, что даже в кратких учебниках и там

заманиловцев не помнящими родства не называют, а, напротив, аттестаты даже выдают.

— Ну, да; отличаются, мол, твердостью в бедствиях и доблестным очищением окладных листов; так нынче ведь и этого человек с совестью сказать не может. Твердость в бедствиях кабаки пошатнули, а что касается до окладных листов... ах, не радуются, мой друг, сердца начальников, глядя на них!

— Неужто?

— Да, любезный! а впрочем, ты не подумай... ни-ни! Просто ничего не поделаешь! «Ничего не поделаешь» — вот клич, который нынче несется из края в край по всей Руси! А тут между тем шайка международных негодяев мрежи неуставаючи плетет!

Глумов вздохнул и спросил рюмку водки (после завтрака!), что означало, что он находится в ожесточении.

— Так ты думаешь, что Балалайкин, например, попадет в историю?

— Нет, Балалайкин-имярек, Балалайкин, которого мы сейчас повесили,— тот не попадет. С него достаточно и того, что он где-нибудь в конце тома, в ученых примечаниях, фигурировать будет. Но Балалайкины вообще, Балалайкины, их же имена ты, господи, веси! — те краеугольный камень составят. А от них пойдет мораль и на заманиловцев, проплёвановцев, погорелковцев. Потому что кто же виноват, что о них никаких свидетельств нет, кроме ревизских сказок? Вот и скажет историк: на основании таких-то и таких-то данных — я имею полное право заключить, что сия эпоха была эпохой распутства — *всеобщего!* Все, значит, без исключения... Что ж! коли хочешь, оно ведь и правильно!

— Почему же правильно?

— А потому: не хлопай глазами! Одно из двух: или ты человек, или вол подъяремный. Ежели ты человек, и за всем тем у тебя под носом Балалайкины историю народа российского созидают — стало быть, ты сам потатчик и попуститель; ежели ты — только вол подъяремный, стало быть, нечего об тебе и говорить. Мало ли на земном шаре земноводных обитает? мычат, блеют, мяукают, каркают, свищут, квакают — разве история обязывается принимать их в расчет?

Приговор был решительный, и меня, признаюсь, даже не раз передернуло, покуда Глумов высказывал его. Но так как я знал наверное, что он говорит таким образом совсем не по убеждению, а единственно под влиянием ожесточения, то ограничился тем, что возразил ему:

— Ты этого не думаешь, а говоришь под влиянием хотя и законного, но все-таки не вполне разумного ожесточения.

— Уж не против Балалайкина ли?

— Нет, Балалайкина мы уж повесили — будет с него. Но сделай транспортировку Балалайкиных, переложи их несколькими тонами выше — гамма-то ведь бесконечна! — усложни его ребяческие проекты, прибавь к ним гнилые сухари, толченый уголь вместо пороха (разумеется, если только можно такое злодейство себе представить!), и поводы для ожесточения получатся до такой степени полные, что в виду их невольно притупится самое живое чувство справедливости. Не в Балалайкине, а в совокупности Балалайкиных, в их общедоступности и общепризнанности, в разлитости балалайкинского эфира в воздухе — вот где настоящая причина негодования!

— Что же, однако, в моих словах несправедливого?

— Все несправедливо. Во-первых, тут совсем не «хлопают глазами», как ты говоришь, а совершенно серьезно истекают кровью, и никакой историк не увольняется от обязанности знать это. Во-вторых, дела о «претерпении» настолько сложны, что такими дилеммами, как: или ты — человек, или ты — вол подъяремный, их ни под каким видом не разрешишь. Есть, любезный друг, еще третий субъект, коли ты хочешь, тоже подъяремный, но не вол, а человек, мечущийся из стороны в сторону под игом мысли, что его, как ты сам сейчас выразился, немедленно жрать будут. Этот субъект не мычит, а песни о своих болях слагает; не потворствует и не потакает, а просто *не знает*. Положение трагическое и запутанное, но в материалах для изучения его недостатка все-таки нет. Ведь Балалайкинские-то проекты на ком отражаются? — на нем, исключительно на этом мечущемся человеке! Стало быть, историку, ежели он не безумный, стоит только разобраться в этих проектах и сопоставить их... Впрочем, ты ведь и сам все это лучше меня знаешь, а только так, в минуту жизни трудную, пофрондировать вздумал.

. . . .

Глумов хотя и возражал, но не искренно, а скорее из упрямства, чтоб сохранить за собой последнее слово. Впрочем, я тоже поспешил переменить разговор, потому что заметил, что сидевший за соседним столом посетитель начал что-то уж чересчур симпатично прислушиваться к нашим речам.

— А Балалайкин-то ведь все висит! — сказал я.

— И пускай висит.

— Однако, знаешь ли что? конечно, проекты его гнусны, но ежели их с финансовой точки зрения разобрать... право, они совсем не глупы!

— Еще как не глупы-то!

— Ведь это только так кажется, что килька или махорка — не сто̀ящие внимания предметы! а взгляни-ка на дело поглубже, особливо на махорку...

— И числа процентам не будет!

— И знаешь ли еще что? не только осуществление этих проектов вполне практично, но даже и характер им можно придать... именно патриотический... да!

— Еще бы, восемь гривенников на месте производства и те же восемь гривенников за две тысячи верст — это хоть кому угодно в нос бросится!

— Так что ежели бы, например...

— Постой! заключим лучше наш разговор так: но по этим-то именно соображениям и надлежало Балалайкина повесить! Правильно?

Я должен был согласиться, что правильно, и сделал это тем охотнее, что вопрос о том: что-то происходит теперь у меня дома? — все-таки ни на минуту не оставлял меня. Без особенного сожаления оставили мы палкинские салоны, и, признаюсь, я не без тревоги позвонил у дверей моей квартиры. К счастию, проницательность Глумова на этот раз не изменила ему: Балалайкина и след простыл. Каким образом он ухитрился на весу высвободиться из петли, это — его тайна; но на письменном столе моем лежала записка, гласившая так:

«Я мог бы претендовать на вас; но, понимая шутку, первый готов посмеяться, ежели она остроумна. Поэтому я считаю наши переговоры по известному делу не конченными, а только временно прерванными. Когда голос страстей умолкнет и рассудок вновь вступит в права свои, то телеграфируйте мне: Фонарный переулок, дом бывший Зондермана. Я во всякое время к вашим услугам.

Балалайкин».

Прошло два месяца, в продолжение которых я не следил за Балалайкиным, хотя случайными путями и получал об нем отрывочные сведения. Но последние были до такой степени ни с чем несообразны, что трудно было дать им какую-нибудь веру. Одни говорили, что Балалайкин вступил в товарищество с известным евреем Зельманом и принял Моисеев закон, чтобы получить больше свободы в движениях по махорочной операции; другие рассказывали, что он потурчился и поступил адъютантом к Осману-Паше; наконец третьи утверждали, что он сделался приближенным Мак-Магона и ездил от последнего к римскому папе за испрошением благословения на совершение государственного переворота. Не потому трудно было

поверить этим слухам, чтоб Балалайкин неспособен был совершить все эти метаморфозы, но потому, что невольно представлялся вопрос: на кой черт мог понадобиться наш Балалайкин Зельману, Осману-Паше и Мак-Магону, когда у них под руками тьмы тем своих собственных Балалайкиных, всегда готовых на всякие послуги?

На днях, утром, передо мной, по обыкновению, лежал мой любимый листок: «Чего изволите?», газета ежедневно-либеральная. Проштудировав известия с театра войны, я обратился к «внутренним делам» (прежде эта рубрика носила название «внутренних безобразий», но так как со времени войны безобразий у нас уже не совершается, то взамен их явились «внутренние дела»), и вдруг взор мой упал на корреспонденцию из Махорска:

«Нам пишут из губернского города *Махорска:* На днях в нашем городе, по распоряжению административных властей (?), подвергнут наказанию на теле розгами один из проходимцев, порожденных современными военными обстоятельствами. Это — некто Балалайкин, довольно еще молодой человек, содержавший, до начала войны, в Петербурге адвокатскую контору, которая преимущественно принимала на себя ведение бракоразводных дел и подыскивание лжесвидетелей. Преступление, за которое он ныне понес заслуженную кару, заключалось в том, что он, прибыв к нам под предлогом заготовления махорки для находящихся на Дунае русских войск, имел от Османа-Паши тайное поручение следить за распоряжениями здешнего губернского начальства. Употребив в дело подкуп, он постепенно переслал в Плевну, в копиях, все журналы здешнего губернского правления, и, между прочим, один очень важный, в котором обсуждались меры для приведения Российской империи в состояние неуязвимости, причем главною и самою действительною мерою предполагалось немедленное и совершенное во всех местах прекращение книгопечатания, с оставлением лишь небольшого числа литер для опубликования театральных афиш и начальственных циркуляров. Получив этот журнал, Осман-Паша, конечно, сообразил, что ежели прописанная в нем мера будет принята, то неуязвимость будет достигнута неизбежно, и притом в самое короткое время, и тогда борьба с северным колоссом сделается совершенно немыслимою. И вот, под влиянием этой мысли, турецкий главнокомандующий решился сделать целый ряд отчаянных попыток, чтоб хоть в последний раз потешить сердце повелителя правоверных, и результатом этого решения было, как известно, несколько эфемерных успехов, одержанных турками. Долгое время, однако, виновники измены укрывались от взоров право-

судия, но на днях интрига разъяснилась, благодаря деятельным розыскам, предпринятым частным приставом Х., и Балалайкин, ввиду вескости собранных против него улик, вынужден был во всем сознаться, причем сильно компрометировал Османа и Реуфа пашей.

Рассказывают, что первоначально было предположено повесить Балалайкина, но, по ходатайству дам махорского международного beau monde'a [1], наказание это было заменено более легким — розгами. Обряд был совершен публично на главной городской площади, причем, конечно, присутствовал и весь наш beau monde. Балалайкин — мужчина очень пропорционально сложенный. Он прибыл на место экзекуции в коляске и очень любезно раскланивался с знакомыми, а в особенности с дамами; затем бодро выскочил из экипажа, взбежал на устроенное возвышение и сам сделал необходимый для совершения обряда туалет. Криков во время сечения с его стороны не было, а потому в народе ходил слух, что секуторы подкуплены. По окончании обряда, покуда Балалайкин, по обычаю, благодарил секуторов за науку, дамы махали платками. В этот день Балалайкин был приглашен в десяти домах на обед, но гостеприимные хозяева с горечью узнали, что интересной жертве махорского правосудия уже не суждено обедать в Махорске. Через два часа по совершении обряда проходимец в сопровождении двоих прохвостов уже следовал по назначению для принятия на теле административных распоряжений и в прочих городах Российской империи».

Разумеется, я сейчас же поспешил к Глумову, чтоб поделиться с ним вестью, и застал его за чтением «Красы Демидрона», в которой о том же предмете писалось совершенно другое. А именно:

«Никто, в течение столь короткого времени, не был жертвою такого множества ложных слухов и клевет, как уважаемый наш сотрудник Балалайкин, автор статьи: «При ходатайстве — и закону премена бывает». Чего-чего не распускали об нем: и жидовство-то он принял, и Осману-Паше передал будто бы важную государственную тайну, а вчера даже очень серьезные люди за верное выдавали, что он высечен в губернском городе Махорске, где в последнее время находился центр его полезной деятельности по заготовлению махорки для войск действующей на Дунае армии! Из всех этих известий похоже на правду одно: действительно, Балалайкин имел свидание с Османом-Пашой, но совсем не для сообщения государственной тайны, а с дипломатической миссией от Грегера, Когана, Гор-

[1] высшее общество.

вица и всех вообще евреев, обитающих в России и поручивших Балалайкину убедить талантливого турецкого полководца, что усилия его приведут лишь к напрасной трате пороха. Все же остальное — чистейшая выдумка и самая наглая ложь. Будучи близко знакомы с Балалайкиным, мы, от лица всех его друзей и почитателей, можем удостоверить, что патриотические операции, предпринятые им по случаю настоящей войны, все до одной увенчались успехом, и что он сам, обремененный добычею, прибудет в Петербург не далее, как завтра, то есть 12-го сего октября. Все приготовления к приему его кончены, а именно: 1) в доме Мурузи, на Литейной, занят под его помещение весь бельэтаж, причем особый обширный зал отделен для игры в чехарду; 2) на Хреновском заводе приобретена, за баснословно дорогую цену, четверня породистых орловских лошадей, выезженных в упряжи à la Daumont;[1] 3) у Неллиса, Тацки и Вагнера заказано до двадцати великолепных экипажей, а в Москве у Арбатского — бесчисленное множество дрожек, саней и прочей экипажной мелочи. Затем нам остается прибавить только одно: Балалайкин почтен от начальства единственным в своем роде отличием: правом носить на спине изображение бубнового туза. Надеемся, что отныне ни зависть, ни клевета уже не настигнут его. Sapienti sat»[2].

— Двенадцатое октября — да ведь это сегодня! стало быть, он уже здесь! — воскликнули мы в один голос и решили тотчас же на месте, в доме Мурузи, удостовериться, которая из двух газет имеет более верные известия с театра войны.

Литейная была оживлена более обыкновенного; местами виднелись кучки любопытных, которые, по мере приближения нашего к Пантелеймонской улице, встречались все чаще и чаще. Около дома Мурузи мы нашли уже целую толпу. У одного из подъездов красовалось новенькое с иголочки открытое ландо, запряженное четверкой великолепных белых лошадей; за ландо тянулся ряд дрожек. Мы хотели было войти в дверь подъезда, но вооруженный булавою и отлично откормленный швейцар сурово отогнал нас.

С четверть часа мы простояли в немом ожидании. Вдруг откормленный швейцар заметался, и вслед за тем обе двери подъезда растворились настежь. Нет сомнения... это он, это — Балалайкин! Но как он вырос, возмужал, похорошел! как он выхолил свои щеки, и какая бесконечно блаженная улыбка играла на его алых устах! Щегольской дорожный костюм плот-

---

[1] в стиле Домона.
[2] умному достаточно.

но облегал его стройное тело; полированная сумка, переброшенная через плечо, отливала на солнце нестерпимым блеском; на голове была накинута легкая шотландская шапочка, в околыше которой, вместо пера, был воткнут лист засохшей махорки; в петличке жакетки красовалась ленточка неизвестного ордена. За ним следовала блестящая свита, в которой я насчитал десять жидов, десять греков и десять армян. Шествие было очень шумное, потому что армяне и греки препирались между собой о том, чья вера лучше, а жиды, напротив того, галдели, что все веры хороши. Обязанности церемониймейстера исполнял оставшийся за штатом обер-секретарь одного из упраздненных департаментов сената.

Балалайкин, однако ж, заметил нас и... подошел к нам! Без особенной фамильярности, но и без театральной напыщенности, свойственной выскочкам и временщикам. Просто, благородно.

— Господа,— сказал он,— я вас в свое время приглашал — вы сами не захотели! Пеняйте на себя.

Я не помню, что со мной было. Помню только, что я весь дрожал от волнения, и совершенно не понимаю, как произнес:

— Ваше сиятельство!..

— Шт!..— скромно остановил он меня, прижимая палец к губам,— покамест я еще... просто Балалайкин!

Быть может, свидание на этом и кончилось бы, если бы Глумов не поспешил исправить глупое впечатление, произведенное моею нелепою робостью.

— Стой, Балалайка бесструнная! — сказал он,— куда ж ты собрался этаким франтом?

— Я отправляюсь теперь в Монте-Карло просить руки дочери мсье Блана [1],— ответил он, не смущаясь выходкой Глумова,— но ежели мне это не удастся, то, во всяком случае, я имею обещание, что первая вакансия крупье при рулетке будет принадлежать мне. Ах, господа, господа! не хотели вы в то время...

— Об этом после,— прервал его Глумов,— но вот нумер газеты, в которой пишут, что в Махорске на площади, при громадном стечении народа...

— Было, господа, и это! все было!

— Что ж это за орден у тебя в петлице?

— А это — орден «борьбы». Его на днях учредил Мак-Магон и по секрету раздает своим приближенным. Разумеется, прислал и мне.

---

[1] Блан — содержатель игорного дома в Монте-Карло. (*Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.*)

— Нет, как ты хочешь, а объяснись обстоятельнее. Что такое с тобой? откуда все это? эта свита, эти экипажи, этот откормленный швейцар, это восточное великолепие?

— На это я могу сказать вам одно, господа. Что такое — я? что такое — все то, что вы теперь видите? Погодите! вот кончится война, и прибудут в Петербург настоящие негодяи... дельцы, хотел я сказать... Тогда — увидите!

III. ТРЯПИЧКИНЫ-ОЧЕВИДЦЫ

ОТ ДУНАЙСКОГО КОРРЕСПОНДЕНТА ПОДХАЛИМОВА 1-го В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «КРАСА ДЕМИДРОНА» [1]

1

Станция Бологое. Ровно неделю тому назад вы призвали меня, г. редактор, и, выложив перед моими обрадованными глазами пачку ассигнаций, сказали: «Ты — малый проворный! вот деньги — иди и воспевай!» Фраза — в устах редактора газеты «Краса Демидрона» — глубоко знаменательная. Перенеситесь мыслью за двадцать лет тому назад и ответьте: возможно ли было что-нибудь подобное в то время?! Прежде цари, призывая полководцев, говорили: иди и побеждай! теперь — с большею лишь осторожностью в выборе выражений — то же самое делают редакторы газет...

Да, надо сознаться, что в наши дни пресса приобрела такое значение, которому равное представляет лишь Главное управление по делам книгопечатания. Это две новые великие державы, которые народились на наших глазах и которые в равной степени украсили знаменитую меттерниховскую пентархию. Возникли они одновременно, чего, впрочем, и следовало ожидать. Еще покойный Ансильон (а у нас Иван Петрович Шульгин) заметил, что вся политическая история новейших времен объясняется тем, что одна великая держава непременно стремится нарушить политическое равновесие, а одновременно с

---

[1] Чтоб удовлетворить справедливым требованиям наших читателей, мы отправили корреспондентов на оба театра войны: на Дунай — г. Подхалимова 1-го и в Малую Азию — г. Подхалимова 2-го. Оба нам известны как молодые люди чрезвычайно талантливые, добросовестные и, главное, непьющие. Надеемся, что читатели не посетуют на нас за это новое доказательство наших забот об их интересах, которое стоит нам, при этом, довольно значительных издержек. Примеч. редакции газеты «Краса Демидрона». *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

нею другая великая держава непременно же стремится восстановить его. Так точно и тут. Как только пресса обнаруживает намерение нарушить равновесие, так тотчас же Главное управление открывает по ней огонь из всех батарей. Как это ни грустно, но мы должны покоряться безропотно: во-первых, потому, что таков уже сам по себе неумолимый закон истории (по Ансильону), а во-вторых, и потому, что в противном случае нас ожидают предостережения, воспрещения розничной продажи, аресты, приостановки и проч.

Как бы то ни было, но я — на пути к Дунаю. Не знаю, что будет дальше, но первые впечатления, вынесенные на пути между Петербургом и Бологовым, удивительно отрадны. Я не буду занимать вас описанием нашего переезда через Валдайский хребет, хотя, по словам специалистов, эти горы представляют, в стратегическом отношении, отличнейшие удобства. Описание это было бы небезынтересно в таком лишь случае, если бы возможно было предположить, что театр военных действий перенесется сюда; но так как турки, наверное, никогда не дерзнут проникнуть так далеко, то я полагаю, что говорить об этом предмете преждевременно. Пускай Европа думает, что в здешних местах ничего нет, кроме валдайских колокольчиков и валдайских баранок; для нас, с стратегической точки зрения, такое самоуверенное невежество даже выгодно...

Купив в Гостином дворе чемодан и уложив свой несложный багаж, я отправился из Петербурга с утренним 9-ти часовым поездом и, конечно, взял место в вагоне третьего класса. Я сделал это намеренно, хотя полученные мною от вас средства позволяли мне претендовать и на второй, а с некоторою натяжкою даже и на первый класс. Но я прежде всего хотел познакомиться с чувствами, одушевляющими простой русский народ в настоящую славную минуту, а для наблюдения подобного рода вагон 3-го класса — сущий клад. И, как вы увидите дальше, я был с избытком вознагражден за те маленькие неудобства, которые сопряжены с продолжительным пребыванием в обстановке, отнюдь не напоминающей благоуханной атмосферы петербургских салонов (я невольно вспомнил при этом, как хорошо в ваших гостиных, г. редактор, и каким отличным, душистым мòкка вы меня угощали, давая инструкции, как мне вести себя на Дунае!).

Как и следовало ожидать, настроение нашего вагона было отличное. Пассажиры были точно на подбор, молодец к молодцу! Все имели вид уверенный, бодрый, и как только прошли первые минуты обычной суматохи усаживания, так тотчас же, разумеется, выступил на сцену животрепещущий восточный вопрос. Насчет участи, ожидающей турок, судили разно,

но замечательно, что ни в ком не было ни тени колебания или сомнения; напротив того, всех воодушевляла твердая решимость не полагать оружия до тех пор, пока самое имя Турции существует на карте Европы. Никому из нас лично не приходилось участвовать в военных действиях, но тем не менее большинство высказывало такую отвагу, что я без труда понял, чего можно бы было ожидать от этих людей, если бы их не стесняли пределы вагона, подобно тому как меня стесняют пределы газетной статьи. Многие буквально рвались на поле битвы. Например, один почтенный мещанин (он содержит в Углицком уезде питейный дом и мелочную лавку) сказал мне:

— Кажется, пусти меня теперича в стражение, так я один десяти туркам-чуркам головы поснесу!

А сидевший тут же поблизости духовный пастырь, движимый похвальным соревнованием, присовокупил:

— Духовно мы, сударь, давно уж за Дунаем, а некоторые даже и далее.

Разумеется, я охотно воспользовался этим случаем, чтоб вступить в собеседование.

— Так за чем же дело стало? — спросил я.

— А за тем и стало, что дома своих делов много,— ответил мещанин. Священник же, соревнуя ему, пояснил:

— Духом мы высоко парим, но немощная плоть паренью нашему не мало препон представляет — от сего и унываем. Питейный-то дом, например, ихний, по настоящим обстоятельствам, прикрыть бы можно, дабы с легким сердцем устремиться туда, куда глас чести всех верных призывает, а мы, на место того, немощствуем.

Объяснение это заставило меня задуматься. Священник прав, думалось мне, но не вполне. Спору нет, что было бы и патриотичнее, и согласнее с чувствами истинного русского прикрыть на время кабак, чтоб удовлетворить святой потребности сразиться с исконным врагом цивилизации и христианства, но, с другой стороны, если все пойдут сражаться, кто же тогда будет производить торговлю распивочно и навынос, вносить гильдийские сборы и проч.? Провидение не без расчета, конечно, устраивает, предоставляя одним специальность охранять и защищать границы государства, а другим — специальность возделывать землю, производить торговые обороты и уплачивать соответствующие окладные и неокладные сборы. Известно, что в странах цивилизованных силы материально-производительные составляют такой же зиждущий государственный нерв, как и духовно-производительные; так что ежели последние и нагляднее двигают государство на пути преуспеяния, то первые, хотя и не столь наглядно, но столь же несо-

мненно споспешествуют этому, снабжая (в виде жалованья, столовых, квартирных и проч.) необходимыми материальными средствами воинов, администраторов, ученых, литераторов и даже нас, грешных корреспондентов. Ваша уважаемая газета давно уже сознала эту важную истину и неоднократно развивала ее в передовых статьях своих. Помнится, вы однажды сказали: отнимите у войны ее нерв — деньги, и она немедленно утратит свою целесообразность! Пушки, лишенные пороха, не будут палить (да еще вопрос, осуществимы ли самые пушки без денег?); люди и лошади, лишенные провианта и фуража, в непродолжительном времени впадут в изнеможение [1]. Англичане отлично это поняли, и мне кажется, что нашим господам-шовинистам, проповедующим, сидя дома на печи, поголовное ополчение, тоже не мешало бы зарубить эту истину у себя на носу.

Вот почему я думаю, что почтенный батюшка был не совсем прав, обвиняя кабатчиков и прочих негоциантов в немощи плотской (впрочем, он и сам впоследствии сознался мне, что высказался в этом смысле более для того, чтоб выдержать свойственную его званию учительную роль). Если и действительно плотская немощь не дозволяет им прикрывать, по чувству патриотизма, кабаки, то это немощь естественная, обусловливаемая недостатком не патриотизма, но самым распределением божиих даров между людьми. Всякому свое: одни употребляют, для прославления отечества, холодное и огнестрельное оружие, другие, в тех же видах, изощряют свои коммерческие способности, а третьи упражняют свои мышцы, возделывая землю. Даже мы, корреспонденты, едва ли правильно поступили бы, если бы, в порыве отваги, бросились в самый пыл битвы, вместо того чтоб, находясь в безопасном месте, быть лишь достоверными очевидцами ее. Подумайте: если бы мы были перебиты, разве газеты были бы в состоянии разнообразить столбцы и удовлетворять справедливому любопытству публики? Как подействовало бы это на годовую подписку? Что сталось бы с розничной продажей?

Покуда я таким образом размышлял, кто-то в углу вагона крикнул:

— Что долго разговаривать! идем все против турка — и сказ весь!

Что произошло в эту минуту — я не берусь описать. Представьте себе поезд, несущийся на всех парах, представьте грохот колес, тяжелое дыхание паровоза — и что ж? даже

[1] Действительно, мы всегда утверждали это и очень рады, что живые наблюдения нашего корреспондента подтверждают наше мнение. Примеч. той же редакции. *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

всего этого оказалось недостаточным, чтоб заглушить гул наших голосов, слившихся в одном общем чувстве!.. Да, нужно иметь перо Немировича-Данченко, чтоб передать эту картину! все поздравляли друг друга, обнимались, целовались, а одна старушка, сидя в углу, тихо плакала. Откуда взялся этот внезапный наплыв чувств? Почему теперь, а не прежде или после? На это я могу ответить только следующее: спросите у своего сердца, г. редактор!

Ежели человек имеет сердце чувствительное, то он ответит на эти вопросы очень легко; а ежели при этом он еще выпивши, то ответ, и без слов, сам собою окажется начертанным на его лице...

Часов в одиннадцать началось в вагоне другого рода движение: пассажиры принялись разгружать свои дорожные мешки и вынимать из них всевозможную провизию. Опять прекрасная бытовая картина, но на этот раз уже совершенно мирного свойства.

Не видно ни пармезанов, ни анчоусов, ни гомаров, ничего такого, что напоминало бы утонченности иноземной гастрономии. Русский человек понимает, что теперь не такая минута, когда следовало бы поощрять ввозную торговлю [1]. Но зато на всех коленях вы заметите рыжеватую паюсную икру, нашу родную углицкую колбасу и в особенном изобилии печеные яйца. Во всех углах слышится деятельная работа зубов, на всех лицах написано неподдельное удовольствие, которое, в настоящем случае, тем более законно, что все эти припасы суть результат усидчивого труда.

Простые русские люди и насыщаются просто: раскладывают на коленях листы бумаги, в которой завернута провизия, отрезывают дорожным ножом, что им нужно, и затем предоставляют дальнейшую работу пальцам и зубам.

Я невольно залюбовался этой картиной, хотя, сознаюсь откровенно, лично мне было не совсем ловко, потому что повсеместная еда обострила и мой аппетит, а я был настолько непредусмотрителен, что никакого запаса с собой не взял. К счастью, я как-то проговорился, что я корреспондент, отправляющийся на Дунай, и этого одного достаточно было, чтоб вывести меня из затруднительного положения. Как только слово «корреспондент» облетело все скамьи вагона, так мне в одну минуту накидали целую массу печеных яиц... Скажите

---

[1] Хотя, с другой стороны, воздержание от употребления ввозных товаров должно иметь неминуемым последствием уменьшение таможенного дохода. Это тоже не мешает иметь в виду. Примеч. той же редакции. *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

по совести: возможно ли что-нибудь подобное за границей или где бы то ни было, кроме нашей хлебосольной и изобильной России?

Этого мало: меня обступила целая толпа с вопросами, в чем заключается должность корреспондента и платят ли за нее жалованье? Разумеется, я, как мог, удовлетворил законному любопытству этих добрых людей и, к удивлению моему, могу сказать, что объяснения мои были везде встречены сочувственно. Одни, совершенно в стиле Немировича-Данченко, восклицали:

— Господи! хоть бы глазком на стражения-то посмотреть!

Другие наивно замечали:

— Ишь ты! за что нынче деньги платят!

Затем, по русскому обычаю, раздалось: выпьем! и пошла круговая.

Все подходили ко мне и пили за мое здоровье, а также и за ваше, г. редактор, потому что я объявил, что лишь благодаря вашему иждивению я мог осуществить давнишнее желание моего сердца увидеть Дунай и Балканы.

Покуда все это происходило, подошел ко мне один почтенный рыбинский купец (называется он, как я после узнал, Иван Иваныч Тр.) и стал уговаривать меня, чтобы я ехал с ним в Рыбинск.

— Ты малый проворный, на войну завсегда поспеешь! а лясы точить и у нас в Рыбинске можно!

К этой же просьбе присоединил свой голос и отец Николай (имя священника, говорившего о плотской немощи), который тоже оказался обитателем рыбинских палестин. Напрасно я отговаривался, во-первых, тем, что для корреспондента время — те же деньги, и, во-вторых, тем, что я уже заплатил за свое место до самой Москвы — гостеприимный Иван Иваныч ни об чем слышать не хотел.

— Пустое ты городишь! — говорил он,— времени тебе девать некуда, а деньги, которые за место тобою плачены, все до копеечки возвратим! Полюбился ты мне! парень-то очень уж ты проворный! На Дунай собрался — лёгко ли дело!

Я попробовал еще сопротивляться, но когда отец Николай рассчитал мне по пальцам, что если я несколько дней и опоздаю на поля битв, то потери от этого не будет никакой, а между тем я могу упустить единственный в своем роде случай для наблюдений за проявлениями русского духа, так как именно теперь в Рыбинске проходят караваны с хлебом, то я вынужден был согласиться. Не знаю, похвалите ли вы меня за уклонение от первоначально утвержденного вами маршрута,

но уверяю вас, что газета от этого ничего не проиграет[1]. Съезжу в Рыбинск, наблюду за проявлениями русского духа, и затем — марш на Дунай!

Что происходило потом, я не помню, потому что очень крепко уснул. Не видел ни Любани, ни Малой Вишеры, ни Окуловки и только в Березайке был разбужен моими будущими спутниками. Проснулся и не без изумления увидел, что кто-то взял на себя труд собрать мои печеные яйца и уложить их в плетушку, которая и стояла возле меня. Вот еще замечательная черта русского характера! Кто в другой стране проявил бы такую трогательную заботливость о спящем корреспонденте!

Таким образом я очутился в Бологове, откуда и беседую с вами!

Содержатель буфета, узнав, что я отправляюсь через Рыбинск на Дунай, от всей души предложил мне графин очищенной, причем наотрез отказался от уплаты денег по таксе. Вот вам и еще факт. Ужели после всего этого можно усомниться в силе русского чувства! Что я содержателю бологовского буфета? что он мне? И вот, однако ж, оказывается, что между нами существует невидимая духовная связь, которая его заставляет пожертвовать графином водки, а меня — принять эту жертву.

Итак, не знаю, что будет дальше, но до сих пор требования моего желудка (а может быть, и издержки по передвижению, если почтенный Иван Иваныч сдержит свое слово) были удовлетворяемы безвозмездно. Вы, конечно, поймете сами, какого рода чувства должны волновать мое сердце в виду этого факта! Я же, с своей стороны, могу присовокупить: да, добрые люди, поступок ваш навсегда останется запечатленным в моем благодарном сердце, и да будет забвенна десница моя, ежели я не заявлю об нем в «Красе Демидрона»!

Но в заключение позвольте напомнить и вам, г. редактор, сколь многим я обязан вашей изысканной добродетели. Я был простым половым в трактире «Старый Пекин»[2], когда вы, заметив мою расторопность, сначала сделали меня отметчиком, а потом отправили и корреспондентом на места битв. Где, в какой стране возможен такой факт!

Подхалимов 1-й.

---

[1] Дай-то бог! Примеч. той же редакции. *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

[2] Г-н Тряпичкин чересчур скромен. Он был не половым, а маркером, что предполагает уже значительно высшую степень развития. Примеч. той же редакции. *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

2

Рыбинск. Дорога от Бологова до Рыбинска тоже весьма замечательна в стратегическом отношении. Она окружена сплошными болотами, посреди которых там и сям, в разбросанном виде, живут остатки тверских либералов, укрывшиеся после известного разгрома 1862 года. Рассказывают, что это люди смирные, пострадавшие «за напрасно» или, собственно говоря, за любовь к отечеству. Странная вещь эта любовь к отечеству! Вот люди, которые несомненно любили отечество и которых тем не менее разгромили другие люди, тоже несомненно любившие отечество! Кто тут прав, кто виноват — решить не берусь, но теперь эти люди живут среди своих болот и занимаются молочными скопами. От души желаю им успеха в их полезных занятиях, и так как вся эта история уже канула в вечность и с тех пор страсти значительно улеглись, то не думаю, чтоб даже цензурное ведомство нашло в моих сочувственных пожеланиях что-либо предосудительное.

По рассказам туземцев, болота здешние таковы, что в них без труда возможно было бы потопить пехоту целого мира, не говоря уже о кавалерии, артиллерии и войсках прочих родов оружия. Следовательно, насчет безопасности здешних культурных центров, как-то: Бежецка, Красного Холма, Весьегонска и даже самого Вышнего Волочка, мы можем быть спокойны. А сверх того я убежден, что и тверские либералы, в случае проникновения в их палестины врага, забыв прежние счеты, дадут им солидный урок.

Была уже ночь, когда мы выехали из Бологова. Спутники мои оказались отличнейшими людьми. Иван Иваныч Тр.— веселый малый, высокий, плотный, румяный, кудрявый, с голубыми, но необыкновенно странными глазами, которые делались совершенно круглыми по мере того, как опоражнивалась висевшая у него через плечо фляга. Подобно всем русским, не отказывающим себе в удовольствии выпить лишнюю рюмку водки, он говорил разбросанно, не только не вникая строго в смысл выражений, но даже не имея, по-видимому, достаточно разнообразного запаса их. Однако я не скажу, чтоб он был глуп, в строгом смысле этого слова, а только, вследствие удачно сложившихся жизненных обстоятельств, не чувствовал настоятельной надобности в размышлении. Такие люди в общежитии чрезвычайно приятны. Они никого собой не обременяют, не навязывают своих мнений, но взамен того являются отличнейшими собутыльниками, и хотя не поражают своим красноречием, но охотно смеются, поют, стучат ногами и вообще выказывают веселое расположение духа. Тем не менее, так как

людям вообще свойственно заблуждаться, то и личности, подобные Тр., конечно, не изъяты от недостатков. Во-первых, они любят прибегать к шуткам чересчур истязательного характера, а во-вторых, не довольно смирны во хмелю. Против первого из этих недостатков никаких средств еще не придумано; что же касается до второго, то необходимо только зорко следить, чтоб эти люди не шли дальше того числа бутылок, которое человек вообще может вместить, и как только этот предел достигнут, то нужно как можно скорее укладывать их спать... Затем относительно отца Николая могу сказать, что отличнейшие качества его ума и сердца были в настоящем случае для меня тем более драгоценны, что он являлся прекрасным комментатором в тех случаях, когда смысл речей Ивана Иваныча делался слишком загадочным. Судя же по тому, как он выражался о препонах, представляемых плотскою немощью парению духа, я едва ли ошибусь, сказав, что из него мог бы выйти очень даровитый духовный вития, если бы арена его деятельности была несколько обширнее.

Несмотря на ночное время, никому из нас спать не хотелось, и потому я, в качестве корреспондента, счел долгом вступить в разговор с моими спутниками.

— Иван Иваныч! — обратился я к моему амфитриону,— как вы думаете об нынешних военных обстоятельствах?

Но он не без изумления взглянул на меня и, вместо ответа, откупорив фляжку, сказал:

— Выпьем, корррреспондент!

Я не отказался сделать ему удовольствие, но восклицание его все-таки мало удовлетворило меня. Отец Николай, видя мое недоумение, поспешил ко мне на помощь.

— Вместе с прочими, значит,— сказал он,— как прочие, так и мы.

— Верррно! — подтвердил и Иван Иваныч.

— Но лично что же вы думаете? личное ваше мнение в чем заключается? — настаивал я, ничего не понимая в этой странной воздержности.

— А в кутузку не желаешь... коррреспондент? — ответил он после минутного молчания.

— Не только не желаю, но даже не понимаю, при чем тут кутузка.

— Ну, а мы даже очень отлично понимаем.

— Позвольте, однако ж! Если в ваших мнениях нет ничего предосудительного, то почему не высказать их? Если энтузиазм сам просится из вашей груди, то почему не выразить его публично, всенародно? Неужели вам неизвестно, что нынче никому выражать свой энтузиазм не воспрещается?

— И не воспрещается, и известно, а все-таки... выпьем, корррреспондент!

Я опять не отказал ему в удовольствии вместе выпить, но все-таки стоял на своем:

— Но почему же? почему?

— А потому что потому — вот тебе и сказ!

— Боязно-с,— пояснил отец Николай,— думается, слово-то не трудно молвить, ан оно, пожалуй, не то, какое надобно. Ну, и кутузка притом же. Хоша нынче она и утратила прежнее всенародное значение, а все-таки в совершенстве забвению не предана.

— Верррно! — опять подтвердил Иван Иваныч.

— Но ведь вы сами были давеча очевидцем, как люди совершенно простые выражали свой энтузиазм! И выражали так открыто, что наверное никто из них не опасался подвергнуться за это административному воздействию!

— То — мужики, им все можно, потому что им и под замком посидеть ничего, а мы — люди обстоятельные. Для нас не токмà что день или неделя, а всякий час дорог! Будет... выпьем!

Я убедился, что продолжать этот разговор было бы бесполезно, но, признаюсь, сдержанность почтеннейшего Ивана Иваныча произвела на меня горькое впечатление. Я никак не мог вообразить себе, чтоб представление о кутузке было до сих пор так живо среди народа. Пришлось опять припомнить вашу газету, или, лучше сказать, бесчисленные передовые статьи ее, в которых выражалась мысль, что физиономия народа надолго, если не навсегда, определяется его воспитанием. Святая, бесспорная истина! Подумайте, как давно уже пали стены кутузки; но так как в продолжение веков она составляла главную основу нашего народного воспитания, то и теперь стоит перед нами, как живая! Кутузок уже нет, самый характер нашей культуры настолько изменился, что не только исправники и становые пристава, но даже сотские служат образцом предупредительности и вежливости, а мы все еще жмемся в сторонке, скрываемся, боимся проронить лишнее слово, как будто вот-вот нас сейчас возьмут за шиворот! Спрашивается, сколько прекраснейших излияний чувств остается вследствие этого под спудом! Скольких драгоценных и поистине умилительных картин мы лишаемся случая быть свидетелями!

Начните хоть бы с нас, корреспондентов: какую массу совершенно неожиданных бытовых сцен мы могли бы воспроизвести, если бы не существовало этого фаталистического самозапрета относительно излияний чувств! Конечно, и теперь мы достаточно сильны по части подражания мужицкому жаргону, но все-таки нам нужно насиловать свое воображение или при-

бегать к перу Немировича-Данченко, чтоб достигнуть каких-нибудь солидных результатов в смысле увеличения розничной продажи газет. Тогда как не будь этого... Но этого мало: самое начальство — смею спросить — разве оно не теряет от этого в смысле самоутешения и самопоощрения? Увы! взирая на ровную поверхность нашего общества, изредка возмущаемую восторгами мужиков, оно само не знает, что скрывается в этих глубинах: доброе ли чешуйчатое, которое можно выпотрошить и употребить в снедь, или злой крокодил, который сам может поглотить, ежели приблизиться к нему без достаточной осторожности?!

Нет, прочь кутузки! прочь самое воспоминание об них! По крайней мере, на время войны... Пусть всякий полагает, что он обо всем может откровенно высказать свою мысль! И пусть не только полагает, но и в самом деле высказывается! Результатов от такой внутренней политики можно ожидать только вполне удовлетворительных. Во-первых, всякий друг перед другом наверное будет стараться, чтоб мысль его была по возможности восторженная и патриотическая; во-вторых, если бы в общем строе голосов и оказались некоторые диссонансы, то можно бы таковые отметить в особых списках, и, по окончании войны, с выразителями их поступать на основании существующих постановлений. Тогда как теперь, при общем молчании, невозможно даже определить, где кончается благонамеренность и где начинается область превратных толкований...

— Скажи ты мне, сделай милость, что это за должность такая: корреспондент? — прервал мои размышления Иван Иваныч.

Я объяснил, что в недавнее время возникла шестая великая держава, называемая прессою, которая, стремясь к украшению столбцов и страниц, повсюду завела корреспондентов. Эти последние обязываются замечать все, что происходит на их глазах, и описывать в легкой и забавной форме, способной заинтересовать и увеселить читателя. Писания свои корреспонденты отправляют в газеты для напечатания, но бабушка еще надвое сказала, увидят ли они свет, потому что существует еще седьмая великая держава, которая вообще смотрит на корреспондентов, как на лиц неблагонадежных, и допускает или прекращает их деятельность по усмотрению. Все искусство корреспондента в том заключается, чтоб попасть в мысль этой седьмой державе и угадать, какие восторги своевременны и какие преждевременны. Например: во время сербской войны некоторые восторги были сочтены преждевременными, и потому множество корреспондентов погибло напрасною смертью; теперь же, по-видимому, эти самые восторги вполне своевре-

менны. Но и то только по-видимому, ибо ежели будущее неисповедимо вообще, то в отношении к корреспонденту оно неисповедимо сугубо. «Лови момент!» — вот единственное правило, которое умный корреспондент обязан вполне себе усвоить,— и тогда он получит за свой труд достаточное вознаграждение, чтоб...

Иван Иваныч не дал мне докончить и с изумлением спросил:

— Так и корреспондентам деньги платят?

— Конечно, и даже совершенно достаточные, чтоб не...

— Ах, прах те побери! Отец Николай, слышь?

— Слышу и ничего в том предосудительного не нахожу, ибо знаю по собственному опыту, что такое духовный труд, особливо ежели оный совершается в благоприличных формах и в благопотребное время...

— Нет, да ты шутишь! настоящими ли деньгами-то платят вам? не гуслицкими ли?

— Настоящими,— сказал я,— и вот вам доказательство... Я вынул из бумажника десятирублевую и подал ему. Он поднес ее к фонарю, посмотрел на огонь и вдруг с быстротою молнии опустил ее в свой карман.

— Я ее дома ужо в рамку вставлю и на стенке в гостиной у себя повешу! — сказал он.

Положение мое было критическое. С одной стороны, я понимал, что это шутка (испытательного характера), но с другой — мне вдруг сделалось так жалко, так жалко этой десятирублевой бумажки, что даже сердце в груди невольно стеснилось. Не желая, однако ж, выказать свои опасения, я решился пойти на компромисс (опять вспомнил ваши передовые статьи, где это слово так часто употребляется).

— Прекрасно,— сказал я,— в таком случае вы мою бумажку вывесите, а мне отдадите свою равносильной ценности.

К несчастию, голос мой при этом дрогнул, и это дало ему повод продолжать свою шутку.

— Жирно будет! — воскликнул он.

— Но почему же?

— А потому что потому... Выпьем, корреспондент!

Он откупорил фляжку, налил чарочку и поднес ее к моему лицу; но в то время, как я уже почти касался чарки губами, он ловким маневром отдернул ее от меня и выпил вино сам.

— За твое здоровье... корреспондент!

Это была новая шутка, и опять испытательного характера, но на сей раз я решился не высказывать своих чувств.

— Итак,— сказал я, возвращаясь к прерванному разговору о позаимствованной у меня бумажке,— за вами десять рублей.

— Шалишь, любезный! Хочешь, грех пополам?

— Но зачем же я получу только пять рублей, коль скоро вы у меня взяли целых десять?

— Ну, слушай! Пойдем на аккорд: пять рублей я тебе отдам сейчас, а пять — через год. Хочешь? А твою бумажку в рамку вставить велю и подпишу: корреспондентова бумажка... По рукам, что ли?

— Не могу и на это согласиться, потому что и это не будет справедливо. А впрочем, я понимаю, что это с вашей стороны шутка, и охотно буду ожидать, покуда вы сами найдете возможным положить ей конец.

— Рассердился... корреспондент!

— Нимало... И в доказательство, что уважение мое к вам нисколько не поколеблено, я, если угодно, хоть сейчас же выпью вместе с вами за ваше здоровье.

— Вот это — дело! ай да корреспондент! Выпьем!

Опять появляется фляжка, и увы! вновь повторяется тот же маневр, вследствие которого чарка, проскользнувши у меня мимо губ, опрокидывается в горло моего амфитриона.

Я прислонился головой к стенке вагона и сделал вид, что желаю заснуть. Замечательно, что батюшка, в продолжение этих шуток, ни разу не вступился за меня. Он видимо уклонялся от вмешательства и даже в то время, когда шутки Ивана Иваныча приобретали несомненно острый характер, старался смотреть в окно, хотя там, по ночному времени, ничего не было видно. Ясно, что если бы Ивану Иванычу вздумалось в самом деле присвоить себе мои десять рублей, то я не имел бы даже свидетеля столь вопиющего факта! Повторяю, впрочем: серьезных опасений насчет преднамеренного присвоения я не имел; но все-таки думалось: а что, если он позабудет?

Не прошло, однако ж, четверти часа, как Иван Иваныч хлопнул меня по коленке и предложил выпить на мировую. Я, разумеется, поспешил согласиться, и на этот раз уже не было употреблено никаких фальшивых маневров.

— Слушай, корреспондент! — сказал он при этом,— ты парень проворный! постой, я тебе загадку загану! Отчего наш рубль, теперича, шесть гривен на бирже стоит?

Я призадумался, потому что мне и самому, правду сказать, как-то не приходило в голову, отчего это так? Однако, припомнив кое-что из ваших передовых статей, ответил, что всему причиной коварство англичан!

— Так неужто англичанин такую власть над нами взял, что наш рубль в полтинник обратить может?

— Это — не власть, а естественное следствие слабости нашего денежного рынка.

— Да рынок-то наш отчего слаб?

— А это опять-таки оттого, что англичане...

Я остановился в недоумении и стал соображать. Не оттого ли это, мелькнуло вдруг у меня в голове: что у нас, взамен книгопечатания, в усиленной степени развито билетопечатание? Но он уже не слушал меня.

— Сам-то ты, вижу я, слаб... корреспондент! Батя! по маленькой!

— С удовольствием,— ответил отец Николай, который уже перестал смотреть в окно.

— Так ты за Дунай и далее? — вновь обратился ко мне Иван Иваныч.

— Да, за Дунай.

— «Ехал казак за Дунай»... а попал в Рыбинск!

— Да, и в Рыбинск. Во-первых, вы сами меня пригласили, а во-вторых, так как военные действия еще не начались, то отчего же мне, предварительно, не быть свидетелем драгоценных выражений русского духа!

— Смотри, как бы без тебя войну не кончили!

— Не беспокойтесь. Лучше скажите мне вот что. Теперь время трудное; одни жертвуют жизнью, другие — знаниями, третьи — корреспонденты, например — поддерживают в публике дух, знакомят ее с ходом военных действий... Ну, а прочие как?

— А тебе зачем нужно знать?

— А хоть бы затем, чтоб познакомить публику с действительным настроением русского общества в настоящую минуту.

— Изволь, братец. А мы... прочие, то есть... как чуть что, сейчас пошлем за ящичком — и деньги готовы!

— За каким же это ящичком?

— А за апчественным. Прежде у нас апчественных денег не было, а нынче — есть. Так заместо того, чтоб со списочком по домам ходить, взял, сколько требуется, из ящичка — и шабаш!

— Оно из общественного-то ящичка ровнее,— пояснил отец Николай.

— Почему же ровнее?

— Чудак ты! Про агличанина знаешь, а этого не можешь понять! Известно, апчественный ящик всех равняет. Там и мой гривенник, и его пятак, и твоя копейка — все там складено! Значит, от всякого и жертва идет, глядя по состоянию.

— Стало быть, вы лично никакой тягости от этих пожертвований не ощущаете?

— Какая тягость! Сказано тебе: со всем нашим удовольствием!

Вот вам факт. Мне кажется, что, при рассмотрении вопроса об русской общине, он должен иметь первостепенное значение!

Удивительное дело! Как только было дано разрешение завести общественные кассы, так тотчас же они получали у нас такое же право гражданственности, как и растрата оных! Это уже не фантазия, не вымысел беспокойного и праздного воображения, а факт. Кассы наполняются, потом растрачиваются... и снова наполняются — какая изумительная, знаменательная и в то же время отрадная настойчивость! Где, в какой стране вы увидите что-либо подобное?

В этих мыслях я незаметно заснул. Да и время было, потому что письмо мое и без того уже вышло из пределов обыкновенной газетной корреспонденции [1].

Я проснулся в десятом часу утра. Горячее солнце стояло уже высоко и обливало желтоватым светом внутренность вагона. Кругом царствовало суетливое движение: пассажиры громко разговаривали, собирая свои пожитки, в виду скорого достижения цели нашего путешествия.

— А вот и наша Рыбна! — весело воскликнул Иван Иваныч, указывая пальцем в окно.

Я потянулся, протер глаза, и, сознаюсь откровенно, первою моею мыслью было воспоминание о взятых у меня десяти рублях.

— Итак,— сказал я,— вы должны мне десять рубликов, почтеннейший Иван Иваныч!

— Христос с тобой! никаких я у тебя денег не брал! Во сне ты это видел.

— Слушайте! это наконец ни на что не похоже! — не на шутку разгорячился я, но тут мой взор случайно упал на полу моего пальто, и все мои опасения мгновенно рассеялись. Вчерашняя моя десятирублевка оказалась пришитою на самом видном месте к поле пальто и так тщательно, что я употребил немало труда, чтоб отшить ее. Разумеется, добродушный хохот моих собеседников оглашал стены вагона все время, покуда продолжалась операция отшивания.

Подхалимов 1-й.

3

От редакции газеты «Краса Демидрона». Сегодня мы получили от нашего дунайского корреспондента следующую телеграмму, которая, мы говорим откровенно, привела нас в некоторое изумление:

---

[1] Напротив того. Чем больше подобных фактов, тем лучше, и мы просим нашего корреспондента не стеснять себя. Но в то же время присовокупляем и другую покорнейшую просьбу: поспешить на Дунай. Примеч. той же редакции. *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

Кинешма (не Кишинев ли?). Сейчас получено известие, что мы перешли через Дунай. Город иллюминован. Отец Макридий сказал приличное обстоятельствам слово. Завидую вам! Ура!

Подхалимов 1-й.

Во-первых, каким образом корреспондент наш мог попасть в Кинешму — мы решительно недоумеваем. Скорее всего мы склонны думать, что следует читать: «Кишинев», превратившийся в Кинешму вследствие одной из тех прискорбных ошибок, от которых, к величайшему нашему сожалению, телеграфное наше ведомство далеко не может считать себя свободным. Во-вторых, предположив даже, что наш корреспондент, вследствие разных замедлений, неразлучных с военным временем, достиг только Кишинева (о Кинешме мы, конечно, и не думаем), каким образом могло случиться, что телеграмма наша попала по назначению лишь через неделю после того, как радостная весть о переходе наших войск у Мачина, а потом и у Систова, уже облетела всю Россию, была опубликована во всех газетах и сделалась драгоценнейшим достоянием всего русского народа?

Все это наводит на весьма невеселые мысли о действиях нашего полевого телеграфного ведомства. Жалобы на его неисправности слышатся не только у нас, но проникли и за границу, что в особенности важно в такую минуту, когда глаза целой Европы устремлены на нас. Мы говорим это не в виде упрека (сохрани нас бог!), но не можем не констатировать факта, который, как он ни прискорбен в данном случае, но все-таки поправим. И мы надеемся, что впредь ничего подобного не случится, ибо мы уже обратились по этому предмету куда следует с ходатайством, которое, конечно, будет уважено, ежели, впрочем, начальство, всегда к нам благосклонное, не найдет более уместным оставить нашу просьбу без рассмотрения.

Вообще, наши военные корреспонденты причиняют нам много забот, а иногда даже служат источником горестного изумления. Конечно, это дело совсем новое, и невозможно требовать, чтоб оно шло как по маслу, но нам как-то особенно не посчастливилось в этом отношении, хотя мы не щадили ни трудов, ни издержек, чтоб прочно поставить это дело на ноги. Наш дунайский корреспондент, очевидно, увлекся. Происходя сам из народа, он последовал за волной народных восторгов и, вероятно, пробыл в Рыбинске более, нежели следовало. Вот отчего он только теперь достиг Кишинева, куда мы, впрочем, вместе с сим посылаем ему дружеское приглашение не медлить

более и постараться, сколь возможно скорее, присоединиться к нашей армии, дабы быть очевидцем предстоящих великих событий. Что касается до нашего малоазиатского корреспондента (Подхалимов 2-й), то об нем мы решительно не имеем никаких известий. 9-го мая мы простились с ним и знаем, что он был совершенно здоров, в полном рассудке, дышал отвагой и оставил нас с твердым намерением выехать в тот же день из Петербурга с последним пассажирским поездом. Знаем еще, что у него есть в Чебоксарах родные, к которым он хотел заехать, но не более, как на один день. Однако с тех пор он как в воду канул. Напрасно мы посылали узнавать на его петербургскую квартиру, потом телеграфировали в Чебоксары, в Тифлис, в Кутаис и наконец в Александрополь — отовсюду мы получили отрицательные ответы. Очень возможно, что он взят в плен, и в таком случае нам приходится только пожалеть об участи талантливого юноши и сотрудника, который нам был особенно дорог своею готовностью выполнять поручения редакции. Как бы то ни было, но это должно объяснить публике, почему наши сведения с малоазиатского военного театра еще слабее, нежели с Дуная.

Надеемся, что читатели не посетуют на нас за это откровенное объяснение. Можем прибавить к этому, что ввиду глубокого интереса, возбуждаемого настоящей войной, мы и еще раз не пожалели трудов и издержек. А именно: отыскали, на замену без вести пропавшего малоазиатского корреспондента нашего — другого, г. Ящерицына, которого испытанное и вполне нам известное проворство не оставляет желать ничего лучшего. Вчера мы лично присутствовали на дебаркадере Николаевской железной дороги при его отправлении и можем сказать с полною уверенностью: он уехал. Таким образом, через месяц, никак не более, читатели наши будут иметь подробнейший выбор самых свежих новостей, почерпнутых прямо из первого источника. При этом считаем нелишним напомнить почтеннейшей публике, что розничная продажа нашей газеты *никогда не была воспрещена, а тем менее приостанавливаемо самое издание газеты,* и что слухи, будто бы мы прекращаем нашу деятельность по недостатку средств,— чистейшая ложь, выдуманная нашими противниками, в видах распространения их вредных и *очень часто недопускаемых к розничной продаже* изданий, что, как известно, при совокупном применении системы предостережения, влечет за собою приостановку оных на более или менее продолжительные сроки, а иногда даже и совершенное прекращение, по усмотрению начальства. А от этого, кроме потребителей розничной продажи, очевидно, страдают и годовые подписчики.

4

Варнавин. Вас, конечно, удивит, что я пишу из Варнавина. Что делать, волны народной восторженности увлекли меня дальше, нежели я предполагал. Впрочем, я из Кинешмы[1] уже телеграфировал вам, что русские войска благополучно переправились через Дунай у Зимницы и еще в каком-то месте — забыл. Следовательно, главное вам известно.

Пожалуйста, извините меня, что я медленно спешу. Действительно, я не поспел к переходу за Дунай, но к переходу через Балканы поспею, это — верно. Впрочем, собственно говоря, ввиду той копеечной платы, которою вы меня награждаете, и извиняться не стоит...[2]

---

[1] Таким образом, помещенная нами в одном из предыдущих нумеров телеграмма г. Подхалимова 1-го разъясняется. Он, действительно, телеграфировал из Кинешмы, а не из Кишинева, и мы глубоко извиняемся перед полевым телеграфным ведомством в той неосмотрительности, с какою поспешили обвинить его в неисправности, в которой оно оказывается совершенно невиновным. Впрочем, с одной стороны, это нас отчасти и радует, так как, по всем вероятиям, и те обвинения против телеграфного ведомства, которые проникли в иностранную печать, окажутся столь же неосновательными, как и наше, и таким образом означенное ведомство выйдет совершенно чистым в глазах просвещенной Европы. Затем, чтоб сложить с себя хотя часть ответственности перед читателями за поступки наших корреспондентов, мы заявляем: 1) что мы не только не одобряем странного образа действий г. Подхалимова 1-го, но даже строго порицаем его; 2) что мы не видим ничего любопытного, ни даже забавного в его корреспонденциях; напротив того, находим их вполне неуместными, и если за всем тем печатаем их, то потому только, чтоб хотя отчасти восполнить издержки, употребленные нами на посылку корреспондентов; 3) что вместе с сим мы вторично и с строжайшею настоятельностью предлагаем г. Подхалимову 1-му прекратить свои блуждания и отправиться на театр военных действий — *немедленно;* и 4) что в этих же видах нами отправлено письмо к г. варнавинскому уездному исправнику, которого мы просим подействовать на г. Подхалимова 1-го путем убеждения, а буде это окажется недействительным, то подыскать на место его кого-либо из местных жителей, оказывающего склонность к правописанию, и немедленно отправить на Дунай, а нам телеграфировать об издержках, которые мы, без упущения времени, с благодарностью возвратим. Примеч. редакции «Краса Демидрона». *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

[2] Это — наглая ложь, за которую мы, по окончании военных действий, непременно призовем г. Подхалимова к суду. Мы платим не по копейке, а по три копейки за каждую строку; сверх того, приняли на себя все путевые издержки, по расчету за место в вагоне 2-го класса, и кормовых по пяти рублей в сутки, за каждый проведенный в пути на месте военных действий день. Примеч. редакции той же газеты. *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

В Рыбинске я пробыл всего три недели и, признаюсь, расстался с моим амфитрионом без особенной горести. Слишком испытательный характер его шуток с каждым днем приобретал все более и более острый характер, так что под конец я не мог без опасения смотреть в глаза будущему. Я не говорю уже о том, что когда всем подавали за обедом уху из живых стерлядей, то для меня, как он сам выражался, специально готовили таковую из *дохлой* рыбы; но были шутки и покрупнее. Так, например, воспользовавшись моим восторженным положением по случаю взятия Баязета, он уложил меня, сонного, в гроб, покрыв старой столовой красной салфеткой и поставив по четырем углам сальные свечи, так что когда я ночью проснулся и увидел себя в комнате одного и в такой обстановке, то чуть в самом деле не умер со страху. В другой раз, воспользовавшись таковым же моим положением по случаю взятия Ардагана, он вывез меня на дрогах в городской лес и бросил в канаву, так что я, будучи пробужден воем собак, должен был для спасения своего лезть на дерево и в другой раз чуть не умер со страху.

Этот последний поступок даже уклончивого отца Николая привел в недоумение (я не обвиняю, впрочем, его за эту излишнюю склонность к дипломатии, потому что в доме Тр. каждую субботу служат всенощные, а это — немаловажное подспорье для причта), так что он сказал в лицо самому Ивану Иванычу:

— Хотя шутка, сударь, вообще не предосудительна, а в некоторых случаях даже приятным развлечением служить может, но в сем разе вы подвергли господина корреспондента опасности быть растерзанным дикими зверьми и тем самым довольно ясно доказали, что пределы невинного препровождения времени преступаются вами без надлежащей осмотрительности!

— Ишь ведь городит! каких ты еще диких зверей в нашем лесу сочинил! — нимало не смущаясь, возразил на это Иван Иваныч.

— Все-таки, сударь! в ином разе и собака, не хуже волка, свою роль сыграет!

— Беду нашел! ведь все равно турки его растреплют — чего ж тут! Еще хуже будет: слыхал, чай, как турки-то с *ранеными* поступают... ах, варвары, прах их побери!

— И на это скажу: неправильно, в предвидении смерти чаемой, а быть может и не неизбежной, подвергать человека смерти определительной и неминуемой. Жестокой ответственности за это подпасть можете.

— «Определительной» да «чаемой» — не умер ведь! Отдышался!

Так-таки и не успел отец Николай довести моего амфитриона до чистосердечного раскаяния!

В заключение всего Иван Иваныч пригласил меня с собой в Нижний, куда он ехал по торговым делам, и высадил ночью, сонного, в согласии с капитаном парохода, на пустынном берегу Волги. Так что я на другой день проснулся, томимый жаждою, под палящими лучами солнца и только от проходящих бурлаков узнал, что нахожусь в семи верстах от Кинешмы. Справедливость, однако ж, требует сказать, что я нашел свой сак в сохранности, и, сверх того, в карманы моего пальто заботливою рукою г. Тр. были положены: булка, кусок колбасы и бутылка водки. Сверх того, я нашел у себя в боковом кармане сторублевый кредитный билет и записку следующего содержания: «прощай, корреспондент!» Однако и этому доброму делу он придал шутовские формы, наделавшие мне немало хлопот, а именно нарисовал на сторублевом билете усы, так что когда я, придя в Кинешму, хотел разменять ассигнацию на мелкие, то меня повели к исправнику в качестве обвиняемого в превратных толкованиях! Исправник же хотя и убедился моими объяснениями в моей невинности, но все-таки отобрал от меня сторублевку да, сверх того, и паспорт, на случай, как он выразился, возникновения обо мне дела, и обязал меня подпискою уведомлять его каждонедельно о своем местопребывании! Вот каковы результаты моей поездки в Рыбинск!

Замечательно легкомыслие людей, подобных моему рыбинскому амфитриону. По-видимому, они набожны, охотно ходят в церковь, служат всенощные, молебны и приносят значительные пожертвования на благолепие храмов, а между тем никто легче их не переходит от набожности к самому циническому кощунству. Случай со мной, как меня уложили в гроб, служит тому очевидным доказательством. И я вполне убежден, что Иван Иваныч даже не понимал, что он кощунствует, а просто полагал, что это такая же «шутка», как и та, которую он дозволял себе, кормя меня ухою из «дохлой рыбы»!

Да, печальна участь русского корреспондента! [1] Мало того что он, подобно американским пионерам, рискует, исследуя

---

[1] Печальна, правда, но вместе с тем и вполне заслужена. Если мы желаем, чтобы нас уважали, необходимо, во-первых, чтоб мы сами выполняли принятые нами добровольно обязанности честно и добросовестно, не ставя лиц ни в чем не виновных в затруднительное положение пред подписчиками, а во-вторых, чтоб мы даже для выражения чувств восторга приискивали более приличные формы, а не впадали в крайности, которые позволяют, без нашего ведома, высаживать нас на пустынный берег Волги! Примеч. редакции газеты «Краса Демидрона». *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

русские дебри, быть растерзанным дикими зверьми — над ним еще всячески издеваются люди, которым, по их богатству и положению, следовало бы стоять на страже отечественной культуры!

За все мое пребывание в Рыбинске случилось одно только замечательное происшествие: битва в клубе, причем враждующие разделились на две партии: одна под предводительством моего принципала (в этом же лагере находился и я), другая — под предводительством одного из здешних сильных мира, статского советника Р. Враждующие стороны давно уже пикировались из-за первенства в клубе и наконец на днях, во время выборов в старшины, когда партия статского советника была торжественно прокачена на вороных, не выдержали. Генеральное сражение устроилось как-то совершенно внезапно. «Наши», по окончании баллотировки, преспокойно расселись за карточные столы, как вдруг разведчики донесли Тр., что в неприятельском лагере происходит какое-то подозрительное движение. И действительно, статский советник совещался в бальной зале с своими акколитами и метал глазами молнии. Убедившись, что нападение должно воспоследовать в самом непродолжительном времени, «наши», не подавая вида, что подозревают что-либо, продолжали сидеть за картами, но между тем приготовились и разослали по домам за подкреплениями. Но и за всем тем положение наше было очень и очень сомнительное, и если бы неприятель сделал нападение немедленно (он сам, по-видимому, не был уверен в своих силах), то весьма возможно, что наше дело было бы проиграно навсегда. Но в этот вечер статский советник делал промах за промахом. Во-первых, он пропустил удобный момент; во-вторых, допустил, что коллежский советник N и отставной ротмистр Ж. ушли домой, и, в-третьих, ворвался в игральные комнаты, не рассчитав, что мы были защищены игральными столами и вооружены подсвечниками. Результат был таков, какого и следовало ожидать. Неприятель был смят в несколько мгновений и бежал с поля сражения, с трудом подобрав своих раненых. С нашей стороны потерь не было, но лицо Тр. оказалось до такой степени испещренным разнообразными боевыми знаками, как будто по нем проехали железной бороной. Я также получил ушиб в левое ухо и в правую скулу, но награды себе за это не ожидаю [1].

---

[1] Сотрудник наш приложил при этом даже план дома, в котором происходило сражение, с обозначением расположения враждующих сторон. Мы, однако ж, не воспроизводим этой карты на страницах нашей газеты и вновь убеждаем г. Подхалимова 1-го, не увлекаясь посторонними предметами, немедленно следовать к месту назначения. Примеч. той же редакции. *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

Еще особенность Рыбинска: тамошние мещанки гораздо охотнее, нежели мещанки других городов Ярославской губернии, назначают на бульваре любовные рандеву. Я сам однажды, в качестве любопытного, отправился, когда стемнело, на бульвар и невольно вспомнил о Немировиче-Данченко. Только его чарующее перо может достойно описать упоительную рыбинскую ночь среди групп густолиственных лип, каждый лист которых полон сладострастного шепота! По уверениям старожилов, любовное предрасположение здешних жителей происходит от того, что они питаются преимущественно рыбою (отсюда и самое название Рыбинск), которая, как известно, заключает в себе много фосфора.

Я и сам получил приглашение на рандеву от некой Аннушки, но остерегся пойти, подозревая в этом новую шутку моего амфитриона. И действительно, я угадал: на другой день отец Николай сообщил мне за тайну, что все это было устроено с единственною целью *помять мне бока!*

Итак, я в Варнавине... [1]

5 [2]

Село Баки (между Варнавином и Семеновым). Итак, я на Ветлуге; расскажу по порядку, каким образом это произошло.

После известного вам рыбинского погрома, будучи высажен с парохода на пустынный берег Волги, я достиг наконец Кинешмы, где и пробыл три дня, во-первых, чтоб отдохнуть, а во-вторых, чтоб покончить неприятное дело о превратных толкованиях, возникшее по поводу злополучной сторублевки, подаренной мне купцом Тр.

Из Кинешмы я хотел отправиться по железной дороге в Москву, дабы оттуда уже безостановочно ехать на Дунай и далее, но вместо того попал на пароход, который нечувствительно привез меня в Юрьевец. Беда была бы, однако ж, невелика, потому что я мог бы доехать этим порядком до Нижнего и все-таки, рано или поздно, добраться до Москвы; но

---

[1] На этом письмо обрывается. Оно не подписано г. Подхалимовым 1-м, но почерк его слишком хорошо знаком нам, чтоб мы могли хотя на минуту усомниться в принадлежности письма именно ему. Примеч. той же редакции. *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

[2] На сей раз мы даже не сопровождаем письма нашего корреспондента никакими комментариями, предоставляя читателям самим рассудить, с каким чувством мы его помещаем. Письма г. Подхалимова становятся, впрочем, короче и короче, что отчасти утешает нас. Примеч. той же редакции. *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

в Юрьевце случился со мною новый казус. Там, как вам, конечно, известно, существуют две пароходные линии: одна идет вниз и вверх по Волге на Нижний и Рыбинск; другая же уклоняется к северу и идет по реке Унже до Макарьева (костромского). Выйдя с парохода погулять, я, ничего не подозревая, попал, вместо нижегородского парохода, на макарьевский и, к великому моему удивлению, на другой день утром очутился в Макарьеве. К счастию, я имею привычку никогда не оставлять моего дорожного сака ни в вагонах, ни в пароходных каютах, и потому все вещи мои оказались налицо. Тем не менее, как я ни оправдывался перед капитаном парохода и даже показывал ему билет, взятый на пароходе до Нижнего, но меня все-таки заставили заплатить за мое невольное путешествие от Юрьевца до Макарьева. Я даже подозреваю, что капитан, в самый момент моего появления на унженский пароход, очень хорошо понимал, что я попал туда ошибкою, но нарочно оставил меня в заблуждении, так как публики по унженской линии ездит мало, и подобные заблуждения, конечно, на руку компании. По крайней мере, некоторые пассажиры мне сказывали, что такие случаи здесь нередки, особливо во время нижегородской ярмарки, когда купцы вообще делаются особенно склонными впадать в заблуждения.

В Макарьеве я пробыл менее суток, и так как был сильно утомлен, то целый день проспал и никаких городских достопримечательностей осмотреть не мог. Вечером, впрочем, отправился в местный клуб, но тут-то именно и случилось фатальное недоразумение. Сторож потребовал от меня рекомендации какого-либо из членов, а я при этом требовании неизвестно почему обробел. Тогда он начал самым наглым образом настаивать, чтоб я предъявил свой паспорт, грозя, в противном случае, дать знать исправнику. Впоследствии я узнал, что эта необыкновенная щепетильность имеет свою законную причину: незадолго перед тем в городе произошло несколько пожаров, причину которых относят к поджогам. Следовательно, теперь появление каждого нового лица в городе поднимает тревогу и возбуждает подозрение, не поджигатель ли. А так как у меня паспорт был отобран еще в Кинешме, то, натурально, я не мог ничего предъявить. Как бы то ни было, я должен был дать гривенник из собственных своих, чтоб только замять это дело, которое могло разыграться тем, что крикни только сторож — и разъяренная чернь меня, человека совсем невинного [1], наверное разорвала бы на части!

---

[1] Но пьяного. Примеч. той же редакции. *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

Ввиду такой перспективы я, даже не возвращаясь на постоялый двор, поспешил выбраться из города и очутился на совершенно незнакомой мне дороге. Я шел наугад целых четыре дня, не зная, куда приведет меня звезда, ночевал большею частью в стогах сена и питался ягодами, которыми, к счастию, здешние леса изобилуют. Но, ах! если бы вы знали, какие это леса! Дремучие, торжественно молчаливые, наполненные всякого рода птицей, зверем и гадом! Изредка только, в перелесках, попадаются небольшие селения, которых я, однако ж, как беспаспортный, старался избегать.

Но, сколько могу судить по мимолетным моим наблюдениям, восторг по случаю войны и здесь не меньший, нежели в прочих местах, где я до сих пор был. По крайней мере, одна старушка, к которой я зашел в избу, чтоб хоть сколько-нибудь подкрепить свои силы горячей пищей (семья была в это время на работе, а она домовничала), узнав, что я — корреспондент газеты «Краса Демидрона», не только накормила меня задаром прекраснейшей глазуньей-яичницей, но и дала мне на дорогу большую лепешку, которая сослужила мне очень-очень большую службу в дальнейшем путешествии. От нее же я узнал, что деревня их Варнавинского уезда и отстоит от Варнавина в сорока верстах. Пользуясь этим случаем, я вздумал кстати собрать несколько небесполезных этнографических данных, которые могли бы мне послужить материалом для характеристики этой местности, и с этою целью вступил в разговор со старушкой.

— Ну, милая старушка! — сказал я,— за хлеб за соль благодарю, а все-таки попрошу тебя и еще одну службишку мне сослужить.

— Какую, кормилец?

— Расскажи ты мне, какие тут у вас есть нравы и обычаи?

— Каким у нас, кормилец, обычаям быть? Известно, летом работаем, весною работаем, осенью работаем, зимою работаем — вот и все наши обычаи здешние!

Более этого я узнать так-таки ничего и не мог, и как ни старался втолковать доброй женщине, что слово «обычай» означает «игры», «песни», «обряды свадебные и похоронные» и проч., но она уперлась на своем, что никаких обычаев у них нет, кроме одного: и летом, и зимой, и осенью, и весной — все работают. К довершению всего, когда я собрался в путь, она бросилась ко мне в ноги и стала умолять, чтоб я попомнил ее хлеб-соль и не «трогал» их деревни. Представьте! она приняла меня за поджигателя!

Ровно через сутки я очутился в виду Варнавина, да и пора была, потому что ноги у меня ужасно отекли и распухли. Вар-

навин — довольно чистенький городок на Ветлуге, при впадении в нее Лапшанги. Я пришел туда хотя под вечер, но еще не поздно; однако на улицах было до того пустынно, что самые дома в изумлении, что раздались чьи-то шаги, казалось, спрашивали: кто здесь блуждает? Насилу нашел постоялый двор; разумеется, сейчас же снял сапоги, напился сквернейшего чаю и заснул, как убитый. На другой день, проснувшись довольно рано, хотел осмотреть достопримечательности города — не тут-то было! Представьте! и здесь на днях было несколько пожаров, и здесь ходят слухи о поджогах, так что внезапное появление мое пешком и неизвестно откуда окончательно всполошило и полицию, и обывателей. И вот, в то самое время, как я писал мое предыдущее письмо к вам, вдруг возник вопрос о паспорте, и я вновь должен был мгновенно исчезнуть... что я и сделал, оставив на столе два двугривенных для расплаты с хозяином за постой.

Вот почему мое последнее письмо к вам осталось недописанным, а совсем не потому, чтоб я был *нездоров,* как вы, быть может, предположили. Люди вообще склонны делать слишком скорые заключения в ущерб своим ближним, а редакторы газет в особенности. Но опыт доказывает, что очень часто подобные заключения оказываются не только преждевременными, но даже и вполне неосновательными!

Итак, я в самом центре Ветлужского края. Баки — довольно большое село, стоящее на крутом берегу реки Ветлуги. Здесь дорога из Семенова (Нижегородской губернии) разветвляется: одна ветвь идет на север, через Варнавин до города Ветлуги, а может быть, и дальше, другая — поворачивает на восток, на Яранск и Вятку. Баки принадлежали прежде...[1]

6

От редакции газеты «Краса Демидрона». Сегодня мы опять получили телеграмму от нашего дунайского корреспондента, весьма странную телеграмму, которую, однако ж, не считаем нужным скрывать от наших читателей, дабы они могли видеть сами, какими неожиданными результатами увенчались наши старания удовлетворить справедливым требованиям публики, по случаю настоящих военных обстоятельств. Вот эта телеграмма.

---

[1] И это письмо не дописано... вероятно, тоже по случаю паспорта?! Примеч. той же редакции. *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

Козьмодемьянск. 20-го июля. Наши войска перешли за Балканы. Ура генералу Гурко! Всеобщий восторг. Пью за ваше здоровье, Аннушка (не понимаем!). Кажется, успел напасть на следы Подхалимова 2-го, который три дня тому назад был здесь. Подробности почтою.

Подхалимов 1-й.

Таким образом, есть признаки, свидетельствующие, что и малоазиатский наш корреспондент совсем не попал в плен, как мы первоначально полагали, а просто-напросто запутался в Чебоксарах... Будем ожидать дальнейших разъяснений!

7

Васильсурск. Я вышел из Баков с такой поспешностью, что даже птицы дивились быстроте моих ног. Представьте! оказалось, что хотя в Баках и не было в настоящем году пожаров, но так как таковые были во всех ближайших селениях, то у меня до такой степени настоятельно потребовали паспорта, что я должен был скрыться, не допив стакана чаю, лишь бы не быть арестованным!

Хотя из Баков идет прямая дорога на Семенов, но я предпочел следовать берегом реки Ветлуги, тем больше что незадолго перед тем прочитал роман Печерского «В лесах» и знал, что этим путем попаду в село Воскресенское, где могу полакомиться отменными ветлужскими стерлядями. Я не стану описывать восторгов, происходящих в этой местности по случаю военных обстоятельств: они везде одинаковы. Замечу, однако ж, что все описанное г. Печерским в его романе я нашел здесь налицо и в полной исправности. Не успел я пройти несколько верст от Баков, как на меня напала «стрека» и чуть не заела. Из Воскресенского, наевшись до отвала в тамошнем трактире отличнейшей стерляжьей ухи, зашел в женский раскольничий скит, где нашел все совершенно так, как описывается у г. Печерского. В горницах «матери» угощают макарьевского исправника провесной белорыбицей и переславскими копчеными сельдями, а в это время в подполье сидит старец и делает фальшивые ассигнации. И меня приглашали заняться этим выгодным ремеслом, но я, понимаете, отказался и, поев в келарне пухлых скитских блинов, отправился далее.

«Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается» — эта пословица с буквальною точностью осуществилась на мне. Целых две недели бродил я по Ветлуге, но где бродил и что видел — хоть убейте, сказать не могу. Знаю, что видел множество мест, укрепленных самою природою, и бесчисленное ко-

личество болот, которые тоже могут служить отличнейшею защитою. И больше — никс!

Странное свойство этой местности! Еще про покойного П. И. Якушкина рассказывали, что он целых два года ходил по Ветлуге, в качестве собирателя этнографических материалов, и когда его впоследствии спрашивали, что он заметил, то он отвечал: забыл! То же самое повторилось и со мною. Где был, что видел, об чем говорил — ничего не помню! Хотя же выше я и написал вам о «стреке» и о воскресенских стерлядях и о житье-бытье в скитах, но не могу ручаться, что все это было на деле, а не есть последствие недавнего прочтения романа «В лесах». Одним словом, Ветлуга — это наша русская Лета, в волнах которой никому безвозбранно окунуться не дозволяется.

Наконец я дошел до Волги, сел на пароход, и на сей раз удачно, потому что попал не в Козьмодемьянск, а в Васильсурск, то есть прямо по направлению к дунайскому театру войны, от которого до сих пор так настойчиво отдаляли меня тысячи мелких случайностей. Я знаю, что мне следовало бы ехать прямо в Нижний (тем более что там началась уже ярмарка, и в Кунавине можно было бы собрать громадный материал для бытовых сцен), но что хотите! отец Николай сказал правду, что плоть человеческая немощна; я вспомнил о знаменитых сурских стерлядях и решился побывать в Василе... впрочем, только от парохода до парохода [1].

Васильсурск — очень хорошенький городок, стоящий на возвышенном берегу Волги, при слиянии ее с Сурой, от чего произошло и самое наименование его. По календарю Суворина в нем значится жителей 2507 душ обоего пола, но мне кажется, что я в одних трактирных заведениях насчитал в разное время больше (впрочем, очень возможно, что это были одни и те же лица, приходившие пить чай по нескольку раз). На столбе, врытом у почтовой станции, значится: от С.-Петербурга 1186, от Москвы 582, от Нижнего Новгорода 112 верст. Плата за телеграммы взимается в обе столицы одинаковая: один рубль; но международной корреспонденции нет, так что если бы вам вздумалось, например, телеграфировать мне по-французски, то, извините, мы этого диалекта не понимаем! Еще особенность Васильсурска: он лежит под 56°8′ северной широты и под 63°40′ восточной долготы. Будущность, ожидающая этот город,— громадная, особливо когда проведут отсюда железный путь до Алатыря (Симбирской губернии), а отсюда, через Котяков, до Пензы. Тогда весь хлеб сур-

---

[1] Отчего же не подольше? Примеч. той же редакции. *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

ского бассейна пойдет сюда, и моршанско-сызранской дороге — капут; так, по крайней мере, при мне говорили посетители трактира, в котором я ел знаменитую сурскую уху.

Как ваш корреспондент, я счел нелишним представиться здешнему инвалидному начальнику, который очень любезно меня принял, представил меня своей супруге и показал свою команду [1]. Ах, что это за бравый, бодрый, отличный народ! Все (их было пять человек) [2] как на подбор один к одному — молодцы! Коренастые, кровь с молоком — заглядение! Поздоровкавшись с ними как следует (начальник [3] показывал мне их в манеже), я обратился к ним с вопросом:

— А что, ребята, горите желанием сразиться с врагом?

— Га-а-рр-ы-им, ваше калеспандентное ва-ше-ство! — грянули в ответ молодцы, как из пушки.

— И скоро вы выступаете в поход? —обратился я к начальнику.

— Как скоро, так сейчас! — ответил он мне.

Итак, в поход. Мы еще не за Балканами, но с такими молодцами будем там скоро; это не подлежит никакому сомнению [4]. Возвращаясь из манежа домой, мы были застигнуты в дороге таким проливным дождем, что буквально на нас не осталось ни одной сухой нитки. К тому же порядочно уж стемнело, и грязь на улицах сделалась непролазная (здесь начало черноземной полосы, этого неисчерпаемого золотого дна России). К несчастию, я еще упал, и таким образом, измокшие, все в грязи, мы явились обратно. Миловидная супруга начальника очень смеялась, увидя нас в этом непривлекательном виде, но амфитрион мой сердито заметил:

— Чем смеяться-то, лучше бы велела подать гостю сухое белье!

Через несколько минут я был уже переодет: в сухом белье и турецком халате. В этом виде любезный начальник повел меня к своей супруге (я протестовал, но он так убедительно просил не церемониться, что я вынужден был покориться), которая, увидев меня в моем импровизированном костюме,

---

[1] Вот до чего велико невежество нашего корреспондента: он не знает даже, что инвалидные команды давно упразднены. Впрочем, для нас это дело ясное; вероятно, г. Подхалимов 1-й опять попал в гости к новому Ивану Иванычу Тр., и тот показал ему, под видом инвалидной команды, своих переодетых приказчиков! То же. *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

[2] Так и есть, приказчики. Слыханное ли дело, чтобы инвалидная команда состояла всего-навсего из пяти человек? То же. *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

[3] То есть васильсурский Иван Иваныч Тр , и не в манеже, конечно, а в каком-нибудь порожнем сараишке. То же. *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

[4] Уж давно там... пьяница! То же. *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

сейчас же прозвала меня злым турком, а потом, когда хозяин дома на минуту отлучился из комнаты, потихоньку сказала мне, что это халат ее мужа, и что я в нем так похож на него, что... К сожалению, она не докончила, потому что в эту минуту вошел слуга с самоваром.

Налили чай, в который я, для вкуса, подбавил рюмочку рома [1], и затем беседа наша пошла далеко за ночь. Обсуждали военные действия, сперва на малоазиатском театре, потом на дунайском, и, по совести, нашли более поводов для одобрения, нежели для порицания. Впрочем, вы и сами по опыту знаете, какое живительное влияние оказывают на беседу вовремя и у места проглоченные две-три рюмки ямайского! [2]

В заключение гостеприимный хозяин велел сервировать скромную закуску и две полубутылочки холодненького [3], которые мы и распили за здоровье храбрых русских воинов.

Когда я встал наконец, чтоб проститься, мой амфитрион крепко пожал мне руку и просил не забывать его. На это я ответил, что корреспонденты никогда ни одного проглоченного куска не забывают, и сослался на пример малоазиатского корреспондента «Северного вестника», который перед лицом всей России дал клятву вечно хранить благодарное воспоминание о радушном приеме, оказанном ему кутаисским бомондом. Еще бы! кормили шемаей. поили кахетинским — и это забыть!

Да, воспоминание о Васильсурске будет до гроба жить в моем благодарном сердце! Во-первых, от меня не потребовали паспорта, а во-вторых, не только не «пошутили» надо мной [4], но обласкали и накормили меня совершенно серьезно, как следует. Согласитесь, что это не везде и не со всяким бывает!

Возвратясь на постоялый, засел за корреспонденцию, но, признаюсь, до того устал, что дальше продолжать не могу; совсем глаза слипаются. Прощайте; иду спать, и, наверное, засну как убитый. Но завтра, в пять часов утра — в Нижний! и на этот раз уж вернее смерти! [5]

Подхалимов 1-й.

---

[1] Не десять ли? То же. *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

[2] Отроду, кроме квасу, ничего не пивали! То же. *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

[3] Не двадцать ли две, и притом не шампанского, а ерофеича? То же. *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

[4] А мы так крепко в этом сомневаемся, хотя, конечно, шутки васильсурского Ивана Иваныча носят более гуманный характер, нежели шутки Ивана Иваныча — рыбинского. То же. *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

[5] Поехал в Нижний, а попал в Козьмодемьянск, как доказывает вчерашняя телеграмма, извещающая о переходе через Балканы. Посмотрим, чем-то кончится эта новая Одиссея?! То же. *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

P. S. Чтоб окончательно успокоить вас насчет непременного моего отъезда в Нижний, спешу прибавить, что сам здешний представитель военной власти взялся устроить мне место на пароходе, отправляющемся в пять часов. За час перед отплытием он пришлет на постоялый одного из своих юных героев, чтоб разбудить меня. Следовательно, вы можете быть спокойны: все заранее так комбинировано, что я даже проспать не могу. Разве что сон какой-нибудь чересчур уж веселый увижу, вроде, например, того, что вы решились копейку на строчку прибавить мне... Но нет — этого даже и во сне не увидать!

8[1]

Чебоксары. Даже не извиняюсь перед вами — надоело. Вчерашний амфитрион мой, вероятно, рассудил, что через Васильсурск можно ехать только на малоазиатский театр войны, и потому взял билет на пароходе, идущем в Казань. А я не справился,— вот и вся моя вина! Знаю, что подобные qui pro quo[2] не всегда уместны, но на практике они бывают очень назидательны. Едешь час, едешь другой, думаешь: вот сейчас будет Лысково — и вдруг Козьмодемьянск! Удивительный переворот в мыслях производят подобные неожиданности!

Однако в сторону все это. Главное: я отыскал *Подхалимова 2-го!!*

Вот как было дело. Узнав на пароходе, что наши перешли через Балканы, я воспользовался остановкой в Козьмодемьянске, чтоб поделиться с вами этою радостью. Прихожу на телеграфную станцию, подаю телеграмму, настаиваю, чтоб ее поставили на аппарат немедленно, при мне — и вдруг телеграфист говорит мне:

— А вчера точь-в-точь такую телеграмму и в ту же газету подавал у нас один господин.

---

[1] Мы беспрерывно получаем письма от наших подписчиков, в которых последние укоряют нас за то, что мы, вместо действительных известий с театра войны, печатаем какую-то фантастическую дребедень. Просим, однако ж, войти в наше положение. В свое время мы сделали все зависящие распоряжения, чтоб получать самые свежие и точные сведения с обоих театров войны, и, положа руку на сердце, можем сказать, что не щадили при этом ни трудов, ни издержек. Предприятие это нам не удалось — это правда; но нужно же нам вознаградить себя хотя за понесенные издержки, не говоря уже о трудах!! То же. *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

[2] недоразумения.

Разумеется, интересуюсь, расспрашиваю и получаю в ответ: черноватенький (он!), небольшого роста (он!), шадровитый из лица (тысячу раз он!).

— И чудной господин! — прибавляет телеграфист,— точно во сне ходит (опять-таки он!). Подал, это, телеграмму и говорит: «Зачем я, однако, в Козьмодемьянск приехал?» Вам, говорю, лучше это знать! «Да в Чебоксарах ведь есть своя телеграфная станция?» Есть, говорю. «Ну, так, говорит, лучше из Чебоксар отправлю». Взял назад и уехал [1].

Он! он! он! В Чебоксарах — это верно!

Покуда я таким образом беседовал, наш пароход ушел; но я уже не жалел о потерянных деньгах за место, взятое до Казани, и думал лишь о том, как бы с будущим пароходом опять не вышло ошибки, и мне, вместо Чебоксар, не пришлось воротиться в Васильсурск!

На этот раз, однако, обошлось благополучно. Проходит два часа — и Чебоксары уже в виду. Пристаем; я выхожу на берег и спешу в первый попавшийся на глаза трактир.

— Подхалимов-второй! ты?

— Я!

— Какими судьбами? У родственников, что ли, загостился? Помнится, ты говорил, что у тебя в Чебоксарах родные живут? [2]

— Какие, брат, к черту, родственники! разве у Подхалимовых бывают родственники!

Слова эти опечалили меня. Горемычные мы, Подхалимовы, в самом деле, люди! Без роду, без племени (все-то мы растеряли!), шатаемся из трактира в трактир, разыскивая, где бы хоть крошечку приютиться! Выйдет местечко — не успеешь и оглянуться, смотришь — и опять чем-нибудь не потрафил! Неуживчивы мы, мятежа в нас много — вот оно что! Но, с другой стороны, кабы не было этого мятежа — что̀ бы поддерживало нас? Вот и вы, поди, теперь думаете: беспременно я этому Подхалимову-первому, за его неисправности, от места откажу! Что ж! откажите! [3]

— Что же такое случилось? деньги, что ли, потерял?

— Деньги потерял, паспорт потерял — это само собой! А главное, штучка у меня тут завелась.

---

[1] Вот до чего может довести неумеренное употребление алкоголя! То же. *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

[2] И нас в том удостоверил, а на поверку выходит, что имел в предмете прелюбодеяние!! То же. *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

[3] И откажем! И не только Подхалимову 1-му, но и Подхалимову 2-му! В этом читатели наши и сомневаться не должны! То же. *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

— Гм!.. штучка! Интересно, брат, интересно!

— Да что! бестия, брат! то есть такая выжига, что боже упаси!

— Как же ты на нее напал?

— А знаешь Василия, который в гостинице «Москва» половым служил, ну, так это — его сестра. Сам-то он из черемис, а Чебоксары, это — столица черемисская. Когда я отправлялся под Карс-то, вот он и говорит мне: будете, говорит, мимо наших местов ехать, так потрудитесь сестрице писемцо да пять рублей денег отдать...

— Что ж, хороша, по крайней мере?

— Рассыпчатая!

— Девица?

— Замужем. И сама — бестия, и муж шельма. Застал я их в лачуге, с голоду мрут, а теперь — распивочную продажу открыли!

— Эге! так вон куда корреспондентское-то содержание ушло! [1]

— Туда. Сперва все наличные из меня высосали, а потом и векселя в ход пошли. Сколько я этих векселей надавал — страсть!

— Ничего, друг: бог милостив! Напишем в редакцию «Красы Демидрона» слезное прошение — выручат! [2]

Однако он усомнился в этом и стал доказывать, что редакция нисколько не причастна его злоключениям; что она и без того не щадила ни трудов, ни издержек, чтоб удовлетворить справедливым требованиям публики, и что, следовательно, было бы в высшей степени несправедливо привлекать ее к ответственности по такому делу, которое не подходит прямо к программе газеты, как издания литературного, политического и ассенизационного, но не прелюбодейственного. Я, конечно, не мог внутренно не согласиться с его доводами, но все-таки, чтоб окончательно не обескуражить его, некоторое время поддерживал мой тезис, хотя, признаюсь, довольно слабо.

— Но, по крайней мере, ты хоть пожуировал! — наконец сказал я, чтоб переменить разговор, принимавший чересчур печальное направление.— Ведь эти «штучки», коли они захотят... секретцы у них.

---

[1] Да-с, вон оно куда! Мы не щадим ни трудов, ни издержек, имея в виду полезные цели, а вместо того наши деньги оказываются косвенным орудием для приведения в исполнение постыдных предприятий! То же. *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

[2] Непременно! после дождичка в четверг! То же. *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

— Ни-ни! — воскликнул он с необыкновенною живостью.

Я был ошеломлен.

— Ну, брат, это уж совсем глупо!

— В том-то и дело, что изгибы человеческого сердца... очень, брат, это мудреная штука! — отвечал он печально,— она-то, по-видимому, не прочь, да бестия муж так и вертится... А впрочем, может быть, и она... шельмы они оба, это — вернее!

Мы умолкли: обоим нам было тяжело. Ему — потому, что встреча со мной заставила его опомниться и обнаружила во всей наготе пропасть, зиявшую под его ногами; мне — потому, что и надо мной начинали тяготеть смутные предчувствия чего-то недоброго.

— Сколько-нибудь, однако, осталось у тебя денег? — первый я прервал молчание.

Вместо ответа он выложил на стол желтенькую и, обращаясь к служителю, скомандовал:

— Гарсон! полштофа очищенной... живо!

Это был крик отчаяния, который меня глубоко взволновал.

— Спрячь этот последний ресурс! — вскричал я,— я плачу за все! И сверх того... могу даже рубликов двадцать пять уделить тебе... идет?

Он крепко пожал мою руку.

— Извини, что не больше; сам знаешь, впереди предстоит еще Дунай — дорога не близкая!

Но он только горько усмехнулся в ответ и запел:

— Ах, Дунай ты мой, Дунай!
Сын Иванович Дунай!

— Погодим, брат, и в Чебоксарах! — прибавил он с фаталистическою уверенностью поклонника ислама.

— Ну, нет, друг,— это — ни-ни! Я тово... я — непременно! Нынче же ночью, вот только дождусь парохода — и сейчас! И прямо так-таки, нигде не останавливаясь,— на Дунай [1].

Уверенный тон, которым я выразил мое намерение, по-видимому, ободрил и его.

— А сем-ка и я в Малую Азию хвачу! — воскликнул он весело,— авось-либо до Самары доеду!

— Хватим, друг!

---

[1] Не трудитесь, сделайте милость! Лучше в Кинешму съездите да паспорт выручите! То же. *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

Увы! Это было только «пленной мысли раздраженье»! Через минуту он уже опять опустил голову.

— Нет, голубчик! — сказал он уныло,— теперь мне остается только об одном бога молить: чтоб меня отсюда куда ни на есть по этапу выслали [1]. Да куда выслать-то, вот — вопрос! Где моя родина? Где мое местожительство? В «Старом Пекине»? В гостинице «Москва»? Вот уж подлинно: бегаем мы, корреспонденты, и «града неведомого взыскуем».

— Кстати! скажи, пожалуйста, как это ты паспорт потерял?

— Да так вот: купаться в Волге вздумал. Признаться, выпито несколько было — вот и приди мне в голову дикая мысль: украдут, мол, у тебя этот самый паспорт, ежели ты его на берегу оставишь! Ну, разделся, положил его под мышку да как поплыл — совсем и забыл; смотрю, в стороне какая-то бумажка плывет! Ан это он и был! Исправник уж раз десяток присылал, никаких резонов не принимает — наверняк этапом кончится! Впрочем, что все обо мне да обо мне — ты как, вместо Дуная, в Чебоксары попал?

Я рассказал подробно все, что вам уже известно из моих писем. История вышла тоже невеселая, но некоторым эпизодам ее мы все-таки искренно посмеялись [2]. Когда я кончил, он сравнил мое положение с своим (относительно редакции «Красы Демидрона») и нашел, что я все-таки могу оправдаться перед редакцией довольно прилично [3].

— Ты, по крайности, все-таки какую ни на есть корреспонденцию посылал,— сказал он — тогда как я... Ведь я, брат, даже весточкой о взятии Ардагана не поделился!

— Неужто?

— Да, брат. То есть я-то, собственно, не преминул, да она... шельма! Позвольте, говорит, я сама на станцию снесу... А после оказалось, что и телеграммы не послала, да и целковый мой рубль как пить дал!

— Так знаешь ли что? Право, уедем отсюда вместе! Я тебя до Самары провожу, потому что мне все равно: я и через Моршанск по железной дороге на Дунай попаду! Едем! Прямо вот из трактира пойдём на берег, и как только причалит пароход — фюить!

Он на минуту задумался, но потом — только рукой махнул.

---

[1] Так непременно и будет. То же. (*Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.*)

[2] Веселые люди! даже в столь несомненно критических обстоятельствах — и то находят повод для смеха! То же. (*Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.*)

[3] Никогда! Lasciate ogni speranza! То же. (*Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.*)

— Нет, брат, alea jacta est! [1]. Пускай свершится! А вот что лучше: не раздавим ли вместе еще посудинку?

Сначала я было согласился, но потом вспомнил, что вы будете, пожалуй, сердиться, если узнаете об этом,— и отказал наотрез [2].

— Ну, в таком случае, пойдем ко мне! — предложил он,— я тебя с нею познакомлю...

Признаюсь откровенно: искушение было велико. Я люблю женский пол и с трудом отказываю себе в сближении с ним, если представляется к тому случай... Но голос рассудка и на сей раз восторжествовал. Я вспомнил, как вы, отпуская нас на театр войны, настаивали, чтоб мы не задерживались на пути без надобности,— и дрогнул. К тому же я рассчитал, что деньги, данные вами, еще все налицо, да пожалуй еще, благодаря щедрости Ивана Иваныча Тр., и небольшой прибавочек есть, и ужаснулся при мысли, что такая сравнительно значительная сумма, без всякой пользы для «Красы Демидрона», утонет в зияющей бездне разврата! [3]

Он угадал мои мысли и одобрительно покачал головой.

— Ты поступаешь правильно,— сказал он, вставая,— исполни свой долг перед «Красой Демидрона», а меня предоставь моей злосчастной участи!

— Бедный друг!

Я отсчитал ему обещанные двадцать пять рублей, прибавил еще от себя пятирублевку, после чего он взял шапку и удалился. Затем я потребовал себе отдельную комнату, чтоб заняться корреспонденцией, но едва лишь расположился писать, как он опять возвратился в трактир.

— Возьми назад свои двадцать пять рублей, с меня и синюги довольно! — сказал он, по-рыцарски кладя деньги на стол.

Я, разумеется, протестовал, но он остался непоколебим.

— Все равно, сколько бы у меня ни было денег — их отнимут! — повторял он уныло.

Благородный, честный друг! Высказавши все это, он быстро повернулся и направился к двери, но на сей раз я сам уже воротил его.

— Позволь! расскажи мне, каково здесь народное настроение? — спросил я.

— Восторг всеобщий!

---

[1] жребий брошен!

[2] Ах, господа, господа! Не в том дело, что вы при свидании выпили. И выпить и закусить можно, да в меру, в меру, в меру! То же. *(Прим. М. Е Салтыкова-Щедрина.)*

[3] Насилу-то догадались! То же. *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

— А здешняя инвалидная команда? надежна?

— Молодцы! один к одному, как на подбор! Не крупные, но коренастые, кровь с молоком — загляденье! Так и рвутся!

Он постоял немного и с горькой усмешкой прибавил:

— А вот мы с тобой — свиньи!

— Это почему?

— То есть не мы одни, а вообще... Сидим в укромном месте, галдим: ату его! ребятушки! не выдавайте! Гнусно, любезный друг!

— Ну, нет, с этим я не согласен! Природа поступила мудро, предоставив одним возбуждать патриотический дух, а другим — применять этот дух на практике!

— Ладно, брат! Рассказывай по понедельникам!

На этом мы расстались. Я сошел с крыльца, чтоб проводить его, и долго следил глазами, как постепенно утопала его колеблющаяся фигура во мраке сгустившейся ночи, а наконец и совсем пропала за углом соседнего переулка.

«Благородный, бедный друг! — говорил я себе,— ты просишь у судьбы, как милости, чтоб тебя отправили по этапу — и кто знает? Может быть, вскоре получишь желаемое!»

После того я окончательно уселся за писание, но долгое время воспоминание о погибающем русском корреспонденте преследовало меня [1]. Знаю, что следовало бы сказать что-нибудь о Чебоксарах, но, по настоящему позднему времени, могу сказать лишь кратко: это — дрянной и грязный черемисский городишко, стоящий на высоком берегу Волги. По Суворинскому календарю (который, кстати, очень мне помогал в моих статистических исследованиях), жителей только всего 3564 человека обоего пола. Однако если бы выстроить там крепость, то, с стратегической точки зрения, вышел бы второй Гибралтар, за исключением, разумеется, пролива.

В ту минуту, как я дописываю эти строки, бьет два часа, и я слышу приближение парохода. Пыхтит, шумит, свистит... На Дунай! [2]

Подхалимов 1-й.

9

От редакции газеты «Краса Демидрона». Предчувствия не обманули нас: Одиссея господ Подхалимовых кончилась, и, кажется, весьма для них неблагополучно. Сегодня мы получили

---

[1] А кто виноват? То же. *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

[2] А мы так думаем, что вы преспокойно останетесь в Чебоксарах, влекомые страстью к женскому полу, а ежели и попадете куда-нибудь, то не на Дунай, а в укромное место, чем ваша Одиссея и кончится. То же. *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

от г. чебоксарского уездного исправника официальную бумагу, из которой видно, что в Чебоксарах пойманы двое беспаспортных бродяг, по фамилии Подхалимовы, которые называют себя корреспондентами «Красы Демидрона». Разумеется, мы поспешили сообщить все, что нам известно об этих господах, но при этом, конечно, не упустили определить с точностью наши отношения к ним, дабы отстранить от себя всякую прикосновенность к этой неприятной истории.

Вообще нам не посчастливилось с корреспондентами. Г. Ящерицын, посланный на малоазиатский театр войны, вместо г. Подхалимова 2-го, тоже изменил нам: из полученного сегодня письма его видно, что он принял место квартального надзирателя в Сызрани и уже вступил в отправление своих обязанностей. Новая, чувствительная потеря для нас, ибо и г. Ящерицына мы снабдили и подъемными, и поверстными, и кормовыми деньгами. Будем надеяться, однако, что он возвратит нам забранное, тем более что место квартального надзирателя в Сызрани, знаменитой своей обширной хлебной торговлей,— весьма и весьма небезвыгодное.

За всем тем мы продолжаем не щадить ни трудов, ни издержек для удовлетворения наших подписчиков. На днях мы опять приусловили двоих талантливых молодых людей: г. Миловзорова и г. Прелестникова, и уже отправили первого за Дунай, а второго — в Малую Азию. Оба они из архиерейских певчих, обладают прекрасными голосами (следовательно, могут, при случае, обучать болгар и прочих единокровных партесному церковному пению) и чрезвычайно солидного характера. Мы не станем уверять, что они совсем не пьют, но, кажется, не ошибемся, ежели скажем, что они пьют — в меру. Рюмка, две рюмки, три рюмки — не больше.

IV. ДВОРЯНСКИЕ МЕЛОДИИ

Я — человек отживающий. Расстояние, которое мне остается пройти, так невелико, что мысль об итоге невольно закрадывается в голову. И вот, по размышлении, оказывается, что итог этот может быть формулирован в следующих немногих словах: ни зла, ни добра...

Не скрою, бывают минуты, когда такая краткословность моего кондуитного списка довольно-таки больно щекочет мою совесть. Есть в ней что-то обидное, отзывающееся какою-то мертвенною бесформенностью. Положим, это еще ничего, что я

в сражениях не бывал, никого не изувечил и даже пороху не выдумал, но каким образом объяснить, что вообще никаких «поступков» за мною не числится? Вялость и хворость — вот и все. Именно хворость, потому что недугу, из которого в виде итога вырастает сознание: «ни зла, ни добра» — даже названия не подберешь. Острых болей нет, а постоянно как будто разнемогаешься.

Тем не менее, когда, движимый инстинктом самооправдания, я начинаю вглядываться пристальнее в то положение, которое создали для меня обстоятельства (я совершенно искренно думаю, что личное мое участие в этом деле далеко не существенно), то в конце концов прихожу к заключению, что есть, однако ж, почва, на которой я довольно прилично могу примириться с встревожившеюся совестью. Нет деятельного, торжествующего зла: право, и это не безделица! Конечно, это не бог знает какая «почва», а скорее соломинка, но, в качестве человека отживающего, человека иных песней и иных традиций, я хватаюсь за эту соломинку и возлагаю на нее великие надежды.

Мы переживаем время, которое несомненно представляет замечательно полное осуществление ликующего хищничества. Бессовестность, заручившись союзом с невежеством и неразвитостью, выбросила на поверхность целую массу людей, которые до того упростили свои отношения к вещам и лицам, что, не стесняясь, возводят насилие на степень единственного жизненного регулятора. Может быть, я ошибаюсь, но думаю, что такого нагло-откровенного заявления «принципий» давно не бывало. Прежде, даже в среде самых отпетых людей, можно было изредка расслышать слова вроде: великодушие, совесть, долг; нынче эти слова окончательно вычеркнуты из лексиона торжествующих людей. Прежде люди, сделавши пакость, хотя и пользовались плодами ее, но молились богу, чтоб об ней не узнали; нынче — богу молиться вообще не принято, а краснеют по поводу затеянной пакости только тогда, когда она не удалась. Весьма возможно, что в этой темной оценке современности (то есть торжествующей ее части) очень значительную роль играет мое личное чувство — чувство отживающего человека; но, во всяком случае, я делаю ее *искренно* и затем предоставляю читателю самому распутывать, сколько из приведенной выше характеристики принадлежит брюзжанью усталого старика, и сколько — действительности.

Но если даже такое простое слово, как «совесть», оказывается слишком тяжеловесным для современных диалогов, то какое же значение могут иметь слова более мудреные, как, например: любовь, самоотверженность и проч.? Очевидно, что

единственная оценка, на которую в этом случае можно рассчитывать, это — хохот. Что-то отрепанное, жалкое, полупомешанное представляется: не то салопница, не то Дон-Кихот, выезжающий на битву с мельницами. И всем по этому поводу весело; все хохочут: и преднамеренные бездельники, и искренние глупцы.

Этот хохот наполняет сердце смутными предчувствиями. Сначала человек видит в нем не более как бессмысленное излияние возбужденных инстинктов веселонравия, но мало-помалу он начинает угадывать оттенки и тоны, предвещающие нечто более горькое и зловещее. Увы! подобные предчувствия редко обманывают. Хохот сам по себе заключает так много зачатков плотоядности, что тяготение его к проявлениям чистого зверства представляется уже чем-то неизбежным, фаталистическим. Одним простым хохотом Дон-Кихота не проймешь, да он и не удовлетворяет и самого хохочущего. Является потребность проявить себя чем-нибудь более деятельным, например: наплевать в лицо, повалить на землю, топтать ногами. Конечно, все эти действия могут быть производимы и самостоятельно, но несомненно, что чаще всего они представляют собой видоизменения хохота и, так сказать, естественное его развитие. Поэтому, ежели вам на долю выпало несчастие случайно или неслучайно возбудить хохот толпы, то бойтесь, ибо хохот не только не противоречит остервенению, но прямо вызывает его.

Как бы то ни было, но я могу об себе сказать смело, что проявления совести, самоотверженности и проч. никогда не возбуждали во мне позыва к хохоту. Напротив того, я относился к ним скорее благосклонно или, лучше сказать, опрятно... хотя и бессильно. Я понимаю, разумеется, что бессилие очень мало украшает человека; но поставьте все-таки мою страдательную опрятность рядом с теми деятельными формами и видоизменениями хохота, на которые я сейчас указал, и едва ли не придется согласиться, что в известной обстановке самое воздержание может претендовать на название заслуги. Притом же хохот не только жесток, но и подозрителен или, лучше сказать, придирчив. Преследуя непосредственно Дон-Кихота, он придирается и к стороннему человеку: а ты что рот разинул? Он не терпит никакой неясности, и ежели до поры до времени позволяет воздержанию прозябать в темном углу, куда загнал его испуг,— то именно только до поры до времени и притом в виде беспримерного снисхождения. Наступит момент, когда он прямо потребует, чтоб вся наличная армия, и старые и малые, и сильные и хилые, были в строю, чтоб все нижние чины до единого смотрели не кисло, а бодро, весело и решительно. Это

будет минута тяжкая и решительная. Человек недоумения, человек, жизненный девиз которого исчерпывался словами: ни зла, ни добра, вдруг очутится если не прямо в положении кознодействующего Дон-Кихота, то, во всяком случае, в положении его попустителя. Покончивши с Дон-Кихотом, и бессильного человека выведут пред лицо хохочущей толпы, прочитают его вины («смотрел кисло», «улыбался слабо» (а все-таки улыбался), не «наяривал, не «накладывал») и в заключение скажут: «Ты даже опаснее, чем Дон-Кихот, ибо настоящий Дон-Кихот, по крайней мере, всенародно гарцует, а ты забился в угол и оттуда втихомолку льешь потоки донкихотствующего яда...» Ведь хохоту-то по этому случаю, пожалуй, еще больше будет! Помилуйте! дурак ничего не делал, хотел спрятаться, а его на свежую воду вывели!

Имея в перспективе возможность такого момента, ужели я не прав, утверждая, что есть почва, на которой я могу примириться с своею совестью?

Я принадлежу к поколению, которое воспитывалось на лоне эстетических преданий и материальной обеспеченности. Конечно, и мы не всегда оставались верными чисто эстетическим традициям, но по временам делали набеги в область действительности... нет, впрочем, не туда, а скорей в область «униженных и оскорбленных». Но, под прикрытием обеспеченности, эти набеги производились словно во сне, без строгой последовательности, порывами, которые столь же быстро потухали, как и зажигались. Много вышло из этой школы проходимцев и негодяев, но довольно и просто бессильных и неумелых людей. Проходимцы оказались живучими; неумелые — как и следовало ожидать — вымирают...

Я сижу в своем углу и разнемогаюсь. Гордиться тут нечем; но самый факт вольного умирания, ввиду легкой достижимости торжества, есть уже признак, перед которым должно умолкнуть резкое слово осуждения.

Сейчас я сказал, что могу примириться с своею совестью,— и сейчас же одумался. «Нет деятельного добра, но зато нет и деятельного зла» — ужели это не странно?! Разумеется, ежели представить себя живущим среди разбойничьего вертепа, то и за эту пустопорожнюю формулу можно ухватиться, как за нечто умиротворяющее встревоженную совесть... Но ведь пустопорожнее все-таки останется пустопорожним, как ни обставляй его оправдательными документами. Какое кому дело до вертепов, когда имеется непререкаемый итог, свидетельствую-

щий о бессилии, о бездействии, а пожалуй, даже и о безделии?

У жизни моей никогда не было насущного дела — вот в чем моя боль. Бремя эстетических традиций, бремя обеспеченности и легкомысленного срывания жизненных цветов с юношеских лет надвигалось на мои плечи с такою вкрадчивою постепенностью, что я и не заметил, как эти плечи совсем онемели и сделались неспособными к принятию какого-либо иного бремени. И вот теперь, когда кругом раздались жизненные запросы, я прислушиваюсь к ним, но ничего другого не ощущаю, кроме того, что старчество со всех сторон до того плотно окутало меня, что между мною и настоящей, развивающейся жизнью совсем неожиданно выросла целая стена. Благодаря этой стене, я осужден довольствоваться самим собой, своим прошлым и в нем одном искать для себя поддержки. И я невольно ищу, не потому, чтоб я чересчур был привязан к жизни, а потому, что она сама не хочет уйти от меня. Я роюсь в воспоминаниях и тщательно подбираю всевозможные обрывки прошлого, чтоб вывести из них хоть какой-нибудь итог,— и с изумлением, почти с испугом, останавливаюсь перед вопросом: что же такое было?

Но ежели не было прямого дела, про которое я мог сказать: вот чему я послужил в такой-то и такой-то форме, то, может быть, существовало хоть *отношение* к делу? — Да, что-то такое было. По крайней мере, я наверное могу сказать, что в общем каталоге жизненных приятств, составляющих необходимую принадлежность существования всякого развитого человека того времени, значились и приятства свойства спекулятивного. Устремления, порывы, слезы, зубовный скрежет и проч. Но увы! это именно были только приятства и развлечения — и ничего больше. Человеку, считавшему себя развитым, свойственно было, от времени до времени, сознавать себя нечуждым интересам высшего разряда, скорбеть и радоваться не только по поводу личных удач или неудач, но и по поводу радостей и скорбей общечеловеческих. Все это не только не оскорбляло требований приличия, но прямо щекотало самолюбие, а в известной степени даже возвышало человека в собственных глазах. Но обязывало ли к чему-нибудь?

Пусть каждый ответит на этот вопрос по совести; я же иду дальше и спрашиваю: разве можно назвать «отношением к делу» такие умственные и нравственные сумерки, которые ни к чему не обязывают? возможно ли, однажды сознав справедливость того или другого явления, не идти на защиту его? или, сознав несправедливость его, не выступить на бой с ним? возможно ли успокоиться на одном сознании справедливости или

несправедливости и затем считать себя нравственно свободным от всяких дальнейших обязательств?

По моему мнению, это возможно только в одном случае: когда человек сидит в четырех глухих стенах и когда ему ничего другого не остается, как утешаться тем, что и этим стенам не дано погасить в нем светоча мысли, озаряющей даже непроглядный мрак тюрьмы. Но людям, которые, во всяком случае, пользуются свободой исполнять начальственные распоряжения... помилуйте! что же значит тогда «сознание»? зачем «благородный образ мыслей»? К чему вся эта комедия устремлений, порывов, зубовных скрежетов и слез? Ужели затем только, чтоб при посредстве горячих излияний зажигать пламень в сердцах «этих дам»?

Но именно эти-то глухие стены и преследовали нас. Я не буду входить в разбор, сами ли мы их создали или они нам были завещаны — как бы то ни было, они ходили за нами по пятам. Мы наслаждались, но ничего не защищали; мы срывали цветы удовольствия, но в битвах не бывали. Молчаливое признание, что утопия может вечно витать в пространстве, не обнаруживая ни на чем своих прикладных свойств,— вот основа всех наших порывов и устремлений. Утопия для утопии — разве это не одно из «приятств» жизни?

Очевидно, что не только об деле, но и об отношении к делу тут речи быть не могло. Порывы наши были смутны, почти беспредметны, и, как я сказал уже выше, ограничивались экскурсиями в область униженных и оскорбленных, область до того бесформенную и уныло однообразную, что мысль и чувство разбегаются по ней, не находя поводов для проверки, даже самих себя. Я лично и теперь, по старой привычке, охотно посещаю эту область, но что же собственно извлекаю я из этих посещений? Увы! я извлекаю только убеждение, что время экскурсий прошло безвозвратно, что жизненные запросы изменили не только сущность, но и форму и что перемена эта застала меня врасплох...

Нечто, несомненно вызывающее все симпатии моей души, мелькает передо мной, но что именно — я различить не могу. Нечто требует моего участия, но в чем оно должно состоять и как может быть выражено — я и на это ответить не умею. Я вкладывая персты, но не в раны, а в пустое пространство. «Не могу!» и «не умею!» — мучительно повторяю я себе, и только одно сознаю вполне отчетливо: что никаких жизненных итогов у меня нет, кроме безмерной тоски, которою преисполнено все мое существо.

Поэтому я на все явления современности, ежели они мало-мальски возвышаются над общим уровнем обыденного хищни-

чества, смотрю с осторожностью и боюсь применить к ним какую-либо оценку. Есть в них нечто, быть может, и затрогивающее мою совесть, но это нечто до такой степени не согласуется с общим складом всей моей жизни, с моими привычками и нравами, что я, вопреки симпатиям, не имею силы примкнуть к ним. И сдается, что ежели я начну судить — только судить — об этих явлениях, то даже и тут совсем не о том поведу речь. На сцену появятся или старые экскурсии в область униженных и оскорбленных, или же, вместо действительной драмы, родится нелепый фарс с переодеваниями. И ни моими суждениями, ни моими воспроизведениями и обличениями я никого не заинтересую: ни старых, ни малых. Одни скажут: кого он хочет обмануть уверяя, что русская жизнь не что иное, как водевиль? Другие: вот старый бесстыдник, у которого седой волос из всех щелей лезет, а он все-таки не чувствует потребности обуздать себя!

Таким образом, опасаясь остаться, как говорится, ни в тех, ни в сех, я предпочитаю молчать. И в этом-то вынужденном молчании формулируется весь жизненный итог... какая, однако ж, мучительная старость!

Но что делает эту старость еще более мучительною — это то, что, при всей своей немощи, я все-таки «желаю». Да, экскурсии в область униженных и оскорбленных не прошли для меня даром. Они населили мое существо известными вкусами и предрасположениями, которые даже на бессилие мое наложили своеобразную печать. Сколько раз жизнь пыталась растоптать эти предрасположения, а я все-таки возвращался к ним. И я не только не сожалею об этих возвратах, но даже горжусь ими. Горжусь!! после всего, что только что сейчас вылилось из-под моего пера,— не правда ли, как странно звучит это слово? Но в том-то и дело, что прошлое, составленное из обрывков, и в результате дает только обрывки. Сейчас — горжусь, и сейчас — презираю. По наружности, жить таким образом (то есть без усилий переходя от самовозвеличения к самобичеванию) кажется очень легко, но вглядитесь попристальнее: право, ведь это целая мученическая эпопея!

Иногда мне даже думается, что если бы я переделал свой жизненный девиз наоборот и вместо: «хочу, но не могу», написал на своем знамени: «могу, но не хочу»,— мне жилось бы лучше. По крайней мере, тогда я был бы уже совсем скотиною. Не думал бы ни о прошедшем, ни о настоящем, ни о будущем, а производил бы нужные физические отправления и съедал бы свою порцию печатных пряников. Но в том-то и дело, что, когда увлеченное воображение начинает живописать целый ряд свойственных «совсем скотине» наслаждений,— вдруг изнутри

словно толкнет что: да разве это бог весть какое счастие — быть «совсем скотиною»? И вслед за тем опять раздумье, опять обрывки, которые, мало-помалу, разрастаясь и разрастаясь, переходят наконец в негодование. А негодование — само по себе целый клад. Оно поднимает нравственный и духовный уровень человека; оно утешает, очищает его в собственных глазах. Я чувствую себя просветленным; я негодую на самого себя, что мог хотя минуту увлечься мечтами о счастии быть совсем скотиною; я берегу и лелею святое волнение, охватившее меня... и опять-таки горжусь! Горжусь — чем? тем, что негодую один на один с самим собою, среди четырех стен, которые даже сфискалить на меня не могут! Ужели есть пытка более невыносимая и унизительная, нежели эта?

Да, тут несомненно собрана целая коллекция пыток, достойно увенчивающаяся последнею: одиночеством. Несмотря на болтливо проведенную молодость, несмотря на то, что в основе этой молодости все-таки лежал призыв к общению, к любви, в результате ее все-таки оказалось одиночество полное, несомненное. Пустыня, на поверхности которой мелькают два-три родственные и столь же одинокие индивидуума, и в центре — пустыни — бесприютное, оголтелое старчество! А помнится, когда мы выходили на арену экскурсий, нас было видимо-невидимо. И все мы были полны надежд, все представляли единое стадо и единую неразрывную цепь, все одинаково пламенели и одинаково верили, что и там, «у пристани», наша цепь окажется такою же плотною и неразрывною, какою мы видели ее при отправлении. Все, все множество наше, все вдохновенно клялись, что ни время, ни испытания, ничто... А в конце пути, вместо «пристани», оказалась — пустыня!

В растительном царстве встречается нечто подобное. Посмотрите на дерево весною — какая на нем могучая, чистая, незапятнанная листва! И какое множество этих листьев, как они теснятся друг к другу, точно хотят из своей совокупности сделать непроницаемый оплот. Летом листья уже потемнели, перепутались и слегка запятнались; древесинная перепонка, прикрепляющая их к ветке, постепенно подсыхает, и в воздухе носятся оторванные ветром дезертиры, сначала редкие, а потом все чаще и чаще. Наступает осень; дезертиры уж не кружатся в воздухе, а просто сыплются дождем на увлажненную землю; таинственный шепот листьев умолкает, и воздух наполняется зловещим свищущим шумом, производимым хлестанием оголенных ветвей. Перед глазами не дерево, а безжизненный и насквозь светящийся остов его. И вдруг, среди наготы и опустошения, вы замечаете два-три засохшие листка. Они слу-

чайно защемились между ветками, но издали кажется, что в них удержалась какая-то загадочная сила, которая не дает над ними власти ни ветрам, ни непогодам. Тем не менее существование их — безнадежное. Жалобно жмутся эти остатки роскошной весны к ро́дному дереву и не переставая трясутся, точно чувствуют, что вот-вот налетит шквал и погонит их... И хотя случается, что такие забытые листья переживают всю зиму, но никогда не бывало, чтобы листва новой весны не вытеснила их.

То же было и с нами. Весной мы вышли, и нас было много; но весна была недолгая, а лето промчалось уже до того быстро, что настоящего солнца мы даже не видели. Осень наступила разом, и так как по бокам дороги, на которую нас поставила судьба, на каждом шагу встречались всякого рода увеселительные заведения, то большинство соблазнилось и застряло там. К зиме нас осталось уже немного. Растерявши товарищей, мы продолжали, однако ж, неуклонно идти прежней дорогой; шли-шли, покуда старчество не подкосило наших ног, но в результате, вместо желанной пристани, очутились перед пустым пространством. Вот в нем-то мы и дрожим и стонем, как те засохшие листья, случайно ущемленные между сплетшимися ветвями. Унесет ли нас шквал или пощадит? Ежели унесет, то нас смоет весенней водой вместе с прочею ветошью; ежели пощадит, то мы так и будем дрожать всю зиму, а весной на том месте, где мы дрожим, пробьется новая почка и вытеснит нас совсем неизвестно куда...

Отыщите дилемму более горькую: в обоих случаях — исчезнуть! Право, только у нас, только среди нашего оголтелого общества, могут происходить подобные загадочные исчезновения.

Очевидно, что это не могло бы случиться, если бы целью наших жизненных перегринаций были не праздные экскурсии, а конкретное дело. Дело, уже само по себе (в какой хотите форме, даже в форме хищничества), непременно оставляет след, но, сверх того, оно дает деятелю силу и снабжает его средствами обороны. Даже таких несомненных поганцев, как современные подрядчики и паразиты войны, и тех не так-то легко погрузить в пучину забвения. И они не исчезнут без борьбы (если только исчезнут) и уж во всяком случае оставят по себе след в разнообразнейших формах обездоления, тяжесть которых долго будет давать себя чувствовать героям ревизских сказок и окладных листов.

Как бы то ни было, но мы, не соблазнившиеся попутными увеселительными заведениями, все еще крепимся и живем. Нас немного, но узы, соединяющие нас, с годами как будто даже

окрепли. Во внешних жизненных сношениях мы исключительно довольствуемся ветшающим, но избранным кружком нашей уцелевшей семьи и почти никого из посторонних не видим. Внутренно мы также остались неприкосновенными: по-прежнему увлекающиеся, восприимчивые, одаренные богатыми художественными инстинктами и по-прежнему же робкие и стыдливые. И те же экскурсии в область униженных и оскорбленных продолжают преследовать нас.

Но увы! отсутствие разнообразия уже заметно подтачивает нас. Нельзя жить, не выходя из очарованного круга трех-четырех личностей. Нельзя не исчерпать всего своего содержания, не имея иных исходных пунктов, кроме тех, от которых мы уже пришли прямехонько к пустому пространству. И вот, в результате — бешеная скука, почти отчаяние. Ибо хотя мы и не расстаемся друг с другом, хотя мы непрерывно беседуем, обмениваемся мыслями, критикуем и даже негодуем, но я убежден, что не только я лично, но и каждый из нас очень хорошо понимает, что он беседует, обменивается мыслями, критикует и негодует, в сущности, один на один с самим собою, в четырех стенах. Да и это, пожалуй, еще слишком много: не сознает ли каждый из нас, что он, в сущности, уже давно умер и только забыли его похоронить?

По привычке мы сходимся и по привычке же заводим обмен мыслей. Но самое собеседование наше имеет какой-то подневольный характер, как будто собеседники предприняли его только для того, чтобы мистифицировать друг друга. Не было настоящего дела — нет и настоящих воспоминаний, нет настоящего сюжета для обмена мыслей. Предмет спора не формулируется, а как-то подозревается; на каждом шагу чуется множество невымолвленных слов, недосказанных речей. Очевидно, что разговаривающие смотрят в одну и ту же точку, одну и ту же мысль в голове держат, что им даже сообщать друг другу нечего, но зачем-то понадобилось тянуть праздную канитель, щеголять друг перед другом диалектическими тонкостями, поражать остроумными выходками, все еще благосклонно выслушиваемыми, хотя и выдержавшими тридцатилетнюю давность, и проч.

Об чем мы разговариваем? — да обо всем. О пользе стыда, о том, что мы ничего не знаем, ничего не можем, о том, что жить опасно, а пожалуй, и довольно — это ли не безгранично растяжимые темы?

Один говорит:

— Существовать и постыдно, и незачем. Ни в лагере торжествующих, ни в лагере толкущихся — мы одинаково не у места. Мы способны лишь волноваться, да и не волноваться

в строгом смысле слова, а только жалкие слова говорить. Но ведь это наконец и постыдно, и надоело. Ясно, что выход для нас предстоит один: уйти.

Другой возражает:

— Нет, это неясно. Мы уже по тому одному имеем право не исчезать, что в нас воплощается традиция сочувственного отношения к развивающимся запросам жизни. Мы выработали привычку опрятности и благодушия, а среди общего направления умов в сторону травли это качество — далеко не лишнее.

Но третий опять становится на точку зрения безнадежности и развивает такую мысль:

— И все-таки, как ни кинь — везде будет клин. К кому бы мы ни обратились — одни нам скажут: уйдите! вы своим унылым видом только в смущение приводите! Другие: эге! да вы, никак, сочувственные слезы проливать собрались! умирать надо — вот что!

И так далее.

На разговорах этих мы зубы съели. Каждый день мы их начинаем и, по-видимому, даже кончаем; каждый день, по наружности, разнообразим их подкладку задачами самой животрепещущей современности и в то же время внутренно сознаемся, что новы тут только ярлыки, за которыми скрывается залежавшаяся и дотла выветрившаяся ветошь.

Понятно, что подобные разговоры ни к чему не приводят, ни с чем не примиряют, а только достаточно раздражают...

Под веселую руку мы называем эти беседы «дворянскими мелодиями». А друг мой Глумов при сем присовокупляет:

— И что в особенности дорого в этих мелодиях, и почему самое начальство всегда смотрело на них снисходительно, это то, что в них, в одно и то же время, слышится и несомненный гуманизм (начало неблагонамеренное), и несомненное молчалинство (начало во всех статьях благонамеренное). Как будто был такой момент, когда древняя Лаиса почувствовала себя до того уже слабою, что даже Алексея Степаныча удостоила ласкою.

Я знаю, что самое выражение: «дворянские мелодии» — в настоящее время анахронизм; но что оно вполне подтверждается свидетельством недавнего прошлого — в этом сомневаться нельзя. Сверх того, для меня лично это выражение имеет еще особую цену. С ним неразрывно связаны мои лучшие воспоми-

нания, и им же исчерпывается ежели не вся моя жизнь, то, во всяком случае, ее деятельнейшая пора.

Хотя мелодии эти зародились очень давно, в самом начале сороковых годов, но память о них до сих пор так жива и так полна, что мне чудится, что они раздались только вчера. Это было время, когда крепостное право царствовало в полном разгаре, обеспечивая существование избранных и доставляя все удобства для украшения их досугов. И между тем — странная вещь! — молодые дворяне тосковали. Исполненные юношеской силы, обеспеченные, не без пользы для ума и сердца исколесившие всю Европу, они не могли не почувствовать себя умиленными зрелищем общих симпатий к угнетенным и обделенным, которыми обуревались тогда лучшие умы Запада, и в особенности Франции, этого неугасающего очага, на котором преимущественно загораются все зачатки, подвигающие человечество вперед. И в этом-то умиленном виде возвращались домой к своим домашним пенатам.

Но тогдашние пенаты были хмурые и неподатливые. Они ревниво охраняли крепостное логовище от какого бы то ни было «разврата», кроме строго плотского, и беспощадно отметали дерзновенного, который мечтал внести двоегласие в действия бесчисленных Прошек и Палашек, наполнявших своею безгласною суетливостью всероссийскую пустыню от хладных финских скал до пламенной Колхиды. Нельзя сказать, чтоб в то время было строже насчет «разврата», нежели теперь (с точки зрения начальственных воздействий), но самые свойства пенатов были таковы, что мысль о «разврате» просто не шла в голову. Здание стояло так прочно, и с солидностью его сопрягалось столь многое (и слава, и страх врагам, и процветание), что самый решительный поборник «разврата», и тот смирялся под подавляющим игом своеобразной крепостной гармонии, которая со всех сторон охватывала его. И ум, и чувство, которые даже иностранцев, во время заграничных перегринаций, поражали чуткостью и подвижностью, разом утрачивали всю восприимчивость и цепкость при виде девиза, нигде прямо не написанного, но несомненно и подлинно горевшего на всех лбах: здесь, в этом солидном здании, никакие попытки разврата успеха иметь не могут!

А между тем сердца молодых дворян уже растворились и, следовательно, требовали пищи. Этой пищи не могла им дать ни плотная масса Прошек, потому что к ней даже подступиться было нельзя, ни несложные утехи стариков-отцов, потому что они были чересчур уже грубы, ни литература того времени, потому что воркование школы Карамзина и Жуковского казалось уже смешным, а более современный байронизм поражал своей

беспричинностью и неприложимостью к крепостной среде. Почувствовалась потребность в пище более пряного свойства, в такой, которая хоть косвенно соприкасалась бы с крепостною действительностью и в то же время не слишком компрометировала бы тот общедворянский жизненный склад, отказаться от которого совсем и не предполагалось. Экскурсии в область униженных и оскорбленных, которыми так богата была европейская литература того времени и под влиянием которых уже растворились молодые дворянские сердца, представлялись в этом смысле пищею почти идеальной. Они располагали сердца к чувствительности и вместе с тем не нарушали привычек. Отсюда — дворянские мелодии.

Отличительные свойства этих мелодий: елейность, хороший слог, обилие околичностей (обстановок) и в то же время отсутствие конкретного объекта. И, как естественный результат всех этих свойств, взятых вместе,— неуловимость. Можно заслушаться их, можно вздохнуть под их переливы, но сжать и формулировать точный их смысл — невозможно.

Мелодии эти раздаются и поныне, хотя с каждым днем все реже и реже. Правда, что в большинстве случаев дворянские мелодии довольно свободно превратились в дворянские же рычания, но все-таки существуют рассеянные по лицу земли стыдливые единицы, которые упорствуют и доднесь. Только мне кажется, что со времени упразднения крепостного права мелодии эти сделались еще тоскливее.

Да, раздаются еще наши мелодии и даже имеют представителей в литературе. Произведения этой дворянско-литературной школы и теперь читаются охотно, потому что читатель находит в них отличный слог, искусную обстановку (в противоположность наготе современных реалистов) и даже последовательность (в сущности, эта последовательность есть плод умения целесообразно пользоваться частицами речи: между тем, так как, за всем тем и т. п.). Как бы то ни было, но ежели читатель берется за книгу, главным образом с намерением убить праздное время, и при этом исполнит еще одно условие, совершенно необходимое при чтении подобных произведений, то есть остережется от восстановления прочитанного в своей памяти, то цель его будет достигнута несомненно. И время пройдет занятно, и особенной тяжести в голове не останется.

Но благодарить ли за это?

На днях я этот самый вопрос предложил приятелю моему Глумову.

— Любезный друг! — сказал я ему,— ввиду прекрасных намерений, которыми проникнуты были дворянские мелодии, осуждать нас за них было бы, конечно, несправедливо; но, воля

твоя, и благодарить не за что. Благодарность предполагает услугу, в какой бы форме, материальной или духовной, она ни была оказана, но непременно услугу. Какую же услугу может представлять собой благородная смутность чувств, сопровождаемая сладкозвучным словесным журчанием, вся прелесть которого в том именно и заключается, что оно — журчание, не поддающееся даже законам сжимаемости? Ведь мы до того изжурчались, что вот теперь, когда со всех сторон зарождаются всякие запросы, то мы не только не можем установить связи между этими запросами и нашим прошлым, но даже едва ли в состоянии формулировать точное определение существа современных явлений!

Глумов, по обыкновению, сочувственно отнесся к моему заявлению (тем более что оно уже само по себе представляло не что иное, как продолжение тех же дворянских мелодий), но, прежде нежели ответить на мой вопрос, он как-то уныло, почти безнадежно взглянул на меня.

— Хворы мы, брат,—вот что! — наконец произнес он.

— Да и не теперь только хворы, а всегда были! — подхватил я с жаром.— Ведь, коли по совести-то говорить, помянуть нечем прошлого... Эти экскурсии в область униженных и оскорбленных — ах, я забыть об них не могу!

— А это еще лучшее, что было!

— Но ведь это разврат! это сонное любострастие — вот это что! Как вспомнишь теперь, что по временам я лишал себя настоящего обеда, питался колбасой да вареной ветчиной... ты думаешь, для чего? А для того, любезный друг, чтоб на сбереженные от обеда деньги в таких же клетчатых штанах щегольнуть, какие наш общий товарищ Сеня Бирюков носил! Ах, даже кровь в голову бросится! Ведь я сгорал завистью к тем, которые к графине де Мильфлёр на балы ездили! Я, отроду ее не видавши, анекдоты из жизни Мильфлёрши рассказывал! Я стихи Лермонтова: «Как мальчик кудрявый, резва», на всех перекрестках, с пеною у рта, декламировал!

— И в то же время отдавал часы досуга сочувствию униженным и оскорбленным... было, брат, это! было!

— Разве это — не сонное любострастие? Ах, что это за молодость была! Ведь ни одного последовательного шага, ни одного связного поступка не было — ничего, кроме нервной искренности, то есть искреннего лганья! Не лжи, а именно лганья, безобразного, нескладного, которое всякий насквозь видит! И странное дело! Все ведь знали и понимали, что мы лжем, лжем и лжем, и никто не дал себе труда уличить нас, никто не сказал: молодые лгуны! подумайте, какую вы себе готовите старость!

— Тогда, любезный друг, все лгали, а об молодых людях так даже прямо такое мнение было, что им лгать приличествует. И дамочки тогдашние такое направление имели, что только перед лганьем и полагали оружие. Ручательство страстности и пылкость в лганье видели.

— И вот теперь мы старики — и никому до нас дела нет. Даже самим себе... да, и самим себе мы опостылели и, словно прокаженные, жмемся и разнемогаемся по своим углам!

Это было так горько, так горько, что я совсем незаметно увлекся и уже совершенно непоследовательно заключил свою диатрибу восклицанием:

— За что!

— А вот за то за самое, в чем ты сейчас сам себя уличал! за лганье! Чудак, братец, ты! Целый час сам себе нотацию читаешь, и вдруг — за что!

— Да, но ведь все-таки... Не все же умерло... например, хоть бы во мне! ведь хоть и поздно, а я очнулся-таки! Весь этот угар, все эти странные понятия о свойствах, составляющих украшение благородного молодого человека,— все это уж давно похерено и сдано в архив! Ведь я теперь...

На этом слове я осекся и покраснел.

— Что же «теперь»? — спросил меня Глумов угрюмо.

— Зла я не делаю! зла!

— Христос с тобой! на что делать зло?

— Да, но ведь и это... Нельзя же не принять в расчет... Потому что, в противном случае, при чем же мы состоим? И что же, наконец, нам делать?!

— Жить — вот и все. Если жизнь привязалась и не отпускает тебя — ну и живи. Удивляй мир отсутствием поступков и опрятностью чувств. Не пиши преднамеренных романов с переодеваниями, но и от гимнов воздержись, потому что в самые гимны твои, помимо твоей воли, непременно проникнет водевильная струя. Тоскуй, стыдись, тяготись жизнью, но живи в своих четырех стенах, благо ты уж обжился в них, и в чужие существования не впутывайся. Наблюдай эти существования и, буде чего не поймешь в них, то не огрызайся, но и не славословь, а говори прямо: я этого не понимаю! Живи!

В сущности, в виду такого решения вопроса, не жить, а просто умереть нужно. Но мы живем. Я думаю, что нас спасает в этом случае та общая смутность представлений, которая необыкновенно облегчает самые внезапные переходы от одного тезиса к другому, совершенно противоположному. Противоре-

чия останавливают нас только в таком случае, когда они уже чересчур явно заходят в область представлений, прямо оскорбляющих нашу опрятность; но мы охотно примиряемся со всякими скачками и перерывами, как скоро стоящая на очереди мысль (хотя бы и мало сходная с мыслью, стоявшею на очереди за минуту перед тем) настраивает нас на тон великодушия, негодования и других праздничных чувств. Так, например, кончить вчерашний день самобичеванием, а завтрашний день начать с самооправдания, близкого к самохвальству, не представляет для нас никакой трудности. Ибо и самобичевание, и самооправдание равно допускают участие великодушия, негодования и проч. и одинаково представляют лишь результат нервной возбужденности, настолько эмансипировавшейся, что под ее давлением самый контроль разума обращается в ничто. Повторяю: только наличность конкретного дела или, по малой мере, ясное об нем представление могли бы оградить нас от нервной распущенности и сопровождающих ее противоречий, но именно этих-то отрезвляющих условий мы и были всегда лишены.

Согласившись со мной накануне, что наша деятельность (если не рискованно употребить в настоящем случае это выражение) всегда страдала двоегласием и неясностью, и что, посему, благодарить за нее нет никакого основания, Глумов очень недолго остался при своем показании и на другой день уже развивал передо мною мысль, что благодарить — следует.

— Нас следует благодарить уж за то одно,— говорил он,— что одним из главных результатов нашего существования был стыд. Почему современное хищническое ликование до того оскорбляет, например, хоть тебя, что тебе сдается, будто ты вращаешься среди смешанной атмосферы бойни и дома терпимости? — потому что ты смолоду воспитал в себе стыд! Почему сознание твоего бессилия в виду этой атмосферы не побуждает тебя покоряться ей, но загоняет в тесное пространство четырех стен и наполняет твое сердце горечью? — опять-таки потому, что в тебе есть стыд! Не будь стыда, ты нюхал бы миазмы современности и говорил бы, что пахнет розами. Не будь стыда, ты даже бессилием своим воспользовался бы только для того, чтоб подписать удовольствие приговору современности. Ты сказал бы себе: я до того затерян в безыменной толпе, что всякая возможность заявить о своей личности, об ее симпатиях и антипатиях, для меня бесповоротно утрачена, а потому буду жить смирно и в мире с самим собой и окружающей средой, довольствоваться званием скотины, которое одно для меня доступно. И так как скотина ни о каких заявлениях помышлять не должна...

— Послушай, однако! — остановил я Глумова,— да сам-то ты воистину ли убежден, что в наших «заявлениях» чувствуется надобность?

— Все-таки, друг мой. Положим, что и не бог весть какие заявления мы с тобой сделать можем, но и за всем тем потребность в их формулировании не только не претенциозна, но и вполне естественна. Ты находишь, что наши заявления ничего существенного дать не могут — прекрасно! но тем стыднее, что даже это несущественное находится под замкòм. Вот мы и стыдимся! Стыдимся не за себя, а за то поистине неистовое положение, в которое мы фаталистически поставлены.

— И благодаря которому мы, не имеющие сказать ничего существенного, в общественном мнении считаемся чуть не опаснее бешеных собак. Но ведь это — целая роль, голубчик! ею кичиться можно, а не стыдиться ее.

— Да, бывают и у нас минуты духовного распутства, когда мы кичимся ролью бешеных собак. Мы легкомысленны и тщеславны — это правда; но, к счастию, распутство проявляется в нас только вспышками, а главным жизненным регулятором все-таки остается стыд. Мы ничего не можем! ничего не знаем! — вот восклицания, которые не сходят у нас с языка; восклицания сами по себе не важны, но важно в них то, что они не дозволяют краске стыда сойти с наших лиц. Не за себя одних стыдимся мы, но и за других — за всех. Вот в этом-то смысле я и утверждаю, что стыд — хорошее и здоровое чувство.

— Особенно когда люди стыдятся в четырех стенах... ах, мой друг, ведь мы и стыдимся-то как-то своеобразно!..

— Втихомолку, в четырех стенах — это верно. Но и четыре стены, в которых притаился подлинный стыд, могут иметь свое значение в общем развитии жизненного строя. Когда в громадном доме, сплошь горящем огнями, ты замечаешь три-четыре окна, окутанные сумраком,— это на первый раз поражает тебя только в качестве антитеза. Но когда ты, несколько дней сряду проходя мимо здания, убеждаешься, что эти три черные окна — явление не случайное, а повторяющееся изо дня в день, то оно уже заинтересовывает тебя.

— Но, может быть, эти окна принадлежат кладовой, в которую складывается ненужный хлам?

— Может быть, это и обыкновенная кладовая, а может быть, и другое вместилище, в котором материала для стыда конца-краю нет. Впрочем, я воспользовался этим уподоблением только для того, чтоб показать, каким путем люди могут заинтересовываться явлениями, по-видимому совсем не бросающимися в глаза. Пожалуй, возьмем и другой пример. Ты выхо-

дишь на улицу и в толпе людей, выпячивающих грудь и нахально несущих медный лоб, видишь человека, который не идет рядом со всеми по тротуару, а жмется к стене. Ты вглядываешься в этого человека и по наружному обзору убеждаешься, что он — не калека и не кретин, и что, следовательно, существенных внешних причин, которые заставляли бы жаться к стороне, для него не существует. И не испуг написан на его лице, а только чувство неизреченной брезгливости. Натурально, этот человек начинает интересовать тебя: ты хочешь узнать, почему у этого человека не медный лоб, как у большинства идущих по тротуару, и даже не полумедный, как у меньшинства... И узнаешь. Так точно и со стыдом, хотя бы он и скрывался в четырех стенах. Стыд, это — начало очень тонкое, друг мой; он и в самых плотных стенах найдет швы, сквозь которые пробьется наружу.

— Стало быть, по-твоему, мы в некотором роде стыдоучители? — пошутил я; но Глумов не слышал моей шутки и продолжал:

— Стыд животворит. Бессильному он помогает нести бремя жизни, сильному внушает мысль о подвиге. Но, сверх того, он и прилипчив. Хотя ты, бессильный, стыдишься только в четырех стенах, но и это келейное стыдение не пройдет без следа, ибо непременно отыщется другой, более сильный, который, заинтересовавшись тобой, пойдет дальше. Есть тут преемственность, есть. И, по-моему, всякие опасения насчет бесплодности стыда не только ошибочны сами по себе, но и могут ввести в заблуждение честных людей. А потому: стыдись, мой друг, и не опасайся быть в тягость ни себе, ни другим! Верь, что твой стыд зачтется тебе и за клетчатые штаны, для приобретения которых ты лишал свой организм правильного питания, и за прокламации, в форме стихотворения: *Как мальчик кудрявый, резва!* Не только не бесполезно, но даже положительно необходимо, чтоб сколь возможно большее количество людей почувствовало стыд. Чтоб люди стыдились не только неудач, но и удач, чтоб в случае неудачи они чувствовали на своем лице пощечину, а в случае удачи — две. Потому что только тогда определится вполне ясно, что нравственный уровень общества настолько распутен, что пощечина сделалась единственно возможным мерилом для оценки поступков и действий. И только тогда получится непременная решимость во что бы то ни стало уйти. Так-то, душа моя!

Глумов, очевидно, был доволен, что высказался. Он протянул мне руку и даже обнял меня. В этом виде, то есть обнявшись, мы сделали несколько туров взад и вперед по кабинету. «Еще одна дворянская мелодия канула в вечность!» —

мелькнуло у меня в голове, но я воздержался высказать эту мысль, потому что Глумов на этот раз наверное огорчился бы ею.

— Я знаю, голубчик,— начал опять Глумов, после непродолжительного молчания,— что в стыде нашем нет ничего героического, но настаиваю на том, что один вид стыдящегося человека, среди проявлений бесстыжества, уже может служить небесполезным напоминанием. Самые закоренелые проходимцы — и те понимают, что в стыдящемся человеке есть нечто, выделяющее его из массы бездельников и глупцов. Поэтому они так и стараются загнать его в темный угол, откуда совсем бы его не было видно. А сколько субъектов не вполне закоснелых, сколько таких, которые заразились бесстыжеством или по малодушию, или по недоразумению! Все это люди колеблющиеся, в которых напоминание о стыде может пробудить не только опасение возмездия, но и действительные мерцания совести. И я убежден, что как ни робки эти позывы к стыду, но и они не останутся бесследными. Вот во имя чего стыд должен быть зачтен даже такому существованию, которого кондуитный итог формулируется словами: ни зла, ни добра!

На этот раз Глумов умолк окончательно. Мелодия была закруглена, закончена и, словно гармонический аккорд, замерла в четырех стенах моей квартиры...

Нет, она не вполне замерла, потому что на другой день Глумов опять посетил меня и возобновил беседу на ту же тему.

— И не за одно стыдение должно благодарить нас потомство,— говорил он,— но и за то, что мы пустили в ход мысль о безнадежности, первые убоялись жизни, первые высказали, что жить страшно, а пожалуй, и довольно. Все наше существование представляло собой непрерывную цепь тревог, страхов и трепетов, не особенно лестных для самолюбия, но замечательных в том отношении, что на последнем звене этой цепи совершенно явственно можно было прочитать слово: безнадежность. И при этом мы так неотступно и так искренно вопияли: нельзя жить, нельзя! надо уйти, исчезнуть, пропасть! что только глухой или преднамеренно закоснелый мог не слышать этих воплей. Теперь представь же себе такую картину: какое множество на свете существует людей, которые, ничего в себе не заключая, кроме праха, все-таки карабкаются и хватаются цепкими руками за колеблющиеся нити срамного существования — и вдруг рядом с ними выделяется небольшая кучка иных людей, в которых это жадное ловление жизненных нитей про-

изводит только отвращение, которые прямо провозглашают: жить довольно! Ужели это зрелище не достаточно поразительно, чтоб заинтересовать многих и многих?

— Поразительно-то поразительно, а все-таки, говоря по совести, ведь и в отвращении от жизни главную роль играла обычная наша нервная распущенность. И лучшим доказательством, что это было именно так, служит то, что хоть мы и вопияли: надо уйти, исчезнуть, пропасть! — но сами все-таки не уходили, не исчезали, не пропадали. Вот хоть бы мы с тобой — разве мы не живем? живем, братец, да еще как! дай бог и напредки так пожить!

— Позволь! Я охотно допускаю, что твое возражение с формальной стороны вполне резонно, но именно только с формальной стороны, не больше, потому что мы лично тут ни при чем и представляем только обстановку, до которой будущему нет дела. Главная сила не в нас, а в тех воплях, которыми мы были преисполнены и совокупность которых составила так называемый дух времени. Мы лично были непоследовательны — это так; но дух времени, в строении которого, повторяю, участие наше все-таки не подвержено никакому сомнению, не может быть привлечен к ответственности за наше личное бессилие. Он свое дело сделал; он принял брошенное нами семя мысли, взлелеял его и, наверное, выведет из него с неумолимою последовательностью все дальнейшие развития, которые оно способно дать.

— Ах, Глумов, Глумов! да какие же развития-то? Уйти! исчезнуть! — разве из этого можно что-нибудь извлечь?

— Для нас с тобой нельзя; для других, более сильных — можно. Мы, люди воплей, говорим: надо исчезнуть! и останавливаемся на этом. Другие, более сильные, скажут: нет, исчезнуть мало, надо искать! И будут искать. А все-таки первый толчок дали — мы! Неужто же это не должно быть нам зачтено?

Я не ответил на этот вопрос, но, признаюсь откровенно, меня уже брало раздумье. Глумовская теория оправдания «экскурсий» начинала серьезно соблазнять меня, и я чувствовал, как в мою голову исподволь, но настойчиво и с явным намерением утвердиться в ней навсегда, заползала мысль: а что, ежели и в самом деле нам удастся выйти сухими из воды?

— Да и не это одно,— продолжал между тем Глумов, все больше и больше разгорячаясь,— многое, многое будет нам зачтено... все! Вся наша жизнь была сплошным уклонением от жизни, настойчивым отказом от ее ликований и торжеств! Было же, стало быть, что-нибудь, что побуждало нас не сходить со стези воздержания... было, было, было!

— Были экскурсии в область униженных и оскорбленных,— робко напомнил я,— может быть, в них-то и заключается главный стимул нашего воздержания, а вместе с тем и та заслуга, которая будет нам зачтена по преимуществу...

Мое напоминание об экскурсиях было, очевидно, как нельзя больше кстати, потому что Глумов окончательно воссиял.

— А ты думал — нет? — уж не говорил он, а гремел,— ты думал, что экскурсии-то наши — пустопорожнее место? Нет, мой друг, это — сила, большая сила! От них свет пролился! Я знаю, что нынче принято относиться к ним с пренебрежительною снисходительностью, что большинство даже несомненно порядочных людей совсем позабыло об них, но знаю также, что к ним еще возвратятся... наверное! Потому что в них — свет! свет! свет!

В этих словах звучал такой несомненный порыв, что он сразу охватил и меня. Мы оба инстинктивно встали с мест и, крепко сжимая друг другу руки и смотря друг другу в глаза, воскликнули:

— Свет! свет! свет!

Ежели читатель заподозрит, что, отдаваясь нашему порыву, мы били на театральный эффект, то он будет положительно неправ. Перед кем было рисоваться нам? кто мог быть свидетелем нашего порыва, кроме четырех немых стен?

Но, может быть, читатель пойдет дальше в своей подозрительности и скажет, что для рисовки существуют и более тонкие поводы, что человек нередко устраивает театральные эффекты не только в виду сторонних зрителей, но и ради самого себя. Что этим способом он достигает некоторых небесполезных для себя результатов, как, например: самоуслаждения, самообольщения и т. п., каковые результаты поощряют его помаленьку тянуть да тянуть жизненную канитель до указанного часа.

Клянусь, ничего подобного не было! Мы не рисовались ни перед людьми, ни перед самими собой, а отдались порыву безусловно, беззаветно, не имея в виду ни самоуслаждений, ни самообольщений — ничего!

Единственный стимул, который еще можно предположить в этом случае,— это жгучая потребность самооправдания. Но ведь потребность эта столь же законна, как и самобичевание. Она до такой степени лежит в природе человека, что даже в основе какого угодно самобичевания, ежели его подробнее разобрать, наверное, отыщется замаскированное самооправдание. Помилуйте! ежели человек сам себя бичует, без всяких внешних побуждений, стало быть, он все-таки сила! Ужели же в этой самоуверенности, в этом косвенном, но совершенно яв-

ном признании себя силою — не слышится полнейшее самооправдание?

Но, может быть, человек, бичуя самого себя, не без хитрости рассчитывает силу удара и не слишком-то уж больно...

Будет. Ибо, ежели я не оборву разом, то, наверное, запутаюсь в лабиринте самовопрошений и самовозражений. И опять меня со всех сторон обступят мелодии... Мелодии! мелодии! мелодии!

Да, я больше не сомневаюсь: Глумов сказал правду.

И стыдение, и принцип безнадежности, и опаска жизни, и экскурсии в область униженных и оскорбленных — все это несомненно представляет очень веские права на зачет в будущем. Да, мы прошли в мире не бесплодно, то есть опять-таки не мы собственно, а дух времени, в строении которого мы, однако ж, бесспорно участвовали. Не знаю, установлюсь ли я на этой точке зрения до такой степени прочно, чтоб и завтра и послезавтра отстаивать ее, но теперь, в эту минуту...

В эту минуту мои права на зачет до такой степени ясны для меня, что я даже позволяю себе некоторую прихотливую затею.

Дело вот в чем. Когда жизнь наконец отвяжется от меня, то пускай тот «батюшка», на долю которого выпадет проводить меня в лучший мир, вместо длинной предики, наполненной неудобоваримыми выражениями, вроде: «благопотребные нам блага», или «благопочтительное даже пред господином квартальным надзирателем благоповедение» и проч., прочтет следующее краткое, но для всех вразумительное напутствие:

«Братие! перед вами лежит прах человека, которого жизнь была осуществлением не весьма полезного, но скромного девиза: ни добра, ни зла! Этот человек не самоотвергался лично, но и не ругался над самоотвержением, не плевал на него, не топтал его ногами и не устраивал из него водевиля с переодеванием. Клики торжествующего бесстыжества не соблазняли его, а, напротив, поселяли в его сердце страх, тоску, стыд. Представление о стыде составляло руководящее начало очень достаточной части его существования и в значительной степени примиряло его с тревогами совести. Тот же стыд примирил его и с идеей исчезновения; он помог ему видеть в этом акте не тяжкую разлуку с благами жизни, но освобождение от уз срама. Геройство не было в привычках этого человека, а может быть, отсутствовало и в самой природе его, но при этом нельзя не принять во внимание, во-первых, традиций эстетизма и обеспеченности, на лоне которых он был воспитан, а во-вторых, и того, что геройство вообще ни для кого не обязательно. Это последнее соображение в особенности веско, хотя, по недоумению, довольно редко принимается в расчет. Как бы то ни было,

но кажется, что сказанное в этих немногих словах дает возможность, не обременяя памяти этого человека словом укоризны, закончить расчет с пройденным им жизненным путем словами: «Sit tibi terra levis» [1].

И довольно.

Я кончил. Я знаю, что читатель вправе ждать от меня продолжения, а кроме того, знаю, что я и сам мог бы продолжать до бесконечности... И все-таки: я кончил.

Читатель, в недоумении, а может быть, и в негодовании, спросит меня:

— Что ж это, наконец, такое? Самобичевание или самооправдание?

На этот вопрос я могу ответить только указанием на заглавие настоящей статьи, которое в двух словах исчерпывает всю сущность ее. Вот эти слова:

Дворянские мелодии...

V. ЧУЖОЙ ТОЛК [2]

Я человек отживающий. Расстояние, которое мне остается пройти, так невелико, что мысль об итоге невольно закрадывается в голову. И вот, по размышлении, оказывается, что итог этот может быть формулирован в следующих немногих словах: ни зла, ни добра...

Не скрою, бывают минуты, когда такая краткословность моего кондуитного списка довольно-таки больно щекочет мою совесть. Есть в ней что-то обидное, отзывающееся какою-то болезненною бесформенностью. Положим, это еще ничего, что я в сражениях не бывал, никого не изувечил и даже пороху не выдумал, но каким образом объяснить, что вообще никаких «поступков» за мною не числится? Вялость и хворость — вот и все. Именно хворость, потому что недугу, из которого в виде итога вырастает сознание: «ни зла, ни добра» — даже названия

---

[1] Пусть тебе земля будет пухом.

[2] Рассказ этот был написан еще в 1877 году, но по обстоятельствам не мог быть в то время напечатан. Началом его я, однако ж, воспользовался, то есть положил его в основание другого моего рассказа: «Дворянские мелодии». Ныне считаю нелишним напечатать предлагаемый рассказ в его первоначальном виде, причем извиняюсь перед читателями, что часть его им уже известна. *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

не подберешь. Острых болей нет, а постоянно как будто разнемогаешься.

Тем не менее, когда, движимый инстинктом самооправдания, я начинаю вглядываться пристальнее в то положение, которое создали для меня обстоятельства (я совершенно искренно думаю, что личное мое участие в этом деле далеко не существенно), то в конце концов прихожу к заключению, что есть, однако ж, почва, на которой я довольно прилично могу примириться с встревожившеюся совестью. Нет деятельного, торжествующего зла — и на том спасибо! Конечно, это не бог знает какая «почва», а скорее соломинка, но, в качестве человека отживающего, человека иных песней и иных традиций, я хватаюсь за эту соломинку и возлагаю на нее великие надежды.

Мы переживаем время, которое, несомненно, представляет самое полное осуществление ликующего хищничества. Бессовестность, заручившись союзом с невежеством и глупостью, выбросила на поверхность целую массу людей, которые до того упростили свои отношения к вещам и лицам, что, не стесняясь, возводят насилие на степень единственного жизненного регулятора. Может быть, я ошибаюсь, но думаю, что такого нагло-откровенного заявления «принципий» давно не бывало. Прежде, даже в среде самых отпетых людей, можно было изредка расслышать слова, вроде: великодушие, совесть, долг; нынче эти слова окончательно вычеркнуты из лексикона торжествующих людей. Прежде люди, сделавши пакость, хотя и пользовались плодами ее, но молились богу, чтоб об ней не узнали; нынче — богу молиться не принято, а краснеют по поводу затеянной пакости только тогда, когда она не удалась. Может быть, в этой темной оценке современности (то есть торжествующей ее части) очень значительную роль играет мое личное чувство — чувство отживающего человека,— но, во всяком случае, я делаю ее *искренно* и затем предоставляю читателю самому распутывать, сколько из приведенной выше характеристики принадлежит брюзжанью усталого старика, и сколько — действительности.

Но если даже такое обыкновенное слово, как «совесть», оказывается слишком тяжеловесным для современных диалогов, то какое же значение могут иметь слова более мудреные, как, например: любовь, самоотвержение и проч.? Очевидно, что единственная оценка, на которую можно в этом случае рассчитывать,— это хохот. Что-то отрепанное, жалкое, полупомешанное представляется: не то салопница, не то Дон-Кихот, выезжающий на битву с мельницами. И всем по этому поводу весело; все хохочут: и преднамеренные бездельники, и дураки,

Я принадлежу к поколению, которое воспитывалось на лоне эстетических преданий и материальной обеспеченности. Конечно, и мы не всегда оставались верными чисто эстетическим традициям, но по временам делали набеги на область действительности... нет, впрочем, не туда, а скорее в область униженных и оскорбленных. Но, под прикрытием обеспеченности, эти набеги производились словно во сне, без строгой последовательности, порывами, которые столь же быстро потухали, как и зажигались. Много вышло из этой школы проходимцев и негодяев, но довольно и просто бессильных и неумелых людей. Проходимцы оказались живучими; неумелые — как и следовало ожидать — вымирают, ибо набеги в область униженных и оскорбленных, несмотря на свою платоничность, все-таки не прошли для них даром. К числу вымирающих принадлежу и я.

Я сижу в своем углу и разнемогаюсь. Гордиться тут нечем, но самый факт вольного умирания, в виду легкой достижимости торжества, есть уже признак, перед которым должно умолкнуть резкое слово осуждения.

Сверх того, я могу назвать три особенности, которые проходят через очень значительную половину моего существования и которые, по сущей справедливости, должны быть мне зачтены.

Особенность первая — тоска. Тоскливое чувство — и притом не напускное, а совершенно искреннее — с давних пор составляет господствующий тон моей жизни. Современная вакханалия хищничества не пробуждает во мне не только стремления участвовать в ней, но даже любопытства узнать причины этого явления: она просто утомляет меня, поселяет чувство уныния. Ужели это не «заслуга»?

Я не желаю быть ни железнодорожным деятелем, ни кабатчиком, ни добровольцем, ни адвокатом, ни даже присяжным заседателем... воистину не желаю, не хочу! Какая-то щемящая унылость, сопровождаемая полным отсутствием естественности и искренности, слышится мне и в базарном гвалте, и во всех бряцаниях, составляющих внешнюю обстановку современной хищнической свалки. Фальшиво, неинтересно, даже просто глупо. Уйти из этой свалки, забиться подальше куда-нибудь в незнаемую раковину и там, ничего не видя и не слыша, предаваться грызениям тоски — вот единственный иск, который я предъявляю к жизни, единственное желание, которое мне удалось формулировать с достаточною ясностью. Никаких других исков и желаний у меня нет, потому что, если я, с одной стороны, не хочу торжествовать, то с другой — не могу и не умею самоотвергаться. Не могу! не умею! — это не претензии на оправдание, а факт.

Бремя эстетических традиций и обеспеченности так тяжело и плотно легло на мою спину, что я уж давно не имею силы ее разогнуть. Я сказал выше, что в жизни моей бывали случаи (даже довольно частые), когда я посещал область униженных и оскорбленных — я охотно посещаю ее и теперь. Но ведь это-то самое и есть тоска. Что-то несомненно вызывающее все симпатии моей души мелькает передо мной, но что именно — я различить не могу. Что-то требует моей помощи, но в чем должна состоять эта помощь и как она может быть подана — я и ответить на это не умею. Одним словом, я вкладываю персты в воздушное пространство, а не в раны. «Не могу!», «не умею!» — мучительно повторяю я себе и только одно сознаю вполне отчетливо: что все мое существо преисполнено безмерной тоской.

Я смотрю на факты самоотвержения и боюсь применить к ним какую-нибудь оценку. Мне сдается, что я не понимаю их, и что, во всяком случае, если я начну говорить об них, то буду говорить совсем не то и совсем не об том. Никто не прельстится моими изображениями, воспроизведениями и описаниями (даже если бы они обнаруживали не водевильное, а действительное мастерство), но всякий самый снисходительный человек скажет: вот старый бесстыдник, у которого седой волос из всех щелей лезет, а он и за всем тем не чувствует потребности обуздать себя! вот неопрятный болтунище, который до преклонных лет не может очнуться от экскурсий в область униженных и оскорбленных, которыми он некогда сдабривал свое пребывание на лоне водевильного эстетизма и обеспеченности!

Я боюсь этих приговоров не потому, что они могут оскорбить мое самолюбие, а потому, что в них слышится правда. Другие птицы — другие песни! говорю я себе, и так как я совершенно сознаю себя птицею очень старою, то стараюсь во всем, что касается оценки этих других песен, по возможности обуздывать себя или, много-много, предаваться по поводу их опрятной тоске. Я соглашаюсь вперед, что это тоска бесплодная, и даже не совсем ясно мотивированная, но содержание ее, несмотря на неясность, настолько все-таки доброкачественно, что отказ в принятии его к зачету был бы воистину несправедлив.

Вторая моя особенность — щекотливость, очень близкая к стыду. По временам мне кажется, что я вращаюсь среди смешанной атмосферы бойни и дома терпимости. Очень возможно, что тут есть преувеличение, в котором главную роль играют мои художественные инстинкты; но ведь если мне даже доказано будет, что я преувеличиваю, от этого мне не сделается

легче. Сверх того, я сознаю себя до того слабосильным, малорослым, загнанным, затерянным в какой-то безыменной толпе, что всякая возможность чем-нибудь заявить о своей личности, о своих симпатиях и антипатиях представляется навсегда для меня утраченною. Быть может, в этих заявлениях и надобности нет (старрого тряпья! кому нужно... сттарρого трряппья!), а все-таки сдается, что претензия эта не только не преувеличенная, но даже совсем-совсем естественная. Тем не менее отыскать практический выход из этого более или менее несносного положения я все-таки не в состоянии (я убежден, что жизнь, в конечном результате, поставила меня лицом к лицу с глухой стеной и что, стало быть, бесполезно даже предпринимать что-нибудь, чтоб перескочить через нее); но я могу стыдиться его и пользуюсь этою возможностью, то есть стыжусь искренно, всеми силами души. И верю, что стыд — хорошее, здоровое чувство — при случае может быть рекомендован даже в качестве целесообразного практического средства.

Стыд очищает человека; бессильному он помогает нести бремя бессилия, сильному — внушает мысль о подвиге. Нужно, чтоб возможно большее количество людей почувствовало стыд. Нужно, чтоб люди стыдились не только поражений, но и побед и одолений, не только неудач, но и удач. Чтоб в случае неудачи они чувствовали на своем лице пощечину, а в случае удачи — две. Только тогда вполне выяснится, что нравственный уровень общества настолько гнил, что пощечина сделалась единственным возможным мерилом для оценки поступков и действий. Только тогда получится решимость во что бы то ни стало уйти из области пощечин.

В моем стыде нет ничего героического — я знаю и это; но думаю, что один вид стыдящегося человека, среди проявлений несомненно бесстыжего торжества, уже может служить небесполезным напоминанием. Самые закоренелые проходимцы — и те понимают, что в стыдящемся человеке есть нечто, выделяющее его из общей массы торжествующих бездельников и глупцов. Поэтому они прежде всего стремятся подыскаться под него, а если солидных прицепок нет, то сторонятся и стараются игнорировать. А сколько есть субъектов не вполне закоренелых, сколько таких, которые попали в лагерь торжествующих или по малодушию, или недоразумению! Все это люди колеблющиеся, в которых вид стыдящегося человека может пробудить не только мерцания совести, но и опасения возмездия. В них еще нет настолько наглости, чтоб совсем игнорировать представление о стыде, и потому они, хотя урывками и втихомолку, но все-таки подходят к стыдящемуся человеку и жмут ему руку. Я убежден, что как ни смутны эти позывы к стыду, но

они и на практике не останутся бесследными, что они произведут в торжествующем лагере ежели не прямой разлад, то брожение, и что, пожалуй, когда-нибудь это брожение превратится в целую заразу стыда. Вот во имя чего стыд должен быть зачтен даже такому существованию, которого итог формулируется словами: ни зла, ни добра!

Третья моя особенность — это искреннее убеждение, что жить довольно. Хотя моя тоска и мой стыд еще могут в известной степени иметь воспитательное значение, но значение это, в смысле практических последствий, полезно только для других, я же лично ничего из них не извлекаю, кроме страстного желания исчезнуть, уйти. С давних пор я вижу последнюю страницу с начертанным на ней словом: «конец», и, право, никого не намереваюсь надуть, говоря, что это самая желательная страница, какую только можно иметь в виду. Подумайте, какая масса срама вдруг перестанет существовать! и какая громадная свита безобразных видений рассеется, как дым, и не будет больше тревожить испуганное воображение!

Несомненно, что стремление сократиться и исчезнуть всего ближе подходит к девизу: ни зла, ни добра, и что в этом смысле оно не должно бы даже значиться в числе оправдательных документов. Но, взятое само по себе, независимо от практических применений, оно все-таки имеет право быть выделенным. Когда есть сознание, что «продолжение впредь» не представляет иных перспектив, кроме перспективы хронического бессилия, тогда не может быть желания более законного и естественного, а, пожалуй, даже и более нравственного, как желание исчезнуть. Сколько есть таких, которые, будучи подавлены массами срама, все еще карабкаются и хватаются дрожащими руками за колеблющиеся нити срамного существования,— почему же рядом с ними не различить таких, в сердцах которых это жадное ловление жизненных нитей производит только скуку, граничащую с отвращением?

Я сидел в своем углу и разнемогался; Глумов, по обыкновению, большими шагами ходил по комнате и был угрюм. Мы только что прочитали газеты и вели по этому поводу разговор.

— Ну, можно ли так! — восклицал я,— ведь это значит, что самого простого практического смысла — и того нет!

— Нет, ты обрати внимание, до чего понизился уровень нашей печати! — повторял мне Глумов,— простой совести — и той нет!

Поговорили, поахали и наконец обратились к самим себе. Мы-то какую роль играем в круговороте современности? Что̀

мы такое? Что мы можем, зачем живем? Но это обращение еще больше раздражило нас обоих. Начинался один из тех бесконечных разговоров, которые ведутся собеседниками как бы для того, чтоб мистифировать друг друга, в которых чуется множество невымолвленных слов, недосказанных речей, в которых предмет спора не формулируется, а как-то подозревается, да и самый спор ведется так, что не оставляет никакой надежды на серьезный вывод. Очевидно, обе стороны смотрят в одну и ту же точку (да и смотреть-то им больше некуда), одну и ту же мысль в голове держат, но почему-то им понадобилось тянуть праздную канитель, высказывать друг другу мнимые возражения, щеголять друг перед другом диалектическими тонкостями и проч.

На разговорах этих мы зубы съели. Каждый день мы их начинаем и, по-видимому, даже кончаем; каждый день, по наружности, разнообразим их подкладку задачами самой животрепещущей современности и в то же время внутренно сознаем, что новы тут только ярлыки, за которыми скрывается давно залежавшаяся, покрытая плесенью, ветошь... Понятно, что это не успокоивает, а только раздражает...

— А вывод все-таки возможен один: кружимся мы вот в этих четырех стенах, суесловим, острословим, сквернословим — и ничего из этого у нас не выходит! — наконец сказал я в форме заключения.

По совести, я не могу, впрочем, сказать, что̀ выходило из моих слов: были ли они действительным заключением прежнего разговора или же, напротив, служили началом разговора нового. Но раздавшийся в передней сильный звонок решил в пользу завершения.

В комнату вошел Алексей Степаныч Молчалин. Я так мало был приготовлен к его визиту, что прежде всего у меня мелькнуло в голове: уж не желает ли он мне сообщить свое мнение насчет высылки Митхада-Паши в места не столь отдаленные (в то время это была самая животрепещущая новость дня). Но, взглянув на него, тотчас же убедился, что случилось нечто не совсем обыкновенное.

Он был очень бледен; лицо осунулось, нос обострился, углы губ подергивались, глаза были сухи и воспалены.

— Дайте воды — пить хочу! — вымолвил он осиплым голосом, точно слова с трудом выходили из пересохшего горла,— был около вас и вдруг почувствовал: пить хочу... Не потревожил?

Он жадно выпил стакан воды с вином, потом налил другой, опять выпил и с минуту не мог отдышаться. Ясно, что его постигла какая-то неприятность, и, судя по тому, что день был

будничный и время близилось к двум часам, когда Молчалиных даже нельзя представить себе иначе, как водворенными в соответствующих департаментах, я сначала подумал, что неприятность эта служебного свойства: чего доброго, в отставку велели подать... И вдруг меня словно обожгло. Вспомнилось, как однажды Алексей Степаныч о сыне стужался: «а ну, как он, Павел-то Алексеич мой, что ни на есть сболтнет?» Неужто сболтнул?

— Помните, мы намеднись с вами о Павлуше беседовали?— как бы угадывая мою мысль, спросил меня Алексей Степаныч.

Вопрос этот точно обухом ударил меня по голове. Догадливость моя показалась мне до того зловещею, что я боялся даже мыслить, чтоб и еще не напасть на какую-нибудь догадку. Затаивши дыхание, смотрел я на этого человека, который — так недавно еще, мне это казалось — ценою неслыханных усилий успел-таки приурочить свое трудное существование к чему-то прочному, почти безмятежному.

— Да-с, так вот это самое... Именно этот случай и разыгрался у нас... Пошел я давеча к князю — к начальнику-то своему — а тот говорит: сами, сударь, виноваты! правил настоящих не умели внушить! — Что ж! и прекрасно! Это точно, что я не внушал! ну, я, стало быть, и ответ за это должен дать! А то, помилуйте! я — не внушал, а Павел Алексеич все-таки обязан знать... «настоящие правила»! На что похоже!

Он высказал это бессвязно, едва ли сознавая значение своих слов. И вслед за тем так же машинально потянулся за сигарой, зажег ее и начал муслить во рту.

— Смешно, право! — прибавил он в заключение, как будто все «предыдущее» было для нас так же ясно, как и для него,— я не внушал, а Павел Алексеич — должен знать!!

Но, в сущности, это «предыдущее» было действительно ясно. Жизнь приучила нас к целому ряду явлений, которые мы угадываем с одного намека. Все современные семейные драмы (во всех в качестве действующего premier sujet[1] является подрастающий «молодой человек») построены до того на один лад, что можно заранее расположить их сценарий и угадать заключительную катастрофу. Стенографические отчеты газет знакомят нас с этими драмами довольно аккуратно, но нельзя сказать, чтоб вполне обстоятельно. А именно: не все действующие лица выходят в них на сцену. Мы видим только так называемых увлекающихся, но нам почти никогда не приходит на мысль, что у каждого из этих увлекающихся существует известная обстановка, данная рождением, воспитанием, дружбою.

---

[1] на первых ролях.

Стенографические отчеты решительно умалчивают об этих обстановках, а между тем в них встречаются действующие лица, отнюдь не менее интересные, как и главные сюжеты. Это — отцы и матери увлекающихся, которые мечутся, истекают слезами и кровью и тем с большею болью отзываются на удары судьбы, что последние падают на организмы, уже обессиленные прежними жизненными ударами. Поэтому, ежели читатель стенографических отчетов хочет знать, где находится настоящий узел современных семейных драм, то он должен перенестись мыслью к этим анонимным, без речей изнемогающим лицам. Тогда драма сделается для него вполне понятною, ибо он на себе самом почувствует цепенящее дуновение того ужаса, который заставляет анонимных людей анонимно истекать слезами и кровью.

Мы молчали. Я боялся даже взглянуть на Алексея Степаныча: мне казалось, что я встречу в лице его нечто такое, что должно меня уничтожить. До сих пор я видел в нем только несомненно доброго человека; теперь — он представлялся мне верховным судьею, который, силою сосредоточившегося в нем трагизма, всю мою жизнь может привести к нулю. Да, я не знал, как *это* страшно; я не понимал, что может существовать *такая* боль. Вот человек, которого жизнь до самой глубокой старости была сцеплением всевозможных «обстановочек», который вполне удовлетворился этим, думал только о том, как бы ему поудобнее устроить последнюю «обстановочку» — «обстановочку» смертного часа,— и на которого вдруг, из-за угла, налетела неслыханнейшая трагедия и заставила метаться в пустоте, заставила истекать сухими слезами, не сознавать значения собственных речей, не понимать, зачем и куда он пришел...

Да, я уверен, что он находился в состоянии полусна и сознавал только одно: что его пристигла внезапная и совсем нестерпимая боль. Больно везде: мозг горит, сердце колотится в груди, спину переломило. Надо куда-то бежать, о чем-то взывать — и все это в такие минуты, когда рассудок отказывается действовать, когда колеблющиеся ноги не могут выносить тяжести вдруг осевшего тела, когда с каждым шагом кажется, что проваливаешься в бездну. Несомненно, что старик уже с раннего утра мыкался по городу, но *был* ли он где-нибудь и *зачем* был,— наверное, он в эту минуту даже рассказать не мог. Бывают положения, когда человек ни о чем больше и думать не может, кроме того, что ему надо куда-то идти и за что-то себя распинать, когда он спешит, оставляет все дела, выходит на улицу — и не знает, в какую сторону броситься. Я убежден, что он и ко мне зашел машинально. Пить захоте-

лось, он взглянул на дом, мимо которого шел, показалось что-то знакомое — он и позвонил. Вот и теперь, хотя глаза его были устремлены в ту сторону, где стояли мы с Глумовым, но, в сущности, он смотрел не на нас, а через нас, в тот неведомый угол, откуда слышится ему дорогой голос: «Мы, папаша, знаем, что вы нас любите, и очень вам за это благодарны». Эти слова когда-то казались ему холодными (он, как и все старики-отцы, не прочь бы посентиментальничать), но теперь они звучат в его ушах, как высшее выражение сыновней любви. Да, именно так, просто и без излишеств, должен говорить сын с отцом, такой сын, который ждет от отца серьезно-любовного отношения, а не бомбошки. Эта сжатость и трезвенность сыновнего обращения даже ему, старику, делала величайшую честь: она поднимала его до уровня сына. Да, поднимала; отца поднимала... до сына. Теперь это для него совсем ясно. И вот, этот самый сын, который ему так недавно еще говорил: «Мы, папаша, знаем, что вы нас любите»... ах, ка̀к он просто, ка̀к любовно он это говорил! Господи! да ведь не дальше как вчера, вчера утром, он, Алексей Степаныч, ходил, обнявши его, по зале и не надоедал ему старческой болтовнею, а только осторожно заглядывал ему в лицо... Отчего вчера, а не сегодня?

Подавленный этой мыслью, он продолжал смотреть через нас в пространство, в то небольшое, но лучезарное пространство, в котором сосредоточивалось искупление, обретенное ценою крестного пути.

— Голубчик! да вы узнавали ли? — первый прервал молчание Глумов.

Алексей Степаныч слегка вздрогнул; вопрос этот снова возвратил его к чувству действительности.

— Был,— отвечал он,— и у своего князя, и у других... Все говорят: сам, старик, виноват! вожжи покороче держать было надо! Помилуйте! диви́ бы что умное сказали, а то... вожжи! Ишь ведь... вожжи!

— Обнадеживают ли, по крайней мере?

— Обнадеживают... да. Только ведь я Фома неверующий! мне ведь *сейчас* его надобно... вот теперь, сию минуту! А этого, говорят, нельзя! Ну, и я сам знаю, что нельзя!

— Отчего же?

— Нельзя, сударь... служба, долг!

— Да расскажите подробнее, ка̀к вас приняли, что̀ сказали?

— «Нельзя!» — я, признаться, только это и слышал. А в прочих частях, разумеется... за что же меня дурно принимать! Старик... с ума сходит... любит... Один генерал даже руки жал... слезы на глазах... «Успокойтесь!» — говорит.

При этом воспоминании Алексей Степаныч нервно повернулся в кресле и усиленно начал муслить потухшую сигару.

— Что ж, я ведь и не беспокоюсь! — продолжал он,— я на стену не лезу, на приступ не иду, не грублю, а прошу!.. Сердце у меня в клочки изорвали — вот я что говорю! Служба, долг — все это я знаю! Чего еще спокойнее!

— Да не можем ли мы что-нибудь... ну, сходить куда-нибудь, разузнать? — начал было я.

— Нет, друг мой, что уж! Вот воды напиться дали — за это спасибо! — поблагодарил Алексей Степаныч и вдруг как-то пристально взглянул на нас, покачал головой и прибавил: — Ах, господа, господа!

Меня даже в жар бросило от этого восклицания. Господи! да ведь он понял! думалось мне. Он понял, что ему с нами делать нечего; может быть, он даже угадал разговор, который мы вели до его прихода. Бывают такие минуты прозорливости, когда видимое человеком пространство вдруг освещается каким-то совсем особенным светом, и перед умственным его взором совершается что-то вроде откровения. Вот одну из таких минут переживал и Молчалин. Он как бы очнулся и мысленно спрашивал себя, каким образом, при таких несомненно трудных для него обстоятельствах, он очутился здесь, в кругу «приятных знакомых»?

И действительно, он посидел еще минут с пять, но уже не говорил, а только возился с сигарой, безуспешно пытаясь зажечь ее. Наконец он грузно поднялся с кресла и простился с нами.

— Пора! дело делать нужно! — сказал он, направляясь колеблющимся шагом к выходу.

Мы опять остались глаз на глаз с Глумовым. Некоторое время мы безмолствовали, как бы стараясь вникнуть в смысл сонного видения, которое мелькнуло перед нашими глазами.

Увы! смысл этот был так ясен, что его нельзя было затемнить даже самыми ухищренными комментариями. Видение стояло перед нами несомненным укором и практически подтверждало то самое, о чем мы, при каждой встрече, вели бесконечную хворую канитель. Даже теперь, когда налицо стоял живой факт, я заметил, что меня интересуют не столько Молчалины, отец и сын, сколько мое личное отношение к обрушившемуся на них злоключению. «Не могу! не умею!» — затянул было я, но тут же с каким-то омерзением подумал: «Господи! да ведь это опять все та же канитель!» Противно сделалось; зарыться куда-нибудь хотелось, забыть. Но для

этого нужно было, чтоб Глумов ушел, а он не уходил. Канитель преследовала до конца.

— Пить попросил! — начал я, почему-то особенно пораженный этой подробностью.

— Да, попросил.

— И заметь: когда я предложил ему свои услуги, он даже и не задумался. Какие, мол, услуги вы, приятные знакомые, оказать можете! вот напиться дали — за это спасибо! Старик! Молчалин! — и тот!

— Да, и тот!

— И тот ничего от нас не чает... ха-ха!

— Видно, что так.

— И тот говорит: вот покалякать с вами — я с удовольствием; а что касается до дела, до такого, в котором, так сказать, кровь говорит,— это уж слуга покорный! Лучше, дескать, я к квартальному обращусь: может быть, вместе какую-нибудь «обстановочку» выдумаем!

— То-то, что не сильны мы насчет «обстановочек»-то! Это верно!

— Да и не насчет одних «обстановочек», а вообще... Ничего мы не можем. Старик — и тот это понял. А представь себе, если бы нам пришлось, например, предложить свои услуги самому Павлу Алексеичу...

— Ну, тому вряд ли бы даже предложить пришлось, потому что ведь он, поди, и в мыслях не держит, что мы существуем на свете.

— Положим, однако ж. Допустим, что нам как-нибудь удалось бы напомнить ему о своем существовании; ведь он... что̀ бы он нам сказал?! Ах, какое это, однако ж, нестерпимое, оскорбительное положение!

Глумов не возражал. Обыкновенно мы наши диалоги вели в таком порядке: он говорил, я подавал реплику, и наоборот. Но на этот раз перед нами стоял факт, который до некоторой степени обуздывал. Глумов даже прекратил свое обычное хождение по комнате, уселся на диван и как-то уныло смотрел на меня.

— Хворы, брат, мы — вот что! — сказал он.

— Да и не теперь только хворы, а всегда были! Помянуть нечем прошлого! Эти экскурсии в область «униженных и оскорбленных» — ах, я забыть об них не могу!

— А это еще лучшее, что было!

— Но ведь это разврат! это сонное любострастие! вот ведь это что! На деле-то я себе в пище отказывал, лишь бы в таких же клетчатых штанах щегольнуть, какие наш общий товарищ, Сеня Бирюков, носил! Я сгорал завистью к тем, которые к гра-

фине де Мильфлёр на балы ездили! Я, отроду ее не видевши, анекдоты из жизни Мильфлёрши рассказывал!

— И в то же время занимался экскурсиями в область униженных и оскорбленных... было, брат, это, было.

— Разве это не сонное любострастие? Ах, что̀ это за молодость была! Ведь ни одного шага, ни одного поступка искреннего не было, ничего, кроме лганья! И не лжи, а именно лганья, безобразного, нескладного, которое всякий насквозь видел! И, странное дело, все знали, все понимали, что мы лжем, и никто не дал себе труда уличить нас, никто не сказал нам: молодые лгуны! подумайте, какую вы готовите себе старость!

— Тогда, любезный друг, все лгали, а об молодых людях так даже прямо такое мнение было, что им лгать приличествует.

И вот теперь мы старики — и никому до нас дела нет! Молчалин — пойми, Христа ради! — тот самый Молчалин, который к Софье Павловне по ночам на флейте играть ходил! — и тот говорит: ничего я от вас не жду, а вот воды напиться дадите — скажу спасибо!

Это было так горько, так горько, что я совсем незаметно увлекся и уже совершенно непоследовательно заключил свою диатрибу восклицанием:

— За что?!

— А вот за то самое, в чем ты сейчас себя уличал! Чудак, братец, ты! Целый час сам себе нотацию читаешь, и вдруг — за что?!

— Да, но ведь все-таки... Не все же во мне умерло! ведь хоть и поздно, а я очнулся! Весь этот угар, все эти странные понятия о свойствах, составляющих украшение благородного молодого человека,— все это давным-давно похерено и сдано в архив! Ведь я теперь...

Но на этом слове я осекся и покраснел.

— Что́ же ты «теперь»? — спросил меня Глумов угрюмо.

— Зла я не делаю! зла!

— Христос с тобой! на что̀ делать зло!

— Да, но ведь и это... Что̀ же, наконец, остается нам? при чем мы состоим? что̀ нам делать?

— Жить — вот и все. Если жизнь привязалась и не отпускает тебя — ну, и живи. Удивляй мир отсутствием поступков и опрятностью чувств. Тоскуй, стыдись, тяготись жизнью, но живи в четырех стенах и в чужие существования не впутывайся. Наблюдай эти существования, но буде чего не понимаешь в них, то не огрызайся и не глумись, а говори прямо: я этого не понимаю! Живи!

На этом слове мы расстались.

К сожалению, я не последовал совету Глумова и впутался. В ближайший же праздничный день после посещения Алексея Степаныча я отправился на Пески и часов около двенадцати утра не без тревоги звонил у подъезда знакомого одноэтажного деревянного домика. Но, по беззаботному виду, с которым прислуга отворила мне дверь, я догадался, что *все* семейство Молчалиных налицо, и что, следовательно, тревога моя напрасна.

— Вот и чудесно! — встретил меня Алексей Степаныч.— Спасибо, мой друг, спасибо! Ведь и вы... да, голубчик, помню я, очень помню, какое вы намеднись участие приняли! И готовность вашу и заботливость... много, очень много вы меня облегчили! А вода у вас какая... лакомство, а не вода! У нас вот на Песках все как-то Лиговкой припахивает, а в ваших краях прекрасная... прекраснейшая вода!

Алексей Степаныч обнял меня и поцеловал в обе щеки.

— Стало быть, все благополучно?

— Как вы тогда сказали, что беспокоиться преждевременно, так и оказалось! Слава богу! слава богу! слава богу!

Действительно, вся фигура Алексея Степаныча дышала таким спокойствием, что от тревоги «того дня» не осталось и следа. Лицо пополнело и посветлело; грудь и живот приняли обычную, слегка дугообразную форму; стан выпрямился, голова несколько откинулась назад, как у человека, который вполне понимает, что сегодня праздник, в продолжение которого он сам себе господин.

— Пустяки! — прибавил он с таким жестом, в котором я усмотрел даже некоторое посягательство на молодечество.

— Ну, и отлично. Во всяком случае, я очень рад, что все объяснилось.

— Разумеется, пустяки! — повторил он,— гимназистку шестого класса взбунтовал — важность какая, сделайте милость!

— Очень рад. Так, стало быть, мешать мне вам нечего: по случаю счастливого исхода дела, вам и без посторонних теперь хорошо. Прощайте.

— Ни-ни, и не думайте. Посидим в кабинете, покурим, побеседуем. Что ж такое! Мы рады — отчего же и вам с нами не порадоваться!

Одним словом, как я ни отпрашивался, старик настоял, чтоб я остался, и увел меня в кабинет...

— Мои-то еще от обедни не пришли,— прибавил он дорогой,— а Павел-то Алексеич к товарищу с утра забрался:

вместе «Правительственный вестник» будут критиковать! Не нравятся мне эти критики, ох, как не нравятся! а с другой стороны — жалко и на привязи молодого человека держать! Думал было сказать: не ходи! — да совестно! Недотрога ведь он у меня — недолго и разбередить! Нынче же гаду промежду публики много развелось; вместо того чтоб мирком да ладком — только и слышишь: мальчишка! негодяй! Вот он, Павел-то Алексеич, и настораживает уши!

— Конфузится?

— Да как сказать? В первые два-три дня, как явился к нам — точно, что был будто не в себе... Гимназистку взбунтовал — ишь ведь какой грех случился! Ну, а теперь, кажется, обошелся. Милости просим!

Мы вошли в кабинет, уселись, закурили папиросы и начали беседовать.

— Довольно-таки было мне беготни,— начал Алексей Степаныч,— в одном месте пять минут, в другом — десять минут, да на лестницу, да с лестницы — смотришь, ан к вечеру и порядочно ноги отбил.

— Хорошо, по крайней мере, что успели.

— Да, мой друг, очень это хорошо. Я, впрочем, не ропщу. Роптать свойственно сильным мира сего. Вот кто на высоте стоит, и вдруг его оттуда шарахнут! или чином обойдут, или он Владимира вторыя к празднику мечтал получить, а его короной на Анны отпотчевали. Тут поневоле возропщешь. А мне — что! самолюбиев да честолюбиев у меня и в заводе никогда не бывало. Сижу да корплю. Сыт, обут, одет, начальство не притесняет, жалованье в срок выдают, семью бог хранит — чего еще надо! Скажу тебе откровенно, что я на праздничное нынче не особенно рассчитываю. Прежде это точно что, по молодости, фантазии играли: все, бывало, думаешь, какую бы обновку на праздник соорудить; а нынче — умудрился! Дадут — хорошо; не дадут — и на том спасибо!

— Философ вы, Алексей Степаныч!

— Нет, не филосо̀ф, а по̀жил — вот и вся философия. Я даже в то время, как беда-то эта надо мной стряслась — большая беда, мой друг! — и то не роптал, а только как бы потерялся. Не понимаю, что̀ случилось; чувствую, что везде больно, су́юсь во все стороны... А теперь, как все благополучно кончилось, не только не ропщу, а даже, как бы сказать, взгляд получил.

— Вот как — и «взгляд»! Так что, пожалуй, с точки зрения этого «взгляда», Павел-то Алексеевич...

— Сохрани бог! Я не об Павле Алексеевиче... об нем я даже говорить не могу: права не имею! А вообще судя... Ведь и сквозь пальцы тоже смотреть...

— Алексей Степаныч! батюшка! да не вы ли же сию минуту на нынешнюю публику жаловались, что взгляд у нее легкомысленный.

— Да; но ведь я свой «взгляд» про себя и хороню: иметь имею, а зря — по большим дорогам не выбалтываю. Легко сказать: негодяи! — да каково будет после, как подлость-то эту с языка своего смывать придется! Сегодня ты на всех перекрестках кричишь: негодяи! — а завтра окажется, что у тебя собственный сын завяз! Примеры-то эти бывали. Ах, как осторожно нынче нужно эпитеты-то эти раздавать! И не думаешь, не гадаешь, как в свою собственную кровь попадешь!

— Воля ваша, а того, что вы сейчас высказали, совершенно достаточно с точки зрения «взгляда». Каких же еще особенных «взглядов» нужно?

— Нет, это «поведение», а «взгляд» — это опять другое. Нельзя и без «взгляда», мой друг. Вот и об турецких делах в газетах читаешь — и тут «взгляд» себе составляешь... Что̀, мол, Бисмарк скажет? какую-то Дизраэли новую ловушку сочинит? — Все хочется заранее рассчитать и угадать.

— А Бисмарк возьмет да совсем другое скажет!

— Что ж! он скажет, а мы с тобой послушаем. Ведь это и всегда так бывает: мы, публика, взгляды составляем, а начальство возьмет да взгляды наши поправит! Так-то, мой друг!

Алексей Степаныч снисходительно потрепал меня по коленке и прибавил:

— Начальство-то наверху стоит — оттого ему и видно! Оно не только взгляды имеет, но и применяет их, а мы — соображаться должны. Вот я, не дальше как вчера, с князем Тугоуховским, с начальником моим, разговор об нынешних этих делах имел — и что ж, сударь! Может, и не совсем это для меня приятно, а все-таки должен сознаться, что во многом я, после этого разговора, свой «взгляд» изменил!

— А не будет это нескромностью, ежели бы я вас попросил объяснить мне, в чем взгляд князя Тугоуховского состоит?

— Отчего не объяснить — с удовольствием! Сначала об делах, разумеется, говорили, а потом и другое многое к слову молвилось. Об Павле Алексеиче речь зашла: рад, говорит, душевно, что благополучно кончилось, хотя с другой стороны... Ну, я молчу, кланяюсь, думаю: что-то будет? И вдруг взял он меня за обе руки и говорит: «Ах, Алексей Степаныч! Алексей Степаныч! ты думаешь, нам легко?»

Алексей Степаныч остановился на мгновение, взглянул на меня и продолжал:

— Да, мой друг, и им не легко!

— А мне так кажется, что ваш князь напрасно отягощается. Совсем уж он не такая важная птица, чтоб на себя тяготы-то эти принимать.

— Важная не важная, а все-таки птица. В нашей служебной иерархии и малая птица значение имеет, потому что она на себе образ и подобие больших птиц отражает. А к тому же, если Тугоуховский и не большая птица, так ведь я-то перед ним — уж совсем воробей.

— Так неужто ж в одном этом и весь «взгляд» вашего князя состоит?

— Нет, многое и другое было говорено. Вот, говорит, который уж год неурожай везде, заработков нет, торговля в умалении, земледелие пало — надо же меры принимать!

— Трудно жить — это правда; но ведь еще недостаточно сказать: «трудно»,— надобно хоть причину трудности выяснить.

— Куски наперечет стали — вот и причина. Прежде, когда во всем обилие было,— и дух легче был, и расположенность чувствовалась; а нынче, как на зуб-то нечего положить стало — ну, и смотрит на тебя всякий, словно за горло ухватить хочет!

— Прекрасно. Значит, так и надобно устроить, чтоб всего было вдоволь. Тогда и опять легкий дух и расположенность явятся. Как вот насчет этого ваш князь рассуждает?

— А как же ты это рассудишь, голубчик? Сокрушается наравне с прочими — ну, и довольно!

— И часто он таким образом сокрушается?

— Прежде реже было, а с тех пор, как пошли эти воровства да банкротства... Представь себе! Ведь и его Иван-то Иваныч ожег! Сегодня ему банкротом себя объявить, а вчера наш князь к нему в контору три тысячи на текущий счет снес!

Я хотел было еще что-то спросить, но разговор выходил как-то уж чересчур запутан и сложен. Тут и неурожаи, и отсутствие заработков, и банкротства... Помилуйте! да ведь это целый курс политических, экономических и общественных наук! И вдруг — «взгляд»!

А между тем эти разговоры ведутся во множестве, да едва ли не одни они и ведутся. По крайней мере, на меня пахнуло чем-то до того знакомым, что воображение мое даже целую картину нарисовало. Почудилось, что я сам удостоен от князя Тугоуховского аудиенцией, и он, в кратких словах, излагает передо мной свою душу. «Поймите меня! — говорит он,— с одной стороны, меры — необходимы; с другой стороны — принимать их не легко!» Сказавши это, он на минуту впадает в ме-

ланхолию и прибавляет: «Да, mon cher [1], не легка наша задача, хотя с божиею помощью и не непреодолима. Во всяком случае, я очень рад, вы имели случай узнать мой «взгляд». Этого, я надеюсь, совершенно достаточно, чтоб обеспечить мне ваше содействие в будущем!» Затем он весьма любезно делает знак ручкой, извещающий меня, что аудиенция кончилась.

Я мог бы продолжать эту картину и далее. Мог бы рассказать, как я был очарован словами князя, как я ел его глазами, ловил каждое движение губ и беспокойно двигался в кресле, в знак понимания, как я даже «понимал», как я шевелил губами, словно бы желая сказать: «ваше сиятельство! да я... да неужели?! да вы только свистнуть извольте!!», как я потом вышел из квартиры князя на свежий воздух, начал припоминать, припоминать... и вдруг остолбенел! «Что̀ он такое сказал? что̀ такое он хотел выразить?» — мучительно завертелось у меня в голове...

Но я не успел еще надлежащим образом развить эту картину, как в передней раздался звонок.

— А вот и сам Павел Алексеич, кажется, явился! — молвил Алексей Степаныч и, после минутного размышления, прибавил: — А что̀ бы вам, с своей стороны, молодого человека слегка пожурить? право!

— Помилуйте, Алексей Степаныч! вы, отец — и то не журите! с какой же стати я-то в это дело мешаться буду!

— Нет, и я, признаться, журил, да как-то им скучно стариков-то слушать... Скажу вам откровенно, не только сам я журил, да и знакомого священника, отца Николая,— приглашал. Да тот как-то уж странно... «звезда от звезды» да «ему же честь — честь»... Для меня-то оно вразумительно, ну, а Павел Алексеич только стоит да обмахивается, словно мухи около него летают.

— Вот видите ли! Ну, и со мной то же самое будет: точно так же обмахиваться начнет.

Сказал я это очень твердо и, по-видимому, совершенно искренно в эту минуту был убежден, что, в сущности, Павлу Алексеевичу ничего другого и не предстоит, как только обмахиваться под гудение моей журьбы. Но не могу не сознаться, что внутри у меня уже что-то щекотало. «А что, в самом деле, ежели бы пожурить молодого человека? — шептал искушающий голос,— не строго, не в духе пророка Илии, а в минорном тоне: хороший, мол, вы молодой человек, а поступка вашего, относительно взбунтования гимназистки, одобрить,

---

[1] мой милый.

извините, не могу! Да-с, не могу-с. Не так-с! не этак-с! Стремитесь-с! шествуйте вперед-с!.. Но... не так-с!..»

И я опять слегка начал рисовать картину: вот так я стою, а так — он стоит. Язык у меня без костей, слова — так и льются: не так, сударь, не так-с! и правая рука поднята вверх, и указательный палец в воздухе торчмя торчит: не так-с! Гм... да ведь и это, пожалуй, своего рода взгляд!..

В эту минуту Павел Алексеич вошел в кабинет. Он значительно возмужал с тех пор, как я его в первый раз видел, но в манерах его замечалась прежняя юношеская застенчивость и как бы угловатость. Он поздоровался с отцом, протянул мне руку и хотел было немедленно удалиться, однако Алексей Степаныч остановил.

— Небось на совещании был? — спросил он его.

— Ходил к одному товарищу.

— «Правительственный вестник» вдвоем критиковали? Господина Черняева с Гарибальди сравнивали?

— Нет, этого мы не делали.

Молодой человек вновь сделал движение, чтоб удалиться.

— Чт̀о же вы делали? сядь, посиди с нами! довольно за утро с молодыми наговорился — можно и со старшими посидеть.

Павел Алексеич, не говоря ни слова, сел несколько поодаль и закурил папироску.

— А мы сейчас тоже об современном этом направлении говорили. Я — порицаю, а вот он (Алексей Степаныч назвал меня по имени и по отчеству): извинить, говорит, надо!

Павел Алексеич продолжал молчать, но я заметил, что он действительно сделал такое движение рукой, словно обмахнулся.

— Позвольте, Алексей Степаныч,— вступился я,— я не совсем так говорил. Я говорил, что молодые люди увлекаются, что увлечение свойственно этому возрасту! — вот чт̀о я говорил! А извинять или не извинять — это совсем другой вопрос! Я рассматривал, я взвешивал... пожалуй, даже констатировал, но не считал себя в праве ни осуждать, ни, тем менее, извинять. Помилуйте! Это не мое дело!

Странная вещь! в сущности, как читатель сам может убедиться из предыдущего, я ничего подобного не говорил, но в эту минуту мне до того ясно представилось, что я именно говорил то самое, что даже угрызений совести не чувствовалось. А внутри так и подмывало: пожури да пожури!

— А по-моему, так это именно и значит «извинять»... «Увлекаются» — чт̀о ж это, как не извинение? — рассудил Алексей Степаныч.

— Нет, это не то-с! Я не извиняю и не осуждаю, а просто говорю... Но и тут опять: я не только не считаю своего мнения обязательным, но даже высказать его решусь лишь в таком случае, когда буду иметь уверенность, что оно может кого-нибудь интересовать!

Я взглянул на Павла Алексеича, в чаянии, не поощрит ли он меня к дальнейшим развитиям, но увы! он опять обмахнулся — и только. Зато Алексей Степаныч поощрил меня.

— Отчего же не высказаться? — сказал он,— ваше мнение для всякого, сударь, интересно!

Но я решился не вдруг. С одной стороны, внутренний голос подсказывал: пожури! с другой, думалось: а ну, как из этой журьбы что-нибудь вроде: «ина слава луне, ина слава звездам» — выйдет?

— Не та̀к! — сорвалось у меня, наконец,— совсем не *это* нам нужно!

Сказал я это, но обычное хворое двоегласие и тут не оставило меня. Кому «нам»? об ком ты разглагольствуешь?.. Может быть, на этом и прервалась бы моя «журьба», если бы Алексей Степаныч не подстрекнул меня.

— Вот, вот, вот! Это же самое и я ему говорю! — вмешался он.— Никогда, говорю, не бывало, чтоб яйца курицу учили! и за границей этого нет, а у нас — и подавно! Следовательно, коли ежели старшие говорят: погоди! — значит, та̀к ты и должен сообразоваться! Язычок-то на привязи держать, да уважать старших, да расположенность их стараться сыскать... так ли я говорю?

— Нет, я не о том! Я вообще говорю: не так! Не то нам нужно!

Должно быть, двукратное повторение одной и той же формулы повлияло на Павла Алексеича раздражительно, потому что он не выдержал.

— Позвольте! что̀ же, собственно, нужно вам? — спросил он, довольно, впрочем, спокойно.

— Выше лба уши не растут — вот что̀ памятовать нужно! — формулировал наконец я,— и сообразно с сим поступать!

— Но ведь это то же самое, что «яйца курицу не учат»!

— Нет-с, не то! то есть, коли хотите, оно и то, да не то! В предположении Алексея Степаныча яйца должны навсегда остаться яйцами. Я же говорю, вот яйца, из которых со временем нечто должно вылупиться! Но прежде — и вот где разница между мною и вами, молодой человек! — прежде, говорю я... вылупитесь, господа!

Я сказал это горячо и с убеждением; даже старческая слеза выступила. Господи! да ведь тут уж целый план!

Сперва вылупитесь, потом подрастите, потом осмотритесь, а там что бог даст!

— Да-с, это не то! — продолжал я.— Я сам был молод, сам увлекался... Знаю! Молодость великодушна, но — извините меня — нерассудительна! Она не хочет понимать, что всякое общество есть союз, заключенный во имя совершившихся фактов и упроченных интересов. Что безнаказанно колебать подобные союзы нельзя! Что ежели, наконец, и не невозможно к ним прикасаться, то прикосновение это может быть допущено лишь с величайшею осторожностью и крайним благоразумием!

— С подходцем, мой друг, с подходцем! — подтвердил и Алексей Степаныч.

Я был в ударе и хотел сказать многое. Даже целую картину сбирался нарисовать, как *оно* катится и, словно снежный ком, нарастает и нарастает... Само катится, милостивые государи, и само нарастает... Само! Но последнее замечание старика Молчалина как-то разом подкосило меня. Увы! Алексей Степаныч был неумолим! Он не только подавал руку помощи, но еще комментировал, выводил на свежую воду. В самом деле, разве не одно и то же мы говорили? Сначала он сказал: вот он *извиняет,* а я возразил: нет, я не извиняю, а только думаю, что молодости свойственно увлекаться. Потом он свел разговор на тему: курицу яйца не учат, а я возразил: нет, и это не так, а вот как: уши выше лба не растут! Наконец, я сказал: к совершившимся фактам следует прикасаться с осторожностью, а он прибавил: с подходцем!.. Неужто же мы единомышленники? Неужто я — он, а он — я?

Я смотрел во все глаза и не мог прийти в себя от изумления. Алексей Степаныч, перегнувшись в кресле, болтал руками между колен и, благодушно покачиваясь, приговаривал: «Да, брат, с подходцем — а ты думал, ка̀к?» «Молодой человек» покуривал папироску и совершенно безучастно смотрел в окно. Такая скука была написана на лице его, что я сразу понял, какое действие произвела на него моя журьба. Это действие формулировалось словами: вот-вот, сейчас будет «звезда же от звезды разнствует во славе» — и конец разглагольствию!

Наконец он не выдержал и встал.

— Я, папенька, пойду,— сказал он,— наши уж от обедни пришли.

Мы опять остались одни со стариком Молчалиным.

Алексей Степаныч имел такой вид, как будто сейчас проснулся. Очевидно, и он не ждал, что *так* выйдет. Может быть, он думал, что я представление дам: возьму шляпу, сперва по-

кажу ее внутренность: пусто? — а потом в ней окажется яичница, или живой голубь, или букет цветов. А оказалось, что я почти то же сказал, что̀ и отец Николай, что̀ и все мы, отживающие люди, говорим, когда нелегкая наталкивает нас на разговор...

Однако он не только не попенял мне за это, но, как человек вполне незлопамятный, даже поощрил.

— Ну, спасибо, голубчик! — сказал он, подавая мне на прощание руку,— большое вам за это спасибо, что моего молодого человека уму-разуму наставили! Горьконько ему, конечно, правду-то эту выслушивать, зато впоследствии благодарен будет, как действие-то на себе ощутит! Да, зарубит-таки он кое-что! зарубит себе на носу!

Я возвращался от Молчалиных и с тревогой, почти с болью спрашивал себя: мог ли я сказать что-нибудь иное?

Да, я высказал то самое безразличное брюзжание, которое, благодаря старческой хворости, заменяет нам и анализ, и доказательства,— все... Но я высказал некрасиво, не постарался — оттого и вышло, что я как бы повторил Тугоуховского, Алексея Степаныча и отца Николая.

Впрочем, быть может, я имел бы сказать что-нибудь и еще, да язык не поворачивался. Несмотря на симпатичные стороны, о которых я подробно упомянул выше, у нас, людей отживающих, людей старых песен, есть огромный недостаток: мы боимся даже невзначай обнаружить ту сокровенную подоплеку, которая составляла основу всей нашей жизни. Ведь, собственно говоря, мы никогда настоящим образом не жили, а только жеманились. Мы и свободу любили на греческий и римский манер: чтоб амфора была, вино сиракузское лилось, а мы бы мудро беседовали. Даже смерть мы представляли себе в красивой форме, по образцу смерти Тразеи Пета, с разговором в кругу друзей о непрочности земных благ и с восклицанием, в виде заключения: хвала Юпитеру! Подумайте: есть ли возможность все это обнаруживать? есть ли возможность вступать в спор, имея в запасе такую опорную точку?

Увы! Нынче нет ни амфор, ни сиракузского вина, ни красивой смерти, ни даже Юпитера. Нынешняя жизнь, даже в запросах своих, воплотилась, в какие-то странные формы, чуждые светотеней, аляповатые, грубые, почти циничные. Хотелось бы порой сказать ей слово сочувствия, а внутри так и колышется: фуй! Гадливость, коли хотите, отнюдь не злостная, а

только инстинктивная, но, благодаря беспрерывному возбуждению, очень легко переходящая в привычку, в страх.

Вот этот-то страх и есть то общее, что приравнивает нас к Тугоуховским, Молчалиным и проч. Не в том дело, что мы не тех результатов боимся, которых боятся они, а в том, что и мы и они ждем своих различных результатов из одного и того же источника. Поэтому, хотя мы выражаем наше отношение к современности несколько иначе, нежели Тугоуховские и Молчалины, но разница лежит скорее в форме, нежели в сущности.

Поэтому же ничего у нас ясного не выходит, да и не ждет от нас никто ничего. Мы и скорбим, и стыдимся, и к смерти взываем, а нам говорят: уйдите! живите или умирайте — как вам угодно, но только там, в своих углах!

Это очень больно, но средств к уврачеванию этой боли, кажется, не предвидится. Что̀ бы мы ни говорили, какой бы «обмен мыслей» ни предпринимали — все-таки в результате окажется: «ина слава луне, ина слава звездам». Разве это разговор? Нет, правду сказал Глумов: живи и удивляй мир отсутствием поступков и опрятностью чувств! Да, только это и остается.

Не успел я мысленно произнести имя Глумова, как почувствовал, что кто-то хватает меня за локоть. Оглянулся — он самый и есть!

— Пари держу, что у Молчалиных был?

— Да, был.

— Ну, и что ж?

Я рассказал все по порядку, ничего не утаивая и не прибавляя.

— И поделом! — рассердился на меня Глумов,— малодушный ты старик — вот что! Говорено было тебе: сиди смирно! Да тебя, впрочем, не убедишь! Вот и теперь, придешь, чай, домой, сядешь за стол и скажешь себе: а ну-тко, благословясь, я этюд об «новых людях» настрочу! Нехорошо, не моги!

КУЛЬТУРНЫЕ ЛЮДИ

I. КУЛЬТУРНАЯ ТОСКА

Я сидел дома и, по обыкновению, не знал, что с собой делать. Чего-то хотелось: не то конституций, не то севрюжины с хреном, не то кого-нибудь ободрать. Ободрать бы сначала, мелькнуло у меня в голове; ободрать, да и в сторону. Да по-нынешнему, так, чтоб ни истцов, ни ответчиков — ничего. Так, мол, само собою случилось,— поди доискивайся! А потом, зарекомендовавши себя благонамеренным, можно и об конституциях на досуге помечтать.

Будет ли при конституциях казначей? — вот в чем вопрос. И вопрос очень существенный, ежели принять в соображение, что жизненные припасы с каждым годом делаются дороже и дороже, а потребности, благодаря развитию культурности, увеличиваются не по дням, а по часам. Черта ли и в конституциях, ежели при них должности казначея не полагается! Ободрать... вот это — бесподобно! Вот при «Уложении о наказаниях» нет казначея — поэтому оно ни для кого и не лестно. Но, может быть, поэтому-то именно оно и дано нам.

Я человек культурный, потому что служил в кавалерии. И еще потому, что в настоящее время заказываю платья у Шармера. И еще потому, что по субботам обедаю в Английском клубе. Приду в пять часов, проберусь в уголок на свое место и ем, покуда не запыхаюсь. Прежде, бывало, я разговаривал, а нынче — только ем.

Нынче в Английском клубе чиновники преобладают. Длинные, сухие, прожженные. Шепчутся друг с другом, судьбы, по секрету, решают, а на лбу между тем написано: чего изволите? Не раз случалось заговаривать: а принеси-ка, любезный... Посмотришь — ан у него звезда сбоку пришпилена. Настоящих культурных людей, утробистых, совсем мало стало, да и

те, которые остались, вконец развратились. Едят рассеянно, за чиновниками глазами беспокойно следят, словно думают: что̀-то они с нами сделают? И глаза какие-то подлые, ласковые у всех делаются, когда с ними какой-нибудь чиновный изверг невзначай заговорит...

Говорят, будто утробистые люди частью в Москву перебрались, частью у себя, по своим губернским клубам, засели. Там будто бы они не только едят и пьют, но и разговаривают. Только об губернаторах говорить не смеют, потому что губернаторы строго за этим следят. А о прочих предметах, как-то: об икре, о севрюжине и даже о Наполеоне III — говори сколько угодно. Говорят, был даже такой случай: один утробистый взял да вдруг ни с того ни с сего и ляпнул: конституций, говорит, желаю! Туда, сюда — к счастью, губернатор знал, что малый-то выпить любит, стало быть, человек благонамеренный.

— Пьян, старик, был?

— Точно так, ваше превосходительство, заставьте богу за себя молить!

— Ну, бог простит — ступай! Только вперед, коли чувствуешь, что пьян, сейчас беги домой и спать ложись!

— Рады стараться, ваше превосходительство!

И таким образом, вся эта история измором кончилась. А будь-ка губернатор построже, да взгляни на дело с точки зрения «внутренней политики» — ну, и быть бы бычку на веревочке! Фюить!

Уж не удрать ли, в самом деле, в губернский город Залупск? Хорошо там. Утром встал, не торопясь умылся, не торопясь чаю напился — гляди-ка, уж двенадцать часов на дворе. Походил, посидел, покурил, посвистал, в окошко поглядел: выкупные-то свидетельства, кажется, еще не все в расходе? — Завтракать подано! — гудит сзади холопский бас. Позавтракал, опять походил, покурил — одурь взяла: эй, кто там! тройку велеть заложить! И — ох! у — ах! эх вы, соколики!.. бесподобно! Воротился — ха! да никак уж обед на столе! В комнатах тепло, светло; щи, солонина с хреном, поросенок с кашей... по-русски! И как только ложкой стукнул — сейчас и гость на пороге. Ежели настоящий человек не наклюнулся, так секретарь какой-нибудь забежал. И все-то он тебе расскажет: кто кому рукой плюху дал, кто кого калошей по лицу смазал. Заслушаешься и не заметишь, как на часах девять пробьет. В клуб, сударь, в клуб! А там уж все в сборе, и все об давешних плюхах рассказывают. И один по одному — в буфет да в буфет. Постепенно да постепенно — и вдруг... конституция! А что̀ ж такое, что конституция! Коли ты пьян да бла-

гонамерен — Христос с тобой! Ступай домой, ложись спать — сном все пройдет.

Ах, хорошо!

Хорошо-то, хорошо — да полно, так ли? Было такое времечко у нас в Залупске, было — да не прошло ли оно! Недаром мой друг, капитан Копейкин, пишет: «Не езди в Залупск! у нас, брат, столько теперь поджарых да прожженных развелось — весь наш культурный клуб испакостили!» Да; развелись-таки и там. Ищут, нюхают, законы подводят. В преферанс с тобой играют и через час у тебя же в квартире поличного ищут. И в клубы заползли: сперва один, за ним другой, а потом, глядишь, и в старшины попадать начали. Брякни-ка при нем: «конституция!» — а он тебе: вы, кажется, существующей формой правления недовольны?.. А мне что! Форма правления — эка невидаль! Я так... сам по себе... проваливай, брат, проваливай!

То-то! «проваливай»! Язык-то храбр, коли заочно, а как до дела дойдет — пожалуй, он и не всякое слово выговорит. Иное ведь слово прямо к отягчению служит,— попробуй-ка, выговори его! Да коли при этом ты еще не пьешь, да на дурном счету состоишь, сколько тебе, ради этого слова, слез потом пролить нужно будет, чтоб прощенье себе испросить!

И надо сознаться, что во всем мы сами, утробистые, виноваты. Еще в то время, когда «прожженные» только что нарождаться в губерниях стали,— тогда надо было меры принимать. Явился прожженный — и с богом! Живите, сколько вас есть, промежду себя. Играйте друг с другом в преферанс, ездите друг к другу в гости, угощайтесь, упивайтесь, прелюбодействуйте! Но в наш культурный клуб — ни-ни! Валяй, братцы, им черняков, чтоб вперед неповадно было! И жили бы прожженные особняком, словно прокаженные, а не стали бы в культурные гнезда залезать и культурных птенцов оттуда таскать. А культурные люди об конституциях бы разговаривали. А то на-тко! скоро, пожалуй, и об конституциях разговаривать некому будет: по одному, по одному — всех перетаскали!

Да, нынче утробистый человек гляди в оба, несмотря на то что ему благосклонно присвоено название культурного. Пришел ты в клуб — проходи бочком, не задеть бы вот этих двух выродков, которые по секрету об тебе между собой суждение имеют. Ты его заденешь, а он тебя смягчающих обстоятельств лишит, либо сына твоего живьем задерет. Сторонись же, иди бочком к буфету, пей молча водку и молча закусывай, потому что ежели ты разинешь рот — это может вон тех двух выродков оскорбить, которые, тоже по секрету, рассуждают, какому

роду истребления тебя подвергнуть! И таким образом, никого не задевши, садись, засучивай рукава и ешь. Ешь молча, и когда еда начнет одолевать тебя, то прилично вздыхай.

Много виноваты утробистые люди в печальной судьбе своей, но, с другой стороны, нельзя и осуждать их строго. Прожженные люди, именно как внутренностные паразиты, проползли в самое нутро культурных людей. Я помню, как в первый раз к нам в Залупск действительный статский советник Солитер явился. Всё благосклонности просил, всю надежду на земскую культурную силу полагал, да и об конституциях сам же первый заговорил. Да еще как заговорил-то! С хохотом, с визгом, со свистом, со слюною... В лицах форму правления представлял, песни скоромные пел, брудершафты предлагал! Ну, культурный человек и смяк. Видит, что малый разухабистый: и сплясать, и спеть, и соврать — на всё первый сорт. «Милости просим! прошу покорно! запросто! отобедать! да вечерком... к жене! Да в клуб, ваше превосходительство, в клуб!» Ну, и пустили козла в огород. А Солитер между тем, не будь прост, пошутил-пошутил, да и цап-царап! «Вы, кажется, формой правления недовольны?» Ах, прах те побери! Я так... сам по себе... а он: форма правления!

А жены наши еще больше виноваты. Легкомысленны наши жены, ах, как легкомысленны! Прожженные так и вьются около них, так и шепчут, и шепчут. У иной от этого шепота и грудочка поднимается, и глазки искрятся, и личико полымем пышет.—Ты что ж, душенька, мсьё Солитера к нам не пригласишь? — Солитера! ах, сделайте милость! Господин Солитер! милости просим! запросто! Отобедать! вечерком... к жене!

Нет, совсем у нынешних культурных людей ни esprit de corps [1], ни esprit de conduite [2] нет. А прежних утробистых представителей культуры, с жирными кадыками и пространными затылками, которые, завязавшись по горло салфеткой, ели и «независимо» сквернословили,— нет и в помине. Бывало, соберутся в каре вокруг своих вольностей (так, в старину, крепостное право называлось), да уставятся лбами — пушками их не прошибешь! А нынче какой-нибудь действительный статский советник Солитер — и тот всё в один момент развратил. Жен и дев перепортил, птенцов расточил, старцам — показал фигу...

Поэтому нынешний культурный человек об вольностях уж не думает, а либо на теплые воды удрал, либо сам в «Соли-

---

[1] сословного духа.
[2] умения вести себя.

теры» норовит. Только и слышишь окрест: да отчего же не доверяют нам? да попробовали бы! да нас только помани! да мы... Что ж, если у вас такая охота есть,— рапортуйте, любезные, друг на друга, рапортуйте!

Фу, подлость! Живешь-живешь — и все на положении грудного ребенка находишься! Мне вот пятьдесят лет, а я даже об конституциях вволю наговориться не могу! Разве я что-нибудь говорю! Переменить, что ли, я что-нибудь хочу! Да мне — Христос с вами! Я так... сам по себе... разговариваю...

Хочешь сказать ему, этому Солитеру долговязому: да вы что, в самом деле, милостивый государь! да я сам государя моего дворянин! я в кавалерии, государь мой, служил! И хотя в походах не бывал, но на походном положении, и даже в лагерях... да-с! Хочешь сказать все это — и молчишь. Потому что всюду, во все клубы, во все щели клубов — везде Солитеры наползли и везде соглядатайствуют. Смотрят и улыбаются, словно вот говорят: ты думаешь, мы не знаем, что̀ у тебя в затылке шевелится? Всё, мой друг, знаем, и при случае...

Вот это-то «при случае» и сбивает культурную спесь. Так оно ясно, несмотря на внешнюю таинственность, что даже клубные лакеи — и те понимают. Прежде, бывало,— кому первый кус? — ему, культурному человеку, кому и по всем утробным правам он следует. А нынче на культурного человека и смотреть не хотят — прямо ему, действительному статскому советнику Солитеру, несут. Ну, и опешили культурные люди.— Позвольте, я вашему превосходительству рапортовать буду? — Рапортуй, братец, рапортуй!

Подлость, подлость и подлость! Скоро мы и не то услышим. «У меня, ваше превосходительство, сын превратными идеями занимается — не прикажете ли его подкузьмить? — отрапортует культурный человек...» Фуй, мерзость!

Да, плох ты, культурный человек! совсем никуда не годишься! Никто с тобой не разговаривает, везде тебя обносят, жене твоей подлости в уши нашептывают... скучно, друг! И до̀ма у тебя тоска, и в клубах твоих тоска, а в собраниях твоих (бывших палладиумах твоих вольностей) — жгучее, надрывающее запустение царствует. Не метено, не чищено, сыро, угарно, но... рапортуй, мой друг, рапортуй!

И именно с тех пор ты и смяк, как тебя культурным человеком назвали. Культурность обязывает. Теперь и ты, и действительный статский советник Солитер — вы оба одно дело делаете. Он действует, а ты содействуешь. А ты думал — как? Ты, может быть, думал, что Солитер станет распинаться да

душу за общество полагать, а ты будешь лежать да благородным манером в потолок плевать? Так разуверься, голубчик! Это в те времена такие порядки были, когда ты еще чистопсовым назывался, а теперь шалишь! — теперь ты культурный человек стал! Солитер будет действовать, а ты — содействуй! Рапортуй, братец, рапортуй!

И за всем тем никогда никто в целом мире так не тосковал, как тоскуем мы, представители русской культуры. Мы чувствуем, что жизнь уходит от нас, и хотя цепляемся за нее при пособии «содействия», но все-таки не можем не сознавать, что это совсем не та жизнь, которой бы мы, по культурности своей, заслуживали. Хотя предки наши назывались только чистопсовыми, но они многого не понимали из тех подлостей, которые нам, как свои пять пальцев, известны.

И я уверен, что в большинстве их такие, например, слова, как «содействовать», «рапортовать» — вызвали бы во время òно только недоумение. Мой прадед, если б при нем употребили эти выражения, наверное, воскликнул бы: «Я, ваше превосходительство, государю моему верный слуга, но не лакей-с. Я сам бунтовал-с... в пользу законной власти-с! Я Анну Леопольдовну, регентшу-с, в одной сорочке из опочивальни вынес — и был за то деревнею в пятьсот душ награжден-с! Извольте, сударь, идти вон!» А дедушка мой сказал бы: «Я в Ропше, государь мой, был и оттуда, на сером аргамаке, до Зимнего дворца за великою государыней следовал-с... извольте идти вон!» Даже отец мой — и тот бы ответил: «Я сам заблуждался-с! и хотя принес в том чистосердечное раскаяние, но не содействовал... нет, не содействовал-с!» И все они почувствовали бы себя оскорбленными и будировали бы... Конечно, будировали бы до тех пор, пока им Станислава на шею не прислали бы. Но не за содействие-с, а за благородноверный порыв чувств-с!

А я, правнук, внук и сын, — что̀ я скажу? Я могу сказать только, что я культурный человек и что в этом качестве не имею возможности даже «чистосердечного раскаяния в том принести». Ибо я даже и не заблуждался никогда — нет, никогда! Ни заблуждений, ни истины, ни превратных идей, ни идей благонамеренных — ничего я не знаю! Стало быть, я могу только содействовать. Содействовать — вот моя специальность; не делать, не производить, не распоряжаться, а только содействовать. Вот почему многие, боясь увлечься этой специальностью, бегут на теплые воды и там влачат остатки культурного существования.

Не однажды меня интриговала мысль: каким это образом русский культурный человек вдруг словно из земли вырос?

Всё были чистопсовые, а теперь культурными сделались. И даже заслуги особенные выдумали, которые об культурности несомненно свидетельствуют. Я, говорит, из тарелки ем, а Иван мой из плошки; я салфеткой утираюсь, а Иван — стеклом. Вот почему я и называюсь культурным человеком!

Но едва я притрогивался к вопросу: действительно ли еда из тарелки, а не из плошки составляет непререкаемый признак культурности? — как передо мною вставал другой вопрос: да неужто это может кого-нибудь интересовать? и убудет ли от того хоть сколько-нибудь той бесконечной тоски, которая день и ночь гложет культурного человека, несмотря на то что он ест из тарелки, а не из плошки?

Тоска, тоска и тоска! С каким-то отчаянием обращаешься к прошлому: прошлое! прошлое! воротись! И знаешь, что попусту надрываешься, и все-таки кричишь: воротись! воротись! воротись!

Сознавать себя культурным человеком и в то же время не знать, куда деваться с этою культурностью,— вот истинно трагическое положение! Ну, что я с собой предприму? Куда, куда я пойду... ну, хоть сегодня вечером? Всё, что можно было, в пределах русской культурности, видеть и совершить,— всё это я уже видел и совершил. Жюдик — видел, Шнейдершу — видел, у Елисеева, и на бирже, и на Невском — был. Повторять то же самое — ну, просто противно, да и всё тут. Ведь и для культурности есть пределы, за которыми даже право «содействия» становится бессильным оживить человека. И в «содействии» — не бог знает прелесть какая: не все же «содействовать» — захочется когда-нибудь и «действовать». Где? как? А между тем ни смерть, ни болезнь — ничто нас не берет; жить, жить надо, не потому, чтобы хотел жить, а потому, что встала у тебя жизнь на дороге, и как ты ей ни кричи: сторонись! — она все стоит да подманивает. Встанешь утром и глядишь испуганными глазами в лицо грядущему дню. А в голове так и стучит: чем? ну, чем наполню я его?

Итак, я сидел дома и не знал, что делать с собою. Впереди предстояло одно из двух: или в балаганы идти, или в тайное юридическое общество проникнуть и послушать, как разрешается вопрос о правах седьмой воды на киселе на наследование после единокровных и единоутробных.

— Господи! да ведь это отрава! — вырвался из груди моей вопль.

II. ПРОДОЛЖЕНИЕ ТОСКИ И ПОЯВЛЕНИЕ ПРОКОПА

Дело было в половине апреля, как раз в светлый праздник. Я смотрел из окошка на улицу и любовался на истерическую сумятицу, происходившую в природе. Воздух был наполнен неизобразимым мельканием; густая белесоватая кашица кружилась и металась перед глазами, отделяя из себя крупные-крупные снежины, мокрые, разорванные, которые тяжко шлепались об оконные стекла. На наружных подоконниках уже образовались порядочные груды белой массы, рыхлой и источенной, как тающий сахар; мостовая, два часа тому назад серая, начинала белеть; темные ряды домов, мокрых, ослизлых, загадочно глядели, сквозь снежную сеть, своими бесчисленными черными окнами, словно тысячами потухших глаз. Небо давило и, несмотря на первый час дня, больше и больше заволокало город ранними сумерками. Но улица, наперекор стихиям, все еще усиливалась удержать праздничную физиономию. Стрелой мчались щегольские кареты, унося заключенных в них звездоносцев; между ними мелкой рысью сновали извозчичьи пролетки, с скрюченными под зонтиками чиновниками; на тротуарах дворники и мастеровые христосовались с бабами в душегрейках. Но вот, наконец, ударил такой снежный ливень, что вдруг праздничный гул смолк. Улица опустела как бы волшебством; еще раз взвизгнула дверь в кабаке напротив и захлопнулась; даже ликующие столоначальники — и те куда-то пропали.

Я стоял у окна и припоминал. Было время, когда и я в этот день метался по улицам. Приедешь, бывало, в один дом, подаришь швейцару целковый, распишешься и что есть мочи спешишь в другой дом, где тоже подаришь целковый и распишешься. Да в мундире, сударь, в мундире! Встретишь, бывало, на улице такого же поздравителя, остановишь, выпучишь глаза:

— Были?

И он тоже выпучит глаза:

— Был; а вы были?

— Был.

И летишь дальше.

А нынче вот сижу дома и глазами хлопаю. Извозчика, пожалуй, и не мудрость нанять, да ехать-то некуда. Некуда и незачем.

Прежде я потому ездил, что было у меня такое убеждение: в Петербурге поздравлю, зато в своем месте наверстаю. Я даже нарочно в Петербурге периодически появлялся, чтоб претерпеть и впоследствии наверстать. Ну, и меня принимали,

потому что все мы в то время, от мала до велика, одним товаром — крепостным правом — торговали и, стало быть, все друг дружке поручителями были. Мерзок я был, низкопоклонен, податлив — это так, но, по крайней мере, я знал, что у меня есть совершенно реальный стимул (возможность наверстывания), который двигает моими действиями. Впоследствии обстоятельства заставили меня сознать, что это был стимул фальшивый — прекрасно! Я понял это и, волею или неволею, отказался от идеалов наверстыванья, которые обуревали меня в бывалое время. Но почему же, оставив прежние стимулы, я не усвоил себе новых? Для чего я остался жить? для того ли только, чтоб представлять собой образчик отечественной культурности — велика невидаль!

Я знаю, что езди я или не езди, поздравляй или не поздравляй,— я все-таки ничего не наверстаю, потому что наверстать негде. Хотя же действительный статский советник Солитер и показывает мне вдали какие-то перспективы, но, право, мне кажется, что он и сам не сознает, в чем эти перспективы заключаются. Следуй, говорит, по моим указаниям, а куда следуй — и сам порядком растолковать не может. Эх, брат! у самого-то у тебя яичница в голове, а тоже других за собой приглашаешь!

Да ежели бы он и мог доподлинно разъяснить, куда и как нужно следовать,— разве я могу *туда* идти? Да и не только *туда* — просто никуда я идти не могу. Все, все для меня заперто. По судебной части я истца от ответчика отличить не могу — чьи же я интересы защищать или опровергать буду? По части народного просвещения я не знаю, кто кого кормил, волчица ли Ромула, или Ромул волчицу,— как же я на экзаменах баллы ставить буду? По части финансов я знаю: дери шибче, а в случае недобора — бесстрашно заключай займы! — что же касается до того, как и на какой бумаге ассигнации печатаются и почему за быстрое отпечатание таковых в экспедиции заготовления государственных бумаг дают награды и ордена, а за отпечатание в Гуслицах на каторгу ссылают — ничего я этого не знаю. Вот разве по сыскной части... ну, нет, Солитер! этому пока не бывать! Хотя по этой части и действительно никаких познаний не требуется, а только культурность одна, да я ведь еще не забыл, что мой прадедушка регентшу Анну Леопольдовну в одной сорочке из опочивальни вынес! Нет, не позабыл! Ибо ежели я самолично ничего не совершил, даже «чистосердечного в том раскаянья не принес», то прадед мой...

И откуда нынче такие действительные статские советники развелись, которые настоящего не дают, а всё перспективы

показывают! И прежде бывало не мало действительных статских советников — но какая разница! Назывались они не Солитерами, а Довгочхунами, Федоровыми, Ивановыми, Семеновыми, пили, ели, по гостям ездили, сами балы делали и откупщиков балы заставляли делать, играли в клубах в карты и в свободное от занятий время писали: утверждаю, утверждаю, утверждаю. А Солитер пишет: разоряю, разоряю, разоряю!

И ничего. Разоряет — но не созидает, расточает — и сам стоит невредим, развращает — и состоит членом общества распространения нравственности. Кто эту тайну поймет?

Есть один ресурс, который выручает его. Это — лганье и показывание фальшивых перспектив. Он лжет неуставаючи, лжет — как рязанский дворянин, когда начинает рассказывать, какие у него в оранжереях персики при крепостном праве росли. Недавняя чистопсовость и до сих пор выступает наружу в нем. Он лжет и сам нагло прислушивается к своему лганью. И верит. Верит, что со всей тройкой и с экипажем в одну прорубь провалился, а через двадцать верст, на тех же лошадях и в том же экипаже, из другой проруби выскочил.

И многие до сих пор верят показываемым им перспективам. Я убежден, что Прокоп, например, даже в эту минуту мечется, как озаренный, и всё поздравляет, всё поздравляет. И все потому, что думает: приеду домой — там наверстаю! И так, с незапамятных времен, из года в год, у него ведется: чем больше получает кукишей, тем больше надеется, тем шибче поздравляет.

Уже неделю тому назад я прочитал в газетах, что он в Петербург прибыл — а ко мне до сих пор ни ногой. Вместе Шнейдершу слушали, вместе в Географическом конгрессе заседали, вместе по политическому делу судились — и вот! Чай, всё перспективы высматривает, связи поддерживает, со швейцарами да с камердинерами табаки разнюхивает! Чай, когда из Залупска ехал,— хвастался тоже: я, мол, в Петербурге об залупских нуждах буду разговаривать! Разговаривай, мой друг, разговаривай... с швейцарами!

Кому интересны залупские нужды, культурные и не культурные? Вот кабы ты сообщил секрет, как к празднику нечто заполучить или как такому-то ножку, ради высокоторжественного дня, подставить — ну, тогда бы мы тебя послушали. А то: залупские нужды! — ишь с чем подъехал! Есть у вас в Залупске Солитер — и будет с вас. Он вас разберет: и стравит друг с другом, и помирит, если ему вздумается. Zaloupsk! qu'est-ce que c'est que Zaloupsk? [1]

---

[1] Залупск! что такое Залупск?

И вот, ради бесплодных разговоров с швейцарами, Прокоп даже об старом собутыльнике позабыл. Это ли не черта русской культурности! Сегодня приятель, а завтра разрешил ему Солитер за каблук своего сапога подержаться — он уже от вчерашних друзей рыло воротит. Я, говорит, нынче наверху, у самого каблука его превосходительства, стою́ — сверху-то мне перспективы виднее! Вы, лягушки, квакайте себе в болоте, а мы с его превосходительством сидим, вроде аистов на пригорке, да и нагрянем! Ах, аист, аист! на кого нагрянешь-то ты, птица ты бестолковая! Ведь, чай, всё на своих, на чистопсовых же, от них же и сам ты! Да и болото-то, смотри, уж пустым-пустёхонько стоит: скоро и зацепить там нечего будет!

Мне сделалось и досадно, и жалко. Милый Прокоп! Глуп-глуп, а культурность свою очень тонко понимает. У меня, говорит, в деревне и зальце в домике есть, и палисадничек, и посуда, и серебрецо, и сплю я на матраце, а не на войлоке — сейчас видно, что культурный человек живет! А мужик что́! намеднись у нас на селе у крестьянского мальчика тараканы нос выели, а у меня, брат, тараканы только на кухне живут! Милый, милый Прокоп! как сейчас вижу, как он в Залупске в клубе, завязавшись салфеткой (неопрятен он, когда ест), сидит: буженины кусок проглотит и слово скажет, еще кусок буженины проглотит и еще слово скажет. И слова всё такие мелкие: течет что-то, плывет, барахтается — и не зацепишь. И вот этот-то человек, у которого тараканы только в кухне живут,— поздравляет, подличает, с швейцарами по душе калякает! И даже когда запросто в клубе сидит — ест, а одним глазком в соседнюю комнату заглядывает! Там, в этой комнате, действительный статский советник Солитер с статским советником Глистом, по секрету, совещаются, а титулярный советник Трихина так и кружится, так и выплясывает перед ними. И жутко Прокопу, и любопытство одолевает. «Уже от Трихины всё выведаю!» — думает он про себя. И действительно, как только Трихина показался в дверях, весь пропитанный Солитеровыми инструкциями, так по столовой уж и раздается язык Прокопа: «Человек! шампанского!»

И для чего он кланяется и поздравляет? для чего выведывает? Спросите его,— он и сам внятно не ответит на этот вопрос. «Подличать, скажет, я не подличаю, это ты врешь, а все-таки...» И так-таки и упрется на этом «все-таки», как будто и бог весть какую оно мудрость в себе заключает...

И мне вдруг так загорелось видеть Прокопа, до того захотелось на затылок его порадоваться, что не успел я как следует формулировать мое желание, как в дверях раздался звонок, и Прокоп собственной персоной предстал передо мной.

Он был в культурном мундире и в культурных белых штанах; лицо его, напоминавшее морду красивейшего из мопсов, выражало сильнейшее утомление; щеки одрябли, под глазами образовались темные круги; живот колыхался, ноги тряслись.

— Откуда, голубчик? поздравлял?

— Разумеется, поздравлял. Вот ты так и день-то нынче какой, чай, позабыл? Христос воскрес!

Мы перецеловались.

— У заутрени был?

— По обыкновению, мой друг, по обыкновению.

— То-то. В этакий день вольные-то идеи оставить надо.

Прокоп уселся против камина и протянул ноги чуть не в самый огонь.

— Скинул бы ты с себя форму-то,— предложил я,— вместе позавтракали бы. А какое у меня вино! по случаю... краденое!

— Это, брат, только хвастаются, что краденое, а попробуй — опивки простые. Нет, завтракать мне некогда, еще в двадцати местах расписаться нужно, а ты вот что: вели рюмку водки подать — спасибо скажу!

Принесли водки и балыка. Прокоп потянулся, выпил и некоторое время стоял с разинутым ртом, словно водка обожгла ему нёбо. Не знаю, почему ему показалось, что я в него всматриваюсь.

— Ты что на меня смотришь? узоры, что ли, на мне написаны?

— Помилуй, мой друг! я рад тебя видеть — и только.

— А рад, так и слава богу. Измучился, брат, я. Погодища нынче — страсть! Ездил-ездил, штаны-то белые, замарать боишься — ну, и сидишь распахнувшись, как на выставке. Да на грех, еще происшествие нынче в одном месте случилось... препоганое!

— Что же такое?

— Да приехал я к особе к одной — ну, расписался. Только вижу, что тут же, в швейцарской, и камердинер особы стоит — и угоразди меня нелегкая в разговор с ним вступить. То да се: рано ли его сиятельство встает? в котором часу государственными делами заниматься садится? кто к нему первый с докладом приходит? не слышно ли, местов где-нибудь не открывается ли? Только разговариваем мы таким манером, и вдруг, братец, я вижу: вынимает он из кармана круглую-прекруглую табатерчищу, снимает крышку да ко мне... «Это, говорю, что?» «Нюхните-ка»,— говорит. «Да ты, говорю, свинья, кажется, позабыл?..»

— Так и сказал?

— Так и брякнул. Я брат, прямик! не люблю вокруг да около ходить! По мне, коли свинья, так свинья!

— Так-то так, а все-таки неосторожно ты поступил. Горяченек ты, брат, справляться с собой не можешь!

Прокоп струсил; казалось, он только теперь понял всю неключимость своего поступка.

— Тебе что нужно? — продолжал я,— тебе нужно Солитеру ножку подставить да самому на его место вскочить? Следовательно, так ты и должен поступать. Знаешь, что камердинер может словечко замолвить,— стало быть, и должен ты с ним ласковенько: табачку, водочки... Я на твоем месте даже к себе бы его пригласил! А теперь он тебе мстить будет.

Прокоп стоял, вытаращивши глаза; вилка, устремленная по направлению к балыку, так и застыла в его руке.

— Я, брат, и сам об этом уж думал,— наконец промолвил он.

— Непременно будет мстить. Вот сегодня же вечером, как станет с его сиятельства сапоги снимать, и скажет ему: был давеча такой-то, не нравится он мне, невежей смотрит! А завтра ты явишься к его сиятельству, его сиятельство посмотрит на тебя, да и подумает: а кто бишь мне сказывал, что этот человек невежа? какой, в самом деле, грубиян!

— А что ты думаешь! ведь это, пожалуй, и вправду так будет! Они, эти хамы...

— Верно говорю. Эти камердинеры да истопники... ах, как с ними надо, мой друг, осторожно! Самый это ехидный народ! Солитер-то, ты думаешь, как пролез?

— Ну, Солитер и так, сам собой... На то он и солитер!

— Нет, он сперва в камердинера влез, а потом уж и...

— Ну, так прощай! я бегу!

— Да погоди! сейчас уж и бежать! Рассказал бы, по крайней мере, что у вас делается?

— Некогда, некогда — чему у нас делаться! Солитер... Я было посплетничать на него приехал, да вот приключение это... завтра прием мне был назначен, а теперь, пожалуй, и не выслушает!

Прокоп заторопился, подтянулся, вытянул ногу, на сапоги взглянул, посмотрелся в зеркало, пылинку с носа смахнул, шпагу поправил и уж совсем на ходу закинул мне:

— Я, брат, с женой и с дочерью здесь. В Гранд-отеле стоим. За границу ехать собираемся.

— Как! И Надежда Лаврентьевна здесь! и ты ничего не говоришь!

— Ну, что тут! не невидаль какая! Приходи ужо вечером — посидим!

Он рысцой направился в переднюю, накинул там на себя шинель и вдруг опять встревожился.

— Как ты думаешь? — спросил он меня,— ему... хаму этому... трех целковеньких довольно будет?

— Дай, брат, десятирублевую! — посоветовал я,— надо воображение ему поразить. Потому что хамы эти...

— Ну, ладно, ладно. Так ужо вечером. Кстати, я и расскажу, чем у нас с ним кончится. Жена, признаться, давно к тебе посылает — с неделю мы уж здесь — да вот всё происшествия эти...

Он исчез в дверях, а я остался опять один с своею тоскою. Я начал резюмировать разговор, который мы сейчас вели,— и вдруг покраснел. «Что я такое сейчас говорил? какие такие советы насчет десятирублевой бумажки подавал? — мучительно спрашивал я себя.— Господи! да неужто ж холопство имеет такую втягивающую силу!»

Вот я, например: по-видимому, кажется, совсем позабыл. Ни мундира у меня культурного нет (старый износился, нового не сшил), ни поздравлять я не езжу — так, сам по себе, «независимо» глазами хлопаю! А увидел человека с красным околышем на голове — и не вытерпел! Так и лезет оно, так и прет из тебя, это проклятое холопство, при первом удобном случае! И рожа погано осклабляется, и язык петлей складывается, как только начнут об швейцарах да об камердинерах разговаривать. Не явись Прокоп, не начни он этого разговора — сидел бы я себе да проявлял бы гражданское мужество, в окошко глядючи! А теперь, поди вот, какой грех случился — даже на языке холопская слизь чувствуется — фу, мерзость!

Вот нынче во Франции целая школа беллетристов-психологов народилась — ни́што им. У них психология французская, неспутанная — ври себе припеваючи! Нет, попробовал бы ты, господин Гонкур, вот сквозь этот психологический лес продраться, который у Прокопа в голове засел! Ему, по-настоящему, и до самого его сиятельства горя мало, а он с лакеями об «внутренней политике» калякает, да еще грубит им... лакеям-то! Да и я тут же, за компанию, ему вторю: отомстит *он* тебе! не три, а десять рубликов ему надо дать! Сказал это — и ничего! даже не почувствовал, что у меня от языка воняет! Спрашивается: какое может быть сцепление идей, когда такие вещи говоришь? И какова должна быть психология, которая доставляет материал для подобных разговоров? Вот кабы ты, господин Золя, поприсутствовал при этих разговорах — может быть, и понял бы, что самое наглое психологическое лганье, которое не снилось ни тебе, ни братьям Гонкурам, нижѐ про-

курорам и адвокатам (прокурорам — разумеется, французским, а адвокатам — всем вообще), должно стать в тупик перед этой психологической непроходимостью.

И в то самое время, как я все это думал, вдруг, вследствие такого же необъяснимого психологического переворота, в голове моей блеснуло: а ведь Прокоп за границу едет — не примазаться ли и мне с ним?

Сейчас обвинял Прокопа в холопстве, сейчас на самого себя негодовал, что никак не могу пропустить случая, чтоб не похолопствовать,— и вот опять к Прокопу льну! Знаю я, что Прокоп, вместе с своей персоной, весь Залупск Европе покажет; знаю, что он повезет за границу Залупск и в своем платье, и в покрое своего затылка и брюха, и в тех речах, которыми он будет за табльдотами щеголять; знаю все это — и все-таки льну. Так и стремлюсь залупские запахи обонять, залупскому невнятному бормотанью внимать. И вместе со мной будут внимать этому бормотанью и Средиземное море, и серые скалы, которые высятся вдоль его берегов, словно сторожат лазурное ложе его в предвидении нашествия варваров.

III. МЕЖДУ СВОИМИ

Для тех, которые позабыли о Прокопе (см. «Дневник провинциала в Петербурге»), считаю нелишним восстановить здесь в коротких словах его физиономию. Это один из самых выразительных представителей культурного русского человека, лишь со вчерашнего дня узнавшего о своей культурности. В физическом отношении он создан забавно: голова круглая, затылок круглый, спина круглая, живот круглый, глаза круглые, даже плеча, руки, ноги — и те круглые. Лицо — портрет красавца мопса и, по обстоятельствам, принимает свойственные мопсу выражения. Когда его «никто не дразнит» и когда, сверх того, он сыт — кожа на его лице растягивается и выражение делается ласковым: можно держать пари, что у него непременно где-нибудь спрятан хвост, которым он в эту минуту виляет. Когда он раздразнен и голоден — на лбу и на переносье делаются складки, зубы злобно оскаливаются и из гортани вылетает рычанье; так и хочется крикнуть: а где у нас арапник-то, где? В нравственном отношении он прежде всего преисполнен загадочного юмора, об котором нельзя сказать положительно, на кого он направлен, на собственную ли персону Прокопа или на окружающих. Сверх того, он заносчив и льстив, лукав и легковерен, наивен и лжив, преисполнен вся-

кого рода предрассудков, недоумений, противоречий и необыкновенно невежествен. Говорит он обрывками, уснащая свою речь бесчисленными околичностями, перерывами, многоточиями, и при этом всегда поражает собеседника внезапностью мыслей, в которых невозможно отличить, что правда и что ложь. Некоторые думают, что он глуп и зол, но это неверно. Он не глуп и не умен, не добр и не зол — он сам по себе. Репутацию глупости составила ему глубокая его невежественность, репутацию злого человека — некоторые нечеловеческие инстинкты, которые довольно частыми вспышками проявлялись в нем во времена крепостного права. Но ежели надеть на него прочный намордник, то горячность эта довольно скоро остывает, и в Залупске справедливо замечают, что с тех пор, как упразднено крепостное право, Прокоп стал огрызаться значительно меньше прежнего.

Фамилия Прокопа — Лизоблюд, из тех Лизоблюдов, которые еще при царе Горохе тарелки лизали. Прокоп гордится своими предками. Не говоря уже о родоначальнике Лизоблюдов, занимавшемся лизоблюдством во времена доисторические, много было и позднейших потомков, которые шли по его стопам уже во времена, освещенные светом истории. Вообще это были люди смышленые и хозяйственные, и в то время, как другие «ближние люди» занимались целованием крестов да выщипываньем друг у друга бород по волоску, Лизоблюды всё больше ютились около утробной части, заведовали поварнями, подавали кушанья, служили посредниками в любовных интригах и, проводя в этом занятии время, укреплялись в милостях и приобретали вотчины. Но в половине XVIII века звезда Лизоблюдов померкла: Никита Лизоблюд, устроивая любовные дела Авдотьи Лопухиной, был обвинен в измене и, по наказанию на теле, сослан в залупские вотчины, с воспрещением выезда из места жительства. Причем было выражено, что снисхождением этим (ему надлежало вырезать язык) он обязан лишь «неистовой его глупости». С этих пор значение фамилии Лизоблюдов принимает характер исключительно культурный, и целые поколения ее членов следуют одно за другим в роли представителей залупской культурности, сами, впрочем, не подозревая всей тяжести бремени, которое судьба возложила на их плечи.

Семейство Прокопа состоит из жены, сына и дочери Наташеньки. Жена его слыла когда-то красавицей, да и теперь, хоть ей уж под сорок, производит в Залупске сенсацию. У ней нет ни особенного ума, ни даже уменья болтать милый вздор, но есть удивительнейшие, наливные, белоснежные плечи, и она знает это. К этим плечам несутся сердца всех залупских куль-

турных людей, и в них же отчасти заключается тайна поднесения Прокопу белых шаров на выборах. Сам Солитер, которого голова, начиненная циркулярными предписаниями, повидимому, недоступна ни для чего, кроме тусклого мерцания, выражающегося загадочным восклицанием: «фюить!» — и тот любострастно чавкает и как-то нелепо косит глазами, когда встречается с Надеждой Лаврентьевной на балах. Я не знаю, понимает ли Прокоп, какое действие производят плечи его жены на окружающих, но думаю, что он, делая вид, что не понимает, все-таки пользуется этим действием, как одним из средств внутренней залупской политики.

Единственный сын Прокопа, Гаврюша, похож на отца до смешного. То же круглое тело, то же лицо мопса, забавное во время покоя и бороздящееся складками на лице и на лбу во время гнева. Прокоп любит его без памяти, всем нутром, и ласково рычит, когда сын является из заведенья «домой». Он садится тогда на кресло, ставит сына между ног, берет его за руки, расспрашивает, знал ли он урок и чем его на неделе кормили, и смотрится в него, словно в зеркало.

— Так ты говоришь, хорошо вас кормили? — спрашивает он, заглядывая ему в глаза.

— Нынче, папаша, нас лучше кормят: директор комиссию из воспитанников над экономом назначил.

— То-то. А паче чаяния ежели что, так ты спрашивай: я твоему дядьке строго приказал и денег на это оставил. Ешь, брат, есть надо; больше будешь есть — и урок будешь лучше знать.

В «заведение» Прокоп отдал Гаврюшу и не без расчета: он понял, что «заведение» есть именно такая вещь, откуда, хочешь не хочешь, а в конце концов все-таки и с чином выйдешь, и на место поступишь.

— Я, брат, по себе знаю,— открывался он мне по этому случаю,— и гувернеры, и мадамы у меня были, а что толку! Срам сказать, и теперь из катехизиса ни одного текста не знаю!

— Да ведь на выборах из катехизиса не спрашивают? — возражал я.

— Все-таки. Разговаривают. Не из катехизиса, так из географии. Кабы я знал, так и сам бы разговаривал. А теперь приходится на других смотреть, смеются или нет.

— Так что ж! сходит с рук — и слава богу!

— То-то, что по́д богом мы нынче ходим. Сегодня сошло, а завтра нет. Ехидные нынче люди пошли: испытывают. Иной целый разговор с тобой ведет: ты думаешь, он вправду, а он на̀ смех! Вот, года три назад, пришла ко мне бумага насчет

распространения специяльных идей. Натурально — письмоводителя: какие, мол, такие специяльные идеи? — А это, говорит, по акцизной части, должно быть. Ну, мне что: по акцизной так по акцизной! — отвечай, братец! Ан после оказалось, что он мне на̀ смех акцизную-то часть ввел!

— Ах, Прокоп, Прокоп! Милый ты, милый! Так как же ты с Гаврюшей хочешь поступить?

— Хочу в «заведение» отдать. Там научат. Туда лиха беда попасть, а попал, так будет «человеком». Экзамены будет, братец, выдерживать, а ведь я никогда ни одного экзамена выдержать не мог. Та̀к воспитываться, без экзамена,— это я могу, а чуть на экзамен повели — ау, брат!

Как ни удивительны представлялись мне эти соображения Прокопа, но в результате оказалось, что он прав. Третий год находился Гаврюша в заведении — и ничего, даже экзамены выдерживал. Жаловались, правда, воспитатели, что он, во время препараций, забирается в шинельную спать, но Прокоп так наивно возражал на это: «так неужто ж ребенку не спать?», что начальство махнуло рукой и вновь подтвердило обещание сделать Гаврюшу «человеком».

Наташенька уж невеста; ей восемнадцать лет, и наружностью она пошла в мать, то есть наверное будет со временем иметь такие же наливные, сахарные плечи. Как девица благовоспитанная, она стыдится мужчин и при виде их жмется к мамаше. Сверх того, склоняет головку несколько набок, что придает ей какую-то трогательную грацию, и ходит, слегка привскакивая на носках, тоже для грации. Вообще девушка образованная, сытая и аппетитная, хотя совестится за свою аппетитность и от души молится богу о ниспослании ей худобы. Прокоп ее любит по-своему, то есть шутит шутки насчет ее невинности и аппетитности; но в этой любви нет и тени той страстности, которую он чувствует к Гаврюше.

— Наташа — что! — говорит он,— сегодня она Лизоблюд, а завтра будет Тарелкина. Вот Гаврило у меня,— тот настоящий, коренной Лизоблюд будет!

Когда я пришел к Прокопу вечером, у него уж сидел гость. Поэтому он вышел ко мне навстречу в переднюю, чтоб сообщить о результате давешнего разговора насчет графского камердинера.

— Обделал, брат! — сказал он довольным тоном,— десятирублевенькую выкинул.

— Ловко, голубчик. Стало быть, скоро тебя и поздравить будет можно?

— Ну, это еще бабушка надвое сказала. Местов, говорит, нет. Будут, говорит, два места на днях, да вчера, вишь, обе-

щаны. А после этих двух мест, как очистится первая вакансия, так и...

— Да не врет ли?

— Верно, братец. Прямо так и сказал: первая, после этих двух, вакансия — моя!

— Ну, и слава богу. Покуда за границу съездишь, покуда что... Завидую я тебе, голубчик! Как там ни говори, а еще много, очень много в наше время можно напакостить... то бишь дел наделать. Вот хоть бы эта самая область, куда Макар телят не гонял...

— Да одно ли это! А прочее-то! Однако я должен тебя предупредить: покуда об этом — молчок. Иван Созонтыч так сказывал: вы, сударь, до времени не хвастайтесь. А теперь идем к жене.

Вся семья Прокопа была налицо. Надежда Лаврентьевна дала мне ручку поцеловать, Наташенька — в губки похристосовалась, один Гаврюша бутузом сидел в углу, держал в обеих руках по яйцу и пробовал, которое из них крепче. Гостем оказался какой-то генерал, до такой степени унылый, что мне с первого взгляда показалось, что у него болит живот. Прокоп отрекомендовал нас друг другу.

— Генерал Николай Батистыч Пупон,— сказал он мне,— отец его, Батист Богданыч, француз был, с русскими войсками в восемьсот четырнадцатом году Париж брал, ну, а вот он — уж настоящий русский. И веры нашей.

При имени Пупона мне вдруг что-то смутно вспомнилось. Что-то такое, что я в 1863 году в газетах читал. Реляция какая-то, в которой говорилось, что храбрый полковник Пупон... но вот тут-то именно я и сбивался: крепость ли неприятельскую взял или молодцом взлетел на четвертый этаж какого-то дома и без ключа отпер дверь какой-то квартиры.

— Вы... тот самый храбрый полковник Пупон?..— невольно сорвалось у меня с языка.

— Да... но теперь — генерал! — ответил он мне каким-то горьким голосом.

И вдруг я в самом деле вспомнил. Да, это действительно было не под Севастополем, а на Подьяческой. Он взлетел — и каким-то волшебством, без ключа, очутился внутри запертой квартиры. Но как он с тех пор изменился! Тогда он мне казался молодым, исполненным отваги и надежд, и хотя выражение его лица и в то время имело что-то наглое, но это была наглость молодая, сильная, ликующая. Теперь — он был похож на заштатного индейского петуха, который до такой степени забит и отощал, что не имеет сил даже соплю распустить. Весь он был словно пеплом покрыт: лицо пепельное, глаза пепель-

ные, волосы пепельные, даже на мундирном сюртуке как будто кусочки пепла виднелись. Сидел он молча, часто и глубоко вздыхал, а немногие ответы на вопросы давал отсырелым, пещерным голосом.

Мы сели в кружок и стали разговаривать. Сначала погоду бранили, потом перешли к залупским новостям, и Надежда Лаврентьевна в одну минуту засыпала меня рассказами, в которых, к великому моему прискорбию, главную роль играли плюхи.

— Говорили, будто уж плюх больше не будет,— резюмировал эти рассказы Прокоп,— а они нынче еще веселее прежнего в ход пошли. У нас, в Залупске, редкий разговор нынче не кончается плюхой.

— Самолюбивее народ стал — оттого! — попробовал я объяснить.

— Нет, не самолюбивее, а так как-то... в общежитие, стало быть, вошло. Кабы самолюбие, так он, получивши плюху-то, бежал бы куда-нибудь, а то получит, да так с плюхой и ходит по городу.

— Очень нынче в Залупске нехорошо стало! — вздохнула Надежда Лаврентьевна.

— Скучно?

— Нет, не то чтобы... Балы в собранье бывают... офицеры, пикники устроивают... Нет, мы не скучаем! А так, вообще.

— У нас, брат, и в заведении скуки нет! — отозвался Прокоп, — либо у нас гости, либо мы в гостях — где тут скуке быть! А гостей нет — лошадей велишь заложить или варенья спросишь. А теперь вот за границу собрались. Вздумалось съездить — и поедем.

— Так это у вас уж окончательно решено? — обратился я к Надежде Лаврентьевне.

— Да, решено. Надо же!

— Я уже раз шесть за границей был, везде перебывал, — объяснил Прокоп, — а они еще ни разу не были. Ну, и пусть съездят, посмотрят. Нельзя же...

— Да, да... Это действительно так... нельзя же! Вот я никогда за границей не бывал и даже намерения не имел, а давеча пришел он — я и раздумался. Надо же, думаю, нельзя же!

— Конечно, надо, — подтвердила и Надежда Лаврентьевна.

— И прекрасно, брат, вместе все и поедем. Вот и генерал с нами, да еще по дороге кой-кого подходящих подберем — чудесно проведем время!..

— Только вот что: хотелось бы мне прежде хоть приблизительное понятие себе составить, что собственно будем мы делать за границей?

— А что прочие делают, то и мы будем. Чай, не арифметике учиться едем. Талеры знаешь, франки знаешь — ну, и всё тут.

— Например, начать хоть бы с того, *куда* мы едем?

— Разумеется, сначала в Берлин — там на неделю остановимся. В Берлине можно бы и поменьше побыть, да мне, признаться, Бисмарка показать обещали.

— Что ты! Самого Бисмарка?

— Да, Иван Карлыч, булочник здешний, обещал. Я, говорит, вам к его камердинеру, Христофору Иванычу, письмо дам, так он его вам за сто марок сколько угодно покажет. А ежели двести марок дашь, так Бисмарк даже на аудиенцию выходит. И тут что хочешь у него проси, потому что он, за аудиенцию, сто марок в свою пользу отсчитывает.

— Ах, господи!

— Нечего ахать — верно говорю! А ежели сто талеров не пожалеешь, так и на квартиру приедет, — разумеется, ежели ты русский. Потому, русских он любит. Русские, говорит, — добрый, покорный народ.

Как ни привык я к внезапным мыслям Прокопа, но это было так необыкновенно, словно я в армидины волшебные сады вошел. Я глядел на Прокопа во все глаза, усиливаясь угадать, не предается ли он, по обычаю, своему загадочному юмору, но лицо его сияло таким ликованием, что не могло быть не малейшего сомнения в искренности его слов. Очень даже возможно, что перспектива видеть Бисмарка играла не последнюю роль в его решимости ехать за границу и что он покуда только не мог еще вполне определить себе, по какому разряду он устроит это свидание, то есть за сто, двести или за триста марок.

— А из Берлина прямиком в Париж, — продолжал он как ни в чем не бывало, — там месяца с два пробудем. Вот барыни нарядов накупят, а мы по ресторанам походим. Оттуда поедем в Баден, в Швейцарию, а на зиму в Ниццу махнем!

— Но, все-таки, что же мы делать-то, делать-то что будем?

— Что другие, то и мы. Другие гулять — и мы гулять, другие обедать — и мы обедать. Там, брат, не Россия, озорничать не позволяется. Вот в Швейцарии — скажут тебе с вечера: завтра в пять часов восхождение на Риги — ну, и будь готов в пять часов, и становись в пáру.

— Вид, что ли, уж очень хорош, что даже выспаться не дают?

— Ничего... вид! Солнце встает — известно! В трубки англичане смотрят. Посмотрели — и опять, как арестантов, в отель поведут.

— Так неужто ж, после нашего-то простора, такая жизнь может нравиться?

— Я разве говорю, что нравится? Нравится или не нравится, а коли назвался груздём,— так и полезай в кузов, вот я об чем. И еда у них хуже нашей. Говядина есть, да своя, а черкасской нет.

— Так как же это?

— Об том-то я и говорю. А впрочем, коли ты за границу едешь, так меня держись. Если на себя надеяться будешь — одни извозчики с ума сведут. А я тамошние порядки наизусть знаю. И что где спросить, и где что поесть, и где гривенничек сунуть — всё знаю. Я как приеду в гостиницу — сейчас на кухню и повару полтинничек. Всё покажет. Обер-кельнеру тоже сунуть надо — первому за табльдотом подавать будут.

— Так, стало быть, едем?

— Как не ехать? Нельзя не ехать. Я за зиму-то в Залупске отеку́, а летом, как за границей вроде арестанта побудешь — весь отёк с тебя как рукой снимет. Вот и генерал с нами... ты что, генерал, нос повесил? Едем?

— Не знаю... я ванны брать буду...

— Не все же в ванне будешь сидеть. Чай, и поесть захочешь!

— Нет уж... Я уж... Не могу я, мой друг!

— Ах, генерал, генерал! Какой ты был храбрый да проворный, сражение в Средней Подьяческой выиграл — и вдруг что с тобой сделалось!

Генерал обратил на нас потухающий взор и произнес:

— Таковы плоды человеческой мечтательности!

Он сказал это таким безнадежным тоном, что все невольно смолкли. И затем вдруг, к величайшему моему удивлению и к смущению Наташеньки, которая, впрочем, в одно мгновенье куда-то исчезла, начал расстегивать свой сюртук, потом жилет, рубашку, покуда не обнажилась левая сторона нижней части его волосатой груди.

— Смотрите, молодой человек, и да послужит вам это уроком! — обратился он ко мне, неизвестно почему считая меня за молодого человека,— вот здесь, пониже левого соска, что вы видите?

Я приблизился и действительно увидел нечто в высшей степени странное. В нижней части груди, в том самом месте, на которое сейчас указал генерал, находилось продолговатое

пространство, усеянное белыми пупырышками, вроде сыпи. Когда генерал щелкнул по этому месту двумя пальцами, то пупырышки мгновенно покраснели, и я мог прочитать следующее:

К СЕМУ ТЕЛУ, ЗА
БЕЗГРАМОТСТВОМ САТАНЫ,
АГГЕЛ ЕГО, ИВАН ИВАНОВ
ДОМОВОЙ, РУКУ ПРИЛОЖИЛ.
АНАФЕМА!!

По-видимому, подпись эта была некогда наколота сапожным шилом и натерта порохом.

— Теперь вы знаете роковую тайну моего горького существования! — продолжал генерал, покуда я, вне себя от изумления, смотрел на него,— покамест, я был субалтерн- и штаб-офицером, не существовало человека, который при встрече со мной не говорил: вот отважный Пупон! Все меня знали! все льстили и чествовали, отовсюду слали мне телеграммы, во всех трактирах пили за мое здоровье! Даже историк Соловьев, и тот, в предвидении сорокового тома «Истории России с древнейших времен», с благодарностью принял от меня меморию под названием: «К истории Смутного времени, с присовокуплением подвигов». Но с тех пор, как я произведен в генералы — все изменилось. Пупон забыт, Пупон отвержен, Пупон — отчислен по кавалерии! И в довершение всего, господин Соловьев на днях возвратил мне мою меморию обратно с следующею надписью: «Дела, в сей мемории описанные, столь несвойственны, что даже не весьма стыдливая Клио — и та отвращает от них лицо свое». Заметьте: «несвойственны», но чему несвойственны — о том умалчивает! Как по-вашему: обидно это или не обидно?

— Конечно, обидно. Но, с другой стороны, ежели справедливо, что даже «не весьма стыдливая Клио» — и та зарумянилась, то, может быть, подвиги, которые вы описывали, были такого сорта, что для ученого и притом семейного человека...

— Нет, дело совсем не в свойстве подвигов, а в том, что с производством моим в генеральский чин, истек срок контракта, скрепленного той печатью, которую вы сейчас видели. С этих пор все в судьбе моей изменилось. Подвиги продолжают совершаться по-прежнему, и профессор Соловьев сам очень хорошо знает это, — но они совершаются уже не мною, а людьми совсем другого ведомства! Спрашиваю вас: можно ли было поступить оскорбительнее?

— А вперед, брат, умнее будь! — вмешался Прокоп,— коли с нечистым контракты пишешь, так пиши обстоятельнее:

так, мол, и так, до смерти моей обязываешься ты мне... а там, мол, после смерти, буде что после меня останется — все твое!

— Шутит! все шутит! — с горечью укорил генерал.

— Позвольте, генерал! — вмешался я,— я с любопытством слежу за вашими жалобами и даже сочувствую им, но, признаюсь, очень мало в них понимаю. Ваша прежняя блестящая карьера — и теперешний ваш унылый вид... наконец, эта странная печать на вашей груди... что все это значит? кто вы?

— Я — жертва неопытной мечтательности и жажды благородных подвигов, и так как мы едем вместе за границу, то когда-нибудь я расскажу вам подробно историю моей жизни. Теперь же могу сказать только одно: молодой человек! берегитесь мечтательности! Ибо мечтательность, даже в границах области предупреждения преступления, далеко не всегда ведет к тому концу, который она самонадеянно себе предназначила.

С этими словами он встал и вышел, оставив меня лицом к лицу с какой-то нелепою тайною.

IV. ПОЕХАЛИ

Через неделю, в одиннадцать часов утра, я был на дебаркадере Варшавской железной дороги. Прокоп уже распоряжался переноскою багажа, состоявшего из двенадцати больших сундуков и нескольких ручных чемоданов.

Сырая погода преследовала нас, и целое море грязи стояло перед станцией. Неподалеку возвышался закопченный остов фейгинской мельницы, которая некогда была утешением интендантства и около которой теперь шны́рили неизвестного происхождения люди. Казалось, здание еще дымится и дух Овсянникова парит над ним. Прокоп, как человек похотливый относительно всех скандалов русской современности, конечно, не преминул обратить внимание и на мельницу.

— Из-за полтинничка кашу-то заварил! — сказал он, мигнув по направлению пожарища.

— Как ты, однако ж, все просто объясняешь! — счел долгом возразить я, изумленный внезапностью этого предположения.

— Известно, из-за полтинника. На низу помол дешевле на копейку — вот он и тово... Дай, мол, сожгу, благо мельница застрахована.

— Ну, нет, это ты уж чересчур хватил. Миллионер — и станет об таких пустяках думать!

— А ты душу-то человеческую знаешь?

— Нет, но во всяком случае...

— А я знаю. У нас в Залупске тоже миллионер Голопузов живет, так у него извозчик пятиалтынный просит, а он ему гривенник дает. Да еще усовещивает: креста, говорит, на тебе нет! Так вот оно, что душа-то человеческая значит!

В эту самую минуту из всех отверстий мельницы целая масса людей высыпала наружу и скучилась против фасада ее. Прокоп не преминул и на это обратить свое внимание.

— Ишь, ишь, ишь! адвокатов-то что́ собралось! — возопил он, — это они слам делят!

— Какой еще слам?

— Такой и слам, что один какой-нибудь возьмет всю тушу за себя, примерно хошь за сто тысяч — ну, пятьдесят себе оставит, а пятьдесят на драку.

— Скажу по совести! ведь ты это сейчас только выдумал?

— А ежели и выдумал — важность какая! Не в том штука, выдумал или нет, а в том, что правильно выдумал. Смотри-ка! смотри-ка! остановились! глядят! ах, чтоб им пусто было! Ишь, ишь! Вон белый, вон-вон этот! — к стене подошел, штукатурки кусок отколупнул — это у него «совершенное» доказательство будет!

Затем Прокоп начал было объяснять мне, какой разговор он имел об этом деле с адвокатом Комаринским, но я уже не слушал его. Придя в зал, я нашел там довольно много народу, мужчин и дам, и у всех было на лицах написано: вот и мы за границу едем! Нельзя же! Надо же! Меня никто не провожал; около Прокопа вертелся Гаврюша, которому он от времени до времени говорил:

— Смотри же, ешь больше! будешь есть — и урок будешь знать! А в июне, на кани́кулы,— к нам за границу приезжай!

Но вот раздался второй звонок, и надо было рассаживаться по вагонам. Прокоп в последний раз взял Гаврюшу за руки, пристально взглянул на него, словно бы хотел укусить, и перекрестил.

— Ешь, брат, — повторил он, — там я дядьке оставил... требуй!

Перейдя в вагон, Прокоп отворил окно и оттуда смотрел на Гаврюшу. Он сидел без слов, но все лицо его сияло и смеялось. Гаврюша тоже смеялся, но стыдливо, как будто совестился. Наконец поезд заколыхался и тронулся.

— Ешь, брат! — крикнул Прокоп встречу сыну, который труско́м бежал рядом с удаляющимся вагоном.

Вагон, в котором мы поместились, принадлежал к числу самых роскошных. Кроме двух отдельных купе, в нем был

еще прекрасный салон. Надежда Лаврентьевна с Наташенькой устроились в одном из купе, в котором, вместе с ними, сел и еще какой-то молодой человек. Остальные пассажиры разместились в салоне. Кроме Прокопа, генерала Пупона и меня, тут было еще четверо пассажиров. Молодой тайный советник Стрекоза, который ожидал к празднику Белого Орла, а получил корону на святыя Анны и в знак фрондерства отправлялся вояжировать; адвокат, который был обижен тем, что его не пригласили по овсянниковскому делу ни для судоговорения, ни даже на побегушки; седенький старичок с Владимиром на шее, маленький, съёженный, подергивающийся, с необыкновенно густыми и черными бровями, которые, при каждом душевном движении, становились дыбом, и должно быть, очень злой; наконец, какая-то таинственная личность в восточном костюме, вроде халата из термаламы, и с ермолкой на голове.

Когда поезд двинулся, то всякий по-своему выразил чувство, одушевлявшее его в эту минуту. Прокоп смело и прямо снял картуз и, перекрестившись большим крестом, произнес: с богом! Старичок тоже перекрестился, но как-то робко, под пальто, словно сомневаясь, входит ли это в круг его обязанностей. Пупон хотел последовать их примеру, но «отец лжи» не позволил ему. Несколько раз он безуспешно замахивался и, наконец, чтоб скрыть свою неудачу, вынул из кармана носовой платок, высморкался, сказав: теперь надолго! и уселся в угол. Восточный человек, по-видимому, хотел совершить омовение, но, за невозможностью, сотворил брение и помазал им под ермолкой. Адвокат долго следил за исчезающею в тумане мельницею, потом вынул из кармана фотографическую карточку Овсянникова и пристально посмотрел на нее, как бы вопрошая: виноват ты или нет? Молодой тайный советник открыл окно и долго махал платком провожавшим его столоначальникам, как бы подтверждая им вести дела в том же «направлении». Потом сел и горько улыбнулся, словно укоряя отечество в неблагодарности. Нет сомнения, что он в эту минуту сравнивал себя с древним Кориоланом, с тою лишь разницей, что, более великодушный, нежели Кориолан, он не намеревался привести вольсков, чтоб отомстить за корону на святыя Анны.

Мне было не по себе. По мере того как поезд прибавлял ходу и врезывался в царство болот, мне представлялось, что внутри меня все больше и больше пустеет. Теперь впервые с особенной назойливостью выдвигался вперед вопрос: что-то будет? Я — человек привычки и настолько робкий, что всякое передвижение непременно волнует и тревожит меня. Даже пе-

реезжая каждогодно летом из Петербурга в деревню, я не могу избавиться от вопроса: что будет? — до такой степени все, что стоит вне этой комнаты и дальше этой минуты, кажется мне преисполненным всякого рода опасностей. Собственно говоря, я оставляю сзади себя очень мало: смутную тоску об чем-то и смутное желание чего-то — казалось бы, не об чем очень-то жалеть! Но неизвестность, расстилающаяся впереди, до того преисполнена мучительных загадочностей, что даже та ленивая смутность воспоминаний и надежд, которой предается современный русский культурный человек, ежели он не адвокат, не прокурор, не железнодорожный деятель и не директор банка, представляется ему чем-то вроде убежища. Точно вот проснулся человек и начал в халате по комнате ходить; и не хочется ему ни умываться, ни одеваться, ни даже к чаю притронуться: все бы он ходил взад да вперед, ходил бы да думал. Об чем бы думал? — право, даже и на этот вопрос отвечать незачем. Так бы, думал — и всё тут. Мелькнет и исчезнет, и опять выскочит, и опять пропадет. То мотив какой-нибудь звукнет и замолчит, то образ какой-то осветится и потухнет. Ходишь-ходишь и даже усталости не замечаешь. Я знаю, что это мечтательность изнурительная, но, по моему мнению, она представляет собой эмблему существования очень многих русских людей. Современная жизнь, с ее лихорадочными движениями, не для всех выказала себя матерью. Многих хищников выдвинула она вперед, но большинство людей добродушных и неспохватливых оставила без дела, за штатом. Вот они-то и мятутся в области тоски и всякого рода смутностей. Без ясных сожалений в прошлом, без ясных провидений в будущем — точно вот сейчас проснулись, и ночные грезы еще не успели с них соскочить, да, пожалуй, и не соскочат никогда. И так как везде, куда бы они ни пришли, им говорят: не твое дело! — то весьма естественно, что ими овладела оторопь. Эту оторопь они носят с собой везде и, по привычке, являются с ней даже там, где жизнь, по-видимому, не представляет уже ни тайн, ни неожиданностей. Все кажется, что или кондуктор обидит, или засудят, или вдруг... фюить!

Вот я, например. Хотя я и не бывал еще за границей, но весь склад моей жизни, все воспитание, все идеалы, все привычки и приемы — все и всегда было заграничное. Я и парле́-франсе́ умею, и Наполеона III обругать могу, и про Бисмарка два-три анекдота знаю, и даже с некоторыми заграничными обычаями знаком. Один знакомый сказал: за границей за табльдотом семь блюд подают! другой знакомый предупредил: если вы в Париже будете, никогда не говорите

гарсонам: je vous prie[1], a s'il vous plaît[2],— иначе вас сейчас за русского примут. С этими сведениями, куда бы я ни приехал, везде я как дома буду. И за всем тем — все-таки берет оторопь. Вот теперь, через сутки — Эйдкунен, а мне все кажется: пройдет ли? Точно к родителям из школы с дурной отметкой на билете идешь. Каковы-то там кондукторы? обходительны ли извозчики? не строги ли содержатели отелей? А главное, ка́к я за табльдотом обедать буду? Я привык на просторе обедать, а тут вдруг — хочешь кусок проглотить, ан тебе немец в рот смотрит! И вдруг он расхорохорится, скажет: давай за погибель Франции пить! А я Францию люблю. Люблю, несмотря даже на то, что она теперь не Франция, а Мак-магония.

Буду ли я с немцем за погибель Франции пить?

Буду ли я вообще все те мерзости проделывать, которые проделывают русские культурные люди, шлющиеся на теплых водах? Буду ли я уверять, что мы, русские, — свиньи, что правительство у нас революционное, что молодежь наша не признает ни авторитетов, ни государства, ни семейства, ни собственности, что вообще порядочному человеку в России дышать нельзя и что поэтому следует приобрести виллу в Бадене или в Ницце, а сношения с Россией ограничить получением оброков?

Буду ли я говорить все это? — вот странный вопрос! Разве я знаю, что я буду говорить? разве могу определить заранее, что я скажу, когда начну говорить? Вот если б я один обедал, я бы, конечно, молчал, а то за табльдотом, где сто немцев в рот тебе смотрят, все друг другу таинственно шепчут: а это ведь русский! Ну, как тут выдержать? как не сказать: господа, я действительно русский, но я из тех русских, которые очень хорошо понимают, что русские — кадеты европейской цивилизации!

Покуда эти мысли толпились в моей голове, Прокоп всматривался в пассажиров и приставал ко мне с вопросами: это кто? а вон этот, в углу, кто таков? При этом он указывал пальцем и делал свои замечания так громко, что я каждую минуту ожидал, что буду скомпрометирован. Прежде всего он заинтересовался адвокатом, долго припоминал, где он его видел, и, наконец, вспомнил-таки, что в Муромском лесу.

— Насилу, брат, мы от него удрали! — присовокупил он в виде заключения.

---

[1] прошу вас.
[2] пожалуйста.

Потом его заинтриговал восточный человек, и он опять начал припоминать, где он его видел.

— А ведь это от Огюста татарин! — воскликнул он наконец, — убей меня бог, ежели не он! Только фрак снял, да ведь я их и в костюме в ихнем видал: в ноябре они к своему причастию ходят, так этаким же манером наряжаются! Постой, я ему свиное ухо покажу!

И, не откладывая дела в долгий ящик, к величайшему моему изумлению, через весь вагон крикнул:

— Здравствуй, саламалика! ты как это в первый класс попал?

Но восточный человек только приветливо улыбнулся в ответ на эту апострофу, и, к моему удовольствию, происшествие это не имело дальнейших последствий, кроме брезгливого движения плечами со стороны тайного советника Стрекозы, который, казалось, говорил: в каком же, однако, я обществе еду?

Вообще, как я ни усиливался воздержать Прокопа от внезапных движений, он с каждым шагом вперед эмансипировался все больше и больше. Одним из самых выдающихся его качеств было любопытство, соединенное с легковерием, и когда оно выступало вперед, то совладать с ним было очень трудно. Так случилось и теперь. Некоторое время он как будто боролся с собой и даже пытался рассказать мне сюжет «Трех мушкетеров», которых он будто бы читал по рекомендации какого-то высокопоставленного лица, но на половине рассказа не вытерпел, подсел к адвокату и тотчас же завязал с ним разговор.

— Вы адвокат?

— Имею честь принадлежать к сословию адвокатов.

— Фамилия ваша?

— Проворный, Алексей Андреев.

— Как будто мы с вами прежде встречались?

— Очень может быть-с.

— В Муромском лесу будто. Я в саратовскую деревню, помнится, ехал.

Проворный взглянул на Прокопа недоумевающими глазами.

— Как ее, станция-то? Булатниково, что ли? еще вы нас в овраге поджидали? — не смущаясь, продолжал Прокоп, — вы давно тамошние места бросили?

— Извините... тут есть какое-то недоразумение... Я даже не слыхал ни об каких Муромских лесах! — все больше и больше недоумевал Проворный.

— Ну, что тут! Конечно, кому приятно про Муромские леса вспоминать. Главное дело: бросили — и довольно. Там, впрочем, нынче и невыгодно: все проезжие на железные до-

роги бросились, да и Муромские-то леса, кажется, в Петербург, на Литейную, перевели. Овсянниковское дело знаете?

— Имел честь быть приглашаемым-с.

— Понюхать, или взаправду?

Вопрос был так необыкновенен, что даже самому Проворному сделалось весело.

— Вы чему смеетесь? — спросил Прокоп, заметив на лице адвоката улыбку.

— Да признаюсь вам откровенно, у вас такой неожиданный способ выражения...

— Никакого у меня способа выражения нет, а говорю правду. У меня у самого два адвоката-приятеля есть: одного, Белобрюшникова, понюхать приглашали, а другого, Комаринского,— того прямо запрягли: ступай, значит, в самый навоз. Об Комаринском, чай, слыхали?

— Имею честь знать лично-с.

— Веселый парень, бесстрашный. Я, признаться, говорил ему: смотри, брат, вытащишь ли? Как бы совсем в навозе не остаться! Ничего — смеется. Мне, говорит, бояться нечего, я сыт. В Петербурге будет жить скверно — в Ниццу уеду. Куплю палаццо, захвачу парочку литераторов с Ветлуги, будем в чехарду играть, в Средиземное море плевать, по вечерам трехголосную херувимскую петь. Всё равно что в Ветлуге заживем. А как по вашему мнению: поджег Овсянников мельницу или не поджег?

— Это зависит-с...

— То есть от чего же зависит?

— От взгляда-с. Ежели с одной стороны взглянуть — выйдет поджог, а ежели с другой стороны — выйдет случайность.

— Ну, а по-настоящему, по правде-то, как?

— По моему мнению, правда есть продукт судоговорения — вот все, что могу вам на этот счет сказать.

— Да ведь поджог-то до судоговорения был?

— Пожар-с. А что было причиной, поджог или неосторожность, или действие стихий — это уж тайна судоговорения.

— Стало быть, на судоговорении можно и первое, и другое и третье доказать?

— Не доказать, а доказывать-с. Три системы доказательств будут иметь место в этом деле: одна со стороны прокурора, другая со стороны гражданского истца и, наконец, третья — со стороны защиты обвиняемых. Какая из этих систем окажется более убедительною, та и выиграет дело.

— Стало быть, если б я, например, хоть разневинный был, а у прокурора система будет лучше, нежели у моего адвоката, так меня на каторгу сошлют?

— Подобные случаи известны в юридической практике под названием судебных ошибок.

— Слава богу, хоть это. Ну, а теперь имение у меня в Рязанской губернии есть — можно его у меня отнять?

— Ежели есть противная сторона, которая обладает известной суммою доказательств...

— Вот так судоговорение! Ваше превосходительство! как вы об этом думаете?

Вопрос этот относился к молодому тайному советнику, который полулежал в это время на диване, закрывшись листом газеты. Но тайный советник даже в вагоне строго соблюдал свое достоинство, и чтоб не вступать в разговор с неизвестною личностью, притворился спящим.

— Спит? — шепотом произнес Прокоп, — ну, да ему и не грех. Обидели его. Ну-с, так будемте знакомы, Алексей Андреич. Хоть вы и собрались у меня рязанскую деревню оттягать, — да это еще когда-то будет! А покамест знакомы будем. Может, за границей свидимся, приятнее будет в своем кружку время провести. А что Овсянников мельницу поджег — так вы в этом не сомневайтесь. Я и с адвокатом его, с Комаринским, говорил — и тот говорит: поджег! Только парень-то уж очень хорош, денег у него много — вот и нельзя не заступиться за него.

Прокоп встал, потянулся и осмотрелся кругом, к кому бы еще присесть. Покосился сначала на восточного человека, но раздумал и направился к старичку с Владимиром на шее. Старец как-то нервно передернулся, почувствовав себя в этом соседстве.

— Вы до Вильны? — спросил Прокоп.

— Я за границу-с.

— А я думал, до Вильны. Туда нынче много таких ездит. Просветители. А где служите? чай, в консистории?

Старичок ничего не ответил, но я видел, как брови его начали постепенно шевелиться, словно в них что-то забегало.

— Что ж не говорите! — продолжал Прокоп, — чай, язык не отвалится?

— При своем месте служения нахожусь, — ответил старец, решительно уклоняясь от дальнейшего разговора.

— Понимаю! ватерклозетами заведуете? Там, верно, и простудились — теперь на казенный счет лечиться едете?

Старичок не отвечал, а только беспокойно подергивал плечами и спиной и перекладывал ноги одну на другую.

— Я и болезнь вашу знаю, — продолжал Прокоп, — по-медицински восцой она называется. Черносливу, брат, больше ешь — пройдет.

— Прокоп! — возопил я,— что ты делаешь?

— Ничего я не делаю. Я только об том, сколько на эту восцу казенных денег выходит. А ежели ты со мной, господин Восцын, разговаривать не хочешь,— обратился он к старику,— ну, и сиди с богом. Подергивайся. Ишь его передергивает. Восца! она и есть! восца!

Наконец вновь Прокоп сел подле меня и некоторое время казался обиженным. Но так как никакое определенное чувство не могло в нем долго задерживаться, то в скором времени его занимали уже совсем другие соображения, и он изумил меня целым рядом совершенно неожиданных вопросов и рассуждений.

— К Луге, что ли, мы подъезжаем? — спросил он.

— К Луге.

— Есть будем — это хорошо. Вот я ему компот из чернослива закажу — ешь, брат, здоров будешь. А что за Луга? город, что ли?

— Город.

— А чудотворцы в нем какие-нибудь почивают?

— Об каких еще чудотворцах ты заговорил? Есть исправник, становые — вот и довольно.

— Нет, это ты уж вздор мелешь. Это я наверное знаю. Во всяком городе свои угодники почивают — это мне архимандрит Амфилохий говорил. Во Пскове — псковские угодники, в Вильне — виленские... А мне, брат, серьезно есть захотелось. В Луге какая рыба водится?

— Ей-богу, не знаю. Одному только удивляюсь: как это ты, голубчик, минуту помолчать не можешь? И мысли у тебя какие-то всё разные являются: сейчас были угодники, и вдруг — рыба...

— А мне разве заказано? Кабы мне заказано было: думай об одном — я бы и думал. Вон ему, Восцыну, сказано: думай об ватерклозетах — он и думает, к нему в это время не подходи. А мне свободно, об чем хочу, об том и думаю.

— Все-таки иногда не мешало бы...

— Ну тебя! Я еще вон этого, тайного-то советника, к вечеру раззужу, да и об татарине досконально разузнаю: с какой стати свиное ухо с нами в первом классе едет? Смотри-ка! смотри-ка! ведь и он на нас глядит! Смеется! ишь!

Действительно, восточный человек смотрел на нас и улыбался во весь рот. Он даже хлопал ладонью по подушке соседнего места, как бы приглашая Прокопа сесть возле него.

— Станция Луга! двадцать минут остановки! — прокричал кондуктор, проходя мимо нас.

V. ТАЙНА, ОБЛЕКАЮЩАЯ ЛИЧНОСТЬ ВОСТОЧНОГО ЧЕЛОВЕКА, СЛЕГКА РАЗЪЯСНЯЕТСЯ

В Луге, по дороге к вокзалу, меня подхватил под руку тайный советник Стрекоза. Признаюсь, я смутно угадывал, что будет нечто подобное (дальше я расскажу читателю мои отношения к Стрекозе), и порядочно-таки это волновало меня.

— Мы, кажется, с вами знакомы? — спросил он.

— Кажется,— отвечал я.

— Мы пошли разными дорогами, но надеюсь, что это не должно мешать нам взаимно уважать друг друга.

Говоря это, он сжимал своим правым локтем мой левый локоть, а левою рукой взял мою правую руку.

— Признаюсь вам, я уж давно для себя решил: ко всем иметь уважение, кто имеет чин не ниже статского советника. А следовательно, и вы в том числе.

Он усмехнулся, заглянул мне в лицо, пробормотал, как бы про себя: это ирония? — и, не отпуская моей руки, засвистал какой-то мотив.

— Вы мои последние распоряжения читали? — вновь начал он разговор.

— Нет, не читал.

— Не интересуетесь?

— Сами по себе, вероятно, они интересны, но для меня — нет.

— Многие так рассуждают нынче, и оттого у нас ничего не идет. Я не понимаю, как может не интересовать умного человека то, в чем, например, заинтересовано целое государство!

— Что прикажете делать! Это странно и даже малообъяснимо, но это так!

— Вот если бы вы читали, то должны были бы сознаться, что не правы.

— В чем не прав?

— А хоть бы в том, что имеете на меня совершенно неверный взгляд.

— Да помилуйте! что же вам-то до этого? разве вам мой взгляд нужен?

— Даже очень. Я вообще имею нужду в содействии, а в частности, относительно вас есть, кроме того, и еще... Вы, может быть, забыли, но я очень, очень многое помню.

И он вновь сжал мне локоть. Неприятное чувство испытывал я в эту минуту: как будто бог весть откуда взялось мертвое тело и увязалось за мной.

— Как хорошо было двадцать лет тому назад — помните? — воскликнул он и даже рот на мгновение разинул, как бы вдыхая в себя невесть какой аромат.

Я не ответил, но он не сконфузился этим и еще крепче сжал мой локоть.

— Вы были в то время неправы относительно меня,— продолжал он,— мы когда-нибудь об этом поговорим на досуге. Старых недоразумений не должно быть. Вы куда едете?

Я назвал несколько пунктов.

— Приблизительно, это и мой маршрут. Скажите, что это за чудак, который вас сопровождает?

Я сказал.

— Эти дамы — его жена и дочь?

Стрекоза надел на глаза пенсне и, сжавши губы, внимательно осмотрел Надежду Лаврентьевну и Наташеньку, которые сидели за общим столом и кушали цыпленка, словно играя им.

— Интересные особы,— процедил Стрекоза сквозь зубы,— можно с ними познакомиться?

— Полагаю.

В эту минуту я заметил, что Прокоп, совсем запыхавшись, бежал в нашем направлении, доедая на бегу пирог, кусок которого еще торчал у него во рту.

— Ну, что! говорил я! и вышла моя правда! — кричал он еще издали, махая руками.

Наконец подбежал и торжественно объявил:

— Науматуллу видел.

— Да ты хоть бы говорил толком! — возразил я, едва воздерживаясь от раздражения.

— Из Бель-Вю Науматуллу; он тоже за границу едет — вон с ним, вон с этим... ну, вот что в ермолке у нас в вагоне сидит!

— Ну, и пускай едет. Какое, наконец, нам до этого дело!

— Как какое! Я от Науматуллы узнал про *него*. Он — принц, братец, только инкогнито.

— Душа моя! это, наконец, утомительно!

— Ты сперва взгляни, а потом говори! Вон они рядом сидят. Науматулла-то уж рассчитался с Бель-Вю, теперь у принца камергером служит.

Как ни глупо все это представлялось, но я невольно взглянул вперед. Действительно, восточный человек сидел за общим столом и пил шампанское, которое Науматулла из Бель-Вю (я тотчас же узнал его) наливал ему.

— Ты вот все бегаешь,— сказал я Прокопу,— теперь еду прозеваешь, а потом будешь жаловаться, что голоден. Садись-ка лучше, ешь.

— Нет, я хочу тебе доказать! хоть я и не отгадчик, а взгляд у меня есть! Псст... псст...— сделал он, кивая головой по направлению к Науматулле.

Науматулла встал, что-то почтительно пошептал восточному человеку, потом налил три бокала, поставил на тарелку и поднес нам.

— Прынец просит здоровья кушать! — сказал он.

Прокоп принял бокал и, выступя несколько вперед, церемониально поклонился. Я и Стрекоза тоже машинально взяли бокалы и некоторое время совсем по-дурацки стояли с ними, не решаясь, пить или не пить. Восточный человек между тем во весь рот улыбался нам.

— Что же это, однако, за принц такой? — спросил Стрекоза Науматуллу.

— В Эйдкунен — всё будем говорить; в Эйдкунен — всё чисто будем объяснять,— таинственно ответил Науматулла,— а до Эйдкунен — не можем объяснять. Еще шампанского, господа, угодно?

— Да не мятежник ли это какой-нибудь? — усомнился вдруг Прокоп.

— Сказано: в Эйдкунен всё чисто объяснять будем. И больше ничего! — вновь подтвердил Науматулла и исчез, с опорожненными бокалами, в толпе.

— Как же к нему обращаться? чай, титул у него какой-нибудь есть? — обеспокоился Прокоп.— Науматулла, признаться, сказал мне что-то, да ведь его разве поймешь? Заблудащий, говорит,— вот и думай!

— В Эйдкунене узнаем-с,— отозвался Стрекоза.

— Чай, беглый какой-нибудь,— продолжал Прокоп,— ишь, шельма, смелый какой! не боится, так с подлинным обличьем и едет! вот бы тебя к становому отсюда препроводить — и узнал бы ты, где раки зимуют!

— В Вержболове, по всей вероятности, так и поступлено будет,— вновь отозвался Стрекоза.

— И все-таки принц! там как ни дразнись свиным ухом, а и у них, коли принц, так сейчас видно, что есть что-то свыше. Вот кабы он к Наташеньке присватался, я бы его в нашу православную веру перевел... ха-ха! А что ты думаешь! уехали бы все вместе в Ташкент, стали бы новые необременительные налоги придумывать, двор бы, по примеру прочих принцев, завели, Патти бы выписали...

— Христос с тобой! ведь Ташкент-то уж русский!

— А может, царь и простит, назад велит отдать. Мы против русской империи — ничего, мы — верные слуги; вот коканцы — те мятежники. А мы бумагу такую напишем,

чтобы, значит, ни вам, ни нам. Смотри-ка! да никак Науматулла опять с шампанским идет! Постой, я его расспрошу!

Действительно, Науматулла опять стоял перед нами с наполненными бокалами и говорил:

— Вторично прынец велел здоровья кушать! Все будьте здоровы! Кофий, чай, шкалад — кому что угодно, всё спрашивайте! все подавать велено!

— Да кто твой принц! сказывай! — спросил Прокоп,— может, он мятежник?

— В Эйдкунен — всё говорим; до Эйдкунен — ничего говорить не можем!

— Пить ли? — усомнился Прокоп, обращаясь ко мне.

К счастию, звонок прервал все эти вопросы и недоразумения. Мы наскоро выпили шампанское и поспешили в вагон, причем я, на ходу, представил друг другу Стрекозу и Прокопа. Восточный человек был уже на месте, и Прокоп, сказав мне: воля твоя, а я его буду благодарить! — подошел к нему. На что восточный человек ответил очень приветливо, протянув руку на диван и как бы приглашая Прокопа сесть на нее.

Надо отдать справедливость Прокопу, он отнесся к этой пантомиме довольно недоверчиво и сел поодаль. Затем он попытался завести разговор и, как всегда водится в подобных случаях, даже выдумал совершенно своеобразный язык, для объяснения с восточным человеком.

— Далеко? луан? — спросил он и, для ясности несколько раз махнув рукою в воздухе, показал пальцем в окно.

Восточный человек засмеялся и тоже показал пальцем в окно.

— Дела есть? афер иль я?

Восточный человек продолжал смеяться и показывать пальцем в окно.

— И я тоже туда! е муа осси лебà! Только я, брат, без дела — комсà!

Очевидно было, однако ж, что восточный человек или не понимал, или упорно притворялся непонимающим. Он только смотрел как-то удивительно весело, раскрыв рот до ушей.

— Не понимаешь? — утомился наконец и Прокоп,— ну, нечего делать, давай так сидеть! друг на дружку смотреть станем!

Начали смотреть друг на друга, и вдруг оба захохотали. За ними захохотали и другие, так что Надежда Лаврентьевна обеспокоилась и выглянула из-за двери.

— Наденька! поди сюда! вот это принц! а это — ма фам! — рекомендовал их друг другу Прокоп.

Надежда Лаврентьевна ничего не понимала и как-то конфузливо оглядывалась. Между тем принц, с ловкостью восточного человека, вскочил с своего места, отвернул полу халата, порылся в кармане штанов и поднес Надежде Лаврентьевне шепталу, держа ее между двумя пальцами.

— Бери! после за окно выбросишь! — разрешил Прокоп недоумение жены своей,— принц ведь он! Ишь ведь, свиное ухо, куда вздумал гостинцы прятать! в штаны!

Однако, как ни мало требователен был Прокоп насчет развлечений, и ему, по-видимому, надоело смотреть на восточного человека и смеяться с ним.

— Будет, брат! — сказал он,— после, ежели еще захочется,— давай и опять смотреться!

А мне, покуда все это происходило, было совсем тяжело, потому что ко мне подсел Стрекоза и самым серьезным образом допрашивал, почему я его не уважаю.

— Из чего вы это заключаете? — отбивался я, как умел.

— Нет, это для меня вопрос решенный: я по глазам вижу. Скажите же, отчего вы меня не уважаете?

Я бился как рыба об лед, стараясь ежели не разуверить, то, по крайней мере, успокоить моего собеседника. Но он не унимался и только видоизменил свой вопрос, представив его, впрочем, в форме, уже известной читателю:

— Вы мои последние распоряжения читали? Не читали? а между тем сýдите обо мне!

В это время, к моему удовольствию, подошел к нам Прокоп и произнес:

— Черт их знает, эти татара! вот и смеялся, кажется, а смерть как скучно! Какову он конфетку Надежде Лаврентьевне подарил? заметил?

Наконец начало и темнеть в вагонах. Проехали Псков, отобедали, стали подъезжать к Острову. Все были утомлены, потягивались и зевали; многие пробовали заснуть, но не могли. С полчаса было в вагоне тихо — только слышалось, как восточный человек чавкал шепталу и щелкал миндальные орехи. Потом вдруг все опять заворочалось, стараясь половчее усесться, и вдруг все очутились сидящими прямо и глядящими друг другу в глаза.

— Вот-то, брат, тоска! — произнес Прокоп,— хоть бы сказку кто рассказал!

Тогда мне припомнилось, что генерал обещал рассказать историю о том, как он свел знакомство с чертом, и я немедленно сообщил эту мысль Прокопу.

— А что ж! и прекрасно! может быть, и разгуляемся! Генерал! помнишь, ты ему обещал историю свою рассказать? вот бы теперь — чего лучше! Господа! будем все просить генерала!

Генерал несколько затруднился, но так как мы все его обступили и в самых почтительных выражениях просили доставить нам своим рассказом живейшее удовольствие, то он наконец согласился. Но прежде нежели приступить к самому рассказу, он встал, расстегнул сюртук, рубашку и фуфайку и показал нам опять ту надпись, которая хранилась у него на груди пониже левого соска и о которой я уже говорил читателю.

— Смотрите, господа! — сказал он взволнованным голосом,— ибо эта печать есть истинный герой предстоящего рассказа!

Затем он высморкался, откашлялся и рассказал нам следующее [1].

---

[1] По обстоятельствам осталось неоконченным.— Замечание автора. *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

СБОРНИК

СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ

Юбилей удался как нельзя лучше. Сначала юбиляр был сконфужен и даже прослезился, но наконец (нужно думать, что он уже окончательно был под влиянием торжества) до того освоился с своим положением, что обратился к чествующим и во всеуслышание произнес: «Господа! благодарю вас! но думаю, что если бы вы потрудились взглянуть в ревизские сказки любой деревни, то нашли бы множество людей. которые, если не больше, то, по крайней мере, столько же, как и я, заслужили право быть чествуемыми. И, следовательно, все это юбилеи...»

И так далее. Затем юбиляр зарыдал, и многим послышалось, что он сквозь всхлипывание произнес слово: «наплевать!» После чего мы разошлись по домам.

Впрочем, за исключением этой маленькой неловкости, все шло как по маслу.

Юбилей, о котором идет речь, был устроен нами в честь нашего департаментского помощника экзекутора (кажется, что он в то же время пользовался титулом главноуправляющего клозетами). Нынче вообще в ходу юбилеи. Сначала праздновали юбилеи генералов, отличавшихся в победах неодолением, потом стали праздновать юбилеи действительных статских советников, выказавших неустрашимость в перемещениях и увольнениях, а наконец, дошла до нас весть, что департамент «Всеобщих Умопомрачений» с успехом отпраздновал юбилей своего архивариуса. Вот тогда-то мы, чиновники департамента «Препон», и решили: немедленно привлечь к ответственности по юбилейной части почтеннейшего нашего помощника экзекутора, Максима Петровича Севастьянова.

Севастьянов, по правде сказать, совсем даже позабыл, что 15 июля 1875 года минет пятьдесят лет с тех пор, как он облачен в вицмундир министерства «Препон и Неудовлетворений»,

и тридцать с той минуты, как он доверием начальства был призван на пост помощника экзекутора, к обязанности которого главнейшим образом относился надзор за исправным содержанием департаментских клозетов. Для него было, в сущности, все равно, что пять, что пятьдесят лет, ибо клозеты, или заменяющие их установления, одинаково существовали как в первое пятилетие его государственной деятельности, так и в последнее. Он даже не помнил, точно ли он когда-нибудь в *первый раз* надел на себя вицмундир и не был ли он облачен в него в тот достопамятный день, когда сенатский регистратор Морковников и жена корабельного секретаря Огурцова воспринимали его от купели. Севастьянов был старик угрюмый и застенчивый, на лице которого было, так сказать, неизгладимыми чертами изображено, что он вырос в уединении клозета. В справедливости этой мысли в особенности удостоверяло то, что он весь, то есть все незакрытые части его тела, поросли волосами, так что издали он казался как бы подернутым плесенью сырого места. Волоса выступали у него на выпуклостях щек, на пальцах, закрывали почти весь лоб, вылезали из носа и из ушей, а борода его, даже в те дни, когда он ее брил, была синяя-пресиняя. Лицо у него было пепельного цвета, глаза больные, слезящиеся, как у человека, давно отвыкшего от дневного света. Так что когда ему сказали, что в честь его готовится юбилей, то он смутился и покраснел. Да говоря по совести, и было от чего покраснеть, ибо тридцатилетие его состояния в должности помощника экзекутора как раз совпадало с тридцатилетием же реформы клозетов в департаменте «Препон» (кажется, что по этому поводу даже и самая должность его была учреждена).

Заручившись согласием предполагаемого юбиляра, мы отправили депутацию к директору департамента, который не только одобрил наше намерение, но даже обещал, к средине обеда, прислать поздравительную телеграмму. С своей стороны, вице-директор заявил, что лично примет участие в юбилейном торжестве и пригласит к тому же всех начальников отделений. Тогда, на живую руку, был составлен краткий церемониал следующего содержания:

1. 15-го сего июля имеет исполниться пятьдесят лет со времени состояния помощника экзекутора департамента «Препон», Максима Петровича Севастьянова, на службе в офицерских чинах. В ознаменование сего события устроивается обеденное торжество в одной из зал Палкинского трактира (на углу Владимирской и Невского проспекта).

2. Чины департамента «Препон», с вице-директором во главе, в 5 часов пополудни, соберутся в общем зале Пал-

кинского трактира и будут там ожидать виновника торжества.

3. Когда юбиляр прибудет, то вице-директор, подав ему руку, поведет в предназначенный для торжества зал, где участников будет ожидать роскошно сервированный стол.

4. По вступлении в зал, приступлено будет к закуске, а по удовлетворении первых позывов аппетита, вице-директор предложит юбиляру за обеденным столом президентское место, сам же сядет по правую его руку.

5. По левую руку юбиляра займут место старший из начальников отделений, а напротив экзекутор, как непосредственный юбиляра начальник, лицо которого, тоже не чуждое клозетов, должно непрестанно напоминать виновнику торжества об истинном характере его заслуг на пользу отечества. Прочие члены займут за столом места по пристойности.

6. Во время обеденного торжества имеют быть предлагаемы тосты, произносимы речи и прочитываемы поздравительные телеграммы, причем, однако ж, из пушек палимо не будет.

7. По окончании обеда, участвующие в торжестве перейдут в соседний зал, где им будут предложены кофе, чай и ликеры. С этой минуты торжество принимает характер семейный, и правила какого бы то ни было церемониала перестают быть обязательными.

Сверх того, были приняты меры, чтоб из провинций, от подчиненных мест и лиц, присланы были ко дню юбилея поздравительные телеграммы.

Повторяю: юбилей состоялся на славу. Юбиляр восседал на президентском месте, вице-директор по правую руку его и т. д. После ботвиньи прочтен был адрес от имени департаментских чиновников, в котором, однако ж, о клозетах не упоминалось, а говорилось о деятельном участии юбиляра в великой реформе замены курьерских тележек пролетками. По выслушании этого адреса, вице-директор встал с своего места и торжественно провозгласил, что, вместо громких слов, он публично целует любезного виновника торжества, желая тем заявить, что начальство никогда не оставалось равнодушным к его служебным подвигам. Затем, по мере разнесения блюд, прочитываемы были поздравительные телеграммы. Телеграмма директора департамента гласила: «Поздравляю любезного старичка и надеюсь, что усердным исполнением обязанностей он и впредь не вынудит меня к принятию против него мер строгости. Директор Дуботолк-Увольняев». Телеграмма из Конотопа выражалась: «Поднимаю бокал за здоровье дорогого юбиляра. Увы! вот уж два дня, как наш прекрасный Конотоп горит. Начальник конотопских «Препон» Свирепов». Теле-

грамма из Лаишева: «С бокалом в руке шлю привет почтеннейшему Максиму Петровичу. Вчера сгорела половина Лаишева. Исправляющий должность начальника лаишевских «Препон», помощник его Гвоздилло». Телеграмма из Обояни: «Один на один с бокалом вина возглашаю ура и многая лета высокочтимому юбиляру. Сегодня с утра здесь свирепствует пожар; до сих пор сгорело около ста домов. Известный вам Скулобоев». А под самый конец обеда пришла телеграмма из Феодосии, которая удивила всех своею загадочностью и именем подписавшегося под нею. Содержание ее было следующее: «При отличнейшей погоде (сижу в одной рубашке), в виду плещущего моря, с бокалом в руках, восклицаю: да здравствует! и никогда да не погибнет! Здравствуйте, почтеннейший Максим Петрович! никогда не забуду вашего содействия по доставлению мне драгоценнейших матерьялов к истории русских клозетов, первый корректурный лист которой уже лежит передо мною. Пишу вашу биографию и помещу ее в приготовляемом мною сборнике биографий отличнейших русских людей. Два выпуска готовы. *Подписал:* Вёдров, старый воробей, один из тех (спасшийся чудом), к хвостам коих великая княгиня Ольга (вспомните тропарь, который 11 июля поют) привязала зажженный трут и таким образом сожгла древний Коростень. За телеграмму уплочено из моей собственности восемь рублей, кои благоволите в непродолжительном времени возвратить».

— Так вот вы с какими знаменитостями знакомство ведете? — пошутил вице-директор, когда была прочтена замысловатая телеграмма.

— А много-таки этому господину Вёдрову лет! — заметил старейший из начальников отделения.

Начали считать, сколько прошло лет со времени сожжения Коростеня, но как учебника русской истории г. Погодина под руками не было, то ничего определительного сказать не могли.

— Стар-стар, а как был воробей, так воробьем и остался! — со вздохом сказал экзекутор.

Замечание это вызвало сначала общий смех, а потом и серьезные размышления о том, чем достославнее быть: старым ли воробьем или молодым, да орлом. И так как, во время этого орнитологического разговора, вице-директор постоянно делал иносказательные движения руками (как бы расправляя молодые крылья), то было решено, что удел молодого орла достославнее, нежели удел старого воробья, хотя бы последний был и из тех, которых на мякине не обманешь.

— Сколько я на свете ни живу — ни одного путного воробья на своем веку не видел! — сказал экзекутор,— сюда

порхнет — клюнет, туда порхнет — клюнет... клюнет и чирикнет, словно и невесть какое добро нашел! А чтобы основательное что-нибудь затеять — никогда! Я даже так думаю, что он и сам не разумеет, что̀ клюет и об чем чирикает?

Такой суд над воробьями все нашли справедливым, и, дабы подтвердить это заключение самым делом, сейчас же провозгласили здоровье вице-директора, который, в ответ, окончательно расправил крылья и обнял юбиляра.

Наконец обед кончился, и участники торжества перешли, согласно церемониалу, в другой зал, где их ожидали чай, кофе и ликеры. Тут, чувствуя себя уже достаточно выпившими, все единодушно приступили к юбиляру с просьбой, чтоб он порассказал кое-что из виденного и слышанного им в течение многолетней служебной карьеры. Некоторое время юбиляр находился в недоумении, как бы спрашивая себя: да что же бы я, однако, мог видеть и слышать? Но потом, сделавши над собой некоторое усилие, он отыскал в памяти несколько очень интересных воспоминаний, которыми и поделился с нами.

— Скажу вам, господа,— так начал он,— что все мои начальники были, так сказать, на одно лицо: все — генералы и все начальники. Одно только отличие вижу: прежнее начальство как будто проще было, а потом, чем дальше, тем все больше и больше ожесточалось.

— Надеюсь, однако ж, любезнейший, что замечание ваше не относится до нынешнего начальства? — перебил вице-директор, несколько обиженный этим вступлением.

— Про нынешнее начальство, ваше превосходительство, сказать ничего не могу, но вообще — это действительно, что в старину начальники были обходительнее.

— Очень любопытно. Например, генерал-майор Беспортошный-Волк? ха-ха! — иронически заметил вице-директор.

— Ваше превосходительство! по человечеству-с! — нимало не робея, возразил почтенный юбилеяр,— конечно, они словами не дорожили: какое слово первое попадется на язык, то и выкинут,— да ведь тогда это в моде было. И на парадах, и на смотрах, везде эти слова допускались-с! Зато, когда, бывало, опять в свой вид войдут, то даже очень обходительны были. Скажу, например: любили они, этот самый генерал Беспортошный-Волк, спину себе чесать, а об стену неловко-с: неравно мундир замарают. Вот и кликнут, бывало: Севастьянов! встань, братец! Ну, встанешь это, они прислонятся к плечу, свое дело потихоньку об косяк справят... где, смею спросить, такого обхождения нынче сыщешь? А что я истинную правду говорю, так вот Анисим Иваныч (экзекутор) — живой человек, может сейчас засвидетельствовать.

— Это так точно. при мне, ваше превосходительство, сколько раз бывало! — поспешил подтвердить Анисим Иваныч.

— Так вот оно и помянешь добром старину! — продолжал юбиляр, делаясь более и более словоохотливым,— многие после того были, которые тоже на слова внимания не обращали, а таких, чтоб с подчиненным обхождение иметь, таких уже не было!

Юбиляр вздохнул и несколько минут сидел потупившись.

— Расскажу вам, например, такой случай про того же Беспортошного-Волка,— вновь начал он.— Купил он в ту пору себе арапа в услужение, а супруга ихняя, как на грех, возьми да и роди, через десять месяцев после того, сына — черного-пречерного! Туда-сюда, ка̀к да почему — к кому, как бы вы думали, он в этом важном фамильном случае за утешением обратился? — А вот к этому самому Севастьянову, который имеет честь вашему превосходительству докладывать! Да̀-с! призывает это меня: «Севастьянов, говорит, мне сына-арапчонка жена принесла! как ты думаешь, отчего?» Ну, я, знаете, обробел было, да уж, видно, сам бог мне внушение свыше послал.— Должно быть, говорю, их превосходительство какой-нибудь табачной вывески, во время беременности, испугались? А тогда, знаете, у всех табачных магазинов такие вывески были, на которых был нарисован арап с предлинным чубуком в руках. Ну-с, хорошо-с. Выслушали они меня и смотрят во все глаза, словно понять хотят. «Стой! — говорят, наконец,— ка̀к же это так? на вывесках арапы с чубуками представлены, а мой-то арапчонок без чубука?» Ну, как он это сказал, так я уж увидел, что дело в шляпе.— Ежели только за этим, ваше превосходительство, дело стало, говорю, так ведь чубук не дорогого стоит, сейчас же можно купить и младенцу в ручку вложить! — И что ж бы вы думали? Постоял он это, постоял, подумал, подумал: «ну, говорит, будь ты проклят, купи чубук!» Только всего и сказал, и хотя, быть может, и понял, что тут дело не одним табаком пахнет, однако тем только и удовольствовался, что арапа в дальнюю деревню сослал, а кучерам приказал, чтоб на будущее время барыню мимо табачных магазинов отнюдь не возили.

Рассказ этот возбудил бы общую веселость, если бы не вице-директор, который нашел, что он только компрометирует начальство и вовсе не относится к делу.

— Вы говорили о какой-то снисходительности,— сказал он,— но в чем тут снисходительность — решительно не понимаю!

— А как же, ваше превосходительство! В таком, можно сказать, фамильном деле — и какое доверие! А ведь нам

как это доверие дорого, ваше превосходительство! ах, как дорого!

— Не понимаю... Ну, а других историй у вас нет?

— Расскажи-ка нам, как тебя барон Эспенштейн на коленях богу молиться заставлял! — вступился Анисим Иваныч, иронически прищуривая в нашу сторону одним глазом.

— Заставлял — это точно, что заставлял. Доложу вашему превосходительству, что этот самый барон Эспенштейн, до поступления в наш департамент, губернатором состоял и был лютеранин. И случись ему однажды на усмирении в одном помещичьем имении быть, и узнай он от господина помещика, что главный науститель всей смуты есть местный священник. Хорошо. Не долго, знаете, думая, созвал он сельский сход, послал за священником, и как только тот явился: влепить, говорит, ему двести! Не успели это оглянуться: ах-ах-ах,— ан рабу божьему что следует уж и отпустили! И точно, как только мужички увидели, что пастыря их в новый чин пожаловали, сейчас же и бунт прекратили, пошли на барщину, выдали зачинщиков — словом, все как следует. Едет наш барон обратно в губернию, едет и радуется, что ему удалось кончить дело миром. Да вдруг, знаете, среди радостей и вспомнилось ему, что ведь он, собственно говоря, духовное лицо телесному-то наказанию подверг! Вспомнил и обробел. Как быть? Как делу пособить? Думал-думал, да и выдумал. Приехал домой и притворился, что чуть жив. День лежит, а на другой, говорят, уж и при смерти. И было, сказывают, ему тут видение. Явился будто бы к нему муж светлый и сказал: Карл Иваныч! прими православную веру! Сейчас — к архиерею, а тот натурально рад: лёгко ли, какую красную рыбу в сети изловил! Однако рад, а процедуру свою все-таки исполнил: поехал к болящему и просил его не спешить, а обдумать дело хорошенько. Подумайте, говорит, ваше превосходительство! ведь с старой-то верою расставаться не то чтоб что! Это — не сапоги! — Так куда тебе! Вскочил наш больной с постели, как встрепанный, да сам же всех торопит! увидите, говорит, ваше преосвященство, что с меня эта ересь как с гуся вода соскочит! Ну, после этого, в одночасье и окрутили милостивого государя! Только покуда все это делалось, а поп между тем трюхи-трюхи, да тоже в губернию явился. Приехал и прямо к архиерею. Да не тут-то было. Не только архиерей никакой защиты ему не оказал, а на него же разгневался. «Тебя, говорит, провидение орудием такого дела избрало, а ты, говорит, еще жаловаться смеешь!»

На этом месте рассказчика прервал взрыв смеха, в котором удостоил принять участие и вице-директор.

— Ну-с, так вот этот самый барон Эспенштейн, вскоре после своего присоединения, и назначен был к нам директором. И поверите ли, ваше превосходительство, такой из него вышел ревнитель, что, пожалуй, почище другого православного. Самое первое распоряжение, которое он сделал, в том состояло, чтоб чиновники каждый день к ранней обедне ходили, а по субботам и ко всенощной. И ходили-с, потому что он все приходы, где кто жил, переписал и всем церковным причтам о распоряжении своем сообщил для наблюдения. Мало этого: созвал департаментских чиновников и объявил, что впредь за всякую вину у него такое наказание будет: виноват — становись на колени. И действительно, чуть что̀, бывало,— сейчас звонит: позвать такого-то! — и тут же, при себе в кабинете, и поставит поклоны отбивать. Очень это сначала обидно было, ну, а потом обошлось. И ведь знаете, ваше превосходительство, поставит он на поклоны, а сам сидит и считает: раз — два, раз — два. Грешный человек, мне таки больше всех доставалось: я и в департаментском кабинете, и на квартире у него чуть не во всех комнатах стаивал. Бывало, чуть запахнет — сейчас: Севастьянов! чем пахнет? Ну, иной раз сробеешь, не так объяснишь — а! говорит, посмотрим, как ты своего бога любишь! И таким манером жили мы с ним пять лет, покуда до самого государя об его чуделесиях не дошло. Ну, натурально, в отставку подать велели. И что ж бы вы думали, ваше превосходительство! до того он этою верою распалился, что пуще да пуще, глубже да глубже — взял да через два года в раскол ушел! Потом попом раскольничьим, сказывают, сделался — так в скитах и умер!

— Отлично! бесподобно! ура юбиляру! ура! — воскликнул вице-директор, подавая знак к общему восторгу.

Веселой толпой подбежали мы к виновнику торжества, схватили его на руки и начали деликатно подбрасывать в воздухе. По окончании этого чествования, он, натурально, сделался еще словоохотливее, и когда вице-директор сказал ему:

— А жаль, что вы не пишете своих мемуаров! очень-очень жаль! Я полагаю, что ни в одной стране... Да, именно, ни в одной стране ничего подобного этим мемуарам не могло бы появиться! — то он, уже никем не вызываемый, усладил нас еще новым рассказом из служебной практики.

— А вот я вам, ваше превосходительство, про Балахона, про Ивана Иваныча доложу,— начал он.— При нем, знаете, эта реформа клозетная в первый раз была введена — ну, а он, признаться сказать, сначала не понял, думал, что в том и реформа состоит, чтобы как есть в одёже, так и... Вот только

однажды слышим мы крик, там преужаснейший: «Севастьянов! Севастьянова сюда! Мерзавец! говорит, всегда у тебя по службе неисправности!» Бегу, знаете, оправдываюсь, показываю — ну, понял! «Извини, братец», говорит.

— Хо-хо! — разразился вице-директор.

— Ха-ха! — грянули мы.

Что потом было, я решительно не помню. Кажется, что юбиляра раз пять качали на руках и что он после каждого чествования рассказывал новую историю. Вино лилось рекой, тосты следовали за тостами. И вдруг, в ту самую минуту, когда все чувствовали себя как нельзя лучше, юбиляр совершенно неожиданно начал говорить какие-то странные речи.

— Господа! — обратился он к нам,— очень я вам благодарен. Утешили вы старика. И обед, и все такое...

— Урррааа! — подхватили мы.

— Только вот что сдается мне: если бы вы заглянули в ревизские сказки любой деревни, то, наверное, сказали бы себе: сколько есть на свете почтенных людей, которые все юбилейные сроки пережили и которых никто никогда и не подумал чествовать! Никто, господа, никогда!

На этом месте юбиляр остановился и заплакал.

— И, стало быть, все ваши юбилеи,— продолжал он сквозь всхлипывания,— все ваши юбилеи — одна собачья комедия... Да, именно так! Все эти юбилеи... коли вы, например, не цените истинных заслуг... все эти, значит, юбилеи... не стоят выеденного яйца! И значит, надо плюнуть на них да растереть!..

И он плюнул направо и растер левой ногой.

Я возвратился домой усталый, до краев наполненный винными парами, и тотчас же лег в постель. Вероятно, впрочем, заключительная сцена юбилея произвела на меня сильное впечатление, потому что она некоторое время мешала мне заснуть и потом дала содержание тем сновидениям, которые тревожили меня в последующую ночь.

В самом деле, думалось мне, сколько есть на свете людей, существующих как бы для того только, чтоб имена их числились в ревизских сказках? И сколько между ними есть лиц, вполне почтенных и добродетельных, которые и понятия не имеют о том, что за штука «юбилей»? Об них ни в газетах не пишут, ни в трубы не трубят; но этого мало: сами сограждане их, то есть односельчане, смотрят на них, как на людей обыкновенных, и ни во что не вменяют им их добродетелей, как будто добродетель есть вещь столь обыденная, что и заслуги

составлять не должна! И умирают эти люди в забвении, не слыхав ни стихов Майкова, ни прозы Погодина... Справедливо ли это?

Увы! люди культуры (нынче все русские помещики, занимающиеся раскладыванием гранпасьянса, разумеют себя таковыми) жестоки и недальновидны. Они считают ни во что этот бесконечный муравейник, который кишит у их ног, за пределами культурного слоя, или, лучше сказать, считают его созданным для того, чтоб быть попираемым культурными ногами. И в то же время они едва ли даже понимают, что каждый из членов этого муравейника живет своею отдельною жизнью, имеет свои характеристические особенности, свои требования, свои идеалы. Если бы они поняли это, они убедились бы, что их собственная культурная жизнь именно от того делается все более и более скудною, что для нее закрыт целый мир явлений, стоящих вне всякого культурного наблюдения. Сколько узнали бы мы благороднейших биографий! скольких отличнейших подвигов могли бы мы быть свидетелями! И как расширился бы наш умственный горизонт! И много ли нужно, чтоб достигнуть этого? — Нужно только почаще заглядывать в ревизские сказки и от времени до времени делать начальственные распоряжения о праздновании юбилеев. Тогда перед нами обнаружатся вещи неслыханные и невиданные, и мы воочию увидим героев, о которых не имели понятия... Повторяю, ткните пальцем в любое место ревизских сказок, и вы, наверное, попадете в человека, о котором гораздо больше можно порассказать, нежели даже об Севастьянове.

Я знаю, мне скажут, что народ не следует баловать — согласен! Но разве это баловство? — нет, это только справедливость! Секите — слова нет! Но будьте же и справедливы! Ибо, в противном случае, получится односторонность, которая может произвести сначала уныние, а потом, пожалуй, и ропот...

Да, мы, представители русской культуры, несправедливы. Но мы ли одни? — Увы! всегда даже в тех странах, где действительно существует культура, и там несправедливость преследует внекультурного человека. Вам показывают разные запустелые шлоссы, в которых когда-то жил культурный человек и оставил следы своего культурного существования. В этих шлоссах доднесь благоговейно сохранены все подробности канувшей в вечность жизни, лучи которой некогда согревали вселенную. Вот комната, в которой такая-то маркграфиня занималась оргиями с своими любовниками, вот знаменитая тем-то постель, вот часовня, в которой та же маркграфиня, утомленная оргиями, искупала свои грехи, носила вериги (вот и самые

вериги), бичевала себя, проводила ночи на голом полу (вот ее покаянная спальня), обедала с восковыми куклами, представляющими святых (и куклы эти уцелели); вот, наконец, подземелье, в которое сажали нагрубивших подданных,— прекрасно! Знание домашнего быта канувших в вечность маркграфинь, конечно, имеет свой исторический интерес; но спрашивается, почему же представители культуры так ревниво сохранили, во всей их неприкосновенности, старые дворцы и замки и не позаботились о сохранении хотя одного экземпляра мужицкого жилья, современного этим дворцам и замкам?

Но на этот вопрос я уже не дал ответа, ибо мгновенно заснул...

Мне снилось, что я присутствую на сходке в селе Бескормицыне и что мужики обсуждают, не следует ли отпраздновать юбилей старика Мосеича, которому 15 июля имеет исполниться ровно пятьдесят лет с тех пор, как он несет рабочее тягло. Впрочем, собственно говоря, мысль об юбилее принадлежит не крестьянам, а местному сельскому учителю Крамольникову и местному же священнику (из молодых) Воссияющему, которым немалых-таки усилий стоило пустить ее в ход и настолько заинтересовать мужичков, чтоб по такому необыкновенному поводу была собрана сходка.

И Крамольников, и Воссияющий были соединены узами умеренного либерализма и питали сладкую уверенность, что слова «потихоньку да полегоньку» должны быть написаны на знамени истинно разумного русского прогресса. Рядом каждодневных дружеских бесед, в которых принимала сочувственное участие и молодая попадья, они пришли к убеждению, что почтенное крестьянское сословие до тех пор не займет принадлежащего ему по праву места в государственной организации, покуда в нем не развито чувство самоуважения. Отсутствие этого чувства влечет за собой целый ряд прискорбных административных явлений, каковы: рылобитие, скулобитие, зубосокрушение, неряшливое употребление непечатных слов и т. д. Отчего становой пристав никогда не позволит себе назвать благородного человека курицыным сыном? Оттого, что у благородного человека, так сказать, на лице написано, что он уважает себя! Тогда как у мужика, при современной его неразвитости, и спина, и лицо составляют как бы посторонние вещи, на которых всякий может собственноручно расписываться. И это многих приводит в соблазн и служит источником дурных административных привычек, которые, при частом повторении, могут дискредитировать самую власть.

Следовательно, прежде всего нужно воспитать в мужике чувство самоуважения, а потом уже постепенно переходить к

развитию чувства своевременной уплаты податей и повинностей и т. д. Но затем сам собой возникает вопрос: как возбудить это чувство самоуважения, от которого в столь значительной степени зависит будущее всего крестьянского сословия? Словесными ли внушениями и теоретическими собеседованиями или какими-нибудь символическими действиями, которые, так сказать, практически давали бы чувствовать мужику, что за ним числятся известные заслуги перед государством?

Сообразив и взвесив доводы pro и contra[1], Крамольников пришел к тому заключению, что следует отдать предпочтение последнему способу, как наиболее доступному для мужицкого понимания и притом безопасному.

— Понимаете? — объяснил он Воссияющему,— разговаривать много не следует: во-первых, об разговорах становой пронюхать может; а во-вторых, и мужик на слова не очень понятлив; а надо так устроить, чтоб мужик сам, из сцепления обстоятельств, уразумел, в чем суть. Понимаете?

— Очень даже понимаю,— отвечал Воссияющий.

И вот, на первый раз, Крамольников предложил устройство юбилейных торжеств в пользу таких крестьян, которые отличились долголетнею твердостью в бедствиях, а дабы одна эта заслуга не показалась подозрительною, то предполагалось присовокупить к ней еще: непоколебимость в уплате недоимок и неукоснительность в исполнении начальственных требований, *хотя бы даже и лишенных законного основания.*

— Чудесно! — воскликнул Воссияющий,— а ежели к сему присовокупить прилежание к церкви божией, то, кажется, уже ничего предосудительного не будет!

Именно таким субъектом, который в одном своем лице соединял и непоколебимость в уплате недоимок, и безответность, и набожность, представлялся старик Мосеич. Он никогда не выигрывал сражений, пятьдесят лет сряду неутомимо обрабатывал свой земельный участок, самоотверженно выплачивал подушные, был бит и не роптал, раза три в жизни сидел в тюрьме и никогда не поинтересовался даже узнать, за что он посажен, пять раз замерзал, тонул и однажды был даже совсем задавлен. И за всем тем — отдышался. Одним словом, это был такой человек, по случаю которого самая подозрительная административная фантазия не нашла бы повода разыграться.

Остановившись на этом выборе и заручившись сочувствием молоденькой попадьи, оба друга прониклись таким энтузиазмом, что начали целоваться и порешили приступить к делу, по

---

[1] «за» и «против».

возможности, внезапно, дабы становой пристав ни под каким видом не мог его расстроить.

— А впрочем, ежели придется и пострадать,— в восторге воскликнул Воссияющий,— то и пострадать за такое дело не стыдно! Так ли, попадья?

— Я, батя, за тобой — всюду! В Сибирь, так в Сибирь... что ж! — ответила попадья, зарумянившись под влиянием мысли, что и она нечто значит в механике, затеваемой двумя друзьями.

Один только человек приводил друзей в некоторое смущение: это — волостной писарь Дудочкин. Это был закоренелый консерватор, который, сверх того, подозревался в тайных сношениях с становым приставом, по делам внутренней политики. И действительно, сношения эти существовали, и он не только не скрывал их, но не однажды имел даже гражданское мужество прямо произнести слово: донесу! Но что было в нем всего опаснее — это то, что он все свои доносы обусловливал преданностью консервативным убеждениям (он кончил курс в уездном училище и потом служил писцом в уездном суде, где и понабрался кое-каких слов).

— Наш народ — неуч! всё одно: что стадо свиней, что народ наш! — беспрестанно повторял он, и притом с таким торжеством, как будто обстоятельство это и невесть какой бальзам проливало в его писарское сердце.

На сочувствие этого человека надеяться было невозможно, но необходимо было, по крайней мере, добиться, донесет он или не донесет. Но едва Крамольников изложил ему (и притом в самом невинном и даже административно-привлекательном виде) предмет своего предприятия, как Дудочкин тотчас же загалдил.

— Неуч наш народ! свинья наш народ! не чествовать, а пороть его следует!

— Но... не преувеличиваете ли вы, Асаф Иваныч? — както неуверенно возразил Крамольников.

— Нимало не преувеличиваю, а прямо говорю: пороть надо! — утвердился на своем Дудочкин.

Как ни безнадежны были эти мнения, но Крамольников уже и тому был рад, что Дудочкин, высказывая их, оставался на теоретической высоте и ни разу не употребил слова «донос». Разумеется, друзья наши как нельзя лучше воспользовались этим обстоятельством. Не выводя спора из сферы общих идей, они прибегали к той остроумной тактике, которая всегда отлично удавалась умеренным либералам, а именно: объявили Дудочкину, что хотя мнений его не разделяют, но тем не менее не могут его не уважать.

— Главное дело в мнениях — искренность,— деликатно заметил Крамольников,— и вот это-то драгоценное качество и заставляет нас уважать в вас противника добросовестного, хотя и неуступчивого. Но позвольте, однако, сказать вам, почтеннейший Асаф Иваныч: хотя действительно у всех благомыслящих людей цель должна быть одна, но ведь пути к достижению этой цели могут быть и различные!

— То-то, что ваши-то пути глупые! — отрезал Дудочкин.

— Отчего ж бы, однако, не попробовать?

— Пробуйте! мне что! вы же в дураках будете!

— Так, стало быть, пробовать не возбраняется?

Вопрос был сделан настолько в упор, что Дудочкин на минуту остался безмолвным.

— То есть, вы... это насчет доноса, что ли? — произнес он наконец.

— Нет, не то чтоб... а так... искренность убеждений, знаете...

— Ну, да уж что тут! Сказывай прямо, донесешь или не донесешь? — вступился Воссияющий, который с некоторым нетерпением относился к политиканству своего друга.

— Эх, господа, пустое вы дело затеяли! — вздохнул Дудочкин.

— Ты не вздыхай, а говори прямо — донесешь или не донесешь? — настаивал Воссияющий.

Дудочкин некоторое время уклонялся от ясного ответа, но когда друзья вновь повторили, что уважают в нем противника искреннего и добросовестного, то он не выдержал напора лести и обещал. Однако уже и тогда Воссияющий заметил, что, давая слово не доносить, он, яко Иуда, скосил глаза на сторону.

Заручившись обещанием писаря, друзья немедленно приступили к пропаганде своей идеи между крестьянами; сказали одному мужичку, сказали другому, третьему — от всех получили один ответ: Мосеич — мужик старый. Тогда настояли на том, чтоб в ближайшее воскресенье, после обедни, была созвана сходка для обсуждения на миру предложения о введении между крестьянами села Бескормицына обычая празднования юбилеев.

В воскресенье, за обедней, Воссияющий сказал краткое поучение о пользе юбилеев вообще и крестьянских в особенности.

— Отличнейшая польза, от юбилеев происходящая,— сказал батюшка,— несомненна и всеми древними народами единодушно была признаваема. Юбилеи возвышают душу чествуемого, ибо они предназначаются лишь для лиц воспрославленных и знаменитых, а чья же душа не почувствует парения, еже-

ли познает себя прославленною и вознесенною? Но, возвышая душу чествуемого, юбилеи в то же время возвышают и души чествующих, ибо, чествуя чествуемого, мы тем самым ставим и себя на высоту высокостоящего и делаемся сопричастниками прославлению прославляемого. Итак, братие, потщимся и т. д.

После обедни состоялась и сходка. На нее, в качестве сторонников юбилея, явились Крамольников и Воссияющий, но тут же присутствовал и противник торжества, Дудочкин, по обыкновению своему восклицая:

— Неуч — наш народ! Свинья — наш народ!

Сходка, впрочем, шла довольно вяло, во-первых, потому что крестьяне не понимали самого предмета сходки, то есть слова «юбилей», а во-вторых, потому что, по-видимому, они даже и не интересовались понять его.

— Юбилей, господа, есть торжество, имеющее значение коммеморативное,— начал Крамольников.

— В воспоминание творимое,— пояснил Воссияющий.

— Ну, да, в воспоминание; и ежели, например, лицо даже крестьянского сословия известно своими добродетелями, или повиновением начальству, или исправною уплатою податей и повинностей...

— Или же усердно посещают церковь божию, творит добро ближнему, почитает божиих угодников,— добавил Воссияющий.

— Ну да, и угодников; и ежели он все это неослабеваючи выдерживает в течение известного периода времени...

— Периодом называется определенное число лет, например пятьдесят. Но не возбраняется праздновать юбилеи даже через пятьсот и через тысячу лет.

— Ну да; так вот ежели кто все вышесказанное в течение пятидесяти лет выдержал...

— И не возроптал...

— То сограждане этого человека устроивают в честь его торжество, чествуя, в лице этого человека, добродетель, труд и безнедоимочную уплату податей.

— «Торжество» — или, лучше сказать, трапезу; «сограждане» — или, лучше сказать, односельчане...

— Ну да, односельчане. Затем, господа, дело заключается в следующем: через два дня одному из ваших сограждан, или односельчан, почтеннейшему крестьянину Ипполиту Моисеевичу, исполнится шестьдесят восемь лет жизни. В этот самый день, будучи осьмнадцатилетним юношей, вступил он в законный брак с почтеннейшей супругой своей, Ариной Тимофеевной и тем самым возложил на плеча свои рабочее тягло.

В течение этих пятидесяти лет он ни разу не отступил от правил истинной крестьянской жизни и беспрекословно принимал все ее невзгоды. Всегда в трудах, всегда в поте лица добывая хлеб свой...

— И памятуя церковь божию...

— Он прокармливал семью свою, не щадя ни сил, ни крови своей...

— И ложе супружеское нескверно содержа...

— Никогда не задерживал податей, три раза сидел в остроге без законного повода, был истязуем и бит... одним словом, в совершенстве исполнил то назначение, которое в совете судеб предопределено для крестьянина...

— В чем я, как пастырь, всегда готов засвидетельствовать...

— Так вот, в этот-то достопамятный день пятидесятилетия, говорю я, не худо бы нам, собравшись за братской трапезой, от лица всего мира засвидетельствовать почтеннейшему Ипполиту Моисеевичу то уважение, которое мы все, и каждый из нас в особенности, питаем к его добродетели. По теплому нынешнему времени, трапезу эту, я полагаю, приличнее всего было бы устроить на вольном воздухе.

По окончании этой речи в толпе произошел смутный говор. Мужики недоумевали. Во-первых, им казалось странным, почему добродетельный мужик Мосеич, пятьдесят лет сряду работая без отдыха и самоотверженно платя казенные подати, всегда был в загоне, а теперь, когда он от старости уже утратил способность быть добродетельным, вдруг понадобилось воздавать ему какую-то честь. Во-вторых, они опасались, не было бы чего от начальства за то, что они будут на вольном воздухе добродетель чествовать.

— Нонче во всем от начальства притесненье пошло,— говорили одни,— книжку у прохожего для ребетенков купишь — сейчас в острог сажают! Никогда прежде этого не бывало!

— Да и не до праздников нам!..— говорили другие,— шестьдесят восемь лет Мосеичу — легко ли дело! Тягло с него снимут — вот и праздник! На печи будет лежать — пусть и празднует там!

Одним словом, дело непременно приняло бы неблагоприятный оборот, если бы Дудочкин, своим легкомысленным вмешательством, не поправил его. По своему обыкновению, он был груб и не дорожил словами.

— Не чествовать,— кричал он во все горло,— а пороть их надо! порррють!

Крестьяне смолкли и искоса поглядели на беснующегося писаря.

— Да; порроть! — не унимался он,— а вы думали что? Неуч — народ! Свиньи — народ! Нашли кого чествовать!

Мужики обиделись окончательно.

— Ты чего, ворона, каркаешь? — обратились к писарю некоторые смельчаки.

— Порррить, говорю! ничего вам другого не надобно!

— А мы разве за то тебе жалованье платим, чтоб ты нас свиньями обзывал?

— Жалованье я не от вас, а из конторы получаю; не ваше это жалованье, а мое заслуженное. А что вы свиньи — это всякий скажет! И начальство вас так разумеет... да!

— То-то «да»! Дàкало нашелся! вот мы тебе жалованье-то прекратим — и посмотрим тогда, как ты будешь дакать да в кулак свистать!

— Так вас и спросили! «Жалованье прекратим»! Ах, испугали! Сдерут, голубчики! не посмотрят!

— Православные! да что ж он над нами куражится! Ах ты, собачий огрызок! Нѐлюди мы, что ли, в самом деле?

Общественное мнение вдруг сделало крутой поворот. Предложение Крамольникова и Воссияющего, которое готово было зачахнуть, совсем неожиданно получило все шансы успеха.

Воспользовавшись колебаниями, вызванными писарем, из толпы выскочил «ловкий человек» (впоследствии он был привлечен к делу, как пособник) и сразу сорвал сходку.

— Православные! — крикнул он,— что на крапивное семя глядеть! согласны, что ли?

— Что ж, коли ежели Мосеич два ведра выставит...— пошутил кто-то.

Но на этот раз шутка не имела успеха. Под влиянием горькой обиды, нанесенной писарем, мужички раскуражились. Даже умудренные опытом старики — и те, обратясь к Дудочкину, сказали: тебе бы, прохвосту, надобно нас на добро научать — ан ты, вместо того, что́ сделал? — только мир взбунтовал!

И несмотря ни на какие противодействия и угрозы писаря, сходка определила: предложение Крамольникова принять, но с тем, чтоб в трапезе он лично принял участие вместе с священником, а в случае чего, был за всех в ответе, как смутитель и бунтовщик.

— Праздновать так праздновать — хуже мы, что ли, людей! — говорили мужички,— только уж ежели что, вы нас, господа, не оставьте! Мосеич! милости просим! Просим, почтенный!

Мосеич прослезился и отвечал, что он от мира не прочь.

— Что мир прикажет, я все исполнить должòн,— сказал он,— и ежели, например, мир велит...

— Ну, ладно, ладно! чего еще канитель тянуть! Раскошеливайтесь, господа! Покуда еще что будет, а выпить смерть хочется! — крикнул кто-то.

Через минуту послышалось звяканье медяков, а через две — бойкий кабатчик, со штофом в одной руке и стаканом в другой, уже порхал между рядами крестьян и поздравлял сходку с благополучным решением дела.

Крамольников и Воссияющий шли со сходки по направлению к поповской усадьбе. Первый был задумчив и как будто даже недоволен.

— Подгадили-таки под конец! — сказал он печально,— ну, что бы, кажется, отнестись к почину великого дела крестьянского самоуважения трезвенно, с достоинством, благородно? Нет, нужно же ведь было об этой проклятой водке вспомнить!

— Да, таки не забыли,— усмехнулся Воссияющий.

— Так это горько! так это горько, батюшка! за прогресс в отчаяние прийти можно!

— Ну, бог милостив. И всегда первую песенку зардевшись поют! Какое дело в начале не прихрамывает!

— Нет, батюшка, если они уж теперь ведро потребовали, то что же пятнадцатого июля будет?

— Никто как бог! загадывать вперед нечего, а вот об чем подумать, да и подумать надо: как бы и в самом деле Дудочкин не донес, что мы превратными толкованиями народ смущаем!

Крамольников как-то подозрительно и в то же время грустно взглянул на Воссияющего.

— Ослабеваете, батюшка? — спросил он слегка взволнованным голосом.

— Ослабевать не ослабеваю, а из-за пустяков тоже... Попадью жалко, Иона Васильич!

Подозрения, высказанные Воссияющим относительно Дудочкина, дают новый полет моей сонной фантазии. Она незаметно переносит меня на край села Бескормицына, в небольшую, но довольно опрятную избу, в которой, судя по отсутствию двора и хозяйственных пристроек, должен жить одинокий человек. И действительно, здесь, в узенькой горнице, за столом, закапанным каплями чернил и сала, при слабом мерцании нагоревшей свечи, сидит волостной писарь Дудочкин.

Увы, он не выдержал и строчит в эту минуту такого сорта бумагу:

«Г-ну приставу 2 стана NN уезда. Волостного писаря Бескормицынской волости, Асафа Иванова Дудочкина доношение.

Случилось сего числа в нашем селе Бескормицыне происшествие, или лучше сказать, образ мыслей, имеющий свойство подозрительное и даже политическое. Села сего учитель школы, Иона Васильев Крамольников, и священник Стефан Матвеев Воссияющий, и прежде сего замеченные мною в приватных толкованиях, возымели намерение совратить в свою пагубу и некоторых из здешних крестьян. А именно: кроме установленных правительством воскресных и табельных дней, дерзостно придумали ввести еще праздновать добродетели и другим мужицким якобы качествам. Для чего избрали крестьянина здешнего села, Ипполита Моисеева Голопятова, в лице которого добродетель будто бы преимущественное действие свое оказала. И хотя, на предложение означенных Крамольникова и Воссияющего присоединиться к их образу мыслей, я формально отозвался, и даже им с приказательностью советовал от сего отстраниться и жить тихо, согласно с правилами, правительством в разное время изданными, но они в намерении своем остались непреклонными и только просили о сем вашему благородию не доносить. Я же от исполнения таковой их просьбы воздержался. И затем, собрав оные лица в селе нашем, сего числа, самовольную сходку из наиболее буйных и известных закоренелостью крестьян, делали им о той добродетели явное предложение, причем не было ли намерения к поношению предержащих властей, как и был уже подобный случай в газетах описан, что якобы некто, мывшись в бане с переодетым, или, лучше сказать, раздетым жандармом, начал при оном правительство хулить и получил за сие законное возмездие. Каковое предложение о добродетели и прочих мужицких свойствах сходка приняла с благосклонностью, ассигновав на празднование два ведра вина, а съестное и хлеб каждый должен принести с собою по силе возможности. И 15-го сего июля должен быть у нас сей новый праздник, «добродетелью» называемый, и чем оный кончится и в чем будет состоять — того заранее определить нельзя. А как ваше высокородие строжайше изволили мне наказывать, чтоб в случае появления в нашей волости образа мыслей, немедленно о сем доносить, то сим оное и восполняю, опасаясь, как бы от праздников сих не произошло в нашем селе расколов и тому подобных бесчинств, как уже и был тому пример в прошлом году, когда солдатка показывала простое гусиное перо, уверяя, что оно есть то самое, которым подлинная воля подписана, и тем положила основание новой секте, «пёрушниками»

называемой. И мое мнение таково, чтоб мужикам потачки не давать, но дабы они впоследствии не могли отговориться невинностью, то дать им покуражиться и весь упомянутый образ мыслей выполнить, а потом и накрыть с поличным по надлежащему.

Волостной писарь *Асаф Иванов Дудочкин»*.

Сон продолжается...

Полдень. В затишье, на огороде избы богатого бескормицынского крестьянина, Василия Егорова Бодрова, расставлено несколько столов, за которыми сидит человек до тридцати домохозяев, чествующих своего односельца Ипполита Моисеича Голопятова. Голопятов президенствует; по правую руку его сидит Крамольников, по левую — сельский староста Иван Матвеев Лобачев, напротив — хозяин дома и сотский. Воссияющий воздержался; он явился к началу трапезы, благословил яствие и питие и удалился под предлогом, что не подобает пастыреви вмешиваться в дела мира сего (впоследствии, когда началось дело о злоумышленниках он, по священству, так и показал следователю, что пустяшных мыслей о чествовании добродетели никогда не имел и между крестьянами не распространял, а что, ежели говаривал, что святых угодников не чтить — значит бога не любить,— то в этом виновен).

Мужички чинно хлебают из поставленных перед ними чашек. Хлебают и, в то же время, оглядываются и прислушиваются. Виновник торжества, словно бы перед причастием, надел синий праздничный кафтан и чистую белую рубашку; прочие участники тоже в праздничных одеждах. Неподалеку от пирующих, у соседней анбарушки, собрались старухи крестьянки и гуторят между собой; из-за огородного плетня выглядывает толпа ребятишек, болтающих в воздухе рукавами; с улицы доносится звон хороводной песни.

Долгое время молчание царствует за столами, как будто над сотрапезниками тяготеет смутное опасение. Уклончивость Воссияющего всеми замечена, и многие видят в ней недобрый знак. К великой собственной досаде, и Крамольников не может свергнуть с себя иго неловкого безмолвия, сковавшего уста и умы присутствующих. Он было приготовил целую речь, но думает, что в начале трапезы произнести ее еще преждевременно. Надо сначала завести простую крестьянскую беседу, и Крамольников знает, что достигнуть этого очень легко: стоит только пустить в ход подходящее слово, но этого-то именно слова он и не находит. Наконец, однако ж, он убеждается, что долее ждать невозможно.

— Жать, Василий Егорыч, начали? — обращается он к хозяину огорода таким тоном, словно бы ему клещами давили горло.

— Мы-то вчерась зажали, а другие хотят еще погодить,— отвечает Василий Егорыч, не без гордости оглядывая собравшихся.

— Чего ж бы, кажется, годить! На дворе жары стоят — самая бы пора за жнитво приниматься!

— С силами, значит, не собрались, Иона Васильич. У кого силы побольше, тот вперед ушел; у кого поменьше силы — тот позади остался.

— Это, ваше здоровье, так точно,— подтверждает и староста,— коли ежели у кого сила есть, у того и в поле, и дома — везде исправно. Ну, а без силы ничего не поделаешь.

— Что без силы поделаешь! — отзывается сотский.

— А вы, Ипполит Моисеич, как? скоро ли думаете начать жать? — втягивает Крамольников в беседу виновника торжества.

— Надо бы, сударь,— скромно отвечает Моисеич,— вчерась в поле ходили: самая бы пора жать!

— У нас же, ваше здоровье, рожь сыпкая, слабкая. День ты ее перепусти, ан, глядишь, третье зерно на полосе осталось,— объясняет Василий Егорыч, еще гордее оглядывая присутствующих и как бы говоря им: зевайте, вороны! вот я ужо, как у вас весь хлеб выйдет, с вас же за четверик два возьму!

— Не пойму я тут вот чего,— недоумевает Крамольников,— вы ведь землю-то по тяглам берете; сколько у кого тягол в семье, столько тот и земли берет — стало быть, по-настоящему, сила-то у каждого должна быть ровная.

— То-то, что не ровная: у одного, значит, одна сила, а у других — другая.

— Это так точно,— подтверждает староста.

— Воля ваша, а я это не понимаю.

— А в том тут и причина, что у меня, значит, помочью вчера жали. Купил я, например, мужикам вина, бабам пива — ко мне всякий мужик с радостью бабу пришлет. Ну, а как у другого силы нет — и на́ помочь к нему идти не весело. Он бы и рад в свое время работу сработать — ан у него других делов по горло. Покуда с сеном вожжается, покуда что — рожь-то и утекает.

— Страсть, как утекает!

— Опять и то: теперича, коли ежели я в засилие вошел — я за целое лето из дому не шелохнусь. А другой, у которого силы нет, тот раза два в неделе-то в город съездит. Высушит сенца, навьет возок и едет. Потому, у него дома есть нечего. Смотришь — ан два дня из недели и вон!

В рядах пирующих проносится глубокий вздох.

— Так-то, ваше здоровье, и об земле сказать надо: одному она в пользу, а другой ею отягощается. У меня вот в семье только два работника числится, а я земли на десять душ беру: пользу вижу. А у Мосеича пять душ, а он всего на две души земли берет.

Крамольников вопросительно взглядывает на виновника торжества.

— Действительно...— скромно подтверждает последний.

— Странно! ведь ему бы, кажется, еще легче с малым-то количеством справиться?

— То-то, сударь, порядков вы наших не знаете. Коли настоящей силы нет — ему и с огородом одним не управиться. Народу у него числится много, а загляни к нему в избу — ан нет никого. Старый да малый. Тот на фабрику ушел, другой в извозчиках в Москве живет, третьего с подводой сотский выгнал, четвертый на помочь, хошь бы примерно ко мне, ушел. Свое-то дело и упадает. Надо бы ему еще вчера свою рожь жать, ан глядишь — его бабы у меня зажинали.

— Зачем же они на стороне работают, коли у них и своя работа не ждет?

— Опять-таки, ваше здоровье, вся причина, что вы наших порядков не знаете.

Так-таки на том и утвердились: не знаете наших порядков — и дело с концом.

Беседа на минуту упадает; но на этот раз уже сам Василий Егорыч возобновляет ее.

— А я вот об чем, ваше здоровье, думаю,— обращается он к Крамольникову,— какая тут есть причина, что батюшка к нам не пришел?

— Право, не знаю,— нерешительно отвечал Крамольников.

— А я полагаю: не к добру это! Сам первым затейщиком был, да сам же и на попятный двор, как до дела дошло. Не знаю, как вашему здоровью покажется, а по-моему, значит, неверный он человек.

— Признаться сказать,— вступается староста,— и я вчерась к батюшке за советом ходил: как, мол, собираться или не собираться завтра мужикам?

— Ну?

— Чего! и руками замахал: «Не знаю, говорит, ничего я не знаю! и что ты ко мне пристал!» Сказано, неверный человек — неверный и есть!

Крамольников потупился: поступок Воссияющего горьким упреком падает на его сердце.

— Он у нас, ваше здоровье, и до воли самый неверный человек был! — говорит кто-то из толпы,— признаться, напоследях-то мы не в миру с помещиком жили. Вот и пойдут, бывало, крестьяне к батюшке: как, мол, батюшка, следует ли теперича крестьянам на барщину ходить? ну, он и скосит это глазами, словно как и не следует. А через час времени — глядим, он уж у помещика очутился, уж с ним шуры да муры завел.

— Так уж ты смотри, Иона Васильич! — предупреждал Василий Егорыч,— коли какой грех — ты в ответе!

— Да чего вы боитесь? что мы, наконец, делаем? — пробует ободрить присутствующих Крамольников.

— Ничего мы не делаем; так промежду себя собрались; а все-таки, какова пора ни мера, нас ведь не погладят.

— За что же?

— А здорово живешь — вот за что! Никогда, мол, таких делов не бывало — вот за что! Мужику, мол, полагается, в своей избе праздники справлять, а тут ну-тка... вот за что! Писаренок вот тоже: давеча, от обедни шедши, я с ним встретился — и не глядит, рыло воротит! Стало быть, и у него на совести что ни на есть нечистое завелось!

В это время на улице раздается свист.

— А ведь это он, это писаренок посвистывает! Гляньте-ко, ребята, не едет ли по дороге кто-нибудь?

— Чего глядеть! Я на колокольню Минайку сторожа поставил: чуть что, говорю, сейчас, Минайка, беги! — успокоивает общество староста.

— Так ты уж сделай милость, Иона Васильич! просим тебя: как ежели что, так ты и выходи вперед: я, мол, один в ответе!

Крамольникову делается грустно, и слова Воссияющего «не сто̀ит из-за пустяков» невольно приходят ему на мысль. Но он еще бодрится, и даже самое негодование, возбуждаемое маловерием крестьян, проливает какую-то храбрость в его сердце.

— Сказал, что один за всех в ответе буду — и буду в ответе! — говорит он твердым и уверенным голосом,— и не боюсь! никого я не боюсь, потому что и бояться мне нечего.

— А если ты не боишься — так и слава богу! И мы не боимся — нам что! Когда ты один в ответе — стало быть, мы у тебя все одно как у Христа за пазушкой!

Крестьяне успокоиваются и словно бодрее принимаются за ложки. На столах появляется вторая перемена хлёбова и по стакану вина. Крамольников подмигивает одним глазом Василию Егорычу, который встает.

— Ну, Мосеич, будь здоров! — провозглашает он,— пятьдесят лет для бога и для людей старался, постарайся и еще столько же!

— Мосеичу! Палиту Мосеичу! — раздается со всех сторон,— пятьдесят лет здравствовать!

Виновник торжества видимо взволнован, хотя и старается казаться спокойным. Бледное старческое лицо его кажется еще бледнее и словно чище: он тоже встает и на все стороны кланяется.

— Благодарим на ласковом слове, православные! — произносит он слегка дрожащим голосом,— а чтоб еще пятьдесят лет маяться — от этого уже увольте!

— Нет, нет, нет! Пятьдесят лет да еще с хвостиком! — настаивают пирующие.

Здесь бы собственно и сказать Крамольникову приготовленную речь, но он рассчитывает, что времени впереди еще много, и потому решается предварительно проэкзаменовать юбиляра. С этою целью он делает ему точь-в-точь такой же допрос, какой ловкий прокурор обыкновенно делает на суде подсудимому, которого он, в интересах казны, желает подкузьмить.

— А что, Ипполит Моисеич,— говорит он,— много-таки, я полагаю, вы на своем веку видов видели?

— Всего, сударь, было,— просто и скромно отвечает юбиляр.

— Он у нас и в огне не горит, и в воде не тонет! — подсмеивается староста.

— Как и все, Иван Михайлыч.

— Ну-с, а скажите, правду ли говорят, что вы несколько раз замерзали? — продолжает Крамольников.

— Было, сударь, и это.

— А скажите, пожалуйста, какое это чувство, когда замерзаешь?

— То есть как это «чувство»?

— Ну, да, что̀ вы чувствовали, когда с вами это случилось?

— Что чувствовать? Поначалу зябко, а потом — ничего. Словно бы в сон вдарит. После хуже, как оттаивать начнут. Я в Москве два месяца в больнице пролежал — вот и пальца одного нет.

Он поднимает правую руку, на которой, действительно, вместо третьего пальца, оказывается дыра.

— Как же вы работаете с такой рукой? ведь, я думаю, неспособно?

— Приспособился, сударь.

— Нам, ваше здоровье, нельзя не работать,— вставляет свое слово Василий Егорыч,— другого и всего болесть изломает, а все ему не работать нельзя.

— Мы на работе, сударь, лечимся,— отзывается какой-то мужичок из толпы,— у меня намеднись совсем поясница отнялась; встал это утром — что за чудо! согнусь — разогнуться не могу; разогнусь — согнуться невмочь. Взял косу да отмахал ею четыре часа сряду — и болезнь как рукой сняло!

— Да и работы по нашему хозяйству довольно всякой найдется,— поясняет староста,— ежели одну работу работать неспособно — другая есть. Косить не можешь — сено с бабами вороши; пахать нельзя — боронить ступай. Работа завсегда есть.

— Как не быть работе! — откликаются со всех сторон.

— А вот, говорят, что вы однажды чуть не утонули,— вновь допрашивает Крамольников: — Что вы при этом чувствовали?

— Тоже в сон вдаряет,— отвечал юбиляр,— сначала барахтаешься в воде, выпрыгнуть хочешь, а потом ослабнешь. Покажется мягко таково. Только круги зеленые в глазах — неловко словно.

— По какому же случаю вы тонули?

— С подводой в ту пору гоняли. Под солдат, солдаты шли. Дело-то осенью было, паводок случился, не остерегся, стало быть.

— Ну, а пожары у вас в доме бывали?

— Бывали, сударь. Раз десяток пришлось-таки власть божью видеть.

— У него, ваше здоровье, даже сын в пожар сгорел,— припоминает кто-то из толпы.

— И какой мальчишка был шустрый! Кормилец был бы теперь! — отзывается другой голос.

— Как же это так? Неужто спасти не могли?

— Ночью, сударь, пожар-то случился, а меня дома не было, в Москву ездил...

— Прибегают, это, мужички на пожар,— говорит староста,— а он, сердечный, мальчишечко-то, стоит в окне, в самом значит, в полыме... Мы ему кричим: спрыгни, милый, спрыгни! а он только ручонками рубашонку раздувает!

— Не смыслил еще, значит.

— И вдруг это закружился...

При этом рассказе Мосеич встает и набожно крестится. Губы его что-то шепчут. Все присутствующие вздыхают, так что на минуту торжество грозит принять печальный характер. К счастию, Крамольников, помня, что ему предстоит еще кой

о чем допросить юбиляра, не дает окрепнуть печальному настроению.

— А вот в тюрьме вы за что были? — спрашивает он.

— Так, сударь, богу угодно было.

— Мы ведь в старину-то бунтовщики были,— поясняет Василий Егорыч,— с помещиками всё воевали. Ну, а он, как в своей-то поре был, горячий тоже мужик был. Иной бы раз и позади людей схорониться нужно, а он вперед да вперед. И на поселение сколько раз его ссылать хотели — да от этого бог, однако, миловал.

— Не допустил царь небесный на чужой стороне помереть!

— А беспременно бы его сослали,— договаривает староста,— коли бы ежели сами господа в нем нужды не видели.

— Вот что!

— Именно так. Лесником он у нас в вотчине служил. Леса у нас здесь, надо прямо сказать, большущие были, а он каждый куст знал, и чтоб срубить что-нибудь в барском лесу без спросу — и ни-ни! Прута унести не даст! Вот господам-то и жалко. Пробовали было, и не раз, его сменять, да не в пользу. Как только проведают мужики, что Мосеича нет,— смотришь, ан на другой день и порубка!

— Ну-с, а помещики... хорошо с вами обращались? — продолжает допрашивать Крамольников.

— Бывало... всякое...— отвечает юбиляр уже усталым голосом. Очевидно, что если бы не невозмутимое природное благодушие, он давно бы крикнул своему собеседнику: отстань!

— У нас, ваше здоровье, хорошие помещики были: шесть дней в неделю на барщине, а остальные на себя: хошь — гуляй, хошь — работай! — шутит староста.

— А последний помещик у нас Василий Порфирыч Птицын был, от которого мы уж и на волю вышли,— говорит Василий Егорыч,— так тот, бывало, по ночам у крестьян капусту с огородов воровал! И чудород ведь! Бывало, подкараулишь его: хорошо ли, мол, вы, Василий Порфирыч, этак-то делаете? Ну, он ничего, словно с гуся вода: что̀ ты! что ты! говорит, ничего я не делаю, я только так... И сейчас это марш назад, и даже кочни, ежели которые срезал, отдаст!

— Болезнь, стало быть, у него такая была! — отзывается кто-то.

— Ну-с, Ипполит Моисеич, а расскажите-ка нам теперь, как вы женились? — как-то особенно дружелюбно вопрошает Крамольников и даже похлопывает юбиляра по коленке.

— Что же «женился»?! Женился — и всё тут!

— Нет, уж вы по порядку нам расскажите: как вы склонность к вашей нынешней супруге получили, или, быть может, ваш брак состоялся не по любви, а под влиянием каких-либо принудительных мер? Знаете, ведь в прежнее время помещики...

— Года вышли; на тягло надо было сажать... Известно — жених.

— Нет, вы уж, сделайте одолжение, по порядку расскажите!

— Года вышли — ну, староста пришел. У Тимофея, говорит, дочь-девка есть.— Ну — женился.

— У нас, ваше здоровье, не спрашивали, люба или не люба девка. Тягло чтоб было — и весь разговор тут! — объясняет староста.

— Так-с, а подати и оброки вы всегда исправно платили?

— Завсегда... ни единой, то есть, полушки... И барщина, и оброк... как есть! — отвечает юбиляр и словно даже приходит в волнение при этом воспоминании.

— И, вероятно, тяжелым трудом доставали вы эти деньги?

Юбиляр молчит. Ясно, что его уже настолько задели за живое, что ему делается противно. Но староста оказывается словоохотливее и, по мере разумения своего, удовлетворяет любознательности Крамольникова.

— Это насчет тягостей, что ли, ваше здоровье, спрашиваете? — говорит он,— и не приведи бог! Каторжная наша жизнь — вот что! Вынь да положь — вот какая у нас жизнь! А откуда вынь — никому это, значит, не любопытно. Прошлый год я целую зиму сено в Москву возил: у помещиков здесь по разноте скупал, а в Москве продавал. И боже ты мой! сколько я тут мученья принял! Едешь, этта, тридцать верст целую ночь, и стыть-то, и глаза-то тебе слепит, и ветром лицо жжет — смерть! Ну, целковый-рупь выгадаешь, привезешь из Москвы. А вашему здоровью со стороны-то, чай, кажется: вот, мол, мужичок около возочка погуливает!

— Ну, нет, мне... я ведь и сам...

— Знаем, что не дворянской крови, а все-таки... вы из приказных, что ли?

— Отец мой был канцелярским служителем... и тоже...

— Тоже, чай, по кабакам мужикам просьбы писал — что ему? В кабаке свѐтло, тёпло... Сидит да пером поскребывает! Ну, а наше дело почище будет! И ведь чудо это! Маемся мы маемся, а всё как будто гуляем!

— Наша должность такая, что всё мы на вольном воздухе,— скромно поясняет юбиляр,— оттого и кажется, будто гуляем.

— Косим — гуляем, сено ворошим — гуляем, пашем — гуляем! — отзывается кто-то.

— А ты сочти, сколько верст хоть бы на пашне этого гулянья на наш пай достанется. В летний день мужику, это бедно, полдесятины вспахать нужно. Сколько это, по-твоему, верст будет?

— Да верст двадцать с лишком.

— Ты вот двадцать-то верст в день порожнем по гладкой дороге пройдешь, и то запыхаешься, а тут по пашне иди, да еще наляг на̀ соху-то, потому она неравно̀ выбьется!

Мужики смолкли, словно призадумались. Крамольников тоже облокачивается рукой об стол и ерошит себе волосы. Он чувствует, что теперь самое время произнести юбилейную речь.

— Неприглядное ваше житье, господа! — говорит он.

— Какого еще житья хуже надо!

Крамольников встает, держа в руке стакан с вином. Он, видимо, взволнован; лицо бледно, плечи вздрагивают, руки трясутся, волосы стоят почти дыбом.

— Господа! — говорит он, задыхаясь,— пью за здоровье почтенного, изнуренного, но все еще не забитого и бодрого русского крестьянства! Да, неприглядное, горькое ваше житье, господа! Вы слышали сейчас показания почтенного юбиляра, вы слышали свидетельство и других, не менее почтенных и сведущих лиц,— и из всех этих показаний и свидетельств явствует одно: горькое, трудное житье русского крестьянина! Можно сказать даже больше: его жизнь полна таких опасностей, которые неизвестны никакому другому сословию. Чтобы убедиться в этом, проследим судьбу его с самого начала. Он родится, и с первых минут своей жизни уже составляет не радость и утешение, но бремя для своих родителей! Да, бремя, ибо ежели впоследствии те же родители будут иметь в народившемся малютке кормильца и поддержку их старости, то вначале они видят в нем только лишний рот и обременительную заботу, отвлекающую от выполнения главной задачи их жизни: поддержки того бедного существования, которое, так или иначе, они обязываются нести. Ребенок беспомощен; он требует ухода и попечений; но какой же уход может дать ему его бедная мать? Согбенная под лучами палящего солнца, она надрывает свои силы над скудною полосою ржи; покрытая перлами пота, она ворошит сено и помогает достойному своему мужу навить его на воз; она встает с зарею и для всей семьи приготовляет скудную трапезу; она едет в лес за дровами, в луг за сеном, задает корм скотине, убирает ее... И все это время ребенок остается без призора, мокрый, без пищи, ибо можно ли назвать пищею прокислую соску, которую суют ему в рот, чтоб он только не

кричал? Упоминать ли о болезнях, которые, вследствие всего этого, так часто поражают крестьянских детей? Удивляться ли смертности, необходимой спутнице этих болезней? Круп, скарлатина, оспа, головная водянка — все бичи человечества стерегут злосчастных малюток и нередко похищают у жизни целые поколения!.. Нет, не болезням, не смертности нужно удивляться, а тому, что еще находятся отдельные единицы, которые, по счастливой случайности, остаются жить. Жить — для чего? Для того, господа, чтоб и дальнейшее их существование продолжало быть искупительною жертвою, приносимою на алтарь отечества! Проходит год, два, три, крестьянский малютка настолько вырос, что может уже стоять на ногах и лепетать кой-какие слова. Какие попечения окружают его в этом нежном и опасном возрасте? Мне больно, господа, но я должен сказать, что ничего похожего на уход тут не существует. Та нужда, которая с раннего утра выгоняет из дома родителей ребенка, косвенным, но очень решительным образом отражается и на нем самом. Он делается, так сказать, гражданином деревенской улицы, товарищем птиц и зверей, которые бродят по ней, настолько же лишенные призора, насколько лишен его и крестьянский малютка. Сообразите, сколько опасностей ожидает его тут? Хищный волк, бешеная собака, прожорливая свинья — всё находит его беззащитным, всё угрожает ему безвременной смертью! Еще на днях у нас был такой случай, что петух выклюнул глаз у крестьянской девочки. Где, спрашиваю я, в каком сословии может случиться что-нибудь подобное? Но крестьянский малютка живуч; он бодро идет вперед по усеянной терннем жизненной тропе и посмеивается над жалом смерти, везде его преследующим, везде готовым его настигнуть. Поднявши рубашонку, шлепая по грязи или возясь с непокрытой головой в дорожной пыли под лучами палящего солнца, он растет... Я хотел бы сказать, что он растет, как крапива у забора, но, право, и это было бы слишком роскошно для него, ибо едва ли найдется в целой природе такой злак, которого возрастание могло бы быть приведено здесь, как мерило для сравнения. Тем не менее, он растет и крепнет, и восьми лет делается уже небесполезным членом своей семьи. Он помогает родителям в более легких работах, он пестует своих малолетних сестер и братьев, наконец, в некоторых случаях, он даже приносит семье известный заработок. Этот заработок — святой, господа! Вы, вероятно, слыхали от священника вашего о лепте вдовицы и, конечно, умилялись над рассказом об ней! Но сообразите, во сколько раз святее и умилительнее эта другая лепта, которую я назову лептою русского крестьянского малютки? Древле Авраам, по

слову господню, готовился принести в жертву сына своего Исаака, и ангел господень остановил руку его. Русское крестьянство каждый день приносит эту жертву, и увы! останавливающий руку ангел не прилетает к нему! Древле пророк, оплакивая судьбы святого города, восклицал в смятении души своей: да будет забвенна рука моя, аще забуду тебя, Иерусалиме! Ныне я, как учитель детей крестьянских, проведший сладчайшие минуты жизни своей в общении с ними, во всеуслышание восклицаю: дети! русские дети! Да будет забвенна десница моя, ежели забуду часы, проведенные с вами! Господа! пью за здоровье крестьянских русских детей!

Голос Крамольникова прервался; он был до того взволнован, что едва держался на ногах. Старушки, приблизившиеся к пирующим, чтоб послушать, что̀ учитель гуторит, стояли пригорюнившись, а некоторые и прослезились. Мужики говорили: ну, вот, и спасибо тебе, ваше здоровье, что ребятишек наших вспомнил! Через несколько минут, однако ж, Крамольников настолько успокоился, что мог продолжать.

— Я не буду представлять вам здесь, господа,— сказал он,— полную картину перехода русского крестьянского ребенка от ребячества к юношеству. Это заняло бы у нас слишком много времени, недостаток которого заставляет меня останавливаться лишь на самых характеристических подробностях предмета, нас занимающего. Итак, перейдем прямо к крестьянину-юноше, и прежде всего займемся судьбой русской крестьянки. Признаюсь откровенно, мое сердце сжимается при одном имени русской крестьянки, и сжимается тем больше, что часть тех тяжелых вериг, которые выпали на долю ее, идет от вас самих, господа. Я знаю, что в этом факте не столько виноваты вы сами, сколько ваше горе, ваша нужда, но я знаю также, что одинаковость горя и равная степень нужды должны бы послужить поводом для круговой поруки несчастия, а не для притеснения одних несчастных посредством других. Пора бы подумать об этом, господа. Пора сказать себе: мы несчастны, следовательно, наша обязанность подать друг другу руку, а не раздирать друг друга. Нет ничего безотраднее, даже беспримернее существования русской крестьянки. Начать с того, что у нее почти нет девичества. То, о чем поется в песнях под именем девической воли, продолжается не более нескольких месяцев, то есть от конца летней страды до январского мясоеда, в котором обыкновенно венчаются крестьянские свадьбы. Летом — она была отроковица, зимою — она уже жена и работница. Да, именно работница, и останется ею во всю жизнь, ибо только немногим русским крестьянкам удается ценою долголетнего искуса страданий ку-

пить себе в старости почтенное положение главы дома. Мало радостей у крестьянина, а у нее и совсем нет их. Крестьянин все-таки отлучается на заработки, следовательно, видит свет божий, чувствует себя действующим и ответственным лицом. Крестьянка — на всю жизнь прикована к семье, на всю жизнь осуждена на безответность. Сознайтесь, господа, что ваше обращение с женами и матерями потому только не заслуживает названия жестокого, что оно слишком уже вошло в нравы. А между тем, не будь в домах ваших этих вековых печальниц, этих неутомимых охранительниц бедного крестьянского двора — вы не имели бы даже и тех скудных жизненных удобств, которыми пользуетесь теперь. Ежели жилища ваши имеют вид человеческих жилищ, если в них светло и тепло, то и этот свет, и эта теплота исходят исключительно от нее, от этой загубленной русской женщины, об которой недаром русская песня поет:

День — денная ты печальница,
Ночь — ночная богомолица!
Вековечная сухотница.

Если вы не умираете с голоду, ежели видите дворы свои нерасхищенными, ежели не пропадают, как ничтожное былие, ваши дети — этим вы обязаны всё той же вековечной сухотнице! История отметила много видов геройства и самоотверженности, но забыла об одном: о геройстве и самоотверженности русской крестьянской женщины. Это — скромное беспримерное геройство, никогда не прекращающееся, не ослабевающее: ни при первом крике петела, ни при третьем. Это геройство, замкнутое в тесных пределах крестьянского двора, но всегда стоящее на страже и готовое встретить врага. Не забудьте, что женщина, по самой природе своей,— существо слабое, существо, обреченное на болезни; но русская крестьянка, в этом случае, составляет как бы исключение: для нее не существует ни болезней, ни слабости, не потому, чтоб она их не чувствовала, но потому, что она *не имеет права* чувствовать. Я сейчас упоминал о случае, когда петух выклюнул глаз девочки Матреши. В это время мать ее, Надежда Петровна, была в лесу, верст за пять, и рубила дрова. Изнуренная тяжелой работой, тем не менее она бегом пробежала эти пять верст, и никто даже не удивился этому подвигу, ибо всякий понимал, что именно так должна была поступить русская крестьянка. Я не говорю о том, что ваши женщины суть устроительницы домов ваших, что работы, которые они несут, немногим легче тех, которые вы сами несете, но есть одно обстоятельство, еще более горькое, более безотрадное. Они раз-

делают все тяготы ваши, все неудачи, невзгоды и несчастия — и никогда не делят ваших радостей или удовольствий. Вы имеете хоть какие-нибудь внесемейные интересы, вы встречаетесь с новыми людьми, с новою обстановкой, вы, наконец, как я уже сказал раз, можете, за ваш личный страх, бороться с невзгодой. Крестьянка лишена всех этих преимуществ. Она даже бороться не может, а может только втихомолку проливать слезы. В продолжение всей ее жизни у нее постоянно что-нибудь да отнимают. Замужество отнимает у нее мать и отца, заработки — мужа, рекрутчина — сына, совершеннолетие дочери — дочь. И на все эти притязания слепой судьбы она может ответить только слезами! Кто видит эти слезы? Кто слышит, как они льются капля по капле, подтачивая драгоценнейшее человеческое существование? Их видит и слышит только русский крестьянский малютка, но в нем они оживляют нравственное чувство и полагают в его сердце первые семена любви и добра. Школа материнских слез — добрая школа, господа, и не утратит веры в свою силу тот, кто воспитался в этой школе. Но вы, господа,— я обращусь теперь уже к вам,— вы, главы крестьянских семейств, что̀ дали вы вашим женам и матерям, взамен их самоотверженности и любви? Видели ли вы их слезы, знаете ли об них? Я знаю, вы настолько совестливы, что не нужно даже ждать вашего ответа на мой вопрос: этот ответ, наверное, осудит вас. По этому поводу позвольте мне еще раз возвратиться к уже высказанной мною прежде мысли. Господа! вас ожесточает горе и вечно преследующая нужда, и, конечно, это в значительной степени облегчает вашу вину, но знайте, что, в кругу одинаково несчастных людей, горе и нужда должны быть сплачивающим звеном, а не семенем раздора. Иначе самое существование сделается невозможным, и исчезнет всякая надежда на лучшее будущее. Вникните пристальнее в слова мои, проверьте их судом собственной совести, и вы, наверное, сами придете к тому, что относительная слабость женщины должна вызывать не презрение к ней, а ласку и покровительство. Вот почему я пользуюсь этою братскою трапезой, чтоб возгласить тост за улучшение участи русской крестьянской женщины, охранительницы, устроительницы русской крестьянской семьи! Ура!

Громкое «ура» отвечает на вызов Крамольникова. Несмотря на некоторую витиеватость его речи, крестьяне поняли сущность ее. А крестьянки даже весело улыбались и громко выражали свое удовольствие учителю за урок, данный мужьям и сыновьям. Ободренный успехом, Крамольников продолжал:

— Теперь приступаю к главному предмету моей беседы с вами — к русскому крестьянину. Из объяснений почтенного вашего односельца, которого мы ныне вкупе чествуем, вы сами видите, сколько он поднял трудов и скольким подвергался опасностям. Увы! этот пример не единственный и не исключительный: вы все находитесь в том же положении, как и почтеннейший Ипполит Моисеич. Я не говорю уже о крепостном праве, порождавшем помещиков, которые, злоупотребляя своим положением, требовали от крестьян шестидневной изнурительной барщины, для которых телесное наказание было обычною формой отношений к крестьянину, которые, наконец, доходили до такого малодушия, что по ночам воровали из крестьянских огородов овощи. Крепостное право умерло и больше не возвратится. Но даже и теперь, когда, по манию державного освободителя, цепи рабства спали с вас, освободились ли вы от тех тягостей и опасностей, которые на каждом шагу осаждают существование русского крестьянина? Из слов Ипполита Моисеича видно, что он не раз был на один волос от смерти: он замерзал и тонул. Своей ли охотой и для своих ли дел он рисковал в этих случаях жизнью? Нет, он, конечно, предпочел бы остаться дома в тепле, чем тащиться с подводой в зимнюю вьюгу и в весеннюю ростепель. Нужда выгоняла его из домашнего тепла. Но этого мало: Ипполит Моисеич сравнительно даже немного рисковал, ибо, по самому роду своих занятий, он мог подвергаться только опасностям известного характера и притом хотя с трудом, но все-таки отвратимым. А есть занятия, которым предается всё то же почтенное крестьянское сословие и при которых риск жизнью составляет, так сказать, обыкновенную и почти неизбежную принадлежность. Стоит побывать летом в любом городе, чтоб увидеть штукатуров и маляров, висящих на воздухе в утлых садкàх, кровельщиков, ползающих по крышам четырехэтажных домов, каменщиков, стучащих молотом на необозримой высоте, носильщиков, взбирающихся с тяжелою ношей по выстроенным на живую нитку лесам. Стоит постранствовать по нашим деревням и болотам, чтоб увидеть землекопов, роющихся в недрах земли, торфяников, работающих по пояс в воде. Стоит посетить первую попавшуюся фабрику, чтобы увидеть целый муравейник людей, снующий между колесами машин, из которых каждое в одно мгновение может превратить человека в массу крови и мяса. Малейшая неловкость, ничтожнейшее неосторожное движение — и человек перестал существовать. Но этого мало, что он умирает: он не просто умирает, а умирает бесследно. Ибо это даже не человек: при жизни — это рабочая единица, часто неизвестная и по имени;

по смерти — это «мертвое тело». Выбыла рабочая сила из строя — не пройдет мгновения, как она уже заменена другою. Киньте камень в воду — пустое пространство, которое при этом образуется в массе воды, конечно, немедленно заплывает, но все-таки вы видите некоторое время на поверхности круг, который свидетельствует, что здесь нечто произошло. Смерть крестьянина, заработывающего свой хлеб и свои подати на чужбине, даже этого круга не оставляет по себе... Ни дел, ни памяти... Спрошу у всех честных людей: чье существование может сравниться с этим безмолвным геройством, наградой которому служит одно забвение? Нам часто приводят в пример жизнь солдата и те опасности, которыми она окружена. Я согласен, что существование солдата благородно и самоотверженно, но, клянусь, на каждую пожертвованную солдатскую жизнь приходится, по малой мере, сто пожертвованных крестьянских жизней! И не забудьте при этом, что солдат все-таки знает характер угрожающей ему опасности, что он жертвует собою, понимая, что эта жертва должна принести известные плоды. Крестьянин — ничего этого не знает. Он идет вперед, потому что идти ему больше некуда, идет вперед — и никогда не имеет уверенности, разверзнется или не разверзнется под ним земля... Но, скажут мне, случайные опасности не могут же служить мерилом для оценки чьей бы то ни было жизни. Случайности могут встретиться везде, и удар грома одинаково поражает человека, к какому бы званию он ни принадлежал. Прекрасно. Но возражение это, очевидно, теряет всякую силу там, где опасность, так сказать, составляет краеугольный камень всего человеческого существования, где она настигает человека до того легко, что представляется уже не случайностью, а как бы неразрывною частью всей жизненной обстановки. Удар грома, конечно, безразлично убивает человека всякого звания, но каждому понятно, что, например, пастух, проводящий целые дни в поле и в лесу, легче подвергается опасности быть убитым грозой, нежели человек, который во всякое время может укрыться от непогоды под кровлей надежного жилища. Но допустим, однако, что это возражение, само по себе неправое, должно быть уважено. Оставим мир случайностей и взглянем на быт русского крестьянина вне этой сферы, в кругу таких занятий, которые уж никак не могут быть названы случайными, но представляют собой естественную обстановку всей его жизни. Занятия эти суть: пахота, бороньба, молотьба хлеба, сенокос, отвозка сельских произведений на базар для продажи и т. д. Все эти занятия, как справедливо выразился один из почтенных наших односельчан, имеют издали вид гулянья, но спро-

сим себя по совести, так ли это? Нет, это — не гулянье, ибо для того, чтоб вспахать полдесятины земли (обыкновенный дневной крестьянский урок), нужно пройти пешком не меньше двадцати верст по почве, в которой вязнут ноги, пройти, упираясь всем телом в соху. Это — не гулянье, ибо для того, чтоб скосить одну пятую десятины луга (тоже дневной урок), нужно сделать бесчисленное количество взмахов косы, причем напряжение человеческих мышц равняется, по малой мере, напряжению, делаемому при поднятии двухпудовой тяжести. Это — не гулянье, потому что, во время сопровождения воза до базара, стужа захватывает дыхание, снег лепит глаза, не говоря уже о физической усталости, которая неизбежна при наших расстояниях и которая не полагается ни во что. А рубка дров? а пилка теса и досок? а земляные работы? Одним словом, куда бы я ни обратил взоры, как бы ни старался отыскать крестьянское занятие, сколько-нибудь льготное,— я ничего не нахожу, кроме самой горькой, никогда не прерывающейся страды. Вся жизнь крестьянина есть сплошная страда, хотя он сам почтил этим наименованием только летнее время. Нет, не только летом (лето — это крестный путь крестьянина), но круглый год, и зиму, и осень, и весну,— никогда он не освобождался от ига страды. О, господа! я — человек уже в летах, и мне стыдно плакать, но я чувствую, что слезы неудержимо подступают к глазам моим! Они грозят прервать мою речь в самом начале ее, ибо передо мной стоит еще вопрос громадной важности, которого я до сих пор не коснулся,— вопрос о том, какие радости, какие удобства и льготы купил себе русский крестьянин ценою стольких опасностей и непосильных трудов?

. . . .

К сожалению, окончание речи Крамольникова осталось для меня тайною, ибо с этой минуты сновидения мои приняли резко хаотический характер. Я помню, что кто-то стремглав прибежал и голосом, исполненным ужаса, крикнул: едут! едут! Я помню, что за этим криком последовала невообразимая паника, среди которой один Крамольников остался невозмутимым, и мне показалось даже, что на его губах играла улыбка. Я помню звон колокольчика, и потом еще чей-то голос: а, голубчики! бунтовать!.. Затем всё исчезло...

Утром я встал с головною болью, и первою моею мыслью было: а нет ли еще какого-нибудь помощника архивариуса или главноначальствующего над курьерскими лошадьми, которого бы тоже можно было подкузьмить по части юбилейных торжеств?

ДЕТИ МОСКВЫ

В каком ты блеске ныне зрима,
Княжений, царств великих мать!
Москва! России дочь любима!
Где равную тебе сыскать!
. . . .
Твои сыны, питомцы славы,
Прекрасны, горды, величавы,
А девы — розами цветут...

И. Дмитриев

I

Немногое, сказанное в этих стихах, исчерпывало почти все содержание моего отрочества. С самых ранних лет я тяготел к Москве, чувствовал себя сыном ее. Здесь я получил первые впечатления бытия, здесь же заложены были во мне начальные основания русской грамматики по Востокову. С наслаждением, полным благоговения, декламировал я стихи Ивана Ивановича Дмитриева, не упуская при этом из вида, что автор их, сам сын Москвы, был в свое время министром юстиции. Меня не смущала даже странность, оказывавшаяся при синтаксическом разборе первого четверостишия, а именно, что, по своеобразной генеалогии, придуманной поэтом, Россия, будучи матерью Москвы, становится бабушкой относительно княжений и царств. Напротив, это казалось даже трогательным. Ежели мать — баловница по ремеслу, то для бабушки и придумать другое занятие трудно. Каких желать лучших условий для процветания княжений!

Княжения! это слово, изданное Карамзиным в двенадцати томах (в то время еще у всех в свежей памяти), наполняло мою душу восторгом. Казалось, что и на меня, сидящего в четырех стенах «заведения», падает оттуда какой-то луч, и что, не признай я за этим волшебным словом освещающего значения, я немедленно утону в безрассветной тьме, а вместе с тем утрачу и право именовать себя «питомцем славы». А для меня это право было очень важно, ибо оно давало в будущем возможность, умалчивая о не весьма славных чинах, вроде коллежского регистратора или отставного корнета, прямо подписываться: «к сему заемному письму питомец славы такой-то руку приложил».

Вообще я был юноша восторженный, любящий и благодарный. Я всех благодарил: великого князя Святослава — за то,

что он ел конину, спал под открытым небом и имел свидание с Иоанном Цимисхием; великую княгиню Ольгу — за то, что она искусно отомстила древлянам смерть Игоря; великого князя Владимира — за то, что он сказал: *веселие Руси есть пити* (я уже в то время догадывался, что слова эти предвещали вольную продажу вина); царя Иоанна III — за оказанную им распорядительность относительно Новгорода; царя Иоанна IV — за то, что он покорил Казань и принял под свою державу богатую Сибирь («Богатая Сибирь, наклоньшись над столами»)... Но в особенности я был благодарен учителю русского языка за то, что он на все эти темы заставлял нас писать «сочинения», в которых я с гордою настойчивостью употреблял выражения вроде: «стольный град», «стогны», «дружина», «стяг» и проч.

И по какому-то странному психическому процессу, все эти признательности сердца приурочивались мной всецело, исключительно — к Москве. Даже Святослав, Ольга, Владимир неразрывно связывались с представлением о Москве, хотя, разумеется, они и в помыслах держать не могли, что где-то на севере, в отдаленном будущем, явятся «собиратели» и будут, подобно гоголевской Коробочке (с значительной, впрочем, примесью чичиковской изобретательности), класть в одну кучу и мед, и пух, и сушеные грибы, и даже мертвые души. Хорош был славный город Новгород, но он омрачил себя вечевою неурядицей; еще лучше был стольный город Киев, но и он омрачил себя, подпав под иго иноверца; одна Москва ничем себя не омрачила, и за это удостоилась высшей в мире награды: именовать сынов своих «питомцами славы» (тогда мне казалось, что звание это представляет собой что-то вроде общедоступного камер-юнкерства, для получения которого не требуется протекции).

Москва! как много в этом слове
Для сердца русского слилось! —

всечасно восклицал я, и опять, по тому же странному психическому процессу, рядом с этими стихами припоминались мне и слова великого князя Святослава: *не посрамим земли русския, но ляжем костьми, мертвые бо срама не имут!*

Умрем! ляжем костьми! — вот слова, которые пламенем горели в моей благородной душе, как будто и тогда уже чувствовалось, что смерть есть единственное в своем роде благо, которому предназначено в будущем освобождать «питомцев славы» от уз срама.

Мой культ к Москве был до того упорен, что устоял даже тогда, когда, ради воспитательных целей (а больше с тайной

надеждой на легкое получение чина титулярного советника), я должен был, по воле родителей, переселиться в Петербург. И тут продолжала меня преследовать Москва, и всегда находила во мне пламенного и скорого заступника своих стогнов. Я до сих пор не могу забыть споров о том, где больше кондитерских, в Москве или в Петербурге, и тех вопиющих натяжек, которые я должен был делать, чтоб отстоять хотя в этом отношении славу «порфироносной вдовы» перед выскочкой Петербургом. Я припоминал и о кондитерской Тени на Арбате, и еще о какой-то кондитерской у Никитских ворот, и, благодаря тому, что политические мои противники игнорировали бо̀льшую часть равносильных кондитерских, которыми изобиловали Мещанские, Мастерские, Офицерские и проч., выходил из споров победителем. Этого мало: когда мы, москвичи (а нас было в «заведении» довольно), разъезжались летом на каникулы, то всякий раз, приближаясь к Москве, требовали, чтоб дилижанс остановился на горке, вблизи Всесвятского, затем вылезали из экипажа и целовали землю, воспитавшую столько отставных корнетов, в просторечии именующих себя «питомцами славы».

Так шло дело вплоть до упразднения крепостного права. Я вышел из «заведения», поступил на службу и, как говорится, жил — не тужил. Себя называл «питомцем славы», а на отечество и его историю смотрел с точки зрения маневров Ходынского поля. Быть может, читатель не поверит, но это было именно так: будучи уже балбесом лет двадцати пяти, я все еще сны наяву видел. Россия представлялась мне месторождением сказочных витязей, «прекрасных, гордых, величавых», а история ее — каким-то светозарным кругом, в котором княжения сменяли друг друга, не оставляя после себя ничего, кроме славы. Слава! слава! слава! восторженно твердил я наяву и во сне:

Грозные полки идут,
Золотое вьется знамя,
На штыках играет пламя,
Ба̀-ррабаны громко бьют,
Грррромко бьют! [1]

И что еще удивительнее: все это не мешало мне в то же время и «заблуждаться», что̀ в ту пору (да, кажется, и теперь) было строго воспрещено. Вот как странно перебиты и перепутаны были тогдашние сновидения «питомцев славы»!

Даже тогда, когда под стенами Севастополя совершилась

---

[1] Стихи эти принадлежат покойному поэту Ершову. Не могу, впрочем, сказать наверное, дословно ли правильно цитирую я эти стихи, но ежели и есть неточность, то она совершенно ничтожна. *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

искупительная жертва и когда, вслед за тем, в обществе начали ходить слухи о предстоящих реформах,— и тогда я не вдруг освободился от угнетавшего меня угара, но все продолжал верить, что никакие силы в мире, никакое волшебство не в состоянии разжаловать меня из «питомцев славы» в не помнящие родства (а о пришествии «червонных валетов» я даже и не подозревал). Ничто не казалось страшным потомку тех витязей, которые, менее полувека тому назад, побывали в Париже и всю Европу наполнили громами побед и славы. Реформы! — но ведь это только добавочный луч к тому солнцу славы, в котором мы, «питомцы славы», и без того искони утопали! Реформы! — ведь это лишь новый вариант на тему «разумейте языцы», которая и прежде, с юных лет, составляла излюбленное содержание наших сновидений! Над чем же тут задумываться? И я не только не задумывался, но отвлеченная, лучезарная точка зрения и на этот раз осталась во мне преобладающею. Ничто практическое, будничное не смущало парѐния моей мысли. Мысль сделалась нетерпеливою, нервною; она даже не довольствовалась единичною какою-нибудь реформою, но стремилась вперед и вперед, прозревая в близком будущем целый ряд преуспеяний. Сперва — воля крестьянам, потом — воля вину, затем — начатки самоуправления: хочешь — чини мосты, хочешь — нет, хочешь — на пароме переезжай, хочешь — вплавь переправляйся! — и, наконец, открытые настежь двери в суды: придите и судитесь, сколько вместить можете! Все это уже заранее прозревала моя мысль, и все это именно так и случилось...

Свершилось! добрая весть о падении крепостного права в один день облетела всю Россию. Самоотверженность, с которою «питомцы славы» принесли на алтарь отечества свои «права» (теперь я позабыл, в чем они состояли, но тогда не только помнил, но даже по пальцам их перечислял), наполняла меня гордостью, а безграничные перспективы, которые при этом открывались, приводили в восторг. Все художественные инстинкты моей души были разом взбудоражены, я не загадывал, не примеривал, не определял, я только метался. В увлечении своем я даже того не понимал, что мои новые восторги служат косвенным укором моим старым восторгам. Я был так рад, что могу наконец говорить, что, действительно, говорил много и с убеждением, говорил с утра до вечера, волнуясь, радуясь, негодуя... Но что всего ужаснее и чего я в то время совсем не заметил: по мере того как «разговор» овладевал мною, я совершенно нечувствительно договаривался, договаривался и наконец договорился до того, что начал изображать прежнюю «славу» в несколько смешном виде.

Клянусь, я сделал это «так», без ясного разумения, но, во всяком случае, это была очень горькая ошибка с моей стороны. «Смешной вид» — вещь очень опасная, особливо если он служит подспорьем для подкрепления восторгов и притом является орудием в руках «питомца славы», и без того одержимого художественными инстинктами. «Смешной вид» берет человека в полòн и иногда сразу решает спор, над которым не худо бы и призадуматься. При том, прибегнув к «смешному виду», я вовсе не решался рассчитаться с прошедшим и выйти из заколдованного круга отвлеченных понятий о «славе»; нет, я упорно пребывал все в том же круге, но только бесконечно расширил пределы его. «Слава» по-прежнему продолжала оставаться моим девизом и питать мои идеалы, но слава, до того уже лишенная границ, что я не мог ни указать на центр ее, ни определить ее содержание иначе, как с помощью сопоставлений и картин. Вот тут-то и сослужило мне службу прошлое, но уже не в виде примера для подражания, а в форме архивной справки, в которой все, и слог, и содержание, все представляло сплошной «смешной вид».

Не знаю, надеялся ли я при этом сохранить за собой наименование «питомца славы», но кажется, что не только надеялся, но даже во имя этого наименования и творил чудеса критики и разоблачения. Откровения сыпались за откровениями. Сколько веков мы твердили о силе — и оказались слабыми; сколько веков мнили себя богатыми — и оказались бедными. А между тем и богатство и сила состояли вне всяких сомнений (иначе на чем же основывалось бы наше представление о «славе»?), но только неизвестно было, где, в каких недрах они лежат. Свидание Святослава с Иоанном Цимисхием не давало по этому предмету никаких разъяснений, а потому гораздо более целесообразным представлялось свидание кабатчика Антошки Стрелова с лабазником Осипом Ивановым Деруновым. Уж они-то наверное знают, где раки зимуют! Стрелов! Дерунов! Прожженные! Идите и проповедите, кáко на обухе рожь молотить!

Все это было и великодушно, и «славно», а отчасти даже и справедливо. Но каким образом я не догадывался, что, возлагая на Стрелова, Дерунова и прочих «непомнящих» обязанность строить будущую славу России, я тем самым устранял самого себя от всякого участия в строительстве,— этого я решительно не берусь объяснить. Последствия доказали, однако ж, что «смешной вид», вместе с незнанием, в каких недрах скрываются сила и богатство России, были первым шагом к обезличению «питомцев славы» и что за сим, как ни упорны были их усилия продолжать именовать себя таковыми, но в

ближайшем будущем их уже ждала иная кличка, более соответствующая «смешным» веяниям времени, а именно кличка «червонных валетов».

Дальнейшим испытанием моих представлений о «славе» явились выкупные свидетельства. Не могу не сознаться, что даже в самый разгар моих симпатий к меньшей братии надежда на выкупные свидетельства никогда не оставляла меня. Язык говорил: до последней капли крови! а тайный голос шептал: дадут же, однако, что-нибудь! И действительно, выкупные свидетельства были отпечатаны... и я не имел силы отказаться от них! Не мог же, однако, я не понимать, что самоотверженность, эта обязательная спутница «славы», по самому существу своему, безвозмездна! И не настолько же я неразумен, чтоб рассчитывать на такое счастливое стечение обстоятельств, которое поможет мне и капитал приобрести, и «славу» соблюсти!

И как диковинно мы — не я один, а все мы, «питомцы славы»,— поступили с этими выкупными свидетельствами! Одни, увлекшись учением об искусстве на обухе рожь молотить, накупили плугов, молотилок, веялок, в чаянии устрашить ими недра земли; другие, более верные чистым принципам «славы», разделили выкупную ссуду по равной части между трактирами: московским, новотроицким и саратовским. То была последняя вспышка доказать, что представление о «славе» еще не умерло, но сколько было по этому случаю выпито водки — про то знает только грудь да подоплёка!

Во всяком случае, ни армии, ни флоты, ни кадетские корпуса, одним словом, ничто из всего цикла учреждений, составлявших когда-то необходимую обстановку «славы»,— при этом не выиграли. Из целой массы выкупных свидетельств ни одного клочка не было дано на поддержание славы действительной, той, которая дозволяла нам с полным основанием восклицать: с нами бог! никто же на ны! Все сполна было истрачено на покупку устрашающих машин, тотчас же оказавшихся негодными, и на бесчисленное количество рюмок водки, на дне которых все больше и больше выяснялся образ «червонного валета» с бубновым тузом на спине.

Эти первые эмансипационные рюмки привели за собой множество других. Вслед за крестьянскою волей объявлена была воля вину, и в природе произошло нечто неслыханное. Ни взятие Хотина, ни сражение под Синопом не производили таких восторгов. Бесконечный лиризм охватил больших и малых, сильных и слабых. Слепые прозрели, чающие движения воды взяли под мышку одр и на рысях побежали в кабак. Даже торжественных од не предстояло надобности сочинять, потому

что каждый кабак, в эту всерадостную минуту, был сам по себе воплощенной торжественной одой, освобождавшей «питомцев славы» от непосильных витийственных упражнений.

«Повреждение нравов», признаки которого были уже замечены при первых выдачах выкупных свидетельств, приобрело тем большую яркость, что усложнилось повреждением умов. Пьяный лиризм, охвативший сердца при известии о падении откупов, мало-помалу улегся и уступил место пьяному эпосу. Создалось особое пьяное ремесло, тяжелое, мрачное, от которого пахло самоубийством. Прежде люди предавались кутежам, как бы отбывая повинность молодости и в расчете со временем остепениться; теперь — они делались пьяницами навек, без всякой надежды на вытрезвление. Прежде, при слове «пьяница», воображению представлялось нечто вроде особенного сословия, ряды которого преимущественно наполнялись между приказными; теперь это название сделалось всесословным, почти всенародным. В таком положении застали нас земские учреждения.

Но так как, под влиянием «упоительных напитков», мы уже не могли в это время отличить воды от суши, дороги от забора, то очевидно, что подобная же неясность должна была закрасться и в наши понятия о своем и чужом. Начали пропадать земские деньги. Ничто не спасало: ни коллегиальные порядки, ни контроль властей, ни замки. От «хладных финских скал до пламенной Колхиды», повсюду слышалась одна и та же до назойливости однообразная песня: унесли! Правда, что и тут еще замечались проблески представления о «славе» — унесенные деньги, собственно говоря, не были украдены, а только разделены поровну между трактирами: патрикеевским, лопашовским и Эрмитажем,— но за эти проблески начали уже сажать в тюрьму.

«Червонный валет» созрел, вышлифовался и выработался окончательно.

И что̀ всего прискорбнее — месторождением его оказалась та самая Москва, сыны которой еще так недавно с гордостью именовали себя «питомцами славы». Оставалось только ждать толчка, который выдвинул бы это порождение новых веяний времени из укромных углов, в которых оно скрывалось, и представил на суд публики в целом ряде существ, изнемогающих под бременем праздности и пьяной тоски, живущих со дня на день, лишенных всякой устойчивости для борьбы с жизнью и не признающих иных жизненных задач, кроме удовлетворения вожделений минуты.

Обязанность эту приняли на себя новые гласные суды.

II

Что̀ такое вор? какого рода художественный образ представляет собой человек, имеющий о чужой собственности понятия, очевидно, недостаточные и запутанные? в какой форме могут установиться отношения между «вором», с одной стороны, и обывателями и полицией, с другой? — вот вопросы, которые на первом же шагу встречают современного человека при вступлении на поприще жизни.

Классические традиции отвечают на эти вопросы довольно определенно, но как-то чересчур уж голо, и непременно с подчеркиванием. Для классиков не существовало той сложности мотивов, которая нынче, как свои пять пальцев, известна самому простодушнейшему из прокуроров и адвокатов. Сверх того, классики, в своих представлениях о воре, строго придерживались принципа сословности: доблестями высшего разбора (верность, самоотвержение, любовь к престолу и проч.) и таковыми же пороками (измена, коварство, кровосмешение и т. д.) наделяли особ высшего сословия, а доблестями и пороками низшего разбора — наделяли чернь.

Со словом «вор» классическое предание соединяло понятие, не имеющее ничего общего с идеей о «питомце славы». Вор представлялся чем-то отвратительным, заклейменным самой природой. Фаталистически осужденный на присвоение чужой собственности, он, в согласность с этим предопределением, так и устраивал всю свою жизнь. Детство и отрочество употреблял на то, чтоб изощрить прирожденную наклонность к воровству непрерывными практическими упражнениями; когда же приходил в совершенный разум, то делал из нее для себя ремесло. Понятно, что при подобном художественном воззрении на вора нельзя было вообразить себе его иначе, как в виде человека, непрерывно ворующего, очень часто излавливаемого, заключаемого в участковый клоповник и, по недостатку улик, обратно оттуда для воровства выпускаемого. Словом сказать, если верить классическим воззрениям, вор есть член особенной касты, имеющей резиденцией: в Петербурге — в доме Вяземского, в Москве — в доме Шипова; человек, постоянно живущий под угрозой переломания ребер, ради кошелька, нередко заключающего в себе не больше двух двугривенных, и, несмотря на эту угрозу, бессознательно влекущийся к этому кошельку, единственно во имя целей, составляющих провиденциальное его назначение. На картинках вора писали (и ныне нередко так пишется) очень типично: в подлой, запятнанной одежде, в рваных сапогах, с гнусной физиономией, явственно говорящей о принадлежности к низкому званию и испещренной

ссадинами и синяками, с понурыми взорами, хищнически устремленными на чужой карман, с руками, свидетельствующими о цепкости и проворстве, которое было бы выше всяких похвал, если б применялось на пользу ближнему, и которое награждается карой закона и тумаками частных лиц, коль скоро применяется к взлому запертых помещений. Таков классический образ вора, образ до того незатейливый и строго определенный, что самый простодушный из будочников мог прямо отыскать его в толпе, взять за шиворот и вести в участковый клоповник.

Классические представления о «мошеннике» хотя несколько тоньше, но тоже далеко не исчерпывают всей полноты содержания этого типа. Классический «мошенник» уже смотрит опрятнее. Он прилично одет и, судя по наружному виду, успел выбиться из «простого звания». Вот уступка, которую сделало классическое воззрение относительно людей этой корпорации. Зато, во всех прочих отношениях, мошенник так незрело, почти по-детски скомпонован, что питать к нему доверие нет никаких средств. Уверовать в этого человека может только или слепенькая старушка, которая любит, чтоб ей оказывали небольшие услуги безвозмездно, ради одной почтительности, или очень молоденькая девица, только что кончившая культурное воспитание, для которой и то уже благо, что не успела она на улицу выйти, как уж навстречу ей кавалер идет. Но люди, мало-мальски одаренные здравым смыслом, сейчас же заметят: а) что у мошенника платье хотя и «хорошее», но все-таки поношенное, с чужого плеча; б) что лицо у него, не без намерения, нарисовано наперекоски и в) что ноги выгнуты колесом, ступни несоразмерно длинны, а руки без перчаток и красны, как у лапчатого гуся. Сверх того, ни один художник-классик никогда не отказывал себе в удовольствии наделить «мошенника» озирающимся видом, который так и говорит: а вот погодите, какую сейчас с вами штуку сыграю. Очевидно, однако ж, что никакой штуки он не сыграет, ибо с озирающимся видом и вывернутыми ногами никто его до большого дела не допустит. Напротив того, обыватель самый смирный и тот, насмотревшись вдоволь на классического «мошенника», не только не устрашится, но улыбнется и скажет: хорош «мошенник», но это не тот, которому суждено когда-нибудь надуть меня!

Классическое представление о казнокраде уже значительно полнее, и причина этому очень понятная: самое занятие казнокрадством предполагает известную внешнюю облагороженность. На картинках, посвященных изображениям казнокрада, мы, по большей части, встречаем жуира, с полным брюшком, предвещающим толк в кушаньях и винах, с заплывшими, но

лукаво смеющимися глазками, с несколько масленым (все-таки признак подлого происхождения!), но открытым лицом, на котором написано безграничное гостеприимство. Вообще говоря, концепция эта и остроумна, и не лишена жизненной правды; но все дело портит тот исключительно провиантско-комиссариатский характер, который слишком уже густо ложится на всю обстановку картины. Зачем, например, эти лампадки, которые горят перед образами в дорогих окладах? зачем этот угол окованного сундука, выглядывающий из глубины картины? зачем эти ключи, которыми вооружены руки казнокрада, в знак того, что он сейчас только опустил украденное сокровище на дно сундука и теперь благодарит своего создателя за ниспосланный ему насущный хлеб? Все это, коли хотите, довольно затейливо, а быть может, даже и умно, но умно как-то по-детски. Вам нужно видеть «всего» человека, а вы видите только профессиональную, провиантскую его обстановку, да и то не всю, а только ту часть ее, за которую казнокрад несомненно должен пойти под суд. Невольно приходит на ум вопрос: неужели это кругленькое брюшко составляет необходимое последствие и как бы тавро казнокрадства? неужели этот человек только тем и занимается, что опускает в сундук украденное сокровище, и потом, совсем по-дурацки, благодарит создателя, держа в руках ключи? Нет, это не так. Наверное, у него есть семейство, в котором он являет себя примерным мужем и отцом; есть начальники, относительно которых он являет себя примерным исполнителем предначертаний и почтительным подчиненным; есть подчиненные, между которыми в двух словах сложилась его репутация: строг, но справедлив; есть приятели, быть может даже вовсе непричастные казнокрадству, которые его любят, потому что он, во всякое время, готов «одолжить». Наконец, он служит гласным в городском или земском собраниях, состоит членом благотворительных обществ, и во всех этих собраниях и обществах его мнение имеет вес, как согласное с обстоятельствами дела и притом почти всегда либеральное. Конечно, *должны быть* у него минуты, когда он прячет украденное сокровище, но, во-первых, для этого, по нынешнему времени, совсем не нужен окованный сундук, а во-вторых, это именно только *минуты*, и притом до того исключительные, что их-то, наверное, никто у него подметить не мог. Странное дело! даже жена казнокрада досконально не знает, откуда идет добыча и как она велика, и только догадывается, что бог нечто послал, а художник, изволите видеть, все видит и знает! Да и не только думает, что знает, а все-таки прямо и рекомендует почтеннейшей публике: вот, дескать, человек, который сейчас украл!

Такая простота в обращении с внутренним естеством человека свидетельствует о несомненной и великой простоте нравов. Времена процветания классических традиций, очевидно, совпадали с мифологическим золотым веком, когда, с одной стороны, не существовало науки о том, как на обухе рожь молотить, а с другой — не было ни выкупных свидетельств, а следовательно, и повреждения нравов, ни вольной продажи сивухи, а следовательно, и повреждения умов. Мошенники действовали просто, то есть ловили обывателей арканами, а их столь же просто брали тогдашние будочники за шиворот и отправляли в часть.

Нынче хищничество всех видов и форм (вот что значит примесь элемента «питомцев славы»: даже новое слово «хищник» придумали, взамен старого и столь определенного слова «вор»!) до того усложнилось, или, лучше сказать, слилось с всевозможными ремеслами, из которых одни положительно ставятся в пример благонамеренной деловитости, другие же хотя и не ставятся в пример, но слывут в обществе под именем милых шалостей,— что даже очень тонкий наблюдатель вряд ли сумеет в точности определить, где кончается благонамеренность и где начинается «хищничество». Я, по крайней мере, нимало не буду удивлен, ежели будочники усомнятся, как им в данном случае поступать, то есть брать ли воров за шиворот, согласно указаниям дореформенной практики, или делать под козырек, согласно с правилами вежливости, установившимися вследствие вольной продажи вина? В самом деле, это очень трудно, ибо все в данном случае запутано, темно, загадочно. Кто знает, быть может, в образе каких-нибудь арканщиков скрываются совсем не мошенники, а упраздненные иомудские и каракалпакские принцы (их развелось так много, благодаря успехам русского оружия), которые, ловя арканами обывателей, выражают этим способом тоску по родине и утраченному величию? или, быть может, это какие-нибудь «питомцы славы», которые, во имя «славы», вчера разменяли в Москве, в гостинице «Крым», последние выкупные свидетельства, а сегодня, преследуемые тем же представлением о «славе», нагрянули на беззащитных обывателей, дабы, обременив себя добычею (ведь все заправские средневековые рыцари так поступали), вновь возвратиться в гостиницу «Крым» и там уже окончательно утонуть в лучах солнца славы, то есть предварительно попасть в острог, а оттуда, быть может, и в места не столь отдаленные?

Вот эта-то всесословность действий, предвиденных такими-то статьями уложения о наказаниях, и представляет собой источник великой современной полицейской скорби. Дело идет не об том, как поступить с мошенником низкого звания, с гнус-

ною физиономией и в запятнанном пальто (какого можно и должно прямо брать за шиворот), а о том, как подойти к тоскующему иомудскому принцу, о помолвке которого с дочерью концессионера Губошлепова на днях объявлено, или к «питомцу славы», еще вчера дирижировавшему танцами на балу у предводителя дворянства?

Но этого мало: современное воровство, утратив кастовый характер и странным образом перепутавшись с благонамеренностью, пошло и еще далее, усложнилось до того, что сделалось неосязаемым, не допускающим мысли ни о поличном, ни об ответчике. Господа «арканщики» слишком добры: их арканы все-таки еще могут, от времени до времени, фигюрировать на столе вещественных доказательств в зале заседаний суда; но что сказать об аркане духовном, который невидимо и недосягаемо парит над современным человеком и в то же время самым реальным и грандиозным образом заявляет о своих хищнических свойствах? кто этот новоявленный, загадочный «вор»? какие отличительные его признаки? какие меры представляет жизнь для обороны против него?

На эти вопросы ни современный суд, ни современная жизненная практика, ни современное искусство просто-напросто не дают никакого ответа. Суд хотя и выбрасывает ежедневно в публику целую массу фактов, но сам, в большинстве случаев, действует на основании классических традиций, то есть карает «мерзавца» заведомого и нимало не разъясняет представления о «мерзавце» невидимом, но всеми явственно уже чувствуемом. Жизнь и искусство успели взбудоражить сомнения, пробудили в современном человеке чувство тупого беспокойства, но, в конце концов, тоже указали только на пустое пространство...

Классические традиции упразднены, как недостаточные и, видимо, не удовлетворяющие современному уровню цивилизации, а новых учений о «новом воровстве» не издано, кроме разве упомянутого выше учения о том, как па обухе рожь молотить, каковое, однако ж, тоже в счет нейдет, потому что признается не только незазорным, но и обещающим несомненные прибытки для тех, кто принял твердое намерение следовать его указаниям. Таким образом, все утрачено: и надежда спокойно спать, положивши деньги на текущий счет, и руководящая нить в различении мазуриков, которые украдут лишь *столько, сколько успеют,* от таких, которые, как говорится, не оставят и синь пороха, да, сверх того, заставят бесплодно метаться и взывать: господи! да что ж это! да каким же это образом... всё, всё, всё!

Воспитанный в лоне классицизма, я до сих пор относился к сословию воров поверхностно и в различении их руково-

дился исключительно наружными признаками. Я не боялся ни за мой кошелек, ни за мою шкатулку, ибо был уверен, что покуда я живу в мире с будочником, который вообще мною заведует,— он оградит меня во всех путях моих. Он знает, говорил я себе, всех воров не только по наружному виду, но и по имени и отчеству, и, стало быть, ежели вор полезет ко мне ночью в окно, то он крикнет: эй, Ванька! сегодня в этом доме не воруй, а воруй вон там, по соседству! Но теперь, когда внешние признаки перепутались и стерлись, когда воруют не по ночам, а среди бела дня, когда вор-мошенник, как каста, перестал быть опасным, а явился угрозой в виде тонкого начала, насыщающего атмосферу, когда сами будочники остановились в недоумении перед величием реформы, превратившей «питомца славы» в «червонного валета»,— признаюсь, я струсил!

Каждый день вынимаю я из шкатулки последнее мое выкупное свидетельство, смотрю на него и никак не могу взять в толк, мне ли оно принадлежит или какому-то Иксу, которого я даже назвать по имени не могу. Мысль эта до такой степени мутит меня, что иногда просто хочется, чтоб у меня поскорее украли это злосчастное выкупное свидетельство. Ведь, сравнительно, это все-таки более благоприятный исход, нежели покончить жизнь в духовном аркане, брошенном верною, но невидимою рукой!

Представление об этом духовном аркане, разжигаемое почти ежедневными повествованиями газет то о «червонных валетах», то о банкротствах самых несомненных столпов, сделалось до такой степени обыкновенным, будничным, почти обязательным, что незаметно вошло в мой ежедневный обиход.

Я присутствую на бале, смотрю на выходки милых молодых людей, которые так ловко танцуют и так убедительно объясняют своим дамам, между второй и третьей фигурами кадрили, что прелюбодеяние есть одна из привлекательнейших форм современного общежития,— и не могу свободно отдаться наслаждению, которое возбуждает во мне и эта ловкость, и эти умные разговоры, и этот соединенный блеск свечей и женских бюстов. Мысль, что у меня лежит в кармане бумажник и что покуда я зеваю по сторонам, а этот очаровательный юноша делает в пятой фигуре соло, он, этот бумажник, словно волшебством, может очутиться совсем в другом кармане,— эта горькая мысль отравляет все мои радости. Конечно, я не только не имею прямых оснований указать на кого-либо из этих обворожительных молодых людей, как на причину этой отравы, но даже самому себе сознаться в своей подозрительности стыжусь,— но и за всем тем, не могу унять расходившегося чувства самосохранения, не могу не страдать! И зачем

только я этот бумажник с собой брал! в сотый раз мысленно укоряю я себя,— оставил бы его дома... Но ведь и дома... ах, как отлично подделывают нынче ключи! точно ассигнации или векселя: и не узнаешь фальшивого от настоящего!

Другой случай. Я прихожу в Казанский собор, с твердым намерением испросить себе «ангела верна», без которого, по нынешнему строгому времени, шагу ступить нельзя. Но едва начинаю я заводить глаза и отлагать житейское попечение, как рядом со мной становится почтенного вида мужчина, на которого я невольно заглядываюсь. Он так благообразен в ореоле своих седин, так скромно вошел в божий храм и стал на место, так смиренно поклонился на все стороны, так вкусно сотворил первое крестное знамение и затем с таким сердечным сокрушением пал на колена, что я просто-напросто думаю: вот милый старикашка! чай, и грехи-то у него куриные, а он так беспокоит себя! Подумавши это, я, конечно, вновь обращаюсь к молитве и помаленьку опять начинаю отлагать житейское попечение. И вдруг, чувствую, что меня что-то кольнуло в бок. В сущности, однако ж, меня ничто не кольнуло, а только вспомнилось, что в кармане моем лежит бумажник. Опять эта проклятая идея! И где же, в виду кого! В виду этого почтенного, благообразного, убеленного сединами мужчины, который... Каюсь: я сто раз, тысячу раз не прав; но разве терзания, которые я в эту минуту испытываю, не служат достаточным возмездием за несправедливые подозрения, которые родились во мне при виде благоговейно склонившегося старца?

Третий случай. Я сижу в итальянской опере и, в ожидании поднятия занавеса, думаю: так как мы, «питомцы славы», рождены для вдохновений, то уж теперь-то я досыта наслушаюсь соловьиных трелей, которые изведут мою душу из темницы паскудной действительности и перенесут ее в мир «сладких звуков и молитв». Но едва раздались первые аккорды увертюры, как я уже ощущаю беспокойство, сначала смутное, а потом все более и более отчетливое, и опять-таки преимущественно сосредоточивающееся около того пункта, где находится мой бумажник. Я начинаю озираться (вот кому приличествует озираться, господа классики! не мошеннику, а тому, который имеет основание трепетать перед мошенником!), я не могу спокойно усидеть на месте и беспрестанно вглядываюсь в физиономии моих соседей по креслу. Я отлично понимаю, что в эту минуту и в этом месте бояться мне нечего,— и все-таки боюсь. Не реального чего-нибудь, а волшебства. Зачем я *его* взял с собой! тоскливо спрашиваю я себя: ведь здесь нужен только двугривенный, чтоб отдать за сохранение шубы... и эта шуба! ах, эта шуба, где-то она теперь?! Между тем ак-

корды, один другого слаще, следуют своим чередом. Занавес бесшумно взвивается, и целый гром рукоплесканий возвещает, что началось производство трелей. Но я ничего не слышу, все думаю: а что, если этот старичок, у которого глаза бегают и нос крючком,— что, если он и есть тот самый волшебник и маг, который в совершенстве постиг тайну обращать чужие кредитные рубли в старую газетную бумагу и, наоборот, свою собственную газетную бумагу — в кредитные рубли? Гонимый этою мыслию, я с трудом досиживаю до конца первого действия, и едва успевает застыть в воздухе последняя трель, как я уже вскакиваю с кресла и бегу в коридор: шуба! где моя шуба?!

Наконец, четвертый случай: я захожу в гастрономическую лавку. Я облюбовал фунт семги и фунт винограду, товар мой уже свешен и завернут, остается, стало быть, заплатить и уйти. Но едва протянулась моя рука к карману, в котором лежит мой бумажник, как я припоминаю, что мне следует уплатить всего каких-нибудь рубль пятьдесят копеек, а в бумажнике у меня целых сто рублей. Между тем в лавке людно, один покупатель сменяет другого, во всех углах раздается чавканье, и нет никакой надежды, чтоб этот гомон хоть на минуту перемежился. Я тревожно всматриваюсь в пеструю толпу и решительно ничего не могу различить. Все люди как люди, у всех лица одинаково напоминают стертые пятиалтынные старого чекана, ни на одном не написано: сия физиономия принадлежит вору, но ни на одном, однако ж, не видно и ясного ручательства, что чужой кошелек — святыня! И вот я решаюсь выжидать, пока толпа отольет; жду полчаса, жду час. Это становится настолько оригинальным, что приказчики начинают от времени до времени взглядывать на меня, а один даже довольно развязно напоминает: вот, господин, ваша покупка! Но я все еще креплюсь, перехожу от одного лакомства к другому, словно надумываюсь, что бы еще купить, как вдруг в публике происходит шепот, и до ушей моих долетает странное слово, от которого краска бросается мне в лицо. Наконец старший приказчик подходит ко мне и говорит:

— Господин! коли ежели вы действительно... так извольте взять ваши покупки *за благодарность!* и пожалуйте в следующий магазин!

Представьте себе! и публика, и приказчики приняли меня за шш... то бишь за члена торговой полиции!

Положим, что моя подозрительность преувеличена до болезненности, положим, что под влиянием процесса московского ссудного банка и рассказов о подвигах «червонных валетов» я сделался нервен и раздражителен, но ведь не всё же в моих опасениях представляется плодом расстроенного воображения!

есть же и в них какое-нибудь реальное основание, коль скоро они до того неотступно преследуют меня, что доводят почти до состояния ясновидения! Да и одного ли меня? О, ты, читающий эти строки, ты, от рождения своего беспечно думавший, что жизнь среди «питомцев славы» навсегда освобождает тебя от обязанности запираться на ключ и спускать шторы всякий раз, как приходится вынимать деньги на расход кухарке,— разве не вопиял ты на все лады: караул! унесли! — когда, подобно трубному звуку, разразилась над тобой весть о крушениях московского банка, Баймакова, Лури и проч.? Разве не метался ты, восклицая в бессильном недоумении: да как же это! да неужто же в самом деле! да почему же, наконец, правительство, начальство, полиция?! Не клялся ли ты, что впредь никогда, никогда...

Да, основание для опасений есть, и притом не фиктивное, а вполне реальное. Спрашивается, однако ж: в каком положении должен находиться принцип собственности, когда со всех сторон несется один и тот же вопль, когда один и тот же трепет обуял все сердца? Что он посрамлен и поруган — в этом, конечно, нет сомнения, но что всего жестче, он посрамлен и поруган не одними «червонными валетами», но и мною с тобой, благосклонный читатель. Ибо и мы с тобою не по поводу принципа собственности вопием и мечемся, а исключительно по поводу того, что *у нас* украли столько-то рублей. Так что если бы *у нас украли* в десять раз меньше, мы в десять раз меньше же метались бы, а если бы украли только гривенник, то, пожалуй, даже и пошутили бы: вот так дурак! на гривенник польстился! А ведь, по-настоящему-то, это не так; по-настоящему, мы должны метаться не только за себя и за други своя, но и преимущественно за принцип. Вот как мечутся, например, прокуроры — безмездно, но в чаянии получить повышение, и адвокаты гражданских истцов — за определенное, по цене иска, вознаграждение.

Предположим, впрочем, что принцип собственности еще как-нибудь да прорвется сквозь облаву, устроенную «червонными валетами», и найдет себе охрану в своде законов (ведь там, собственно говоря, и находится действительное его местожительство), но что̀ наверное и на многие годы останется посрамленным и лишенным всякой охраны — это человеческая мысль, додумавшаяся, под гнетом испуга, до серьезного убеждения, что отныне вся задача человеческого существования должна быть сосредоточена на защите рубля.

Вопли, наполняющие вселенную, по поводу волшебных исчезновений рубля, не только назойливы своим однообразием, но и прямо паскудны. Мало того, что у меня «отнимают», но

еще заставляют ломать голову над вопросом: откуда наскочило это отнятие? Да и этого мало: положительным образом удостоверяют, что и завтра повторится тот же процесс отнятия, а за ним и опять последуют те же тщетные усилия выбиться из-под гнета вопросов: как, зачем, почему? И таким образом будто бы пройдет вся жизнь. Эти скверные вопросы оцепили все мое существование, взяли в полон мою душу, отучили меня мыслить, отбили от дела, от всего, что сообщало моей жизни мало-мальски порядочный смысл. Я — маленький человек, но если мне суждено с каждым днем все больше и больше сокращать мою порцию, то я хочу, по крайней мере, знать, ради чего наслано на меня это насильственное сокращение и как называется та бездна, которая притягивает к себе все соки и ничего назад не отдает?

Да, это именно бездна, а не лично тот или другой «червонный валет». «Червонный валет» подвернулся тут только для прилику, как corpus delicti [1], к которому можно признаться, чтоб отвести глаза и приличным образом выйти из затруднения. С единичным «червонным валетом» не трудно управиться (да и управляются: все места не столь отдаленные кишат этою новою человеческою разновидностью), но против *неумирающего червонного валета* — я бессилен. Ввиду этой неумираемости я должен сложить оружие. Ибо я не могу *существовать,* если в уме моем безвыходно мечется мысль, что на меня ежеминутно откуда-то надвигается нечто загадочное, непредвиденное, могущее вконец меня подорвать. Я не могу ни предусматривать, ни производить, ни накоплять, ни распределять — зачем? для чего? К чему ведут все извороты и усилия ума, на что нужны труд, талант, аккуратность, умеренность, если завтра, сейчас, через миг покажется из-за угла медузина голова и...

Я знаю, что когда этот миг настанет, когда все уже совершится, тогда явится прокурор и примет мой хладный прах в свое заведование. Он все взвесит, все разберет и за все отомстит. Отомстит — кому? Лично вот этому «червонному валету», который унес у меня столько-то рублей? Помилуйте! да неужто же я до того мелочен, непонятливо зол, чтоб не уразуметь, что во всей этой истории «червонный валет» ни при чем, что он только вещественный знак тех невещественных отношений, перед которыми самые похвальные усилия прокуроров и их товарищей разобьются, как волна разбивается о гранитный утес?

Но допустим даже, что я мелочен и зол и что личная месть могла бы удовлетворить меня, однако и этот крохотный ре-

[1] Здесь. субъект преступления.

зультат едва ли уж так несомненно достижим, как это можно предположить с первого взгляда. Легко сказать: прокурор отомстит, но ведь не соло же он будет выделывать на суде, а выйдет навстречу ему адвокат, вынет из кармана святое Евангелие (он уж с неделю назад его в синодальной лавке купил и все рылся: плевелы... плевелы... плевелы... а! вот, наконец, нашел!) и проклянет час своего рождения, убеждая вселенную вообще и господ присяжных в особенности, что истинный виновник постигшего меня умертвия не сей «питомец славы», велениями судеб превратившийся в «червонного валета», а я сам, дурак и простофиля, введший его в соблазн.

Кто устоит в неравном бое?

III

Тоска! некуда деваться, не к чему приступиться, не об чем думать! Стучаться в запертую дверь — бесплодно; ломиться в нее — надорвешь силы. Вышла было линия — воровать, да и та повернулась не на пользу, а по направлению к скамье подсудимых. Даже коренные, прожженные хищники и те удивляются: воруют, а никак-таки наворованное к рукам пристать не может — все, словно сквозь сито, так и плывет, так и плывет... куда?

— У меня, брат, третьего дня деньги унесли,— говорю я, вместо привета, входящему ко мне Глумову.

— А у меня — вчера унесли,— приветствует меня и он в свою очередь.

— У меня Сидор Кондратьич унес, а у тебя кто?

— У меня? а прах их знает! Говорят на Ивана Иваныча, да я не верю. Впрочем, и ты, любезный друг, на Сидора-то Кондратьича клевещешь, кажется.

— Как клевещу! Сказывают, что за день перед тем, как объявиться, он сто тысяч унес, веселый такой был!

— Не в том дело. Ведь и мой Иван Иваныч третьего дня уйму денег унес, а сегодня все-таки ни ему, ни семье его жрать нечего!

— Черт знает, однако, что ты говоришь! Куда же он деньги девал?

— Угадай, любезный, подумай! Ты ведь любишь помечтать на тему: кабы у бабушки... ну, и потрудись!

— Да и тебе, пожалуй, не мешает подумать!

— Нет, брат, я давно уж думать оставил. Живу просто... ну, живу — и шабаш!

Глумов остановился против меня, пристально взглянул мне в глаза и запел: ah! ah! que j'aime, que j'aime les milimili-militairrres! [1]

— Вот как я нынче живу! — прибавил он,— и вчера в «Буффе» был, и сегодня Гранье пойду слушать! Люблю, братец, я, люблю эту французскую беспардонность, ибо подобие земного нашего странствия в ней вижу!

Но шутка Глумова даже улыбки не вызвала на мое лицо. Я человек аккуратный и счет деньгам знаю. Сверх того, я понимаю (очень многие этого не понимают, а женщины — сплошь и рядом), что если у меня нет в кармане расходных денег, то мне, пожалуй, и обедать не дадут. Так что, ежели я, проснувшись утром, замечаю исчезновение дроби, которую я накануне вечером считал законом предоставленною мне собственностью, то это меня огорчает. А тут, представьте себе, не дроби, а прямо целые числа пропадают, обращаются в нули — каково же должно быть мое огорчение! Да, вдобавок еще, начнешь жаловаться, вопиять — а тебе в упор плоские шутки отпускают, говорят, что Сидор Кондратьич здесь ни при чем! Ведь покуда я был уверен, что третьеводнишние мои деньги именно Сидор Кондратьич украл,— все-таки как-то легче мне было! Думалось: можно будет и поприжать молодца! посидит с месяц в Тарасовке (я уж в общую складчину и на кормовые пожертвовал) — смотришь, ан копеечек по десяти и выдавит из себя! А еще с месяц посидит — и еще по десяти копеечек выдавит! Помаленьку да полегоньку, да с божьею помощью, в одном месте давнут, в другом диагностику сделают — гляди, полтина-то и набежала! Полтина... ведь это почти что куш! Полтина... гм... однако ж, только полтина! а другая-то полтина куда же девалась?

Должно быть, много скорби вылилось на моем лице под влиянием этих дум (в особенности же последней), потому что даже черствое сердце Глумова тронулось моим горем.

— Копил, чай? — сказал он голосом, полным участия.

— Как же, братец! Жена, дети... предусматривал тоже... черт знает что такое! Теперь пристают: вот, папаша, всегда вы так делаете! А прежде приставали: папаша! да отчего же вы Сидору Кондратьичу ваших денег не отдадите? ведь он на текущий счет из восьми процентов берет!

— Да, друг, понимаю я это: тяжко! Давеча утром, ни свет ни заря, ко мне совсем неизвестный генерал прибежал; я еще спал, так разбудить велел. Выхожу: что вашему превосходительству угодно? спрашиваю.— Помилуйте! говорит, дедушка

---

[1] о! о! как я люблю! как я люблю военных!

мой копил, батюшка-покойник копил, я сам... да-с, сам-с! копил-с! И вдруг какой-то проходимец в одну минуту все это в трубу выпустил! И весь, знаешь, трясется, брыжжет, руками машет: до государя, говорит, дойду! — Жаль, говорю, что ваше превосходительство так, в один миг... да я-то тут при чем? — А вы, говорит, тоже в числе кредиторов значитесь, так не угодно ли на кормовые пожертвовать, чтоб ему, негодяю, впредь неповадно было?

— Ты... подписал?

— И не подумал. Ивана-то Иваныча — в долговое?! Этакого умнейшего, обстоятельнейшего... словом сказать, финансиста?! Ведь я, десять лет сряду, в него, как в провидение, веровал! в церковь не ходил — всё к нему! шептался с ним! перемигивался! душу перед ним выкладывал! Иной раз на сотню выложишь, в другой — па целую тысячу! И чтоб я стал мины под этого человека подводить! Напротив! я все утро сегодня убеждал, что первый наш долг — об семье его позаботиться... и убедил!

— Ну, нет! мы своего Сидора Кондратьича запрятали-таки. И я на кормовые подписался.

— Что ж — и это ничего! правильно! Вы — «правильно» поступили, а мы — великодушно! но ни мы, ни вы одинаково ничего не получим. Зато, кабы ты видел, какой в нем, в Иване-то Иваныче, переворот вдруг сделался, когда он об решении-то нашем узнал! Все воровство вдруг соскочило, одно просветление осталось! И слезы-то, и смеется-то, и губы трясутся, и кланяется (руки, однако, не протягивает: понимает, что недостоин!), и лепечет... Все! говорит, вся моя жизнь, все до последней капли крови — все отныне принадлежит кредиторам! И ежели, говорит, я всего, до последней копейки... о, господи!

— Тсс... А кто его знает, может быть, и в самом деле отдаст!

— Нет уж, что уж! Я, брат, говорил с ним об этом.— Вот, говорю, дружище, в новую жизнь вступаешь! — В новую, говорит.— Ведь это, говорю, все равно что снова с коллежского регистратора начинать... трудно! А впрочем, не ропщи, ежели с усердием да с терпением — пожалуй, и опять в тайные советники произведут — Ах, говорит, не для себя я, а для господ кредиторов... Господи! кабы только силы да разумения!.. И вдруг — опять слезы, опять губы трясутся, опять просветление.— Отдашь? говорю.— Вот как перед истинным!.. как на исповеди, так и теперь... послал бы только бог силы да разумения...— Ну, да уж где! не отдаст — это верно. Губы он как-то облизывает и глазами врозь смотрит, когда у бога силы и разумения просит. Да и не расчет ведь ему отдавать-то.

— А ты уверен, что у него ничего не спрятано? что семье его, действительно, нечего есть?

— Куска нет — верное слово тебе говорю. Я и об этом с ним разговор имел.— Куда ж, братец, ты деньги девал? спрашиваю.— Ну, и он тоже меня спрашивает: а вы верите, говорит, что я честный человек? — Верю, говорю.— Так вот, говорит, суди меня бог и государь, ни копейки у меня на совести нет! — Подумай, однако, говорю, может, и вспомнишь! — Ничего я не вспомню, и не знаю, и не понимаю! на неосторожность сослаться — не могу, потому что я всегда достаточно осторожен был... Мотать тоже не мотал, так чтоб уж слишком... Известно, квартира была, экипаж держал... ну, повара нанимал! Сами посудите, при моих делах — как же иначе?

— Да, иначе нельзя! Он ведь на биржу ездил, действительных статских кокодесов обедами кормил — нельзя без обстановки ему обойтись!

— Вот ты и суди! Ни неосторожности, ни мотовства — а в трубу вылетел! И даже сам не может объяснить, куда все подевалось!

— Ну, он-то знает!

— Говорю тебе, не знает. Он, брат, ведь глуп. Вот мы с тобой и досужие люди, а в центру попасть не можем — так ему уж куда! Он всю жизнь словно во сне прожил, благо в заведенное колесо попал. Сегодня на биржу, завтра на биржу, сегодня — купить-продать, завтра — купить-продать: вот и премудрость его вся. Мысли — никакой, итоги — по двойной бухгалтерии сведены. Так-то, брат!

— Чудеса!

— Такие чудеса, что вот я, человек уж искушенный, возьму в руки рубль и не разберу, что̀ у меня: полтинник, четвертак или кусочек третьеводнишней афишки. Покажешь извозчику — тот уверяет: рупь! Ну, и слава богу!

— Да, извозчики покуда еще выручают. Крепкий это народ, достоверный!

— Кнут им бог в руки дал — вот они и думают, что, не кормя, на одном кнуте, и невесть куда доедут!

— И доедут. Потихоньку да полегоньку, тут подпругу подтянут, в другом месте шлею подправят, в третьем — просто хвосты подвяжут: эй вы, соколики!

Сказал я это и задумался. «А как вдруг, со всех четырех ног...» внезапно представилось мне, да так живо представилось, что со всеми подробностями, во всей, так сказать, художественной образности. И кру́ча, и слабосильные разбитые лошади, несущиеся в весь карьер, и гнилой мостишко впереди, и овраг... «Уго́дят они на мост, или не уго́дят?» — словно молния блес-

нуло перед моими глазами, и я совершенно явственно ощутил, как волосы шевельнулись у меня на голове.

— Что задумался? пари держу, что образ какой-нибудь художественный сию минуту воспроизвел? — прервал Глумов мою художественную производительность.

— Помилуй! с какой стати!

— Чего уж — вижу ведь я! И руками уперся, и напружился, весь корпус в комок собрал... боишься?

— Да как бы тебе сказать...

— То-то я вижу, что ты словно изловчаешься, как бы головой об столб не угодить... Ничего, брат, бог милостив!

— Милостив-то милостив, а денег нам все-таки не отдадут. Плакали наши денежки! И куда они девались... господи! да куда ж они, в самом деле, девались?

— Куда все прочее девается, туда и они. Вот ты, конечно, струсберговский процесс читал — понял что-нибудь?

— Гм... да... нет, воля твоя, а у Ландау денежки есть!

— Ты как об этом узнал?

— Должны быть у Ландау деньги, должны! Полянский — тот заплакал, а Ландау... есть у него деньги! есть! Это... это, я тебе скажу... Вот как теперича день на дворе, так и это... Нет, этак нельзя!

Я разгорячился и вскочил с места. Коварство Ландау было так очевидно, так осязательно, что фигура его, подробно описанная газетными репортерами, так и металась у меня перед глазами. Полянский — тот, по крайней мере, заплакал, а Ландау...

— Нельзя так! нельзя! нельзя! нельзя! — почти грозно восклицал я.

— Чудак ты, братец! Вдруг закричал, точно из ляписного раствора промывательные ему поставили! А ты образумься, пойми! ведь и у твоего Сидора Кондратьича небось на молочишко осталось, так что ж: копеечку, что ли, на рубль тебе получить хочется?

— Нет, тут не об копеечке речь, а о принципе! Нельзя так! нельзя!

— Нельзя да нельзя — что нельзя-то?

— Воровать нельзя! запрещается воровать! Да-с, запрещается-с!

— Запрещается — а воруют! Нет, уж ты выйди лучше на площадь, закричи «караул» — может, и полегчит!

Слова эти как будто отрезвили меня, но не вдруг, однако. Некоторое время утроба моя еще колыхалась, и я совершенно явственно слышал, как в ней урчало: нельзя! Но так как я человек впечатлительный, то минуты через две мне уж самому

казалось несколько странным, с чего я вдруг так разгорячился. Как будто и в самом деле до того уж меня ущемило от того, что на днях какие-нибудь три-четыре цифры, по недоразумению, обратились в нули! Пожалуй, со стороны могут еще подумать, что я жадный... Я-то жадный! Я-то!.. да вот у меня выкупное свидетельство осталось — два их было, да одному Сидор Кондратьич на днях другое назначение дал — ну, хотите, я это самое выкупное свидетельство сейчас же, сию минуту...

На мое счастие, Глумов прервал течение моих мыслей и не дал совсем уже созревшему порыву самоотвержения вылететь из груди.

— Ну, вот, теперь у тебя восторженность какая-то в лице явилась,— сказал он,— опять, должно быть, художественную картину воспроизвел!

— Ах, отстань, пожалуйста! преотвратительная это у тебя привычка — выражение лица подглядывать!

— Зачем подглядывать — прямо видно! Пари держу, что еще минута, и ты закричал бы: «Человек! шампанского!» Ну-ну, не сердись, не буду! Ты об «червонных валетах» имеешь понятие?

— Знаю.

— Так вот, по-моему, отличнейший наглядный пример. Полянский, Ландау — это, положим, загадочные люди, а в «червонных валетах» даже загадочности никакой нет. Все известно: и сколько наворовали, и где сколько истратили,— все есть! Только одного не видать: каким образом тысячные документы в десятирублевые бумажки превращались.

— Ну, ка́к не видать?

— Именно не видать. Украл он, положим, облигацию или документ в тысячу рублей выманил — ну, известно, первым долгом в трактир наведался, документ за буфет разменять послал, просидел три-четыре часа за полштофом — смотрит, ан у него в руке только десятирублевая бумажка зажата! Ну, и опять, стало быть, завтра воровать надо!

— Наел да напил, может быть?

— Нет, и этого не было, потому что у них ведь водка главную роль играет — куда же тут тысячу рублей рассорить! А так вот: один взял с него куртажные, другой — за «поворованное» учел (как прежде за постоялое да за полежалое брали), третий — за то взял, что у таких парней и бог не велел много денег оставлять, четвертый — за то, что воров князьями да графами величал, пятый — за то, что в участок не препроводил... Так она и разошлась вся, тысяча-то, словно невидимый дух ее разнес.

— Да, но ты все-таки можешь объяснить себе, куда она разошлась. Эти первый, второй, третий, которых ты сейчас назвал,— все-таки они воспользовались!

— Нет, и они не воспользовались, потому что и с каждым из них та же история завтра повторится. Опять пойдут и куртажные, и за «поворованное», и за величание... А послезавтра уж с тех возьмут, которые вчера взяли... И выйдет на поверку, что из тысячи-то рублей — на сто, много на двести пропито да проедено, а прочее всё на различные невещественные статьи изведено.

— Так что в результате окажется, что вор для того только и ворует, чтоб издержки воровства покрыть? Это, что ли, ты хочешь сказать?

— Именно. А сверх того, еще и то, что ежели бы воры понимали, из-за какой малости они беспокоят себя, так, право, девять десятых из них давно бы эту привычку кинули.

— Да ты, никак, даже жалеешь их?

— Да, заправских воров, тех, которые, со взломом или без взлома, но во всяком случае рискуют своими боками и заранее знают, что не попасть им в места не столь отдаленные нельзя,— тех жалею. А об тех, которые крадут невидимо, которые занимаются только тем, что мой рубль, с божьею помощью, обращают в полтинник,— об тех ничего не говорю: еще не вник.

— А по-моему, так и в заправском воре ничего достойного симпатии нет.

— Ремесло у него тяжелое — вот что. Украсть на полтинник, а измучиться на сто рублей — разве это не каторга? Особливо ежели кто еще не забыл, что он в благородном пансионе воспитание получил.

— Например, твой Иван Иваныч?

— А как бы ты думал! Вот я тебе давеча говорил, что у него даже руку кредиторам подать смелости не хватает! у него, которому не дальше как третьего дня стоило только пальцем поманить, чтоб вся эта ватага, сложивши на груди руки крестом, в умилении внимала, ка̀к он, понюхивая табачок, бормочет: купить-продать, продать-купить! Нет, про̀пасть еще в нем совести, про̀пасть! Уж по одному этому, по одной этой несмелости, ты можешь угадывать, какую он ночь должен был провести накануне того дня, как ему «объявиться» пришлось! Чай, и детство-то всё, и невинность вся прошлая, и папенька и маменька, и первая любовь (он за «нею» двадцать тысяч взял, и тут же их, вместе с прочими, ухнул) — всё, всё перед глазами его пронеслось! Это уж не художественные инстинкты всполошились, а кровь, собственная кровь заговорила! И при-

бавь к этому: он даже не украл, в строгом смысле слова, а только не оправдал доверия... Почему же он совестится и держит себя так, как будто в самом деле украл?

— Да, да, в благородном пансионе воспитывался, похвальные листы получал... Вот и «червонные валеты», и они тоже...

— И их две трети из «питомцев славы» — знаю я и это. Помнишь Дмитриева:

Твои сыны, питомцы славы,
Прекрасны, горды, величавы,
А девы — розами цветут.

— Как же! Как же! Перед приходом твоим только что вспомнил! А помнишь ли, как ты последний стих переделал: *И девок розгами секут?* Видно, мы уж с малолетства «славу»-то в смешном виде любили представлять!

— Ну, что было, то прошло. Нынче ни того, ни другого уж нет: ни девы розами не цветут, ни девок розгами не секут. Разве под пьяную руку на Козихе, да и то — чтò за радость, как на мировую пятьдесят рублей сдерут!

— Да, некрасивая это штука — «червонные валеты», и не поздоровится от нее «питомцам славы»! А для меня, признаюсь, еще того прискорбнее, что на скамье подсудимых опять будут фигюрировать дети Москвы. Давно ли сидели струсберговцы, давно ли гремели адвокаты, доказывая, что они-то и суть излюбленные люди, дети Москвы, и что иных детей Москва отныне и производить не может,— и вот, точно еще недоставало для полноты картины: опять дети, да вдобавок еще... «червонные валеты»!

— И заметь, что если относительно струсберговцев нужно было еще доказывать, что они — дети Москвы, то тут даже доказательств никаких не потребуется. Прямо валяй стихами:

В каком ты блеске ныне зрима! —

всякий присяжный заседатель чутьем поймет.

— И представь себе, что ведь это та самая Москва, которая впервые собрала Русь...

— А теперь собирает «червонных валетов»? — представляю! Но, во-первых, такому городу, который сам себя называет «сердцем России», надо же что-нибудь собирать, а во-вторых, опять-таки повторю: я и вообще ничего против господ воров не имею, а «червонных валетов» — даже люблю. Русские парни! душевные, разымчатые! Не мошенничество у них на первом плане, а выдумка и смешной вид — где, в какой другой стране ты это найдешь? И притом скромны... ну, право же, скромны!

украдет красненькую, четвертную — и будет! И сейчас же спешит из этой красненькой уделить рубль тому, кто его графчиком назовет! Спроси-ка об них у трактирных половых, у извозчиков — все в один голос скажут: душевные господа — первый сорт господа! Нет! право... не знаю, как ты, а я чем больше с ними знакомлюсь, тем чаще говорю себе: хорошо с такими парнями недельку-другую пожить — утешат!

— Ну, меня не особенно к ним тянет!

— Это оттого, что ты в Петербурге засиделся, освежаться редко ездишь. А в сущности, что такое Петербург? — тот же сын Москвы, с тою только особенностью, что имеет форму окна в Европу, вырезанного цензурными ножницами. Особенность, может быть, и пользительная, да живется при ней как-то уж очень невесело.

— А по-твоему, лучше в Москве? по-твоему, весело, как над тобой, как над дураком, утешаются, да тут же, с хохотом и с визгом, и существование твое кстати подрывают?

— Дураком никому не весело быть — это я знаю, да ведь не в том и задача веселых русских «выдумок», чтоб «дураку» было весело, а в том, чтоб вот у них, разымчатых парней, сердце играло, да и посторонние чтоб не очень обижались, что в их глазах с прохожего человека пальто снимают. Русский человек любит смешной вид и многое за него прощает — как ты хочешь, а что-нибудь это да значит!

— А именно?

— Да хоть бы то, что русский человек не видит мирового события в явлении, которое само по себе ломаного гроша не стоит; не кричит, не мстит, не хранит затаенной злобы, а может быть даже,— инстинктивно, разумеется,— связывает с этим явлением своего рода внутренний вопрос... Согласись сам, можно ли сердиться, например, на такую выдумку, об которой я на днях от одного москвича слышал. Встречается «червонный валет» в трактире или в другом публичном месте с иностранцем и, разумеется, как малый общительный, вступает с ним в разговор. Не забудь, что «червонный валет» хоть и «вор», но это отнюдь не мешает ему быть обворожительным молодым человеком. Манеры у него — прекрасные, разговор — текучий, и при этом такие обстоятельные сведения о Москве, об ее торговле, богатствах, нравах, обычаях и прочее, которые прямо свидетельствуют о всестороннем и очень добросовестном изучении. Иностранец тем более очарован, что с этими манерами и сведениями соединяется безграничный досуг и чисто славянская готовность услужить, успокоить человека, находящегося вдали от родины, среди чужих. Мало-помалу — конечно, не в один и не в два дня — очарование приносит желае-

мый плод: иностранец, в свою очередь, делается излиятельным. Происходит обмен мыслей, произносятся жалобы на обилие за границей капиталов, делающее помещение их до крайности затруднительным, и в результате оказывается, что Россия есть единственная в мире благословенная страна, в которой капитал, без труда (ежели не украдут), может приносить очень серьезный процент. Как только разговор установился на этой почве, так «червонный валет» уж смотрит на своего собеседника, как на «фофана». И вдруг — мысль! продать этому «фофану» казенные присутственные места. Сказано — сделано. Весь клуб «червонных валетов» в движении: один бежит к экзекутору присутственных мест и предупреждает его, что на днях его посетит знатный иностранец, интересующийся вопросом о чижовках вообще и московских в особенности; другой — наскоро нанимает помещение и устраивает в нем псевдонотарияльную контору; третий — спешит щегольнуть такими фальшивыми документами, чтоб лучше настоящих были; четвертый — приготовляется разыграть роль владельца-продавца; пятый, шестой — просто радуются и думают: вот-то удивится «фофан»! Словом сказать, все заняты и всем весело. В назначенный день происходит осмотр; экзекутор, как истинно гостеприимный хозяин, показывает: вот чижовка! вот еще чижовка! и еще, и еще, и еще чижовка. Червонный валет служит при этом переводчиком, стучит кулаком об стену и говорит: милорд! посмотрите, какая толщина! Потом едут к нотариусу, получают с иностранца задаточные деньги, провожают его в гостиницу, и затем — все исчезает. Ни нотариуса, ни очаровательного молодого человека, ни владельца дома — ничего. Остаются лицом к лицу: экзекутор, который еще раз готов казенные чижовки лицом показать, и знатный иностранец, который никак не может втолковать экзекутору, что он этот дом купил и надеется получать на свой капитал не меньше десяти процентов... Скажи по совести: будь ты в числе присяжных заседателей, неужели ты мог бы рассердиться на такую «выдумку»?

— Да ведь сердиться и не требуется; требуется только сказать, совершено ли мошенничество, о котором идет речь, или не совершено?

— То-то, что не это одно. Нужно и еще на вопрос ответить: виновен ли такой-то в совершении мошенничества или невиновен?

— Конечно, виновен! тут и сомнения не может существовать!

Признаюсь, я сказал это хоть и бойко, но насколько было в этой бойкости искренности — это еще вопрос. Как ни стран-

ным это может показаться, но рассказ Глумова о продаже здания присутственных мест произвел во мне некоторое раздвоение: с одной стороны, представлялась законопреступность деяния, с другой — выдумка. Ежели первая стояла вне всяких сомнений, то вторая... можно ли, при обсуждении дела, в котором главную роль играет «выдумка», обойти эту «выдумку»? справедливо ли исключить ее из счета обвиняемого? На всякий случай предположите, например, что, по беспримерной снисходительности суда, в числе прочих вопросов, предложенных на разрешение присяжных, значится следующий: «заключает ли в себе выдумка об отчуждении здания казенных присутственных мест настолько завлекательности, чтоб заинтересовать людей, коих природное веселонравье в значительной степени возращено и выхолено полученным в благородном пансионе воспитанием?» — что могут ответить на него присяжные?

По моему мнению, тут может произойти одно из двух: или присяжные, убоясь скандала, попросят их от ответа уволить, или же они сойдут в глубины своей совести и, не найдя там ничего, кроме веселости, вынесут ответ: «Да, выдумка достаточно завлекательна». Это будет, конечно, скандал, но скандал ведь и в первом случае неминуем, потому что самое отступление перед трудностями разрешения доказывает ясно, что вопрос только по форме представляется скабрезным, а по существу затрогивает самые чувствительные струны человеческого существования.

Но, возразит мне читатель, присяжные ведь могут ответить и так: «Нет, ничего завлекательного в выдумке «червонных валетов» не видится». Да, они несомненно могут и так ответить, но клянусь, что подобным ответом они все-таки отнюдь не избегнут скандала. Ибо, кроме официальных присяжных, в зале суда присутствует еще целая толпа присяжных неофициальных, которые, наверное, найдут вынесенный приговор не только противоречащим вeяниям времени, но и прямо кляузным. «Суди, да не засуживай!» — вот общий голос, который вынесется навстречу мертворожденному решению, и я, право, не знаю, насколько выиграет от этого «институт» присяжных.

— И их, разумеется, поймали? — продолжал я, обращаясь к Глумову.

— Разумеется, поймали, и притом со всеми онёрами: с раскаянием, с разоблачениями, с детскими противоречиями. Но ты вот что сообрази: во-первых, они взяли со знатного иностранца за свою выдумку не больше четырех-пяти тысяч рублей, что, при разверстке между членами братства и за исключением издержек, дало не более полутораста — двухсот рублей на человека; во-вторых, они всё дело вели почти открыто, и

не только не заметали своих следов, но, наверное, отпраздновали свою победу над «фофаном» самым шумным образом и притом непременно в таком месте, куда самая простодушная полиция — и та получила свободный доступ. Разве таковы признаки настоящего мошенника? Мошенника современного закала, например, который прямо из кармана не ворует, а невидимо превращает рубль в полтинник, не оставляя за собой ни поличного, ни ответчиков, ни даже истцов?

— Хорошо, оставим на время «червонных валетов». Какое же, по-твоему, средство избавиться от того невидимого вора, о котором мы сейчас упомянули? Каким образом так устроить, чтоб хоть завтрашний-то день, благодаря ему, не стоял перед нами угрозой?

— Ты это насчет того, что ли, чтоб завтра было что дать на расход кухарке? ну, на это и без экстренных мероприятий средства еще найдутся.

— Нет, ты не шути, тут не о кухарке речь, а вообще... Жить сделалось неловко — вот что! Деньги — какие-то загадочные сделались, кредита — нет... Прежде вот «портфёль» был, ну, «баланс» тоже, а теперь, сказывают, и «портфёль», и «баланс» — всё потеряли.

— На этот счет я могу тебя успокоить: обращено внимание!

— Славу богу! Ты разве слышал что-нибудь?

— Достоверно знаю. Вчера, как из собрания кредиторов шел,— Левушку Коленцова встретил. «Поздравь меня, говорит, я уж в Семиозерск не еду!» — Что̀ так? говорю, то охотился, а теперь вдруг... «Другая миссия представляется, говорит. Entre nous soit dit[1], на днях имеет быть возбужден... ну, вот, насчет этого «портфёля»... так я»... И назвал мне такую миссию, и с таким, братец, содержанием, что я, от удовольствия, пальцем его прямо в живот ткнул!

— Ну, хорошо... ну, будет, положим, комиссия... что же эта комиссия сделает?

— Да печаль твою рассеет — и то хорошо. «Портфёль» отыщет, «баланс» подведет...

— Поди, чай, опять сто один том «Трудов» издадут?

— Уж это само собой!

— Прескверная эта привычка у наших комиссий... Да притом и «Труды»-то... представь себе, ведь Левушка Коленцов участие в них принимать будет!

— Доверия, что ли, в тебе он не возбуждает? — напрасно! Не знаю, как насчет «баланса», а насчет «портфёля» ему бог такой разум дал, что он любого финансиста за пояс заткнет!

---

[1] Между нами будь сказано.

— То-то, что только насчет «портфёля»!

— А ты не торопись! сперва пускай «портфёль» сыщет, а потом догадается, что и без «балансу» нельзя — и «баланс» поднесет.

— То-то на экономических обедах радость будет! Только, воля твоя, а у меня эги сго один том «Трудов» из головы не выходят. Покуда они потрошат, да соображают, да округляют...

— А мы будем жить, время проводить. Вот об струсберговцах еще забыть не успели, а уж «червонные валеты» грядут! И не увидим, как время пролетит!

— Но ведь ты сам сейчас говорил, что в общественном смысле, как знамение времени, значение «червонных валетов» — неважное!

— И все-таки! Конечно, в громадном процессе отнятия и исчезновения, охватившем вся и всё, роль этих молодых людей второстепенная и эпизодическая, но не забудь, что бо̀льшая часть их еще очень недавно называла себя «питомцами славы», «детьми Москвы» и другими звонкими именами, какие нынче даже и адвокату на язык не вдруг взбредут. Ведь это тоже чего-нибудь да стоит! Так вот ты и займись ими, пока Левушка Коленцов будет «портфёль» и «баланс» отыскивать. А о прочем не тужи и, главное, не копи денег, потому что Сидор Кондратьич, коли захочет,— всё равно отнимет!

Я решился последовать совету Глумова. Хоть я и уверен, что все идет к лучшему в лучшем из миров и что не только «портфёль» с «балансом», но со временем даже и «стыд» будет отыскан (недаром Глумов говорит: стыд — это главное! покуда «стыда» не будет — ничего не будет!), но, в ожидании этих благ, время все-таки проводить надо. Так я и поступаю. Сегодня — окриляюсь надеждами; завтра — увядаю. Один день читаю в газетах: усилия г. Коленцова, по-видимому, близки к осуществлению, и есть надежда, что не только портфёль будет отыскан, но и баланс подведен. А на другой день в тех же газетах читаю: с появлением на сцену новых действующих лиц, гг. Бритнева и Юханцева, надежды г. Коленцова рассеялись как дым. Портфёль вновь исчез, и на этот раз, кажется, безвозвратно...

А время между тем идет да идет. И все, слава богу, живы.

ПОХОРОНЫ

Скучно жить на свете, господа!

Гоголь

Мы уныло шли за траурными дрогами, изредка только перебрасываясь отрывочными замечаниями. Быть может, нам не об чем было беседовать друг с другом (хотя почти все, составлявшие печальный кортеж, были по профессии литераторы), но, может быть, и самая обстановка, среди которой совершалась погребальная церемония, располагала к угрюмой сосредоточенности.

Хоронили Пимена Коршунова, русского литератора, не особенно знаменитого, но и не вовсе безвестного — та̀к, средней руки. Хоронили на счет семидесяти пяти рублей, которые ассигновал Литературный фонд, предварительно, впрочем, удостоверившись, что покойный пил водку только перед обедом и «не предаваясь». Стояло хмурое октябрьское утро, но, благодаря наступившим морозам, на улицах было сухо и слегка скользко; низко, почти над самыми домами, стояла непроглядная масса серых облаков, из которых попархивал первый снежок. Близких по крови у Коршунова не было, из близких по духу собралось на похороны четыре-пять сотрудников газеты, в которой, под конец жизни, участвовал покойный. Эти последние ближе жались к гробу, но и их горесть формулировалась как-то чересчур несложно, словно одна только мысль и представлялась уму: вот и умер! Вообще весь кортеж состоял из пятнадцати — двадцати человек, разбившихся по группам. Всем было не по себе, все шли понуривши голову, как будто каждый думал: вот скоро надорвусь и я... да и над чем надорвусь!! Только какой-то проворный газетчик, ликуя под впечатлением успешной розничной продажи, порхал от группы к группе и таинственно сообщал всем, и хотевшим,

и не хотевшим слушать: вчера разошлось двадцать восемь тысяч нумеров!

На Театральной улице, против дома, где помещается цензурное ведомство, отслужили литию. Сам покойный пожелал этого и накануне смерти говорил: пускай хоть по поводу моего переселения в лучший мир совершится сближение литературы с цензурой! Во время литии цензурный сторож пронес в ворота ведро алых чернил, и кто-то громко, без предварительной цензуры, сострил: вот писательская кровь, невинно пролиянная! Но и эта острота ни в ком не вызвала отголоска, и затем кортеж убийственно медленным шагом потянулся дальше.

Чувство бесконечной отчужденности и наготы овладевало всяким при взгляде на эту бедную обстановку. Думалось, что везут какого-то отщепенца, до которого никому из «публики» дела нет (а он именно для «публики»-то и жил, и ради «публики» безвременно зачах и сошел в могилу). Да и своих не особенно поражала эта потеря, потому что «свои» уж давно освоились с могилами. Даже больше, чем просто «отщепенство», тут виделось: казалось, что только по ошибочному неизреченному благосердию допущена эта бедная церемония, предметом которой служила совершенно особенная и притом не вполне безопасная человеческая разновидность, именуемая русским писателем.

По мере того как дроги приближались к месту назначения (Митрофаниевское кладбище), кортеж, и без того немноголюдный, постепенно редел. Одни разбрелись по попутным кондитерским и кухмистерским, обещавшись «нагнать»,— и не нагнали; другие окончательно возвратились по домам, мотивируя свое отсутствие спешностью предстоящей срочной работы. У Обводного канала оказалось налицо не больше шести-семи человек, которые прежде не догадались, а теперь уж совестились улизнуть. Обстоятельство это, однако ж, послужило к оживлению кортежа; оставшиеся скучились, и беседа между ними пошла бодрее. Но предметом этой беседы служил не Пимен Коршунов («он умер» — этим все было сказано), а то, что наболело на душе у каждого, что у всех на памяти свело в могилу десятки надорвавшихся людей, что каждого из переживших преследовало по пятам, устраняя всякую мысль о возможности освободиться когда-нибудь от ига жгучей боли.

О, литература! о, змея-мачеха всех этих отщепенцев! ты, постылая! ты, напояющая оцтом и желчью сердца своих деятелей! ты, ты была предметом их внезапно оживившегося собеседования! Много сетований, много гнева слышалось в их речах, но еще больше бесконечной любви к постылому ремеслу

и какой-то детской уверенности, что все-таки только тут, на этом тернистом пути, кишащем всевозможными гадами, можно спасти душу.

Разумеется, начали со слухов, имевших ближайшее прикосновение к современности. Какое отношение может иметь эта животрепещущая современность к литературе? чего нужно ждать? будет ли лучше? Все эти вопросы как-то искони фаталистически тяготеют над литературой, а по временам врываются в нее с особенною назойливостью. Натурально, что они перенеслись и сюда. Кто-то из собеседующих высказался, что лучшие времена недалеко и что ввиду этого требуется только осторожность и терпение; но остальные отнеслись к этим надеждам скептически, хотя терпеть соглашались, потому что «не терпеть» — нельзя. Один даже такой выискался, который прямо объявил, что надеяться можно только на розничную продажу, а больше ни на что; что современные условия литературного ремесла таковы, что самое существование литератора представляется чем-то несовместным с здравыми традициями о внутреннем убеждении; что вообще, если относительно массы смертных принято говорить: благо живущим, то в применении к русским писателям правильнее выражаться так: благо умирающим, и еще большее благо — умершим. Высказавши это, он указал рукой на колебавшийся впереди на дрогах гроб, и это напоминание невольно вызвало у некоторых чуть заметную дрожь.

— Я не говорю уже о том,— продолжал расходившийся оратор,— что мы терпим от глада и труса, что мы живем чуть не в засаде, но мы не знаем даже, для чего и для кого мы пишем. Кто нас слышит и что извлекает этот слышащий из обращенного к нему слова? Многие из нас готовы положить душу (да и действительно полагают ее) «за други своя», а кто знает об этом? Кто отличит страстного литературного труженика от легковесной литературной балалайки, которая, по случаю распутной подвижности темперамента, готова сватать себя любому проходящему? Кому вдомек, что где-то, в какой-то лишенной света и воздуха литературной норе, ежемгновенно совершается жертвоприношение, при котором сердце истекает кровью и сгорает многострадальная писательская душа под бременем непосильных болей?

Речь эта несомненно страдала некоторыми риторическими преувеличениями, но сущность ее была небезосновательна. Стали разыскивать: что такое русская публика? из каких элементов она составляется? кто эти прекрасные незнакомцы, ради которых русский писатель волнуется в своей конуре? С какими намерениями они подписываются на журналы, поку-

пают книги? что они вычитывают в этих книгах? может быть, видят в них только пресловутую «фигу»? а может быть, кроме «фиги», и видеть-то нечего?

— Ах, господа, господа! — вздохнул кто-то, когда дело дошло до «фиги», как мерила для оценки содержания русской книги.

Что современная русская литература небогата силами — это, конечно, не подлежит сомнению. Но не в этой относительной бедности скрывается главная беда. Есть нечто гнетущее, что́, при самом рождении, кладет на русскую мысль своеобразную печать. Литература наша и доднесь представляет два совершенно отличные типа: с одной стороны, недоконченность, невысказанность, боязнь; с другой стороны — такая ясность, которая равносильна наглости, доведенной до разврата. Очевидно, в воздухе носится еще крепостное право. Оно провело заповедную черту, под которой похоронило громадное количество явлений и закупорило наглухо целые мириады существований, которые бьются где-то на дне, тщетно усиливаясь выйти на божий свет. И оно же вызвало и пригрело бесчисленное множество литературных паразитов, которые с изумительным легкомыслием вливают яд распутства в русский жизненный обиход.

Да, крепостное право упразднено, но еще не сказало своего последнего слова. Это целый громадный строй, который слишком жизнен, всепроникающ и силен, чтоб исчезнуть по первому манию. Обыкновенно, говоря об нем, разумеют только отношения помещиков к бывшим крепостным людям, но тут только одна капля его. Эта капля слишком специфически пахла, а потому и приковала исключительно к себе внимание всех. Капля устранена, а крепостное право осталось. Оно разлилось в воздухе, осветило нравы; оно изобрело путы, связывающие мысль, поразило умы и сердца дряблостью. Наконец, оно же вызвало целую орду прихлебателей-хищников, которых деятельность так блестяще выразилась в бесчисленных воровствах, банкротствах и всякого рода распутствах.

Само начальство изнемогает под бременем борьбы с этим недугом. Возьмем для примера хоть литературу: кажется, ей дана самая широкая свобода, а между тем она бьется и чувствует себя точно в капкане. Во всех странах, где существует точь-в-точь такая же свобода,— везде литература процветает. А у нас? У нас мысль, несомненно умеренная, на которую в целой Европе смотрят как на что-то обиходное, заурядное,— у нас эта самая мысль колом застряла в голове писателя. Писатель не знает, в какие чернила обмакнуть перо, чтоб выразить ее, не знает, в какие ризы ее одеть, чтоб она не вышла

уж чересчур доступною. Кутает-кутает, обматывает всевозможными околичностями и аллегориями, и только выполнив весь, так сказать, сложный маскарадный обряд, вздохнет свободно и вымолвит: слава богу! теперь, кажется, никто не заметит!

Никто не заметит? а публика? и она тоже не заметит? ужели есть на свете обида более кровная, нежели это нескончаемое езопство, до того вошедшее в обиход, что нередко сам езопствующий перестает сознавать себя Езопом?

Дойдя до этого заключения, все отдали полную справедливость либеральным намерениям начальства. Не начальство стесняет — оно, напротив, само неустанно хлопочет — стесняет сама жизнь, пропитанная ингредиентами крепостного права. Что может начальство противу разнообразных и всемогущих влияний, которые, подобно бесчисленным электрическим токам, со всех сторон устремляются к одному центру — литературе? что может оно, ввиду громов, готовых разразиться каждоминутно и неведомо по какому поводу? что может оно, наконец, ввиду того литературного распутства, которое ревниво комментирует мысль противника, а по временам не откажется и прилгать?

Вот почему покойный Коршунов никогда не роптал на литературное начальство, хотя, как человек грешный, иногда и любил ввести его в заблуждение.

— Поддержать, брат, нас некому — вот в чем беда! — сколько раз говаривал он мне,— читатель у нас какой-то совсем особенный, словно не помнящий родства: ни любовь его, ни негодование — ничто в грош не ставится!

Когда я напоминал об этих словах покойного, то все опять принялись разыскивать, из каких элементов состоит русская читающая публика. Перечисляли, перечисляли (выходило как-то удивительно разношерстно по внутреннему содержанию и однообразно по костюму) и в конце концов опустили руки. В заключение рьяный оратор, который так красноречиво говорил о писательских жертвоприношениях, каким-то болезненно-надорванным голосом крикнул:

— Читатель! русский читатель! защити!

Но возглас этот потерялся в шуме деревьев, охраняющих Митрофаниевское кладбище.

Мы были у цели. Церковь была полна народа и гробов. Гробы были почти сплошь бедные, только одна усопшая раба божия Пулхерия, 1-й гильдии купчиха, смиренно возвышалась на катафалке, против самого алтаря, в богато изукрашенной домови́не. По ее поводу за обедней пели «хорошие» певчие, и, благодаря этому обстоятельству, и Пимен воспользовался сладкогласным пением. Мы скромно поставили нашего друга

поодаль и терпеливо ожидали очереди. Нашелся добрый батюшка из недавно кончивших курс, который посвятил себя умершему литератору и сказал, по поводу этой смерти, увенчавшей отверженное существование, отличнейшее, полное глубокого сострадания слово. О, Пимен! если бы ты мог из своей домовины слышать эти простые, полные любви слова, ты, наверное, по великой своей скромности, воскликнул бы: батюшка! я человек маленький, и, право, рисковать из-за меня...

Наконец мимо нас пронесли с парадом усопшую 1-й гильдии купчиху Пулхерию, и церковь мало-помалу начала пустеть. Вынесли и мы своего покойника, шли довольно долго между рядами памятников и решеток и наконец нашли уголок, в котором готова была свежая могила. Через полчаса все было кончено.

С кладбища мы зашли было в одну из ближайших кухмистерских, где обыкновенно устраиваются поминальные торжества, но минут с пять потолкались перед буфетом, поглазели на собравшуюся публику и, не совершив возлияния, разбрелись по домам.

Я знал Коршунова довольно хорошо. Это был человек всецело литературный, живший одною жизнью с русской литературой, не знавший никаких интересов, кроме интересов литературы, не вкусивший ни одной радости, которая не имела бы источником литературу. Он с жадностью следил за всеми подробностями литературного движения, за всякою литературной полемикой; он ничего не знал, ни с чем не хотел иметь общения, кроме литературы. Ныне этот тип мало-помалу исчезает, но еще в недавнее время таких людей встречалось достаточно. Я не могу сказать наверно, насколько ценны и существенны были интересы, их волновавшие, но наверно знаю, что, только благодаря их горячей преданности, их беззаветной, не поддавшейся никаким невзгодам любви, их самоотверженному долготерпению, русская литература не прекращала своего существования.

Эти люди на весь мир смотрели лишь постольку, поскольку он представлял материал для литературного воздействия. Многие, даже в то глухое время, над этим посмеивались. Говорили: вы всё с вашими мизерными литературными интересишками носитесь. Ну, что такое ваша литературная бессильная стряпня в сравнении с плавным и неусыпающим движением административного механизма! Вот где истинный центр жизни, вот где настоящее жизненное творчество! А задача

литературы — забавлять и безвредным образом занимать досуги читателей.

В то время такого рода приговоры считались безапелляционными. В любом указе губернского правления предполагалось больше творческой силы, нежели, например, в произведениях Гоголя. И точно: указ губернского правления объявлял о рекрутском наборе, напоминал о своевременном вносе податей, предписывал о пополнении продовольственных запасов, предупреждал, угрожал, понуждал. Словом сказать, и прямо, и косвенно врезывался в жизнь множества людей: одним давал возможность тучнеть, других заставлял вытягиваться в струнку. Напротив того, действие повести Гоголя, относительно большинства читателей, ограничивалось только взрывом хохота, и только в редких случаях производило что-то похожее на отрезвление. Но для того чтоб оценить это отрезвление, надобно было самому быть уже достаточно трезвым.

Коршунов и подобные ему очень хорошо понимали, какая область им отмежевана. Они нимало не обижались мнениями о ничтожестве литературных «интересишков», в сравнении с величественным воздействием административного механизма, а просто приняли их к сведению. Но зато они ушли в раковину и уже упорно не выходили из нее. Однажды убедившись, что жизнь есть администрация, они относились к ней отчасти робко, отчасти как к чему-то фантастическому, заповедному и не поддающемуся анализу. Сонное видение, которое подчас могло воплотиться и ушибить,— вот в чем заключалось представление о жизни в понятиях тогдашних литературных пустынников.

Все существование литературного подвижника проходило в этой отчужденности, посреди которой душа человеческая не знала иного идола, кроме литературного «делания». Все жизненные силы и привязанности были сосредоточены тут, а остальной мир, даже мир близких по крови и воспитанию, представлялся как бы бессодержательною формой, которая напоминала о себе лишь в качестве докучного спутника, навязанного слепою судьбой. Но эти не особенно блестящие труженики были люди свободные духом и вполне чистые сердцем, в которых литература нуждалась едва ли не больше, нежели в личностях, бьющих в глаза своею блестящею одаренностью. Повторяю: если бы их не было, литература перестала бы существовать. Они имели бесповоротные привязанности и бесповоротные вражды; они и любили, и ненавидели одинаково беззаветно и страстно. Тогдашняя литература как-то сама собой поделилась на два лагеря; причем не допускалось ни

смешений, ни компромиссов, ни эклектизма. Говорят, что это было односторонне; но лучше ли было бы, если бы существовала разносторонность,— в этом позволительно усомниться. По крайней мере, довольно странно представить себе Белинского, от времени до времени понюхивающего с Булгариным табачок. Во всяком случае, если это и была односторонность, то она спасала литературу от податливости. Ежели и в наши дни тяготение к дому терпимости составляет, по мнению некоторых, язву, которая подтачивает лучшие основания литературной профессии, то можно себе представить, что было бы, если бы это тяготение существовало — тогда?

К счастию, тогда была замкнутость, явление, конечно, не особенно плодотворное, но охранявшее литературный декорум и положившее начало некоторым литературным преданиям, на которые не без пользы можно ссылаться и ныне. Право, не без пользы.

Коршунов пробавлялся почти исключительно рецензиями. Да более любезного сердцу дела и подыскать было невозможно, потому что, в то время, в отделе критики и библиографии сосредоточивалась вся жизнь литературы. Пимен не был «критиком», но рецензент из него вышел отличный: цепкий, обладавший фразой и умевший прятать концы в воду. Тогдашние рецензии были своего рода руководящие статьи, имевшие предметом не столько разбираемую книгу, сколько высказ по ее поводу совершенно самостоятельных мыслей. Краткость не была в числе достоинств этих статей, но зато в них всегда что-нибудь «проводилось». Разумеется, очень часто (даже более, чем часто) проводимое, благодаря бесчисленным покровам, под которыми оно скрывалось, было понятно только членам «кружка», но — случайно — оно могло проникнуть и далее. Я заранее соглашаюсь, что теперь ни на одну из этих статей никто не сошлется, что им суждено покоиться безмятежным сном в тех толстых томах, где они увидели свет; но иногда все-таки сдается, что не бесследны они были. В свое время некто над ними задумывался; в свое время они производили в человеческих душах известное наслоение, и притом периодически и всё в одну и ту же сторону. Что нынче они совсем, совсем ненужны — это бесспорно, но тогда...

Не надо забывать, что тогда совсем другое было. Движения имели меньше простора, но зато они были, так сказать, поневоле приурочены, так что область ангельская резко отличалась от области аггельской. Журналов и книг было меньше, но между ними не было межеумков, которые сегодня кажут кукиш в кармане, а завтра раболепствуют. И хоть я не буду утверждать это наверное, но кажется, что и читатель, мало-помалу,

узнал, в чем заключается секрет тех бесконечных баснословий, которыми отличалась литература того времени.

Нечего и говорить, что Коршунов был беден, как Ир. Тогдашний журнальный гонорар очень мало походил на нынешний, да сверх того и самое поле литературной деятельности было до крайности ограничено. Трапеза, предлагаемая одним или двумя органами печати (из наиболее распространенных, потому что прочие сами едва дышали), была слишком скудна, чтоб напитать всех желающих. Поэтому те, которые почерпали средства к жизни только в литературном ремесле, положительно бедствовали. Коршунов был бледен и тощ от недостаточного и худого питания, но он не только не жаловался на это, а просто, кажется, забывал, что существует впроголодь. Его волновало совсем другое: невозможность высказаться.

Цензура того времени была строгая и притом разнообразная, разбросанная по всевозможным ведомствам. Я не говорю, чтобы цензорà были люди жестокие, но они сами постоянно находились как бы на скамье подсудимых, потому что в их сторону отовсюду направлены были стрелы. Ежели прибавить к этому, что, вследствие такой разбросанности цензуры, всякий (даже не цензор по профессии) вычеркивал из корректуры или из рукописи все, что ему лично приходилось не по вкусу, то ясно будет, как мудрено было проскользнуть.

Пишущая братия это знала, и потому всякий замахивался как можно шире, в предвидении, что ежели три четверти и будет выброшено, то все-таки хоть что-нибудь возвратится нетронутым. Даже Булгарин не пренебрегал этим приемом, потому что и в отношении к нему цензура была нелицеприятна. Конечно, никто не считал его «разбойником пера», но так как и он мог проврасться, то, следовательно, и из-за него могла выйти «история». Сверх того, он был бельмом на глазу, потому что подсиживал писателей противоположного лагеря, и, стало быть, в то же время подсиживал и цензуру, яко виновную в слабом смотрении. Цензор Крылов всем безразлично говорил: я никак не желаю, чтоб мне из-за вас лоб забрили! Это было очень похоже на шутку; но какая ужасная шутка! Когда Мусин-Пушкин был назначен попечителем учебного округа, то многие цензора содрогались при одном напоминании об нем и зачеркивали всегда две-три строки лишних. Они усиливались попасть ему в мысль, но, вместо того, часто попадали на гауптвахту, откуда, как известно, недалеко и до рекрутского присутствия. Это был тот самый Мусин-Пушкин, которому некогда профессор Горлов посвятил свой курс политической экономии и в посвящении упомянул о всех чинах, должностях, званиях и орденах своего патрона. Вышла почти целая стра-

ница, и я помню, что в школе мы эту страницу певали хором на мотив «верую во единого». Вот какой это был строгий человек, что даже несомненно либеральный партизан принципа laissez passer, laissez faire[1], и тот, как мог, ублажал его. Что же мудреного, если корректура возвращалась к автору не только изъязвленная и вся облитая красными чернилами, как кровью, но и доведенная почти до степени бормотания. В тогдашнее время эти цензурные проказы назывались «окошками в Европу».

Вот в каком щекотливом положении находилась литература и какую изумительную школу обязывались пройти ее служители! Нынче все это заменено предостережениями и арестом книг и журналов, что̀, конечно, несравненно удобнее.

И вот все, что̀ не могло прорваться в печать, высказывалось в интимных собеседованиях, имевших чисто кружковой характер. Замкнутость и общие невзгоды удивительно как сближали людей. На эти бедные и скудные вечера так и тянуло. И несмотря на то что почва для собеседований имела характер чисто отвлеченный и что, благодаря общему единомыслию, критики почти не существовало,— все-таки скуки не чувствовалось. Участники расходились с этих вечеров поздно, восторженные, полные ежели не намерений, то какой-то сладчайшей музыки. И будочники (городовых тогда не было) не только не хватали их, но добродушно улыбались, словно понимали, что эти люди совсем занапрасно терпят муку мученскую от своего начальства, которое, в свою очередь, такую же муку мученскую терпит от своего начальства (это была целая лестница). Да, тогдашние будочники ничего не знали ни о подрывании авторитетов, ни о потрясении основ, о чем нынче всякий подчасок без малейшего затруднения на бобах разведет.

О, будочники и всех сортов квартальные доброго старого времени! да оскудеет рука моя, если она напишет недоброе слово об вас! Мир и благоволение да почиют над могилами вашими, если вы уж достигли пристани, и да удесятерится ваш пенсион, если вы еще продолжаете пользоваться таковым!

Как бы то ни было, но Коршунов существовал. Три четверти этого существования были поглощены вопросом: пройдет или не пройдет? остальную четверть наполнял ответ: нет, не пройдет. Но иногда случалось нечто чудесное: прошло! совсем прошло! Это была радость; это были те редкие солнечные, теплые дни, которые, по временам, прорываются и среди сумерек туманной петербургской осени.

---

[1] не стеснять ни в чем свободы.

Да, бывали сладкие минуты, доставляемые и цензурою; но нужно было пройти сквозь целый искус горчайших испытаний, чтоб оценить эту случайную минутную сладость. Нынешняя печать не знает таких минут, потому что она свободна.

Наконец наступила эпоха возрождения. Радовались все, а литература — по преимуществу. Из сфер отвлеченных, заоблачных, она сходила на арену действительности, делалась участницей жизненного праздника, будила общество, ставила вопросы и блюла за их решением. Да, блюла, и даже делала выговоры и замечания. Отовсюду неслись сочувственные отголоски и присылались корреспонденции, спешившие довести до сведения блюстителей возрождения, что

...лес проснулся,
Весь проснулся, веткой каждой.
Каждой птицей встрепенулся
И весенней полон жаждой...

Литература гордилась этим пробуждением, записывала на скрижалях своих его признаки и приписывала себе инициативу его. Цензура, с своей стороны, тоже не препятствовала общему веселию, хотя в государственном бюджете, по-прежнему, назначалась соответствующая сумма на заготовление красных чернил и карандашей. В конце концов, веселье до того обострилось, что в «Московских ведомостях» г. Валентин Корш объявил прямо: «живем хорошо, а ожидаем — лучше», и с этим девизом переехал в Петербург, где и приступил к редактированию «С.-Петербургских ведомостей».

Пимен не то чтоб порицал общее ликование, а как бы держался в стороне от него. Это многим казалось странным, а между прочим и мне.

— Помилуй, голубчик,— говорил я ему,— как же ты не разделяешь общей радости! Сравни недавнее положение русской литературы с теперешнею почти свободой ее — и ты, конечно, сознаешься, что это уж не фантасмагория, а факт. Во-первых, литература не имеет надобности прибегать к езоповским аллегориям, а может говорить ясным и выразительным языком. Во-вторых, она смело вкладывает пальцы в родные язвы и, не выжидая начальственных по сему предмету мероприятий, сама предлагает средства к уврачеванию. В-третьих, она не только не трепещет перед начальством, но прямо сознает себя силой, с которой нельзя не считаться... Ужели это не победа?

На это он отвечал мне не то уныло, не то загадочно:

— Так-то так, и я, конечно, вместе с прочими, очень признателен начальству за его благосклонную к литературе снисходительность; но, признаюсь, одно обстоятельство тревожит меня.

— Что же тут может тревожить?

— Боюсь я: гаду много в литературе заведется. До сих пор русские писатели держались особняком, а если кто из них и чувствовал в себе поползновение к податливости, то или совестился высказываться, или же понимал, что в результате этой податливости может быть только грош, так что, собственно говоря, и компрометировать себя не из чего. А теперь с этой «практической ареной» — смотри, какая скачка с препятствиями пойдет! Изо всех щелей бойцы вылезут, и всякий непременно будет добиваться, чтоб ему дали возможность товар лицом показать! Ну, и насрамят.

Прежде всего, это было несправедливо и даже как будто своекорыстно. Гадливость, высказанная Коршуновым относительно бойцов, выползающих из щелей, показалась мне до того неожиданной, что в голове моей невольно мелькнула мысль: уж не стоит ли он на страже литературного единоторжия? Но не успел я надлежащим образом формулировать мой вопрос, как он, Пимен, уже угадал его.

— Нет, я не об этом,— сказал он совершенно наивно,— я не за кусок свой боюсь — Христос с ними, пускай конкурируют! — а за литературу. Право, за литературу!

— Но где же факты? — воскликнул я,— что̀ дает повод сомневаться в будущем нашей литературы?

— И фактами похвалиться не могу — времени для фактов еще мало — но имею предвидение... Я вижу людей, лица которых должны были бы потускнеть, а между тем они сияют. Но мало того, что эти господа не чувствуют себя сконфуженными,— они, напротив, забегают вперед и об том только и думают, как бы повычурнее лягнуть то, перед чем они еще вчера, у всех на глазах, раболепствовали. Разве это не страшно?

В виду подобных предвидений, спор, очевидно, утрачивал всякую реальную почву, и поэтому возражать было бесполезно. Но, кроме того, оставался и еще вопрос, который в высшей степени тревожит меня: что̀ же он, Пимен, предполагает делать с собою?

— Неужели же ты бросишь литературу? — спросил я.

— Нет, не брошу,— ответил он,— во-первых, деваться мне некуда, во-вторых, чем я лучше других? а в-третьих, и новость дела меня не страшит: сто̀ит только привыкнуть да изловчиться — и все пойдет как по маслу. Ведь все эти так

называемые «жизненные вопросы» таковы, что, право, любая курица может об них написать с три короба руководящих статей.

— Да, но ведь и статьи в таком случае будут куриные?

— А ты думал, что теперь потребуются статьи орлиные?

Как ни странны были эти ответы, но они меня успокоили, потому что в них проглядывала покорность судьбе. Надо сказать при этом, что в начале эпохи возрождения Пимен участвовал в одном толстом журнале, но вскоре как-то так случилось, что журнал прекратил существование, и вследствие этого представилась такая дилемма: или класть зубы на полку, или вступить на арену «живых вопросов». К счастью, как раз кстати, в это самое время наш общий друг, Менандр Прелестнов, затеял в Петербурге новую газету и устроил при ней Пимена в качестве передовика. Первые шаги Коршунова на этом новом поприще были, конечно, довольно робки и нерешительны, но, мало-помалу, он стал поправляться, поправляться — и через месяц так изловчился, что уже не оставалось желать ничего лучшего. Однако, странное дело, всякий раз, когда я принимался за чтение коршуновских статей, меня почему-то так и обдавало каким-то специфическим куриным запахом...

Тем не менее, несмотря ни на возрождение, ни на куриный запах статей, Пимен все-таки не утратил старой привычки трепетать. Я помню, однажды он принес мне статью, смысл которой заключался в том, что ежели будочник накрыл вора на месте преступления и не настолько физически силен, чтоб однолично стащить его в квартал, то всякий мимоидущий обыватель немедленно обязывается оказать ему содействие. Статья была написана горячо, убежденно и даже несколько назойливо, то есть совсем так, как приличествует страстно клохчущей курице. Положение слабосильного будочника, в виду грозящей обществу опасности, было изображено таким перекатным бурмицким слогом (style perlé [1]), каким умеют писать только могиканы сороковых годов; напротив того, обязанность мимоидущего обывателя была обрисована кратко и отрывисто, штрихами резкими, почти приказательными. Одним словом, так эта статейка была хороша, уместна и благовременна, что я тут же не преминул поздравить Пимена с успехом.

И вдруг он меня поразил.

— Хорошо-то хорошо,— сказал он,— я сам понимаю, что по нашему месту лучше не надо. Да вот в чем штука: пройдет или не пройдет?

— Помилуй, любезный друг! — разгорячился я,— да какое же, наконец, имеешь ты право сомневаться в этом! Могу удо-

---

[1] изящным слогом.

стоверить тебя, что не только пройдет, но даже, если позволительно так выразиться, пройдет *с удовольствием!*

— А помнишь, Булгарин говаривал: о действиях и намерениях начальства не следует отзываться не только в смысле порицания, *но ниже в смысле похвалы.* Стало быть, содействие слабосильному будочнику... Но позволь! прежде всего ответь мне на вопрос: имеем ли мы право публично заявлять, что бывают слабосильные будочники?

— Почему же не заявить?

— Потому что это, хотя и отдаленное, но тем не менее все-таки несомненное порицание. Кто определил будочника? — квартальный! Кто определил квартального? — частный пристав! А затем и пошло, и пошло. Вспомни-ка, как об этом в Булгарине пишется?

— То Булгарин, а теперь...

— Нет, мой друг, в сущности, Булгарин отлично понимал, в чем тут суть. Ни порицания, ни похвалы — вот истинный принцип по всей чистоте. Потому что, где есть похвала, там есть уж рассуждение, а где рассуждение — там корень зла. От рассуждения недалеко до анализа, от анализа до порицания. А потом пойдут несвоевременные притязания, подрывания, потрясания... Нашему брату публицисту нужно азбуку-то эту наизусть знать!

— Какие, однако ж, у тебя допотопные теории! Разумеется, осторожность никогда не лишняя, но не слишком ли уж ты пересолил, голубчик? Вспомни, что теперь совсем другое время, что теперь всякое благонамеренное указание, особливо ежели оно сделано благовременно...

Однако, как я ни старался разуверить его, он так-таки и остался при своем: пройдет или не пройдет?

Разумеется, прошло.

Вообще статьи его не только проходили, но и производили впечатление, так что один статский советник искал даже случая познакомиться с ним. Пимен сам рассказывал мне об этом замечательном казусе.

— Пришел, братец, ко мне на квартиру, рекомендуется: статский советник Растопыриус. Статьи ваши, говорит, превосходны, но чтоб они окончательно сделались образцовыми, необходимо привести их в соответствие. Нужно, чтоб вы познакомились с некоторыми видами и соображениями, которые поставят вас на настоящую точку. Не сделаете ли вы, говорит, мне честь пожаловать ко мне на чашку чаю?

Разумеется, как человек робкий и подверженный начальству, Пимен не осмелился ослушаться. Он купил готовую фрачную пару и пошел. Но тут произошло нечто неслыханное.

Когда m-r Растопыриус подвел его к m-me Растопыриус и когда последняя протянула ему ручку, Пимен, вместо того чтоб почтительно пожать эту ручку, бросился на хозяйку и обнял ее. И затем тотчас же упал в обморок. Разумеется, его немедленно же убрали. На этом попытка сближения с статскими советниками и кончилась. Мало того: с этих пор Растопыриус даже открыто стал называть Пимена неблагонамеренным.

Но кроме вопроса о том, пройдет или не пройдет, было и еще одно слово, которое не сходило у него с языка.

— Гаду много! — беспрерывно восклицал он,— гаду! гаду! гаду!

И называл по именам. Но что всего хуже, я и сам, по временам, становился в тупик перед его обличениями. Действительно, хотя вполне сформировавшихся, окончательно созревших гадов, в то время, еще нельзя было указать, но нечто намекающее уж было. Были, так сказать, гады ближайшего будущего, заявлявшие в настоящем только о бесконечной податливости. Большинство их копошилось в газетах и, работая изо дня в день, забывало сегодня, что говорило вчера, и заботилось лишь о том, чтоб выходило бойко и занозисто. Поистине это были совсем-совсем легкомысленные люди (но еще не распутные), хотя некоторые из них были несомненно талантливы и пользовались известностью.

Признаюсь, этими постоянными напоминаниями о гадах Пимен достаточно-таки смущал меня, а однажды даже поставил в весьма щекотливое положение.

Подобно Пимену, и я, грешный человек, изредка пописывал передовые статейки, но манера у меня была несколько иная. В то время как Пимен мысленно облетал всю Европу и призывал во свидетельство древние и новые законодательства, чтоб доказать, что будочник без свистков все равно что мужик без портков, я ту же мысль проводил тонами двумя пониже. Я не прибегал к громоздкой обстановке, не блистал ученостью, но действовал, по преимуществу, с помощью образов. Я изображал уныние и беспомощность обывателей, отданных на жертву грабителям, живописал отчаяние будочника при виде безнаказанно убегающего вора и этой мрачной картине противополагал другую, более светлую: картину спокойствия обывателей, достигаемого одним введением свистка. И ежели «серьезные» статьи Пимена находили многочисленных сочувствователей, то и моя скромная манера имела своих поклонников. У Пимена был статский советник Растопыриус (уроженец суровой Финляндии), у меня — статский советник Раскаряка (уроженец благословенной Малороссии), которому, вдобавок, уже дано

было слово, что к предстоящей пасхе он будет произведен в действительные статские советники.

И вот, однажды, сидит у меня статский советник Раскаряка, и мы мирно беседуем. Радуемся происходящему, а в будущем предаемся сугубой радости. Он говорит:

— Но представьте, какие перспективы!

Я отвечаю:

— А за этими перспективами еще перспективы! И еще, и еще, и еще!

Словом сказать, жуируем.

Вдруг вбегает Пимен. Бледен, волосы на голове растрепаны, глазные яблоки вылезают из орбит, ничего не видит... Не видит даже статского советника Раскаряку, который учтиво встал при появлении его (чутьем узнал, что вошел публицист) и застыл в позе, ясно говорившей о готовности отрекомендоваться.

— Гады! гады! гады! — вне себя рычал Пимен, держа себя за голову.

Первая мысль моя была: не прошло!

— Что такое? что случилось? — воскликнул я, бросаясь к нему.

— На, читай!

Он подал мне нумер только что начавшей выходить газеты «И шило бреет». В передовой статье шла речь о тех же самых перспективах, о которых мы только что разговаривали с статским советником Раскарякою. Выражалось изумление перед бесконечностью перспектив; бросался взгляд на прошлое и приподнималась завеса будущего; ставился вопрос: выдержит ли наше молодое общество или не выдержит? Словом сказать, все виды и предположения, сейчас проектированные Раскарякою, были изложены почти с буквальною точностью.

— Что ж тут такого... ужасного? — изумился я,— не сам ли ты, не далее как вчера, в статье о передаче пожарной части в ведение городских дум...

Но Пимен ничего не слышал и только восклицал:

— Ужасно, ужасно! ах, это ужасно!

Я привык к подобным выходкам моего друга; но статский советник Раскаряка — не привык. Он некоторое время стоял в нерешимости, словно прислушивался и соображал. И вдруг он позеленел и как-то неприятно заерзал губами.

— Однако, милостивые государи, в вас блох-то еще довольно! — процедил он сквозь зубы и, не подавая мне руки, гордо проследовал в переднюю.

Но чем же я-то тут виноват?!

Разумеется, я не позволил себе ни одного слова упрека Пимену, но в глубине души все-таки не мог не сказать себе: так-то вот мы всегда! Без надобности раздражаем людей несвоевременными выходками, а после жалуемся, что у нас «не проходит»! А ведь от жалоб, как известно, один шаг и до раскаяния...

К удивлению моему, я впоследствии узнал (Коршунов сам признался мне в этом), что точь-в-точь такие же мысли волновали в это время и Пимена и что он, немедленно после ухода Раскаряки, уж спохватился и начал обдумывать на эту тему передовую статью для завтрашнего нумера.

Я с умыслом останавливаюсь на этом факте, ибо он очень назидателен. Мы, писатели, вообще слишком легко относимся к статским советникам и подчас даже бываем склонны подтрунить над ними. Мы думаем, что статский советник не важная птица и что от нее литературе ни тепло, ни холодно. Но, к сожалению, это мнение заключает в себе самое пагубное самообольщение.

Во-первых, нет в природе субъекта, относительно которого русский писатель мог бы считать себя вполне безопасным. Одни влияют на него непосредственно, подвергая различным непредвиденностям и даже лишая средств к пропитанию; другие — влияют посредственно, распространяя в обществе слухи, что литература есть вертеп, в котором бесчинствуют разбойники пера. Идет по улице смешной прохожий, а ты, легкомысленный писатель, уж и цепляешься за него! А почем ты знаешь, какую тайну хранит в себе этот смешной прохожий?!

Во-вторых, что касается специально статских советников, то отнюдь не следует забывать, что каждый из них заключает в себе зерно действительного статского советника, а действительный статский советник, в свою очередь, предполагает в себе зародыш такого пышного цвета, один вид которого может сразу убить человека...

Все эти превращения нужно предвидеть, и, вместо того чтоб трунить над статскими советниками, гораздо расчетливее их угобжать, дабы они, взойдя на высоту величия и славы, попомнили нам это. Скажут, быть может, что из ста статских советников девяносто девять, наверно, так и отцветут в этом чине, так стоит ли, дескать, с ними церемониться? Допустим, что и так. Но если даже один из сотни разовьется как следует, то представьте, какое он даст от себя благоухание и как это благоухание отзовется на литературе, смотря по тому, был ли расцветший субъект пренебрежен или угобжен в скромном чине статского советника!

И еще скажу: прежде нежели приступить к насмешкам над статским советником, необходимо соразмерить свои силы и на всякий случай подготовить приличное отступление. Я не порицаю раскаяния, но нахожу, что все-таки лучше вести себя таким образом, чтоб и раскаиваться было не в чем. Однако мы видим, что в большинстве случаев (особенно в газетном деле) бывает совершенно наоборот. Иной газетчик один раз сгрубит, в другой раз сгрубит, видит, что ему сходит с рук, а подписка между тем прибавляется,— начнет допускать даже прихоти. Все-то ему немило, все не так, все надо переменить и даже вверх дном перевернуть. И вдруг статский советник начинает когти выпускать. Выпускает-выпускает... хлоп! Какой, с божьею помощью, переворот! В одно прекрасное утро читатель берет в руки газету, в надежде, что статского советника вконец раскастят,— и не верит глазам своим. Оказывается, что в одну ночь статский советник и вырос, и похорошел, и поумнел и что всех сомневающихся в этом следует признать людьми неблагонадежными и сокрушить.

Опять-таки повторяю: я и не говорю, что такие возвраты на путь высокопочитания неприличны или бессовестны. Но спрашивается: зачем предпринимать такие действия, в конечном результате которых должна оказаться одна вонь?

Увы! Раскаряка высказал горькую истину! Много, ах, как много водилось за Пименом блох! Непрерывно его щекоча и покусывая, эти блохи не давали его литературно-публицистическому дарованию развиться в том благовременном направлении, которое во Франции известно под именем оппортюнистского, а у нас покуда носит кличку газетного легкого поведения.

Я знаю, впрочем, что Пимен делал очень серьезные усилия, чтоб быть свободным от блох. Всю жизнь находясь под гнетом нужды и зная твердо, что вне легкого поведения нет деятельности, он затыкал себе уши, чтоб не слышать, зажимал нос, чтобы не обонять, и закрывал глаза, чтоб не видеть. Обеспечивши себя таким образом, он строчил довольно свободно и приводил в восторг статского советника Растопыриуса. Но вдруг, в самом разгаре публицистических затей, когда одна перспектива быстро сменяет другую, когда в некотором отдалении уже мелькает чуть не фаланстер (были же военные поселения!) — его укусит «блоха». Пимен вскакивает как ужаленный, хватает себя за голову, вопит: это ужасно! ужасно! — и

бежит вон из дому. И шляется бог весть где (быть может, на том самом Митрофаниевском кладбище, куда судьба привела его теперь), до тех пор, пока «сладкая привычка жить» не возьмет верх и не загонит опять домой за постылый письменный стол. Тогда он опять делался смирен, опять начинал строчить, и строчил до тех пор, пока новая «блоха» не уязвляла его...

Так и прошла вся эта жизнь...

Правда, что, благодаря усилиям, которые Пимен постоянно над собой делал, «блохи» появлялись сравнительно довольно редко; правда и то, что они нигде окрест не производили ни малейшей пертурбации; но ведь статскому советнику Раскаряке нет дела ни до усилий, ни до пертурбаций; он чутьем догадывается, что «блохи» все-таки существуют, и говорит: достаточно-таки еще в вас «блох», милостивый государь!

Я помню, как Пимен огорчился, когда наш друг, Менандр Прелестнов, впервые провозгласил в своей газете, что «наше время не время широких задач» (он сделал это сгоряча и не предупредив Пимена).

— Слушай! читай! на, читай! — восклицал Коршунов, подавая мне нумер газеты,— говорил я тебе, что из этих «живых вопросов» ничего, кроме распутства, не выйдет! Куда теперь идти?

Но я уже прежде прочел эту статью и, право, не нашел в ней ничего «такого». Так, глупость — надо же об чем-нибудь писать! Поэтому я, насколько мог, утешал Пимена.

— Ты преувеличиваешь, мой друг! — говорил я.— Во-первых, Менандр, открывая вопрос о непригодности в наше время «широких задач», этим самым бросает в публику такую широкую задачу, над разрешением которой закружится не одна голова. Во-вторых, если ты подозреваешь, что Менандр нарочно пустил фортель, чтоб «прельстить», то это напрасно: он просто закидывает уду общественному мнению и прочим газетчикам. Нужны ли широкие задачи, или ненужны — это, конечно, бабушка надвое сказала, но полемика по этому поводу, наверное, возникнет, и Менандр будет себе, под сению ее, «украшать столбцы». В-третьих, наконец, никто тебе не мешает в завтрашнем же нумере написать разъяснение, как следует понимать и т. д.

Но, вгорячах, мои резоны нимало не утешили и не убедили его. Признаюсь, теперь, когда я рассуждаю хладнокровно, то понимаю и сам, что Менандр действительно поступил неладно. В известном смысле, для него было бы выгоднее поставить совсем противоположный тезис, а именно: доказывать, что так

как подробности и мелочи давно всем опротивели, то теперь-то и наступило настоящее время для «широких задач». Наверное, «украшение столбцов» было бы достигнуто этим путем гораздо существеннее...

— И от кого вышла эта распутная фраза! — волновался Пимен,— от Менандра, которого я считал последним из могиканов именно по части широких задач («style perlé» — почему-то мелькнуло у меня в голове)! от Менандра, который знал лучшие времена русской литературы! от Менандра, которого все обвиняли в излишней щепетильности и даже брезгливости! От Менандра, который... нет, это все он, все Гамбетта! Поверь, что лавры оппортюниста Гамбетты не дают Менандру спать.

Высказавшись таким образом и не внимая никаким убеждениям, он схватил шапку и убежал. Но все-таки, хоть частью, он последовал-таки моим внушениям, потому что на другой день я уже читал в газете «разъяснительную» статью. Растолковывалось, что вчерашнее предостережение имело в виду не те широкие задачи, которые, действуя благотворно на умственный уровень общества, тем самым полагают начало полному развитию новых и уже разрешенных форм жизни, но те, которые, имея лишь вид «широких задач», как волк в овчарню, проникают в публику с целью произвести в ней замешательство. Статья принадлежала перу Пимена и тоже... прошла! И что всего замечательнее, Менандр сделал к этой статье примечание, гласившее так: «Мы и сами именно так и разумели наши вчерашние слова, как понимает их наш почтенный сотрудник. *Ред.*».

Долгое время после того Пимен не казал ко мне глаз: совестился. Но вот, в одно прекрасное утро, он прибежал ко мне, светлый и радостный.

— Не прошло!

— Не может быть!

— Не прошло, и баста! не прошло! не прошло! не прошло!

— Да расскажи толком, что такое случилось?

— Не прошло — вот и все! А какую, братец, я штуку написал! Ведь я... ну, просто сам Растопыриус наверняка простил бы меня за невежество, совершенное над его женой, и опять пригласил бы на чашку чаю! Да, есть провидение, есть! Рече безумец в сердце своем: несть! ан оно — вот оно! Спасибо, спасибо, спасибо старикам! прихлопнули! Фу ты!

— Но ежели ты сам сознаешь, что написал «штуку»,— зачем ты ее писал?

— Не могу! не понимаю! Газета, братец,— это дьявольское наваждение какое-то! Так тебя и тянет в омут, так и пронизы-

вает распутством насквозь. Одуматься не дадут! передохнуть нет средств! так и стоят над душой: сейчас! сию минуту! пожалуйте оригинал! Ну, и...

— А Менандр как принял это известие?

— Ездил. Да только на извозчиков напрасно потратился. Ответили: да послужит сие вам уроком, что ежели порицания не допускаются... безусловно! то и в похвалах надлежит избегать излишней разнузданности!

— Вот как!

— Да, братец, ни порицаний, ни похвал! Я давно говорил: вот истинный принцип во всей его чистоте!

— Стало быть, ты в статье допустил «излишнюю разнузданность» в похвалах?

Пимен, вместо ответа, заалелся.

— О, Пимен! Пимен!

Начали мы вдвоем обдумывать, каким бы образом устранить на будущее время повторение подобных казусов. Самым целесообразным средством представлялось совсем уйти из газетной атмосферы. Но куда? — вот вопрос. Толстых журналов мало, да и там все места заняты, негде упасть яблоку. Поступить на частную службу? — и там переполнено до краев; люди, из-за пятисот рублей годовых, готовы друг с другом на ножи...

— Вот кабы ты на фортепьянах умел, так в тапёры бы можно...— рискнул я пошутить.

— А что ты думаешь! важно было бы!

— Знаешь ли что! — не предложишь ли газетчикам устроить по вечерам... нечто вроде фельетонов en action? [1] Ты бы, как передовик и, стало быть, человек солидный, за буфетом стоял... отлично!

Но Пимен, вместо ответа, только вздохнул: знак, что он начинает впадать в угрюмость.

— Я, братец, не только в тапёры, но даже в кассиры на железнодорожную станцию не гожусь,— наконец вымолвил он,— пробовал я это... помнишь, *тогда?* да не выгорело! Я двадцать лет сряду в литературе вращаюсь, двадцать лет одною ею живу. И ничего другого не понимаю. Знаю, что из моей деятельности ничего не выходит, а все тянусь, все думаю: а вот, погоди. Сны какие-то наяву вижу — так и проходит день за днем. Это умственное цыганство до того въедается, что нужно именно что-нибудь совсем чрезвычайное (вот как *тогда),* чтоб человек пришел в себя. Но если он и поймет, что вся его жизнь есть не более, как бесконечная цепь пустяков,— что пользы в том? Ну, поймет, и только. Ах, ведь у нас даже «своего ме-

---

[1] в действии.

ста» нет, того «своего места», куда всякий бежит, когда его настигнет беда! Вот я, например. Особенными талантами природа меня не наградила, я не генерал в литературе, а простой солдат. Но ведь и солдат, если выслужил срок, вправе воротиться в «свое место» и там забыть о солдатстве. А куда пойдет солдат-литератор? Литературное ремесло имеет свойство до того оболванивать человека, что он везде, кроме литературы, представляет только лишний рот. И у меня отец и мать есть (овец духовных в смоленской епархии пасут и волною их питаются, прибавил он в скобках), да зачем я к ним пойду. Во-первых, я и там буду все об своем паскудстве тосковать и бегать по помещикам, нельзя ли где газетки почитать; а во-вторых, меня будет ежеминутно точить мысль, что я лишний рот, каковых в моей семье не полагается. А уж как мне опостылело литературное ремесло, если бы ты знал! так опостылело! так опостылело!

Пимен в волнении несколько раз прошелся по комнате.

— Иногда вся внутренность горит,— продолжал он,— саднит, ноет, сосет, не знаешь, куда деваться от тоски. Если бы слезы можно было выжать, легче бы было, да негде их взять. Нет, никогда этого не бывало! никогда, даже в самые горькие дни пленения вавилонского, не знали такой мертвенной тоски, такого холодного отчаяния! «Наше время не время широких задач» — этим все сказано! Тут и скудоумие, тут и распутство, и желание сказать нечто приятное... Ах!

— Слушай! да надо же выход найти!

— Оставаться по-прежнему в вертепе — вот и выход. Тянуть бесконечную канитель неведомо об чем, распинаться неведомо по поводу чего, поучать неведомо чему, преследовать неведомо какие цели, жить в постоянном угаре, упразднить мысль и залеплять глаза пустословием, балансировать между «с одной стороны нужно сознаться» и «с другой стороны нельзя не признаться» — вот удел современного литературного солдата! Другого ничего не выдумаешь. И когда, после такого-то трудового дня, начнешь на сон грядущий припоминать, что̀ было,— ну, хоть убей, ничего не припомнишь! Чувствуешь только усталость физическую, и затем обрывки, винегрет — и ничего больше. Даже для снов настоящего материала нет.

Он отер пот, выступивший на лбу, и остановился передо мной.

— Патроны наши,— сказал он,— те, на сон грядущий, хоть счетом барышей от розничной продажи могут заняться, а мы?

Но тут он окончательно рассердился.

— Мы-то, мы-то, скажи, из-за чего себя нудим!

Да, были «блохи» у Пимена. Но чем пышнее расцветала пресса, чем либеральнее становились ее замашки, тем смирнее и как-то унылее становился мой друг. «Блохи» скрывались одна по одной и, наконец, пропали совсем. Он не ерошил волос, не восклицал в тоске: ах, это ужасно! а неутомимо и безропотно строчил с утра до вечера, не чувствуя ни удовольствия, ни омерзения...

Менандр стушевался. Не успев совладать с «разнузданностью в похвалах», он до того раздражил своими «наглыми» усилиями попасть в тон минуты («все это одно крокодилово притворство!» — говорил про него статский советник Растопыриус), что вынужден был уступить место другим, более сноровистым деятелям. Сначала явилась либеральная газета «Чего изволите?», затем и еще более либеральная: «И шило бреет». Но Пимен до того уже потерял нюх, что не мог отличать степеней либерализма, и безразлично работал, то тут, то там.

Он почти совсем перестал ходить ко мне, я же посещал его довольно часто и всегда заставал за работой.

— Не помешал ли я? — спросил я его однажды.

— Нет, какая помеха! Работа такого сорта, что на всяком месте можно точку поставить! Было бы пристойное количество «строчек», а об остальном, то есть о противоречиях, неясностях и даже пошлостях, я давно уже не забочусь. Все равно, читатель сжует.

— Об чем же ты пишешь? все, чай, о перспективах?

— Нет, о перспективах писать теперь уж чересчур широко. По-нашему, это называется «расплываться». Нынче мы больше по части патриотистики и пламени сердец, к которым, ради оживления столбцов, пристегивается и взнуздывание. Вот, например, я написал статью: «Где корень зла?», хочешь, прочту?

— Нет, уж не надо! Ах, Пимен, Пимен! зачем ты это пишешь?

— Как сказать, зачем? знаю грамматику, синтаксис, учился правописанию, умею расставлять знаки препинания — вот и пишу. Неужто же, обладая такими сокровищами, оставлять их втуне?

— А знаешь ли, что̀ я заметил? Прежде, бывало, хоть ты и не подписывался под статьями, а я все-таки узнавал твою манеру. Прочтешь и скажешь: вот это Коршунов писал. И даже отгадаешь: а вот это словечко Менандр лично от себя вклеил! А нынче, как ни стараешься угадать — все статьи на один манер пишутся!

— Это у нас новая метода завелась, с тех пор, как от передовика ничего, кроме правописания, не требуется. Чтоб все, как один человек. Выгодно это, голубчик. Во-первых, публика

читает и думает: стало быть, однако ж, у них есть что-нибудь за душой, коли они так спелись! а во-вторых — дешево.

— Это почему?

— А потому что, если однажды дан известный шаблон, то нет нужды дорожить сотрудничеством той или другой личности. Всякий встречный может любую статью написать, все равно как свадебные приглашения. Важнее всего — аккуратность, чтоб не задерживать типографию. Поэтому и передовики нынешние присмирели: знают, что место свято пусто не будет. Прежде мы упирались, растабарывали об убеждениях, а нынче этого уж не полагается.

— Однако некрасивое ваше положение!

— Покуда еще ничего, можно терпеть, а вот в ближайшем будущем... Я, например, покуда еще не стесняюсь и почти совсем *туда* не хожу: покажешься на минуту, сдашь что следует — и был таков. А скоро, пожалуй, и прихоти заведутся: придется различные виды и соображения выслушивать. А еще того горше: вечера для обмена мыслей устроят, да с дамочками, да с отставными полководцами, да с «дипломатами», да с рассказами из народного быта... Вот когда худо-то будет! Придется самолюбие хозяйки дома щекотать, выслушивать полководческое фрондёрство и в антрактах освежаться протухлыми побасёнками!

— А разве есть уж признаки, предвещающие что-нибудь подобное?

— Есть. На меня уж и теперь косятся, что мало разговариваю. На днях я *там* был — *сама* выбежала. «Вы, говорит, Коршунов?» — Я, говорю.— «Ах, какой вы нелюбезный!»

— С чего ж это она?

— Стало быть, разговор был. В Аспазии она к нашему Периклу готовится — ну, и принимает участие. Да, терпят меня покуда, любезный друг! но только терпят. А так как и ангельскому терпению предел есть, то поневоле спрашиваешь себя: что будет, когда этот предел настанет? Разумеется, стану просить милости. Не гожусь в передовики — может быть, к «нам пишут» определят, или «Таинства мадридского двора» переводить велят. Все равно как в доме терпимости: сперва гостей занимать заставляют, а потом, как розы-то отцветут, начнут в портерную за пивом посылать.

До этого, однако, не дошло, хотя мне самому не раз приходилось слушать отзывы: ах, какой неприятный у Коршунова характер! И не только Аспазия, но и сам Перикл отзывался так. Пимен имел даже по этому поводу объяснение, но, к счастию, успел доказать, что до его «характера» никому никакого дела нет. Я убежден, однако ж, что едва ли бы он доказал

это, если бы у него не было кой-какой опоры в прошлом. Ради этого прошлого, его, очевидно, щадили, ибо, как ни «разносторонни» современные деятели политики и литературы, но есть еще ниточка (очень тоненькая), которая связывает их с прошлым. Вот когда и они сойдут со сцены, то на их место придут «новейшие» деятели — этих уж ничто не будет связывать. Тогда, натурально, Коршуновых выметут помелом.

Изредка, впрочем, и Пимен оживлялся, и именно в тех случаях, когда у него накоплялся запас анекдотов о Периклах. Главное горе Периклов заключалось в том, что они вечно были в поисках за идеею, которую, впрочем, безразлично называли и идеею, и фортелем. Какую бы идею начать проводить? на какой бы фортель подняться? — вот задача, которую предстояло разрешить. Читатель капризен, и однообразные статьи надоедают ему. Однообразие можно допустить только в исключительных случаях. Вот, например, во время войны — ах, какая розничная продажа была! Но раз исключительные обстоятельства кончились, надо подниматься на фортель. И не один фортель, а даже несколько таковых не худо найти. Как вы, например, насчет либерализма полагаете? а? хорошо? С богом, начинайте-ка ряд статей! Или насчет святости подвига? а? ведь подвиг-то, батюшка, очищает человека, дает его жизни смысл? Тиснемте-ка статейку... а? Главное, дремать не нужно, да почаще оглядываться кругом. Да вот и еще тема... мирные успехи! По возвращении с поля брани это даже самое подходящее дело... в нос бросится — а? Эту штуку пять лет хлебай — не расхлебаешь! Начать хоть с железных дорог... или нет, это уж старо! Просто начнем с земледельческой промышленности! «Россия страна земледельческая»... это хоть тоже старо, но вместе с тем и всегда ново, потому что Россия, действительно, страна земледельческая, стало быть, как ни вертись, а этой темы не минешь! Не в том беда, что мы земледельцы, а в том, что мы наш продукт в зерне отпускаем... а? Отсюда прямой вывод: заводить маслобойни, винокурни, мельницы — главное, мельницы! А когда с земледельческою промышленностью покончим, можно и за горнозаводскую промышленность взяться: рельсы, паровозы, пароходы, железо листовое и прокатное, гвозди... Нужна ли покровительственная система или не нужна... а? А потом и до рубля доберемся... ах, этот рубль! сколько публицистических усилий, сколько полемики потрачено, чтоб он настоящим рублем смотрел, а он все на полтинник смахивает! Придется, пожалуй, и пословицу: «взглянул, словно рублем подарил» говорить так: взглянул, словно полтинником подарил! Да, надо, надо как-нибудь этому горю помочь! И поможем, с божьей помощью... да! А, нако-

нец, когда наговоримся досыта, можно и заключеньице сформулировать: впрочем — тут что бы мы ни говорили, мы знаем заранее, что наши слова все равно что к стене горох... а? как вы думаете? хорошо будет? а?

Но как ни любопытны были эти анекдоты, а настоящей веселости в них все-таки не было. И сам Коршунов, по-видимому, сознавал это, потому что, истощив свой запас, он неизменно заканчивал одною и тою же угрюмою фразой:

— И все эти фортели я обязываюсь, с божьею помощью, развить!

Таким образом он промаячился года три сряду.

Одно было недурно: Коршунов получал хороший гонорар за свои работы. Но лишних денег у него все-таки не бывало, потому что «свое место» поглощало, наверное, половину заработка.

Да и у Коршунова было «свое место», которое довольно часто напоминало ему себя. Отец Пимена был стар и добывал мало, да и овцы, которых он пас, имели волну скудную. А семья была большая: семь дочерей при одном сыне, Пимене. На этого сына был сначала расчет, что он, по крайней мере, хоть дьяконом будет, а он вдруг ускользнул. И долгое время, покуда Пимен бедствовал, едва зарабатывая на хлеб лично для себя, между ним и отцом шла ожесточенная полемика. Отец уж приискал сыну невесту и наметил дьяконское место, но сын бунтовал. Дело доходило до жалоб и просьб о высылке по этапу, вследствие чего Пимен скрывался, не имея постоянного пристанища. Но, наконец, Пимену посчастливилось. Заработок его увеличился, и он первые же «лишние» деньги послал домой. Тогда его оставили в покое.

В «своем месте» смекнули, что, несмотря на странное занятие, Пимен все-таки добытчик, и, разумеется, решились пользоваться этим. Он чаще и чаще начал получать отписки с родины, и каждая неизменно заключала в себе напоминание об деньгах. То сестру выдают замуж и надо готовить приданое, то коровушка пала, то милость божья пристигла, хлеб градом выбило. Коршунов вытягивался в нитку, чтоб удовлетворять этим требованиям, сам же постоянно нуждался. Разумеется, он понимал, что единственно на этих денежных соображениях и держатся кровные связи, но чувствовал ли он по этому поводу сердечную боль — это сказать трудно. Вообще он упоминал о домашнем очаге редко и сдержанно и никогда не порывался в побывку домой, говоря, что приезд его только прибавит лишний рот в семье.

Но, кроме кровной связи, имел ли Пимен какую-нибудь вольную сердечную привязанность? Ощущал ли он, хотя в молодые годы, то блаженное таяние сердца, которое ощущает всякий юноша в период весеннего расцветания? Увы! эти вопросы даже в голову никому не приходили — до такой степени своеобразною казалась личность Коршунова. Ходили, правда, анекдоты о якобы любовных его похождениях, но все очень хорошо понимали, что это только анекдоты, скорее служившие к подтверждению противного. Вообще на него смотрели, как на человека, для которого вопрос о сближении полов составляет нечто совсем постороннее, его не касающееся. Даже когда возник так называемый женский вопрос — и тут он уклонялся, несмотря на то что этот вопрос стоял на чисто теоретической почве. Иногда, впрочем, замечая, что он уж чересчур утрирует в этом смысле, я невольно нападал на мысль, что причина этого явления заключается не столько в холодности темперамента, сколько в непреодолимой застенчивости. По-видимому, он слишком настойчиво говорил себе, что так уж сложилась его жизнь. Бывают люди, которым на роду суждено глубокое и горькое заточение, и он принадлежал к числу этих людей. Просто было почти нелепо вообразить его себе любящим и любимым. Пимен, смотрящий в книжку, Пимен с пером в руках — вот настоящий Пимен. Но Пимен тающий, палимый страстью к женщине, Пимен, шепчущий признания любви и просветленный уверенностью в взаимности,— помилуйте, это какое-то баснословие, это почти клевета!

Точно так же было и по части дружбы. Пимен вращался исключительно в литературной среде, где, в взаимных отношениях, примешивается очень значительная доля рационализма. Я не отрицаю, что связи, вследствие этого, становятся более прочными, но думаю, что в то же время они приобретают окраску исключительно деловую и совершенно утрачивают тот ласкающий элемент, который так присущ инстинктивной дружбе. Бывают, однако ж, минуты, когда человек имеет право быть малодушным, когда он чувствует непреодолимую потребность жаловаться, роптать, проклинать, не соображая, глупо это или умно, полезно или бесполезно,— и вот в эти-то минуты ему необходимо, чтоб дружеская рука сняла хоть часть того бремени, которое давит его. Ничего подобного Коршунов положительно не знал: он малодушествовал, жаловался и проклинал — в пространство.

Он не был настолько силен и одарен, чтоб составить около себя кружок, а следовательно, не мог создать для себя и искусственной дружбы. Он сам был по природе поклонником, страстным и беззаветно преданным, но поклонников не имел и

пользовался только благосклонным сочувствием. Сверх того, состав кружка, которому он был предан, часто менялся; люди вымирали и исчезали, а наконец кружок и совсем распался. Приблизившись к старости, Пимен очутился в неведомой среде, окруженный незнакомыми людьми, и все-таки вынужденный работать с ними. Эти насильственные сближения до того изнуряли его, что нередко он буквально ходил как потерянный.

Таковы были кровные и вольные связи Пимена. Совокупность их составляла мученическое существование, хотя видимых пыток и не было. Дòма он видел голые стены квартиры; вне дома — видел деревянных людей. Разве можно представить себе пытку более злостную?

И вот он умер. Умер в один день с первой гильдии купчихой Пулхерией Конопатчиковой, которая спокойно и непостыдно отошла в вечность, окруженная заботливыми попечениями законных наследников. Пимен же и умер словно украдкой, так что о смерти его узнали от квартирной хозяйки, которая прежде всего побежала в участок, а потом ударилась за деньгами в Литературный фонд, потому что в последнее время Коршунов почти совсем не работал.

На кладбище громко говорили, что купчиха Конопатчикова оставила шести сынам — каждому по двадцати пяти тысяч, и трем дочерям — каждой по десяти. Да старшему сыну отказала лавку, а божие благословение разделила между всеми поровну. Все это и батюшка в своей предике упомянул не в осуждение усопшей, но в похвалу. Что же оставил после себя Пимен?

Страшно сказать, но ничего ясного. Человек жил, неутомимо трудился, и, по мере того как его труд приводился к окончанию, он тут же и улетучивался.

Выше я сказал, что Пимен некогда участвовал в творчестве известных наслоений, которые, быть может, и не прошли бесследно. Но кто же разберет, что в этих наслоениях принадлежит ему и что другим атомам общей рабочей массы? Да и кому охота возвращаться к этим забытым наслоениям, а тем более разбираться в них?

Даже историк русской литературы и общественности — и тот не отыщет Пимена, потому что над рабочею массой всегда реет какое-нибудь выдающееся имя. Этому имени и честь, и слава, и поклонение. И слава, и страдания, и подвиг — все достойно вменится ему в сугубую похвалу. А Пимену даже поистине мученическая его жизнь ни во что не вменится, потому

что об ней нигде не упоминается, и она нигде не оставила следов своей крови.

Я помню, он мне говорил: когда я умру, то на памятнике моем надобно написать: литература осветила ему жизнь, но она же напоила ядом его сердце. Да, это надпись хорошая и вполне согласная с истиной, но вопрос в том, будет ли когда-нибудь памятник на его могиле?

Допустим, однако ж, что памятник — уже прихоть. Гораздо проще другой вопрос: долго ли мы, схоронившие Пимена, будем ощущать, что смерть его оставила после себя пустоту? долго ли воспоминание об нем будет жить между нами?

Он жил — и умер... Благо умершим!

СТАРЧЕСКОЕ ГОРЕ,
ИЛИ
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ УМА

(Рассказ)

Про Каширина все говорили: вот истинно милый человек! А некоторые прибавляли: это человек светлого ума, любезный, преданный делу и замечательно интересный; одним словом, человек, знакомством с которым следует гордиться. Люди самых противоположных лагерей сходились в любви к Каширину и в признании его достолюбезных качеств. С своей стороны, и он всех любил, со всеми здоровался и всякому имел сказать что-нибудь приятное. И всегда это приятное выражалось с такою сердечностью, как будто оно было адресовано исключительно тому лицу, к которому обращалось, а вовсе не представляло собой банальной фразы, которую можно применить ко всякому встречному. И всякому представлялось (особливо самолюбивым людям), что это не была с его стороны только ловкость, а именно интимное выражение достолюбезных свойств его природы.

Словом сказать, хотя Филипу Филипычу (так зовут Каширина) перевалило за пятьдесят, но он решительно не помнит, чтоб, до последних непредвиденных невзгод, существование его было когда-нибудь омрачено продолжительным и существенным огорчением.

Каким образом явился Филип Филипыч на сцену жизни и откуда, «из каких» он был родом — никто об этом достоверных сведений не имел, сам же он очень ловко уклонялся от вопросов на эту тему. В действительности, он был родом из-под Пронского города, сын мелкопоместного помещика, и даже доднесь у него живет в тех местах тетка Агафья Ивановна, старая девица, в пользу которой Каширин отказался от своего родового наследства. Наследство это, по старому крепостному счету, заключалось в трех мужеска пола душах, при двадцати пяти десятинах земли. Когда состоялась крестьянская

эмансипация, то за души выдали деньги, которые Филип Филипыч взял себе, а землю, с находящеюся на ней ветхой усадьбой, с движимым имуществом, с лесами, водами, рыбными ловлями и прочими угодьями, предоставил тетеньке Агафье Ивановне. С своей стороны, Агафья Ивановна, в знак благодарности, ежегодно присылала ему к рождеству двух замороженных индеек, какового презента он, впрочем, всегда ожидал с большим страхом, потому что боялся, чтоб кто-нибудь из «друзей», проведав об этом, не заговорил, «в шутливом русском тоне», о славном и знаменитом роде Кашириных.

Воспитание Филип Филипыч получил, по своему времени, хорошее, и собственно с момента поступления в казенное заведение начинал свою историческую жизнь. Вероятно, отец его был тоже нрава достолюбезного и чувствовал себя хорошо в роли ласкового теляти — и это в значительной степени помогло молодому Каширину. Благодаря этому обстоятельству, богатый сосед (он же и любитель просвещения) приголубил маленького Филю, и сначала воспитал его с своими детьми дома, потом поместил на свой счет в университетский пансион, откуда он перешел в Московский университет, и, наконец, умирая, завещал своему питомцу небольшой капитал. Впоследствии, когда молодые потомки богатого барина пошли бойко по службе, то и они помогли Каширину. Филип Филипыч поддерживал эти связи, но не только без навязчивости, а даже более нежели с скромностью. Смолоду он даже скрывал об этом обстоятельстве от своих «друзей», хотя друзья очень хорошо понимали, что у него есть где-то «рука», благодаря которой он преуспевает на бюрократическом поприще. Впрочем, он очень аккуратно посещал своих патронов и патронесс в дни семейных и торжественных праздников и изредка являлся к ним, по приглашению, запросто отобедать. Иногда «коренные» друзья, прогуливаясь с Филипом Филипычем по Невскому, видали, как какая-нибудь высокопоставленная дама дружелюбно кивала Каширину из коляски, и он, почтительно отдавая поклон, краснел. И ежели эти «друзья» были литераторы, то они очень остроумно по этому поводу подшучивали над Кашириным, но ежели «друзья» были бюрократы, то они задумывались и крепко сжимали счастливцу руки. Сверх того, раза два-три в год бывали такие случаи, что сами патроны и патронессы (древо старого доброго барина оказалось многоветвистым) сами назывались к своему интересному protégé[1] на «вечерок» и привозили детей с гувернантками. В такие дни он покупал печенья к чаю, конфект, фруктов, шампанского, курил в квар-

[1] протеже (подопечному).

тире духами, облекался во фрак, спускал на окнах драпри, чтоб не видно было с улицы света, и строго-настрого приказывал швейцару (он жил в четвертом этаже, но всегда в таком доме, где был заведен швейцар) отнюдь не пускать «друзей». Патроны, патронессы, их дети и гувернантки кушали чай, конфекты и фрукты, выпивали по бокалу шампанского, хвалили квартиру Каширина и находили, что у него очень «мило». Он же старался быть почтительно-гостеприимным (но без всякого искательства), предоставлял в распоряжение гувернанток и детей piano mécanique[1] (для этого собственно он его и приобрел), а дамам показывал альбом с фотографическими карточками, кипсеки и платок, подаренный Гарибальди одному из его друзей, а от последнего перешедший к нему. Вообще он был бесконечно сияющ и любезен, хотя внутренно и мучился, чтоб кто-нибудь из литературных «друзей» не пронюхал о пиршестве и не положил его в основание рассказов более или менее юмористического свойства.

В университете Каширину удалось слушать лекции Грановского, тогда только что начавшего свою воспитательную деятельность. Это положило неизгладимую печать на всю его жизнь: дало ему вкус к изящному и, что важнее всего, утвердило в намерении неуклонно идти по стезе честности и благородства. И он шел по этой стезе до конца, и очень глубоко скорбел, видя, как некоторые из его товарищей, тоже ученики Грановского, поступали на службу, «прибытка ради», в московскую гражданскую палату и там находили себе успокоение под сенью «крепостных дел». Сам же он всегда выбирал службы самые благородные, с легким фрондирующим оттенком (фрондировать не служа он не мог, потому что не имел достаточно обеспеченных средств к жизни), а именно: сначала поступил на службу в ведомство «Предвкушения свобод», потом, когда благородство из этого ведомства перешло в ведомство «Плаваний и Внезапных открытий», то и он, вслед за ним, перешел туда же, и, наконец, когда времена окончательно созрели, он окончательно утвердился в ведомстве «Дивидендов и Раздач». Наверное, он попал бы и в преобразованное судебное ведомство, яко наиблагороднейшее и несменяемейшее, если бы, ко времени введения реформ, не почувствовал себя состаревшимся и обрюзгшим.

То же живое слово Грановского воспитало в нем и наклонность к литературе. Собственно говоря, сам он не был литератором, но перевел, однако ж, с кем-то вдвоем статейку для «Отечественных записок» времен Белинского и, кроме того,

---

[1] механическое пианино.

изобрел два-три счастливые выражения, которыми и воспользовались литераторы настоящие, сделавшиеся впоследствии знаменитыми. Сверх того, он в особенности любил не пропущенные цензурой статьи или хотя отдельные места из них и страстно коллексионировал их. Вообще, он смолоду охотно искал общества литераторов и был всегда испытанным и верным их другом, хотя многие из них отплачивали за эту дружбу легкомысленным предательством. В сороковых годах с талантливостью как-то фаталистически соединялась склонность к пересмешничеству и даже немного к вероломству. Каширин очень часто и больно страдал от этого, но, к чести его должно сказать, никакие личные огорчения не заставили его отвернуться от литературы, а тем менее мстить ей. И когда учрежден был Литературный фонд, то он за особенную себе честь поставил быть одним из его учредителей и печальников.

Вообще все существование Филипа Филипыча имело подкладку несомненно гуманную и либеральную. Хотя же он и не высказывал своего либерализма вслух, но при случае так характерно произносил «гм» и даже «эге!», что в уме сколько-нибудь прозорливого собеседника не могло оставаться никаких сомнений насчет душевного его настроения.

Каширин прожил жизнь тихо и аккуратно. Занимая по службе места благородные и снабженные хорошим содержанием, он не только не нуждался, но всегда жил вполне прилично. Он не прижимался с деньгами, но и не расточал оных. Имея обширный круг знакомых, где всегда видели его с удовольствием, он почти не жил дома, и это значительно сокращало его расходы. Говорили, будто он копил про черный день, но ежели это и была правда, то, во всяком случае, присовокупления его были самые умеренные. Главный расход его составляли: квартира, одежда и сигары, и эти статьи были доведены у него до самой безукоризненной респектабельности. Затем он держал при себе приличного лакея, непременно из немцев. Никогда он дома не обедал, и, проработав утром за казенными бумагами, исчезал до поздней ночи, заходя домой только на короткое время, чтоб переодеться. Обедать любил преимущественно в семейных домах, где можно было сказать что-нибудь любезное хозяйке дома, но не отказывался изредка отобедать и в «кабачке», в кутящей компании, причем сам пил очень умеренно, но платил свою часть наравне со всеми и даже уплачивал иногда за какого-нибудь pique assiett'a[1], которых всегда бывает немало между собутыльниками. Еще особенность: бумажник Каширина всегда бывал изобильно снабжен

[1] прихлебателя.

деньгами, и между кредитками непременно выглядывали две-три крупных. Это было тоже своего рода право на респектабельность.

Начальство отдавало Каширину справедливость, а некоторых из начальников он даже имел честь считать в числе своих друзей. В особенности он чувствовал себя счастливым, когда у департаментского кормила стояло начальство либеральное. В такие времена он называл департамент своею семьей, позволял себе ходить на службу в коротенькой жакетке и входил в «кабинет» без доклада, с сигарой в зубах. Но и начальство *не*либеральное не особенно смущало его, потому что он обладал одним драгоценнейшим качеством, которое всегда выручало его. Это качество было написано на его физиономии и выражало собой готовность выслушать и исполнить, слегка окрашенную готовностью «доложить». Начальники либеральные в особенности ценили эту последнюю готовность и пользовались ею не без пользы для себя. Начальники *нелиберальные* более всего напирали на первые две готовности, но иногда, заметив, что где-то, в уголку, скромно мерцает еще какая-то робкая готовность, вдруг осенялись мыслью: а что̀, не послушать ли, что̀ имеет этот фалалей доложить? И тогда Каширин докладывал. Докладывал внятно, вразумительно, точно жемчуг низал, так что не было никакой возможности не понять. И бывали примеры, что, по выслушании, начальники, самые закоснелые, исправлялись.

Самую загадочную сторону жизни Каширина представляли его отношения к женскому полу. Достоверно было известно, что он любил женское общество, искал его и, вследствие этого, преимущественно посещал семейные дома. Женщины тоже, по-видимому, любили его общество, что можно было заключить уже по тому одному, как расцветали лица знакомых дам при встрече с ним. Но справедливость требует сказать, что в этом расцветании гораздо яснее проглядывало простое чувство благосклонности, доверия и дружбы, нежели стремление к секретному потрясению семейных основ. Да и сам он, всем своим поведением, как бы свидетельствовал, что ему дорога только дружба и доверие женщин. Не говоря уже о том, что он был скромен, как могила, ничто ни в его манерах, ни в голосе, ни во взгляде не представляло повода для игривых догадок. Он никогда не зачащал в один и тот же дом и никогда не показывал, что между семейными домами, которые он посещал, ему больше по душе те, во главе которых стоят красивые хозяйки. Казалось, что и la belle madame[1] Растопыря, и хорошенькая

[1] красавица мадам.

madame Карнаухова, и добродушно-безобразная Матрена Ивановна Стрекоза равно ему милы. Он одинаково усердно посещал и красивых, и некрасивых и одинаково старался снискивать их доверие, благосклонность и дружбу. Иногда эти дамы, даже в присутствии мужей, шепотом сообщали ему свои маленькие тайны, и мужья отнюдь не формализировались этим, ибо знали, что Каширин — «друг по преимуществу». Большею частью он рассказывал дамам о своих друзьях-литераторах, о том, что Белинский и в преферанс играл с тем же пылом страсти, с каким писал критические статьи, о том, что Тургенев каждое утро моет лицо в трех водах, о том, что Гончаров спит до двух часов дня и т. д. И дамы внимали этим рассказам с удовольствием, потому что это были дамы интеллигентные, либеральные. Очень возможно, что в минуты особенного сердечного таяния они и побаловывали его за интересно проведенные часы, но, наверное, они поступали так без всякой примеси увлечения и с тем, разумеется, что в будущем это их ни к чему не обязывает. По крайней мере, именно таким образом злые языки объясняли загадочное отсутствие любовного элемента в жизненной обстановке Каширина. «Это такая по части женских немощей подлая душа,— говорили они,— что дамочка и ахнуть не успеет, как он уже, в скромной роли недостойно облагодетельствованного, продолжает прерванный разговор!» И это было весьма возможно. Ибо нет ничего удобнее и приятнее, как обожатель, который с женской благосклонностью не только не сопрягает никаких обязательств, но даже никогда ни о чем не напоминает и только скромно и преданно ждет.

Но существовала и другая легенда о том же предмете. А именно, говорили, будто у Каширина имеется в задних комнатах кухарка Амалия, которой он платит несколько более, нежели обыкновенной кухарке, и которая, в одно и то же время, занимается приготовлением для него утреннего кофе и смотрит за его бельем. И будто бы он придумал эту комбинацию, в видах экономии, по примеру отставных чиновников, которые, получая ограниченный пенсион, не могут тратить много на свои удовольствия. Эту легенду, впрочем, пустили в ход друзья-литераторы, и потому солидные люди, не останавливаясь на ней, прямо относили ее к области беллетристики.

Как бы то ни было, но отношения Каширина к женской немощи так и остались неразгаданными.

Однако холостая жизнь и сопряженная с нею бездомовица не остались без влияния на Каширина. От всей его фигуры так и разило старой девой. И чем дальше он придвигался к

старости, тем заметнее становилось это. Привычка быть всегда среди чужих людей (или, по крайней мере, в гостях) выработала в нем особого рода щепетильность, которая, под конец, сделала беседу с ним чрезвычайно однообразною. Дамочки любят скромных обожателей, но в то же время они не прочь и от того, чтоб, от времени до времени, коленопреклонения им были пересыпаемы какою-нибудь милою словесною гнусностью. Поэтому, когда он, рассказав весь запас анекдотов, начинал рассказывать их вновь, то они потихоньку вздыхали и находили, что он как-то чересчур уж мало следит за веком. Время шло вперед и вносило оживляющее, реформирующее начало и в сферу анекдотов. Требовался анекдот сильный, возбуждающий, щекочущий чувственность (даже Матрена Ивановна — и та не избегла общих законов прогресса), а Каширин все продолжал рассказывать о том, как он, в 1845 году, ловил с Аполлоном Майковым пискарей в Парголовском озере. Сверх того, с летами он слегка ожирел, вследствие хорошей пищи, а это тоже имело не совсем хорошее влияние на изобретательность ума. Он стал приобретать особые, свойственные одинокому человеку привычки, с трудом отказывался от тех или других удобств, наблюдал известные часы, начал лениться, любить халат и т. д. Сказать ли правду — иногда он даже задумывался: а что, если бы предположение о кухарке Амалии привести в исполнение? То заманчивое и вполне экономическое предположение, в котором Амалия представлялась кюмюлирующею две должности...

Со времени окончания университетского курса, раз поселившись в Петербурге, он уже не покидал его, и только однажды в несколько лет позволил себе коротенькую экскурсию за границу. Провинции он боялся, как огня, и даже командировок не брал, потому что всюду чаял встретиться с тетенькой Агафьей Ивановной. Неоднократно бывшие его «благодетели» приглашали его погостить на лето в свое великолепное пронское имение, но он постоянно уклонялся от этих любезных приглашений, и именно все из-за той же Агафьи Ивановны. Казалось, если бы она умерла, это во многом развязало бы Филипу Филипычу руки: он стал бы и командировки брать, и ездить на лето в гости к высокопоставленным друзьям. Но, с другой стороны, если Агафья Ивановна умрет, то после нее неминуемо останется имущество, и, по этому случаю, его, конечно, будут разыскивать, яко законного наследника. А этого он боялся пуще всего, потому что тогда не только всем будет известно, что он владелец двадцати пяти десятин земли (это-то, пожалуй, и теперь многие знали), но все получат право говорить об этом гласно, не стесняясь, начнут его поздравлять и т. д.

Выше было сказано, что Каширин избегал говорить о своем происхождении. С летами эта странность не только не ослабевала, но приобретала все большую и большую силу, и всего больше страдала от этого тетенька Агафья Ивановна. С одной стороны, Филип Филипыч отлично понимал, что тетенька нимало не виновата в том, что она существует. По временам он даже с теплым чувством припоминал, как, в детстве, она кормила его, тайно от отца, сдобными лепешками. Но, с другой стороны, ему становилось досадно, когда он ловил себя на этих воспоминаниях. Ему хотелось совсем-совсем забыть и об тетеньке, и обо всем «прошлом». Не имея возможности производить свой род от Рюриковичей, он с любовью останавливался на гипотезе, в которой представлял себя явившимся в пространстве и времени из чего-то вроде пены морской. Поэтому, когда однажды тетенька, сколотивши деньжонок, собралась было навестить «милого Филю» в Петербурге, он очень серьезно этим встревожился. Мысль, что она приедет в третьем классе, в затасканном заячьем салопе, что он должен будет, по долгу родства, встретить ее на дебаркадере, что его могут при этом *увидеть* и что, во всяком случае, лакей Готлиб несомненно выразит глубочайшее изумление при виде столь мало аристократической старухи, не давала ему спать. И он, в первый раз в жизни, решился вполне серьезно и даже резко разъяснить милой тетеньке, какого рода характер должны иметь их отношения на будущее время.

Тем не менее, хотя Каширин, с летами, и утрачивал прежнюю упругость и покладистость, которые делали его особенно достолюбезным, но все-таки он отнюдь не мог жаловаться на судьбу. Знакомство у него было обширное, и он мог черпать в этом море без опасения быть назойливым. Конечно, у него не было таких друзей, которых мысль постоянно стремилась бы к нему, которых сердце болело бы об нем, но все-таки были люди, которые видели его с удовольствием. Эти люди, быть может, не особенно замечали его отсутствие, но, встречаясь с ним, непременно и совершенно искренно восклицали: а! вот и он! Начальство тоже аттестовало его способным и достойным, и всякий раз, когда имелось в виду что-нибудь серьезное, непременно заводилась речь и об Каширине. Он всегда был на очереди и знал об этом, хотя, в этом отношении, над ним тяготел какой-то фатум. Слухи о том, что ему предстоит «пост», ходили часто и держались долго и упорно, но в конце концов дело всегда как-то сводилось на нет. Таким образом, он дослужился до очень крупного чина и все-таки не пошел дальше второстепенной должности. Это, разумеется, довольно больно щекотало его самолюбие, но он умел превозмогать себя,

и история обыкновенно кончалась тем, что Филип Филипыч дня три-четыре после этого высиживал в домашнем карантине, на бульонной порции, но потом по-прежнему являлся в департамент для получения присвоенного ему содержания.

Впрочем, несмотря на эти маленькие неприятности, Филипу Филипычу грех было роптать. Служба у него была легкая, благородная, хорошо оплаченная, одна из тех служб, по поводу которых говорят: умирать не надо. Урочных работ не было, и все занятия, главным образом, заключались в том, что он был членом множества комиссий и во всякой умел заявить себя с приятной и полезной стороны. А это еще более расширяло круг его знакомства и стало быть, разнообразило и его ежедневный обеденный menu [1].

Как бы то ни было, все время так называемого сезона Каширин не только жил в свое удовольствие, но даже не примечал, как время летит.

Зато летом он скучал, особенно с тех пор, как почувствовал приближение лет зрелости. Знакомые разъезжались; комиссии прекращали занятия; в департамент чиновники являлись неаккуратно и слонялись точно на биваках; Петербург казался пустым. Когда Каширин был молод, он поочередно разъезжал по знакомым, которые ютились в ближайших к Петербургу дачных местностях и у которых он гостил по нескольку дней. Но с годами он приобрел привычки, которые не легко мирились с разъездами и бивачной жизнью, и в то же время утратил легкость и нестомчивость, необходимые для пользования летними удовольствиями. Он уставал во время прогулок, без особенной готовности принимал участие в катаньях на лодках и в чухонских таратайках и вообще понял, что быть гостем на даче даже у близких людей стеснительно. Поэтому лето сделалось для него сезоном трактирных обедов и желудочных расстройств, как прямого последствия этих обедов. Вечером он обыкновенно отправлялся в увеселительное место; по праздникам — в Павловск, по будням — преимущественно в Демидрон. Тут он был уверен встретить ежели не коренных своих знакомых, то их детей. И такова была в нем потребность общества, что он не только не брезговал молодыми людьми, но даже старался «быть с молодыми молодым», и вследствие этого охотно принимал вид милого старичка-мерзавца и по временам отпускал скромную гнусность насчет атуров девицы Филиппо̀. Аллеи Демидрона оглашались громким и сочувственным хохо-

---

[1] меню.

том «детей», внимая которому Филип Филипыч выступал горделивой походкой индейского петуха, отнюдь не подозревающего, что в ближайшем будущем ему окончательно предстоит сделаться каплуном.

Впрочем, эти скромные гнусности представляли в общем обиходе его жизни исключение. Они были вынуждены одиночеством, потребностью общества и необходимостью стоять на одном уровне с молодежью. С наступлением сезона Каширин забывал об них и начинал с самым серьезным видом переливать из пустого в порожнее.

И вдруг все это безмятежие, созданное ценою таких усилий и так зрело и строго со всех сторон обдуманное и комбинированное, разом рухнуло.

Выше было сказано, что Каширин был либерал. Либерализм этот был смирный, не особенно требовательный и состоял в том, что он тихое житие предпочитал житию тревожному. Кроме того, он любил почитать «книжку» и думал, что это «ничего»; по временам задавал себе вопросы: за что? почему? и когда не находил на них ответа, то грустил. И еще нередко он останавливался на мысли: что из сего произойдет? и когда, по соображениям его, выходило, что ничего хорошего произойти не может, то опять-таки грустил. И эти вопросы, и эту грусть он считал вполне безопасными, ни для кого не соблазнительными, и, в качестве человека интеллигентного, даже полагал, что человеку, кончившему курс наук, невозможно без них обойтись. Разумеется, однако ж, со всем этим либеральным арсеналом он обходился с крайнею осторожностью, дабы не ввести простодушных людей в соблазн, а подозрительным людям не подать повода к предположениям о потрясаниях и попираниях. Сверх того, как известно уже, в его существовании большую роль играла склонность к литературе, и он имел слабость не считать ее ни распространительницей моровых поветрий, ни складом ядовитых веществ, ни разбойничьим притоном.

С таким умеренным, осторожным и отчасти грустящим миросозерцанием он прожил всю жизнь и не имел причин жаловаться, чтоб это сколько-нибудь ему повредило при прохождении должностей. Начальники тоже знали его за чиновника откровенно либерального, но так как они и сами были люди откровенно либеральные, то не видели никакого ущерба для дела в том, что человек, беспрекословно выполняя мероприятия и преднамерения, по временам грустил. Правда, что иногда на-

чальство, грозя пальчиком, называло его «амарантовым»[1] (не красным — нет!), но называло так шутя и любя. Да и он знал, что это делается «шутя», и ежели краснел при этих напоминаниях, то краснел не от угрызений совести, а именно только от внутреннего ликования.

И вдруг времена созрели. Выбралась минута, когда все эти вопросы и грусти встали перед Кашириным в совершенно непредвиденной им безобразной наготе. Минута, в продолжение которой весь его скромный жизненный обиход пролетел перед его вспугнутою мыслью в виде бесконечного и сплошного преступления. Минута, в продолжение которой он должен был ознакомиться с истиной, что «так нельзя», узнать, что присутствование в комиссиях «не терпит суеты» и что пользование дивидендами и грусть по этому поводу суть вещи несовместимые. Минута, в которую он должен был убедиться, что для либеральной грусти нет возврата, что она ничем не смывается, не заглаживается: ни раскаянием, ни твердым намерением впредь идти веселыми стопами, и что, следовательно...

Главное во всем этом переполохе заключалось для Каширина в том, что он должен был от A до Z пересмотреть свой бюджет и большинство его статей подвергнуть радикальной переработке.

Надежнейшею доходною статьею этого бюджета представлялась пенсия; затем, к счастью, он не только не истратил оставленного ему пронским благодетелем капитала, но и сделал, в течение многолетней службы, некоторые сбережения. Эти сбережения были не весьма значительны, но все-таки нечто представляли. В итоге, общий годовой доход образовал сумму приблизительно в три с половиной тысячи рублей. На эти деньги предстояло жить изо дня в день, поддерживая себя на высоте той респектабельности, которая вошла уже в его привычки и, что еще важнее, служила самым прочным основанием заведенных им связей.

За приведением в ясность цифры годового дохода, само собой разумеется, последовало подробное рассмотрение расходных статей бюджета.

Оставаться ли ему при прежней квартире (он платил за нее, с отоплением, девятьсот рублей в год, а с швейцаром и дворником и всю тысячу рублей) или переехать на новую, более соответствующую его нынешней финансовой силе? Этот вопрос Каширин, почти не думая, решил в пользу старой квартиры. Здесь он жил больше пятнадцати лет и в течение этого длинного периода времени успел устроить свое гнездо так, что

[1] малиновый (от *франц.* amarante).

оно отвечало всем причудам старого холостяка. Как человек от природы солидный, он и в молодости неохотно перемещался с квартиры на квартиру, теперь же самая мысль о переезде представлялась ему ненавистною. По особенной случайности, и хозяин дома, в котором жил Филип Филипыч, тоже был человек солидный и исконный домовладелец, воздерживавшийся от надстроек и перестроек и делавший на квартирантов лишь «христианские» надбавки (Каширин, однако ж, помнил время, когда он за эту самую квартиру платил только четыреста рублей в год). С своим домовладельцем Филип Филипыч даже близко сошелся, обедывал у него и проводил за пулькой вечера̀. Расстаться с ним представлялось как бы изменою. Сверх того, каждый шаг в этой квартире напоминал ему что-нибудь приятное и даже памятное. Вот здесь ему подали конверт, извещавший его о награждении орденом св. Анны 2-й степени (это был первый полученный им орден, помимо всяких петлиц и даже помимо св. Станислава вторыя); вот на том месте он получил известие о назначении его членом общего присутствия, а вот там сам директор вручил ему (лично для этого приезжал!) звезду Станислава 1-й степени, причем выразил уверенность, что Каширин и впредь будет лучшим украшением ведомства «Дивидендов и Раздач». В этой квартире он сосредоточил тысячу безделушек, которые с таким тщанием собирал в течение целой жизни: здесь хранились разные сувениры, вышитые подушки, коврики, подаренные дамами; этою квартирой он гордился, когда у него, раз или два в год, собирались знакомые дамы, слушали piano mécanique и кушали конфекты, фрукты и мороженое. И вдруг, расстаться с этим дорогим, излюбленным гнездом... никогда!

Итак, вот первая статья расхода в тысячу рублей (почти треть всего доходного бюджета), которую ни под каким видом урезать нельзя.

Вторая статья — лакей Готлиб. Готлиб, яко немец, получал с едой четыреста восемьдесят рублей в год, а с праздничными выходило даже несколько более пятисот рублей. Расход этот оказывался несомненно непосильным. Ежели, на место Готлиба, нанять Ивана или Прохора, то, конечно, это обойдется рублей на двести дешевле, но зато, во-первых, от Прохора наверное будет вонять, во-вторых, он непременно будет ходить в гости в барских брюках и сюртуках, в-третьих, станет постепенно пропивать господское белье, в-четвертых, из квартиры-игрушечки сделает свиной хлев. В результате окажется убыток, вдвое больший против того, чего стоит сам Прохор со всеми своими потрохами. Ежели же нанять не Прохора, а Амалию, то еще бабушка надвое сказала, дешевле ли она обой-

дется, нежели Готлиб, особливо если Амалия... Хотя же он, при почтенных своих летах, и надобности существенной не находил в женском уходе, но ведь с другой стороны... Но предположим, что он и устоит против искушения — кто же, однако, поручится, что один факт пребывания Амалии в его квартире не подаст повода для бесчисленных и притом незаслуженных анекдотов? Вот если бы он держал дома обед и Амалия могла совместить в своем лице и кухарку, как это водится у отставных чиновников, населяющих Колтовские,— ну, тогда...

О, вопросы о выеденном яйце! о мучительнейшие, горчайшие из всех вопросов человеческого существования! Каким тяжелым гнетом лежите вы на этом бедном человечестве, которое получает каких-нибудь три тысячи пятьсот рублей в год и обязывается обрядить и приютить на них свою голову! И сколь несноснейшим еще гнетом вы должны лежать на том человечестве, которое на тот же предмет располагает не более двадцатью — тридцатью копейками в день!

В конце концов, дело Готлиба было выиграно, и таким образом расход по двум первым статьям составил полторы тысячи рублей в год.

Статья третья: прачка. Каширин был и сам по себе чистоплотен, но, сверх того, он до известной степени и обязан был быть чистоплотным. Нельзя проводить большую часть дня в гостях и в то же время не представлять собой образца самой щеголеватой опрятности. Ежели знакомые радушно принимают у себя и кормят обедами и ужинами, ежели жены их удостоивают знаками доверия и дружбы, то, по малой мере, эти люди вправе ожидать, чтоб предмет этого радушия и дружбы носил чистое и благоуханное белье. Каширин понимал это и потому никогда не тратил на прачку, духи, губки и прочие туалетные принадлежности менее трехсот рублей в год. Об нем говорили, что от каждой части его тела пахнет особенными духами, и он гордился этим. Он гордился, что на всем теле у него ни пятнышка, ни прыщика, что лысина на его голове не лоснится и не отливает желтизною, а имеет вид матово-белой поверхности с легким розовым оттенком, что ни на щеках, ни на носу у него нет неприятных синих жилок, что бакенбарды его щегольски расчесаны веером, а усы и подбородок тщательно каждый день выбриты. Мог ли он думать о сокращениях по этой статье теперь, когда потребность в людском радушии и дружбе делалась для него более, нежели когда-нибудь, необходимою? — Разумеется, не мог! Напротив того, теперь-то именно и предстояло напрячь все свои силы к тому, чтоб ни зрение, ни обоняние радушных амфитрионов ни на минуту не были оскорблены по его поводу.

Итого, по трем статьям, тысяча восемьсот рублей.

Статья четвертая: одежда и обувь. Здесь Каширин надеялся достигнуть существенных сбережений. Обыкновенно он заказывал платье у Шармера и не видел причины отказаться от этой фирмы и на будущее время. Но до сих пор он был поистине чересчур расточителен относительно одежды. Он освежал свой костюм каждый сезон и даже в домашнем неглиже дозволял себе прихотливое разнообразие. Вследствие этого у него образовался громадный запас платья, очень мало ношенного, о котором он редко вспоминал и которое висело в шкапу без всякого употребления. Теперь наступило самое время утилизировать этот запас и всё, что можно, пустить в ход. Но как он ни старался сократить свои расходы по этой статье, все-таки оказывалось, что без четырехсот рублей в год вполне респектабельным человеком остаться нельзя (прежде он тратил на этот предмет не менее, чем полторы тысячи рублей). С понижением этой цифры начинается та рубрика людей, которая известна под именем: hommes déclassés[1]. Это люди в панталонах с осыпавшимися конечностями, в сюртуках с лоснящимися и прорванными локтями, в сапогах, напоминающих своей формой рыбу камбалу. Попасть в эту рубрику... ужасно! ужасно! ужасно!

Нет, лучше смерть, чем жизнь поносна!

Конечно, есть люди, которые и в пир, и в мир, и утром, и в полдень, и вечером являются в одном и том же пиджаке, но...

Итого две тысячи двести рублей.

Статья пятая: экипаж. К экипажу Каширин и прежде прибегал довольно редко. Смолоду он приучил себя к мысли, что моцион необходим, а впоследствии привычка к чужим обедам еще более укрепила его в непреложности этой истины. Все знакомые были убеждены, что Каширин ходит пешком не из скаредности, а по принципу, и в то же время понимая, что он не имеет средств содержать собственный экипаж (он и сам не скрывал этого), даже одобряли в нем ту инстинктивную гадливость, которая заставляет респектабельного человека лишь в крайних случаях прибегать к извозчику. Но, увы! Каширину перевалило за пятьдесят; он чувствовал припадки одышки и начал припадать на одну ногу... Это значительно усложнило дело. А сверх того, и обычные петербургские ненастья, которые, в силу пословицы «где тонко, там и рвется», вдруг предстали перед Филипом Филипычем во всей своей без-

[1] опустившихся людей.

рассветности... Словом сказать, как ни изворачивайся, а без двухсот рублей по этой статье обойтись нельзя.

Итого две тысячи четыреста рублей.

Статья шестая: расходы мелочные. Они неуловимы, но несомненны. Недаром они заслужили название расходов общежития по преимуществу; недаром расходы самые существенные очень часто стушевываются перед ними. Из-за расходов этой категории люди отказывают себе в правильном питании, впадают в неоплатные долги, разоряются. Все эти Берты, Сюзетты, Эмилии — все это расход мелочной, расход общежития, не подходящий ни под какую рубрику солидного домашнего бюджета. Но и помимо Берт, нельзя, например, отказать себе в удовольствии съездить от времени до времени в театр, особенно к французам. Это предохраняет от одичалости и, сверх того, дает прекрасное содержание для conversations de société [1]. А если ездить в театр, то не сидеть же где-нибудь в дешевых местах, когда половина залы наполнена знакомыми. Затем: нельзя, встретившись на улице с приятелем, направляющим стопы свои в ресторан, не войти с ним вместе и чего-нибудь не съесть. Нельзя не отвезти дорогой имениннице или новорожденной конфект. Наконец, обедая каждодневно в людях, невозможно, от времени до времени, не делать маленьких подарков прислуге. Ибо, в противном случае, какой-нибудь хам будет захлопывать дверь у вас перед носом, будет снимать с вас пальто совершенно так, как бы сдирал кожу, будет в вашем присутствии ковырять в носу, наконец, подавая за обедом блюдо, будет толкать в плечо, чтоб не зевали, брали скорее. Ах, эти мелочные расходы! Очень редко их принимают в расчет, но кто же не знает, какую роль они играют в человеческом существовании! Спросите любого лакея (хама!!), получающего пятнадцать рублей в месяц жалованья,— и тот скажет, что из них десять уйдут «так, между пальцев». Обыкновенно на выручку тут приходят случайные доходы, но у Каширина таковых не предвиделось, и он волей-неволей должен был занести эту статью в свой бюджет в цифре строго определенной. Долго он колебался между четырьмя- и пятьюстами рублей и, наконец, вынужден был сознать, что менее, чем пятьюстами рублями, и думать извернуться нельзя.

Итого две тысячи девятьсот рублей.

Статья седьмая: сигары. При одной мысли об этой статье Филип Филипыч побледнел, и ему даже показалось, что в кабинете его уже запахло папиросами. Дело в том, что он выкуривал не менее двух сотенных ящиков в месяц, платя за сотню

[1] для светских разговоров.

от пятнадцати до двадцати рублей, что составляло в год расхода более четырехсот рублей. Цифра громадная, особливо ввиду того, что свободных сумм в доходном бюджете остается всего шестьсот рублей. Тем не менее она являлась до такой степени необходимой и даже неизбежной, что Каширин решился просто не думать об ней. Он занес ее расходом и махнул на всё рукой.

Свободной суммы осталось всего на всё двести рублей, и вот тут-то выступил во всей безобразной наготе:

ОБЕД!!!

О правильном, ежедневном обеде Каширин, конечно, уже не помышлял: он понимал, что карьера его, как прихлебателя, не только не кончилась, но, так сказать, вступила в новый и острый фазис. Однако ж возможны случаи, когда, несмотря на обширность круга знакомых и их радушие, самый изворотливый прихлебатель может найтись в необходимости от времени до времени отобедать на свой собственный счет. Таковы случаи болезненных припадков, которые, в последнее время, повторялись с Кашириным очень нередко; затем случаи проливного дождя, бурь, градобитий, моровых поветрий, неприятельских вторжений и т. д., когда даже чувство приличия не дозволяло являться к обеду «запросто» (могут сказать: вот до чего проголодался человек, что даже среди грома и молний разнюхал, что́ готовится на кухне). Наконец, и такие случаи возможны, что придешь обедать к Фоме Фомичу, и вместо обычного приветствия: пожалуйте! кушать накрыто! — услышишь, что Фома Фомич приказали долго жить. Знакомые же у Каширина всё были такие, которые более или менее склонялись к закату дней; следовательно, убыль в их рядах была даже естественна. Вот Петр Петрович с утра до ночи кашляет, а Лукерья Ивановна сказывала, что и с ночи до утра никому покою кашлем не дает; Лука Лукич постоянно на плечо жалуется; Иван Иваныч одну ногу волочит; Семен Семеныч — съест тарелку супа и запыхается, словно семь верст пробежал. Можно ли, в виду этих немощей, рассчитывать на верный обед? Ряды стариков редеют и будут редеть... а их дети? Можно ли предполагать, что они будут поддерживать родительские традиции? Увы! они и теперь поглядывают на Филипа Филипыча исподлобья — точно хотят сказать: однако ж, брат, аппетит у тебя! — что же будет тогда, когда одышки, параличи и ревматизм, одержав победу и одоление над старыми орлами, развяжут руки этим выглядывающим исподлобья орлятам?

Но этого мало — а лето? Лето по-прежнему дамокловым мечом висит над головой Каширина; лето мертвое, голодное, требующее во что бы то ни стало обеда на собственный счет! Прежде, когда он вкушал от дивидендов и когда бюджет его представлял избыток, этот экстраординарный расход не особенно тревожил его; но нынче, когда в бюджете предвиделось всего двести рублей...

— А ведь с двумястами рублями, пожалуй, не обернешься! — мучительно размышлял Филип Филипыч,— если на летнее время да на непредвиденные случаи положить только пять месяцев в году, то есть полтораста дней, то и тогда, считая по два рубля за каждый обед... Не в греческую же кухмистерскую, в самом деле, идти!

Во всяком случае, доходный бюджет оказывался исчерпанным без остатка. С грехом пополам концы сводились с концами, но стоило явиться малейшей случайности, чтоб равновесие нарушилось и произошел мучительный скандал. Перед Кашириным стояло своего рода прокрустово ложе, в котором он обязывался ожидать заката дней своих, не шевелясь и даже не дозволяя себе чересчур свободного вздоха.

В первый раз в жизни ему сделалось жутко.

На первых порах Каширин, однако ж, не только не ощутил никакой перемены, но даже как бы вошел в моду. Никто не запер перед ним дверей, и всякий, напротив, спешил выразить ему свое сочувствие. Посыпались вопросы: каким образом? почему? и, главное, за что? На вопросы эти Филип Филипыч отвечал скромным мычанием, не дозволяя себе критики, но в то же время предоставляя каждому измерить всю глубину его невинности. Ввиду этой скромности, симпатии, разумеется, еще более усилились. Тайный советник Стрекоза недоуменно шевелил густыми бровями и не то уныло, не то неодобрительно покачивал головой; статкий советник Растопыря растерянно спрашивал себя: куда же мы, наконец, идем? Что же касается до второстепенных чиновников ведомства «Раздач», то они даже решили прямо протестовать, устроив в честь Каширина обед, и только по внимательном обсуждении последствий этой демонстрации отложили приведение ее в исполнение до более благоприятного времени.

Дамы тоже приняли деятельное участие в этих симпатиях. Они, наперерыв друг перед другом, зазывали Каширина к себе, заставляли каждого кушанья брать по два раза и вообще чествовали.

— В четверг у нас будет Каширин. Душка! вы приедете? — говорила Марья Ивановна, приглашая Анну Петровну.

— Каширин? Это не тот ли Каширин, который...

— Ну, да, Каширин... тот самый Каширин, который высоко держал знамя... конечно, вы слышали?

Такие знаки внимания очень тронули Филипа Филипыча; однако ж у него не закружилась от них голова, и он продолжал вести себя с замечательным тактом. Он не только не жаловался на неблагодарность начальства, но даже оправдывал его. *Начальство не могло иначе поступить.* Но и он, с своей, стороны, *не мог поступить иначе.* Он не пожертвовал своими убеждениями и сохранил свое достоинство — а это главное. Ему предстоял к будущей Пасхе чин тайного советника, но он сказал себе, что лучше на всю жизнь остаться действительным статским советником, нежели выпустить из рук знамя, которое он, в течение всей жизни, высоко держал. В свое время он был нужен — и всякий клич во всякое время и на всяком месте находил его готовым и способным. Теперь обстоятельства переменились; потребовались люди иного закала, он сделался ненужным — он понимает это и не ропщет. Возьмите вот этот сюртук: сегодня он нов, фасонист — и его носят с удовольствием; завтра в нем продрались локти — и его бросают. Знамя, которое он высоко держал, оказалось несоответствующим требованиям времени — он сознал это и спрятал знамя в карман. Но он надеется, что спрятал его не навсегда и что наступит момент, когда начальство, наконец, оценит. Скоро ли этот момент наступит — он не знает, но верит, глубоко верит, что песня его далеко не спета. Тогда он вынет знамя из кармана и опять начнет высоко держать его. Притом же ему время и отдохнуть. До сих пор он без устали трудился; теперь — пора и ему узнать, что̀ такое свобода. Чувство свободы, mesdames [1],— это такое чувство... ах, какое это чувство! Все равно что после длинной-длинной зимы в первый раз выехать, в теплый апрельский вечер, на Елагин остров, на pointe! [2] Вот это какое чувство! Дышится полной грудью, а мысли так и плывут, всё светлые, радостные мысли. А главное, на нем не лежит теперь никаких обязанностей, так что он всего себя может посвятить своим друзьям. Притом же он имеет вполне обеспеченный кусок, а потому и в материальном отношении особенного стеснения не предвидит. Вообще он больше доволен, чем огорчен, и ежели кто-нибудь будет по этому случаю ощущать угрызения совести, то, конечно, не он...

---

[1] сударыни.
[2] стрелку.

— А бог когда-нибудь всех рассудит! — смиренно прибавлял он в заключение.

С трогательным изумлением внимали «чины» этим разумным речам и от полноты души восклицали: вот истинный христианин! А дамы и дамочки к сему присовокупляли: ma chère! il est sublime d'abnégation! [1]

— А мне так сдается, что мы с вашим превосходительством еще послужим! — обнадеживал его тайный советник Стрекоза, ласково похлопывая по коленке.

На что Каширин, с своей стороны, ответствовал:

— Что касается до меня, то не могу и не имею надобности скрывать: я всегда готов!

И с этими словами предлагал madame Стрекозе руку, чтоб вести ее в столовую.

Словом сказать, со всех сторон на него сыпались приглашения и напоминания, а ежели он манкировал, то и нежные упреки.

По счастливой случайности, в это же критическое время ему повезло и в преферанс. Как будто сама судьба охраняла его крылом своим. Имея обыкновение каждый день, по возвращении домой, записывать свой проигрыш или выигрыш, он, к концу первого месяца свободы, сосчитал, что остался по картам в барыше на семьдесят один рубль сорок пять копеек. Стало быть, надежда на случайные статьи дохода еще не исчезла. Составляя свой бюджет, он понимал, что существует особая и очень существенная статья: «занятие картами», но так как он не знал, как ее сосчитать, доходом или расходом, то и предпочел лучше не упоминать об ней вовсе. Теперь же оказывалось, что это статья несомненно доходная и что ежели на будущее время взглянуть на нее серьезным оком, то... Это так его ободрило, что он почти светло взглянул в лицо будущему и тут же включил в свой доходный бюджет новую статью: «От занятия картами 800 р.», добавив, впрочем, в скобках: «доход неокладнóй».

Словом сказать, ничего в его обиходе, казалось, не изменилось, и только утро сделалось как будто несколько длиннее. Прекращение обязательной ходьбы в департамент оставило за собой пустоту, которую он наполнял лишь с трудом. Он ходил из комнаты в комнату, внимательно перечитывал газеты (одну он выписывал сам, другую ему обязательно сообщал домовладелец), свистел, напевал, даже вертел ручку на piano mécanique, чего прежде с ним никогда не бывало. Но более всего его выручала так называемая «писанная» литера-

[1] дорогая! он великолепен в самоотвержении.

тура. В нашем интеллигентном обществе во всякое время ходят по рукам таинственные и до крайности либеральные «записки» и «проекты». То статский советник Растопыря пустит в ход «И мою лепту», то тайный советник Стрекоза потихоньку показывает знакомым «Мой посильный вклад»; то престарелый «Опытный сановник Чимпандзе» излагает кратко «А мое мнение — всё истребить и сим способом прекратить дальнейшее распространение язвы». По временам появится и из провинции какой-нибудь выходец с лона природы и тоже по секрету докладывает свою «капельку». И в каждой из этих «лепт» высказывается: вот это — прекратить, а вот это — развить. И в каждой автор попеременно то иронизирует, то содрогается, то предается сладким упованиям. И каждая «капелька» читается с жадностью, служит предметом нескончаемых разговоров «потихоньку», во свидетельство, что российское свободомыслие, подобно достославному курилке, не умирает. Каширин предавался чтению подобных записок с увлечением. Он чутьем пронюхивал о существовании чего-нибудь новенького в этой области и непременно доставал. Наглотавшись вольномыслия, он смело глядел в глаза предстоящему обеду «в гостях», зная наперед, что тема для собеседования готова. А ежели, при этом, появлялись в газетах еще какие-нибудь неожиданные производства и назначения, то разговор достигал размеров такого преступного дерзновения, что некоторые из присутствующих даже наматывали себе на ус...

Покончивши с утром, он выходил в четыре часа на Невский и прогуливался, стараясь при этом как можно меньше припадать на ногу. По временам заходил куда-нибудь с визитом и узнавал новости дня, причем непременно обнаруживалось нечто до того изумительное (и смешно, и больно!), что с языка его невольно срывались: да куда же мы, в самом деле, идем! В шесть часов, предварительно переодевшись, он у кого-нибудь обедал и во время обеда рассуждал о мерах, предлагаемых в только что прочитанной «записке» земского деятеля Пафнутьева. Рассуждал солидно и умно, и притом стараясь, чтоб пафнутьевские мысли были понятны даже для дам. После обеда, если устраивалась пулька, то садился за преферанс, причем держал карты так, чтоб любопытствующий Растопыря не мог видеть его игры. Ежели же пулька не составлялась, то отправлялся в театр или же в другой знакомый дом, где, по его соображениям, хозяин должен был выть от тоски, в ожидании, не зайдет ли кто на огонек. Здесь немедленно делалось распоряжение о привлечении других партнеров; затем развертывались столы, и вечер незаметно проходил среди возгласов: пас, куплю, семь без козырей и т. д.

И, в заключение, ужин, а за ужином, разумеется, новое изложение пафнутьевских идей...

В этом приятном круговороте прошел весь зимний сезон. Под конец Каширин так возгордился, что порою ему даже думалось, что начальство уже сознало свою ошибку и что не сегодня, так завтра к нему прискачет из департамента курьер с запечатанным конвертом. Однако дни проходили за днями, а курьер не приезжал. Это в одно и то же время и изумляло, и пугало его. Изумляло потому, что, перечисляя в своем уме персонал ведомства «Дивидендов и Раздач» и отдавая, впрочем, каждому должное, он, по справедливости, находил, что в этом департаментском букете он представлял собою цветок, по малой мере не уступавший, в смысле красоты и благоухания, прочим, стоящим у источников дивидендов, цветкам. Пуга́ло — потому что для человека, всю жизнь игравшего деятельную роль в известном деле, не может быть ничего страшнее, как мысль: а что, ежели обо мне забыли?

Рассуждая по совести, он не мог не прийти к убеждению, что хотя он и отлично-достойный цветок, но что цветков приблизительно такой же красоты и такого же благоухания все-таки существует в природе бо́льше, чем достаточно. Что, следовательно, нет ничего легче, как составить, во всякое время, какой угодно департаментский букет. Возьми Иванова, Федорова, Гаврилова, перемешай их с Перерепенкой, Козулей и Уховертовым, а в середку, для красы, воткни что-нибудь подушистее — и букет готов. Сначала, быть может, он будет благоухать несколько робко, но чем дальше, тем сильнее и смелее. Гавриловы, Уховертовы и Козули на то и созданы, чтоб соответствующим образом благоухать под начальственным руководством. Но этого мало: всего важнее то, что они растут решительно везде, на всяком месте, так что стоит только протянуть руку, чтоб сорвать Федорова или Перерепенку, совершенно равносильных Козуле и Иванову. Поэтому, когда, по каким-нибудь причинам, Уховертов выбывает из букета, то немедленно на его месте появляется Гаврилов, который уже давно пробивался тут же, где-то под мочалкой, обвязывающей букет, но его покуда не примечали.

Филип Филипыч должен был сознаться, что все это вполне верно и бесспорно и что даже он сам, во времена своего департаментского благополучия, открыто проповедовал теорию беспрепятственной замены Ивановых Федоровыми и наоборот. Себя он, разумеется, выключал тогда из этого оборота, так как думал совершенно искренно, что лично он благоухает особо и несравненно; но теперь, за неприбытием курьера с за-

печатанным конвертом, в его голову начали западать на этот счет сомнения. Что, ежели и он принадлежит к тому бесчисленному сонмищу Ивановых, Федоровых, Гавриловых и проч., которые неприхотливо прозябают при всяком проезжем шляхе и с которыми можно поступить по вдохновению, то есть или воспользоваться ими, как составною частью букета, или просто сорвать, понюхать и бросить?

Оставалось, впрочем, в запасе одно утешение: Ивановы и Гавриловы — люди бесцветные, индифферентные, а он заведомый либерал. Следовательно, когда либеральные начинания восторжествуют, то без него не обойтись... Но тут его мысль как-то сама собой останавливалась, словно встречала какое-то совсем забытое соображение. Чего он, однако ж, желает? Торжества либерализма? Но разве либерализм уже не торжествует? разве того, что есть,— мало? разве желать либерализма большего и сугубого не значит просто напросто желать разнузданности страстей?

То-то вот оно и есть...

Он начал взвешивать и соображать и, как человек солидный, не замедлил прийти к убеждению, что все, что требуется, уже есть и что дальнейшие ожидания свидетельствуют лишь о прихотливой затейливости нетвердого ума. Следовательно, он был *тогда* неправ. И тогда был неправ, когда, по поводу того или другого назначения, испускал фрондирующее мычание, и тогда, когда, по поводу какого-нибудь административного мероприятия, либерально восклицал: эге! А ежели он был неправ (теперь он уже сознавал это не токмо за страх, но и за совесть), то что же мешает ему исправиться, воссоединиться, сжечь «знамя» в печке, одним словом, раскаяться? Но тут его мысль опять прерывалась, и притом без всяких объяснительных мотивов, самым оскорбительным образом.

— Ну, нет, mon cher![1] — говорил он себе с ироническим злорадством,— шалишь! Теперь твоему раскаянию уж не поверят... не так-то просты! Теперь хоть ты источники слез пролей — и тогда скажут, что это крокодиловы слезы!

Подумавши это, он, однако ж, слегка покраснел и даже тревожно оглянулся вокруг, как бы опасаясь, чтоб Пафнутьев не сделался свидетелем его маловерия.

Как бы то ни было, но не едет департаментский курьер... да и не приедет!!

Как нарочно, лето в этом году выдалось из ряда вон скучное. Наиболее короткие знакомые, словно сговорившись, разъ-

[1] дорогой мой!

ехались раньше обыкновенного, и, вдобавок, кто за границу, кто в дальнюю деревню, так что всякая надежда около кого-нибудь пощечиться исчезла безвозвратно. Каширин вспомнил, что где-то на Песках, в Слоновой улице, живет титулярный советник Каверзнев, у которого он когда-то воспринимал от купели сына. Чуть-чуть было он не решился направить свои стопы к нему: приехал, мол, к крестному сыну запросто хлеба-соли отведать, но подумал немного и отложил свое намерение. Не потому, чтоб он был прихотлив насчет еды, но потому, что аппетит покуда еще не одержал победы над совестливостью.

Волей-неволей пришлось коротать время одному. Скука была страшная, пожирающая; день, и без того длинный, в одиночестве казался нескончаемым. С трудом успеешь сбыть утро, как уже со страхом помышляешь о предстоящем вечере. Каширин начал усиленно играть на piano mécanique и ежедневно переигрывал по нескольку раз все пьесы репертуара. На его несчастье, и Пафнутьев временно умолк, так что и рукописных «лепт» не оказывалось. В этой крайности он предпринял ходить к Доминику, где часа полтора или два просиживал в бильярдной, наблюдая за чудесами клапштосов и карамболей, но и тут случился скандал. Так как Филип Филипыч ничего не потреблял, а следовательно, и не расплачивался, то, после нескольких посещений, гарсоны стали перешептываться между собой, подозрительно кивая в его направлении. И вот однажды, когда он уже взялся за ручку двери, чтоб выйти на улицу, один из гарсонов подошел к нему и учтиво пригласил заплатить за съеденный пирог. Каширин пирога не ел (он даже, по изнеженности своей, не понимал, как можно что-нибудь есть у Доминика), однако протестовать не решился, вынул гривенник и заплатил. Но, разумеется, с тех пор к Доминику ни ногой.

Однако надо же было что-нибудь выдумать, чтоб убить время. Однажды, прочитав в газете, что молодая француженка ищет поступить компаньонкой к пожилому холостяку или вдовцу, он отправился по адресу. Разумеется, он желал только провести время, но оказалось, что «вдовец» уж нашелся и, по-видимому, даже поладил. Так что когда Каширин явился, то посещение было принято совсем в другую сторону, и, вследствие этого превратного толкования, он «едва унес ноги».

Тогда он обратил внимание на нянек и бонн, и это действительно на время развлекло его. Как вдруг в газете «Краса Демидрона» появилась такого рода статья:

НОВЫЙ ДОН-ЖУАН

«Недавно появился в Петербурге особого рода ценитель женских красот, который избрал предметом своих любострастных наблюдений нянек и бонн. Прочитав в газетах об ищущих места няньках, он является по адресу, и ежели находит молодую особу по своему вкусу и притом без покровителей, то без церемоний предлагает последовать за ним в трактир, на что некоторые, по неопытности, и соглашаются. Но не все. Так, например, на днях этот господин удостоил своим посещением девицу Р. (11-я рота Измайловского полка, 417, согласна в отъезд), особу весьма бойкую и замечательно красивой наружности; но едва начал он формулировать свое предложение, как из-за ширм выскочил наш репортер Помойкин (находившийся, впрочем, там с целями, заслуживающими всякой похвалы) и, в свою очередь, предложил любострастному Дон-Жуану проследовать вниз по лестнице.

Кувырком, кувырком...

Что последний и выполнил при общем хохоте высыпавших из квартир на шум жильцов. К сожалению, г. Помойкин, впопыхах, не полюбопытствовал узнать фамилию этого господина, но приметы его таковы: достаточно стар, волос на голове мало, лысина содержится опрятно, бакены веером, одет прилично и даже щеголевато, употребляет духи, на одну ногу припадает. Некоторые из жильцов дома № 417 уверяют, что видели его в казначействе получающим пенсию.

Предостерегаем воспитательниц нашего молодого поколения и убеждаем их оставаться неуклонно на высоте своего призвания. А вы, господин Дон-Жуан! подумали ли вы, какую преступную игру вы предприняли и на кого обратили ваши взоры, исполненные любострастного огня?!»

После этого ему оставалось и еще одно развлечение: отыскивать по объявлениям пропавших собак, но для такой забавы у него был уже чересчур большой чин.

Обедать он чаще всего ходил в Летний сад и, разумеется, старался употребить как можно больше времени на выполнение этого обряда. Но четыре тощих блюда съедались с обидною быстротою, и к семи часам Филип Филипыч не без страха примечал, как подкрадывается к нему вечер. В былое время он сладил бы с вечером легко: закатился бы в Демидрон, и дело с концом, но при теперешнем положении бюджета Демидронов не полагалось, и он волей-неволей возвращался до-

мой, где, в качестве развлечения, его ожидал чай с филиповским калачом.

Пробовал он раньше спать ложиться, но выгоды от того не получил, потому что чем раньше ложился с вечера, тем раньше просыпался утром.

К довершению всего, черт принес из Полтавской губернии Растопырю. Приехал Растопыря один, без жены, и сейчас же отъявился к сердечному другу. Каширин, впопыхах, было обрадовался, думал: Растопыря — он гостеприимный. Но Растопыря был тоже себе на уме; как ввалился, так сейчас же и объявил:

— Я, дружище, в Петербург всего на неделю приехал. Утром — в департаменте и по делам буду хлопотать, а обедать и вечерок провести — к тебе!

И вот, вместо того чтоб на счет Растопыри малороссийское сало есть, он же должен был на собственные деньги ежедневно брать у Палкина два рублевые обеда и выслушивать, как изнеженный Растопыря, уписывая за обе щеки, нет-нет да и заметит: воля твоя, а от супа чем-то воняет!

Наконец наступил август, и вечера потемнели. Полились дожди, потянуло холодом, сыростью, улицы утонули в грязи. Скука и одиночество начали давить еще сильнее. Но увы! все это безвременье происходило только в Петербурге. В провинции, напротив того, судя по газетным корреспонденциям, давно не запоминали осени, столь благодатной, благоухающей, волшебной. И никогда в Париже, на водах и морских купаньях кокотки не предъявляли такого роскошного декольте и не бывали так увлекательны. Петербуржцы съезжались беспримерно туго, а те, которые приезжали, требовали времени для приведения в порядок своих логовищ и занимались переборками и разборками с медленностью поистине возмутительной. Наконец к концу сентября кое-как все уладилось.

Каширин ринулся в сезонный круговорот с увлечением и страстностью человека, который долго и безнадежно терпел. Прежде всего он побежал к Растопыре, который сейчас же накормил его самым свежим салом и очень любезно вспомнил, с каким радушием Филип Филипыч летом угощал его раковым супом и телятиной с огурцом.

— И чем это от супа воняло — право, даже и теперь понять не могу! — прибавил он, однако ж, в заключение.

Потом Каширин направился к археологу-библиографу Скорбному-Головану, который обедать не дал, а сообщил, что ездил летом в Испанию, так как узнал, что там скрывается собственноручно писанная Барковым и доселе никому не известная трагедия, которую, после долгих и изнурительных

поисков, и приобрел, уплатив за нее половину своего имения. Потом, по очереди, отобедал у Птицыных, Бердяевых, Карнауховых, Чистосердовых, Чертополоховых и прочих кассационных, апелляционных и дивидендных чинов. Последнего посетил Стрекозу, и притом посетил церемонно («отъявился»), в воскресный день, потому что, признаться, начал опасаться этого сановника, который с минуты на минуту ожидал производства в действительные тайные советники. По-прежнему в этом высокопоставленном доме пахло каким-то специфическим запахом, смесью пастилы, амбре и старческих грехов; по-прежнему лицо хозяина отливало коричневым, почти гнедым цветом, и по-прежнему Стрекоза принял Каширина с благожелательною снисходительностью, то есть пожал обе руки, поцеловал в лоб и даже подарил ему колос «исполинской» пшеницы, привезенный из саратовского имения.

— Ну, а как ваше «знамя»? по-старому? — полюбопытствовал, в заключение, маститый старец, проницательно заглядывая в глаза Филипу Филипычу.

— Где уж... какое теперь знамя! — несколько смущенно ответствовал последний.

— То-то! теперь надо это оставить! — наставительно изъяснил Стрекоза,— конечно, на всякий случай терять из вида не следует, но теперь... Ну, так милости просим напредки по-старому, а сегодня обедать не прошу, потому что еще разбираемся: не знаю и сам, чем Матрена Ивановна накормит меня.

Таким образом, в этот день Каширин был вынужден отобедать в ресторане. Но все-таки он был за тысячу верст от мысли, что обед, съеденный им в прошлый сезон, перед отъездом семейства Стрекозы в Саратов, был последним его обедом в этом доме.

Казалось, все вошло в прежнюю колею; однако проницательный человек уже в самом начале сезона мог подметить, что в отношениях «кружка» к Каширину завелась какая-то загадочная трещина, на которую покамест еще трудно прямо указать, но которая существует уже несомненно.

Начать с того, что положение Каширина, как человека, пострадавшего за «знамя», настолько уже для всех определилось, что «интересоваться» им не было никакого повода. Даже сама la belle madame Растопыря поняла, что странно как-то, по прошествии целого года, продолжать хвалиться перед публикой: вот тот самый Каширин, который высоко держал знамя и за это приказом от такого-то числа, месяца и года ввергнут

в бессрочную меланхолию, с пенсией в размере половинного оклада содержания и без участия в дивидендах. Увы! мы столько с тех пор пережили, и в это время столько знамен было изъято из употребления и столько людей ввергнуто в меланхолию, что, право, было даже нелепо смотреть на Каширина, как на какой-то выдающийся пункт. После каширинского знамени было знамя разгильдяевское, после разгильдяевского — разуваевское и еще, и еще... Кто знает нашу склонность к знаменам, тот поймет, что недостатка в этом отношении быть не могло, так же как не могло быть недостатка и в мерах по ввергнутию носителей этих знамен в меланхолию. Так что, ввиду этих последующих событий, Филип Филипыч, с своим стареньким истрепанным знаменем, представлялся уже чем-то вроде «отставного козы барабанщика».

Во-вторых, что касается до меланхолии, то и она, сама по себе взятая, то есть лишенная просвета в будущем, скоро утомляет. Мы слишком практические люди, чтоб долго интересоваться «нюнями», и пострадавший человек имеет право на наше внимание лишь потолику, поколику его окрыляет надежда воспрянуть. Но вот прошел уже целый год со времени ввергнутия в меланхолию, а с Филипом Филипычем не только не произошло перемены к лучшему, но даже сам он иногда откровенно признавался, что ничего отрадного впереди не предвидит. Стало быть, в будущем он способен только пользоваться услугами друзей, а не оказывать таковые, одолжаться, а не одолжать. А это делало его похожим на тех назойливых субъектов, с шаблонными просительными письмами в руках, которые вечно о чем-то клянчат (по словам — на бедность, а в сущности — на выпивку) и уж, конечно, никому удовольствия доставить не могут.

В-третьих, наконец, заграничный курс упал донельзя, а цена на съестные припасы соответственно поднялась. В таких условиях поневоле начнешь рассчитывать и роптать, что при домашней трапезе постоянно присутствует лишний рот, и притом такой, от которого одним салом не отделаешься. Этот рот потребует и лишней ложки борща, и лишней галушки, и лишнего куска жареного, и лишней рюмки вина. А сосчитайте-ка всё — выйдет мало-мало рубль серебром каждый раз.

Такова была эта трещина, которой покуда никто еще не сознавал, но которая непременно, и в очень недалеком будущем, должна была оказаться.

Сверх того, в этом кружке всему давал тон Стрекоза, и потому, когда на вопрос, почему Филип Филипыч в такое-то воскресенье не обедал у его превосходительства, он, несколько

застыдившись, отвечал, что не получил еще приглашения, то большинство «друзей» задумалось. Ибо Стрекоза слыл за человека проницательного и действительно был таковым. Один Скорбный-Голован не задумался и продолжал относиться к Каширину с возрастающею задушевностью, но посещать археолога-библиографа было не особенно лестно, потому что в доме его царила бесконечная неурядица. Сам он сидел в кабинете и штудировал Баркова, а жена всем и каждому жаловалась, что, благодаря этому занятию, стало совсем невозможно жить, потому что даже маленькие дети — и те до такой степени пристрастились к сквернословию, что иначе не говорили друг с другом, как тирадами из барковских трагедий. И вдобавок, у Скорбных-Голованов подавался какой-то совсем неестественный обед, состоящий из молока, растительных веществ и донельзя заношенного холодного ростбифа, который, очевидно, зажаривался однажды на всю неделю.

Тем не менее начало сезона все-таки прошло благополучно. Кстати же, появилась в обращении новая рукописная «записка», автором которой был уже не Пафнутьев, а отставной корнет и ныне земский деятель Голубятников. У Голубятникова было страшное орудие — ирония; с этим-то орудием он напал на Пафнутьева. Все, что Пафнутьев утверждал, Голубятников отрицал, и наоборот. И к довершению всего, обе записки были либеральные, и обе возбуждали в «обществе» страстный переполох. Пользуясь этой сумятицей, Каширин очень ловко эксплуатировал ее, лакомясь то у Растопыри, то у Чертополоховых, то у Птицыных и проч. и всех убеждая отложить окончательное решение возбужденных «вопросов» до тех пор, когда со стороны Пафнутьева последует ответ, в котором он, конечно, во всей полноте разъяснит сущность пафнутьевских идей.

Но Пафнутьев медлил ответом, и в половине сезона трещина начала обнаруживаться. Сначала она показывалась понемногу, потом — резче и резче. То свойство, которое Каширин приобрел вместе с отставкой и вследствие которого он оказывался решительно неспособным кого-либо «одолжить», вдруг вышло наружу во всей наготе. Никто прежде не задавал себе вопроса: с какой стати этот человек повадился к нам обедать? Теперь же этот вопрос формулировался как-то сам собою и притом одновременно у всех. Все поняли, что от Филипа Филипыча ждать нечего, а стало быть, и кормить его незачем.

А рядом с этим вопросом рождался и другой: не занять ли у него денег?

Прежде всех решился на эту попытку Растопыря, и в первый же раз, как Филип Филипыч пришел к нему обедать, он отвел его в сторону и, отважно хлопнув по плечу, сказал:

— А что, дружище, не дашь ли ты мне тысячку рублей на несколько дней перехватить?

— Где? — как-то нескладно спросил Каширин, как будто не понял, в чем дело.

— Где? чудак, братец, ты! ну, у себя или у меня... где хочешь.

Но Каширин уже понял и только растерянно глядел на своего амфитриона.

— Обедать! — крикнул Растопыря, и хотя, впоследствии, ни одним намеком не укорил друга, но с тех пор в отношения их начала заметно вкрадываться холодность.

За Растопырей последовали: Чертополохов, Бердяев, Чистосердов и проч., и со всеми повторилась одна и та же сцена. Каширин никому денег не дал и у всех остался обедать. Но что всего прискорбнее, он должен был отказать в подобной же просьбе хорошенькой мадам Карнауховой, которая еще накануне, сидя с ним рядом за обедом, пожала ему ногу своей ножкой.

Каширин не мог не знать, что этого ему никогда не простят, но он словно одеревенел и продолжал посещать «друзей» по-прежнему. К довершению всего, он с самого начала сезона так счастливо играл в преферанс, что это наконец делалось неприлично. Общее мнение было таково, что он подсматривает в карты, и, вследствие этого, Растопыря начал свои карты прятать под стол. Но если бы даже признать за верное, что в данном случае никакой фальши не было, а действовало одно счастие, то и тогда эти постоянные выигрыши были просто неприличны. Сегодня три рубля, завтра пять рублей — в месяц-то сколько этих рублей набежит!

Словом сказать, видимо, подготовлялось что-то натянутое, ежели не явно враждебное. Все замечали это, один Каширин продолжал не замечать: до такой степени он уже освоился с ролью прихлебателя. Напротив того, он легкомысленно радовался, что статья бюджета: «занятие картами» все больше и больше тучнеет и что, быть может, недалеко уж время, когда он, при ее пособии, приобретет себе еще один билет внутреннего с выигрышами займа (два он уже имел).

Но время шло, а вместе с ним все яснее и яснее обозначалась раз намеченная трещина. Однажды Филип Филипыч пришел к Растопыре обедать (Растопыря был закадычный друг, и потому весьма натурально, что он же должен был открыть враждебные действия), и вдруг оказалось, что одного прибора

недостает. Разумеется, прибор потребовали, но хозяин почему-то счел долгом обратиться к Каширину (как будто именно для него-то и недоставало прибора), сказав:

— Ну, для тебя как-нибудь потеснимся... старый дружище!

В этот же день случилось и другое происшествие. Лакей, подавая ветчину с горошком, толкнул Филипа Филипыча в плечо, как бы понуждая его не медлить. Между тем, не далее как неделю тому назад, он дал этому лакею рубль, и потому поведение его не могло не показаться загадочным. Стало быть, Растопыри не очень-то стесняются в выражении мнений о своем друге, если даже рублевая подачка не действует на хамово отродье!

А вслед за тем и третье происшествие. Когда, после обеда, раскинули столы для преферанса, то хозяин подал карты Бердяеву, Чертополохову и Птицыну (четвертую взял сам), а Каширину карты не дал, сказав:

— Ты, дружище, не сердись, что тебя не сажаю. В последнее время ты начал так часто выигрывать, что, признаться, уж тяжеленько стало!

Однако Филип Филипыч и тут смолчал, и даже несколько времени повертелся около madame Растопыри. Но под конец не выдержал и ушел домой.

Сцены более или менее такого же содержания повторились и в других домах. Каширин чувствовал, что роль его делается более и более невыносимою, и все-таки не решался порвать. Однажды, переходя через улицу к подъезду Карнауховых, он собственными глазами убедился, что хорошенькая madame Карнаухова, стоявшая у окна (еще у него мелькнуло в голове: верно, выглядывает своего гусара, корнета Стрекозу!), увидев его, вдруг отпрянула; а когда он, через минуту, позвонил, то прислуга, отворившая ему дверь, с смущенным видом ответила, что барыня нездорова и кушать не будут. Выйдя после этого на улицу, он нарочно остановился у ближайшего угла, чтоб наблюсти, и увидел, что вслед за ним к подъезду подлетел гусар Стрекоза, а через четверть часа поползли: Чистосердов, Растопыря, Чертополохов и сам Карнаухов, очевидно, все четверо из департамента. И все вошли в подъезд и больше не выходили.

Но этого мало: к полному своему огорчению, он убедился, что про него начинают распространять клеветы. Однажды прибежал к нему Скорбный-Голован, в состоянии беспримерной восторженности, и долго ничего не мог объяснить толком, а только беспорядочно махал руками и восклицал:

— Подлец Растопыря! подлец! подлец! подлец!

Причем смешивал фамилию Растопыри с фамилией одного из действующих лиц барковских трагедий, что, с внешней стороны, выходило даже совсем неприлично.

Успокоившись, однако ж, он рассказал, что Растопыря распускает о Каширине самые ядовитые слухи. Говорит, что Филип Филипыч потихоньку берет у него из ящика сигары, прячет в карман и уносит домой; что однажды la belle madame Растопыря видела, как он положил кусок ветчины между двумя ломтями хлеба и тоже препроводил в карман; что он, Каширин, не довольствуется тем, что выпивает за столом вдвое против других, но что неоднократно лакей Степан подстерегал, как он ходил в буфетный шкап и там выпивал рюмку за рюмкой; что однажды, на смех, в бутылку из-под хересу налили керосин, и он, Каширин, выпил, не сморгнув, и только в течение всего вечера отплевывался и время от времени вполголоса произносил: ах, подлецы! что сам Растопыря, заметив однажды, что Каширин с особенною умильностью взглядывал на бутылку с мадерой, и желая убедиться в справедливости лакейских показаний, спрятал бутылку за оконные драпри (но так, чтоб Каширин видел это), и действительно, через два часа бутылка оказалась порожнею...

Каширин был возмущен до глубины души, потому что он решительно ничего подобного не делал.

Но вместо того чтоб принять эти слухи только к соображению, он оказался настолько нерассудительным, что вздумал объясняться. Когда он явился с этим к Растопырям, то самого Растопыри не было дома, а madame Растопыря приняла его особенно весело, как будто знала, о чем пойдет речь. И действительно, все время, покуда он, одну за другой, излагал свои претензии, она без умолку хохотала, так что он наконец остановился и спросил: что же тут смешного?

— Ха-ха! какой вы уморительный! — ответила милая хозяйка и вновь залилась веселым смехом.

Тогда он скромно напомнил ей, что было время, когда она не смеялась, и когда он... Но «красавица», не прекращая хохота, с таким наивным любопытством взглянула ему в лицо, что он просто оторопел.

— Итак, я должен из этого заключить...— начал было он, но тут воротился домой сам Растопыря и не дал докончить фразу.

Ту же претензию он изложил и Растопыре, который выслушал его с участием, но не только не отрекся, а, напротив, сейчас же повинился и, в заключение, даже обнял его.

— Ну, прости, дружище! виноват! не буду! — утешал он Каширина,— не следовало, ах, не следовало мне этого говорить! знаю, что не следовало! Друг ведь ты! старый... дружище!

Но тут же, впрочем, присовокупил:

— Признайся, однако, голубчик, ведь было-таки немного! Хереску-то из-под драпри... хватил-таки малость!

При этой непредвиденной выходке, сопровождавшейся неудержимым смехом милой хозяйки, Каширин почувствовал, что он холодеет. Он с инстинктивным ужасом взглянул на своих «друзей», как будто перед ним стояла страшная голова Медузы, а не посконное рыло начиненного галушками полтавского обывателя.

— За что вы меня... ненавидите? — вырвалось наконец из его измученной груди.

А между тем времена всё зрели да зрели, а наконец, и совсем созрели.

В одно прекрасное утро заслуживающее доверия лицо (может быть, даже сам Стрекоза), встретив Растопырю (Растопыря, как ловкий полтавец, сумел приютиться в трех ведомствах и по всем трем получал присвоенное содержание, так что чиновники, в шутку, называли его «трижды подчиненным»), предложило ему следующий краткий вопрос:

— Кстати! ведь вы, кажется, знакомы с господином Кашириным.

Растопыря смутился и начал бормотать что-то невнятное. Не отрицал, но и не утверждал; говорил, что он никогда не был особенно близок... что притом давно уже предположил... и что, наконец, он сейчас же, сию минуту...

— Смотрите! как бы не тово...— последовал доброжелательный совет.

Растопыря прибежал домой, точно с цепи сорвался. И так как это произошло именно в четверг, когда у него собирались к обеду приятели, и время уже близилось к половине шестого, то он, как говорится, и рвал и метал. Призвав madame Растопырю, объявил ей, что присутствие в их доме Каширина дольше терпимо быть не может; потом начал топать ногами, бегать по комнате, кричать, вопить:

— Вон его! гнать его! гнать! гнать! гнать!

И вдруг, в ту самую минуту, когда пароксизм его гнева достиг высшей степени, он очнулся и увидел, что в дверях стоит Филип Филипыч, каким-то образом ухитрившийся упредить распоряжение об отказе ему от дома.

Каширин был бледен, щеки его тряслись, зубы стучали. Шатаясь, воротился он в переднюю, без помощи лакея надел пальто и вышел на лестницу. Там он встретил Чертополохова, который, при виде его, сухо-учтиво приложился к шляпе, но руки не подал, потому что, как оказалось впоследствии, в это же утро и у него был разговор с Стрекозой по поводу знакомства с *господином* Кашириным.

Очутившись на улице, Филип Филипыч несколько минут не мог сообразить, что́ такое с ним произошло. Мимо него прошли: Бердяев, Чистосердов и, наконец, Шилохвостов, новая звезда, только что взошедшая на горизонте «Дивидендов и Раздач». И они, конечно, имели такой же разговор, потому что тоже ограничились формальным поклоном, без рукопожатия. Но Каширин все еще находился в тумане, и перед глазами его инстинктивно рисовалась освещенная столовая Растопырп, стол, обремененный закусками, около которых столпились гости, и посреди их гостеприимный хозяин ораторствовал:

— Разумеется, ввиду этого, я вынужден был употребить героические меры...

— Конечно! конечно! — восклицали гости, за исключением, впрочем, Шилохвостова, который в эту минуту разрешал в своем уме вопрос, отречется ли он, подобно сему, и от Растопыри, когда очередь дойдет и до него!

— Ах, он нам так надоел! — сентиментально присовокупляла, с своей стороны, la belle madame Растопыря...

Однако привычка прихлебательства взяла-таки свое, и Каширин бессознательно побрел по направлению к квартире Скорбного-Голована.

Но тут его уж окончательно добили. Скорбный-Голован бросился к нему со слезами, обнял, замочил ему губами щеки и даже слегка порыдал у него на груди. Но в заключение крикнул:

— Миша! Петя! Катичка! Милочка! Марфинька! Зиночка! идите! идите сюда.

И когда молодое поколение Скорбных-Голованов собралось, то археолог-библиограф, указывая Каширину на невинных детей, возопил:

— Вот! уже шесть человек налицо, а мы с женой еще молоды! Судите сами, голубчик, могу ли я? Я знаю, что я малодушен и отчасти даже вероломен, но могу ли я... скажите, могу ли?!

Каширин ничего не ответил на эти излияния и сейчас же вышел. На этот раз он уже совершенно отчетливо понял, что и Скорбный-Голован имел утром разговор.

Каширин долго пролежал больной, и во все время болезни ни одна душа не осведомилась об нем. Наконец ему полегчало, и первая мысль, представившаяся его уму, была та, что про-

шлое бесповоротно рухнуло и что впереди предстоит лишь полное и безнадежное отчуждение. Над его существованием прошла какая-то до нелепости жестокая случайность, которая наполнила его душу инстинктивным страхом. Он никогда ничего подобного не предвидел, а потому и приготовиться не мог. Он даже и теперь не понимал, а только чувствовал, что сделалось что-то жестокое. К несчастию, отставка не надоумила его, не заставила подумать о подготовке иной обстановки, которая могла бы выручить в случае измены «друзей». Он, по крайней мере, всю последнюю половину жизни провел, как человек касты, и, несмотря на полученные уроки, остался верен ей. Эта каста, ограниченная в численном смысле, отличается, сверх того, зависимостью, как главною характеристическою чертою, и это делает ее легко доступною для всякого рода колебаний. Нигде не бывают так часты измены, как тут. Но этого-то именно и не приметил Каширин, и вот теперь измена разразилась над ним чем-то неслыханным, перед чем бледнели и стушевывались все заботы о респектабельности и равновесии бюджета.

Погрязши в касте, он растерял все посторонние связи и даже к новой русской литературе относился довольно индифферентно. Не порицал прямо, но находил, что она не дает плодотворных пафнутьевских элементов. С бывшими пронскими своими патронами он тоже расстался (весьма, впрочем, дружелюбно), да вряд ли они и могли быть ему полезными в данную минуту. Они жили за границей и, в чаянии, что когда-нибудь их опять поманят, фрондировали; об отечестве же вспоминали лишь по поводу туго высылаемых оттуда доходов.

И вдруг он вспомнил вновь, что на Песках, на Слоновой улице, в пятиоконном деревянном домике, существует чиновник Каверзнев, у которого он некогда воспринимал от купели старшего сына...

Воспоминание это оживило его, ибо, по мере того как здоровье его восстановлялось, в нем просыпалась и жажда общества. В заботах об ее удовлетворении, он очень верно сообразил, что по праздникам и не очень выдающиеся чиновники пекут пироги и приглашают к своей трапезе друзей. Поэтому, хотя и не без некоторой борьбы, но в первое же воскресенье он купил фунт конфект для крестника и, как только пробило три часа, отправился на Пески.

Титулярный советник Каверзнев был чиновник очень маленький и очень смирный. Занимая место помощника столоначальника, он едва сводил концы с концами, да и то благодаря тому, что имел даровую квартиру в доме тестя, отставного кол-

лежского асессора Монументова, когда-то заведовавшего департаментскими курьерами и сторожами, а ныне проживавшего на пенсии в крошечном мезонине того же дома. Каверзнев женился всего пять лет тому назад и имел ровно пять человек детей. Человек он был не особенно блестящих способностей, но покорный, безгранично преданный семье и удивительно добрый. Жена у него была молоденькая, тоже до крайности добрая и очень симпатичной наружности особа, хотя частые роды уже успели сообщить ее лицу утомленное и слегка заношенное выражение. Вообще это было семейство согласное, жившее душа в душу, в полном отчуждении от живого мира, но не тяготившееся этим отчуждением.

Когда Каширин пришел, в первой комнате, служившей одновременно и столовой, и залой, был уже накрыт стол. В углу, на особом столике, стояла совсем готовая закуска и водка, а в воздухе носился приятный запах начинки. Каверзнев сам выбежал отворить дверь, потому что ожидал к обеду друга своего, Косача. Увидев перед собой Филипа Филипыча, он слегка смутился, однако ж понял, что посещение такого чиновного гостя приносит ему величайшую честь. Суетясь и забегая вперед, он проводил гостя в гостиную, где сидели, в ожидании обеда: жена Каверзнева, старик Монументов и помощник экзекутора Здобнов. Оба последние тоже нетерпеливо ждали Косача, чтоб приступить к водке, и, при виде нежданного гостя, ощутили то самое чувство, которое должен испытывать человек, уже поднесший ко рту рюмку и вдруг убеждающийся, что, благодаря какому-то проказливому волшебству, содержимое мгновенно исчезло из рюмки.

— А я сегодня вышел прогуляться, да и надумал: дай-ко крестного сынка проведаю! — начал Филип Филипыч. Он предположил было прямо сказать: «дай-ко у крестного сынка запросто хлеба-соли отведаю!», но почему-то это не вышло.

Затем он потребовал, чтоб ему показали детей. Старшенького, Бореньку, как крестника, он поцеловал и перекрестил, сказавши при этом: «вот так!», прочих — только перецеловал. В заключение вынул из шляпы коробку с конфектами и подарил крестнику, присовокупив:

— Поделись с братцами и сестрицами, да смотрите, не обижайте друг друга!

Эта церемония длилась с четверть часа, и к концу ее прибыл Косач, молодой малый, служивший в том же департаменте помощником регистратора. Все вздохнули легче, потому что думалось, что, с окончанием церемонии целования детей, Филип Филипыч снимется с места. Но он не уходил. Прошло еще с четверть часа, а он отыскивал все новые и новые темы для

разговора. Говорил исключительно он один; хозяева отвечали односложными словами и вымученными улыбками, как это всегда бывает с людьми, которые совсем уж собрались есть и не знают, как выпроводить человека, остановившего их, так сказать, на ходу; гости же просто-напросто удалились в угол, и если бы Каширин не заглушал себя сам, то, наверное, услышал бы, как старик Монументов вполголоса выговаривал Косачу:

— А все по твоей милости, ветрогон! где о сю пору шатался?

Прошло еще четверть часа. У всех лица подернулись усталостью, вытянулись и даже словно похудели. К запаху начинки присоединился запах гари: подгорал пирог. Старший сын Боренька стучал в столовой посудой, к чему его, очевидно, поощрял Монументов, молчаливо, но несомненно приглашая:

— Стучи, батюшка, стучи!

Наконец, видя, что надобно же когда-нибудь решиться, Каширин, слегка зардевшись, сказал:

— А знаете ли что! ведь я к вам без церемоний! Иду и думаю: дай-ко я у крестного сынка запросто хлеба-соли отведаю!

Только тогда Каверзневы внимательнее взглянули в лицо Филипу Филипычу и заметили изнурение, которое произвели в нем последние происшествия и болезнь. Они поняли добрыми своими сердцами, что, должно быть, на этого человека большое горе обрушилось, если он решился идти к ним не в качестве посажёного или крестного отца, а на правах простого гостя. И одновременно у обоих вырвалось восклицание:

— Ах, ваше превосходительство!

Их лица просияли; Каверзнев стремглав побежал в кухню, где распорядился, чтоб суп и пирог поставлены были на стол, и в то же время пошел в кондитерскую за шмандткухеном; что же касается до Людмилы Петровны (так звали жену Каверзнева), то она инстинктивно подала Каширину руку, которую последний очень галантно поцеловал. Замечательно, что он почти мгновенно оправился от своего смущения и немедленно почувствовал себя совсем хорошо, как будто дело сделал. Даже гости повеселели, словно у всех была одна мысль: слава богу! хоть какой-нибудь да конец!

Обед прошел великолепно, и Филип Филипыч очень серьезно сделал честь своему крестному сыну. Конечно, эту еду нельзя было сравнить с едою у Растопыри (одно сало возможно ли позабыть!), ни тем паче с едою у Стрекозы — ну, да ведь те обеды невозвратно канули в вечность, и следовательно... Вот только вина было маловато: одна бутылка медоку на всех. Правда, что Монументов восполнял этот недостаток, вставая

после каждой перемены из-за стола и проглатывая рюмку водки, но это-то именно и подтверждало, что медоку в этом доме придавалось особливое значение и что, стало быть, обходиться с этим напитком надлежало с осторожностью. Зато шмандткухен произвел решительный фурор между детьми, и хотя Каширин не ел его, но внутренно должен был сознаться, что давно не видал таких счастливых детских лиц.

После обеда составилась пулька по одной сотой копейки, и когда Филип Филипыч выразил сомнение, что при такой цене, пожалуй, не из чего будет за карты заплатить, то Каверзнев поспешил его успокоить, сказав, что «у нас, ваше превосходительство, карты дешевенькие, в клубе по три гривенника покупаем, а они между тем только слава, что распечатаны, а все равно что новые». И действительно, когда подали карты, то Каширин очень любезно сознался, что они «даже лучше, чем новые».

Играли: Монументов, Здобнов и Каширин; хозяин и Косач отказались, говоря, что они хоть и играют, но неохотно, и только чтоб не расстроить партии. Монументов очень наивно поглядывал в чужие карты, и Здобнов, зная эту привычку его, прятал свои карты под стол; этому же примеру, после двухтрех ремизов, последовал и Филип Филипыч. Оба местных партнера играли до чрезвычайности прижимисто; напротив, Каширин рисковал и, как всегда бывает в подобных случаях, извлек из своего риска пользу. В результате он оказался в выигрыше 85 копеек, из которых 30 уплатил за карты, а остальные 55 принес домой.

День был проведен, и Каширин остался доволен им. Но впереди дней предстояло еще много, надо было и об них подумать. Сначала он совестился и ходил к Каверзневым только по праздникам, в будни же сидел дома и обдумывал план сочинения. Сочинение это предполагалось озаглавить так: «Имеяй уши слышати — да слышит!», а содержание его должно было заключать в себе, во-первых, оправдание образа действий «пишущего эти строки» и, во-вторых, указание некоторых небесполезных мер, которые, не останавливая правильного и разумного развития дивидендов, в то же время полагали твердые преграды для обнаружившегося в сем ведомстве стремления к излишествам. Но так как это была материя сухая, то понятно, что она в скором времени наскучила Каширину, вследствие чего он попробовал забежать к Каверзневым и в будни, и тоже остался доволен, хотя очень хорошо заметил, что на второе блюдо подали говядину совсем вываренную. Наконец, понемножку да помаленьку, он начал учащать, и не успели Каверзневы встать в оборонительное положение, как он уже сделался

у них домашним человеком и постоянным гостем. Однажды он даже рискнул отобедать и у Здобнова (и отобедал), но тот обошелся с ним до такой степени иронически, что в самом зародыше уничтожил все попытки к установлению начетистых отношений дружества.

Для Каверзневых это был своего рода бич. Ежели трижды подчиненный Растопыря имел основание жаловаться на падение вексельного курса и вздорожание съестных припасов, то тем большее право на эти жалобы мог предъявить Каверзнев. Со счетами в руках, он мог доказать, что Каширин обходится ему от пятнадцати до восемнадцати рублей в месяц — где их взять? Сверх того, Каширин постоянно выигрывал в карты, и этим отвадил от Каверзневых Здобнова и Косача. Даже старик Монументов начал прятаться от него и требовал, чтоб ему приносили обед в мезонин. Из человека бесконечно доброго Каверзнев, в каких-нибудь два-три месяца, сделался угрюмым и раздражительным. Людмила Петровна хотя наружно улыбалась, но внутри у нее тоже все клокотало. Эти простые и добрые люди смотрели на своих детей и со страхом думали: Каширин все съест! Однажды они решились на крайнюю меру: съели вареную говядину до обеда, а за обедом подали пустой суп и макароны; но Каширин и этого не понял или, лучше сказать, не хотел понять. К довершению всего, делаясь с каждым днем более и более наглым, Филип Филипыч и детям перестал возить гостинцы, так что и они вознегодовали.

Надо было быть очень робким и очень дисциплинированным, чтоб столько времени выносить терзания, которые выпали на долю Каверзнева. Мало того что Каширин объедал и опивал его, но, вдобавок, Здобнов и Косач открыто смеялись над ним...

— Он тебя и со всеми твоими потрохами купить и продать может,— говорили они,— а ты его шмандткухенами кормишь!

Однако ж и для самой беззаветной забитости бывают пределы, дальше которых идти некуда. И вот, дойдя до этих пределов, Каверзнев решился.

Однажды, когда Каширин всего меньше думал о разрыве и даже рассчитывал, что на будущее время ему и летом будет нескучно, он получил по городской почте письмо, в котором прочитал следующее:

«Ваше превосходительство!
Милостивый государь!

С стесненным сердцем я приступаю к настоящему письму, но, помилуйте! я человек недостаточный и притом семейный. Я очень хорошо понимаю, что посещения вашего превосходи-

тельства приносят нам честь, но ограниченность состояния даже и в сем не дозволяет нам наслаждаться, как бы того душевно желали. И притом, ваше превосходительство! постоянно выигрывая в карты, вы тем самым изволили отвратить от нашего семейства давних и преданных друзей, кои, будучи тоже состояния недостаточного, не в силах оного перенести, хотя бы и желали.

Ваше превосходительство! клянусь повторительно: с стесненным сердцем пишу настоящее письмо! Но взойдите в положение угнетенного отца и мужа и с свойственным вашему превосходительству великодушием простите приемлемой мною смелости!

С чувствами глубочайшего высокопочитания и несомненной преданности имею честь пребыть.

Вашего превосходительства,

милостивый государь!

покорнейший слуга

Илья Каверзнев».

К удивлению, Филип Филипыч отнесся к этому письму довольно спокойно. По-видимому, его скорее удивило не содержание письма, а его бессвязность и редакционные недостатки. Он всегда утверждал, что нынешнее поколение «не умеет писать» — и вот доказательство налицо!

— И это помощник столоначальника нацарапал! — воскликнул он с горечью,— такие ли в наше время помощники бывали!

Я знаю, что рассказ мой дошел до того кульминационного пункта, за которым необходимо следует катастрофа, а потом и естественное ее разрешение. Настоящие художники-беллетристы именно так и поступают: сначала постепенно завязывают узел, а потом постепенно его развязывают. Поэтому ничего нет мудреного, что и читатель, избалованный этими развязываниями и завязываниями, ждет от меня, что я поступлю с Кашириным решительно, то есть или женю его, или сделаю пьяницей, или, наконец, совсем уморю.

Ничего подобного я, однако ж, не сделаю, по причинам, вполне уважительным. Во-первых, я не имею претензии быть художником и ничего «из головы выдумать» не могу; во-вторых, я прошу принять во внимание, что герой моего рассказа — старик, и, в силу одного этого условия, не представляет достаточных элементов для завязываний и развязываний. Поэтому, и желая оставаться в согласии с истиной, я говорю прямо: каким образом Филип Филипыч вышел из своего послед-

него огорчения и перенес ли при этом какую-нибудь душевную или нравственную ломку — не знаю. Не знаю, потому что мой герой так быстро после этого исчез с петербургского горизонта, что я даже не мог уследить за ним.

Знаю, впрочем, что он поселился в Пронском уезде, в крохотном именьице, некогда великодушно уступленном им тетеньке Агафье Ивановне.

Летом прошлого года, находясь по делам в Пронском уезде, я случайно попал туда в такое время, когда собирался мировой съезд. В качестве почетного мирового судьи прибыл и Каширин. Узнав, что я литератор, он благосклонно пожелал со мной познакомиться, а наконец, затащил меня и в свою усадьбицу. По наружности, это был старик бодрый и даже щеголеватый. Одетый по-летнему, в легонькую визитку, белый жилет и таковые же брюки, он скорее походил на завсегдатая павловских или петергофских садов, нежели на обывателя пронских палестин. Особенной словоохотливостью он не отличался, но, справедливо предполагая, что всё, относящееся до русской литературы, должно интересовать меня, он очень любезно рассказал мне больше сотни анекдотов про Грановского, Белинского, Некрасова, Тургенева и других литературных корифеев сороковых годов и, в заключение, вздохнув, прибавил:

— Да, было, было все это; было — и прошло!

Даже о пойманном Майковым в Парголовском озере пискаре не умолчал и тоже прибавил:

— Да, поймал пискаря, да так с пискарем на всю жизнь и остался!

Усадьба у него оказалась очень хорошенькая, и, судя по его рассказам, он серьезно намеревался устроить из нее нечто вроде «виллы» и с этою целью треть всей земли обратить под сад. Здесь я познакомился и с тетенькой Агафьей Ивановной; старушке было под восемьдесят, но она сохранила все зубы, все волосы и почти юношескую остроту зрения, в соединении с замечательной подвижностью.

— Теперь только я жить начала! — сказала мне эта милая женщина, окидывая бесконечно-любящим взглядом своего бесценного племянника.

Филип Филипыч радушно выводил меня по всем комнатам дома, который он почти весь заново перестроил и, благодаря петербургской мебели, ухитил очень удобно и красиво. В одной из комнат мы застали за работой Палагею Семеновну, девицу высокого роста, «рассыпчатую», с привлекательными формами тела и притом совсем пучеглазую, о которой Каширин сказал просто:

— А это моя Палагея Семеновна!

И затем она ни за обедом, ни за чаем не появлялась; быть может, впрочем, это случилось только потому, что она «стыдилась» постороннего человека, так как не раз Агафья Ивановна, положив на тарелку самый лучший кусок (пупочек, стегнушко), отдавала подачку прислуге, говоря:

— Снесите это Палагеюшке!

Обедом Филип Филипыч накормил меня отличным, причем беспрестанно и он и тетенька понуждали: кушайте! Очевидно, он жил на свои три тысячи шестьсот рублей паном. Охотно хвалился наливками, которые были действительно превосходны, но скорбел, что никак не может добиться такого сала, какое едал в Петербурге у Растопыри.

По-видимому, он всем простил, и даже про Растопырино вероломство вспоминал без горечи. С некоторыми из бывших друзей он исподволь возобновил сношения и даже удостоился очень лестного письма от Стрекозы, которому послал в презент удивительно выкормленного индюка.— «Превосходнейшего вашего индюка мы скушали,— писал маститый сановник,— в сообществе известных вам пособников, укрывателей и попустителей, и так оказался хорош и соответствующ предназначенной ему роли, что не токмо желудочного обременения, по съедении, не ощутили, но даже как бы небольшое облегчение». Что же касается Каверзнева, то Каширин каждогодно к рождеству посылал ему целую груду поросят, гусей и кур.

В Пронске же Филипу Филипычу было суждено встретиться и с Пафнутьевым, что пролило еще более сияющий свет на его существование. К сожалению, я не мог познакомиться с Пафнутьевым, потому что он был в это время в отсутствии. Но Каширин сообщил мне, что ежели сочинение его «Имеяй уши слышати — да слышит!» значительно подвинулось вперед, то именно благодаря Пафнутьеву, в котором он нашел драгоценнейшего для себя сотрудника.

После обеда он попытался прочесть мне первую (вероятно, и единственную) главу этого сочинения. Первую страницу прочел бойко, на второй, под влиянием изобильно принятой пищи и летнего зноя, язык его начал слегка заплетаться, а на третьей он как-то вдруг и незаметно уснул. Я вышел на цыпочках из кабинета и направился к Агафье Ивановне, но и она спала; потом толкнулся к Палагее Семеновне, но и ее нашел спящею. Все в доме и около дома дремало, дремало, дремало; даже большой кохинхинский петух — и тот перестал интересоваться курами. Тогда и я, выбравши в гостиной кресло помягче, протянул ноги и тоже моментально заснул.

А в восемь часов, напившись чаю, уехал от Каширина и больше его не видал.

ДВОРЯНСКАЯ ХАНДРА

Я приехал в деревню, чтоб поселиться в ней навсегда. Ехал я совсем не затем, чтоб просвещать, распространять здравые понятия о платеже недоимок, устранять неурожаи и вообще способствовать улучшению быта; не затем, чтоб принять деятельное участие в распоряжении земскими деньгами, и уж, конечно, не затем, чтоб производить опыты по части сельского хозяйства. Просто чувствовалась потребность заживо иметь гроб — вот я и приехал.

Эта потребность была очень сильная, почти страстная. Но что всего страннее, она загорелась во мне совсем не потому, чтоб я прикончил какие-то счеты с жизнью, чтоб я сделал какое-то свое дело, а именно потому, что я ровно ничего не начинал и никаких у меня счетов назади не было. Умственное пустодомство удивительно как утомляет. Оно всегда сопряжено с беспорядочною сутолокой, которая загромождает жизнь разнообразным цепким хламом и самым предательским образом вводит в заблуждение. Благодаря этой сутолоке, долго, очень долго думает человек, что он вращается среди действительных интересов, и даже представляет себя силою, действующим лицом. И вдруг его словно осветит, перешибет пополам. И начнет ежемгновенно, неотступно, назойливо, и во сне, и наяву, представляться одно: гроб! гроб! гроб!

Я ехал, однако ж, не без опасений. Я думал, что гроб дается не разом и что с приездом моим начнется, хотя и в другом вкусе, но все-таки сутолока. Со стороны домочадцев возникнут требования разъяснений, распоряжений и прочие сельскохозяйственные приставания; со стороны мужиков — явятся поползновения по части так называемого слияния, в которых сыграют свою роль и вопрос о пьянстве, и вопрос о грамотности, и вопрос о ссудосберегательных кассах. И, в заключение,

как наидействительнейший символ слияния,— ведро водки. Со всем этим, думалось мне, придется вести борьбу, покуда, наконец, не воцарится настоящее безмолвие, из которого выдвинется настоящий гроб. Но, к моему благополучию, все эти опасения оказались преувеличенными.

Нынешняя деревня — не та, в которой кишат ревизские души, а та, которую представляет собой помещичья усадьба,— истинный клад для гробоискателя. В нынешней деревне вы не встретите ни малейшей суеты, ни тени сельскохозяйственных забот и волнений, а следовательно — никаких вопросов и сомнений. Есть, разумеется, уголки, в которых и доныне ютятся выжиги и «колотятся из последнего», но это исключения. Общий характер — тишина и уныние, которые я назвал бы самоотвержением, если бы при этом не приходило на мысль представление о выкупных свидетельствах. Урок дня, то есть то, что нужно для пропитания, протопления и проч., исполняется как-то сам собой, в определенный час, без шума, без беготни. Прежде стон, бывало, стоял и над застольными, и над скотным и птичным дворами; нынче — благодать. Не только в стенах помещичьего дома, но и на дворе — ни звука, кроме так называемых голосов природы: завыванья ветра, шума деревьев, чириканья и карканья птиц, лая собак и т. п. Изредка доносится, правда, с поселка (ежели он недалеко) хлопотливое галдение ревизских душ, но и оно не нарушает обязательной для всех (и живых, и мертвых) гармонии голосов природы, а, напротив, только дополняет ее и сливается с нею. Можно (особливо ежели требования комфорта довести до минимума) провести целый день, не слыхавши звука человеческого голоса и самому не издавши такового. Ходить, думать, глядеть в окно и даже, по возможности, не читать. И лишь на самое короткое время зажигать огонь. Для человека одинокого и притом перешибленного пополам — это своего рода купель силоамская, приводящая за собой исцеление от всех недугов.

Усадьба у меня старинная. Господский дом — громадный, выстроенный из такого отличного леса, что и теперь все вполне исправно. Просторно, пропасть воздуха и тепло. Когда-то, на красном дворе, рядом с домом, было нагромождено множество всякого рода служб, но ныне все эти постройки снесены отчасти по ветхости, а преимущественно за ненадобностью. Летом на этих «нарушенных» местах растут непролазные массы крапивы и репейника, зимою — из-за снежных наносов виднеются неправильные кучи ломаного кирпича и мелкого мусора. В соседстве с ними, но несколько поодаль, словно монумент, свидетельствующий о благополучном переходе от крепостных порядков к вольнонаемному труду, стоит небольшой, сложенный из

тонкого леса скотный двор, в котором помещаются две коровы, две лошади, ломаный инструмент и прочий приличествующий вольнонаемному труду сельскохозяйственный инвентарь. Впереди дома — цветочный (когда-то) сад, с запущенными дорожками, покато спускающийся к речке; сзади дома — парк, настоящий парк, с старинными могучими деревьями, которых шум даже человеку, далеко не одержимому мизантропией, может внушить мысль о гробе. Внизу, по течению речки,— небольшая мельница, у зияющей двери которой вечно торчит засыпка, не знающий, куда деваться от праздности, так как, за общим оскудением, помолец наезжает редко, да и то налегке.

Понятно, что при такой внутренней обстановке приезд мой не мог вызвать никакой особенной суматохи. Я написал, что явлюсь тогда-то, и в назначенное время все было готово к моему приему. Печи истоплены, стены и потолки обметены, полы вымыты, мебель расставлена в старинном порядке, даже обед изготовлен. «Распоряжений» до такой степени не потребовалось, что когда я снял шубу (дело происходило в половине февраля), то мне оставалось только сказать, что *покуда* мне ничего не нужно. Домочадцы, встретившие меня, разошлись по своим углам; я слышал, как хлопнула сперва одна дверь, потом другая, третья, всё глуше и глуше — и вдруг я остался один... И в этой светлой, большой и хорошо натопленной зале очутился лицом к лицу с гробом...

Точно так же не потребовалось никакой борьбы и по части «слияния». Еще на железной дороге одна соседка по вагону, добродушная помещица, узнавши, что я намереваюсь возобновить порванную связь со старыми «прахами», сочла долгом предупредить меня:

— Нынче, батюшка, от мужичка благодарности не спрашивайте. Равнодушные какие-то они стали: ни помощи, ни привета. Всё — на деньгах. Сколько следует ему по условию — получил, и шабаш. Спасиба — не ждите.

Так, в самом деле, и оказалось. При самом въезде моем в крестьянский поселок (давно ли я был тут «в отца местом»?) я сейчас же убедился, что мое появление ни в ком ничего не пробудило. Ни благодарных воспоминаний, ни отрадных надежд, ни даже изумления. Мужики, пилившие у своих изб дрова (в этой местности преобладает дровяной промысел), на мгновение приподняли головы, очевидно потому, что внимание их было привлечено топотом мчавших меня лошадей, и опять принялись за свое дело. Я опасался снимания шапок, поклонов (иногда даже в воображении моем мелькали радостные улыбки) — ничего не бывало! Точно муха перед ними пролетела. И мужики показались мне какие-то новые. Прежние были востор-

женные, слезоточивые; нынешние — равнодушные, зачерствелые. Прежний мужик всеми внутренностями тянул к барскому дому; нынешний — даже по надобности проходя мимо господской усадьбы, совершенно ее игнорирует, словно это не притягательное место, а только вехá на пути. Бабы, качавшие на мирском колодце воду,— и те не оторопели при моем внезапном появлении, не оставили своего занятия, а только безучастно проводили глазами мои сани. И отлично. Все предположения насчет «слияний» и ссудосберегательных касс устранились разом. Не будет поцелуев, но не будет и подкузмлений — ничего. Даже на традиционное ведро водки, по-видимому, расходов не потребуется. Прекрасно, прекрасно, прекрасно.

Но у меня вертелось в голове еще одно опасение: я полагал, что возвращение в дом предков вызовет лично во мне чувство умиления. Воскреснут в памяти забытые детские игры, встанут перед глазами, как живые, любезные сердцу лица. Очевидно, это должно населить гроб хотя и призраками, но все-таки помешает ему быть настоящим гробом. Однако и тут обошлось благополучно. Чтоб покончить разом с этим опасением, я тотчас же обежал весь дом и останавливался в каждой комнате, стараясь припомнить. Вот маменькина комната и в ней длинный стол, за которым она, обыкновенно, раскладывала из медных тазиков по банкам варенье; этот стол и теперь стоит на старом месте, и на поверхности его еще сохранились кружкú, свидетельствующие о пребывавших тут некогда банках с вареньем; и сама маменька, словно живая, сидит вон на том кожаном кресле и держит в руках серебряную ложку... Вот папенькин кабинет (теперь он мой), и в нем небольшой четырехугольный стол с разрисованною на верхней доске шашечницею, перед которым покойный, сидя в обитом кожею вольтеровском кресле, читывал «Московские ведомости»... Вот девичья, в которой летом толпа горничных, облепленных массами мух, с утра до вечера чистила ягоды, горох, грибы и проч., а зимой, тоже с утра до вечера, раздавалось жужжание веретен... Вот детская; в противоположность другим комнатам, узенькая, низенькая, в которой обитало великое множество клопов... Повторяю: я обежал все это и множество других комнат (вот тут была спальня дедушки, когда он приезжал в деревню «в гости»; вот тут рядом — спальня его «сударки», перед которой подличал и ходил на задних лапках весь дом; вот тут жил когда-то дяденька «буян», которого в хорошие комнаты не пускали и который едал из одной чашки с собакой Трезором; вот тут ютились тетеньки-сестрицы, к которым я бегивал тайком за мятными пряниками; вот тут поймали Генриету Карловну с учителем Василием Иванычем и т. д.) — и, о чудо! — никакого

умиления не ощутил! Возвратился в зал, посмотрел в окно — оттуда виднеется река, в настоящее время скованная льдом, и опять-таки никакого умиления! Кабинет, детская, река — всё имена нарицательные, которые так и остались нарицательными. Отчего это? Оттого ли, что самые воспоминания, сопряженные с этими нарицательными именами, не заключают в себе ничего умилительного, или оттого, что человек, перешибленный пополам, сам по себе делается недоступным для чувств умиления, так как между его детством и старчеством легла целая пустота, которая поглотила всё без остатка, кроме страстного желания обрести гроб.

Как бы то ни было, но я понял, что гроб найден и что отныне начинается существование, в которое не вторгнутся ни сельскохозяйственные доклады, ни «слияния», ни умиления. Я наскоро пообедал, надел халат и немедленно почувствовал себя спокойно, безмолвно, почти что мертво!..

Впрочем, мне все-таки не удалось лечь в гроб сразу. По обыкновению, сейчас после приезда, пришел отрекомендоваться сельский батюшка. Но и он оказался какой-то сосредоточенный, односложный, угнетенный, угрюмый, точно только затем и пришел, чтоб посмотреть, как я улягусь в гробу, а он меня потом отпевать начнет.

— На жительство... совсем? — начал он словно нехотя.

— Да, совсем.

— Великое это слово... «совсем»!

Я махнул головой в знак согласия.

— Просторно вам здесь одним будет!..

— Да, комнат много.

— Хозяйствовать не станете?

— Нет.

— И не надо!

Разговор на минуту прервался.

— Жизнь здесь...— начал он опять.

— Я не для «жизни».

— А коли не для «жизни», так настоящее место — здесь! Да... именно, именно здесь!

Он как-то тоскливо взглянул на меня, покачал головой, потом посмотрел на буфетный шкап и продолжал:

— Вот ежели в этом разе водка... спаси бог!

— Не потребляю. А вы?

— Спаси бог!

Опять молчание.

— В парках — шум от ветров; опять же вороны гнезда вьют... Ставни по ночам стучать будут! Проржавели, поди, петли-то...

— Не знаю, не спрашивал.

— Оторопь возьмет, оторопь! Главное — ставни на ночь плотнее запирать!

— Прежде запирали; конечно, будут и теперь запирать.

— Ну, с богом!

Он подал мне руку и исчез... «Что ж? оторопь так оторопь — тем лучше»,— подумалось мне. Она будет напоминать мне прошлое: ведь я всю жизнь, если сказать по правде, ничего, кроме оторопи, и не испытывал...

Впоследствии я узнал, что здешний батюшка — отличнейший человек. Водки не пьет действительно, устроил в селе школу, в которой безвозмездно учит крестьянских детей; с мужичками живет в ладах, читает им по воскресеньям краткие поучения о том, ка̀ко благоугодити господеви, и за свадьбы берет по-божески, не придираясь. Вообще обстановку имеет скромную, почти бедную. А смотрит он угнетенно, потому что жена у него — франтиха и сластена и ежемгновенно его точит. То упрекнет, что он не по-людски одевается, «ходит, словно мельница крыльями машет,— то ли дело у нас в городу уланы стоят!», то ставит ему в вину, что он кануны соблюдает: «всё у него либо под преподобного Мартиниана, либо под Тимофея-мученика!» А он ей в ответ: «Ты бы, дура, прежде смотрела!»

Меня на минуту заняла мысль: каково-то ему, человеку скромному и, по-видимому, даже чем-то проникнутому, жить в селе Лисьи Ямы, в норе, на цепи, с глазу на глаз с попадьей, сластеной и франтихой? И он на цепи, и она на цепи... Она скалит зубы и скачет, и он скалит зубы и скачет. И оба благодарят провидение, что у каждого цепь настолько коротка, что не пускает их загрызть друг друга. Этим и процветает семейный союз.

Если кто думает, что вслед за этим вступлением появится на сцену дворовая девица (плод секретной любви покойного папеньки) и затем произойдет интереснейшее кровосмешение, или что из-под куста выпорхнет породистая помещичья дочка и подаст повод к целому ряду приятных сцен, с робкими поцелуями, трепетными пожатиями рук, трелями соловья и проч.,— тот пусть не читает дальше этих признаний.

Ничего этого не будет: во-первых, потому, что ничего подобного не было в действительности, а во-вторых, и потому, что я поставил себе задачей писать о гробе, только о гробе.

Мысль об этом приличнейшем, по настоящему времени, убежище давно уже шевелилась во мне и, наконец, вполне созрела по следующему очень характеристичному случаю.

Не очень давно тому назад, умершему прославленному человеку нужно было отыскать приличное «последнее убежище». Разумеется, пошли переговоры с кладбищенскими властями, и вот, во время этих переговоров, матушка игуменья некоего знаменитого монастыря, на который указал знаменитый покойник еще при жизни, таким образом рекомендовала свой товар:

— У нас на монастырском кладбище — очень хорошо. Тишина, порядок, простор. И зимой-то придешь посмотреть — залюбуешься, а летом, как распустятся деревья,— точно в раю! И не вышел бы! Советую.

И, видя, что слова ее производят благоприятное впечатление, присовокупила:

— И еще тем у нас хорошо, что для всех состояний такса установлена — по-божески! — кому что требуется. И богатые люди, и среднего состояния, и бедные — всех милости просим! И первого класса места̀, и второго, и третьего — все распределено, смотря по тому как. Поближе к благодати — и плата выше, подальше от благодати — и плата понижается. За церемониал плата особенно, и тоже по состоянию. Есть большая служба, есть средняя служба, есть и малая. Большое освещение, среднее и малое. Также и насчет поминовений. Нудить никого не нудим, а кто как любит, так для себя и выбирает. Советую.

Вот тогда-то и блеснула у меня в голове мысль: именно мне это самое и нужно. Но так как все эти удобства я мог получить хозяйственным образом, то есть у себя, в своем собственном кладбище, то ясно, что для меня был прямой расчет воспользоваться этим преимуществом. Там, думалось мне, я все найду: и место первейшего класса (безвозмездно), и свой собственный готовый гроб, а что касается до церемониала, то, наверное, тамошняя самая большая служба будет стоить вдвое дешевле, нежели здешняя самая малая.

Сверх того, мне хотелось умереть без тревог, постепенно, и буде возможно, то естественною смертью. Я — человек предрассудочный и притом робкий; мне всё кажется, что если я буду продолжать «соваться», как совался до сих пор, то существование мое, наверное, пресечется самым неожиданным и притом злокачественным образом. Я знаю, что это страх ложный (на тех же похоронах знаменитого человека один из моих друзей, служащий в департаменте «Возмездий и Воздаяний», указывая на громадную толпу, окружавшую гроб, сказал мне: «В обществе говорят, будто мы не допускаем передовых людей естественною смертью умирать — вот вам блестящее опровержение этой гнусной клеветы!»), но что же делать, если он до того присущ мне, что я освободиться от него не могу? Тогда

как, ежели я заблаговременно переселюсь в «свой собственный гроб»,— наверное, всякий страх напрасной смерти пройдет сам собою, за неимением пищи. «Соваться» мне там — незачем, да и департамент «Возмездий и Воздаяний» будет далеко... Никто и не увидит, как я изною, пропаду самым естественным образом!

С любовью и не торопясь прилаживался я к своему гробу и, признаюсь, не без удовольствия говорил себе: как это, однако, хорошо, что у меня свой собственный гроб есть! Надоело «слоняться», «соваться» и вообще производить свойственные досужему человеку действия — взял, юркнул в свой собственный гроб и пропал в нем. А у других, у «недосужих», и этого нет. Вот *он* едет зимником по реке, перед самыми окнами моего дома, с возом на мельницу,— он и рад бы юркнуть, да недосужно ему. И у него, пожалуй, есть свой собственный гроб, там на селе; но это такой гроб, в котором не постепенно умирать, а ежемгновенно и без отдыха жить надо. Во-первых, потому, что он, обитатель этого гроба,— ревизская душа, а во-вторых, потому, что жизнь сама по себе, помимо его воли, помимо разумения, даже помимо инстинктов самосохранения, впилась да и не отпускает его.

Какая это жизнь — это другой вопрос. Я, по крайней мере, уверен, что в эту самую минуту *он* глядит на мой *гроб* и думает: вот где настоящая-то жизнь! И всегда он так думал: и тогда, когда я «совался» и «пламенел», и теперь, когда я, истомленный «сованиями», исподволь прилаживаюсь к гробу. Всегда он завидовал моей тоске и моим изныванням, называл их жировыми и говорил: хоть бы недельку так-то пожить!

Я изнываю от тоски, от неудовлетворенной жажды поступков, наконец, от стыда, а он думает: вот оно, хорошее-то житье! И думает правильно, потому что его-то собственное житье уж таково, что даже суздальским богомазам, этим присяжным изобразителям адских мучений,— и тем не найти красок, чтоб достойным образом воспроизвести это житье!

Собственно говоря, только это вечно присущее сравнение между его гробом и моим и напоминает ему обо мне. Во всем остальном — ему до меня дела нет. Ни советов ему моих не нужно, ни сочувствия. В том деле, которое сопровождает его жизненную агонию, я никаких поучений дать ему не могу, да и он сам эти поучения встретит с нетерпением, скажет: уйди! не мешай! Что же касается до сочувствия, то и тут последует тот же ответ: уйди! не мешай! Он не примет его за иронию только потому, что вообще ничего не прямого, иносказательного не разумеет, а просто-напросто подумает, что мое сочувствие есть обыкновенное интеллигентное «сование», только на этот раз уж

совсем неуместно примененное. «И без тебя тошно — а ты лезешь!»

Да, лучше уж не «соваться», а сидеть смирно в своем собственном гробу и потихоньку умирать. Слава богу! папенька с маменькой, накапливая тальки да овчины, да прижимая к рублю копейку, наколотили так достаточно, что даже всесокрушающая рука времени не успела уничтожить всего. Углы дома не отгнили, потолки не повалились, полы не перекосились — чего еще нужно! А главное, никто не мешает, никто даже не подозревает, что в этом гробу кто-то копошится. Много таких гробов разбросано по окрестности, и о большинстве даже неизвестно, чьи они и шевелится ли в них кто-нибудь. И стоят они, постепенно чернея и оседая, под влиянием времени и непогод. Пройдет еще одно поколение — даже гробов не будет, а просто-напросто будут торчать почерневшие безглазые черепа.

При моем душевном настроении это было чрезвычайно удобно. Мне именно нужно было исчезнуть так, чтоб никто не отыскал. Я машинально повторял про себя старинное мудрое речение: мертвые срама не имут — и мысль, что нашлось наконец убежище, в котором ничто не настигнет меня, приводила меня в восхищение.

Замечательная особенность: вот *он*, тот самый, который идет за возом на мельницу, он не только не понимает моего недуга, но даже меня, человека изнемогающего, считает за привередника. Может быть, ему некогда разбирать, сколько постыдного, сорного налета насело на жизнь, но может быть и то, что его обычный modus vivendi [1] уж таков, что самая способность что-нибудь различать притупилась. Ежели у человека, с младенческих пеленок, единственный способ передвижения состоит в том, что его перетаскивают с места на место за волосы, то, конечно, он будет ощущать при этом физическую боль, но все-таки вряд ли поймет, что этот способ передвижения ненормальный. Ненормальный — для кого? Вот для них, для тех, которые, худо ли, хорошо ли, а ползут-таки на собственных ногах,— может быть! Но для него — он нормальный, потому что иначе как же могло бы случиться, чтоб таскание за волосы совершалось среди бела дня, у всех на виду, и ни у кого бы не перевернулось сердце при этом зрелище!

Так-то и тут; не понимает *он*, да и только. Но быть свидетелем этого непонимания, видеть, как оно расползлось по всем жизненным тропинкам и заполонило вселенную,— ужасно! В сущности, это собственно только и ужасно. С моим личным, частным недугом я, пожалуй, довольно легко бы совладал, а

---

[1] образ жизни.

вот этот общий и частью даже чужой недуг — он-то именно и составляет ту непосильную гирю, которая заставляет человека оседать все глубже и глубже, покуда он не очутится лицом к лицу перед отверстым гробом.

Почему чужой недуг претворяется в свой собственный и даже пуще гнетет — это отчасти объясняется бо̀льшим или меньшим досужеством. Досужество дает человеку возможность развертывать перспективы, отыскивать связующие элементы. А как только начинает чувствоваться связь между собою и «остальным», так тотчас же делается невыносимо больно. Горы чего-то неслыханного, какой-то безрассветной мглы начинают надвигаться со всех сторон и давят, и давят без конца. Чтоб вынести эти горы на своих плечах, надо быть или очень сильным, или — очень нахальным. Робким и слабым — не остается ничего больше, как исчезнуть.

Я устроился сразу и отлично: надел халат и замолчал. Комнат — целая анфилада; можно ходить взад и вперед до усталости. Ходишь и молчишь; даже в голове настоящих мыслей нет, а мелькает что-то неопределенное. Отрывки старых вожделений, звуки... Прислуга является ко мне редко, в определенные часы, чтоб сказать, что подано кушать, или принести стакан чаю. Были попытки завести разговор о том, что сегодня с утра мжица мжит, или о том, что нынешнюю зиму волков до ужасти много, в деревне днем по улице бегают; но так как с моей стороны поощрений не последовало, то и эти неважные разговоры улеглись сами собою. Когда-то я интересовался вопросом об одиночном заключении и даже с жаром доказывал, что это — самый благородный способ отмщения нарушенной правды, потому, дескать, что он дает нарушителю возможность примириться с самим собою. Вот какой я был... филантроп! Как бы то ни было, но эта старинная предилекция, должно быть, и сказалась теперь. Я нашел для себя именно одиночное заключение,— разумеется, смягченное анфиладою комнат и возможностью во всякое время нарушить обряд молчания.

Только принесет ли оно с собой примирение? рассеет ли мглу, которая так и висит надо мною, несмотря на внешний свет и простор? — вот в чем вопрос.

Покамест, однако, я чувствую себя очень хорошо. По крайней мере, та страшная мысль, что я ничего не могу, ничего не знаю, что я пятое колесо в колеснице, которая разбила мою жизнь, уже не терзает меня так неотступно, как прежде. Имея впереди только гроб, мне не нужно ни мочь, ни знать, а тем больше претендовать на звание нелишнего колеса: я и колесницы-то никакой не вижу. Как хотите, а это выигрыш. Мне нужно одно: чтоб молчание, объемлющее меня, не нарушалось

ни единым призывом к жизни. Мне так довольно всяких «не могу», «не знаю», и понятие о них до того отождествляется, в моих глазах, с понятием о жизни, что всякое напоминание о последней представляется напоминанием о первых.

Но одиночество и само по себе имеет втягивающую силу. Оно нашептывает думы, не имеющие ничего общего с думами живых людей. Что-то совершенно особенное; не скажу, чтоб фантастическое или бессвязное, но никогда не кончающееся и притом доступное для бесконечных видоизменений. Думы плывут безостановочно, сами собой, не бередя старых ран и не смущая тревогами будущего. Для человека, перешибленного пополам и имеющего за плечами целое бремя всевозможных «сований», одно воспоминание о которых заставляет краснеть,— это до того хорошо, что всякий перерыв, всякое внешнее вторжение кажется несносным, тяжелым. Думается, что если бы среди этого одиночества вдруг появился свежий человек с целым запасом вестей из мира живых,— это не только не заинтересовало бы, но скорее даже огорчило бы меня. Я слушал бы только машинально, из приличия, но внутри у меня кипела бы все та же неясная работа бесконечно тянущихся представлений, звучала бы все та же струна. Это бывает с людьми, которые серьезно освоились с одиночеством, да еще с людьми, которых поразила сильная мысль, что-то вроде откровения. Вся обыденная жизнь проходит мимо этих людей, как бы не прикасаясь к ним. Есть одна светящаяся точка, в которую неизменно вперен их взор, и этой одной точки совершенно достаточно, чтоб наполнить их существо до краев.

Одним словом, одиночество должно оказать мне великую услугу: оно спасет меня от жизни. Умирать, хотя и заживо, но вовремя,— не только необходимо, но и полезно, поучительно: я на этом стою. Я знаю, что вообще достойнее и сообразнее с человеческим назначением говорить: благо живущим! Но знаю также, что бывают такие изумительные обстановки, в которых и уместнее, и приличнее говорить: благо умирающим и еще большее благо — умершим!

Ничего не знать, ничего не мочь, быть пятым колесом в колеснице, при всяком удобном случае слышать: не твоего ума дело! — разве подобными признаками можно характеризовать какое бы то ни было общественное положение?

Я охотно допускаю, что «смертный», по природе, самолюбив и склонен к самомнению, но ведь отпор этому самомнению дает сама жизнь или, лучше сказать, свободный процесс ее. Этот

процесс, сам по себе, каждого ставит на свое место, для каждого очерчивает известное пространство, за пределы которого переходить не полагается... Для чего же понадобилось, независимо от неминуемой жизненной оценки, заранее встречать человека словами: твой ум бессилен, дрябл, неуместен?

И каким изумительным логическим путем можно было дойти до построения такой отчаянной теории, которая убивает жизнь в самом зародыше и, следовательно, даже тех жалких практических результатов, которых от нее ожидают, в сущности, дать не может?

Право, это совсем не такой праздный вопрос, как может показаться с первого взгляда, и есть не мало людей, которых самая постановка его терзает безмерно. Разумеется, и его можно разрешить сразу, без дальнейших оговорок, юркнувши в гроб; но, во-первых, как я уже сказал выше, не у всякого есть в распоряжении *удобный* гроб, а во-вторых, говоря по совести, разве гроб — разрешение?

Говорят, что покуда имеется налицо, с одной стороны, целая масса людей, у которых нет времени обратиться с каким бы то ни было запросом к самим себе, а с другой — достаточное количество индивидуумов, которые преднамеренно чуждаются мерцаний совести и не чувствуют от этого ни малейшего ущерба,— до тех пор не представляется даже повода принимать в соображение, что существуют какие-то бродячие единицы, разбросанные по лицу земли, без опоры, без связи и умирающие от боли, каждая в своем углу. Этого мало: на общественном рынке пользуется неограниченным кредитом целая философская система, которая прямо утверждает, что все существующее уже по тому одному разумно и законно, что оно существует...

Я знаю, что эта философия никаких практических разрешений не дает и что, вдобавок, ее всего приличнее назвать заплечною; но попробуйте-ка протестовать против нее! Попробуйте сломить это железное кольцо, которое от начала веков сдавило человека и заставляет его фаталистически вертеться в пустоте! Увы! старинная мудрость завещала такое множество афоризмов, что из них, камень по камню, сложилась целая несокрушимая стена. Каждый из этих афоризмов утверждался на костях человеческих, запечатлен кровью, имеет за собой целую легенду подвижничества, протестов, воплей, смертей. Каждый из них поражает крайней несообразностью, прикрытой, ради приличия, какой-то пошлой меткостью, но вглядитесь в эту пошлость поглубже, и вы наверное увидите на дне ее целый мартиролог.

Эти легенды воплей, этот мартиролог — разве они не представляют достаточного фундамента, на котором какой угодно бессодержательный афоризм может бесспорно утвердить свое право на существование?

Вот отчего заплечная философия процветает: у ней имеются сзади целые массы жертв. Но кроме того, ужасная сама по себе, она делается еще более ужасною вследствие того, что прежде всего вторгается в домашний, будничный обиход человека, становится на страже его удобств и привычек, и только тогда, когда уже видит силу сопротивления окончательно сломленною, погубляет и душу. От этого встречается много людей, даже не чуждых умственной гастрономии, которые не только не мечутся от тоски при произнесении заплечных афоризмов, но и не чувствуют ни малейшей неловкости. Жизненный процесс у этих людей раскалывается на две половины: в одной — материальная гастрономия, в другой — гастрономия умственная, и ежели некоторое время обе эти гастрономии живут как бы отдельною жизнью, то обыкновенно дело все-таки оканчивается тем, что они до того перепутываются, что утрачивается всякое мерило для определения, где кончается одна и где начинается другая.

Я долго, слишком долго руководился этой заплечной философией, прежде чем мне пришло на ум, что она заплечная. Будучи тридцатилетним балбесом, я как ни в чем не бывало выслушивал афоризмы, вроде: «Выше лба уши не растут», «По Сеньке шапка», «Знай сверчок свой шесток» — и не только не находил тут никакого мартиролога, но даже восхищался их меткостью. Да и время тогда было совсем особенное. То было время, когда люди бессмысленно глядели друг другу в глаза и не ощущали при этом ни малейшего стыда; когда самая потребность мышления представлялась презрительною, ненавистною, опасною: поневоле приходилось прибегать к афоризмам, которые, хоть по наружности, представляли что-то похожее на продукт мышления.

Наконец цикл заплечной философии истощился, поставив самих приверженцев своих лицом к лицу с глухой стеной. Почувствовалась потребность в иных девизах, не столь метких, но зато более снисходительных. Эти девизы явились, и мы все, наперерыв друг перед другом, бросились навстречу им. То было время всеобщих «сований». Настал момент, когда всех осветило солнце откровения, когда представлялось, что чаша горечи переполнилась до краев и что заплечный мастер задохнулся в ней. Я заметался вместе с другими, но не от боли, а от тысячи неопределенных порывов, которые вдруг народились в моей груди и потянули меня на простор. Всё мое существо, ка-

залось, очистилось, просветлело; новая кровь катилась по жилам, и ради этой новой крови, ради ее сладких волнений, я готов был забыть даже недавнее заплечное прошлое. «Зовет!» — раздавалось со всех сторон, и хотя чудо призвания заставляло себя ждать, но признаки, позволявшие угадывать сердцем его близость, чуялись всюду...

Я вышел на призыв очень бойко. Написавши на знамени: ничто человеческое мне не чуждо, я искренно уверовал, что воистину вступил в область этого «человеческого». Я жаждал жить, и в особенности жаждал «чувствовать». Но, несмотря на эту страстную жажду, нельзя сказать, чтоб я был чересчур требователен и нетерпелив. Напротив, практика заплечной философии уже настолько въелась в меня, что я не только инстинктивно чувствовал, но даже *понимал,* что «вдруг» — невозможно.

«Не вдруг!» — повторял я на все лады, и повторял совершенно с тем же энтузиазмом, с каким выкрикивал и другой свой девиз: «да здравствует обновление!» Представилось, что слова «не вдруг» ничего не останавливают, а только спасают. И в то же время хотелось уберечь дело обновления от влияний дурного глаза, выхолить его на славу. Я знал, что у него множество ненавистников, и вознамерился победить их терпением и даже повадливостью. Пусть знают, пусть видят, твердил я, что мы ничьих интересов не затрогиваем и желаем лишь одного, чтоб никто не потерял и чтоб все выиграли! Мне не приходило на мысль, что, твердя слишком часто одно и то же «не вдруг», я наконец могу при нем одном и остаться. Нет, я этого не боялся, потому что был слишком уверен в живучести своего порыва. Я вообще в то время ничего не боялся: ни самоотверженно лезть вперед, ни предусмотрительно кричать: не вдруг!

К чему я тогда не примазывался! в каком «хорошем» деле не предлагал своих услуг! Все тогдашние вопросы были моими личными, кровными вопросами. Я пламенел не только общею идеей гласности и устности (это была тогдашняя всеобщая панацея), но и всеми ее деталями, и везде предъявлял искренность, расторопность, готовность, радость. Утром я просыпался со словами: «сегодня нам предстоит быть участниками новой радости, которая должна ознаменовать и упрочить наше молодое обновление»; ночью — мой первый сон начинался словами: «радость, которая еще сегодня утром составляла только предмет гаданий наших, свершилась»... Мои восторги были не только искренни, но и до того разнообразны, что я положительно не успевал с ними во все места, куда они меня влекли, хотя быстрота моих мельканий по лагерю радостей и надежд была поистине изумительна. И за все эти мелькания я

ничего не требовал, кроме счастия быть свидетелем общего обновления и скромно сознавать, что я тут был, мед-пиво пил...

Я торжествовал и, что всего хуже, принял мое торжество за нечто серьезное. Действительно, на первых порах мои «сования» не только не встретили отпора, но катились вперед, от станции до станции, словно по покатости. В лагере радостей и надежд меня ожидали только объятия и сочувственные улыбки. Я уже не говорю о второстепенных деятелях обновления — эти положительно не могли нагордиться друг другом, как половые палкинского трактира в ту минуту, когда хозяин пригласил француза-повара, но даже в среде самих «строителей» все говорило о ласке, о поощрении, о благосклонном снисхождении. Правда, что в этом снисхождении чувствовался оттенок чего-то похожего на изумление, но именно этот-то оттенок мы, впопыхах, и просмотрели. Если бы мы спохватились вовремя, то убедились бы, что тут скрывается нечто, во всяком случае, загадочное. Что собственно послужило поводом для этого изумления: размеры ли нашего слабоумия, разыгравшегося до резвости, или гадливое опасение, что вот и это резвящееся слабоумие, чего доброго, предъявит какие-то требования?

Наконец, однако, мы надоели. Года два сряду мы любовались друг другом, на третий — любоваться было уже нечем. Мы весь свой багаж разбросали разом и ничего не сумели подобрать, так что очутились совсем с пустыми руками. Все изменилось кругом нас: спрос на наши услуги вдруг понизился до минимума, снисходительные улыбки превратились в откровенно кисло-сладкие; одни мы не изменились и продолжали выказывать назойливейшую готовность идти в огонь и в воду. Тогда, чтоб отделаться от нас, потребовалось употребить насильство...

Что было потом — лучше не вспоминать. Скажу одно: человеку, который гордо шел в храм славы и, вместо того, попал в хлев,— и тому едва ли пришлось испытать столько горечи. Ошибки маршрута, особливо в таких местностях, где и храм славы, и хлев стоят рядом, не представляют еще особенно мучительной неожиданности; но замена вчерашнего лихорадочного «сования» сегодняшним оцепенением, это — более нежели неожиданность: это целый переворот. Нить жизни порвана, привычки нарушены, все планы, все стремления, все, чем жил человек,— все разом упразднено. Сколько жгучего презрения должен почувствовать человек к самому себе в минуту совершения этого переворота! Ведь он все тот же: деятельный, преданный, одушевленный — и вдруг... За что?

За что? поймите, какая масса беспомощности, самоуничиженья, напрасных укоров, бессильного ропота слышится в одном этом вопросе!

С первого раза нельзя даже понять, что такое случилось. «Выше лба уши не растут!» «Знай сверчок свой шесток»... опять! Опять эта постылая, ненавистная «мудрость веков»! В бывалое время она входила в одно ухо и выходила в другое; теперь — она хлещет по щекам! Все лицо горит, весь организм трясется. «Пятое колесо в колеснице» — кто первый выдумал это чудовищное сравнение? «Ничего не знаю», «ничего не могу!» — кто возвел эти ужасные слова в доктрину? Куда бежать, куда провалиться от этих заплечных афоризмов? Об «сованиях», конечно, нечего и думать; но куда бежать?

И вот навстречу выдвигается... гроб!

Отлично, отлично, отлично.

Теперь самое существенное, это — довести мысль до той степени неопределенности, при которой она совпадает с жужжанием. И затем — позабыть. Погрузиться со всем прошлым и настоящим на самое дно, так, чтоб выкарабкаться оттуда было нельзя, если бы даже и пришла в голову блажь опять лезть навстречу старинным «сованиям».

Как я уже сказал выше, внешняя обстановка, с самого начала, удивительно как благоприятствовала этому погружению. Но чем дальше, тем лучше. Нет ни происшествий, ни даже простого благорастворения воздухов — ничего такого, что вызвало бы попытку выйти из гроба. На дворе замечаются, правда, признаки весны, но не той светозарной, зажигающей весны, о которой повествуется в книжках, а какой-то мокрой, сонливой, кислой. Тяжелые, серые тучи повисли над домом, поселком и парком и с утра и до ночи сеют на землю мокрый снег. С 1 марта подул с юго-запада ветер, но настоящего тепла не принес, а только сырость да слякоть; иней, одевавший парк узорчатою одеждою, сполз, и деревья стоят голые и беспорядочно хлещут по воздуху отяжелевшими ветвями; дорога исковеркалась и побурела; река покрылась полыньями; в саду снег источило словно червоточиной, и по местам обнаружилась взбухшая земля; люди ходят мокрые, иззябшие, хмурые; деревня совсем почернела. Говорится в сказках о жаворонках, о волшебных метаморфозах воскресения природы, но ни жаворонков, ни воскресения нет, а есть унылая картина неопрятного превращения твердого черепа зимы в непролазные хляби весны. Только вороны суетливее прежнего хлопочут вокруг

гнезд и неистовым криком как бы возвещают, что одна тоска, зимняя, кончилась, и началась другая тоска, весенняя.

Что же касается до происшествий, то я заранее решился устраниться от них и потому даже наблюдений никаких не делаю. Иногда, впрочем, я подхожу к окошку, гляжу на поселок, но особенного любопытства не ощущаю. Там во множестве кишат черные точки, погруженные в вечную страду. Кишат — и только. Борются — и не сознают борьбы; устраивают, ухичивают — и не могут дать себе отчета: что и зачем? И не хотят знать ни высших соображений, ни высших интересов, кроме, впрочем, одного, самого высшего: интереса еды. Конечно, я понимаю, что в этом-то интересе и сила вся, но странная вещь! — как только я наталкиваюсь на него (а не наткнуться — нельзя), так тотчас же чувствую непреодолимое желание обойти, замять. Разумеется, впрочем, так обойти, чтоб никто этого не заметил...

Вообще я должен сознаться, что меня всегда гораздо сильнее трогал вопрос о недостатке так называемых «свобод», нежели вопрос о недостатке еды. Еда — вещь неизменная (трудно даже вообразить: как это нет еды!), а я воспитан в традициях красивых линий и интересов исключительно спекулятивного свойства. Конечно, я не чужд и представления о бескормице, но не «такой». Вместе с Генрихом IV я охотно желаю всем и каждому курицу в супе, но именно курицу, а не ржаной хлеб, хотя бы и без примеси лебеды. Сверх того, я могу довольно легко представить себе и трагическую сторону бескормицы, но именно трагическую, красивую: вопли, стоны, проклятия, голодную смерть, а не обрядовое голодание, сопровождаемое почтительно сдерживаемым урчанием в животе и плаксивою суетою, направленною в одну точку: во что бы то ни стало оборониться от смерти.

Тем не менее иногда мне сдается, что, будь у меня, вместо множества высших интересов, только один, самый высший,— наверное, меня не грызла бы такая бешеная тоска. Очень возможно, что она заменилась бы болью, еще более жестокой, но у этой боли существовала бы реальная подкладка, на которую я мог бы сослаться с уверенностью быть понятым. А теперь, с своими «свободами», куда я пойду? С какими глазами покажусь я вот хоть на этой почерневшей от мужицкого тука улице, на которой день-деньской всё кишат, всё кишат?

Поэтому-то я и не выхожу из гроба и не наблюдаю ни над чем. Нет у меня нужной для этого подготовки. Однако ж это не мешает мне утверждать по совести, что хотя мои «высшие интересы» — и не «самые высшие», но все-таки они — не прихоть, не фанаберия, а действительная и стенящая боль сердца.

И эта боль тем несноснее щемит меня, что я обязываюсь глотать свою отраву безмолвно и в одиночку.

Однажды, впрочем, я соблазнился и чуть было совсем не выпрыгнул из гроба. Вот по какому случаю. Пришел сельский батюшка, весь встревоженный, и сообщил мне, что на селе случилось происшествие.

— Появился мужичок один, из фабричных,— рассказывал он,— наш он, коренной здешний, да не по-здешнему речь ведет. Говорит: рука божия якобы не над всеми равно благостно и равно попечительно простирается, но иных угобжает преизбыточно, а других и от малого немилостивне отстраняет...

— Воля ваша, батюшка, а тут что-то не так! — усомнился я.

— Ну, да, конечно, он, по-своему, по-мужицкому, объясняет, а редакцию-то эту уж я...

— Понимаю. Что ж дальше?

— То-то вот: как в этом разе поступить?

— То есть как же так поступить?

— Дать ли делу ход или так оставить?

— Батюшка! помилосердуйте!

— Признаться, я и сам... Только вот мужички обижаются... Кабатчик, значит... в личную себе обиду принял — ну, и прочих взбунтовал!

Я заинтересовался и пошел на село. Перед волостным правлением волновалась небольшая кучка народа, из которой неслись смутные крики. Но не успел я дойти до места судбища, как приговор уже был объявлен и приводился в исполнение: виноватого «стегали». Здоровенный мужчина сам снял с себя портки, сам лег и сам кричал: честно́й мир! господа честны́е! простите! не буду! А впоследствии я, сверх того, узнал, что, только благодаря предстательству батюшки, дело кончилось так легко и что, не будь этого предстательства, кабатчик непременно бы настоял, чтоб возмутителя его спокойствия отослали в стан.

Я возвратился домой и, признаюсь, некоторое время чувствовал себя изрядно взбудораженным. Помилуйте! Я уж совсем было начал «погружаться», а вместе с тем и самое представление о розгах уже стало помаленьку заплывать, и вдруг... Да, брат, «выше лба уши не растут!», машинально повторил я и чуть-чуть не задохся вслед за тем; до такой степени весь воздух, которым я дышал, казалось мне, провонял, протух...

Об чем собственно шла речь? — об еде. Кажется, предмет общепонятный и общедоступный, а между тем честно́й мир решением своим засвидетельствовал, что и дела ему до него нет, что он не желает даже, чтоб его беспокоили подобными разговорами. Что означает этот факт? То ли, что мир хотел

«уважить» кабатчика? или то, что в его представлении вопрос об еде сформулировался так: ешь, что у тебя под носом?

Как бы то ни было, но от мысли, что заправский узел все-таки там, на поселке, никак не уйдешь. Как ни взмывай крыльями вверх, как ни стучи лбом об землю, как ни кружись в пространстве, а поселка все-таки не миновать. Там настоящий пуп земли, там — разгадка всех жизненных задач, там — ключ к разумению не только прошедшего и настоящего, но и будущего. И нужно пройти туда... но как же туда пройти, коль скоро там только одно слово и произносится внятно: стегать?!

Во всяком случае, кто не может вместить поселка, тот лучше пусть и не прикасается к нему. Потому что иначе к прежним высшим мотивам тоски пришлось бы прибавить еще новый, самый высший...

Так и я поступаю, то есть стараюсь поступать. Я не хочу тоски, а хочу жить в гробу без прошлого, без будущего, даже без настоящего. Да, и без настоящего, хотя это и кажется на первый взгляд нелепым. Я убежден, что можно до такой степени убить в себе чувство жизни, что самая реальная, осязательная действительность — и та не то что *покажется,* а воистину сделается призрачною, неуловимою. Стены будут двигаться, пол начнет колебаться под ногами. Галлюцинация получится полная, но ведь только она и может привести за собою настоящее, заправское забвение.

Чтоб достигнуть этого результата, необходимо, прежде всего, отучиться от настоящих человеческих мыслей и заменить их другими, получеловеческими. Во-первых, это засвидетельствует о несомненном повороте в сторону благонамеренности, а во-вторых, удивительно как помогает жить, то есть умирать. Поначалу, разумеется, встретятся затруднения, но известные механические приемы мигом упростят дело. Так, например, настойчивым повторением вслух первой попавшей под руку бессмыслицы можно разбить какую угодно мысль.

К тому же, у каждого человека есть наготове целый запас историй, которые преимущественно щекотят его животненные инстинкты и потому нравятся. Несмотря на крайнюю несложность содержания, эти истории имеют то драгоценное качество, что их, по желанию, можно обставлять новыми и новыми деталями, вследствие чего они никогда не кажутся ни заношенными, ни исчерпанными. Таковы, например, истории любовные. Какое светозарное облако можно соткать по такому простому поводу, как столкновение двух существ, из которых одно называется мужчиною, а другое — женщиною! и какими яркими, разнообразными колерами будет это облако отливать! Или другой пример: процесс личного обогащения; и его тоже мо-

жно всякими огнями осветить. И сто тысяч — богатство, и миллион — богатство, и сотня миллионов — богатство. Затем: сначала идет процесс накопления (какой отличный случай для вмешательства элемента «чудесного»!), потом — процесс распределения... то есть на себя, на свои собственные нужды, а отнюдь не... Поистине можно до таких компликаций дойти, что сразу и не справиться с ними! И еще пример: истории сельскохозяйственные. Сам-друг, сам-семь, сам-двенадцать — какое разнообразие! А с другой стороны — цена продуктов может быть — рубль, а может быть — грош. Как тут быть? Поневоле приходится рыться в воспоминаниях об экономических обедах (эти воспоминания не только можно, но и должно освежать как можно чаще). Словом сказать, является целый мир мыслей, дум, представлений, не весьма ценных, получеловеческих, но способных воспринимать всякую произвольную деталь. Благодаря этому свойству, не успеешь и оглянуться, как образуется громадный клубок, перед которым целые поколения будут стоять в изумлении, покуда не придет «невежа» и не скажет: наплевать!

Но когда-то это еще случится, а покамест ресурс все-таки есть. Я очень серьезно отнесся к этой программе и решился во что бы то ни стало ее осуществить. И вот стены вокруг меня зашатались, пол заколебался под ногами... Проблески старинного стыда, воспоминания о высших вопросах, представление о поселке — все исчезло. Остались только зеленые круги в глазах, как неизбежное последствие болезненной усталости.

Я знаю, мне скажут, что это срам. Да, это срам, отвечу я, и даже высокой пробы, но он освобождает меня от прошлого, а в данном случае только это и требуется.

Я уже начинал совсем утрачивать чувство действительности, как нечаянный случай снова возвратил меня к нему. Привязался ко мне старик Дементьич с «докладом»: время-де погреб набивать льдом. Несколько дней сряду я только мычал в ответ: а! гм! Наконец он, по-видимому, испугался и почти во все горло проскандовал свой вопрос.

Вот по этому-то ничтожному поводу и завязался у нас разговор.

— От Ивана Михайлыча человек на мельницу приезжал; спрашивал, давно ли вы в усадьбу приехали? — доложил Дементьич.

— От Ивана Михайлыча! помню! как же... помню, помню! да неужто он жив? — встрепенулся я.

— Живы-с.

— Да ведь ему уже *тогда* было под семьдесят — помнишь?

— Много им годов. А всё до последнего время здоровы были. Только в прошлом году, от несчастьев от этих, словно кабы...

— От каких несчастиев?

— Да с молодыми господами что-то поделалось. Да и Марья Ивановна, дочка ихняя, померла. Теперь живут сам-друг с младшей внучкой... вроде как убогонькая она... Поедете, что ли, проведать?

— Конечно, конечно... Как-нибудь... съезжу!

Дементьич ушел, а я начал припоминать. Это было лет двадцать тому назад, в самый разгар моих «сований». Иван Михайлыч уж и тогда был старик старый. Как сейчас вижу его: длинный, прямой, худощавый, но ширококостный и плечистый, с головой, остриженной под гребенку и украшенной окладистой седой бородою, вечно в застегнутом на все пуговицы черном сюртуке солидного покроя. Сам лично он не «совался» — года не позволяли,— но сердцем и мыслью был неотлучно с нами (нас было-таки довольно). Мы были молоды, а он, казалось, вдвое моложе нас. Он воодушевлял нас, вселял в нас бодрость и веру, в нас, которые и сами были всецело сотканы из бодрости и веры! В его старческом сердце словно цвет какой-то загадочный распустился; в его старческих глазах — искрилось пламя. Никаких сомнений он не допускал, а тем менее — иронии, к которой был даже строг. И радовался такою безмерною радостью, какою может радоваться только острожник, выдержавший бесконечно долгий искус, утративший всякую надежду на освобождение и вдруг, волшебством каким-то, очутившийся на воле. И мы чувствовали на себе силу этой радости и окружали старика всевозможными знаками уважения. Чудно̀ было видеть, как сильный луч света вдруг осветил могильную плиту, но вместе с тем и необыкновенно отрадно. Казалось, плита поднялась и дала выход совсем новому, сильному человеку, который не знал, как надышаться, наглядеться, наликоваться. Конца-краю его ликованию не было, потому что этот оживший, согретый лучом мертвец создавал перспективы за перспективами, одна другой радостнее, лучистее...

В то время у него была дочь, еще довольно молодая. Красива ли была она или дурна, мне как-то никогда не удавалось заметить; но я помню, что в этой семье всем было и уютно, и светло, и тепло, и как-то особенно легко. Должно быть, оттого, что в ней царствовал какой-то удивительный лад. Всегда большой наплыв посторонних — и ни малейшей сутолоки, всегда немолчный говор — и никакого надоедливого шума. Дом этот служил средоточием не потому, что туда можно было во всякое время уйти от нечего делать, а потому, что всякий надеялся освежиться в нем. Удивительное дело, сколько тогда материала

для бесконечных бесед было — нынче этого даже представить себе нельзя! Точно все родились вновь и на каждом шагу обретали совсем новые предметы, нужные, животрепещущие, настоятельные. Да и действительно, много было и животрепещущего, и настоятельного, да вот пришло что-то загадочное, чего и ждать, казалось, было нельзя, пришло и подкосило...

Впоследствии, когда всем местным «сованиям» (я забыл сказать, что жил в то время в деревне, где собственно и сосредоточивалась тогдашняя кипучая деятельность) был положен крутой и внезапный конец, я бросился вон из деревни и уехал «соваться» в другие места. А Иван Михайлыч остался на месте, и хотя цветок, случайно распустившийся в его сердце, завял значительно, но все-таки он продолжал заботливо охранять его корень, в чаянье, что опять проглянут лучи и согреют его. Повторяю: в качестве острожника, почувствовавшего простор полей, он сделался наивен, как юноша, и, как юноша же, был доступен только впечатлениям радости и надежды. Я лично уже не виделся с ним, но от посторонних слыхал, что он точно так же, как и я, как и все мы, не один раз расцветал и не один раз увядал. Надежда — вещь слишком привязчивая, чтоб могла легко и скоро превратиться в стыд. Но год или два тому назад Ивана Михайлыча постигло двойное несчастие: сперва умерла дочь, а потом случилось что-то загадочное с внуками, которых он вырастил и на которых не мог надышаться. По словам Дементьича, в самое короткое время его так свернуло, что от прежнего бодрого и физически сильного старика осталась одна развалина. Теперь он живет вдвоем с уцелевшею внучкой; оба думают об одном; оба чувствуют себя раздавленными, и оба боятся проговориться друг перед другом. Именно только благодаря этой осторожности, их жизнь еще кое-как висит на волоске. Никто к ним не ездит, да и некому: те, которые когда-то составляли их круг, давно уж рассыпались и ушли неизвестно куда. Вот я — воротился, вспомнил, что у меня случайно уцелел свой собственный гроб, а другие — где? Ужели всё еще «суются» и питаются пощечинными надеждами!

Воспоминания эти встревожили меня. С неделю я не упоминал об Иване Михайлыче: все надеялся, что как-нибудь обойдется. В моем безмолвии всякая непредвиденность, всякий выход из пределов программы не на шутку пугали меня. Конечно, я ни под каким видом не мог освободиться приличным образом от визита к Ивану Михайлычу, но зачем же спешить? И я не знаю, чем бы это кончилось, если бы не пришел ко мне на выручку Дементьич, который, в одно прекрасное послеобеда, доложил, что закладывают лошадей.

Я ехал с замиранием сердца, словно ожидая, что мне при-

дется увидеть нечто даже худшее, нежели гроб. Сиротливо раскинулась по обеим сторонам дороги родная равнина, обнаженная, расхищенная, точно после погрома. При взгляде на эти далекие, оголенные перспективы, не рождалось никакой мысли, кроме одной: где же тут приют? Кто тут живет? зачем живет? в каких выражениях проклинает час своего рождения? Я никогда не был панегиристом старых порядков, но можно ли было представить себе, даже во сне, что на смену прошлому придет такое настоящее? А сколько было радостей-то! сколько надежд! Ах, эти радости! есть же такие углы в божьем мире, где они не оживляют, а только отравляют существование!

Наконец проехали перелесок (я не узнал его: тут прежде был хороший, старинный лес), и из-за снежных сугробов вынырнула усадьба Ивана Михайлыча. И прежде она была не из нарядных, а теперь и вовсе глядела разоренным вороньим гнездом. Почернела, даже словно сгорбилась. Я осторожно подъехал к заднему крыльцу (парадное было заколочено, и дорогу к нему занесло снегом) и в бывшей девичьей был встречен Юлией Петровной, внучкой Ивана Михайлыча.

Это была девушка болезненная, маленького роста, горбатенькая. Лицо у нее бледное, почти прозрачное, и эта прозрачность сообщала ему, по временам, светящиеся точки. Смесь детского и преждевременно состаревшегося поражала в этом лице; глаза смотрели совсем по-детски, восторженно, как-то вдаль, дальше предмета, непосредственно стоящего перед глазами, а на висках и на лбу уж легли старческие тени. Даже голос ее звучал двойственно; в общем он напоминал неустановившиеся голоса переходной эпохи двенадцати-тринадцатилетнего возраста, но, по временам (даже слишком часто), в нем прорывались такие дряхлые звуки, что, слыша их, вы невольно представляли себе целую раздавленную жизнь.

Приняла она меня прилично, хотя и не особенно радушно. Может быть, долгая строго-уединенная жизнь уж отучила ее от той приветливости, которою некогда, казалось, были пропитаны даже стены этого дома.

— Дедушка вас ждет,— сказала она, подавая мне руку.

— Он здоров?

— Здоров, но не надо его волновать. Конечно, при встрече после долгой разлуки, нельзя обойтись без воспоминаний, но есть предметы — вы меня понимаете? — которых положительно не следует касаться. Он и без того слишком об них помнит.

Я нашел Ивана Михайлыча в столовой. Передо мной стоял прямой и длинный старик, до того худой и обнаженный от мускулов, что даже кости у него, казалось, усохли. Бледно-серая голова, словно мхом поросшая волосами, ничем бы не от-

личалась от головы мертвеца, если бы из глубоких глазных впадин не выглядывали две светящиеся точки. Увидев меня, он протянул ко мне свои длинные, худые руки.

— Приехали?.. куда?.. ха-ха! — приветствовал он меня.

Я бросился к нему, и вдруг внутри у меня что-то нахлынуло, закипело, защемило. Я не ждал от него смеха... ужасная это, ужасная боль! Я весь вспыхнул, затрясся и, мучительно надрываясь от боли и, в то же время, как бы усиливаясь освободиться от нее, крикнул:

— Ну, да, в гроб, в гроб, в гроб!

Казалось, эта выходка поразила его. Он взял мою руку; одною рукою держал ее, а другою гладил, как бы желая успокоить.

— Ну, дайте я на вас посмотрю! — сказал он, подводя меня к окну, и затем, внимательно осмотревши, прибавил: — Всё в порядке. Теперь рассказывайте. А впрочем, что ж я! прежде познакомьтесь. Юлия — внучка моя. Теперь она у меня одна.

Он спохватился и не кончил.

— Рассказывайте, рассказывайте! — повторил он.

Мне всегда казалось, что я могу рассказать очень многое. Длинная жизнь, вся до краев наполненная «сованиями»,— есть, кажется, что порассказать. Но теперь, при этом, так сказать, ультиматуме, я вдруг стал в тупик. Не то чтоб я позабыл или застыдился,— нет, этого не было. Напротив, как нарочно, вся моя жизнь, со всеми деталями, пронеслась в эту минуту предо мной; а что̀ касается до стыда, то, право, он не мог делать никакого диссонанса в доме, где и без того все говорило о стыде. Нет, просто показалось нелюбопытным, ненужным.

— Рассказывать-то, верно, нечего... ха-ха! — засмеялся он.

— Пожалуй, что так,— согласился я.

— Это, сударь, бывает, особливо в таких углах вселенной, где по части благочиния чересчур благополучно. Вспоминаешь-вспоминаешь, и все как-то около одного предмета вертишься: около вывески с надписью: «Управа благочиния»... ха-ха!

— Действительно, это воспоминание господствует...

— Так-то господствует, что вот я еще в восемьсот четырнадцатом году (восемьдесят восемь лет, сударь, мне!) начал надеждами гореть и потом все горел, все горел, а ежели начать рассказывать... Плюхи да плюхи, на каждом шагу плюхи... вот мерзость какая! Ну, делать нечего, давайте смотреть друг на друга и молчать. Юлия! ты у меня умная: скажи, ведь молчать — лучше?

— Да, дедушка, лучше.

— И я говорю: лучше... ха-ха! Только я вот еще что говорю: молчание — вещь обоюдоострая; иногда оно помогает забы-

вать, а иногда — жжет, бередит. Точно вот слезы, которых не можешь выплакать, или стыд, который, хочешь не хочешь, а должен глотать. Так ли, господин надеждоносец... ха-ха!

Я прислушивался к его смеху, и мне положительно делалось неловко. Хохочущий старик — право, это целая трагедия. Какую нужно необъятную боль, чтоб добраться до дна старческой дремоты, разбудить все скопившиеся там боли, перебрать их одну за одной и обострить — до хохота!

— Что касается до меня,— сказал я,— то я, во всяком случае, полагаю, что молчание целесообразнее. С помощью его мы извлекаем свой личный стыд из публичного обращения и перестаем служить посмешищем. Я, собственно, ради молчания и воротился в деревню.

— А вы из стыдящихся? — вдруг прервала меня Юлия Петровна и так пристально взглянула на меня, что я невольно сконфузился.

— Она у нас стыдящихся не одобряет,— с своей стороны пояснил Иван Михайлыч.

— Не одобряете? но что же делать, если результат всей жизни выражается словами: довольно жить? — возразил я.

— Она таких результатов не признает. Не понимает, что для нас, старых надеждоносцев... если мы и к таким результатам приходим... и то уж заслуга... ха-ха!

Старик захохотал таким горьким и продолжительным хохотом, что Юлия Петровна встревожилась.

— Дедушка! оставьте этот разговор! он вас волнует! — обратилась она к нему.

— Мудрая, а не в силах понять, что у нас другого разговора не может быть! Ты говоришь: волнует, а я, напротив, утверждаю: развлекает, позволяет занимательно провести время... так ли, сосед?

— Не знаю, право...

— Нет, наверное. Вот, например, я говорю: как начиналось — и чем кончилось! Восклицание, кажется, не особенно мудрое, а между тем оно облегчает меня! И я очень рад, что есть человек, который меня поймет и вместе со мной постыдится... Так ведь?

Он взглянул мне в глаза и ласково потрепал рукой по коленке.

— Если бы я молчал — эта мысль глодала бы мои внутренности, шла бы за мной по пятам. А теперь, сделавши из нее составную часть causerie de société [1], я все равно что отнял у нее всякое значение. Оттого-то я и повторяю: ка̀к начиналось и чем кончилось... ха-ха!

[1] светской беседы.

— Да начиналось ли?

— То-то вот... Она, впрочем, умная-то моя, не сомневается. Не только «начиналось», а началось, говорит, и не вчера, а от начала веков. И придет, несомненно придет! Юля! ведь так?

— Так, дедушка, придет.

— Она и на нас, стыдящихся, ка̀к-то особенно смотрит. Нечто в роде Закхеевой смоковницы в нас видит... ха-ха!

— Дедушка! я никого не осуждаю! Я говорю только...

— Что нужно верить?

— Нужно, дедушка.

— И что есть люди, которые не падают духом?

— Есть.

— Аминь!

— Аминь,— повторила Юлия Петровна.

Все умолкли, а старик понурил голову, словно задремал. Через минуту, однако ж, он вновь встрепенулся и взглянул в окно. Небо было ясно, и на краю небосклона разливался тихий свет вечерней зари.

— Сколько раз, в былые времена,— словно про себя прошептал Иван Михайлыч,— я провожал глазами эту зарю и говорил себе: завтра я опять увижу ее там, на востоке.

— А теперь?

— А теперь говорю: сейчас она потухнет, и затем начнется ночь...

— Дедушка!

— Да, ночь... и навсегда! Ни надежд, ни «нас возвышающих обманов»... ничего, кроме ночи!

— Нет, дедушка, этого не будет!

Я оглянулся и умилился. Глаза Юленьки горели, лицо ее было все как в лучах; даже в голосе слышались мощные, звонкие ноты.

— Заря опять придет,— продолжала она,— и не только заря, но и солнце!

Старик махнул рукой вместо ответа.

— Есть добрые, не падающие духом! есть! И они увидят солнце, увидят, увидят, увидят! — повторила она.

Иван Михайлыч быстро повернулся и протянул мне руки.

— Ну, прощайте! — сказал он,— тяжело! Говорить мы ни об чем не умеем, а только умеем раздражать себя... Тяжелы эти повторения старой сказки об упованиях! Не ездите ко мне... не нужно! Не затем мы живем, чтоб заниматься causeries de société... Будем изнывать каждый в своем углу... Довольно.

БОЛЬНОЕ МЕСТО

I

Уныло доживал век старик Разумов в родном своем городе Подхалимове. Пять лет тому назад он приехал сюда, покончив счеты с долголетней службой, купил домик в Проломной улице, устроил, ухитил себе гнездо на славу и думал: вот теперь-то начнется настоящий спокой! И действительно, «спокой» начался, но не совсем тот, на который рассчитывал Разумов. Начался «спокой» одиночного заключения, подавляющий, преисполненный безрассветной мглы, тот «спокой», который, однажды захватив человека, окружает его непроницаемой стеной, без дверей, без окон. Сидит человек за этой стеной и ни о чем другом не мыслит, кроме того, что и в нем самом, и вне его все кончилось.

Несмотря на свои шестьдесят лет, Разумов был старик бодрый, румяный и сильный. Начавши трудную жизненную карьеру с должности писца в подхалимовском земском суде, он не погряз в безыменной массе подьячих, но сумел выделиться из нее настолько выгодным образом, насколько это возможно для человека, у которого нет иной опоры, кроме замечательной деловой цепкости, споспешествуемой не менее замечательною выносливостью хребта. Разумеется, в его возвышении большую роль играл случай, который дал Разумову возможность сначала «понравиться», а потом сделаться «необходимым», но и собственной его заслуги было все-таки не мало. Трудно без особенно счастливого случая выбраться из подьяческой тьмы в излучины воинствующей бюрократии, но еще труднее не потеряться в них и не развратиться. И высокой похвалы заслуживает тот, кто не до конца погубит при этом «рассуждение», а ограничится только тем, что покорит его, поставит в пределы.

Разумов вышел в отставку с хорошей пенсией, и с чином тайного советника, но не совсем по своей охоте. Напротив, это случилось в самую цветущую пору его бюрократической деятельности, когда он всего менее ожидал, что услуги его скоро уж не понадобятся. Разумов никогда не занимал вполне самостоятельного места, но, как второстепенный деятель, он был незаменим. Это была своего рода неуязвимая департаментская репутация, перед которою спасовал даже отважный генерал-майор Отчаянный. Целая свита угрюмых сановников прошла перед ним, в продолжение его многолетнего жизненного искуса, и каждый из них неизменно начинал с того, что сулил ему в перспективе преисподнюю. Но он понимал, что стоит на твердой почве, и не страшился. Тридцать пять лет сряду ничего не страшился и только изредка жаловался на боль в пояснице. И вдруг, совсем неожиданно, почувствовал, что почва, которую он считал неподвижною, начинает шевелиться под ним. И точно: невдолге пришел деликатный тайный советник Губошлепов (по странной игре случая, несмотря на свою чисто русскую фамилию, он назывался Василий Карлыч) и без угроз, в два слова, пресек жизнь, перед которою в недоумении остановился сам генерал-майор Отчаянный.

— Какой это такой пономарь ко мне давеча представлялся? — спросил он в самый день своего вступления в должность, пораженный высокою и как-то чересчур уж сановитою фигурой Разумова.

Ему доложили, что это был действительный статский советник Разумов, чиновник опытный, неутомимый и даже, в некотором роде, незаменимый по своей части.

— У меня нет «незаменимых»! — кратко отрезал Губошлепов и тогда же порешил в сердце своем положить конец служебному поприщу Разумова.

Нельзя сказать, чтоб Губошлепов был зол, но несомненно, что внутри его царствовали постоянные сумерки. Эти сумерки помогали ему отравлять жизнь подчиненных, не подвергая при этом самого себя никаким запросам со стороны совести. Он принадлежал к той породе бюрократов, которые думают, что бюрократический омут только тогда освежается, когда сидящий на берегу рыболов, от времени до времени, закидывает в него уду и ловким движением руки подсекает суетящуюся в омуте рыбную бель. Что оказывалось в результате этой подсечки: безобидная ли плотва или вороватая щука — это было для него безразлично. Он за результатами не гнался, а просто-напросто выполнял обряд. Из этого неумного занятия он выработал совершенно неумную доктрину, которая, к удивлению,

в известных сферах, однако ж, создала ему целую репутацию. По крайней мере, когда в бюрократическом мире шла об нем речь, то все как будто понимали, об ком и об чем они говорят. «Этот человек с душком! у него — система!» — вот мнение, которое сложилось об нем в сознании каждого чиновника, и мнение это он, конечно, старался всеми мерами поддержать.

Я всегда говорил и теперь утверждаю: существует целый замкнутый мир, в котором таким словам, как, например: «мысль», «система», не дается почти никакой цены. Есть выражения, которые нравятся только потому, что они таинственно-заманчивы, хотя внутренний смысл их всегда остается неразгаданным. В результате получается смешение, и то, что в среде обыкновенных смертных зовется глупостью, в этом странном мире получает название «идеи», а то, в чем трудно усмотреть что-нибудь, кроме пустопорожности, украшается именем «системы». Этот особенный мир народился, впрочем, недавно, как поправка и улучшение тому миру, который ни «идей», ни «систем» не знал, а знал только «ежовые рукавицы». Но действительно ли он принес улучшение — на это я положительного ответа дать не могу. Думаю, однако ж, что простые, бесхитростные «ежовые рукавицы» имели на своей стороне преимущество прямодушия и откровенности и что вообще помещение таких, например, слов, как: «идея», «система» и т. п. в словари, которые, в видах общественной безопасности, должны отличаться безусловною ясностью, представляет совсем не обеспечение, а скорее угрозу.

Как бы то ни было, но в одно прекрасное утро Губошлепов, закинув в подведомственный ему омут уду, вытащил оттуда Разумова. Рыбина оказалась большая, даже редкостная, но не настолько, впрочем, чтоб такой доктринер рыболовства, как Губошлепов, мог затрудниться, как насчет ее поступить.

— Вы, кажется выслужили право на пенсию? — молвил он однажды Разумову после того, как покончил с ним обычное объяснение.

Разумов покраснел, точно его вдруг по затылку ударили. Ему показалось, что стены губошлеповского кабинета начинают шататься и сам он как будто скользит.

— Выслужил-с,— ответил он, однако, довольно твердо.

— А при этом, ежели чин тайного советника при отставке... гм?..— продолжал тайный советник Губошлепов, но без жестокости, а именно только с полнейшим «нерассуждением».— Полный оклад пенсии и... чин тайного советника... гм? Итак, до свидания... любезный коллега!

Губошлепов очень развязно протянул ему руку, и старик Разумов почтительно прикоснулся к ней концами своих похолодевших пальцев.

В этот день Разумов возвращался домой совсем пустой, точно внутренности из него вынули. Не то чтоб он жаловался или негодовал, а как будто никак не мог вспомнить что-то очень нужное, и в то же время потерял способность воспринимать ощущения. Он шел обычной дорогой, безошибочно поворачивая в те самые улицы и переулки, куда следовало, но делал это совсем машинально. Проходя мимо знакомой колбасной лавки, он, как всегда, зажал нос, но сделал это лишь инстинктивно, а не потому, чтоб его поразила окружавшая лавку смрадная атмосфера. На одном переходе, где обыкновенно протекал грязный ручей, он сделал обычный прыжок, хотя на этот раз, благодаря какому-то исключительному стечению обстоятельств, никакого ручья в этом месте не было. И при этом он все время нервно шевелил губами, так как ему казалось, что он ведет беседу с каким-то воображаемым приятелем и что разговор их состоит из следующих немногих, но назойливо повторяемых фраз:

— Глупо-то как! — говорит он, Разумов, впрочем, без злобы, а с каким-то наивным изумлением.

— Умного нету! — вторит ему воображаемый приятель.

— Нет, ты пойми: глупо-то как! — опять настаивает он.

И так далее.

В этой мысленной беседе он дошел до Лиговки и только тут, задевши ногой за перила моста, очнулся на минуту. Но, увидевши себя в знакомой местности, опять тронулся в путь.

— Мухи не обидел! — вдруг мелькнуло у него в голове.— Мухи, мухи не обидел!

И ему показалось, что вся окрестность разом повторила это восклицание. И извозчик, едущий порожняком, и мальчишка, катящий ручную тележку с беремем пустых бутылок, и лавочник, высунувшийся из подвала. Все смотрят на него, все изумленно качают головами и в один голос вопиют:

— Мухи не обидел! мухи, мухи не обидел!

В таком полубодрственном положении дошел он наконец до своей квартиры и дернул за звонок.

— В горле...— прохрипел он отворившей ему дверь прислуге,— в горле... воды бы! да Ольгу Афанасьевну поскорее сюда...

Принесли воды; прибежала Ольга Афанасьевна.

— Вот, сударыня... и уволили нас! — произнес он, выпив залпом два стакана воды.

Ольга Афанасьевна сразу не поняла, но и ей показалось, что стены дома шатаются и что она начинает куда-то опускаться, скользить...

— Уволили... совсем... вчистую! — повторил он, вразумительно отчеканивая каждое слово, чтоб она поняла.

— Что же ты сделал? — как-то изумленно воскликнула она.

II

Гаврило Степаныч Разумов женился поздно, когда уж ему было лет под сорок. Ни молодости, ни так называемого периода страстей у него не было; всю жизнь он прожил степенно, по-старчески, оглядываючись. Ни тогда, когда у него была одна своя голова на плечах, ни после, когда он обзавелся уж семьей,— ни разу он не почувствовал поползновения выйти из намеченной колеи, «рискнуть». Собственно говоря, это была не жизнь, а тиски, с которыми он, с самой бурсы, до того свыкся, что даже не чувствовал их давления. Содержание этого существования было полумистическое и в то же время совершенно рутинное. Ничего у Разумова не было ни самостоятельного, ни собственного, ему принадлежащего; все исходило из какого-то загадочного произволения, и все туда же возвращалось; причем на нем, Разумове, оставалась, однако ж, ответственность за это загадочное и не от него зависящее. И мысли, и действия, и желания его — все кружилось вокруг этого загадочного и, без рассуждения принимая те готовые формулы, которые оно предлагало, в них одних находило для себя питание. В зрелых летах такою всепроникающей формулой явилась служба и сопряженное с нею «дело».

Раз прилепившись к «делу», раз взявши на себя обязательство выполнить его «по сущей совести», Гаврило Степаныч почувствовал жизнь свою до краев наполненною. Он был нечестолюбив и, кажется, даже не понимал честолюбия. Не потому, чтоб, искушенный рядом жизненных обид, он смирился перед мыслью, что маленьким людям положен и маленький предел,— нет, он ни о каких пределах не думал, а просто шел, не обинуясь, по той колее, на которую поставила его судьба, и старался только о том, чтоб поступать по «сущей совести», разумея под этим: как приказано. Повышения и награды хотя и настигали его, но в установленном порядке, а не потому, чтоб он искал их; даже «необходимым» он сделался не за какие-нибудь «потворства начальственным страстям» (что в чиновничьем быту не редкость), а просто потому, что лучше других

«вникал», лучше других умел неясному мельканию начальственной мысли найти связное и ясное выражение.

Он лелеял только «дело», мыслил только об «деле» и в этом «деле» умел находить материал для бесчисленного множества вопросов, взглядов, соображений и т. д. Он гордился этим и изредка даже говорил: я служу только «делу». Было даже удивительно, ка̀к «дело» приковывало его к себе, охватывало его всего, совершенно независимо от своего содержания, а только потому, что оно «дело». «Дело» раскрывалось перед его умственным взором с самым неожиданным разнообразием подробностей, с бесчисленными микроскопическими разветвлениями, из которых, в свою очередь, выбегали другие микроскопические разветвления; одним словом, со всею суматохою своеобразной трупной жизни. И он не успокоивался до тех пор, пока все эти подробности и разветвления не укладывались по своим местам, пока трупная суматоха не угомонялась и «дело» не представлялось достаточно выясненным для того, чтоб можно было из трупных посылок вывести логические трупные заключения. Тогда он пускал «облупленное яичко» в ход и принимался за препарирование другого трупа, стоящего на очереди.

Есть на Руси великое множество людей, которые, по-видимому, отказались от всякой попытки мыслить и которым, однако ж, никак нельзя отказать в названии мыслящих людей. Это именно те мистики, которых жизненный искус заранее осудил на разработку тезисов, бросаемых извне, тезисов, так сказать, являющихся на арену во всеоружии непререкаемой истины. Они не анализируют этих тезисов, не вникают в их сущность, но умеют выжать из них все логические последствия, какие они способны дать. Это люди несомненно умные, но умные, так сказать, за чужой счет и являющие силу своих мыслительных способностей не иначе, как на вещах, не имеющих к ним лично ни малейшего отношения.

Хотя такого рода занятия, в большинстве случаев, оказываются до крайности изнурительными, но Гаврило Степаныч даже от этого не страдал, благодаря своему железному организму, закаленному еще с детства бурсацким воспитанием. Сухой, широкоплечий и мускулистый, он не знал ни хворости, ни даже усталости, тем больше что однообразно-регулярный образ жизни был одною из коренных привычек, приобретенных им независимо от какой-нибудь предвзятой мысли, а просто потому, что он даже понятия не имел о развлечениях, а тем менее о прихотях. Только раз в жизни он почувствовал что-то похожее на радость,— это именно тогда, когда состоялся его перевод из Подхалимова в Петербург,— но это слу-

чилось уже так давно, что приятное раздражение, произведенное этим переводом, без труда утонуло в представлении о «деле» и об той «сущей правде», потребность в которой глубоко коренилась в его с детства дисциплинированной природе.

Однако, приближаясь к сорока годам, он начал испытывать, что в существовании его есть какой-то пробел. Не то чтоб он почувствовал пустоту холостого одиночества, но явилась смутная потребность внести в жизнь известный распорядок, который обеспечивал бы от неправильностей, неизбежных при холостом существовании. Или, лучше сказать, чтоб в квартире чувствовалось присутствие заботливой руки, которой только однажды нужно дать направление, чтоб жизненная обстановка раз навсегда вылилась в известную форму, в которой и установилась бы прочно и незыблемо. Холостой человек, хоть изредка, но все-таки должен промыслить о себе; должен кому следует растолковать, распорядиться насчет своего жизнестроительства, а это неминуемо отнимает у «дела» время и, следовательно, наносит последнему ущерб. Напротив, женатый человек может разом освободиться от всех мелочей, особливо ежели выбор будет сделан без претензий на связи и блеск. Гаврило Степаныч довольно долго задумывался над этим шагом, но потребность выйти из бесхозяйственности заговорила наконец так настоятельно, что нужно было покончить с этим вопросом. И вот он принял решение, одно из тех готовых решений, которые имеют за себя достоинство исконной общепризнанности.

У сослуживца его, Афанасия Иваныча Негропонтова, отца многочисленной семьи, была дочь Ольга, девушка уже не первой молодости (ей было в то время под тридцать) и не красивая, но кроткая, разумная и настолько самостоятельная, что, после смерти матери, она много лет заведовала всем хозяйством у вдового отца. На ней-то и остановил Разумов свой выбор. В один из редких воскресных вечеров, когда он позволял себе, в виде «экстры», оставить «дело», он, без особенных приготовлений и предварительных ухаживаний, улучил минуту, когда Ольга Афанасьевна была одна, и совершенно спокойно и рассудительно сообщил ей о своих намерениях.

— Словом сказать, с материальной стороны вы будете, по возможности, обеспечены. Только, может быть, вам скучненько с стариком покажется? — заключил он, как бы желая последнею фразой смягчить чересчур уж рассудительный тон своего любовного объяснения.

Но Ольга Афанасьевна даже не поняла этой тонкости. Так давно, в доме старика-отца, она была со всех сторон окру-

жена стариками, что, казалось, совсем даже не имела понятия о том, что существует различие между старостью и молодостью.

— Какой же вы «старик»? — молвила она, взглянув ему прямо в глаза.

— Нет, голубушка, старик я,— подтвердил он,— я от природы старик — это нужно правду сказать. Никогда у меня никаких этаких «эпизодов» в жизни не было...

— А ежели не было, то тем и лучше,— ответила она, выражая этим косвенное согласие на сделанное предложение.

— Ну, вот, и слава богу! стало быть, теперь только родительского благословения испросить надо!

Само собой разумеется, родительское благословение не замедлило, и через месяц «молодые» были обвенчаны.

Гаврило Степаныч не ошибся: выбор его, действительно, оказался чрезвычайно удачным. Его жизнь потекла невозмутимо спокойно и до последних мелочей правильно. Правда, что эта правильность была чересчур уж однообразна, но ведь, в сущности, ему ничего другого и не нужно было, кроме однообразия. Утром он проводил время за «делом» в департаменте и, по возвращении домой, был уверен, что обед не заставит его дожидаться: вечера проводил дома, отдавая себя всецело тому же «делу». Покуда он в кабинете «занимался», Ольга Афанасьевна тут же сидела с работой, и изредка они обменивались замечаниями. Этого было вполне достаточно, чтоб поддерживать между ними дружественную связь, главное основание которой лежало, по мнению Гаврилы Степаныча, совсем не в разговорах о «посторонних» предметах, а в том, чтоб муж, яко глава, добывал необходимые средства и чтоб дома, благодаря заботливости жены, было уютно, не голодно и тепло.

Через три года Ольга Афанасьевна родила мужу сына, которого назвали Степаном. Гаврило Степаныч уже совсем было потерял надежду на потомство, и вдруг... С этой минуты жизнь его как бы раздвоилась, и он впервые почувствовал, что с ним случилось что-то вроде «эпизода». Даже женитьба не произвела в нем такого волнения, такого сладкого и в то же время щемящего избытка счастия, который заставляет опасаться, что чаша не чересчур ли наполнена. Между новым объектом жизни — сыном и старым объектом — «делом» сразу установилась прочная связь, и хотя старый объект уже не господствовал над жизнью, а только служил новому объекту, но тем более явилось причин ухаживать за «делом» и употреблять все усилия, чтоб закрепить за собой навсегда этот единственный источник, обеспечивавший благоденствие семьи.

Никогда, ни прежде, ни после, Гаврило Степаныч не был так счастлив, так бодр и так деятелен. Более детей у Разумовых не было, и хоть Гаврило Степаныч, по временам, позволял себе делать жене укоры в бесплодии, но, очевидно, он делал это в виде шутки, а втайне был даже доволен, что у него имеется только один объект, на котором всецело сосредоточивалась вся его нежность. Одним словом, на нем повторилось обычное в старческой сфере явление. Как будто природа, всегда скупая относительно стариков, случайно поступилась, в пользу его, одною из своих заветных тайн и, осветивши теплым лучом его существование, опять и навсегда закрыла доступ в лоно свое. Понятно, как глубоко он должен был дорожить этой уступкой.

III

При отставке материальные средства Разумова, конечно, значительно сократились. Хотя Гаврило Степаныч и получил хорошую пенсию, но все-таки она далеко не равнялась полному окладу содержания, которым он пользовался, состоя на службе. Сверх того, на службе, и кроме штатных окладов, все что-нибудь прилипает к рукам усердного чиновника: то полугодовые и годовые оклады, даваемые в награду, то остаточные, распределяемые между чиновною братией к рождеству, и т. п. Благодаря этим экстренным подачкам, жизнь шла своим чередом, жизнь, впрочем, скудная и строгая, все благополучие которой заключалось в том, что с истечением года каким-то чудом сводились концы с концами. Но впереди и того не предвиделось, а стало быть, нечего было и думать об том, чтоб вести прежний образ жизни. Надо было прежде всего оставить Петербург и поселиться в провинции.

Но он был не один, у него был Степа, которому, к этому времени, минуло четырнадцать лет и который прошел уж четыре класса гимназии. Чтоб не произошло в его учении неизбежной, при переводе в провинциальную гимназию, ломки, предстояло расстаться с ним, а это было самое несносное. Он уедет, а Степа останется в Петербурге... Только тогда, когда эта горькая перспектива с полною ясностью предстала перед ним, — только тогда Гаврило Степаныч понял, какое ужасное злодейство обрушилось на его голову по манию Губошлепова. До сих пор он даже не представлял себе, чтоб мог пройти хотя один день, в который он бы не видел Степу. Он и прежде не имел времени особенно заниматься с ним, баловать его, но чувствовал непреодолимую потребность каждую ми-

нуту сознавать, что сын тут, подле него. И эта потребность покамест была удовлетворена. Поэтому, когда он понял, что скоро наступит момент, который прекратит раз навсегда возможность наслаждаться чувством «ощущения близости», то внутри его все словно заметалось и загорелось.

— Губошлепов! что такое... Губошлепов? — безотвязно стучало в его голове. — Есть ли в нем человеческое естество? есть ли внутренности? что̀ там таится, в этих загадочных, словно прокопченных глубинах? есть ли у него «дом», друзья, близкие? любит ли его кто-нибудь, любит ли он сам кого-нибудь, или просто так... существует? Мыслит ли он? ощущает ли радость, горе, физическую боль? питается ли? или наденет с утра вицмундир и скрежещет зубами? Ах... Губошлепов!

Что-то есть ужасное, неумолимое, неотразимое в этих людях, у которых смолоду как бы прокопчены внутренности. Ни рассуждения, ни чувства, ни даже самых простых человеческих порывов. Ни силы, ни слабости. Стоят они, как гильотина, посередь дороги: кто посильнее — тот проходит мимо нее и плюет, кто послабее — того она захватывает и обезглавливает. Воплощенное бесстрастное неразумие — вот настоящий сатана! Ах... Губошлепов!

Зачем? что случилось? что нужно было доказать? для чего понадобилось растоптать все привязанности человека, все его привычки, всю жизнь? Что такое? что такое? Ах, Губошлепов!

Разумов, бледный, ходил взад и вперед по кабинету и не мог оторваться от назойливых вопросов. Губы его вздрагивали, внутри жгло, во рту чувствовалась сухость, глаза машинально перебегали с одного предмета на другой, как бы всматриваясь, действительно ли привычная обстановка еще существует и стоит на своем месте. В задних комнатах уже хлопотала Ольга Афанасьевна, приступившая к сборам; до слуха Гаврилы Степаныча долетал стук заколачиваемых ящиков, возня перетаскиваемых сундуков. Степа уныло бродил по комнатам, с заплаканными глазами, точно не знал, куда деваться от тоски. Но Гаврило Степаныч ничего не слышал и не видел и все повторял:

— Губошлепов! Что такое... Губошлепов?

Но задачу эту так и пришлось оставить неразрешенною...

Решено было: Степу оставить на попечение семьи Негропонтовых, а самим ехать в родной город Подхалимов, где у Гаврилы Степаныча жил еще двоюродный брат, Аким Семенович Коловратов, семидесятилетний старик, занимавший место протоиерея в кафедральном соборе.

С Коловратовым Гаврило Степаныч оставался в самых дружеских отношениях, хотя, в течение своей тридцатилетней петербургской службы, был на родине всего один раз, а именно, женившись, ездил в Подхалимов отрекомендовать родным молодую жену. Коловратов гордился Разумовым, а с тех пор, как последний получил чин действительного статского советника, титуловал его не иначе, как «ваше превосходительство», и внутренно называл даже «вельможей». И когда однажды Гаврило Степаныч, в ответ на чересчур прозрачный намек на это вельможество, написал: «посмотрел бы ты, как сей знатный вельможа, с женою и сыном, при одной женской прислуге, в четвертом этаже, во дворе, в четырех небольших покойчиках ютится, то, чаю, не высокое бы о таковом вельможестве понятие возымел», то Коловратов не только остался при прежнем убеждении, но даже слегка попенял своему другу: «хотя скромность твоя приносит тебе довольную честь, но позволь тебе, ваше превосходительство, заметить, что между присными и близкими и прямое изложение вещей не может почесться нескромностью». Вообще между друзьями шла довольно оживленная переписка. Разумов, желая преизобиловать в духе своего друга, ставил в письмах теологические и нравственные вопросы. Коловратов же, по силе возможности, откликаясь на эти вопросы, в свою очередь, возлагал на Разумова ходатайство по некоторым нуждам местной епархии, и так как Разумову, вследствие связей в среднем чиновничьем мире, почти всегда удавалось успевать в этих ходатайствах, то мнение об его силе и вельможестве все больше и больше укреплялось в Подхалимове, преимущественно, впрочем, в кругу церковников.

Коловратову было уже за семьдесят, и он больше двадцати пяти лет состоял кафедральным протоиереем. Человек он был вдовый и бездетный, и после смерти жены принял к себе в дом свояченицу с дочерью Аннушкой. На Аннушке (в описываемую эпоху ей минуло тринадцать лет) он, так сказать, сосредоточил последние лучи своего потухающего сердца. В свою очередь, и она заботливо ухаживала за дедушкой и, несмотря на избалованность, обещала сделаться со временем отличною, серьезною девушкой. Жили они в просторной квартире большого соборного дома, жили дружно, не огорчая друг друга и вполне удовлетворяясь теми скромными радостями, которые выпадают на долю людей, живущих, так сказать, за пределами общей жизни. Он был уже настолько ветх, что в свободное от церковных служб время, большею частью, дремал в старинном вольтеровском кресле, предаваясь «приличествующим сану размышлениям» и изредка пе-

речитывая «Часы Благоговения». Хозяйством же и вообще всем домом заведовала свояченица, женщина пожилая, смирная и молчаливая. Очень возможно, что оба эти потускневшие под бременем лет существования незаметно потонули бы в пучине уныния, если бы не освещала их неугомонная резвость Аннушки. Она одна представляла жизненный принцип среди этих молчаливых стен, одна приносила туда звук и движение. Даже преосвященный любил ласкового и живого ребенка и шутя отзывался об отношениях к ней Коловратова: старый да малый союз заключили — оба вопиют: помози!

Коловратов не без горестного изумления узнал об отставке Разумова, хотя фраза в письме последнего: «и при сем пожалован чином тайного советника» до известной степени смягчила его огорчение. Сам преосвященный, выслушав рассказ об этом, сказал: «да, чин не малый»; но через минуту, однако, присовокупил: «но необходимо при сем иметь в виду, что ныне великое тайных советников изобилие, а посему и надобность, вероятно, не во всех видится». Как бы то ни было, но Коловратов начал деятельно готовиться к приему родственника и друга, а так как Гаврило Степаныч просил о приискании ему небольшого дома, на покупку которого ассигновал прикопленные на черный день пять тысяч рублей, то скоро и это поручение было выполнено.

Разумов приехал в Подхалимов в один из холодных январских дней, как раз перед сумерками. Старый протопоп, который с утра в этот день недомогал, сидел в своем просторном кресле, обращенный лицом к западу, и следил за потухающим солнцем. Когда Разумов подошел к нему, он молча указал ему на подернутый бледно-розовым сиянием запад и старческим расслабленным голосом запел: *Свете тихий.* И, дойдя до стиха: *видевши свет вечерний,* склонил голову на грудь и сказал:

— Да будет, друже, и вечер жизни твоей подобен сему тихому свету вечернему! Аминь.

Все были в волнении; Гаврило Степаныч тяжело дышал, Ольга Афанасьевна полегоньку всхлипывала, Аннушка разливалась рекой. Только старая свояченица молчаливо хлопотала в соседней комнате за самоваром. Затем друзья обнялись и повели беседу. Несколько раз у Коловратова был на языке вопрос: какая причина? — однако он воздержался и только заметил:

— Одно неудобство усматриваю: вел ты доселе жизнь умственную, а у нас в этом отношении недостаточно. Как бы не впасть в уныние!

На что Гаврило Степаныч ответил:

— Ничего! все в свое время найдется, а может, и дело какое набежит. Вот, бог милостив, с устройством покончим, а потом...

Он как-то растерянно огляделся кругом, как бы ища: что же потом?

— Главное, думать об этом не для чего,— продолжал он слегка дрогнувшим голосом.— Думай не думай, а старого не воротишь. На новом месте надо и жить по-новому. И то сказать, под шестьдесят кати́т — в эти года не «дело», а спокой нужен!

С неделю прожил Гаврило Степаныч в соборном доме, а потом перебрался на Проломную улицу в собственное гнездо. И с этих пор началось для него то унылое существование, на которое одним почерком пера осудил его деликатный тайный советник Губошлепов.

Устроившись дома, Гаврило Степаныч сделал официальные визиты губернатору и прочим «начальникам частей», не потому, впрочем, чтоб заискивал, а потому, что, по мнению его, того требовал этикет. Сверх того, быть может, втайне он делал предположения и насчет небесполезности указаний, которые может подать «молодым людям» его умудренная долголетнею службой опытность. Все, дескать, послужу: если прямо нельзя, так хоть совет подам. Однако в этом отношении он грубо ошибся. Подхалимовские правители были люди хотя и молодые, но необыкновенно бойкие; поэтому они не знали ни препятствий, ни затруднений, в советах нужды не чувствовали, и при этом были совершенно искренно убеждены, что так называемые «законные основания» только стесняют, а никакой опоры не дают. Никому из них не только не пришло на мысль полюбопытствовать у приезжего заматерелого бюрократа, как смотрят на тот или другой предмет в бюрократических сферах Петербурга, но большинство даже не понимало, какие тут могут быть «предметы», и просто-напросто стеснялось, об чем говорить с этою новою личностью, очевидно, «не нашего общества». А главное, изобилие тайных советников было так для всех очевидно, что никто даже не задумался над тем, что в Подхалимове сделалось одним тайным советником больше. И притом таким тайным советником, который должен был существовать на полторы тысячи рублей годового пенсиона.

Пришлось оставить всякие мечты о небесполезных советах, отказаться от знакомств в высших губернских сферах и ограничиться тесным кружком церковников. Но сфера эта такова, что церковничий день совершенно идет вразрез с днем обыкно-

венных смертных. Поэтому даже и в те дни, когда Гаврило Степаныч бывал «в гостях», у него все-таки оставалась пропасть порожнего времени, которое он не знал, куда девать и чем наполнить.

Это бездействие мучило его. С тех пор, как он уехал из Петербурга,— словно вот ножом отрезало. Исчезло «дело», около которого вращалась вся жизнь, которое в одно и то же время и изнуряло, и питало. Если бы спросить его по совести, в чем заключалось это «дело», он навряд ли нашелся бы, чтó ответить на этот вопрос. Это было какое-то решето, сквозь которое процеживалась жизнь целой массы чиновников,— и ничего более. Процеживаясь, эти люди не оставляли никаких следов своего личного пребывания в этих клеточках, хоть и выходили из них искалеченными и ни к чему другому неспособными. «Дело» составлялось из множества отдельных клочков; некоторые из них задерживались в памяти, в качестве анекдотов, другие — немедленно же улетучивались; но общего впечатления, связности, во всяком случае, не существовало. Да и самые клочки, послужившие основанием «делу», в большинстве носили фантастический характер, не имели ни между собою связи, ни точек соприкосновения с заправской жизнью. Тем не менее они все-таки представляли материал для обязательной работы, и это в значительной степени выкупало их непривлекательность. Нет нужды, что человек калечился, кружась в пустоте, и терял всякую самостоятельность — все-таки он хоть как-нибудь истрачивал свой день, а сверх того и получал пропитание.

С Разумовым случилось именно то, что бывает со всяким чиновником, которому, после долговременного подневольного корпения, приходится жить на свободе. Он не понимал этой свободы, а, напротив, слишком хорошо понимал, что ему нечего делать. Куда ни обращал он свою мысль — все оказывалось или несподручным, или неприступным. Читать — но в шестьдесят лет и чтение утрачивает свою привлекательность. Да и как читать, что читать человеку, который, с тех пор как вышел из семинарии, до того был поглощен переборкою «клочков», что даже свободной минуты не имел, чтоб заглянуть в книгу. Смолоду и он читывал, но ведь с тех пор материал для чтения прошел сквозь такое множество превращений, что, игнорируя эту последовательную переработку, почти неизбежно было стать в тупик. Недаром же рассказывали про генерал-майора Отчаянного, который, по выходе из кадетского корпуса, не читав ни одной книги, вдруг набрел на «Историю Государства Российского» и так был ошеломлен вольномыслием, в ней заключающимся, что исцарапал красным каранда-

шом все двенадцать томов и прислал их в департамент с резолюцией: «сообразить и доложить с справкою, какому оный Карамзин наказанию подлежит, а также и о цензоре Бирукове». И только тогда успокоился, когда Разумов (к нему в отделение этот «клочок» попал) объяснил, что Карамзин был тайный советник и пользовался милостью монархов. Сам Гаврило Степаныч не раз смеялся, рассказывая это происшествие, а вот теперь то же самое повторилось и над ним. Попробовал он почитать, взял в публичной библиотеке книгу — и не поверил глазам своим. Точно вот возвратился из полувекового путешествия, в продолжение которого жил где-то затертый льдинами, и вдруг узнал, что Карла X нет и в помине, а на его месте чуть не Гамбетта сидит. Кто этот Гамбетта и как это он вдруг... ведь он, поди, напакостит!

Предсказание Коловратова исполнилось: в самое короткое время Разумов не знал, куда деваться от уныния и скуки. Только летом, во время каникул, он расцвел, потому что в это время в Подхалимов приехал в побывку Степа. Однако и тут не обошлось без горьких заметок. Хотя и отец и сын по-прежнему беспредельно любили друг друга, но не в природе вещей было, чтоб Степа всего себя отдал старику-отцу. Этого, впрочем, и прежде не было, когда Разумовы всей семьей жили в Петербурге. И тогда Гаврило Степаныч видел сына довольно редко и был доволен тем, что «чувствовал» близость его. Но ведь тогда существовало «дело», которое сдерживало его отцовские чувства, а теперь была свобода, пользуясь которой он, конечно, готов был всякую минуту жизни посвятить своему детищу. Но этого-то именно и не понимал Степа и продолжал отдавать отцу столько же времени, как и прежде.

Степа был молод, и его влекло к молодому. Он охотно уходил к Коловратовым, куда привлекала его Аннушка. Даже дома он предпочитал проводить время скорее с матерью, нежели с отцом, потому что мать не выпытывала, не «говорила», а молча гладила по голове и любовалась им. Да, наконец, об чем «говорить» и зачем «говорить» у себя, в своем доме, в кругу родных! Тем и хорош «свой» дом, что в нем можно и говорить, и молчать, и веселиться, и скучать, и умные вещи, и глупости делать. А присутствие Гаврилы Степаныча именно в этом смысле и стесняло. Он спрашивал, выпытывал, «говорил»...

Видел все это старик Разумов и, конечно, был далек от обвинений. А все-таки... Болело, ах, болело его старческое сердце, и с каждым днем все глубже и глубже погружался он в пучину той безрассветной пустоты, на которую обрекло его одиночество.

IV

Когда, возвращаясь, после объяснения с Губошлеповым (кончившегося его отставкой), домой, Разумов представлял себе, что вся природа, взирая на него, вопиет: мухи не обидел! — он был прав только отчасти. Он смешивал две различные вещи: свое личное отношение к «делу» и то, что составляло содержание этого «дела». То есть он думал, что если он делал «дело» по «сущей совести», то этим самым и содержанию дела придается характер «сущей совести». Или еще точнее: он прямо предполагал, что «дело» и «сущая совесть» суть понятия, друг другу вполне отвечающие, друг без друга немыслимые.

Эта точка зрения принадлежала не ему одному; она искони была и продолжает быть достоянием большинства. Существуют известные понятия и представления, которые возникают словно загадочным произволением и сразу становятся прямо, неколебимо, делаясь исходными точками дальнейшего жизнестроительства. Высшая польза должна быть предпочитаема пользе частной, высший интерес должен тяготеть над частным интересом — вот тезисы, за которыми надлежит идти. Справедливее этого, конечно, нельзя себе ничего представить, особливо ежели есть наготове вполне ясное определение, что такое высшая польза, высший интерес. Но так как для громадного большинства людей подобные определения только подразумеваются («так быть должно») и так как это большинство произносит известные выражения, не уясняя критически их содержания, то естественно, что отсюда должно проистекать великое множество недоразумений.

В массе «клочков», которые ежедневно перебирал Разумов, было достаточно таких, которые для одних оканчивались нравственной обидой, для других материальным ущербом. Конечно, эти ущербы и обиды, в мнении Разумова, прикрывались представлением о «высшем интересе» («так быть должно»), но беда состояла в том, что он принимал это представление на веру и даже не пытался анализировать его составные части. Едва ли, впрочем, слова эти значили что-нибудь больше простого «приказания».

Во всяком случае, он был вполне добросовестен, думая и говоря, что служит «делу» *по сущей совести*. Но ведь рядом с его добросовестностью могла существовать и другая добросовестность, которая тоже, с своей точки зрения, имела основание считать себя правою. Вот этого-то он и не принимал в расчет. Разумеется, если бы он мог, на основании твердых данных, опровергнуть эту *другую* добросовестность, то он обе-

лил бы себя вполне; но он не опровергал, а просто отвергал. И даже, пожалуй, не отвергал, а просто-напросто ни о чем «постороннем» не думал, а выполнял свои обязанности «по сущей совести».

Можно было бы предположить, что он намеренно остерегается определений, чтоб не войти в разлад с самим собой и не очутиться в положении человека, сознающего, что ему приходится или покориться, или сжечь корабли и затем погибнуть. Есть много людей, которые поступают таким образом, то есть стараются «не думать», потому что размышление приводит иногда за собой такие неожиданные и трагические выводы, с которыми ужиться нет возможности. Но Разумов и тут поступал опять-таки вполне искренно: он «не думал», потому что незачем думать («так быть должно»). Это «недумание» было не вынужденное, а составляло одну из составных частей той «сущей правды», которой он так искренно всю жизнь поклонялся.

Отсутствие ясных определений помогало ему быть жестоким, хоть жестокость не лежала в его природе; оно затемняло в нем представление о силе наносимых обид, хотя лично никто так чутко и участливо не относился к слову «обида», как он. Все знали его за человека доброго, сердечного и притом безмерно осторожного в частных сношениях. Но незнавшие, нередко случалось, кляли его и настойчиво утверждали, что он, именно он — внушитель тех бед, которые обрушивались над их головами. Он сам, наверное, больше всех удивился бы, если бы ему удалось слышать такие отзывы.

Но он ничего не слышал и продолжал поступать «по сущей совести». Бывали, конечно, минуты, когда и на него наносило ветром что-то вроде трупного запаха и когда он поневоле задумывался. В такие минуты он выходил из-за письменного стола, к которому считал себя прикованным, беспокойно шагал взад и вперед по кабинету, как бы под влиянием ощущений физической боли, и старался припомнить тот «высший интерес», который на сей предмет полагается. И, разумеется, в конце концов, припоминал и... успокоивался.

Однажды, однако ж, и с ним был «случай». Ходила к нему на дом, несколько дней сряду, какая-то просительница, упорно добиваясь личного свидания, но так как он, поступая по сущей совести, просителей у себя на дому не принимал, то, конечно, эту женщину не допустили до него. За всем тем она добилась-таки своего, и в одно утро, когда Гаврило Степаныч выходил из дома на службу, она, встретив его на крыльце, крикнула ему вдогонку: сатана! сатана! сатана! Это ужасно, до крови его оскорбило, однако ж он не бросился на обидчицу

и даже никому не пожаловался. И только тогда успокоился, когда, по приходе в департамент, потребовал «дело» и убедился, что это не он, а генерал-майор Отчаянный. Он же только выполнил «по сущей совести».

Ольга Афанасьевна гораздо более его взволновалась этим происшествием и даже в первый раз в жизни горько жаловалась на мужа, что он этакое дело оставил «так». И все Негропонтовы, Аргентовы, Беневоленские, Птицыны — все в один голос вторили Ольге Афанасьевне и доказывали Гавриле Степанычу, что ни один из них не оставил бы этого дела «так».

— Мать-с! — отвечал обыкновенно на эти докуки Разумов,— мать-с, а материнские чувства как нам судить?

Очевидно, что внутренно он даже сочувствовал этой женщине, хотя в то же время был совершенно искренно убежден, что помочь ей нельзя, что это не будет «по сущей совести». Тем не менее он был очень доволен, что мог в свое оправдание сказать: это генерал-майор Отчаянный, а не я! Хотя, в сущности, в Отчаянном гнездилась только инициатива, а он, Разумов, обставил эту инициативу «законными основаниями».

Поэтому, и по выходе в отставку, он ни разу не почувствовал потребности подвергнуть свое прошлое исследованию, хотя обилие досуга и давало ему полную возможность сделать это. Он был так убежден, что «не обидел мухи», что иногда ему становилось даже совестно. Это как-то не в натуре русского человека — прожить век, никого не обидевши. Предполагается, что ежели ты никого не обижаешь, то это значит, что ты — слабосильная, ничего не значащая дрянь, которую всякий может обидеть. И что, стало быть, ты — «дурак», «разиня», «рукосуй» и т. д. И действительно, Гаврило Степаныч, даже в разговорах с близкими, не всегда охотно обращался к своему прошлому: до такой степени ему было ясно, что, в сущности, он там никакой другой роли не сыграл, кроме роли «рукосуя».

Но один на один сам с собою он припоминал. И, что всего хуже, припоминал, именно какой он был «фофан» и «разиня», какие кровавые обиды он принял, сквозь какой жестокий искус прошел. Начиная с статского советника Недотыки (которому ему первоначально удалось «понравиться» и который положил начало его чиновничьему подвижничеству) — это была целая картинная галерея. Один генерал-майор Отчаянный чего стоил! Он и теперь, двадцать пять лет спустя, метался перед Разумовым, как живой, потрясая эполетами, угрожая указательным пальцем, брыжжа слюной и колебля департа-

ментские стены криками: «сейчас же!», «сию минуту!», «немедленно!», «не выходя из присутствия!». Даже в Подхалимове, в Проломной улице, Гавриле Степанычу казалось при этом воспоминании, что весь его дом трясется и стонет от неестественных начальственных празднословий. Как он переносил все это? как не разнесло ему в то время голову от этого крика? как он... Но что же «как»? — переносил, и всё тут.

А то был еще действительный статский советник Зильбергрош — этот не кричал, а каждым словом, каждым движением язвил. Говорил — шипел, глядел — обливал презрением. Процедит сквозь зубы слово и взглянет: а хочешь, я тебя сейчас ногтем раздавлю? Иногда нарочно посреди доклада остановит и задумается. «Гм... так вы говорите: «а посему я полагаю»... это, то есть, *я*... *я*... А почему вы думаете, что я *так* полагаю?» И потом засмеется загадочно, беззвучно, ехидно... «Ну, скажет, ступайте; до завтра, может быть, и надумаетесь!» Так и уйдешь, бывало, ни с чем, и потом живешь целый день между смертью и жизнью... А завтра он, ни слова не говоря, возьмет и подпишет.

А Лихошерстов? а Ненаедов? а барон Доброезжий?

Один Байбаков генерал оставил после себя добрую память, потому что был ленив, в департамент не ходил, а принимал у себя на дому, в одном нижнем белье. Но и тот черт знает где руки держал...

При этих воспоминаниях, несмотря на старческое малокровие, щеки Разумова загорались краской стыда; он брал себя руками за голову, затыкал уши и закрывал глаза, чтоб не видеть и не слышать.

И в результате всей этой свиты воспоминаний — отставка и сладкое убеждение, что не обидел мухи... Ах, фофан! ах, ротозей!

А он-то старался, усердствовал! Уловлял самые непредвидимые движения души, усиливался угадать самые беспардонные мысли, просиживал ночи, подыскивал для них «законные основания»... Дурак! дурак! дурак!

По милости его, Зильбергрош даже умницей прослыл. Он, Разумов, сам собственными ушами слышал, как, в его присутствии, некоторый обер-туз сказал Зильбергрошу: «Очень-очень остроумно и даже, можно сказать, ехидно вы, Карл Адамыч, махинацию эту подвели!» А кто подвел махинацию? кто взлелеял ее в ночной тишине? он подвел! он взлелеял! он, Разумов! А Зильбергрош за нее похвалу получил!

Разумеется, все эти припоминания и ретроспективные ропоты Гаврило Степаныч допускал только внутренно,

но однажды не вытерпел и проговорился даже Ольге Афанасьевне.

— Не так бы нам в ту пору поступать надо было! — сказал он, напомнив ей несколько действительно характерных случаев прошлого.

— А как же бы ты поступил? — удивилась она.

— А так бы вот... купил бы лист гербовой: просит, мол, такой-то, а о чем...

— А потом куда бы ты пошел?

— Ну... куда? Мало ли... слава богу, не клином свет сошелся! То-то вот мы с тобой смиренны уж очень, всю жизнь к сторонке жались да твердили: ах, как бы не задеть кого да не обидеть! Вот нас за это...

— Ах, друг мой! друг мой!

Сказавши это, Ольга Афанасьевна грустно покачала головой, и после того разговор на эту тему уже не возобновлялся.

«То-то вот и есть, что клином сошелся!» — мелькнуло у него самого в голове. До такой степени клином, что вот теперь, когда он, по манию тайного советника Губошлепова, пущен в пространство, он не знает, куда приклонить голову. Он не только чувствует себя непригодным к какому бы то ни было настоящему делу, но даже беспокоится, куда бы ему «идти» в тот урочный час, в который он, состоя на службе, имел обыкновение «уходить» в департамент. Он переносит из комнаты в комнату свою скуку, слоняется, смотрит в окно, брюзжит и каждую минуту чувствует, что он даже в своем собственном доме лишний, мешает.

И все-таки повторяю: ежели он и винил в чем-нибудь свое прошлое, то совсем не в том, что кого-то когда-то обидел, придавил, обездолил, а, напротив, скорее в том, что он именно никого, даже *мухи*,— не обидел...

V

Во всяком случае, приходилось подчиниться насущным результатам этого прошлого и уживаться с насильственной праздностью, им завещанной. И действительно, после первых трех лет «спокоя», Разумов настолько смирился, что даже обуревавшая его скука бездеятельности мало-помалу улеглась. Он еще не дошел до признания нормальности своего положения, но мало-помалу утрачивал силу противодействия и делался неспособным роптать. И в то же время он начал очень быстро дряхлеть.

Жизнь его была кончена — в этом нельзя было сомневаться. Налицо оставался только пепел, под которым не только ничего не вспыхивало, но и не тлело. Собственно говоря, ему предстояло не жить, а быть лишь зрителем, как жизненный процесс мало-помалу ослабевает и меркнет в его организме. Вот и сегодня что-то ослабло и притупилось, а там, глядишь, из-за угла сторожит и еще немочь. И таким образом идет день за день, без всякой надежды на просвет, все к разрушению, исключительно к разрушению. Ужасно обидно это сознание бесповоротности, бессилия, особливо ежели в прошлом не было ни тепла, ни света, ни страсти, ни радости, ничего, кроме «сущей совести». Ах, эта «сущая совесть»!

Но подле него ютилась другая жизнь, молодая, только что начинающаяся, и мысль старика не могла оторваться от этой жизни. Существовали данные, которые сообщали этой мысли тревожный, гнетущий характер. Нельзя сказать, чтоб личные качества Степы возбуждали неудовольствие или порицание; напротив, Гаврило Степаныч знал наверное, что это юноша честный, трудолюбивый и притом до крайности кроткий, любящий, сердечный. Но в самом воздухе носилось что-то такое, что именно эти-то качества делало несостоятельными, что могло грубо прикоснуться к этой чувствительной, нежной натуре, обидеть и затереть ее.

Когда Гаврило Степаныч раздумывал об этом, то, по временам, ему приходило на мысль что-то новое, неожиданное. А именно, он чувствовал, что в эти тревожные думы, по-видимому, посвященные исключительно настоящему, врываются какие-то смутные отголоски из его чиновнического прошлого. Словно далекий, чуть слышный стук или неопределенное напоминание, вроде того, какое иногда испытывается при чтении книги. Помнится, что где-то, когда-то затрогивался известный предмет, но где и когда — не доищешься. Только случайность может раскрыть кроющуюся тут связь и иногда раскрывает ее очень трагически.

Но покамест явление это выразилось еще не настолько резко, чтоб заставить его серьезно вдуматься в него. Поэтому Разумов все свои тревоги сосредоточил только на тех случайностях, которые, так сказать, вытекали исключительно из личного положения его сына. Он чувствовал потребность знать его жизнь изо дня в день и потому требовал, чтоб сын как можно чаще и подробнее писал об себе и о своих знакомствах. Разумеется, Степа выполнял это требование аккуратно. Письма его, искренние и подробные, перечитывались по нескольку раз; комментировалось каждое слово; обсуждался каждый шаг, особливо ежели он возвещал о новом знакомстве;

угадывалось, нет ли какой нужды, которую приятно было бы, по мере сил, удовлетворить. Во всяком случае, общее впечатление получалось довольно успокоительное: Степа жил в надежном семействе, занимался отлично и обычным порядком переходил из класса в класс. Уж три года минуло с тех пор, как Гаврило Степаныч вышел в отставку; в это время Степа два раза гимназистом побывал на каникулах в Подхалимове, и в оба раза родители не нарадовались на него. В третий раз он приехал студентом университета. Жизнь широко растворила двери перед юношей, жизнь, напоминавшая о том, что наступила пора обязательной самостоятельности, пора необходимости промыслить о себе самому. Старый отец умилился, но сердце его забилось еще тоскливее. Жизнь! что такое жизнь? с тревогою спрашивал он себя поминутно и чувствовал какой-то панический страх, когда, после многих бессильных потуг приходил к убеждению, что он никакого сколько-нибудь обстоятельного ответа на этот вопрос дать не в состоянии.

Свою собственную жизнь он, конечно, мог себе растолковать, *но разве такая жизнь прилична его сыну?* Его личная жизнь исчерпывалась словами: «повинны беша работе». В старину и все так жили. Жизнь сразу вкладывалась в известные рамки и незаметно изживалась до тех пор, пока клубок до последнего вершка не развертывал намотанную на него нитку. Последний вершок нитки истрачен — и от человека ничего не осталось, совсем ничего: ни слов, ни дел. Бывали, конечно, и в старину исключения, случались и тогда катастрофы, но большинство не знало их. Большинство так мало ждало от жизни, что и опасений иметь не могло: немного лучше, немного хуже — вот и все. Такова была и его жизнь; но разве Степа на то рожден и воспитан, разве на то в него положили всю душу, все чаяния, чтоб он с таким же тупым терпением тянул лямку, как и отец, как и *все?* Нет, это было бы и несправедливо, и обидно.

Притом же он знал, что с тех пор многое изменилось, что нынче даже нельзя бессрочно оставаться в одних и тех же рамках, во-первых, потому, что это прямо свидетельствует о неспособности, а во-вторых, и потому, что нынче, более нежели когда-либо, даже самые скромные существования находятся под угрозой чего-то непредвиденного, самые нищенские пожелания — и те рискуют увидеть себя разбитыми, растоптанными. Это последнее «знамение времени» он испытал на собственной шкуре. Что такое он был? — ползущий червь! В чем заключались его пожелания? — в том, чтоб оставаться ползущим червем, покуда само собой не оскудеет его скром-

ное, ползущее существование. Однако и этому нищенскому требованию не суждено было осуществиться. Почему не суждено было? каким образом? — вот этого-то он и не мог себе разъяснить, хотя чувствовал, что *нынче* — иначе не может и быть.

Ему представлялась по этому поводу какая-то нелепая суматоха, которая одних топит, других — выбрасывает на поверхность. Бессмысленно, безрасчетно, без всякого плана. Но ежели даже его нищенски-старческое существование сделалось жертвой этой суматохи, то какая же будущность ожидает существование молодое, не тронутое, не изломанное, такое существование, которое, по самой полноте своей, должно предъявлять к жизни требования, неизмеримо более широкие и резкие? И что же! вот в эту-то загадочную суматоху, в самый ее развал именно и вступил его сын. Как теперь поступить? какой совет ему дать? с каким напутствием поставить его перед раскрытыми настежь дверьми жизни?

Когда слова: «совет», «напутствие» мелькнули в его голове, он почувствовал, что тот неясный стук прошлого, который и прежде, по временам, застигал его врасплох, начинает слышаться явственнее и явственнее, что выделяются из тьмы некоторые очертания, которые беспокоят, отнимают у мысли ее обычное безмятежие. Однако ж и на этот раз дело ограничилось одною смутною тревогой. Проблески появились, осветили случайно тот или другой угол картины и опять утонули. Существенный результат от этих проблесков получился только один: как ни надумывался Гаврило Степаныч, какой совет высказать сыну,— ничего придумать не мог. Много знал «советов», полны карманы их были у него, но не решался он выговорить *эти* советы. Сказать сыну застарелое общее место было совестно, а сказать что-нибудь дельное и действительно полезное — он не мог, потому что не знал, что, по нынешнему времени, считается полезным и дельным. Может быть, подлость. Так он и промолчал.

Притом же, как только молодой студент явился в Подхалимов, Гаврило Степаныч сейчас же заметил, что он значительно изменился против предшествующего года. В нем проявилась небывалая прежде живость, пылкость, почти что восторженность. На первый раз эта восторженность имела, так сказать, педагогическую окраску: он гордился своими гимназическими успехами, ни об чем так охотно не говорил, как о «науке», некоторыми учителями восторгался, о других отзывался чуть не с презрением (не нравилось, ах, как не нравилось это Гавриле Степанычу: а ну, как узнают!) и заранее предвкушал лекции университетских профессоров. Но кто может пору-

читься, что он и впоследствии удержится на той же педагогической почве, то есть будет исключительно восторгаться «наукой» и с тем же усердием «учиться» в университете, с каким «учился» в гимназии? Кто поручится, что он не увлечется сначала — товариществом, а потом, пожалуй, и тем, что на языке современных белых нигилистов известно под именем «мечтаний» и «заблуждений»? Предостеречь ли его? сказать ли ему, что мечтания — пустяки, а заблуждения — пагубны?

Конечно, *по сущей совести,* Гаврило Степаныч не мог одобрить ни мечтаний, ни заблуждений. Вся его прошлая служебная деятельность представляла самое непререкаемое доказательство этого неодобрения. У него была незыблемая точка зрения на эти предметы, и этой точкой зрения он, наверное, не поступился бы никому. Спрашивается, однако ж, каким путем он к ней пришел? — Увы! Он пришел к ней эмпирически, даже не подозревая, что идет речь о какой-то точке зрения, и только уже в конце своей служебной керьеры догадался, что в основании его деятельности лежал так называемый принцип. Но ведь тогда он уж состарился (хотя и смолоду никогда не был молод) и в убеждениях своих больше руководствовался изречениями: «плетью обуха не перешибешь» и «выше лба уши не растут». Молодость же, а особенно молодость свежая, невымученная, могла иметь и иную точку зрения, и руководствоваться совсем другими изречениями. Каким образом доказать, что правильна старческая, а не молодая точка зрения? Где найти поддержку своему старчеству, кроме посконного уличного благоразумия, к которому юность обыкновенно относится несколько пренебрежительно, свысока? Имеет ли она право относиться так высокомерно к мудрости веков? — конечно, не имеет, но то-то и есть, что, имеет ли, не имеет ли, дело не в том, а в том, что относится она так, и ничего с этим не поделаешь И, наконец, эти «мечтания» и «заблуждения» — не представляют ли они тех неизбежных, фаталистических спутников, без которых самое представление о молодости не может считаться правильным?

Как ни кинь — все клин. Но допустим даже, что он, старик Разумов, сумеет с непререкаемою очевидностью доказать сыну, что «мечтания» — пустяки, а «заблуждения» — пагубны; убедит ли он? Не предпочтет ли Степа его *очевидным* доказательствам неочевидные внушения своего молодого темперамента? «Ах, убьется! убьется!» — день и ночь мучительно твердил себе Гаврило Степаныч и молчал...

Ясно, что задача была ему не под силу и что, в известном смысле, осьмнадцатилетний, еще не успевший прикоснуться

к жизни Степа был неизмеримо сильнее, нежели он, старый, умудренный опытом старик.

А Степа между тем, нимало не подозревая отцовских тревог, беззаветно и полною грудью пил аромат молодости, посреди которого он витал, словно окутанный лучистым облаком. Подобно отцу, он был несколько дик с чужими, но в кругу близких давал полную волю своей общительности, искренности и восторженности. В его присутствии Гаврило Степаныч весь сиял, хотя это не мешало ему потихоньку вздыхать. Ольга Афанасьевна не выражала своей радости, но все ее существо освещалось улыбкой. Даже старик Коловратов — и тот отдыхал под его говор, хотя и не всегда похвалял его юношеское дерзновение.

Но, разумеется, самым сочувственным для него существом в этой среде была Аннушка. Ей минуло шестнадцать лет, ему осьмнадцать, и между обоими сверстниками сразу образовались самые искренние товарищеские отношения. Могло ли из этих отношений выродиться когда-нибудь нечто другое — ни он, ни она об этом не думали. Находясь почти бессменно вместе, они чувствовали себя хорошо, счастливо — и этого было покамест достаточно. Никаких «трепетов» они не ощущали, никакие нескромности не смущали их воображения. Все в них еще дышало тою раннею молодостью, когда чувственный инстинкт спит, а ежели, по временам, и пробуждается, то не сознает себя.

Беседы их были нескончаемы; говорил, впрочем, исключительно он, а она только слушала. Ей было нечего сказать, тогда как в его голове, несмотря на относительную скудость гимназической подготовки, сложился уж целый, разнообразный мир. Этот мир был для нее не только нов, но и заманчив. Он говорил порывисто, страстно, волнуясь. Иногда в речах его слышалась и искусственность,— ясно что он подражал манере облюбованных учителей,— но без этой искусственности разве можно себе представить истинную молодость? Аннушка инстинктивно повторяла его слова, усвоивала его приемы, и, в скором времени, у них образовался даже целый условный язык. Иногда они проговаривались на этом условном языке при старших, и это возбуждало общий наивный смех, впрочем не обидный, а только свидетельствовавший, какой непочатый родник нежности жил в этих потухающих сердцах.

Никто не вмешивался в взаимные отношения молодых людей — до такой степени они были для всех ясны. Только Ольга Афанасьевна, яко женщина, разрешала себе втайне строить какие-то планы относительно будущего, но и она помалчи-

вала, потому что Гаврило Степаныч, наверное, пугнул бы ее за них. Вообще, отказавшись от намерения напутствовать сына при вступлении в жизнь, старик Разумов решился предоставить его самому себе. Чем больше он вглядывался в Степу, тем больше убеждался, что он твердо пойдет по избранной им *честной* дороге. Только что стоит в конце этой дороги?

VI

Но в следующую же зиму Гаврило Степаныч совсем неожиданно был взволнован до глубины души. Негропонтов писал, что с Степой творится что-то мудреное: «скучает, чуждается близких, даже к учению, по-видимому, охоту теряет». К этому известию присоединился и еще один тревожный признак: Степа, который дотоле писал часто и, так сказать, любил изливать в письмах душу, начал писать редко и как-то чересчур уж форменно. Тщетно старался старик Разумов узнать причину этой резкой перемены: Степа настойчиво уклонялся от разъяснений, а из Негропонтовых никто и сам не мог уразуметь, что случилось. Несколько раз Ольга Афанасьевна предлагала мужу послать ее в Петербург, но Гаврило Степаныч упорно отклонял эти предложения: им вдруг овладел безотчетный страх. Он чувствовал, что почва опять колеблется под его ногами, что впереди стоит какая-то неотразимая и совсем новая обида, которая окончательно подорвет его жизнь, подорвет непременно, неизбежно... И под влиянием чувства самосохранения он всячески отдалял решительную минуту.

— Успеем! — отговаривался он жене,— еще дождемся! ведь только радости ползком ползут, а горе да беда всегда вскачь навстречу летят. Настигнут.

Одновременно с этим замечена была перемена и в обращении Аннушки. Она по-старому была ласкова с Ольгой Афанасьевной и даже, пожалуй, крепче, нежели прежде, жалась к ней, но относительно Гаврилы Степаныча сделалась значительно сдержаннее. Неохотно отвечала на его вопросы, как-то принужденно здоровалась, встречаясь с ним, избегала смотреть ему в глаза. Долго Разумов не обращал на это внимания, но наконец и ему сделалось ясно, что тут скрывается что-то недоброе. Вспомнилось при этом, что Степа постоянно переписывался с Аннушкой, что прежде она охотно делилась получаемыми ею известиями, а теперь примолкла, скрывает.

— Так вот он где, узел-то! — догадывался старик и решился во что бы то ни стало выяснить это дело.

— Степа продолжает переписываться с тобой? — спросил он однажды Аннушку.

— Пишет.

— Прежде ты делилась с нами его письмами, а теперь скрываешь... отчего?

— Ах, дядя! не всегда ведь удобно.

— Что же, однако, он пишет тебе?

— Да ничего особенного... Вообще...

— Вот ты говоришь теперь: ничего особенного, а сейчас сказала: неудобно показывать. Если бы ничего особенного не писал — какое же неудобство показать?

— Ах, дядя! точно вы меня в допрос взяли!

При слово «допрос» Гаврилу Степаныча болезненно передернуло.

— Не допрашиваю я тебя, а прошу! — продолжал он как-то особенно мягко, взявши ее за руку.— Прошу! прошу! прошу!

Она слегка побледнела и как будто заколебалась. Наконец из глаз ее хлынули слезы, она вырвала руку и стремглав выбежала из комнаты, почти крича:

— Не могу! не могу! не могу!

После этой сцены старик серьезно задумался. До сих пор у него была возможность истолковывать происшедшую в сыне перемену случайностью, но теперь он положительно знал, что случайности нет, а есть какой-то факт, который от него скрывают. А при этом и прошлое... Положительно из этого прошлого выделялись все более и более ясные очертания... «Ах, горе! великое, вижу, горе упадет на мою седую голову!» — говорил он сам с собою, но никому не жаловался, так как с детства был дисциплинирован в школе терпения. Даже с Коловратовым избегал говорить, хотя последний, с самого начала, предлагал обстоятельно допросить Аннушку.

— Нет, зачем? — отвечал он на эти настояния,— свое там у них... нам прикасаться не след...

Так прошло целое томительное полугодие. И без того безмолвный, домик Разумовых окончательно погрузился в оцепенение. Старики сидели каждый в своем углу, а ежели и сходились в урочные часы, то вздыхали и избегали говорить. После «допроса» Аннушка сделалась еще сдержаннее; продолжала посещать Разумовых, но молчала. Иногда Гаврило Степаныч подстерегал ее взгляд, устремленный на него с таким любопытством, как будто она рассматривала диковину.

Постоянно видеть себя в разобщении от всего живого и в то же время быть вынужденным глотать в одиночку какие-то загадочные предчувствия — вот настоящий скорбный путь. И около кого сосредоточены эти предчувствия? — около сына!.. Дни и ночи проводил Разумов в бесплодных отгадываниях, дни — ходя бесцельно из комнаты в комнату, ночи — ворочаясь с боку на бок. И все его преследовала одна и та же страшная в самой своей неясности мысль: что такое? что случилось?

— Ах, хоть бы смерть! вот кабы смерть!

И он инстинктивно начинал перебирать свое прошлое по мелочам; но чем больше предавался этой переборке, тем меньше поводов находил установить свою прикосновенность к тревожившей его задаче. Нет, никого он не обидел! Напротив, его обидели, его вытолкнули на старости лет в пространство, над ним насмеялись, его растоптали, разбили, а он...

— Мухи не обидел! — в тысячный и тысячный раз повторял он, усиливаясь рассеять и успокоить наплывавшие со всех сторон сомнения.

И все-таки он выдержал: не умер и даже не заболел. Чувствовал только, что жизнь сделалась как бы несообразностью, что теперь самое время было бы умереть, да вот смерти нет. С этим чувством и дождался лета.

В урочное время Степа вновь появился в родительском доме.

По наружности он не изменился. Он крепко обнял мать при свидании и так же, как и прежде, приласкался к отцу. То есть *почти* так же. «То, да не то»,— почуялось Гавриле Степанычу, но — кто же знает? — может быть, именно потому и почуялось, что он уж сам себя заранее предрасположил к подозрениям.

— Скажи, пожалуйста, что такое? — обратился он к сыну вскоре после приезда.

— Что именно?

— Ну, да сам знаешь... точно впервòй слышишь!

— Ах... *это!* Пустяки... так...

— Затосковал, учиться перестал... на курс-то перешел ли?

— Разумеется, перешел.

— Ну, и слава богу; а то было я...

Однако ж дома видали Степу довольно редко. Уж через час после приезда он убежал к Коловратовым и остался там весь вечер; то же повторилось и в следующие дни. Степа приходил домой ночевать, а днем оставался на глазах лишь самое

короткое время и затем исчезал. Только издали видал Гаврило Степаныч, как он ходит с Аннушкой в крошечном садике при разумовском доме.

— А ведь Степа-то совсем нас обросил! — сказал он однажды Ольге Афанасьевне.

— Что же ему с нами сидеть? — удивилась она.

— Все-таки. Год не видались, приехал — можно бы минуту отцу уделить!

— Ах, Гаврило Степаныч! Гаврило Степаныч! а ты умей смотреть на него да радоваться!

Но старик не удовлетворился этим объяснением и спустя некоторое время опять пристал к жене.

— Вижу я! вижу! — говорил он, шагая в волнении по комнате.

— Что же ты видишь?

— Все вижу и все... понимаю!

— Старики мои — это они тебя взбудоражили.

— Нет, не старики, а вообще... Не по-прежнему он... нет в нем этого... прежнего! Бывало, хоть и на минутку прибежит-повернется, а сейчас видишь!

Так и остался Гаврило Степаныч при своем убеждении, и верил этому убеждению, потому что его подсказывало ему ревнивое отцовское чувство. Вот и ничем, кажется, не обнаруживает Степа охлаждения, а видит отцовский глаз убыль, чует вещее отцовское сердце утрату. «Не по-прежнему!», «не тот!» болезненно ноет все нутро отцовское.

Догадывался ли Степа, какое горе точит отца? Вероятно, догадывался, судя по тому, что он и сам старался, как мог, усилить внешние выражения ласковости. Но даже и эти усилия замечал Гаврило Степаныч, и их истолковывал не к своей выгоде. «Прежде и не старался, а хорошо выходило,— твердил он себе,— бывало, прибежит, повертится — сейчас видишь!»

Конечно, Степа мог бы сказать в свое успокоение, что против такой странной логики ничего не поделаешь; но, в сущности, это была логика верная.

Однажды, вечером, вся семья собралась у Коловратовых. Гаврило Степаныч, которого неразгаданное горе сделало, в последнее время, молчаливым, на этот раз охотно поддерживал общую беседу. Дело было за чаем, и молодые люди присутствовали тут же. Старик Разумов, как говорится, расходился, и так как у него на первый план все-таки выступали служебные воспоминания, то понятно, что они же главным образом и теперь составили канву для разговора. Рассказывал он, как два раза чуть с ума не сошел, в первый раз — от крика гене-

рал-майора Отчаянного, во второй — от ехидства Зильбергроша.

— Что за человек был этот Зильбергрош — даже представить себе трудно! — объяснял Разумов,— глядит, бывало, на тебя и постепенно зеленеет, даже губы у него начинают трястись. Так, ни от чего. Просто видеть равнодушно не мог человека, которому он может вред сделать: как, мол, я до сих пор его не раздавил?

Во время этих россказней Степа несколько раз удивленно взглядывал на отца, но расходившийся старик не замечал этих взглядов и продолжал:

— И сколько он наград, этот Зильбергрош, получил — и всё из-за меня! Все эти мероприятия — кто их обнатурил, съютил, кто им ход и осуществление дал? — всё я! Я ночей недосыпал, куска недоедал, а он... награды получал! Однажды сам главноначальствующий, при мне, в моем присутствии, его благодарил — и хоть бы он пикнул! Хоть бы слово вымолвил: вот, мол, ваше сиятельство, сотрудник мой!

Гаврило Степаныч жаловался долго, пространно, и в то же время бесплодно, задним числом. Выходило жалко и нелепо. Несмотря на это, в старческом кругу Коловратовых настолько привыкли к этому безобидному переливанию из пустого в порожнее, что и теперь, как всегда, слушали Разумова с снисходительною внимательностью. Поощренный этим, он не замедлил, конечно, перейти и к перечислению самых мероприятий, причем, разумеется, самоуверенно приписывал себе ежели не инициативу, то осуществление.

— Ведь *они* — ка́к! — говорил он,— вожделение у них есть — это точно; но ни словесности, ни подготовки, ни соображений, ни законных оснований — ничего этого нет! Все это он на тебя валит. Придет, крикнет: хочу! — а ты уж и статью подыщи, и в приличную форму облеки — все ты! Может быть, он и вожделения-то своего не понимает — и опять-таки ты! Объясни ему досконально, чего он желает, да полегоньку, смотри — не то он, того и гляди, обидится! Он одно-два слова цыркнет, а ты ему целое соображение сейчас выложи, как и что!.. Да с улыбочкой, словно и сам недоумеваешь: так ли, дескать, я, ваше-ство, понял? Ну, как не так! разумеется, так!

И за примерами ходить недалеко. Такую-то меру — чай, помните? — это все он, Разумов, выходил. А вот такую-то — как, чай, забыть! — и эту стрелу он же, Разумов, пустил! И вот эту, и вот эту. Словом сказать, где ни копни в департаменте,— везде он свой след оставил, везде под всякой деловой обложкой его рука сохранилась!

Да и случаи у него бывали — истинно диковинные случаи. Был случай такой-то, а еще вот какой, и, наконец, третий — еще курьезнее. Путали его, сильно путали, и так, и эдак провести старались, но он везде вывертывался, везде выходил победителем!

— Ну, да ведь и то сказать, и побеждать в ту пору было легко, потому что сила на нашей стороне была,— заключил он,— как ни измышляй, как ни извивайся вьюном, а против силы...

Но он не кончил, потому что в эту самую минуту два стула с шумом отодвинулись от стола. Это были стулья, на которых сидели Степа и Аннушка. Оба разом молча встали и направились в другую комнату.

— Что же! и чай не допили? — крикнул им вслед Гаврило Степаныч.

— Не нужно! — сухо и не оборачиваясь, ответил Степа.

Разумов понял, что ораторское увлечение его обратило в бегство сына, и в голове его мелькнуло: ах, так вот оно что! Во всяком случае, это сухое «не нужно!» облило его как ушатом воды. Рассказы о временах чиновнического подвижничества оборвались, и весь остальной вечер прошел тускло, почти безмолвно.

Назад возвращались все Разумовы вместе. Гаврило Степаныч, идя дорогой, обдумывал, объясниться ли ему с Степой, или нет. Ежели объясниться — пожалуй, и узнаешь, да еще хуже будет; ежели не объясниться... но что же может быть мучительнее тайны, которая легла между отцом и сыном! Вот уж сколько месяцев он изнывает под игом этой тайны — неужто и вперед так будет? Мало, видно, страданий на его долю послано, мало насильственной праздности, мало одиночества, старческих недугов — нет, нужно прибавить к этому что-то неслыханное, неизъяснимое, что разом погребло все старческие упования, что в один миг затушевало все перспективы, кроме одной: перспективы могилы...

— Хоть бы смерть... ах, кабы смерть!

Наконец он предпочел-таки объясниться, чем продолжать пить отраву капля по капле.

— Что ты так вдруг из-за стола вышел? — обратился он к Степе.

— Я?.. так... я — ничего...

— Нет, ты не ничевòкай, а говори прямо: разговор мой тебе не понравился?

— Я, папенька... ах, папенька, право бы, я на вашем месте не вспоминал...— с трудом проговорил Степа.

— Об чем не вспоминал?

— Об *этом*...

— А! так вот оно что! То-то я... Скажи, пожалуйста, что же в моем разговоре тебе не по нутру?

— Ах, папенька, разве я могу!

Гаврило Степаныч горько усмехнулся и с минуту помолчал.

— Нынче молодые люди...— начал было он, но, как бы что-то вспомнив, поперхнулся и продолжал задавленным голосом,— так, значит, ты... пре-зи-ра-ешь?

— Ах, нет! Папенька! умоляю вас! оставьте! оставьте этот разговор! Я не буду... я был глуп! это не мое дело! Я никогда, никогда ничем не выражу!

— Стало быть, во всяком случае... ты не одобряешь? — безжалостно настаивал Гаврило Степаныч.

— Папенька! ради бога!

— Да ведь я же *по сущей совести* поступал! Выслушай, рассуди, пойми! *По сущей совести!*

VII

Объяснение это, однако ж, не раскрыло сердце, а, напротив, как будто заперло их. Старик Разумов был подавлен и в то же время чувствовал себя глубоко оскорбленным. Он относился к Степе без раздражения, но церемонно, как бы боясь навязываться; Степа, с своей стороны, в присутствии отца сидел опустивши глаза. Ко всему этому, Ольга Афанасьевна, не понимая, в чем суть, и думая, что Гаврило Степаныч, по-старчески, почувствовал оскорбленным свое авторское самолюбие, приставала к Степе, чтоб «он попросил у папеньки прощения», и это выходило тем нелепее, что иногда она надоедала с своими приставаниями в присутствии самого старика Разумова. В первый раз в жизни рассердился на нее Гаврило Степаныч.

— Все умная была,— выговорил он,— а вот теперь, как до настоящего дела дошло, так и ума не стало. Только досада берет, на вашу дурью породу глядя!

Умолкла Ольга Афанасьевна, а за нею умолк и весь дом, словно мгла опустилась на все эти бедные существования. Мало-помалу Гаврило Степаныч стал избегать встреч с сыном и чаще прежнего начал уходить к Коловратову, убедившись наперед, что ни Степы, ни Аннушки нет в соборном доме. Он ни об чем подробно не рассказывал Коловратову, но старики чутьем понимали друг друга. Старый протопоп смотрел потухающими глазами в потухающие глаза своего друга и угадывал,

что там, в этом потухающем сердце, завязывается великое, неутолимое горе.

— Худо? — не то спрашивал, не то соболезновал он.

— Жить тяжело,— подтверждал Разумов.

— Смиряйся!

— Да ведь смирению-то срок полагается. Отстрадал, искупил — вот и конец. А тут где конец найдешь? Жизнь-то уж написана — как ты ее по-новому, новыми словами напишешь? Погубил бы себя — так и погибель твоя не нужна!

Старики временно умолкали, вторя друг другу покачивающимися головами.

— Вот, говорят, трудно нынче молодым людям жить,— снова начинал Разумов,— а старикам разве легче? Вот и моя жизнь: кажется, вся дотла сгорела, и тлеть-то, по-видимому, нечему, так нет, живи, мучься!

— Спокою дух просит, а по обстоятельствам выходит иное... Помнишь, когда ты приехал, сумерки наступали, я на вечернюю зарю тебе показывал? — припоминал Коловратов.

— «Видевше свет вечерний»...— горько иронически усмехался Разумов.

— Да, думалось тогда, а вот не привелось...

— То-то, друже, что не всякому, без печали, до этого «света вечернего» дожить приводится. Вот и я в то время, вместе с тобой, мнил, что меня «тихий свет» осиял, ан заместо того...

Нескончаемо велись эти разговоры, как нескончаема была и печаль, их породившая. Гаврило Степаныч чувствовал, что они не врачуют, а пуще растравляют его раны, но все-таки ему легче было растравлять себя в обществе старого друга, нежели изнывать дома, один на один с давящей мглою, которая, казалось, так и ползла на него из всех углов. Дома он чувствовал себя глубоко несчастливым. Ольгу Афанасьевну он щадил, боялся высказаться ей, какая беда его постигла, так что поделиться горем было решительно не с кем. Он сидел в своем углу и молчаливо давился своим горем. «Неужто же всё... вся прошлая жизнь? — думалось ему,— неужто нет в этой жизни ничего... смягчающего!» Разумеется, сам-то он очень хорошо понимал, что «смягчающего» и даже вполне «обеляющего» в его жизни было очень много, что везде в этой жизни наткнешься или на Отчаянного, или на Зильбергроша, или, по малой мере, на «так водится». Он понимал даже, что это была совсем не какая-нибудь необыкновенная жизнь, что «все» так жили, «все» этой дорогой шли... Иногда он «по всем ведомствам» перелетал мыслью и находил, что, в сущности, везде одно и то же. Везде все то же «дело» делалось, да и

теперь делается, только формы, может быть, разные. И на службе, и в частной жизни. И сам Степа, если доживет до поры самостоятельности, тоже будет это самое «дело» делать, в какую бы нору ни прятался от него, какими бы замысловатыми названиями ни прикрывал свою «новую» деятельность. Атмосферу надо изменить, всю атмосферу — вот тогда, может быть...

— Так это! именно всё так! — заключал он обыкновенно.— Ничем «особенным» попрекнуть я себя не могу... А впрочем, и то сказать: не в том дело, что я прав, а прав ли, расправ ли — как его-то в этом уверишь!

Стар он — вот в чем настоящая-то беда, да еще в том, что, в его положении, старость есть синоним отчаяния. Ни обновить, ни погубить себя — ничего он не может. Нет у него силы для жертвы, а главное, не нужна, не нужна его жертва. Он должен сидеть на берегу моря; в глазах его налетит ураган и рассвирепеют волны, в глазах его будут бороться и погибать пловцы, а он осужден бесплодно метаться на своем месте и испускать стоны. Кто услышит эти стоны, да и кому они нужны! В этом закружившемся сплошном вихре, в этом громадном стоне целой природы какое значение может иметь его бессильный старческий стон? Старик! ты лишний! ты мешаешь! — вот что слышится ему среди гвалта и воплей разгоревшейся сечи, той неумолимой, беспощадной сечи, в которой и прошлое, и настоящее, и будущее, кажется, соперничают друг с другом в жестокости. Ринется ли и он в эту сечу? с чем?!

Нет у него ни настоящего, ни будущего; есть только прошлое, но с этим прошлым идти некуда. Если бы это было прошлое органическое, исторически объяснимое, он все-таки имел бы основание выйти с ним на арену. Прав ли он был бы, или неправ — это вопрос особый, но, защищая это прошлое, он защищал бы нечто *собственное,* перечувствованное, пережитое. Но такого прошлого у него не было: его прошлое было случайно, не собственное, *приказанное...* Не ясно ли после этого, что он действительно лишний и может только мешать?

Но что всего хуже — он узнал об этом только вчера, и узнал не сам собой, а случайно. А до тех пор он был совершенно убежден, что и с его прошлым прожить можно. Опочить от дел, погрузиться в спокой, безмятежно испустить дух, устремив глаза в потухающую вечернюю зарю и напевая «Свете тихий». И точно: свет просиял для него, но не тихий, а зловещий, и просиял... через сына. Он думал, что сын — утеха, а вышло, что он — просияние. Каким-то проклятым образом переплелись эти два совсем несовместные понятия, и нет возможности

распутать их. И утеха, и просияние — какой ад! Ах, нет, нет! Утеха, утеха, утеха!

Слышишь ли ты это, Степа? Подсказывает ли тебе сердце, что какое бы громадное несчастие ни придавило тебя, это же самое несчастие во сто крат, в тысячу крат тяжелейшим молотом придавит беспомощную голову твоего отца! Нет у этого отца ни настоящего, ни будущего, нет даже прошлого, но ведь и в этом человеке-обрывке трепещет сердце... Тобой полно это сердце, тобой, одним тобой!

Вот она, старуха-просительница: пришла бог весть откуда, почуяв беду; шаталась по улицам, стучалась во все двери, не знала, где голову приклонить, терпела, ждала... и дождалась-таки! Крикнула ему вслед: сатана! сатана! сатана! Вот сколько любви могут вмещать в себе эти тлеющие отцовские и материнские сердца!

Высказать ли все это Степе? — нет, не нужно. Словами и за один присест нельзя это выразить: выйдет несвязно, беспорядочно, непоследовательно. Многие годы нужно это рассказывать, исподволь, постепенно наводить человека. Да и повода теперь для такой исповеди нет. С чего вдруг взбудоражился, старик? кто тебе мешает жить... живи! Глотай в молчании последнюю обиду, которую облюбовала для тебя судьба! Но не ропщи, не стони... о, жалкий, беспомощный старик!

Вот что думалось Разумову. Это были совсем новые мысли, но они до такой степени охватили его, что, казалось, заслонили от него весь остальной мир. Что-то жестокое пронзало его сердце всякий раз, как он встречался с сыном, до того жестокое, что, напоследок, он начал даже желать, чтоб вакантное время поскорее прошло. Не того он боялся, что «просияние» доконает его, а того, что оно его замучит и эти мучения, быть может, отразятся и на самом виновнике «просияния». Что нужды, что сын дал ему казнь — пусть он остается для него утехой, к которой не примешивается ни капли горечи. Когда он уедет, равновесие, может быть, восстановится. Конечно, отрава «просияния» не прекратит своей разъедающей работы, но хорошо уж и то, что источник этой отравы перестанет ежеминутно напоминать о себе: вот я, который растоптал твою жизнь! И имя ему по-прежнему будет одно: утеха, утеха, утеха!

Даже Ольга Афанасьевна смутно поняла, что у Гаврилы Степаныча нехорошо на душе и что этому нехорошему оказывается нечуждым Степа. Поэтому, когда наступил конец августа, то обычных выражений горести, предшествующих расставанию, почти что не было. В час отъезда старик Разумов смотрел мрачнее обыкновенного; Ольга Афанасьевна принуж-

денно улыбалась и напоминала, как бы не опоздать на поезд, сам Степа чувствовал себя неловко и торопился. Одна Аннушка горько и долго плакала, но Гаврило Степаныч почти с ненавистью смотрел на эти слезы.

С некоторого времени он невзлюбил Аннушку: он чувствовал, что Степа ничего не скрывает от нее. Следовательно, ежели Степа представлял собой «просияние», то она представляла — «укор». Этого укора, идущего не кровным путем, Разумов совсем не понимал. Он помнил, с каким волнением она однажды ответила ему: «не могу! не могу! не могу!» — и навсегда запечатлел в своем сердце этот факт, как выражение досадного оскорбления. Не ей судить, не ее ума дело. Именно одну досаду производило ее вмешательство.

Как бы то ни было, но с отъездом Степы в маленьком доме Разумова установилось сравнительное спокойствие. Хотя Гаврило Степаныч заметно опускался и хирел, но мысль его уже не столь исключительно сосредоточивалась на «просиянии», а чаще и чаще отклонялась в сторону «утехи». Что-то «утеха» наша теперь в Петербурге делает? Легко ли ей живется? тепло ли? удобно ли? кто приласкает, согреет, приголубит ее? — ежечасно вопрошали друг друга старики.

VIII

Не прошло, однако ж, месяца, как Гаврило Степаныч получил из Петербурга следующее письмо:

«Дорогой и добрый друг!

Есть вещи, которые заставляют меня глубоко страдать и о которых говорят при мне, нимало не стесняясь. Иные с похвалою; другие — более нежели с порицанием. И то и другое несносно. Когда я оскорбляюсь, то мне возражают, что это до меня не касается, и что стоит только «совсем порвать», чтоб относиться к этого рода вещам с такою же объективностью, с какою относятся к ним и другие. Но я не могу. Я слишком слаб, слишком люблю. Для меня бесконечно дороги воспоминания о неистощимой нежности, которая везде и всегда сопровождала меня,— как я порву с ними? Для чего вы так любили, так холили меня? Для чего изнежили мое сердце? Может быть, я и устоял бы, порвал бы, что ли, а теперь — не могу. Простите меня. Я знаю, как мое письмо поразит вас, знаю, что от меня на вас падет последний удар,— и все-таки не могу. Тоскливо, горько; сердце рвется на части. Не могу, не могу. Выдержите ли вы?

Прощайте! Целую ваши руки, те руки, которые никогда не протягивались ко мне иначе, как с лаской. Прощайте. Передайте мамаше, что моя последняя мысль будет принадлежать ей. И вам, мой дорогой, бесценный отец.

Степан Разумов».

Прошло больше часа после получения письма. Старик Разумов продолжал сидеть в своем кресле, устремив неподвижные глаза на фатальный листок, лежащий на письменном столе. Казалось, что, застигнутый впечатлением панического страха, он до такой степени утратил жизненную энергию, что уже не может собственным усилием выбиться из оцепенения. Наконец в кабинет вошла Ольга Афанасьевна и, увидав письмо Степы, прочитала его.

— Что ты такое сделал? — в ужасе вскрикнула она, сама не понимая, к кому обращен ее вопрос — к живому человеку или к трупу.

ИЗ ДРУГИХ РЕДАКЦИЙ

В СРЕДЕ УМЕРЕННОСТИ И АККУРАТНОСТИ

<ДВА ОТРЫВКА ИЗ РУКОПИСНЫХ РЕДАКЦИЙ>

<1>

Итак, взглянем на Молчалина счастливого, на Молчалина, с честью выдержавшего свой длинный мартиролог, и с помощью его завоевавшего себе: в настоящем — тепло и сытость, в будущем — безответственность перед судом истории. Познакомимся с ним в домашнем его быту, в частной беседе о предметах, доступных его пониманию, в той интимной обстановке, в которой, по преимуществу, затрогиваются человеческие струны сердца, где он является отцом семейства, мужем, преданным другом, гостеприимным и заботливым хозяином и т. д.

Я знаю, что многие относятся к Молчалину с пренебрежением, и даже готовы видеть в нем нечто вроде низшего организма. Я сам долгое время был не прочь разделять этот дурной взгляд, но опыт и жизненная практика убедили меня, что в этом отношении я ошибался самым грубым образом.

В массе общественных наслоений существует громадная область, относительно которой Молчалины имеют важное, почти решающее значение. Это область той частной, так сказать, чернорабочей деятельности, которая не причастна ни власти, ни капиталу. Насколько власть и капитал тяготеют над Молчалиным, настолько же Молчалин тяготеет над этой чернорабочей массою, разумея под этим именем не одних половых, дворников и мостовщиков, но и людей, занимающихся так называемыми высшими профессиями — только не за свой счет и без права решить и вязать в том или в другом смысле.

Относительно этой чернорабочей массы, Молчалин есть ближайший и почти всесильный исполнитель. Он посредствующее звено между массой и тем жизненным регулятором, который гласит: травы не мять, рыбы не ловить, гулять чинно и

благородно, отнюдь не уклоняясь от однажды прорезанной дороги. Требования этого регулятора, по временам, бывают до такой степени прихотливы, что человеческая природа, так сказать, motu proprio[1] подстрекает человека к ослушанию. Всякий, конечно, изведал собственным опытом, как сильны, почти непреодолимы бывают эти позывы в область запретного, но в то же время всякому известно и то, что осуществление этих позывов почти всегда сопровождается тревожным чувством очень неприятного свойства. Перспектива быть пойманным возбуждает, с одной стороны,— опасение ожидающей кары, с другой — понятное чувство гадливости. Неприятно и стыдно сознавать себя совершеннолетним и в то же время опутанным целою сетью запрещений. Это вносит в человеческую жизнь двоегласие, которое с течением времени делается до того мучительным, что для многих является равносильным совершенному прекращению жизненной деятельности. Сдается, что пристойнее ничего не делать и даже совсем не жить, нежели проводить время в трепете за свою шкуру. И вот, в эту горькую минуту, когда человек готов уже ввергнуться в пучину уныния,— к нему является на выручку Молчалин. Он — весь смирение, весь трепет, так что на первый взгляд и сам-то он кажется стоящим не многим более ломаного гроша. Но знайте, что наружность в этом случае более, нежели когда-либо, обманчива, и что в действительности Молчалин может многое. Он может посмотреть сквозь пальцы, он может ослабить слишком натянутую тетиву, он может, наконец, просто-напросто оставить всю махинацию втуне...

Каждый день самая обыкновенная практика убеждает нас, какою громадною силою пользуется это собирательное, известное под скромным и не совсем лестным именем Молчалина. Возьмите самый вульгарный пример: вам нужен кусок мяса. Ежели стоящий в мясной лавке за прилавком Молчалин-приказчик знаком вам — вы получите мягкий и сочный ростбиф, ежели незнаком — вам за те же деньги отпустят сапожное голенище. Другой, не менее вульгарный пример: вы хотите попасть в театр. Мигните другу Молчалину — и билет у вас в кармане, хотя бы это было за минуту до начала представления и хотя бы в представлении этом разом принимали участие: Марковецкий, Алексеевы и Душкин...

Но особенно драгоценны Молчалины в минуты опасности, в те скорбные минуты, когда человеческое бытие находится под угрозой перейти в небытие. Что делать в подобном случае? куда идти? что предпринять? — Ответ простой: прежде всего,

---

[1] собственным движением.

запастись Молчалиным и затем, как только почуется в воздухе гарь, бежать к нему...

Я не могу сказать, как он там мастерит, но что он действительно нечто смастерит — это почти наверное. По проекту вам следовало, например, с четвертого этажа соскочить, а на деле, вместо вас, с четвертого этажа куклу выбросят, а вас только *спрячут* на время, чтоб на глаза вы не попадались.

Поверит ли читатель, что в детстве я знал человека (он был наш сосед по имению), который по всем документам числился умершим? Он был мертв, и между тем жил, то есть распоряжался имением, пил водку, содержал псовую охоту, ездил к соседям в гости, словом исполнял весь помещичий обиход доброго старого времени. Спрашивается: кто, как не Молчалин, возродил этого человека к жизни?

Мне кажется, что сказанного выше вполне достаточно, чтоб в значительной степени умерить пренебрежение, которое высказывают к Молчалину те самонадеянные люди, которые думают, что они и без содействия Молчалиных проживут. Нет, не проживут. Увы! ежели народная мудрость предписывает нам помнить пословицу: от сумы да от тюрьмы не отрекайся! — то собственный жизненный опыт тем с большим основанием должен воспретить нам отрекаться от Молчалина, все существование которого есть не что иное, как непрестанное напоминание о суме и о тюрьме. Жив Молчалин — стало быть, жива тюрьма и сума!

Итак, отбросим в сторону вредное самомнение и скажем себе раз навсегда: да, без благосклонного содействия Молчалиных наша жизнь есть не что иное, как опасное плавание по безбрежному океану случайностей! Одни Молчалины могут помочь в нашей инстинктивной борьбе с обязанностью гулять чинно и благородно по постылой, наторенной дороге; они одни могут утешить в тех скорбях, которые обыкновенно сопровождают эту борьбу. Заслуга громадная, вполне понятная только тому, кто на собственных боках изучил и комментировал сказание о Макаре и его телятах!

Но ежели с одной стороны заслуга несомненна, то само собой разумеется, что признание этой заслуги налагает на другую сторону известные обязательства. По мнению моему, таких обязательств два: во-первых, любить Молчалина и, во-вторых, знать его. Знать настолько подробно, чтобы можно было с уверенностью к нему подойти.

Выполнению первого из этих обязательств я посвятил всю мою жизнь. Выполнение второго — стараюсь осуществить посредством предлагаемого ряда этюдов.

Со временем, я познакомлю читателя с очень разнообразными видами Молчалина: с Молчалиным мира промышленного, с Молчалиным мира литературного и т. д. Но теперь все-таки обязываюсь начать с Молчалина-прародителя, с Молчалина — исполнителя фамусовских предначертаний, которого, еще неискушенного жизнью, но уже понявшего, что отказ от образа и подобия божия составляет conditio sine qua non [1] его существования,— изобразил нам Грибоедов.

<2>

Как я уже не раз говорил, Молчалины отнюдь не представляют исключительной особенности чиновничества. Они кишат везде, где существует забитость, приниженность, везде, где чувствуется невозможность скоротать жизнь без содействия «обстановки». Русские матери (да и никакие в целом мире) не обязываются рождать героев, а потому масса сынов человеческих, невольным образом, придерживается в жизни той руководящей нити, которая выражается пословицей: лбом стены не прошибешь. И так как пословица эта, сверх того, подтверждается энергическим восклицанием: в бараний рог согну! — практическое применение которого сопряжено с очень солидною болью, то понятно, что Молчалины расплодились настолько успешно, что наводнили вселенную и заполнили все профессии.

По-видимому, литературе, по самому характеру ее образовательного призвания, должен бы быть чужд этот тип, а между тем мы видим, что молчалинство не только проникло в нее, но и в значительной мере прижилось. В особенности же угрожающие размеры приняло развитие литературного молчалинства с тех пор, как, по условиям времени, главные роли в литературном деле заняли не литераторы, а менялы и прохвосты. И в самом деле, что такое меняла или прохвост? — это, во-первых, отребье, а во-вторых — «столп», два качества, одинаково ограждающие человека от напастей. Что такое русская литература? — это ночлежный дом, в котором, предполагается, находят себе приют мазурики и в котором, поэтому, всякий *не* мазурик считает возможным сделать облаву. И вот для того, чтоб оградить себя от облав, предполагаемые мазурики (они же «мошенники пера» и «разбойники печати») и припускают к литературе менял и прохвостов, которые, яко «столпы», облавам не принадлежат.

---

[1] непременное условие.

С литературным Молчалиным меня познакомил тот же самый Алексей Степаныч, о котором я уже беседовал с читателем. В одну из минут откровенности, объясняя мартиролог Молчалиных-чиновников, он сказал в заключение:

— Да это еще что! мы, можно сказать, еще счастливчики! А вот бы вы посмотрели на мученика, так уж подлинно мученик! Я, например, по крайности, знаю своего преследователя, вижу его, почти руками осязаю,— ну, стало быть, какова пора ни мера, и оборониться от него могу. А он и преследователя-то своего настоящим манером назвать не может, а так, перед невидимым каким-то духом трепещет.

— Кто ж это такой?

— Да тезка мой, тоже из роду Молчалиных (так расплодился, уж так расплодился нынче наш род!) и Алексеем же Степанычем прозывается. Только я чиновник, а он журналист, газету «Чего изволите?» издает. Да на беду, и газету-то либеральную. Так ведь он день и ночь словно в котле кипит, все старается, как бы ему к преследователю-то своему в мысль попасть, а к какому преследователю и есть ли у того преследователя какая-нибудь мысль,— и сам того не ведает.

— Да, это не совсем ловкое положение. Что ж это, однако, за Молчалин? Я что-то не слыхал об таком имени в русской литературе. Литератор он, что ли?

— Литератор он не литератор, а в военно-учебном заведении воспитывался, так там вкус к правописанию получил. И в литературу-то недавно поступил — вот как волю-то объявили. Прежде, он просто табачную лавку содержал, накопил деньжонок да и посадил их в газету. Теперь и боится.

— Воля ваша, а я про такого газетчика не слыхал.

— Что мудреного, что не слыхал! говорю тебе: они нынче все из золотарей. Придет, яко тать в нощи, посидит месяц-другой, подписку оберет — и пропал. А иному и посчастливится. Вот хоть бы мой Молчалин, например: третий год потихоньку в лавочке торгует — ничего, сходит с рук!

— И шибко он боится?

— Так боится, так боится, что, можно сказать, вся его жизнь — одна лихорадка. Впал грешным делом в либерализм, да и сам не рад. Каждый раз, как встретит меня: уймите, говорит, моих передовиков! А что я сделать могу?

— Да, передовики, особенно наши,— это, я вам скажу, народ... Начнет об новом способе вывоза нечистот писать — того гляди, в Сибирь сошлют!

— Да если б еще его одного сослали — куда бы ни шло. А то сколько по сторонам нахватают — вот ты что сообрази!

Сообщники, да попустители, да укрыватели — сколько наименований-то есть! Ах, мой друг! не ровён час! все мы под богом ходим!

— Что и говорить. Впрочем, ведь оно и мудрено иначе-то. Бродит человек поблизости — как тут разгадать, простой ли он прохожий или попуститель?

— А как его предварительно в укромное-то место посадишь, так оно вернее!

— Да; а потом и разобрать можно. Если он подлинно только прохожий — ну, и пусть себе идет на все четыре стороны!

— То-то вот и есть. А тезку-то моего даже и за прохожего никак принять невозможно. Такое уж его положение, что прямо говорят: науститель! А какой он науститель! Рублишка до смерти хочется — вот и вся завязка романа. Он ежели в первый раз человека видит, так и то в голове у него только одна мысль: вот кабы мне этакого-то подписчика! Да не хотите ли, я познакомлю вас с ним?

— Что ж, пожалуй...

— И не бесполезно будет, я вам скажу. Может быть, грешным делом, фельетончик напишете — он ведь за строчку-то по четыре копеечки платит!

Мы условились, что в следующее же воскресенье, в первом часу утра, я зайду к Алексею Степаныч у, и затем вместе отправимся к его тезке.

В условленный час мы были уж в квартире Молчалина 2-го.

Нас встретил пожилой господин, на лице которого действительно ничего не было написано, кроме неудержимой страсти к правописанию. Он принял нас в просторном кабинете, посередине которого стоял большой стол, весь усеянный корректурными листами. По стенам расположены были шкафы с выдвижными ящиками, на которых читались надписи: «безобразия Свияжские», «безобразия Красноуфимские», «безобразия Малоархангельские» и проч. Ко мне Молчалин 2-й отнесся так радушно, что я без труда прочитал в его глазах: пять копеек за строчку — без обмана! и будь мой навсегда! К Алексею Степанычу он обратился с словами:

— Да уйми ты, сделай милость, моих передовиков!

— Бунтуют?

— Республики, братец, просят!

— А ты бы сказал, что республики не дадут!

— Смеются. Это, говорят, уж ваше дело. Мы, дескать, люди мысли, нам нужна истина теоретическая, а там дадут или не дадут — это для нас безразлично.

— Да неужто ж им в самом деле республики хочется?
— Брюхом, братец! вот как!
— А я так позволяю себе думать,— вмешался я,— что они, собственно, только так... Знают, что вам самим эта форма правления нравится,— вот и пишут...
Молчалин 2-й приосанился.
— Ну да, конечно,— сказал он,— разумеется, я... Само собой, что, по мнению моему, республика... И в случае, например, если б покойный Луи-Филипп... Однако согласитесь, что не для всех же народов республика пригодна!
— Еще бы! — воскликнул я,— существуют народы, для которых и Управы Благочиния — за глаза довольно!
— Вот это-то самое я им и твержу. Господа, говорю, чувства ваши очень похвальны, и я сам при случае готов... ну там, «vive Mac-Mahon»[1], что ли... ведь это все равно что по-нашему: ура! Но не все же, говорю, народы...
— Та-та-та! стой, братец! — прервал Алексей Степаныч,— сам-то ты не твердо говоришь — вот они и не понимают. Народы да народы... какие такие «народы»? Кто об «народах» говорит? Прямо говорил бы: а в кутузку хочешь?! Сразу бы поняли!
— Да ведь это оно самое и есть, почтеннейший друг! «Есть народы»,— а дальше уж всякий и сам должен разуметь: такие, мол, народы, для которых кутузка есть, так сказать, пантеон...
— И все-таки повторю: выражаешься неявственно! Никаких «народов» нет, а есть Управа Благочиния и то, что в пределах ее ведомства состоит. Так и сказывай!
— Так-то так, Алексей Степаныч! — счел долгом заступиться я,— да ведь нельзя редактору так просто выражаться. Редактор — ведь он гражданское мужество должен иметь. А между тем оно и без того понятно, что ежели есть «народы, которые», то очевидно, что это те самые народы и суть, для коих, как уж и выразился господин редактор, «кутузка» представляет своего рода пантеон. И я уверен, что и сотрудники газеты «Чего изволите?» хорошо понимают это, но только предпочитают, чтоб господин редактор сам делал в их статьях соответствующие изменения.
Молчалин 2-й горько усмехнулся.
— Да-с, предпочитают-с,— сказал он,— да сверх того потом на всех перекрестках подлецом ругают!
— Так что, с одной стороны, ругают сотрудники, а с другой, угрожает начальство? Действительно, не весьма ловкое это положение!

---

[1] да здравствует Мак-Магон.

Молчалин 2-й на минуту потупился, словно бы перед глазами его внезапно пронесся дурной сон.

— Такое это положение! такое положение! — наконец воскликнул он,— поверите ли, всего три года я в этой переделке нахожусь, а уж болезнь сердца нажил! Каждый день слышать ругательства, и каждый же день ждать беды! Ах!

— И как мне сказывал Алексей Степаныч, неприятность вашего положения осложняется еще тем, что вы боитесь, сами не зная кого и чего?

— И не знаю! ну вот, ей-богу, не знаю! Еще вчера, например, писал об каком-нибудь предмете, писал бесстрашно — и ничего, сошло! Сегодня опять тот же предмет, с тем же бесстрашием, тронул — хлоп! Батюшки! да за что! А за то, говорят, что вчера было писать *благо*временно, а нынче — *неблаго*временно. А я почем знал?

— «А я почем знал»! — передразнил Алексей Степаныч,— а нос у тебя на что? А сердце-вещун для чего? Коли ты благонамеренный, так ведь сердце-то на всяк час должно тебя остерегать!

— Рассказывай! Тебе хорошо, ты своего проник — ну и объездил! А вот худо, как и объездить некого! поди угадывай, откуда гроза бежит!

— Да неужто же нет способов? — вмешался я,— во-первых, как сказал Алексей Степаныч, у вас есть сердце-вещун, которое должно вас остерегать, а во-вторых, ведь и писать можно приноровиться... ну, аллегориями, что ли!

— То-то и есть, что на аллегории нынче мастеров нет. Были мастера, да сплыли. Нынче все пишут сплеча, периодов не округляют, даже к знакам препинания холодность какая-то видится. Да вот, позвольте, я прочту, что мне тут один передовик напутал. Кстати, вместе обсудим да тут же и исправим. А то я уж с утра мучусь, да понимание, что ли, во мне притупилось: никакой аллегории придумать не могу.

Мы согласились. Молчалин 2-й взял со стола корректурный лист и начал:

«С. Петербург. 24 июля.

На этот раз мы вновь возвращаемся к вопросу, который уже не однажды занимал нас. Пусть, впрочем, читатель не сетует за частые повторения: это вопрос животрепещущий, вопрос жизни и смерти, вопрос, от правильной постановки которого зависит честь и спокойствие всех граждан. Одним словом, это вопрос, известный под скромным наименованием вопроса «о числе и качествах городовых», но, в сущности, проникающий в сердце нашей жизни гораздо глубже, нежели можно с первого взгляда предположить...»

— Гм... кажется, это можно?

— По моему мнению, не только можно, но и... ах, боже мой! да самая мысль, что честь и спокойствие граждан зависят от городовых... Помилуйте! я сам сколько раз порывался... сколько раз сам думал: от чего бы это, в самом деле, зависело?.. и вдруг такой ясный и вполне определенный ответ! — восклицал я в восхищении.

— А по-моему, так и тут есть изъянец,— расхолодил мой восторг Алексей Степаныч,— кажется, и всего одно словечко подпущено: «граждан», а сообразите-ка, чем оно пахнет! Какие такие, скажут, «граждане»? Откуда такое звание взялось? У нас, батюшка, нет «граждан», а всякий — сам по себе! Ты сам по себе, я сам по себе! А то «граждане»! Что за новое слово такое? Да и конец, признаюсь, мне не нравится. «Проникающий гораздо глубже, нежели можно с первого взгляда предположить»... Какой такой «первый взгляд»? и что тут еще «предполагать»? Припахивает, братец, припахивает!

— Чем же бы ты, однако ж, заменил слово «граждан»?

— А «обыватели» на что! И для тебя спокойно, и особенно гнусного нет. «Честь и спокойствие обывателей» — чем худо?

— Гм... да... вы как думаете? — обратился Молчалин 2-й ко мне.

— По-моему, «граждане» возвышеннее; но коль скоро болезнь сердца развита у вас в такой сильной степени, то безопаснее припустить «обывателей»...

— Так уж я...

Он помуслил карандаш, поскреб им на полях корректурного листа и продолжал:

— «Но для того, чтоб отнестись к делу правильно, необходимо начать нашу речь несколько издалека. Известно, что единовластие, ничем не ограничиваемое, всегда приводит государство на край гибели, а в конце концов и само погибает в той пропасти, которую постепенно подготовляет себе полным и наглым непризнанием иных руководящих начал, кроме необузданности и внезапности. Это общее правило, которое...»

— Ну, это, брат, штуки! Этого и Мак-Магон не пропустит! — прервал чтение Алексей Степаныч.

Я, с своей стороны, тоже сомнительно покачал головой.

— А что я вам говорил! — почти крикнул Молчалин 2-й,— говорил я вам, что они всегда так: начнут об бляхах для городовых, а свернут на единовластие. Что мне делать? скажите, что делать-то мне с ними?

— Я бы на твоем месте всю эту тираду похерил, а вместо нее легонькую бы похвалу градоначальнику пустил! — посоветовал Алексей Степаныч.

— Как так?

— Да так вот. Известно, мол, что в подобных делах многое зависит от градоначальников, а наш, мол, градоначальник постоянным и просвещенным вниманием к нуждам обывателей... А потом: обращаем, дескать, взоры наши!.. В надежде, мол, что скромные наши замечания будут приняты не яко замечания, но яко дань... Словом сказать, округли, защипни, помасли, положи по вкусу соли да и ставь в печку, в легкий дух, благословясь!

— И я вполне с этим согласен,— сказал я,— только, признаюсь, одно слово в редакции Алексея Степаныча я бы переменил. Он выразился: *многое* зависит от градоначальника, а я бы сказал: *все!*

— А что вы думаете! Ведь мысль не дурна! Потому что хоть и пыжатся господа передовики: единовластие да единовластие! — а чего, например, каких результатов они достигли хоть бы в ихней пресловутой Франции? Тогда как, с божьею помощью, у нас...

Он не договорил и быстро начал бегать карандашом по корректуре.

— Ну, так слушайте, как оно у меня теперь вышло:

«Но для того, чтобы отнестись к делу правильно, необходимо начать нашу речь несколько издалека. Известно, что власть градоначальника, ежели она вручена лицу просвещенному и согреваемому святою ревностью к общественному благу, и ежели притом она не стесняется посторонними придирчивыми вмешательствами, не только не приводит государств на край гибели, но даже полагает основание их величию и благоденствию. Мы же в этом отношении можем назвать себя даже особенно счастливыми, ибо у нас есть именно такое лицо, какое для нашего величия требуется. Мы никого не называем, но сердце всякого обывателя столицы безошибочно подскажет ему, о ком мы говорим. Каждый обыватель ежедневно, можно сказать, ежечасно и ежеминутно сознает себя очевидцем неусыпности и прозорливости и, конечно, не может не понимать, кому он этим обязан. Поэтому, ежели мы и решаемся посвятить столбцы наши важному вопросу о численном составе и качествах городовых, вопросу, волнующему в настоящую минуту лучшие наши умы, то отнюдь не в видах поучения, ниже совета, а лишь в форме скромного и благопочтительного мнения, принять или не принять которое будет, конечно, зависеть от благоусмотрения. Примется наше мнение — мы будем этим польщены; не примется — мы и на это сетовать не станем».

— Хорошо, что ли, так будет?

— Уж так-то хорошо, что даже я и не ожидал,— похвалил Алексей Степаныч,— и подлости прямой нет — потому, ты никого не назвал,— а между тем в нос ведь, братец, бросится!

— Ну, а вы что скажете? — обратился ко мне Молчалин 2-й.

— Хорошо, даже очень хорошо, но, признаюсь, и тут имею сделать небольшое замечаньице, которое, по мнению моему, нелишне будет принять к сведению. В новую редакцию вы перенесли из прежней (разумеется, с сообщением отрицательного смысла) слова: «не только не приводит государств на край гибели»... Конечно, я понимаю, что вы это сделали единственно ради того, чтобы по возможности сохранить труд наборщика, но людям, не посвященным в тайны корректуры, эта фраза может показаться сомнительною. Могут спросить себя: с чего это вдруг пришли ему на ум «государства, приводимые на край гибели»? Нет ли иронии тут какой-нибудь, иронии, которую наружная восторженность похвалы делает еще более едкою и чувствительною?

— А ведь замечание-то справедливое! — согласился со мною и Алексей Степаныч.

Молчалин 2-й задумался.

— Справедливое-то справедливое,— произнес он наконец,— а жаль! Фраза-то уж больно ловка!

— Да; но что-нибудь из двух одно. Если вы желаете попрежнему пользоваться болезнью сердца, то, конечно...

— Стой! Я придумал! — вдруг нашелся Алексей Степаныч,— фразу оставить можно, только дополнить ее надо. И дополнить так: «как думают некоторые распространители превратных идей» — вот и все.

— Отлично! — согласился Молчалин 2-й и, тут же, сделав надлежащее исправление, продолжал:

«Токвиль говорит: монархи, доводящие свое властолюбие»...

— Марай! — вскричал Алексей Степаныч,— и читать дальше не нужно! Марай!

Молчалин 2-й, даже не возражая, провел крест на корректурном листе.

— «Гнейст, подтверждая это мнение, с своей стороны присовокупляет: «Монарх, который...»

— То Гнейст, а то русская газета «Чего изволите?»! Марай, любезный, марай!

— «Людовик XVI недаром со слезами на глазах собственноручно набирал знаменательные слова Тюрго: pauvre France! pauvre roi![1] Этот добродушный самодержец инстинктивно чув-

[1] бедная Франция! бедный король!

ствовал, что он последний прирожденный король Франции и Наварры и что отныне имя Бурбонов всецело перейдет на главы тех русских офицеров, которые выслужились из кантонистов и сдаточных».

Молчалин 2-й умолкнул. Мы тоже молчали. Казалось, мы находились под гнетом какой-то неожиданности.

— Марай! марай! марай! — первый опомнился Алексей Степаныч.

Но, к изумлению, Молчалин 2-й заупрямился.

— Позволь, однако, тезка! — сказал он,— ведь ежели все-то марать, так, пожалуй, и обстановки никакой у статьи не будет. Все эти ссылки и анекдоты, конечно, не стоят ломаного гроша, однако попробуй без них статью выпустить — голо̀ будет.

Он вопросительно взглянул на меня.

— Если вы желаете знать мое мнение,— сказал я,— то оно резюмируется в одном слове: марайте! Конечно, анекдот об Людовике Шестнадцатом очень хорош, но ведь, собственно говоря, при тех переменах, которые вами сделаны выше, он уж как-то и не подходит. Ведь вы повели речь об градоначальнике,— с какой же стати тут Людовик Шестнадцатый?

— Гм... да, вот это так. Действительно, оно... Но согласитесь, что это тяжело. И каждый ведь день, каждый день мы должны приносить эти жертвы!

Он вздрогнул, но взял карандаш и твердою рукой начертал крест на корректурном листе. Затем он продолжал:

— «Все это мы припоминаем здесь с тою целью, чтоб общество не слишком полагалось на своих исконных попечителей, чтоб оно не думало, что дела его будут устроены к наилучшему концу помимо его собственного участия, чтоб оно не складывало рук, но ждало спасения единственно от самого себя. Пусть общество остережется, пусть оно станет бодро на страже своих собственных интересов, ибо, в противном случае, вся ответственность падет на него самого! Самозваные попечители не дремлют... Они уже теперь взвешивают все последствия, какие может иметь то или другое решение вопроса о городовых. От кого будет зависеть определение и увольнение городовых? Кто будет заготовлять для них провиант и обмундирование? — вот задачи, которые предстоит разрешить. И ежели общество отнесется к ним равнодушно, то в руках его попечителей очутится страшное орудие: возможность ежечасно, даже ежемгновенно воздействовать на граждан посредством морально-полицейского давления. Но этого мало: кто может поручиться, что в настоящем деле расчеты попечителей исчерпываются одною моральною стороною? что тут нет и зна-

чительных материальных расчетов, особенно по статьям «обмундирования» и «содержания в исправности чижовок»? (Кстати о чижовках: вопросу о том, как они должны быть устроены и могут ли быть допускаемы в них, в виде исправительной меры, клопы, мы на днях посвятим особую статью)».

— Ну, это уж я сам! — сказал Молчалин 2-й и тут же, с неимоверной быстротой исправив что нужно, прочитал:

— «Все это мы говорим с тою целью, чтоб общество всецело и с доверчивостью поручило себя в этом деле мудрости, прозорливости и испытанной попечительности начальства. Пусть общество остережется, пусть оно воздержится от излишней ревности к тому, что иные беспокойные умы хотят навязать ему под громким, но фальшивым именем общественных интересов. Ежели оно неуместным вмешательством в вопросы, непосредственно до него не относящиеся, возмутит мирно почивающую поверхность и возбудит в среде самого себя раздоры и свары, то вся ответственность падет на него самого! Люди, стоящие на вершине горы, видят дальше и стреляют успешнее, нежели люди, стоящие у подошвы горы или в низине. И горе тем, которые дерзостно заслоняют собою развертывающиеся перед ними перспективы! Не забудем, что во всех благоустроенных государствах роль общества есть роль содействователя и исполнителя, но отнюдь не инициатора, а тем менее какого-то непризванного учителя. Пускай же и наше общество явит себя в этом случае достойным государства столь несомненно благоустроенного, каким, по справедливости, считается Россия. Мы русские — и гордимся этим. До сих пор мы всегда вели себя с достоинством и твердостью, «в надежде славы и добра», как выразился наш незабвенный национальный поэт,— что̀ же может помешать нам вести себя и на будущее время таким же достославным образом? Нам говорят о каких-то опасениях, но в чем же, однако, они могут состоять? Ежели при этом имеется в виду усиление так называемого морально-полицейского давления, то такого рода опасение, по малой мере, отзывается ребячеством. Ежели же имеются в виду какие-то темные материальные выгоды (в особенности по статьям: «обмундирование» и «содержание в исправности чижовок»), то эти опасения могут быть названы даже недостойными!»

— Ка̀к теперь?

— Уж что и говорить! ты, коли захочешь, так разутешишь! И ведь что дорого — газета-то либеральная!

Однако я и тут счел долгом умерить восторг Алексея Степаныча.

— Я вполне согласен, что это превосходно,— сказал я,— но и в этом отрывке позволю себе указать на один изъянец, совершенно подобный тому, об котором я только что упоминал. Зачем оставили вы в новой редакции слова: «в особенности по статьям: «обмундирование» и «содержание в исправности чижовок?» В общем строе речи эти слова представляются настолько неожиданными, что каждый мало-мальски либеральный столоначальник вправе спросить себя: с какой стати явились тут чижовки и обмундирование? Не ирония ли это? не в том ли состоит затаенная мысль автора, чтобы дать понять читателю, что хапанцы но части обмундирования до сих пор представляют обычный modus vivendi[1] полицейских чинов? Не знаю, как вы, но я... право, я вычеркнул бы эти слова. Вы чего желаете? Вы желаете, чтоб ваша газета выходила каждый день — это ясно. Но ежели это ясно, то ясно также, что вы и действовать обязываетесь сообразно с вашими же желаниями, то есть: ни малейших двусмысленностей не допускать. Ибо, в противном случае, ваша газета будет выходить не каждый день, а через день, и даже, быть может, один раз в месяц!

— Справедливо! — воскликнул Алексей Степаныч,— похеривай, братец, похеривай!

Замечание мое было выполнено. Исправив корректуру, Молчалин 2-й продолжал:

— «У общества есть свои собственные органы, не имеющие ничего общего с теми, которые навязываются ему извне. Этим-то органам и обязано общество сочувствием и содействием, ибо ежели они видят себя покинутыми, то весьма естественно, что самая деятельность их постепенно становится вялою и лишенною жизненной силы. Напротив того, ежели они сознают, что общество хотя и строго, но ревниво следит за их действиями,— они невольно сбрасывают с себя оковы апатии и вступают в борьбу с удесятеренными силами. Все дело именно в том, на чьей стороне находятся общественные симпатии, и хотя деспоты, как говорит Монтескьё, охотно пренебрегают публичным мнением, но, в сущности, они только *делают вид,* что пренебрегают, внутренно же бывают в восхищении, если общество им сочувствует. Следовательно, в разрешении вопроса, нас занимающего, главная роль должна принадлежать не самозваным попечителям общества, а действительным представителям и защитникам интересов его. И так как эти последние имеют законную организацию (а не суть сборища узурпаторов и случайно сошедшихся людей, как это инсинуи-

---

[1] образ жизни.

руют те, для которых подобные инсинуации выгодны), то пусть же эта организация поймет важность той роли, которая ей предстоит, пусть сознáет себя не посторонней в этом деле и исхитит его из рук, не имеющих никакого законного повода прикасаться к нему. Тогда только, и только тогда вопрос, нас занимающий, будет поставлен прочно и решен правильно».

— Слушайте-ка! да уж не национальной ли гвардии он хочет? — заподозрил я.

— Верно, что так,— сказал Молчалин 2-й,— ну, и это, пожалуй, я сам.

Он принялся за работу и через несколько минут прочитал:

— «Нам, может быть, скажут, что общество имеет свои органы, которые-де представляют собою не сборище узурпаторов и случайно сошедшихся людей, но законно установленную организацию, и что главнейшая и законом признанная обязанность этих органов состоит в том, чтобы представлять интересы своих избирателей и защищать их от неполезных посягательств. Увы! все это слова, слова, слова, как выразился великий сердцеведец Шекспир. Никто не спорит, что названные выше органы имеют дозволенное законом существование и занимают не последнее место в ряду институтов новейшего времени, но чтобы на них лежала обязанность защищать обывателей от каких-то фантастических посягательств — вот с чем мы не можем согласиться, и не согласимся никогда. Чтоб допустить возможность подобной обязанности, необходимо в то же время допустить и возможность посягательств. Но где же они? спрашиваем мы всех и каждого. В чем они состоят? Пусть попробуют наши противники ответить на эти вопросы — и мы охотно будем дебатировать их, дебатировать честно, искренно, во всеуслышание. А до тех пор мы будем смело утверждать, что бессмысленно ставить целым учреждениям специальною задачей борьбу со злом, на которое никто гласно указать не может и которое, следовательно, имеет все права, до представления доказательств, считать себя несуществующим».

— Отлично! отлично! отлично! — безусловно похвалил Алексей Степаныч (у старика даже слезы выступили на глазах).

— Отлично,— согласился и я,— но одно только маленькое замечаньице...

— Позвольте! — несколько сухо прервал меня Молчалин 2-й,— я знаю, чтò вы хотите сказать. Вы, конечно, найдете излишним начало (об «узурпаторах»), а может быть, предпочли бы вычеркнуть и конец, начиная со слов: «на которое никто» и так далее. Я понимаю это. Не забудьте, однако, что моя га-

зета либеральная и самим начальством признается за таковую. В подобной газете полное однообразие тона было бы не только неуместно, но и неожиданно. Положение либеральной газеты может быть резюмировано в следующих немногих словах: мы готовы прийти к вам, но укажите пути и сохраните нам нашу независимость! И поверьте, начальство понимает это и снисходительно смотрит на заблудших овец, коль скоро замечает в них рождающийся вкус к обращению.

— А ведь он прав! — обратился ко мне Алексей Степаныч,— на этот счет он провидец, мой друг! И овца, как найдет потерянную ярочку — уж она лижет-лижет ее! Так-то и начальство!

— Да; но вы говорите: укажите пути и сохраните нам нашу независимость! Мне кажется, что если указывают пути, то уже тем самым...

— Нет-с, уж это позвольте! Это уж мы с Алексеем Степанычем лучше знаем. По прежним вашим замечаниям я делал соответствующие исправления беспрекословно. Но уж на этот раз, любезный коллега, прошу извинить! Черт побери! Журналист — это не просто человек улицы, это, так сказать, делегат общественного мнения! Он должен высоко держать свое знамя.

Размысливши несколько, и я должен был согласиться, что Молчалин 2-й прав. В самом деле, как часто случается нам читать выражения, вроде «осмеливаемся высказать», «позволяем себе думать» и т. п.— И что же, начальство не только не взыскивает за это, но даже как бы не видит в подобных поступках ничего буйственного. Вероятно, тут существует какая-нибудь секретная конвенция, а может быть, и просто тонкая внутренняя политика. Что «независимые голоса» необходимы и полезны — это признано нынче всеми, равно как всеми же признана и польза оппозиции — отчего ж бы не воспользоваться этим и нам... конечно, умненько? Недаром же в штатах департамента «Этимологии и Правописания» значится: «независимых голосов» столько-то. Нет, это недаром. Вся «политика» собственно в этом и состоит. Интересно только бы знать, присвоено ли этим голосам соответствующее от казны содержание или же они обязываются быть сытыми, припеваючи: «из чести лишь одной я в доме сем служу»?

Между тем Молчалин 2-й продолжал:

— «И потому, мы обращаемся не к самозванным попечителям нашим, а к тем излюбленным органам общественных интересов, на которых исключительно почиют наши упования. Постараемся при этом быть кроткими и непритязательными в наших требованиях. Вот они:

«А. По вопросу о качествах городовых.

«Городовые должны обладать гражданским мужеством.

Они должны быть добродетельны.

Обращаясь с гражданами снисходительно и человеколюбиво, они собственным примером обязываются внушать им склонность к добродетели и к мирным забавам. Причем отнюдь не дозволяется брать за воротник тех граждан, которые примерным своим поведением того не заслуживают.

Относительно своего начальства, городовые должны быть почтительны, но с достоинством, и никак не подобострастны. Они имеют право делать ближайшим начальникам представления, ежели найдут их распоряжения нелепыми или стесняющими свободу граждан.

Они назначаются к должностям по избранию мест и лиц, облеченных общественным доверием, и сменяются не иначе, как по суду. Судятся равными (par leurs pairs[1]) и не иначе, как в публичном заседании, так сказать, всенародно.

Люди зазорной нравственности и явные прелюбодеи не могут быть назначаемы на места городовых, причем, однако ж, не возбраняется пользоваться услугами таковых людей в качестве экспертов и сыщиков».

— Ась? каково покажется? — в негодовании воскликнул Молчалин 2-й, швырнув корректуру на стол.

— Все, что ли?

— Нет, есть и еще; но я спрашиваю вас, какова штука?

— Да, брат, штука важнецкая. По-моему, нужно все это похерить.

— Похерить-то похерить, да ведь и заменить нужно. Помогите хоть вы, господа! Ну, вы, например,— обратился Молчалин 2-й ко мне.

Я внял его просьбе, взял лист бумаги, и через две-три минуты статья о качестве городовых приняла, под пером моим, следующий вид:

«А потому, мы обращаемся в настоящем случае не к тем излюбленным нашими радикалами учреждениям, которые во всякое время готовы разыграть из себя жалкое подобие парижского Hôtel de ville[2], но к тем высокопоставленным лицам, которым самою непререкаемою властию вверено охранение нашей столицы от наплыва неблагонадежных элементов. К ним обращаемся мы и позволяем себе почтительнейше надеяться, что наши скромные замечания не будут оставлены без прочте-

---

[1] равными себе

[2] Городская дума.

ния, тем более что они кратки и неутомительны. Вот предположения наши:

«А. По вопросу о качествах городовых.

1) Городовые должны обладать телосложением мужественным, способным выносить всякие атмосферические перемены и противостоять возможным в их звании случайностям. Физическая их сила должна быть вне всякого сомнения.

2) Городовые должны быть добродетельны, особливо в рассуждении спиртных напитков.

3) Относительно обывателей, они соблюдают возможную, по обстоятельствам, вежливость, не доводя, впрочем, оной до баловства. По сему, хватание прохожих людей за воротник (в просторечии «шиворот»), хотя и не представляет вполне совершенной формы для сношений с обывателями, однако и не возбраняется, ежели последствием сего мероприятия будет удовлетворительное разрешение недоразумения, грозившего в своем начале принести горький плод.

4) Относительно своего начальства городовые обязываются, каждый раз при его появлении, делать под козырек. Никакие представления городовых насчет нелепостей начальственных распоряжений не приемлются.

5) В домашнем быту городовые должны быть умеренны в обращении с семейными, не производить дома драк или шума и в продовольствии своем преследовать идею сытости, но отнюдь не объедения. Причем, однако ж, не возбраняется им по праздникам печь пироги (о том, в какие табельные дни и с какою начинкою должны быть пироги см. в приложении табель № I).

6) Городовые, яко лица, непосредственным своим начальством определяемые, оным же и судятся келейно и без допущения стенографов. Хотя же при сем и допускается расстреляние, но лишь в самых необходимых случаях и с крайнею осмотрительностью, дабы, чего боже сохрани, не расстрелять невинного.

7) Ежели городовой усмотрит скопище, по всем видимостям, намеревающееся произвести злоумышление, или ниспровержение, или бунт, то он обязывается, взяв таковое под караул, отвести в подлежащий участок и сдать под расписку дежурному полицейскому чиновнику (форму расписки см. в приложении № II). По исполнении сего он имеет вновь возвратиться к своему посту и там ожидать нового злодейского скопища.

8) Люди зазорной нравственности и явные прелюбодеи не могут быть назначаемы на места городовых. О том же, какого

сорта лица имеют быть допускаемы в качестве экспертов и сыщиков, мы предоставляем себе поговорить секретно в особой статье».

— Я потому не развиваю подробнее предположений о качествах сыщиков и экспертов,— сказал я,— что, по мнению моему, в настоящую минуту это было бы не своевременно. Но, с другой стороны, и совершенно умолчать об этом предмете — неудобно, потому что читатель вправе был бы сказать себе: «Эге! видно, он потому не упоминает об сыщиках, что писать-то об этом предмете руки у него коротки!» Тогда как теперь читатель будет вполне удовлетворен: некоторое время он действительно будет ожидать обещанной статьи, но потом плюнет — и дело с концом!

Оба Молчалина нашли мою редакцию вполне удовлетворительною, а Алексей Степаныч даже удивился, как я в такое короткое время, почти в одночасье, успел так ловко проникнуть в виды и соображения.

— Нервы у меня... впечатлительность...— объяснил я.

— Я одно только позволю себе заметить,— сказал Молчалин 2-й,— мне кажется, что во втором пункте оговорка относительно крепких напитков в практическом применении должна встретить непреодолимые затруднения. Иногда городовому без того нельзя. А потому, я полагал бы ее выбросить или редактировать следующим образом: «и крепкие напитки употреблять с таким расчетом, чтобы начальство заметить сего не могло». С вашего позволения!

— Сделайте одолжение! ведь мне, собственно говоря, все равно!

— Ну-с, а теперь будем продолжать:

«Б. Относительно числа городовых.

Городовые должны находиться безотлучно на всяком месте, где может угрожать опасность свободе граждан, или, иными словами, на каждом углу, образуемом двумя улицами. А так как таковых углов в нашей столице, по малой мере, тридцать тысяч, то, полагая на каждый по три смены городовых, получится армия в девяносто тысяч человек, которые, будучи руководимы излюбленными гражданами, могут, в случае нужды, составить оплот.

Мы кончили. Мы высказали наше мнение смело и решительно, и столь же смело и решительно будем ждать последствий его. Имеяй уши слышати, да слышит!»

— Позвольте уж мне и это проредактировать,— разохотился я.

— Помилуйте! с величайшим удовольствием!

Я взял перо и написал:

«*Б. Относительно числа городовых.*

1) Городовые должны находиться на всяком месте, ибо всякое место может служить ареною, на которой имеет произойти ежечасно наплыв неблагонадежных элементов.

2) На всякий пост полагается по три смены городовых.

и 3) Таким образом получится бесчисленная армия, которая, будучи руководима прозорливым умом, может, в случае надобности, представить благонадежный оплот.

Мы сказали. Мы сделали свое дело искренно, честно, открыто, следуя прекрасной старинной французской поговорке: fais ce que dois, advienne ce que pourra [1]. Будущее, конечно, от нас не зависит, но мы взираем на него без опасения».

— Гм... я одного только опасаюсь,— задумался Молчалин 2-й,— ежели на всяком месте будут городовые, ведь тогда, пожалуй, ни пройти, ни проехать будет нельзя!

— Ну, брат, и потеснимся маленько, не велики мы с тобой баре! — сказал Алексей Степаныч.

— И то правда! — порешил Молчалин 2-й,— да и вообще... Какое мне, собственно говоря, дело, можно ли будет пройти и проехать!

— Ну, разумеется! Правь, братец, правь!

Опытная рука Молчалина 2-го проворно забегала по корректуре.

---

[1] делай, что должен, достигнешь того, что сможешь.

ЧУЖУЮ БЕДУ — РУКАМИ РАЗВЕДУ

Пускай умру — печали мало...

Я человек отживающий. Расстояние, которое мне остается пройти, так невелико, что мысль об итоге невольно закрадывается в голову. И вот, по размышлении, оказывается, что итог этот может быть формулирован в следующих немногих словах: ни зла, ни добра...

Не скрою, бывают минуты, когда такая краткословность моего кондуитного списка довольно-таки больно щекочет мою совесть. Есть в ней что-то обидное, отзывающееся какою-то болезненною бесформенностью. Положим, это еще ничего, что я в сражениях не бывал, никого не изувечил и даже пороху не выдумал, но каким образом объяснить, что вообще никаких «поступков» за мною не числится? Вялость и хворость — вот и все. Именно хворость, потому что недугу, из которого, в виде итога, вырастает сознание: «ни зла, ни добра», даже названия не подберешь. Острых болей нет, а постоянно как будто разнемогаешься.

Тем не менее, когда, движимый инстинктом самооправдания, я начинаю вглядываться пристальнее в то положение, которое создали для меня обстоятельства (я совершенно искренно думаю, что личное мое участие в этом деле далеко не существенно), то, в конце концов, прихожу к заключению, что есть, однако ж, почва, на которой я довольно прилично могу примириться с встревожившейся совестью. Нет деятельного, торжествующего зла — и па том спасибо! Конечно, это не бог знает какая «почва», а скорее соломинка, но, в качестве человека отживающего, человека иных песней и иных традиций, я возлагаю на эту соломинку великие надежды.

Мы переживаем время, которое несомненно представляет самое полное осуществление ликующего бесстыдства. Бессовестность, заручившись союзом с невежеством и глупостью, вы-

бросила на поверхность целую массу людей, которые до того упростили свои отношения к вещам и лицам, что, не стесняясь, возводят насилие и хищничество на степень единственных жизненных регуляторов. Может быть, я ошибаюсь, но думаю, что такого нагло-откровенного заявления «принципий» давно не бывало. Прежде, даже в среде самых отпетых людей, можно было изредка расслышать слова вроде: великодушие, совесть, честь; нынче эти слова окончательно вычеркнуты из лексикона торжествующих людей. Прежде люди, сделавши пакость, краснели; нынче — те же люди краснеют только тогда, когда задуманная пакость не удалась. Может быть, в этой темной оценке современности (то есть торжествующей ее части) очень значительную роль играет мое личное чувство — чувство отживающего человека,— но, во всяком случае, я делаю ее *искренно,* и затем предоставляю читателю самому распутывать, сколько из приведенной выше характеристики принадлежит брюзжанью усталого старика, и сколько — действительности.

Но если даже такое обыкновенное слово, как «совесть», оказывается слишком тяжеловесным для современных диалогов, то какое же значение могут иметь слова более мудреные, как напр<имер>: любовь, самоотвержение и проч.? Очевидно, что единственная оценка, на которую можно в этом случае рассчитывать,— это хохот. Что-то отрепанное, жалкое, полупомешанное представляется: не то салопница, не то Дон-Кихот, выезжающий на битву с мельницами. И всем по этому поводу весело, все хохочут: и преднамеренные бездельники, и дураки.

Этот хохот наполняет сердце смутными предчувствиями. Сначала человек видит в нем не более как бессмысленное излияние возбужденных инстинктов веселонравия, но мало-помалу он начинает угадывать оттенки и тоны, предвещающие нечто более горькое и зловещее. Увы! предчувствия не обманывают. Хохот заключает в себе так много зачатков плотоядности, что естественное его тяготение к проявлениям чистого зверства представляется уже чем-то неизбежным, фаталистическим. Одним хохотом Дон-Кихота не проймешь, да он не удовлетворяет и самого хохочущего. Является потребность проявить себя чем-нибудь более деятельным, напр<имер>: наплевать в лицо, повалить на землю и топтать ногами, взять за волосы и бить головой об стену. Все эти действия суть видоизменения того же хохота, так сказать, естественное его развитие. Поэтому, ежели вам на долю выпало несчастие случайно или неслучайно возбудить хохот толпы, то бойтесь ее, ибо хохот не только не противоречит остервенению, но прямо вызывает его...

Как бы то ни было, но я могу сказать смело, что проявления совести, самоотвержения и проч. никогда не возбуждали во мне позыва к хохоту. Напротив того, я относился к ним скорее сочувственно, или, лучше сказать, опрятно... хотя и бессильно. Я понимаю, разумеется, что бессилие очень мало украшает человека, но поставьте все-таки мою доброжелательную опрятность рядом с теми деятельными формами и видоизменениями хохота, на которые я сейчас указал, и едва ли не придется согласиться, что в известной обстановке самое бессилие может претендовать на название подвига. Хохот не только жесток, но и подозрителен. Он не терпит никакой неясности, и ежели до поры до времени позволяет бессилию прозябать в темном углу, куда загнал его испуг,— то именно только до поры до времени, и притом в виде беспримерного снисхождения. Наступит момент (а может быть, уж и наступил), когда он прямо потребует, чтобы вся воинствующая армия была в строю и чтобы все нижние чины до единого смотрели не кисло, а бодро, весело и решительно. Это будет минута тяжкая и решительная. Человек недоумения, человек, жизненный девиз которого исчерпывался словами: ни зла, ни добра,— вдруг очутится если не прямо в положении Дон-Кихота, то, во всяком случае, в положении его попустителя. Покончивши с Дон-Кихотом, бессильного человека выведут пред лицо хохочущей толпы, прочитают его вины («смотрел кисло», «улыбался слабо» (а все-таки улыбался), не «наяривал», не «накладывал») и в заключение скажут: «Ты опаснее, чем Дон-Кихот, ибо настоящий Дон-Кихот, по крайней мере, всенародно гарцует, а ты забился в угол и оттуда втихомолку льешь потоки донкихотствующего яда»... Ведь хохоту-то по этому случаю, пожалуй, еще больше будет!

Имея в перспективе возможность такого момента, ужели я не прав, утверждая, что есть почва, на которой я могу примириться с своею совестью?

Я принадлежу к поколению, которое воспитывалось на лоне эстетических преданий и материальной обеспеченности. Конечно, и мы не всегда оставались верными чисто эстетическим традициям, но по временам делали набеги в область действительности... нет, впрочем, не туда, а скорее в область униженных и оскорбленных. Но, под прикрытием обеспеченности, эти набеги производились словно во сне, без строгой последовательности, порывами, которые столь же быстро потухали, как и зажигались. Много вышло из этой школы проходимцев и негодяев, но довольно и просто опрятных и неумелых людей. Проходимцы оказались живучими, неумелые — как и следовало ожидать — вымирают, ибо набеги в область униженных

и оскорбленных, несмотря на свою платоничность, все-таки не прошли для них даром. К числу вымирающих принадлежу и я.

Я сижу в своем углу и разнемогаюсь. Гордиться тут нечем, но самый факт вольного умирания, ввиду легкой достижимости торжества, есть уже признак, перед которым должно умолкнуть резкое слово осуждения.

Поймите, что ведь торжествовать, то есть хохотать, плевать в лицо, наяривать, хватать за горло,— все-таки материально выгоднее, нежели умирать в твердой памяти собственного бессилия.

Сверх того, я могу назвать три особенности, которые проходят через очень значительную половину моего существования и которые, по сущей справедливости, должны быть мне зачтены.

Особенность первая: тоска. Тоскливое чувство — и притом не напускное, а совершенно искреннее — с давних пор составляет господствующий тон моей жизни. Современная вакханалия бесстыжества не пробуждает во мне не только стремления участвовать в ней, но даже любопытства узнать причины этого явления: она просто утомляет меня, поселяет чувство уныния.

Я не желаю быть ни железнодорожным деятелем, ни кабатчиком, ни добровольцем, ни адвокатом, ни даже присяжным заседателем... воистину не желаю, не хочу! Какая-то щемящая унылость, сопровождаемая полным отсутствием естественности и искренности, слышится мне и в базарном гвалте, и во всех бряцаниях, составляющих внешнюю обстановку современной хищнической свалки. Фальшиво, неинтересно, даже просто глупо. Уйти из этой свалки, забиться подальше в неизвестную раковину и там, ничего не видя и не слыша, предаваться угрызениям тоски,— вот единственный иск, который я предъявляю к жизни, единственное желание, которое мне удалось формулировать с достаточною ясностью. Потому что, если я, с одной стороны, не хочу торжествовать, то с другой — не могу и не умею самоотвергаться. Не могу! не умею! Это не претензия на оправдание, а факт. Бремя эстетических традиций и обеспеченности так тяжело и плотно легло на мою спину, что я уж давно не имею силы ее разогнуть.

Я сказал выше, что в жизни моей бывали случаи (даже довольно частые), когда я посещал область униженных и оскорбленных; я охотно посещаю ее и теперь. Но ведь это-то самое и есть тоска. Что-то несомненно вызывающее все симпатии моей души мелькает предо мною, но что именно — я различить не могу. Что-то требует моей помощи, но в чем должна состоять эта помощь и как она может быть подана,— я и на это ответить не умею. «Не могу!» и «не умею!» — мучи-

тельно повторяю я себе, и только одно сознаю вполне отчетливо: что все мое существо преисполнено безмерной тоской.

Я смотрю на факты самоотвержения и боюсь применить к ним какую-нибудь оценку. Мне сдается, что я не понимаю их и что, во всяком случае, если я начну говорить об них, то буду говорить совсем не об том. Выйдет не самоотвержение, а нелепый водевиль с переодеванием, что-то вроде «La fille de Dominique»[1]. Никто не прельстится моими изображениями, воспроизведениями и описаниями, но всякий, даже снисходительный человек скажет: вот старый бесстыдник, у которого седой волос из всех щелей лезет, а он и за всем тем не чувствует потребности обуздать себя! вот неопрятный болтунище, который до преклонных лет не может очнуться от экскурсий в область униженных и оскорбленных, которыми он некогда сдабривал свое пребывание на лоне водевильного эстетизма и обеспеченности!

Я боюсь этих приговоров, не потому, что они могут оскорбить мое самолюбие, а потому, что в них слышится правда. Другие птицы — другие песни! говорю я себе и стараюсь, во всем, что касается оценки этих других песен, по возможности обуздывать себя, или, много-много, предаваться по поводу их опрятной тоске. Я соглашаюсь вперед, что это тоска бесплодная и даже не совсем ясно мотивированная, но содержание ее, несмотря на неясность, настолько все-таки доброкачественно, что отказ в принятии его к зачету был бы воистину несправедлив.

Вторая моя особенность: стыд. С некоторых пор мне кажется, что я вращаюсь среди смешанной атмосферы бойни и дома терпимости. Сверх того, я сознаю себя до того слабосильным, малорослым, загнанным, затерянным в какой-то безымянной толпе, что всякая возможность чем-нибудь заявить о своей личности, о своих симпатиях и антипатиях представляется навсегда для меня утраченною. Быть может, в этих заявлениях и надобности нет (старрого тряпья! кому нужно... старрого трряпья!), а все-таки сдается, что претензия эта не только не преувеличенная, но даже совсем-совсем естественная. Тем не менее отыскать практический вывод из этого более или менее несносного положения я все-таки не в состоянии (я убежден, что жизнь, в конечном результате, поставила меня лицом к лицу с глухой стеной и что, стало быть, бесполезно даже предпринимать что-нибудь, чтобы перескочить через нее); но я могу стыдиться его, и пользуюсь этою возможностью, то есть стыжусь искренно, всеми силами души. И ве-

---

[1] «Дочь Доминика».

рю, что стыд — хорошее, здоровое чувство, которое может быть рекомендовано даже в качестве целесообразного практического средства.

Стыд очищает человека; бессильному он помогает нести бремя бессилия, сильному — внушает мысль о подвиге. Нужно, чтобы возможно большее количество людей почувствовало стыд. Нужно, чтоб люди стыдились не только поражений, но и побед и одолений, не только неудач, но и удач, чтобы в случае неудачи они чувствовали на своем лице пощечину, а в случае удачи — две. Только тогда вполне выяснится, что нравственный уровень общества настолько назрел, что пощечина сделалась единственно возможным мерилом для оценки поступков и действий. Только тогда получится решимость во что бы то ни стало уйти из области пощечин, хотя бы это освобождение стоило неимоверных усилий.

В моем стыде нет ничего героического,— я знаю и это, но думаю, что один вид стыдящегося человека, среди проявлений несомненно бесстыжего торжества, уже может служить небесполезным напоминанием. Самые закоренелые проходимцы — и те понимают, что в стыдящемся человеке есть нечто, выделяющее его из общей массы торжествующих бездельников и глупцов. Они стремятся подыскаться под него, но, за недостатком солидных прицепок, сторонятся и стараются игнорировать. А сколько есть субъектов не вполне закоренелых, сколько таких, которые попали в лагерь торжествующих или по малодушию, или по недоразумению! Все это люди робкие, в которых вид стыдящегося человека может пробудить не только мерцания совести, но и опасения возмездия. В них еще нет настолько наглости, чтобы совсем игнорировать представление о стыде, и потому они хотя урывками и втихомолку, но все-таки подходят к стыдящемуся человеку и жмут ему руку. Я убежден, что как ни смутны эти позывы к стыду, но они и на практике не остаются бесследными. Что они сопровождаются известными проблесками, которые производят в торжествующем лагере ежели не прямой разлад, то брожение, и что когда-нибудь это брожение настолько созреет, что достаточно будет ничтожного внешнего толчка, чтобы робкие проблески превратились в целую заразу стыда. Вот какие зачатки заключает в себе стыд, и вот во имя чего он должен быть зачтен даже такому существованию, которого итог формулируется словами: ни зла, ни добра!

Третья моя особенность — это искреннее убеждение, что жить довольно. Хотя моя тоска и мой стыд еще могут в известной степени иметь воспитательное значение, но значение это, в смысле практических от него последствий, полезно только

для других, я же лично ничего из них не извлекаю, кроме страстного желания исчезнуть, уйти. С давних пор я вижу последнюю страницу с начертанным на ней словом «конец» и, право, никого не желаю надуть, говоря, что это самая желательная страница, какой только можно желать. Подумайте, какая масса срама вдруг перестанет существовать! и какая громадная свита безобразных видений рассеется, как дым, и не будет больше тревожить испуганное воображение!

Несомненно, что стремление сократиться и исчезнуть — всего ближе подходит к девизу: ни зла, ни добра, и что в этом смысле оно не должно бы даже значиться в числе оправдательных документов. Но, взятое само по себе, независимо от практических применений, оно все-таки имеет право быть выделенным. Когда есть сознание, что «продолжение впредь» не представляет иных перспектив, кроме перспективы хронического бессилия, тогда не может быть желания более законного и естественного, а пожалуй, даже и более нравственного, как желание исчезнуть. Сколько есть таких, которые, будучи подавлены массами срама, все еще карабкаются и хватаются дрожащими руками за колеблющиеся нити срамного существования, почему же, рядом с ними, не допустить и таких, в сердцах которых это жадное ловление жизненных нитей производит только скуку, граничащую с отвращением?

Одним словом, ничего не умалчивая, но ничего и не преувеличивая, я нахожу возможным заранее сложить самому себе такого рода надгробное слово:

«Милостивые государи! перед вами лежит прах человека, которого жизнь была осуществлением девиза: ни добра, ни зла. Этот человек не самоотвергался лично, но и не ругался над самоотвержением, не плевал на него, не топтал его ногами и не устраивал из него водевиль с переодеванием. Он слышал новые песни, и ежели не имел ни сил, ни уменья вторить им в тон, то, во всяком случае, соглашался, что его собственная песнь спета. Клики торжествующего бесстыдства не соблазняли его, а, напротив, поселяли в его сердце уныние, тоску... стыд! Представление о стыде составляло руководящее начало очень достаточной части его существования и в значительной степени примиряло его с тревогами совести. Стыд примирил его и с идеей исчезновения; он помог ему видеть в этом акте не тяжкую разлуку с благами жизни, но освобождение от уз срама. Геройство не было в привычках этого человека, а может быть, отсутствовало и в самой природе его, но при этом нельзя не принять во внимание, во-первых, традиций эстетизма и обеспеченности, на лоне которых был этот человек воспитан, а во-вторых, и того, что геройство вообще не обязательно. Это

последнее соображение в особенности веско, хотя довольно редко принимается в расчет. Как бы то ни было, но кажется, что сказанное в этих немногих словах дает возможность, не обременяя памяти этого человека словом укоризны, заключить расчет с пройденным им жизненным путем словами: Sit tibi terra levis» [1].

И довольно.

Я сидел в своем углу и изнемогал; Глумов, по обыкновению, большими шагами ходил по комнате и был угрюм. Мы только что прочитали газеты и вели по этому поводу разговор.

— Ну, можно ли так! — восклицал я,— ведь это значит, что самого простого практического смысла — и того нет!

— Нет, ты обрати внимание, до чего понизился уровень нашей печати! — вторил мне Глумов,— простой совести — и той нет!

Поговорили, поахали и, наконец, обратились к самим себе. Мы-то какую роль играем в круговороте современности? Что мы такое? Что мы можем, зачем живем? Но это обращение еще больше раздражило нас обоих. Это был один тюк бесконечных разговоров, которые ведутся собеседниками, как бы для того, чтобы мистифировать друг друга, в которых чуется множество невымолвленных слов, недосказанных речей, в которых предмет спора не формулируется, да и самый спор ведется так, что не оставляет никакой надежды на серьезный вывод. Очевидно, обе стороны смотрят в одну и ту же точку (да и смотреть-то им больше некуда), одну и ту же мысль в голове держат, но почему-то им понадобилось тянуть праздную канитель, высказывать друг другу мнимые возражения, щеголять друг перед другом диалектическими тонкостями и проч.

Я говорил:

— Существовать и постыдно и незачем. Ни в лагере торжествующих, ни в лагере толкущихся — мы одинаково не у места. Мы умеем только жалкие слова говорить, а это и неприлично, и надоело. Стало быть, выход для нас возможен один: стушеваться, уйти.

Глумов возражал:

— Ну, нет, для меня это неясно. Мы уже по тому одному имеем право не исчезать, что в нас воплощается традиция сочувственного отношения к развивающимся запросам жизни. Мы выработали привычку опрятности, а среди всеобщего на-

---

[1] Да будет пухом тебе земля.

правления умов в сторону травли — это качество далеко не лишнее!

Через несколько минут разговор опять возвращался к этому пункту, и тот же Глумов говорил:

— Да, голубчик, как ни кинь — все клин. Одни вам говорят: уйдите! вы своим унылым видом только в смущенье приводите! Другие: эге! да вы, никак, слезы проливать собрались! Умирать надо — вот что!

На это уж я возражал:

— Ну, нет, с этим теперь я не согласен! И в нашем существовании есть смысл, которого могут не видеть только люди, преднамеренно ходящие с закрытыми глазами. В нас имеется брезгливость, имеется стыд, который не только может наводить на размышление, но и производить известное практическое действие. Стыд — великое дело, мой друг!

— Великое-то дело великое, да черта ли в том, что ты будешь стыдиться один на один с самим собою, или сам-друг со мною, вот как теперь...

И так далее.

На разговорах этих мы зубы съели. Каждый день мы их начинаем и, по-видимому, даже кончаем; каждый день, по наружности, разнообразим их подкладку задачами самой животрепещущей современности и в то же время внутренно сознаем, что новы тут только ярлыки, за которыми скрывается давно залежавшаяся, покрытая плесенью ветошь... Понятно, что это не успокоивает, а только раздражает.

— А вывод все-таки возможен один: кружимся мы вот в этих четырех стенах, суесловим, острословим, сквернословим — и ничего из этого у нас не выходит! — наконец сказал я, в форме заключения.

По совести, я не могу, впрочем, сказать, что выходило из моих слов: были ли они действительным заключением прежнего разговора, или же, напротив, служили началом разговора нового. Но раздавшийся в передней сильный звонок решил в пользу завершения.

В комнату вошел Алексей Степаныч Молчалин. Я так мало был приготовлен к его визиту, что прежде всего у меня мелькнуло в голове, уж не желает ли он мне сообщить свое мнение насчет высылки Мидхата-паши в места не столь отдаленные. Но, взглянув на него, тут же убедился, что случилось нечто не совсем обыкновенное.

Он был очень бледен; лицо осунулось, нос обострился, углы губ подергивались, глаза были сухи и воспалены.

— Дайте воды — пить хочу! — вымолвил он осиплым голосом, точно слова с трудом выходили из пересохшего горла,—

был около вас, и вдруг почувствовал: пить хочу... Не потревожил?

Он жадно выпил стакан воды с вином, потом налил другой, опять выпил, и с минуту не мог отдышаться. Ясно, что его постигла какая-то неприятность, и, судя по тому, что день был будничный и время близилось к двум часам, когда Молчалиных даже нельзя представить себе иначе, как водворенными в соответствующих департаментах, я сначала подумал, что неприятность эта служебного свойства: чего доброго, в отставку велели подать... И вдруг меня словно обожгло. Вспомнилось, как однажды Алексей Степаныч об сыне стужался: «А ну, как он, Павел-то Алексеич мой, что ни на есть сболтнет?» Неужто ж сболтнул?

— Помните, мы намеднись с вами об Павлуше беседовали? — как бы угадывая мою мысль, спросил меня Алексей Степаныч.

Вопрос этот точно обухом ударил меня по голове. Догадливость моя показалась мне до того зловещею, что я боялся даже мыслить, чтоб и еще не напасть на какую-нибудь догадку. Затаивши дыхание, смотрел я на этого человека, который — так недавно еще мне это казалось — ценою неслыханных усилий успел-таки приурочить свое трудное существование к чему-то прочному, почти безмятежному.

— Да-с, так вот это самое... Именно этот случай и разыгрался у нас... Пошел я давеча к князю — к начальнику-то своему — а тот говорит: сами, сударь, виноваты! правил настоящих не умели внушить! Что ж! и прекрасно! Это точно, что я не внушал,— ну, я, стало быть, и ответ за это должен дать! А то помилуйте! Я — не внушал, а Павел Алексеич, изволите видеть, все-таки знать обязан... «настоящие правила»! На что похоже!

Он высказал это бессвязно, едва ли сознавая значение своих слов. И вслед за тем так же машинально потянулся за сигарой, зажег ее и начал муслить во рту.

— Смешно, право! — прибавил он в заключение, как будто все «предыдущее» было для нас так же ясно, как и для него.

Но, в сущности, оно было действительно ясно. Жизнь приучила нас к целому ряду явлений, которые мы угадываем с одного намека. Все современные семейные драмы (во всех, в качестве действующего premier sujet[1], является подрастающее поколение) построены до того на один лад, что можно заранoccur расположить их сценарий и угадать заключительную катастрофу. Стенографические отчеты газет знакомят нас с

[1] на первых ролях.

этими драмами довольно аккуратно, хотя и нельзя сказать, чтобы вполне обстоятельно. А именно: не все действующие лица выходят на сцену. Мы видим только так называемых заблуждающихся, и, смотря по темпераменту, или по тому, порядочные или непорядочные привычки даны нам воспитанием, восклицаем по поводу их: «ах, негодяи!» или: «ах, бедные!» Но нам почти никогда не приходит на мысль, что у каждого из этих заблуждающихся существует известная обстановка, данная рождением, воспитанием, дружбою. Стенографические отчеты решительно умалчивают о таких обстановках, а между тем в них встречаются действующие лица не менее интересные, как и главные сюжеты, это — отцы и матери заблуждающихся, которые мечутся, истекают слезами и кровью и тем с большею болью отзываются на удары судьбы, что последние падают на организмы, уже обессиленные прежними ударами. Поэтому, ежели читатель стенографических отчетов хочет знать, где находится настоящий узел современных семейных драм, то он должен перенестись мыслью к этим анонимным, без речей изнемогающим лицам. Тогда многое сделается для него понятным, ибо он на себе самом почувствует цепенящее дуновение того ужаса, который заставляет анонимных людей анонимно истекать слезами и кровью.

Мы молчали. Я боялся даже взглянуть на Алексея Степаныча: мне казалось, что я встречу в лице его нечто такое, что должно меня уничтожить. До сих пор я видел в нем только несомненно доброго человека; теперь,— он представлялся мне верховным судьею, который, силою сосредоточившегося на нем трагизма, всю мою жизнь может привести к нулю. Да, я не знал, как *это* страшно; я не понимал, что может существовать *такая* боль. Вот человек, которого жизнь, до самой глубокой старости, была сцеплением всевозможных «обстановочек», который вполне удовлетворился этим, думал только о том, как бы ему поудобнее устроить последнюю «обстановочку» — «обстановочку» смертного часа, и на которого вдруг, из-за угла, налетела неслыханнейшая трагедия и заставила метаться в пустоте, истекать сухими слезами, не сознавать значения собственных речей, не понимать, зачем и куда он пришел...

Да, я уверен, что он находился в состоянии полусна и сознавал только одно: что его пристигла внезапная и совсем нестерпимая боль. Больно везде: мозг горит, сердце рвется, спину переломило. И надо куда-то бежать, о чем-то взывать — и все это в такие минуты, когда рассудок отказывается действовать, когда колеблющиеся ноги не могут выносить тяжести вдруг осевшего тела, когда с каждым шагом кажется, что проваливаешься в бездну. Несомненно, что старик уже с ран-

него утра мыкался по городу, но *был* ли он где-нибудь и *зачем* был,— наверное, он в эту минуту даже рассказать не мог. Бывают положения, когда человек ни о чем больше и думать не может, кроме того, что ему надо куда-то идти и за что-то себя распинать, когда он спешит, оставляет все дела, выходит на улицу — и не знает, в какую сторону броситься. Я убежден, что он и ко мне зашел машинально. Пить захотелось, он взглянул на дом, мимо которого шел, показалось что-то знакомое,— он и позвонил. Вот и теперь, хотя глаза его были устремлены в ту сторону, где мы стояли, но, в сущности, он смотрел не на нас, а через нас, в тот неведомый угол, откуда слышался ему дорогой голос: «Мы, папаша, знаем, что вы нас любите, и очень вам за это благодарны». Эти слова когда-то казались ему несколько холодными (он, как и все старики-отцы, не прочь был посентиментальничать), но теперь они звучат в его ушах, как высшее выражение сыновней любви. Да, именно так, просто и без излишеств, должен говорить сын с отцом, такой сын, который ждет от отца серьезно-любовного отношения, а не бомбошки. Эта сжатость и трезвенность сыновнего обращения даже ему, старику, делала величайшую честь: она поднимала его до уровня сына. Да, поднимала. Теперь для него это было совсем ясно: не сын должен был до него подняться, а он до сына. И вот, этот самый сын... Господи! да ведь не дальше, как вчера утром, он ходил, обнявши его, по зале и не надоедал ему старческой болтовнею, а только осторожно заглядывал ему в лицо. Отчего вчера, а не сегодня?

И, подавленный этой мыслью, он продолжал смотреть через нас в пространство, в то небольшое, но лучезарное пространство, в котором сосредоточивалось искупление, обретенное ценою крестного жизненного пути.

— Голубчик! да вы хлопотали ли? — первый прервал молчание Глумов. Алексей Степаныч слегка вздрогнул; вопрос этот снова возвратил его к чувству действительности.

— Был,— отвечал он,— и у своего князя, и у других... Все говорят: сам, старик, виноват! вожжи-то покороче держать было на́до. Помилуйте! вожжи!

— Обнадеживают ли, по крайней мере?

— Обнадеживают... да только ведь я Фома неверующий! мне ведь *сейчас* его надобно... вот теперь, сию минуту! А этого, говорят, нельзя! Ну, я и сам знаю, что нельзя!

— Отчего же?

— Нельзя, сударь... служба, долг!

— Да расскажите подробнее: как вас приняли, что сказали?

— «Нельзя!», я, признаться, только это и слышал.— А в прочих частях, разумеется... за что же меня дурно-то прини-

мать! Старик... с ума сходит... любит... не камни и они! Один генерал даже руки жал... слеза на глазах... «Успокойтесь!» — говорит.

При этом воспоминании Алексей Степаныч нервно повернулся в кресле и усиленно начал муслить потухшую сигару.

— Что ж, я ведь и не беспокоюсь! — продолжал он,— я на стену не лезу, на приступ не иду, а прошу!.. Сердце у меня в клочки изорвали — вот я что говорю! Служба, долг — все это я знаю! Сам всю жизнь... вот и слово у меня на языке вертится, и сердце во мне кипит: так бы и вымолвил это слово — а все-таки вымолвить боюсь... Чего еще спокойнее!

— Да не можем ли мы что-нибудь... ну, сходить куда-нибудь, разузнать? — начал было я.

— Нет, друг мой, что уж! Вот воды напиться дали — за это спасибо! — поблагодарил Алексей Стапаныч, и вдруг, как-то пристально взглянул на нас, покачал головой и прибавил: — Ах, господа, господа!

Меня даже в жар бросило от этого восклицания. Господи! да ведь он понял! думалось мне. Он понял, что ему с нами делать нечего; он, может быть, даже разговор угадал, который мы вели до его прихода. Бывают такие минуты прозорливости, когда видимое человеком пространство вдруг освещается каким-то совсем особенным светом, и пред умственным его взором совершается что-то вроде откровения. Вот одну из таких минут переживал и Молчалин. Он как бы очнулся и мысленно спрашивал себя, каким образом, при каких несомненно трудных для него обстоятельствах, он очутился здесь, в кругу «приятных знакомых»?

И действительно, он посидел еще минут пять, но уже не говорил, а только возился с сигарой, безуспешно пытаясь зажечь ее. Наконец он грузно поднялся с кресла и простился с нами.

— За дело пора! — сказал он, направляясь к выходу.

Мы опять остались глаз на глаз с Глумовым. Некоторое время мы безмолвствовали, как бы стараясь вникнуть в смысл сонного видения, которое мелькнуло перед нашими глазами! Увы! смысл этот был так ясен, что его нельзя было затемнить даже самыми ухищренными комментариями. Видение стояло перед нами несомненным укором и практически подтверждало то самое, о чем мы, при каждой встрече, вели бесконечную, хворую канитель. Даже теперь я заметил, что меня занимают не столько Молчалины отец и сын, сколько мое личное отношение к обрушившемуся на них злоключению. «Не могу! не умею!» — затянул было я и вслед за тем с каким-то омерзением подумал: «Господи! да ведь это опять все та же кани-

тель!» Противно сделалось; зарыться куда-нибудь хотелось, забыть. Но для этого нужно было, чтобы Глумов ушел, а он не уходил. Канитель преследовала.

— Пить попросил! — начал я, почему-то особенно пораженный этой подробностью.

— Да, попросил.

— И заметь: когда я предложил ему свои услуги, он даже и не задумался. Какие, мол, услуги вы, приятные знакомые, оказать можете! вот напиться дали — за это спасибо! Старик — и тот!

— Да, и тот!

— Старик — и тот ничего от нас не чает... ха-ха!

— Видно, что так.

— И тот говорит: вот покалякать с вами — я с удовольствием; а что касается до серьезного дела, до такого, в котором, так сказать, кровь говорит, — это уж слуга покорный! Лучше, дескать, я к квартальному обращусь: может быть, вместе какую-нибудь «обстановочку» выдумаем!

— То-то, что не сильны мы насчет «обстановочек»-то! Это верно!

— Да и не насчет одних «обстановочек», а вообще... Ничего мы не можем. Старик — и тот это понял, а представь себе, если б нам пришлось, например, предложить свои услуги самому Павлу Алексеичу...

— Ну, тому вряд ли бы даже предложить пришлось, потому что ведь он, поди, и в мыслях не держит, что мы существуем.

— Положим, однако ж. Допустим, что нам как-никак удалось бы напомнить ему о своем существовании — ведь он... Ах, какое это, однако ж, нестерпимое, оскорбительное положение!

Глумов не возражал. Обыкновенно, мы диалоги вели: он говорил, я — подавал реплику, и наоборот. Но на этот раз перед ним стоял факт, который все-таки до некоторой степени обуздывал. Глумов даже прекратил свое обычное хождение по комнате, уселся на диван и как-то уныло смотрел на меня.

— Хворы, брат, мы — вот что! — сказал он.

— Да и не теперь только хворы, а всегда были! Помянуть нечем прошлого-то! Эти экскурсии в область «униженных и оскорбленных» — ах, я забыть об них не могу!

— А это еще лучшее, что было!

— Но ведь это разврат! это сонное любострастие! вот ведь это что! На деле-то я себе в пище отказывал, лишь бы в таких же клетчатых штанах щегольнуть, какие наш общий товарищ, Сеня Бирюков, носил! Я сгорал завистью к тем, которые к гра-

фине де Мильфлёр на балы ездили! Я анекдоты из жизни Мильфлёрши рассказывал!

— И в то же время занимался экскурсиями в область «униженных и оскорбленных»... было, брат, это, было!

— Разве это не сонное любострастие! Ах, что это за молодость была! Ведь ни одного шага, ни одного поступка искреннего не было, ничего, кроме лганья! И не лжи, а именно лганья, безобразного, нескладного, которое всякий насквозь видел! И, странное дело, все знали, все понимали, что мы лжем, и никто не уличал, никто не сказал нам: молодые лгуны! подумайте, какую вы готовите себе старость!

— Тогда, любезный друг, все лгали, а об молодых людях так даже прямо такое мнение было, что им лгать приличествует!

— И вот, теперь мы старики — и никому до нас дела нет! Молчалин — пойми, Христа ради, тот самый Молчалин, который к Софье Павловне по ночам на флейте играть ходил! — и тот говорит: ничего я от вас не жду, а вот воды напиться дадите — скажу спасибо!

Это было так горько, так горько, что я совсем незаметно увлекся, уже совершенно непоследовательно заключив свою диатрибу восклицанием:

— За что?!

— А вот за то самое, в чем ты сейчас себя уличал! Чудак, братец, ты! Целый час сам себе нотацию читаешь, и вдруг — за что?!

— Да, но ведь все-таки... Не все же во мне умерло! ведь хоть и поздно, а я очнулся! Весь этот угар, все эти странные понятия о свойствах, составляющих украшение благородного молодого человека,— все это давным-давно похерено и сдано в архив! Ведь я теперь...

Но на этом слове я осекся и покраснел.

— Что же «теперь»? — спросил меня Глумов угрюмо.

— Зла я не делаю! зла!

— Христос с тобой!

— Да, но ведь и это... Что же, наконец, остается нам? при чем мы стоим? что нам делать?

— Жить — вот и все. Если жизнь привязалась и не отпускает тебя — ну, и живи. Удивляй мир отсутствием поступков и опрятностью чувств. Тоскуй, стыдись, тяготись жизнью, но живи в четырех стенах и в чужие существования не впутывайся. Наблюдай эти существования, но буде чего не понимаешь в них, то не огрызайся и не глумись, а говори прямо: я этого не понимаю! живи!

На этом слове мы расстались.

К сожалению, я не последовал совету Глумова и впутался. В ближайший же праздничный день, после посещения Алексея Степаныча, я отправился на Пески и, часу во втором, не без тревоги звонил у подъезда знакомого одноэтажного деревянного домика[1]. Но, по беззаботному виду, с которым прислуга отворила мне дверь, я догадался, что *все* семейство Молчалиных налицо и что, следовательно, тревога моя напрасна.

— Вот и чудесно! — встретил меня Алексей Степаныч,— теперь уж я вас не выпущу. Спасибо, мой друг, спасибо! Ведь и вы... да, голубчик, помню я, очень помню, какое вы намеднись участие приняли! И готовность вашу и заботливость... много, очень много вы меня облегчили! А вода у вас какая... лакомство, а не вода! У нас вот на Песках все как-то Лиговкой припахивает, а в ваших краях — прекрасная, прекраснейшая вода!

Алексей Степаныч обнял меня и поцеловал в обе щеки.

— Стало быть, все благополучно?

— Как вы тогда сказали, что беспокоиться преждевременно,— так и оказалось! Слава богу! слава богу! слава богу!

Действительно, фигура Алексея Степаныча дышала спокойствием, так что от тревоги «того дня» не осталось и следа. Лицо пополнело и посветлело; грудь и живот приняли обычную слегка дугообразную форму; стан выпрямился, голова несколько откинулась назад, как у человека, который вполне понимает, что сегодня праздник, в продолжение которого он сам себе господин.

— Пустяки! — прибавил он с таким жестом, в котором я усмотрел даже некоторое посягательство на молодечество.

— Ну, и отлично. Во всяком случае, я очень рад, что все объяснилось.

— Разумеется, пустяки! — повторил он.— Молодой человек... важность какая, сделайте милость!.. Ну... поняли!

— Отпустили, значит... безо всего?

— Даже без всякого умаления. Нынче, впрочем, с чем-то нибудь не отпускают. Или *совсем,* или *безо всего.* Такая, значит, метода принята. А вам все-таки — я вот как благодарен! Пожалели вы меня, старика, побаловали! Вот и господин Глумов тоже — большое, большое участие принял.

— Очень рад. Так, стало быть, мешать мне вам нечего; вам, по случаю счастливого исхода дела, и без посторонних теперь хорошо. Прощайте.

---

[1] См. «Экскурсии в область умеренности и аккуратности», в разное время печатавшиеся в «Отеч. записках». *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

— Ни-ни, и не думайте. У нас уж обед почти на столе. Что ж такое! Мы рады — отчего же и вам с нами не порадоваться!

Одним словом, как я ни отпрашивался, старик настоял, чтобы я остался обедать и увел меня в кабинет.

— Только вы уж сделайте милость, любезный друг,— прибавил он дорогой,— об происшествии-то нашем не напоминайте. Ведь Павел-то Алексеич недотрога у меня — недолго и разбередить! Нынче же промежду публики гаду много развелось; вместо того чтоб мирком да ладком — только и слышишь: мальчишка! негодяй! Вот он, Павел-то Алексеич, и настораживает уши!

— Конфузится?

— Да как сказать? В первые два-три дня, как явился к нам — точно, что был будто не в себе... Да ведь у меня в доме насчет этого — дисциплина! Чтобы ни слова, ни полслова, ни гугу! Теперь, кажется, обошелся. Ну-с, милости просим.

Мы вошли в кабинет, уселись, закурили папиросы и начали беседовать.

— Довольно-таки было мне беготни,— начал Алексей Степаныч,— в одном месте пять минут, в другом — десять минут, да на лестницу, да с лестницы — смотришь, ан к вечеру и порядочно ноги отбил.

— Хорошо, по крайней мере, что успели.

— Да, мой друг, очень это хорошо. Я, впрочем, не ропщу. Роптать свойственно сильным мира сего. Вот кто на высоте стоит, и вдруг его оттуда шарахнут! или чином обойдут, или он Владимира вторыя к празднику мечтал получить, а его короной на Анны отпотчевали. Тут поневоле возропщешь. А мне — что! самолюбиев да честолюбиев у меня и в заводе никогда не бывало. Сижу да корплю. Сыт, обут, одет, начальство не притесняет, жалованье в срок выдают, семью бог хранит — чего еще надо? Скажу тебе откровенно, что я и на праздничные нынче не особенно рассчитываю. Прежде, это, точно что, по молодости, фантазии играли: все, бывало, думаешь, какую бы обновку на праздник соорудить; а нынче — умудрился! Дадут — хорошо; не дадут — и на том спасибо!

— Философ вы, Алексей Степаныч!

— Нет, не философ, а пожил — вот и вся философия. Я даже в то время, когда беда-то эта надо мной стряслась — большая беда, мой друг! — и то не роптал, а только как бы потерялся! Не понимаю, чувствую, что везде больно, суюсь во все стороны... А теперь, как все благополучно кончилось, не только не ропщу, а даже, как бы сказать, взгляд получил.

— Вот как,— и «взгляд»? Так что, пожалуй, с точки зрения этого «взгляда», Павел-то Алексеич...

— Сохрани бог! Я не об Павле Алексеиче... об нем я даже говорить не могу: права не имею! А вообще судя... Ведь и сквозь пальцы тоже смотреть...

— Алексей Степаныч! батюшка! да не вы ли же сию минуту на нынешнюю публику жаловались, что только и слов у ней на языке, что «мальчишки» да «негодяи»?

— Да; но ведь я свой «взгляд» про себя хороню: иметь имею, а зря — по большим дорогам не выбалтываю. Легко сказать: негодяи! — да каково после, как подлость-то эту с языка своего смывать придется! Сегодня ты на всех перекрестках «мальчишки» да «негодяи» кричишь, а завтра окажется, что у тебя собственный сын там завяз! Ах, как осторожно нынче нужно эпитеты-то эти раздавать! И не думаешь, не гадаешь, как в свою собственную кровь попадешь!

— Воля ваша, а того, что вы сейчас высказали, совершенно достаточно с точки зрения «взгляда». Каких же еще особенных «взглядов» нужно?

— Нет, это поведение, а «взгляд» — это опять другое. Нельзя без «взгляда», мой друг. Вот и об турецких делах в газетах читаешь — и тут «взгляд» себе составляешь... Что, мол, Бисмарк скажет? какую-то Дизраэли новую ловушку сочинит? Все хочется заранее рассчитать и угадать.

— А Бисмарк возьмет да совсем другое скажет?

— Что ж! он скажет, а мы с тобой послушаем. Ведь это и всегда так бывает: мы, публика, взгляды составляем, а начальство возьмет да взгляды наши поправит! Так-то, мой друг!

Алексей Степаныч снисходительно потрепал меня по коленке и прибавил:

— Начальство-то наверху стоит — оттого ему и видно! Оно не только взгляды имеет, но и применяет их, а мы соображаться должны. Вот я, не дальше как вчера, с князем Тугоуховским, с начальником моим, разговор об нынешних этих делах имел — и что ж, сударь! Может, и не совсем это для меня приятно, а все-таки должен сознаться, что во многом я, после этого разговора, свой «взгляд» изменил!

— А не будет это нескромностью, ежели бы <я> вас попросил объяснить мне, в чем взгляд князя Тугоуховского состоит?

— Отчего не объяснить — с удовольствием! Сначала, об делах, разумеется, говорил, а потом и другое многое к слову молвилось. Об Павле Алексеиче речь зашла: рад, говорит, душевно, что благополучно кончилось, хотя с другой стороны... Ну, я молчу, кланяюсь, думаю: что-то будет? И вдруг взял он меня за обе руки и говорит: «Ах, Алексей Степаныч! Алексей

Степаныч! ты думаешь, нам легко? Легко нам эти меры-то принимать?»

Алексей Степаныч остановился на мгновенье, взглянул на меня и продолжал:

— Да, мой друг, и им тяжко, стало быть, тяжко, коль скоро он со мной, своим подчиненным, не выдержал, в откровенность вошел!

— А мне так кажется, что ваш князь напрасно отягощается. Совсем уж он не такая важная птица, чтоб на себя тяготы-то эти принимать.

— Важная не важная, а все-таки птица. В нашей служебной иерархии и малая птица значение имеет, потому что она на себе образ и подобие больших птиц отражает. А к тому же, если Тугоуховский и небольшая птица, так ведь я-то перед ним уж совсем воробей.

— Так неужто ж в одном этом и весь «взгляд» вашего князя состоит?

— Нет, многое и другое было говорено. Вот, говорит, который уж год неурожай везде, заработков нет, торговля в умалении, земледелие пало — надо же меры принимать!

— А вы бы ему сказали, что «мерами» урожаев не сделаешь и заработков не создашь.

— Сказать, мой друг, все можно, да к месту ли будет?

— Вот это — другое дело, с этим и я, пожалуй, соглашусь. А насчет «взгляда» остаюсь при прежнем мнении: никакого взгляда в словах вашего князя не заключается.

— Помилуйте, сударь, что еще нужно! Жить тяжко! жизнь все труднее и труднее становится!

— Трудно — это правда; но ведь еще недостаточно сказать: «трудно», надобно хоть причину трудности выяснить.

— Куски наперечет стали — вот и причина. Прежде, когда во всем обилие было,— и дух легче был, и расположенность чувствовалась, а нынче, как на зуб-то положить нечего стало, — ну и смотрит на тебя всякий, словно за горло ухватить хочет!

— Прекрасно! Значит, так и надобно устроить, чтоб всего было вдоволь. Тогда опять и легкий дух, и расположенность явятся. Вот насчет этого как ваш князь рассуждает?

— А как ты это рассудишь, голубчик? Сокрушается наравне с прочими — ну, и довольно!

— И часто он таким образом сокрушается?

— Прежде реже было, а с тех пор, как пошли эти воровства да банкротства... Представь себе! Ведь и его Иван-то Иваныч ожег! Сегодня ему банкротом себя объявить, а вчера наш князь к нему в контору три тысячи на текущий счет внес!

Я хотел было еще что-то спросить, но разговор выходил как-то уж чересчур запутан и сложен. Тут и неурожаи, и отсутствие заработков, и банкротства. Помилуйте! да ведь это целый курс политических, экономических и общественных наук! И вдруг — «взгляд»! И притом взгляд, выраженный в такой своеобразно-условной форме, как: «неужто ты думаешь, что нам легко эти меры-то принимать!» Об чем же тут собственно разговаривать?

А между тем эти разговоры ведутся во множестве, да едва ли не одни они и ведутся. По крайней мере, на меня пахнуло чем-то до того знакомым, что воображение мое даже целую картину нарисовало. Почудилось, что я сам удостоен от князя Тугоуховского аудиенцией, и он, в кратких словах, изливает передо мной свою душу. «Поймите меня! — говорит он,— с одной стороны, меры — необходимы; с другой стороны — принимать их не легко!» Сказавши это, он на минуту впадает в меланхолию и прибавляет: «да, mon cher[1], не легка наша задача, хотя с божьею помощью и не непреодолима. Во всяком случае, я очень рад, вы имели случай узнать мой «взгляд». Этого, я надеюсь, совершенно достаточно, чтоб обеспечить мне ваше содействие в будущем!» Затем он весьма любезно делает знак ручкой, извещающий меня, что аудиенция кончилась...

Я мог бы продолжать эту картину и далее. Мог бы рассказать, как я был очарован словами князя, как я ел его глазами, ловил каждое движение губ и беспокойно двигался в кресле, в знак понимания, как я шевелил губами, как бы желая сказать: «ваше сиятельство! да я... да неужели?!», как я потом вышел из квартиры князя на свежий воздух, начал припоминать, припоминать... и вдруг остолбенел! «Что он сказал? что такое он хотел выразить?» — мучительно завертелось у меня в голове...

Но я не успел еще надлежащим образом развить эту картину, как в передней раздался звонок.

— А вот и сам Павел Алексеич, кажется, явился,— молвил Алексей Степаныч и, после минутного размышления, прибавил: — А что бы вам, с своей стороны, молодого человека слегка пожурить? право!

— Помилуйте, Алексей Степаныч! вы, отец — и то не журите? с какой же стати я-то в это дело мешаться буду!

— Нет, и я, признаться, журил, да как-то им скучно стариков-то слушать... Скажу вам откровенно, не только сам я журил, да и знакомого священника, отца Николая, приглашал. Да тот как-то уж странно ... «звезда от звезды» да «ему же

[1] мой милый.

честь — честь»... Для меня-то оно вразумительно, ну, а Павел Алексеич только стоит да обмахивается, словно мухи около него летают.

— Вот видите ли! Ну, и со мной то же самое будет, точно так же обмахиваться начнет.

Сказал я это очень твердо и, по-видимому, совершенно искренно в эту минуту был убежден, что, в сущности, Павлу Алексеичу ничего другого и не предстоит, как только обмахиваться под гудение моей журьбы. Но не могу не сознаться, что внутри у меня уже что-то щекотало. «А что, в самом деле, ежели бы пожурить? — шептал искушающий голос,— не строго, не в духе пророка Илии, а в минорном тоне — хороший, мол, вы молодой человек, а одобрить, извините, не могу! Да-с, не могу-с!.. Не так-с! не этак-с! Стремитесь-с! шествуйте вперед-с!.. Но не так-с!..»

И я опять слегка начал рисовать картину: вот так я стою, а так — он стоит. Язык у меня без костей, слова — так и льются: не так, сударь, не так-с! и правая рука поднята вверх, и указательный палец в воздухе болтается: не так-с! Гм... да ведь и это, пожалуй, своего рода взгляды...

В эту минуту Павел Алексеич вошел в кабинет. Он значительно возмужал с тех пор, как я его в первый раз видел, но в манерах его замечалась прежняя юношеская застенчивость и как бы угловатость. Он поздоровался с отцом, протянул мне руку, и хотел было немедленно удалиться, однако Алексей Степаныч остановил.

— На совещании был? — спросил он его.

— Ходил к одному товарищу.

— Карту Европы вдвоем рассматривали? Господина Черняева с Гарибальди сравнивали?

— Нет, этого мы не делали.

Молодой человек вновь сделал движение, чтоб удалиться.

— Что же вы делали? сядь, посиди с нами! довольно за утро с молодыми наговорился — можно и со старшими посидеть.

Павел Алексеич, не говоря ни слова, сел несколько поодаль и закурил папиросу.

— А мы сейчас тоже об современном этом направлении говорили. Я порицаю, а вот он (Алексей Степаныч назвал меня по имени и по отчеству): извинить, говорит, надо!

Павел Алексеич продолжал молчать, но я заметил, что он действительно сделал такое движение рукой, словно обмахнулся.

— Позвольте, Алексей Степаныч,— вступился я,— я не совсем то говорил. Я говорил, что молодые люди увлекаются,

что увлечение свойственно этому возрасту! — вот что я говорил! А извинять или не извинять — это совсем другой вопрос! Я рассматривал, я взвешивал... пожалуй, даже констатировал, но не считал себя вправе ни осуждать, ни, тем менее, извинять.

Странное дело! в сущности, как читатель сам может убедиться в этом из предыдущего, я ничего не говорил, но в эту минуту мне до того ясно представлялось, что я именно говорил то самое, что даже угрызений совести не чувствовалось. А внутри так и подмывало: пожури да пожури!

— А по-моему, так это именно и значит «извинять»... Увлекаются «молодые люди» — что ж это как не извинение? — рассудил Алексей Степаныч.

— Нет, это не то-с! Чтобы «извинять», надо сперва предположить существование «вины», а на это я покамест не признаю за собою права. Я не извиняю и не осуждаю, просто говорю... Но и тут опять: я не только не считаю своего мнения обязательным, но даже высказывать его решусь лишь в таком случае, когда есть уверенность, что оно может кого-нибудь интересовать! — Я взглянул на Павла Алексеича, в чаянии, не поощрит ли он, но, увы! он опять обмахнулся — и только. Зато Алексей Степаныч поощрил меня.

— Отчего же не высказаться? — сказал он,— ваше мнение для всякого, сударь, интересно!

Но я решился не вдруг. С одной стороны, внутренний голос подсказывал: пожури! с другой, думалось: а ну, как что-нибудь вроде: ина слава луне, ина слава звездам, выйдет?

— Не так! — сорвалось у меня наконец,— не *это* нам нужно!

— Вот-вот, вот! Это же самое и я ему говорю! — вмешался Алексей Степаныч.— Никогда, говорю, не бывало, чтобы яйца курицу учили! и за границей этого нет, а у нас — и подавно! Следовательно, коли ежели старшие говорят: погоди! имей терпенье,— значит, так ты и должен сообразоваться! Язычок-то на привязи держать, да уважать старших, да расположенность их стараться сыскать... так ли я говорю?

— Нет, я не об этом! Я вообще говорю: не так! Не то нам нужно!

Должно быть, двукратное повторение одной и той же формулы действия повлияло на Павла Алексеича раздражительно, потому что он не выдержал.

— Позвольте! что же собственно нужно-то вам? — спросил он довольно, впрочем, спокойно.

— Выше лба уши не растут — вот что памятовать нужно! — формулировал, наконец, я,— и сообразно с сим поступать!

— Но ведь это то же самое, что «яйца курицу не учат»!

— Нет-с, не то! то есть, коли хотите, оно и то, да не то! В предположении Алексея Степаныча, яйца должны навсегда остаться яйцами. Их можно сварить, яичницу из них можно сделать. Я же говорю: вот яйца, из которых со временем нечто должно вылупиться! Но прежде — и вот где разница между мною и вами, молодой человек! — прежде, говорю я... вылупитесь, господа!

Я сказал это горячо и с убеждением; даже старческая слеза выступила. Господи! да ведь тут уж целый план! Сперва вылупитесь, потом подрастите, а там уж что бог даст! Так именно и понял меня Алексей Степаныч.

— А как вылупитесь — вам сейчас: цып! цып! Ты знаешь, Павел Алексеич, что маленьким-то цыпкам и зерна сначала не дают, чтоб их носков жестким кормом не попорти<ть>, а яйцами рублеными да манной кашицей кормят!

Но я как бы не слышал этого замечания и продолжал:

— Да-с, это не то! Я сам был молод, сам увлекался... Знаю! Молодость великодушна, но, извините меня, не рассудительна! Она не хочет понимать, что всякое общество есть союз, заключенный во имя совершившихся фактов и упроченных интересов; что безнаказанно колебать подобные союзы нельзя! что ежели, наконец, и не невозможно к ним прикасаться, то прикосновение это может быть допущено лишь с величайшею осторожностью и крайним благоразумием!

— С подходцем, мой друг, с подходцем! — подтвердил и Алексей Степаныч.

Я был в ударе и хотел сказать многое. Даже целую картину сбирался нарисовать, как оно катится и, словно снежный ком, нарастает и нарастает... Само катится, милостивые государи, и само нарастает... само! Но новое замечание старика Молчалина как-то разом подкосило меня. Увы, Алексей Степаныч был неумолим! Он не только подавал руку помощи, но еще комментировал, выводил на свежую воду. В самом деле, разве не одно и то же мы говорили? Сначала он сказал: вот он *извиняет,* а я возразил: нет, я не извиняю, а только думаю, что молодости свойственно увлекаться. Потом он свел разговор на тему: курицу яйца не учат, а я возразил: нет, и это не так, а вот как: уши выше лба не растут! Наконец, я сказал: к совершившимся фактам следует прикасаться с осторожностью, а он прибавил: с подходцем!.. Неужто же мы единомышленники? Неужто я — он, а он — я?

Я смотрел во все глаза и не мог прийти в себя от изумления. Алексей Степаныч, перегнувшись в кресле, болтал руками между колен, <и> — благодушно покачиваясь, приговаривал: да, брат, с подходцем — а ты думал как? «Молодой

человек» покуривал папироску и совершенно безучастно смотрел в окно. Такая скука была написана на лице его, что я сразу понял, какое действие произвела на него моя журьба. Это действие формулировалось словами: вот-вот сейчас будет «звезда же от звезды разнствует во славе» — и конец разглагольствованию!

Наконец он не выдержал и встал.

— Я, папенька, пойду,— сказал он,— наши уж от обедни пришли.

Мы опять остались одни со стариком Молчалиным.

Алексей Степаныч имел такой вид, как будто сейчас проснулся. Очевидно, и он не ждал, что *так* выйдет. Может быть, он думал, что я представление дам: возьму шляпу, покажу ее внутренность: пусто? — и вдруг в ней окажется яичница, или живой голубь, или букет цветов. А оказалось, что я *почти* то же сказал, что и отец Николай. Однако он не только не попенял мне за это, но, как человек вполне незлопамятный, даже поощрил.

— Ну, спасибо, голубчик! — сказал он, подавая мне на прощанье руку,— большое вам за это спасибо, что моего молодого человека уму-разуму наставили! Горьконько ему, конечно, правду-то эту выслушивать, зато впоследствии благодарен будет, как действие-то ее на себе ощутит! Да, зарубит он кое-что, зарубит-таки себе на носу!

Я возвращался от Молчалиных и с тревогой, почти с болью спрашивал себя: то ли я сказал, и мог ли сказать что-нибудь иное?

Да, я сказал то самое, и едва ли мог сказать что-нибудь иное. Но я сказал некрасиво, не постарался — оттого и вышло, что я как бы повторил Тугоуховского, Алексея Степаныча и отца Николая.

Несмотря на такие симпатичные стороны, о которых я подробно упомянул выше, у нас, людей отживающих, людей старых песен, есть огромный недостаток: мы боимся. Не насилий боимся, а вот грубости, нечистоплотности этой. Мы и свободу любим на греческий и римский манер: чтобы амфора была, вино сиракузское лилось, а мы бы мудро беседовали. Даже смерть мы представляем себе в красивой форме: по образцу смерти Тразеи Пета, с разговором, в кругу друзей, о непрочности земных благ и с восклицанием, в виде заключения: хвала Юпитеру-Освободителю.

Увы! Нынче нет ни амфор, ни сиракузского вина, ни красивой смерти, ни даже Юпитера-Освободителя. Нынешняя

жизнь, даже в запросах своих, воплотилась в какие-то странные формы, чуждые светотеней, аляповатые, грубые, почти циничные. Хотелось бы порой сказать ей слово сочувствия, а внутри так и колышется: фуй! Гадливость, коли хотите, инстинктивная, но, благодаря беспрерывному возбуждению, очень легко переходящая в привычку, в страх.

Вот этот-то страх и есть то общее, что приравнивает нас к Тугоуховским, Молчалиным и проч. Не в том дело, что мы не тех результатов боимся, которых боятся они, а в том, что и мы и они ждем своих различных результатов из одного и того же источника. Поэтому, хотя мы выражаем наше отношение к современности несколько иначе, нежели Тугоуховские и Молчалины, но разница лежит скорее в форме, нежели в сущности.

Поэтому же ничего у нас ясного не выходит, да и не ждет от нас никто ничего. Мы и скорбим, и стыдимся, и к смерти взываем, а нам говорят: уйдите с глаз долой! живите или умирайте,— как вам угодно, но только там, в своих *углах*. Это очень больно, но средств к уврачеванию этой боли, кажется, не предвидится. Что бы мы ни говорили, какой бы «обмен мыслей» ни предпринимали — все-таки в результате окажется: «ина слава луне, ина слава звездам». Разве это разговор? Нет, правду сказал Глумов: живи и удивляй мир отсутствием поступков и опрятностью чувств. И еще: не глумись, а говори прямо: не понимаю! Да, только это и остается.

Не успел я мысленно произнести имя Глумова, как почувствовал, что кто-то берет меня за локоть.

Оглянулся — он!

— Пари держу, что у Молчалина был?

— Да, был.

— Ну, и что ж?

Я рассказал все по порядку, ничего не утаивая и не прибавляя.

— И поделом,— рассердился на меня Глумов,— малодушный ты человек, вот что! Говорено было тебе, что нашему брату не с проповедью выходить пристойно, а сидеть в углу и молчать! Да тебя, впрочем, не убедишь! Вот и теперь, чай, придешь ты домой, сядешь за стол и скажешь себе: а ну-тка, благословясь, я этюд о «новых людях» настрочу! Не хорошо, не моги!

КНИГА О ПРАЗДНОШАТАЮЩИХСЯ

ГЛАВА 1

Я сидел дома и, по обыкновению, не знал, что с собой делать. Чего-то хотелось: не то конституции, не то севрюжины с хреном, не то взять бы да ободрать кого-нибудь. Заполучить бы куш хороший — и в сторону. А потом, «глядя по времю», либо севрюжины с хреном закусить, либо об конституции помечтать. Ах, прах ее побери, эту конституцию! Как ты около нее ни вертись, а не дается она, как клад в руки! Кажется, мильон живых севрюжин легче съесть, нежели эту штуку заполучить!

И что это за конституция такая, и для чего мне ее вдруг захотелось — право, и сам не знаю. Будет ли при этой конституции казначей? — мелькало у меня в голове. Коли будет — ну, тогда, конечно... Ах, хорошо бы этакую должность заполучить! Образ казначея при конституции минут с десять неясно, словно изморозь, кружился перед моими глазами и так приятно на меня действовал, что я даже потянулся. Вот при уложении о наказаниях нет казначея — оттого, может быть, оно и дано нам. А, впрочем, конституция... ведь это и есть уложение... а мы-то тоскуем!

Я человек культуры, потому что служил в кавалерии. И еще потому, что заказываю платья у Шармера и обедаю по субботам в Английском клубе. Там всё культурные люди обедают. Нынче в Английском клубе, впрочем, всё чиновники преобладают. Длинные, сухие, прожженные. Шепчутся друг с другом, секреты из высших сфер сообщают, судьбы какие-то решают, словом сказать, даже за обедом себя прилично вести не умеют. А на роже так и написано: чего изволите? Того гляди, скажешь ему: а принеси, братец, бутылочку... Смотришь, ан у него звезда сбоку. Настоящих культурных людей, утробистых,

совсем мало стало. Да и те, которые остались, как-то развратились. Всё за чиновниками следят, как они между собой шепчутся, словно думают: что-то со мной теперь сделают! И глаза какие-то подлые, ласковые у всех, когда с ними какой-нибудь чиновный изверг заговорит...

Говорят, что утробисто-культурные люди все в Москву перебрались или по своим губернским городам засели. Там будто бы они едят и пьют и об политике разговаривают на всей своей воле. Только об губернаторах говорить не смеют. И губернаторы, говорят, очень за этим следят, чтобы про них пустяков не рассказывали, а ежели что — сейчас того человека: фюить! Оттого об них и не говорят. А о прочих предметах, как-то: об икре, об севрюжине, об свинине, даже об Наполеоне III — говори что угодно. Можно, впрочем, сказывают, и об конституции молвить, ежели ты выпить любишь и губернатор знает это,— донесут: такой-то, мол, ваше превосходительство, вчера за ужином в клубе об конституции разговаривал.— «Пьян, что ли, был?» «Точно так, ваше превосходительство!» «Ну, оставьте его: он... он благонамеренный!» И оставят.

Уж не удрать ли, в самом деле, туда, в губернский город Залупск? Хорошо ведь там. Утром встанешь, не торопясь умоешься, не торопясь чаю напьешься — гляди-ко, уж двенадцать часов на дворе. Потом походишь, покуришь, посвищешь, кто-нибудь заедет — пора завтракать. После завтрака опять походишь, покуришь, а ежели скука уж очень начнет одолевать — тройку заложить велишь. А-ах! у-ух! Эх вы, соколики!.. бесподобно! Воротишься — ан обед на столе. В комнатах тепло, светло, щи, солонина с хреном, поросенок с кашей... Солонина мягкая-мягкая — ешь, да язык не проглоти! И никогда один не обедаешь. Ежели настоящий человек не наклюнется, так секретарь какой-нибудь, наверное, забежит. Все расскажет: кто кому плюху дал, кто кого по лицу калошей ударил... ба! половина девятого — не пора ли и в клуб! А в клубе уж все в сборе и все утробистые. Кто в карты играет, кто о прежнем благополучии рассказывает, и один по одному, в буфет да в буфет. Постепенно-постепенно — и вдруг: конституция! А что ж такое, что конституция! Приедешь домой, ляжешь спать — сном все пройдет! А на другой день,— и опять.

Да; а вдруг ежели... Ах, нынче и в провинциях много этих поджарых развелось. Ищут, нюхают, законы подводят. И в клубы проникли: сперва один, потом другой, потом, глядишь, уж и в старшины попадать начали. Брякнешь при нем: конституция! — а он: вы, кажется, существующей формой правления недовольны?.. А мне что!.. форма правления... эка неви-

даль! Какая тут форма правления! Я так... сам по себе... Разговаривал!

И вдруг ты — не на хорошем счету! И вдруг — фюить!

Сами утробистые во всем виноваты. Это в то время, как прожженные только что появились в губерниях — тогда надобно было меры принимать. Явился прожженный — и с богом, живите, сколько вас есть, про себя. Играйте друг с другом в преферанс, ездите друг к другу в гости, угощайтесь, напивайтесь, прелюбодействуйте, но в наш культурный клуб — ни-ни! Валяй, братцы, черняков, чтобы вперед неповадно было! <Жили> бы теперь культурные люди припеваючи, и не таскали бы у них из гнезд их культурных птенцов. И разговаривали бы об конституции, покуда живы, а умерли, дети бы разговаривали... И шло бы себе потихоньку да полегоньку. А то на-тко! скоро уж и разговаривать не́кому будет!

Да, некуда теперь деваться: изгажены наши провинциальные палестины, испакощены. В Петербурге долговязые глисты первого сорта шепчутся, а в Залупске долговязые глисты второго сорта шепчутся. Так бы, кажется, и... что?

Нет, нынче утробистый человек гляди в оба, несмотря на то что ему благосклонно присвоено название культурного. Пришел в клуб — проходи сторонкой, не задеть бы вот этих двух выродков, которые по секрету об тебе суждение имеют. Ты его заденешь, а он тебе смягчающих обстоятельств не даст, либо сына у тебя живьем задерет! Сторонись же и иди прямо к буфету, пей молча водку и молча закусывай, потому что если ты рот разинешь — это может оскорбить вон тех двух выродков, которые тоже по секрету рассуждают, какому роду истребления тебя подвергнуть. И потому садись за обед и ешь до отвалу. Вздыхай и ешь...

Да, много виноваты утробистые в печальной судьбе своей, но ведь, с другой стороны, нельзя и осуждать их слишком строго. Прожженные люди, именно, как глисты, втерлись в среду культурных людей. Все о благосклонности просили, зане надежду на земскую культурную силу полагали, да сами же первые и об конституции заговорили. Да как еще заговорили-то! С хохотом, с визгом, с слюною... В лицах всякую форму правления представляли, песни пели, брудершафты предлагали... Ну, культурный человек и смяк. Видит, малые разухабистые на всякую штуку: и поплясать, и представить, и прочесть что-нибудь зажигательное в пользу вдов и сирот — на все мастера. Милости просим! да вы попросту! пообедать... Вечерком... к жене... Да в клуб! Что же вы в клуб! там у нас танцы по воскресеньям... жена... дочери... пожалуйста! Вот и заползли они всюду, а как заползли, так сейчас — цап-царап!

«Вы, кажется, формой правления недовольны?» Ах, прах те побери! Я так... сам по себе... а он: форма правления!

И жены наши тоже довольно тут виноваты, больше даже, нежели утробистые. Легкомысленны наши жены, ах как легкомысленны! А глисты эти прожженные так и вьются около них, так и шепчут, и шепчут. У иной от этого шепота и грудь поднимается, и глаза искрятся, и лицо полымем пышет. «Ты что ж, душенька, к нам мсьё Глиста не пригласишь?» «Глиста! ах, сделайте милость! Господин Глист! милости просим! запросто! вечерком, обедать... вот жена!»

А господин Глист между тем пакость в уме держит. И все насчет формы правления. Он и прелюбодействует-то неспроста, а словно думает: хорошо, что я теперь знаю, как у него в доме обыск сделать!

Нет, совсем нет у культурных людей ни предусмотрительности, ни esprіs de corps[1].— Тех утробистых представителей культуры, с жирными кадыками, с пространными затылками, которые, завязавшись салфеткой, ели и «независимо» сквернословили,— нет и в помине. Нынешний культурный человек либо на теплые воды удрал, чтобы там изумлять мир своею культурностью, либо сам в «поджарые» полез. Только и слышишь кругом: да отчего же нам не доверяют! отчего к нам за содействием не обращаются! разве мы хуже действительного статского советника Глиста! Да нас только помани... да мы... А ежели у вас такая охота смертная, так что же! Мы не прочь! Рапортуйте, любезные, рапортуйте! Фу, подлость! Живешь-живешь — а все словно грудной ребенок должен permettez moi de sortir[2] спрашиваться. Мне пятьдесят лет — а я на всей своей воле об конституции поговорить не могу. Разве я что-нибудь говорю? разве я переменить что-нибудь хочу? Да мне — Христос с ними! Я так... разговариваю...

Хочешь ему сказать: да вы что, в самом деле, милостивый государь! Да я сам моего государя дворянин! Я в кавалерии, государь мой, служил! В походах не бывал, но на походном положении... и даже в лагерях... да-с! Хочешь сказать все это, и молчишь! Потому что повсюду, во все углы, во все щели клубов — везде они наползли! Смотрят и улыбаются, словно вот говорят: ты думаешь, я и не знаю, что у тебя в затылке шевелится... все, мой друг, знаю, и при случае...

Вот это-то «при случае» и сбивает культурную спесь. Так оно ясно, несмотря на свою внешнюю таинственность, что даже клубные лакеи и те понимают. Прежде, бывало, кому

---

[1] чувства общности интересов.
[2] позвольте мне выйти.

первый кус? — культурному человеку, которому и по всем правам он следует. А нынче, смотришь, культурного-то человека обходят да обходят, а все ему, все действительному статскому советнику Глистову. Ну, и опешались. Позвольте я вашему превосходительству рапортовать буду! — Рапортуй, братец, рапортуй!

Подлость, подлость и подлость! Скоро мы услышим: у меня, ваше превосходительство, сын-мерзавец превратными идеями занимается!.. Фуй, мерзость!

Да, смяк ты, утробистый человек, совсем никуда не годишься! Никто с тобой не разговаривает, везде тебя обносят, жене твоей подлости в уши нашептывают. Скучно, друг! И дома у тебя тоска, и в клубах твоих тоска, и в собраниях твоих, этих палладиумах твоих вольностей,— какая-то жгучая, надрывающая пустота царит. Не метено, не чищено, окна трясутся, не топлено, угарно... Рапортуй, мой друг, рапортуй!

И именно с тех пор ты смяк, как культурным человеком назвался. С тех пор и действительный статский советник Глист обвился кругом тебя, с тех пор ты и к рапортам учинился привычен. Культурность обязывает. Культурный человек «содействует» не потому, чтоб у него охота содействовать была, а потому, что он не может не содействовать. Культурный человек да не содействует — что же это будет! Действительный статский советник душу свою за общество полагает, потеет, приглядывается, принюх<ив>ается, а никак он ни до чего донюхаться не может. А отчего? — оттого, что кругом все утробистые да чистопсовые: спят, лежебоки, и не чуют, что не нынче, так завтра светопреставление будет! Проснитесь же, чистопсовые люди, и будьте отныне культурными! Познайте, что культурность обязывает! Рапортуй, мой друг, рапортуй!

Вот почему мы, культурные люди, так тоскуем. Никто в целом мире ни в какую эпоху истории так не тосковал, как мы тоскуем. Мы чувствуем, что жизнь ушла от нас, и хотя и цепляемся за нее при пособии «содействия», но не можем не сознавать, что это совсем не то, совсем не та жизнь, которой мы, по культурности своей, заслуживаем. Мой прадед, например, если б ему заикнулись о «содействии» — я, право, не знаю, что бы он сделал. Наверное, он бы сказал: я, ваше превосходительство, государю моему слуга, а не лакей-с! Я сам бунтовал-с! да-с! Анну Леопольдовну, регентшу-с, в одной рубашке из дворца вынес... и был за это награжден-с! А дедушка мой сказал бы: я в Ропше был-с! а потом следовал на сером аргамаке за великою государыней в Петербург. Как вы, государь мой, назовете этот поступок, заблуждением или подвигом благородного человека? А отец мой сказал бы: я тоже заблуж-

дался, и хотя после принес чистосердечное в том раскаянье, но не содействовал-с! нет, не содействовал-с! И все они были бы обижены, и будировали бы, непременно будировали... до тех пор, пока им не прислали бы Станислава на шею! Но не за содействие-с! Нет, не за содействие...

А я, правнук, внук и сын,— что я скажу! Я могу сказать только, что я культурный человек, и в этом качестве не могу даже «чистосердечного в том раскаяния» принести. Ибо я никогда не заблуждался — нет, никогда! И потому даже не понимаю, что такое «заблуждение»! Ни «заблуждений», ни «истины», ни «превратных идей», ни «благонамеренных» — ничего я не знаю — а стало быть, могу только содействовать. Содействовать — вот моя специяльность; ни делать, ни производить, а именно содействовать. И многие от этой специяльности устраняются, бегут на теплые воды и там влачат с горем пополам культурное существование.

Не однажды меня интриговал вопрос, каким это образом вдруг, словно из земли, русский культурный человек вышел! Всё были густопсовые да чистопсовые — и вдруг культурными людьми сделались. Сидит себе чистопсовый человек или в Залупске, или в Ницце, за обе щеки уписывает и говорит: теперь вы на мой счет легонько! я из тарелки ем, а не из плошки, я салфеткой утираюсь, а не стеклом — я культурный человек! И как только появился этот культурный человек, так рядом с ним явился и действительный статский советник Солитер. Не было культурных людей, не было и Солитера. Были действительные статские советники Довгочхуны, Неуважай-Корыты, Ивановы, Федоровы, Семеновы, ели и пили, а в свободное от еды время писали: утверждаю, утверждаю, утверждаю. А Солитер пишет: раззоряю, раззоряю, раззоряю...

Не раз хотел я даже историю возникновения культурных людей написать. Подробно, по документам. Как они сначала до обморока были доводимы и как потом, будучи постепенно привлекаемы к содействию, в чувство пришли. В какое чувство?

Вот на этом-то вопросе я и поперхнулся. Коли назвать это чувство — будет ли это своевременно, а ежели не назвать его — какой же смысл будет иметь мой исторический труд? Я знаю, что многие историки именно с тем и предпринимают свои труды, чтоб ничего из этого не выходило, кроме того, что великая княгиня Ольга Коростень сожгла, а великий князь Святослав сказал: не посрамим земли русския! — но то историки сериёзные, а я... какая же сериёзность во мне?.. Я пишу, потому что меня культурная тоска одолела, тоска, тоска и тоска! Тоска, похожая на угрызение, словно я грехопадение какое совершил с тех пор, как меня в культурные люди произвели.

С одной стороны, нет ни умения, ни быстроты в ногах, ни здоровья — и рад бы посодействовать, да взять нечем! С другой стороны — тоска, что-то неопределенное под сердцем сосет. Жюдик — видел, Шнейдершу — видел, у Елисеева, и на Невском, и на бирже — был. Все, что можно было в пределах культурности, кроме содействия, совершить,— все совершил. Повторять то же самое надоело, а между тем надо жить. Ни смерть, ни болезнь — ничто меня не берет. Встанешь утром — и какими-то испуганными глазами глядишь в лицо грядущему дню. И завтра и послезавтра будут дни, а чем их наполнишь? Не сходить ли в Александринку, на Пронского посмотреть — может быть, хоть это потрясет. Или вот в Педагогическом обществе побывать, послушать, как Водовозов реферат будет защищать? И вдруг окажется, что это отрава! И потом прокурор будет доказывать, что кто-нибудь из родственников меня нарочно отравил, чтобы потом наследством моим воспользоваться. И присяжные, обдумав зрело обстоятельства дела, скажут: да, виновен. Нет, слуга покорный! я родственников люблю и ответственности подвергать их не желаю...

Итак, я дома и не знал, что делать с собою. Начал с севрюжины и конституции, кончил Пронским и Водовозовым.

ГЛАВА 2

Дело было в половине апреля. Я смотрел из окошка на улицу и любовался на сумятицу, которая происходила в природе. Воздух был наполнен каким-то невообразимым мельканием; крупные, крупные снежинки, мокрые, разорванные, словно проливной дождь, тяжело ударяли в окна. На подоконниках уже образовалась порядочная груда белого вещества, рыхлого и тающего; мостовая, еще часа два тому назад серая, начинала белеть. По улице сновали извозчичьи пролетки с пассажирами, озлобленно скрючившимися под зонтиками. Ряд домов, мокрых, осклизлых, загадочно глядели своими бесчисленными черными окнами, словно тысячами потухших глаз. Небо давило и, несмотря на второй час дня, окутывало город ранними сумерками. Гул экипажей и мельканье лошадей, которые некоторое время раздавались усиленно (был первый день святой недели), постепенно начали стихать, стихать, и наконец совсем сделалось тихо. Даже ликующие столоначальники — и те, по-видимому, успокоились.

Я стоял у окна и припоминал. Было время, когда и я в этот день летал и метался; придешь в одно место — распишешься, швейцару целковый подаришь и, нимало не медля,— в другое

место, опять распишешься, опять целковый подаришь... Да в мундире, сударь, в мундире! А нынче вот сижу у окна да глазами хлопаю — на дворе праздник, а никуда глаза показать не хочется. Почему не хочется? — а потому просто, что незачем...

Прежде я потому ездил, что было у меня убеждение: здесь претерплю, зато в своем месте наверстаю. Я даже нарочно в Петербурге периодически появлялся, чтоб претерпеть и потом наверстать. Мерзок я был, низкопоклонен, податлив, но я знал, что у меня имеется стимул, двигающий моими действиями. Впоследствии обстоятельства заставили меня сознать, что это был стимул фальшивый, несостоятельный, лишенный предусмотрительности,— прекрасно! Я понял это и, может быть, даже вполне искренно отказался от тех идеалов наверстыванья, которые обуревали меня в бывалое время. Но почему же я, оставив прежние стимулы, не усвоил себе новых? Для чего я живу? Для того ль только, чтобы представлять собой образчик русской культурности... велика невидаль!

Я знаю теперь, что езди я или не езди, поздравляй или не поздравляй, все-таки я ничего не наверстаю, потому что и наверстать негде. Хотя же действительный статский советник Солитер и заставляет мелькать перед моими глазами какие-то виды, но, право, мне кажется, это он просто, ради блезиру, делает. Следуй, говорит, по моим указаниям, и будешь ты век сыт и век пьян — а куда следуй, этого он и сам растолковать не может. У самого-то, брат, у тебя яичница в голове, а тоже других приглашаешь!

Да если б он и мог доподлинно разъяснить, куда и как нужно следовать — разве я могу *туда* идти? Да и не только *туда* — никуда я идти не могу. Все, все для меня заперто. По судебной части я могу только адвоката нанять, а сам истца от ответчика отличить не умею. Кто их знает! — там адвокат разберет! По части народного просвещения — я не знаю, кто кого кормил, волчица ли Ромула или Ромул волчицу,— что ж я на экзаменах-то спрашивать буду? По части финансов я знаю одну систему: дери и в случае недобора бесстрашно занимай! а как и на какой бумаге ассигнации печатаются — ничего этого я не знаю! Вот разве по части... ну, нет, Солитер, этому не бывать. Действительно, по этой части никаких познаний не требуется, только культурность одна, но я ведь не позабыл, что мой прадедушка регентшу Анну Леопольдовну в одной сорочке из опочивальни вынес!.. Нет, не позабыл! Ибо ежели я сам лично ничего не сделал, даже чистосердечного раскаянья не принес, то прадед мой...

И откуда нынче такие действительные статские советники развелись! И прежде были действительные статские советники, назывались Довгочхунами, Ивановыми, Федоровыми, Семеновыми, ели, пили, сами балы делали и откупщиков заставляли делать, ездили по гостям, играли в клубах в карты, а в свободное от занятий время писали: утверждаю, утверждаю, утверждаю. А Солитер пишет: разоряю, расточаю, развращаю!..

И ничего. Разоряет — и не созидает, расточает — и сам стоит невредим, развращает — и состоит членом общества распространения грамотности. Кто поймет эту тайну? Есть у него один ресурс, который выручает его. Ресурс этот — лганье и показывание фальшивых перспектив. Он лжет постоянно, лжет, как рязанский дворянин, когда начнет рассказывать, какие у него, при крепостном праве, персики в оранжереях родились. В этом случае недавняя чистопсовость вся целиком выступала у него наружу. Он лжет, и сам к своему лганью прислушивается, как соловей к собственному пению. И верит. Верит тому, что он, ехавши тройкой, в одну прорубь со всем экипажем провалился и потом за двадцать верст в другую прорубь выскочил. Следуйте, говорит он, следуйте только моим указаниям, а в свое время мы — наверстаем!

И многие до сих пор верят ему. Я убежден, например, что Прокоп даже в эту самую минуту мечется как угорелый по городу и все поздравляет, все поздравляет. Домой, думает, приеду — всё наверстаю! И это он, в течение десяти лет, аккуратно из года в год так делает. Каждый год кукиш с маслом получает, и все шибче да шибче поздравляет и надеется.

Уж целую неделю, как я в газетах прочел, что он в Петербург приехал — и ко мне до сих пор ни ногой. Вместе Шнейдершу слушали, вместе в географическом конгрессе заседали, вместе по политическому делу судились, наконец, вместе в сумасшедшем доме сидели — и вот! Чай, всё перспективы выглядывает, связи поддерживает, с швейцарами да с камердинерами разговариват. Чай, когда из Залупска ехал, тоже хвастался: я, мол, в Петербург еду, об залупских культурных нуждах буду там разговаривать! Разговаривай, мой друг, разговаривай... с швейцарами!

Кому интересны залупские нужды, культурные или некультурные? Вот кабы ты сообщил секрет, как к празднику нечто заполучить или как такому-то ножку, ради высокоторжественного дня, подставить — ну, тогда мы бы тебя послушали! А то: Залупск — разве об нем кто-нибудь думает! Есть у вас там, в Залупске, Солитер — и будет с вас. Он вас там разберет:

и стравит друг с другом, и помирит, если нужно... «Zaloupsk! qu'est ce que c'est — que Zaloupsk?» [1]

И вот, ради разговоров с швейцарами, Прокоп даже об старом соратнике и собутыльнике забыл! Это ли не черта русской культурности! Сегодня приятель, а завтра Солитер разрешил ему за свой превосходительный каблук подержаться — он уж и рыло воротит. Я, говорит, наверху нынче стою, сверху мне все перспективы виднее. Вы, мол, как лягушки, в болоте квакаете, а мы, аисты, на горах расселись, да как налетим отголь... Да на кого же ты налетишь-то, птица ты бестолковая! Посмотри, и болото-то уж пустым-пустехонько стоит: нечего скоро и зацепить-то там будет!

Мне сделалось досадно и жалко. Бедный Прокоп! Глуп-глуп, а культурность свою очень тонко понимает. У меня, говорит, в деревне и домик есть, и палисадничек при нем, и посуда, и серебрецо, и постелька для приятеля... видно, что человек живет! А мужик что! Вон у нас на селе у крестьянского мальчишки тараканы нос выели, а у меня, брат, тараканы только на кухне есть! Милый, милый Прокоп! Как сейчас вижу, как он в залупском клубе, за ужином, завязавшись салфеткой, сидит: буженины кусок проглотит и слово скажет, еще кусок проглотит и еще слово скажет. И слова всё — такие мелкие: текут, плывут, бегут — не поймаешь! Ест, а сам одним глазком в соседнюю залу заглядывает, потому что там действительный статский советник Солитер с статским советником Глистом о чем-то по секрету совещаются, а титулярный советник Трихина так и юлит, так и кружит около них. «Дай срок, ужо от Трихины все выведаю!» — думает Прокоп, а что выведаю, зачем выведаю... бежит, течет, плывет!

И так мне вдруг захотелось Прокопа увидеть, так захотелось на затылок его полюбоваться, что не успел я формулировать моего желанья, как в дверях раздался звонок, и Прокоп собственной персоной предстал передо мной.

Он был в культурном мундире и в культурных белых штанах. Лицо его, слегка напоминавшее морду красивейшего из мопсов, выражало сильное утомление; щеки одрябли, под глазами образовались темные круги, живот колыхался, ноги тряслись. Мне показалось даже, что он раздражен.

— Обогрей, ради Христа! — было его первое слово.

— Откуда, голубчик? поздравлял?

— Разумеется, поздравлял. Вот ты, так и день-то какой нынче, чай, позабыл?

---

[1] Залупск! что такое Залупск?

— Ну, нет, брат, я и у заутрени был. А ты?
— Еще бы. Я еще третьего дня билет получил.
Прокоп сел против камина и протянул ноги чуть не в самый огонь.
— Да ты бы скинул с себя форму-то,— предложил я,— вместе бы позавтракали, вина бы... А какое у меня вино... по случаю! краденое!
— Это, брат, только хвастаются, что краденое, а попробуй — опивки какие-нибудь! Опивки краденые — вот это так. А ты вот что: завтракать я не буду, а ежели велишь рюмку водки подать — спасибо скажу.
— Отчего же бы не позавтракать?
— Нет, я на минуту, у меня еще двадцать местов впереди. Поважнее которые дома — у всех расписался уж, а прочие и подождут, невелики бары!
Принесли водки и балыка. Прокоп потянулся, выпил и закусил. Не знаю почему ему вдруг показалось, что я всматриваюсь в него.
— Ты что на меня смотришь? узоры, что ли, на мне написаны? — спросил он.
— Помилуй, мой друг, я рад тебя видеть — и только.
— А рад, так и слава богу. Замучился я. Погодица нынче — страсть! Ездил-ездил, штаны-то белые, замарать боишься — ну, и сидишь, как на выставке. Да как на грех, еще приключение... препоганое, брат, со мной приключение сегодня было.
— Что же такое?
— Да приезжаю я к особе к одной — ну, расписался. Только вижу, что тут же, в швейцарской, и камердинер особы стоит — и угоразди меня нелегкая с ним в разговор вступить. Рано ли, мол, встает его сиятельство? прогуливается ли? кто к нему первый с докладом является? не слышно ли, мол, что про места: может быть, где-нибудь что-нибудь подходящее открывается? Только разговариваем мы таким образом — и вдруг вижу я, вынимает он <из> кармана круглую-прекруглую табатерчищу, снял крышку да ко мне... Это, говорю, что?..— Понюхайте-ко, говорит.— Да ты, говорю, свинья, позабыл, кажется?..
— Так и сказал?
— Так прямо и брякнул. Я ведь, брат, прямик! Я не люблю вокруг да около ходить! По мне, коли свинья, так свинья!
— Нехорошо, брат; горяченек ты, любезный друг! с страстями справляться не умеешь!
— А что?
— А то, что он теперь тебе мстить будет — вот что!

Прокоп задумался на минуту, даже вилка, направленная по направлению к балыку, словно застыла в его руке.

— Я, брат, и сам уж об этом думал,— наконец молвил он.

— Непременно будет мстить. Вот сегодня же вечером будет с его сиятельства сапоги снимать и скажет: был давеча вот такой-то — не нравится он мне, невежей смотрит. А завтра ты явишься к его сиятельству, а его сиятельство посмотрит на тебя да и подумает: кто бишь это мне сказывал, что этот человек невежа?

— А что ты думаешь? ведь это, пожалуй, и вправду так будет?

— Верно говорю. Эти камердинеры да истопники — самый это ехидный народ. Солитер-то, ты думаешь, как пролез?

— Ну, Солитер и так, сам собой пролезет!

— Нет, он сперва в камердинеры пролез, а потом уж и...

— Ну, так прощай; я бегу!

— Погоди! куда ты! рассказал бы, по крайней мере, что у вас делается?

— Чему у нас делаться! Солитер... Я было жаловаться на него приехал, да вот приключение это — пожалуй, завтра и не выслушают!

Прокоп заторопился, подтянулся, вытянул ногу, на сапоги посмотрел, поправил шпагу и уж совсем на ходу заметил:

— Я, брат, с женой и дочерьми здесь. В Гранд-отеле стоим, за границу едем.

— Надежда Лаврентьевна здесь? и ты не говоришь ничего!

— Ну, что тут! не невидаль какая! Приходи ужо вечером — посидим.

Он рысцой направился в переднюю, накинул на себя шинель и вдруг опять встревожился.

— Как ты думаешь? — спросил он меня,— ему... хаму этому... трех целковеньких довольно будет?

— Дай, брат, пять! — посоветовал я.

— Ладно. Так ужо вечером. Жена давно к тебе посылает, да нельзя было... всё приключения эти...

Он исчез в дверях, а я остался опять один с своей тоскою. Я стал резюмировать <разговор>, который мы сейчас вели, и вдруг покраснел. Что я такое сейчас говорил? мучительно спрашивал я себя, и какие такие советы насчет пяти рублей подавал? Господи! да неужели же это холопство имеет такую втягивающую силу! Вот я: по-видимому, совсем было позабыл: и мундира культурного нет у меня, и поздравлять я не езжу — так, сам по себе, глазами хлопаю! — а увидел человека с красным околышем и не вытерпел! Так и лезет-то, так и прет из тебя это проклятое холопство! И рожа осклабляется, и язык

петлей складывается, как начнут про швейцаров да про камердинеров разговаривать. Да; нынче в Франции целая школа беллетристов-психологов народилась — ништо им! У них психология простая, без хитростей — ври себе припеваючи! Нет, попробовал бы ты, господин Гонкур, сквозь этот психологический лес продраться, который у Прокопа в голове засел. Ему, по-настоящему, и до самого его сиятельства горя мало, а он вот с лакеями об внутренней политике разговаривает да еще грубит им... лакеям-то! Да и я тут же за компанию вторю: отомстит он тебе; не три, а пять рубликов ему надо дать! Сказал и не почувствовал, что у меня от языка воняет,— ничего, точно все в порядке вещей! Какое сцепление идей бывает, когда такие вещи говоришь? И какова должна быть психология, при помощи которой возможны подобные разговоры? Вот кабы ты, Золя, поприсутствовал при таких разговорах, то понял бы, что самое фантастически-психологическое лганье, такое, какое не снилось ни тебе, ни братьям Гонкурам, ни прокурорам, ни адвокатам,— должно встать в тупик перед этой психологической непроходимостью.

И в то самое время, как я думал все это, вдруг, вследствие такого же необъяснимого психологического переворота, в голове моей блеснула мысль: Прокоп за границу едет, а что кабы с ним вместе удрать?

Сейчас обвинял Прокопа в холопстве, сейчас на самого себя негодовал за то, что никак не могу с себя ярма холопства свергнуть,— а через минуту опять туда же лезу! Я знаю, что Прокоп вместе с своей персоной весь Залупск Европе покажет, что он повезет Залупск в своих платьях, в покрое своего затылка и брюха, в тех речах, которыми он будет за табльдотами щеголять, во всем. И за всем тем, все-таки не могу я отвязаться от него, стремлюсь обонять залупские запахи, слушать залупские речи... И вместе со мной этим речам будут внимать Средиземное море и серые скалы, которые высятся вдоль его берегов, словно сторожат их в предвидении нашествия варваров.

ГЛАВА 3

Для тех, которые позабыли о Прокопе, считаю нелишним восстановить здесь его физиономию. Это чистейший тип культурного русского человека, до последнего времени и не подозревавшего о своей культурности. В физическом отношении он шарообразен и построен как-то забавно: голова круглая, затылок круглый, брюхо круглое, даже плечи, руки, ноги — круглые, так что когда он находится в движении, то кажется, слов-

но шар катится. Лицо у него — портрет красавца-мопса и принимает те же выражения, какие принимает морда мопса в различных обстоятельствах жизни. Когда он сыт, лицо принимает выражение беспечное, почти ласковое, как будто бы говорит: соснул бы теперь, да очень уже весело. И чувствуешь, что у него где-то должен быть хвост, которым он в это время виляет. Когда он голоден, то на лбу и на носу образуются складки, рот злобно осклабляется и углы губ плотоядно опускаются книзу. В нравственном отношении он лукав, не лишен юмора, преимущественно обращенного против него самого, легковерен, льстив, наклонен к лганью и в высшей степени невежествен. Когда он говорит, то почти всегда поражает собеседника внезапностью мыслей, в которых нет возможности отличать правду от лжи. Некоторые полагают, будто бы он зол, но это положительно не верно. Он не добр и не зол, не умен и не глуп — он так, сам по себе. Репутацию злости составили ему его инстинкты, в которых действительно очень мало человеческого и которые иногда делают его способным огрызаться и рычать. Но ежели надеть на него хороший намордник, то он сейчас же притихнет, и в Залупске совершенно справедливо заметили, что с тех пор, как упразднено крепостное право, он стал огрызаться и рычать значительно меньше против прежнего.

Имя его совсем не Прокоп, а Александр Лаврентьич Лизоблюд — из тех Лизоблюдов, которые еще при царе Горохе тарелки лизали. Прокопом его назвали на смех, в честь Прокопа Ляпунова, известного рязанского помещика и ревнителя русской славы, в то время, когда ему, после трех трехлетий, проведенных в звании представителя залупской культурности, поднесли на блюде белые шары в знак оставления в том же звании на четвертое трехлетие. Так как и Прокоп ревновал, и Лизоблюд ревновал, то и назвали Лизоблюда Прокопом, да с тех пор словно даже и забыли настоящую его фамилию: все Прокоп да Прокоп.

Прокоп гордился своими предками. Не говоря уже о том Лизоблюде, который еще в доисторические времена тарелки лизал, много было Лизоблюдов, которые лизали тарелки и во времена позднейшие, освещенные светом истории. Проводя время в этом занятии, некоторые из них приобрели себе вотчины и до такой <степени> усилились, что когда вступил на престол Гришка Отрепьев, что Кирюшка Лизоблюд был послан в Астрахань для побужденья мятежных астраханцев к скорейшей присылке икры для царского стола. Но в половине XVIII столетия звезда Лизоблюдов померкла. Никита Лизоблюд, имея наклонности пьяные и прожорливые, замешался в историю Лопухиной, и хотя сентенцией суда был приговорен

к наказанию кнутом с урезанием языка и к ссылке на каторжные работы, но ради неистовой его глупости урезание языка и ссылка на каторгу были заменены ссылкой в залупские вотчины навечно. С этих пор и до наших времен фамилия Лизоблюдов делается исключительно рассадником залупской культурности и играет большую роль в той оппозиции, которую чистопсовые с такою твердостью выдерживали против местной администрации.

Семейство Прокопа состояло из жены, сына и двух дочерей уже на выданье. Жена его слыла когда-то красавицей, да и теперь, когда ей было уже около сорока, она производила в Залупске сенсацию. Это была очень добрая и до крайности жеманная женщина, как все русские провинциальные барыни, родившиеся в захолустье и привыкшие с детства играть в нем роль. Во всех культурных подвигах Прокопа она приносила ему весьма существенную пользу; никто не умел так ласково принять и так радушно накормить, как Надежда Лаврентьевна, ни у кого не подавалось таких роскошных обедов, и никто так красиво и строго не выступал в зале собрания во время балов. Даже губернатор называл ее не иначе как царицей Залупска и во всех официяльных торжествах выступал с ней в польском в первой паре. В особенности же видно выдавалась она во время выборов, когда со всей губернии съезжались в Залупск из деревень «песьи головы», как называл их Прокоп. В то время, как муж политиканил с старцами, то есть накачивал и набивал им мамоны, а некоторым даже шил на свой счет по паре платья, Надежда Лаврентьевна делалась центром, около которого собиралась молодежь. В этих кружках бывало всегда весело — тут присутствовали все представительницы залупского высшего общества, сытые, белые, полные, с сахарными плечами, охотницы и сами поврать и послушать как другие врут; тут велся пряный и щекочущий разговор, бесцеремонно бивший на возбуждение чувственности. В результате — поднесение на блюде белых шаров, которые Прокоп принимал со слезами на глазах.

Не менее полезна была мужу Надежда Лаврентьевна и в сношениях с залупскою администрацией. Прокоп был груб и не раз ставил администрацию в тупик своею бесцеремонностью, хотя после и приносил в том чистосердечное раскаянье. Однажды администрация даже не на шутку рассердилась, и уверяли, что было уже произнесено слово: фюить! Прокоп малодушествовал и плакал, но прощения не просил. Этот загадочный малый желал бы, чтоб администрация, по секрету, видела его слезы и убедилась в его раскаянии и чтоб прощение пришло само собой. Но никто слез не видел и слово «фюить»

было сказано вторично. Тогда на выручку явилась Надежда Лаврентьевна, и в первый раз, как «хозяин губернии» подал ей в польском руку, она так томно вздохнула и так трепетно держала его руку, что он невольно спросил ее: а ручку поцеловать можно, ежели я к вам завтра утром приеду? — и сейчас после того сам подошел к Прокопу и заговорил с ним как ни в чем не бывало.

Единственный сын Прокопа Гаврюша похож на отца до смешного. То же круглое брюхо, те же круглые плечи, то же мопсичье лицо, забавное во время покоя и со складками на носу и на лбу во время гнева. Прокоп любит его всем нутром своим, ласково рычит во время появления его в воскресенье и праздничные дни, сам садится, а его ставит перед собой, берет за руки, расспрашивает, чем его во время недели кормили, смотрится в него словно в зеркало. Воспитывается Гаврюша в Лицее прежде всего на том основании, что оттуда титулярными советниками выпускают, а еще больше потому, что в закрытом заведении, хочешь не хочешь, а в конце концов все-таки «человеком» сделаешься.

— По себе, брат, знаю, что дома ученье плохое,— открывался мне по этому случаю Прокоп,— чего уж покойный папенька со мной ни делал — и сек, и голодом держал, и в темную сажал — не могу никуда экзамена выдержать, да и полно. До сих пор ни одного текста из катехизиса не знаю — что хорошего!

— Да ведь на собраниях из катехизиса не спрашивают,— возражал я.

— Все-таки. Разговоры бывают. Не из катехизиса, так из географии. Кабы я экзамены-то выдерживал, и я бы из географии разговаривал, а теперь только на других смотришь, смеются или нет.

— Так что ж! сходило до сих пор — и слава богу.

— Ну, брат, не всегда. Ехидные нынче люди пошли: испытывают. Иной, братец, целый разговор с тобой ведет — ты думаешь вправду, а он на смех.

— И все-таки дай бог всякому таким «человеком» быть, каким ты сделался.

— Да уж это я после человеком сделался, когда папенька за ум взялся да определил меня в полк. Надели на молодца солдатскую шинель да стали на корде гонять — ну, и сделался человеком.

— Так и с Гаврюшей ты так поступи.

— Нельзя, голубчик, не тем нынче пахнет. Нынче над юнкерами-то смеются. А в заведении в этом... а вдруг, братец ты мой, Гаврила Александрович мой министром будет!

Прокоп захохотал, но тем загадочным смехом, из которого нельзя понять, точно ли человек смеется или только в заблуждение вводит.

— Так вот я и решился. Только бы он у меня экзамен выдержал, а там уж я буду покоен. Туда только поступить нужно, а там уж доведут. Разве вот человека зарежет...

— Что ты! Христос с тобою!

— То-то, об этом-то я и говорю. А ты, впрочем, что об этом думаешь? Я брат, маленький тоже чуть-чуть человека не зарезал — да! Раз, после грамматики, секли меня, секли — ну, думаю: непременно я этого проклятого учителя зарежу!

— Так неужто же ты так-таки и зарезал?

— Эх, братец, чудак ты! Я сказал для примера, а он и поверил!

И действительно, Гаврюша третий год находился в заведении — и ничего. Жаловались воспитатели, что он во время репетиций забирается в шинельную и спит там, вследствие чего потом уроков отвечать не может, но Прокоп и не требовал от сына блеска, а просил только бога, чтоб как-нибудь его до конца довел.

Дочери у Прокопа были уж невесты: одна, Наташенька, восемнадцати лет, другая, Леночка,— семнадцати. Обе пошли в мать и наружностью, и жеманством, и наклонностью к лакомству. Наташенька склоняла голову на правую сторону, Леночка на левую, что сообщало им какую-то трогательную грацию. Обе ходили в одинаковых платьицах, обе подавали посетителю ручку как-то нехотя, словно вынужденные обстоятельствами, и обе ходили, слегка привскакивая на носках. Вообще были девушки здоровые, полные и аппетитные, но как бы совестились за свою аппетитность и от всей души просили бога о ниспослании им <худобы>.

Вечером, когда я пришел к Прокопу, у него уже сидел какой-то генерал, но до такой степени унылый, что я подумал, что у него или жена сегодня скончалась, или болит живот. Он имел такой странный вид, словно его пеплом обсыпали. Лицо пепельного цвета, волосы пепельного цвета, даже мундирный сюртук не чищенный, словно кусочки пепла на нем. Прокоп рекомендовал его мне:

— А вот его превосходительство генерал Николай Батистыч Пупон! Русский! Отец его, Батист Северьяныч,— тоже генерал был, только француз, вместе с русскими Париж в восемьсот четырнадцатом году брал, ну, а этот уж настоящий русский, наш залупский дворянин.

Надежда Лаврентьевна приняла меня любезно и позволила даже ручку поцеловать. Наташенька и Леночка любезно

поклонились, каждая с своей стороны, Гаврюша сидел в углу, держа в обеих руках по яйцу и пробуя, которое крепче.

— Обделал! — шепнул мне на ухо Прокоп,— десятирублевенькую дал!

— Что ж! куда же?

— Нет, говорит, теперь местов нет, а впоследствии... Будут, говорит, скоро два места, да уж их обещали! А потом, говорит...

— Да не врет ли?

— Верно, братец! После этих двух мест — первое...

— Ну, и слава богу. Покуда ты за границу съездишь, покуда что — смотришь, оно и откроется!

Сели в кружок и стали разговаривать. Разумеется, сначала на погоду пожаловались и выразили мнение, что никогда такой скверной святой не бывало. Потом пошли новости из Залупска, странные новости, в которых главную роль играли плюхи.

— У нас, брат, нынче все разговоры плюхами кончаются! — весело резюмировал Прокоп рассказы Надежды Лаврентьевны.

Подали наконец самовар и целую кучу булок и кренделей. Гаврюша, все упорствовавший сидеть в углу, при виде самовара оживился и стал помаленьку пододвигаться к столу. Прокоп толкнул меня локтем в бок и подмигнул в его сторону. Маневр сына, очевидно, радовал его.

— Что, брат, видно, булками запахло? — пошутил Прокоп и потом, обращаясь ко мне, прибавил: — Вот, брат, тебе хочу на сына жаловаться — урока не знал.

— Ах, мой друг, охота тебе ребенка конфузить! — вступилась Надежда Лаврентьевна,— тебе, Гаврюша, с чем: со сливками или с вареньем?

— Мне, маменька, сливок побольше.

— Ешь, братец, ешь. От еды здоров человек бывает, только одна еда тоже не годится: еда сама по себе, а урок сам по себе.

Гаврюша тряхнул головой, словно муху смахнуть хотел.

— Поди ко мне. Говори: отчего ты урока не знал?

Прокоп притянул Гаврюшу к себе, поставил против колен и всем своим лицом смотрел на него. Очевидно, что в эту минуту он не променял бы никакого Ньютона на своего не знающего урока Гаврюшу.

— Отчего ты урока не знал?

Гаврюша вдруг фыркнул.

— Стыдно, братец! А я давеча еще говорил: министром у меня Гаврюшка будет! Ну, теперь ешь.

— А вы что ж, ваше превосходительство! — обратился Прокоп к генералу,— хлебца бы да с маслицем!

— Да, да, маслица, молочка, яичек... это можно! Надежда Лаврентьевна! Маслица бы, маслица мне! — как-то жалобно попросил генерал и затем, сложив руки между колен, оглядел всех безнадежным взором.

— Вот и генерал с нами за границу едет,— сообщил мне Прокоп.

— Да вы серьезно едете? — спросил я Надежду Лаврентьевну.

— Едем. Надо же...

— Я раз шесть за границей был, а оне еще ни разу,— объяснил Прокоп.— Пускай поездят да посмотрят. Нельзя же...

— А вы, генерал, для здоровья?

— Нет, я здоров, даже совсем здоров. Вот только грусть у меня... Никто объяснить не может. Во́ды какие-нибудь, может быть...

— Генерал еще в кадетском корпусе мозгу сотрясение получил,— с обычной бестактностью влепил Прокоп,— с тех пор вот и пе может...

— Не могу! и рад бы, да не могу! Даже в цирк не езжу, потому что из пистолетов стрелять стали. Хотел было по дипломатической части идти — папаша не позволил. Папаша у меня храбрый был, у Марии-Антуанетты ручку целовал. А теперь вот мы русские.

— Однако дослужились же вот генерала? — не мог я воздержаться от вопроса: до такой степени сильно было мое недоумение.

— Да по кавалерии... кажется, я по кавалерии нахожусь?

— Нет, в ученом комитете заседаете,— сострил Гаврюша, и тут же сам фыркнул своей остроте.

— С генералом, брат, такие приключения были — и не дай бог! расскажите-ка, ваше превосходительство!

— Нет, мой друг, нет! Я вот еще немножко маслица, да и домой... бай-бай пора! в другой раз!

— Ах, генерал, генерал! Женился бы ты, друг, и всю бы эту робость с тебя как рукой сняло! А у меня кстати и невесты есть — выбирай!

Генерал раскраснелся, молодые девицы строго взглянули на отца и гордо выпрямились. Даже Надежда Лаврентьевна словно растерялась.

— Чего на меня глазами уставились? — продолжал хладнокровно Прокоп,— разве не правду я говорю? Чем не невесты! Генерал! смотри! — <2 нрзб.>

Все как-то оторопели, один Гаврюша так фыркал, что брыз-

ги летели с блюдечка во все стороны. Вероятно, собственно для утешения Гаврюши Прокоп и завел этот разговор. Генерал заторопился и стал прощаться.

— Куда, брат? испугался? Небось, сило́м под венец не поведем! — разуверял его Прокоп,— я только так говорю: невесты, мол, есть — первый сорт.

— Alexandre! финиссе! — строго заметила Надежда Лаврентьевна.

— Ну-ну, ступай, генерал Пупон! Спи там. Постель-то у тебя узкая да холодная... или, может быть, мамзель...

— Александр! тебя просто слушать нельзя! — сказала Надежда Лаврентьевна с гневом, но так, что глаза ее так и искрились от удовольствия.

— Ступай, ступай, жених! так через десять дней едем! — говорил Прокоп, провожая генерала в коридор и тотчас же возвращаясь назад.

— Бог знает, что ты говоришь! — укоряла его Надежда Лаврентьевна.

— Что ж я сказал! сказал, что дочки у меня невесты — это всякий видит. Что они пышки — и это всякому видно! А другой, может, и видит да не смекает — ему наука: вникай, братец! Вот хоть бы он! может, жениться захочет — чем не пара! — указал он на меня и в то же время перемигнулся с Гаврюшей, так что он опять фыркнул.

— А впрочем, будет! Пошутили, Гаврило Александрыч, крошечку,— и будет! Довольно, мой друг! родите<льница> гневаться будет! А я тебе про этого генерала когда-нибудь расскажу! — обратился он ко мне.

— Знаете ли что? не поехать ли и мне с вами?

— А чего ж лучше! и прекрасно! С нами, брат, весело будет. Да ты уж бывал?

— Нет, не был. И даже намерения не имел. Да вот сегодня, пришел ты, говоришь: еду — ну и я задумался. Надо же... в самом деле!

— Разумеется, надо. Только уж ты, брат, коли едешь, так меня держись. Я эту «заграницу» как свои пять пальцев знаю, знаю, где что спросить, где как поесть, где гривенничек сунуть. Я как приеду в гостиницу — сейчас на кухню и повару полтинник в руки. Всё покажет. Да я уж тебя научу.

— И так это приятно будет! — отозвалась Надежда Лаврентьевна,— все вместе и останавливаться будем! за границей — и все равно как у себя дома. Не правда ли, генерал?

— Не знаю... я ванны брать буду!

— Не все же в ванне будешь сидеть. Чай, и поесть захочешь! — засмеялся Прокоп.

— Нет уж, я уж...

— Уныние ты на всех будешь наводить — вот это верно. Ах, генерал, генерал! Храбрый ты какой был, сражение на Средней Подьяческой выиграл — и вдруг, что с тобой сделалось!

— Таковы плоды человеческой ненасытности!

Генерал сказал это таким безнадежным тоном, что все вдруг смолкли. Даже я, ничего не понимая, вздохнул. Этот унылый вид, это пепельное лицо, очевидно, скрывали какую-то тайну. Кто знает? Может быть, он ждал в этот день награды и не получил ее?

— Больно? — первый прервал молчание Прокоп, обращаясь к генералу.

Но генерал даже не ответил на этот вопрос. К величайшему моему удивлению и к смущению девиц, которые в одно мгновенье куда-то скрылись, он вскочил с места и начал расстегивать свой форменный сюртук. Потом расстегнул жилет, рубашку и обнажил довольно волосатую грудь.

— Смотрите, молодой человек, и да будет это вам уроком! — обратился он ко мне, неизвестно почему считая меня за молодого человека,— читайте! вот здесь, пониже левого соска,— что вы видите?

Я приблизился и действительно увидел нечто в высшей степени странное. В нижней части груди, в том самом месте, на которое сейчас указал генерал, замечалось четвероугольное пространство, усеянное беловатыми пупырышками вроде сыпи. Но когда генерал ударил по этому месту двумя пальцами, то пупырышки мгновенно покраснели, и я мог прочесть следующее:

К СЕМУ ТЕЛУ АГГЕЛ
САТАНЫ, ИВАН ИВАНОВ,
ДОМОВОЙ, ЗА БЕЗГРАМОТНОСТЬЮ,
ПЕЧАТЬ ПРИЛОЖИЛ.
АНАФЕМА!

— Теперь вы знаете роковую тайну моего горького существования! — произнес генерал, покуда я, вне себя от изумления, смотрел на него,— покуда я был субалтерн- и штаб-офицером, все знали отважного Пупона, все приглашали и чествовали его, отовсюду слали ему телеграммы, во всех трактирах пили его здоровье, даже историк Соловьев, задумывая сороковой том своей истории России, чуть не упал от радости в обморок, когда я доставил ему докладную записку под названием «К истории Смутного времени». Теперь я генерал — и все вдруг изменилось. Пупон забыт, Пупон отвержен, Пупон отчислен по кавалерии, а в довершение всего, я получил сегодня от господина

Соловьева свою записку обратно с надписью: «невозможно, чтобы человек, в здравом уме находящийся, мог совершить столь великое множество дел, коим даже не весьма стыдливая Клио — и та не решается верить». Скажите, ка́к по вашему мнению: обидно это или не обидно?

— Да, конечно... Уж если даже Клио зарумянилась, так, должно быть, порядочно-таки вы в этой записке накуролесили. Ну, извините меня, генерал, меня так заинтересовала надпись, сделанная у вас на груди, что если бы вы были так любезны, объяснили ее происхождение, то я счел бы это за величайшее для себя одолжение.

— Увы! это была одна из тех роковых ошибок молодости, которые нередко окутывают всю остальную жизнь человека. Вот он (генерал указал на Прокопа) знает эту грустную историю — когда-нибудь он и расскажет вам ее.

— Ну, нет, я рассказывать не мастер, да и некогда мне,— отказался Прокоп,— а рассказывай-ка ты сам. Нужды нет, что мы знаем твою историю,— мы и в другой раз прослушаем,— всё лучше, чем так-то сидеть, А он вот узнает!

— Хорошо. Я расскажу все по совести, как было,— сказал генерал,— но беру бога в свидетели, что делаю это не ради удовлетворения пустому тщеславию, но единственно ввиду того, чтоб молодые люди, склонные к мечтательности и к благородным подвигам, знали, что даже в области пресечения и предупреждения мечтательность не всегда ведет к той цели, которой они себя предназначали.

Мы все собрались вокруг генерала и приготовились слушать.

Генерал начал:

<. . . . .>

ГЛАВА 4

Поехали

Через неделю, в одиннадцать часов утра, я был уже на дебаркадере Варшавской железной дороги. Прокоп был тоже исправен, и в ту минуту, как я подъехал к станции, он уже распоряжался с багажом. Я насчитал до двенадцати сундуков, да кроме того, у него в каждой руке было по чемодану, которые он, вероятно, надеялся провезти бесплатно.

Серая погода преследовала нас, и перед станцией стояло целое море грязи. Неподалеку виднелся закопченный остов фейгинской мельницы, около которого шныряло стадо адвока-

тов. Казалось, он еще дымился и дух Овсянникова парил над ним. Прокоп, поздоровавшись со мной, мигнул мне по направлению к зданию мельницы.

— Из-за полтинника какую кашу заварил! — по обыкновению, изумил он внезапностью мысли.

— Ка́к так из-за полтинника?

— Известно, из-за полтинника. На низу помол дешевле на копейку — вот он и того... А мельница-то застрахована...

— Ну, нет, это, кажется, ты уж чересчур хватил. Миллионер да будет об таких пустяках думать!

— А ты душу человеческую знаешь?

— Нет, но во всяком случае...

— А я знаю. У нас в Залупске миллионер Голопузов живет, так извозчик у него пятиалтынный просит, а он ему гривенник дает. И разговаривает, и усовещивает: креста, говорит, на тебе нет! И так пешком до места и дойдет! Так вот оно, что душа-то человеческая значит.

В эту минуту целая масса людей из всех отверстий мельницы высыпала к наружному ее фасу со стороны Обводного канала.

— Ишь! ишь! адвокатов-то что собралось! — произнес Прокоп,— это они слам делят!

— Какой еще слам?

— Такой и слам, что один какой-нибудь возьмет себе всю тушу, примерно хоть за сто тысяч,— пятьдесят тысяч ему, а другие пятьдесят — на драку!

— Скажи по совести! ведь ты это только сейчас выдумал?

— А если и выдумал — важность какая! Не в том штука, что выдумал, а в том, что правильно выдумал. Смотри-ка! смотри-ка! остановились! глядят! Ах, чтоб им пусто было! Ишь-ишь! Белый к стене подошел, штукатурки отколупнул — это у него «совершенное» доказательство будет!

Поезд был невелик, и нам отвели роскошный вагон, в котором, кроме отдельных купе, был еще прекрасный салон. Нас никто не провожал,— нынче как-то и провожать культурных людей ни для кого не интересно, только около Прокопа терся какой-то маленький человечек, да и тот большею частью или молчал, или, по первому манию Прокопа, мгновенно исчезал в пространстве и снова, как метеор, появлялся.

— Кто это тебя провожает? — полюбопытствовал я.

— А чиновник один... из духовной консистории.

— Как он к тебе попал?

— А так... может, нужен будет.

Кроме Прокопа с семейством, меня и генерала Пупона, было еще пятеро пассажиров: молодой тайный советник, ко-

торый ожидал к празднику Белого Орла, а вместо того в другой раз получил корону на святыя Анны, и в знак неудовольствия отправлялся вояжировать; адвокат, который тоже был обижен тем, что не был приглашен по овсянниковскому делу ни для судоговорения, ни даже на побегушки; старичок с Владимиром на шее (до Эйдкунена), который, по-видимому, ехал за границу лечиться; молодой литератор; пятый персонаж смотрел как-то таинственно; он был одет в восточный костюм вроде халата, а на голове у него была надета ермолка. Войдя в вагон, он занял место в противоположном углу и молча глядел в окошко в противоположную дебаркадеру сторону.

Прокоп, по обыкновению, всем интересовался и приставал ко мне с вопросами: это кто? При этом он, по привычке всех провинциялов, указывал пальцем и делал свои замечания так громко, что я каждую минуту трепетал, что он меня скомпрометирует. Прежде всего он заинтересовался адвокатом, уверял меня, что видел его, долго припоминал где и наконец-таки вспомнил, что в Муромском лесу.

— Насилу, брат, мы от него удрали! — присовокупил он в виде заключения.

Но больше всего заинтересовал его восточный человек. Он долго вглядывался в него, бормоча про себя: убей меня бог, ежели я его не видал! И наконец-таки вспомнил.

— А ведь это от Огюста татарин! — сказал он,— он! именно он! Я, брат, его знаю! Я и в костюме их видывал. В ноябре они к своему причастию ходят, так этим же манером наряжаются!

И, не дожидаясь моего ответа, обратился к восточному человеку.

— Здравствуй, саламалика! ты как сюда в первый класс попал!

Восточный человек изумленно посмотрел на нахала и чистейшим русским языком отвечал:

— Проваливай мимо.

Наконец поезд пошатнулся и тронулся. Всякий по-своему выразил при этом чувство, одушевлявшее его в эту минуту. Прокоп снял картуз и, перекрестившись большим крестом, громко произнес: с богом! старичок с Владимиром на шее тоже перекрестился, но как-то робко, словно это не входило в круг его прямых обязанностей. Пупон хотел последовать их примеру, но печать антихристова не давала ему. Несколько раз усиливался он сотворить крестное знамение, но, вероятно, «отец лжи» зорко следил за его движениями, потому что, после нескольких попыток, рука его бессильно опустилась вниз. Восточный человек, очевидно, хотел совершить омовение, но,

за невозможностью, сотворил бренпе и помазал им себе волосы. Адвокат долго следил унылом взором за исчезающей в тумане мельницей. Наконец вынул фотографическую карточку Овсянникова и впился в нее глазами, словно заранее оплакикивая невинное его осуждение. Литератор, как только тронулся поезд, вынул из кармана газету и уткнулся в нее. Молодой тайный советник открыл окно и долго махал платком, прощаясь с провожавшими его столоначальниками. Наконец, когда поезд уже въехал в самое царство болот, сел и горько улыбнулся, словно укоряя отечество в неблагодарности. Я уверен, что он воображал себя в эту минуту Кориоланом, но, более великодушный, чем Кориолан, он не намеревался привести вольсков для отмщения нанесенной ему обиды,

Мне было не по себе. По мере того как поезд прибавлял ходу, мне казалось, что внутри у меня все больше и больше пустеет. Теперь впервые мне с особенной резкостью представился вопрос: зачем я еду? и впервые же шевельнулось какое-то смутное сознание, что я что-то за собой оставляю. Я — человек привычки, и всякое передвижение меня волнует, так что когда я переезжаю на лето из Петербурга в деревню, меня всегда беспокоит вопрос: что-то будет? и такой же вопрос беспокоит и в то время, когда я на зиму переезжаю назад в Петербург. Теперь этот вопрос беспокоил меня, так сказать, сугубо. Собственно говоря, я оставлял за собой очень мало: смутную тоску о чем-то и смутное желанье чего-то, но в самой этой смутности было что-то привлекательное. Как будто проснулся и ходишь в халате, и не хочется ни умываться, ни одеваться, ни даже к чаю притронуться: все бы ходил взад и вперед да думал. Об чем бы думал? — право, сто против одного можно пари держать, что никто даже сколько-нибудь ясного ответа на этот вопрос не может дать. Так что-то мелькает и исчезает, и опять мелькает, и опять исчезает. То мотив какой-нибудь раздастся и смолкнет, то вдруг образ какой-то осветится и потухнет. Ходишь-ходишь и усталости даже не замечаешь. Хорошо ли предаваться этой неумывающейся мечтательности — это вопрос другой, но, мне кажется, она представляет собой элемент современной русской жизни. Без ясных сожалений в прошлом и без ясных желаний в будущем. И ко всему этому прибавьте оторопь. Русский человек двигается нехотя, словно боится, что вот-вот нечто разверзнется и поглотит его. Как будто на каждом шагу его ждут сюрпризы, которые перевернут вверх дном его жизнь. Эту же робость, это же недоверчивое ступание по суху, яко по морю, приносит он с собою и повсюду, даже туда, где уже никаких сюрпризов не по-

лагается. Все ему кажется, что или кондуктор его обидит, или засудят его, или вдруг... фюить!

Вот я, например. Правда, я не был за границей, но весь склад моей жизни, все воспитание, все идеалы — все было заграничное. Я и парле-франсе умею, и Наполеона III обругать могу, и об Бисмарке два-три анекдота знаю, и даже некоторые обычаи знаю. Один знакомый мне сказал: там за табльдотом семь блюд подают! другой сказал: если вы в Париже будете в ресторане что-нибудь спрашивать, то не говорите: je vous prie[1], a s'il vous plaît[2], потому что вас сейчас за русского примут. Стало быть, куда бы я ни приехал, везде как у себя дома буду. И за всем тем — все-таки берет оторопь. Вот теперь Эйдкунен через сутки, а все кажется: пройдет ли? Точно к родителям из школы едешь и за неделю дурную отметку на билете несешь. Каковы-то кондуктора там? Обходительны ли извозчики? не строги ли содержатели отелей? Вот Прокоп говорит, что там на этот счет строго: в известный час обедать иди, в известный час восхождение на Риги делай — все равно как арестант. Как я за табльдотом обедать буду? Я привык дома на просторе есть, а тут вдруг поднимешь глаза, а они в немца упрутся. Вдруг он обидится и предложит мне за погибель Франции пить? А я Францию люблю! да, люблю я тебя, Франция, люблю, несмотря на то, что ты в настоящую минуту не Франция, а Мак-Магония. Буду ли я с немцем пить!

Буду ли я вообще все те мерзости проделывать, которые проделывают русские люди, шлющиеся на теплых водах! Буду ли я уверять, что мы, русские,— свиньи, что правительство у нас революционное, что молодежь наша не признает ни авторитетов, ни собственности, ни семейства и что вообще порядочному человеку в России нельзя дышать?

Буду ли говорить? — вот странный вопрос! разве я знаю, что я буду говорить? разве я могу определить заранее, что я скажу, когда разговорюсь? Вот если бы я один обедал, разумеется, я бы молчал, да и тогда, может быть, не утерпел бы сказать немцу, что все русские — свиньи, а то за табльдотом — помилуйте! Сто немцев смотрят на тебя, и все как будто говорят: а это ведь русский! Как тут утерпеть! как тут не сказать: господа! не смотрите, что я русский! Я действительно русский, но очень хорошо понимаю, что русские — свиньи!

Покуда эти мысли толпились у меня в голове, Прокоп делал свое дело. Он расхаживал по вагону, приискивая случая

---

[1] прошу вас.
[2] пожалуйста.

завести знакомство с пассажирами. Долгое время он посматривал на восточного человека, который, по-видимому, в особенности его интриговал, но заговорить с ним, однако, не решился, а подсел к адвокату, и между ними произошел следующий разговор:

— Вы адвокат, кажется? — начал Прокоп.

— Имею честь быть таковым! — ответил авдокат.

— Фамилия ваша?

— Проворный, Алексей Андреич.

— Как будто мы с вами встречались?

— Очень может быть.

— В Муромском лесу будто. Я в саратовскую деревню, помнится, ехал.

Проворный недоумевающими глазами взглянул на него.

— Как ее, станция-то? Булатниково, что ли? Еще там ваш, для приготовления адвокатов, кадетский корпус был? — не смущаясь, продолжал Прокоп,— ну, да, впрочем, что тут! ведь вы тамошние места бросили?

— Извините... тут есть какое-то недоразумение... Муромский лес... Булатниково... Я даже никогда не бывал в тех местах...

— И хорошо сделали, что бросили. Там нынче проезжих мало: все на нижегородку бросились. В Петербурге лучше. Нынче в Петербург, на Литейную, Муромские леса переведены. Овсянниковское дело знаете?

— Был приглашаем-с.

— То-то. Я и сам давеча на вас смотрю и думаю: как этакого не пригласить! По этому делу, значит, и за границу едете?

— Нет, я сам по себе. Я в этом деле не участвую.

— В цене, что ли, не сошлись?

— В условиях-с.

— Да, бишь. Прежде спрашивали: какая ваша цена будет? а нынче: какие ваши условия?.. Благородно! А как по вашему мнению — поджег он мельницу-то?

— Это зависит-с.

— То есть, как же это — зависит?

— От взгляда зависит. Как посмотреть на дело. С одной точки зрения посмотреть — выйдет поджог, с другой — выйдет случайность.

— То есть и нашим и вашим. Ну, а по настоящему-то, по правде-то как?

— По моему мнению, истина есть плод судоговорения.

— Чай, поджог-то до судоговорения был!

— Был пожар-с, но что было причиной его: поджог, или

неосторожность, или действие стихий — это тайна судоговорения-с.

— Стало быть, можно по судоговорению что хочешь доказать?

— Можно-с.

— У меня, например, в Саратовской губернии имение есть — можно доказать, что оно не мое?

— Ежели есть противная сторона — можно-с.

— Вот так судоговорение!

Прокоп испуганными глазами взглянул кругом, как бы ища, нет ли между присутствующими «противной стороны». И действительно, молодой тайный советник, до сих пор относившийся к разговору с молчаливой иронией, счел долгом и свое мнение высказать.

— По моему мнению, господа,— сказал он,— ваш спор сводится к следующему вопросу: что должен преследовать суд: осязаемую ли правду, ту, которая представляется уму в виде непререкаемого факта, или правду юридическую, которая представляется уму не непосредственно, но вооруженная указами и доказательствами? Так, кажется?

— Совершенно так,— согласился адвокат.

Прокоп взглянул в мою сторону, как бы не зная, согласиться ему или нет. Я поспешил кивнуть головой.

— Мне что ж! — сказал он,— по мне, пожалуй.

Меня самого этот вопрос занимал не мало, ибо как начальник отдельной части, я сталкивался с ним почти на каждом шагу.

<. . . . .>

ГЛАВА 5

Продолжаем ехать

В Луге, по дороге к вокзалу, Стрекоза подхватил меня под руку и сказал:

— Мы, кажется, с вами знакомы?

— Кажется,— ответил я.

— Мы с вами пошли разными дорогами, но надеюсь, что это нисколько не должно мешать нам взаимно уважать друг друга.

Он сжал своим левым локтем мой правый локоть, а правою рукой пожал мою левую руку.

— С большим удовольствием,— отвечал я.

Стрекоза слегка прищурился и взглянул на меня.

— Вы, кажется, это в ироническом смысле изволите?
— Нет, я без всякого смысла, а так...
— Жаль, очень жаль.
Не покидая моей руки, он засвистал какой-то мотив, и таким образом до самого вокзала мы шли рядом.
— Вы мои последние распоряжения читали? — возобновил он разговор.
— Нет, не читал.
— Не интересуетесь?
— Сами по себе они, вероятно, интересны, но для меня — нет.
— Вот если бы вы читали, вы должны были бы сознаться, что были неправы.
— В чем не прав?
— В том, что имеете на меня совершенно неверный взгляд.
— Да помилуйте! как будто вам мой взгляд нужен!
— И даже очень. Вы, может быть, забыли, но я очень, очень многое помню.
И он пожал мне локоть. Неприятно мне это было, а впрочем, с другой стороны,— что же! пожалуй, жми!
— Как хорошо было двадцать лет тому назад! — воскликнул он и даже рот на мгновенье полураскрыл, как бы вдыхая невесть какой аромат.
Я не ответил, он еще крепче пожал мою руку — что ж, жми, братец, жми.
— Вы были тогда неправы относительно меня — мы об этом когда-нибудь по душе с вами поговорим. Вы куда едете?
Я назвал ему несколько пунктов.
— Это приблизительно и мой маршрут. Скажите, что это за чудак, который вас сопровождает?
Я назвал.
— Так эти дамы — его жена и дочь?
Стрекоза надел на глаза пенсне и, сжав губы, внимательно осмотрел дам, которые в это время кушали цыпленка, словно играя им.
— Интересные особы,— сказал он,— а можно с ними познакомиться?
— Познакомьтесь.
В эту минуту я увидел, что Прокоп, совсем запыхавшись, бежит к нам.
— Ну, что! не говорил я? не правда моя? — кричал он издали, махая руками.
И, подбежавши, торжественно объявил:
— Науматуллу видел.

— Да ты, по крайней мере, говори толком,— сказал я, едва воздерживаясь от раздражения.

— Из Бель-Вю Науматуллу; он тоже с нами за границу едет, вот с этим, с нашим... ну, который у нас в вагоне сидит.

— Да мне-то, наконец, что за дело до всего этого?

— Как что за дело! ведь я от Науматуллы узнал про него. Ведь он принц, только инкогнито соблюдает.

— Душа моя! ведь это, наконец, утомительно!

— Чего утомительно? да ты взгляни, а потом и говори! вон они сидят. Науматулла-то уж камергером у него. С Бель-Вю рассчитался.

Я взглянул: действительно, восточный человек сидел за общим столом и пил шампанское, которое Науматулла, сидевший с ним рядом, наливал ему.

— Ты вот болтаешь, а потом голоден будешь,— сказал я Прокопу,— садись-ка лучше да ешь.

— Нет, я хочу тебе доказать! Хоть я и не отгадчик, а взгляд у меня есть! Псст... псст...— сделал он, кивая головой Науматулле. Науматулла встал, что-то почтительно доложил восточному человеку, потом налил три бокала и на тарелке поднес их нам.

— Прынец просит здоровья кушать! — сказал он.

Прокоп принял бокал и, выступя несколько вперед, почтительно поклонился. Я и Стрекоза тоже взяли свои бокалы. Восточный человек, улыбаясь во весь рот, посмотрел на нас. Очевидно, впрочем, что он симпатизировал только Прокопу, а нам уж так, сбоку припека.

— Да какой же, однако, принц? — спросил Стрекоза Науматуллу.

— В Эйдкунен — всё будем говорить. До Эйдкунен — всё будем молчать. Еще шампанского, господа, угодно?

— Да, может, это мятежник какой-нибудь? — усомнился вдруг Прокоп.

— Сказано: в Эйдкунен — всё будем говорить. И больше ничего! — отвечал Науматулла и исчез с подносом в толпе.

Мы остались в недоумении, из которого первый нас вывел Прокоп.

— Как же с ним обращаться? чай, титул у него есть? — сказал он,— Науматулла, признаться, мне сказывал, да ведь этих саламаляк не поймешь. Заблудащий, говорит.

— В Эйдкунене узнаем-с,— отозвался Стрекоза.

— Беглый какой-нибудь! — продолжал Прокоп,— ишь, шельма, смелый какой! и не боится! так с своим обличьем и едет! вот бы тебя отсюда к становому препроводить — узнал бы ты, как кузькину мать зовут.

— В Вержболове, быть может, так и поступят-с.

— А все-таки, принц! там как ни говори: свиное ухо — а и у них, коли принц, то видно, что есть свыше что-то. Вот кабы он к Наташеньке присватался, я бы его в нашу веру перевел. В Ташкент бы уехали, общими силами налоги бы придумывали, двор по примеру прочих содержали бы...

— Что ты? да ведь Ташкент-то теперь русский!

— А может, царь и простит, назад велит отдать. Мы против России — ничего: мы — верные слуги. Контракт такой заключим. Смотри-ка! Науматулла опять, никак, шампанского несет! Не трогай, я его расспрошу!

Действительно, Науматулла опять стоял перед нами с наполненными бокалами и говорил:

— Второй раз прынец приказал здоровье пить! Он здоров и хочет, чтобы вы, господа русские, здоровы были!

— Да кто твой принц? Татарин, что ли? — спросил его Прокоп.

— Не татарин, а заблудащий. В Эйдкунен всё скажем; до Эйдкунен — молчим.

— Пить ли? — как-то сомнительно обратился ко мне Прокоп.

К счастью, звонок прервал все эти вопросы и недоразумения. Мы наскоро выпили и поспешили в вагон, причем я на ходу представил друг другу Стрекозу и Прокопа. В вагоне мы уж нашли восточного человека, уже расположившегося на своем месте. Прокоп тотчас же подошел к нему и поблагодарил за внимание, на что восточный человек отвечал, щелкнув пальцами по подушке соседнего места, как бы приглашая его сесть рядом.

Некоторое время Прокоп пытался завести разговор и, как всегда водится в подобных случаях, выдумал даже какой-то совершенно своеобразный язык для объяснения с восточным человеком.

— Далеко? луан? — начал он, несколько раз махнув в воздухе рукой куда-то вдаль.

Восточный человек засмеялся в ответ и тоже махнул рукой.

— Дела есть? афер иль-я?

Восточный человек продолжал махать рукой.

— И я тоже туда! е муа осси лебà! Я без дела! комсá!

Но восточный человек, по-видимому, ничего не понимал и только смотрел как-то удивительно весело, раскрыв рот до ушей.

— Не понимаешь? Ну, нечего делать, давай так сидеть; друг на дружку смотреть будем!

И в самом деле начали смотреть друг на друга, и вдруг им сделалось до того по душе, что оба расхохотались. За ними расхохотались и другие, так что даже Надежда Лаврентьевна полюбопытствовала и высунула через дверь голову из своего купе.

— А вот это — ма фам! — как-то совсем неожиданно представил ее Прокоп восточному человеку.

— Наденька! поди к нам!

Надежда Лаврентьевна взошла к ним.

— Вот это — принц! а вот это — ма фам! — продолжал Прокоп.

Надежда Лаврентьевна ничего не понимала и конфузилась. Восточный человек быстро вскочил с места, отвернул полу своего халата, порылся в кармане штанов и подал Надежде Лаврентьевне кусок шепталы, держа его между двух пальцев.

— Бери! после выбросишь! — разрешил Прокоп недоумение жены своей.— Принц он! Ишь ведь куда, свиное ухо, гостинцы вздумал прятать! в штаны!

Но как ни весело было восточному человеку, и как ни мало требователен был с своей стороны и Прокоп насчет удовольствий, однако и ему надоело смотреть на принца и смеяться.

— Будет, брат! — сказал он,— после, коли еще захочется, давай опять!

А мне было еще тяжелее, потому что ко мне подсел Стрекоза и все допрашивал, почему я его не уважаю.

— Из чего же вы заключаете это? — оправдывался я.

— Да нет, я по глазам вижу. Скажите же, отчего вы меня не уважаете?

Я бился как рыба об лед, стремясь ежели не разуверить, то, по крайней мере, успокоить моего собеседника. Наконец, он видоизменил свой вопрос, предлагая его в той форме, какую он однажды уже высказал в зале вокзала:

— Вы мои последние распоряжения знаете?

Но, к счастию, в это время подошел к нам Прокоп, решившийся, по-видимому, расстаться с «принцем», и сказал:

— Черт их знает, эти татары! Вот и смеялся, кажется, а смерть как скучно!

<. . . . .>

ПРИМЕЧАНИЯ

Вводная заметка к тому *В. Н. Баскакова.*

Вводные статьи *А. С. Бушмина* — «В среде умеренности и аккуратности» («Господа Молчалины»), «Культурные люди», «Сборник», и *Н. И. Соколова* — «В среде умеренности и аккуратности» («Отголоски»).

Подготовка текста и текстологические примечания *В. Н. Баскакова* («В среде умеренности и аккуратности», «Культурные люди») и *Д. М. Климовой* («Сборник»).

Комментарии: *Н. И. Соколова* («В среде умеренности и аккуратности»), *В. Н. Баскакова* («Культурные люди»), *Д. М. Климовой* («Сборник»).

Переводы иноязычного текста — *Е. А. Гунста.*

В двенадцатый том настоящего издания входят художественные произведения 1874—1880 гг., публиковавшиеся в «Отечественных записках»: «В среде умеренности и аккуратности», «Культурные люди», рассказы и очерки из «Сборника». Именно эти произведения и в такой последовательности Салтыков предполагал объединить в одном томе собрания своих сочинений, готовя в 1887 г. его проспект. Такое объединение обусловливалось, по-видимому, не только хронологическим принципом, но и проблемно-тематической близостью этих произведений. Правда, когда дело дошло до осуществления издания, Салтыков распределил эти произведения по разным томам, но это объясняется, по всей вероятности, сокращением объема издания (девять томов вместо ранее планировавшихся тринадцати).

Композиция тома определяется, в целом, хронологической последовательностью: за циклом «В среде умеренности и аккуратности», создававшимся в 1874—1877 гг., следует незавершенный цикл «Культурные люди», написанный в 1875—1876 гг. В письме к Л. Ф. Пантелееву от 30 марта 1887 г., излагая план предполагаемого собрания сочинений, Салтыков высказал пожелание включить этот цикл в состав «Сборника». Однако подготовленный при жизни писателя (вышел в свет в первых числах августа 1889 г.) четвертый том собрания сочинений, в котором были напечатаны «Культурные люди», свидетельствует о том, что Салтыков отказался от высказанного им ранее пожелания. Это обстоятельство учтено при формировании настоящего тома, в котором цикл «Культурные люди» помещен вне «Сборника» и предшествует ему.

Замыкают том рассказы и очерки, из которых лишь «Сон в летнюю ночь» написан в 1875 г., а все остальные относятся к 1877—1879 гг. При жизни писателя все они печатались в составе «Сборника». При подготовке

собрания сочинений Салтыков вывел из «Сборника» ранее входившие в него три сказки и драматическую сцену «Недовольные». Это также учтено в настоящем издании.

В разделе «Из других редакций» помещены фрагменты второй и четвертой глав «Господ Молчалиных», исключенные Салтыковым из текста журнального издания, а также очерк «Чужую беду — руками разведу» и первоначальная редакция неоконченного цикла «Культурные люди» под заглавием «Книга о праздношатающихся».

Весь рукописный материал к произведениям, печатающимся в настоящем томе, сосредоточен в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР в Ленинграде (ИРЛИ).

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В БИБЛИОГРАФИЧЕСКОМ АППАРАТЕ НАСТОЯЩЕГО ТОМА

ЛН — «Литературное наследство».

ОЗ — «Отечественные записки».

РВ — «Русский вестник».

Изд. 1933—1941 — Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полное собрание сочинений в 20-ти томах, М.— Л. 1933—1941.

Изд. 1878 — «Сказки и рассказы. Соч. Н. Щедрина (М. Салтыкова)», изд. кн. Оболенского, СПб. 1878.

Изд. 1881 — «Сборник. Рассказы, очерки, сказки. Сочинение М. Е. Салтыкова (Н. Щедрина)», тип. А. А. Краевского, СПб. 1881.

Изд. 1883 — «Сборник. Рассказы, очерки, сказки», изд. Н. П. Карбасникова, СПб. 1883.

«Салтыков в воспоминаниях...» — сборник «М. Е. Салтыков в воспоминаниях современников». Предисловие, подготовка текста и комментарий С. А. Макашина, Гослитиздат, М. 1957.

В СРЕДЕ УМЕРЕННОСТИ И АККУРАТНОСТИ

Впервые изданная Салтыковым в 1878 г. книга «В среде умеренности и аккуратности» не является цельным в идейно-композиционном отношении произведением и представляет собою совокупность двух циклов — «Господа Молчалины» и «Отголоски», которые создавались независимо друг от друга и печатались в «Отечественных записках» с небольшим временным интервалом. Позднее эти циклы обрели некоторую тематическую близость в результате использования в «Отголосках» идейных мотивов и фрагментов текста запрещенного цензурой очерка «Чужую беду — руками разведу» (см. стр. 270, 634, 729). Вполне возможно, что это позднейшее переплетение двух первоначально независимых произведений привело Салтыкова к мысли об их окончательном объединении в одной книге.

Задумав летом 1874 г., в самый разгар работы над «Благонамеренными речами», новый цикл «Господа Молчалины», Салтыков той же осенью, в сентябре — ноябре, опубликовал в «Отечественных записках» первые три его главы под названием «Экскурсии в область умеренности и аккуратности». Четвертую главу «Экскурсий» Салтыков, занятый «Благонамеренными речами», смог написать только летом 1875 г., уже в Баден-Бадене. Однако цензурные препятствия задержали ее появление в печати. Лишь в 1876 г. удалось добиться разрешения на публикацию новой редакции очерка в сентябрьском номере «Отечественных записок», а в следующем номере журнала была напечатана и пятая глава, по существу завершившая журнальную редакцию цикла.

В первом издании книги «В среде умеренности и аккуратности» (вышедшей в свет в ноябре 1877 г., но датированной 1878 г.) к пяти главам «Экскурсий», получивших заглавие «Господа Молчалины», была добавлена новая, шестая глава, которая представляет собой конспективное изложение очерка «Чужую беду — руками разведу», запрещенного цензурой. Вторую часть книги составили три очерка, объединенные впервые появившимся здесь названием «Отголоски», в последнем из которых («Дворянские мелодии») была использована вступительная часть очерка «Чужую беду — руками разведу». В этом издании Салтыков внес в текст многочисленные стилистические поправки, ряд очерков сократил, подчас довольно значительно, а в третьей главе «Господ Молчалиных» и в «Тряпичкиных-очевидцах» появились дополнения.

В июле 1881 г. вышло в свет второе издание книги с пометой: «дополненное». Оно отличалось от первого тем, что в качестве заключительного звена в цикл «Отголоски» Салтыков включил напечатанный к этому времени в «Отечественных записках» очерк «Чужой толк», в значительной своей части основанный на материалах очерка «Чужую беду — руками разведу». Текст в этом издании печатался без изменений, так же как и в последнем вышедшем при жизни Салтыкова издании в феврале 1885 г.

Последовательность очерков цикла «В среде умеренности и аккуратности» в отдельных изданиях совпадает с последовательностью их публикации в журнале.

В настоящем издании оба цикла печатаются по тексту последнего прижизненного издания («В среде умеренности и аккуратности», *1885*) с исправлением ошибок и опечаток по всем прижизненным публикациям и сохранившимся рукописям, с устранением цензурных купюр и случайных пропусков.

I. «ГОСПОДА МОЛЧАЛИНЫ»

I

В своей сатире 50—60-х годов Салтыков дал многочисленную галерею типов чиновничества, затронув всю табель о рангах. В этом широчайшем сатирическом обозрении административно-бюрократических сфер самодержавия встречаются и отдельные представители типа Молчалиных, но они заслонены другими типами, а именно теми, которые в конце 60-х и начале 70-х годов получили обобщение под наименованием «помпадуров», «градоначальников» и «ташкентцев». Если помпадуры и градоначальники олицетворяли высшую, дирижирующую часть царской бюрократии, то ташкентцы — наиболее приближенный к ним слой исполнителей, проявлявших в своих действиях безграничный цинизм и наглость. Более многочисленную массу составляли исполнители, отличавшиеся безответной покорностью, послушанием и услужливостью, то есть теми чертами, которые были впервые гениально воплощены Грибоедовым в образе Молчалина. В «Господах Молчалиных» сатирик говорит, что, вынужденный несколько лет прожить в провинции, он там «познакомился с Сквозником-Дмухановским и Держимордою, Молчалина же совершенно утерял из вида». Если это признание и не следует понимать буквально, то, во всяком случае, оно верно в том смысле, что чиновник молчалинского типа еще не стал в 50-х и 60-х годах центральной фигурой какого-либо значительного произведения Салтыкова, он уступал первое место чиновнику-хищнику. Таким образом, «Господами Молчалиными» Салтыков вносил новый значительный вклад прежде всего в сатирическую разработку темы чиновничества. Молчалины принадлежат к числу самых блестящих собирательных образов, созданных Салтыковым. Молчалины, как и ташкентцы,— это не инициаторы, а исполнители предначертаний высшего начальства, но при этой общей черте они во многом отличаются друг от друга и составляют две категории исполнителей, услужливых по-разному. Ташкентцы в большей своей части люди дворянского родопроисхождения. Они цинично наглы, «дерзки на услуги», они прут вперед как жестокие хищники, с сознанием своих дворянских прав на хищничество и с убеждением, что им все позволено. Они практические проводники самых реакционных мероприятий самодержавия, действующие непосредственно там, где требуется не знание, а грубая сила, наглость и жестокость. Наиболее отвратительная черта ташкентца — это его палаческая роль по отношению к демократической интеллигенции. Ташкентец — хищный тип исполнителя, палач, кровопускатель. Молчалины преимущественно люди раз-

ночинного происхождения. Если среди них и есть дворяне, то самые захудалые, «горевые». Недостаток формальных и фактических прав гнетет их, делает робкими и безгласными перед лицом привилегированных и начальствующих особ. До хорошего местечка они ползут ужом, умеренно и аккуратно, оглядываясь и крадучись. Они не дерзко услужливы, как ташкентцы, а смиренно услужливы.

Если алчность ташкентцев не знает пределов, то Молчалины не мечтают о роскоши и наслаждениях, они «довольствуются малым», сытость и тепло в скромной и уютной домашней обстановке вполне их удовлетворяют. Добиваясь этого обывательского идеала путем беспрекословной исполнительности, Молчалины неизбежно становятся участниками свыше вдохновляемых преступлений. Однако если и Молчалины кого-нибудь вздернули на дыбу, то «не сами собой», если и их можно видеть «с обагренными бессознательным преступлением руками», то все же их нельзя считать отпетыми и закоренелыми преступниками. Идеал умеренности и аккуратности побуждает их сторониться всяких крайностей, в том числе и роли палачей-кровопускателей.

Молчалины в трактовке Салтыкова — явление более сложного и противоречивого характера, нежели помпадуры, градоначальники и ташкентцы. Если последние не вызывали у сатирика иного чувства, кроме антипатии, то его отношение к Молчалиным не было однозначно отрицательным. Их профессия не внушала сатирику симпатии, но их зависимое положение в бюрократической иерархии давало ему некоторый повод отнестись к ним снисходительно. Как это было справедливо отмечено еще Н. К. Михайловским, «сатирик по человечеству сочувствует его <Молчалина> горестям и трудным положениям» [1]. В свою очередь, Е. И. Покусаев вполне основательно возразил тем современным исследователям, которые, не замечая существенной разницы в отношениях сатирика к помпадурам и ташкентцам, с одной стороны, и к Молчалиным — с другой, были «склонны игнорировать гуманистическую направленность концепции молчалинского типа» [2].

В прямой связи именно с такой концепцией находится и своеобразие художественного метода Салтыкова в «Господах Молчалиных». Когда сатирик опустился в среду «умеренности и аккуратности», населенную преимущественно разночинным людом, то прежние приемы резкого сатирического обличения, выработанные в борьбе с привилегированной дирижирующей верхушкой, оказывались не всегда уместными или достаточными. Враждебная человечности природа всей правящей касты заявляла о себе с такой «суровой ясностью», что не требовала положительных изъятий и подробных аналитических мотивировок приговора. Самим объектом была вполне оправдана позиция полного и резкого отрицания, позволявшая Салтыкову выступать только сатириком. Удар по помпадурам, градоначальникам, таш-

[1] Н. К. Михайловский, Литературно-критические статьи, Гослитиздат, М. 1957, стр. 527.

[2] Е. Покусаев, Революционная сатира Салтыкова-Щедрина, Гослитиздат, М. 1963, стр. 301.

кентцам был непосредственным ударом по самодержавию. Другое дело Молчалины. Изобличая их, многое осуждая в них, Салтыков вместе с тем сочувствовал их зависимому положению и переносил основной сатирический удар на обстоятельства, порождающие молчалинство.

При описании Молчалиных Салтыков вовсе не прибегает к гротеску в портретах, почти не встречаемся здесь мы и с теми элементами шаржа, карикатуры, гиперболы, зоологических уподоблений, которые так характерны для поэтики произведений о градоначальниках, помпадурах и ташкентцах. Основной метод Салтыкова в «Господах Молчалиных» — психологический анализ. Здесь ярко продемонстрирована существеннейшая черта психологизма Салтыкова — раскрытие зависимости психики от социальных условий, человеческого характера — от окружающей его среды. Салтыков глубоко и подробно проанализировал социально-политические корни молчалинства, показав, что оно проистекает не от подлости натуры отдельных людей, а порождается зависимым положением многочисленного слоя разночинцев в деспотическом государстве. Блестящие достижения в области анализа социальной психологии выделяют «Господа Молчалины» в ряду других произведений сатирика, посвященных изображению чиновничества.

«Господа Молчалины» — сатира, но сатира не столько карающая, сколько разъясняющая тип, которому свойственно противоречивое переплетение отрицательных и положительных элементов. В ходе повествования молчалинский мир все более раскрывался не только в своих комических, но и трагических сторонах. Двойственная социально-нравственная природа Молчалиных давала повод и для сатирического обличения, и для гуманистического сочувствия; комедия и трагедия их существования идут рядом, переплетаются и переходят одна в другую. Единство комического и трагического определяет идейно-эмоциональную специфику «Господ Молчалиных». Комическое более очевидно, оно сказывается в официальной, «казенной» стороне жизни. Трагическая сторона Молчалиных обнаруживается лишь по мере углубления в их психику, в их частную жизнь, в их негласное домашнее существование. Вот почему в «Господах Молчалиных» сатирик прослеживает своего героя в равной мере как в сфере служебно-административной, так и в домашней. В 60-е годы Салтыков прямо декларировал свой отказ заниматься описанием домашнего жительства изображаемых им типов из господствующих классов, заявляя, что эти типы интересуют его как «раса, существующая политически». До 70-х годов Салтыков оставался в общем верен этому принципу, и отступления от него не были частыми и сколько-нибудь значительными. В начале 70-х годов, в «Господах ташкентцах» (главы о «ташкентцах приготовительного класса»), Салтыков отвел значительное место проблеме семейного воспитания «государственных птенцов». Однако никогда прежде, разрабатывая тему чиновничества, Салтыков не останавливался так подробно на описании личной, интимной, семейно-бытовой обстановки, как это сделано в «Господах Молчалиных».

Произведения Салтыкова, воссоздающие собирательные типы, групповые портреты, характеризуются широким обобщением каких-либо не-

многих, но существенных социально-политических и психологических признаков. В «Господах Молчалиных» этот творческий прием генерализации имеет свою яркую особенность. Если сатирические наименования *помпадуры, градоначальники, ташкентцы* и т. п. являются остроумным изобретением Салтыкова, то *молчалинство* как типизирующий признак заимствовано у Грибоедова.

Салтыков талантливо пересаживал в свои произведения и оживлял литературные типы, созданные его предшественниками и современниками. М. Горький называл этот прием одним из излюбленных приемов сатирика. Самые ранние случаи использования подобного приема восходят к «Губернским очеркам», где в рассказе «Корепанов» (1857) автор высказывает свои суждения о выцветших «провинциальных Печориных». В дальнейшем случаи такого рода становятся более частыми. Наряду с персонажами произведений Фонвизина, Гоголя, Тургенева и других писателей в салтыковской сатире появляются и герои комедии Грибоедова «Горе от ума». В частности, в статье «Петербургские театры» (1863) упоминается «новый Молчалин», а в очерке «Самодовольная современность» (1871) из цикла «Признаки времени» — «молчалинская аккуратность». Однако до начала 70-х годов литературные персонажи предшественников или просто упоминаются, или выступают в произведениях Салтыкова преимущественно как объекты уподобления и публицистических суждений, но еще не как действующие лица [1].

Начиная с «Дневника провинциала в Петербурге» (1872), включение многих известных литературных героев в число действующих лиц сатиры становится обычным приемом в большей части произведений Салтыкова. После «Дневника провинциала» этот прием наиболее эффективно проявил себя в «Помпадурах и помпадуршах» (глава «Помпадур борьбы», 1873) и особенно в «Господах Молчалиных», где он играет основополагающую роль. В этом, между прочим, и заключается та наиболее яркая художественная особенность «Господ Молчалиных», которая выделяет их во всем творчестве сатирика.

В социально-психологической иерархии типов Молчалины — самое полное выражение безличности, утраты самостоятельности мышления. В этом типе человеческая индивидуальность настолько попрана, в такой степени стерта бюрократической централизацией, что, казалось бы, вполне исчерпывается скупыми художественными характеристиками комедии Грибоедова. Отсюда ясно, как велики были художнические трудности Салтыкова, поставившего себе целью написать специально об этом безликом, ординарном, исторически и художественно непродуктивном типе большое произведение. Поэтому заслуга сатирика не уменьшается от того, что для своего обобщения он воспользовался персонажем грибоедовской комедии.

---

[1] Исключение составляет сатира «Проект современного балета» (1868; «Признаки времени»), где Хлестаков олицетворяет «Отечественный либерализм».

Своей глубокой и оригинальной художественной интерпретацией Салтыков придал ранее известному литературному образу новый масштаб, показав молчалинство как широкое социально-политическое и психологическое явление, закономерно порождаемое условиями деспотического режима. Щедринский Молчалин отличается от своего литературного прототипа глубиной и многосторонностью психологической обрисовки, раскрытием присущей типу внутренней противоречивости, переплетения в его судьбах комических и трагических моментов социального бытия. Недаром Достоевский признавался, что только с появлением «Господ Молчалиных» он понял как следует один из самых ярких типов комедии Грибоедова [1].

II

Многим произведениям Салтыкова, при всем разнообразии их построения, присуще движение повествования от общей характеристики того или иного социального типа к представлению этого типа в ряде конкретных разновидностей («Сатиры в прозе», «Господа ташкентцы», «Культурные люди» и т. д.). Это относится и к композиции «Господ Молчалиных». Произведение открывается общей характеристикой молчалинства как исторического явления. Молчалины «бесшумно, не торопясь, переползают из одного периода истории в другой», история отметит, что они «ни в чем не замечены». Общественное значение Молчалиных исчерпывается носимою ими фамилией. Но это вовсе не значит, что роль их в общем строе жизни ничтожна. Они деятельнейшие, хотя, быть может, и не вполне сознательные созидатели гнетущих «сумерек». Деятели, прославившиеся в истории блестящим злом, «ничего не могли бы, если бы у них под руками не существовало бесчисленных легионов Молчалиных».

Девиз Молчалиных — «изба моя с краю, ничего не знаю»; их принцип поведения — умеренность и аккуратность во всем; их идеал — прочное благополучие, уютный домашний очаг, верный кусок пирога, послеобеденный сон. Эта «идиллия счастливым образом совпадает с правилами устава о пресечении и предупреждении проступков и преступлений». Отсутствие каких-либо других интересов, выходящих за узкие рамки удовлетворения своих личных материальных потребностей, беспрекословная готовность ради этого служить командующей силе и деятельно участвовать в созидании гнетущих «сумерек» — все это Салтыков резко клеймит в Молчалиных.

Однако сатирик не ограничивается разоблачением низменности жизненного идеала Молчалиных, их обывательской философии и психологии. Он с большой подробностью рисует путь Молчалиных к достижению личного благополучия, как «путь скорбей и тревог», требующий усилий и жертв. На этом пути далеко не все Молчалины преуспевают, многие из

---

[1] Ф. М. Достоевский, Полн. собр. художественных произведений, т. 11, ГИЗ, М.— Л. 1929, стр. 422—423.

них навсегда обречены влачить жалкое существование. Молчалин — заурядный человек толпы, в нем нет ничего выдающегося, самоопределяющегося. Чтобы занять «место в жизненном пире», он должен искать недостающей опоры вне своего личного «я» в виде «нужного человека». В этих поисках, ради тарелки щей и куска пирога, Молчалин терпит массу надругательств. «В нем видят безответное существо, на котором можно вполне безопасно срывать какую угодно дурость». По мере углубления в мир молчалинского существования сатирический мотив произведения все более осложняется мотивом гуманистическим.

Дав в первой главе групповой портрет Молчалиных, Салтыков затем показывает их с разных сторон, на разных этапах жизненного пути, в разных типологических видоизменениях, обусловленных свойствами темперамента, возраста, профессии и т. д. Мы видим Молчалина в вицмундире на службе, когда он выступает послушным исполнителем чужой воли, и Молчалина в домашнем быту, когда начинают говорить человеческие струны его сердца; знакомимся с Молчалиным счастливым, уже завершившим тернистый путь к идеалу и благодушествующим в семейном кругу, и Молчалиным несчастным, переживающим крушение своего домашнего благополучия; сатирик показывает нам Молчалина-жуира и Молчалина-аскета; Молчалина — редактора либеральной газеты «Чего изволите?» и Молчалина-консерватора, которого навещает «тень Булгарина». Молчалиных, при всем их разнообразии, объединяет одна общая черта — послушание начальству, доведенное до автоматизма. Эта черта решительно доминирует над всеми остальными, в отдельных случаях, как, например, у Молчалина-аскета, она подавляет собою даже стремление к «куску пирога» и тогда выступает в своей первозданной чистоте — как бескорыстная рабская покорность хозяину.

Молчалины, говорит Салтыков, отнюдь не представляют исключительной особенности чиновничества, они кишат везде, где существует забитость, приниженность, во всех профессиях составляют преобладающий элемент. Однако недаром в «Господах Молчалиных» сатирик останавливает внимание прежде всего на Молчалиных, подвизающихся в департаментах. Недаром также, подводя в последнем из «Пестрых писем» (1886) итог своих наблюдений над Молчалиными, Салтыков отмечал, что именно они «сплошной массой наполняют канцелярии». Здесь они выступают виртуозами крючкотворства и исполнительности. Здесь они незаметно, как кроты, прокладывают свои ходы к «нужному человеку» и под его покровительством порой достигают видного положения.

III

В галерее чиновничьего молчалинства центральное место отведено Салтыковым Алексею Степанычу Молчалину, которого сатирик, как это прямо им заявлено, воспринял от Грибоедова и провел через все этапы дальнейшего развития, показав его на скорбном пути к благополучию

(глава вторая), в зените благополучия (глава третья) и, наконец, в состоянии обрушившейся на него семейной драмы (рассказ «Чужую беду — руками разведу»). На образе Алексея Степаныча Молчалина, на этом, так сказать, литературном родоначальнике молчалинства, всего нагляднее выступает как сходство, так и различие грибоедовской и салтыковской трактовок одного и того же социального типа. Отметим прежде всего моменты сближения.

Две наиболее капитальные черты грибоедовского Молчалина — умеренность и аккуратность — в полной мере сохранены и в салтыковском персонаже и поставлены в заглавии цикла, объединяющего «Господ Молчалиных» и серию к ним примыкающих очерков под названием «Отголоски». Эти черты определяют собою общий психологический облик типа, образ его мышления и поведения.

Молчалин в комедии Грибоедова говорит: «В мои лета не должно сметь свои суждения иметь». Заявляя, что «надобно ж зависеть от других», он мотивирует это сознанием своего скромного места в бюрократической иерархии: «в чинах мы небольших». В этих признаниях героя, выражающих основную сущность молчалинской философии, нерассуждающая покорность выступает в качестве необходимого условия чиновничьей карьеры для человека, стремящегося пробиться из низов к бюрократическим верхам.

Салтыков, отправляясь непосредственно от грибоедовских формул как готовых заданий, образно развивает их и показывает, что молчалинский принцип нерассуждающей исполнительности становится органическим свойством данного человеческого характера уже независимо от возраста и чина. Салтыковский Молчалин — человек преклонных лет и с немалым чином, он на вершине возможной для него карьеры, но он остался при той же своей философии, с которой нас познакомила комедия Грибоедова. Но теперь эта философия закреплена опытом всей его жизни, прожитой, как он сам заявляет, «без рассуждения».

Устами Чацкого Грибоедов заявлял, что Молчалин «дойдет до степеней известных, ведь нынче любят бессловесных». Салтыков, реализуя это предвидение, показывает, как усердием и послушанием Молчалин достиг наконец хорошего местечка, обзавелся собственным домком, зажил в тепле и сытости.

Таким образом, Салтыков усвоил для своего Молчалина и развил в нем многое из того, что заключали в себе афористические грибоедовские характеристики. Полнота щедринской разработки персонажа в направлении, заданном комедией «Горе от ума», обусловлена, конечно, не только тем, что сатирик посвятил Молчалину специальное художественное исследование, но и дальнейшей, так сказать, реальной кристаллизацией типа в период между комедией Грибоедова и «Господами Молчалиными» Салтыкова. Грибоедовский Молчалин и салтыковский Молчалин — люди разных эпох. Отсюда неизбежно вытекает и известное различие в их художественном отражении.

Однако можно отметить и такого рода отклонения салтыковского Молчалина от грибоедовского, которые обусловлены различным отношением двух писателей к изображаемому ими типу. Удержав и развив те основные свойства типа, которые были с скульптурной рельефностью обрисованы в «Горе от ума», Салтыков дополнил их такими новыми чертами, которые сделали Алексея Степаныча Молчалина фигурой психологически более сложной — более человечной и отчасти даже симпатичной, внушающей чувство некоторой снисходительности, чего нельзя сказать про грибоедовского героя. Последний был фигурой холодной, слишком примитивной по своему внутреннему складу, ничем не располагающей к себе читателя. Грибоедовский Молчалин представлен скорее как изначально дурной и ограниченный характер, он, так сказать, несет в самом себе вину за свои поступки. Салтыковский Молчалин в основе своей положительный человеческий характер, испорченный, однако, условиями своего зависимого положения в обществе. Глубокая и всесторонняя социальная детерминированность психологии салтыковского персонажа объясняет, а следовательно, и во многом оправдывает его, перенося ответственность на условия, порождающие молчалинство. Осуждение Молчалиных как пособников деспотического строя при снисходительном отношении к ним, как бессознательным жертвам своего времени, составляет специфическую особенность салтыковской трактовки этого типа. В стремлении ярче выделить указанную тенденцию творческого замысла «Господ Молчалиных» Салтыков наделяет своего Алексея Степаныча такими человеческими чертами, относительно которых одноименный герой «Горя от ума» не внушал никаких предположений. Имеем в виду прежде всего «ту изумительную самоотверженность», с которою Алексей Степаныч спасал своих сослуживцев «от начальственного натиска, первый подставляя свою грудь под удары».

Так было, когда Алексей Степаныч служил еще помощником экзекутора. Но и потом, выбившись в ряды «действующей бюрократии», став «счастливым Молчалиным», он сохранил в обращении с людьми то «приветливое, почти сострадательное благодушие, которое характеризует человека, выстрадавшего свое право быть сытым и которого вы никогда не встретите у ликующего холопа, сознавшего себя силою». Ему постылы такие люди, как Катков, ему неприятно иметь дело с наглыми адвокатами Балалайкиным и Подковырником-Клещом, но он внимателен к своим добрым знакомым, готов в необходимых случаях дать им совет, оказать услугу, проявить тайком заступничество, как это сделал он, выручая из беды знакомого литератора, попавшего под подозрение властей.

Сочувственное отношение Молчалина к гонимому властями литератору или его неприязнь к Каткову продиктованы, конечно, не идейными соображениями, а просто житейским чувством человечности, внушенным опасением за судьбу детей, старший из которых, сын-студент, «знай себе твердит: пострадать хочу!». Хотя доброта Алексея Степаныча имеет та-

кой ограниченный характер и распространяется только на узкий круг его знакомых, она все же свидетельствует о свойственной ему человечности. И когда рассказчик называет Алексея Степаныча «хорошим человеком», то эти слова, несмотря на их ироническую окраску в контексте, следует принимать и в прямом значении.

Помимо отмеченных существенных различий в грибоедовской и салтыковской трактовках Молчалина, у автора «Господ Молчалиных» есть элементы как завуалированной полемики с предшественником, выраженной в замечании о том, что при взгляде на Молчалина было смешно и весело только тому, кто не понимал «трагизма его положения», так и полемики прямой, заявленной в словах о том, что Чацкий в своей резкой отрицательной оценке Молчалина «погорячился немного». Если в комедии Грибоедова говорилось, что Молчалины блаженствуют на свете, то Салтыков, едва ли не полемизируя, говорит о «значительной дозе горечи», которая примешивается в их «чашу блаженства», и указывает на все более растущую трещину в этом примитивном блаженстве. Другими словами: там, где Салтыков сатирически обличает Молчалиных, он продолжает и развивает связанные с этим типом мотивы комедии Грибоедова; когда же Салтыков раскрывает драму существования Молчалиных, он вводит элемент, которого не было у предшественника, дополняет комедию молчалинства трагедией молчалинства. Во всем этом сказались присущие Салтыкову симпатии к людям низших социальных категорий, его принципиальное отрицательное отношение к дворянству вообще и его недоверие к дворянскому либерализму.

Особенно рельефно это проявилось в своеобразной салтыковской интерпретации Чацкого, которая представляет значительную трудность для понимания и потому требует специального пояснения.

Чацкий в «Господах Молчалиных» не выступает непосредственно действующим лицом. О его жизни после того, как он, порвав с фамусовским миром, уехал из Москвы, рассказывает Молчалин. Мы узнаем, что Чацкий женился на Софье, в течение десяти лет был директором департамента «Государственных Умопомрачений», покровительствовал служившему у него в должности помощника экзекутора Молчалину; уходя в отставку, Чацкий рекомендовал на свое место Репетилова; Загорецкого он принимал в своем доме как родного. Либерализм Чацкого, проявившийся особенно во время подготовки отмены крепостного права, сразу же после реформы угас. Когда от него вся дворня разбежалась, он победствовал и задумываться стал: «Хороша, говорит, свобода, но во благовремении».

Совершенно очевидно, что дистанция между грибоедовскими антиподами — Чацким и фамусовским миром — в сатире Салтыкова полемически сокращена. И, конечно, салтыковский Чацкий не имеет ничего общего, кроме имени, с Чацким грибоедовским. Почему же Салтыков дал столь славное имя своему персонажу, заслуженно осмеянному? Этот вопрос до сих пор остается в щедриноведении камнем преткновения.

Исследователи отмечали, что Салтыков создавал своего Чацкого, «от-

решаясь от грибоедовского понимания»[1], что сатирик имел в виду, в сущности, не столько грибоедовского Чацкого, сколько позднейшую политическую судьбу некоторых из декабристов, смирившихся с реакцией[2], что, наконец, «переосмысление типа Чацкого после «Мильона терзаний» означало глубокое недоверие сатирика <...> к дворянскому либерализму вообще»[3]. Все эти суждения вполне уместны, но они недостаточны, так как не объясняют, почему же все-таки Салтыков присвоил заурядному либералу своей сатиры имя бескомпромиссного грибоедовского провозвестника свободы.

З. Т. Прокопенко, отправляясь от только что приведенного беглого замечания Е. И. Покусаева о «переосмыслении типа Чацкого после «Мильона терзаний», в своем еще не опубликованном исследовании «Чацкий в сатире Салтыкова-Щедрина» устанавливает черты полемичности в салтыковском Чацком с тем Чацким, какой представлен в статье И. А. Гончарова «Мильон терзаний» (1872), появившейся незадолго до «Господ Молчалиных», и делает следующий вывод: «Сатирик, не возражая прямо Гончарову, переносит полемику в свое творчество, логически развивает основные черты характера Чацкого, намеченные в статье «Мильон терзаний». Не грибоедовского Чацкого обличает Щедрин и упрекает в ренегатстве; объект его сатиры — Чацкий, претерпевший эволюцию в либеральной трактовке. Спорить ради восстановления первоначального, «грибоедовского» звучания образа не имело смысла. Те, кому был дорог Чацкий, бесстрашный провозвестник новой жизни, не изменили своего к нему отношения. Салтыков, уверенный в том, что русский читатель давно уже научен читать «между строк», и на этот раз дал волю своему воображению и «дорисовал» Чацкого во весь рост, приняв в качестве отправного момента все те изменения в облике грибоедовского героя, какие были привнесены враждебным революционной демократии лагерем». Эти соображения заслуживают внимания и представляются нам убедительными. Напомним некоторые суждения Гончарова о Чацком.

Превосходный анализ комедии «Горе от ума» и ее постановок на сцене был дан в знаменитом критическом этюде Гончарова с позиций либерала, отрицательно относившегося к революционным способам преобразования общества и считавшего «нормальным» тот реформистский путь, на который Россия вступила в 1861 г. Эта позиция автора сказалась прежде всего в трактовке Чацкого. Гончаров весьма тонко и последовательно вводит Чацкого, справедливо воспринимавшегося многими в качестве литературного представителя революционных декабристских идей и настроений, в либеральные рамки и именно в таком его качестве высоко оценивает его новатор-

---

[1] Н. Пиксанов, Литературное наследие Салтыкова.— В кн.: М. Е. Салтыков (Щедрин), Сочинения, ГИХЛ, М.— Л. 1933, стр. 25.

[2] Я. Эльсберг, Салтыков-Щедрин, Гослитиздат, М. 1953, стр. 333—334.

[3] Е. Покусаев, Революционная сатира Салтыкова-Щедрина, Гослитиздат, М. 1963, стр. 293.

скую роль в обществе, в «очередной смене эпох и поколений»[1]. Борьба Чацкого со стариной дает ему только «мильон терзаний», комедия ничего не говорит о последствиях борьбы. «Теперь нам известны эти последствия»[2],— заявляет Гончаров, имея в виду, конечно, отмену крепостного права.

Чацкий, развивает свой взгляд Гончаров, не теряет земли из-под ног и не верит в призрак, не увлекается неизвестным идеалом, не обольщается мечтой; он трезво остановится «перед бессмысленным отрицанием «законов, совести и веры». Он очень положителен в своих требованиях, его возмущают «безобразные проявления крепостного права», устранение которых составляет его «скромную программу «свободной жизни»[3]. Белинского и Герцена Гончаров понимает и принимает также только в пределах той «скромной программы», которую он предписывает Чацкому. Белинский, как и Чацкий, умер, не дождавшись исполнения своих грез, которые «теперь — уже не грезы больше». Что же касается Герцена, то Гончаров видит у него только «политические заблуждения» там, где «он вышел из роли нормального героя, из роли Чацкого»[4].

В статье Гончарова Чацкий, как «нормальный», «трезвый» герой, поборник «скромной программы», противопоставлен сторонникам «неизвестных идей, блестящих гипотез, горячих и дерзких утопий»; тем, кто обольщается мечтой, проявляет «юношескую запальчивость»; всем тем, кто, по формулировке Гончарова, составляет «тип крайних, несозревших передовых личностей, едва намекающих на будущее и потому недолговечных»[5]. Нетрудно понять, что здесь Гончаров как либерал выражает свое несогласие с представителями революционного образа мысли и действия.

Напомним еще слова Гончарова о том, что «положение Чацких на общественной лестнице разнообразно, но роль и участь все одна, от крупных государственных и политических личностей, управляющих судьбами масс, до скромной доли в тесном кругу»[6], что они выступают зачинателями «громких, великих дел и скромных кабинетных подвигов»[7].

Мысль о полезности деятельности Чацких-чиновников — на крупных государственных должностях и в скромных канцелярских кабинетах — принадлежит не только Гончарову, она выражает чаяния всех более или менее либеральных деятелей. Одновременно с публикацией «Господ Молчалиных» появилась в печати книга, содержавшая такое поучение: «Если бы триста человек, 14 декабря, из которых большая часть, судя по свидетельствам, были люди истинно благонамеренные, чистые, любившие отечество искренне, умные, способные, избрали себе, взявшись рука за руку, другой образ действия и, нейдя на площадь, поступили бы в канцелярии,

---

[1] И. А. Гончаров, Собрание сочинений в 8-ми томах, т. 8, Гослитиздат, М. 1955, стр. 33.
[2] Там же, стр. 18.
[3] Там же, стр. 30—31.
[4] Там же, стр. 33.
[5] Там же, стр. 30—33.
[6] Там же, стр. 32.
[7] Там же, стр. 33.

департаменты, на службу, с благими своими намерениями, из них через немного лет ведь вышло бы двадцать, тридцать губернаторов, министров, членов Государственного совета» [1].

Подобные, казалось бы запоздалые, либерально-политические правоучения относительно деятелей декабристского движения и, казалось бы, только литературно-критическая интерпретация Чацкого в либеральном духе, так талантливо осуществленная Гончаровым, имели и в 70-е годы свой актуальный политический смысл. Они отражали и выражали непрекращавшийся и все более обострявшийся спор двух концепций преобразования России — либерально-реформистской и революционно-демократической. Выступая от лица последней, Салтыков своим Чацким полемизировал не с грибоедовским Чацким, а с Чацким в его позднейшей либеральной интерпретации. Своеобразие щедринской полемики заключалось в том, что сатирик, отрешаясь от грибоедовского понимания Чацкого, обратил против идейных противников их собственное оружие, то есть художественно реализовал такого именно Чацкого, которому сторонники либеральных воззрений предписывали, в меру своего понимания и желания, «скромную программу» деятельности на бюрократическом поприще. Салтыковский Чацкий в роли директора «Департамента Государственных Умопомрачений» — это отрицательный ответ сатирика на вопрос об общественной полезности Чацких на службе политическому режиму самодержавия.

Своей трактовкой Чацкого, взятого в его либеральном варианте, как и Рудина, которому в «Господах Молчалиных» отведена роль директора «Департамента распределения богатств», Салтыков высмеял ту разновидность либерализма, которая упорно придерживалась теории возрождения России посредством улучшения администрации. В годы своей служебной деятельности сам Салтыков был не чужд этой иллюзии, но затем он беспощадно преследовал и разоблачал ее под наименованием «теории практикования либерализма в капище антилиберализма», или «теории вождения генерала Дворникова за нос».

Чацкий и Рудин, если в соответствии с либеральной концепцией представить их в роли деятелей царской бюрократии,— это уже не герои-протестанты, известные нам по произведениям Грибоедова и Тургенева; и как соратники помпадуров, они оказываются объектом салтыковской сатиры на молчалинство вообще, сатиры тем более резкой, что на них не могут быть распространены те обстоятельства, которые смягчают вину массовых, заурядных Молчалиных.

IV

После Алексея Степаныча Молчалина, воспринятого от Грибоедова, второе место по степени уделенного ему внимания и остроте сатирической обрисовки занимает в «Господах Молчалиных» представитель литератур-

---

[1] М. П. Погодин, Простая речь о мудреных вещах, изд. 3-е, испр. и умноженное, М. 1875, стр. 16. (См. также: Е. Покусаев, Революционная сатира Салтыкова-Щедрина, М. 1963, стр. 293).

ного молчалинства, издатель либеральной газеты «Чего изволите?». Сцена в редакции этой газеты (глава четвертая), где рассказчик и Алексей Степаныч Молчалин помогают Молчалину 2-му в редактировании статей, принадлежит к наиболее ярким во всей салтыковской сатире страницам, разоблачающим беспринципность и пресмыкательство либеральной прессы[1]. Афористически остро звучат слова о Молчалине-литераторе как о человеке, который «впал <...> грешным делом, в либерализм, да и сам не рад», или его формула-мольба, резюмирующая отношение либерального органа к начальству: «мы готовы прийти к вам,— говорю я,— но укажите нам пути и сохраните нам нашу независимость!» Трагикомическая позиция либерала, желающего совместить свободомыслие с верноподданничеством, представлена в действиях Молчалина 2-го с такой определенностью, что не оставляет у читателя никакой неясности. Достаточно лишь заметить, что своими рельефно и остроумно обозначенными чертами образ литературного Молчалина сразу же врезался в сознание общественности, больно уязвил либеральную прессу метким изобличением ее низменных свойств и дал повод к ожесточенным спорам в критике (об этом см. ниже).

Салтыковский Молчалин — это литературный тип, который находит себе индивидуальные соответствия в реальной действительности. Но еще более — это персонифицированные в литературном образе определенные социально-психологические черты, разлитые в целой массе людей. Вот почему мы сталкиваемся в «Господах Молчалиных» с таким, казалось бы, парадоксальным явлением. С одной стороны, сатирик заявляет, что все общественное значение Молчалиных исчерпывается их фамилией, а с другой — выводит целую серию Молчалиных, отличающихся болтливостью. Разгадка этого заключается в том, что *молчалинство* оказывается у Салтыкова, в сущности, своеобразной сатирической метафорой для обозначения всех тех «средних» людей, которым чуждо чувство политического протеста против царящего зла, так или иначе подавляющего и их самих. Это — приспособленцы, идущие на любой компромисс ради того, чтобы выжить. В грибоедовском Молчалине Салтыков выявляет прежде всего его политический аспект и делает политическое молчание стержневым признаком типа. За пределами этого признака Молчалины могут быть весьма разношерстны.

Алексей Степаныч Молчалин является, так сказать, классическим олицетворением обозначаемого его фамилией социального типа. Он заключает в себе все основные, изначальные признаки данного типа, как восходящие к первоисточнику (к комедии Грибоедова), так и обретенные под пером Салтыкова. Что же касается других Молчалиных, изображенных Салтыковым, то они являются не столько законченными представителями молчалинства, сколько носителями лишь его отдельных характерных свойств. Каждый из них показателен для типа лишь отчасти, сближается

[1] Четвертая глава была сатирой не только на либеральную журналистику; косвенным образом она высмеивала и цензуру и потому была запрещена в сентябрьской книжке «Отечественных записок» 1875 г. Появилась в печати в измененной редакции только через год.

с ним в каких-либо одних признаках и расходится в других. Так, Молчалин-журналист своим трепетным страхом перед властями подобен всем Молчалиным, и в то же время он отличается от классического типа тем, что не довольствуется скромной долей безвестного молчальника, а жаждет славы на поприще публичного либерального словоблудия.

Еще более резкие вариации молчалинства представлены в лице чиновников департамента «Возмездий и Воздаяний», изображенных в пятой главе; здесь мы встречаем Молчалина-жуира, который своей приверженностью к эгоистическому животолюбию и верным служением начальству примыкает к племени Молчалиных, но расходится с ними полным отсутствием какой-либо подавленности духа и непричастностью к молчалинскому принципу «умеренности и аккуратности».

Молчалин-аскет, напротив, совершенно отрешился от каких-либо личных интересов. У него болезненная потребность «послушания» не обусловлена никакими корыстными побуждениями, а только убеждением, что «земля есть юдоль скорбей, в которой люди должны «терпеть». Это Молчалин, окончательно освободившийся от всяких расчетов преднамеренной угодливости и «пламенеющий наголо и беззаветно». Перед нами проникновенно написанный и, при всей своей лаконичности, исчерпывающий психологический портрет личности, человеческие качества которой находятся в полном противоречии с той низкой целью, которая поработила их, подчинила себе и извратила их естество. Трудно назвать этот образ Молчалина-аскета сатирическим. Он возбуждает не негодование, не неприязнь, а чувство жалости, сострадания и глубокого сожаления по поводу того, что его беззаветное самоотвержение силою обстоятельств поставлено на службу дурному делу. Поэтому все негодование читателя переносится с Молчалина-аскета на поработившие его личность условия жизни. Измените последние, приведите их в соответствие с естественными наклонностями личности, и человек, подобный Молчалину-аскету, предстанет перед нами в образе замечательного труженика на пользу общую. Именно такого рода мысли внушал Салтыков читателю своими поисками человечности, прячущейся под «корой молчалинства». И именно потому, что Салтыков так глубоко проник в истоки психологии и трагедии молчалинства, раскрыл их как неизбежное следствие целого строя жизни,— именно поэтому он не мог отнестись к Молчалиным только отрицательно и, начав с обличений, все более углублялся в психологические разъяснения.

Характерной особенностью жизни и психологии Молчалиных является «хроническое двоегласие», два рядом идущих существования — казенное и свое собственное, переплетение отрицательного и положительного во всем их поведении. В молчалинском типе Салтыков отделяет «вицмундирные» черты, разоблачаемые сатирически, от черт человеческих, внушающих писателю симпатию и сочувствие. Это «двоегласие» типа обусловило собою и своеобразное к нему отношение Салтыкова. Писатель то обличает, то сострадает, переживает смену настроений, воздерживаясь от прямого приговора и категорических суждений.

В понятие «человека простеца», которого Салтыков стремился просветить, включаются и Молчалины. С них начинается та масса, которой писатель выражает сочувствие. Молчалиных опутала «тина мелочей», извратившая все мотивы их человеческой деятельности, но, говорит сатирик, «я тем охотнее обращаюсь к Алексею Степанычу, что сквозь наносную кору молчалинства мне удается угадывать в нем черты подлинного человеческого образа». Заметим, что во всем своем творчестве Салтыков только дважды специально предупреждает читателя о необходимости в сатирически изображаемых социальных типах отделять «наносное» от человеческого. В «Истории одного города» он говорит, что его сатира на крестьянство имеет в виду «наносные атомы», то есть рабские черты психологии, и не затрагивает достоинства «природных свойств» мужика. Подобно этому, в Молчалиных он разграничивает «наносную кору молчалинства» и черты подлинного человеческого образа. Это указание чрезвычайно важно. Оно свидетельствует, что в понимании Салтыкова проблема Молчалиных соприкасается с проблемой народа.

Конечно, само заглавное определение «*Господа* Молчалины», как и «*Господа* ташкентцы», «*Господа* Головлевы», означает, что в этих произведениях идет речь о тех слоях общества, которые противостоят угнетенной народной массе и к которым писатель-демократ относится отрицательно. Вместе с тем Молчалины составляют собою именно ту часть господской среды, которая граничит с широкой народной массой. Молчалины, говорит Салтыков, пользуются неполной безвестностью, ниже их начинается среда «человека лебеды», пользующегося «полною и безусловною неизвестностью». Молчалины по своей численности и по своему положению в буржуазно-дворянском обществе стоят сразу же за крестьянством. Это огромная масса мелких и средних чиновников, добывающих себе скромное благополучие исполнительностью и трудолюбием. В Молчалиных хорошее переплетено с плохим. Здесь есть чему сочувствовать, но есть и то, что в человеке, способном взглянуть на дело шире узкого круга личных интересов, вызывает чувство досады, огорчения и негодования. Это смешанное чувство негодования и сочувствия характерно для автора «Господ Молчалиных». Сатирик осудил рабскую психологию, вицмундирные и шкурные поползновения Молчалиных, унижающие человеческое достоинство, и в то же время не оставил в тени их положительные качества — добродушие, трудолюбие, скромность.

Стремление подслушать в молчалинстве человеческое, независимое от профессии, уловить «не вицмундирные, а человеческие струны сердца» заставило сатирика совершить не совсем обычный для него продолжительный экскурс в домашний мир своего героя, или, говоря образным языком рассказчика, охотно отозваться на приглашение Алексея Степаныча Молчалина и посетить его одноэтажный деревянный домик на Песках. Было и еще одно обстоятельство, которое побуждало писателя задержаться на изучении частной жизни Молчалина.

V

Салтыков был не только революционным сатириком, беспощадным обличителем всех форм угнетения человека человеком, не только самоотверженным защитником и идеологом трудящихся масс. Как великого гуманиста, его глубоко волновали судьбы всех людей общества, судьбы личности вообще. Позиция гуманиста сказалась и в раздумьях Салтыкова «над финалом, которым должно разрешиться молчалинское существование».

Этому целиком посвящена шестая, последняя глава «Господ Молчалиных», носящая публицистический, социально-философский характер.

В состоянии ли Молчалины самостоятельно бороться за изменение своего положения, за восстановление своего попранного человеческого образа? На этот вопрос Салтыков дает отрицательный ответ, развиваемый на протяжении первых пяти глав «Господ Молчалиных». Защищенные броней бессознательности и рабской привычки послушания, Молчалины на служебной арене неуязвимы, здесь они действуют как автоматы, покорные господствующей силе и недоступные для всяких других влияний. Они прикованы, как к устричной раковине, к своему узкому мирку, за пределами которого ничего не желают знать. Равнодушные к гражданским интересам, неподвластные мысли о будущем, Молчалины, однако, очень болезненно реагируют на все, что затрагивает семейный базис их растительного благополучия. Поэтому из состояния духовной спячки может вывести Молчалиных только такая сила, которая коснется их самых чувствительных струн — личной семейной жизни. Этой силой, по мысли Салтыкова, является освободительная борьба, которая, помимо желания Молчалиных, неизбежно вторгнется в лоно их умеренной и аккуратной жизни и сделает их невольными участниками великой социальной драмы.

Вторжение идей освободительной борьбы в традиционное течение жизни всех слоев общества Салтыков на последней странице «Господ Молчалиных» назвал «заправской русской драмой». В чем же, однако, сущность ее применительно к молчалинству? Где таится ее непосредственный реальный источник и кому принадлежит в ней первая роль?

По концепции Салтыкова, социальная драма подкрадывается к молчалинству в виде драмы семейной и только в этом виде может растревожить их. Трагическую развязку существованию Молчалиных принесут их дети. С суровой неумолимостью бесповоротного убеждения они откажутся следовать проторенной колеей отцов, отвернутся от их деятельности и осудят ее.

Проникновение революционных идей в замкнутую молчалинскую среду через подрастающее поколение — вот источник трагедии, которая подстерегает Молчалиных непосредственно в семье и потрясет их самым чувствительным образом. Бессознательность, делавшая Молчалиных равнодушными к суду истории, придаст обрушившейся на них драме характер полной неожиданности и неизбывной мучительности.

Эта концепция родилась под впечатлением фактов революционной борьбы. Подъем освободительного движения во второй половине 70-х годов помог Салтыкову уловить в молчалинском существовании «зерно» зарождавшейся «заправской русской драмы» и показать начальный акт этой драмы. Герои развернувшихся в это время революционных схваток с самодержавием были преимущественно выходцами из разночинной среды [1], то есть именно той среды, в старших поколениях которой болезнь молчалинства имела наибольшее распространение.

Период работы Салтыкова над «Господами Молчалиными» ознаменовался массовыми арестами народнической интеллигенции. Газеты были заполнены отчетами о политических процессах, следовавших один за другим с нарастающей частотой. Количество жертв росло. Семья, говорит Салтыков, «сделалась ареной какой-то сплошной трагедии». Но стенографические отчеты судебных заседаний, продолжает Салтыков, не передают полного внутреннего смысла развивающихся трагедий. Мы видим в этих отчетах только так называемых «заблуждающихся» детей, но не видим их отцов и матерей, которые мечутся, истекают слезами и кровью.

В последней главе «Господ Молчалиных» Салтыков был вынужден цензурными обстоятельствами ограничиться лишь схематическим очерком «трагического сценария», только самым общим изложением смысла назревающей социально-исторической драмы молчалинства. Более конкретно он представил это в рассказе «Чужую беду — руками разведу» [2] (цензурная редакция под названием «Чужой толк»). Беда, которую тревожно предчувствовал Алексей Степаныч Молчалин («А ну, как Павел-то Алексеич мой как ни на есть не доглядит за собой?»), действительно стряслась: сына его Павла арестовали. Сила сосредоточившегося на Молчалине-отце трагизма заставила его метаться в пустоте и истекать слезами, но вместе с тем она как бы и поднимала его самого, принесла ему «минуты прозорливости». «Теперь для него это было совсем ясно: не сын должен был до него под-

---

[1] Отметим интересный факт влияния революционного движения молодежи на работу Салтыкова над «Господами Молчалиными». В журнальном тексте первой главы было такое место о Молчалиных-детях: «Эти птенцы — их участь уже определена заранее. Это опять Молчалины, которым предстоят те же камни преткновения, те же классификации и та же нечеловеческая работа приручнения, о которой сейчас поведем речь» (*ОЗ*, 1874, № 9, стр. 221). События внесли поправку в суждения сатирика, он отбросил это место в отдельных изданиях. Вообще в «Господах Молчалиных» сатира вовсе не касается молчалинских детей, напротив, о них говорится с большой симпатией.

[2] Рассказ, написанный в 1877 г. (для № 2 «Отечественных записок»), по своему содержанию является финалом «Господ Молчалиных», но он не был пропущен цензурой. Последняя, шестая глава «Господ Молчалиных», появившаяся в первом отдельном издании цикла «В среде умеренности и аккуратности» (1878), представляет собою вынужденное цензурными обстоятельствами конспективное изложение запрещенного рассказа. Поэтому последний следует рассматривать как органическое звено салтыковской концепции молчалинства. См. также: Е. Покусаев, Революционная сатира Салтыкова-Щедрина, М. 1963, стр. 287, 304 и след.

няться, а он до сына». В данном случае «минута прозорливости» была недолгой, история с Павлушей окончилась благополучно, и Алексей Степаныч Молчалин остался таким, каким был прежде. Семейная драма Молчалина в «В среде умеренности и аккуратности» не пошла дальше первого акта, но какова она может быть в финале, это Салтыков показал в написанном годом позже рассказе «Больное место» («Сборник»). Заглавие и тема рассказа были сформулированы в заключительных строках «Господ Молчалиных», где Салтыков назвал «больным местом» Молчалиных их страх за судьбу детей, вовлекавшихся в революционное движение, и указывал на «суд детей» как грядущее возмездие молчалинству. Эта идея развита в «Больном месте» до окончательной трагической развязки. Центральный персонаж рассказа, Гаврило Степаныч Разумов, во многом повторяет историю Алексея Степаныча Молчалина, являясь как бы его духовным братом. Сын Разумова под влиянием новых идей осудил бюрократическую деятельность своего отца, но, не найдя сил порвать с ним, кончил самоубийством.

Сделаем последний вывод о молчалинском цикле в целом («Господа Молчалины», «Чужую беду — руками разведу», «Больное место»). Начав повествование о Молчалиных сатирическим описанием их растительного блаженства, их идиллии, счастливым образом совпадающей с правилами устава о пресечении и предупреждении проступков и преступлений, Салтыков все более приближался к уяснению их трагического положения и закончил размышлениями о назревающей в среде Молчалиных социально-исторической драме, которая несет им страдание и в то же время явится началом их конца, откроет им путь к исцелению. Движение повествования о молчалинстве от комедии к трагедии явилось следствием раздумья писателя над сущностью и судьбами изображаемого социального типа в связи с теми переменами, которые были вызваны в жизни русского общества процессом нарастания революционного протеста.

Идейно-общественный смысл «Господ Молчалиных», как и любого другого крупного произведения Салтыкова, выходит за рамки непосредственно трактуемой темы. Разоблачению молчалинства Салтыков придал такой аспект и такие масштабы, что и эта его сатира обрушивалась на весь «порядок вещей» буржуазно-дворянского государства и служила утверждению идеи революционного преобразования общества.

VI

«Господа Молчалины» вызвали разнообразные отклики в печати сразу же после их появления на страницах «Отечественных записок» под названием «Экскурсии в область умеренности и аккуратности».

Первые две главы, опубликованные за подписью Н. Г., дали повод для целого ряда непреднамеренных или явно умышленных недоумений, заключений, гаданий относительно автора. Смысл отзывов сводился к утверждениям, что «Экскурсии в область умеренности и аккуратности» — это прес-

ная и водянистая «вариация на Щедрина» [1], бездарное подражание Щедрину; [2] автор «забавляется над «манерой» г. Щедрина» [3], он усвоил себе лишь «внешнюю форму» сатирика и выступает представителем «псевдощедринской школы», чтобы «разбавить грибоедовскую ложку меда в бочке дегтя собственной гонки» [4]. Консервативный сотрудник «Гражданина» высказал категорическое суждение о том, что будто бы «Молчалин немыслим, в настоящее время в особенности, ни в каком виде, ни в какой должности», но тут же сообщал, что об «Экскурсиях» толкуют многие в Петербурге, что читательские «мнения весьма различны», и, в частности, привел такое суждение: «Молчалина изобразить в наше время да в нашем обществе,— да это, помилуйте, это гениальная мысль!» [5]

По-видимому, спекуляции журналистов на «догадках» относительно авторства и заставили Салтыкова применить, начиная с третьей главы, свой привычный псевдоним — Н. Щедрин.

Из последующих глав многочисленные и разноречивые отзывы вызвала и четвертая, где представлен тип литературного Молчалина, издателя либеральной газеты «Чего изволите?». Некоторые либеральные органы почувствовали себя глубоко уязвленными резкой сатирой и не замедлили высказать свое явное недовольство, свидетельствуя тем самым, что Салтыков метко попал в цель. Они не хотели признать Молчалина 2-го типичным представителем современной прессы, упрекали Салтыкова в карикатурности, шаржировании, преувеличениях, в необоснованном выпаде против печати вообще. По мнению критика «Одесского вестника», «знаменитый сатирик пересолил», замалевал слишком черною краской и без того незавидное положение журналистики. «Не с холодным и бессердечным сарказмом, а с теплым соболезнованием следовало ему <...> отнестись к болезням и немощам русской прессы» [6]. Сдержанно отозвалась об очерке правонародническая «Неделя». Анонимный автор писал на ее страницах, что «Щедрин совершенно справедливо навлекает на себя нарекание в неясности, а подчас и двойственности», что он «без разбору бьет и своих и чужих», что нарисованный им образ Молчалина 2-го требует смягчения. Характеризуя позицию редактора «Чего изволите?», критик заявлял: «...если обратиться к мотивам, которые заставляют Молчалина «трепетать»,

---

[1] Экс. <А. П. Чебышев-Дмитриев>, Письма о текущей литературе.— «Биржевые ведомости», 1874, № 267, 1 октября.

[2] А. О. <В. Г. Авсеенко>, Очерки текущей литературы.— «Русский мир», 1874, № 277, 9 октября.

[3] Z. <В. П. Буренин>, Журналистика... Новый очерк г. Щедрина...— Санкт-Петербургские ведомости, 1874, № 281, 12 октября.

[4] М., В. <В. И. Модестов>, Новости русской литературы...— «Новости», 1874, № 231, 24 октября.

[5] Павел Павлов, Заметки досужего читателя.— «Гражданин», 1874, № 52, 31 декабря, стр. 1330, 1333.

[6] С. С. <С. И. Сычевский>, Русская печать в сатире Щедрина.— «Одесский вестник», 1876, № 219, 7 октября.

то положение его окажется не комическим, а драматическим»[1]. Однако большинство органов печати отозвались с похвалой об очерке сатирика, хотя и с разных позиций. Обозреватель «С.-Петербургских ведомостей» писал: «Здесь выступают все лучшие качества крупного таланта г. Щедрина: язвительная насмешка, оживленная комическим элементом, сатирическая меткость, бьющая прямо в цель, и блестящее остроумие, рассыпанное щедрою рукою»[2]. В другом органе отмечалось, что эскиз о «литературном Молчалине» «полон правды <...> написан он превосходно и как нельзя более своевременно»[3].

Заслуживает внимания статья «Гражданина». Журнал, державшийся крайне консервативных убеждений и обычно враждовавший с Салтыковым, на этот раз выступил с весьма положительным отзывом, решительно не согласившись с теми, кто посчитал образ Молчалина 2-го лишь карикатурой. В данном случае реакционный орган использовал салтыковскую сатиру, нападавшую на либерализм «слева», в качестве острого оружия для нападок на него «справа». Но если оценивать статью консервативного критика «Гражданина» независимо от этого, достаточно умело замаскированного, субъективного намерения автора, то нельзя не признать, что в ней салтыковский этюд о литературном молчалинстве получил удачное освещение. Сатирик, писал критик, «обрисовал лучшими красками своего таланта редакцию газеты «Чего изволите?». Тип литературного Молчалина следует причислить к лучшим щедринским типам <...> Действительно, газета «Чего изволите?» и литературный Молчалин, не будучи фотографическим снимком с какой-нибудь известной существующей газеты и редактора, являются вполне и художественно верным *типом*, вмещающим в себе всю дрянь, так широко расплодившуюся в нашей печати. Характеристический образ «Чего изволите?» и литературного Молчалина, варьируясь и оттеняясь сообразно с различными обстоятельствами, постоянно является перед нами»[4].

Привлекла внимание прессы и глава пятая своим смелым изображением департамента «Возмездий и Воздаяний». Критик из «Московского обозрения» отмечал «длинноты», но вместе с тем говорил об авторе сатиры: «...он имеет неиссякаемую способность проникать своим воображением во все уголки той трагикомической сферы, которую он еще со времен «Губернских очерков» избрал объектом своей сатиры»[5].

---

[1] Журнальная хроника. «Экскурсии в область умеренности и аккуратности. IV» Н. Щедрина.— «Отечественные записки», сентябрь.— «Неделя», 1876, № 39, 24 октября, стлб. 1273—1275.

[2] В. М. <В. В. Марков>, Литературная летопись...— «Санкт-Петербургские ведомости», 1876, № 265, 25 сентября (7 октября).

[3] Ego <Л. В. Круглов>, Журнальная хроника... Литературный Молчалин...— «Пчела», 1876, № 39, 10 октября, стр. 147.

[4] В. Оль, Новая сатира Щедрина и наша журналистика.— «Гражданин», 1876, № 39—40, 8 ноября, стр. 960—961.

[5] Б., За две недели (Журнальная заметка)... «Экскурсии в область умеренности и аккуратности» Н. Щедрина...— «Московское обозрение», 1876, № 6, 7 ноября, стр. 85.

Появление первого отдельного издания цикла «В среде умеренности и аккуратности» (1878), включавшего «Господ Молчалиных» и «Отголоски», не вызвало сколько-нибудь значительных критических отзывов. Внимание обратила на себя лишь статья П. Н. Ткачева «Безобидная сатира», появившаяся за подписью «П. Никитин» в первом номере журнала «Дело» за 1878 г. В статье, написанной в фельетонном стиле, книга «В среде умеренности и аккуратности» не подвергалась серьезному рассмотрению, а была использована в качестве повода для предвзятых суждений о Салтыкове как «безобидном» сатирике, чьи произведения приводят читателя «в то «веселонравное настроение», за которым, почти всегда, неизбежно следует «примирение» и «успокоение»[1]. Для читателей журнала «Дело» статья Ткачева не была неожиданной: им была памятна аналогичная статья о «Благонамеренных речах» Н. В. Шелгунова «Горький смех — не легкий смех» («Дело», 1876, № 10). Обе эти статьи в своих основных положениях восходили, о чем прямо заявляли сами авторы, к известной статье Д. И. Писарева «Цветы невинного юмора» и только усугубляли ошибочность высказанных в ней поспешных суждений, несостоятельность которых становилась все более очевидной по мере развития салтыковской сатиры.

Статья Ткачева вызвала справедливые возражения. В полемику с ней вступил на страницах журнала «Слово» известный революционер-народник Д. А. Клеменц, отвергнувший точку зрения Ткачева, как отсталую[2]. На страницах самого «Дела» сатире Салтыкова также была дана позже высокая оценка, отменявшая мнение Ткачева, хотя при этом статья его и не упоминалась. С этой оценкой выступил К. М. Станюкович, утверждавший, что ни один из современных писателей «не обладает таким сатирическим талантом, таким юмором и способностью одним-двумя словами заклеймить целый цикл явлений или определить еле зарождающийся тип»[3].

Некоторые критики, особенно на страницах реакционной прессы, считали изображение действительности в новой книге Салтыкова слишком односторонним и мрачным. Анонимному рецензенту «Русского мира» она не понравилась «массой черных красок»[4]. Другой критик также утверждал, что книга «В среде умеренности и аккуратности» подавляет и уничтожает нас «мертвящим пессимизмом», хотя при этом многие очерки книги оценил как «неподражаемое сатирическое произведение, поражающее

---

[1] П. Никитин <П. Н. Ткачев>, Безобидная сатира.— «Дело», 1878, № 1, отд. II, Современное обозрение, стр. 14.

[2] П. Топорнин <Д. А. Клеменц>, Из русской журнальной летописи.— «Слово», 1878, № 4, отд. II, стр. 130—133.

[3] Ф. Решимов <К. М. Станюкович>, Журнальные заметки... «Чужой толк» Щедрина («Отечественные записки», № 12).— «Дело», 1881, № 1, отд. II, стр. 91.

[4] «В среде умеренности и аккуратности» М. Е. Салтыкова (Щедрина), СПб. 1877.— Еженедельное литературное прибавление газеты «Русский мир», 1878, № 1, 1 января, стр. 89.

невероятной глубиной психологического анализа»[1]. С похвалой отозвался о книге сатирика обозреватель из «Гражданина»: «Ядовитый смех, талантливость изложения, доходящие до высоты художественной картины, дают г. Щедрину одно из первых мест в нашей литературе»[2].

Интересные соображения о «Господах Молчалиных» были высказаны Н. К. Михайловским в статье «Щедрин. Умеренность и аккуратность», впервые опубликованной в 1889 г. в «Русских ведомостях». Обратив внимание на некоторые «любопытные поправки», внесенные Салтыковым в грибоедовский образ, критик, в частности, отметил, что в «щедринской переделке Молчалин выходит гораздо симпатичнее, чем у Грибоедова <...> Своей переделкой Молчалина Салтыков показал, что он может очень мягко относиться к умеренности и аккуратности, когда они украшаются скромностью»[3].

Глава I

(Стр. 7)

Впервые — *ОЗ*, 1874, № 9 (вып. в свет 29 сентября), стр. 209—230, под заглавием «Экскурсии в область умеренности и аккуратности», с порядковым номером «I». Подпись: Н. Г.

Рукописи и корректуры не сохранились.

Различия печатных редакций незначительны. Из наиболее существенных вариантов можно указать лишь один:

К стр. 19. В абзаце «Увы! он очень отчетливо...» после слов «жалобному воплю птенцов его!» в журнале было:

«Эти птенцы <...> поведем речь» (полностью приведено на стр. 634).

Появившись на страницах «Отечественных записок», очерк стал предметом пристального внимания цензурных властей. «По-видимому, это — воспроизведение грибоедовского типа Молчалина, перенесенного в социальную сферу, и принадлежит к литературе нравоописательных этюдов,— отмечал в своем донесении цензор.— Но, читая между строк, по некоторым прозрачным намекам, легко понять, что автор имел в виду изобразить грустные условия современного общественного положения России. Автор рисует эпоху полного затишья в истории человеческой общественности, когда человеку ничего не остается желать, кроме тишины и безвестности, когда здоровая жизнь засыпает, а на ее место вступает в права жизнь призраков, миражей и трепетов, когда лучшие умы обуреваются одним страстным желанием бежать и скрыться. Такое время, по мнению автора, благоприятствует особенно расплоложению людей самого уродливого сор-

---

[1] S. S. <С. И. Сычевский>, Журнальные очерки.— «Правда» (Одесса), 1878, № 97, 29 апреля.

[2] Н. П., Русская литература в 1877 г.— «Гражданин», 1877, № 45—48, 30 декабря, стр. 934.

[3] Н. К. Михайловский, Литературно-критические статьи, Гослитиздат, М. 1957, стр. 531.

та, олицетворенного в типе Молчалина; в счастливой и безответственной области умеренности и аккуратности они видят возможность осуществления полного благополучия...»[1]

Стр. 7. *...вступает в права жизнь призраков, миражей и трепетов...*— Салтыков имеет в виду исторически изжившие себя, но реально существующие и тормозящие прогресс общественные идеи и социально-политические институты. Подробнее см. статью Салтыкова «Современные призраки» и прим. к ней (т. 6, стр. 381—406, 675—680).

...сплошную борьбу с квартальными надзирателями...— Образ квартального надзирателя в сатире Салтыкова — эзоповское обозначение существующего полицейско-самодержавного режима, который угнетающе действовал не только на весь характер жизни общества, но и на внутренний, духовный облик людей. Возражая Достоевскому, давшему ограничительное истолкование этого образа, Салтыков говорил: «Вот Достоевский написал про меня, что я когда пишу — квартального опасаюсь. Это правда, только добавить нужно: опасаюсь квартального, который во всех людях российских засел внутри. Этого я опасаюсь...» (см. *«Салтыков в воспоминаниях»,* стр. 686—687).

...английского судью Джеффриза...— Судья Джеффриз мог помниться Салтыкову по характеристике, данной в статье Чернышевского о «Губернских очерках»: «Джеффрейз, с которым наши читатели знакомы из Маколея, был величайший в мире злодей и негодяй. Каждое его действие было преступно...» (Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. IV, стр. 297). Салтыков знал, конечно, и «Рассказы из истории Англии при королях Иакове II и Вильгельме III и королеве Анне» самого Маколея (в переводах Н. Г. Чернышевского, М. П. Веселовского, В. В. Бутузова и др., под редакцией Н. Г. Чернышевского они печатались в «Современнике» в 1856—1857 гг.).

Стр. 8. *...тайного советника Шешковского...*— Имя Шешковского встречается в произведениях Салтыкова и в дальнейшем («Современная идиллия», «Недоконченные беседы», «Пошехонские рассказы»). Упоминаемые Салтыковым материалы о С. И. Шешковском, начальнике тайной экспедиции правительства Екатерины II, публиковались в «Русской старине», 1874, X, стр. 781—785 (раздел «Исторические рассказы и анекдоты»). Об отношении Салтыкова к журналам «Русская старина» и «Русский архив» см. т. 10 наст. изд., стр. 679—680.

...перепечатка ревизских сказок...— Ревизские сказки — документы для взимания подушной подати, списки крестьянского населения, составлявшиеся в России с 1719 г. на основании периодически производившихся ревизий.

Стр. 9. *...Молчалины ... суть «излюбленные люди»...*— Излюблен-

---

[1] В. Е. Евгеньев-Максимов, В тисках реакции, ГИЗ, М.— Л. 1926, стр. 47.

ные — выбранные на какую-либо общественную должность (термин русского обычного права). Здесь применено иронически для характеристики Молчалина как порождения деспотической действительности.

...к помощи адвоката Легкомысленного... — Сатирическую характеристику этого беспринципного буржуазного адвоката-«хищника» Салтыков особенно тщательно разработал в «Благонамеренных речах» (см. т. 11 наст. изд., стр. 151—154, 582, а также незаконченный очерк «XII. Переписка»). Еще раньше Салтыков обратился к этому новому для пореформенной эпохи типу в «Признаках времени» (см. т. 7 наст. изд.).

...«переходные эпохи»... все усилия оправдать жизненный сумбур... по малой мере бесплодны. — Здесь и далее Салтыков полемизирует с либеральными деятелями, оправдывавшими пореформенные разочарования «переходностью времени», необходимостью «погодить», двигаться вперед «постепенно», «не вдруг» (см. т. 6 наст. изд., стр. 589), ждать лучшего «не нынче, так завтра».

Стр. 10. *...совпадает с правилами устава о пресечении и предупреждении проступков и преступлений...* — Имеется в виду «Устав о предупреждении и пресечении преступлений» (см. «Свод законов Российской империи», т. XIV, СПб. 1857).

цертификат местного квартала о благонадежности... — Цертификат — здесь: письменное свидетельство; местный квартал — отделение городской полиции (до 1862 г.).

...на Песках... — район Петербурга, прилегающий к нынешнему Суворовскому проспекту. ... *в Москве под Донским...* — у Донского монастыря. *...в Колтовской...* — район Колтовских улиц и набережной Малой Невки на Петербургской (ныне Петроградской) стороне. Салтыков называет тогдашние окраины, населенные мелким чиновничеством и мещанством.

Стр. 11. *...человек лебеды* — то есть человек, который вместо хлеба вынужден питаться лебедой, крестьянская трудовая масса; о человеке, питающемся лебедой, см. в очерках «Господа ташкентцы» (т. 10 наст. изд., стр. 23—24, 38—40).

Стр. 13. *...знаменитого «qu'il mourût»?* — слова старого Горация (в трагедии Корнеля «Гораций») о сыне, вызванные ложным известием о его трусости и бегстве с поля сражения, в котором решался вопрос о свободе и независимости Рима (акт III, явл. 6).

Кто идет? кликнет его у пристани дозорщик. — Здесь используется в вольной передаче античный миф о подземном царстве мертвых. куда через реку Ахерон доставлял души умерших перевозчик Харон.

Стр. 15. *...место в жизненном пире...* — выражение из «Опыта о законе народонаселения» Т. Мальтуса (см. т. 9 наст. изд., стр. 546—547).

...свой мартиролог... — перечень страданий, преследований, невзгод.

Стр. 16. *...бродяг и непомнящих родства людей...* — «Непомнящими родства» именовались лица, не имевшие паспортов, удостоверяющих личность; у Салтыкова — широкое обозначение людей, принадлежавших к

имущим и правящим слоям, не дороживших прошлым своей страны и своего народа.

Стр. 18. *...базар житейской суеты...*— так иногда переводили в XIX в. название романа Теккерея «Ярмарка тщеславия». Здесь — фразеологизм.

...помещен где-то далеко, за пределами цивилизации.— Намек на практику административной ссылки, иногда под видом «перевода по службе», в отдаленные районы России.

Стр. 19. *Парка* — в римской мифологии одна из богинь, прядущих нить человеческой жизни, судьбы.

Стр. 22. *...принимал Раппо падающие с высоты чугунные ядра.*— Раппо — атлет, упоминается у Герцена: «...Раппо, поднимавший карету шестериком, нагруженную свинцом» (А. И. Герцен, Собр. соч., т. XXIX, стр. 405); у Тургенева: «...услыхал балладу, в которой описывалось, как в столицу Московии прибыл геркулес Раппо и, давая представления на театре, всех вызывал и побеждал» (И. С. Тургенев, Полн. собр. соч. и писем. Сочинения, т. XIV, стр. 82).

...стратагема — военная хитрость, действие, вводящее в заблуждение противника.

Стр. 26. *...где-то в Царевококшайске...*— Царевококшайск — уездный город в Казанской губернии. У Салтыкова — обобщенное обозначение глубокой провинции.

Глава II

(Стр. 27)

Впервые — *ОЗ*, 1874, № 10 (вып. в свет 23 октября), стр. 461—476, под заглавием «Экскурсии в область умеренности и аккуратности», с порядковым номером «II». Подпись: Н. Г.

Сохранившаяся наборная рукопись[1] позволяет установить, что в процессе публикации очерка Салтыков вычеркнул открывавшее очерк пространное рассуждение об особенностях и роли молчалинского типа. Причиной этого было, по-видимому, то обстоятельство, что задачу экспозиции цикла выполнил уже появившийся в печати первый очерк «Экскурсий». В дальнейшей работе над «Господами Молчалиными» этот отрывок не использовался и при жизни писателя не публиковался. В настоящем томе см. в разделе «Из других редакций», стр. 535—538.

В журнальной публикации Салтыков, возможно, по цензурным соображениям, сократил или заметно ослабил острые сатирические характеристики Каткова как преследователя прогрессивно настроенной молодежи («Вот и благонамеренный, а кажется, нет его для родительского сердца постылее!», стр. 31, в абзаце «Как же! в гимназии...») и особенностей так называемой «внутренней политики» в заключающей очерк реплике Молчалина («Нынче

[1] Л. М. Добровольский и М. И. Малова, Рукописи литературных произведений М. Е. Салтыкова-Щедрина.— В кн.: «Бюллетени Рукописного отдела Пушкинского дома», вып. IX, Л. 1960, стр. 42, № 135.

у нас так: сказывать не сказывают, а ты все-таки старайся!», стр. 43). В настоящем издании, как и в *изд. 1933—1941,* названные купюры устранены.

В отдельных изданиях Салтыков ограничился лишь редактированием и стилистической правкой очерка в 1878 г.

Стр. 28. *...должность помощника экзекутора.*— Экзекутор — чиновник, исполнявший хозяйственные и распорядительные обязанности при канцелярии и присутственном месте.

...дервиш в вицмундире...— Дервиш — нищенствующий мусульманский монах; здесь: человек, находящийся в некоем фанатическом экстазе.

...вынужден был несколько лет прожить в провинции, где познакомился с Сквозником-Дмухановским и Держимордою.— Намек на вятскую ссылку писателя; Сквозник-Дмухановский и Держиморда — городничий и полицейский в «Ревизоре» Гоголя. Эти персонажи фигурируют во многих произведениях Салтыкова («Помпадуры и помпадурши», «Благонамеренные речи», «Сатиры в прозе», «Признаки времени», «За рубежом», «Господа ташкентцы», «Письма к тетеньке», «Недоконченные беседы»).

Стр. 29. *...«несть власть...»* — нет власти *(церковнослав.)* — выражение из Библии (К римлянам, 13, 1); продолжение фразы с умыслом не договаривается: «несть власть аще не от бога».

Стр. 30. *...представлением о Макаре и его телятах...*— иносказательное обозначение ссылки по политическому обвинению в отдаленные губернии России — туда, «куда Макар телят не гонял».

Стр. 31. *...офрапировал...*— поразил, удивил (от *франц.* frapper).

...прибегает это из академии...— Имеется в виду Медико-хирургическая академия в Петербурге, известная высоким уровнем преподавания естественнонаучных знаний и активным участием студентов в общественном движении.

...Человек — это... от обезьяны происходит! — Речь идет об учении Дарвина, изложенном в его основных трудах: «Происхождение видов путем естественного отбора, или сохранение усовершенствованных пород в борьбе за жизнь» (1859; русский перевод С. А. Рачинского — СПб., 1864), «Происхождение человека и половой отбор» (1871; русский перевод — СПб. 1872); во втором высказана мысль о происхождении человека от обезьяноподобных предков.

...пострадать хочу! — Намек на стремление передовой молодежи из имущих классов посвятить себя служению народу, уплатить ему «долг» в соответствии с народническим учением, сформулированным в «Исторических письмах» П. Л. Лаврова.

...по классической части — то есть с обучением классическим языкам, латыни и греческому, которые, по мысли идеологов самодержавия (министра народного просвещения Д. А. Толстого, М. Н. Каткова и др.), должны были увести молодежь от увлечения материализмом и «пагубными

идеями» революционного изменения действительности (см. также прим. в т. 10 наст. изд., стр. 702).

...господин Катков эту травлю поднял... — Имеются в виду многочисленные выступления на страницах «Московских ведомостей» и «Русского вестника» в защиту классического образования и нападки на сторонников реального обучения в гимназиях.

Стр. 32. *...к Вольфу...* — в ресторан на Невском проспекте.

...мы из Пронскова-города... — П р о н с к — уездный город Рязанской губернии.

...пять душ временнообязанных... — Согласно «Положениям» от 19 февраля 1861 г., крестьяне после отмены крепостного права были обязаны нести определенные повинности по отношению к помещикам вплоть до выкупа своей земли.

...за наделом! — то есть кроме надела, предоставленного бывшим крепостным в результате реформы.

Соберут, это, «уполномоченных»... — У п о л н о м о ч е н н ы е — помещики, принимавшие участие в выборах предводителя дворянства.

Стр. 34. *...департамент «Государственных Умопомрачений»...* — Под этим сатирическим наименованием Салтыков разумеет Министерство народного просвещения.

Стр. 36. *...строгий приказ вышел... напредь об масонстве чтоб ни гугу!* — В 1822 г. был издан рескрипт о закрытии всех масонских лож в России, в 1826 г. Николай I подтвердил это запрещение.

Стр. 38. *...генерал-майор Отчаянный* — образ, фигурирующий в ряде произведений сатирика (например, «Больное место», «За рубежом», «Современная идиллия», «Сказки»); некоторые черты его внушены личностью военного министра князя А. И. Чернышева (см. С. М а к а ш и н. Салтыков-Щедрин. Биография, М. 1951, стр. 174).

...департаментом «Побед и Одолений» — сатирическое обозначение Военного министерства.

...небось, помнишь, как вместе горе тяпали! — Намек на службу Салтыкова в Военном министерстве в 1844—1848 гг.

Стр. 40. *...департамент «Распределения богатств» открылся...* — Очевидно, имеется в виду Министерство государственных имуществ, основанное в 1837 г. «В первые два пореформенных десятилетия значительное место в деятельности министерства занимало «устройство» вышедших из ведения министерства крестьян, а также распродажа при министре П. А. Валуеве (1872—1879) государственных имуществ. В некоторых местностях (Приуралье, Башкирия и т. д.) эта распродажа носила характер чиновничьего разграбления» (Н. П. Е р о ш к и н, История государственных учреждений дореволюционной России, М. 1963, стр. 223).

...Рудина... который в Дрездене... — Возможный намек на связь образа Рудина с М. А. Бакуниным (см. т. 8 наст. изд., стр. 518). Бакунин был одним из деятельных участников восстания в Дрездене в 1848 г.

Стр. 42. *...они, молодые-то люди, дела не знают... Реформы у них одни в голове...*— Речь идет о бюрократах пореформенного периода, типы которых воспроизведены сатириком в ряде очерков — «Помпадуры и помпадурши» (Митенька Козелков, Феденька Кротиков), «На досуге» (Левушка Коленцов) и др.

Глава III

(Стр. 43)

Впервые — *ОЗ*, 1874, № 11 (вып. в свет 29 ноября), стр. 155—180, под заглавием «Экскурсии в область умеренности и аккуратности», с порядковым номером «III». Подпись: Н. Щедрин.

Рукописи и корректуры не сохранились.

Разночтения печатных редакций незначительны.

Стр. 43. *И в Коломне тихо живут...*— Коломна — в XIX в. окраина Петербурга, прилегающая к Калинкину мосту и Покровской площади (ныне пл. Тургенева).

Стр. 44. *Прежде, бывало, из «Елены Прекрасной», а нынче «Мадам Анго» откуда-то проявилась.*— «Прекрасная Елена» — оперетта Ж. Оффенбаха, поставлена в России в 1864 г. (см. т. 7 наст. изд., стр. 53—54); «Дочь мадам Анго» — оперетта Ш. Лекока, поставлена в 1872 г.

Стр. 46. *Будь, человек, благороден! // Будь сострадателен, добр!* — из стихотворения Гете «Божественное».

Читал, чай, процесс игуменьи Митрофании? — Имеется в виду отчет о процессе игуменьи Митрофании по обвинению в подлоге векселей и других уголовных преступлениях (см. т. 10 наст. изд., стр. 804—805). Защитниками интересов пострадавших были известные адвокаты Ф. Н. Плевако, А. В. Лохвицкий и др., над выспренним красноречием которых иронизирует далее Салтыков.

На Синай всходил! каких-то «разбитых людей вопь» поминал! — Салтыков объединил выступления двух адвокатов в одно. Обращаясь к Митрофании, Плевако в конце речи произнес: «С вершины дымящегося Синая сказано человечеству: «не укради». Вы не могли не знать этого, а что вы творите? Вы обираете до нищеты прибегнувших к вашей помощи. С вершины Синая сказано: «не лжесвидетельствуй»,— а вы посылаете вверивших вам свое спасение инокинь говорить неправду...» и т. д. («Дело игуменьи Митрофании. Подробный стенографический отчет, составленный Е. П. Забелиной», М. 1874, вторая пагинация, стр. 115). Второе выражение взято из речи Лохвицкого: «Теперь вам предстоит выслушать, как говорилось в старину, «тех разбитых людей вопь», тех людей, чьих имуществ касались ее преступления» (там же, стр. 80).

Стр. 47. *...Балалайкин, адвокат.*— Образ Балалайкина фигурирует в ряде произведений Салтыкова (в данном цикле — «На досуге», затем в «Круглом годе», «Современной идиллии», «За рубежом», «Недоконченных беседах», «Письмах к тетеньке», «Сказках»).

Стр. 48. *...пойду по Надеждинской...* — На Надеждинской (ныне улица Маяковского) помещался ряд адвокатских контор.

...сам к Елисееву ходил, клубничный пирог у Лабутина купил... — Речь идет о гастрономическом и кондитерском магазинах, названных по фамилиям их владельцев.

...двое шематонов... — Шематон — пустой человек, шалопай, бездельник; шеметать — заниматься бездельем, пустяками, суетиться попусту.

...все про конкурсы да про дутые векселя... дисконты... — Конкурсы — здесь: передача кредиторам управления имуществом несостоятельного должника с целью удовлетворения имеющихся к нему материальных претензий; вексель — долговое обязательство об уплате суммы в назначенный срок; дутый вексель — фальшивый, необеспеченный; дисконт — покупка векселей банками или частными лицами до наступления платежа.

Стр. 51. *...«Попрыгунью стрекозу» прочту* — басню И. А. Крылова «Стрекоза и муравей» (1808).

Стр. 52. *...минодирующая* — жеманная (от *франц.* minauder).

Стр. 54. *...и в банке и в ландскнехте...* — названия карточных игр.

Стр. 55. *...насчет «родов и видов» поговорил бы...* — Имеется в виду учение Ч. Дарвина (см. прим. к стр. 31).

Стр. 58. *«Мимо идоша и се не бе!»* — этого не было *(церковнослав.)*.

Стр. 61. *...из Венева-то явились сюда...* — Венев — уездный город Тульской губернии.

...комитеты-то эти в пятьдесят восьмом году открыли... — Имеются в виду губернские дворянские комитеты, которым была поручена подготовка проектов крестьянской реформы.

...как только рескрипт пришел... — Согласно «Положению об устройстве дворовых людей», принятому в январе 1861 г., дворовые люди получали личные и имущественные права, но в течение двух лет были обязаны служить своим господам или платить им установленный оброк.

Стр. 62. *Как же ты... об Адаме и Еве полагаешь?* — Здесь и далее речь идет о церковно-христианской версии происхождения жизни на земле и человека, противопоставлявшейся естественнонаучному объяснению мира.

Стр. 63. *«Я лиру томну строю...»* — из стихотворения В. В. Капниста «На смерть Юлии».

...Ванька Таньку полюбил... — русская народная песня (в обработке Даргомыжского получила широкую известность).

Стр. 64. *...да воскреснет бог и расточатся врази его!* — начальная строка псалма.

...начиная с так называемого «непомнящего», ночующего в стогах сена — то есть бродяг, скитающихся в поисках средств к существованию. *...кончая так называемым «деятелем», тщетно отыскивающим себе местожительство в кустах.* — О деятелях, которые прячутся в кустах, см. также статью «Литературные кусты» (т. 6 наст. изд., стр. 506—517).

Стр. 66. *Шасспо* — нарезное ружье, названное по фамилии изобретателя.

Глава IV

(Стр. 67)

Впервые — *ОЗ,* 1876, № 9 (вып. в свет 20 сентября), стр. 255—292, под заглавием «Экскурсии в область умеренности и аккуратности», с порядковым номером «IV». Подпись: Н. Щедрин.

Сохранилась наборная рукопись первоначальной редакции очерка[1].

Очерк написан летом 1875 г. в Баден-Бадене. В письме от 29 августа Салтыков сообщал Некрасову, что очередная глава «Экскурсий», для сентябрьского номера «Отечественных записок», выслана «две недели тому назад».

Еще до представления очерка в цензуру Некрасов пришел к выводу о возможных затруднениях с публикацией, о чем он и писал в несохранившемся письме, полученном Салтыковым в Баден-Бадене 4 сентября. «Очень меня огорчило, что Вы сомневаетесь относительно помещения «Экскурсий»,— в тот же день отвечал Салтыков.— Мне статья эта казалась более безопасною, нежели «Сон в летнюю ночь». «Экскурсии» могут быть истолкованы в двух смыслах, и это ограждает их. Но, по моему мнению, необходимо, чтобы читатель хоть смутно понял, в чем суть <...> Я думаю, что Фукс уже в Петербурге; свезите ему эту статью и от меня попросите прочесть и сказать свое мнение». «Я с нетерпением жду корректуры «Экскурсий»,— писал Салтыков Некрасову пять дней спустя, еще не зная о том, что опасения Некрасова оправдались,— но, признаюсь Вам, очень мне будет жаль сокращать этот рассказ». В настоящее время невозможно установить, производил ли Салтыков в сентябре — октябре 1875 г. сокращения в тексте произведения.

4 ноября Салтыков вновь обращается к Некрасову: «Ежели есть возможность печатать «Экскурсии», то печатайте в ноябрьской книжке; ежели же нет возможности, то нельзя ли передать его Суворину: пусть в «Биржевых ведомостях» напечатает». «...Ежели <...> будут помещены «Экскурсии», то новый рассказ отложите до декабря»,— напоминает он 10 ноября. Однако и на этот раз очерк напечатан не был: при подготовке ноябрьской книжки журнала Некрасов вынужден был послать его на просмотр цензору С. И. Лебедеву, который рекомендовал редакции воздержаться от публикации: «...с «Экскурсиями» случилась опять остановка. Неприятно, но делать нечего. Этот Лебедев, должно быть, глубокий мерзавец»,— с раздражением откликнулся 7 декабря Салтыков на сообщение Некрасова о неудачном обращении в цензуру.

Летом 1876 г. Салтыков предпринял переработку четвертой главы. «...«Экскурсии», исправленные, скоро вышлю...» — сообщал он Некрасову

---

[1] Л. М. Добровольский и М. И. Малова, Рукописи литературных произведений М. Е. Салтыкова-Щедрина.— В кн.: «Бюллетени Рукописного отдела Пушкинского дома», вып. IX, Л. 1960, стр. 42, № 136.

9 июля. Переработка главным образом шла по двум направлениям. Салтыков произвел сокращения в начале очерка, затем заменил передовицу «О числе и качествах городовых» вновь написанным эпизодом. Во второй половине очерка Салтыков сделал лишь несколько купюр, продиктованных, вероятно, цензурными опасениями: «Может быть, там и невесть что затевается» (стр. 94, абз. «Да, но все-таки...»), «Молоды они — ну, и трутся в свободное от занятий время» (стр. 95, абз. «— Вероятно...»), «Но Алексей Степаныч <...> чистить осталось!» (стр. 104).

Возвратившись в Петербург в августе, Салтыков просил бывшего своего товарища по Московскому дворянскому институту цензора Н. А. Ратынского высказать мнение относительно возможности публикации новой редакции очерка. Ответ Ратынского был положительным, однако он рекомендовал Салтыкову для окончательного решения вопроса обратиться к начальнику Главного управления по делам печати В. В. Григорьеву. 3 сентября 1876 г. Салтыков встретился с В. В. Григорьевым: «Вот я сегодня и поехал <...> Ждал от часу до трех — и что же? Принял он меня не только холодно, но почти неприязненно, даже не посадил. Хотел ли он поломаться надо мной, но первым его вопросом было следующее: Вы в каком журнале участвуете? Хотя Ратынский и уверял меня, что он уже читал «Экскурсии» в первой редакции, но он и виду не подал, а когда я заикнулся о том, что вот, дескать, цензура встретила год тому назад затруднения, а ныпе я переделал, и желал бы, чтоб ваше превосходительство удостоили прочесть, то он прямо объявил: это не мое дело-с, на это есть цензор. Одним словом, свидание вряд ли продолжалось и минуту, но, несмотря на это, мне показалось, что на меня целый час плевали. После я зашел к Петрову и отдал «Экскурсии» ему...» Этот эпизод уже на следующий день стал известен в университетском совете, членом которого был В. В. Григорьев; ему, как писал Салтыков в письме Некрасову 21 сентября, «чуть не сделали скандал, но ограничились тем, что через Градовского потребовали объяснений». Вполне возможно, что именно это обстоятельство и способствовало тому, что отданный цензору Петрову очерк был разрешен и появился в сентябрьской книжке журнала (см. *изд. 1933—1941,* т. 12, стр. 621—623).

В настоящем томе очерк печатается по тексту издания 1885 г., с исправлением опечаток по рукописи и всем прижизненным изданиям, а также с устранением названных выше цензурных купюр по наборной рукописи. Не вошедшие в печатный текст варианты первоначальной редакции см. в разделе «Из других редакций».

Стр. 68. *...газету «Чего изволите?» издает.*— Создавая обобщающий пародийный образ журналиста-приспособленца, сатирик метил в такие буржуазно-либеральные издания, как «Санкт-Петербургские ведомости», «Голос», «Биржевые ведомости» и др. (см. Е. Покусаев. Революционная сатира Салтыкова-Щедрина, М. 1963, стр. 299). Тогда же имелось в виду и «Новое время», перешедшее в 1876 г. в руки А. С. Суворина. Именно

за этой газетой и закрепилась в дальнейшем кличка «Чего изволите?». Первоначально Салтыков относился к «Новому времени» благожелательно и даже обещал сотрудничество (см. письмо к Суворину от 6 (18) марта 1876 г.), но уже в первые месяцы существования газеты для него становится очевидным приспособленчество, а затем и ренегатство Суворина. Нарастание критического отношения к его газете видно из писем Салтыкова к Некрасову. В письме от 11 (23) мая 1876 г. (то есть еще до появления данной главы «Господ Молчалиных» в сентябрьской книжке «Отечественных записок») сатирик заявляет, что «Новое время» — «газета «ерническая», ее девиз — «неуклонно идти вперед, но через задний проход»; в письме от 9 июля 1876 г.: «...ужасно больно читать такие пошлости, как «Новое время», «Биржевые ведомости» и проч.»; наконец, в письме от 13 октября: «Новое время» все продолжает свирепствовать и — приобретать успех. На мое личное замечание, что у него не осталось никаких союзников в литературе, кроме «Московских ведомостей» да «Русского мира», Суворин отвечал: «Что ж, и прекрасно!» Из этого Вы можете судить, до каких пределов этот человек дошел <...> ужасно хочется, чтоб эта гнусная газетчонка хлопнулась». Впоследствии В. И. Ленин, характеризуя эволюцию издателя «Нового времени», писал, что Суворин «во время второго демократического подъема в России (конец 70-х годов XIX века) повернул к национализму, к шовинизму, к беспардонному лакейству перед власть имущими. Русско-турецкая война помогла этому карьеристу «найти себя» и найти свою дорожку лакея, награждаемого громадными доходами его газеты «Чего изволите?» (В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 22, стр. 44). Газета под таким названием фигурирует в ряде произведений Салтыкова («Сборник», «Круглый год», «Недоконченные беседы», «Пестрые письма»).

Литератор — не литератор, а в военно-учебном заведении воспитывался ... прежде табачную лавку содержал. — Здесь и далее намек на газету «Русский мир» (1871—1880) и ее издателей В. В. Комарова, генерала М. Г. Черняева и др., перепродавших издание Л. Кронебергу, бывшему владельцу табачной фабрики.

...все из золотарей. — Золотарь — служащий по золотым промыслам; также чистильщик отхожих мест. В сатирическом словоупотреблении у Салтыкова — игра на разных значениях слова.

...яко тать в нощи — как вор ночью *(церковнослав.)* — выражение из Евангелия (первое послание к фессалоникийцам, V, 2).

Стр. 69. *...«безобразия свияжские», «безобразия красноуфимские», «безобразия малоархангельские» и проч.* — Имеются в виду обличительные материалы из различных мест России, печатавшиеся в разделах о внутренней жизни страны (в газете «Русский мир» — «Известия из разных мест», в «Новом времени» — «Внутренние известия» и т. п.).

...уйми... моих передовиков — то есть авторов передовых статей в газете.

Стр. 70. *...покойный Луи-Филипп* — в годы Великой французской революции лицемерно примыкал к республиканцам, затем организовал

контрреволюционный заговор. В результате июньских событий 1830 г. возведен на престол, жестоко расправлялся с демократическим движением.

Стр. 70. *...води их почаще на большую Садовую гулять да указывай на Управу Благочиния...* — Управа Благочиния — дореформенное городское полицейское учреждение, возглавлявшееся полицмейстером; существовала в 1782—1862 гг., затем заменена городскими полицейскими управлениями (в уездных городах — уездными полицейскими управлениями); на Большой Садовой в Петербурге находилась столичная Управа Благочиния.

Стр. 72. *...шумят... народные витии...* — измененная цитата из стихотворения Пушкина «Клеветникам России» (1831).

Стр. 73. *...читатель необыкновенный... с карандашом в руках...* — то есть цензор.

...Вотчинная полиция упразднена; мировые посредники... сочтены излишними. — Институт мировых посредников был учрежден после крестьянской реформы 1861 г. для введения уставных грамот между помещиками и крестьянами и разрешения споров и жалоб в поземельных отношениях; превратившись в орган надзора за крестьянскими сословными учреждениями, они просуществовали до 1874 г., когда функции их были возложены на уездные по крестьянским делам присутствия. Вотчинная полиция помещиков потеряла значение в результате полицейской реформы 25 декабря 1862 г.

...сотские и десятские... — должностные лица, избиравшиеся наряду с сельским старостой сельскими сходами.

...мировые судьи — избирались на три года органами городского и местного самоуправления; имущественный, образовательный и служебный ценз избираемых обеспечивал господство дворян и в этом суде, ведению которого подлежали мелкие уголовные и гражданские дела.

Стр. 74. *...газета «И шило бреет»...* — ироническое название либеральной газеты, встречается и в других произведениях («Сборник», «Убежище Монрепо», «За рубежом»). Оценку Салтыковым либеральной прессы см., в частности, в цикле «Дневник провинциала» (гл. VI, VII) и прим. к нему (т. 10 наст. изд.).

Стр. 75. *...с словом следует обращаться честно* — несколько измененная цитата из статьи Гоголя «О том, что такое слово» (в книге «Выбранные места из переписки с друзьями»).

...ни одним скрупулом... — Скрупул — старинная единица аптекарского веса, равная 1,24 г.

Стр. 76. *...нагое единоначалие...* — эзоповское обозначение самодержавной власти.

Стр. 77. *...многое зависит от начальников края, а я бы сказал: все!* — В связи с усилением революционного движения были осуществлены меры, расширявшие права губернаторов. Так, 13 июля 1876 г. Комитет министров дал губернаторам право для «правильного исполнения узаконений о благочинии и безопасности» издавать так называемые «обязательные постановления» (запрет собраний, органов печати и др.).

Стр. 78. *«Токвиль говорит..»* — Труды французского историка и публи-

циста Токвиля «Демократия в Америке» (1835—1840, русский перевод в 4-х томах, Киев, 1860), «Старый порядок и революция» (1856; русский перевод, СПб. 1861) интересовали Салтыкова еще в период пребывания в Вятке и использовались им затем в творчестве в целях критики самодержавно-бюрократических порядков России (см. т. 10 наст. изд., стр. 743).

«Гнейст, подтверждая это мнение...» — Взгляды Гнейста на государственное устройство изложены в его сочинении «Das heutige englische Verfassungs-und Verwaltungs Recht», Berlin, 1857—1860 («Современное английское конституционное и административное право»); Салтыков упоминает о Гнейсте также в «Сатирах в прозе» (см. т. 3 наст. изд., стр. 265, 598), «Характерах» (т. 4 наст. изд., стр. 199, 544) и др.

Стр. 79. *...знаменательные слова Тюрго...*— Для русских революционных демократов деятельность Тюрго, в течение двух лет занимавшего должность государственного контролера Франции, являлась классическим примером бессилия буржуазной демократии путем реформ противостоять произволу феодально-монархического режима. Чернышевский писал о Тюрго: «Он хотел: отменить феодальные права; уничтожить привилегии дворянства; пересоздать систему налогов и пошлин; ввести свободу совести; переделать гражданские и уголовные законы; уничтожить бóльшую часть монастырей; ввести свободу тиснения; преобразовать всю систему народного просвещения. В довершение всего хотел ввести во Франции нечто очень похожее на конституцию. Можно ли не посмеяться над простаком?» (Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. V, стр. 317). Тюрго был уволен в отставку Людовиком XVI по настоянию придворных правящих кругов. Салтыков, несомненно, разделял точку зрения Чернышевского на деятельность Тюрго и буржуазный либерализм.

...имя Бурбонов... перейдет на главы тех... офицеров, которые выслужились из кантонистов и сдаточных.— Бурбоны — династия французских королей (1589—1792, 1814—1848); наименование «бурбон» стало нарицательным для обозначения грубости, самодурства, солдафонства. Кантонист — солдатский сын, с рождения приписывавшийся к военному ведомству. Сдаточный — лицо, сданное в солдаты; помещиками широко практиковалась сдача крепостных крестьян в солдаты.

...при организации... чижовок...— Чижовка — то же, что и кутузка, в просторечии — камера для заключенных при полицейском участке или волостном правлении.

Стр. 80. *Il voit tout...*— куплет из оперетты Лекока «Чайный цветок», о которой говорится далее.

...валяй по всем по трем! — у Салтыкова — выражение для обозначения открытого выступления реакции против революционно-демократических сил (см. т. 6 наст. изд., стр. 662).

Стр. 81. *...наши земства...*— Земские органы «самоуправления» созданы по реформе 1 января 1864 г. для руководства хозяйственными делами (строительством и управлением местных дорог, школ, больниц, организацией поземельного кредита и т. д.); органами земства являлись уездные и

губернские земские управы, члены которых избирались земскими собраниями. Земские органы не имели сколько-нибудь действенного значения в жизни общества и, по определению В. И. Ленина, были «кусочками конституции», посредством которых русское «общество» *отманивали* от конституции» (В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 5, стр. 65).

Стр. 84. *...с легкой руки Бисмарка...*— Бисмарк, допуская в целях демагогии оппозицию в парламенте, в 1878 г. добился принятия исключительного закона против социалистов и жестоко подавлял рабочее движение.

...в штатах департамента этимологии и правописания...— По-видимому, намек на Главное управление по делам печати.

...из чести лишь одной я в доме сем служу — цитата из поэмы В. Л. Пушкина «Опасный сосед» (1811).

Стр. 85. *...французы распорядились ниццарами, а немцы в последнее время эльзаслотарингцами.*— Город Ницца до 1860 г. принадлежал Италии, в 1860 г. по Туринскому договору отошел к Франции. Эльзас-Лотарингия — провинции, отнятые немцами у Франции в результате франко-прусской войны 1870—1871 гг.

Стр. 87. *Материалистические учения... увлекают... молодое поколение...*— Речь идет о материалистических взглядах, которые находила передовая молодежь в произведениях революционных деятелей 60-х годов, в трудах крупнейших представителей современной естественнонаучной мысли (издание произведений Ч. Дарвина, лекции и труды И. М. Сеченова и др.).

...ввиду теперешних, можно сказать, обстоятельств! — Очевидно, намек на подготовлявшиеся судебные процессы над организаторами и участниками «хождения в народ».

Стр. 88. *...если бы покойный Памфил Юркевич или... господин Струве...*— Повествователь напоминает о деятельности противников философского материализма и полемике, вызванной диссертацией Г. Е. Струве «Самостоятельное начало душевных явлений» (1870); П. Д. Юркевич выступил в ее защиту с обширной статьей «Игра подспудных сил по поводу диспута профессора Струве» (*РВ*, 1870, апрель). О позиции Юркевича см. также статью Салтыкова «Неблаговонный анекдот о г. Юркевиче» (т. 5 наст. изд.).

Стр. 90. *...у патагонцев* — здесь синоним дикости. Патагония — область на юге Аргентины. См. т. 7 наст. изд., стр. 636, 669.

Стр. 92. *...наши минерашки и демидроны* — заведения искусственных минеральных вод в Новой деревне в Петербурге (см. т. 7 наст. изд., стр. 605). «Демидроном» кутилы того времени называли одно из увеселительных заведений — «Демидов сад».

...победа, которую «порфироносная вдова» одерживает над «юною царицей» — реминисценция из поэмы Пушкина «Медный всадник»:

...И перед младшею столицей
Померкла старая Москва,
Как перед новою царицей
Порфироносная вдова.

...засадили бы в Катковский лицей изучать латинскую грамматику... — Лицей открыт в 1868 г. в Москве с целью насаждения классического образования (см. т. 8 наст. изд., стр. 518); основан на средства М. Н. Каткова, его ближайшего соратника по «Русскому вестнику» П. М. Леонтьева и железнодорожного подрядчика С. Полякова.

как экзаменовал «Русский вестник» профессора римского права, Никиту Крылова... — Имеется в виду полемика публицистов «Русского вестника» с Н. И. Крыловым, вызванная его выступлением с критическими замечаниями («Русская беседа», 1857, кн. 1 и 2) о диссертации Б. Н. Чичерина «Областные учреждения России в XVII веке». Крылову возражал и Чичерин (*РВ*, 1857, т. X, стр. 727—768, т. XI, стр. 174—206), и сам Катков вместе с Леонтьевым в фельетонных заметках на страницах «Современной летописи». Они издевались над Крыловым, упрекая его в незнании латинской грамматики, приводя в качестве примера, в частности, термин «ordo equestris».

Стр. 93. *«Московские ведомости»... он на меня... донос... строчит!* — В этих словах можно усмотреть намек на полемику газеты с «Вестником Европы» по вопросам классического образования; о н — Катков.

Стр. 94. *...Черное-то море с самого севастопольского погрома ...продолжает сиротеть...* — В результате поражения в Крымской войне Парижским трактатом 1856 г. России запрещалось держать военный флот на Черном море; хотя это запрещение было в 1871 г. отменено, восстановление флота шло медленно.

Может быть, там и невесть что затевается! — Намек на обострение Восточного вопроса, приведшее к войне России с Турцией.

...мы имеем действительных статских кокодесов — см. т. 10 наст. изд., стр. 287, 737. См. прим. к стр. 390.

Стр. 95. *...о милой безделице и ее свойствах...* — Характеристику людей, поглощенных «безделицей» — животно-низменными увлечениями — и чуждых каких-либо умственных интересов, см. в статье Салтыкова «Новаторы особого рода» (т. 9 наст. изд., стр. 36—47).

...служащим в них касимовским князьям.., послала к Борелю... — Касимов — уездный город Рязанской губернии; в XV—XVII вв. был центром удельного княжества, созданного московскими князьями для татарских ханов, перешедших к ним на службу. К а с и м о в с к и й к н я з ь — здесь: презрительно-насмешливое прозвище татар-половых в петербургских ресторанах. Б о р е л ь — петербургский ресторатор.

...«погибшему, но милому созданью»... — женщине легкого поведения, крылатое выражение, цитата из «Пира во время чумы» А. С. Пушкина.

Стр. 96. *Поставьте «адвокаты» — будет и правдоподобно, и без риску!* — Беспринципность и продажность подавляющей части пореформенной адвокатуры Салтыков заклеймил в ряде сатирических зарисовок (Балалайкин и др. в данном цикле; см об этом также в т. 10 наст. изд., стр. 681).

...гласные городской думы. — Г о р о д с к и е д у м ы учреждены по городскому положению 1870 г., выборы гласных проходили в трех избира-

тельных съездах (крупных, средних и мелких налогоплательщиков); руководящую роль в городских думах получила крупная буржуазия.

Стр. 97. *«История Государства Российского»* — известный труд Н. М. Карамзина.

...и думает, что все — прокламации! — Многие из участников «хождения в народ» были арестованы за хранение или распространение литературы, в том числе легальной (например, стихотворений Н. А. Некрасова, рассказов Н И. Наумова, А. И. Левитова и др.).

Стр. 99. *...давно ты предостережениев не получал...* — Предостережение — карательная мера цензуры по отношению к журналам и газетам, нарушившим в чем-либо закон о печати; после третьего предостережения следовала приостановка или полное прекращение издания.

...запели перед тобой Лазаря... — Петь Лазаря — прикидываться несчастным, стараться разжалобить (от евангельской притчи о нищем Лазаре — Лука, XVI, 20—25).

Стр. 104. *Вот бы я тебе помойные ямы показал, так те уже полтораста лет чистят...* — Речь идет о вековой отсталости России в социальном, политическом и культурном отношении, борьбу против которой начал своими преобразованиями Петр I.

Глава V

(Стр. 104)

Впервые — *ОЗ*, 1876, № 10 (вып. в свет 21 октября), стр. 567—597, под заглавием «Экскурсии в область умеренности и аккуратности», с порядковым номером «V». Подпись: Н. Щедрин.

Рукописи и корректуры не сохранились.

В первом отдельном издании (1878) текст главы отличается от журнального незначительными сокращениями, продиктованными, вероятно, цензурными опасениями: «очень даже резконько!» (стр. 123, абз. «Как же!..»), «Ведь он только исполнитель...» (стр. 124, абз. «То есть как же...»), «разумеется, в благонамеренном тоне!» (стр. 124, абз. «Да, и поэт»), «Ведь это только так кажется, что немного, ты только подумай!» (стр. 124, абз. «Ну, вот видишь...»), «Ты стоял бы, как зачумленный, где-нибудь в углу, и никто не подумал бы даже приблизиться к тебе» (стр. 129, абз. «До сих пор...»). В наст. издании, как и в *изд. 1933—1941,* эти купюры устранены.

Кроме того, в первом отдельном издании Салтыков снял заключительную фразу, очевидно, намечавшую сюжет следующего, оставшегося неосуществленным, очерка:

Выйдя на улицу, я пришел в себя, и первая мысль, которая представилась моему уму, была та, что на мне лежит нравственная обязанность посетить литературную пятницу Ивана Семеныча.

Стр. 107. *...я так давно не был в департаменте «Возмездий и Воздаяний» (более двадцати лет)...*— Здесь и далее («Департамент Вздохов») Салтыков говорит о политической карательной системе самодержавия (полиция, III Отделение и пр.). Салтыков также намекает на собственную ссылку в Вятку в 1848—1855 гг.

Стр. 110. *...требник...*— книга с молитвами для свершения богослужебных обрядов (крестин, венчаний, панихид и др.).

Стр. 111. *...забрался под арку к площади...*— Имеется в виду арка, соединяющая Б. Морскую (ныне ул. Герцена) с Дворцовой площадью; в здании с фасадом на площадь слева и справа от арки находились многочисленные государственные учреждения, в том числе департамент полиции.

Стр. 112. *...сбирры, как в «Лукреции Борджиа»...*— Сбирры в Папской области Италии — полицейские служители; «Лукреция Борджиа» — опера Доницетти.

«...здесь стригут, бреют и кровь отворяют...», «бараний рог...», «Макара, телят не гоняющего...» — иронические выражения, в системе эзоповского языка Салтыкова обозначающие полицейские меры по отношению к нарушителям самодержавного правопорядка.

Стр. 113. *...в театре Берга* — помещался на Екатерининском канале, был открыт только в зимний сезон, репертуар состоял из французских шансонет и интермедий.

Стр. 115. *...попаду во чрево кита* — выражение, восходящее к Библии (Книга пророка Ионы, II, 1); на эзоповском языке сатирика означает — попасть в карательное учреждение.

Стр. 118. *...У Елисеевых да у Эрберов* — владельцев магазинов фруктово-колониальных товаров в Петербурге.

Стр. 119. *...господин Расплюев* — персонаж трилогии А. В. Сухово-Кобылина — «Свадьба Кречинского», «Дело», «Смерть Тарелкина».

Стр. 121. *«Спаси господи» в стихи переложи...*— «Спаси господи» — молитва «за царя и отечество».

...от лекций Сеченова.— О значении учения И. М. Сеченова для передовой молодежи см. прим. к стр. 87 и т. 10 наст. изд., прим. к стр. 281.

Стр. 122. *...пока М. И. Семевский... не украсит ими страниц «Русской старины».*— В журнале «Русская старина» публиковались исторические документы, письма, мемуары (см. т. 10 наст. изд., прим. к стр. 17).

Стр. 125. *...статью «Двадцать лет реформ»...*— возможно, напоминание о книге А. А. Головачева «Десять лет реформ (1861—1871)», СПб. 1872, первоначально печатавшейся отдельными статьями в «Вестнике Европы» (1872, № 2—5); иронический отклик на этот труд либерального публициста содержится еще в цикле «Помпадуры и помпадурши» (см. т. 8 наст. изд., стр. 199, 522—523).

...фюить! — в эзоповском языке Салтыкова обозначает внезапную административную ссылку.

Стр. 127. *...смерть «больного человека»...*— Имеется в виду ожидав-

шееся финансовое банкротство Османской империи (1879), назревавшее с 1854 г. в результате кабальных условий предоставления займов Турции европейскими державами.

Стр. 127. *...в ожидании этого времени у болгар...* — Очевидно, намек на вооруженное восстание в Болгарии в апреле 1876 г., подавленное турками.

Стр. 129. *...иначе, как в «сопровождении»...* — то есть в сопровождении жандарма или полицейского.

Стр. 131. *Фиддей иногда... с Волкова ли? не со Смоленского ли?* — Булгарин умер в 1859 г. в своем имении Карлово, похоронен в Дерпте.

Глава VI

(Стр. 132)

Впервые в изд.: М. Е. Салтыков-Щедрин. В среде умеренности и аккуратности, СПб. 1878, стр. 173—176.

Рукописи и корректуры не сохранились.

Написано специально для отдельного издания.

II. ОТГОЛОСКИ

Очерки, составившие под названием «Отголоски» вторую часть цикла в «Среде умеренности и аккуратности», при всем различии освещаемых тем и характера повествования, многими своими мотивами перекликаются с «Господами Молчалиными».

С последними непосредственно связаны два заключительных очерка — «Дворянские мелодии» и «Чужой толк», возвращающие читателя к идейным мотивам и персонажам «Господ Молчалиных». В первом из этих очерков Салтыков использовал отчасти, а во втором повторил с небольшими изменениями текст запрещенного цензурой очерка «Чужую беду — руками разведу».

Что же касается тех очерков из «Отголосков», которые не имеют с «Господами Молчалиными» непосредственной сюжетной переклички, то и они рядом своих особенностей сближаются с ними. Выражается это прежде всего в том, что действие «Отголосков» вообще развертывается преимущественно в той же «среде умеренности и аккуратности», что и «Господ Молчалиных», а ряд персонажей очерков по своей социальной психологии и по своему общественному поведению примыкает к «молчалинству».

Характерными выразителями идеологии и психологии «молчалинства» являются муж и жена Положиловы («День прошел — и слава богу!», «На досуге»), заточившие себя в скорлупу смирения и послушания, безусловного повиновения «начальству». Образ Положилова-чиновника — новая, колоритная зарисовка одной из разновидностей Молчалиных.

В «Отголосках» показаны черты психологии приспособленчества и у тех людей «культурного слоя», которым совершенно очевиден постыдный характер уклада жизни Положиловых («Мне стало стыдно»,— заявляет повествователь), но которые, при всем своем либерализме, подчиняются гос-

подствующей атмосфере и даже наставляют новое поколение в духе молчалинских заповедей (разговор повествователя с Молчалиным-сыном в очерке «Чужой толк»).

«Отголоски» связывают с «Господами Молчалиными» и другие образы и мотивы, характеризующие русскую общественную жизнь 70-х годов: гонение властей на передовую мысль; борьба с «внутренними врагами» в лице демократической молодежи; напоминания о мрачных представителях охранительной идеологии — Шешковском, Булгарине, Грече; разнузданность и беспринципность торгашеской печати («Чего изволите?», «Краса Демидрона»). Общими для обеих частей являются и некоторые творческие приемы, к которым прибегает автор: повествование от первого лица; использование и развитие образов «Горя от ума» Грибоедова, как и других произведений («Мертвые души» Гоголя, «Рудин» Тургенева и др.); пародирование газетных жанров (корреспонденции Подхалимова 1-го, замечания «От редакции»).

При отмеченной общности всего цикла «В среде умеренности и аккуратности», каждая из двух его частей имеет и свои особенности, обусловленные как содержанием, так и задачами, которые осуществлял писатель. В отличие от «Господ Молчалиных», очерки «Отголосков» весьма слабо связаны друг с другом в композиционном отношении. Каждый из них в отдельности был откликом на события русской и отчасти европейской жизни за сравнительно короткий отрезок времени. Важнейшими из этих событий, поставивших различные слои русского общества перед сложными и трудными испытаниями, были: обострение Восточного кризиса, приведшее к русско-турецкой войне 1877—1878 г.; ухудшение положения трудовых масс, прежде всего крестьянства — главного налогоплательщика и основного поставщика многотысячной русской армии, сражавшейся на полях и в горах Болгарии, Турции, Закавказья; нарастание кризиса всего самодержавно-бюрократического и полицейского режима, подтачиваемого как недовольством бедствующих масс, так и самоотверженной борьбой революционных народников. Все эти события и процессы русской жизни были в центре внимания виднейших писателей (Достоевского, Л. Толстого, Тургенева, Гл. Успенского, Гаршина и др.).

Салтыков назвал свои очерки «отголосками». О широких и развернутых откликах на события, о прямой, открытой критике явлений реакции и произвола в условиях подцензурной печати не могло быть и речи. Малейшие попытки такого рода сразу же пресекались вмешательством цензуры (так и случилось с очерком «Чужую беду — руками разведу»). Тем не менее писателю, владевшему искуснейшими приемами сатирического повествования, удалось в своих очерках не только запечатлеть картины и образы времени, но и дать им оценку с подлинно революционно-демократических позиций.

Значительное место в «Отголосках» отводится отношениям русского общества к событиям и явлениям, связанным с подготовкой и ходом русско-турецкой войны. Этому посвящены первые три очерка: «День прошел —

и слава богу!», «На досуге», «Тряпичкины-очевидцы». Салтыков, как и другие представители передовой мысли России, с сочувствием и пониманием воспринимал самоотверженную борьбу славянских народов за свою национальную независимость. С воодушевлением говорил он и о подвигах русских солдат, пришедших на помощь болгарам и другим братским народам. Как известно, многие из представителей народнической интеллигенции приняли непосредственное участие в освободительной борьбе славян.

Вместе с тем позиция передовых радикально-демократических кругов русского общества в Восточном вопросе в корне отличалась от политики царизма, его идеологов и поборников. Решительным противником этой политики был и Салтыков. Ему не могли не претить великодержавные цели, преследовавшиеся царизмом в войне, стремление правительства под прикрытием военных событий расправиться с революционным движением и передовой мыслью в стране. В письме к Некрасову от 13 октября 1876 г. он сообщал: «Славянский вопрос здесь все еще на первом плане <...> Под шумок его издан, например, закон, разрешающий губернаторам издавать обязательные постановления или, попросту говоря, законы же».

Как редактор Салтыков был недоволен статьями «Воевать или не воевать?» («Отечественные записки», 1876, №№ 6, 9; автором ее был, видимо, Г. З. Елисеев), «На всемирную свечу» (1876, № 7, автор — Д. Л. Мордовцев). «Не могу себе вообразить,— писал он Михайловскому 4 августа,— что за статья о всенародной свече. «Отечественные записки» встали на покатость очень сомнительную <...> Еще две-три статьи, подобных сальной свече Мордовцева <...> и репутация, конечно, пошатнется». Действительно, хотя данные статьи не определяли позицию журнала, их запомнили внимательные читатели. Обозреватель «Тифлисского вестника» в начале 1877 г. писал: «...было время, когда «Отечественные записки» превосходили воинственным азартом даже г. Суворина» [1]. Это, конечно, преувеличение. Восточный вопрос и русско-турецкая война занимали в «Отечественных записках» значительное место, но освещение их велось с демократических позиций. В 1876—1878 гг. в журнале было опубликовано большое число статей, очерков, корреспонденций на данную тему. Среди них — очерки «Из Белграда (письма невоенного человека)» Гл. Успенского (1876, № 12; 1877, № 1), рассказ Гаршина «Четыре дня» (1877, № 10), статья В. А. Тимирязева «Босния и Герцеговина во время восстания» (1876, № 8), корреспонденции Е. Лихачевой «Из Сербии» (1876, № 9) и Н. Максимова «За Дунай» (1878, №№ 5, 6), один из очерков А. Н. Энгельгардта «Из деревни» (1878, № 3) и др.

Критическое отношение к позиции правящих кругов и имущих классов определило характер «Отголосков». Особенно ненавистны Салтыкову были демагогическая шумиха, «долгоязычие», в котором упражнялась пресса Каткова и Суворина, славянофильских кругов, чисто спеку-

---

[1] <Без подписи>, Письма из Петербурга.— «Тифлисский вестник», 1877, № 11, 18 января.

лятивные листки и газеты, которые он заклеймил прозвищем «Краса Демидрона». Фигура Подхалимова-очевидца, запутавшегося в бесконечном пустословии, принадлежит к ярким достижениям Салтыкова, также как и образ Балалайкина, в махинациях которого заклеймено «ликующее хищничество», наглые злоупотребления в снабжении действующей армии. Писателя возмущали такие проявления бездарности и надутой претенциозности, как генерал Черняев и ему подобные. Едкие насмешки сатирика вызывала либерально-благотворительная деятельность светских и чиновничье-бюрократических кругов, сделавших из кампании материальной помощи славянам предмет развлечения, средство погони за модной популярностью и выгодной карьерой.

Восточный вопрос и военные события освещаются в «Отголосках» в неразрывной связи с проблемами внутренней жизни страны. Тягостное положение народа, своекорыстие интересов имущих и правящих классов, удручающая обстановка общественно-политической реакции, насаждавшейся правительством,— все это нашло отражение в очерках «Дворянские мелодии» и «Чужой толк», проникнутых скорбными раздумьями автора по поводу происходящего. Повествователь, за которым нередко угадывается и автор, размышляет о судьбах дворянского либерализма, сформировавшегося в эпоху 40-х годов и оказавшегося совершенно несостоятельным в условиях нового этапа общественного движения. В этих же очерках сказалось глубоко сочувственное отношение Салтыкова к самоотверженной и все более обостряющейся борьбе революционно-народнической молодежи против самодержавия. И в связи с этим здесь впервые у писателя явственно прозвучал тот самокритический мотив, который позднее, в «Приключении с Крамольниковым» и в «Имярек», станет господствующим,— неудовлетворенность чисто литературной формой деятельности, неспособностью к «самоотвержению», то есть непосредственному участию в революционном движении.

Для понимания идейного содержания очерков, их художественного своеобразия большое значение имеют такие персонажи, как повествователь и Глумов. По своим взглядам они сближаются с позицией дворянского либерализма и в этом качестве выступают объектами сатиры. Вместе с тем в эзоповской системе Салтыкова им принадлежит и роль проводников намерений автора. Своим анализом, не щадящим и собственного поведения, они осуществляют резко критическую оценку явлений действительности, срывают маски лицемерия и добропорядочности с охранителей и ревнителей существующего режима. Через образы повествователя и Глумова выражена и такая важная черта художественного повествования, как проникновенный лиризм, появляющийся тогда, когда в произведении возникает тема народа, «новых людей», революционной «самоотвергающейся» молодежи. С этими образами связана также важная для дальнейшего творчества сатирика тема стыда, как фактора, способного сыграть очистительную роль для людей, идейно опустившихся, но еще не утративших способности к возрождению. «...Стыд не только наводит на размышление,— го-

ворится в «Дворянских мелодиях»,— но и производит известное практическое действие. Стыд — великое дело, господа!» Хотя здесь же приводятся и жесткие контраргументы, мотив «стыда» займет важное место в размышлениях Салтыкова о путях нравственной перестройки общества. Двуединая роль повествователя и Глумова получит затем глубокое раскрытие на страницах «Современной идиллии».

«Отголоски», содержание которых носит преимущественно преходящий злободневный характер, не принадлежат к самым выдающимся произведениям Салтыкова, но и в них нашли дальнейшую разработку такие важные приемы его сатиры, как пародия (корреспонденции Подхалимова 1-го), жанровые зарисовки (сцена у Бореля, генеральша у Положиловых и др.), фельетонно-гротескные характеристики (приключения Балалайкина), и наряду с этим — глубокие раздумья, своеобразная исповедь, «скорбь и негодование, причина которого не в Балалайкине, а в совокупности Балалайкиных, в их общедоступности и общепризнанности, в разлитости балалайкинского эфира в воздухе...».

Каждый из очерков «Отголосков» при своем появлении вызывал значительное число откликов, свидетельствовавших о неизменно пристальном внимании широкого читателя к слову великого сатирика (см. примечания к отдельным очеркам).

I. «День прошел — и слава богу!»

(Стр. 135)

Впервые — *ОЗ*, 1876, № 11 (вып. в свет 22 ноября), стр. 257—280. Подпись: Н. Щедрин.

Рукописи и корректуры не сохранились.

При подготовке отдельного издания из журнальной редакции очерка была исключена фраза:

Стр. 148. после слов «пользоваться всяким удобным случаем»: (будь это даже кровный вопрос, как нынешний славянский).

В центре первого очерка «Отголосков» — настроения людей «культурного слоя» в пору нарастания Восточного кризиса, отклики различных групп общества на события, предварявшие вступление России в войну с Турцией. Турецкие зверства во время подавления восстания в Болгарии вызвали в России широкую волну сочувствия к борющейся за свою национальную независимость братской стране. Однако подлинно искренним и действенным это сочувствие было среди трудовых масс, у передовой демократической интеллигенции, тогда как в правящей и привилегированной среде бедствия славянских народов в целом мало изменили привычный уклад жизни, с ее довольством, развлечениями, праздными разговорами и т. д. И. С. Аксаков, ратовавший за широкий сбор средств в пользу пострадавших славян, признавал: «Две трети пожертвований внес <...> бед-

ный, обремененный нуждой простой народ»[1]. Своекорыстное эгоистическое поведение различных представителей имущих классов, прикрываемое либеральной и никчемной «патриотической» болтовней, и рисуется сатириком. Особенной остроты это обличение достигает в сцене застольных словоизлияний преуспевающего молодого бюрократа Левушки Коленцова во время ресторанного обеда.

Одновременно в произведении воссоздается и обстановка реакции, преследований правящими кругами малейших проявлений честной мысли, атмосфера трусости, царившая в среде, считавшей себя не чуждой либерализма (образ повествователя, семья Положиловых). В очерке намечена также тема хищничества, расцветшего в связи с военными поставками (упоминание о купце Иване Парамоновиче, торгующем сапожным товаром). В заключительной части возникает и тема стыда («Мне сделалось стыдно»,— признается повествователь), широкое развитие которой дано затем в очерках «Дворянские мелодии», «Чужой толк».

Очерк «День прошел — и слава богу!» вызвал несколько сочувственных откликов в печати. В газете «Новое время», в ту пору еще не порвавшей окончательно с прогрессивными кругами, В. П. Буренин писал: «Сатира г. Щедрина направлена вовсе не против идеи славянского движения, а против легкомысленного, бездушного и поистине отвратительного разумения его и отношения к нему...» Критик выделил образ Глумова: «Это превосходно задуманная и выработанная сатирическая фигура, представляющая олицетворение глубокой юмористической иронии г. Щедрина, иронии, доводящей иногда отрицание почти до насмешки над самим собою»[2]. Критик «Московского обозрения» отметил трудности, с которыми не мог не столкнуться писатель при освещении «славянской борьбы»: «Мотив — очень щекотливый. Тут можно было, как раз, задеть законное чувство нравственной щепетильности читателя». Н. Щедрин сумел преодолеть эти затруднения: «Он клеймит только нравственную распущенность псевдокультурных русских людей...»[3] Смелость и верность изображения «культурного человека» отметил обозреватель «Новороссийского телеграфа»[4].

Стр. 136. *...друг мой Глумов...*— персонаж из комедии А. Н. Островского «На всякого мудреца довольно простоты» (1868). Перекочевав на страницы произведений Салтыкова-Щедрина: «Помпадуры и помпадурши», «Сборник», «Круглый год», «Современная идиллия», «Письма к тетеньке»,

---

[1] См. в статье: С. А. Никитин, Русское общество и национально-освободительная борьба южных славян в 1875—1876 гг.— Сб.: Общественно-политические и культурные связи народов СССР и Югославии, М. 1957, стр. 55.

[2] Тор <В. П. Буренин>, Литературные очерки.— «Новое время», 1876, № 276, 3 (15) декабря.

[3] Б., За две недели.— «Московское обозрение», 1876, № 10, 5 декабря.

[4] Z. Z.—Z. <С. Т. Герцо-Виноградский>, Не в бровь, а в глаз.— «Новороссийский телеграф», 1876, № 555, 9 (21) декабря.

«Недоконченные беседы», «Пестрые письма», приобрел особый художественный смысл (см. выше стр. 659, а также т. 8 наст. изд., стр. 524).

Стр. 137. *...в «дамский кружок».*— Имеются в виду благотворительные кружки, собиравшие средства в помощь славянским народам.

Стр. 138. *...добровольцами можем быть...*— В качестве добровольцев для участия в борьбе южных славян направились многие представители радикальной и демократической интеллигенции: революционные народники (Д. А. Клеменц, С. М. Кравчинский, М. П. Сажин и др.), художники В. Д. Поленов, Н. Е. Маковский, санитарные отряды возглавили выдающиеся деятели медицины М. В. Склифосовский и С. П. Боткин. Наряду с этим правящие круги использовали добровольческое движение и в своих корыстных целях.

...самарский голод...— Имеется в виду голод 1873—1874 гг., с особенной остротой разразившийся в Самарской губернии. Яркая картина народного бедствия и своекорыстной политики правящих кругов была дана в статьях П. Л. Лаврова «По поводу самарского голода», печатавшихся на страницах журнала «Вперед!» (1874), затем составивших отдельную книгу, распространявшуюся в России нелегально революционными народническими кружками.

Стр. 140. *...вздохнем о герцеговинцах...*— Глумов напоминает о восстании в Герцеговине в 1875 г., подавленном турками.

...соммелье (от *франц.* sommelier) — здесь: смотритель винного погреба при ресторане.

...тюрбо (франц.) — сорт рыбы.

...законы <...> сочинять буду...— Речь идет о праве губернаторов издавать «обязательные постановления» (см. прим. к стр. 77).

Стр. 141. *...не Зеноны мы...*— Зенон из Китиона — древнегреческий философ, основатель школы стоиков.

Стр. 142. *...под сенью «административной автономии».*— По проекту реформ, составленному министром иностранных дел А. М. Горчаковым, предусматривалось в результате успешной войны с Турцией предоставление широкой автономии Боснии, Герцеговине и Болгарии. Проект был отрицательно встречен Австро-Венгрией, и в ноте австро-венгерского министра, врученной 31 января 1876 г. Турции от имени великих держав, упоминалось лишь о зачатках административного самоуправления славянских областей.

...храброго добровольца Живновского...— Образ отставного подпоручика Живновского впервые появляется в «Губернских очерках», затем в «Сатирах в прозе», «Невинных рассказах».

...хор господина Славянского...— Славянский — псевдоним Д. А. Агренева, певца и дирижера, выступавшего с хором как в России, так и в славянских странах

«Иде домув муй» («Где моя родина») — популярная сербская песня.

Стр. 143. *Поляков, Варшавский, Кронеберг, Малкиель* — известные бур-

жуазные дельцы, нажившиеся на железнодорожных концессиях и различных государственных поставках.

...измена фельетониста Тряпичкина... — персонаж из комедии Гоголя «Ревизор», в сатирической галерее Салтыкова — продажный журналист. См. также в цикле «Помпадуры и помпадурши», в «Современной идиллии». См. далее очерк «Тряпичкины-очевидцы».

Стр. 145. *...«штык — молодец»...* — из афоризма А. В. Суворова: «Пуля — дура, штык — молодец!»

Стр. 146. *...наша подоплека!* — П о д о п л е к а — буквально: подкладка крестьянской рубахи, в переносном смысле — задушевная тайна (В. И. Даль). Здесь Салтыков иронически использует терминологию славянофильства, обозначавшего этим словом один из символов «русского духа». См. «Благонамеренные речи» (очерк «В дружеском кругу» и прим. к нему, т. 11 наст. изд. и декабрьский фельетон «Круглого года» в т. 13).

...декламировал «Устав о печении пирогов»... — «Устав о добропорядочном пирогов печении», «сочинен» градоначальником Беневоленским (см. «Историю одного города», т. 8 наст. изд., стр. 362—363).

Стр. 147. *...назвал страну, которая в годину наших испытаний удивила мир своей неблагодарностью! Этот тонкий намек на коварную Австрию...* — Речь идет о «неблагодарности» Австрии по отношению к русскому царизму, который в 1849 г. своим военным вмешательством помог в подавлении венгерской революции и этим спас от развала австрийскую империю. Материалы о «коварстве» правительства Австрии, фактически поддерживавшей Турцию в Восточном вопросе, часто помещала русская пресса.

...нечто вроде пронунсиаменто... — П р о н у н с и а м е н т о *(исп.)* — государственный переворот или призыв к перевороту.

...провозгласили генерала Черняева королем Сербии... — Генерал в отставке Черняев, приняв сербское подданство, стал главнокомандующим сербской армией в войне с Турцией, начатой 30 июня и окончившейся поражением Сербии в конце октября 1876 г. Салтыков резко отрицательно относился к Черняеву и его миссии. Он писал П. В. Анненкову 1 ноября 1876 г.: «У нас здесь не то что скучно, а как-то срамно <...> Черняев со своими добровольцами разъясняет перед лицом Европы, что такое господа ташкентцы...» Не менее резко относился к Черняеву Тургенев, называвший его Хлестаковым: «Войну он вел бездарнейшим образом и притом лгал бессовестно в своих бюллетенях...» (Письма, т. XII. кн. I, стр. 11—12).

...«гирла» оставили за собой... — Имеются в виду протоки, на которые разветвляется Дунай при впадении в Черное море.

Стр. 150. *...дешевому глумлению «над стрижеными девками»* — то есть представительницами передовой молодежи (см. т. 10, прим к стр 62).

Стр. 154. *...в тон господам ташкентцам* — то есть «хищникам»-цивилизаторам (см. «Господа ташкентцы» в т. 10 наст. изд.).

II. На досуге

(Стр. 157)

Впервые — *ОЗ*, 1877, № 9 (вып. в свет 20 сентября), стр. 167—198; № 10 (вып. в свет 23 октября), стр. 435—460. Подпись: Н. Щедрин.

Очерк написан в августе — сентябре 1877 г.

Сохранился фрагмент черновой рукописи первоначальной редакции («Как ни приятно было благоухание <...> Понимаю, и все-таки...»), значительно отличающийся от окончательного текста. Правда, переработка коснулась главным образом стиля, почти не затронув идейно-художественной концепции очерка. Ниже приводятся наиболее существенные варианты этой редакции, не вошедшие в печатный текст:

К стр. 175. В абзаце «— Как везде, так и у нас...» после слов «...У всех и на уме и на языке одно: война!»:

Одни зря языком чешут, другие... Ну, другим, пожалуй, и до крови больно.

— Народ как относится? народ?

— Насчет народа различать тоже надо. В городах, дворники, извозчики, фабричные — те больше пьют и уру кричат. Пили по случаю взятия Ардагана, пили по случаю перехода через Дунай, пили по случаю занятия Шипкинского прохода. И пили, и уру кричали, и молились, и ругались — все вместе. Теперь, однако, переменилось, как ратников потребовали. И хмель соскочил.

— А в деревнях?

К стр. 179. В абзаце «— Да,— продолжал он...» после слов «а давно ли»:

г. Тебеньков (см. «Благонамеренные речи») в шутливом русском тоне доказывал, что предъявления права со стороны народа именуются скопом, а выполнение обязанностей — круговой порукой? И все мы находили эту шутку очень милою!

Рукопись содержит ряд помет и конспективных замечаний, относящихся к построению и развитию сюжета. Воспроизводим одно из них:

У нас нет нервов для понимания народных страданий. В нас легко уживаются: и отвлеченные понятия о славе, и прогони нас хоть в Саратов

Печатные редакции главы имеют лишь незначительные различия, главным образом стилистического характера. Только в первом отдельном издании цикла (1878) Салтыков несколько сократил очерк по сравнению с журнальной редакцией. Приводим соответствующие варианты журнального текста:

К стр. 193. В абзаце «Только тогда я вздохнул...» фраза «...Балалайкин, с свойственною легкомыслию неблагодарностью, тотчас прекратил свои посещения ко мне...» в журнале сопровождалась примечанием:

Единственный случай, благодаря которому наши отношения возобновились, описан мною в «Современной идиллии», которая — скажу кстати — будет окончена в самом непродолжительном времени. Авт.

К стр. 199. В абзаце «— Моралист — пожалуй» после слов «был счастлив за вас!»:

Но, к сожалению, в тайне вашего рождения участвовала и Стешка-цыганка, и я боюсь, что Стешкина вороватость и на будущее время возьмет в вас верх над репетиловским легкомыслием!

К стр. 200. В абзаце «— Махорка — это табак...» после слов «Мы с вами, конечно, не будем его курить, ну и господа офицеры...»:

— тоже, исключая, разумеется, тех, которые выслужились из сдаточных — те будут.

К стр. 201. В абзаце «Это было ужасно...» после слов «И кричат не только Балалайкину, но и мне, и Глумову, и всем»:

Вот отчего, быть может, у нас так часто связи, по-видимому, самые прочные, разрешаются дуэлями... не настоящими, разумеется, а на манер наших клубных единоборств. Терпит-терпит человек, год средства изыскивает, другой изыскивает — и вдруг мысль: а попробую, нельзя ли хоть единоборством наглеца урезонить?

К стр. 208. В абзаце «На днях, утром...» к фразе «взор мой упал на корреспонденцию из Махорска» имелось подстрочное примечание:

Само собой разумеется, что всю ответственность за верность сведений, заключающихся в этой корреспонденции, мы оставляем на ее авторе. *Примеч. ред. газеты «Чего изволите?»*.

К стр. 208. В абзаце «Нам пишут из губернского города...» после слов «и тогда борьба с северным колоссом сделается совершенно немыслимою»:

если б даже вооружение его и заставляло желать многого.

К стр. 209. В абзаце «Никто, в течение...» после слов «Осману-Паше передал будто бы важную государственную тайну»:

открытие которой решило эфемерный успех турок под Плевной.

К стр. 211. В абзаце «С четверть часа мы...» вместо слов «а жиды, напротив, галдели, что все веры хороши»:

и только при взгляде на махорку убеждались, что существует нейтральная почва, на которой возможно легкое примирение. Жиды всех называли братьями.

В очерке «На досуге», создававшемся и печатавшемся уже в обстановке начавшейся в апреле 1877 г. русско-турецкой войны, было продолжено развитие тем, намеченных в очерке «День прошел — и слава богу!» и приобретавших в новых условиях особую остроту и злободневность. Дешевая и поверхностная благотворительность, в которой упражнялись свет-

ские круги, едко заклеймена в образе дамочки-генеральши, «в четырех комитетах» участвующей, а «в одном даже председательницей». Особенное возмущение прогрессивной части общества вызывали злоупотребления, хищничество, наглый грабеж, вскрывшиеся в снабжении армии продовольствием, обмундированием, фуражом. Откликом сатирика на эту чудовищную практику, за которую народ расплачивался своей кровью и жизнью, явился образ проходимца Балалайкина и его приключения, окончившиеся для него полным успехом по части обогащения. Как показала действительность, это не было преувеличением.

Наряду с сатирическими картинами в произведении важное место занимают размышления Салтыкова об участи народа, его беззаветном героизме и вместе с тем страданиях, жертвах, которые он «терпел не только на полях сражений», но и «дома» в непрерывном труде, голоде, нищенском существовании. Устами Глумова писатель отвергает либеральную и реакционно-охранительную ложь о народе, от которого, как от «упругого кокона», отскакивают «все бедствия»: «Никакого кокона нет, а есть мириады отдельных единиц, из которых каждая за свой собственный счет страдает». В связи с участью народа осмысляется писателем и роль интеллигенции, искренне сочувствующей народу, однако не имеющей реальных сил и возможностей изменить его положение. Салтыков говорит при этом не только о трудностях борьбы с реакционным режимом самодержавия, но и об измельчании, пассивности дворянского либерализма. Эти мотивы займут затем центральное место в «Дворянских мелодиях» и «Чужом толке».

Очерк «На досуге» вызвал весьма широкий поток откликов в печати. Наиболее содержательной следует признать статью М. Песковского на страницах «Русского обозрения». Отмечая умение Салтыкова откликаться на вопросы современности, критик писал: «На этот раз сатира его оказалась особенно веской, меткой и ядовитой», писатель «дает характерную картину отношения общества к войне»[1]. Перечислив ряд тем и образов произведения («патриотизм» высших классов, «долгоязычие» прессы, спекуляции и др.), критик продолжает: «Нужно быть именно таким талантливым наблюдателем и анализатором текущей русской жизни, как Щедрин, для того чтобы так просто, без рисовки и фраз, сказать голую правду в такой простой и сильной форме...»[2] В продолжении статьи, посвященной второй части очерка, М. Песковский характеризует Балалайкина как «тип современного общественного и государственного мошенника»[3]. Автор статьи несогласен с теми, кто оценивает произведение только «со стороны смеха»: «Такое отношение слишком мелко <...> Щедрин слишком серьезен, слишком умен для праздного, резвого только смеха...»[4]

---

[1] М. Песковский, Наш патриотизм, самообман, долгоязычие и прожектерство.— «Русское обозрение», 1877, № 15, стр. 12, 14.

[2] Там же, стр. 17.

[3] «Русское обозрение», 1877, № 17, стр. 16.

[4] Там же, стр. 18.

В других органах печати также отмечалась точность зарисовок сатирика. Упоминая о «благотворительном патриотизме», обозреватель «Русской газеты» утверждает, что «эти картинки выхвачены из жизни...» [1]. Критик «Пчелы» пишет: «Тип молоденькой генеральши схвачен г. Щедриным необыкновенно талантливо» [2]. Обобщающее значение фигуры Балалайкина подчеркнул А. М. Скабичевский: «Дело идет <...> о той зловредной саранче гнусных аферистов, злодеев наживы, которая налетела на театр военных действий...» [3] Рецензент «Северного вестника» считает, что действительность дает типы еще более зловещие, чем Балалайкин [4]. О том же персонаже рецензент «Сына отечества» пишет: это «сатира на те уродливые и ненормальные явления в среде нашего общества, которые успели обнаружиться по поводу настоящей войны» [5].

Стр. 159. *Мы — дети того времени...* — Подразумевается эпоха крепостного права и соответствующее привилегированное положение помещичьего класса и других имущих слоев общества.

Я помню... 1853—1855 годы. Помню ликующих жуликов... — Речь идет о периоде Крымской войны (см. об этом очерк «Тяжелый год», т. 11 наст. изд.).

Признание относительной свободы мнений... — Имеется в виду цензурный устав 1865 г. «О даровании некоторых облегчений и удобств отечественной печати»; однако новый устав практически не помешал царской цензуре в преследовании передовой литературы, Салтыков это хорошо знал на собственном опыте.

Стр. 161. *...на благословенных берегах Карповки* — речка на окраине тогдашнего Петербурга, ныне она — в черте города.

Стр. 162. *...в виде французских эссов...* — то есть в виде буквы S.

...карсель — лампа, снабженная особым приспособлением для подачи масла.

Стр. 166. *...в Смольном с шифром вышла...* — то есть окончила с отличием институт для благородных девиц при Смольном монастыре; ш и ф р — знак отличия в виде вензеля императрицы, выдававшийся отлично окончившим курс институткам.

Стр. 175. *...наши... жён-жаны...* — молодые люди (от *франц.* jeunes gens).

Стр. 177. *...сначала на Филиппополь* — город в южной Болгарии, находившийся под властью турок.

---

[1] «Русская газета», 1877, № 74, 19 октября.

[2] В. В., Литературное обозрение.— «Пчела», 1877, № 40, стр. 627.

[3] З а у р я д н ы й ч и т а т е л ь <А. М. Скабичевский>, «На досуге» Н. Щедрина.— «Биржевые ведомости», 1877, № 274, 28 октября.

[4] К., Щедрин и экзекуция прожектеров.— «Северный вестник», 1877, № 206, 23 октября.

[5] «Сын отечества», 1877, № 270, 19 ноября.

...потом на Адрианополь — турецкий город (Эдирне) северо-западнее Константинополя.

Стр. 180. *ни шелега...* — Шелег — старинная монета, вышедшая из употребления.

...по окладному листу не уплатил... — В окладном листе указывалась сумма налога, взимавшаяся с налогоплательщика.

Стр. 181. *Ты на какой ленте-то ожидал?* — Речь идет об орденах: на ленте с черными полосками по краям — орден св. Владимира, с белыми полосками — св. Станислава.

...обкорми ты армии и флоты гнилыми сухарями... — Здесь и далее речь идет о злоупотреблениях в снабжении армии во время русско-турецкой войны. Тыловые должности зачастую комплектовались «лицами, которые не годились для службы в строю; офицерами, уволенными в запас или отставку за пьянство, воровство и пр. Насыщение учреждений лицами подобного рода неизбежно создавало в тылу условия, в которых процветало воровство и другие преступления» (Н. И. Беляев, Русско-турецкая война 1877—1878 гг., М. 1956, стр. 91).

Стр. 182. *...говорили о короле Луи-Филиппе... переходили к Мирабо... к декларации прав человека.* — Революционная история и современная жизнь Франции всегда привлекали внимание Салтыкова, как олицетворение исторической активности французского народа и передовой общественной мысли. Вместе с тем обсуждение судеб Франции, особенно в связи с торжеством в ней буржуазного строя, неизменно увязывалось с раздумьями о пореформенном развитии России. Широкое освещение эта тема получила в цикле «За рубежом» (см. т. 14 наст. изд.). «Декларация прав человека и гражданина» была принята Национальным собранием Франции в результате победы буржуазной революции в 1789 г.

...говорили о самих себе, о каких-то надеждах, разлетевшихся в прах... — Речь идет о неоправдавшихся ожиданиях, связанных с подготовкой и проведением крестьянской и других реформ 60-х годов; Салтыков, несомненно, имел в виду и собственные иллюзии, которые он питал в первые годы после возвращения из вятской ссылки.

Теперь у них.. на чистоту Мак-Магония пойдет! — В мае 1877 г. монархистски настроенный президент Франции Мак-Магон заставил уйти в отставку премьер-министра умеренного республиканца Жюля Симона и поставил во главе нового кабинета министров монархиста герцога де Брольи.

...Мак-Магон и господин Базин — одно ли и то же это лицо? — Салтыков намеренно сближает имена маршала Мак-Магона, в качестве главы Франции игнорировавшего ее подлинные национальные интересы, и маршала Базена, предательски сдавшего во время франко-прусской войны 1870 г. крепость Мец. Арестованный в 1872 г. и приговоренный к смертной казни, замененной двадцатилетним заключением, он сумел бежать в 1874 г. О Базене и его бегстве см. также в «Благонамеренных речах» (т. 11 наст. изд.) и «Письмах к тетеньке» (т. 14).

Стр. 183. *Плевна* — крепость в Болгарии. Неоднократные бои за овладение Плевной в 1877 г. (20 и 30 июля, 11 сентября) стоили русской армии многих жертв. После длительной осады была взята русскими 28 ноября (10 декабря).

Ловча — крепость южнее Плевны; 14 (26) июня была взята турками.

Шипкинский проход — Шипкинский горный перевал через Балканский хребет. Бои за перевал были особенно длительными; русские передовые войска, взявшие перевал 19 июля 1877 г., были затем оттеснены турками; части, оборонявшие Шипку, будучи отрезаны от русской армии, вместе с болгарскими ополченцами 17 сентября 1877 г. отбили атаки турок и затем выдержали осаду в течение четырех месяцев, неся тяжелые потери как от военных действий, так и от болезней, морозов, голода. Окончательно турки были разбиты под Шипкой в январе 1878 г.

...под Казанлыком, под Ени-Загрой... — города в Забалканье; в результате боев, развернувшихся в конце июля — начале августа 1877 г., русские войска и болгарское ополчение понесли тяжелые потери.

Вот и Гамбетта... в кутузку засажен... — Французский буржуазный либеральный деятель Гамбетта в 1877 г. был осужден на три месяца тюремного заключения за выступления против политики Мак-Магона.

Стр. 184. *...Кимвал бряцающий* — библейское выражение (из 1-го послания коринфянам): «Если я говорю языком человеческим и ангельским, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал бряцающий». К и м в а л — музыкальный ударный инструмент.

Стр. 188. *Апострофа* — стилистический оборот, обращение к какому-либо лицу.

Стр. 189. *...сделаться червонным валетом...* — «Клуб червонных валетов» — шайка мошенников из прокутившейся дворянской молодежи, суд над нею происходил в 1876 г. и вызвал широкий отклик в печати и литературе; название «червонный валет» стало с тех пор нарицательным.

Стр. 191. *Ипполит Маркелыч* — Ипполит Маркелыч Удушьев, персонаж, также «пересаженный» Салтыковым из комедии Грибоедова. См. о нем т. 11, стр. 625.

Стр. 192. *...ссылался на свой «Взгляд и нечто»...* — ср. в «Горе от ума»:

> Его *отрывок, взгляд* и *нечто*.
> О чем бишь нечто? — обо всем...
> (д. IV, явл. 4)

...из водевилей Репетилова... — о сочинении водевилей Репетиловым говорится у Грибоедова.

...Щепкин... говорит, что ...русская сцена пропахла овчинным полушубком! — Сценическое новаторство Островского было принято не всеми актерами старой школы; Щепкину приписывалось мнение, что при Островском театральные подмостки «пропахли дегтем смазных сапог и кислым запахом овчинных полушубков» (см. С. С. Д а н и л о в, Очерки по истории русского драматического театра, М.—Л. 1948, стр. 353).

...куплет из «Стряпчего под столом» — водевиль Д. Т. Ленского.

Стр. 193. *Изгнанный из лицея Каткова...* — см. прим. к стр. 92.

...когда был объявлен скорый и правый суд... — Имеются в виду новые судебные порядки, введенные реформой 1864 г.

Стр. 198. *...даже тех десяти процентов, которые получают Коган, Горвиц. Грегер и компания.* — Снабжение Дунайской армии в Румынии мукой, чаем, сахаром и фуражом взяло на себя частное товарищество Грегера, Горвица и Когана, которое получало 10% комиссионных от суммы закупок по ценам, сложившимся на рынке. Все это создавало почву для массы злоупотреблений и хищничества (см. Н. И. Беляев, Русско-турецкая война 1877—1878 гг., стр. 93—94). Критик «Дела» П. Н. Ткачев в статье об очерках Салтыкова писал: «Спекуляции эти наглядно показали степень морального развития известных классов нашего общества, вызвали хотя и робкое, но тем не менее почти единодушное осуждение со стороны общественного мнения и прессы» («Дело», 1878, № 1). Упоминаемый ранее в очерке Новосельский — одесский городской голова, спекулировавший на военных поставках в 1877—1878 гг.

Стр. 199. *...дело Московского учетного банка...* — Процесс по делу о крахе Московского коммерческого ссудного банка проходил со 2 октября по 2 ноября 1876 г. и выявил чудовищную картину злоупотреблений, прямого мошенничества директоров Ландау, Полянского и др. «Героем» процесса был Струсберг — ловкий железнодорожный делец, прусский подданный, получивший в банке ссуду около 7 млн. рублей. По приговору он отделался высылкой за границу. Весь ход суда широко освещался в русской печати. Суворин опасался, что процесс может уменьшить интерес общества к Восточному вопросу, о самом же деле писал: «Несколько крупных воров попалось — вот и весь смысл дела» («Новое время», 1876, № 215, 3 (15) октября).

Стр. 200. *...бурмицким зерном...* — Бурмитское зерно — разновидность жемчуга, «крупная, окатистая жемчужина» (В. И. Даль, Толковый словарь живого великорусского языка, т. 1, стр. 143).

Стр. 202. *«Твой смертный час! твой гро-озный час!»* — из арии Сусанина в опере «Жизнь за царя» («Иван Сусанин») М. И. Глинки.

Стр. 203. *...пойдем к Палкину* — в ресторан на углу Невского и Владимирской в Петербурге.

Стр. 204. *...наши Заманиловки, Погореловки, Проплеванные...* — названия деревень; Заманиловка — так назвал Чичиков в «Мертвых душах» Гоголя Маниловку. Деревня Проплеванная фигурирует в произведениях Салтыкова — «Дневник провинциала в Петербурге», «Современная идиллия».

...Струсберги да Овсянниковы... — о Струсберге см прим. к стр 199. С. Т. Овсянников — крупный хлеботорговец, купец первой гильдии, в 1874 г. с мошенническими целями совершил поджог арендованной им и его компаньоном паровой мельницы в Петербурге. О судебном процессе по делу Овсянникова см. А. Ф. Кони, Собр соч., т. 1, М. 1966, стр. 37—45.

...Мстислав да Ростислав... Добрыня да Блуд.— Мстислав и Ростислав — часто встречавшиеся имена древнерусских князей; Добрыня, Блуд — древнерусские языческие имена.

Стр. 207. *...Моисеев закон...*— Моисей *(библ.)* — судья и законодатель еврейского народа.

Стр. 208. *...«Чего изволите?», газета ежедневно-либеральная...*— см. прим. к стр. 68.

Стр. 209. *...за чтением «Красы Демидрона».*— О «Демидроне» см. прим. к стр. 92.

Стр. 210. *...носить на спине изображение бубнового туза.*— Бубновый туз — здесь: знак осужденного на каторжные работы, красный четырехугольник, нашивавшийся на спину арестантского халата.

III. Тряпичкины-очевидцы

(Стр. 212)

Впервые — *ОЗ,* 1877, № 8 (вып. в свет 23 августа), стр. 532—570. Подпись: Н. Щедрин.

Сохранились два фрагмента черновой рукописи: «Не видно ни пармезанов, ни анчоусов <...> Скольких драгоценных и поистине умилительных картин мы лишаемся случая быть свидетелями» и «Да, печальна участь русского корреспондента! <...> вместо Чебоксар возвратиться в Васильсурск!». Отличия этих фрагментов от соответствующих мест печатного текста (стр. 216—221 и 231—242) незначительны. При подготовке рукописи к печати из журнального текста было удалено упоминание в главе «Васильсурск» об А. Ф. Головачеве в качестве малоазиатского корреспондента «Северного вестника», а также о цензурном ведомстве.

В первом отдельном издании (1878) Салтыков произвел ряд изменений в тексте очерка. В частности, было снято (стр. 219, абзац «По рассказам...») подстрочное примечание к фразе «А сверх того <...> дадут солидный урок»:

Мы тоже в этом вполне уверены. Недавно мы имели случай быть свидетелями, как один из тверских либералов сравнивал генерала Черняева с генералом Гарибальди: это — уже несомненное доказательство, что путь заблуждений покинут навсегда. Примеч. редакции газеты «Краса Демидрона».

Кроме того, в издании 1878 г. Салтыков ввел в очерк следующие дополнения:

Стр. 212—213. Да, надо сознаться <...> аресты, приостановки и проч.

Стр. 219. В абзаце «Рыбинск...»:

укрывшиеся после разгрома известного 1862 года <...> решить не берусь, но

Стр. 222. В абзаце «Я объяснил...»:

потому что существует еще седьмая великая держава <...> прекращает их деятельность по усмотрению.

Стр. 243. В абзаце «Однако он усомнился...»:
но не прелюбодейственного.

Эти дополнения свидетельствуют о том, что при подготовке текста отдельного издания Салтыков усилил обличительное звучание очерка, коснувшись главным образом цензурной политики самодержавия.

В дальнейшем текст очерка изменениям не подвергался.

В настоящем томе очерк печатается по тексту издания 1885 г. с восстановлением по рукописи упоминания «цензурное ведомство» (стр. 219, абзац «Рыбинск...»), замененном в журнале безличным «кто-нибудь» (в отдельных изданиях: «кто-либо»).

Во время русско-турецкой войны в действующую армию были впервые допущены специальные корреспонденты русских и иностранных газет. Получать корреспонденции непосредственно с места военных действий стремилась каждая мало-мальски значительная газета. Иметь своего корреспондента значило увеличить число подписчиков, добиться большей популярности. Несомненно, наличие таких корреспондентов улучшило информацию о ходе войны. Однако в целом газетная пресса, освещавшая военные события, давала пеструю и разноречивую картину действительного положения вещей. Буржуазно-либеральная и реакционная печать отличалась беспринципностью и угодливостью перед правящими кругами, соответственным был и облик значительной части корреспондентов. Салтыков, превосходно зная текущую газетную прессу и искусно использовав лишь намеченную Гоголем в «Ревизоре» эпизодическую фигуру мелкого петербургского литератора, приятеля Хлестакова, дал в очерке «Тряпичкины-очевидцы» собирательный образ газетчика, отправившегося на театр военных действий, но так до него и не добравшегося.

Уже в современных откликах на очерк делались попытки указать реальные источники очерка, в частности, прототипы корреспондентов Подхалимовых 1-го и 2-го. Действительно, Салтыков мог иметь в виду вполне конкретный материал. На страницах «С.-Петербургских ведомостей» длительное время печатались корреспонденции П. Трофимова «С дороги на Дунай». Эти корреспонденции так затянулись, что автор их был вынужден дать в конце концов специальное объяснение читателям: «Думаю, что это мое последнее письмо с дороги, рассчитываю очень скоро быть в действующей армии и тогда начну мой дневник специального корреспондента, который буду отсылать при первой возможности» [1]. Сама эта корреспонденция, помеченная «Из Букарешта, 20 августа», повествует... о Петербурге! «Причина же заключалась в том,— сообщает автор,— что необходимо было мое присутствие в Петербурге, и я, проехав в оба конца более 5000 верст, посмотрел в Ботаническом саду на распустившуюся Victoria regia, прозяб дня четыре в Северной Пальмире и опять вернулся в благодатный климат Румынии...» Все это во многом перекликается с содержанием «днев-

[1] «Санкт-Петербургские ведомости», 1877, № 239, 30 августа (11 сентября).

ника» Подхалимова 1-го. Недаром «С.-Петербургские ведомости» особенно запальчиво отвечали на очерк о «Тряпичкиных-очевидцах»: «Может быть, имеются такие корреспонденты, которых описывает Щедрин; но мы, по крайней мере, о таких не слыхали, и вообще не наши корреспонденты виноваты, что они доставляют сведения несвоевременно, а виноваты те же обстоятельства (намек на цензуру.— *Н. С.*), которые из почтенного сатирика делают карикатуриста и пасквилянта»[1]. Можно полагать, что именно эту газету имел в виду рецензент «Новостей», когда писал о «Тряпичкиных-очевидцах»: «Краса Демидрона» является «весьма прозрачным псевдонимом одного очень распространенного органа...»[2] В самом очерке Салтыкова упоминаются также Вас. Ив. Немирович-Данченко, бывший корреспондентом ряда газет, и — в черновой рукописи — А. Ф. Головачев — корреспондент «Северного вестника».

Несмотря на фельетонный и шаржированный характер «корреспонденций» Подхалимова, в них затронуты серьезные вопросы, связанные с настроением русского общества во время русско-турецкой войны. Таковы страницы, посвященные самодуру-купцу, рассуждения священника Николая, картины, характеризующие положение народа.

Очерк «Тряпичкины-очевидцы» вызвал большое количество откликов. Одни органы печати спешили отвести удар от себя, другие — пытались оспорить нарисованную сатириком картину. С пространной рецензией на страницах «Нового времени» выступил В. Буренин. Отношение Салтыкова к «Новому времени» в этот период было уже резко отрицательное (см. прим. к стр. 68). Позиция писателя вряд ли была секретом для Суворина и Буренина, сатира о Тряпичкиных метила и в руководителей «Нового времени». В этих условиях они сочли за лучшее присоединиться к похвалам сатирику. Его очерк Буренин назвал «выдающейся вещью» и не согласился с А. М. Скабичевским, который полагал, что Щедрин «дал промаха»[3]. Писатель, заявляет рецензент «Нового времени», «прямо попал в цель, обобщив свою сатиру и тем придав ей настоящий вес и серьезное значение, при всей забавности и шаловливости ее формы. Сатирический фельетон даровитого автора направлен вовсе не на корреспондентов с театра войны — его сатирическое значение гораздо шире,— он рассматривает вообще то положение русской прессы и даже, если хотите, русского общества, в каком оно находится по отношению к событиям борьбы на Востоке...»[4]. В подтверждение своей мысли рецензент приводит рассуждения священника («Духом мы высоко парим, но немощная плоть паренью нашему немало препон представляет»), характеристику «кутузки»,

---

[1] П. <П. Усов?>, «Литературное обозрение».— «Санкт-Петербургские ведомости», 1877, № 243, 3 (15) сентября.

[2] <Без подписи>, Тряпичкины-очевидцы.— «Новости», 1877, № 223, 26 августа.

[3] «Биржевые ведомости», 1877, № 211, 26 августа.

[4] В. Буренин, Новый сатирический фельетон.— «Новое время», 1877, № 543, 2 сентября.

суждения купца, «жертвующего» на славян из общественных сумм. В упоминавшейся статье М. Песковского (в связи с очерком «На досуге») новая сатира Щедрина используется для характеристики всей реакционной прессы: «Это *воинственно-охранительная* печать, это клика *беспардонных* шовинистов, извращающих и развращающих общественное внимание и понимание»[1]. К этой прессе критик относит и «Новое время». Корреспонденции самого Буренина он характеризует как «одно из проявлений литературного молчалинства...»[2]. Весьма расширенно истолковывает очерк Салтыкова и С. А. Венгеров, выступавший тогда на страницах «Русского мира». «Предмет сатиры,— пишет он,— общая физиономия журналистики... схваченная с самой невыгодной ее стороны — именно, со стороны навязчивого стремления сойти в толпу, захватить улицу, овладеть погребными и полпивными...»[3] Положительную рецензию (без подписи) поместил «Сын отечества». «...В очерке г. Щедрина,— пишет рецензент,— юмора много, а жизненной правды еще больше. Здесь газетный дух, здесь газетным духом пахнет. Разве не узнаете наших «корреспондентов», способных дать Хлестакову сорок очков вперед?»[4] Рецензент «Современных известий» Г. А. Ларош указывает на особенности формы сатиры Салтыкова: «Как и всегда, форма этой сатиры страшно преувеличена. Щедрин <...> нисколько не заботится о правдоподобности и относительной верности, которые он выставляет на сцену. Он старается главным образом схватить смысл специального явления и выяснить причины, от которых оно произошло»[5]. Положительно отозвались об очерке, обращая внимание на различные моменты его содержания, «Новороссийский телеграф» (1877, №№ 769, 811, 8 сентября и 30 октября), «Вечерняя почта» (1877, № 61, 1 сентября), «Северный вестник» (1877, № 128, 6 сентября).

Ряд органов печати вступил с Салтыковым в полемику. Как упоминалось выше, Скабичевский (псевдоним — «Заурядный читатель») считал, что «выстрел попал в двух-трех паршивеньких воробышков, а коршуны остались сидеть на дереве...». В конце отзыва критик уточняет, кого он имел в виду: «Что же касается до корреспондентов больших газет, до всех этих гг. Бурениных, Каразиных, Немировичей-Данченко и tutti quanti, представляющих безобразнейшую амальгаму чичиковщины, хлестаковщины, ноздревщины и маниловщины, то все эти господа остаются в стороне...»[6] Эту оценку подхватил, не ссылаясь на источник, «Кронштадтский вестник»[7]. Недоброжелательно отозвался об очерке В. П. Чуйко:

---

[1] «Русское обозрение», 1877, № 15, стр. 12.

[2] Там же, стр. 14.

[3] W. <С. А. Венгеров>, Тряпичкины-очевидцы. Сатирический очерк г. Щедрина.— «Русский мир», 1877, № 245, 9 сентября.

[4] «Сын отечества», 1877, № 204, 3 сентября.

[5] «Современные известия», 1877, № 255, 16 сентября.

[6] «Биржевые ведомости», 1877, № 211, 26 августа.

[7] Некто из толпы <Е. П. Свешникова>, Тряпичкины-очевидцы.— «Кронштадтский вестник», 1877, № 109, 11 сентября.

«...очерк г. Щедрина неудачен по замыслу <...> общий тон — слишком фантастический, шутки мешают общему впечатлению...»[1] Не понравилась сатира Салтыкова рецензенту газеты «Волга»: «Все это очень забавно и остроумно, но далеко не бьет в цель. В лице Подхалимовых караются здесь какие-то жалкие пропойцы без роду, без племени <...> они заслуживают скорее горького сожаления, чем сатирического смеха»[2]. По мнению С. И. Сычевского, сатирик впал в шарж, преувеличение: «...г. Щедрин продал право великого художника за чечевичную похлебку блестящей, но эфемерной сатиры...»[3]

Многочисленные, разнообразные и разноречивые отклики на очерк «Тряпичкины-очевидцы» отразили широкий читательский интерес к произведению, подчеркнули его большое общественное значение.

Стр. 212. *...на Дунай... и в Малую Азию...* — Здесь говорится о двух главных театрах военных действий во время русско-турецкой войны: на Балканах, южнее и вдоль течения Дуная, и на Кавказе, вблизи и южнее русско-турецкой границы.

Главное управление по делам книгопечатания... — Речь идет о Главном управлении по делам печати при Министерстве внутренних дел, осуществлявшем руководство цензурой и надзор за типографиями, книжной торговлей и библиотеками.

...меттерниховскую пентархию... — Имеется в виду «Священный союз» пяти великих держав (России, Пруссии, Австрии, Англии, Франции), созданный в 1815 г. в результате победы над Наполеоном; большую роль в создании и в политике Священного союза играл австрийский канцлер Меттерних.

...еще покойный Ансильон (а у нас Иван Петрович Шульгин)... — Салтыков иронизирует над примитивными взглядами монархически настроенных историков, наставников будущих монархов Германии и России.

Стр. 213. *...душистым мо́кка* — сорт кофе.

Стр. 216. *...нужно иметь перо Немировича-Данченко...* — Вас. И. Немирович-Данченко, плодовитый беллетрист, во время русско-турецкой войны был корреспондентом ряда газет, затем его корреспонденции составили книгу «Год войны» (тт. I—III, СПб. 1878—1879). Эти корреспонденции, отличаясь свежестью и живостью зарисовок, страдали подчас преувеличениями и погоней за внешними эффектами, чем и обусловлено ироническое отношение к ним Салтыкова.

...ни пармезанов... ни гомаров... — Пармезан — сыр из снятого молока, употребляющийся преимущественно как приправа к макаронам; гомары — омары, вид морских раков.

---

[1] «Новости», 1877, № 252, 28 сентября.

[2] <Без подписи>, Корреспонденты газеты «Краса Демидрона».— «Волга», 1877, № 4, 4 сентября

[3] С. С. <С. И. Сычевский>, Новая сатира Щедрина.— «Одесский вестник», 1877, № 207, 25 сентября.

Стр. 218. *...что я содержателю бологовского буфета? что он мне?* — пародирование высокопарной формы при ничтожности и банальности содержания корреспонденции Подхалимова 1-го. Ср. в «Гамлете» Шекспира об актере:

что ему Гекуба,
Что он Гекубе, чтоб о ней рыдать?

(Акт II, сцена 2)

Стр. 219. *...остатки тверских либералов, укрывшиеся после известного разгрома 1862 года...* — Имеются в виду гонения, которым подверглись представители либерального тверского дворянства за адрес (2 февраля 1862 г.), в котором было высказано недовольство Положением 19 февраля (см. прим. к очеркам «Наша общественная жизнь» в т. 6 наст. изд., стр. 594).

...занимаются молочными скопами — то есть молочным скотоводством.

Стр. 220. *...к моему амфитриону (греч.)* — гостеприимному хозяину.

Стр. 221. *Кутузок уже нет...* — ироническое замечание по поводу преобразования полицейских органов согласно «Временным правилам» об устройстве полиции, принятым 25 декабря 1862 г.

Стр. 222. *существует еще седьмая <...> держава...* — Подразумевается Главное управление по делам печати и вся система цензурных ограничений, направленная против малейшего свободомыслия в литературе и печати.

Стр. 223. *Настоящими ли деньгами-то платят вам? Не гуслицкими ли?* — Имеются в виду фальшивые деньги, изготовлявшиеся в селениях, расположенных по р. Гуслице в Богородском и Бронницком уездах Московской губернии. П. И. Мельников (Андрей Печерский) в «Очерках поповщины» пишет: «...Гуслицы и Вохна исстари носят заслуженную ими репутацию по части делания фальшивой монеты» (П. И. Мельников (Андрей Печерский). Полн. собр. соч., т. VII, СПб., стр. 209).

Стр. 224. *Отчего наш рубль, теперича, шесть гривен на бирже стоит?* — Денежное обращение России было расстроено уже в результате Крымской войны. «Во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг. правительство выпускало в обращение значительное количество кредитных билетов, вследствие чего курс кредитного рубля сильно упал. В 1879 г. он равнялся 63 коп. золотом» («История СССР», Первая серия, т. V, «Наука», М. 1968, стр. 143).

Стр. 226. *...завести общественные кассы...* — Имеются в виду городские общественные банки, получившие широкое развитие в 70—80-х годах; в этих банках были часты случаи злоупотреблений деньгами вкладчиков (растраты, банкротства и т. д.).

Стр. 227. *...мы перешли через Дунай...* — Основная переправа русских войск через Дунай была совершена 27 июля 1877 г. в районе Зимница — Систово; ранее, 22 июля, была осуществлена переправа на Нижнем Дунае, около Мачина.

Стр. 228. *...в Александрополь...* (б. Гулери) — уездный город и крепость в Эриванской губернии в Закавказье.

Стр. 230. *...по случаю взятия Баязета...* — Турецкая крепость Баязет была взята русскими войсками 30 апреля, однако русский гарнизон крепости в июле был осажден частями турецкой армии и лишь после двадцатитрехдневной тяжелой осады и больших потерь был освобожден эриванским отрядом 10 июля. Крепость Ардаган была взята русскими войсками 16 мая.

Стр. 232. *...с своими акколитами* — так в древности назывались в римской церкви прислужники епископов и пресвитеров.

Стр. 237. *Наши войска перешли за Балканы. Ура генералу Гурко!* — Передовой отряд под командованием генерал-лейтенанта Гурко в результате боев 17—19 июля овладел Шипкинским горным перевалом через Балканы.

...незадолго перед тем прочитал роман Печерского «В лесах»... — Роман Мельникова (Печерского) «В лесах» первоначально публиковался в «Русском вестнике» (1871—1874), в 1875 г. вышел отдельным изданием. Далее в пародийном тоне излагаются некоторые детали повествования в романе.

...на меня напала «стрека» — овод.

Стр. 238. *...еще про покойного П. И. Якушкина рассказывали, что он целых два года ходил по Ветлуге...* — Писатель-демократ, этнограф и фольклорист Якушкин начал путешествие по России с целью изучения народного творчества еще в 40-е годы. «При содействии и по указанию Киреевского он отправился путешествовать в глухой Ветлужский уезд Костромской губернии...» (В. Базанов, Павел Иванович Якушкин, Орел, 1950, стр. 9).

...наша русская Лета... — *Лета* — в древнегреческой мифологии река забвения, воды которой заставляли умерших забывать земные страдания.

...по календарю Суворина... — Календарь, составленный А. С. Сувориным, издавался ежегодно с 1871 г. В нем даны справочные сведения о России, ее городах, главнейших правительственных и культурных учреждениях столицы и др.; сведения о Васильсурске взяты из календаря на 1876 г.

Стр. 239. *Инвалидные команды* — существовали с 1796 г. для охраны внутреннего порядка в уездных городах, в 1864 г. переформированы в этапные и госпитальные команды, в 1875 г. упразднены.

Стр. 240. *...на пример малоазиатского корреспондента «Северного вестника» <...> о радушном приеме, оказанном ему кутаисским бомондом.* — Имеется в виду корреспонденция А. Головачева от 22 июня 1876 г. из Кутаиси, в которой, в частности, речь идет о приемах в доме губернского предводителя князя Нестора Церетели: «Этот дом открыт для всего кутаисского общества во всякое время, и во всякое время князь и его супруга с одинаковым радушием встречают своих посетителей. Это — единственный пункт, где сходятся все партии, самые неприязненные, где непримиримые враги подают друг другу руки, играют в карты, ужинают и весело

разговаривают. Я имел удовольствие два или три раза быть в доме князя» («Северный вестник», 1877, № 66, 5 (17) июля).

Стр. 243. *...отправлялся под Карс-то...* — Карс — турецкая крепость. В результате осады и штурма взята русскими войсками 6 (18) ноября 1877 г.

Стр. 245. *...«пленной мысли раздраженье»* — из стихотворения Лермонтова «Не верь себе...» (1839)

...града неведомого взыскуем — библейское выражение (Послание к евреям, 13, 14).

«Lasciate ogni speranza» — из «Божественной комедии» Данте («Ад», III, 9).

Стр. 246. *...alea jacta est* — слова Юлия Цезаря при переходе через р. Рубикон на границе Италии с Галлией.

Стр. 248. *...партесному церковному пению...* — Партесный — многоголосный.

IV. Дворянские мелодии

(Стр. 248)

Впервые — *ОЗ*, 1877, № 11 (вып. в свет 23 ноября), стр. 259—282. Подпись: Н. Щедрин.

Написаны «Дворянские мелодии», видимо, незадолго до публикации в журнале. В процессе работы Салтыков обратился к запрещенному цензурой очерку «Чужую беду — руками разведу», использовав его начало в качестве первой главки «Дворянских мелодий».

Рукописи и корректуры не сохранились.

Готовя издание 1878 г., Салтыков сделал ряд сокращений в журнальном тексте. Приводим эти соответствующие варианты:

Стр. 251. В абзаце «Я принадлежу к поколению...» после слов «как и следовало ожидать — вымирают»:

ибо набеги в область униженных и оскорбленных, несмотря на свою платоничность, все-таки не прошли для них даром. К числу вымирающих принадлежу и я.

Стр. 253. В абзаце «Очевидно, что не только об деле...» после слов «застала меня врасплох»:

что я не знаю даже, с какой стороны к ней подойти.

Стр. 256. В абзаце «Отыщите дилемму...» после слов «в обоих случаях — исчезнуть!»:

не оставив после себя ни следа, ни даже пустого пространства.

Стр. 257. В абзаце «Но увы!..» после слов «в четырех стенах»:

Да и это, пожалуй, еще слишком много: не сознает ли каждый из нас, что он, в сущности, уже давно умер и только забыли его похоронить?

Стр. 258. В абзаце «— И все-таки...» после слов «умирать надо — вот что!»:

На это четвертый возражает: «Ну, нет, с этим я не согласен. В нашем забытом существовании есть смысл, которого не могут видеть только люди, преднамеренно ходящие с закрытыми глазами. Мы — ходячий укор. В нас имеется брезгливость, в нас нашли убежище последние остатки стыда. А стыд не только наводит на размышления, но и производит известное практическое действие. Стыд — великое дело, господа!

Великое-то великое, да черта ли в том, что мы будем стыдиться один на один с самим собой. Кружимся мы целое полстолетие в четырех стенах, суесловим, сквернословим,— и ничего из этого не выходит!

Стр. 264. В абзаце «— Послушай, однако...» после слов «чувствуется надобность?»:

Или, быть может, это, с твоей стороны,— только мгновенное «пленной мысли раздраженье»?

Стр. 266. В абзаце «Глумов, очевидно, был доволен...» после слов «наверное огорчился бы ею»:

И я хорошо сделал, потому что материя о стыде была еще далеко не исчерпана.

Стр. 267. В абзаце «— Да и не это одно...» после слов «ее ликований и торжеств!»:

Мы могли черпать полными руками и ничего не взяли...

Стр. 269. В абзаце «Братие! перед вами...» после слов «не устраивал из него водевиля с переодеванием»:

Он слышал новые песни и, ежели не имел уменья вторить им, то, во всяком случае, соглашался, что его собственная песня спета.

В последующих изданиях изменений в текст не вносилось.

Главным в содержании очерка «Дворянские мелодии» является характеристика передовой дворянской интеллигенции, сформировавшейся еще в 40-е годы, в условиях крепостнической действительности и в обстановке общественного движения того времени.

Вопрос о месте человека 40-х годов в новых исторических условиях — в 60-е годы, а затем в 70-е годы — занял значительное место в литературе (в творчестве Некрасова, Тургенева, Достоевского и ряда других писателей). Не раз к данной теме обращался и Салтыков. Положительно оценивая те черты мировоззрения деятелей 40-х годов, которые связаны с проповедью идей Белинского, социалистов-утопистов, с развитием демократической мысли, Салтыков вместе с тем сурово осуждает ограниченность дворянского либерализма, его несостоятельность перед новыми запросами жизни, неспособность к активным практическим действиям. Облик представителей дворянского либерализма особенно проигрывал в сопоставлении с деятелями разночинского этапа в общественном движении — с революционными демократами 60-х годов, с участниками революционного народнического движения в 70-е годы. По убеждению Салтыкова, даже лучшие пред-

ставители либеральной мысли 40-х годов не в силах и даже не имеют права судить о новом поколении революционной молодежи — и ввиду несоответствия своих воззрений требованиям времени, и потому, что мало практически представляют стремления и самоотверженную борьбу «новых людей». В связи с этим Салтыков осудил попытку Тургенева в «Нови» изобразить народническую молодежь (см. об этом в комментариях к очерку «Чужой толк», отзвуки этого осуждения есть и в «Дворянских мелодиях»).

«Дворянские мелодии» проникнуты пафосом неприятия современной социально-политической действительности, протестом против «ликующего хищничества». Они преисполнены вместе с тем сетованиями на бессилие и беспомощность этого протеста, исходящего от представителей честной, но в целом пассивной общественной мысли, связанной своими истоками с прекраснодушным дворянским либерализмом. Написанный с огромной искренностью и задушевностью, очерк Салтыкова был воспринят частью современников как своеобразная «авторская исповедь». Автобиографические мотивы в очерке несомненны. Однако было бы односторонним отождествлять революционно-демократическую позицию руководителя «Отечественных записок» с обликом повествователя в «Дворянских мелодиях», как и других произведениях цикла «В среде умеренности и аккуратности». Вместе с тем глубоко искренни и по-своему трагичны самокритические признания писателя в том, что он не в силах принять участие в практической деятельности нового революционного поколения: «...Не могу и не умею самоотвергаться. Не могу! Не умею! Это не претензия на оправдание, а факт». Эти горькие сетования займут значительное место в последующем творчестве писателя, вплоть до «сказки» «Приключение с Крамольниковым» и «Имярек» (в «Мелочах жизни»).

Сложные по своей идейно-философской и общественно-исторической основе, по эзоповским приемам повествования, «Дворянские мелодии» не получили должного истолкования в критических откликах современников, хотя в целом эти отклики были одобрительными. Некоторые из рецензентов видели в очерке автобиографическое произведение. Так, В. П. Горленко писал: «Это не рассказ и даже не очерк, а если можно назвать — *исповедь...»*[1] Рецензент «С.-Петербургских ведомостей» сетовал: «...Трудно понять, о себе ли лично или о лучших представителях дворянства говорит Щедрин в своей элегии»[2]. На «непонятность» очерка жалуется и другой обозреватель: «Свою сатиру г. Щедрин закутывает в такие туманные фразы <...>что в конце концов сатира исчезает и остаются какие-то обрывки юмора, какие-то намеки, которых обыкновенно никто не понимает»[3]. Некоторые критики выделяли в очерке тему человека 40-х го-

[1] Вс. Горл — ко <В. П. Горленко>, Наша пресса.— «Московское обозрение», 1877, № 47, 48, стр. 132.

[2] П., Элегия Щедрина.— «Санкт-Петербургские ведомости», 1877, № 332, 1 декабря.

[3] Z. W., Журнальные заметки.— «Русская газета», 1877, № 74, 19 октября.

дов. «Щедрин рисует,— пишет В. П. Чуйко,— состояние барства и барской души в очень интересный период русской общественной жизни»[1]. Этот же мотив очерка отмечает рецензент «Новороссийского телеграфа»[2]. На тему «стыда» обратил внимание обозреватель «Сына отечества»: «В этом небольшом очерке Щедрин указывает то место и роль, которую играет в современном обществе человек, не потерявший еще способность стыдиться»[3].

Стр. 251. *...набеги... в область «униженных и оскорбленных».*— Имеется в виду развитие демократических настроений в русском обществе и литературе 40-х годов (творчество Гоголя, «Бедные люди» Достоевского, «Деревня» и «Антон Горемыка» Григоровича, «Записки охотника» Тургенева и др.). В творчестве самого Салтыкова-Щедрина — это «Противоречие» и «Запутанное дело», участие в кружке петрашевцев, следование заветам Белинского.

Стр. 252. *...что-то такое было... Устремления, порывы, слезы, зубовный скрежет и проч.*— Салтыков напоминает о периоде 60-х годов, о противоборствующих общественных настроениях, о своих идейных и творческих исканиях, отразившихся и в его произведениях того времени (ср., например, выражение «зубовный скрежет» с названием очерка «Скрежет зубовный», вошедшего затем в цикл «Сатиры в прозе» — т. 3 наст. изд.).

Стр. 254. *...вместо действительной драмы, родится нелепый фарс с переодеваниями...*— Намек на изображение народнического движения в романе Тургенева «Новь», в котором Салтыков не находил верного отражения настроений и деятельности революционной молодежи (ср. эти и дальнейшие слова с письмом Салтыкова к П. В. Анненкову от 17 февраля 1877 г.). См. об этом также в прим. к очерку «Чужой толк».

...жизненных перегринаций.— Перегринация (от *франц.* pérégrination) — дальнее странствие.

...героям ревизских сказок и окладных листов — то есть трудовой, прежде всего крестьянской массе. См. прим. к стр. 8.

Стр. 258. *...древняя Лаиса* — прославившаяся в Древней Греции гетера.

Стр. 259. *...лучшие умы Запада, и в особенности Франции...*— Имеются в виду Сен-Симон, Фурье, Оуэн и другие выдающиеся мыслители, развивавшие в своих трудах идеи утопического социализма.

...охраняли крепостное логовище...— Речь идет о самодержавно-крепостнической реакции, принявшей особенно жестокий характер в связи с революцией 1848 г.

---

[1] Ч. В. <В. П. Чуйко>, Резонеры сороковых годов. Характеристика их, сделанная г. Щедриным.— «Новости», 1877, № 325, 14 декабря.

[2] Z. W. <С. Т. Герцо-Виноградский>, Журналистика.— «Новороссийский телеграф», 1877, № 849, 14 (26) декабря.

[3] <Без подписи>, «Дворянские мелодии» Н. Щедрина.— «Сын отечества», 1877, № 282, 3 декабря.

...от хладных финских скал до пламенной Колхиды... — неточная цитата из стихотворения Пушкина «Клеветникам России» (1831).

Стр. 261. *Наш общий товарищ Сеня Бирюков...* — персонаж, фигурирующий также в «Сатирах в прозе», «Помпадурах и помпадуршах», «Дневнике провинциала в Петербурге».

...Как мальчик кудрявый, резва... — начальная строка стихотворения М. Ю. Лермонтова «К портрету» (1840).

V. Чужой толк

(Стр. 270)

Впервые — *ОЗ*, 1880, № 12 (вып. в свет 18 декабря), стр. 267—290. Подпись: Н. Щедрин.

«Чужой толк» — переработанная редакция очерка «Чужую беду — руками разведу», запрещенного цензурой (см. прим. к этому очерку).

Очерк «Чужой толк» был включен во второе издание книги «В среде умеренности и аккуратности» *(1881)* и с тех пор неизменно печатался в составе этого цикла. Лишь в *изд. 1933—1941* он был выведен из основного корпуса произведения, а на его месте помещен очерк «Чужую беду — руками разведу», печатавшийся по тексту женевских изданий Элпидина. Это решение представляется необоснованным. Во-первых, следует учитывать, что краткое изложение очерка, запрещенного цензурой, все-таки увидело свет в отдельных изданиях в виде шестой главы «Господ Молчалиных»; во-вторых, значительная часть текста очерка была использована в других произведениях, также вошедших в состав цикла «В среде умеренности и аккуратности»; в-третьих, основное содержание и идея очерка «Чужую беду — руками разведу» были таким образом все же донесены до читателя, хотя и в несколько иной форме, чем предполагалось сначала. Учитывая эти обстоятельства, не представляется возможным нарушать сложившуюся в прижизненных изданиях композицию книги, внутреннюю взаимосвязь ее глав в той редакции, какую оставил нам автор.

Центральная проблема очерка — революционное движение 70-х годов: подавление его полицейскими силами самодержавия, семейные драмы пострадавших в борьбе с царизмом и вопрос об отношении к исканиям и борьбе нового революционного поколения представителей старого дворянского либерализма.

Из переписки Салтыкова ясно, что очерк во многом продиктован полемикой с романом Тургенева «Новь», вызвавшим острую борьбу мнений при своем появлении. Из писем Салтыкова к А. Н. Энгельгардту от 20 января 1877 г. и к П. В. Анненкову от 17 февраля, 2 и 15 марта того же года известно, что у Салтыкова, революционного демократа, вызвал протест тот «суд» над революционерами 70-х годов, который он усмотрел в романе. «В февральской книжке <...>, — сообщал Салтыков 17 февраля Анненкову, имея в виду публикацию очерка «Чужую беду — руками разве-

ду»,— Вы найдете (ежели найдете) изложение моих мыслей и чувств не по поводу «Нови» — сохрани меня бог! — а вообще об отношениях, в которых мы, люди отживающие, должны находиться к современности. Я думаю, что единственная наша роль — опрятность. В сочувствии нашем никто не нуждается <...> а от глумления не мешает воздерживаться». В этом письме ясно определены тон и содержание очерка. В письме от 15 марта писатель сделал новое пояснение: «Вы, пожалуйста, не думайте, что я хотел *критику* на «Новь» писать. Нет, я просто хотел изобразить, какое должно возбуждать чувство в человеке сороковых годов, воспитанном на лоне эстетики и крепостного права, но по-своему *честном*, зрелище людей, идущих в народ. Сознаюсь откровенно, что мои мысли на этот счет — совершенно противоположные тому положению, которое избрал для себя Тургенев. Но об «Нови» я ни одним словом не упомянул <...> свой рассказ я назвал так: «Чужую беду — руками разведу» — это единственное, что может представлять собой некоторый намек». Некоторые «намеки», однако, нашли позднейшие комментаторы в ряде деталей рассказа: фигура Сени Бирюкова, эпизод с наставлениями Павлу Молчалину, перекличка с первым письмом к Анненкову и др.[1]. Тургеневу было известно об отношении Салтыкова к «Нови». В письме к М. М. Стасюлевичу от 1 (13) февраля 1877 г. говорится: «Мне жаль, что Салтыков *тоже* ругает меня; но ведь тут ничего не поделаешь»[2].

Салтыков с глубоким вниманием и сочувствием следил за революционным движением народников. 15 марта Анненкову он писал о «Процессе 50-ти»: «Я на процессе не был, а, говорят, были замечательные речи подсудимых. В особенности одного крестьянина Алексеева и акушерки Бардиной. По-видимому, дело идет совсем не о водевиле с переодеванием, как полагает Иван Сергеевич <Тургенев>». Сочувственное отношение к народническому движению можно обнаружить во многих произведениях Салтыкова. Вместе с тем, не являясь непосредственным участником движения и не зная со всей полнотой взглядов и настроений революционной молодежи, он не считал возможным судить о ней и подсказывать ей какие-либо решения. Герой очерка оказывается беспомощным перед молодым Молчалиным, его либеральные наставления ничем не отличаются, оказывается, от поучений Молчалина-старшего и даже напоминают увещевания «церковных наставников».

Огромную полемическую силу очерка, даже в его подцензурной редакции, почувствовали как идейные противники Салтыкова, так и единомышленники.

---

[1] См. примечания Р. В. Иванова-Разумника в издании: «Неизданный Щедрин», Л. 1931, стр. 9—10, 319—321.

[2] И. С. Тургенев, Полн. собр. соч. и писем. Письма, т. XII, кн. I, стр. 83. Подробнее об отношении Салтыкова к «Нови» см. в работе: Л. А. Николаева. Тургенев и Щедрин в 70-е годы.— «Ученые записки» Орловского пед. ин-та, 1963, т. 17, стр. 180—217.

Остро враждебно встретила очерк газета «Новое время». Для Буренина 80-х годов была неприемлема позиция, с которой сатирик обрушивался на дворянский либерализм. Ему не нравится и «преклонение» перед молодым поколением: «Дешево же продает себя и всех маститых и солидных либералов г. Салтыков!»[1] Для опровержения взглядов Салтыкова на молодое поколение Буренин демагогически использует высказывания Герцена из статьи «Журналисты и террористы» («Колокол», 1862, 15 августа), вырывая их из контекста и игнорируя конкретную историческую обстановку[2].

А. И. Введенский очерк «Чужой толк» поставил в связь с рассказом А. О. Осиповича-Новодворского «Тетушка», где речь идет о полицейских гонениях на революционную молодежь. В сатире Щедрина, пишет критик, «тот же вопрос, поставленный в широких рамах и освещенный до глубины»[3]. Рецензент «Русского курьера» отмечает: «Поистине роковой вопрос затрагивает Щедрин в своем очерке «Чужой толк»[4]. Яркую и сильную характеристику очерку дал К. М. Станюкович на страницах журнала «Дело»: «Это произведение <...> одно из лучших произведений нашего писателя. Это какой-то скорбный крик, вылетевший из наболевшей, измученной души невольного свидетеля недавнего времени, это — правдивая исповедь, звучащая безотрадными нотами отчаяния, охватившего среди удушливого маразма, когда мысль о смерти является все чаще и чаще, как единственный исход <...> Это трогательное признание лучшего представителя сороковых годов»[5]. Касаясь отношения писателя к «новым людям», Станюкович пишет: «Щедрин не претендует на истолкование стремлений молодого поколения. Он прямо говорит, что он его не знает и протестует против всяких «этюдов о новых людях»[6]. В заключение об очерке сказано: «Такая вещь, как «Чужой толк», останется историческим документом, поясняющим трагедию, переживаемую нами, и не скоро умрет в памяти людей как высоко талантливый скорбный протест среди кликов беззастенчивого хищничества»[7].

Следует иметь в виду, что в откликах на «Чужой толк» передовая печать была стеснена цензурными ограничениями, но и приведенные суждения свидетельствуют, что глубокий и во многом скрытый смысл произведения был понят и по достоинству оценен передовыми читателями.

Стр. 272. *...не могу и не умею самоотвергаться...* — Под «самоотвержением» Салтыков понимал непосредственное участие в революционном движении.

---

[1] В. Буренин, Сатира г. Салтыкова «Чужой толк». — «Новое время», 1881, № 1762, 23 января.

[2] См.: А. И. Герцен, Полн. собр. соч., т. XVI, М. 1959, стр. 220—226.

[3] «Страна», 1881, № 1, стр. 7.

[4] «Русский курьер», 1881, № 12, 13 января.

[5] Ф. Решимов <К. М. Станюкович>, Журнальные заметки. — «Дело», 1881, № 1. Совр. об., стр. 92.

[6] Там же.

[7] Там же, стр. 95.

Стр. 273. *...на факты самоотвержения...*— Речь идет о героической борьбе революционеров-народников, ставшей особенно широко известной во время политических процессов 1876—1877 гг.

Стр. 276. *...насчет высылки Митхада-Паши...*— Турецкий визирь Митхад-паша, как сообщали русские газеты, в январе 1877 г. был отстранен от власти и выслан из Константинополя.

Стр. 277. *Стенографические отчеты газет знакомят нас с этими драмами...*— В 1877 г. в «Правительственном вестнике» печатались отчеты о процессах над участниками народнического движения: в феврале — марте происходил «Процесс 50-ти», в октябре начался «Процесс 193-х» (окончен в январе 1878 г.).

Стр. 279. *Фома неверующий* — выражение, возникшее из евангельской легенды об апостоле Фоме, который усомнился в воскресении распятого Христа.

Стр. 284. *...мальчишка! негодяй!* — бранные слова, которыми реакционная пресса и охранительный лагерь называли участников революционного движения. О «мальчишках», под которыми подразумевались деятели революционной демократии 60-х годов, см. цикл «Наша общественная жизнь» (т. 6 наст. изд.).

Владимира вторыя... короной на Анны — ордена, которыми в царской России награждались чиновники.

Стр. 285. *...Какую-то Дизраэли новую ловушку сочинит?* — Английский премьер-министр Б. Дизраэли во время русско-турецкой войны поддержал Турцию и Австро-Венгрию против России.

Стр. 287. *...«Звезда от звезды» да «ему же честь — честь...»* — Здесь и далее («ина слава луне, ина слава звездам», «звезда же от звезды разнствует во славе») — цитаты из приветственной речи архиепископа Г. Конисского Екатерине II (1787), считавшейся образцом ораторского искусства. У Салтыкова — эзоповское обозначение верноподданнической политики «мудрости» (см. т. 11, стр. 602).

Стр. 288. *Господина Черняева с Гарибальди сравнивали?..*— Сравнение реакционного царского генерала Черняева, потерпевшего позорное поражение на посту командующего сербской армией, с вождем национально-освободительного движения в Италии Гарибальди явно иронично по отношению к политике царизма, использовавшего освободительную борьбу славянских народов в своих целях.

Стр. 291. *...по образу смерти Тразеи Пета...*— Римский сенатор Луций Тразея Пет, глава стоической оппозиции при Нероне, был осужден на смерть и покончил с собой, вскрыв себе вены в присутствии друзей.

КУЛЬТУРНЫЕ ЛЮДИ

(Стр. 293)

Впервые — *ОЗ*, 1876, № 1 (вып. в свет 22 января), стр. 119—158. Ремарка в конце текста: «Продолжение следует».

Сохранилась наборная рукопись с авторской правкой.

Мысль о создании большого произведения, посвященного «шлющимся» представителям «русской культурности», зародилась у Салтыкова, по-видимому, в мае — июне 1875 г. Впервые выехав за границу и получив возможность близко наблюдать характер и нравы русских «гулящих людей» за пределами отечества, писатель обратился к теме, которая занимала его еще в начале 60-х годов. Тогда, в очерке «Русские «гулящие люди» за границей» (1863), впоследствии включенном в состав цикла «Признаки времени», писатель отталкивался главным образом от косвенных свидетельств и материалов русской печати, теперь в основу произведения легли личные наблюдения и опыт. «Сомневаюсь,— писал Салтыков в очерке «Русские «гулящие люди» за границей»,— чтоб сатирическое перо могло сыскать для себя сюжет более благодарный и более неистощимый, как «Русские за границей». Тут все дает пищу, и с какими бы намерениями вы ни приступили к этому предмету, все будет хорошо».

Ироническое обобщение «культурные люди» появляется в IV главе «Недоконченных бесед», написанной летом и опубликованной в «Отечественных записках» в сентябре 1875 г.: «Нынче, брат, такой особенный чин народился: всякий, кому голову приклонить некуда, представителем культурного слоя себя называет. Вот он приписался к этому чину, да и щеголяет в нем по белу свету. Летом — на водах и в Швейцарии, осенью и весной — в Париже, на зиму — в Петербург: ест и пьет он отлично, спит в меру, желудок у него варит на славу, огорчений никаких — чего еще, каких еще почестей надо».

Почти одновременно с IV главой «Недоконченных бесед» тип «людей культуры», к которому причисляют себя «все русские помещики, занимающиеся раскладыванием гранпасьянса», выступает в рассказе «Сон в летнюю ночь». Салтыков предполагал сделать этот рассказ начальным звеном целого ряда очерков-параллелей, посвященных проблеме взаимоотношения «культурного человека» и мужика. Об этом свидетельствует его письмо от 28 августа (9 сентября) 1875 г., адресованное Н. А. Некрасову: «Я вообще задумал написать несколько параллелей в этом роде, и к декабрьской книжке пришлю одну из них». Однако этот замысел осуществлен не был. В процессе работы над «Сном в летнюю ночь», то есть летом 1875 г., у Салтыкова начал складываться план самостоятельного произведения, посвященного русским «культурным людям». Следы этого плана содержатся в черновой рукописи рассказа в виде конспективных заметок, прямо связанных с позднейшими главами «Культурных людей»:

«Здравствуй, саломалика!

Молодой иомудский принц бежал, украв деньги из иомудской казны, но деньги оказались фальшивыми, 42-й пробы.

Воспитатель Хабибулла из трактира с Крестовского острова.

Кажется, я тебя в Муромском лесу встретил.

Пустить бы мужика, он бы леса-то порешил.

За табльдотом у меня с одной стороны турок: у меня хоть и поганенькое отечество, а все жалко.

Русский объедало, подкупает повара и ходит на кухню.

Чиновник, который от восцы лечиться ездит и рассказывает историю генерала.

Учитель танцеванья в кадетском корпусе.

Что вы с ним говорите, ведь это шпион.

Свиное ухо.

Пиво пить пойдете?

Что, брат, а фальшивый Бисмарк-то вас подкузьмил.

— Я шпион, но служу бескорыстно.

— Ну, чай, жалованье-то получаешь!

— Получаю, потому что таковое по штату положено,— благородно ответил шпион.

Гостинодворец. Русский купец в нищете.

Нет, с карандашами не было, откровенно скажу.

Чухонцы провозили контрабанду.

Вот я однажды с Погодиным в вагоне ехал, так что он мне про Жан ле Террибль [1] рассказывал!

Не тяжко ли?

Ересь [слетела] соскочила как с гуся вода.

Не все направления одинаковы, хотя все могут быть искренни, и не во всех газетах можно писать.

Неправда, что правительство прогрессивно и что нельзя писать более того, что оно позволит. Можно писать. Этой <нрзб.> только можно втирать очки, но она ложна.

Общество гувернанток.

Литератор: повесть о влюбленном быке.

Повесть о «Паршивом» (кончить: и он раскаялся и был возвращен, потом был председателем земской управы, но места на государственной службе получить не мог).

Рассказ «Сон в летнюю ночь» закончен Салтыковым в июле 1875 г. в Баден-Бадене. Отправляя 25 июля (6 августа) его Некрасову, писатель сообщил о новом замысле: «...затеял я фельетон «Дни за днями за границей», вроде «Дневника провинциала». Хочу опять Прокопа привлечь». В очевидной связи с этим замыслом находится и настоятельная просьба Салтыкова в письме Некрасову 3 (15) июня о присылке ему «Посмертных записок Пиквикского клуба», с жанром которых он сближал задуманное произведение. 28 августа (9 сентября) Салтыков писал Некрасову: «С нового года начну целый ряд, вроде «Пиквикского клуба». Начало уже у меня навертелось: будете довольны».

Упоминания о намерении писать новый цикл то и дело появляются в письмах Салтыкова. 10 (22) августа он вновь пишет Некрасову: «С ян-

---

[1] Jean le Terrible — Иван Грозный (*франц.*).

варской книжки начну большую вещь «Дни за днями», которая не будет прерываться до мая. Думаю, что будет нечто веселое». Два месяца спустя, 29 октября (10 ноября), извещая Некрасова о своих творческих планах, Салтыков опять отмечает, что произведение, которое он предполагает начать с будущего года, будет «иметь юмористический характер. Увидим, оставила ли болезнь во мне столько юмору, чтобы наполнить около 15 листов».

Приступив во второй половине ноября к осуществлению замысла, он отказался от первоначального заглавия («Дни за днями за границей») и, явно опираясь на приведенные выше конспективные записи, 20 ноября (2 декабря) 1875 г. писал П. В. Анненкову: «Теперь я задумал «Книгу о праздношатающихся» писать, и вчера первую, вступительную главу кончил. <...> Тут вы увидите многое множество лиц: и фальшивого Бисмарка, которого за сто марок в Берлине русским (и то потому, что русские) показывают, и мятежного хана Хивинского, и чиновника, который едет за границу от восцы, и генерала, который душу черту продал, и проч. Все это будет проходить постепенно. Шпион явится, литератор, который в подражание «Анне Карениной» пишет повесть «Влюбленный бык». Смеху довольно будет, а связующая нить — культурная тоска. Хотелось бы и трагического попробовать — после болезни меня все в эту сторону тянет. В виде эпизода, хочу написать рассказ «Паршивый». Чернышевский или Петрашевский, все равно. Сидит в мурье, среди снегов, а мимо него примиренные декабристы и петрашевцы проезжают на родину и насвистывают «Боже царя храни»...»

О предполагаемом включении в цикл рассказа о мужестве ссыльного революционера Салтыков 8 мая (26 апреля) 1876 г. писал и Некрасову: «Тут у меня будет еще рассказ «Паршивый», человек, от которого даже все передовики отвернулись, который словно окаменел в своих мечтаниях, ни прошедшего, ни настоящего, ни будущего — только свет! свет! свет!» Комической пошлости мнимокультурных «гулящих людей» правящего класса Салтыков намеревался противопоставить высокий трагизм русского революционера, борца за светлые идеалы человечества. Композиция цикла намечалась по принципу движения от комического к трагическому: «трагический элемент будет, но потом. Теперь надо, чтоб было весело».

По письмам Салтыкова устанавливается, что пять глав цикла были написаны в период с конца ноября 1875 по начало января 1876 г. Первоначальная редакция произведения была закончена в середине декабря. По сравнению с окончательной («Культурные люди») она менее полна, имеет также отличия сюжетно-композиционного характера, содержит много стилистических вариантов. Неполнота «Книги о праздношатающихся» объясняется тем, что Салтыков, работая над ней, сознательно пропустил, обозначив строками точек в рукописи, ряд эпизодов, уже задуманных им и в конспективной форме записанных на полях «Сна в летнюю ночь» (рассказ генерала Пупона, разговор со старичком, едущим лечиться от восцы, и сцена в вагоне, заключающая пятую главу) Эти эпизоды были введены в текст во второй половине декабря при перебеливании рукописи.

Название произведения было окончательно установлено лишь на самом последнем этапе работы: на перебеленной рукописи, предназначенной для набора, Салтыков, зачеркнув заглавие «Книга о праздношатающихся», вписал новое: «Культурные люди». Эта перемена связана, возможно, с тем, что в 1874—1875 гг. в журнале «Дело» появились повести А. Урбана «Людоедка» и «Перекатов» с подзаголовками, схожими с первоначальным названием салтыковского цикла: «Очерки из жизни праздношатающихся за границей».

Отправляя 5 января 1876 г. из Ниццы в Петербург рукопись законченных глав цикла «Культурные люди», Салтыков зачеркнул в ней четыре, очевидно, наиболее опасные в цензурном отношении фрагмента:

Стр. 297. Абзац «И надо сознаться...»: «а не стали бы в культурные гнезда залезать <...> всех перетаскали!»

Стр. 301. Абзац «Сознавать себя...»: «И в «содействии» <...> Где? Как?»

Стр. 302—303. Абзац «Прежде я...»: «Ну, и меня принимали <...> все друг по дружке поручителями были».

Стр. 305. Абзац «И вот, ради...»: «Вы, лягушки, квакайте <...> и зацепить там нечего будет!»

В Петербургском цензурном комитете январский номер «Отечественных записок» в гранках просматривал цензор Лебедев. Обнаружив в «Культурных людях» «неблагонамеренное направление», Лебедев писал: «Означенный сатирический очерк отличается крайней необузданностью языка и предосудительностью содержания и направления <...> Культурные люди, то есть бюрократы, забрали в руки все общество и административные места, не стесняясь никакими средствами для достижения цели; по большей же части такими средствами служат доносы и шпионство <...> имеющие ныне полный успех, так что всякий остерегается сказать какое-нибудь неосторожное слово, без всякого умысла, чтобы не пострадать от чьего-либо усердия, не подвергнуться истреблению, как выражается автор. Понятие о чести у утробистых людей он ставит гораздо выше нынешних культурных и вообще клеймит беспощадным образом современное общество, в котором желание выслужиться и холопство заглушили все лучшие человеческие инстинкты. <...> В сатире Щедрина между строк ясно проглядывает желание выставить на позор не одни общественные недостатки, но и тот государственный порядок, который не только делает возможным подобные уродливые явления в общественной жизни, но и потворствует им»[1]. 19 января председатель Петербургского цензурного комитета А. Г. Петров обратился к исполняющему обязанности начальника Главного управления по делам печати В. В. Григорьеву: «Представляя при сем январскую книжку «Отечественных записок», долгом считаю доложить вашему превосходительству, что редакция, судя по прежним примерам, ве-

---

[1] В. Е. Евгеньев-Максимов, В тисках реакции, ГИЗ, М.—Л. 1926, стр. 50—51.

роятно, с готовностью исключила бы по первому требованию места, признанные неудобными; но что я с таким требованием к ней не обращался, не будучи уверен, что этими требованиями можно будет ограничиться.

Статья Щедрина заключает в себе сначала едкую, злую сатиру на наше провинциальное общество, в котором, под руководством какого-то начальствующего Солитера (то же, что прежний Помпадур), царит бюрократический произвол и развита до нелепости привычка доносов и инсинуаций <...>

Во всяком случае, необходимо из этого введения исключить три места...»[1] Тот же А. Петров, получив, видимо, разрешение В. В. Григорьева на публикацию «Культурных людей», а от Некрасова согласие на исключение трех фрагментов, 26 января уведомлял Главное управление по делам печати, что «редактор «Отечественных записок» обязался исключить из статьи Щедрина в январской книжке три указанные места...»[2]. Таким образом, из текста, который был прислан в Петербург Салтыковым, Некрасов по требованию цензуры вынужден был удалить следующие фрагменты:

Стр. 295. В абзаце «Ныпче в Английском клубе...»: «Не раз случалось заговаривать: а принеси-ка, любезный... Посмотришь — ан у него звезда сбоку пришпилена».

Стр. 300. В абзаце «И я уверен...»: «Я сам бунтовал <...> извольте, сударь, идти вон!»

Стр. 303. В абзаце «Да ежели бы он и мог...»: «По части финансов я знаю <...> то прадед мой...»

В 1889 г., включая «Культурных людей» в четвертый том Сочинений, Салтыков (или кто-то по его поручению) устранил эти купюры. Места же, вычеркнутые в наборной рукописи из цензурных соображений самим Салтыковым, в 1889 г. восстановлены не были и впервые введены в текст произведения лишь в *изд. 1933—1941 гг.*

В настоящем томе «Культурные люди» печатаются по тексту четвертого тома Сочинений (1889) с исправлением ошибок и опечаток по рукописям и журнальной публикации и с устранением по наборной рукописи сокращений, произведенных в тексте в январе 1876 г. Первоначальная редакция цикла («Книга о праздношатающихся») печатается в разделе «Из других редакций» (см. стр. 581—612).

«Культурные люди» были задуманы как «большая вещь», которую Салтыков собирался печатать непрерывно с января до мая 1876 г. (см. выше). Однако были опубликованы только пять глав. И. Векслер высказал в свое время предположение, что цензурное гонение заставило Салтыкова отказаться от продолжения произведения[3].

---

[1] Г. Залкинд, Новые материалы о М. Е. Салтыкове-Щедрине.— «Красный архив», 1941, № 2, стр. 164.
[2] Там же.
[3] *Изд. 1933—1941,* т. 11, стр. 567—568.

Однако, неоднократно возвращаясь в своих письмах к мысли о продолжении «Культурных людей», Салтыков указывает на затруднения чисто творческого порядка (в отличие от большинства других незавершенных его произведений, пострадавших прежде всего от цензурного вмешательства).

«Я послал начало «Культурных людей»,— писал Салтыков Некрасову 29 декабря 1875 г. (10 января 1876 г.).— Кажется, вышло скверно. Извините. Писал (вторую половину) почти насильно, в чаду лихорадки и ревматических припадков <...> Первые главы не образец: я, действительно, писал их совсем больной, но ведь болезнь, пожалуй, так привяжется, что окончательно уничтожит юмор, который в этом случае преимущественно требуется». В этом же письме Салтыков обещает к мартовскому номеру «еще глав 5—6» написать, а в февральской книжке отсутствие «Культурных людей» объяснить в примечании болезнью автора. Всю первую половину 1876 г. в письмах к разным лицам (Некрасову, Анненкову, Унковскому, Белоголовому, Суворину) Салтыков жалуется, что не может продолжать «Культурных людей» из-за отсутствия «веселости», которая необходима для произведения такого рода.

Примечательно, что в те же первые месяцы 1876 г. он не прекращал работы над другими произведениями (над очерками «Благонамеренные речи», в том числе над теми, которые впоследствии вошли в состав «Господ Головлевых»).

Мысль о продолжении «Культурных людей» не оставляла его, по крайней мере, до мая 1876 г. В письме от 11 мая Салтыков делится с Некрасовым планом, который предполагает развить «в одном из ближайших продолжений «Культурных людей».

Но «веселый юмор» вернулся к Салтыкову только в начале 1877 г. К этому времени заграничный сюжет «гулящих людей» уже утратил свою привлекательность, оттеснился другими, более непосредственными впечатлениями и замыслами. В феврале 1877 г. сатирик начал «Современную идиллию», где замысел «вроде «Пиквикского клуба», не реализованный в «Культурных людях», был блестяще осуществлен.

Стр. 295. *Чего-то хотелось: не то конституций, не то севрюжины с хреном, не то кого-нибудь ободрать.*— Эта сатирическая характеристика «культурного человека» встречается в ряде произведений Салтыкова первой половины 70-х годов («Господа ташкентцы», «Дневник провинциала в Петербурге»). Она неоднократно использована Лениным в статьях «Памяти графа Гейдена», «Кадеты второго призыва», «К вопросу о событии 15 ноября» и др. (см. Е. Макарова, Щедрин у Ленина. Указатель цитат из Щедрина в произведениях Ленина — *ЛН*, 11—12, стр. 402, 437. 439, 441, 448—449).

Вот при «Уложении о наказаниях» нет казначея...— «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» — уголовный кодекс в царской России, действовавший без существенных изменений до 1903 г. (принят в 1845 г.).

Настоящих культурных людей, утробистых, совсем мало стало... — то есть помещиков-крепостников, сила и влияние которых были серьезно подорваны реформами 60-х годов, в результате чего на первый план русской общественно-политической жизни выдвинулись «нынешние культурные люди», представляющие отечественную бюрократию или служащие ее интересам.

Стр. 296. *Фюить!* — См. прим. к стр. 125.

Стр. 297. *...капитан Копейкин...* — герой «Повести о капитане Копейкине» из «Мертвых душ» Гоголя. Салтыкову была известна лишь подцензурная редакция повести, в которой образ капитана потерял свое социальное звучание. Вероятно, в связи с этим и стало возможно его переосмысление, в результате которого Копейкин превратился в заурядного залупского помещика.

...а не стали бы в культурные гнезда залезать <...> всех перетаскали! — Прямой намек на репрессивные акции царского правительства, в годы реакции распространявшиеся не только на революционные элементы русского общества, но и на его либерально-благонамеренную часть, выступавшую с умеренной критикой существующего порядка.

Стр. 300. *Я Анну Леопольдовну, регентшу-с, в одной сорочке из опочивальни вынес...* — Имеется в виду дворцовый переворот 8—9 ноября 1740 г., в результате которого был свергнут Бирон, исполнявший по завещанию Анны Иоанновны обязанности регента, и правительницей была объявлена Анна Леопольдовна, мать несовершеннолетнего Иоанна.

Я в Ропше... был и оттуда, на сером аргамаке, до Зимнего дворца за великою государыней следовал... — Речь идет о дворцовом перевороте 28 июня 1762 г., закончившемся убийством (в Ропше) Петра III и восшествием на престол его жены, Екатерины II. А р г а м а к — порода быстрых и выносливых верховых восточных лошадей.

Стр. 303. *...а за отпечатание в Гуслицах на каторгу ссылают...* — см. прим. к стр. 223.

...регентшу Анну Леопольдовну в одной сорочке из опочивальни вынес! — В рукописи было продолжение приведенной фразы: «...и затем благополучно проследовал за нею в город Раненбург!» (имеется в виду последовавшая за свержением Анны Леопольдовны ссылка ее, одним из этапов которой был город Раненбург Рязанской губернии).

Стр. 304. *...разоряю, разоряю, разоряю!..* — Первоначальный вариант резолюции Солитера: «...разоряю, расточаю, развращаю!..» (см. стр. 589 наст. тома).

Стр. 305. *...титулярный советник Трихина...* — Фамилия титулярного советника возникла у Салтыкова, вероятно, по ассоциации с многочисленными статьями о трихине, печатавшимися в русских газетах летом 1875 г. в связи с участившимися случаями появления очагов этой болезни.

Стр. 308. *Вот нынче во Франции целая школа беллетристов-психологов народилась — ништо им.* — Первое выступление писателя против натурализма относится еще к 1863 г. В статье о драме Писемского «Горькая

судьбина» Салтыков предпринял попытку принципиально разграничить реализм и натурализм в русской литературе. В ряде последующих статей и рецензий (о романах В. П. Авенариуса, П. Д. Боборыкина, В. П. Клюшникова и др.) он выразил свое непримиримое отношение к натуралистическим тенденциям, зорко разглядев опасность натурализма, который в 60-е годы скрывался еще под общим знаменем реалистического искусства. Эти выступления, а также критические отзывы Салтыкова в письмах 1875—1876 гг. о Золя и Гонкурах (Салтыков познакомился с Золя и Э. Гонкуром лично при посредстве Тургенева в августе 1876 г.) нашли свое завершение в итоговой оценке натурализма в очерках «За рубежом» (подробнее см.: А. С. Бушмин, Из истории взаимоотношений М. Е. Салтыкова-Щедрина и Эмиля Золя.— В кн.: «Русско-европейские литературные связи», «Наука», М.—Л. 1966, стр. 360—371).

Стр. 310. *...устраивая любовные дела Авдотьи Лопухиной...*— см. т. 8 наст. изд., стр. 558—559.

Стр. 313. *Что-то такое, что я в 1863 году в газетах читал.*— В 1863 г., то есть в период жесточайшей реакции, наступившей после подавления польского восстания, система полицейского наблюдения и репрессий получила свое наибольшее развитие.

Стр. 315. *Потому, русских он любит.*— Осуществляя свою внешнюю политику, Бисмарк стремился подчеркнуть, что он является другом России, а его политика в сфере международных отношений направлена исключительно на ее пользу.

...армидины волшебные сады...— Сады Армиды, героини «Освобожденного Иерусалима» Т. Тассо.

...восхождение на Риги...— Имеется в виду пользовавшийся популярностью у туристов горный массив в Гларнских Альпах.

Стр. 317. *Аггел* — злой дух, прислужник дьявола *(церковнослав.)*.

...отчислен по кавалерии! — то есть уволен в отставку.

Клио — муза истории *(миф.)*.

Стр. 318. *... здание еще дымится и дух Овсянникова парит над ним.*— Имеется в виду пожар паровой мельницы на Измайловском проспекте, перед Варшавским вокзалом, принадлежавшей миллионеру С. Т. Овсянникову и подожженной по его поручению. Судебный процесс, закончившийся ссылкой Овсянникова на поселение в Сибирь, состоялся в ноябре — декабре 1875 г., то есть почти одновременно с работой Салтыкова над «Культурными людьми» (см. А. Ф. Кони, Собр. соч., т. 1, М. 1966, стр. 37—45, 514—516).

Стр. 319. *...это они слам делят!* — В воровском жаргоне «слам» обозначает долю добычи (см. Вс. Крестовский, Собр. соч., т. 1, СПб. 1899, стр. 26).

Стр. 320. *...тайный советник Стрекоза...*— Позднее тайный советник Стрекоза выступает в «Письмах к тетеньке» и упоминается в «Мелочах жизни». В более ранних произведениях, начиная с «Губернских очерков», фигурирует в чине действительного статского советника.

...сотворил брение...— то есть плюнул на пыль и помазал себя полученной жидкой грязью. Выражение взято из Евангелия (Иоанн, IX, 6).

Термалама (или тармалама) — восточная шелковая ткань, идущая преимущественно на халаты или обивку мебели.

...он в эту минуту сравнивал себя с древним Кориоланом...— Образ римского полководца Кориолана, изгнанного из отечества и поднявшего на борьбу с ним враждебное племя вольсков, неоднократно использовался Салтыковым в его произведениях (см. т. 8 наст. изд., стр. 36—37, 482).

Стр. 321. *Я и парле франсе умею...*— то есть умею говорить по-французски (parler français).

Стр. 322. *...она теперь не Франция, а Мак-магония.*— «Культурные люди» были написаны во Франции, когда политические судьбы этой страны с особой силой привлекали внимание писателя. «Политические интересы везде очень низменны <...> Везде реакционное поветрие»,— сообщал он 19/7 марта 1876 г. Е. И. Якушкину. Конкретным отражением «реакционного поветрия» явилось президентство Мак-Магона (1873—1879), избранного на этот пост монархическим большинством Национального собрания.

Стр. 323. *...саламалика!* — искаженная форма тюркского приветствия, соответствующая русскому «здравствуй».

Стр. 325. *Восца* — упорный, иногда гнойный лишай, накожная язва.

СБОРНИК

Шесть произведений, составляющих «Сборник», первоначально печатались за подписью «Н. Щедрин» в «Отечественных записках» с 1875 по 1879 г. в такой последовательности:

1. «Сон в летнюю ночь» — 1875, № 8.
2. «Дети Москвы» — 1877, № 1.
3. «Дворянская хандра» — 1878, № 1.
4. «Похороны» — 1878, № 9.
5. «Больное место» — 1879, № 1.
6. «Старческое горе» — 1879, № 5.

«Сон в летнюю ночь» и «Дети Москвы» (вместе со сказками «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Пропала совесть», «Дикий помещик» и сценой «Недовольные») были включены в книгу: «Сказки и рассказы. Соч. Н. Щедрина (М. Салтыкова)», СПб., изд. кн. В. В. Оболенского, 1878, а все шесть произведений впервые были объединены (в той же последовательности, как они появились в журнале) в книге:

«Сборник. Рассказы, очерки, сказки. Сочинение М. Е. Салтыкова (Н. Щедрина)», СПб., типогр. А. А. Краевского, 1881, куда вошли и указанные три сказки, а сцена «Недовольные» исключена. Вторым изданием «Сборник» в том же составе появился в 1883 г. (изд. книгопродавца Н. П. Карбасникова). При каждой перепечатке тексты просматривались и исправлялись автором. Подготовляя девятитомное собрание сочинений, вышедшее посмертно (1889—1890), Салтыков в завещательном письме от 30 марта 1887 г. на имя Л. Ф. Пантелеева просил: «Из «Сборника» исключить три сказки и присовокупить статью «Культурные люди» (см. «Отечественные записки», январь 1876 года)». В шестом томе посмертного издания это распоряжение осуществлено лишь частично: сказки исключены из «Сборника»; однако «Культурные люди» не вошли в «Сборник» и были помещены в четвертом томе.

В отличие от других произведений 70-х годов, объединенных автором в циклы, более или менее связанные тесным сюжетным единством, «Сборник», как об этом свидетельствует само заглавие, представляет собою ряд самостоятельных произведений. При этом «Сон в летнюю ночь» и «Дети Москвы» по первоначальному замыслу должны были послужить началом особых циклов, «Дворянская хандра» обнаруживает прямую связь с «Убежищем Монрепо», «Больное место» — с «Господами Молчалиными» (см. примечания к этим рассказам).

Тем не менее объединение в «Сборнике» шести сюжетно не связанных друг с другом произведений нельзя считать чисто формальным, механическим. В их идейном замысле, жанре, тематике наблюдаются определенные признаки общности.

Широкие проблемы жизни, поставленные в таких основополагающих произведениях 70-х годов, как «Дневник провинциала в Петербурге», «Благонамеренные речи», «Господа Молчалины», «Убежище Монрепо», нашли своеобразное отражение и в рассказах, составивших «Сборник».

Одна из основных тем «Сборника» — анализ экономического и духовного краха различных групп дворянства, переживавших эпоху исторического упадка в условиях пореформенной действительности. Это, во-первых, новый тип хищников-дворян, воплощенный в собирательном образе «червонных валетов» («Дети Москвы»), символизирующем окончательную нравственную деградацию и вырождение представителей высшего российского сословия; во-вторых, «культурный человек средней руки», владелец «брошенного», разоренного и угасающего поместья, не способный к какой бы то ни было производительной деятельности и бессильный противостоять натиску буржуазных отношений (рассказчик в «Детях Москвы» и «Дворянской хандре»); в-третьих, чиновник, потерпевший крушение бюрократической карьеры и выброшенный из жизни по причине своих умеренно либеральных взглядов («Старческое горе»). В этих же рассказах в тесной связи с темой «оскудения» и вырождения дворянства Салтыков показывает процесс духовного измельчания того поколения либерально-дворянской интеллигенции, которое в 40-е годы проявляло симпатии к идеям Белинского и Грановского и для которого в 70-е годы стали харак-

терны неустойчивость общественных позиций, бессильные вздохи по утраченным идеалам юности.

Основная сатирическая тема 50—60-х годов — разоблачение правительственного механизма самодержавия — продолжена в «Сборнике» изображением чиновников нового типа, отличающихся от старых бюрократов лишь тем, что, по их убеждению, «законные основания только стесняют, а никакой опоры не дают» (первая часть «Сна в летнюю ночь», «Больное место»).

В «Сборнике» сказался принципиально новый подход Салтыкова к основным проблемам общественного движения 70-х годов. Это выразилось в первую очередь в изображении народных масс и создании положительного героя из среды революционно-демократической молодежи («Сон в летнюю ночь» и «Дворянская хандра»). В широком круге идейно-нравственных проблем русской действительности 70-х годов, охваченных рассказами «Сборника», важное место заняло освещение бедственного положения литературы и прессы в условиях цензурных преследований («Похороны»).

В художественном отношении произведения, вошедшие в «Сборник», характеризуются глубоким социально-психологическим анализом, оттеснившим на второй план обычные для большинства произведений Салтыкова элементы публицистичности, резкие сатирические формы, сложную систему приемов эзоповской речи.

Салтыковскому художественному психологизму изначально присущ мотив трагизма жизни подневольных крестьянских масс и преследуемой самодержавием демократической интеллигенции. В произведениях «Сборника», кроме этого, поставлена проблема трагизма пробуждающегося сознания, совести, стыда у отдельных представителей дворянской интеллигенции, бюрократии, либеральной прессы. В этом отношении «Сборник» сближается с создававшимися в тот же период «Господами Молчалиными» и романом «Господа Головлевы», которые свидетельствуют о блестящих достижениях сатирика в области художественного психологизма.

Когда в 1885 г. у Салтыкова, по его собственному выражению, появилось «наивное желание» видеть свои произведения в переводах на иностранные языки, он выбрал именно рассказы «Сборника» (исключая «Сон в летнюю ночь» и «Дети Москвы», очевидно, из-за их специфически русской злободневной тематики). 14 сентября 1885 г. Салтыков писал Н. А. Белоголовому, принявшему деятельное участие в организации переводов его произведений на французский язык: «Есть у меня книга, именуемая «Сборник», и в ней имеются четыре вещи, по-моему, недурные, и которые были бы вполне понятны для французов. А именно: «Больное место», «Похороны», «Старческое горе» и «Дворянская хандра» <...> Это не «Головлевы» и для перевода не трудны. И притом они имеют настолько достоинств, что, например, «Temps» или «Revue des deux Mondes» не отказались бы поместить их».

Однако переговоры не увенчались успехом и предполагаемая публика-

ция не состоялась [1]. На французский язык был переведен только рассказ «Больное место» [2].

При появлении в печати рассказы не вызвали значительной критической полемики, что объясняется, по-видимому, отсутствием в большинстве из них острой политической злободневности. Наибольшее внимание прессы привлекли «Сон в летнюю ночь» и «Больное место» (подробнее об отзывах критики см. в комментариях к отдельным произведениям). Выход отдельного издания «Сборника» не был отмечен печатью.

В настоящем издании сохраняется композиция и название, принятые в прижизненных изданиях. Тексты печатаются по последнему прижизненному изданию, 1883 г., с исправлением опечаток и устранением цензурных купюр по предыдущим изданиям и рукописям.

Рукописи произведений, вошедших в «Сборник», хранятся в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР в Ленинграде.

СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ

(Стр. 335)

Впервые — *ОЗ*, 1875, № 8 (вып. в свет 20 августа), стр. 381—416.

Рукописный материал представлен:

1. Черновой рукописью ранней редакции первой главки, от слов: «Юбилей удался как нельзя лучше...» до слов: «...он плюнул направо и растер левой ногой» [3].

2. Полной наборной рукописью «Отечественных записок» рукой Е. А. Салтыковой, с правкой автора и первоначальным (зачеркнутым) заглавием: «Благонамеренные речи. XIV» [4].

На полях черновой рукописи имеются наброски, относящиеся к замыслу «Культурных людей» (см. наст. том, стр. 687).

Текст черновой рукописи представляет собой менее распространенную редакцию начала рассказа (отсутствует, в частности, описание «краткого церемониала» юбилейного торжества).

Предвидя возможные цензурные препятствия, Салтыков просил Некрасова в письме от 25 июля (6 августа) 1875 г. напечатать рассказ в вось-

---

[1] См. С. Макашин, Материалы для библиографии переводов сочинений Щедрина на иностранные языки и критической литературы о нем за 1864—1933 гг. — «Литературное наследство», кн. 13—14, М. 1934, стр. 673—698. Переводы «Сборника» не зарегистрированы и в более поздних библиографических материалах.

[2] См. комментарий С. А. Макашина к воспоминаниям П. Д. Боборыкина в кн.: М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников, ГИХЛ, 1957, стр. 706.

[3] См. Л. М. Добровольский и М. Н. Малова, Рукописи литературных произведений М. Е. Салтыкова-Щедрина. Научное описание. — В кн.: «Бюллетени Рукописного отдела Пушкинского дома», вып. IX, М. — Л. 1961, стр. 44, № 148.

[4] Там же, № 149.

мой книжке «Отечественных записок»: «Я потому желаю этого, что 8-й № выйдет еще без Фукса и, следовательно, избавится от лишней придирчивости. Я просил бы Вас, ежели Вы будете в Петербурге, проследить за корректурой, а буде Вас нет в Петербурге, то поручить это Плещееву, которому, впрочем, я и сам пишу <...> Ежели название «Сон в летнюю ночь» не понравится, то можете вместо него поставить «Торжество ревизской души», а не то можно оба названия оставить: «Сон в летнюю ночь, или Торжество ревизской души».

Сличение текста сохранившейся наборной рукописи с текстом «Отечественных записок» позволяет установить, что Некрасов или Плещеев сделали в не дошедшей до нас корректуре следующие изменения, продиктованные явно цензурными соображениями, хотя августовскую книжку просматривал не В. Я. Фукс, а цензор Н. Е. Лебедев.

Стр. 350. Абзац «Никогда не задерживал...». Вместо слов: «три раза сидел в остроге <...> которое в совете судеб предопределено для крестьянина» в *ОЗ:*

сидел в остроге, был бит... одним словом, в совершенстве исполнил то назначение, которое в совете судеб предопределено.

Стр. 350. В *ОЗ* отсутствует абзац:

Нынче во всем от начальства притесненье пошло <...> Никогда прежде этого не бывало!

Стр. 351. Абзац «Воспользовавшись...». В *ОЗ* отсутствует текст:

(впоследствии он был привлечен к делу как пособник).

Стр. 353. После слов: «делали им о той добродетели явное предложение» в *ОЗ* отсутствует текст:

причем не было ли намерения к поношению предержащих властей, как и был уже подобный случай в газетах описан, что якобы некто, мывшись в бане с переодетым, или, лучше сказать, раздетым жандармом, начал при оном правительство хулить и [был за сие осужден] получил за сие законное возмездие.

Стр. 354. В *ОЗ* отсутствует текст:

(впоследствии, когда началось дело о злоумышленниках <...> то в этом виновен).

Стр. 369. Абзац «К сожалению...». После слов: «еще чей-то голос: а, голубчики!» отсутствует:

бунтовать!

Во всех указанных случаях в настоящем издании принят текст наборной рукописи.

Кроме того, в наборной рукописи содержится по сравнению с журналом ряд незначительных сокращений (см. *изд. 1933—1941,* стр. 578—579).

При подготовке *изд. 1878* автор также сделал несколько исправлений, главным образом стилистического характера. Среди этих вариантов следует

отметить выпуск имени «Михаил» при фамилии «Ведров» (см. стр. 338), сделанный, по всей вероятности, чтобы завуалировать явный намек на Михаила Погодина (см. стр. 705), ставший в отдельном издании не таким актуальным.

В *изд. 1881* и *1883* текст просматривался автором, внесшим в него немногочисленные поправки стилистического характера.

«Сон в летнюю ночь» написан в Баден-Бадене в июне — июле 1875 г., когда Салтыков, только что оправившийся от продолжительной болезни, смог приступить к литературной работе, о чем писал Н. А. Некрасову 25 июня (7 июля): «А я было принялся кой-что делать», и 25 июля (6 августа): «С этой же почтой посылаю рассказ «Сон в летнюю ночь», который прошу напечатать в августовской книжке».

Как всегда у Салтыкова, работавшего над несколькими произведениями и циклами, замыслы их тесно переплетались. Работая над «Сном в летнюю ночь», он предполагал включить его в цикл «Благонамеренные речи». Об этом свидетельствует наборная рукопись, в которой настоящему заглавию рассказа предшествует заголовок «Благонамеренные речи. XIV», зачеркнутое, очевидно, непосредственно перед отсылкой Некрасову (нумерация главы — XIV — ошибочна: под этим номером в мартовской книжке «Отечественных записок» была напечатана глава «Отец и сын». Ошибка объясняется, по-видимому, тем, что рассказ писался почти одновременно с главой XVI, «Семейный суд», также ошибочно занумерованной в рукописи и журнальной публикации как глава XIII «Благонамеренных речей»).

В упомянутом выше сопроводительном письме к Некрасову от 25 июля (6 августа) «Сон в летнюю ночь» и «Благонамеренные речи» упоминаются уже как самостоятельные, не связанные друг с другом произведения.

Отказ от мысли присоединить «Сон» к «Благонамеренным речам» был вызван, по всей вероятности, тем, что содержание его не совпадало с основной темой «союзов» и «краеугольных камней»[1]. К этому времени у Салтыкова созрело решение сделать «Сон» началом нового цикла. Это намерение высказано и в самом тексте рассказа, который заканчивается желанием повествователя в будущем «подкузьмить» еще какого-нибудь помощника архивариуса или главноначальствующего над курьерскими лошадьми «по части юбилейных торжеств». Впоследствии Салтыков сообщал А. Н. Плещееву в письме от 2 (14) октября 1875 г., что предполагал сделать «Сон» началом ряда параллелей между «культурными людьми» и мужиками. Это намерение Салтыков высказывал в своих письмах неоднократно, в последний раз — 2 марта 1877 г. в письме к П. В. Анненкову: «Помните «Сон в летнюю ночь» — я хотел целый ряд параллелей написать, да и напишу. Нужно до мельчайших подробностей эту путаницу распутать».

---

[1] См.: Е. Покусаев, Революционная сатира Салтыкова-Щедрина, М. 1963, стр. 382.

Мысль о возобновлении работы над продолжением «Сна» осталась неосуществленной. Это объясняется, по-видимому, тем, что изображение «культурных людей», первоначально предполагавшееся как параллель к изображению «мужиков», стало темой самостоятельного произведения «Культурные люди» (см. наст. том, стр. 687). Однако самый прием противопоставления мужиков «людям культуры» нашел свое отражение в ряде произведений Салтыкова 70-х годов, и в первую очередь в рассказе «Дворянская хандра», также включенном в «Сборник».

Внешним поводом для создания рассказа явилось увлечение разного рода юбилейными чествованиями, подробно освещавшееся газетами того времени[1]. Этой теме посвящена и стихотворная сатира Некрасова «Юбиляры и триумфаторы», появившаяся в августовской книжке «Отечественных записок» вместе с рассказом Салтыкова. Однако насмешка над «юбилейной манией» послужила Салтыкову, так же как и Некрасову, лишь предлогом для постановки вопросов более существенных.

В цитированном выше письме к Некрасову от 25 июля (6 августа) 1875 г. Салтыков сообщал: «Не знаю, хорош ли рассказ, боюсь, чтоб не вышел первый блин комом. Меня заинтересовала собственно идея. Пользуясь господствующей ныне манией праздновать всякие юбилеи, я хотел сопоставить обыкновенному юбилею — юбилей русского мужика. Разумеется, во сне. Мне кажется, что рассказ вышел удачен, особливо вторая половина».

Противопоставление русского мужика привилегированным слоям общества заключено в самой композиции рассказа: две его части демонстрируют два противоположных полюса русской действительности.

В первой части сатирическая зарисовка официального торжества по поводу юбилея незначительного чиновника представляет собой острую насмешку над бюрократическим обществом, охотно чествующим несуществующие заслуги. Вторая часть развивает мысль о том, что «право быть чествуемым» в действительности должно принадлежать народу.

Исследователями неоднократно отмечалось, что «Сон в летнюю ночь» знаменует новый значительный этап разработки темы народной жизни в творчестве Салтыкова[2].

В «Губернских очерках» (1856—1857) писатель проявил интерес преимущественно к традиционной психологии народной массы. В «Истории одного города» (1870) выражено прежде всего критическое отношение автора к политической пассивности крестьянства. Что же касается «Сна в летнюю ночь», то здесь с наибольшей яркостью воплощено требование

---

[1] См., например, «Биржевые ведомости», 1875, № 273 от 29 августа.

[2] Проблематика и художественные особенности рассказа «Сон в летнюю ночь» подробно проанализированы в работах: Я. Эльсберг, Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество, М. 1953, стр. 353—366; А. С. Бушмин, Сатира Салтыкова-Щедрина, М. 1959, стр. 134—155; А. Бушмин, Народ в изображении Салтыкова-Щедрина («Сон в летнюю ночь»).— В кн.: О русском реализме XIX в. и вопросах народности литературы. Сб. статей, М.— Л. 1960, стр. 274—311.

писателя воспроизводить «безвестную жизнь масс», спускаться в «таинственные», неизвестные народные глубины, открывать в образе «простолюдина» черты человека.

Изучение основ народной жизни Салтыков связывал с необходимостью подъема уровня народного самосознания, воспитания в крестьянине «чувства самоуважения». Эта позиция определила его симпатии к народническому движению, принявшему массовый характер в середине 70-х годов, в пору создания «Сна в летнюю ночь».

Не разделяя основных доктрин народничества, Салтыков сочувственно отнесся к идее массовой пропаганды в деревне, видя в ней «внесение луча света в омертвелые массы, подъем народного духа», как он писал впоследствии в «Пестрых письмах».

Первое свидетельство этого — появление в «Сне в летнюю ночь» типа положительного героя из среды демократической разночинной интеллигенции в лице сельского учителя Крамольникова. Это типичная фигура самоотверженного общественного деятеля 70-х годов, работающего непосредственно среди народа. Он один из тех, о ком В. И. Ленин говорил: «...разночинцы — главным образом, учащаяся молодежь, учителя и другие представители интеллигенции — старались просветить и разбудить спящие крестьянские массы» [1]. Трагические судьбы этих людей Салтыков имел в виду, когда в письме к П. В. Анненкову от 30 октября (11 ноября) 1875 г. резко отзывался о политике преследования народников со стороны правительства, начавшего к тому времени массовые репрессии против них. О таком именно финале деятельности Крамольникова свидетельствует упоминание в конце рассказа о расправе с «бунтовщиками». Фигура Крамольникова, невозмутимо встретившего «усмирителей», приобретает истинно драматический характер и заставляет представить его дальнейшую судьбу подобной судьбе непочтительного Короната из «Благонамеренных речей», который в результате своей деятельности «вынырнул <...> в том месте, где Макар телят не гонял».

Иронический тон, которым порой окрашено описание деятельности Крамольникова, некоторые черты «благонамеренности», приданные ему (например, его убеждение в том, что слова «потихоньку да полегоньку» должны быть написаны «на знамени истинно разумного русского прогресса»), продиктованы прежде всего цензурными соображениями.

Искренний и страстный защитник интересов мужика, Крамольников противопоставлен мнимым друзьям народа, поведение которых олицетворяет священник Воссияющий, и наглым врагам его, представителям официального хамства в лице шпиона и доносчика волостного писаря Дудочкина, который считает, что народ — это «стадо свиней», «не чествовать, а пороть его следует».

Речь Крамольникова на юбилейном чествовании крестьянина — кульминационный момент рассказа и заключает в себе, по указанию самого

---

[1] В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 24, стр. 333.

автора, главную мысль его, соответствующую взглядам на крестьянство и самого Салтыкова.

Крестьянская масса, которая представляется «людям культуры» только «бесконечным муравейником», для Салтыкова — обширный мир явлений, имеющих «свои характеристические особенности, свои требования, свои идеалы». Духовное оскудение «людей культуры» Салтыков прямо связывает с отказом от наблюдений этого мира, изобилующего «отличнейшими подвигами» и «благородными биографиями», подобными жизни старика Ипполита Моисеевича Голопятова. Вместе с тем в соответствии с требованиями революционно-демократической эстетики и собственными убеждениями, что «народ» — настолько сильная личность, что может вынести всякую правду (письмо к И. И. Ясинскому от 15 декабря 1882 г.), Салтыков, изображая крестьян, трезво оценивает неприглядные стороны народного характера, воспитанные веками нужды и бесправия. В сцене деревенской сходки он демонстрирует крестьянскую темноту, политическую пассивность, стремление уклониться от ответственности. В речи Крамольникова к крестьянам обращены горькие упреки, вызванные их взаимной враждой и ожесточением, забитостью их жен и матерей.

Необходимо при этом учитывать прямое указание Салтыкова в его письме к А. Н. Плещееву от 2 (14) октября 1875 г.: то, что в обрисовке крестьян «кажется отрицательным, есть не что иное, как уступка цензурным требованиям». Действительно, из текста рассказа видно, что пассивность и дух повиновения не так уж свойственны крестьянам, как это может показаться на первый взгляд: на сходке они признаются, что «в старину», то есть до реформы, «были бунтовщиками», да и теперь брань и угрозы не столько пугают их, сколько вызывают противодействие (само предложение праздновать юбилей было принято под влиянием «горькой обиды», нанесенной шпионом Дудочкиным).

Салтыков подробно рисует процесс расслоения крестьянства после реформы: антагонизм между беднотой и растущей деревенской буржуазией, процесс «раскрестьяниванья» и уход в город на заработки, надзор со стороны церкви, усиление шпионажа, вызванное хождением в народ,— все темные стороны пореформенной действительности, сочетающиеся с еще не изжитыми остатками крепостничества.

В финале рассказа, используя систему эзоповского языка, сатирик провел через цензурные препятствия мысль о полной недоступности для русского крестьянина каких бы то ни было жизненных радостей.

Драматизм изображения судеб народа в контрастном противопоставлении миру эксплуататоров сближает «Сон в летнюю ночь» с такими позднейшими произведениями Салтыкова, как сказки и «Пошехонская старина».

Еще до появления рецензий в печати автор начал получать положительные отзывы литераторов, в частности А. Н. Плещеева и А. М. Унковского, мнение которого высоко ценил. Об этом он сообщал Некрасову 28 августа (9 сентября) 1875 г.: «Сейчас получил письмо от Унковского <...> Но что меня всего более обрадовало — это то, что «Сон в летнюю

ночь» понравился ему и даже, как он пишет, произвел потрясающее впечатление. Признаюсь, я не избалован такими отзывами, хотя, сочиняя «Сон в летнюю ночь», я втайне рассчитывал на впечатление этого рода. Я вообще задумал несколько параллелей в этом роде и к декабрьской книжке пришлю одну из них».

Есть сведения о восприятии читающей публикой Крамольникова как первого воплощения в литературе образа революционера. Один из читателей «Отечественных записок» писал Н. К. Михайловскому: «... Люди, сочувствующие нашим красным, не могли вывести типов их в литературе. Только и можно Щедрину было изобразить своего учителя Крамольникова в «Сне»[1].

Вскоре появились многочисленные положительные отзывы в газетах[2]. Однако идея рассказа не всеми критиками была понята правильно. Салтыков писал Некрасову по этому поводу 4 (16) сентября 1875 г.: «Между прочим, прочитал «критики» Буренина и Скабичевского по поводу моего «Сна». Буренин — подлец, Скабичевский — глупец. И знаете, подлец мне все-таки показался лучше глупца <...> Он очень серьезно думает, что я против страсти к юбилеям протестую — каков дурачина! Вторая половина статьи так и осталась для него загадкой. Вот Буренин тоже начинает с того же предположения, но он делает это как подлец, и потом все-таки признает, что главная суть статьи — вторая половина ее».

Салтыков имеет здесь в виду статью А. М. Скабичевского в «Биржевых ведомостях» от 29 августа 1875 г., № 237, «Мысли по поводу текущей литературы», за подписью «Заурядный читатель». Отзыв В. П. Буренина о «Сне в летнюю ночь» не известен. По всей вероятности, в письме Салтыкова имеется в виду отзыв, напечатанный в «Литературной летописи» «С.-Петербургских ведомостей», за подписью В. М., принадлежащий перу фельетониста В. В. Маркова. Возмущение писателя было вызвано, по-видимому, тем, что, дав положительную оценку сатирическому изображению юбилея в первой части рассказа, автор рецензии резко отрицательно отозвался о второй части, особенно о речи учителя, хотя и признал, что она является кульминационным моментом рассказа и «содержит в себе совершенно серьезное, даже трагическое изображение трудовой жизни крестьянина»[3].

---

[1] Цит. по кн: Е. Покусаев, Революционная сатира Салтыкова-Щедрина, М. 1963, стр. 269.

[2] -кий, Журнальное обозрение.— «Новороссийский телеграф», 1875, № 200, 13 сентября; Петербургские письма.— «Иллюстрированная неделя», 1875, № 351, 7 сентября; Экс <А. П. Чебышев-Дмитриев>, Письма о текущей литературе.— «Новое время», 1875, № 241, 20 сентября; Русская литература.— «Сын отечества», 1875, № 209, 11 сентября.

[3] «СПб. ведомости», 1875, № 229, 29 августа. Псевдоним раскрыт Л. М. Добровольским в кн.: Библиография литературы о М. Е. Салтыкове-Щедрине, М.— Л. 1961, стр. 51, № 398.

Начало рассказа ввело в заблуждение даже И. С. Тургенева и А. Н. Плещеева, также не увидевших в нем ничего более как осмеяние юбилеев. По этому поводу Салтыков писал П. В. Анненкову 12 (24) сентября 1875 г.: «Тургенев до крови обидел меня, сказавши, что это рассказ забавный: едва ли он дочитал его. Из Петербурга тоже пишут: прекрасная мысль — представить в смешном виде юбилей. Право, у меня не было намерения ни забавным быть, ни юбилеи изобличать. А если мои вещи иногда страдают раздвоенностью, то причина этого очень ясная: я Езоп и воспитанник цензурного ведомства».

А. Н. Плещееву 2 (14) октября 1875 г.: «Очень Вам благодарен за сочувственный отзыв об «Сне в летнюю ночь». Только мне кажется, что Вы не совсем правильно тут видите протест против юбилеев. Вся эта статья задумана ради 2-й ее части, т. е. речи учителя...»

В 1885 г. Л. Н. Толстой обратился к Салтыкову с предложением принять участие в работе издательства «Посредник». Это предложение, по свидетельству В. Г. Черткова, одного из организаторов издательства, «произвело на него сильное впечатление» [1]. Салтыков намеревался, кроме новых произведений, отдать в «Посредник» «Сон в летнюю ночь», считая этот рассказ наиболее подходящим для издательства, предназначенного, по словам Толстого, для нового круга читателей, огромного, «которого надо считать сотнями тысяч, чуть не миллионами» [2]. Салтыков писал В. Г. Черткову 5 декабря 1885 г.: «Я мог бы указать Вам на одну мою вещь, которая, как мне кажется, как раз подойдет к Вашему предприятию. Это — «Сон в летнюю ночь», напечатанный в «Отеч. зап.» 1875 г. и потом перепечатанный в особом издании «Сборника». Содержание этой вещи отчасти бюрократическое, отчасти крестьянское».

Рассказ, однако, не был принят, очевидно, именно из-за его острой социальной направленности, которая противоречила программе «Посредника», предусматривавшей, как сообщал Салтыкову Толстой, «исключение некоторых направлений» [3].

Стр. 335. *...департамента «Всеобщих Умопомрачений»... департамента «Препон».*— См. прим. к стр. 34 и 107.

Стр. 337. *...вот уж два дня, как наш прекрасный Конотоп горит.*— «Отечественные записки» в статье «Десятилетие русского земства» сообщали об эпидемии пожаров, ежегодно истреблявшей $^1/_{24}$ часть деревянной России: «В 24 года выгорела вся Россия» (*ОЗ,* 1875, № 4, стр. 298—313). Об этом же сообщали и газеты: «Телеграммы и корреспонденции в каждом нумере газет и поднесь только и наполнены, что известиями о громад-

---

[1] «Записки отдела рукописей Всесоюзной библиотеки имени В. И. Ленина», вып. 6, М. 1940, стр. 71.

[2] Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 63, М.— Л, 1934, стр. 307.

[3] Там же, стр. 308.

ных пожарах, свирепствующих по городам и весям матушки-России» («Биржевые ведомости», 1875, 29 августа, № 273).

Стр. 338. *...к хвостам коих великая княгиня Ольга... привязала зажженный трут...*— Имеется в виду летописное предание о мести киевской княгини Ольги древлянам за убийство ее мужа, князя Игоря.

...вспомните тропарь, который 11 июля поют...— Тропарь — церковное песнопение, панегирик какому-либо святому. 11 июля ст. ст. пелся тропарь в честь великой княгини Ольги, канонизированной православной церковью.

...подписал Ведров...— Салтыков намекает на многочисленные труды историка официального направления М. П. Погодина. Фамилия Ведров напоминает известный памфлет Герцена, направленный против Погодина: «Путевые заметки г. Ведрина» (1844).

Стр. 344. *...не слыхав ни стихов Майкова, ни прозы Погодина.*— По-видимому, имеются в виду стихи А. Н. Майкова, посвященные членам царствующей фамилии, а также исторические труды М. П. Погодина, содержащие в себе апологию самодержавия.

Вам показывают разные запустелые шлоссы...— то есть замки (от *нем.* Schloβ).

Стр. 345. *Рабочее тягло* — при крепостном праве единица обложения барщинной повинностью или оброком; состояла обычно из двух взрослых работников — мужа и жены.

Становой пристав — полицейский чиновник, ведающий станом, одним из участков уезда.

Стр. 351. *Крапивное семя* — ироническое прозвище мелких чиновников.

Стр. 353. *Табельные дни* — праздники.

Стр. 355. *Помочь* — совместная работа нескольких крестьянских семейств на чьем-либо поле во время страды. В трактовке Салтыкова помочь выступает как средство закабаления беднейшего крестьянства деревенским кулаком.

Стр. 356. *Сотский* — полицейский надзиратель, выборный из крестьян.

Стр. 361. *Приказные* — мелкие канцелярские чиновники.

Стр. 363. *Вы, вероятно, слыхали от священника вашего о лепте вдовицы.*— По евангельскому преданию, при взносах в сокровищницу иерусалимского храма Христос противопоставил щедрым дарам богачей, жертвовавших от избытка, приношение бедной вдовы, внесшей все свое достояние — две лепты, мелкие монеты (Марк, XII, 42; Лука, XXI, 1—4).

Стр. 363—364. *Древле Авраам, по слову господню, готовился принести в жертву сына своего Исаака.*— Имеется в виду библейская легенда о жертвоприношении Авраама (кн. Бытия, XXII, 1—19).

Стр. 364. *Да будет забвенна рука моя, аще забуду тебя, Иерусалиме* — неточная цитата из псалма 136, ст. 5 («Псалтырь»).

Мясоед — промежуток времени между предписанными церковью постами, когда разрешается употребление мясной пищи.

Стр. 365. *...ни при первом крике петела, ни при третьем.*— То есть всю ночь, от первого пения петуха в полночь, до третьего, на заре.

...кто-то крикнул: едут! едут! — Сновидение «в летнюю ночь» заканчивается картиной наезда полицейских властей и их расправы с защитником крестьян Крамольниковым.

ДЕТИ МОСКВЫ

(Стр. 370)

Впервые — *ОЗ,* 1877, № 1 (вып. в свет 23 января), стр. 181—212.

Рукописи и корректуры неизвестны.

В *изд. 1878* Салтыков внес в текст очерка некоторые исправления, главным образом стилистического характера.

Была исключена следующая концовка очерка.

Поэтому, извиняясь перед читателем за настоящее, чересчур длинное предисловие, приступаю к рассказу о подвигах «червонных валетов» (само собой разумеется, что мои «червонные валеты» будут не вполне те, которым суждено в недалеком будущем фигурировать на скамье подсудимых в московском окружном суде), с обязательством впредь не входить в отыскивание причины, тем больше, что, по уверению Глумова, тут и причин никаких нет, а просто есть препровождение времени.

Судя по этой концовке, рассказ был задуман как вступление к целому циклу, в котором Салтыков намеревался раскрыть сущность явления, воплощенного в понятии «червонные валеты», и продолжить разработку основной темы очерка — темы экономического вырождения и духовного краха российского дворянства в пореформенную эпоху.

Зарождение тематики «Детей Москвы» восходит к более раннему периоду творчества Салтыкова. Некоторые сатирические ситуации рассказа впервые намечены в январско-февральской хронике «Наша общественная жизнь» (1863) и особенно в незавершенном цикле «Московские письма» (1863), напечатанном в журнале «Современник», где он предполагал «писать <...> о московской науке, о московской народности, о московской праздности, о московском обжорстве...» (см. т. 5 наст. изд., стр. 159).

В течение последующих десяти лет Салтыков неоднократно возвращался к обличению той идеологии, которая после реакционного перелома в общественном движении 1862—1863 гг. надолго превратила Москву из центра передовой русской мысли, каким она была в 30-х годах, в «главный оплот реакционного патриотизма» [1].

Одним из аспектов полемики сатирика с московскими идеологами был вопрос о роли и значении дворянства в политической и в экономической жизни страны.

---

[1] А. И. Герцен, Собр. соч. в 30-ти томах, т. XVIII, Изд-во АН СССР, М. 1959, стр. 206—210.

Взгляд на дворянство как на главенствующее сословие в государстве, представляющее «важнейшие интересы целой страны», активно пропагандировавшийся «государственной» или «юридической» школой историков во главе с Б. Чичериным и публицистами катковского лагеря, Салтыков подверг резкой критике еще в публицистических хрониках 1863—1864 гг. и в «Истории одного города» [1].

Салтыков неоднократно выступал против этой концепции, в противоположность ей выдвигая мысль о том, что «сословные несовершенства» дворянства в процессе исторического развития «отверждались и усложнялись, задатки же силы действительной отступали все больше и больше на задний план» (см. т. 9 наст. изд., стр. 381).

Однако исторические концепции интересовали Салтыкова лишь в той мере, в какой они помогали прояснить современные проблемы общественной жизни. Поэтому, подвергнув осмеянию апологию исторических привилегий «питомцев славы», наследников «исторических преданий» России, главный удар сатирик направляет в «Детях Москвы» против консервативной московской публицистики, возлагавшей особые надежды на главенствующую роль высшего сословия в государственном управлении пореформенной России. Салтыков решительно отвергает взгляд на дворянство как на силу, способную вывести страну из путаницы пореформенных противоречий, и утверждает, что «дети Москвы», то есть представители той части дворянства, которая, опираясь на «исторические предания», считала себя оплотом отечества, на деле продемонстрировали свою полную неспособность противостоять натиску укрепляющихся буржуазных отношений, основой которых выступает безудержное «всесословное хищничество».

Параллельно с дальнейшей разработкой типов хищников буржуазной формации («Господа ташкентцы», «Дневник провинциала в Петербурге», «Благонамеренные речи», «Убежище Монрепо») Салтыков в «Детях Москвы» возвращается к изображению хищников «дворянского родопроисхождения», чтобы продемонстрировать их вырождение в прямых мошенников, вполне освободившихся от всяких моральных норм,— «червонных валетов».

Это название подсказано сатирику нашумевшим уголовным процессом клуба «червонных валетов», который слушался в московском окружном суде в феврале — марте 1877 г. [2]. Следствие показало, что «червонные валеты» совершили более пятидесяти уголовных преступлений. В обвинительном акте зафиксировано громадное количество мошеннических деяний: составление подложных векселей, получение залогов за наем служащих на несуществующие должности и т. п. Среди обвиняемых преобладали прокутившиеся молодые люди из дворян: разорившийся помещик И. М. Давы-

---

[1] См. об этом в кн.: Е. Покусаев, Революционная сатира Салтыкова-Щедрина, М. 1963, стр. 25—36.

[2] Материалы следствия подробно освещены в «Судебной хронике» за подписью XYZ в газете «Судебный вестник», сентябрь — ноябрь 1876 г.

довский, воспитанник Лазаревского института восточных языков дворянин Л. А. Протопопов, исправлявший должность уездного предводителя дворянства Н. И. Дмитриев-Мамонов, отставной поручик К. Е. Голумбиевский, князь Долгоруков и др. «Большинство обвиняемых обладает изящными манерами, имеет нафабренные усы, английские проборы посредине, прекрасно накрахмаленные воротнички, говорят очень литературно»,— сообщал о них хроникер «Новостей» и затем добавлял, что «на всех деяниях лежит оттенок легкомыслия и отсутствия единства в действиях» [1].

Процесс продемонстрировал полное ничтожество и моральное разложение выходцев из высшего сословия российской империи и дал повод сатирику для постановки вопроса о деградации всего дворянского сословия как закономерном следствии его паразитического существования.

Несколько позднее, в «Убежище Монрепо», рисуя «сладкое умирание» дворян-помещиков средней руки в своих разоренных поместьях, Салтыков назовет их «руинами, готовыми ежеминутно превратиться в «червонных валетов».

Рассказ вызвал разноречивые отзывы прессы. Некоторые критики упрекали автора в художественной незавершенности произведения. Это мнение наиболее резко выразил С. А. Венгеров, назвавший рассказ «небольшим и, с точки зрения художественной, мало удавшимся отрывком» [2]. Отрицательно отозвался о нем и И. С. Тургенев: «Прочел я «Детей Москвы» Салтыкова; признаюсь, ничего особенного в них не открыл. Довольно дешевое и довольно тяжелое, часто даже неясное глумление» [3].

Однако многие критики оценили рассказ положительно, отмечая блестящий анализ вырождения «питомцев славы», «детей Москвы, хранительницы исторических преданий Руси» и «того положения, в которое поставлено наше общество всеми мастерами легкой наживы, от финансистов до «червонных валетов». Рецензент «Кронштадтского вестника» писал также: «Имя «червонного валета» надолго сделается у нас определением нарицательным, конечно, в смысле гораздо более широком, чем тот, который мог быть ему придан процессом прокутившейся московской шайки» [4].

Стр. 370. *В каком ты блеске ныне зрима...*— отрывок из стихотворения И. И. Дмитриева «Освобождение Москвы» (1795).

Здесь я получил первые впечатления бытия...— Салтыков вспоминает детство и годы своего учения в Московском дворянском институте (1836—1838). В «Недоконченных беседах» он писал: «Публичное воспита-

---

[1] «Новости», 1877, № 40, 11 февраля.

[2] «Русский мир», 1877, № 41, 13—25 февраля («Литературное обозрение», подпись W).

[3] И. С. Тургенев, Полн. собр. соч. и писем. Письма, т. XII, кн. 1, стр. 91.

[4] «Кронштадтский вестник», 1877, № 58, 4 (16) мая.

ние я начал в Москве, в специальном дворянском заведении, задача которого состояла преимущественно в подготовке «питомцев славы».

...начальные основания русской грамматики по Востокову.— В XIX в. большой популярностью пользовались учебники академика А. Х. Востокова «Сокращенная русская грамматика», СПб. 1831, и «Русская грамматика, по начертанию сокращенной грамматики полнее изложенная», СПб. 1831.

Это слово, изданное Карамзиным в двенадцати томах...— Имеется в виду двенадцатитомная «История государства российского», в которой Н. М. Карамзин выступил защитником идеи самодержавия. Здесь и ниже Салтыков иронизирует над официозной историографией, превратившейся, по его словам, в прославление «княжений», историческая роль которых оценивается с точки зрения «военной славы», то есть политики завоеваний, и противопоставляет истинные идеи патриотизма ложной «славе», добытой путем захватов.

...вроде коллежского регистратора и отставного корнета...— Коллежский регистратор — чиновник 14-го класса, низший гражданский чин в России. Корнет — младший офицерский чин в кавалерии.

Стр. 371. *...имел свидание с Иоанном Цимисхием.*— Намек на поражение князя Святослава Игоревича в битве с войсками византийского императора Иоанна I Цимисхия при Доростоле в 971 г. (ср. в «Письмах о провинции» — т. 7 наст. изд., стр. 325).

...вольную продажу вина...— то есть акцизную систему взамен откупной, отмененной согласно положению от 4 июля 1861 г. (см. об этом т. 3, стр. 780 и т. 7, стр. 190 наст. изд.).

...царя Иоанна III — за оказанную им распорядительность относительно Новгорода.— Салтыков имеет в виду конец Новгородской вечевой республики и подчинение Новгорода Москве в 1471—1478 гг. при Иване III.

...царя Иоанна IV — за то, что он покорил Казань и принял под свою державу богатую Сибирь.— Речь идет о взятии Казани Иваном Грозным в 1550 г. и покорении Сибири Ермаком в 1583 г.

...«Богатая Сибирь, наклонившись над столами...» — цитата из произведения Г. Р. Державина «Описание торжества в доме князя Потемкина по случаю взятия Измаила».

Киев... омрачил себя, подпав под иго иноверца...— Имеется в виду татаро-монгольское иго.

Москва! как много в этом слове // Для сердца русского слилось! — неточная цитата из седьмой главы «Евгения Онегина».

Стр. 371—372. *...а больше с тайной надеждой на легкое получение чина титулярного советника.*— Привилегированные учебные заведения в царской России давали окончившим их право на получение гражданских и военных чинов. В частности, императорский Царскосельский (позднее — Александровский) лицей, где в 1838—1844 гг. учился Салтыков, давал возможность получения чинов от низшего 14-го (коллежский регистратор) до 9-го (титулярный советник).

...порфироносной вдовы... — то есть Москвы (выражение из «Медного всадника» Пушкина).

Всесвятское — старинное село вблизи Москвы.

...с точки зрения маневров Ходынского поля — то есть с точки зрения милитаристской идеологии самодержавия. Ходынское поле под Москвой было первоначально местом военной лагерной стоянки, затем военным учебным плацем.

Грозные полки идут... — Эти стихи у П. П. Ершова не обнаружены. Возможно, Салтыков цитирует здесь строки из солдатской походной песни.

...все это не мешало мне в то же время и «заблуждаться»... — Салтыков иронически использует фразеологию реакционного лагеря, называя «заблуждениями» освободительные идеалы 40-х годов.

Стр. 373. *...когда под стенами Севастополя совершилась искупительная жертва...* — Имеется в виду поражение русских войск под Севастополем и заключение невыгодного для России мира в Крымской войне 1854—1856 гг.

...витязей, которые, менее полувека тому назад, побывали в Париже... — Речь идет о взятии Парижа русскими войсками в 1814 г.

...ведь это лишь новый вариант на тему «разумейте языцы»... — Салтыков цитирует манифест Николая I от 14 марта 1848 г. по поводу революционных событий в Берлине, Вене и Париже. Здесь и ниже он намекает на то, что либерально-дворянские круги ожидаемые реформы воспринимали националистически, как еще один «луч... к солнцу славы» России.

Сперва — воля крестьянам, потом — воля вину, затем — начатки самоуправления <...> и, наконец, открытые настежь двери в суды... — Салтыков перечисляет основные реформы, на которые возлагали надежды либералы: крестьянскую реформу, отмену откупной системы, введение земских учреждений, установление суда присяжных (см. об этом в т. 7 наст. изд., стр. 599).

Стр. 374. *...я... начал изображать «славу» в несколько смешном виде.* — Намек на то, что либеральные идеологи дворянства, зная истинную цену официальным «святыням», втихомолку глумятся над ними (ср. упоминание о «древних авгурах» в гл. 1 «Дневника провинциала в Петербурге» — т. 10 наст. изд., стр. 272).

...кабатчика Антошки Стрелова с лабазником Осипом Ивановым Деруновым. — Персонажи цикла «Благонамеренные речи» (см. т. 11 наст. изд.).

...како на обухе рожь молотить! — Выражение восходит к поговорке: «На обухе рожь молотить, зерна не обронить», обозначающей крайнюю степень ловкости.

Стр. 375. *Дальнейшим испытанием моих представлений о «славе» явились выкупные свидетельства.* — Выкупные свидетельства — процентные бумаги, выпущенные в ходе крестьянской реформы 1861 г. в качестве платежных документов за отходившую к крестьянам землю. Образ помещика, проедающего свои выкупные свидетельства, часто появляется

на страницах произведений Салтыкова (см. «Благонамеренные речи», «Дневник провинциала в Петербурге», «Убежище Монрепо»).

Подоплёка — см. прим. к стр. 146.

Кадетские корпуса — средние военные учебные заведения для детей дворян и офицеров.

...с нами бог! никто же на ны! — Призывом «С нами бог!» завершался Манифест Николая I от 14 марта 1848 г., изданный в связи с началом революции 1848 года в Европе. Выражение восходит к Библии, а также к христианской молитве: «Аз есмь с вами и никто же на ны».

...с бубновым тузом на спине... — см. стр. 671.

Эти первые эмансипационные рюмки... — Ирония над торжественными обедами по случаю отмены крепостного права.

Ни взятие Хотина, ни сражение под Синопом не производили таких восторгов. — Ироническое сопоставление с патриотическим подъемом после взятия турецкой крепости Хотин в 1739 г., воспетого Ломоносовым в оде «На взятие Хотина», и победы русского флота над турецким ири Синопе во время Крымской кампании (1853).

...слепые прозрели, чающие движения воды взяли под мышку одр... — Восходит к евангельскому преданию об исцелении Христом слепого и расслабленного (Лука, V, 14; Иоанн, V, 3—12, IX, 1—7). «Возьми одр свой и иди» — слова, сказанные Иисусом Христом при исцелении расслабленного. Чающие движения воды — ожидающие исцеления, перемен к лучшему.

Стр. 376. *От «хладных финских скал до пламенной Колхиды»...* — см. стр. 682.

Стр. 377. *Вор есть член особенной касты, имеющей резиденцией: в Петербурге — в доме Вяземского, в Москве — в доме Шипова.* — Речь идет о дешевых ночлежных домах.

Стр. 380. *Даже новое слово «хищник» придумали...* — Хищник — сатирическое наименование нового буржуазного типа эксплуататора в пореформенной России (см. «Признаки времени», «Дневник провинциала в Петербурге», «Благонамеренные речи», «В среде умеренности и аккуратности», «Пестрые письма»).

...упраздненные иомудские и каракалпакские принцы (их развелось так много благодаря успехам русского оружия)... — Речь идет о правителях занятых Россией среднеазиатских земель, которым были сохранены их громкие титулы. В «Помпадурах и помпадуршах» Салтыков называет «иомудским принцем» также персидского шаха Наср-Эддина, путешествовавшего по России в 1873 г. (см. т. 8 наст. изд., стр. 471, 528).

Стр. 383. *...испросить себе «ангела верна»...* — Выражение из православной молитвы: «Ангела мирна, верна наставника, хранителя душ и телес наших у господа просим».

...рождены для вдохновений <...> в мир «сладких звуков и молитв» — перифраз из стихотворения Пушкина «Поэт и толпа».

Стр. 384. *Член торговой полиции* — полицейский чин, следивший за

выполнением требований гигиены и точностью мер и весов в торговых заведениях.

Стр. 385. *...весть о крушениях московского банка...*— В 1877 г. состоялся процесс о крупных злоупотреблениях директоров московского коммерческого ссудного банка, в котором были замешаны многие высокопоставленные лица. Директора банка Ландау и Полянский, а также петербургский первой гильдии купец Струсберг были приговорены к лишению прав и ссылке в Томскую и Олонецкую губернии (этот процесс упомянут в «Отголосках» — «На досуге»).

...Баймакова, Лури...— петербургские банкирские конторы «Баймаков и К⁰» и Лури, объявившие себя несостоятельными в декабре 1876 г. По этому поводу «Недельная хроника» газеты «Судебный вестник» от 22 декабря 1876 г., № 280, сообщала, что контора Ф. П. Баймакова незаконно продала государственному банку 3000 билетов внутреннего займа, заложенных в конторе разными лицами, и что сообщение о крушении конторы произвело сильное впечатление на общество, так как «в этой несостоятельности по преимуществу затронуты интересы лиц <...> потерявших не капиталы <...> а сбережения, скопленные часто продолжительным, тяжким трудом, составлявшие все наличные средства целых сотен семейств, оставшихся после этого краха чуть не нищими».

Стр. 386. *...через миг покажется из-за угла медузина голова...*— Голова Медузы Горгоны *(греч. миф.)*, одной из сестер-чудовищ, со змеями вместо волос, взгляд которой обращал людей в камни; здесь символизирует совокупность общественных явлений, лишающих человека уверенности в безопасности своего существования.

Стр. 387. *Синодальные лавки* — подведомственные Синоду, торговали церковными принадлежностями.

...плевелы... плевелы... плевелы...— Евангельская притча повествует о плевелах, выросших на пшеничном поле, которые не следует уничтожать до жатвы, чтобы не повредить пшеницу (Матф., XIII, 25—29).

Кто устоит в неравном бое? — неточная цитата из стихотворения Пушкина «Клеветникам России».

Глумов — см. прим. к стр. 136.

Объявиться — объявить себя несостоятельным должником, банкротом.

Стр. 388. *...ah! ah! que j'aime, que j'aime milimilimilitairrres!* — слова из популярной французской шансонетки.

Тарасовка — долговое отделение петербургской тюрьмы.

Кормовые — оплата содержания заключенного несостоятельного должника, до 1879 г. входила в обязанность кредиторов.

Стр. 390. *...действительных статских кокодесов...*— иронический неологизм Салтыкова, образованный из понятий: «действительный статский советник и «cocodes» *(франц.)* — хлыщ, щеголь, шалопай.

Стр. 391. *Вот ты, конечно, струсберговский процесс читал...*— см. прим. к стр. 385.

...у Ландау денежки есть! — Директор московского банка Ландау обвинялся в том, что получал от купца Струсберга крупные взятки.

Полянский — тот заплакал... — В отчете о процессе московского банка в «Судебной хронике» сообщалось, что «во время показания Цветаева Полянский сидел понуря голову, закрывши лицо руками, и, кажется, плакал» («Судебный вестник», 1876, № 229, 13 октября).

Стр. 392. *Куртажные* (от *франц.* courtage) — комиссионный процент биржевому маклеру.

Постоялое и полежалое — плата за постой и хранение товаров.

Стр. 394. *...под пьяную руку на Козихе...* — Трактиры в Большом Козихинском переулке в Москве пользовались сомнительной репутацией; там же находились публичные дома.

Излюбленные люди — см. прим. к стр. 9.

Стр. 395. *...имеет форму окна в Европу, вырезанного цензурными ножницами.* — Пушкинский образ Петербурга как «окна в Европу» («Медный всадник») пародийно использован Салтыковым для характеристики цензурного гнета также и в рассказе «Похороны»: говоря о цензурных репрессиях 40-х годов, он упоминает, что «в тогдашнее время эти цензурные проказы назывались «окошками в Европу» (см. стр. 409 наст. тома).

Стр. 396. *...смотрит на своего собеседника как на «фофана».* — Фофан — просторечное обозначение недалекого, тупого человека, синоним слов «простак», «глупец». У Салтыкова обозначает бездумного исполнителя чужих предначертаний (ср. «Письма о провинции» в т. 7 наст. изд., стр. 604—605.).

Стр. 397. *Онеры* (от *франц.* honneurs) — почести.

Стр. 398. *Портфель* — в торговом и банковском деле вексельное покрытие должником получаемой в банке ссуды.

Баланс — сводная ведомость финансовых итогов предприятия. Акционерные общества и банки обязаны были периодически публиковать свои балансы.

Стр. 399. *Бритнев и Юханцев* — кассиры Петербургского общества взаимного кредита, крупные растратчики, процесс которых нашумел в 1876—1877 г. (см. «Русский мир», 1877, № 21, стр. 2).

Стр. 398. *...Левушку Коленцова... в Семиозерск не еду...* — См. «День прошел и слава богу».

ПОХОРОНЫ

(Стр. 400)

Впервые — *ОЗ*, 1878, № 9 (вып. в свет 18 октября), стр. 245—247.

Рукописный материал представлен: 1) черновой рукописью первой редакции (главы 1—4 и 5, первая половина, от слов: «Мы молча шли за траурными дрогами...» до слов: «...не мог различать степеней либерализма и безразлично работал то там, то тут»), относящейся, по-видимому, к

июню — июлю 1878 г.[1]; 2) полной наборной рукописью «Отечественных записок», написанной, вероятно, в августе 1878 г.[2].

На полях черновой рукописи имеются следующие наброски, относящиеся к развитию сюжета:

Я помню, как он изумился, когда Корш объявил, что наше время не время широких задач.

Однажды он пришел радостный: не прошло. А какую, братец, я мерзость написал. Спасибо старикам, прихлопнули. И присовокупил: ах, однако ж, как гнусно жить! Но чем больше время шло, тем меньше его кусали блохи.

Горлов и его посвящение.

Бросился ее целовать и потом упал в обморок.

Менандр, Коршунов, пригласил.

Клохчущая курица.

Большинство из этих набросков получили развитие во второй редакции рассказа. Особый интерес представляет первая запись, раскрывающая прототип Менандра Прелестнова.

Ниже приводятся наиболее значительные варианты черновой рукописи:

К стр. 406. Абзац «В то время...». Вместо: «Напротив того <...> уже достаточно трезвым»:

Действие литературы [в большинстве случаев производило только вред] ограничивалось только взрывом хохота и только в редких случаях производило нечто похожее на пробуждение и первый шаг к самопознанию. Но для того, чтоб оценить это последнее действие, нужно было и самому быть пробужденным.

Стр. 407. Абзац «Все существование...». Вместо: «понюхивающего с Булгариным табачок»:

понюхивающего с Булгариным и Шевыревым табачок.

Стр. 407. Абзац «Не надо забывать...». Вместо: «сегодня кажут кукиш в кармане, а завтра раболепствуют»:

Сегодня бы раболепствовал, а завтра казал кукиш в кармане.

Продажа газет распивочно и навынос не допускалась, но зато погоня за лишним пятаком не подавляла мысль. Читатель вообще был немногочисленный, но известный и к которому можно было обращаться с некоторою уверенностью. Чиновник читал «Пчелку» и услаждал свои дни бароном Брамбеусом; люди, начинавшие познавать самих себя, благоговели перед Белинским и его сподвижниками. Это было ужасное и вместе с тем дорогое время.

Стр. 409. Абзац «Как бы то ни было...». Вместо: «Три четверти этого существования <...> туманной петербургской осени»:

---

[1] См.: Л. М. Добровольский и М. И. Малова, Рукописи литературных произведений М. Е. Салтыкова-Щедрина.— В кн.: «Бюллетени Рукописного отдела Пушкинского дома», вып. IX, Л. 1960, стр. 51, № 177.

[2] Там же, № 178.

Три четверти этого существования было наполнено вопросом: пройдет ли? Остальная четверть ответом: нет, не прошло. Но иногда вдруг случается что-то чудесное: прошло. Это были такие же редкие минуты, как редки солнечные теплые дни у туманной осени. Какое зато ликование! Как просветлялось лицо! Какая самоуверенность замечалась в походке этого человека, спешившего поведать всем, кому ведать надлежит: прошло!

О, Крылов! Ты, уснащавший путь писателя терниями, ты же по временам был источником истиннейших и беззаветнейших восторгов. «Прошло!» — сколько сладости в этом слове, которое ныне так неуклонно заменяется целою фразой: Слава богу! цензурный срок кончился и страх ареста миновал! Вот как хорошо, а были и тогда — хорошие минуты, но только нужно было много и сильно страдать, чтобы вполне оценить эту сладость. Разумеется, недостатка в этих страданиях не было.

Стр. 411—412. Абзац «— Так-то так...». Вместо: «...очень признателен начальству <...> поздравить Пимена с успехом»:

...очень признателен начальству, и не могу не быть ему благодарным. И приглашения его делать экскурсии в область живой жизни настолько любезны, что даже я сам намерен воспользоваться ими, в качестве газетного передовика. Да, намерен, потому, во-нервых, что и у меня, как и у других, плоть немощна, а во-вторых, и потому, что хоть я и отвык от жизни, но ведь вопросы-то, о которых идет речь, таковы, что, право, и курица может без труда написать об них целый пуд руководящих статей. Но признаюсь, одно обстоятельство пугает меня.

— Но что же тут может пугать?

— Боюсь я: гаду в литературе нашей много заведется. До сих пор он был сметен к сторонке, а теперь, с этой «практической ареной», по всем стойлам его расшвыряют, так что и не разберешься потом.

Я помню, я в то время не только не согласился с ним, но даже прямо назвал его чудаком. Мне казалось странным, каким образом из протеста в пользу Чацкина и Горвица и из защиты г-жи Толмачевой могут со временем образоваться какие-то «гады». Я думал, что русская литература вступила именно на тот путь, который ей приличествует после стольких лет езоповского лицемерия: на путь самобичевания, анализа и самопознанья. Однако меня радовало уже и то, что Пимен понемногу и сам освобождается от старых пут, которые задерживали развитие его мысли, что он без особых затруднений выполняет обязанности газетного передовика и беседует в своих статьях о «возникшем и постепенно усугубляющемся движении общества» настолько самоуверенно-плавно, что самый взыскательный читатель мог только сказать: чего же еще надо!

Но вместе с тем я должен сказать, что даже с возрождением он не утратил старой привычки трепетать. Вопрос: пройдет или не пройдет? ни на минуту не оставлял его, что было тем более странно, что, по собственному его сознанию, такие передовые статьи, какие он поставлял для своей газеты, любая курица могла писать пудами.

Стр. 413—415. Абзац «Разумеется...». Вместо: «Но тут произошло нечто неслыханное <...> в действительные статские советники»:

Но тут случился с ним казус: когда хозяин представил его m-me Растопыриус и когда последняя заявила, что счастлива познакомиться с таким знаменитым публицистом, то с Пименом вдруг сделалось дурно. Оттого ли это произошло, что он не был приготовлен к встрече с m-me Растопыриус, или оттого, что лесть m-me Растопыриус взбудоражила его затаенное самолюбие,— неизвестно. Но на этом попытка сближения с стат-

скими советниками и кончилась, и фрак уже больше не выходил из шкапа, куда Пимен его повесил по возвращении с раута.

Вообще, несмотря на то, что Пимен довольно ходко принялся писать статейки и по вопросу о том, «необходимы ли для городовых свистки?», и по вопросу о том, что пригоднее, «оставить ли пожарную часть в городах в ведении полиции или же предоставить устройство ее на волю самих городских обществ?» — в поведении его я, по временам, замечал довольно значительную странность. Иногда прочтет, бывало, статью и вдруг схватится за голову:

— Ах! это ужасно! это ужасно!

И убежит, не объяснив, в чем состоит ужасное. И что всего страннее, убежит прямо в типографию, где сейчас же возьмут его статью и примутся набирать.

Но главное, что не сходило с его языка, это гады.

— Гаду много!

Стр. 418. Абзац «— Слушай!..». Вместо: «Куда теперь идти?»:

Куда теперь еще идти? в дом терпимости — больше и дороги никуда нет!

Стр. 419. Абзац «И от кого...». Вместо: «...и даже брезгливости <...> не дают Менандру спать»:

...и даже брезгливости! И что ж! оттуда-то именно, из предполагаемого вместилища старинной литературной брезгливости, и полилась грязь!

Стр. 420. Вместо «Вот кабы ты <...> отлично!»:

Знаешь ли что? пробовал было я повествовать: поступи-ка ты на железную дорогу, сначала, разумеется, помощником кассира, а потом, бог милостив, увидит твое усердие, и настоящим кассиром определят. А вот как на будущий год в Монрепо на лето поедем, так ты нам протекцию окажешь, кондуктору шепнешь, чтоб вагончик попокойнее отвел. Право, так, а!

Фамилия умершего литератора в черновой рукописи — Любомудров.

Наборная рукопись за некоторыми исключениями идентична печатному тексту.

Основная тема рассказа — положение литературы в пореформенном русском обществе — неоднократно затрагивалась Салтыковым (см., например, «Напрасные опасения» — 1868, «Насущные потребности литературы» — 1869, в т. 9 наст. изд.).

В «Похоронах» Салтыков возвращается к мысли о том, что реформы, по существу, не уничтожили условий, в силу которых развитие литературы «стесняет сама жизнь, пропитанная ингредиентами крепостного права». Не ослабился цензурный гнет, вынуждающий демократическую прессу прибегать к «сложному маскарадному обряду», к «нескончаемому езопству» и лишающий писателя нормального общения с читающей публикой.

Наиболее трагическим представляется Салтыкову резкое понижение идейного уровня печати, затронувшее не только либеральную прессу, дошедшую до полного «литературного распутства» и продажи своих прежних идеалов за «полтинник», но даже тех литераторов, которые некогда были верны высоким освободительным идеалам и «не допускали ни компромиссов, ни эклектизма». Вместе с тем он считает, что если либеральные оппортунисты типа Менандра Прелестнова сами повинны в своем идейном падении, то демократическая журналистика в состоянии высоко держать свое знамя, но вынуждена идти на компромиссы с наступающей реакцией под натиском цензурно-административных репрессий.

В образе литератора «средней руки» Пимена Коршунова представлена судьба бедного и честного литературного труженика, который и жил и умер «словно украдкой». Смерть и забвенье — итог его многолетнего литературного подвижничества.

Трагический колорит повествования в значительной мере объясняется условиями, в которых пришлось работать в 70-х годах самому Салтыкову. На глазах умирал Некрасов, преследуемый всеми видами цензурных неистовств. Письма Салтыкова этого времени, переполненные жалобами на свое крайне тяжелое положение в литературе, прямо перекликаются со многими мотивами «Похорон». «Бывали времена хуже, подлее — не бывало»,— пишет он А. Н. Жемчужникову 8 октября 1876 г., имея в виду положение литературы, а 20 января 1877 г. повторяет ту же мысль в письме к А. Н. Энгельгардту: «Находясь между цензурным бешенством, с одной стороны, и бесталанностью — с другой, мы должны испытывать самые мучительные ощущения». Несколько позднее, в автобиографических главах «Круглого года» и в отрывках «Когда страна или общество...», «Говоря по правде, положение русского литератора...», развивающих ту же тему, наконец, в очерке «Имярек» и в сказке-элегии «Приключение с Крамольниковым» Салтыков возвращается к своим размышлениям о положении и задачах современной ему литературы, о судьбе передового русского писателя.

Критика, единодушно отметив силу сатирического изображения в рассказе «Похороны» «незавидного положения русской литературы и ее труженика — писателя», вынужденного прибегать к «кутаныо мысли» до такой степени, что она становится непонятной и читателю [1], не проявила, однако, достаточного понимания идейной глубины произведения.

В. П. Буренин назвал его «юмористической иллюстрацией банального сюжета об исключительном положении русской литературы» [2], рецензент газеты «Новости» В. П. Чуйко утверждал: «...конечно, с г. Щедриным нельзя не согласиться: благодаря «возрождению», «гаду» много развелось, в особенности в таких изданиях, как, например, газета «Чего изволите?»

---

[1] Русская литература.— «Сын отечества», 1878, № 255, 29 сентября.

[2] В. П. Буренин, Литературные очерки.— «Новое время», 1878, № 929.

или «И шило бреет», но выводить из этих примеров общий тип литературного положения — воля ваша, слишком смело» [1].

Сам Салтыков, по воспоминаниям Н. К. Михайловского, очень ценил «Похороны» и значительно позднее отозвался о них как об одном из лучших своих произведений [2].

Стр. 400. *Скучно жить на свете, господа!* — неточно переданная заключительная фраза из «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» Гоголя.

Литературный фонд — Общество вспомоществования нуждающимся литераторам и ученым, основано в Петербурге в 1869 г. Салтыков был деятельным членом Литературного фонда, с 1871 г. — членом комитета, в 1877 г. — товарищем председателя.

Стр. 401. *На Театральной улице, против дома, где помещается цензурное ведомство...* — Петербургский цензурный комитет помещался в доме № 3 по Театральной улице Спасской части (ныне улица Зодчего Росси).

...отслужили литию... — молитву об умершем при выносе из дома.

Предварительная цензура — по цензурному уставу 1865 г., должна была рассматривать издаваемые сочинения в рукописи, в отличие от цензуры карательной, налагавшей административные взыскания на издания, освобожденные от предварительной цензуры.

Митрофаниевское кладбище — петербургское кладбище, расположенное в конце Большой Митрофаньевской дороги, ведущей от Обводного канала.

...напояющая оцтом и желчью... — Оцт *(оцет, церковнослав.)* — уксус. По евангельской легенде, уксус, смешанный с желчью, дали пить Христу перед распятием (Матф., XXVII, 34).

Стр. 402. *...положить душу за други своя...* — евангельское изречение (Иоанн, XV, 13).

Стр. 405. *Домовина* — гроб.

Стр. 407. *...область ангельская резко отличалась от области аггельской.* — По церковной терминологии, аггел — дух зла, противоположный духу добра и света — ангелу.

Стр. 408. *...был беден, как Ир.* — Ир — персонаж «Одиссеи» Гомера, его имя — обозначение крайней нищеты.

Конечно, никто не считал его «разбойником пера»... — Намек на кличку «разбойники печати и мошенники пера», данную газетой «Московские ведомости» либеральным газетчикам. Это наименование Салтыков полемически переадресовывал представителям реакционной прессы (см. «Письма к тетеньке», «Круглый год»).

Когда Мусин-Пушкин был назначен попечителем учебного округа, то многие цензора содрогались... — Граф М. К. Мусин-Пушкин, известный

---

[1] В. Ч. <В. П. Чуйко>, Литературная хроника. — «Новости», 1878, № 255.

[2] Н. К. Михайловский, Памяти Щедрина. — В кн.: «М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников», стр. 320.

своим вспыльчивым и взбалмошным характером, состоял попечителем С.-Петербургского учебного округа с 1845 по 1856 г. В 1852 г. он запретил публикацию статей в похвалу Гоголю по случаю его смерти. За неподчинение этому запрету был отдан под арест, а затем сослан на жительство в орловское имение И. С. Тургенев.

Стр. 409. *«Верую во единого»* — начальные слова православной молитвы («символа веры»).

Подчасок — караульный, назначавшийся на смену часовому в случае необходимости.

Будочник — низший полицейский чин, часовой, наблюдавший за порядком на улицах.

Квартальный надзиратель — полицейский чин, подчиненный частному приставу.

Стр. 410. *...лес проснулся...* — цитата из стихотворения Фета «Я пришел к тебе с приветом...».

...г. Валентин Корш... — Журналист В. Ф. Корш, типичный представитель либерального оппортунизма, неоднократно высмеивался Салтыковым под именем Менандра Прелестнова (см. «Дневник провинциала в Петербурге», «Господа ташкентцы», «За рубежом», «Благонамеренные речи», «Помпадуры и помпадурши»).

Стр. 412. *Могиканы* — здесь: последние представители отживающего течения. Название заимствовано из романа Фенимора Купера «Последний из могикан».

Стр. 417. *...уже мелькает чуть не фаланстер (были же военные поселения!)...* — О фаланстере (форме социалистического общежития в утопическом проекте Фурье) Салтыков писал Е. И. Утину 2 января 1881 г.: «Фурье был великим мыслителем, но от теории его остались только неумирающие общие положения, а прикладная часть оказалась более или менее несостоятельной». В этой «прикладной части», в организации фаланстера, Салтыкову виделись элементы «казарменности», которые позволили ему сатирически сближать идею фаланстера с реакционной практикой военных поселений. См. также т. 8 наст. изд., стр. 524.

Стр. 419. *Поверь, что лавры оппортюниста Гамбетты не дают Менандру спать!* — Салтыков крайне резко отзывался о политике Гамбетты, французского либерально-буржуазного деятеля, проповедовавшего идею «нерасторжимого союза работников с владеющим», то есть эксплуататоров с эксплуатируемым. Сопоставление Менандра с Гамбеттой подчеркивает отрицательное отношение писателя к «оппортунизму» либеральной журналистики.

Стр. 421. *...в самые горькие дни пленения вавилонского.* — Имеется в виду библейское предание о пленении иудеев в Вавилоне.

Стр. 423. *В Аспазии она к нашему Периклу готовится.* — Аспазия — афинская гетера, возлюбленная Перикла (V в. до н. э.), крупнейшего государственного деятеля Древней Греции, покровителя наук и искусств.

«Таинства мадридского двора» — лубочный роман из придворной жизни Г. Борна.

Стр. 424. *Покровительственная система* — направление внешней торговой политики в интересах поощрения отечественной промышленности, при котором дешевые импортируемые товары облагаются таможенной пошлиной в таком размере, чтобы при ввозе в страну они не могли продаваться дешевле товара отечественного производства.

СТАРЧЕСКОЕ ГОРЕ

(Стр. 429)

Впервые — *ОЗ*, 1879, № 5 (вып. в свет 29 мая), стр. 213—256.

Рукописный материал представлен черновой рукописью ранней редакции глав 1 и 2 (начало, от слов: «Про Каширина все говорили» до слов: «...служил самым прочным основанием заведенных им связей») с первоначальным (зачеркнутым) заглавием «Старческий грех» [1].

Черновая рукопись представляет собой более сжатую редакцию, но имеет и некоторые варианты, не вошедшие при переработке в окончательный текст рассказа. Приводим наиболее существенные из них:

Стр. 431. Абзац «В университете...»: Вместо: «ведомство Предвкушения свобод»:

ведомство государственных имуществ.

Вместо: «ведомство Плаваний и Внезапных открытий»:

морское ведомство.

Вместо: «ведомство Дивидендов и раздач»:

цензурное ведомство.

Стр. 438. Вместо: «Выше было сказано, что Каширин был либерал»:

Я сказал выше, что Каширин, как ученик и друг Грановского, был либерал.

Отличия текста рассказа *изд. 1881* от текста «Отечественных записок» за одним исключением незначительны. Это исключение следующее:

Стр. 431. Абзац «Воспитание Филип Филипыч...». Вместо: «подаренный Гарибальди одному из его друзей, а от последнего перешедший к нему» — в «Отечественных записках» было:

подаренный ему Гарибальди.

Как видно из приведенных вариантов, рукопись раскрывает некоторые зашифрованные в окончательном тексте места (указываются, напри-

---

[1] «Бюллетени Рукописного отдела Пушкинского дома», стр. 52, № 179.

мер, настоящие названия либеральных министерств 40-х и 50-х годов, в которых Каширин начал свою карьеру), более резко подчеркивает контраст между либеральным прошлым Каширина (был не только учеником, но и другом Грановского, получил в подарок платок от самого Гарибальди) и его дальнейшей идейной деградацией (по первоначальной редакции — кончил службой в цензурном ведомстве, в окончательной редакции цензурное ведомство заменено ведомством «Дивидендов и раздач», то есть Министерством финансов, которое в конце 60-х годов стало оплотом бюрократического либерализма).

Вследствие замен идейная эволюция Каширина, центрального персонажа рассказа, выступает в окончательном тексте менее резко. В молодости, слушая лекции Грановского и находясь в некоторой близости к литературному кружку Белинского, он приобрел вкус к изящному и утвердился в намерении идти по стезе честности и благородства. На переходе от реформаторского к реакционному курсу даже такой либерализм, к тому же с годами повыветрившийся, стал казаться подозрительным. Отстраненный от службы, Каширин погружается в «мир обманутых надежд и упований», оказывается «в полном и безнадежном отчуждении», превращается в прихлебателя и, наконец, доживает свои дни в провинции всеми забытый.

Таким образом, Салтыков приемами детального психологического анализа показал жалкую судьбу представителей либерального молчалинства, пытающихся устроиться между двух противоположных лагерей.

Рассказ был встречен сочувственно, хотя и не вызвал многочисленных отзывов прессы. Рецензент «Саратовского справочного листка», например, отмечал, что «Старческое горе» написано «в характере цельного, законченного рассказа и обладает, помимо вообще присущих автору достоинств, еще несомненною художественною формою сатиры» [1].

Стр. 431. *Кипсеки* — роскошно изданные книги, альбомы изящных рисунков с текстом или без него.

...для «Отечественных записок» времен Белинского...— В. Г. Белинский сотрудничал в «Отечественных записках» с 1839 по 1846 г.

Стр. 433. *Фалалей* — самодовольный невежда.

Стр. 434. *Формализироваться* (от *франц.* formaliser) — обижаться.

Кюмюлирующую (от *франц.* cumuler) — совмещающую, объединяющую.

Стр. 439. *И вдруг времена созрели.*— Речь идет о моральном кризисе героя, осознавшего невозможность жить по-старому.

...присутствование в комиссиях «не терпит суеты».— Использована

---

[1] Библиографические заметки.— «Саратовский справочный листок», 1879, № 134, 28 июня.

строка из стихотворения А. С. Пушкина «19 октября» — «Служенье муз не терпит суеты».

Дивиденды — часть общей прибыли какого-либо коммерческого предприятия, получаемая пайщиками в зависимости от вложенного капитала.

Стр. 441. *Колтовские* — Малая, Большая и Средняя Колтовские улицы на Петербургской стороне близ Малой Невки (ныне Пионерская и Средняя Колтовская), населенные в то время преимущественно мелким чиновничеством. См. стр. 641.

Амфитрион — гостеприимный, хлебосольный хозяин.

Стр. 446. *Тайный советник* — чин 3-го класса, один из высших гражданских чинов в царской России, классом выше чина действительного статского советника.

Стр. 447. *Доход неокладной* — то есть не облагаемый налогами.

Стр. 448. *...о мерах, предлагаемых в... «записке» земского деятеля Пафнутьева...* — Пафнутьев — собирательный образ представителя дворянской оппозиции, выведенный в очерке «Завещание моим детям» (1866, см. т. 7 наст. изд., стр. 7), а позднее в «Письмах к тетеньке».

Стр. 451. *Пощечиться* — поживиться.

Клапштосы, карамболь — термины бильярдной игры.

Стр. 456. *...тирадами из барковских трагедий.* — Ироническая характеристика творчества И. С. Баркова, прославившегося порнографическими стишками.

Стр. 464. *Шмандткухен* (от *нем.* Smandtkuchen) — сливочное пирожное.

Медок — красное вино, бордо.

ДВОРЯНСКАЯ ХАНДРА

(Стр. 470)

Впервые — *ОЗ*, 1878, № 1 (вып. в свет 25 января), стр. 285—308.

Рукописи не сохранились.

История создания очерка неизвестна. Упоминание в тексте обстоятельств похорон Н. А. Некрасова (см. стр. 476—477) позволяет отнести время создания очерка к январю 1878 г.[1]

Текст журнальной публикации содержит цензурную купюру, от слов: «Ничего не знать, ничего не мочь...» до слов: «...выдвигается... гроб» (стр. 480—485). В официальных бумагах цензурного ведомства этот инцидент не отражен. Салтыков рассказывал о нем А. А. Краевскому в письме от 20 января 1878 г.: «Я было заходил сегодня к Григорьеву <...> но не застал его и от безделья зашел в Цензурный комитет. Слыша великое гудение в комнате присутствия, я вызвал Ратынского, который выбежал в больших

[1] См. комментарий И. Векслера в *изд. 1933—1941*, стр. 583.

попыхах, сказал только: дураки читают вашу статью,— и убежал. Должно быть, там что-нибудь нездорово».

Позднее, 28 марта 1827 г., Салтыков сообщал А. М. Жемчужникову, что цензура «из статьи, помещенной в январской книжке, выдрала 9 страниц, то есть всю внутренность».

В журнальном тексте цензурный пропуск обозначен тремя строками точек. Рецензент газеты «Обзор» писал об этом: «Пересматривая нумерацию страниц, мы заметили, что в статье г. Щедрина не хватает, по крайней мере, страниц пять, замененных летучими цифрами» [1].

Купюра устранена в *изд. 1881,* что подтверждается сравнением текста с копией изъятых страниц в альбоме М. И. Семевского «Знакомые» [2].

Не пропущенная цензурой «внутренность» рассказа — это главка, в которой автор обобщил свои наблюдения над эволюцией общественных настроений либерально-дворянской интеллигенции «за последние двадцать лет».

Салтыков рассматривает эти два десятилетия как путь от «всеобщих сований» в годы демократического подъема 50-х годов и «восторгов» по поводу «обновления» в период реформ до возвращения к крепостнической «практике заплечной философии», пресекающей насилием всякую попытку протеста против господствующего режима.

Возрождению принципов «заплечной философии» способствовал своим либеральным оппортунизмом («повадливостью»), а подчас и прямым политическим предательством «современный дворянский человек», который, осознав всю неприглядность прежних основ жизни, только внешне отказался от крепостнического миросозерцания, на деле же продолжает держаться за него.

Среди либералов разных оттенков, выведенных Салтыковым в ряде произведений 70-х годов, герой «Дворянской хандры» ближе всего к типу Провинциала из «Дневника провинциала в Петербурге» (1872) и рассказчику из «Убежища Монрепо» (см. например, главу «Монрепо-усыпальница» в т. 13). Это «стадный человек» из дворянско-либеральной среды, воспитанный на идеалах 40-х годов и застигнутый врасплох наступлением реакции. Разочарованный беспочвенностью и бесплодностью своих прежних «сований», не считая возможным содействовать властям в их реакционной политике, он находит выход в полном удалении от общественной жизни и отправляется доживать дни в свое оскудевшее родовое поместье, как в «гроб», где только и можно найти «настоящее, заправское забвение».

Исторически обреченным обитателям «дворянских гнезд» противопоставлена картина крестьянского поселка, заключающего в себе «разгадку всех жизненных задач», «ключ к разумению не только прошедшего, но и настоящего и будущего».

---

[1] «Обзор», Тифлис, 1878, № 41, 12 февраля.

[2] «Дворянская хандра». Рассказ М. Е. Салтыкова. Не пропущенный цензурой отрывок в кн. I «Отечественных записок» 1878 г.— Знакомые. Альбом М. И. Семевского, редактора-издателя журнала «Русская старина» 1867—1887, том I, стр. 306 *(ИРЛИ).*

Социально-экономическую основу непреодолимого противоречия между фрондирующим на покое дворянином и «адскими мучениями» трудового крестьянина автор видит в том, что реформы не отменили принципиальной противоположности в материально-правовом положении помещиков и крестьян. Салтыков употребляет здесь термин «досужество» как символ привилегий дворянства, основанных на эксплуатации чужого труда (ср. этот термин в рецензии на «Новые стихотворения А. Н. Майкова» — 1864, и аналогичное понятие «досуг» в статье «Напрасные опасения» — 1868). Отсюда и расхождение коренных жизненных интересов — вопроса «о недостатке так называемых «свобод», волнующего привилегированное сословие, и вопроса «о недостатке еды», составляющего «один, самый высший интерес» эксплуатируемой крестьянской массы.

Одна из тематических линий рассказа связана с раздумьями Салтыкова над судьбами освободительного движения. Он видел, что темная и задавленная нуждой крестьянская масса еще не стала общественной силой, способной к восприятию революционных идей. Об этом свидетельствует эпизод экзекуции, произведенной «честным миром» над деревенским агитатором «из фабричных».

«Дворянская хандра» создавалась в то время, когда слушался громкий политический процесс «193-х» (октябрь 1877 — январь 1878), один из тех процессов, о которых Салтыков писал П. В. Анненкову 1 ноября 1876 г.: «Политические процессы следуют один за другим <...>и кончаются сплошь каторгою... Подумайте только, как мало нужны нам люди и как легко выбрасываются за борт молодые силы — и Вы найдете, что тут скрывается некоторый своеобразный трагизм».

Цензурные условия не позволили писателю печатно высказать свое отношение к жертвам политических судилищ. Намек на их трагические судьбы звучит лишь в упоминании о внуках Ивана Михайлыча, с которыми «случилось что-то загадочное». Однако противопоставление разочарованным либералам в лице рассказчика и старца Ивана Михайлыча образа Юленьки, полной веры в светлое будущее, прозвучало смелой демонстрацией политических симпатий автора.

Критика единодушно высоко оценила трагическую силу второй части очерка, отмечая это как новую сторону творчества писателя, в которой, по словам рецензента «Русской газеты», он «является настоящим мастером, отыскивая в человеке такие драматические и даже трагические элементы, которые немногие даже величайшие художники сумели усмотреть» [1].

Стр. 470. *...поползновения по части так называемого слияния...*— Иронически используется один из лозунгов либерального дворянства периода крестьянской реформы о «слиянии сословий». Тема «слияний» развита Сал-

---

[1] Журнальные заметки.— «Русская газета», 1878, № 23, 2 февраля,

тыковым в «Глуповском распутстве» (1862), апрельской хронике «Нашей общественной жизни» (1863) (см. тт. 4 и 6 наст. изд.).

Стр. 471. *Выкупные свидетельства* — см. прим. к стр. 375.

Купель силоамская — по Евангелию, купальня Силоам в окрестностях Иерусалима; умывшись в ней, по слову Христа, слепорожденный прозреет (Иоанн, IX, 7). В переносном смысле — средство исцеления.

Стр. 475. ...*Он кануны соблюдает* — предписываемое христианской религией воздержание от мирских удовольствий накануне религиозных праздников.

Стр. 476. *Не очень давно тому назад умершему прославленному человеку нужно было отыскать приличное «последнее убежище».*— Имеются в виду, вероятно, обстоятельства похорон Н. А. Некрасова (похоронен на кладбище петербургского Новодевичьего монастыря).

...*служащий в департаменте Возмездий и Воздаяний*...— См. прим. к стр. 107.

Стр. 477. ...*суздальским богомазам, этим присяжным изобразителям адских мучений*...— Салтыков имеет в виду изображение ужасов «адских мучений» на иконах суздальской школы живописи, использовавшей народные традиции письма.

Стр. 478. *Мертвые срама не имут* — выражение, приписываемое князю Святославу Игоревичу перед битвой с византийским императором Иоанном I Цимисхием при Доростоле в 971 г.

Стр. 479. *Предилекция* — привычка, склонность.

Стр. 481. ...*целая философская система*...— Имеется в виду философия Гегеля.

Стр. 483. *Не вдруг!*..— формула, характерная для дворянского либерализма. «Вдруг» — одно из эзоповских иносказаний Салтыкова, для обозначения революционного, не реформистского характера радикальных преобразований общественных порядков.

Я пламенел не только общею идеей гласности и устности (это была тогдашняя всеобщая панацея)...— Речь идет о подъеме либерального движения накануне реформ 60-х годов.

Стр. 486. *Вместе с Генрихом IV я охотно желаю всем и каждому курицу в супе* — см. т. 8 наст. изд., стр. 493.

Стр. 489. *Компликации* (от *франц.* complications) — осложнения.

Стр. 495. *Закхеева смоковница* — в переносном смысле — средство спасения. По евангельскому преданию, Закхей, будучи мал ростом, влез на смоковницу, чтобы увидеть Христа (Лука, XIX, 4).

...*нас возвышающих обманов* — реминисценция из стихотворения Пушкина «Герой».

БОЛЬНОЕ МЕСТО

(Стр. 496)

Впервые — *ОЗ,* 1879, № 1, стр. 229—236 (вып. в свет 20 января).

Рукописи и корректуры не сохранились.

Мы не располагаем точными документальными сведениями о времени и истории создания «Больного места». По-видимому, рассказ написан в конце 1878 — начале 1879 г., но замысел его мог возникнуть значительно раньше.

Заглавие и проблематика «Больного места» сформулированы в заключительных строках шестой главы «Господ Молчалиных» (см. наст. том, стр. 291—292).

Главный герой рассказа Разумов представляет собою разновидность молчалинского типа. Это неглупый, добросовестный чиновник, вместе с тем бессознательно проживший жизнь, подобно герою «Господ Молчалиных», с обагренными кровью руками. «Он смешивал две различные вещи: свое личное отношение к «делу» и то, что составляло содержание этого «дела», именно — политические преследования, оканчивавшиеся многочисленными тяжелыми жертвами [1].

Вынужденный неожиданно уйти в отставку по капризу начальства и впервые оказавшийся перед необходимостью разобраться в причинах своего «несчастья», Разумов постепенно приходит к сомнению в справедливости «дела», которому он служил «по сущей совести» в продолжение тридцати пяти лет.

Мучения пробудившегося сознания сопровождает разлад с горячо любимым сыном, увлекшимся теми самыми «заблуждениями», против которых была направлена карательная деятельность отца. Непримиримый конфликт между беспредельной взаимной любовью отца и сына и их противоположными идейными устремлениями разрешается катастрофой: устыдившись профессии отца, всей его преступной деятельности, сын кончает жизнь самоубийством. «Просияние», пришедшее к Разумову «через сына»,— это символ заслуженного возмездия, не освобождающего, а усиливающего мучительное сознание лжи и преступности прошедшей жизни.

Семейная драма раскрывается в рассказе как отражение драмы общественной. Сознание того, что он был лишь слепым орудием в руках Отчаянных или Зильбергрошей, что «все так жили», «все» шли этой дорогой, приводит Разумова к выводу: «Атмосферу надо изменить, всю атмосферу — вот тогда, может быть...» Таким образом, нравственный конфликт Салтыков связывает с мыслью о необходимости коренных преобразований в самых основах современного общества.

---

[1] См.: Е. Покусаев. Революционная сатира Салтыкова-Щедрина, М. 1963, стр. 313—315.

«Больное место» — это первое произведение Салтыкова, «изображающее трагедию человека, пришедшего через личные потрясения к сознанию, что вся его жизнь, казавшаяся прежде праведной, была, в сущности, преступлением против человечности» [1]. В дальнейшем эта тема будет продолжена и углублена в заключительной главе «Господ Головлевых» и рассказе «Счастливец» из «Мелочей жизни».

«Больное место» выделяется среди произведений Салтыкова тонкостью и глубиной психологического анализа, сближающего его с психологической прозой Л. Н. Толстого. По проблематике и характеру изложения рассказ можно рассматривать как один из литературных источников повести Толстого «Смерть Ивана Ильича» [2].

Эту новую сторону таланта Салтыкова отметила уже прижизненная критика, К. К. Арсеньев называл «Больное место» одним из кульминационных пунктов творчества Салтыкова, считая его «законченным и образцовым» произведением, где «психологический анализ согрет глубоким чувством и освещен глубокою идеей», и утверждал, что наряду с «Господами Головлевыми» этот рассказ ставит Салтыкова «в ряд наших первых беллетристов» [3].

С. А. Венгеров подчеркивал, что «Больное место» — «не сатирический, но чисто психологический этюд», «истинная, глубоко потрясающая драма» [4]. Многие рецензенты отметили обобщающее значение проблематики рассказа. «Больное место» представляет собою один из вариантов того рокового, трагического явления, которое в продолжение двадцати лет не перестает являться одним из существенных признаков нашего времени — именно разлада отцов и детей» [5],— писал А. И. Скабичевский. В. П. Чуйко заканчивал свой отзыв утверждением, что «эскиз г. Щедрина — так сказать, патология современного общества и русского современного человека» [6].

Стр. 517. *Повинны беша работе* — обязаны были работать (*старослав.*).

Стр. 518. *Белые нигилисты* — по Салтыкову, охранители самодержавия.

---

[1] А. С. Бушмин. Сатира Салтыкова-Щедрина, М. 1959, стр. 132.

[2] Е. Покусаев, Психологический анализ в рассказе Салтыкова-Щедрина «Больное место».— «Вопросы изучения литературы XIX—XX веков», М.— Л. 1958.

[3] К. Арсеньев, Русская общественная жизнь в сатире Щедрина.— *ВЕ*, 1883, № 3, стр. 340.

[4] С. Веди <С. А. Венгеров>, Литературные очерки.— «Русский мир», СПб. 1879, № 24, 26 января.

[5] Заурядный-читатель <А. И. Скабичевский>.— Мысли по поводу текущей литературы.— «Биржевые ведомости», 1879, № 25, 26 января.

[6] В. Ч. <В. П. Чуйко>, Литературная хроника.— «Новости», 1879, № 85, 6 апреля.

ИЗ ДРУГИХ РЕДАКЦИЙ

В СРЕДЕ УМЕРЕННОСТИ И АККУРАТНОСТИ

<1>

(Стр. 535)

Настоящий фрагмент рукописной редакции второй главы цикла опубликован Н. В. Яковлевым в кн.: Салтыков-Щедрин М. Е., Полн. собр. соч., т. XII, ГИХЛ, М. 1938, стр. 571—574.

Печатается по наборной рукописи, являющейся единственным источником текста. См. стр. 642 наст. тома.

Стр. 536. *...motu proprio* — латинское выражение, многократно употреблявшееся Салтыковым («Благонамеренные речи», «За рубежом», «Верный Трезор» и др.). Источник выражения — папские буллы, где оно свидетельствует, что решение принято самим папой.

Стр. 537. *...я знал человека (он был наш сосед по имению), который по всем документам числился умершим?* — Сюжет о помещике, сказавшемся умершим, разработан Салтыковым в восьмой главе «Пошехонской старины» («Тетенька Анфиса Порфирьевна»).

Стр. 538. *...с Молчалиным мира промышленного, с Молчалиным мира литературного и т. д.* — Намеченный план дальнейшей разработки молчалинского типа не был осуществлен.

<2>

(Стр. 538)

Впервые этот фрагмент четвертой главы цикла опубликован Н. В. Яковлевым — «Петроград», 1923, № 5, 25 июля, стр. 13—16 (публикация извлечений из передовицы «О числе и качествах городовых»); «Язык и литература», т. 1, вып. 1—2, Научно-исследовательский институт сравнительного изучения литератур и языков Запада и Востока при Ленинградском гос. университете, Л. 1926, отд. IV, стр. 387—408 (полная публикация первой части и важнейших вариантов второй части главы).

Сохранилась наборная рукопись рукою Е. А. Салтыковой с исправлениями, дополнениями и подписью Салтыкова. По этой рукописи в разделе «Из других редакций» воспроизводится первая половина очерка в его первоначальной редакции, летом 1876 года подвергшаяся коренной переработке и редактированию (см. стр. 647).

Стр. 547. *...в надежде славы и добра...* — начальная строка стихотворения А. С. Пушкина «Стансы» (1828).

Стр. 548. *...деспоты, как говорит Монтескьё, охотно пренебрегают публичным мнением...* — Суждения Монтескье, направленные против деспотизма, изложены в его сочинении «О духе законов» (1748).

Стр. 549. *...уж не национальной ли гвардии он хочет...* — Национальная гвардия — отряды гражданской добровольческой милиции — впервые была введена в июле 1789 г., во время буржуазной французской революции.

ЧУЖУЮ БЕДУ — РУКАМИ РАЗВЕДУ

(Стр. 555)

Впервые — отдельной брошюрой: Н. Щедрин, Чужую беду — руками разведу, Genève, Elpidine, 1880, 32 стр.

Сохранилась наборная рукопись, обрывающаяся словами: «...закурили папиросы и начали беседовать». Переписанная частично самим Салтыковым (лл. 7—8), частично его женой (лл. 1—6), рукопись содержит ряд дополнений, исправлений и вычерков. Однако эта правка касается большей частью стиля произведения и не вносит серьезных изменений в его содержание. Наиболее значительным является вычеркнутый Салтыковым фрагмент, следовавший после слов: «...постоянно как будто разнемогаешься» (стр. 555):

«Как бы то ни было, но и в самом хохоте, в деле оценки явлений, не подходящих к уровню общепринятого дурачества и бездельничества, мы можем различить три момента. Во-первых, хохот инстинктивный, во-вторых, хохот, мотивированный оплеванием, и, в-третьих, хохот, мотивированный раскровенением. Я знаю, что эти юридические тонкости очень унизительны; что практика заставляет не только различать среди этих тонкостей, но и сравнивать и предпочитать. Инстинкт самосохранения (в этих случаях он вполне заменяет здравый смысл) говорит прямо: да, как ни нелеп инстинктивный хохот, но суд, заключающийся в нем, есть суд снисходительный, мягкий; равным образом и хохот, мотивированный одним оплеванием, тоже представляет форму суда, хотя и не столь снисходительную, но все таки сносную; тогда как...»

Рассказ написан в январе 1877 г. и набран для февральской книжки «Отечественных записок». Однако 15 февраля по требованию цензурных властей Салтыков вынужден был изъять его из номера. «Я собственно написал было рассказ, навеянный на меня «Новью»,— сообщал он 2 марта 1877 г. П. В. Анненкову,— но должен был, по обстоятельствам, отложить его до более благоприятного времени. И так как этот переполох с моим рассказом вышел уже 15 февраля, то я вынужден был в два вечера написать другой рассказ...» Сначала писатель надеялся напечатать запрещенный рассказ в одном из очередных номеров журнала. «Когда будет потеплее,— писал он 15 марта 1877 г. тому же П. В. Анненкову,— поеду хлопотать и, разумеется, сделаю уступки, изменения и проч. Может быть, в мае и помещу». Хлопоты, подробности которых неизвестны, закончились, вероятно, безрезультатно: цензура требовала не частичных уступок и изменений, ее не устраивал общественный смысл произведения, его идейно-художественная концепция. К концу 1877 г. Салтыкову стало ясно, что опубликовать рассказ в его первоначальном виде не удастся, и он напечатал начальные страницы («Я — человек отживающий <...> должно умолкнуть резкое слово осуждения») в качестве первой главы рассказа «Дворянские мелодии», а в 1880 г. в «Отечественных записках» была помещена подцензурная редакция произведения под заглавием «Чужой

толк» (см. стр. 682), отличающаяся от первоначальной смягчением наиболее опасных в цензурном отношении мест и некоторыми сокращениями. В полном виде очерк был напечатан отдельной брошюрой М. Элпидиным в Женеве в 1880 г., а десять лет спустя, в 1890 г., там же вышло его второе издание. Небрежно изданные и содержащие большое количество ошибок и искажений, эти брошюры, однако, представляют собою единственный источник полного текста очерка.

В настоящем издании очерк «Чужую беду — руками разведу» печатается по тексту второго женевского издания (1890) с исправлением искажений, опечаток и ошибок по сохранившейся рукописи, а также по фрагментам очерка, опубликованным в составе других произведений. Реальный комментарий к указанным фрагментам, данный в соответствующем месте, здесь не повторяется.

Стр. 555. *Пускай умру — печали мало...* — первая строка стихотворения Н. А. Добролюбова.

Стр. 559. *«La fille de Dominique»* — одноактный водевиль П. Левассера.

Стр. 579. *...единовластие, ничем не ограничснное* — см. прим. к стр. 76.

КНИГА О ПРАЗДНОШАТАЮЩИХСЯ

Впервые — *ЛН,* кн. 13—14, М. 1934, стр. 30—35 (публикация И. И. Векслера).

Сохранилась черновая рукопись, являющаяся единственным источником текста.

«Книга о праздношатающихся» является первоначальной редакцией незавершенного цикла «Культурные люди». Имея в виду автограф этой редакции, Салтыков 7 (19) января 1876 г. писал Некрасову: «Потрудитесь также распорядиться, чтоб 1-ю книжку журнала мне выслали в день ее выхода, потому что черновая у меня осталась очень неполная, и, в случае продолжения «Культурных людей», мне будет необходимо иметь первые пять глав».

Готовя рукопись для публикации, кроме дополнений и введения в текст пропущенных на первоначальной стадии работы эпизодов, Салтыков провел большую стилистическую правку и сделал ряд сокращений. См. выше прим. к циклу «Культурные люди».

УКАЗАТЕЛЬ ЛИЧНЫХ ИМЕН И НАЗВАНИЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ[1]

[1] В указатель входят личные имена и названия периодических изданий, имеющиеся как в текстах Салтыкова, так и в примечаниях. В первом случае цифры, указывающие страницы, набраны прямым шрифтом, во втором — курсивом. Имена и названия, упоминаемые только в библиографическом аппарате, в указатель не введены.

Составила указатель А. М. Малахова.

СОДЕРЖАНИЕ

В СРЕДЕ УМЕРЕННОСТИ И АККУРАТНОСТИ

I. ГОСПОДА МОЛЧАЛИНЫ

II. ОТГОЛОСКИ

КУЛЬТУРНЫЕ ЛЮДИ

СБОРНИК

Михаил Евграфович
САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

Собрание сочинений, т. 12

Редактор *Т. Сумарокова*. Художественный редактор *С. Данилов*.
Технический редактор *Ф. Артемьева*. Корректоры *Р. Пунга* и *А. Юрьева*

Сдано в набор 4/III 1971 г. Подписано в печать 27/IX 1971 г. Бумага типогр. № 1. 60 × 90[1]/16. 47 печ. л., уч.-изд. л. 46,53 + 1 вкл. = 46,59 л.
Тираж 53 500 экз. Заказ 299. Цена 1 р. 65 к.

Издательство
«Художественная литература», Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий»,
Москва, Краснопролетарская, 16